

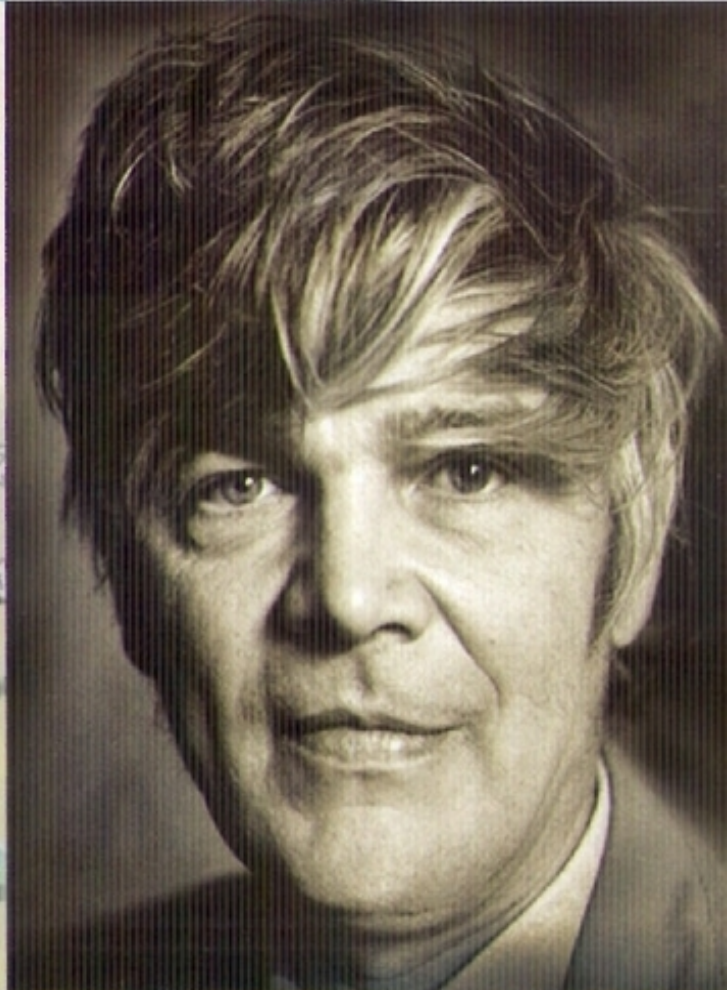
А. Сенкевич

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ



ЖЗЛ

# ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ



Александр  
Сенкевич



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Эта книга о жизни и творчестве уникального и загадочного писателя Венедикта Ерофеева. Отдельные фразы из его поэмы «Москва — Петушки» мгновенно получили широкое распространение как мудрые изречения и афоризмы. Поэтому нет ничего удивительного, что он часто отождествляется со своим героем Веничкой. Александр Сенкевич, писатель и учёный, убедительно рассказал о духовном воздействии на Венедикта Ерофеева как христианства, так и буддизма в его современной интерпретации. При этом он восстановил исторический и общественный контекст, в котором жил и творил писатель. Автор поэмы «Москва — Петушки» и трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» предстаёт перед читателем одним из многих из поколения 1960-х годов, к которому принадлежит также и Александр Сенкевич. Венедикт Ерофеев был свободомыслящим человеком, а по силе чувств не уступал писателям-классикам XX века. «Венедикт Ерофеев: Человек нездешний» завершает трилогию мировоззренческих биографий Александра Сенкевича, предыдущими книгами которой были «Будда» и «Блаватская», вышедшие в серии «ЖЗЛ».

- 
- [Венедикт Ерофеев: Человек нездешний](#)
    - 
    - [ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЮ](#)
    - [Вместо предисловия](#)
      - [Сочинение четырнадцатилетней школьницы](#)
      - [Размышления студентки](#)
    - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
      - [Глава первая](#)
      - [Глава вторая](#)

- [Глава третья](#)
- [Глава четвёртая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
  - [Глава первая](#)
  - [Глава вторая](#)
  - [Глава третья](#)
  - [Глава четвёртая](#)
  - [Глава пятая](#)
  - [Глава шестая](#)
  - [Глава седьмая](#)
  - [Глава восьмая](#)
  - [Глава девятая](#)
  - [Глава десятая](#)
  - [Глава одиннадцатая](#)
  - [Глава двенадцатая](#)
  - [Глава тринадцатая](#)
  - [Глава четырнадцатая](#)
  - [Глава пятнадцатая](#)
  - [Глава шестнадцатая](#)
  - [Глава семнадцатая](#)
  - [Глава восемнадцатая](#)
  - [Глава девятнадцатая](#)
  - [Глава двадцатая](#)
  - [Глава двадцать первая](#)
  - [Глава двадцать вторая](#)
  - [Глава двадцать третья](#)

- [Глава двадцать четвёртая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)
- [Глава двадцать седьмая](#)
- [Глава двадцать восьмая](#)
- [Глава двадцать девятая](#)
- [Глава тридцатая](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
  - [Глава первая](#)
  - [Глава вторая](#)
  - [Глава третья](#)
  - [Глава четвёртая](#)
  - [Глава пятая](#)
- [ЭПИЛОГ](#)
- [ПРИМЕЧАНИЯ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА](#)
- [ЛИТЕРАТУРА](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)

- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)

- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)

- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)

- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)



- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)

- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)

- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)

- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)

- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)

- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)

- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)

- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)



- [451](#)
  - [452](#)
  - [453](#)
  - [454](#)
  - [455](#)
  - [456](#)
  - [457](#)
  - [458](#)
  - [459](#)
  - [460](#)
-

# Венедикт Ерофеев: Человек нездешний



ЖИЗНЬ®  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

Основана в 1890 году  
Ф. Павленковым  
и продолжена в 1933 году  
М. Горьким



**ВЫПУСК**

**2063**

---

**(1863)**

Александр Сенкевич

# ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ

ЧЕЛОВЕК НЕЗДЕШНИЙ



МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
2020

---

**Автор выражает признательность за помощь**

**в работе над этой книгой Михаилу Анатольевичу  
Белому,**

**Анне Валерьевне Бессоновой, Леониду Борисовичу  
Воронину,**

**Максиму Арнольдовичу Гинзбургу, Михаилу  
Анатольевичу Крунову,**

**Евгению Юрьевичу Погожеву, Зинаиде Васильевне  
Сенкевич.**

**Особая благодарность Галине Анатольевне  
Ерофеевой,**

**Венедикту Венедиктовичу Ерофееву, Нине  
Васильевне Фроловой,**

**а также французскому слависту Ренэ Герра.**

**Памяти Натальи Шмельковой  
(14 марта 1942 — 10 апреля 2019)**

Если человек займётся исследованием  
своего организма или морального состояния,  
то непременно признает себя больным.

*Иоганн Вольфганг Гёте*

# ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЮ

Созданные Венедиктом Ерофеевым произведения по своему содержанию симфоничны и по праву считаются своеобразной летописью современной эпохи. Я выстроил композицию этой книги по аналогии с простой музыкальной формой. Она состоит из трёх частей: *экспозиция, разработка, кода*. При этом вторая часть контрастна первой, а третья по присутствующим в ней темам и мотивам является повтором первой.

Для пояснения несведущим, что собой представляет по содержанию каждое из этих понятий, обращусь к «Музыкальному энциклопедическому словарю» (М., 1990):

«ЭКСПОЗИЦИЯ (от лат. *expositio* — изложение, показ). В узком смысле — название первого раздела в фуге, сонатной форме, рондо-сонате. В широком смысле — часть или раздел всякой музыкальной формы, содержащий первоначальное изложение основного материала — одной или нескольких тем. Экспонированию противоположно развитие (варьирование, разработка). Масштаб Э. определяется конкретной формой музыкальной и охватывает построение разного масштабного уровня (например, в периоде Э. — первое предложение в простых формах — начальный период и т. д.; Э. не исключает элементов развития (например, в сонатной форме). Характерные для Э. музыкальные свойства обобщаются в понятии экспозиционного типа изложения».

«РАЗРАБОТКА (нем. *Verarbeitung, Ausarbeitung*; англ. *development*; франц. *Developpement*). Развитие

музыкального материала, предполагающее вычленение отдельных элементов, подвергающихся преобразованиям. Приёмы Р.: структурные (дробление темы на фразы, мотивы), звуковысотные (интегральное расширение, сжатие мотивов, обращение; гармоническое и тональное обновление, в т. ч. секвенции, ритмические (увеличение, уменьшение), фактурно-тембровые (в т. ч. переоркестровка), полифонические (имитации, канонические секвенции, фугато). Р. применяется в развивающих средних разделах простых форм (гл. обр. в середине 3-частной)...»

«КОДА (итал. *coda*, от лат. *cauda* — хвост). Заключительное построение музыкального произведения или части цикла, не являющееся обязательным для какой-либо композиционной схемы. К. снимает контрасты, закрепляет устойчивость. Структурная обособленность в музыкальной форме, функциональная многозначность отличают К. от дополнений, только утверждающих тоническую гармонию...»



**Вместо предисловия**  
**ВЕРА ЕРОФЕЕВА: «О МОЁМ**  
**ДЕДУШКЕ»**

## **Сочинение четырнадцатилетней школьницы**

У нас дома висит портрет. Большой красивый портрет. С самых ранних лет папа подводил нас с братом к нему и спрашивал: «Ну, скажите, кто здесь изображён?» Мы с гордостью в один голос отвечали: «Это наш дедушка Веня». Папа не раз объяснял, что дедушка знаменит тем, что создал поэму «Москва — Петушки», прославившую маленький городок Петушки на Клязьме. Для кого-то он писатель Ерофеев Венедикт Васильевич с мировым именем, а для нас просто дедушка.

К сожалению, он умер задолго до моего рождения, поэтому я знаю о нём только по рассказам родителей, родственников и от моей крёстной матери Натальи Шмельковой, которая написала о нём книгу, под названием «Последние дни Венедикта Ерофеева».

Мне сейчас 14 лет, и я уже много знаю о своём деде. Я открываю его для себя каждый день. Меня поражают его широта интересов, настойчивость, стремление к познанию, к открытию чего-то нового, искренность и простота. Он мог разговаривать на любые темы как с рабочим человеком, так и с академиком. Дружил с очень многими людьми: артистами, писателями, поэтами. Все преклонялись перед его талантом. Дедушка очень увлекался музыкой. В доме была собрана первоклассная фонотека классической музыки. Более четырёхсот пластинок! Эти пластинки с книгами до сих пор хранятся у нас дома. Самым ценным он считал библиотеку, где собраны стихи поэтов Серебряного века. «Я влюблён в этих серебряновековых ребятишек» — так говорил мой дедушка о них. Есть

несколько удивительных книг. Они сделаны на печатной машинке. Это тоже необыкновенная память о моём дедушке, которой я дорожу!

Когда дедушке шёл шестой год, он умел читать, писать, рисовать, хотя никто с ним не занимался. Рос он немного замкнутым и тихим, мог подолгу что-то сосредоточенно писать, и когда старшая сестра спросила его: «Что ты, Веночка, всё пишешь и пишешь?» Он поднял глаза и совершенно серьёзно сказал: «Записки сумасшедшего». В доме был объёмистый том сочинений Гоголя. Дедушка любил его перелистывать. Вот и подобрал название, которое ему понравилось. Он любил рисовать, но рисунки его больше были на политические темы. Он искренне удивлялся, когда не узнавали на рисунке, кто у него сидит за круглым столом, и объяснял: «Вот это — Сталин, это — Молотов, это — Черчилль, это — Иден» и т. д.

Книги он читал быстро. Память у него была превосходная. Он мог перечислять, что написал Лев Толстой, что написал Иван Тургенев. Все в семье удивились, откуда такие познания. Оказывается, он выучил наизусть отрывной календарь — все 365 листов! Называли любое число, и он говорил, какой это день недели, какие важные даты приходились на это число, какой был рисунок или портрет и что на обороте написано. Когда дедушка пошёл в школу, то учительница сказала, что в первом классе ему делать нечего, он всё знает, поэтому он пошёл сразу во второй класс.

Мой дедушка с 8-го по 10-й класс учился в средней школе № 1 города Кировска. Успешно сдал экзамены на аттестат зрелости. Однажды в почтовый зал, где работала его старшая сестра — бабушка Тамара, пришла какая-то женщина и громко сокрушалась:

«Сегодня писали сочинения. Ужасно все переживали. Говорят, какой-то Ерофеев только написал на “пять”».

Каждый раз после экзаменов он приходил и докладывал: «Пять». Ему, единственному в 1955 году была присуждена золотая медаль. Преподавательница литературы Софья Захаровна Гордо рекомендовала ему получить филологическое образование. Своих школьных учителей дедушка вспоминал как очень требовательных и мудрых. Таких он больше никогда не встречал.

Детство и юность не баловали его. Он был пятым ребёнком в семье железнодорожника. Голодно, холодно... но желанию учиться ничто не помешало. И вот в 16 лет он — студент МГУ. Затем беды пошли одна за другой. Он был отчислен из МГУ. Потом он блестяще сдал экзамены во Владимирский пединститут, где сразу был замечен учителем русского и литературы. Там он много пишет, постоянно делает записи большей частью в рабочих дневниках для геологов-поисковиков. Они бережно хранятся у нас в доме. Когда я беру их в руки, то испытываю нежный трепет в сердце и ощущаю связь с моим великим дедом. Записные книжки написаны мелким ровным почерком, без ошибок и помарок. Мне кажется, что он испытывал особую любовь к каждой букве в русском языке. Но, страшно представить, дедушка был изгнан из института за хранение и чтение Библии. Он гордился тем, что знал Библию наизусть, и говорил так: «...я вытянул из этой книги всё, что может только душа человеческая». Он привлёк к учению Христа студентов и, кстати, мою бабушку, которая тогда была студенткой филологического отделения.

В то же время были изгнаны ещё несколько студентов. Многие из них — почтенные уважаемые люди, которые говорят «спасибо» моему дедушке за то, что он показал им дорогу к Богу. Один из них Борис

Александрович Сорокин, который всю жизнь прослужил батюшкой.

А с бабушкой они встречались тайно, а потом поженились и стали жить в деревне Мышлино, за Петушками. Бабушка преподавала в школе в посёлке Караваево русский язык, литературу и немецкий язык. Вскоре у них родился сын — мой папа. Его называли тоже Венедиктом «впопыхах», ждали девочку и хотели назвать Анной, а родился мальчик. Папа говорит, что бабушка Валя с нежностью вспоминала, как утром дедушка Веня навестил её и принёс целую авоську апельсинов.

Караваевские мужики долго вспоминали, как все выпили по стаканчику вина за здоровье первенца.

Работа у дедушки была разъездная, три недели он работал, а неделю отдыхал. Он приезжал на последней электричке в Петушки, и единственным приютом для него был вокзал, где он ждал первый автобус, чтобы добраться до деревни Мышлино. В Петушках у него не было другого приюта, но он влюбился в этот город. Своё самое знаменитое произведение он назвал «Москва — Петушки».

Поэма «Москва — Петушки» была написана осенью 1970 года, «нахрапом», как говорил мой дедушка в интервью. Впервые она была издана на русском языке в Израиле, в Иерусалиме в альманахе «Ами». Это издание бережно хранится, мы им очень дорожим, как как в нём сделаны правки рукой моего дедушки. Самое удивительное, что дедушка никогда не носил свои рукописи в издательства, он даже не знал, где они находятся. Он не искал читателей и почитателей своего таланта и творчества, они нашли его сами.

У нас дома есть шкаф, в котором много книг на разных языках мира. Это книги дедушки. Больше всего книг с поэмой «Москва — Петушки». Некоторые издатели переименовали её — дедушка был очень

недоволен этим. Он хотел, «...чтобы пустяшный город Петушки знали во всём мире».

Недавно мы с папой и братом ходили на спектакль «Москва — Петушки» в Москве в Студию театрального искусства. Я не читала ещё полностью этого произведения. Спектакль мне очень понравился. Больше всего поразили ангелы и запомнился монолог главного героя о Петушках. «Петушки — это место, где не умолкают птицы ни днём ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин». А недавно состоялась премьера спектакля «Москва — Петушки» в Австрии, в Венском императорском театре.

«А там за Петушками, где сливаются небо и земля и волчица воет на звёзды, — там совсем другое, но то же самое; там в дымных и вшивых хоромах распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий младенец из всех младенцев» — это ведь он написал о своём сыне, моём папе. Удивительные строки! Я их перечитывала несколько раз. Мне хотелось плакать от чувств, которые появляются во мне... ведь это строки о моих Петушках, о моём папе.

Я пыталась читать произведения своего дедушки, но мне сложно что-то понять. Когда я стану постарше, обязательно буду читать всё, что написано им. Пока мне понятно только одно произведение: маленькое эссе о поэтах Серебряного века: «Саша Чёрный и другие». Он знал слово в слово беззапиночным образом пять стихотворений Андрея Белого, Ходасевича — шесть, Анненского — семь, Сологуба — восемь, Мандельштама — пятнадцать, а Саши Чёрного — только четыре, Цветаевой — двадцать два, Ахматовой — двадцать четыре, Брюсова — двадцать пять, Блока — двадцать девять, Бальмонта — сорок два, Игоря Северянина — семьдесят семь.

Дедушка не просто читал книги, он делал из них выписки, сопоставлял и комментировал привлёкшие его

внимание фразы — это было его ежедневной работой. По этим записям можно понять, как он относился к писателям и их произведениям.

Мой дедушка... Русский писатель... Он всегда с нами и в мыслях, и в памяти, и в делах. Мама постоянно говорит мне и моему брату Жене, что мы должны быть достойными памяти Венедикта Васильевича Ерофеева! Нам предстоит общаться с издателями по всему миру, заниматься подготовкой текстов к новым изданиям, поэтому нам необходимо изучать русский язык, литературу и иностранные языки.

## ***Размышления студентки***

Как выглядит возвышенный человек? Человек с великой душой, чьи мысли и действия покоряют значительностью, глубиной и самобытностью. Вероятно, в нём должно быть нечто такое, о чём хотелось бы рассказать другим людям. Знакомство с таким человеком считается большим подарком судьбы, о чём говорят с особой гордостью.

Посещая различные вечера и встречи, посвящённые личности и творчеству Венедикта Ерофеева, я нередко встречала людей, когда-то с ним общавшихся. Одним он запомнился чётко, словно они только что с ним расстались, а у других осталось о нём лишь общее впечатление. Но даже те, кто был знаком с моим дедом Веней шапочно, приходили на эти вечера и встречи и рассказывали, что их больше всего поразило даже при недолгом с ним общении.

Я слушала тех и других с одинаковым вниманием. Ведь знакомству с моим дедом каждого из этих совершенно непохожих друг на друга людей предшествовали различные обстоятельства. Их разные рассказы о встречах с ним объединяло чувство восторга. Он будто встряхивал каждого своего собеседника, выводил его на более высокий уровень общения. Мой дед был на самом деле необыкновенный и резко выделялся из людской толчеи. Дотянуться до него было не так-то просто, если вообще возможно.

Потому-то рассказы о моём дедке Вене всегда отличаются запоминающимися деталями.

Он вошёл в память сокурсников своенравным студентом с нестандартным мышлением, с широкими познаниями во многих областях и со своеобразным



чувством юмора. С того времени прошло много лет, но эти люди до сих пор повторяют его каламбуры, шутки и язвительные высказывания. Я также запомнила всякие истории из его детства, рассказанные мне моей двоюродной бабушкой, сестрой деда Вени — Ниной Васильевной. Его детство было трудным, и мне было нелегко слушать о мытарствах деда Вени, когда он был ребёнком. Но всё-таки я хотела знать о его жизни как можно больше. Особенно о том времени, когда он был совсем маленьким, а вокруг шла война. Я убеждена, что дед Веня как личность созрел уже в своём раннем детстве. Как жаль, что я не была с ним знакома. Ведь я родилась через десять лет после его смерти. Не оказалось у меня возможности самой понять, каким он был.

Но рядом со мной, чуть ли не с моего младенчества, оказался человек, который провёл с Венедиктом Ерофеевым последние три года его жизни и стал для него близким другом. Это моя крёстная мать — Наталья Шмелькова. Мой дед занял особое место в её жизни. Казалось, что и после смерти он с ней не разлучался. Она постоянно упоминала его имя, когда мы говорили на никак не связанные с ним темы: о моей учёбе в школе, о путешествиях или встречах с друзьями. Беседуя со мной о всяких пустяках или обсуждая различные жизненные ситуации, она представляла, как бы поступил «Веничка» и что бы он сказал по тому или иному поводу. Это было занято для нас обеих. Именно от неё я узнала очень многое о деде. Её рассказы помогли мне достаточно ясно представить его предсмертные годы.

Книга Натальи Шмельковой погружает читателя в события и атмосферу времени перестройки. На этом фоне разворачиваются события жизни простого, ранимого и мудрого человека с его привычками, предпочтениями, необычным поведением. В книге

рассказывается о его близких и друзьях, не всегда гладких с ними взаимоотношениях.

С невообразимой болью, спустя время, написаны последние строки, от которых сжимается сердце: «Через несколько минут, в 7:45, Венедикта Ерофеева не стало». Я не раз перечитывала её протокольные записи конца апреля и мая 1990 года.

Наталья Шмелькова присутствовала рядом в самые ответственные моменты моей жизни и многому меня научила. Я помню, как в детстве она летом приезжала к нам в деревню из Москвы и давала уроки рисования. Впервые она привезла краски, карандаши и бумагу, когда мне и брату Жене было три года. Мы с братом неумело смешивали краски и ломали карандаши, пытаюсь что-то изобразить на бумаге по её примеру. Моя крёстная объясняла, что именно так рисовали великие художники. Она приезжала к нам каждый год и всегда привозила с собой краски. Она умела вдохновлять. Придумывала всегда что-то интересное и увлекательное. Знала, как разнообразить даже самое неинтересное занятие. Я запомнила один день из моего детства, когда я, брат Женя, племянница и Наташа отправились в лес за грибами. Казалось бы, что интересного в сборе грибов? Но крёстной была поставлена задача: победит в игре тот, кто соберёт их больше всех и сможет принести маме. Мы пребывали в возбуждении, охваченные желанием собрать как можно больше грибов, чтобы получить почётное звание победителя и удостоиться похвалы.

С детства она говорила про нас с братом: «Детки чудные». Она восхищалась нашими нелепыми детскими рисунками, поощряла любые наши глупости, потому что она тоже находила во всём этом что-то забавное. Мы любили вместе дурачиться. Позднее она одобряла наши с братом уже серьёзные решения. Она присутствовала на нашем школьном выпускном вечере, после которого

перед нами стоял выбор дальнейшей профессии. Мы остановились на востоковедении. Она поддержала наш выбор института и специальности, посчитав это достойным занятием для внуков Венедикта Ерофеева.

Моя крёстная была необыкновенной художницей. Она постоянно рисовала, и для этого ей были вовсе не обязательны карандаш и бумага. Умение сотворить шедевр любыми подручными средствами, с помощью нескольких штрихов — это про неё. Я часто ночевала у неё. В каждой из её трёх комнат и в коридоре на стенах висели картины. Они были повсюду. Многие из них принадлежали кисти знаменитых художников и были ими в знак уважения подарены моей крёстной матери. А некоторые написаны самой Наташей. Эти картины особенно мне нравились. Больше всего мне был по душе зимний ночной пейзаж, на котором изображён одинокий маленький домик. Эта картина висела прямо над моей кроватью и определённо делала уютной комнату.

В апреле прошлого года я простилась с Наташей. Было множество мыслей и хотелось так много ей сказать, но я, рыдая, прошептала: «Прости за всё». Думаю, именно это были самые необходимые слова.

Возвращаясь к первым строкам моего сочинения о том, кого можно причислить к великим личностям, скажу, что я долго общалась с одной из них. Это моя крёстная, которую я всегда буду помнить. Я написала здесь не просто о неких великих и бессмертных. Я написала о своих родных, которыми горжусь, и, надеюсь, память о них никогда не умрёт.

*1 февраля 2020 года.*

# **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ**

## **Глава первая**

# **РАМА ДЛЯ ПОРТРЕТА**

Повествование моей книги выросло из желания представить настоящий, а не расхожий образ Венедикта Васильевича Ерофеева, привести его хотя бы в некоторое соответствие с оригиналом. Я попытался уяснить, прежде всего для самого себя, в чём же состоит уникальность личности этого странного человека. И почему он воспринимается «белой вороной» среди преуспевающих советских писателей и даже среди многих писателей-нонконформистов, его современников. Что он был особенным, это понятно. Но ведь его коллеги по перу тоже ведь не из прокисшего теста были слеплены. И талантом их Бог одарил, и фортуна им благоприятствовала, а вот чего-то в них не было. А вот чего, я с ходу не понял.

Понять, что привлекало Венедикта Ерофеева в увиденном, прочувствованном, прочитанном, мне помогли записные книжки удлинённого формата, заполненные цитатами с комментариями и его размышлениями. Он вёл их с шестнадцати лет. Общих тетрадей избегал из-за своего кочевого образа жизни. Ответ, чем он отличался от большинства своих коллег, я нашёл в одной из его многочисленных записных книжек: «Не то, что небожителем я был, а просто нездешним. Она ж меня, смеясь, на землю пролила»<sup>1</sup>.

И «нездешний», и «смеясь, на землю пролила» взяты Бенедиктом Васильевичем из двух стихотворений Фёдора Ивановича Тютчева. Напомню, что стихотворение, посвящённое Е. Н. Анненковой, начинается так:

И в нашей жизни повседневной  
Бывают радужные сны,  
В край незнакомый, в край волшебный,  
И чуждый нам и задушевный,  
Мы ими вдруг увлечены.  
Мы видим: с голубого свода  
Нездешним светом веет нам,  
Другую видим мы природу,  
И без заката, без восходу  
Другое солнце светит там...<sup>2</sup>

Последнее предложение записи Венедикта Ерофеева — это строка из второй строфы известного тютчевского стихотворения «Весенняя гроза»:

Люблю грозу в начале мая,  
Когда весенний, первый гром,  
Как бы резвяся и играя,  
Грохочет в небе голубом.  
Ты скажешь: ветреная Геба,  
Кормя Зевесова орла,  
Громокипящий кубок с неба,  
Смеясь, на землю пролила<sup>3</sup>.

Венедикт Ерофеев этой записью обозначил также свою духовную связь с Игорем Северянином<sup>[1]</sup>. Ведь получившую широкую известность книгу своих стихотворений тот назвал «Громокипящий кубок», а эпиграфом к ней взял последнюю строфу тютчевской «Весенней грозы».

Короче говоря, у Александра Александровича Гениса было основание сказать: «По сути, Ерофеев перешёл границу между изящной словесностью и откровением. Пренебрегая злобою дня, Веничка смотрел в корень: человек как место встречи всех планов бытия»<sup>4</sup>.

Надеюсь, что после моих объяснений читатель согласится с названием книги: «Венедикт Ерофеев: Человек нездешний».

Чтобы разнообразить мои рассуждения по поводу отличия Венедикта Васильевича Ерофеева от многих его современников, обращусь к эссе Алексея Павлова «Венедикт Ерофеев: “Можешь не писать — не пиши”»: «Венедикт Ерофеев был одним из тех писателей, кто не мог не писать. И многие его книги попросту не укладывались в каноны столетиями назад созданных жанров. У него были удивительные глаза — как у ребёнка, с детской наивностью смотрящие на мир. Казалось, что в них — в этих глазах — выражалась и вся мировая скорбь, и жалость, которую завещал нам Христос на кресте. Какая-то христианская, самоотверженная жалость ко всему человечеству — миру хищническому, грубому, которого он сторонился. Так и пытался всю жизнь уединиться, забиться куда-то, сжавшись в комок. Но нет — как кафкианского героя, его всё равно находили, всё равно обвиняли в самых смертных грехах, на месте же судили и подвергали жестокой расправе. Просто потому, что это единственный удел любого обладателя чистого или, как сказал бы гончаровский Штольц, “золотого сердца любого праведника”. В том числе и современного»<sup>5</sup>.

Об особенностях своего дарования Венедикт Ерофеев высказался более решительно и откровенно: «Не смех со слезами, но утробное ржание с тихим всхлипыванием в подушку, трагедию с фарсом, музыку

со сверхпрозаизмом, и так, чтоб это было исподтишка и неприметно. Все жанры слить в одно, от рондо до пародии, на меньшее я не иду»<sup>6</sup>.

Венедикт Ерофеев понимал, что живёт «в эпоху всеобщей невменяемости»<sup>7</sup>. Чтобы его утверждение выглядело убедительнее, он сослался на авторитет — русского философа Николая Александровича Бердяева<sup>[2]</sup> и его труд «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической метафизики»: «Высшие ценности распинаются, низшие ценности торжествуют»<sup>8</sup>.

Редко встречаются среди моего поколения «Рыцари Святого Духа», о которых стихотворение Александра Михайловича Перфильева<sup>[3]</sup>, созданное в конце 1920-х годов в Риге и посвящённое Георгию Дмитриевичу Гребенщикову<sup>[4]</sup>, выдающемуся прозаику, сподвижнику Николая Константиновича Рериха:

Есть рыцари со сломанным копьём  
И со щитами, согнутыми в битвах...  
Их души — опустевший водоём,  
Не помнящий о песнях и молитвах.

Есть рыцари чужих нездешних мест,  
Жрецы давновраждебного нам храма...  
На их щите отверженном не Крест,  
А красная от крови пентаграмма...

Есть рыцари Железного Креста,  
Закрытые опущенным забралом,  
У них в сердцах закована мечта  
Стремлений к недоступным идеалам.

Есть рыцари, которым имя — месть:



Их сердце ко всему иному глухо...  
И лишь одним я жизнь готов принести —  
Смирением рыцарям Святого Духа.

Их жизнь убога, мудра и проста,  
Душа всегда на жертвенность готова,  
Не на щите они несут Христа,  
А в чистом роднике Живого слова...

Ты, давший мне глоток Живой Воды,  
Смиривший сердце Истиной благою,  
С тобой готов до Утренней Звезды  
Идти оруженосцем и слугою.

*(«Рыцари Святого Духа»)<sup>9</sup>*

Я понимаю, что время и мир, в котором жил Венедикт Ерофеев, не были настолько обоюдоострыми, как у Александра Перфильева, печатавшегося при жизни под псевдонимом Александр Ли. Однако в подходе к христианским ценностям их очень многое сближает. У обоих было одинаковое отношение к четырём каноническим Евангелиям, в которых содержится благая весть о спасении рода человеческого, провозглашённая Иисусом Христом и апостолами. В поздних «Записных книжках» Венедикта Ерофеева присутствует признание: «Евангелие для меня всегда было средством не прийти к чему-нибудь, а предостеречься ото всего, кроме него»<sup>10</sup>. Вероятно, он имел в виду себя, когда выписывал из римского философа-стоика Луция Аннея Сенеки<sup>[5]</sup>: «Несчастливая душа, исполненная забот о будущем»<sup>11</sup>.

В работе над книгой о Венедикте Ерофееве мне помогли рассказы о Венедикте Васильевиче и

советами, как композиционно выстроить повествование, Нина Васильевна Фролова, сестра писателя, и Галина Анатольевна Ерофеева, его невестка, не общавшаяся непосредственно со свёкром, но более двадцати лет прилежно изучающая его архив, который она спасла от гибели. Особо отмечу, что без содействия Галины Анатольевны Ерофеевой содержание этой книги обеднело бы во много раз.

Не будь постоянной помощи этих благожелательных людей, не знаю, что в итоге получилось бы из моей попытки воссоздать портрет Венедикта Ерофеева хотя бы в эскизном виде. Из тех, кто его знал с рождения, в живых осталась только сестра Нина Васильевна. Каждое её слово о брате было для меня дороже многих о нём диссертаций. Подолгу беседуя с ней, я ещё раз убедился, что генетическая теория подтверждает свою состоятельность и эффективность как в понимании происходящих на земле глобальных процессов развития жизни, так и в осмыслении передаваемых по наследству душевного склада и интеллектуальных способностей человека. В возрасте восьмидесяти восьми лет Нина Васильевна обладает памятью, которой позавидовали бы молодые женщины. К тому же её суждения о времени, о родителях, сестре и братьях, а также о многочисленных родственниках и обстоятельствах их жизни отличаются ясностью, сердечностью и естественным для любящей сестры желанием «спрямить острые углы» в биографии младшего брата.

Вот что Нина Васильевна рассказала о нём и его поэме «Москва — Петушки» в декабре 1999 года на страницах «Хибинского вестника»: «Эта вещь, которую американские исследователи называют не иначе как “Евангелие русского экзистенциализма”, стала не просто явлением в литературе. Для многих она стала олицетворением самого автора. На самом же деле

Венедикт не пил водку бочками, не пил коктейлей вроде тех, что описаны в его книге, и не напивался до беспамятства. Если бы Венедикт был похож на своего героя, он не смог бы написать ни одного произведения. И всё же большинство читателей не разделяют Веничку — героя “Петушков” и писателя Венедикта Ерофеева»<sup>12</sup>.

При работе мне очень помогло и общение с Венедиктом Венедиктовичем Ерофеевым, сыном Венедикта Васильевича. Венедикт Венедиктович также унаследовал от отца и матери ясный, непредвзятый взгляд на людей и общество. В разговоре с ним я понял во всех деталях и нюансах, в чём заключалась трагедия его самого и его родителей.

При написании этой книги я столкнулся с предполагаемой трудностью — отсутствием полных и документированных воспоминаний о Венедикте Ерофееве. Долгое время существовали всего лишь две мемуарные книги, написанные Натальей Александровной Шмельковой<sup>[6]</sup>, и коллективный сборник «Про Веничку», в котором о писателе вспоминают 24 человека, его близкие, друзья и знакомые. Большая часть воспоминаний о нём разбросана по газетам, журналам и альманахам. Вообще-то весь объём опубликованной мемуарной литературы о Венедикте Ерофееве невелик и до недавнего времени был явно недостаточен, чтобы создать психологический портрет, более или менее похожий на его многоликий образ.

Такая ситуация оставалась до выхода в свет в 2018 году в Редакции Елены Шубиной (Издательство АСТ, Москва) книги «Венедикт Ерофеев: Посторонний». Её авторы Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский ввели в научный оборот новые факты из жизни писателя, восстановив обширный круг знакомых

и друзей, с кем он спорадически или постоянно общался.

В первой биографии Венедикта Ерофеева писатель выведен как живой человек и представлен как определённая личность, абсолютно не идентичная его литературному персонажу. Этому содействовали уважение авторов к своему герою и произведённый ими в ходе исследования его жизни и творчества опрос большого количества людей, включая не только родственников и друзей, но и шапочных знакомых. В книге Лекманова, Свердлова и Симановского устранены многие (но далеко не все) белые пятна в жизни и творчестве Венедикта Васильевича Ерофеева. Уже одно это значительно упростило мою работу в восстановлении хронологической последовательности событий в неустроенном земном существовании автора поэмы «Москва — Петушки». Книга «Венедикт Ерофеев: Посторонний» — это правдивая история о писателе, остававшемся независимым художником в тоталитарном обществе.

Не могу также не назвать первую летопись жизни и творчества Венедикта Ерофеева, составленную Валерием Берлиным и опубликованную в 2001 году в альманахе «Живая Арктика» № 1 «Хибины — Москва — Петушки». Я узнал из этой работы очень многое из жизни писателя, не забывая, однако, о предупреждении авторов книги «Венедикт Ерофеев: Посторонний»: «...пользоваться этим источником следует с осторожностью: в нём содержатся многочисленные ошибки и стилистические вольности»<sup>13</sup>.

Также ценнейшим для меня источником, излагающим факты жизни семьи писателя, его самого и тех, с кем его сводила судьба, послужили книга Евгения Николаевича Шталя «Венедикт Ерофеев. Писатель и его окружение» (2018) и неизданные воспоминания Тамары

Васильевны Гущиной<sup>[7]</sup>, самой старшей из детей Василия Васильевича и Анны Андреевны Ерофеевых, носящей девичью фамилию матери. В воспоминаниях старшей сестры основные события жизни их семьи переданы достоверно и обстоятельно.

Старшая сестра Тамара была Венедикту Ерофееву ближе всех остальных родственников. Они понимали друг друга с полуслова. Это видно по его письмам и подтверждается Ниной Васильевной Фроловой. Встречались они не часто, ведь Тамара Васильевна жила за Северным полярным кругом, в городе Кировске. О многом в жизни они думали и рассуждали одинаково — мысль в мысль. К тому же общались — душа в душу. Сохранившиеся письма Венедикта Ерофеева Тамаре Васильевне Гущиной были опубликованы с некоторыми сокращениями в 1991 году в девятом номере журнала «Театр».

Нина Васильевна Фролова полагает, что в характерах старшей сестры и младшего брата было много общего. Добавлю: не только в характерах, но, если судить по тону писем Венедикта Ерофеева Тамаре Васильевне, и в отношении к людям, и в трезвом, незашоренном взгляде на советскую действительность.

«Воспоминания» Тамары Васильевны Гущиной о брате написаны с пониманием его литературных возможностей и с нескрываемым обожанием. Зная его любовь к книгам, она на протяжении многих лет высылала ему книжные новинки. Там, где она жила, купить их было намного проще, чем в Москве. Старшая сестра Венедикта Ерофеева пережила его на 17 лет, она умерла на девяносто первом году жизни.

Вот что рассказала мне о своей старшей сестре Нина Васильевна: «Личная жизнь у Тамары не сложилась. Помешала война. Те мальчики, с кем она дружила и училась, домой не вернулись. В конце войны

Тамара жила в Кировске и работала на почте. В свободное время принимала участие в клубной самодеятельности. Пела под гитару стихи собственного сочинения. Девушка она была талантливая, как говорят, с литературными и музыкальными данными. Однажды её отправили на лесозаготовки — на помощь заключённым. Условия для вольнонаёмной девушки были тяжёлые. Не столько из-за физической перегрузки, сколько из-за психологического напряжения. Её статья о красоте Севера, опубликованная в “Полярной звезде”, вернула её на прежнее место работы — на почту. В редакции “Полярной звезды” ей предложили уйти с прежней службы и стать корреспондентом газеты. Тамара отказалась. Писать что-то по заказу было не в её правилах».

К сожалению, Венедикта Ерофеева окружали не только хорошие люди. Во времена его литературного триумфа кого только вокруг него не вертелось. Да и в годы его безвестности рядом с ним всяких мерзавцев хватало. Австрийский поэт и драматург Франц Грильпарцер<sup>[8]</sup> был убеждён, что глубоко понять великих людей просто невозможно, не определив и не изучив тёмных личностей, находившихся в их окружении. С этим утверждением не поспоришь, настолько оно самоочевидно и соответствует действительности. При всём моём брезгливом отношении к подобным людям, прилеплявшимся к Венедикту Ерофееву, я не упускал их из виду в этом повествовании.

Я принял во внимание предупреждение критика Андрея Семёновича Немзера. Он пытался остановить тех, кто хотел бы написать книгу об авторе поэмы «Москва — Петушки»: «Всякая попытка осмысленного разговора о Венедикте Ерофееве обречена на провал.

Либо учёная тоска ползет, либо пошлость. Конечно, занудство и безответственность всплывут и в величаниях (им же несть числа), но тут хотя бы на героя сослаться можно: Веничка ведь, как боярыня с картины Крамского “Неутешное горе”, был одновременно скучным и легкомысленным, находя в этом сочетании высший смысл: “Да и зачем тебе ум, коли у тебя есть совесть и сверх того ещё вкус? Совесть и вкус — это уже так много, что мозги делаются прямо излишними”. Тянуться к такой субстанции с аналитическим аппаратом значит уподобляться легиону бесов, что терзали трепетную плоть очарованного странника, вводили в соблазны его смиренную душу, ставили хитрые препоны на пути к небесным Петушкам и в конце концов... <...> вонзили своё шило в самое горло”<sup>14</sup>.

Впрочем, характеристика Андрея Немзера, данная моему герою, своей односторонностью подтверждает наблюдение русского писателя и историка Николая Михайловича Карамзина<sup>[9]</sup>, общавшегося с гениями и сказавшего: «Талант великих душ есть узнавать великое в других людях».

А где сегодня найдёшь интеллектуалов, да ещё литературных критиков, с великой душой? Случись такое чудо, вряд ли в него кто-то поверит! В лучшем случае это будут просто добросердечные люди. А может быть, запелляционный вердикт Андрея Немзера — всего лишь очередная легенда о невозможности понять, что представляет собой Венедикт Ерофеев как писатель? Слово его творчество недоступно для глубокого и разностороннего осмысления. Оно и его создатель вроде чёрных дыр во Вселенной. Так стоит ли тратить силы для постижения непостижимого? Неплохой ход уйти от ответственности за любое высказанное суждение.

Действительно, существует загадка в появлении ни на кого не похожего писателя — Венедикта Ерофеева. Я не настолько самонадеян, чтобы обещать читателю этой книги её разгадку. Но и не настолько ограничен, чтобы не понять причины его мировой известности. Бесспорно одно. Как говорили в старину, житие Венедикта Васильевича было *неложно*, а чистота *нескверна*. До последнего своего часа Венедикт Ерофеев сохранял в себе острый слух ко всему, что рождалось в нём не размышлениями изворотливого ума, а стихийными движениями чуткой и одновременно избегающей вранья души. Прислушиваться к себе, вести с собой постоянный внутренний диалог было его постоянной потребностью.

Вот потому-то, как убеждена поэт и прозаик Ольга Александровна Седакова, «для каждого, кто знал Венедикта Ерофеева, встреча с ним составляет событие жизни»<sup>15</sup>.

Понятно, что автор поэмы «Москва — Петушки» человек не из массовки. Пабло Пикассо говорил: «Среди людей больше копий, чем оригиналов». Так вот: Венедикт Ерофеев из тех, кто принадлежит к незначительному меньшинству. Не забывал я также о пронизательном замечании И горя Марковича Ефимова, писателя, философа и историка. Оно касается друзей известных людей, оставивших о них воспоминания: «Друзья нашей юности — как много места они занимают в жизни! Мы радуемся встречам с ними, переживаем их болезни и неудачи, рвёмся помочь, гордимся их успехами, страдаем, когда они обижают нас или забывают о нашем существовании. Но иногда — один случай на миллион судеб — друг юности может выкинуть с нами вещь неслыханную и непредвиденную: завоевать мировую славу. И что нам тогда с ним делать?»<sup>16</sup>



Игорь Ефимов имел в виду своего друга Иосифа Александровича Бродского<sup>[10]</sup> и мемуарную о нём литературу. Он с писателем Яковом Гординым в 1964 году навестил будущего нобелевского лауреата в ссылке, в деревне Норенской Юношского района Архангельской области.

В самом деле, невозможно ждать от мемуариста, пишущего о хорошо известном ему человеке, какой-то объективности при тех чувствах, которые он испытывает к нему и его творчеству. К тому же стоит учитывать обострённое и придирчивое внимание огромной читательской аудитории к вышедшему из печати жизнеописанию признанного мировым сообществом гения. Трудно определить критерий отбора важнейших фактов и событий в жизни великого человека, а также найти верный ракурс и не раздражающую читателя интонацию при их описании.

Сказанное об Иосифе Бродском применимо ко всей документальной литературе о великих людях, к числу которых я также отношу Венедикта Васильевича Ерофеева. В ходе работы над книгой мои представления о писателе значительно расширили серьёзные литературоведческие исследования — в частности, диссертации Светланы Гайсер-Шнитман «Венедикт Ерофеев. “Москва — Петушки”», или “The rest is silence”», Александра Поливанова «“Псевдодокументализм” в русской неподцензурной прозе 1970— 1980-х годов», Инны Конрад «Фольклорные мотивы с семантикой смерти / возрождения в произведении Венедикта Ерофеева “Москва — Петушки”», Ирины Марутиной «“Москва — Петушки” Венедикта Ерофеева и “Школа для дураков” Саши Соколова в контексте русской литературы», Андрея Безрукова «Поэтика интертекстуальности в творчестве Венедикта Ерофеева: поэма “Москва — Петушки”», Натальи

Брыкиной «Художественная картина мира в прозе Венедикта Ерофеева», статьи Бориса Гаспарова и Ирины Паперно «Встань и иди», в которой текст поэмы Венедикта Ерофеева соотнесён с Библией и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского<sup>[11]</sup>. Многие мне объяснили о его жизни и творчестве работы Александра Гениса, Петра Вайля, Анатолия Иванова, Вячеслава Курицына, Олега Дарка, Алексея Васюшкина, Ливии Звонниковой, Натальи Живолуповой, Игоря Сухих, Николая Богомолова, Юрия Иосифовича Левина<sup>[12]</sup>, Марка Лйповецкого. Бесценным для меня источником информации стала вышедшая в 2019 году книга Евгения Шталя «Венедикт Ерофеев. Писатель и его окружение».

В результате моих бесед с сестрой Венедикта Ерофеева Ниной Васильевной Фроловой, его друзьями и знакомыми обнаружилось новые факты и прояснились некоторые события его непростой и многострадальной жизни.

Среди многих работ о Венедикте Ерофееве моё внимание особенно привлекла небольшая статья под названием «Дорогой подарок российскому народу». Она обращает на себя внимание искренностью чувств, прямотой мысли, живописностью слога и той почти не встречающейся в сегодняшней критике афористичной лапидарностью, с которой выражены мысли её автора. Эта статья принадлежит не литературоведу, а художнику из Мурманска Николаю Ковалеву и была напечатана в газете «Хибинский вестник» от 26 ноября 1999 года.

Прочитую из неё небольшой отрывок: «Ерофеев стал нашим Плавтом, Рабле, Ильфом и Петровым. Его повесть теплее самых сияющих образцов. Она сияет и зияет иначе... В ней есть нечто задушевное, святочное. Пир нищих, прижатых и... хотел сказать затравленных.

Но нас уже не травили. На нас просто сели тучным задом ЦК и Политбюро, и было не столько больно, сколько душно и смешно. В этой повести — уют взаимопонимания, встречи со своим человеком. И неважно, высасываешь ли ты пол-литру “Зоей” у забора или меланхолично принимаешь 150 коньяка перед обедом. Веничкина поэма не только для интеллигентных алкоголиков писана. Не станем подрезать ей крылья. В “Петушках” — великое братство замордованной интеллигентности с народной оболваненностью, тоской и живучестью. В обожествлении поллитры Венедикт Ерофеев близок Гаргантюа с его культом гульфика и пищеварительного тракта, но ещё затейливее и уж несомненно поэтичнее. Рецептúra его коктейлей поэтичнее. В золотой ряд апологетов пьянства и вина, в компанию, где Ли Бо, Омар Хайям, Бодлер, Давыдов, Кола Брюньон (герой одноимённой повести Ромена Роллана. — А. С.), вошёл полноправный Веничка (Советский Союз)»<sup>17</sup>.

Что сказать об этой статье? Вспоминается разве что русская пословица: «Мал золотник, да дорог».

Постоянно жить мифом и фанатично распространять его среди других людей чревато для здоровья — как духовного, так и физического. Мифы не должны становиться нормой жизни. Не понаслышке знаю, что для людей и общества ничем хорошим такая ситуация не заканчивается. Приняв во внимание, как трудно вырваться из могучей стихии мифотворчества, я попытался в меру своих возможностей обнаружить вслед за Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым и Ильёй Симановским, авторами книги «Венедикт Ерофеев: Посторонний», новые документальные свидетельства о писателе его современников. Надеюсь, что введённые мною в текст книги неизвестные факты

жизни и творчества писателя не окажутся крошками с барского стола.

К тому же я рисковал впасть в искушение и окутать образ Венедикта Ерофеева туманом литературоведческой зауми. Вот её-то, надеюсь, мне в какой-то мере удалось преодолеть.

Не отрази Венедикт Ерофеев столь беспощадно, основательно и своеобразно советскую повседневную жизнь, его слава 90-х годов прошлого века не дождалась бы до наших дней. Теперь она даже укрепилась за счёт происшедших в России изменений. С ходом времени глубже и острее понимаешь значимость его творчества для сегодняшней русской литературы. Ведь написанная им поэма — произведение, относящееся к книгам, которые американский классик Генри Миллер<sup>[13]</sup> называл «вдохновенными и вдохновляющими»<sup>18</sup>. К какому жанру, интересно знать, такое литературное чудо относится?

Пётр Львович Вайль<sup>[14]</sup> и Александр Александрович Генис в эссе «Страсти по Ерофееву» убеждены, что «по своей литературной сути “Москва — Петушки” фантастический роман в его утопической разновидности»<sup>19</sup>. Для обоснования своего заключения они предлагают, казалось бы, вполне убедительные аргументы. Во-первых, не надо особо заморачиваться, всматриваясь в развитие фабулы этого шедевра, чтобы понять, что «Венедикт Ерофеев создал мир, в котором пьянство — закон, трезвость — аномалия, Венечка — пророк его». Во-вторых, подобные пертурбации несложно, как полагают критики, объяснить: созданный Творцом мир «не может жить с сознанием ущербной неполноты своего бытия»<sup>20</sup>. И главный вывод из всего сказанного выше: «В отличие от Творца, Ерофеев творил не на пустом месте: мир уже был, но мир был плох, и следовало создать его заново»<sup>21</sup>.

Им же принадлежит, на мой взгляд, более точное определение жанра поэмы «Москва — Петушки». Вместе с тем оно же представляет суждение, объясняющее суть такого удивительного явления, как Венедикт Ерофеев:

«Чтобы найти художественное решение для такой задачи, как построение философской модели сегодняшней России, Ерофеев создаёт свою поэтику, свою логику, свой стиль и язык. Явление это настолько феноменальное, что не укладывается в русло литературного процесса. Ерофеев владеет уникальным творческим инструментом, вряд ли пригодным для повторного использования. Он один работает в жанре, лучшим названием которого, пожалуй, будет его простая фамилия». Прочитанные мною строки предваряют книгу сочинений Венедикта Ерофеева «Оставьте мою душу в покое: Почти всё»<sup>22</sup>.

В искусстве живописи работа над портретом требует немалых усилий. Прежде всего необходим цепкий и намётанный глаз. Наблюдательный художник легко схватывает характерные черты портретируемого. Таким проницательным взглядом обладал, например, Валентин Серов.

Мастерство и интуиция ведут художника к конечной цели — созданию «живого» портрета человека с его неповторимой жизнью и судьбой. Понятно, что при отсутствии вдохновения портрет на холсте не «задышит» и останется мёртвым, представляя случайное соединение линий и красок.

С теми же самыми трудностями может столкнуться любой, кто попытается восстановить в слове жизнь замечательного человека. Помимо них для писателя существует ещё одно мешающее ему обстоятельство. Художнику оно, напротив, не во вред, а в помощь.

В неизданных «Записных книжках 1979—1980-х годов» Венедикт Ерофеев обращает внимание на этот парадокс (в блокноте 1979 года): «Хорошо у Лескова в “Несмертельном Головане”: “Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу”»<sup>23</sup>. Этот рассказ имеет подзаголовок: «Из рассказов о трёх праведниках».

Меня эта опасность не подстерегала. Я никогда не встречался с Венедиктом Ерофеевым, хотя у нас с ним оказались общие знакомые, приятели и даже друзья.

Из всего, мною прочитанного, наиболее точные и достоверные о нём воспоминания оставили его сёстры Тамара Васильевна Гущина и Нина Васильевна Фролова, а о последних годах жизни — Наталья Александровна Шмелькова, выросшая в семье выдающегося учёного-геохимика Александра Ильича Перельмана<sup>[15]</sup>.

Для Венедикта Васильевича старшая сестра Тамара была духовно близким человеком, а Наталья Шмелькова — заботливым и сердечным другом, появившимся незадолго перед его смертью. Произошло чудо, о котором писал Александр Сергеевич Пушкин: «И может быть — на мой закат печальный / Блеснёт любовь улыбкою прощальной»<sup>24</sup>.

Однако не подумайте, что это чувство свалилось на его голову долгожданным счастьем. Скорее оно было радостью, что его, смертельно больного, ещё могут полюбить. У него появилась надежда выжить. Вместе с тем его изматывала борьба с самим собой. Венедикт Ерофеев изо всех сил пытался забыть ту, которую когда-то, ещё в юности, полюбил и к ней одной постоянно возвращался в своих мыслях — Юлию Рунову, свою страстную любовь. Не получалось выбросить её из памяти, как он ни старался.

Что касается отношений с Натальей Шмельковой, то светлые промельки в них, конечно же, были и даже

моментами переходили в ослепляющие вспышки. По крайней мере, его старшая сестра Тамара Васильевна Гущина в своих неизданных «Воспоминаниях» отдаёт должное этому чувству: «Знакомство с Натальей Шмельковой состоялось в 1987 году (они познакомились двумя годами раньше. — А. С.). Это было его последнее увлечение. И довольно сильное»<sup>25</sup>.

Большей частью музы великих писателей непроходимо глупы. Но бывают счастливые исключения.

Наталья Шмелькова написала и издала об авторе поэмы «Москва — Петушки» книгу-размышление, книгу-боль, книгу-воспоминание — «Последние дни Венедикта Ерофеева», куда вошли её дневниковые записи с момента их знакомства в 1985 году на квартире московского журналиста Игоря Ильича Дудинского и до дня смерти писателя 11 мая 1990 года. Книга Натальи Шмельковой не дневник в прямом смысле этого слова, а созданное после его смерти сочинение на основе её воспоминаний и дневниковых записей. Объёмное содержание этой книги шире её названия и не уместается в обозначенные хронологические рамки. Эту книгу мне не с чем сравнить. По скрупулёзной передаче высказываний Венедикта Ерофеева на разные темы и умению их анализировать, по отбору важных фактов его жизни и их толкованию она превосходит все другие сочинения о писателе. Для меня книга Натальи Шмельковой стала вроде навигатора, помогающего найти кратчайший путь к намеченной цели — к пониманию личности моего героя и его творческой судьбы.

Вот одно из точных наблюдений Натальи Шмельковой, относящееся к Венедикту Ерофееву: «...при всей его широте и доброте, он — настоящий разрушитель. Всё спокойное, устоявшееся в один прекрасный момент начинает его раздражать. И тогда

— не избежать провокаций с его стороны на ссору и даже на разрыв. Может быть, ему необходимо это как писателю? Для сюжета? Даже меня вынудил во время ссоры наговорить ему кучу гадостей. Он был страшно возмущён, даже вскипел: “Я тебе этого никогда не прощу. Мне никто подобного ещё не говорил”. А сам, как мне показалось, где-то в глубине души, может быть и сам того не сознавая, был рад этому»<sup>26</sup>.

Из других литературных произведений, основательно прояснивших мне личность Венедикта Ерофеева, я назову книги Елены Игнатовой «Обернувшись» (2009) и Марка Фрейдкина «Каша из топора» (2009), эссе Ольги Седаковой, Игоря Авдиева, Виктора Баженова, а также беседу Вадима Тихонова с Ольгой Кучкиной.

При всём своём провокативном характере, умении острым словом зацепить человека, Венедикт Ерофеев никогда не был мизантропом, циничным и посторонним по отношению к людям. Посторонним ни в прямом смысле этого слова, ни в его экзистенциальной интерпретации. Например, в том значении, которое вкладывал в это понятие французский писатель Альбер Камю<sup>[16]</sup>. В его романе «Посторонний» он описывает поступки равнодушных людей в равнодушном обществе. Герой романа Марсо в абсурдном мире не видит ни смысла, ни Бога. Для него существует лишь одна истина — истина смерти. Именно она пробуждает его сознание. Герой поэмы «Москва — Петушки» и её автор — антиподы персонажа романа французского писателя.

Больше к ним, писателю и его тѣзке-персонажу, подходит определение *отрешѣнные*. При этом они не безучастны к окружающим их людям, а раздумчивы и углублены в себя. Другими словами, они отчуждены от мирской суеты, но не от самого неохватного,



загадочного и трагического мира с его обитателями. Именно в таком состоянии духовной свободы они могут чувствовать чужое горе, как своё. Венедикт Ерофеев не скрывал, что он больше всего ценит в людской жизни. В одном из своих блокнотов он записал: «Сердобольность, которая выше разных “Красота”, “Истина”, “Справедливость” и прочих понятий более или менее условных»<sup>27</sup>.

Как не раз отмечает в своей книге «Последние дни Венедикта Ерофеева» Наталья Шмелькова, автор поэмы «Москва — Петушки» эмоционально реагировал на те или иные происшедшие события, в которых не принимал непосредственного участия. Вот одна из её записей, подтверждающая, что чувство сострадания сопрягалось в нём с чувством личной ответственности за происходящие в стране беды: «Ерофеев не оставался равнодушным к любым трагическим событиям. Помню, как 5 (?) мая 89 года по телевизору передали, что в районе Уфы сошёл с рельсов поезд. Как ему показалось, я выслушала это сообщение с несколько рассеянным видом. Он возмутился: “Ты как будто посторонняя, как будто по ту сторону, а я, как всегда, рыдаю”»<sup>28</sup>. В книге Натальи Шмельковой описание событий жизни Венедикта Ерофеева отмечено знаком откровенности, скрупулёзно точным воссозданием всего того, что она увидела, услышала и эмоционально пережила. Нельзя не восхититься также её пронизательностью в характеристике людей из их ближайшего окружения. В «Последних днях Венедикта Ерофеева» раскрывается его личность во всех её неожиданных проявлениях. Я убеждён, что любовь Натальи Шмельковой хотя бы на «чуть-чуть» продлила ему жизнь.

Венедикт Ерофеев записал на память совет французского писателя и философа Дени Дидро<sup>[17]</sup>: «Когда хочешь писать о женщине, обмакни перо в

радугу и стряхни пыль с крыльев бабочки»<sup>29</sup>. Этому совету в личных письмах Юлии Руновой и Наталье Шмельковой, как я предполагаю, он следовал, а вот, судя по его художественным произведениям (особенно в повести «Записки психопата»), напрочь о нём забывал.

В книге Натальи Шмельковой я не обнаружил ни одного суждения, дискредитирующего её возлюбленного. При всех, даже двусмысленных, жизненных ситуациях она всегда его оправдывает и защищает. Вот, например, её рассуждения на тему «Венедикт Ерофеев и женщины». Ведь отношение мужчины к женщине — ясный индикатор качества его духовной жизни.

В нескольких абзацах Наталье Шмельковой удаётся передать, насколько деликатен и нравственен в своих чувствах и поступках был автор поэмы «Москва — Петушки»: «Натурой он был увлекающейся. Считал себя “врагом всякого эстетизма”, любил женскую красоту и даже придавал значение одежде: “У вас, женщин, внешний вид очень зависит от того, что вы носите. А на нас — что ни надень”. Сам одевался скромно, не любил обновок, чувствуя себя уютнее в старой одежде. Он не признавал в женщинах вульгарности, бестактности, озлобленности. Цenia женственность, говорил: “К чему всё остальное? Уж я-то в стиле что-то понимаю”. Ерофеев не переносил, когда о женщинах говорили непристойности. Рассказывал, как, будучи свидетелем какого-то циничного разговора, ушёл, “чуть ли не набив морду”. “Как можно так говорить о женщине!” — эмоционально жестикулируя, возмущался он. По его рассказам, он ещё с юношества не признавал кратковременных увлечений, ценил преданность, не прощал измен»<sup>30</sup>.

Другое дело, что в своей прозе он не избежал общей манеры в изображении женщины в авангардном искусстве. Максим Карлович Кантор, писатель, художник, историк искусств, обращает внимание на «процесс развенчания Прекрасной Дамы и превращение её в уличную девку». В своём знаменитом романе «Учебник рисования» он пишет: «Это именно её, Прекрасную Даму, выволакивал на панель Лотрек<sup>[18]</sup>, ей задирали ноги ван Донген<sup>[19]</sup>, её выкладывал на подушках Матисс<sup>[20]</sup>, её поимел в парижской подворотне Миллер. Это её, Прекрасную Даму, изображали с бокалом абсента и в спущенных чулках, это ей адресовали унижительные определения поэты»<sup>31</sup>.

В своём первом прозаическом произведении «Записки психопата» Венедикт Ерофеев не уступает своим предшественникам в развенчивании Прекрасной Дамы. Среди распространённых символов советского общества она значится как «Девушка с комсомольским значком на груди», она же «Девушка с веслом». Он вволю порезвился в описании Ворошниной и Музыкантовой, превратив знакомых ему по школе в Кировске и Московскому университету скромных комсомолок в пьянчужек и разнузданных шлюх. Для сокрушения морали ханжеского общества ему были нужны именно такие шокирующие читателя отвязные и распутные девицы.

Да, Венедикт Ерофеев был сведущ в том, что происходит в современной западной литературе и кое-что для себя оттуда взял. Тем не менее, используя её сюжеты и образы, он развивался как русский писатель. Потому-то всё его творчество пронизано атмосферой русской классической литературы. Её мыслями, идеалами, темами и коллизиями. Без её помощи и духовного воздействия не состоялся бы писатель Венедикт Ерофеев. И мы, читатели, так никогда и не

узнали бы, насколько осмысленной и глубокой была его духовная жизнь при всех её будничных тяготах и изломах. О почитании русской литературной классики свидетельствует запись в одной из его тетрадей. Это ещё и пожелание, какими читателями Венедикт Ерофеев хотел бы видеть нас: «И главное: научить их чтить русскую литературную классику и говорить о Ней не иначе как со склонённой головой. Всё, что мы говорим и делаем, а тем более всё, что нам предписано “сверху” говорить и делать, — всё мизерно, смешно и нечисто по сравнению с любой репликой, гримасой или жестом Её персонажей»<sup>32</sup>.

Уже по этому краткому высказыванию понимаешь непреходящую тоску Венедикта Ерофеева по героям русской классики из XIX века. При всех их человеческих слабостях, пороках и страстях они представлялись ему более естественными, самостоятельными и живыми, чем его «правильные» современники, зомбированные безбожной моралью и обманной идеологией. Нетрудно заметить, что автор поэмы «Москва — Петушки» был весьма привязан к «старорежимному» времени. Отдавал предпочтение его мыслителям и писателям, был «влюблён во всех этих славных серебряно-вековых ребятишек, от позднего Фета до раннего Маяковского, решительно во всех, даже в какую-нибудь трухлявую Марию Моравскую, даже в суконно-камвольного Оцупа». Продолжу перечисление литературных симпатий Венедикта Ерофеева. Тех, в кого он был влюблён: «А в Гиппиус — без памяти и по уши. Что же до Саши Чёрного — то здесь приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания. Вместо влюблённости — закадычность. И “близость или полное совпадение взглядов”, как пишут в коммюнике»<sup>33</sup>.

Помимо Немзера и некоторые другие критики убеждены, что действительный образ художника во

всей его полноте и при всей противоречивости его натуры неопишешь и воссоздать его невозможно. А если и опишешь по всей правде и совести, то читателя непременно напугаешь. И он после такого жизнеописания книжку твоего героя в руки не возьмёт. Может быть, они в чём-то правы.

Я подозреваю, что не всем моим соотечественникам его сочинения пришлись по вкусу. Могу понять, что выбранный им образ жизни кого угодно приведёт в ужас. Не стоит забывать, однако, что, как говорил ценимый им Иоганн Вольфганг Гёте<sup>[21]</sup>, «бояться горя — счастья не знать»<sup>34</sup>. Счастьем, как он его понимал, была если не вся, то большая часть его жизни.

Существуют воспоминания о Венедикте Ерофееве, в которых некоторые факты его биографии излагаются заведомо тенденциозно. Я объясняю такие случаи либо явной или скрытой к нему неприязнью, либо истеричной и ревнивой любовью. А чаще всего причина подобного злоязычия — обычная зависть. Эти воспоминания, в основном устные, широко распространены не только в окололитературной среде. К таким материалам я относился с большой осторожностью.

Восстанавливая жизнь Венедикта Ерофеева, я также вспоминал своё давнее прошлое. Ведь мои молодые годы пришлись на то же самое время, когда надежды казались несбыточными, а жизнь пузырилась и фыркала, как кипящая вода в чайнике.

Жизнь и судьба Венедикта Ерофеева обескураживают тех людей, кто отказывается признать верховенство силы духа над властью тела. Литературное наследие, которое он оставил потомкам, подтверждает, что им успешно выполнена миссия творческого человека. Что это за миссия, чётко и коротко сформулировал в отношении гения другого времени уже однажды процитированный мною Франц

Грильпарцер, живший в XIX веке: «Моцарт даёт связь с всеобщей жизнью дня сегодняшнему».

О том, как понимал эту всеобщую жизнь мира Венедикт Ерофеев и как она соотносилась с жизнью его родины и собственной судьбой, — эта книга. Надеюсь, что она не будет восприниматься читателем очередной о нём легендой. Я подозреваю, что многие из них имеют смутное представление о поэме «Москва — Петушки» и её авторе. Они никак не могут понять, в чём, собственно, мудрость этого произведения. По правде говоря, я сам лет двадцать пять назад находился в таком же неведении. Разумеется, я оценил неизвестного мне автора как человека талантливого и парадоксально мыслящего. Однако не увидел религиозно-философского подтекста поэмы. Намного проницательнее меня оказалась Белла Ахатовна Ахмадулина<sup>[22]</sup>, вместе с мужем Борисом Асафовичем Мессерером приехавшая в Париже 1976 году. Она и Мессерер впервые прочитали поэму «Москва — Петушки» в доме учёного-слависта, литературоведа и переводчика Степана Николаевича Татищева<sup>[23]</sup>, где остановились на пару ночей: «Степан дал нам, на одну ночь прочтения, неотчётливую машинопись повести “Москва — Петушки”, сказав, что весьма взволнован текстом, но не грамотен в некоторых деталях и пока не написал рецензию, которую срочно должен сдать в издательство. Утром я возбуждённо выпалила: “Автор — гений!” Так я и Борис впервые и навсегда встретились с Веничкой Ерофеевым и потом (сначала Борис) вступили с ним в крайнюю неразрывную дружбу»<sup>35</sup>.

## **Глава вторая**

# **ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРЬКО**

Венедикт Васильевич Ерофеев, автор поэмы «Москва — Петушки», повести «Записки психопата» и трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», был госпитализирован 10 апреля 1990 года в одноместную палату №2317 на двадцать третьем этаже Онкологического центра им. Н. Н. Блохина, что на Каширском шоссе, для проведения лучевой терапии. Однако из-за его тяжёлого состояния эта процедура была отменена. Её заменили наркотическими анальгетиками. Помочь ему уже ничем не могли.

Его земной путь завершился утром 11 мая 1990 года, в 7 часов 45 минут. Через пять месяцев и 13 дней Венедикту Васильевичу Ерофееву исполнилось бы 52 года.

Пётр Вайль и Александр Генис были одними из первых, кто отдал должное художественному дару автора оригинальных по стилю и содержанию произведений. Они попытались понять и оценить такое неожиданное и уникальное для русской литературы явление, как Венедикт Ерофеев. И, надо сказать, с необыкновенной проницательностью выявили в нём самом и его творчестве устремления, совершенно нетипичные для психологии советского человека. То, что сразу выделило его среди многих других авторов, *составляло сущность его личности и новизну его прозы.* В своём эссе 1982 года «Страсти по Ерофееву» они убедительно объяснили, почему поэма «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева без особых усилий рекламы привлекла к себе внимание читателей во многих странах: «Сколько бы книг ни написал Венедикт

Ерофеев, это всегда будет одна книга. Книга алкогольной свободы и интеллектуального изыска. Историко-литературные изображения Венички, как выдумки Архипа Куинджи в живописи, — не в разнообразии, а в углублении. Поэтому вдохновлённые Ерофеевым “Страсти” — не критический опыт о шедевре “Москва — Петушки”, но благодарная дань поклонников, романс признания, пафос единомыслия. Знак восхищения — не конкретной книгой, а явлением русской литературы по имени “Венедикт Ерофеев”»<sup>1</sup>.

Сам писатель стал широко известным в родной стране только за два года до смерти.

Венедикт Ерофеев знал, что от смерти не уйдёшь, и записал в одной из своих «Записных книжек»: «Когда Господь прибирает нас к рукам — против Него нечего возразить»<sup>2</sup>. Процитирую ещё две другие, откуда-то взятые им реплики па ту же тему. Они напоминают указания вышестоящих нижестоящим, обязательные для исполнения. Венедикту Ерофееву категоричность была не присуща. Эти реплики принадлежат не ему, а другим литературным классикам. В них указана продолжительность жизни людей, к социально-психологическому типу которых он, по-видимому, относил и самого себя: «Байрон говорит, что порядочному человеку нельзя жить более 35 лет, Достоевский говорит: 40»<sup>3</sup>.

У меня создалось впечатление, что Венедикт Ерофеев вообще не рассчитывал на долгую жизнь. Если думал бы иначе, то не стал бы шарить по книгам и записывать в блокнот подобные советы. Нашёл бы у великих людей более оптимистические высказывания о том, что долгая жизнь хорошему человеку — в радость, а плохому — в мучение. С годами Венедикт Васильевич, как мне представляется, склонялся к пушкинскому ощущению жизни:



Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, зачем ты мне дана?  
Иль зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена?<sup>4</sup>

Умирал он мучительно и долго. Однако не в неизвестности, а на пике славы. Своей неожиданно пришедшей популярностью не обольщался. В последние годы даже ею тяготился. Прочитал у Оноре де Бальзака, что этот скоропортящийся продукт людского честолюбия требует осторожного и внимательного к себе отношения. Стоит дорого, а вот сохраняется с трудом.

Был Венедикт Ерофеев терпим к человеческим недостаткам. Перед другими людьми не заносился. Понимал, что гордыня ни к чему хорошему не приводит. Он был мудр, ироничен, обходителен, а когда того хотел, обаятелен. Знал по собственному опыту, что люди в большинстве своём «действуют под влиянием заблуждения, но далеко не из подлости»<sup>5</sup>. Не потому ли он был снисходителен к вульгарной трактовке читателями и критиками своих сочинений. Реагировал на восторги почитателей своеобразно — осторожно подливал масло в пламя их восторженных эмоций. Помнил, что степные пожары тушат встречным огнём. При этом знал, что не стоит перебарщивать, иначе сам ненароком сгоришь раньше отведённого судьбой срока.

Отличался Венедикт Васильевич от многих людей одной особенностью — невероятной памятью, которая, как водоворот, затягивала в себя всё, что он слышал, прочитал, на что смотрел и чего касался руками. Эти захваченные им частицы собственной жизни и чужого

опыта крутились в его сознании, как в барабане стиральной машины, уже существующие вне всякой иерархии, но находившиеся теперь в его безраздельной власти. Питать его мысли и чувства — вот в чём состояла их *дхарма* (от санскритского корня *дхар* — держать, поддерживать). Понятие это, рождённое опытом многих поколений индийцев, из-за своей принципиальной многозначности непереводимо на другие языки. Оно закреплено Творцом за всем живым и неживым, что люди называют сущим. Дхарма таким образом — это скрепы сущего. Нарушение дхармы — преступление космического масштаба. В этическом смысле дхарма — это правда (*сатья*), заслуга (*пунья*) и благо (*кушала*). Дхарму возможно трактовать как предназначение, как внутренний долг каждого человека, каждой материальной частицы<sup>6</sup>.

Венедикт Ерофеев был человеком наблюдательным и жадным до новых впечатлений. Как-то отметил в одной из «Записных книжек 1979 года»: «Я на мир не смотрю, а глазею на него»<sup>7</sup>.

Была у него привычка на протяжении нескольких десятилетий в беглой, полудневниковой форме записывать многое из того, что его заинтересовало из увиденного, услышанного и прочитанного. По этим сохранившимся записям в многочисленных блокнотах восстанавливается весь спектр его духовных и житейских интересов. Венедикт Ерофеев обращал внимание на всё, что имеет отношение к личности человека, его взаимоотношениям с другими людьми и миром природы. Понятно поэтому, почему он пытался узнать как можно больше о жизни людей выдающихся. Главным образом его интересовали те из них, кто не соответствовал расхожим представлениям о гениях. У него множество выписок о патологических нарушениях в психике этих людей, причиной чему были либо

наследственность, либо те или иные заболевания. Этот интерес возник в нём не ради утоления праздного любопытства, а из-за желания понять, почему даже самые известные и почитаемые политические деятели, писатели, художники, музыканты всех времён и народов несовершенны и в какие-то моменты своей жизни выглядят малоприятными, опасными и даже жалкими в глазах современников и потомков. Венедикт Ерофеев любил покопаться, как на городской свалке, в истории человечества и в биографиях её творцов. На что-нибудь да натыкался, всякий раз обнаруживая для себя много полезного, любопытного и поучительного. Особенно его привлекали два века: XIX и XX. Ему не терпелось узнать, что ждёт за горизонтом его самого и мир, в котором он живёт.

Венедикту Ерофееву был присущ взгляд на наблюдаемые им события в перспективе их дальнейшего развития. Надо отметить, что ничего хорошего писатель не предвидел, о чём свидетельствует выписка в его тетради из статьи 1870-х годов Николая Николаевича Страхова<sup>[24]</sup>, философа, публициста, литературного критика: «Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумением всё думаем, что история ведёт к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье, а вот она приведёт нас к крови и огню, к такой крови и такому огню, каких ещё мы не видели»<sup>8</sup>.

Автор поэмы «Москва — Петушки» знал, что «живёт в эпоху всеобщей неменяемости»<sup>9</sup>. Полагаю, что он считал необходимым для писателя прочитать как можно больше книг своих великих предшественников. При этом понимал, что переусердствовать в этом увлекательном деле — будет себе дороже.

Тут самое время вновь вспомнить американского прозаика Генри Миллера, чьи произведения он знал по

самиздату и чьё имя мелькает в его неизданных блокнотах: «...из-за нашего рабского чтения мы несём в себе столь много сущностей, столь много голосов, что подлинная редкость — человек, способный говорить собственным голосом»<sup>10</sup>.

Венедикт Ерофеев умел сосредоточиться на тех вопросах, которые его интересовали в данный момент жизни. В этом можно убедиться, читая его выписки из чужих источников, комментарии к ним и запоминающиеся перлы мудрости. Его почитатели, к которым я, естественно, отношу и себя, разбирая в его «Записных книжках» огромный массив цитат и рассуждений на разные темы, могут с лёгкостью обмануться и приписать любимому автору то, что ему не принадлежит.

В собственных прогнозах, однако, Венедикт Ерофеев проявлял осмотрительность и старался не делать скоропалительных выводов. И вряд ли предвидел ближайшее незавидное будущее кого-то из своего окружения. Хотя знал же: одна беда влечёт другую!

Часто его иронические шуточки по поводу своей смерти и ухода в мир иной других людей были, что называется, на грани, за которую ему не следовало бы переходить. Как, например, вот это высказывание в духе чёрного юмора: «Я ускорил смерть нескольких человек. После операции я сказал, что непременно доживу до Крещенья 1986 года, и два моих сопалатника умерли от смеха».

Всё оказалось намного трагичнее, чем он мог бы себе представить. Через несколько лет после его смерти покончили жизнь самоубийством его вторая жена Галина Павловна Ерофеева-Носова<sup>[25]</sup> и возлюбленная Яна Щедрина, с которой Галина познакомилась в психиатрической больнице и привела в

их дом. Галина выбросилась с балкона их квартиры на тринадцатом этаже, а Яна прыгнула в пролёт лестничной клетки, расположенной на двенадцатом этаже. Погиб в автомобильной катастрофе в июне 2001 года его близкий друг Игорь Ярославович Авдиев, прототип Черноусого, героя поэмы «Москва — Петушки». Спился с круга, как говорили в старину, и умер при невыясненных обстоятельствах Вадим Тихонов, «любимый первенец» автора. Именно ему посвящены «трагические листы» поэмы, как Венедикт Ерофеев обозначил страницы своего главного произведения. Алкоголь также разрушил жизнь Валентины Васильевны Зимаковой<sup>[26]</sup>, его первой жены, матери их единственного сына, и многих других его друзей и приятельниц.

Существовала, впрочем, одна особенность в его с ними отношениях. Он был, обращусь к словам Михаила Юрьевича Лермонтова, «опорой в их печальной судьбе». Пока он жил, жили они. Не стало его — не стало их. Пережила его разве что «комсомольская богиня» Юлия Рунова, которую Венедикт Ерофеев любил до своего последнего часа. Но это скорее счастливое исключение. В конце жизни Венедикт Ерофеев с некоторой гордостью и явной иронией высказался о себе: «Я — человек вопиющий»<sup>12</sup>. А ведь задолго до этого громкого заявления он думал, что умрёт от скромности и в бедности.

Он вошёл в самостоятельную жизнь во второй половине 1950-х — начале 1960-х годов. Это было время так называемой *оттепели* — определение этого периода советской истории принадлежит Илье Григорьевичу Эренбургу<sup>[27]</sup> — время надежд и воскрешения из небытия безвинно погибших и несправедливо забытых людей. Это время вызвало брожение в умах советских людей. Тогда же постепенно возвращались к читателям

выдающиеся русские поэты и прозаики дореволюционной и послереволюционной поры. Именно они «вживе и посмертно возвышались над горизонтом нашей поэзии»<sup>13</sup> и прозы. Вновь зазвучала в концертных залах поэзия Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама. В букинистических магазинах появились сборники Николая Гумилёва, Зинаиды Гиппиус, Игоря Северянина, Евгения Замятина, Максимилиана Волошина, Исаака Бабеля, Андрея Платонова, Михаила Зощенко и многих других полузабытых, ошельмованных и молодёжи совершенно неизвестных писателей.

Венедикт Ерофеев не был аполитичным человеком. Он мог бы подписаться под размышлениями писателя и философа Григория Соломоновича Померанца<sup>[28]</sup>, отчима его друга и собеседника Владимира Сергеевича Муравьёва<sup>[29]</sup>: «Перелом наступил вместе с *оттепелью*. Сперва совершенно незаметно, без всяких новых идей — как новое построение, стиль жизни, ещё не выраженный в понятиях. Понятия пришли потом и сложились в теорию, согласно которой всякое политическое движение — бесовщина и всякая революция — зло. <...> И католики, и протестанты, воцерковлённые до ушей и воюя за веру, очень далеко отступили от десяти заповедей. Но вот что отличает нашу революцию и именно нашу, а не английскую или американскую: она попросту отменила нравственный опыт трёх тысяч лет. Грешат все, но катастрофой была отмена самого понятия “грех”. Как ни страшно любое насилие, ещё страшнее насилие “по совести”: нравственно то, что полезно революции»<sup>14</sup>.

В литературной среде возникли надежды на взаимопонимание с официозом. Однако этот, казалось бы, намечавшийся компромисс оказался иллюзией.

Власть не собиралась уступать кому-либо своё место под солнцем.

Прекраснодушным мечтаниям молодых писателей того времени не суждено было сбыться. Повседневная жизнь советского общества, избавленная, как тогда говорили, от массовых нарушений социалистической законности, продолжала идти обычным для неё державным шагом, однако результаты её деятельности не соответствовали тем обещаниям, что объявлялись с трибун партийных конференций и съездов.

Существующая повседневность — в общем и в деталях — большей частью контрастировала с её художественным изображением в поэзии и прозе. Мир Страны Советов, объявленный его создателями лучшим из миров, таковым не оказался. К тому же в межличностных отношениях он унаследовал черты старого мира: чиновничество, двурушничество и вороватость. А то, что создавалось в неангажированной литературе, не могло быть опубликованным в СССР. Характерна для тех дней «памятка», которую оставлял для своих сотрудников поэт и редактор журнала «Новый мир» Александр Трифонович Твардовский<sup>[30]</sup> на рукописях молодых авторов, предлагавших ему для издания свои произведения: «От публикаций воздержаться, но связи с автором не терять»<sup>15</sup>. Связь эта, может быть, и оставалась, да вот никакого практического толка от неё не было.

Александр Твардовский хорошо знал, что так называемыми *инстанциями* дозволено, а что запрещено. Однако не мог он уже переступить через себя и проявлять, как прежде, артистичность и элегантность в общении с советскими вельможами. Силы ещё оставались, а вот терпение лопнуло, чтобы всякий раз по-хитрому их околпачивать. 24 марта 1966 года он записал в тетради: «По должности “партийное

искусство” — прибежище всего самого подлого, изуверски-лживого, своекорыстного, безыдейного по самой своей природе (Вучетич, Серов, Маковский, Софронов, Грибачев, — им же несть числа)»<sup>16</sup>.

В конце концов он был отстранён от руководства журналом «Новый мир». Как вспоминал литературовед, критик и друг поэта Андрей Михайлович Турков<sup>[31]</sup>, Александр Твардовский сочувственно встретил Пражскую весну. Это была последняя попытка создать социализм с человеческим лицом. На весь мир прозвучало письмо-манифест чешских писателей «2000 слов» с призывом к укреплению демократических свобод и раскрепощению печати. Советские танки в августе 1968 года на улицах и площадях мирной Праги развеяли его последние иллюзии. Венедикт Ерофеев вносит в блокнот запись: «А. Твардовский (1968): “Что делать мне с тобой, моя присяга?”»<sup>17</sup>.

Андрей Турков описал состояние Александра Твардовского тех дней: «В августовскую “страшную десятидневку” он сидел у приёмника, “слушал... курил... плакал...”. И в тетради тех дней — строки, захлебнувшиеся, словно подавленное рыдание: “Что делать нам с тобой, моя присяга, / Где взять слова, чтоб рассказать о том, / Как в сорок пятом нас встречала Прага / И как встречает в шестьдесят восьмом”»<sup>18</sup>.

Как должны были вести себя молодые писатели, оттеснённые властью на обочину литературной жизни? Во всяком случае, не хныкать же в своих сочинениях, что всё пошло не так, как им хотелось бы! Некоторые из них выбрали в качестве самозащиты от официоза иронию и культивировали в себе *не-взрослость* как образ жизни, предоставляющий возможность находиться в ладу со своими убеждениями и с напускным равнодушием смотреть на всю эту самонадеянную *кодлу* притесняющих их различных



чиновников и подрукавных писак. Такое поведение в обществе ещё называют *пофигизмом*. Елена Игнатова, молодая писательница из Ленинграда, которую Венедикт Ерофеев ценил за ум и талант, также относилась к нонконформистски настроенной писательской молодёжи. Сергей Донатович Довлатов<sup>[32]</sup> однажды представил её своим друзьям следующими словами: «Даю вам возможность посмотреть на единственную нормальную поэтессу»<sup>19</sup>.

Книга Елены Игнатовой «Обернувшись» завораживает душевным теплом и сердечностью. Создаётся впечатление, будто сам автор и люди, о которых он рассказывает, тебе давно знакомы, и вдруг узнаешь о них такое, что даже представить себе не мог бы. Основу документальной прозы Елены Игнатовой составляют воспоминания о Венедикте Ерофееве, Сергее Довлатове, Александре Александровиче Сопровском<sup>[33]</sup>, Викторе Борисовиче Кривулине<sup>[34]</sup> и писателях предыдущих поколений — Александре Андреевиче Прокофьеве<sup>[35]</sup>, Булате Шалвовиче Окуджаве<sup>[36]</sup>, Евгении Александровиче Евтушенко<sup>[37]</sup>, Андрее Андреевиче Вознесенском<sup>[38]</sup>. Откровенный тон повествования, который выбрала писательница, — следствие её простодушия — синонима *не-взрослости*.

Вот как она объясняет это понятие и его генезис: «В школе я с робким почтением слушала девочек, у которых были ясные планы на будущее: получить образование, потом хорошую работу, выйти замуж за обеспеченного человека, желательно с отдельной квартирой, — они трезво, по-взрослому планировали свою жизнь. Зато не-взрослость давала свободу: я и мои друзья жили, как хотелось, не заботились о карьере, пренебрегали всем, что казалось неинтересным, и беспечно смотрели в будущее»<sup>20</sup>.

Елена Игнатова вспоминает встречу с Александром Сопровским, автором статей о писателях-семидесятниках, и его другом поэтом Бахытом Кенджеевым в крохотной комнате их общей знакомой Елены Чикадзе: «С московскими друзьями мне было легко и просто. <...> Бахыт пытался держаться серьёзно, Саша заливисто хохотал, и мне понравились их добродушие и открытость. И пили они не так, как в нашем кругу, где застолье часто завершалось скандалом, — они “гуляли”. Широта и практичность, бесшабашность и тароватость — такими казались мне москвичи. Я подружилась с Сашей Сопровским, замечательным поэтом, критиком, знатоком истории и культуры. За внешностью шумного весельчака скрывался острый ум, благородство, нравственная взыскательность, и я дорожила этой дружбой»<sup>21</sup>.

Им было о чём поговорить. Тем более что в 1970-е и в начале 1980-х годов произошёл раскол между молодыми писателями-нонконформистами как в Москве, так и в Ленинграде. Они по-разному толковали причины неурядиц в родной стране, разделившись на либералов-западников и националистов-русофилов. Власть воспользовалась этим обстоятельством и перешла в массированное наступление на молодые дарования с чуждой, не коммунистической идеологией. Её целью было запугать всех их до смерти. Самых упёртых выслать как тунеядцев подальше от постоянного места проживания, а более покладистым основательно «промыть мозги», приручить и прикормить.

Александр Сопровский в статье «Конец прекрасной эпохи», опубликованной в 32-м номере журнала «Континент» за 1982 год, прокомментировал создавшуюся ситуацию с писателями-семидесятниками: «Официальная эрзац-культура, восприняв — со строгой избирательностью — новые имена, обогатилась

гибкостью, которой ей так не доставало... Баланс оказался не в пользу “оттепельного поколения”. Иллюзии пали. Началась реакция. Те, кто продолжал упорно отстаивать фальшивый компромисс, покатались медленно, но верно — к утрате права на звание русского литератора и поэта. Бескомпромиссные вовсе бросили официоз. Родился чистый поэтический нонконформизм. Отдельные судьбы и конкретная хронология не всегда могут уложиться в эту схему, но суть дела, думается, именно такова»<sup>22</sup>.

Трудно также не согласиться с выводами Александра Сопровского о том, какую роль сыграла ирония в нонконформистской литературе того времени и как она воплотилась в творчестве трёх самых известных писателей-нонконформистов и не только их одних: «Что ирония пронизывает насквозь литературные пласты — спорить не приходится. Перед нами многообразие психологических оттенков её. Так, у Бродского (изначально самого бескомпромиссного, да и вообще едва ли не самого раннего из новейших нонконформистов) ирония сопряжена с ответственным сознанием собственного достоинства; в романе Ерофеева “Москва — Петушки” ирония доходит до отчаяния от страха за это достоинство; в ироническом романе Лимонова («Это я — Эдичка», 1976. — А. С.) чувство собственного достоинства счастливо утрачивается... Перед нами — и разнообразие жанров, захваченных иронической интонацией или содержащих апологию иронии. Названы уже поэзия и художественная проза, но существует даже ироническое литературоведение (школа Синявского), пуще того — ирония восхваляется в... политической публицистике! В самом деле: в 6-м номере журнала “Синтаксис” можно прочесть такое: “Нет, без иронии никак нельзя. Ирония — это даже лучше, чем ‘habeas

corpus act' "... Насыщены иронией и многочисленные групповые направления, начинания, предприятия: тут и "Аполлон", и "Ковчег", и даже полуреспектабельный "Метрополь". Как будто застыл на рекламном щите освобождающейся русской литературы единственный выразительный жест: высунутый язык»<sup>23</sup>.

За публикацию в «Континенте» статьи «Конец прекрасной эпохи» и других литературоведческих работ в эмигрантских изданиях Александр Сопровский был отчислен в 1982 году с последнего курса филологического факультета МГУ. Через семь лет отечественные газеты и журналы заполнились статьями по содержанию, с точки зрения партийных ортодоксов, более крамольными, чем эта работа молодого талантливого филолога, который трагически погиб в Москве под колёсами машины 23 декабря 1990 года.

Вячеслав Николаевич Курицын, литературный критик и писатель, на страницах пятого номера журнала «Урал» за 1990 год, словно продолжая рассуждения Александра Сопровского о взаимоотношениях двух поколений писателей 1960-х и 1970-х годов с советской властью и между собой, убеждён, что, несмотря на то что писатели-семидесятники выросли из поколения шестидесятников, духовная близость между ними была потеряна раз и навсегда. Это касается как лирики, так и эпика. Даже в достоверности ими изображаемого существовали серьёзные расхождения. Отсюда нестыковка их взглядов на мужскую дружбу, отношение к женщине, а также различное понимание того, что для человека значимо и ценно. Вячеслав Курицын утверждает: «...идеал литературы — идеал духовный. Зло и добро, беды и победы, главное содержание жизни — внутри человека, а не вовне. Шестидесятники ищут ответов как раз вовне: в политике, в социуме, им важнее писать о

голубе в Сантьяго, нежели о душе. Никто не против голубя. Но наивная вера в то, что корень проблем — в социуме, не может — в итоге — не привести к поражению»<sup>24</sup>.

Конец 1950-х годов для нас, студентов московских гуманитарных вузов, проходил под знаком романтической любви. Мой друг с тех давних времён Святослав Игоревич Бэлза<sup>[39]</sup>, студент филфака МГУ, овладел шпагой, чтобы походить на мушкетёра, и даже стал чемпионом Москвы в этом виде спорта. Нашим девизом был мушкетёрский клич: «Один за всех и все за одного!» Первые песни Булата Окуджавы мы знали наизусть и распевали дружно под гитару. Своих девушек угощали рюмочкой известного напитка «Рябина на коньяке» в кафешке, располагавшейся неподалёку от гуманитарных факультетов МГУ в том же здании, что и ресторан «Москва». За оскорбление чести подруг били друг другу морды, а они манипулировали нами, как хотели. Многие из нас, задавая вопрос: «Откуда мы?» — сами же на него с гордостью отвечали: «С проспекта Маркса! Он самый главный на земле». Пафосность этих стихотворных строк поэта Игоря Леонидовича Волгина придавала нам уверенность в своих силах.

Огромное впечатление на нас произвели мемуары Ильи Оренбурга «Люди, годы, жизнь», первая книга которых была опубликована журналом «Новый мир» в конце 1960 года. Перед нами открылся мир совершенно другой культуры, запомнились имена его художников и писателей. Парадокс состоял в том, что двери в эту культуру вскоре захлопнулись перед самым носом тех из нас, кто взялся за перо и в своих первых литературных сочинениях перелагал на язык поэзии и прозы свои мысли и чувства о необходимых переменах в родной стране. Естественно, они воспользовались

опытом поразившего их мира, о котором писал в мемуарах Илья Эренбург и в котором высшей ценностью была не верность утопическим идеалам, а человеческая индивидуальность. Из книги писателя старшего поколения становилось ясным, в чём состоит чудовищное преступление большевиков перед людьми — в создании власти, постоянно посягающей на чувство человеческого достоинства.

Вячеслав Курицын пишет о писателях, моих ровесниках, которые поняли, что «войти в культуру — не значит получать за это деньги»<sup>25</sup>. Не материальный успех был их целью. Другие импульсы заставили их не сдаваться и почувствовать ту жизнь, которую не ощутили ослеплённые успехом шестидесятники: «...они успели увидеть, что по ту сторону дверей есть то, чего нету по эту. И они пошли туда: слепая машинопись и наказуемый ксерокс, слайды и журналы, сочившиеся сквозь щели в железном занавесе, явили им реальность, отличную от реальности наших журналов и книг. Им стало ясно, что здесь “ловить нечего”»<sup>26</sup>. Стало ясно, что шестидесятничество проиграло, что светлые идеалы растоптаны, что идеологическая машина не дрогнула, что время идёт своим чередом и шестидесятники идут, увы, со своим временем. А следующее поколение не хотело идти вместе со временем. Они ушли в подполье. «Они росли не по жизни, а по книгам — это их спасало»<sup>27</sup>. Ведь именно «в книгах была человечность»<sup>28</sup>.

Такой же путь избрал для себя и Венедикт Ерофеев.

Евгений Шталь, глубокий и скрупулёзный исследователь жизни писателя, обращает внимание на эту особенность его возмужания в творчестве: «Он читал запрещённые в стране произведения, “самиздат”, искал тех авторов, которых в вузах не изучали.

Духовную свободу он ценил выше, чем получение официального образования»<sup>29</sup>.

Ту жизнь, которую в 1970-е годы вела компания Венедикта Ерофеева из Владимира, красочно описала входящая в неё киноактриса Наталья Четверикова. Затронула она и круг чтения Венедикта Ерофеева и его близких друзей: «В те годы мы с жадностью поглощали всё, что контрабандой приходило с Запада. Обладая сокровищами — книгами отца Александра Меня, русских религиозных философов — и зная, что за эту “антисоветскую” литературу грозит срок, мы тем не менее рисковали читать её даже в общественном транспорте, то и дело оборачиваясь, — не стоит ли сзади чекист? Наша в какой-то мере подпольная жизнь в компании “владимирских” была наэлектризованной мыслью. Несмотря на закрытость, некую кастовость, сюда, как к магниту, притягивались незаурядности, “бродяги и артисты”. Друзья Ерофеева были богемой особого свойства — нетипичные православные, интеллектуалы высокой духовности и беспощадной иронии одновременно. Но самый ироничный, Веня, тяготел к универсальному христианству, не был крещён и стоял на религиозном перепутье»<sup>30</sup>.

Венедикт Ерофеев, попав в Москву, вскоре оказался среди действительно образованных и талантливых людей. Они не читали что ни попадя, а только то, что было им по душе и соответствовало их интересам. С этими людьми, как своими сверстниками, так и намного его старше, читатель познакомится на страницах этой книги. Венедикту Ерофееву повезло. Он оказался, как говорил поэт Давид Самойлов<sup>[40]</sup>, «в кругу себя». С 1970-х годов, после написания поэмы «Москва — Петушки», его окружение составляло несколько десятков человек.

Я подозреваю, что автор поэмы «Москва — Петушки», оказавшись в Москве, да ещё в Московском университете, на первых порах возрадовался и некоторое время чувствовал себя в полном согласии с жизнью. Эйфорическое состояние молодых людей тех дней точно передано в фильме «Я шагаю по Москве», режиссёром которого был Георгий Николаевич Данелия<sup>[41]</sup>, а сценаристом Геннадий Фёдорович Шпаликов<sup>[42]</sup>. Вскоре эйфория исчезла, зато жажда читать и создавать настоящую, а не суррогатную литературу осталась. Процесс, как говорил Михаил Сергеевич Горбачёв, пошёл! И начался он намного раньше, чем предполагал последний генеральный секретарь ЦК КПСС.

У меня до сих пор хранятся переплетённые ксероксы книг, изданных за рубежом. Это двухтомники сочинений Анны Андреевны Ахматовой<sup>[43]</sup> и Осипа Эмильевича Мандельштама<sup>[44]</sup> вашингтонского издательства «Международное литературное содружество» и «Неизданные письма» Марины Цветаевой парижской «Имка-Пресс», вышедшие в свет в 1964, 1968 и 1972 годах. Они были отксерены в 1974 году Еленой, в девичестве Старокадомской, женой архитектора Геннадия Александровича Огрызкова<sup>[45]</sup>. Она работала на предприятии с редким по тем временам лазерным копировально-множительным оборудованием. Позже Геннадий Александрович стал известнейшим и любимым его прихожанами священником. В последние годы своей жизни он был настоятелем храма Вознесения Господня («Малое Вознесение»), что находится в Москве напротив консерватории на Большой Никитской улице.

Намного больше таких же поэтических сборников, отпечатанных на пишущей машинке и аккуратно



переплетённых, перешли от Венедикта Ерофеева его сыну и внукам.

Я вспоминаю московские интеллектуальные посиделки моих друзей из пишущей и уже печатающейся братии во второй половине 1960-х годов. Они обычно сопровождались лёгкой выпивкой. Небольшой мужской компанией пили обычно водку или коньяк. Комнаты, где мы встречались, менялись от случая к случаю, но почти в каждой из них на нас со стены смотрел фотопортрет Эрнеста Хемингуэя<sup>[46]</sup> (его Венедикт Ерофеев на дух не переносил) в свитере крупной вязки. В 1970-е годы к фотопортрету добавились низкий столик с бутылками вина и лежащий на нём номер журнала «Playboy». В начале 1980-х бутылок на столике становилось больше, номера журнала «Playboy» посвежее, а на стене вместо Эрнеста Хемингуэя радовала глаз репродукция работы кисти Пикассо или оригинал какого-нибудь отечественного художника-неформала. К тому же в ящиках письменного стола или где-то ещё на невидном месте лежали машинописная перепечатка романов Генри Миллера в переводе (ещё не изданном) Николая Пальцева, романы Александра Солженицына «Раковый корпус» и «В круге первом», также в самиздатовском исполнении, и ксерокопии сочинений Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама и Бориса Леонидовича Пастернака<sup>[47]</sup>. Особым спросом пользовались романы Евгения Замятина «Мы» и Андрея Платонова «Чевенгур» в парижском издании «Имка-Пресс» и «тамиздатовские» издания: «Котлован» (этот роман очень нравился Венедикту Ерофееву), политологические исследования Милована Джиласа «Новый класс» и «Беседы со Сталиным», а также «Технология власти» Абдурахмана Авторханова. Перепечатанный моей женой Инессой Ким на папиросной бумаге «Архипелаг ГУЛag» выдавался на

две ночи исключительно порядочным людям. Ту же самую литературу читал и Венедикт Ерофеев. У него было гораздо больше возможностей с ней ознакомиться, чем у меня. Особенно после публикации поэмы «Москва — Петушки».

Единомыслия не было не только у обычных обывателей, но и в семьях идеологических генералов и маршалов. Например, как пишет Елена Игнатова в книге «Обернувшись», внук академика Исаака Минца, «авторитета в области истории КПСС и становления советской власти», Виктор Санчук «писал крамольные стихи и мечтал бежать за границу»<sup>31</sup>. А что читали дети и внуки членов политбюро — можно только предполагать. По крайней мере не Георгия Маркова и Сергея Сартакова.

Триумф лжи и ханжества, казалось, был повсеместным. Лучше Бориса Пастернака об этом не скажешь: «Я один, всё тонет в фарисействе». Однако из моего окружения на баррикады никто никого не звал. Книги и любовь — вот что нас притягивало, утешало и сплачивало. Через них мы искали и находили свою тихую заводь, остерегаясь одного: самим бы не покрыться тиной! Лишь немногим доставалась гавань с выходом в открытое море.

Портрет Сталина в полный рост долго занимал почти всю стену перед входом в полуподвальное помещение на факультете журналистики МГУ. Там располагалась военная кафедра гуманитарных факультетов. Портрет убрали в начале ноября 1961 года — как только ночью 31 октября тело вождя вынесли из мавзолея и захоронили у Кремлёвской стены.

Наши надежды оказались преждевременными. Вскоре поблекшему образу вождя стали потихоньку возвращать прежний вид, а его кровожадность

осторожно оправдывать. Он опять восставал из праха в ореоле державной мощи. Вот откуда, на что обратил внимание Вячеслав Курицын, в текстах последующего поколения после писателей-шестидесятников появились «ирония, стилизация, демонстративная объективированность, усмешка (и очень часто скептическая)»<sup>32</sup>.

Мы выросли, и с годами романтическая фронда уходила сама по себе. То же самое происходило и с Венедиктом Ерофеевым. Как точно отметил Вячеслав Курицын, книги учили нас одиночеству<sup>33</sup>. Запрещённые в СССР издания обсуждали исключительно среди «своих», в узком кругу здравомыслящих друзей, а не в случайном разговоре с первым встречным. Как это повелось в России спокон веку.

Венедикт Ерофеев с первого взгляда на незнакомого человека и произнесённых им нескольких слов уже знал, что тот собой представляет. Вслед за героем романа Томаса Манна<sup>[48]</sup> «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверюона, рассказанная его другом» он мог бы также назвать себя «человеком умеренным и сыном просвещения»<sup>34</sup>.

Для многих писателей и читателей, сверстников Венедикта Ерофеева, он возник как будто бы из ниоткуда. Взлетел, как ракета, из народной гущи, и нате вам, — оказался на Олимпе. Между тем назвать его талантливым малообразованным самородком из народа было бы не то что опрометчиво, а абсолютно неверно. Ведь он сочинял своё с оглядкой на шедевры писателей-классиков и на труды великих философов. Их труды хорошо знал и многое из прочитанного мог бы изложить с абсолютной точностью, обладая цепкой и тренированной памятью. О его обширной эрудиции свидетельствуют как его «Записные книжки», так и художественные произведения.

В изданной еженедельником «Аргументы и факты» «Большой иллюстрированной энциклопедии» обращено внимание на сюрреалистический характер прозы Венедикта Ерофеева. Отмечается присутствие в ней элементов литературной буффонады, обыгрывание идеологических штампов, а также использование разговорной речи, включая сквернословие<sup>35</sup>.

В своём сочинительстве Венедикт Ерофеев не пускался на всякого рода ухищрения. Сюжеты его повести «Записки психопата», поэмы «Москва — Петушки», пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» незамысловаты. Основное действие не выходит за рамки неприкаянной и тягостной человеческой жизни. Читателя захватывает прежде всего острота переживаний автора и его героев, а не вызывающие их события, большей частью достаточно заурядные.

В прозе Венедикта Ерофеева непонятно, о чём конкретно написано. Она не о сумасшедших и спившихся людях, не о тайнах любви и тем более не о чувственных наслаждениях. Сотворить что-то остренькое, пикантное, сосредоточиться на сексе было не в духе писателя. Эротика с её голой чувственностью его не интересовала. И уж совсем он был чужд литературной подёнщине.

Невозможно до конца разобраться, какие страсти и переживания автора стоят за поступками персонажей поэмы «Москва — Петушки» и пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Вероятно, этому мешает чрезвычайная экспрессивность повествования, создающая разноголосицу смыслов. Создаётся обманчивая иллюзия, что Венедикт Ерофеев изливает всё, что приходит ему в голову, не обращая никакого внимания, как его полная свобода самовыражения

будет восприниматься целомудренным и неискушённым читателем.

Отличие прозы Венедикта Ерофеева от произведений того времени в том, что в ней отсутствует какая-то тайная суперзадача. При этом окунаться во что-то сиюминутное, непотребное и пошлое было ему также малоинтересно. Другое дело, что сумеречное существование, в котором проводят жизнь его герои, иногда озаряется вспышками таких чувств и эмоций, что, кажется, продлись они чуть дольше — и запылает весь мир.

Вместе с тем он был далёк от мысли: да гори оно всё синем пламенем!

## **Глава третья**

# **ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ И СЕМЬЯ ВЛАДИМИРА МУРАВЬЁВА**

Владимир Сергеевич Муравьёв безоговорочно признан мемуаристами другом, собеседником Венедикта Ерофеева. К тому же в течение полутора лет он был его сокурсником на филологическом факультете МГУ, где они познакомились. Ерофеев и Муравьёв жили какое-то время в одной комнате в университетском общежитии на Стромынке. Их койки стояли рядом<sup>1</sup>. В 1987 году Владимир Муравьёв стал крёстным отцом писателя. Они знали друг друга и общались 35 лет. И различались, по словам Муравьёва, «скорее по образу жизни, чем по образу мышления»<sup>2</sup>.

Появление Владимира Муравьёва в жизни Венедикта Ерофеева означало обретение товарища, близкого по умонастроению и литературным интересам. Он благодаря этой в общем-то случайной встрече попал в среду необыкновенных людей. Ирина Игнатьевна Муравьёва<sup>[49]</sup>, мать Владимира Сергеевича, была литературоведом, занималась изучением французской и датской литературы. Ей принадлежит изданная в 1959-м и переизданная после её смерти в 1961 году «Молодой гвардией» в серии «ЖЗЛ» книга о Хансе Кристиане Андерсене<sup>[50]</sup>. Общий тираж двух изданий книги по меркам сегодняшнего дня был немислимый — 170 тысяч экземпляров.

Отчимами Владимира Муравьёва были Елеазар Моисеевич Мелетинский<sup>[51]</sup>, филолог, историк культуры и основатель исследовательской школы теоретической

фольклористики, и Григорий Соломонович Померанц, философ, культуролог, эссеист.

Не так много известно, с кем из представителей «сталинской эпохи» (кроме его преподавателей) встречался в неформальной обстановке Венедикт Ерофеев, учась на филологическом факультете Московского государственного университета. Как ни странно, о его личной жизни конца 1980-х годов, когда он был, как говорил о себе Игорь Северянин, «повсеместно обэкранен» и «повсесердно утверждён», мы знаем намного больше, чем когда он пребывал в неизвестности. Обычно бывает наоборот. Публичная известность писателя уводит в тень, а точнее, «засекречивает» его личную жизнь. Исключение составляют звёзды массовой культуры. Во многих опубликованных незадолго перед его смертью интервью он часто нёс всякую шокирующую околесицу, словно в подражание эстрадным звёздам самого низкого пошиба.

Для Венедикта Ерофеева семья Владимира Муравьёва во второй половине 1950-х и в начале 1960-х годов стала одним из безопасных пространств интеллектуального общения и духовной поддержки. Григорий Соломонович Померанц и его жена Ирина Игнатьевна Муравьёва относились к людям легенды. Особенно Ирина Игнатьевна. Её независимая, иногда счастливая, иногда злополучная личная жизнь достойна романа. По крайней мере одна такая повесть, «Любимая улица», уже существует. Её написала Фрида Абрамовна Вигдорова<sup>[52]</sup>. Эта писательница и журналистка получила всемирную известность благодаря сделанной ею в феврале 1964 года записи судебных слушаний по делу Иосифа Бродского. Этот материал носит название «Судилище».

Людмила Сауловна Суркова, со школьных лет подруга Ирины Игнатьевны Муравьёвой, достаточно подробно рассказала о ней и Григории Соломоновиче Померанце в статье, опубликованной в январском номере 2014 года журнала «Семь искусств».

Жили две девочки из интеллигентных семей в Смоленске. Знакомы были с шести лет, а подружились в десятом классе: «Она показалась мне ещё привлекательней, чем в детстве, — высокая, тонкая, лёгкие движения, лёгкая походка, короткие светлые волосы вразлёт, блестящие ярко-голубые глаза, вздёрнутый нос. И негромкий, но проникающий в душу голос. Она по-прежнему легко заводила знакомства, но оставались с ней только те, кто был ей интересен»<sup>3</sup>.

Семья Иры Муравьёвой относилась к смоленской интеллектуальной элите. В их доме встречались местные литераторы, художники, композиторы, учёные. Её отец, Игнатий Фадеевич, преподавал математику в педагогическом институте. Мать, Людмила Степановна, урождённая Владимировская, в прошлом учительница, стала домохозяйкой, занималась воспитанием и образованием детей. Ирина с детства читала на немецком и английском языках и имела склонность к сочинительству. Как вспоминает Людмила Суркова, «она была прирождённым писателем». Пережила её семья и трагедию. В 1937 году арестовали и сослали в Сибирь её старшего брата, Владимира Игнатьевича, талантливого поэта, состоявшего в литературном объединении, которым руководил Александр Твардовский.

Долгое время Ирина Муравьёва не вступала в комсомол. Но в конце концов пошла на компромисс с собственной совестью и в десятом классе стала комсомолкой, как все её одноклассники и одноклассницы. Не хотела своей фрондой привлекать к себе внимание



членов приёмной комиссии института, куда она решила поступать.

Отец Ирины Муравьёвой был серьёзно болен туберкулёзом лёгких. Позднее эта хворь перешла и к ней. Людмила Суркова рассказывает о пренебрежительном, наплевательском отношении Муравьёвых к средствам самозащиты от этой страшной болезни. Трогательна причина такого отношения. Она свидетельствовала об огромной любви и уважении к главе семейства — Игнатию Фадеевичу: «Туберкулёзным больным необходим чистый воздух, но у Муравьёвых было душно и пыльно — боялись простудить отца. Из-за этого и окна не открывали. Спали они на диванах, покрытых пыльными коврами, в этих диванах хранились не менее пыльные книги. Я спросила Иру, почему у отца нет отдельной посуды. Она объяснила, что нельзя огорчать отца, он будет чувствовать себя, как прокажённый. Меня это ошеломило — когда я заболела туберкулёзом, меня держали в изоляции, выделили отдельную посуду, открывали форточку и вынесли все вещи, в которых скапливалась пыль»<sup>4</sup>.

Непонятно, в кого из родителей пошла Ирина, импульсивная, своенравная и красивая девушка, которая даже в более зрелые годы медлила расставаться с молодостью.

Ирина Муравьёва наконец-то влюбилась всерьёз в красавца, хорошо говорящего по-немецки Сергея Моисеенко, известного ей ещё по школе. Он уехал в Москву и поступил там в Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского. Перед войной узаконивание матримониальных отношений было не в моде, но жениху и невесте всё-таки пришлось прибегнуть к услугам загса — для офицеров в связи с их

перемещениями по стране регистрация брака была необходима.

Людмила Суркова вспоминает, что замужество нисколько не изменило свободного нрава и раскованных манер её подруги: «Когда Сергей сдавал в Москве сессию, Ира вела себя, с моей точки зрения, слишком свободно: пила, курила, сидела у мальчиков на коленях. Когда я высказала ей своё мнение, она ответила, что лучше её легкомыслие, чем моё тугодумие. И почему не развлечься в своё удовольствие — никому это не повредит»<sup>5</sup>.

Жизнь шла своим чередом. Игнатий Фадеевич дожил до рождения первого внука — Владимира. Затем Ирина родила второго сына Леонида, в будущем ставшего реставратором и художником. После замужества Ирина Игнатьевна переехала в Москву, к мужу, который продолжал учёбу в Артиллерийской академии. Стипендия у Сергея Моисеенко была большая, так что её хватало и на повседневную жизнь, и на театры, и на посещение Третьяковской галереи и Музея нового западного искусства живописи, ликвидированного в 1948 году по личному распоряжению И. В. Сталина в результате борьбы с формализмом.

Наступил 1941 год. Ирина с Сергеем жили в Чугуеве, неподалёку от Харькова. Там проходили учения слушателей академии. Мать Ирины, Людмила Степановна, воспитывала внуков в Смоленске. Людмила Суркова вспоминает: «Володя, крепкий увесистый бутуз, исполнял распоряжения бабушки, но втихомолку действовал быстро и разрушительно»<sup>6</sup>.

Как только началась война, академия прямо из Чугуева передислоцировалась в Узбекистан, в город Ташкент. В письме, посланном из Ташкента Людмиле Сурковой, Ирина Муравьёва сообщала малоприятные

новости. Сергей изменился до неузнаваемости: стал груб, вмешивается в воспитание детей, к ней пристрастен и ревнует к каждому мужчине, а сам встречается с какой-то спортсменкой, утверждая, будто только для того, чтобы вызвать её ревность. Атмосфера неприязни друг к другу накалялась. Особенно после того, когда Сергей, шантажируя её самоубийством, приставил к виску пистолет и нажал на курок. Толи обойма была пустой, то ли произошла осечка, но выстрела не последовало. Сергей и задолго до женитьбы был склонен к депрессии. С женой он иногда говорил в таком тоне, словно она проштрафившийся солдат. Ирина стала замечать, что его психика не совсем в норме. Ко многому она могла относиться снисходительно, но постоянно выносить до неузнаваемости изменившегося Сергея было выше её сил<sup>7</sup>.

Человек решительный и волевой, она не покорилась обстоятельствам. Строки Александра Пушкина поддержали её в принятом решении: «Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальнюю трудов и чистых нег». Этой обителью для Ирины Игнатьевны с сыновьями на какое-то время стал город Петрозаводск.

Учась на филологическом факультете Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте, Ирина Муравьёва познакомилась с Елеазаром Моисеевичем Мелетинским. Он читал лекции по истории зарубежной литературы. Уже после его первых лекций она почувствовала к нему необъяснимую, но искреннюю симпатию. Это была ещё не любовь, но то застенчивое и одновременно пылкое чувство к мужчине, когда до спазмов в горле хочется, чтобы он наконец-то обратил на тебя внимание. И он обратил на неё самое пристальное внимание. Вскоре сделал ей предложение выйти за него замуж. Ирина Игнатьевна согласилась, и

они с мальчиками переехали в Петрозаводск, где Елеазар Моисеевич Мелетинский заведовал кафедрой литературы в Карело-Финском государственном университете. Но их семейное счастье длилось не более двух лет. В 1949 году по всему Советскому Союзу, как цунами, прошла кампания борьбы с космополитизмом. (Возвращаясь к этим стародавним для Венедикта Ерофеева событиям, он записал в одном из своих блокнотов: «О повальных арестах и судах 47—48 гг. В те же годы песня Блантера на слова Фатьянова: “На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест”»<sup>8</sup>).

В самом начале кампании в петрозаводской газете появилась статья о «космополитических извращениях» на кафедре литературы и «прежде всего у заведующего кафедрой». Этой статье предшествовал донос на Мелетинского, написанный человеком, от которого никто этого не ожидал. В мае 1949 года Елеазар Моисеевич был арестован, осуждён на десять лет и этапом отправлен отбывать срок в Каргопольлаге в Архангельской области.

Тут я хочу добавить, что до знакомства с Ириной Игнатьевной Елеазар Моисеевич уже хлебнул тюремной баланды. Он воевал на Южном фронте, был помощником начальника разведотделения дивизии. Дивизия оказалась в окружении, и командир распустил личный состав. Теперь каждый сам должен был выбираться из окружения. Елеазару Моисеевичу это удалось, но как «окруженец», продолжая воевать на Кавказском фронте, он постоянно находился под подозрением сотрудников Особого отдела. По первому доносу его арестовали 7 сентября 1942 года, обвинив в измене и шпионаже. Ему дали срок, больший, чем он мог ожидать. Десять лет исправительно-трудовых лагерей «за антисоветскую агитацию с целью разложения Красной армии». Как ни цинично об этом

говорить, ему повезло: в тбилисской тюрьме он заболел воспалением лёгких, которому сопутствовали дистрофия и цинга. Обращу внимание читателя на место заточения Мелетинского: Грузия. Республика, в которой большая часть населения сохраняла православную веру. Специальная комиссия (подавляющее большинство — грузины) признала Мелетинского тяжелобольным и истощённым и в числе других таких же заключённых он был выпущен на свободу 15 мая 1943 года. Через Баку он добрался до Ташкента. Не сразу, а после многих попыток Елеазар Моисеевич добился зачисления в аспирантуру Среднеазиатского государственного университета, в котором спустя время стал преподавать. В 1945 году защитил кандидатскую диссертацию «Романтический период в творчестве Ибсена»<sup>9</sup>.

Именно судьба Елеазара Моисеевича Мелетинского и лично он сам повлияли на воспитание чувств и развитие ума Владимира Муравьёва. Нельзя не заметить, что все многочисленные беды своего наставника Владимир Сергеевич пережил, как свои, хотя во время его ареста ему было только десять лет. Более того, спустя некоторое время они с матерью почувствовали, что в какой-то степени виновны в этой очередной несправедливости, которая обрушилась на Елеазара Моисеевича. А почему они стали терзаться такой мыслью, объясняет Людмила Суркова:

«Иру каждую ночь допрашивал следователь. Глаза ослепляла яркая лампа — была такая пытка. Но она не сдавалась, ничего не отвечала. Утомившись её молчанием, следователь пошёл на уловку: “Вот вы его защищаете, а он вам изменял. Прочитайте письмо к любовнице”. Ира и глазом не моргнула: “Ну и что? Я это знала!” Ничего она не знала, сразу в сердце ударило. Пока следователь перелистывал страницы, разыскивая

письмо, Ира заметила знакомый почерк — донос написал Сергей! Наконец следователь отпустил Иру: «Скажите спасибо, что вы Муравьёва. Нас люди с такой фамилией не интересуют». Ира с детьми, как декабристка, поехала за мужем в Сибирь. Учительствовала в сельской школе. Было холодно и голодно»<sup>10</sup>.

Умер Иосиф Виссарионович Сталин. Вволю отрыдавшись, страна проводила его в последний путь. Упокоила в мавзолее рядом с В. И. Лениным. И на сердце у советских граждан немного полегчало. С его уходом будто бы полегчало и всей природе. Вороны, на удивление остальным птицам, каркали весёлыми голосами. Даже весна наступила раньше обычного. В 1954 году из ГУЛага вернулись Елеазар Моисеевич Мелетинский и сидевший с ним в том же лагере его друг Григорий Соломонович Померанц.

Людмила Суркова вспоминает: «В ожидании реабилитации Ира работала в эстонском городе Тапа, опять в школе. Дали ей комнату; как всегда, образовалась интересная компания. Но приехал муж и уговорил Иру переехать в Москву, где жила его мать в просторной трёхкомнатной квартире». Елеазар Моисеевич мог бы заранее предположить, что для его матери болезная Ирина Игнатьевна с двумя детьми встанет поперёк горла. Чему тут удивляться, крупные учёные редко обладают обычной житейской смёткой. В общем, как говорят в интеллигентных семьях, отношения Ирины Игнатьевны со свекровью не сложились. Да и самому Елеазару Моисеевичу, сказать по правде, тоже было трудно жить с женой, прежний муж которой написал на него донос.

Обращусь опять к воспоминаниям подруги Ирины Игнатьевны: «За время длительной разлуки оба изменились, их удерживала только взаимная жалость.

Муж с любовницей (о которой рассказывал следователь) уехал на юг и попросил своего друга, Григория Померанца, тоже филолога-востоковеда и товарища по лагерю, присматривать за женой. От изнурительных переживаний у Иры обострился туберкулёз, она слегла в больницу. Гриша навещал её почти ежедневно. С первой встречи любовь нахлынула на них, как лавина, объединившая их взаимной нежностью, духовной близостью и обоюдным счастьем. Это был щедрый подарок судьбы. Они оба даже помолодели на вид. Ира стала прихорашиваться, приделась, красила губы, чтобы скрыть проступающую от болезни синеву. Больше они не расставались. Ей было 36 лет, ему 38. Но так хорошо им ещё никогда не было»<sup>12</sup>.

Григорий Соломонович Померанц окончил в 1940 году литературный факультет Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ) им. Н. Г. Чернышевского.

Венедикта Ерофеева привёл в 1956 году в узенькую семиметровую комнатку, похожую на пенал в общежитии монаха Бертольда Шварца из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», его новый товарищ Владимир Муравьёв. Там жила с новым мужем Григорием Померанцем его мать Ирина Игнатьевна. Здесь Венедикт Ерофеев обнаружил людей, существование которых предполагал, но с которыми лично знаком не был. К тому же через друзей и бывших преподавателей Григория Соломоновича из МИФЛИ он получил доступ к литературе самиздата.

Но самым оглушительным для него событием было знакомство, а затем дружба (к сожалению, по времени короткая) с матерью Владимира Муравьёва — Ириной Игнатьевной. В ней не было ничего заоблачного, не от мира сего. Её естественность в общении завораживала. Красота во всех её проявлениях — вот что постоянно

искушало. Она тянулась и к человеку, который рядом, и к звёздам, которые едва видны. Она ушла к этим звёздам 30 октября 1959 года. Умерла Ирина Игнатъевна на операционном столе. Ей делали операцию на лёгком. Из жизни Венедикта Ерофеева ушёл друг, о котором можно было только мечтать.

По образу жизни трудно представить себе более разных людей, чем Владимир Муравьёв и Венедикт Ерофеев. Один — педант и трудоголик, нашедший опору в повседневной творческой работе, а также в семье и детях. Другой — вольный странник, творящий по вдохновению, любящий одиночество и относящийся безответственно не только к самому себе, но и к первой жене и сыну. Однако при этом было в Венедикте Ерофееве и Владимире Муравьёве что-то общее, объединяющее.

Например, особенностью характеров Владимира Муравьёва и Венедикта Ерофеева была закрытость для посторонних всего, что относилось к их личной жизни. Они не затрагивали в своих разговорах ничего личного, интимного. Эта врождённая или благоприобретенная деликатность выделяла их обоих в той инакомыслящей и близкой к диссидентам среде, где накладывать табу на что-либо скабрёзное считалось плохим тоном. Эта «привычка к неприятию всяческих табу, установленных обветшалой моралью», как вспоминает искусствовед Елена Борисовна Мурина, шла от творческой интеллигенции первых лет существования Советского государства. Такой прямоотой в обсуждении личных отношений отличалась, например, Надежда Яковлевна Мандельштам<sup>[53]</sup>, вдова великого поэта<sup>13</sup>.

Владимир Муравьёв, напротив, из своего бастиона закрытости при его сдержанности чувств даже носа не высывывал. А распахивать душу настезь для него



представлялось совсем уж порочной и самоубийственной затеей.

Несколько слов о Владимире Сергеевиче Муравьёве. С этим выдающимся филологом и литературным переводчиком меня свела судьба в 1960-е годы во Всесоюзной библиотеке иностранной литературы, куда в 1965 году я поступил на работу в отдел Востока вскоре после окончания Института восточных языков при МГУ.

Когда я появился в «Иностранке», Владимир Муравьёв работал в ней почти пять лет. Он окончил в 1960 году филологический факультет МГУ и заметно выделялся среди молодых сотрудников библиотеки обширной эрудицией, научной основательностью и литературным талантом.

Анна Андреевна Ахматова назвала Владимира Муравьёва самым умным молодым человеком его поколения. В общении со своими библиотечными коллегами он был любезен, немногословен и застегнут на все пуговицы. Избегал в общении с людьми фамильярности. При разговоре с кем-то соблюдал дистанцию в прямом смысле этого слова. Беседующий с ним человек находился почти в метре от него. Остаётся добавить, что Владимир Сергеевич — автор двух книг о творчестве англо-ирландского писателя Джонатана Свифта<sup>[54]</sup>, статей об английской классической и современной литературе.

Я обратил внимание, что первая из книг Муравьёва о творчестве Джонатана Свифта, озаглавленная автором «Путешествие с Гулливером (1699—1970)», создавалась в то же время, что и поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» — в конце 1960-х годов. К тому же из печати они вышли с разницей в один год: книга Владимира Муравьёва в Москве в 1972 году в издательстве «Книга» тиражом 80 тысяч экземпляров, а

книга Венедикта Ерофеева в Иерусалиме в 1973 году в альманахе «Ами» тиражом 300 экземпляров.

Владимир Муравьёв определил временные границы своего путешествия с Гулливером в 301 год. В таком хронологическом сдвиге существовал обдуманый автором замысел: ввести в своё повествование проблематику также и того общества, в котором он родился и существует. Не он первый, не он последний использовал в подцензурной печати подобный приём. Мало-мальски образованному читателю уже с первых страниц книги о Гулливере становилось ясно, о чём в ней пойдёт речь. Сочинение Владимира Муравьёва представляет собой не только исследование молодого учёного, но и социально-политический и сатирический по духу памфлет на острые темы современной жизни. То же самое впечатление оставляет поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», написанная языком более чем разговорным. Сопоставление мною этих двух книг ждёт читателя впереди. Оно полезно ещё и для понимания близости и различия в художественно-философском подходе двух писателей к общей теме — судьбе человека в контексте современного мира.

Владимир Муравьёв также получил известность как переводчик с английского языка произведений О. Генри, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Уильяма Фолкнера, Мюриэл Спарк, Ивлина Во и других американских и английских писателей. На меня сильное впечатление произвёл его перевод книги-новеллы Вашингтона Ирвинга<sup>[55]</sup> «Альгамбра». Наиболее известна работа Владимира Муравьёва над трилогией «Властелин колец» английского писателя Джона Роналда Рейела Толкина<sup>[56]</sup>, которую он начал совместно с Андреем Андреевичем Кистяковским<sup>[57]</sup>, а после его смерти 30 июня 1987 года завершил в одиночку.

Андрей Кистяковский с 1978 года участвовал в работе созданного Александром Исаевичем Солженицыным<sup>[58]</sup> Фонда помощи политическим заключённым, а после ареста Сергея Дмитриевича Ходоровича, его распорядителя, принял на себя руководство этой правозащитной организацией.

Чтобы объяснить психологию социального поведения этих в то время далеко не старых, но уже и не совсем юных инакомыслящих людей, среди которых жил и с которыми общался Венедикт Ерофеев, и понять, откуда берут начало их взгляды, обращусь к воспоминаниям Сергея Ходоровича. Вот что он ответил в лагере начальнику изолятора, спросившему, за что его посадили: «Причина-то в том, что для меня полностью неприемлемо коммунистическое мировоззрение. Я придерживаюсь мировоззрения христианского, а друг с другом они несовместимы. И если моё мировоззрение не скрывать и пытаться жить по нему, то неизбежно попадёшь в лагерь. В этом-то и есть истинная причина ареста...»<sup>14</sup>

Сергей Ходорович не мог смириться с неписанным законом всеобщего обоюдного надувательства, который чуть ли не с первых дней октябрьского переворота свалился на население огромного государства как снег на голову. Вскоре этот закон стал определяющим в отношениях людей, занятых строительством общества развитого социализма и живущих утопической надеждой превратить его в общество коммунистическое. А если сказать ещё короче: «Не хотел Сергей Ходорович существовать в системе, созданной на лжи и страхе». Находиться постоянно среди людей, которые врут как дышат и при этом фанатично верят в своё враньё, — на самом деле для человека нравственного и законопослушного тяжёлое

испытание. А если он ещё человек умный, тогда это сплошной ужас!

Отдавая должное Владимиру Муравьёву в его благотворной роли в творческой жизни автора поэмы «Москва — Петушки» второй половины 1950-х и начала 1960-х годов, я не собираюсь делать из него ангела во плоти. Нина Васильевна Фролова, сестра Венедикта Васильевича, и его невестка Галина Анатольевна Ерофеева вспоминают некоторые не совсем адекватные поступки ерофеевского друга по отношению к литературному наследию писателя. Об этих странностях поведения Владимира Муравьёва также пойдёт речь в этой книге. Китайский философ древности Конфуций недаром предупреждал: «Никогда не дружи с человеком, который не добродетельнее тебя»<sup>15</sup>.

На протяжении многих лет Владимир Муравьёв и Венедикт Ерофеев общались спорадически, но основательно. Они откровенно обсуждали различные, самые «запретные» темы. Эти темы, если их сформулировать в общем виде, касались соотношения причины и следствия в жизни человека, общества и культуры. Автору поэмы «Москва — Петушки» хотелось понять обусловленность одних событий другими, их невидимую простым глазом подоплёку.

## **Глава четвёртая**

# **НЕ ВСЯКАЯ СКАЗКА — ЛЮДЯМ УКАЗКА**

Настоящим, а не мнимым апофеозом пошлости стала «пьяная» электричка, отошедшая 24 октября 1998 года от Курского вокзала по маршруту «Москва — Петушки» и обратно. Она была до отказа набита нетрезвыми пассажирами. Погода стояла солнечная, настоящая золотая осень, да и существовал подходящий повод почтить память любимого писателя — шестидесятилетие Венедикта Васильевича Ерофеева. Представители фирмы «Кристалл» бесплатно вручали пассажирам электрички шкалики водки и бутылки с дешёвым портвейном в таком количестве, что можно было напиться до потери сознания. Вместе с тем закуска к водке в виде бутербродов не предлагалась бесплатно, а продавалась втридорога. Впрочем, раздавались бесплатно два плавленых сырка «Дружба». Устроители этого праздника следовали совету из поэмы «Москва — Петушки»: «Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от поверхностного атеизма»<sup>1</sup>. Вот почему по прибытии в город Петушки пьяная орава пассажиров бросилась в станционный буфет и мигом его опорожнила. Но это случилось потом. А пока электричка находилась в Москве, гремел духовой оркестр столичной милиции. Пластиковые ящики, тара для бутылок, пустыми валялись по всему перрону вокзала. Телевизионные камеры со словоохотливыми журналистами запечатлели это событие чуть ли не как новый национальный праздник России. Это было бы полбеде. Куда хуже, что некоторые

филологи с учёными степенями, маститые учёные, живущие не только в России, подхватили и разнесли по свету легенду о русском супералкаше, гениально описавшем самого себя и своё бытие. Для них писатель и его герой слились в одно лицо.

Автобиографическая сущность поэмы «Москва — Петушки» неоспорима. Однако её главный герой Веничка всё-таки не духовный двойник Венедикта Ерофеева.

Среди некоторых читателей распространилось мнение, что при своей жизни писатель шёл на поводу у сильно пьющей публики и часто ей потворствовал. Он словно бы понимал, что созданный им образ слился с ним и его увековечил. Более того — сделал на долгие годы предметом культа. А где экзальтация и шумные восторги, там на восстановление истины особо рассчитывать не приходится.

На эту аберрацию читательского зрения обратил внимание его товарищ, известный профессиональный фотограф Виктор Баженов. Он одного года рождения с Венедиктом Ерофеевым, окончил исторический факультет МГУ, поступив на кафедру искусствоведения. Он часто общался в Москве с писателем. Вот что он сказал: «Читатели напрямую соединяют облик забулдыги, разлюли малина Венички с автором Венедиктом Ерофеевым. Но между образом и автором всегда существует некая дистанция. Читатели считали, если и мы пьём, то с ним мы ровня. Однако если с “Веничкой”, считай, каждый мог распить и “слезу комсомолки”, и “сучий потрох”, и четвертинку в электричке, то к Венедикту так просто на кривой козе не подъедешь. Общаясь, никто из нас не фамильярничал, называя его Веничкой, даже те, кто с ним был на “ты”. Мы знали ему цену, и Венедикт ценил

достойное окружение. Как пел Высоцкий, “В наш тесный круг не каждый попадал”»<sup>2</sup>.

Те люди, кто увидел в поэме «Москва — Петушки» только алкогольный бред, опьянены до беспамятства самими собой — своим талантом и учёностью или своей полной бесшабашностью. Однако большую часть подобной публики составляют люди малообразованные, зато крикливые, наглые и упорные в своём невежестве. Тем и другим не было и нет дела до остальных смертных. Как и до страны, в которой они родились и худо или бедно существуют.

Также в немалом количестве появились другие читатели, которые ещё при жизни писателя превозносили его до небес по одной только причине: они полагали, что его проза — дерзкая политическая агитка, очередная талантливо написанная антисоветская прокламация. О таких людях Венедикт Ерофеев говорил с нескрываемой неприязнью: «Были читатели очень дурного разбора. Им было наплевать на суть, главное был бы оттенок запрещённости. Такие никогда не будут смотреть Рафаэля, а вот надписи в туалете Курского вокзала будут очень и очень изучать»<sup>3</sup>.

Эти люди досаждали ему своими декларациями и настырным характером. А в душе большая часть из них хотела любым путём «свалить на Запад» и вести там спокойную, вполне буржуазную жизнь. В конце концов многие из них так и поступили<sup>[59]</sup>.

Не отрази Венедикт Васильевич столь неожиданно просто и пророчески беспощадно в контексте вечных ценностей нашу советскую повседневность, существующую и по сей день не только в личных воспоминаниях, но и в массовом сознании моего поколения как привычный и единственно правильный образ жизни, его сенсационная известность времён

горбачёвской перестройки и первой половины 1990-х годов давным-давно сошла бы на нет.

К тому же с ходом времени понимаешь всю значимость его творчества для новой русской литературы, которую с её появлением на свет критики называли «другой» или «второй», отличной по мыслям, языку и сюжету от большинства сочинений советских авторов.

Взгляните на фотографии Венедикта Ерофеева разных лёг и сравните их с изображениями (даже тщательно отретушированными) многих публичных людей, наших современников. Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы увидеть разительное расхождение между их внутренним миром и его. Морды и лицо. Недаром говорят: лицо — зеркало души. Знаю, что утром хорошо бы внимательно посмотреть на себя в зеркало. А затем, выйдя из дома, в течение дня попытаться не совершать ничего предосудительного. Тогда, может быть, хотя бы на чуть-чуть улучшишь облик своей физиономии.

Венедикт Ерофеев уже внешним видом ошеломлял женщин. Ольга Мироновна Зиновьева, вдова писателя Александра Александровича Зиновьева<sup>[60]</sup>, философа, логика, социолога, художника и поэта, вспоминает: «У него были феноменального цвета пшеничные волосы и ясные потрясающе голубые глаза! Очень красивый человек и во взгляде, и в высказываниях»<sup>4</sup>.

Вероятно, общее впечатление от молодого человека было настолько сильным, что его светло-русые волосы остались в памяти Ольги Зиновьевой как волосы пшеничного цвета. Впрочем, если быть точным, глаза у Венедикта Ерофеева, по свидетельству людей, его хорошо знавших, были не голубыми, а серо-голубыми. Нина Васильевна Фролова, сестра писателя, в разговоре со мной, говоря об отце и его братьях, вспоминала: «Все



Ерофеевы рослые, светловолосые, с серо-голубыми глазами, кроме дяди Вани — он небольшого роста, кареглазый, черноволосый».

А вот что о первой встрече с автором поэмы «Москва — Петушки» поведала мне Кира Александровна Сапгир, в 1970-е годы жена поэта Генриха Вениаминовича Сапгира<sup>[61]</sup>. Теперь она известная писательница, живущая во Франции и часто навещающая Россию. Андрей Георгиевич Битов<sup>[62]</sup> назвал предисловие к её автобиографическому роману «Дисси-Блюз» «Фанни Каплан третьей эмиграции». И попал в яблочко. Чем-чем, а сентиментальностью Кира Сапгир не отличается. Она персонажей своего романа настолько вывернула наизнанку, что их прототипы чуть было не ушли в монастырь замаливать прежние грехи. Тем более что в постраничных примечаниях были раскрыты их настоящие имена и фамилии.

Этой бескомпромиссной, не склонной к сантиментам молодой женщине, увидевшей впервые Венедикта Ерофеева, показалось, что перед ней предстал находящийся слегка под хмельком высоченный, благородного вида король из романтического романа. Она едва сдержалась, чтобы не броситься к нему с распростёртыми объятиями. Чего другого, а вот эту женскую экзальтацию Венедикт Ерофеев вряд ли выдержал бы даже при всей его аристократической невозмутимости. Кира Сапгир помнит, как она всё-таки сделала ему глубокий книксен, придерживав модную по тем временам кисейную юбчонку. Ещё ей запомнился удивлённый взгляд его серо-голубых глаз, направленный не на её лицо, а на руки. Её ногти были ярко-красными, как крупные ягоды клюквы.

А теперь я приведу отрывок из воспоминаний Виктора Баженова. Он описывает Венедикта Ерофеева неузнаваемо изменившимся, не похожим на того, кого

он видел прежде: «Премьера в Доме кино. У Зайцева (Алексей Никифорович Зайцев<sup>[63]</sup> — актёр, общий друг Баженова и Ерофеева. — А. С.) роль в фильме. Фойе, лестница, опершись о перила, стоит рядом с Лёшей какой-то человек. Вроде знакомое лицо. Где-то его видел. Сразу не признал — Ерофеев. Пропали статность и красота. Сильно похудел, осунулся. Пиджак висит как на вешалке. Измождённый, измученный болезнью человек. Торчит трубка из горла, через неё говорит. Хрип, свист. Жизнь в ожидании смерти»<sup>5</sup>.

В литературе стало общепринятым представлять Венедикта Ерофеева идущим по жизни в обнимку с бутылкой. Мало кто до сих пор понимает, что поэма «Москва — Петушки» вовсе не о съехавшем с катушек алкоголике, жертве советской системы, не о коварстве бездушной власти, не о нашем беспокойном времени, а о русском человеке, каким он предстаёт в своих благородных и непотребных проявлениях в сказках, былинах, бывальщинах и анекдотах. О его незлобивости по отношению к жизни. О его вольнолюбии, простодушии, доброте и в то же время дикости, своеволии и взрывном характере.

Речь идёт о национальном культурно-психологическом типе, черты которого формировались на протяжении многих веков. И одновременно это человек, живущий в обществе, где господствует советская мифология чёрно-белого мира и присутствует вечная угроза войны.

В поэме «Москва — Петушки» писателю удалось воссоздать эти как национальные, так и сугубо советские особенности бытия настолько достоверно и впечатляюще, что многие цитаты из неё вскоре стали афоризмами. Такая посмертная судьба его самого и популярность его произведений дали Александру Генису повод сказать: «С каждым годом всё труднее

поверить, что образ Венички скрывал настоящего, а не вымышленного, на манер Козьмы Пруtkова, автора. Кажется, что Веничка соткался из пропитанного парами алкоголя советского воздуха, материализовался из мистической атмосферы, в которой вольно дышит его проза»<sup>6</sup>.

Уже только одно это представление о нём выделяет Венедикта Ерофеева среди многих современных русских писателей. Не стоит особо заморачиваться тем, что Венедикт Ерофеев часто находился подшофе. Лучше воспринимать такое его состояние как неустранимое проявление неизлечимой болезни, развивавшейся на фоне находящейся в преддверии распада огромной страны, которую он любил. Так стоит ли скептически относиться к тому, что его писательство и эта болезнь поддерживали и подпитывали друг друга. В его жизни так оно и было. Сам Венедикт Васильевич не выяснял, что у него первично, а что вторично: страсть к выпивке или к сочинительству?

Я думаю, что для оправдания собственного пьянства в разговоре о благотворной, психотерапевтической роли спиртного ему пригодились бы высказывания американских писателей, профессионалов в этом сомнительном деле. Эрнест Хемингуэй как-то обронил: «Интеллигентный человек вынужден иногда напиваться, чтобы вынести общение с дураками». Теннесси Уильямс<sup>[64]</sup> обратил внимание на другое общественное явление, существующее с незапамятных времён: «Ложь — это система, в которой мы живём. Алкоголь — единственный выход из этого замкнутого круга».

Более конкретно высказалась на этот счёт героиня фильма шведского кинорежиссёра Роя Андерссона «Ты, живущий»: «Мне это надо? Быть обречённой на проклятое существование, полное дерьма, фальши и

прочей дряни? И при этом оставаться трезвой? Разве можно требовать и надеяться, что несчастный человек выдержит всё это на трезвую голову?»

Тем более, добавлю уже от себя, если этот человек обладает живым воображением и острым умом.

Выскажу одно предположение, которым ни в коем случае не собираюсь защищать алкоголизм. Беспробудное пьянство подводит человека, ещё сохраняющего рассудок, к чёткому пониманию того, что составляет стержень человеческой личности, когда её распад неминуем.

Герой Венедикта Ерофеева не признает приоритета государства над самим собой и предпочитает жить вне социальной иерархии. Ему чужда сакрализация государственной власти и не присущи покорность раба и легковерие идиота. Он выпрыгнул из всего телесного, тленного и устремился туда, где у времени и пространства совершенно иные параметры и координаты. Кстати, разумом он абсолютно не понимает этого вождя рая, к тому же неизвестно где находящегося, но сердцем и душой его хорошо чувствует и представляет. Словом, ситуация возникает чисто российская: иду туда — не знаю куда, найду то — не знаю что. И как всегда, чтобы не сойти с ума от такой неопределённости, выручает внутренний голос: «Ложись спать, утро вечера мудренее».

Бытие Венедикта Ерофеева в самом деле полно загадок. Одна из них почти неразрешимая. Почему он, находившийся долгое время в алкогольной зависимости, не оскудел интеллектуально и не очерствел сердцем? Случай редчайший и удивительный в истории судеб русских писателей.

Обращусь к психиатру и художнику Андрею Георгиевичу Бильжо, который общался с Венедиктом Ерофеевым в психоневрологическом стационаре: «Венедикт Ерофеев лежал у нас много раз, и в Кащенко,

и потом, когда мы переехали на Каширку. Удивительно, что при его махровом алкоголизме, описанном в «Москве — Петушки», при множестве «белых горячек», с которыми он поступал, в нём совершенно не было алкогольной деградации личности. В этом смысле он был уникальным пациентом, достойным описания в специальных психиатрических трудах на тему алкоголизма. Он абсолютно выпадал из типичного течения болезни. Вне запоев это был совершенно рафинированный интеллигентный человек»<sup>7</sup>.

Не случайно же автор поэмы «Москва — Петушки» называл самого себя человеком «сюрпризным»!<sup>8</sup>

Это мнение профессионала. Можно сказать, *доки* в своём деле. К тому же Андрей Бильжо известный художник-карикатурист, живописец и юморист. Человек из одной компании с Венедиктом Ерофеевым. Конечно, при желании его можно заподозрить в заинтересованности представить своего товарища в лучшем свете, чем он выглядел на самом деле. Но такого же мнения о Венедикте Ерофееве Андрей Анатольевич Архипов, известный учёный, филолог. Он преподавал на филологическом факультете МГУ, в Институте русского языка им. А. С. Пушкина, в Московской духовной академии и семинарии, в двух американских университетах: Стэнфордском и Южной Каролины. Работал научным сотрудником в Институте высших гуманитарных исследований при Российском государственном гуманитарном университете. Андрей Анатольевич человек верующий, познакомился с писателем на Пасху 1969 года и многократно с ним общался. Приведу его свидетельство о том, как алкоголизм воздействовал на умственные способности Венедикта Ерофеева. Ведь известно, что это хроническое психическое заболевание, сравнимое с шизофренией и старческим слабоумием, приводит к

разрушению умственных и творческих способностей человека.

Вот что пишет Андрей Архипов: «Считалось, что в обществе Ерофеева надо непременно “выпивать”, потому что он сам в таких случаях “выпивал”. В читающем обществе сложилось представление, что Ерофеев был пьяница, алкоголик. Я считаю, что это поверхностное представление, что оно неправильно по существу. Я понимаю дело так (вкратце, конечно). Венчик был погружен в глубокую грусть (об этом все говорят). Когда он смеялся, он как бы выныривал из своей печали. А потом возвращался в неё. Я думаю, что когда-то в ранней юности или в детстве он пережил какое-то ужасное событие или приступ страха, который дал ему увидеть ничтожество, пошлость и гнусность мира и людей. Это был, возможно, самый важный опыт в его жизни. Он давал В[еничке] определённую мудрость пессимизма, определённое превосходство над мелкостью жизни. Алкоголь отгораживал его от этого ничтожества людей и жизни вообще. Но у алкоголя была и ещё одна “функция”. В[еничка] был по природе сангвиником. Этот сангвинический темперамент то и дело прорывался через его грусть. И я думаю, что В[еничка] не хотел потерять эту грусть, не хотел утратить связанное с ней презрение к миру. И, конечно, алкоголь помогал ему погружаться обратно в страдание. Я видел Ерофеева в разных степенях опьянения или похмелья, но никогда не видел, чтобы его покинул разум: разум оставался трезв. Ну и так далее. Я мог бы продолжать это рассуждение. Важно одно, важно, что он не был алкоголиком. Это примитивное упрощение»<sup>9</sup>.

В писательской среде (и не только в ней одной) Венедикт Ерофеев долгое время выглядел чужеродной личностью. Его жизнь шла вразрез с её основными

установками. Она отличалась отсутствием взаимопонимания с властью, щепетильностью во взаимоотношениях с людьми и христианским миролюбием.

Странностью своего поведения он напоминал наследного принца Эдуарда из повести Марка Твена «Принц и нищий», оказавшегося волей обстоятельств среди нищих и бродяг на месте своего двойника оборвыша Тома Кенти. Идеалом Венедикта Ерофеева был мир, где люди по отношению друг к другу сохраняют доверие и честность не только на словах, но и на деле.

Венедикт Ерофеев с малолетства столкнулся с безразличием государства к судьбе отдельного человека. Оно создавало для людей ситуации, из которых, казалось, не существовало выхода. Оставалось только смириться с тем, что происходит вокруг вопреки здравому смыслу. Судьбы умершего в тюрьме, а перед тем приговорённого к расстрелу деда и посаженных в лагерь отца и старшего брата стали тому примером. Что было, о том забудем, вычеркнем из памяти и пойдём дальше, а куда — сами не знаем, но старшие товарищи подскажут. Вот эту слабодушную позицию подневольного человека Венедикт Ерофеев не перенял. Даниил Александрович Гранин<sup>[65]</sup> отметил ещё одну особенность той, ещё совсем недавней эпохи: «Милосердие никогда не поощрялось советской властью...»<sup>10</sup>

А прежде как было? В качестве ответа процитирую поэтические строки Фёдора Ивановича Тютчева, сочинённые им 27 февраля 1869 года:

Нам не дано предугадать,  
Как слово наше отзовется, —

И нам сочувствие даётся,  
Как нам даётся благодать<sup>11</sup>.

Для Венедикта Ерофеева такие старомодные понятия, как милосердие (сочувствие), справедливость и сострадание, оставались не пустым звуком.

Когда люди забывают о вчерашнем дне, то и само время, отшатнувшись от них, куда-то прячется, притворившись вечностью. Но это ещё было бы полбеды. Другое дело, что этот позавчерашний день, постоянно напоминая о себе, бочком-бочком, но всеми силами пытается протиснуться в современную жизнь и занять в ней прежнее доминирующее место. В таком мнимом вечном, нескончаемом времени существует и Веничка, герой поэмы «Москва — Петушки». И будет находиться до тех пор, пока люди прячутся от времени и друг от друга и от самих себя.

Некоторая часть жизни Венедикта Ерофеева прошла в постоянных перебежках из одного угла необъятной страны в другой. Таким своеобразным путём он пытался не впасть в грех уныния и избежать участи деда, а также осуждённых на лагерные сроки отца и брата. В «Записных книжках 1975 года» о себе и своих чувствах он сказал словами песен на стихи Марка Самойловича Лисянского<sup>[66]</sup>, Евгения Ароновича Долматовского<sup>[67]</sup> и Анатолия Владимировича Софронова<sup>[68]</sup>: «Я по свету немало хаживал», «И домой возвращайтесь скорей» и «Дай руку, товарищ далёкий»<sup>12</sup>.

Всё это так, но главная причина его цыганской жизни, как я предполагаю, была понятна как дважды два четыре. Венедикт Ерофеев долгое время находился во власти комплексов и страхов, связанных с его пребыванием в детском доме, где среди детей



существовала чёткая иерархия во взаимоотношениях. Критерием того, кто начальник, а кто подчинённый, выступали не умственные способности человека, а физическая сила и нахрап. Венедикт Ерофеев, понятное дело, не хотел возвращаться к запомненной им с детства, как сейчас сказали бы, «дедовщине». Он, чтобы избежать призыва в армию, постоянно менял места своей работы и проживания.

Существовал ещё другой испытанный и хорошо известный среди советской интеллигенции способ «отмазки» от воинской повинности через психоневрологический диспансер. Как я знаю, несколько всемирно известных российских художников, представляющих неофициальное искусство, поступили подобным образом и со временем легально отбыли в чужеземные страны. Некоторые из них представляют дело таким образом, будто оказались в психушке насильственным путём — как диссиденты. Карательная психиатрия, замечу в скобках, практиковавшаяся в СССР в брежневские времена, восходит к XIX веку, и первой страной, её применившей, были Соединённые Штаты Америки. В каких-то начинаниях не мы одни оказываемся «впереди планеты всей».

Для Венедикта Ерофеева отсидеться в психушке ради получения «белого билета» было бы жульничеством и очковтирательством. На такой обман он не пошёл бы. Совесть бы не позволила.

В беседе с Сергеем Кунаевым и Светланой Мельниковой в 1990 году на даче в Абрамцево Венедикт Ерофеев вспоминает: «С 1962 по 1976 год я не стоял на военном учёте. В 1976-м пришёл становиться — так они схватились за голову. Можно было меня наказать, посадить на полгода, а тут 14 лет человек спокойно устраивается на все работы, не имея ни прописки, ни учёта»<sup>13</sup>.

Наконец, измотавшись от этого нескончаемого бега, Венедикт Ерофеев, как сам того себе пожелал, обрёл снова дом — осел на одном месте в проезде Художественного театра (ныне Камергерский переулок), в самом центре Москвы. Впервые он пошёл на компромисс с самим собой. А что ему ещё оставалось делать, оказавшись без документов и постоянного угла для ночлега? Только женившись на москвичке, он обрёл и то и другое.

Изо всех сил Венедикт Ерофеев пытался не быть одураченным той жизнью, которая шла вокруг него. С ней у него не сложилось доверительных отношений. Он уверовал, что недалёк тот час, когда она ненароком раздавит и его тоже. Каждый его день в ожидании худшего был наполнен страданием.

Пройдёт некоторое время, и в СССР произойдут серьёзные перемены — горбачёвская перестройка. Венедикт Ерофеев встретит её с радостью.

На протяжении многих лет Владимир Муравьёв и Венедикт Ерофеев общались спорадически, но основательно. Они откровенно обсуждали различные, самые «запретные» темы. Эти темы, если их сформулировать в общем виде, касались соотношения причины и следствия в жизни человека, общества и культуры. Автору поэмы «Москва — Петушки» хотелось понять обусловленность одних событий другими, их невидимую простым глазом подоплёку.

Обращу внимание на основную черту прозы Венедикта Ерофеева. В ней присутствуют одновременно описание сиюминутного, преходящего и ощущение вечности, что уже само по себе является неотъемлемым признаком настоящей поэзии в отличие от обычного стихотворчества. Вероятно, этот парадокс predetermined жанр произведения «Москва — Петушки» — поэма.

Поэт и прозаик Андрей Михайлович Тавров очень убедительно закрепил в слове своё понимание «вечности». Да простит меня читатель за длинную цитату, но лучше и проще не скажешь: «Существует много свидетельств контактов с “вечностью”, и все они сходятся на том, что это выход из времени, или, как написано в “Апокалипсисе”, модус бытия, где “времени больше не будет”. Итак, “вечность” — это вневременный план жизни. Это та её область, где время больше не течёт, а вернее, ещё не течёт. Это не бесконечность времени, как понимают “вечность”, например, любители вечных адских мук для особенных злодеев. Это другое. Грубо говоря, это бескрайнее озеро, в котором ВСЕ возможные и невозможные варианты всех жизней и событий на свете, но из которого ещё не течёт ручей. Но вот ручей потёк — образовалось время, о котором писал Державин: “Река времён в своём стремленьи уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей”. Время всегда было злым, уносящим, лишаящим. Но и развивающим, становящим, ведущим к расцвету. Так или иначе, любой его обитатель относится ко времени с недоверием и страхом, в силу хотя бы того, что оно, земное время, кончится для него вместе с его жизнью и от факта смерти, к которому оно влечёт, не уйти. Но поэзия всегда знала про вечность. Про отсутствие времени, про состояние полноты вне угроз истребления. Про вневременный фактор, в котором ты — в полноте, в котором ты — счастье. Поэзию-то и любили, и желали прежде всего за то, что она приобщала к этому блаженному плану, вводила в разрыв времени»<sup>14</sup>.

Более авторитетным собеседником в вопросах подобной метафизики для Венедикта Ерофеева мог бы стать писатель Юрий Витальевич Мамлеев [\[69\]](#).

Юрий Мамлеев занимал две комнаты в коммунальной квартире в доме 3 в Южинском переулке. Его аудитория была достаточно начитанна и образованна для разговоров на философские, эзотерические и метафизические темы. Александр Васькин, автор книги «Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брик до Галины Брежневой», приводит описание этого пёстрого сообщества Игорем Дудинским, журналистом и издателем: «Южинский стал точкой отсчёта для следующих поколений, аккумулятором идей, который всех потом питал. Там учили идти во всём до предела. Там бредили, освобождая ум. Там обожествлялся процесс, верили, что Бог — это постоянный поиск. Это была упёртая, экстатическая антисоветчина в чистом виде, без всяких прилагательных»<sup>15</sup>.

Но его окружения Венедикт Ерофеев на дух не переносил, хотя их собрания изредка посещал, как и его антипод Александр Андреевич Проханов<sup>[70]</sup>. К тому же в 1974 году Юрий Витальевич вместе с женой Марией Александровной не по своей воле отбыл в Корнеллский университет, в город Итаку, штат Нью-Йорк, и Ерофееву опять пришлось рассуждать о потусторонних материях с Григорием Померанцем, Леонидом Ефимовичем Пинским<sup>[71]</sup>, Владимиром Муравьёвым. Впрочем, рядом с ним ещё оставались мудрые и талантливые люди: поэт, прозаик и этнограф Ольга Седакова, поэт и переводчик Александр Леонидович Величанский<sup>[72]</sup>, а также его друг, культуролог и интеллектуал Игорь Авдиев вместе с «любимым первенцем» Вадимом Тихоновым.

Что поделаешь, людей вокруг него толпилось много, а поговорить практически было не с кем. За бутылкой (и не одной) шутки шутили, анекдоты рассказывали, каламбурили, себя старались показать. Не то что в те

недавние времена, когда он учился на филологическом факультете МГУ и общался в общежитии со своими любознательными сокурсниками. Из этой компании в недалёком будущем вышли выдающиеся филологи — Александр Константинович Жолковский, Борис Андреевич Успенский, Александр Павлович Чудаков<sup>[73]</sup>.

## **Глава пятая**

# **СОЛОМИНКА ДЛЯ УТОПАЮЩЕГО**

Говоря о Венедикте Ерофееве, нельзя не обратить внимания на его любовь к классической музыке, о чём вспоминают многие его друзья и знакомые. Казалось, он родился с оркестром в голове.

«Музыкальный талант, — сказал Гёте, — проявляется так рано, потому что музыка — это нечто врождённое, внутреннее, ей не надо ни питания извне, ни опыта, почерпнутого из жизни. Но всё равно явление, подобно Моцарту, навеки пребудет чудом, и ничего тут объяснить нельзя. Да и как, спрашивается, мог бы Всевышний повсеместно творить свои чудеса, не будь у него для этой цели необыкновенных индивидуумов, которым мы только дивимся, не понимая: и откуда же такое взялось»<sup>1</sup>.

Иосиф Бродский считал музыку лучшим учителем композиции. Говоря о ней, он подчёркивал, что она научает писателя композиционным приёмам, но, «разумеется не впрямую, её нельзя копировать». По мысли поэта, «в музыке так важно, что за чем следует и как всё это меняется»<sup>2</sup>.

Владимир Муравьёв убедительно и ясно выразил органичную связь прозы Венедикта Ерофеева с музыкой: «Он действительно был человеком литературы, слова. Рождённым словом, существующим со словесностью. При этом словесность рассматривалась как некая ипостась музыки. У него было обострённое ощущение мелодически-смысловой стороны слова, интерес к внутренней форме слова, если угодно. Для него вообще необыкновенно важна была музыка, он совершенно жил в её стихии, он знал,

понимал и умел её слушать. Он воспринимал именно звучание. То же для него и звучащее слово. Смысл как словесная мелодия ему особенно был близок. Ещё будут писать о мелодических структурах “Петушков” и “розановской” прозы»<sup>3</sup>.

Наталья Шмелькова подтверждает особую приязнь Венедикта Ерофеева к музыке Сибелиуса: «Одним из любимых композиторов был Сибелиус. Особенно часто он слушал его музыку в последнее время, говоря, что неотвязно-постоянно снится ему Кольский полуостров. Помню, как за день до второй операции он непрерывно заводил Четвёртую симфонию композитора. Сказал: “Послушаю мою Родину”...»<sup>4</sup>

Музыка финского композитора Яна Сибелиуса<sup>[74]</sup> вызывала в памяти Венедикта Ерофеева картины природы его родного Кольского полуострова: скалистые холмы с деревцами на них, озёра, северное сияние и шуршание ветра. Он любил в музыке Сибелиуса всё, им сочинённое: его симфонические поэмы и сюиты, его хоровую музыку.

К музыке австрийского композитора Антона Брукнера<sup>[75]</sup> Венедикт Ерофеев был также неравнодушен. Вероятно, из-за её глубокой религиозности. В его творчестве симфонии занимают господствующее место. Их часто сравнивают с готическими соборами, настолько они монументальны, возвышенны и торжественны по тону<sup>5</sup>.

Творчество ещё одного композитора, на этот раз из Богемии, оказывало на Венедикта Ерофеева сильнейшее воздействие — симфонии Густава Малера<sup>[76]</sup>. В них сталкиваются бурлящие потоки бунтующего духа. В этой музыке существовали темы и мотивы, уже знакомые Венедикту Ерофееву по его личному опыту. Он словно прослушивал в этой музыке свою жизнь. Она была выражена композитором в

свободном и неожиданном чередовании разных эмоций: от горестных вспышек отчаяния, которые на какие-то мгновения гасились и умиротворялись чувством сопричастности природе, до трагической отрешённости от всего, казавшегося только что родным и близким.

Владимира Муравьёва поддержал Александр Михайлович Леонтович<sup>[77]</sup>, физик и любитель классической музыки, приятель и собеседник Венедикта Ерофеева. Он подтверждал его увлечённость музыкой определённых композиторов: «Мы познакомились в дачном посёлке Абрамцево, Веня жил у Делоне, крупного математика, члена-корреспондента. Потом Борис Николаевич умер, и следующие хозяева выгнали Ерофеева, потом он жил у Грабарей. А Грабари — наши соседи, и когда Веня увидел, что у меня не только дома, но и на даче огромная коллекция пластинок, то стал приходить слушать музыку, а кроме того, брал у меня пластинки. Таким образом я мог воочию убедиться, какие у него вкусы. Скажем, часто он брал Шуберта, очень любил Брукнера. На мой взгляд, Брукнер — один из самых великих композиторов, он отражает то, что отразил Достоевский в литературе, — чудовищную внутреннюю противоречивость — но это мало кто чувствует. Мы однажды с Веней вместе слушали его Четвёртую симфонию. Но у него были неординарные вкусы, например, он очень прохладно относился к Моцарту. <...> Он был очень сдержан. Но я же видел, как он реагировал на хорошую музыку. Если человек по-настоящему слушает музыку, то она его прошибает. Веня очень волновался. Сжимался весь и сидел в напряжении. Настоящее слушание ведь требует нервов. Он очень любил Сибелиуса, что меня тоже очень поразило. Немногие знают, что Сибелиус — действительно гениальный композитор. Но, правда, не всегда вкус Ерофеева меня удовлетворял. Например,



Высоцкого я резко не люблю. А он его отстаивал. Правда, Веня никак это не аргументировал, он вообще никогда не спорил, если с ним не соглашались, — он просто замолкал. Самое тяжёлое в общении с Ерофеевым для меня, как учёного, была невозможность ничего обсуждать. Если его пытались вытянуть на спор, было только хуже: он замыкался, и тогда его уже никуда нельзя было сдвинуть — он отключался. Мне кажется, в нём вообще не было стремления к анализу»<sup>6</sup>.

Кто такой Делоне, упомянутый Александром Леонтовичем? Борис Николаевич Делоне<sup>[78]</sup>, крупный математик, член-корреспондент АН СССР, был дедом поэта и правозащитника Вадима Николаевича Делоне<sup>[79]</sup>, одного из семи человек, вышедших в 1968 году на символическую демонстрацию на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию. Венедикт Ерофеев уважал Вадима Делоне за его порядочность и выделял среди других диссидентов. Писатель жил на даче № 41 Бориса Николаевича Делоне в посёлке академиков Абрамцево с лета 1975 года вплоть до смерти 17 июля 1980 года её арендатора. Борис Николаевич относился к Венедикту Ерофееву с большой симпатией. Ему импонировали его открытость и откровенность. Он и сам относился к людям подобного, уже исчезающего психологического типа.

После смерти Бориса Николаевича Венедикт Ерофеев несколько месяцев провёл на даче Александра Епифанова, внука известного художника и реставратора, академика АН СССР Игоря Эммануиловича Грабаря<sup>[80]</sup>, а затем оттуда съехал, переселившись в дом бывшего первого управляющего посёлком академиков В. А. Исаева. Дом этот отапливался, и в нём можно было жить зимой. Но, повздорив с женой хозяина дома, Венедикт Ерофеев

надолго там также не задержался. И летом со своей второй женой Галиной Носовой он снял дачу в генеральском посёлке, находившемся неподалёку. А «потом они совсем уехали, когда поняли, что никакого постоянного пристанища они там не найдут» — так объяснил сложившуюся ситуацию знакомый Венедикта Ерофеева Сергей Григорьевич Толстов (литературный псевдоним Рокотов), писатель, сценарист и внук известного историка, этнографа, археолога, члена-корреспондента Сергея Павловича Толстова<sup>[81]</sup>. Вместе с тем, как он утверждает, в Абрамцеве «они периодически появлялись». Предсмертным пристанищем для Венедикта Ерофеева стала дача Толстовых, где он отметил свой последний Новый год.

Сергей Толстов вспоминает: «Когда Ерофеев уже был тяжело болен в 1989 году, я предложил ему пожить у меня на даче зимой. В доме было газовое отопление, они ещё дровами запаслись. Здесь они прожили с октября 1989-го до конца марта 1990-го. Я приезжал сюда редко. Он уехал отсюда в Москву и через несколько недель лёг на Каширку. У него уже были метастазы. До этого он перенёс уже две операции — в 1985 и в 1988 годах. Дар речи он потерял, говорил в аппарат. <...> Последний раз на Каширку он лёг почти сразу после возвращения из Абрамцева, буквально через несколько дней»<sup>7</sup>.

Приведу для подтверждения того, насколько была важна музыка для душевного состояния Венедикта Ерофеева, его запись в дневнике: «Если бы я вдруг узнал откуда-нибудь с достоверностью, что во всю жизнь больше не услышу... Шуберта или Малера, это было бы труднее пережить, чем, скажем, смерть матери»<sup>8</sup>.

Венедикт Ерофеев в письме старшей сестре Тамаре Тушиной так объясняет свою любовь к музыке: «...как

говаривал Демокрит<sup>[82]</sup>, “быть восприимчивым к музыке — свойство стыдливых”, а я стыдлив»<sup>9</sup>.

Александр Леонтович, высказываясь по поводу музыки в поэме «Москва — Петушки», заглянул в суть его манеры письма. Ведь далеко не все литературоведы, особенно с докторскими степенями, пришли в восторг от «плебейской», шпанистской прозы Венедикта Ерофеева. Вот что он сказал: «Я пробовал исследовать упоминание музыки в “Москве — Петушки”. Я вообще считаю, что “Москва — Петушки” — это экскурс во всю культуру человечества, особенно в русскую. И музыка как элемент культуры здесь тоже участвует. Мне кажется, что ассоциации, которые возникают, когда Ерофеев упоминает музыку, играют очень большую роль в поэме, но поскольку музыка — это второй язык, который мало кто знает, то многое нужно пояснять. (С Мусоргским, например, ассоциируется сам Веня.)»<sup>10</sup>.

Пётр Вайль, словно ссылаясь на Александра Леонтовича, продолжил его размышления о музыкальных пристрастиях Венедикта Ерофеева: «Любимцы — Шостакович, Брукнер, Сибелиус — художники с ярко выраженным романтическим пафосом, в их музыке кипят сильные эмоции. А вот “игровой” Моцарт странным образом не откликнулся в открыто игровом Ерофееве. Не исключено, что на уровне абстрактного звука он позволял себе те чувства, которые не желал артикулировать в словах»<sup>11</sup>.

Самое забавное, что Пётр Вайль, и не только он один, чутко улавливая социально-политическую подоплёку творчества Венедикта Ерофеева, часто не знал, что сказать по существу, когда речь заходила о более тонких материях в сочинениях писателя. Не отсюда ли у него появляются скоропалительные и немотивированные выводы? Иногда ради красного

словца его заносило в риторику, напоминающую ругань. Так и здесь, в чём убедится читатель, он непостижимым образом словно взмывает вверх и смотрит на Венедикта Ерофеева с небес строгим и осуждающим оком Бога Отца Саваофа: «Есть ощущение, что этот забубённый алкаш сознательно и рационалистически воспитывал себя. И безразличие к окружающим, даже к беззаветно преданным ему апостолам, нивелировка этического градуса работали на обострение эстетических переживаний. А тонкости Ерофеев достиг тут невероятной. Плебейский аристократизм — возможен такой оксюморон? Восторг высшего эстетства — ставить пластинку, чтобы под излюбленный аккорд симфонии падать с грохотом с печи. Такому позавидовал бы Оскар Уайльд, жаль, у англичан каминь: свалишься, так не “с”, а “в”. Не прозрениями, а знаками культуры усеяны его богоискательство и сам приход к католицизму. Строить гипотезы на столь интимный счёт — занятие сомнительное, можно лишь отметить высокую степень книжных поисков. Это свидетельство и декадентского состояния российской культуры, и трезвого, аналитического склада ума конкретного Венедикта Ерофеева»<sup>12</sup>.

Сколько людей, столько и мнений. Александр Леонтович сетовал, что у Венедикта Ерофеева не было стремления к анализу, а Пётр Вайль упрекает его в книжности создаваемых текстов и аналитическом складе ума. Кто же из них прав? Рассудить их возможно, только повернувшись лицом к Востоку, чего мы не привыкли делать. Но глупо веками стоять задом (или спиной) к восходящему солнцу. Вскоре на страницах этой книги такой поворот в сторону Востока произойдёт и многое в творчестве Венедикта Ерофеева объяснится само собой. Об одной особенности восточной методологии я всё-таки скажу сейчас. В том

мире, который открывается внутреннему сознанию буддиста или даоса, между точками зрения Александра Леонтовича и Петра Вайля на Ерофеева нет никакого противоречия. Ведь то, о чём они рассуждают, относится к сознанию повседневному, а не к медитативному. И потому-то их суждения не имеют принципиального значения для постижения самой сути явления.

Сделав небольшое отступление в мир восточной философии, продолжу разговор о музыке.

Музыка на короткое время выдёргивала Венедикта Ерофеева из хаоса современного мира. Ирония выполняла ту же роль в его жизни и творчестве. С одной стороны, она была реакцией на хаотичную жизнь, которую он вёл, а с другой — попыткой снизить страх перед рушащимся на его глазах миром и заключить этот существующий и несущий гибель хаос в рамки более или менее упорядоченного бытия. Фридрих Шлегель<sup>[83]</sup>, философ, поэт и писатель, обозначал иронию как «ясное осознание хаоса»<sup>13</sup>.

Музыка входит в жизнь каждого человека чуть ли не с пелёнок. Особенно при тех средствах массовых коммуникаций, которые используются людьми сегодня. Трудно представить себе человечество без музыки. Звуковая природа мира отражена в ней — в обрядах, песнях, танцах, жертвоприношениях. Известный немецкий музыковед Хариус Шнайдер<sup>[84]</sup> обращался к мудрости Древнего Китая — даосизму, чтобы глубже понять первоначальную роль музыки: «Первым воспринимаемым проявлением созидания является звук, который в силу традиций исходит из дао (в процессе изменения и становления всех вещей на основе даосизма), из первоначальной бездны, из пещеры, из *singing ground* (звукового фона), из сверкающего

солнца, из открытого рта божества, из музыкального инструмента, символизирующего Создателя»<sup>14</sup>.

Понятие *дао* {путь} находится в основе концепции даосизма, основоположником которого по традиции считается Лао-цзы, живший в VI—V веках до н. э.

Из предисловия к книге «Дао. Гармония мира»: «Всё, что существует, произошло от *дао*, чтобы затем, совершив круговорот, снова в него вернуться. *Дао* не только первопричина, но и конечная цель и завершение бытия. *Дао* недоступно чувственному восприятию, его нельзя выразить, или, по словам Лао-цзы, “знающий не говорит, говорящий не знает...”. Однако задача человека — познать *дао*, живя в единстве с природой, не нарушая “гармонии мира”. Это возможно, если придерживаться принципа недеяния и сохранять в себе чистоту ребёнка, говорит Лао-цзы, имя которого можно перевести не только как “Старый мудрец”, но и как “Старый ребёнок”»<sup>15</sup>.

Венедикт Ерофеев в «Записных книжках 1967 года» пересказал даосскую легенду, приводимую Джеромом Дейвидом Сэлинджером<sup>[85]</sup>: «Князь Му, повелитель Цинь, искал человека, которому можно было поручить покупку несравненного скакуна. И такого человека ему порекомендовали: Чу Фан-Као. И послан был Чу Фан-Као на поиски коня. И три месяца он искал, и нашёл. И доложил, что лошадь найдена. “Она теперь в Шахью”, — сказал он. “А какая это лошадь?” — спросил князь. “Гнедая кобыла”, — был ответ. Но когда послали за лошадью, оказалось, что это чёрный, как ворон, жеребец. Князь Му негодовал: он не умеет даже назвать масть, — что же он понимает в лошадях? Но привели коня — и оказалось, что он поистине не имеет себе равных. И придворный мудрец По Ло сказал князю Му: “Я не осмелюсь сравнить себя с Чу Фан-Као. Ибо он проникает в строение духа. Постигая сущность, он

забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечает ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит. Мудрость Као столь велика, что он мог судить и о более важных вещах, чем достоинства лошадей»<sup>16</sup>.

Венедикту Ерофееву удавалось наступающий на него внешний хаос бытия нейтрализовать гармонией внутри себя. В этом ему содействовала музыка. В сущности, чем чаще он её слушал, тем больше оказывался защищённым от всякого рода искушений. Появившееся от страха быть раздавленным жизненными обстоятельствами его обожание музыки стало постоянным и прочным. Теперь было трудно сказать, от чего он больше зависит — от алкоголя или от музыки. Как и невозможно было предвидеть, кто из них одержит над ним победу. Своё отношение к особой роли музыки в его внутреннем мире он высказал в дневниковой записи: «Я последнее время занят исключительно прослушиванием и продумыванием музыки. Это не обогащает интеллекта и не прибавляет никаких позитивных знаний. Но, возвышая, затемняет “ум и сердце”, делая их непроницаемыми ни снаружи, ни изнутри»<sup>17</sup>.

Сознание Венедикта Ерофеева было насыщено даосскими размышлениями. Благодаря им жизнь, которую он вёл, наделялась смыслом, а его художественный дар обретал перспективу.

Проза Венедикта Ерофеева с её глубинным содержанием, с её особой композицией, выстроенной на попеременной смене нарастающих и ниспадающих ритмов, с её водоворотом причудливых образов, с её контрапунктами, настойчивыми лейтмотивами и

неожиданными стилистическими эффектами безусловно соответствует музыкальным канонам.

Насколько была важна для Венедикта Ерофеева музыка, говорит запись в одном из его блокнотов, датируемая 1972 годом: «Музыка — средство от немоты. Может быть, вся наша немота от неумелости писать музыку»<sup>18</sup>. Он также записал себе на память последнее предложение в статье Николая Васильевича Гоголя<sup>[86]</sup> «Скульптура, живопись и музыка». Эта статья — моление Богу: «Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?»<sup>19</sup>

Напомню читателю предыдущие гоголевские строки. Они важны для установления важного и неоспоримого для Венедикта Ерофеева факта: искусство имеет непосредственное отношение к укреплению в человеке нравственного чувства. Оно появилось как средство, облагораживающее и возвышающее человека: «О, не оставляй нас. Божество наше! Великий зиждитель мира поверг нас в немеющее безмолвие своею глубокой мудростью: дикому, ещё не развернувшемуся человеку он уже вдвинул мысль о зодчестве. <...> Древнему, ясному, чувственному миру послал он прекрасную скульптуру, принёсшую чистую, стыдливую красоту, — и весь древний мир обратился в фимиам красоте. Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам беспокойным и тёмным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял всё радужное в жизни, дал он вдохновенную живопись, показавшую миру неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный и дряхлый век ниспослал он могущественную музыку — стремительно обращать нас к Нему»<sup>20</sup>.

По свидетельству вдовы писателя Галины Ерофеевой (Носовой), Венедикт Васильевич «музыку не



просто любил, а обнимал, поглощал»<sup>21</sup>. Подчеркну особо: музыка возвращала ему ушедшее время молодости, когда он был полон сил и надежд.

Перенеся психологически точное наблюдение Георгия Адамовича<sup>[87]</sup> с судьбы поэта-эмигранта Бориса Поплавского на Венедикта Ерофеева, можно сказать, что им созданное «остаётся свидетельством веры в одно только музыкальное начало творчества, или как завещание человека, для которого музыка была соломинкой утопающего»<sup>22</sup>.

К этой мысли непосредственно восходит убеждение Венедикта Ерофеева о крепких нервах и неуязвимости композиторов: «Ни один композитор не покончил с собой и не умер насильственной смертью»<sup>23</sup>. Что на это скажешь? Остаётся только этим людям позавидовать.

Я обнаружил в писателе Венедикте Ерофееве черты личности молодого человека из первой половины XIX века. Глядя на него, вспоминаются строки Александра Пушкина из поэмы «Евгений Онегин»:

Мы все учились понемногу  
Чему-нибудь и как-нибудь.  
Так воспитаньем, слава богу,  
У нас немудрено блеснуть<sup>24</sup>.

Но даже при огромном уважении к Венедикту Ерофееву я никоим образом не соотношу его с кем-то из писателей того времени. Орхидеи не растут на капустном поле. У меня хватает здравого смысла не ставить его рядом с гением, о котором поэт Аполлон Григорьев сказал, что он — наше всё. Вместе с тем именно Александр Пушкин всесторонне описал в поэзии

и прозе тот тип личности, к которому в какой-то степени принадлежит автор поэмы «Москва — Петушки». Перед нами глубоко верующий человек, но отнюдь не фанатик. Это философ, свободный в мыслях и поступках, в меру образованный, отдающий должное Гомеру и Платону, с понятиями чести и достоинства, книголюб, но не ограничивающий свои читательские интересы только классической литературой. А вот без классической музыки чувствуя себя потерянным. Совсем уж ему тогда становится пакостно и одиноко.

Венедикт Ерофеев в движениях был пластичен. В пространстве двигался легко и красиво — умел обращать на себя внимание. С возрастом становился ветреником. Искал и находил эмоциональную разрядку в общении с кокетливыми и смазливими девицами. Нередко переходил черту дозволенного. И одновременно Венедикт Ерофеев производил впечатление мужа, чтившего святость домашнего очага. По крайней мере никому со стороны не позволял усомниться в порядочности его самого и его возлюбленных.

Вот и блистал Венедикт Ерофеев начиная с конца 1970-х годов в кругу своих многочисленных поклонниц и почитателей. А что было до того времени, лучше не вспоминать. В общем, пришлось ему в жизни несладко. Ведь он, как заметила литературовед и критик Татьяна Касаткина, «в отличие от тайного советника Иоганна фон Гёте, не заставлял своих героев совершать опасные для жизни поступки за себя, он сам совершал их за всех своих героев»<sup>25</sup>. Но знал Венедикт Ерофеев, и никто не переубедил бы его в том: всё в конце концов заканчивается. В худшую или лучшую сторону — уже не столь важно. Как он записал в блокноте: «Ничто не вечно, кроме позора»<sup>26</sup>.

Позор как раз ему не грозил. Не из-за того, что он был безупречен во всех отношениях, а потому, что зло не путал с добром. Чётко видел и то и другое. Себе никогда не изменял и в людях приспособленчество презирал. Венедикт Ерофеев даже ради того, чтобы увидеть небо в алмазах, не стал бы кривить душой. Музыка, постоянно в нём звучащая, не позволила бы. Если такое искушение в нём и появилось бы, он знал, как ему поступать. Сказал об этом откровенно в поэме «Москва — Петушки»: «Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя — о, такое нашептал! — и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, — я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу»<sup>27</sup>.

Сегодня на такой максимализм мало кто решится. А надо бы!..

От души радуюсь, когда люди высказывают свои мысли прямо и смело, без всяких оговорок. Например, как это сделал Александр Генис: «После провала путча 91-го года, ознаменовавшего конец советского режима, возникла насущная необходимость понять, кто из писателей сумел пережить падение прежней власти. Дело в том, что в те эйфорические времена в одночасье пала грандиозная литературная система, которая либо украшала, либо уродовала, но, главное, питала нашу общественную жизнь на протяжении нескольких поколений. Крах коммунизма и отмена цензуры упразднили ту самую словесность, с которой эта же цензура так яростно боролась. В пропасть рухнула целая литература. И дело тут не в отдельных именах и названиях, а в самой мировоззренческой системе, без которой она не могла функционировать»<sup>28</sup>.

На это поразительное событие обратили внимание многие отечественные литературоведы и критики. В их

числе была и Елена Смирнова. Известная исследовательница творчества Гоголя и автор необыкновенно талантливой и проницательной статьи «Венедикт Ерофеев глазами гоголеведа». Эта статья была опубликована в третьем номере за 1990 год историко-литературного журнала «Русская литература». Она начинается с подтверждения скоропостижной смерти той литературной продукции, которая считалась вечной:

«Знакомство с поэмой Венедикта Ерофеева “Москва — Петушки” состоялось у меня тогда, когда само понятие “современная художественная проза” уже готово было превратиться в нонсенс. Отсюда должно быть понятно то отрадное чувство, которое она вызвала:

Не бездарна та природа,  
Не погиб ещё тот край...»<sup>29</sup>

Елена Смирнова обрывает на этих строках цитирование стихотворения Николая Алексеевича Некрасова<sup>[88]</sup> «Школьник», резонно полагая, что читателям журнала (филологам по профессии) оно хорошо известно. Но именно последующие строки объясняют, что она хотела сказать. Я это сделаю за неё:

Что выводит из народа  
Столько славных, то и знай —  
Столько добрых, благородных,  
Сильных, любящих душой,  
Посреди тупых холодных

И напыщенных собой<sup>30</sup>.

Продолжу выписки из статьи Елены Смирновой: «...существуя в русской литературе реально, Ерофеев долгие годы в ней *как бы не существовал* (национальный феномен, описанный ещё Тыняновым). Наконец живая жизнь пробилась сквозь железобетон: писатель признан, его печатают, ставят на сцене, у него берут интервью, о нём выходят статьи. Счастливый конец, казалось бы, венчает дело. Но до слуха доходят то там, то тут раздающиеся возгласы: “Не могу читать”, “Противно” и в том же роде. Причём подобное приходится слышать от лиц с высшим филологическим образованием, да ещё, как говорится, остепенённых. Разумеется, на все вкусы не угодишь. Кому-то может и не понравиться. Но кажется, что этого простого объяснения здесь недостаточно: настораживают некоторые нотки в голосах самих увенчивающих. Почему, например, сюжет “Петушков” излагается ими в однозначно бытовом плане (герой уснул в поезде, не вышел на своей станции и нечаянно вернулся в Москву)? Почему произведение Ерофеева упорно именуют “повестью”. Как тут не вспомнить историю полутора столетней давности — реакцию публики на “Мёртвые души”. Гоголю также никак не могли простить “сальности”, как тогда на французский лад выражались, его произведения. И так же, как и сейчас, не вникнув в суть дела, многие читатели (и критики в том числе) покатывались тогда от смеха над словом “поэма”, которое писатель поместил в центр своей обложки, да ещё выделил самыми крупными буквами»<sup>31</sup>.

Приведу ещё одно существенное наблюдение Елены Смирновой по поводу связи поэмы «Москва — Петушки»

с действительностью тех лет. Она к месту и очень кстати вспоминает статью Николая Гоголя «В чём же наконец существо русской поэзии...»: «...он утверждал, что в душе русского человека нераздельно существуют два свойства: “умение пред чем-нибудь истинно возблаговеть” и умение “над чем-нибудь истинно посмеяться”. В “Мёртвых душах” оба эти свойства выявлены с огромной мощью и взаимно уравновешены. В годы же, к которым относится создание ерофеевской поэмы, государство стремилось культивировать только первое из названных свойств. Однако чем с большей силой природу русского человека (употреблю гоголевский термин) выталкивали в дверь, тем энергичней она устремлялась в окно. Насильственно вытесняемое стремление “истинно посмеяться” обратилось в первую очередь на то, перед чем было велено благоветь. Ерофеев сделал это с непревзойдённым блеском и с безоглядностью человека, для которого истина дороже не только какого-то там Платона, но и членства в ССП. Всю напыщенную ложь, буйно процветавшую в то время в обществе, писатель приговорил к высшей мере осмеяния и употребил для этого оружие, которое завещал нашей литературе Гоголь, — метко сказанное русское слово»<sup>32</sup>.

Вернусь к произошедшему казусу исчезновения того, что ещё вчера читалось и обсуждалось, а уже сегодня вовсе не замечалось. Никто такого поворота событий не ожидал. Создавшаяся ситуация напоминала сюжет повести Николая Гоголя «Нос». Только вместо носа в надлежащем и видном месте не оказалось не что-то единичное и мелкое, а отсутствовала советская литература — огромная по количеству произведений и разнообразная по их художественному совершенству.

Тут я приведу запись Венедикта Ерофеева в одном из его блокнотов: «А вот Михаил Евграфович (Салтыков-Щедрин<sup>[89]</sup>. — А. С.) говорил, что если хоть на минуту замолчит литература, то это будет равносильно смерти народа»<sup>33</sup>.

До такой катастрофы, слава богу, дело не дошло. Всё оказалось не так уж безнадежно. После некоторого замешательства появилась надежда, а вместе с ней при внимательном и широком взгляде на природу вещей нашлось, ко всеобщей радости, как и в повести Николая Гоголя, пропавшее искомое, о чём оповестил читателей тот же проницательный критик Александр Генис: «Дело в том, что Ерофеев родился, жил и умер в другую — советскую — эпоху. Но он — один из очень и очень немногих русских писателей — в ней не остался. Немногочисленным страницам его сочинений удалось пересечь исторический рубеж, разделяющий две России»<sup>34</sup>.

Сколько ещё таких находок ожидает нас впереди. Ведь многое из того, что писалось в 1960-е и 1970-е годы и не издавалось на родине, помаленьку выходит из печати с конца 1980-х годов.

Среди таких значительных и важных для России книг самая заметная — исследование «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Отрывок из второго тома этой книги я процитирую. Он имеет непосредственное отношение к жизни и творчеству писателя Венедикта Ерофеева, к той среде, из которой он вышел и с которой постоянно соприкасался. Не суть важно, что у Солженицына речь идёт не о мужчинах, а о женщинах: «Они были — немые. Немее всех остальных. Рыбы — их образ. Рыбы, символ древних христиан. И христиане же — их главный отряд. Корявые, малограмотные, не умеющие сказать речь с трибуны, ни составить подпольного воззвания (да им по вере это и

не нужно), они шли в лагеря на мучения и смерть — только чтоб не отказаться от веры! Они хорошо знали, за что сидят, и были непоколебимы в своих убеждениях! Они единственные, может быть, к кому совсем не пристала лагерная философия и даже язык. <...> И женщин среди них — особенно много. Говорит Дао: когда рушится вера — тогда-то и есть подлинно-верующие. За просвещённым зубоскальством над православными батюшками, мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь и свистом блатных на пересылках, — мы проглядели, что у грешной православной церкви выросли всё-таки дочери, достойные первых веков христианства — сёстры тех, кого бросали на арены ко львам»<sup>35</sup>.

Игорь Авдиев, культуролог, друг Ерофеева, вспоминал те годы: «Некто увидел Венедикта Ерофеева с лицом “землистым” в середине семидесятых. Кто же был румян в эти годы? В это время уехали (всех выгнали) и Андрей Синявский<sup>[90]</sup>, и Владимир Максимов<sup>[91]</sup>, и Вадим Делоне... А художники, выдержавшие такие бои с неумолимой, властью имущей пошлостью! Все приходили в Камергерский переулок попрощаться с Венедиктом: расставание “может быть, навеки” всех тогда делало родными. Кто уезжал, не имел иллюзий вернуться на родину, кто оставался с родиной, не имел никаких иллюзий. В середине семидесятых Венедикт прочёл “Архипелаг ГУЛаг” Солженицына и года на два опустил шторы и погрузил комнату в сумрак. Выходил погулять по переулкам ночью. Как было сохранить “цвет лица” в России середины семидесятых!»<sup>36</sup>

В начале 1990-х годов некоторые критики уподобляли Венедикта Ерофеева Александру Солженицыну. Андрей Леонидович Зорин, литературовед, историк культуры, профессор



Оксфордского университета, полагает, что это «сопоставление не такое дикое, как может показаться на первый взгляд»<sup>37</sup>.

Обращусь к его аргументации. В 1970-е годы усилившееся идеологическое давление на писателей и художников перекрывает систему культурного кровообращения. В результате этого «художественная жизнь приобретает очаговый характер, распадается на мелкие, не связанные друг с другом участки». То, что рядом, выглядит непропорционально громадным, а то, что не поблизости, — почти невидимым. Отсюда следует: «Естественный акт вкусового отбора осуществляется не по модели “Иванов мне нравится больше Сидорова” или даже “Иванов мне нравится, а Сидоров — нет”, но по формуле “Иванов гений, а Сидорова не существует”. Обратной стороной этой групповой зацикленности™ становится фатальная неуверенность, ибо только общественное одобрение, негодование, безразличие могут служить почвой, из которой произрастает любое суждение. Вне их оно как бы висит в воздухе, становясь, независимо от своей обоснованности, слишком лёгким и произвольным делом. Всякое творческое усилие вызывает здесь непомерный резонанс в ближайшей среде, а затем поглощается вакуумом»<sup>38</sup>.

Причисление Венедикта Ерофеева к признанным классикам русской литературы объясняется, по мысли профессора, тем, что поэме «Москва — Петушки» суждено было «стать точкой отсчёта для нового этапа художественного, или, по крайней мере, литературного процесса. Более того, по слабому намёку, по едва заметной цитате из поэмы в незнакомом человеке можно было узнать своего»<sup>39</sup>. Конечно же, роли Александра Солженицына и Венедикта Ерофеева в пробуждении общественного сознания моих

соотечественников несоизмеримы. Да и поведение каждого из них неодинаково. Один мужественно вышел на передний край борьбы с монстром тоталитаризма, а другой повёл себя как Фрэнк Абигнейл из фильма Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» (2002). Андрей Зорин осознает эти нестыковки жизненных путей двух писателей, как и то, что Венедикт Ерофеев отважно нырнул в самую гущу жизни обычных работяг, своих современников, и находился в ней почти десять лет, написав свой шедевр — поэму «Москва — Петушки». В этом произведении мудрость, почерпнутая писателем из многочисленных философских, религиозных и литературных источников, слилась воедино с его непосредственным жизненным опытом. Оценивая масштаб дарования автора поэмы и художественную необычность его творения, Андрей Зорин находит точный ответ, в чём конкретно сказалось воздействие творчества Александра Солженицына и Венедикта Ерофеева на умы их современников: «Я не раз слышал, а в последнее время и читал, что значило для людей начала 60-х годов появление “Одного дня Ивана Денисовича”. Огромный пласт бытия, тяжко ворочавшийся в подсознании, о котором у общества не было ни слов, ни сил не только говорить, но и думать, был неожиданно возведён, как любил выражаться Гегель, “в перл создания” и обнародован. Целое поколение, а то и два сумели благодаря этой маленькой повести осознать себя и своё место в жизни. На следующем этапе другой книге Солженицына “Архипелаг ГУЛаг” суждено было выполнить куда более грандиозную задачу. Но “поколение образующая” роль перешла на этот раз к поэме Венедикта Ерофеева»<sup>40</sup>.

Новое поколение свободных людей, использующее успехи цивилизации и обладающее чувством достоинства, с трудом, но всё-таки выходит на

авансцену современной российской жизни. За ним будущее России.

Веничка, герой поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», приближающийся по ходу повествования к неминуемой смерти, предощущает с точки зрения вечности такое общество свободных и полноправных граждан, чьё сознание не ущербно и не замусорено всякой ерундой.

Андрей Зорин в качестве резюме к своей статье высказывает следующую мысль: «Демократизм и элитарность, грубость и утончённость, форс и трагедия, капуста и мистериальное действие встретились на страницах поэмы, чтобы в ценящую парадоксы эпоху оттенить главный парадокс: всеми фибрами души не терпевший учительства, Веничка таки стал пророком. И когда нас позовут на любой суд, мы будем свидетельствовать о времени, в котором жили, держа руку на “Москве — Петушки”»<sup>41</sup>.

Время нетерпимости, преследований и массовых репрессий закончилось. Думаю, навсегда. В наши дни уже не скажешь: «Была правда когда-то, да извелась». Правды стало много, а вот справедливости, о которой говорят: «справедливость — залог процветания», ощутило мало. Большею частью мы любим, как и прежде, справедливость за счёт нашего ближнего. Официально, но не общенародно признали свет за свет, тьму за тьму. И храмов в Москве стало, как прежде, сорок сороков, а может быть, и того больше. Вместе с тем всё ещё многие из моих соотечественников не прочувствовали недавнюю историю родной страны, не осознали её уроков, высокомерно отодвинув в тень её трагические события, не догадываясь, до какой степени опасно для будущего России удерживать себя в таком межеумочном состоянии.

И ещё скажу о полезном совете от Венедикта Ерофеева. Пора нам отвыкнуть от принципа «только так и никак иначе», из-за которого на нашей планете происходили и происходят многие беды.

Посмертная судьба Венедикта Ерофеева определилась. Он признан классиком русской литературы. Этот очевидный факт, подтверждённый его многочисленными читателями и авторитетными писателями во многих странах, вряд ли возможно аргументированно оспорить или, наведя хрестоматийный глянец, подвергнуть его изоляции за стеклом музейной витрины. Критик Марк Наумович Липовецкий в 1992 году на страницах журнала «Знамя» с полным правом объявил, что «процесс возведения Венедикта Ерофеева в священный сан КЛАССИКА русской словесности завершён окончательно и бесповоротно»<sup>42</sup>.

## **Глава шестая**

# **ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ КАК ТЕРРА ИНКОГНИТА**

Венедикт Ерофеев со временем превратился в персонаж легенды, рождённой среди российских выпивох, склонных порассуждать о всяком разном. Легенда эта о том, как с помощью средств, опасных для здоровья, утоляется жажда свободы и появляется, пусть и на короткое время, развесёлое состояние души, когда море по колено. А уже как следствие этого — уверенность в себе, в своих творческих возможностях и самоуважение. Подобные ощущения и воспоминания о них греют душу сильно пьющих людей, а также успокаивают их совесть во время неотвратимых конфликтов со своими близкими. Венедикт Ерофеев в создании этой легенды принимал посильное участие и даже в определённых ситуациях (например, в общении с журналистами) испытывал удовольствие, когда фонтанировал придуманными историями из своей жизни и жизни своего окружения. Они были настолько шокирующими, что у собеседника от удивления округлялись глаза. Энергии и времени на дуракаваляние у него хватало с избытком.

Анатолий Иванов, приятель Венедикта Ерофеева, в своей статье «Как стёклышко: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече» нисколько не преувеличивает, когда говорит, что «Веня наплодил уйму легенд, “дез”, апокрифов о себе, пестовал их и множил»<sup>1</sup>. Эти импровизации его ума, часто становившегося игривым под воздействием винных паров, со временем широко распространились в виде устных рассказов среди его

поклонников и получили название «Евангелие от Ерофеева». Именно они и создали ему репутацию интеллектуала-юродивого, постоянно находящегося «под мухой»<sup>[92]</sup>.

Я на самом себе ощутил правоту рассуждений Анатолия Иванова на тему «Ерофеев и его два облика — настоящий и фольклорный». Он предупреждает будущих биографов писателя: «Не завидую тем, кто возьмётся за подлинное немифологизированное жизнеописание Венедикта Васильевича Ерофеева. Отделить истинность от театрализации жизни непросто. Каков он настоящий, видимо, до конца не знает никто»<sup>2</sup>.

Теперь понятно, почему даже такой многократно общавшийся с Венедиктом Ерофеевым инакомыслящий и здравомыслящий поэт и прозаик, как Владимир Дмитриевич Алейников, обозначил его сочинения «алкогольной прозой». Он заявил буквально следующее: «На одном Вене Ерофееве свет клином не сошёлся. Веня со своей алкогольной прозой появился, кстати говоря, вовсе не на заре, а где-то поближе к середине всеобщей выпивонной эпопеи. Бывали авторы, выразившие в слове спиртовую тему и получше его, Ерофеева, посильнее и убедительнее. Немало ещё есть неизданных текстов»<sup>3</sup>. А восхищаются ерофеевской прозой, как утверждает Владимир Алейников в своём мемуаре «Пир», «официальные писатели, особенно либеральные, с широкими взглядами...»<sup>4</sup>. Такие, например, как Андрей Битов.

Меня не удивило подобное скептическое отношение к творчеству Венедикта Ерофеева со стороны писателя амбициозного, однако живущего вдали от шумных городов. Ситуация для писательской среды вполне обычная. Один писатель в своём произведении в целях

саморекламы (не по причине же зависти!) наезжает на другого, в литературном мире более известного.

Венедикт Ерофеев свыкся с подобной атмосферой недоброжелательства и, находясь среди своих коллег, больше помалкивал, чем говорил, чтобы не раздражать собеседников. Впрочем, он не всегда сдерживался. Бывало, что и срывался. Особенно во время затяжных попок в компании молодых писателей из ленинградской «второй литературы».

А вот другой поэт и прозаик, широко известный в публичном пространстве Дмитрий Львович Быков, в разговоре о популярности поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» также не забыл об «алкогольной прозе», но придал своим рассуждениям о ней, в отличие от прямолинейного Владимира Алейникова, совершенно иной, более широкий смысл.

Вести дискуссии вокруг Венедикта Ерофеева действительно сомнительное удовольствие. Ведь вся его биография окутана туманом неопределённости.

Андрей Зорин в связи с этим обстоятельством предупреждает авторов вроде меня, самонадеянно решивших составить жизнеописание Венедикта Ерофеева: «Что до биографов, то их задача окажется и вовсе не посильной, ибо проследить перемещения писателя по городам, весям, службам и учебным заведениям, выявить помещения для установления на них мемориальных досок, датировать замыслы и свершения, — дело почти невыполнимое. “Написать его биографию было бы делом его друзей, — говорил Пушкин о Грибоедове, — но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов”»<sup>5</sup>.

Что же касается творчества Венедикта Ерофеева, то, несмотря на небольшой объём им написанного, оно напоминает равнину, уходящую далеко за горизонт. Есть где разгуляться фантазии человека, говорящего

или пишущего о нём. Но чем больше я всматривался в его жизнь и размышлял о том, чем он оглушил читателей, тем большие сомнения иногда овладевали мною. А стоит ли так жить, как жил автор поэмы «Москва — Петушки», и писать настолько откровенно? В самом начале XIX века Эрнст Теодор Амадей Гофман<sup>[93]</sup> также сокрушался по тому же поводу: «Не противно ли всем правилам и приличиям показывать в обществе свою душу со всеми скрытыми в ней скорбями, печальями и восторгами, если тщательно не прикроешь её косынкой благоприличия и конвенансов<sup>[94]</sup>»<sup>6</sup>.

Дмитрий Быков избавил меня от этих сомнений и вернул в XXI век. Он усмотрел в Венедикте Ерофееве важную психологическую черту, роднящую его с русским религиозным философом, литературным критиком и публицистом Василием Васильевичем Розановым<sup>[95]</sup>. Больше того, автор поэмы «Москва — Петушки» представился ему реинкарнацией этого писателя: «Розанов всё время подставляется, он юродствует. И это трагическое юродство делает его для нас невероятно обаятельным. Ерофеев — это тоже гениальный юродивый, который на наших глазах действительно тратит собственную жизнь, на наших глазах уничтожает её. Но он наделён чувством трагического, чувством сострадания. Как ни странно, он по-розановски относится к народу, сочетая глубочайшее отвращение с глубочайшей же любовью. А по большому счёту, мне кажется, что интонации Розанова как-то предугадывают ерофеевские. Не случайно в своём замечательном эссе “Василий Розанов глазами эксцентрика” Ерофеев именно его интонациям уделяет наибольшее внимание»<sup>7</sup>.

Добавлю от себя, что двух писателей, живших в разные эпохи, сближает, если рассуждать глобально, общее представление, что человеческий микрокосм



проявляет макрокосм Вселенной. А если обращать внимание на частности — тому и другому присущи простая манера письма и желание понять, какие раздражители и импульсы побуждают человека себе во благо или в ущерб совершать те или иные поступки. Глобальное и частное объединяет вечный вопрос человека разумного: «Зачем мы здесь?» И там, и здесь проглядывает в новой, нарочито сниженной, иронической манере письма одна тема: человеческое желание достойной жизни, её утверждение и охранение.

Дмитрий Быков ищет приемлемое объяснение широкой популярности поэмы «Москва — Петушки» в горбачёвском СССР и в России — в первые 15 лет после августа 1991 года. Вот оно: «Главный парадокс Венедикта Ерофеева заключается в том, что произведение авангардное, на порядок более сложное, чем диалогия о Бендере, или даже роман о Мастере, полное цитат, аллюзий и вдобавок лишённое сюжета, — сделалось сначала абсолютным хитом самиздата, а потом источником паролей для всей читающей России. Ерофеев объединяет пролетариев, гуманитариев, военных, пацифистов, западников, славянофилов — примерно как водка. Но водка устроена значительно проще, чем ерофеевская поэма»<sup>8</sup>.

Ильфа и Петрова в совокупности с Булгаковым Дмитрий Быков привёл для большей убедительности его вывода об уникальности Венедикта Ерофеева как писателя, увидевшего и распознавшего причину пьянства как основного национального бедствия России. Он объяснил существование этого порока особенностями русского национального характера, словно в других странах проживают одни трезвенники.

Венедикт Ерофеев в одной из своих «Записных книжек» называет конкретные цифры потребления

алкогольных напитков в современном мире: «Для справки: в пересчёте на абсолютный алкоголь в 1960 г. на земном шаре было выпито 65 миллионов гектолитров чистого спирта. В 1968-м — уже 85 миллионов»<sup>9</sup>. На этом он не останавливается и приводит статистику России 1920-х годов. Итак, рост алкоголизма в СССР:

«В 1924 г. выпито 850 000 вёдер чистого алкоголя.

В 1925 г. — 4 100 000 вёдер.

В 1926 г. — 20 000 000 вёдер.

В 1927 г. — 31 000 000 вёдер»<sup>10</sup>.

А дальше, в последующие годы, — пошло-поехало с нарастающей силой!

Возвращусь к Дмитрию Быкову. Он полагает, что Венедикт Ерофеев воплотил в своей поэме «Москва — Петушки» миф о русском пьянстве как «довольно наивную, не всегда срабатывающую, но всё же маскировку мифа о других пороках»: «Пьянство — это ещё, кроме того, преодоление вечной розни, потому что все в России, как мы знаем, очень сильно друг от друга отличаются и, более того, очень сильно друг друга не любят. Ну, так кажется иногда. Климат такой, не хватает всего. Вот чтобы эту злобу временно пригасить и перевести её хотя бы ненадолго в формат братания, существует водка как смазочный материал, как коллективный, если угодно, наркотик. Ну, наркотик — конечно, это совсем другое, потому что коллективный кайф при наркотике невозможен, а при водке возможен»<sup>11</sup>.

Подобное определение русского менталитета я оставляю на совести Дмитрия Быкова. Тем более что свои рассуждения он ограничивает рамками мифа. И всё-таки до чего же неуклюжи его доводы о психопатичности русского народа, то есть его бессердечности по отношению к другим людям, неспособности к сопереживанию и раскаянию. Ведь

русский народ, как и любой другой народ на нашей планете, — это не пожирающие друг друга пауки в банке. Человеческая популяция, несмотря на войны и другие беды, всё-таки до сих пор существует. Обращу лишь внимание, что глаголы «знать» и «кажется», употребляемые Дмитрием Быковым, не синонимичны. Тут приходит на ум банальная реплика: «Когда кажется — креститься надо». Но это будет по принципу «сам дурак»! В данном случае, я думаю, больше подойдёт бенгальская поговорка: «Кто много говорит, начинает врать»<sup>12</sup>.

Прибегну к музыковедческой терминологии. Дмитрий Быков этим неожиданным *пассажем* дезавуирует свою же мысль о розановском отношении Венедикта Ерофеева к русскому народу: сочетание глубочайшего отвращения к нему с глубочайшей любовью. Мог он в сердцах написать: «Они мне вот: Россия погибает. Ну и пускай. Ей вроде бы к лицу. Никому бы так не пошло умереть, как Ей. Причём самым недостойным образом. Это входит, по-моему, в расчёты Господа Бога»<sup>13</sup>. Читатель, конечно, обратил внимание, что личное местоимение «Ей» написано у Ерофеева не со строчной, а с прописной буквы. Россию он хранил в своём сознании и чувствах как имя священное. Душой болел за своих соотечественников.

Куда беспощаднее и непримиримее относился к славянским народам, например, один из основоположников марксизма атеист Фридрих Энгельс. В блокноте у Венедикта Ерофеева есть по этому поводу запись: «Фридрих Энгельс почти на столетие опередил Гитлера: “Кровавой мстью отплатит славянским народам всеобщая война, которая вспыхнет, рассеет этот славянский зондербунд<sup>[96]</sup> (нем. *Sonderbund* — особый союз. — А. С.) и сотрёт с лица земли даже имя этих упрямых наций!”»<sup>14</sup>.

Пушкин в стихотворении «Свободы сеятель пустынный...» о любых народах также был не лучшего мнения, но смерти их не жаждал. Поэт озвучил свои сетования на бесплодность попыток Иисуса Христа изменить рабскую природу простолюдинов:

Паситесь, мирные народы!  
Вас не разбудит чести клич.  
К чему стадам дары свободы?  
Их должно резать или стричь.  
Наследство им из рода в роды  
Ярмо с гремушками да бич<sup>15</sup>.

В том, что сказали Дмитрий Быков и Александр Пушкин, нет точек соприкосновения. Можно подумать, что говорят об одном и том же, да вот смысл в сказанное вкладывают разный.

Народы у Александра Пушкина представлены в самом что ни на есть жалком и унижительном виде — рабами, ещё не познавшими дух свободы. Однако пренебрежение к ним у поэта отсутствует. Его стихотворение пропитано горечью. Неведомо народам чувство самоуважения, то есть чести. Они живут по инерции, как жили их предки, и вечная их доля — быть марионетками в руках кукловодов. При всём понимании Пушкиным рабского положения народов и нежелания с их стороны что-либо изменить в своей злосчастной судьбе в этом стихотворении чувствуется сострадание к ним. И горечь оттого, что природу человека с ходу не переделаешь и праведники земной мир в одночасье не преобразят. Разве что надорвутся и сами погибнут.

Да и что тут рассуждать! Венедикт Ерофеев в поэме «Москва — Петушки» настолько саркастически

высказывался о русском народе, что хоть стой, хоть падай. Но всё же не в духе беспросветной и озлобленной мизантропии. Его филиппики при всей их обличительности ближе к пушкинскому, сострадательному, христианскому ходу мысли: «Зато у моего народа какие глаза! Они постоянно навекате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! Какая духовная мощь! Эти глаза не предадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, — эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса»<sup>16</sup>.

Или приведу совсем уж беспощадное его высказывание. На этот раз не из поэмы «Москва — Петушки», а из «Записных книжек»: «Русская нация — просто невыспавшаяся, потому бестолковая, невезучая, противная, нервическая. У всех же было время поспать, много лет добротного мещанского искусства и бытия»<sup>17</sup>. Так и слышишь в этой филиппике неприязнь к сильным мира сего: «Перестаньте взваливать на свой народ “планов громадье” и обманывать его райской жизнью в будущем, дайте ему, наконец, сегодня пожить по-человечески». Для большей убедительности своего взгляда на народ он приводит ироническое замечание русского писателя из XIX века: «Прекрасно у Тургенева: “Русский человек тем прежде всего хорош, что он о себе предурного мнения”»<sup>18</sup>.

В его блокнотах существует немало уничижительных, не всегда справедливых характеристик русского народа, которые принадлежат его приятелям или вычитаны им из книг. Например: «Пресловутый Амальрик<sup>[97]</sup>: “Россия страна без веры, без традиции, без культуры и умения работать”»<sup>19</sup>; «Розанов: “Русь молчалива и застенчива, и говорить почти что не умеет. Вот на этом просторе и разгулялся

русский болтун”»; «Симпатичный шалопай — да это почти господствующий тип у русских»<sup>20</sup>.

Чтобы подвести черту под высказываниями Венедикта Ерофеева и его знакомых и друзей о русском народе, обращусь к ещё одной записи из его блокнота. По крайней мере она даёт надежду на какой-то просвет в будущем и впечатляет своей ироничной конкретикой: «Я оптимистично гляжу на мой народ. Количество подбитых женских глаз всё-таки больше, чем доносов женских»<sup>21</sup>.

В защиту так называемых цивилизованных народов Венедикт Ерофеев в одной из своих записей 1980 года приводит мудрые слова Максима Горького: «Основной и чудовищный факт: жизнью народов управляют люди совершенно обезумевшие»<sup>22</sup>.

Пролетарского писателя больше привлекала отдельная человеческая личность (вожак, вождь), которую он возвысил и воспел: «Человек — это звучит гордо!» Подобная хвала человеку, возвышающемуся над остальными людьми, была воспринята моим героем без всякого энтузиазма. Венедикт Ерофеев в пику классику переиначил его знаменитое и широко известное утверждение. Он без всяких обиняков объявил, что собой представляет венец творения в образе вожака и вождя: «Человек — это звучит горько»<sup>23</sup>. И тут же в скобках уточнил: «просто сорвалось»<sup>24</sup>. На кого он, знать бы, намекал? Не на самого ли Алексея Максимовича? Увы, не устоял Горький перед соблазном жить богато и своё свободомыслие спрятал подальше от зорких глаз соглядатаев!

И, надо сказать, это был не просто ёрнический выпад и сторону основоположника социалистического реализма. Несомненно, «перевёртыш» известной цитаты из горьковской пьесы «На дне» родился у него в

голове как протест против очевидного вранья. Ведь из гордецов с течением времени и при благоприятных для них обстоятельствах вырастают тираны. А плетью, как говорят, хомута не перешибёшь, как и насилием вряд ли изменишь человека.

Возможен в этом высказывании Венедикта Ерофеева и другой смысл. Горько смотреть на нравственный облик современного человека в его нынешнем плачевном состоянии.

Не буду кружить вокруг да около в попытке отыскать ту истину, которую Венедикт Ерофеев сердцем чувствовал, а своей жизнью не всегда подтверждал. Обращусь к Евангелию и прежде всего найду в нём ответ на вопрос «Что есть Истина?». «Фома сказал: Господи! не знаем, куда идёшь; и как можем знать путь? (Ин. 14:5). Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходил к Отцу, как только через Меня (Ин. 14:6)».

Николай Бердяев, христианский философ и мыслитель, в книге «Истина и откровение» пишет об этом высказывании Иисуса: «Что это значит? Это значит, что Истина не носит интеллектуального и исключительно познавательного характера, что её нужно понимать целостно, она экзистенциальна. Это значит также, что Истина не даётся человеку в готовом виде, как вещная, предметная реальность, что она приобретается путём и жизнью. Истина предполагает движение, устремлённость в бесконечность. Истина есть полнота, которая не даётся завершённой. <...> Истина не есть реальность и не есть соответствие реальности, а есть смысл реальности, есть верховное качество и ценность реальности. В человеке должно происходить духовное пробуждение к Истине, иначе она не достигается или достигается омертвевшей, окостеневшей. Истина может судить Бога, но потому только, что Истина и есть Бог в чистоте и высоте, в

отличие от Бога, приниженного и искажённого человеческими понятиями»<sup>25</sup>.

К вопросу «Что есть Истина?» непосредственно примыкает другой, более заземлённый и ему созвучный: «В чём состоит смысл жизни?» Может, мы, люди, ошибка природы? Да и то сказать: посмотреть на нас со стороны, из космоса, например, — будет одно расстройство ума и мельтешение в глазах.

Высланный из России в 1926 году русский философ и религиозный мыслитель Семён Людвигович Франк<sup>[98]</sup> писал: «Имеет ли жизнь вообще смысл, и если да — то какой именно? В чём смысл жизни? Или жизнь есть просто бессмыслица, бессмысленный, никчёмный процесс естественного рождения, расцветания, созревания, увядания и смерти без дела и толка, без родины и родного очага, в нужде и лишениях слоняющиеся по чужим землям — или живущие на родине, как на чужбине, сознавая всю “ненормальность” с точки зрения обычных внешних форм жизни, нашего нынешнего существования, вместе с тем вправе и обязаны сказать, что именно на этом ненормальном образе жизни мы впервые познали истинное вечное существо жизни. Мы бездомные и бесприютные странники — но разве человек на земле не есть, в более глубоком смысле, всегда бездомный и бесприютный странник?»<sup>26</sup>

Рассуждения Семена Франка о бездомных и бесприютных изгнанниках применимы к личности и писательской судьбе Венедикта Ерофеева. Автор поэмы «Москва — Петушки», как можно подумать, жил без царя в голове, но с осознанным Богом в душе. Многие события своей жизни он соотносил с Ним и благодаря Ему сберёг в себе чувство целомудренного простодушия и совестливое отношение к живым существам и природе. При всём разнообразии выпавших на его долю



несчастий Венедикт Ерофеев не задушил в себе чувство сострадания и с детских лет сумел противиться наваждениям, от кого бы они ни исходили. Он понимал, что жизнь, проходящая перед глазами, имеет косвенное отношение к её изображению в медиапространстве.

К той жизни, которую он повидал и образно воспроизвёл в поэме «Москва — Петушки», подошёл бы известный эпиграф к опубликованной в мае 1790 года повести Александра Николаевича Радищева<sup>[99]</sup> «Путешествие из Петербурга в Москву», взятый из эпической поэмы Василия Кирилловича Тредиаковского<sup>[100]</sup> «Тилемахида, или Странствие Тилемаха, сына Одисеева»: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Вспоминается ещё одна цитата из того же произведения: «Я взглянул вокруг меня — и душа моя страданиями человечества уязвлена стала».

Андрей Зорин в рецензии «Пригородный поезд дальнего следования» в «Новом мире» (№ 5 за 1989 год) предположил, что действие ерофеевской поэмы развёртывается в смысловом поле этих двух классических радищевских цитат<sup>27</sup>.

Свой сострадающий взгляд на обычного человека Венедикт Ерофеев противопоставил взгляду распространённому, умозрительному. Его образ человека был бесконечно далёк от того внедряемого в массовое сознание плакатного образа советского труженика с его чувством круговой поруки, необходимой для строительства коммунистического общества. Не забудем, что после отстранения от власти Никиты Сергеевича Хрущева<sup>[101]</sup> появление земного рая постоянно отодвигалось на неопределённый срок. Нетрудно представить, как на эту демагогию реагировали люди, у которых в сознании оставалась хотя бы капля здравого смысла. По поводу

коммунистического общества в блокноте Венедикта Ерофеева есть запись: «Всё будет у всех. У каждого мёртвого будет припарка. У каждой козы — баян, у каждой свиньи по апельсину, у барана — новые ворота»<sup>28</sup>.

Как ни печально осознавать, но исстари ценимый в России общинный коллективизм, который был, как замечает философ Игорь Борисович Чубайс, «социальным ответом на неустойчивый климат Восточно-Европейской равнины», и в повседневном ходе жизни рождённая этим «чувством локтя» взаимопомощь, представлявшая основу существования крестьянской общины, перестали существовать при последующем закабалении крестьянства новой властью»<sup>29</sup>.

Критики Пётр Вайль и Александр Генис определяют творчество Венедикта Ерофеева как эпохальное явление, в котором суммируются внешние признаки явлений исключительно для того, чтобы отобразить и понять внутренние, глубинные: «Ни он, ни его герои не беспокоят себя мелочами. Их волнуют только вопросы крайние, роковые, то есть философские. Этот экономный подход к творчеству позволяет небольшим вещам Ерофеева становиться энциклопедиями сегодняшнего дня»<sup>30</sup>.

Мой герой не искажал в своих сочинениях действительность в угоду чьих-то интересов и амбиций. Другое дело, что она напоминала ему посекундно меняющиеся узоры в калейдоскопе, которые практически повторялись редко и большей частью устрашали. Теперь понятен эмоциональный возглас Василия Розанова, который Венедикт Ерофеев записал в блокноте 1979 года, настолько он пришёлся ему по душе: «О, как хочется не понимать мира!»<sup>31</sup>

Разобраться в логике чередования реалий и примет повседневной жизни, мельтешащих перед глазами и отражаемых в прозе Венедикта Ерофеева, было бы невозможно, не поняв одного его полусерьёзного признания, на которое обратил внимание Александр Генис: «Мне как феномену присущ самовозрастающий логос»<sup>32</sup>. Критик расшифровывает это высказывание писателя: «Логос — в исконном смысле это одновременно слово и смысл слова. Философы определяют этот термин и как органическое, цельное знание, включающее в себя анализ и интуицию, разум и чувство. У Венички логос “самовозрастает”, то есть Ерофеев сеет слова, из которых, как из зерна, произрастают смыслы. Он только сеятель, собирать жатву нам — читателям. И каков будет урожай, зависит только от нас, толкователей, послушников, адептов, переводящих существующую в потенциальном поле поэму на обычный язык. Этот перевод неизбежно обедняет, а значит, и перевирает текст. <...> В момент перехода-перевода теряются чудесные свойства ерофеевской речи, способной преображать трезвый мир в пьяный. Толкуя поэму в терминах ерофеевского мифа, мы убиваем в ней главное — игру. Обнаруживая в “Петушках” трагедию, мы теряем комедию, наряжая Ерофеева мучеником, мы губим в нём поэта, делая его святым, мы хороним мудреца, желая принимать его всерьёз, мы забываем о принципиально несерьёзном характере его творчества и жизни»<sup>33</sup>.

Этот взгляд Александра Гениса на жизнь и творчество Венедикта Ерофеева я принимаю полностью, без всяких оговорок.

Импульсивным человеком был автор поэмы «Москва — Петушки», порывистым и в страстях своих неугомонным. А через какое-то время он перевоплощался в человека совершенно

противоположного склада. Противоречивая натура Венедикта Ерофеева проявилась и в его творчестве. К поэме «Москва — Петушки» и трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» вполне подходят последние две строки из посвящения, предваряющего роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин»: «Ума холодных наблюдений / И сердца горестных замет»<sup>34</sup>. Поэма «Москва — Петушки», несомненно, лучшее из всего, что было создано Венедиктом Ерофеевым. Но и его трагедия также не уступает шедеврам драматургии. Чтобы понять, о чём она, собственно, повествует, следует снять со своих глаз шоры и преодолеть в себе хотя бы такое мерзкое чувство, как юдофобия. На избавление от ксенофобии и отказ от стереотипов и шаблонов в сознании я и не рассчитываю — это процесс долгий и болезненный.

Григорий Померанц, философ, культуролог, писатель, доходчиво и убедительно объяснил, почему именно поэма «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева оказалась самым известным и популярным среди многих других написанных в те же годы произведений: «“Москва — Петушки” останутся стилистическим шедевром, и это органически связано с пафосом Ерофеева, пафосом разрушения советской показухи. Ерофеев создал совершенно органическое единство из какого-то мусора, из кучи обломков. Этим совершенством стиля я объясняю силу ерофеевского влияния. Но пора поставить “Петушки” на полку классики»<sup>35</sup>.

У такого взгляда на творчество Венедикта Ерофеева существует немало оппонентов. Писателя обвиняют в стремлении любым путём привлечь к своим произведениям внимание читателей, прибегая для этого к самым примитивным стилистическим и психологическим средствам.

Филолог Клим Валерьевич Булавкин во втором выпуске за 2006 год «Орехово-Зуевского литературного альманаха», посвящённого воспоминаниям современников о Венедикте Ерофееве, пишет об основных претензиях недоброжелателей к писателю: «Во-первых, якобы использование нецензурной лексики и, следовательно, “пошлость”. Во-вторых, воспевание сомнительных радостей пьянства и пропаганду алкоголизма как образа жизни. И, в-третьих, некую разновидность антипатриотизма и, говоря шире, духовного нигилизма, дескать, он в своих произведениях низвёл русский характер до низменного скотства и непотребства»<sup>36</sup>.

Клим Булавкин находит убедительные ответы на эту брань в адрес Венедикта Ерофеева: «На самом деле, всё это, конечно, далеко не так. Начнём с того, мата в его художественных текстах практически нет, неискушённый читатель, прочитав “Уведомление автора”, с которого начинается поэма и где тема матерщины как раз и заявлена (но, заметим, безо всякого использования этих самых выражений), иногда не удосуживается даже вникнуть в иронию автора. Обвинения же в пошлости вообще абсурдны, ибо весь корпус текстов Ерофеева, весь его загадочный и непостижимый образ жизни — это крестовый поход против пошлости, и слеп тот, кто не понял этого! Алкоголизм предстал у него отнюдь не в радужных тонах, напротив, писатель показывает нам изнанку этого заболевания — ту кромешную бездну, тот “искусственный ад”, в котором пребывает его герой и который ведёт его лишь к смерти и небытию. А что касается ерофеевского нигилизма и неприятия советского строя (что некоторыми расценивается как антипатриотизм), то, как это ни странно, вечный “пьяница и тунеядец” Ерофеев, не имеющий постоянной

прописки и постоянно изгоняемый отовсюду, почему-то не поспешил на Запад, где его имя было хорошо известно уже к середине 1970-х годов и где он мог бы неплохо устроиться, получая вполне законный доход от многочисленных изданий своего бестселлера. Он жил и умер в России, никогда не пытаясь вступить в конфликт с властью и всегда подчёркивая свою лояльность к ней, избрав для себя, наверное, единственно возможную в его случае независимую позицию “внутреннего эмигранта”»<sup>37</sup>.

Обещанные советской властью «золотые горы и реки, полные вина», породили беспробудное пьянство. Как пишет литературовед, пушкинист Марк Григорьевич Альтшуллер, именно оно, «по Ерофееву, есть действительно единственная и абсолютная ценность бытия»<sup>38</sup>.

Та же мысль присутствует у Александра Солженицына в романе «В круге первом»: «Говорят: целый народ нельзя подавлять без конца. Ложь! можно! Мы же видим, как наш народ опустошился, одичал, и снизошло на него равнодушие уже не только к судьбам страны, уже не только к судьбе соседа, но даже к собственной судьбе и судьбе детей. Равнодушие, последняя спасительная реакция организма, стала нашей определяющей чертой. Оттого и популярность водки — невиданная даже по русским масштабам. Это — страшное равнодушие, когда человек видит свою жизнь не надколотой, не с отломленным уголком, а так безнадежно раздробленной, так вдоль и поперёк изгаженной, что только ради алкогольного забвения ещё стоит оставаться жить. Вот если бы водку запретили — тотчас бы у нас вспыхнула революция»<sup>39</sup>. Закончу тему о водке рассуждениями критика Александра Гениса. Он прибегает к образной речи для описания не внешней, а внутренней стороны опьянения

героя поэмы «Москва — Петушки»: «Водка в поэме — повивальная бабка новой реальности, переживающей в душе героя родовые муки. Каждый глоток “Кубанской” расплавляет заржавевшие структуры нашего мира, возвращая его к аморфности, к тому плодотворному первозданному хаосу, где вещи и явления существуют лишь в потенции. Омытый “Слезой комсомолки” мир рождается заново — и автор зовёт нас на крестины. Как бы трагична ни была поэма Ерофеева, она наполняет нас радостью, даже восторгом: мы присутствуем на пиршестве, а не на тризне, на празднике, а не на поминках»<sup>40</sup>.

Венедикт Ерофеев не критиковал с пеной у рта законы и обычаи того общества, в котором он родился, жил и умер. В собственной жизни он по мере возможности от них устранился, зато в своих сочинениях при их описании в выражениях не стеснялся, прибегая к бурлеску и щедро используя для большего воздействия на читателя «взрывоопасные» стилистические средства, куда входила и матерщина. Чего он всячески избегал, так это гладкописи, эвфемизмов и околичностей. Самобытности и образности ему было не занимать. В скабрёзностях Венедикта Ерофеева уличить невозможно. Литературный слух у него был абсолютный.

Сразу различал, когда говорящий или пишущий человек даёт петуха, то есть фальшивит.

Богата талантами Русская земля. И почему-то к ним не милосердна. Порой даже безжалостна. И всё равно ими не оскудевает, на удивление окружающим народам. Непонятно, как и в связи с чем, но талантливые люди, независимые в своих суждениях и поступках, появляются в России снова и снова.

Обращусь к иноземцу — Иоганну Вольфгангу Гёте за объяснением чуда художественной одарённости,

присущего немногим. Наши писатели по этому предмету ничего определённого не сказали. Ходили вокруг да около. Обходились общими фразами. Вот, например, Максим Горький изрёк сущую банальность, сказав, что «талант это вера в себя, в свою силу», а ещё сравнил этот Божий дар с породистым конём, который «превращается в клячу, когда его поводья дёргают в разные стороны». Этот образ пришёл, вероятно, ему в голову после дружеской беседы со Сталиным или с кем-то ещё, рангом пониже. Сущую банальность изрёк Фёдор Достоевский. Вроде того, что талантливому человеку необходимо сочувствие и понимание со стороны окружающих. Антон Чехов от него далеко не ушёл, поделившись с читателями, что талант — это прежде всего труд. Лев Николаевич Толстой<sup>[102]</sup>, заменив слово *талант* словом *призвание*, вспомнил о самом себе и не забыл о конфликтах со своими близкими (в контексте сказанного): «Призвание можно распознать и доказать только жертвой, которую приносит учёный или художник своему покою и благосостоянию». Разве что иеземец Гёте, как всегда, не оплошал и с немецкой дотошностью объяснил, что к чему.

14 февраля 1831 года Гёте поделился с поэтом Иоганном Петером Эккерманом своими размышлениями о природе таланта, который, как он полагал, «не передаётся по наследству, но у него должна быть устойчивая физическая основа, почему и не безразлично, рождён ли человек первым или последним, от сильных и молодых или от ослабевших и старых»<sup>41</sup>.

У Венедикта Ерофеева всё сошлось наилучшим образом. И предки у него были достойные люди, и родители не совсем старые, и место, где он появился на свет, лучше не представить — за Северным полярным



кругом. Людей там проживало немного, а те, что были, наполовину состояли из поражённых в правах лишенцев и членов семей репрессированных. Они-то познали на самих себе основной принцип строительства нового общества: «Лес рубят — щепки летят». Из общения с этими бедолагами он сделал умозаключение, которое позднее занёс в один из своих блокнотов: «Любой донос хуже, чем тысяча плохо сделанных порнографических открыток. Любой дон-хуанов список лучше, чем самый проскрипционный»<sup>42</sup>. У этих людей ему было чему поучиться.

Тем, кто ещё не знаком с произведениями Венедикта Ерофеева, стоит начать с его шедевра — поэмы «Москва — Петушки». А через какое-то время, закончив чтение, имеет смысл обратиться к книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛаг. 1918—1956. Опыт художественного исследования». Тогда будет понятно, о чём и о ком повествуют поэма Венедикта Ерофеева и другие его произведения. Содержание творчества двух писателей отвечает на вопрос: как мы дошли до жизни такой? Ответ содержится в мысли Александра Исаевича, сформулированной с математической точностью в шестой главе второго тома его художественного исследования: «Коммунисты сумели создать такую систему, что прояви она великодушие — и мор, глад, запустение, разорение тотчас объяли бы всю страну»<sup>43</sup>.

Пророком оказался Александр Исаевич! Многие из нас увидели эту панораму гибнущей державы (в начальной стадии разрушительного процесса) незадолго перед августом 1991 года.

О советской власти у Венедикта Ерофеева есть запись в одном из блокнотов 1979 года: «законов всех она сильнее»<sup>44</sup>.

Венедикту Ерофееву не было нужды полностью замыкаться в себе. Он не был разрушителем системы, а просто исключил её из своего сознания как уже отсутствующую реальность, данную ему при рождении. С этого момента обслуживающие и защищающие эту систему люди не могли восприниматься им его врагами по причине их метафизического отсутствия. Они словно превратились в бесплотные тени, в облачные субстанции. Я думаю, что такая картина мира объясняет многое в психологии и поступках Венедикта Ерофеева.

Перейду опять к буддийским понятиям. Когда большинство его коллег по писательству ещё пребывали в сансаре, в мире бесконечных телесных перерождений, он уже находился в своей нирване — вне пространства и времени, вне всех возможных форм сансарного существования<sup>45</sup>.

Другое дело, что сансара во всех своих планах и аспектах вызвала у него неподдельный интерес и была объектом его многолетних и пристальных наблюдений со стороны. Особенно тот временной аспект её бытования, из которого ещё не выветрился дух большевистского насилия. Тот иллюзорный, построенный на обмане мир, отвергнутый его духовными усилиями. Он был уже недостижим в своём духовном убежище. Ведь Венедикт Ерофеев обладал живой душой — неперемное условие успешного бегства.

Это был его духовный и физический исход из языческого, по существу, мира, постоянно требующего от людей всё новых и новых жертвоприношений, не обязательно человеческих, и самоотречений. Теперь пришло время понять, какие необходимы условия для собственного освобождения, и облечь свой опыт в слова. Как самому возможно размагнититься от притяжения сансары. До этого шага навстречу нирване

он должен был ужаснуться неприглядным и сатанинским видом сансары. Выполнить такую задачу было по силам только человеку, обладающему духовным даром и абсолютным музыкальным слухом. Ему предстояло почувствовать и услышать гармонию высших сфер. Отличную от какофонии земного миропорядка. Так появились поэма «Москва — Петушки» и пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Сюжеты этих двух разножанровых произведений самые обыкновенные. Вроде тех, о которых высказался Оноре де Бальзак<sup>[103]</sup>: «Мне нравятся простые сюжеты, они указывают на большую творческую силу и всегда таят в себе неисчислимы богатства».

Сын Венедикта Ерофеева вспоминает пристрастие отца к систематизации всего и вся. Это желание, возможно, появилось в противовес той безалаберной жизни, которую тот вёл. В Абрамцеве на даче Бориса Николаевича Делоне и у себя на балконе в квартире на Флотской Венедикт Ерофеев «каждое утро считал, сколько листочков появилось на каких-нибудь ипомеях». Или в записи от 27 июня 1980 года: «Самые шустрые из мальв уже с третьим листом. Все четыре вида астр высыпали, но бедовее всего красно-розовые»<sup>46</sup>.

Советская обыденная жизнь, мастерски воссозданная Венедиктом Ерофеевым его специфической манерой письма, основательно затрудняет зарубежному читателю адекватно понять подтекст его прозы, её общечеловеческое и общехристианское содержание. К сожалению, таинственная глубина его легендарной поэмы «Москва — Петушки» в переводах частично исчезает.

Сергей Довлатов в аналитической программе «Алфавит инакомыслия» на радио «Свобода» объяснил,

почему такое происходит: «...связано это, главным образом, даже не с языком, а с осознанием контекста — бытового, социального, лексического. Достаточно сказать, что в словесном потоке ерофеевского романа тысячи советских эмблем, скрытых цитат, нарицательных имён, уличных словечек, газетных штампов, партийных лозунгов, песенных рефренов...»<sup>47</sup>

В общении с людьми Венедикт Ерофеев не шустрил. Стремление занять заметное положение в обществе в нём отсутствовало. Ни по характеру, ни по чувствам своим он не был способен на бесстыдные поступки. Мыслил и писал вольно. Разве что внутренне напрягался и сосредоточивался до капелек пота на лбу, когда прикасался пером или карандашом к бумаге. Ни на кого особенно из литературных авторитетов не залипал, хотя некоторых из них всё-таки выделял из общей писательской массы. Он выбирал себе приятелей, исходя не из политических или идеологических пристрастий, а по случаю и настроению. У него при этом выборе существовали строгие критерии: они должны были соответствовать ему умом и порядочностью. А ещё по мере возможности избегать в разговоре с ним словоблудия. То, что многие называли мыслью, для него было переливанием из пустого в порожнее. Делать редкие исключения Венедикт Ерофеев всё же себе позволял. По разным этическим причинам и личным симпатиям он не отталкивал от себя некоторых из этих болтунов и сибаритов. Об одном из них, которого близко к себе приблизил, говорил по-гоголевски: «Душка он и есть душка!» Однако этого человека не отверг и опекал, как мог, до самой своей смерти.

Венедикт Ерофеев в большой компании был в центре её внимания, а сам наблюдал собравшихся со стороны, лёжа на диване. Редко с кем-то спорил. Его

речь была немногословной. Когда компания оказывалась малоинтересной, самоустранялся. Часто вокруг него собирались воркующие женщины. Его сын вспоминает: «Частая сцена, которую я уже в молодости наблюдал: Венедикт Васильевич возлежит на диване, опершись на локоть — его любимая поза, — а возле него дамы суетятся: одна что-то рассказывает, другая наливает коньячок, третья гладит его по руке. Правда, когда в каком-то интервью его спросили, как он относится к женщинам, ответил: “Противоречиво”»<sup>48</sup>.

Эта картинка с натуры и относится ко времени его спокойной и безмятежной жизни. К пику известности писателя среди молодёжной тусовки времён начала горбачёвской перестройки. Незадолго до своего онкологического заболевания он был, как говорится, желанен во многих домах маститых учёных, писателей и художников и, естественно, вхож в любое общество интеллигентных и порядочных людей.

Венедикт Ерофеев не любил эмоций в отстаивании своей правоты, вроде крика до потери голоса или ударов кулаком по столу. Иначе говоря, он был не из тех людей, которые в своей повседневной жизни руководствуются правилом: «Давайте думать о хорошем и бить своих врагов по рожам!» Не обладал он также распространённой в писательской среде способностью рассуждать в духе идей своего собеседника. Такая манера разговора способствовала быстрому сближению и обрастанию приятелями и друзьями. Он же любил сидеть в одиночестве на природе и о чём-то размышлять, наблюдая, как от ветра подрагивает листва. Сердился, когда кто-то мешал ему находиться в подобном своеобразном затворничестве среди лесного шума.

Наталья Шмелькова вспоминает: «Неприхотливый, не придающий большого значения бытовым условиям,

Ерофеев очень страдал от своей урбанизированное™. Мечтал жить за городом: “Хоть в каком-нибудь самом маленьком домике на берегу хотя бы самой ничтожной речки”. А на природе он преображался, сам порою удивляясь, что может пилить и колоть дрова, перелезает через заборы, совершает дальние прогулки в лес за грибами. Грибы были особой его страстью, и он по-детски расстраивался, если не находил хотя бы одной чернушки. Ерофеев любил цветы и с большим вкусом составлял из них букеты. Мог подолгу наблюдать за сидящей на ветке птицей. Любил разводить огород, проверяя по утрам, появились ли новые ростки, топить печку, что проделывал по всем правилам»<sup>49</sup>.

Он воспринимал такую жизнь серьёзно и с радостью. Для него жизнь, как он устроил её для себя, не была, как считала Анна Ахматова, только привычкой. Он купался в ней, как воробей в луже под музыку ветра. Жить в глубокой внутренней тишине, размышляя об этом Божьем даре, — вот что доставляло ему настоящее удовольствие.

Его сын вспоминает: «Никто так не любил жизнь, как Венедикт Васильевич. У него в дневнике есть что-то вроде такого: дожил ты, Ерофеев, до первых цветов. Это он лежал в онкоцентре и увидел из окна мать-и-мачеху на зелёном склоне»<sup>50</sup>.

Чувство родины у Венедикта Ерофеева оказалось бы ущербным, как у многих жителей мегаполисов, не возникни оно, словно дуб из жёлудя, из любви к тому месту, где он появился на свет, провёл детство и юность, — к Кольскому полуострову. Он всю жизнь при всех своих мытарствах и перемещениях по России сохранял память о родном гнезде, хотя бы и разорённом. Сколько раз Венедикт Ерофеев возвращался на Кольский полуостров, откуда началось

его узнавание мира, где возникла печаль от ощущения недолговечности жизни, от того, что всё в ней преходяще. Как бы то ни было, он не разочаровывался своими, пусть и короткими, поездками в места своего детства и юности. Ведь им двигали не только желание встретиться со знакомыми людьми и потребность снова оказаться лицом к лицу с природой этого края. Эти приезды давали ему намного больше. Они укрепляли в нём верность своему детству и юности. К нему возвращалось блаженное состояние духовной и телесной чистоты. Он словно выныривал откуда-то снизу, из болотной жижи, и видел над собой северное рассветное небо, а по сторонам каменистые сопки с низкорослыми берёзами в низинах и везде вокруг многообразие цветущих полевых трав.

## **Глава седьмая** **ОТСУТСТВИЕ ПЛОХОГО** **ВВИДУ НАЛИЧИЯ ЕЩЁ ХУДШЕГО**

Уже на первой странице поэмы «Москва — Петушки» возникает улица Каляевская, названная в память о казнённом Иване Платоновиче Каляеве<sup>[104]</sup>, поэте, участнике Боевой организации эсеров, убийце московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, сына Царя-освободителя Александра II. Это был ненавязчивый намёк Венедикта Ерофеева читателю, осведомлённому в истории родной страны. Предупреждающим знаком автор давал ему понять, что путешествие его Венички в Петушки также ничем хорошим не закончится. Словом, убьют его ни за что ни про что. По одной только причине — он словно бы случайно оказался на пути четырёх негодяев. Так и Сергей Александрович Романов, выехавший в карете из ворот Никольской башни Кремля 4 (7) февраля 1905 года, не знал, что будет убит бомбой, брошенной в него ополоумевшим от своих маниакальных идей террористом Иваном Каляевым.

Поразительно, что в нашей стране, посткоммунистической России, до сих пор «1107 улиц Дзержинского, 554 улицы Урицкого, который возглавлял ЧК в Петрограде, 131 улица Войкова, 284 улицы Розы Люксембург, 5900 Комсомольских улиц, 630 Революционных улиц... 149 улиц Халтурина, 460 улиц Володарского, 1100 улиц Свердлова, 12 870 Советских улиц и бессчётное количество улиц Ленина»<sup>1</sup>. Список этот можно продолжать до бесконечности. И. А. Есаулов пишет об этой топонимической ситуации: «Когда не



только политически, но и культурно, на уровне “структур повседневности” человека окружает то, что призвано было уничтожить всю предыдущую его национальную историю...»<sup>2</sup>

Об этом времени и о поколениях советских людей, им рождённых, сказал Владимир Семёнович Высоцкий<sup>[105]</sup> в песне «Так оно и есть». Лучше не написать. А уж пропеть убедительнее его никому не удаётся:

Но так оно и есть,  
Словно встарь, словно встарь:  
Если шёл вразрез —  
На фонарь, на фонарь,  
Если воровал —  
Значит, сел, значит, сел.  
А если много знал —  
Под расстрел, под расстрел!  
Думал я — наконец не увижу я скоро  
Лагерьей, лагерьей, —  
Но попал в этот пыльный расплывчатый город  
Без людей, без людей.  
Бродят толпы людей, на людей непохожих,  
Равнодушных, слепых, —  
Я заглядывал в чёрные лица прохожих —  
Ни своих, ни чужих<sup>3</sup>.

Только по одному этому стихотворению Владимира Высоцкого понимаешь, насколько близко его осознание корневой сущности советского общества приближалось к взглядам Венедикта Ерофеева. Того и другого не прельщали призраки, рождённые оптимистичной большевистской идеологией. Они их пугали до дрожи в

коленках. Как говорят в таких случаях, тот и другой относились к людям одной группы крови. Венедикт Ерофеев расшифровывал аббревиатуру ВЧК следующим образом: «Век человеческий короток»<sup>4</sup>.

Да и как иначе он мог относиться к власти, которая с первых шагов своего существования обращалась к согражданам с такими вот заявлениями от имени этой карательной организации:

«Ко всем гражданам Советской России:

Рабочие! Посмотрите на этих людей! Кто собрался вас предать и продать? Тут и офицеры, и генералы, “бароны и инженеры”, “благородные” педагоги со шпионским клеймом на лбу и захудалые правые меньшевики — всё смешалось в отвратительную кучу разбойников, шпионов, предателей, продажных слуг английского банка»<sup>5</sup>. Вот накрутили, так накрутили! Мало не покажется.

Эта выписка также содержится в одном из блокнотов Венедикта Ерофеева. Ясно, что воззвание адресовалось широким массам населения.

Были Венедиктом Ерофеевым отысканы и совсем поразительные материалы. Ведь он собирал досье не только из высказываний Владимира Ильича Ленина и его жены Надежды Константиновны Крупской, но и Феликса Эдмундовича Дзержинского: «Для поднятия боевого духа и дисциплины в войсках необходима ликвидация ЧКой заговоров, пусть даже несуществовавших»<sup>6</sup>.

Максим Кантор сказал о духовной близости творческого наследия двух гениев второй половины XX века в своём эссе: «Высоцкий и Ерофеев — вот вам чистый, без примесей “экзистенциализм”, обнажённая русская судьба (тут бы употребить слово “дистиллированный”, но оно не сочетается с именами Ерофеева и Высоцкого)»<sup>7</sup>.

Приведу ещё одно рассуждение о «великой лжи революции» философа Игоря Чубайса: «О массовых репрессиях, тотальной цензуре, о запрете после 1917 года свободных выборов написано немало. Добавлю, что уровень эксплуатации трудящихся был в СССР несопоставимо выше аналогичного показателя в странах Запада и в исторической России. Значит, “социализм в СССР” — это чистой воды мистификация. В 1991 году Советский Союз распался»<sup>8</sup>.

Время детства Венедикта Ерофеева невозможно назвать благоприятным и беззаботным. Евгений Шталь, дотошный и глубокий исследователь жизни и окружения писателя, пишет, что его поколение — «это дети репрессированных в сталинские времена». Прочитав некоторые факты из последней книги Евгения Штала: «Работая над справочником “Литературные Хибины”, включающим 1270 персональных справок о людях, писавших о Хибинах, обнаружил, что более двухсот авторов, включённых в справочник, были репрессированы сами или их родители, родственники. Масштабы содеянного поражают»<sup>9</sup>.

Венедикт Ерофеев отметил летом 1981 года в своём блокноте: «На нашей памяти много было “безмерно плохого”. А вот “безмерно хорошего” — ничего»<sup>10</sup>. А за полгода до этого, 4 февраля 1980 года, он записал: «Отсутствие плохого ввиду наличия ещё худшего»<sup>11</sup>. Под «безмерно плохим» он имел в виду конформизм, лицемерие, желание не высовываться, быть как все. А главное — быть кем-то ведомым, то есть полное отсутствие свободы выбора. Людям моего поколения чуть ли не с первых их шагов по земле внушалась мысль, что они опекаемы и защищаемы властью. Большинству из них при отсутствии патернализма жизнь показалась бы кошмаром. До сих пор с

умилением в голосе они вспоминают то время, когда они сами или их родители были послушными детьми при заботливой, но строгой и требовательной няньке.

В конце 1980-х годов Венедикт Ерофеев вряд ли бы выразился о жизни в СССР столь пессимистично. Ведь именно тогда, в конце горбачёвской перестройки, началась робкая и непоследовательная дебольшевилизация нашего общества.

Не скрою, что за советом, как наилучшим образом воплотить своё намерение воссоздать образ живого человека, я обратился к высокочтимому мною Оскару Уайльду, английскому писателю. И вот что я прочёл в его предисловии к роману «Портрет Дориана Грея»: «Критик — тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать своё впечатление от прекрасного. Высшая, как и низшая, форма критики — это своего рода автобиография»<sup>12</sup>.

Точно сказано. Вспоминается русская пословица, несколько сужающая смысл определения Оскаром Уайльдом критической деятельности, но, непосредственно, относящаяся к некоторым интерпретаторам творчества автора поэмы «Москва — Петушки» и трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

Оскар Уайльд некоторое время не входил в число уважаемых Венедиктом Ерофеевым авторов. Как говорят, у всякого свой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз. Он сказал об этом же по-своему в поэме «Москва — Петушки»: «Ведь у каждого свой вкус — один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать»<sup>13</sup>.

Сопоставляя Ницше и Уайльда, Венедикт Ерофеев дал последнему в своих «Записных книжках 1961 года» уничижительную характеристику: «Страдалец и

подвижник Ницше — и где-то в ногах у него маленький и нагленький салонный пророк, портящий кровь викторианским буржуа»<sup>14</sup>.

С такой характеристикой я не могу согласиться, хотя признаю, что это высказывание какое-то время соответствовало взглядам Венедикта Ерофеева и не являлось его очередным розыгрышем. Любил он вводить своих собеседников в ступор саркастическим замечанием в адрес общепризнанных авторитетов.

Может быть, резкая неприязнь автора поэмы «Москва — Петушки» к Оскару Уайльду объясняется особо уважительным отношением к этому английскому писателю Вячеслава Менжинского по прозвищу «Вяча — божья коровка» — преемника Феликса Дзержинского. Изображение Оскара Уайльда находилось в спальне председателя ОЕПУ вместе с портретом Фридриха Энгельса — не мог он простить Англии судебного процесса над своим кумиром и заточения его в тюрьму. Этот родовитый шляхтич, окончивший юридический факультет Санкт-Петербургского университета, автор эротического произведения «Роман Демидова» и откровенный циник, отличался изысканной вежливостью и воспитанностью, которые сочетались в нём с полнейшей бесчувственностью к людям и садистскими наклонностями. Он отправлял людей на расстрел с такой лёгкостью, словно прихлопывал ладонью надоедливых комаров.

Венедикт Ерофеев знал об особой приязни Вячеслава Менжинского к Оскару Уайльду, как и о его роли в жёстком навязывании нашему народу коллективизации и в укреплении власти Сталина. И эта нелюбовь Венедикта Ерофеева к одному человеку перешла на другого. К тому же главный чекист Страны Советов постоянно напоминал ему о своём былом существовании.

В Москве на улице имени Менжинского до сих пор живёт Нина Васильевна Фролова, сестра Венедикта Ерофеева. По её воспоминаниям, брат, приходя к ней в гости во второй половине 1980-х годов, всякий раз негодовал, почему эта улица до сих пор не переименована. Особое внимание к топонимике московских улиц у Венедикта Ерофеева не случайно. Писатель признавал, какое огромное моральное или аморальное значение имеют для людей названия улиц и площадей. А главное, что они характеризуют время и власть, в которое и при которой появились.

Что касается Оскара Уайльда, понимаю, что мои аргументы, объясняющие неприязнь к нему Венедикта Ерофеева, не особенно убедительны, хотя и не совсем беспочвенны. Осмелюсь в качестве защиты репутации английского писателя предложить мнение выдающегося аргентинского прозаика и поэта Хорхе Луиса Борхеса<sup>[106]</sup>. Его высказывание куда весомее моего: «Трудно представить себе мир без уайльдовских фраз».

Со временем Венедикт Ерофеев к нему резко потеплел и даже изменил отношение в лучшую сторону, о чём говорят его июльские записи 1972 года: «По свидетельству Андре Жида (1869—1951), Ев[ангелие] волновало и мучило язычника Уайльда; “Оскар хвалит русских за ‘жалость’ их литературы”. И он сам по выходе из Редингской тюрьмы — “в тюрьму я вошёл с каменным сердцем, думая только о наслаждении, теперь же моё сердце окончательно надломалось...”. И дальше: “...в моё сердце вступила жалость, и я понял теперь, что жалость есть самая великая, самая прекрасная вещь из всех существующих на свете”»<sup>15</sup>.

При всей его любви к розыгрышам и мистификациям Венедикт Ерофеев был закрытым и осторожным человеком. Обладая живым умом и острой

наблюдательностью, он из прочитанных книг и собственного жизненного опыта вынес важное правило — полагаться исключительно на самого себя и никому не доверять, даже братьям и сёстрам.

На эти особенности его характера обращает внимание Елена Игнатова, поэт и прозаик. Как я уже писал, она в то время жила в Ленинграде, но иногда гостила в Москве. Среди прозаических произведений у неё есть эссе «Ерофеев», которое в своей книге «Обернувшись» Елена Игнатова обозначила повестью. В нём воссоздан психологический образ писателя. Елена Игнатова запомнила Венедикта Васильевича как человека достаточно закрытого и осторожного, державшегося особняком в незнакомой компании: «Меньше всего Венедикт был склонен к открытости, к исповедальным разговорам о своей жизни, он насмешливо и грубо оборонялся от попыток вызвать его на откровенность, выяснить мировоззрение и прочее. Так же он по большей части избегал этических суждений и оценок, особенно в том, что касалось его окружения, но не от чрезмерного добродушия (он был человеком достаточно жёстким и обидчивым), а, пожалуй, от нежелания ставить свою жизнь в зависимость от принятых норм, пусть самых почтенных. Сам Венедикт имел чёткие нравственные представления, но о других судил снисходительно и иногда с удовольствием рассказывал о коленцах, которые выкидывали его приятели»<sup>16</sup>.

Однако притворство, одно из всевозможных средств самозащиты, было ему чуждо и противно. Венедикт Ерофеев избрал для себя единственно приемлемый для него образ существования в обществе: по мере возможности помалкивать, не выскакивать из собственных штанов для получения чего-то желаемого, на земные блага особо не рассчитывать, время

проводить не в праздности, деньги на жизнь зарабатывать физическим трудом, добиваться умственного и духовного совершенства с помощью чтения книг и бесед с думающими людьми. И особенное удовольствие ему доставляло общение на равных с крупными учёными, с друзьями выдающегося математика, члена-корреспондента АН СССР Бориса Николаевича Делоне.

Венедикт Ерофеев вовсе не собирался пробиваться в советские писатели. Из приличных и талантливых людей на эту цель были настроены многие из моих современников. Например, Олег Битов, Владимир Войнович<sup>[107]</sup>, Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Леонид Губанов<sup>[108]</sup>. У Венедикта Ерофеева такого намерения даже в мыслях, не то что в действиях, никогда не существовало. Быть членом Союза писателей СССР, как объяснила мне одна из его технических сотрудниц, означало в то время почти то же самое, что начать жить при коммунизме в его начальной стадии.

У поэта Бориса Абрамовича Слуцкого<sup>[109]</sup>, имевшего репутацию порядочного человека, в его небольшой статье 1965 года к подборке стихотворений рано ушедшего из жизни моего друга Владимира Алексеевича Смолдырева<sup>[110]</sup>, опубликованной в 1966 году в сборнике молодых поэтов «Костры» (издательство «Молодая гвардия»), я нашёл недвусмысленный ответ, что ценилось больше всего в советской поэзии: «Каждый молодой поэт, если он действительно заслуживает этого имени, тащит на Парнас своё пережитое, доселе никогда на Парнасе не бывавшее: кто геологию, кто армию, кто родимый колхоз, кто архитектуру»<sup>17</sup>. В последнем случае, я думаю, Слуцкий имел в виду Андрея Вознесенского,



окончившего Московский архитектурный институт. Володе Смолдыреву Борис Слуцкий пророчил, что с его появлением в литературе «в поэзию войдут цехи современного большого завода, столь непохожего на завод Куприна и даже на завод времён Гладкова»<sup>18</sup>. Писателя Фёдора Васильевича Гладкова<sup>[111]</sup> с его романом «Цемент» сейчас мало кто помнит. Как только Владимир Смолдырев обратился к Библии и заглянул в самого себя, лишь сменилась тематика его стихотворений на общечеловеческую, Борис Слуцкий от него резко отошёл. Единственным крупным поэтом, кто его в то время поддержал, был поэт-фронтовик Александр Михайлович Ревич<sup>[112]</sup>, истинно верующий православный христианин. Нелегко было в таких идеологических обстоятельствах и при жёстких эстетических установках существовать молодым литераторам.

Елена Игнатова принадлежала, как и Венедикт Ерофеев, к ««единоличникам» в литературе и общественной жизни»<sup>19</sup>. Глядя в прошлое, она вспоминает о тусовках творческой молодёжи, непризнанной и гонимой: «Не раз, сидя на собрании в какой-то квартире, слушая декларации, тексты петиций, споры хитроумных тактиков, я думала: зачем я здесь? Мне не интересно штурмовать Союз писателей, пробиваться в советскую литературу, предыдущее поколение “шестидесятников” добилось этого — и кануло там. Не дай нам Бог такой “удачи”! Как ни странно, Венедикт был чуть ли не единственным собеседником, согласным со мной, и то, что он терпеливо слушал и снисходительно, как с очевидным, соглашался, было удивительно»<sup>20</sup>.

Венедикт Ерофеев не осуждал присутствующее у своих сверстников естественное желание стать знаменитыми. В этом стремлении к славе, казалось бы,

не было ничего зазорного, если бы не одна загвоздка — в СССР выделение творческого человека, гуманитария, из общей людской массы означало неременный контакт с существующим общественно-политическим порядком. А это в той или иной мере требовало от него выражения уважения и лояльности по отношению к советской идеологии или умения виртуозно и талантливо ею манипулировать. Вот почему Венедикт Ерофеев не рвался вперёд, чтобы стать «инженером человеческих душ» (определение, данное Иосифом Сталиным) с красной членской книжкой Союза писателей СССР в кармане и засорять сознание своих соотечественников малой или большой ложью, а себя унижать ролью приспособленца, играющего с властью имущими в кошки-мышки.

Подытожу. Союз писателей СССР Венедикту Ерофееву не подходил. С его сочинениями соваться ему туда было бессмысленно и опасно. Набросились бы со всех сторон и в мгновение загрызли. В отличие от своего однофамильца Виктора Ерофеева он к этому Союзу писателей относился без всякого почтения. Считал, что членство в нём его как писателя дискредитировало бы. Ведь вскоре после ухода из всех высших учебных заведений, куда Венедикт Ерофеев триумфально поступал и также шумно их покидал, он ощутил подпольность своего существования, осознал чужеродность официальной жизни как для себя самого, так и для своего творчества.

Случись невероятное и сделайся автор поэмы «Москва — Петушки» со временем членом Союза писателей СССР, его жизнь закончилась бы ещё раньше. Ведь у Венедикта Ерофеева было, как у его героя Венички из поэмы «Москва — Петушки», «щепетильное сердце», и он никогда не научился бы «ссорить левую руку власти с её правой рукой, ловко играя на этом»,

как это виртуозно делал на протяжении всей своей творческой жизни Евгений Евтушенко<sup>21</sup>.

Скажу больше. Венедикт Васильевич никогда не писал того, что от него «просило время и обстоятельства». Закавыченные мною слова взяты из письма Сергея Александровича Соболевского<sup>[113]</sup> славянофилу Степану Петровичу Шевыреву<sup>[114]</sup> после опубликования Пушкиным стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».

Время нашло приют в сознании самого Венедикта Ерофеева, а от обстоятельств, этим временем создаваемых, он ушёл исключительно в частную жизнь.

Забегая намного лет вперёд, скажу, что в 1989 году он всё-таки стал членом Литературного фонда. На вручённом ему членском билете под номером 13553 над надписью «Литературный фонд СССР» находилась короткая черта, отделяющая эту надпись от другой: «Ордена Ленина Союз писателей СССР».

Сам ли великий вождь придумал определение для советского писателя или кто-то его надоумил, но доподлинно известно, что Иосиф Сталин впервые произнёс ставшую сакраментальной фразу об «инженере человеческих душ» на встрече с пятьюдесятью советскими писателями. Она произошла в доме у Максима Горького на Малой Никитской 26 октября 1932 года.

От той встречи Сталина с писателями сохранились воспоминания критика и литературоведа Корнелия Люциановича Зелинского<sup>[115]</sup>. Зелинский обладал феноменальной памятью, как и Венедикт Ерофеев. По возвращении домой он почти стенографически записал всё, что происходило и что говорилось на той встрече. Разумеется, и выступление, и реплики Иосифа Сталина, а также сопровождавших его Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Клима Ворошилова и Павла

Постышева. Приведу фрагмент из выступления Иосифа Сталина: «Есть разное производство: артиллерии, автомобилей, машин. Вы тоже производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар — души людей, тоже важное производство. Очень важное производство — души людей. <...> Все производства страны связаны с вашим производством. И оно невозможно без того, чтобы не знать, как человек входит, как он участвует в производстве социализма. Вот тут кто-то правильно говорил, что писатель не должен сидеть на месте. Он должен знать жизнь страны. <...> Человек перерабатывается самой жизнью. Но и вы помогите переделке его души. Это важное производство — души людей. Вы — инженеры человеческих душ. Вот почему выпьем за писателей и за самого скромного из них, за товарища Шолохова»<sup>22</sup>.

К этим воспоминаниям предпосланы примечания Александра Корнелиевича Зелинского. Одно из этих примечаний я приведу: «подавляющего большинства участников описанного собрания уже нет в живых. Двадцать три человека умерли по разным причинам (убиты на войне, покончили самоубийством, как Фадеев и Макарьев). Остались в живых только двенадцать человек, все уже старики. Одиннадцать человек, т. е. каждый четвертый собрания, были арестованы и погибли в лагерях (вернулись двое: Иван Гронский и Иван Макарьев. — А. С.) или были расстреляны: П. П. Постышев, М. Кольцов, Л. Авербах, В. Киршон, Г. Никифоров, И. Гронский, В. Зазубрин, И. Макарьев, Г. Цыпин, И. Разин, П. Крючков»<sup>23</sup>.

В контексте происходящих в то время в СССР событий, связанных с закабалением крестьянства и чудовищной эксплуатацией рабочего класса, к слову *душа* вернулся почти забытый смысл, который содержало понятие *ревизские сказки*. Это были

документы, отражающие результаты переписей (ревизий) податного населения Российской империи в XVIII—XIX веках, проводившиеся с целью налогообложения. Появилось даже понятие «ревизская душа». История о том, как можно нажиться на скончавшихся *ревизских душах*, чья смерть ещё не была отмечена в бумагах, легла в основу сюжета поэмы Гоголя «Мёртвые души». Иосиф Сталин, назвав своих сограждан душами, давал понять, что государство, созданное Лениным, существует без царя, но остаётся благодаря лично ему самодержавным, как во времена царствования Николая I. И все люди в этом государстве, как его крепостные, себе не принадлежат. Хотя Сталин позволял советским историкам шельмовать Николая I, а в душе его очень даже понимал и, как предполагаю, искренне уважал.

Большевики обещали: землю — крестьянам, заводы и фабрики — рабочим, власть — Советам, мир — народу. Ни одно из этих заманчивых посулов не было осуществлено. Землю через некоторое время у крестьян отобрали и передали колхозам и совхозам. Фабрики и заводы стали государственными. У рабочих и крестьян изначально, с момента большевистского переворота, власти вообще никакой не было и по многим причинам быть не могло. Абсолютная власть сосредоточилась не у депутатов, а в руках партийной бюрократии, а затем одного человека — Иосифа Сталина, сумевшего ленинскую идею мировой революции плавно спустить на тормозах. Он и церковь не тронул бы, понимал её пользу для укрепления самодержавной власти. Однако ещё оставалась не до конца уничтоженной часть яростных партийных безбожников — ленинская гвардия со своими сторонниками. Пришлось 5 декабря 1931 года взорвать в Москве храм Христа Спасителя, главный собор России. Наступление на духовенство продолжалось. Его место должны были занять

советские писатели. Если люди считались винтиками, то писатели переходили в категорию инженеров. Всё, что говорил и делал Иосиф Сталин, было бесчеловечно, но логично, закономерно и с пониманием сути дела. Спустя несколько лет он почти всех этих ленинских безбожников ликвидировал без всяких угрызений совести. Добил бы и оставшихся, но ему чуть-чуть не хватило времени. Многие вождь всех времён и народов осознавал и чувствовал, но не всё предвидел. Забыл о самом простом. О том, что как аукнется, так и откликнется.

Венедикт Ерофеев записал в блокноте после выноса тела Сталина из мавзолея и захоронения его у Кремлёвской стены: «Посмертно репрессированному от посмертно реабилитированных»<sup>24</sup>. К этой записи приведу ещё другую, из записных книжек Венедикта Васильевича: «Любопытно, какое место в мире мы занимаем по изготовлению колючей проволоки в погонных метрах?»<sup>25</sup>

Венедикт Ерофеев всё-таки дожил до того долгожданного времени, когда роль художника стала ограничиваться рамками его профессии.

Не желая расширять и укреплять советскую мифологию, Венедикт Ерофеев предпочёл позицию человека, смотрящего со стороны. С детских лет пришла к нему потребность наблюдать за людьми и, не торопясь, размышлять над увиденным.

Позиция наблюдателя не означала подглядывания в замочную скважину. Другое дело, что Венедикт Ерофеев не был деликатен и щепетилен в словесном оформлении своих наблюдений. По крайней мере в письменной речи. Однако не стоит думать, обнаруживая в его прозе нецензурные слова, что он возводил вседозволенность в принцип жизни.

Вот как объясняет употребление писателем матерной лексики Юрий Владимирович Мальцев, автор книги «Вольная русская литература»: «У Ерофеева мы находим живой нынешний разговорный язык не как экзотическое диалоговое обрамление авторского повествования, а как органичный способ самовыражения — и это, несомненно, большой вклад Ерофеева в сегодняшнюю русскую литературу. Вслед за ним многие другие самиздатовские авторы увидели в языковом новаторстве или даже “языковом натурализме” самый прямой путь отражения нового колорита современной советской жизни и психологии»<sup>26</sup>.

Милее всех ангелов Венедикту Ерофееву были херувимы, которые, как он вычитал из Еврейской энциклопедии и отметил в одном из своих многочисленных блокнотов, «из всех небесных существ являлись самыми близкими к Божеству»<sup>27</sup>. (В тех же «Записных книжках» существует его другая запись о херувимах со ссылкой на ветхозаветного пророка Иезекииля, жившего на рубеже VII—VI веков до Р. Х.: «По Иезекиилю, всё тело Херувима и спина, и руки, и крылья, всё покрыто глазами»<sup>28</sup>).

Так и Венедикт Васильевич Ерофеев вглядывался в мир всем своим существом и не находил в том любопытстве ничего зазорного и постыдного.

Он был человеком на редкость последовательным в своих взглядах и поступках. Злобная недоброжелательность в нём отсутствовала. В трезвом состоянии он сплеча не рубил, проявлял известную тонкость и деликатность в общении с женщинами.

В работе Венедикт Васильевич был нетороплив. Литературное наследие в виде законченных произведений он после себя оставил значительное по своей художественной ценности, однако по объёму

небольшое. В разы его превосходят сохранившиеся выписки из прочитанных им книг, а ещё всякие *почеркушки* — то ли записи собственных мыслей и образов, то ли у кого-то подслушанные и запомненные им перлы красноречия и остроумия.

Венедикт Ерофеев осмотрительно распоряжался своим талантом, на пустяки его не растрчивал. Может быть, этим объясняется его осторожное, даже опасливое отношение к писательству. Вероятно, он не обольщался по поводу своего творческого потенциала и берёг его, чтобы не сорваться в банальное сочинительство. Ему был интересен человек сам по себе, появившийся по замыслу Создателя от антропоморфных обезьян из группы дриопитеков. Эти особи обитали лет 25-30 миллионов назад, жили на деревьях, потому-то и получили от учёных название древесных. Могу представить, как в своих бездомных скитаниях Венедикт Ерофеев, оказываясь в исключительно неблагоприятных ситуациях, сокрушался, что человек потерял способность своих далёких пращуров жить на деревьях и перепрыгивать с ветки на ветку, уходя от всевозможных опасностей. Современный человек, к сожалению, перенёс прыгучесть своих далёких предков в сферу социальных отношений, подчиняющихся, как и всё живое в природе, закону иерархии.

Говоря о скромной творческой плодовитости писателя, не стоит забывать о его пристрастии к спиртному. На пьянство как на тормозящий фактор творческой активности обращает внимание его приятель, поэт, прозаик, переводчик и музыкант Марк Иехиельевич Фрейдкин<sup>[116]</sup>. Долгое время он входил в ближайшее окружение писателя. К тому же человек он был здравомыслящий — в первоначальном значении этого слова.



Речь, разумеется, идёт не о качестве произведений Венедикта Ерофеева, а о их количестве. Не склонный романтизировать и возводить в священное действо пагубную для русских людей привычку, Марк Фрейдкин писал: «Все красивые рассуждения о “пьянстве как служении” и тем более о “пьяном Евангелии от Ерофеева” или даже о “сверхзаконном подвиге юродства” мне по меньшей мере не близки и попросту кажутся не очень умными, чтобы не сказать сильней. Собственно говоря, в Венином клиническом случае это была не привычка и уж тем более никакое не служение, а тяжёлая и практически неизлечимая болезнь, весьма, увы, распространённая как среди талантливых и неординарных людей, так и среди людей вполне заурядных, причём чаще всего низводящая первых на уровень вторых. Как бы то ни было, её проявления в обоих вариантах очень мало различаются. Веня в этом смысле не представлял собой исключения и в пьяном виде если и не становился безобразным, как большинство из нас, то и особенно привлекательным его тоже не назовёшь»<sup>29</sup>.

Увлечённым книгочеем оставался Венедикт Ерофеев почти до последних дней своей жизни. Однако не проглатывал всё, что оказывалось под рукой. Книги для прочтения он выбирал тщательно и с определённой целью — прежде всего «божественно одарённые», отмеченные высоким авторским мастерством и предполагающие «не только эмоциональное воздействие, но и высокую интеллектуальность»<sup>30</sup>. Неспроста ведь первой из всех полезных для разума и чувств книгой стала для него Библия, которую он знал наизусть.

Нет ничего проще, чем взглянуть на творчество Венедикта Ерофеева бесстрастным взглядом и понять, в чём суть его поэтической проповеди. Она между тем на

удивление проста. Однако это не та простота, которая хуже воровства. Судите сами: не принимал он мира сего и всей злобы его. Не желал себе благоденствия за счёт страдания других людей. Не по нраву ему было низведение человека до бесправной «твари дрожащей».

Вот и вся несложная суть того, что он хотел сказать людям своим творчеством! Думал, что прочтут его опус друзья-приятели. А вдруг, ему на удивление, оказалось, что его поэма «Москва — Петушки» разошлась по всему миру, да ещё во многих экземплярах и на разных языках!

Чем чаще книги Венедикта Ерофеева издаются, тем больше появляется людей, которые после его смерти изменили к худшему к нему отношение.

Никого сейчас не удивишь тем, что сплошь и рядом люди непочтительно отзываются о тех, на кого ещё вчера молились. Для эмоционального человека бросаться из одной крайности в другую — дело обычное. Такая непоследовательность, по-видимому, объясняется человеческой природой, то есть волей Создателя. Вспомним «Книгу Екклесиаста, или Проповедника»: «Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру» (3:1—8).

Так и стоим мы, люди, тысячелетиями, как плакучая ива под сильным ветром. Главное — не согнуться и не сломаться.

## **Глава восьмая** **О НЕКОТОРЫХ СОВЕТСКИХ** **КЛАССИКАХ**

Насколько широчайшей была у советских писателей амплитуда взглядов на власть Иосифа Виссарионовича Сталина, свидетельствуют дневники и высказывания одного из них, человека талантливой и в своих поступках по мере своих сил сохранявшего порядочность. Я имею в виду выдающегося русского писателя Михаила Михайловича Пришвина [\[117\]](#).

Как пишет журналист Алина Гарбузняк в еженедельнике «АиФ» в своём эссе «Большевик от природы», в конце 1920-х и в 1930-е годы писатель называл октябрьский переворот «грабежом личной свободы человека», «освобождением зверя от пут сознания», а коммунизм «системой полнейшего слияния человека с обезьяной», «государственным бытом воров и разбойников»<sup>1</sup>. Но уже ближе к 1940 году его высказывания о власти и непосредственно о Сталине основательно изменились. У писателя даже появилась историософская концепция послушания. Её содержание сводилось к тому, что нельзя жить, как хочется. Необходимо добровольное и сознательное подчинение необходимости, в связи с чем Михаил Пришвин считал сталинскую эпоху массовых репрессий исторически оправданной и называл школой послушания. Алина Гарбузняк заключает, что «погибшие на принудительных работах “враги Сталина” с высоты пришвинского полёта оказались исторически оправданной жертвой»<sup>2</sup>. Другими словами, из этих умозаключений Михаила Пришвина логично следовало,

что Сталин тот самый долгожданный человек, который появился в нужное время и в нужном месте, чтобы спасти государство от гибели.

Разобравшись в несложных исходных постулатах концепции Михаила Пришвина, Алина Гарбузняк берёт под сомнение искренность «певца природы» и его «обращение» в сталиниста после 1940 года. По её мнению, само понятие искренности для писателя, который чудом избежал репрессий, сомнительный критерий. В её сознании не укладываются его гуманизм и потворство палачу. Алине Гарбузняк, нашей современнице, «трудно представить, что чувствует и как меняется человек, когда кругом летят головы друзей и знакомых, близких и дальних, а ты остаёшься цел»<sup>3</sup>.

Шокирующим цинизмом отдаёт суждение Михаила Пришвина о его эпопее «Осударева дорога», посвящённой строительству Беломорканала: «Три четверти этого романа есть результат мучительного приспособления к среде, и разве одна четверть, и то меньше, — я сам, чему же тут радоваться! Ничего не вижу постыдного в этом приспособлении для себя, стыд ложится на среду, и если среда не оценит, то стыд ложится на неё, как и радость моя будет не за себя, а для неё»<sup>4</sup>.

Алина Гарбузняк, заканчивая эссе, делает язвительное по смыслу заключение. Она приводит логику рассуждений по-конформистски настроенного писателя: «Радоваться нечему, но и стыдиться не нужно, среда оценит и возьмёт стыд на себя. Формула на все времена»<sup>5</sup>.

В конце концов, можно сказать ещё проще: Михаил Пришвин прожил большую часть своей жизни не как хотел, а в соответствии с навязанными ему новыми правилами общежития советских людей. Что-то вроде

существования при крепостном праве. Разве что место барина заняло государство с его идеологией подавления инакомыслия.

С другой стороны, трудно осуждать писателя. Его концепция послушания позволила ему сохранить ту жизнь, к которой он привык, и в то же время оставаться свободомыслящим человеком для себя самого.

Я не случайно обратился к Михаилу Пришвину. С этим писателем Венедикта Ерофеева сближает не только любовь к природе. Ещё они известны своими дневниковыми эпопеями. Михаил Пришвин вёл дневник полвека — с 1905 по 1954 год, а Венедикт Ерофеев с 1959 года и почти до самой смерти, но его жизнь оказалась на 29 лет короче, чем у его старшего собрата по перу. В своих дневниках тот и другой были беспредельно откровенны и не стеснялись в высказываниях по разным (и политическим тоже) поводам. Впрочем, Венедикт Васильевич не изменил, как Пришвин, своего отношения к октябрьскому перевороту. В своём дневнике, когда у него появился сын по имени Венедикт, он записал: «...младенца своего надо заставить приготовить к пятидесятилетию Октября какой-нибудь аттракцион: показывать, например, фиги или на пузе сплясать “Интернационал”»<sup>6</sup>.

Каким-то чудом Михаилу Пришвину удалось остаться над схваткой. Венедикт Ерофеев старался не ввязываться в любую драку, да ещё со словесным мордобоем.

Всеобщее послушание подневольного человека существовало долго, вплоть до августа 1991 года. Не ради же красного словца Иосиф Бродский крикнул в нью-йоркском аэропорту вслед идущему к паспортному контролю своему товарищу Андрею Сергееву<sup>[118]</sup>, известному прозаику, поэту и

переводчику: «Что, Андрей Яковлевич, в рабство возвращаетесь?» Пояснение Андрея Сергеева убийственно, но честно отражает действительность тех дней: «Я сказал “да” — время было горбачёвское, и я себя свободным не чувствовал»<sup>7</sup>.

Для Венедикта Ерофеева искренность была редким и ценным человеческим даром. Может быть, поэтому он ею дорожил и на первого встречного не обрушивал каскад своего язвительного остроумия. К подневольным людям он также не относился. Из такого осознания самого себя, вероятно, складывался для него образ жизни в свободе. Для Венедикта Ерофеева цель прожить жизнь в христианском смысле порядочным человеком не была непосильной и несбыточной. По-другому жить он просто не смог бы, да и семейное воспитание не позволило бы. Ему было проще, оставаясь самим собой, находиться в тени. Долгое время его как писателя знал ограниченный круг людей. На жизнь он зарабатывал в основном физическим трудом.

В отличие от другого известного советского писателя, Юрия Марковича Нагибина<sup>[119]</sup>, он не был заносчивым баринком и не считал жизнь непришущего человека никчёмной. По мнению Нагибина, такая жизнь, интеллектуально и художественно не осмысляемая, приравнивается к существованию животного.

Эгоцентричный Юрий Маркович был убеждён, что писательский дар делает человека почти небожителем, резко выделяет и возвышает среди остальных смертных: «Сегодня я с удивительной силой понял, как страшно быть неписателем. Каким непосильным должно быть страдание нетворческих людей. Ведь их страдание окончательно, страдание в “чистом виде”, страдание безысходное и бессмысленное, вроде страдания животного. Вот мне сейчас очень тяжело, но

я знаю, что обо всём этом когда-нибудь напишу. Боль становится осмысленной. А ведь так только радость имеет смысл, потому что она радость, потому что — жизнь. Страдание, боль — это прекращение жизни, если только оно не становится искусством, то есть самой концентрированной, самой стойкой, самой полной формой жизни. Как страшно всё бытие непишущего человека, каждый его поступок, жест, ощущение, поездка на дачу, измена жене, каждое большое или маленькое действие в самом себе исчерпывает свою куцую жизнь, без всякой надежды продлиться в вечности»<sup>8</sup>.

Подобная трактовка смысла творчества оправдывает приспособленчество к чему угодно и сотрудничество со всяким, кто либо у власти, либо платёжеспособен. Декларация сверхчеловеческой сущности писателя — та же индульгенция на совершение любого зла ради собственного блага. Отсюда, из этого упоения собой проистекают бездушие и высокомерие. Смотреть на себя в зеркало и восхищаться, какой ты гениальный и избранный, во времена Никиты Сергеевича Хрущева и Леонида Ильича Брежнева<sup>[120]</sup> было общепринятым явлением среди советских писателей, известных и малоизвестных, издаваемых и неиздаваемых.

Это была достаточно распространённая психотерапевтическая процедура. На этом фоне самолюбования и самовосхваления Венедикт Ерофеев оставался исключением. И это при том, что его любимым поэтом начала XX века был человек, с решительностью самозванца объявивший всем:

Я, гений Игорь Северянин,  
Своей победой упоен:  
Я повсеградно оэкранен!

Я повсесердно утверждён!<sup>9</sup>

В одном из блокнотов Венедикта Ерофеева есть запись: «Одна из первоначальных задач, — говорил Юрий Нагибин, — психологическая подготовка нашего современника к изобилию»<sup>10</sup>. В противовес этому конформистскому и циничному высказыванию он цитирует, что когда-то, глядя на несправедливости в своём обществе, посоветовал совестливым, но робким людям римлянин Луций Анней Сенека<sup>[121]</sup>, философ и поэт: «Избежать этого нельзя, но можно всё это презирать»<sup>11</sup>.

Так и поступал в своей жизни Венедикт Ерофеев. Ведь борцом он по своему характеру не был.

Венедикт Ерофеев устами своего героя Венички рассказал, какие люди ему по душе и в каком будущем ему хотелось бы жить: «...О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив и был бы так же ни в чём не уверен: ни в себе, ни в серьёзности своего места под небом, — как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости — всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу...»<sup>12</sup>

Венедикт Ерофеев знал, как много за советскими писателями, эгоистичными и жадными до жизненных благ и удовольствий, числилось грехов перед обычными людьми — «неписателями». Сам же он жизненных благ сторонился. Записал однажды в своём дневнике: «Это очень холодно — быть до конца существом обеспеченным. Блажен, кто бедствует». К этому можно добавить ещё одно его высказывание, с указанием конкретики: «Всё равно содрогаюсь, когда мне говорят



в шесть утра принять тёплую ванну, кофе с молоком и прочесть свежий номер газеты и прочая»<sup>13</sup>.

Почему у автора поэмы «Москва — Петушки» такое настороженное отношение к современной цивилизации? На этот вопрос убедительно отвечает философ Татьяна Михайловна Горичева, тогдашняя жена поэта Виктора Кривулина. Впоследствии она стала ученицей выдающегося немецкого христианского философа Мартина Хайдеггера<sup>[122]</sup>, жившего в ФРГ. Состояла с ним с помощью её друзей из ГДР в переписке, тайной для КГБ СССР и министерства государственной безопасности ГДР (неофициальное сокращение — Штази). Мэтр очень ценил философские работы и деятельность Татьяны Горичевой и даже посвятил ей своё стихотворение.

Татьяна Горичева объясняет, почему Мартин Хайдеггер оказался ей роднее, чем другие мыслители: «Философия “модернизма” — философия жизни, феноменология, экзистенциализм — были устремлёнными в будущее, творящими, рождающимися течениями. Бергсон говорил о рождении творческого времени, Гессерль — о приращении, Хайдеггер — о том, что будущее важнее прошлого и настоящего. Сегодняшние “деконструкторы” минимализируют бытие, жизнь, смерть, личность до неразличимого “фрагмента” и “следа”. Но и эта философия уже успела поднадоесть. На горизонте — миф, архетип, мир чудесного. XXI век будет веком религии и мистики, или его не будет вообще»<sup>14</sup>.

В рассуждениях Венедикта Ерофеева также существовал приоритет будущего над прошлым и настоящим. Многие мысли немецкого философа имели для него значение. В трудах Мартина Хайдеггера существовало здоровое зерно, тот дающий надежду и избавляющий от состояния крайнего уныния позитив, в

котором он остро нуждался. Это он почувствовал при первом ознакомлении с его трудами.

Татьяна Горичева неоднократно общалась в Ленинграде в 1970-е годы с приезжавшим из Москвы Венедиктом Ерофеевым. Эти встречи проходили в квартире Виктора Кривулина на Курляндской улице, 37. Этот дом со временем получил широкую известность. В квартире Виктора Кривулина происходили встречи легальных и полулегальных писателей и художников, относящихся к культурному андеграунду, к так называемой *второй культуре*, о которой я расскажу в следующей главе.

Мысли Татьяны Боричевой перекликаются с ощущениями Венедикта Ерофеева, хотя ему чужды её декларации героизма в любой его форме. Он солидарен с её мнением, что при всей комфортности жизни, которая существует в экономически развитых странах, «современный человек должен сознавать, что живёт в ситуации абсолютной катастрофы».

Татьяна Горичева пытается найти выход из создавшегося положения: «Большинство, естественно, тратит основные силы не на то, чтобы это осознать, а на то, чтобы убежать от реальности. Реальность катастрофична и ужасна. Это первый тезис. Второй тезис гласит, что необходимо найти себя в какой-либо великой традиции. Например, я — православный человек, я живу в великой традиции, которая меня спасает. Но даже православие скатывается сейчас в такое мещанство, такую невротичность, что деваться подчас просто некуда. Тогда помогает третий момент — героизм. Пребывая в великой традиции, ты должен быть героем, рисковать жизнью, потому что без риска не бывает духовного пути вперёд. Иоанн Лествичник советовал ночью ходить на кладбище, чтобы ужасаться, но наша жизнь и без того доставляет состояние ужаса.

Для всякого познания необходимы мужество и смирение»<sup>15</sup>.

Венедикт Ерофеев, я думаю, не знал о совете Иоанна Лествичника, когда в 1962 году пригласил на ночное свидание на местное кладбище Наину Николаеву, студентку Владимирского государственного института им. П. И. Лебедева-Полянского, круглую отличницу и секретаря комсомольского бюро филологического факультета. С ней у него этот номер не прошёл. Наина заподозрила недоброе и отказалась от столь романтического свидания<sup>16</sup>.

Ольга Седакова вносит ясность, с какими предложениями Татьяны Горичевой Венедикт Ерофеев не согласился бы: «Официальный культ героизма, вот что он не любил. Он хотел, чтобы о человеке думали человечно, чтобы его слабость и хрупкость были приняты. А не: “гвозди бы делать из этих людей”. <...> Но и вне идеологии, по самому складу своего характера Веничка не любил героизма. Он любил, как он говорил, людей странных, смиренных и задумчивых. Его темой была гуманность: сострадание и жалость к человеку, а не требование от него всяческих подвигов. Чтобы человека любили таким, каков он есть, и в самом неприглядном виде гоже. Чтобы его не воспитывали, а пожалели»<sup>17</sup>.

Человеку, выбравшему неблагоприятную профессию писателя, необходимы острый и наметанный глаз, как у вора-карманника, талант психолога и безразмерная память, как у сказителей древнеиндийского эпоса Махабхарата, которые запоминают более ста тысяч двустушией. У него должно быть также горячее и впечатлительное сердце, не говоря уже о вдохновенной и необузданной фантазии. Ко всему этому ему хорошо бы иметь графоманские наклонности, то есть выработать в себе привычку ежедневно что-то заносить

на бумагу. Как говорят: ни дня без строчки! И самое главное — обладать совестью. Все эти перечисленные качества в Венедикте Ерофееве присутствовали в полной мере.

Сколько раз, закрывая глаза, он видел перед собой северное сияние. Вот оно-то, а не что-либо другое оставалось для него проявлением абсолютной красоты. Оно давало ему надежду, что когда-то, может быть, красота, подобно этому природному явлению, займёт полагающееся ей место в отношениях между людьми. К сожалению, в современном мире о таком будущем, глядя на сегодняшнюю жизнь, даже мечтать стыдно.

Общающихся с Венедиктом Ерофеевым людей поражала его начитанность. Больше всего он любил книги по мировой истории и философии, религиозные сочинения, а из русской литературной классики — произведения Николая Васильевича Гоголя, «Былое и думы» Александра Ивановича Герцена<sup>[123]</sup>, «Философские письма» и «Апологию сумасшедшего» Петра Яковлевича Чаадаева<sup>[124]</sup>. Из зарубежных писателей особое внимание он уделял скандинавам, прежде всего — сочинениям норвежца Кнута Гамсуна<sup>[125]</sup>, книги которого пользовались в СССР повышенным спросом среди думающей молодёжи в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Вторыми после Гамсуна шли произведения Генрика Юхана Ибсена<sup>[126]</sup>, Бьёрнстьерна Мартиниуса Бьёрнсона<sup>[127]</sup>.

Томас Манн с его романом «Доктор Фаустус. Жизнь композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом» вывел его к совершенно новым духовным горизонтам. По количеству прочитанных Венедиктом Ерофеевым книг западноевропейской литературы большую часть составляют сочинения французских писателей.

Совершу небольшой экскурс в историю родной страны. С петровских времён Россия раскололась на сторонников двух жизненных укладов. Как определил их историк Василий Осипович Ключевский<sup>[128]</sup>, это были два уклада — «почва» и «цивилизация». Большая часть населения России сохраняла почвенный уклад с его уравнительными принципами социальной справедливости и антисобственническими настроениями. Все стороны этого уклада формировались русским православием. Оно определяло духовную жизнь людей, призывая их смиренно нести свой крест. Деятельность человека, направленная к обогащению, православием не поощрялась. Духовными столпами «почвы» были Сергей Радонежский, Нил Сорский, Серафим Саровский, Тихон Задонский, Паисий Величковский и Амвросий Оптинский. К нравственным идеалам этого уклада относились жертвенность, терпимость и всечеловечность. Гражданская и религиозная сферы жизни существовали в нём как неразделимое, единое целое. Такой уклад жизни содействовал расцвету народной культуры. Сколько тогда русским народом было сочинено доживших до наших дней песен, сказаний, былин! Жизнь в соответствии с национальной традицией дала очевидные духовные плоды.

Однако консервативные дедовские взгляды, которых придерживалось большинство русского народа, действовали на экономику угнетающе. Ведь предпринимательство не считалось богоугодным делом. Личная инициатива противоречила общинному сознанию. Нельзя сказать, что почвенный уклад не мешал народному просвещению. В XVII веке была создана Славяно-греко-латинская академия — защитница русского православия от протестантских и католических идей<sup>18</sup>.

Уклад «цивилизация» «включал небольшую часть России, в основном грамотную и социально активную». Он «насаждался государством, им контролировался и не был в полном смысле западным. Он был значительно деформирован»<sup>19</sup>. В дворянской и разночинной среде появились прозападно настроенные люди, относящиеся к православию с некоторой прохладцей. Как пишет Любовь Ивановна Семенникова, «распространялись антицерковные и даже атеистические настроения. П. Я. Чаадаев критически оценивал православие и религиозный выбор, сделанный в X в., как акт, оторвавший Россию от европейской истории и культуры»<sup>20</sup>.

Для Венедикта Ерофеева цивилизационный уклад был ближе почвенного, поскольку означал путь к просвещению и давал надежду на приобщение России к некоммунистическому миру, которым власти запугивали своих граждан. Недаром он ценил роль эпохи Просвещения в судьбе стран Запада. Именно оно вывело его народы во второй половине XX века на совершенно иной уровень общения друг с другом.

Обращусь к уже не раз упомянутому мною роману Томаса Манна «Доктор Фаустус»: «Для ревнителей просвещения в самом слове “народ” всегда слышится что-то устрашающе архаичное. Мы знаем, что обращаться к массе, как к “народу”, значит толкнуть её на дело отсталое и злое. Что только не совершалось на наших и не наших глазах именем народа! Именем Бога, именем человечества или права такое бы не совершилось»<sup>21</sup>.

Томас Манн по своему жизненному опыту знал, о чём говорит. То же самое можно сказать и о Венедикте Ерофееве, на самом себе постоянно испытывавшем эту давящую силу дикости и политического невежества, существующую испокон века в малообразованном и

запуганном народе. Вслед за Томасом Манном он был убеждён, что помешать прорыву наружу этой первобытной народной злобы способна вовсе не церковь, а литература с её проповедью гуманизма, с её идеалом свободного, прекрасного человека<sup>22</sup>.

Читал Венедикт Ерофеев постоянно, с детских лет и почти до самой смерти. Читал много и жадно, словно знал, что не доживёт до глубокой старости. У него была цепкая и объёмная память. Запоминал прочитанное до мельчайших деталей, чем поражал как близких родственников, так и многих своих ближних. Он любил книгу как текст, в котором форма и смысл находятся в гармонии. У него не вызывали благоговейный трепет книги в переплётах из телячьей кожи. Ему больше по душе были книги попроще и даже несколько зачитанные. Чтение помогло ему стать культурным человеком, то есть приобрести чувство конкретной реальности, отличать ложь от правды и обрести способность правильно судить о многих вещах.

Вопреки своей страсти к чтению книг он понимал, что среди книжников-эрудитов намного чаще встречаются шарлатаны, чем среди простых людей, прочитавших за всю жизнь не более ста книжек.

Венедикт Ерофеев, без всякого преувеличения, относился к очень начитанным литераторам. Легко догадаться поэтому, какое значение для него имела хорошая библиотека, укомплектованная серьёзной литературой и включающая дореволюционные издания. Такой библиотекой в ерофеевское время были семейные книжные собрания, а из государственных — Историческая библиотека в Москве с либеральным отношением сотрудников к выдаче книг читателям. По предписаниям соответствующих ведомств дореволюционные издания, за исключением литературы российских радикальных партий и других политических

организаций, в 60-е годы прошлого века, не подлежали специальному хранению. Выдача наиболее одиозных книг зависела исключительно от желания библиотекаря. В Исторической библиотеке он провёл немало времени. Кстати, редкие дореволюционные русскоязычные издания, особенно переводные с европейских языков, находились во Всесоюзной библиотеке иностранной литературы, где работал, как я уже писал, библиографом его друг — учёный и переводчик Владимир Муравьёв, а также его знакомые: литературовед Николай Всеволодович Котрелёв и переводчик Владимир Андреевич Скороденко. Британская, Еврейская и другие энциклопедии на иностранных языках стояли на полках в её справочном зале в открытом доступе.

Венедикт Ерофеев в чтении заинтересовавших его книг терял ощущение времени. Он словно приобщался одновременно к мировой истории и вечности. Кстати, числился за ним один непростительный грех, о котором вспоминал его друг Игорь Авдиев и также осведомлён Венедикт-младший. Венедикт Васильевич воровал библиотечные книги. Чаще всего во время своих служебных поездок по России.

Свидетельствует Венедикт-младший: «Один из его друзей (Игорь Авдиев. — А. С.) вспоминал, как застал Венедикта Васильевича за странным занятием: он напихал книжек за пазуху, зажал ещё пару под мышками и прохаживался по вагончику, в котором жил, стараясь идти лёгкой походкой и так, чтобы книжки под одеждой не были заметны. Подошёл к столу, расписался, склонившись, на листочке и всё той же необременённой походкой вышел из вагончика, аккуратно прикрыв за собой дверь. Это их бригада уезжала из какого-то села, где прокладывала кабель, и Венедикт Васильевич репетировал, как унесёт из тамошней библиотеки, где, видно, никого, кроме него и



библиотекарши, отродясь не было, девять томов Бунина. Был у Ерофеева такой грех. Например, его сборники поэтов Серебряного века все украденные. Но их тогда почти не читали, поэтому совесть у него была чиста»<sup>23</sup>.

Процитирую теперь первоисточник — Игоря Авдиева. Начну с прямой речи Венедикта Ерофеева, обращённой к нему: «Мне надо сдать в библиотеку всякую дрянь и унести сразу девять томов Ивана Бунина. А одиннадцать томов рассовать по сокровенным уголкам и сохранить фигуру, осанку, умение расписаться в формуляре, непринуждённо выйти обременённым из этого интересного положения за дверь — нужна сноровка. А библиотекарьша с комсомольским энтузиазмом смотрит на тебя, как на фашиста, и ждёт не дожждётся ужасного насилия, и ты должен усыпить её бдительность, держать её в обольщении, но не дать наброситься на тебя... Ведь она три года своего девичества ждала читателя, и вот он пришёл, и она знает, если ты уйдёшь, другой читатель может не прийти до пенсии. Она может наброситься... А тебе нужно уйти от неё так, чтобы она поверила, что ты вернёшься завтра и тогда... Елизавета Ивановна должна не догадаться, что ты уносишь книжки и покидаешь её непогубленной. Ни того ни другого комсомольское сердце не вынесет»<sup>24</sup>.

Игорь Авдиев подтверждает, что эта книжная клептомания просуществовала вплоть до конца 1970-х годов: «У Вени в Мышине была богатейшая библиотека, где по книжным штампам можно было изучить географию СССР»<sup>25</sup>.

Здесь я внесу некоторые коррективы в рассказ Игоря Авдиева, одного из владимирской свиты Венедикта Ерофеева. В нём он отодвигает себя в сторонку, делаясь не соучастником, а свидетелем. На

самом деле все происходило с точностью до наоборот. Обращусь к воспоминаниям художника Феликса Буха: «Вообще, владимирских в дом пускать было опасно — они книги таскали, считали, что имеют на это право, поскольку для них это насущная необходимость, профессиональная, можно сказать. И не дрянь какую-нибудь выбирали, а лучшее из твоей библиотеки обязательно унесут»<sup>26</sup>.

Заметно расширило круг чтения Венедикта Ерофеева его пребывание в посёлке академиков Абрамцево на даче выдающегося математика, члена-корреспондента АН СССР Бориса Николаевича Делоне. С его внуком, известным правозащитником Вадимом Делоне Венедикт Ерофеев, как уже говорилось, дружил и в 1975 году был приглашён на академическую дачу деда в Абрамцево. На самой даче Бориса Николаевича книг почти не было. Кое-что из русской классики и очень немного книг по математике<sup>27</sup>. Другое дело, что у жителей посёлка, у тех, с кем общался Борис Николаевич, их было немного больше, а в совокупности — огромная библиотека, состоящая из редких дореволюционных изданий, а также книг на русском языке, изданных за рубежом и относящихся к специальному хранению.

Как Борис Николаевич, Вадим и Венедикт Ерофеев в тяжёлое для всех время помогали друг другу, рассказал сын писателя: «Кстати, Венедикт Васильевич оплатил за помощь. Внук Делоне Вадим и его жена Ирина были диссидентами и пострадали за свою деятельность. Эмигрировали, бедствовали, у них родился ребёнок, заболел и в месячном возрасте умер из-за того, что у родителей не было средств на его лечение. Вадим от отчаяния начал пить. А у деда здесь деньги были, но послать их внуку он, естественно, не мог. Так вот Ерофеев предложил похлопотать насчёт гонораров за

“Петушки”, чтобы они могли на эти деньги жить. А дед Вадима фактически спасал Венедикта Васильевича здесь. В Абрамцеве Ерофееву жилось лучше всего, это видно по записным книжкам»<sup>28</sup>.

Каждое лето Венедикт Ерофеев и его вторая жена Галина Носова приезжали в Абрамцево в мае и находились там почти безвыездно до первых холодов. Так продолжалось довольно долго. После смерти Бориса Николаевича Делоне 17 июля 1980 года они не оставили Абрамцева.

Где бы Венедикт Ерофеев ни жил — на Кольском полуострове, в Москве, во Владимире, в Орехово-Зуеве, в Коломне, в Сибири или где-нибудь ещё, с кем бы ни общался, всюду он ощущал себя независимым и самодостаточным человеком. В русской литературе появился писатель особого психологического склада — не ставивший свои действия в зависимость от сложившегося порядка вещей. Если сказать короче: он не относился к приспособленцам, а если по-иностранному — конъюнктурщикам. С людьми был простодушен и уже по одной этой причине обречён на конфликт с властью предрержащими. Венедикт Ерофеев не скрывал своего представления о наилучшем с его точки зрения ходе жизни: «Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян»<sup>29</sup>.

## **Глава девятая**

### **SILENTIUM**

Одна из интереснейших бесед двух выдающихся мыслителей: буддолога и писателя Александра Моисеевича Пятигорского<sup>[129]</sup> и философа и филолога Игоря Павловича Смирнова, впервые опубликованная на страницах «Независимой газеты» 10 ноября 1995 года, называлась «О времени в себе». В ней идёт речь как о важнейшем для моих соотечественников времени «оттепели» — второй половине 1950-х годов, так и о последующих десятилетиях советской истории.

Александр Пятигорский в диалоге с Игорем Смирновым полагает, что 1950-е годы в России «выступают как антитеза предшествующему десятилетию»<sup>1</sup>. Он называет самое существенное изменение, произошедшее в советском обществе того времени: «Для меня и для людей, меня окружавших, главным было то, что пропала проблема смерти. Пропал почти онтологический страх»<sup>2</sup>.

Другими словами, человек получил гарантию безопасности. Ведь при Сталине ценность его жизни была девальвирована почти до нуля. Вместе с тем, продолжает свою мысль Александр Пятигорский, «новая эпоха оставалась прежней, правда, без ужасов прежнего». И ещё: «В этом отношении характерно, что эти годы не дали ничего талантливого. Идеалом была искренность. Искренность — не талант. Пафос: ну вот сейчас можно не лгать. То, что я бы назвал псевдореализмом пятидесятых (Паустовский, Дудинцев — всего, я думаю, фигур двенадцать-пятнадцать). Крайне ограниченная реакция на то, что было, — при

этом, то, что было, целиком принималось. Принимался не только режим, принимался тот строй культуры, который внутри этого режима реализовался. То есть никакой рефлексивной критики. Критика была по типу: “Ну, слушайте, давайте по правде! И посмотрите, как хорошо это или как плохо то...” Но главное в том, что хорошо — *это*, а не в том, что плохо — то. И это не о государстве и режиме, а об отношении людей к ним. Полная минус-рефлексия. Отношение людей к человеку в текстах тех лет практически редуцируется к его отношению с режимом»<sup>3</sup>.

Однако страх страху рознь.

В реферате, посвящённом философским идеям Мартина Хайдеггера, Венедикт Ерофеев обращает внимание на одно из фундаментальных открытий древних мыслителей Востока, касающееся миссии человека и его поразившее. Хайдеггер сформулировал это откровение древних, как он его понял: «...человек — существо, существующее в мире, связанное в своём бытии с космосом и с другими людьми, существо понимающее, настроенное в своей глубочайшей основе, пекущееся о людях и призываемое смертью к своей самой подлинной возможности бытия»<sup>4</sup>.

Я думаю, что такое представление о человеке — ключ к миропониманию Венедикта Ерофеева. Оно помогает адекватно воспринять его мысли, темы им написанного и бытовое поведение. Давно замечено, что многие люди думают свободнее, действуют без оглядки, когда смерть дышит им в затылок. Из «Записных книжек 1975 года» Венедикта Ерофеева: «Дмитрий Писарев (1840—1868) из всех доступных человеку чувств самым мучительным называл страх»<sup>5</sup>.

С языка метафизики перейду на язык родных осин. Уже к шестнадцати годам Венедикт Ерофеев хлебнул столько горя и натерпелся столько страха, что не

всякий другой выдержал бы. Этого горя и страха ему хватило на всю оставшуюся жизнь. И всё-таки в нём сохранилось живое чувство отзываться на чужие беды. Никуда не делись и его личные переживания, и эмоции. Не по зубам было людям, обладающим хоть какой-нибудь бюрократической властью, его расчеловечить. Однокашник Ерофеева по филологическому факультету Московского университета Лев Андреевич Кобяков в разговоре со мной основным качеством характера Венедикта Васильевича назвал незлобивость.

Страх советского человека перед другой картиной мира и другим жизнеустройством рождал нетерпимость к инакомыслию.

Из книги Даниила Гранина «Страх»: «У нас была создана, отлажена почти научная система поддержания страха. Тоталитарный режим создал тоталитарный страх»<sup>6</sup>. У Александра Солженицына в романе «Раковый корпус» сказано эмоциональнее: «А над всеми идолами — небо страха! В серых тучах — навислое небо страха. Знаете, вечерами, безо всякой грозы, иногда наплывают такие серо-чёрные толстые низкие тучи, прежде времени мрачнеет, темнеет, весь мир становится неуютным, и хочется только спрятаться под крышу, поближе к огню и родным. Я двадцать пять лет жил под таким небом — и я спасся только тем, что гнулся и молчал»<sup>7</sup>.

Именно в эти годы Венедикт Ерофеев оказался в московской интеллектуальной среде. Ему были необходимы новые духовные ориентиры, и он нашёл их в чтении тех книг, которые уже прочитали его новые товарищи. Владимир Муравьёв вспоминал: «Когда Венедикт Ерофеев приехал с Кольского полуострова, в нём ещё не было ничего, кроме через край бьющей талантливости и открытости к словесности. Он всю жизнь читал, читал очень много. Мог месяцами

просиживать в Исторической библиотеке, а восприимчивость у него была великолепная, но читал не всё, что угодно. У него был очень сильный избирательный импульс, массу простых вещей он не читал, например, не уверен, что он перечитывал когда-нибудь “Анну Каренину”. Не знаю, была ли она вообще ему интересна. Он, как собака, искал “своё”. Вот ещё в общежитии попались ему под руку “Мистерии” Гамсуна, и он сразу понял, что это — его. И уж “Мистерии” он знал почти наизусть. Данные его были великолепны: великолепная память, великолепная, незамутнённая восприимчивость, и он совершенно был не обгажен социалистической идеологией»<sup>8</sup>.

Отечественная литературная критика конца 1960-х годов захлёб заговорила о совершенстве советского человека, обращаясь к творчеству писателей, которые придерживались принципов социалистического реализма. Эта литература воспевала если не идеальную жизнь, то, по крайней мере, советских граждан, безупречных во всех отношениях. Венедикт Ерофеев в поэме «Москва — Петушки» не отказал себе в удовольствии внести посильную лепту в подобный культ воспевания, сосредоточившись на тех, с кем тогда общался: «Она подошла к столу и выпила залпом ещё сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела»<sup>9</sup>.

Венедикт Ерофеев ходил по острию ножа и всякий раз делал свой выбор не ради улучшения качества собственной жизни, а в пользу сохранения своего духовного суверенитета. Вместе с тем не искал беду на свою голову, как поступали некоторые из его инакомыслящих друзей и приятелей. Однажды его передёрнуло от мысли, что жизнь без трагедии превращается в пошлость. К такому мазохистскому

взгляду на окружающую жизнь приобщала своё окружение жившая в Ленинграде Татьяна Горичева.

Вот что о второй культуре пишет Елена Игнатова: «Она была уникальным явлением: несколько десятков литераторов и художников создали альтернативную официальной культуре общность — с выставками, литературными чтениями, самиздатовскими журналами. Когда её история завершилась, участники стали подводить итоги, порой сравнивая наши времена с Ренессансом (статья одного из лидеров *второй культуры* Б. И. Иванова озаглавлена «Виктор Кривулин — поэт российского Ренессанса»)»<sup>10</sup>. Заслуги второй культуры в просвещении интеллигенции были, как свидетельствует Елена Игнатова, явственными и определёнными. Это прежде всего участие в религиозном возрождении, что проявилось как в приобщении к церкви, так и в попытках обрести религиозное мировоззрение. Эти благие намерения столкнулись с неожиданными трудностями. Во-первых, «появление в храмах паствы из *второй культуры* не было оценено там по достоинству». Священников можно было понять. Никакого смирения в новых прихожанах не чувствовалось. Напротив, они «попытались организовать религиозное возрождение на собственный лад»<sup>12</sup>. Во-вторых, их стихотворения «запестрели религиозной лексикой, и неважно, если они порой граничили с кощунством, это принималось как смелость и новизна»<sup>13</sup>.

Елена Игнатова вспоминает о Татьяне Горичевой с нескрываемой симпатией. Её мягкая и благожелательная ирония оказывается очень кстати, когда заходит речь об увлечённости Татьяны Михайловны идеями датского философа Сёрена Обю Кьеркегора<sup>[130]</sup> и уже упомянутого Хайдеггера: «Она окончила философский факультет университета и на



этом основании считалась в нашей среде философом. Хорошо образованная, она на первых порах увлеклась философией экзистенциализма и в этом увлечении доходила до крайностей. На квартирной выставке, рассматривая картины, она то и дело замечала: “Да... Кьеркегор”, “А это ближе к Хайдеггеру...”, и авторы “кьеркегоров” и “хайдеггеров” горделиво поглядывали друг на друга»<sup>14</sup>.

Интересны рассуждения Татьяны Горичевой о постмодернизме. Эта легендарная женщина, живущая в настоящее время между Парижем и Санкт-Петербургом, рассуждает о нём в даосском и буддийском духе. И права в своей методологии.

Вторая культура — российская разновидность культуры постмодернизма.

Отличительная черта постмодернизма — обращение к традиционным религиозно-философским представлениям народов Азии и Латинской Америки: «В Париже я живу около центра Помпиду и каждый раз, выходя из дома, вижу, как внутреннее становится внешним. Все трубы, коммуникации, всё, чего мы не видим в домах, вынесено наружу. Французы недолюбливают это здание, которое очень символично. Оно иллюстрирует переворот, совершенный постмодерном, заявившим, что нет ни внутреннего, ни внешнего. И чтобы путешествовать, совсем не обязательно перемещаться вовне. Действительно, достаточно переживать мир, как *das Unheimliche*, поджидающее тебя повсюду — в твоих снах, в твоей душе, причём гораздо больше, чем во внешней действительности. Лакан (Жак Мари Эмиль — французский психоаналитик, психиатр, философ; 1901—1981. — А. С.) рассматривает парадокс Чжуан Цзы (жил между 369 и 286 годами до н. э., автор книги Даосских притч. — А. С.), которому приснилось, будто он

бабочка, а наутро он не мог решить: то ли Чжуан Цзы снилось, что он бабочка, то ли бабочке снится, что она — Чжуан Цзы. Вот чисто постмодернистская ситуация, которая демонстрирует: совершенно не обязательно перемещаться по миру, чтобы другой открылся твоему сознанию. Не нужно идти вовсё, чтобы открыть внутреннее, потому между ними нет того различия, на котором настаивает повседневное сознание»<sup>15</sup>.

У буддистов и даосов больше общих доктринальных черт, чем принципиальных различий. Налицо близость воззрений их последователей. Ни те ни другие не сомневаются, что материальный мир, в котором они обитают, ужасен, в его основе — страдание, и необходимо что-то предпринять, чтобы от такого мира навсегда избавиться. У буддистов этот побег из круга сансары имеет целенаправленную конечную цель — достижение нирваны. У даосов — познание и единение с дао, то есть со всеобъемлющим Законом, Абсолютом.

Понятие *нирвана* (угасание, потухание) невыразимо в терминах эмпирического опыта. Однако, как пишет индолог Виктория Георгиевна Лысенко, «невыразимость *нирваны* в словах связана не с тем, что Будда считает её непознаваемой (иначе он был бы просто агностиком), а с тем, что для него *нирвана* — предмет практики, а не рассуждений. Чтобы понять, что это такое, необходимо избавиться от обычного рассеянного состояния ума. <...> Вряд ли большинство последователей Будды вдохновились бы идеалом “ничто” (кстати, именно так интерпретировали *нирвану* многие европейские мыслители, видящие в буддизме форму нигилизма), для них он говорит о *нирване* как о состоянии, несущем блаженство, для более “продвинутых” — о прекращении сознания»<sup>16</sup>.

*Дао* — это пункт отправления и пункт назначения всего, что вообще существует. В нём всё находится в

непрерывном движении. Появляется и там же исчезает. Счастье человек обретает при слиянии с дао и, оказавшись в новом состоянии, ощущает себя бессмертным.

Люди, живущие не только по инерции, хотят понять тайны мироустройства и жить в ладу с собой, своими близкими, коллегами по работе и, как говорят, со всем белым светом, куда, естественно, входит и мир природы. Хотеть — одно дело, а сделать шаг к изменению самого себя — не каждому захочется и не каждому без посторонней помощи это будет по силам. Жить в мечтаниях, лёжа на боку, возможно до поры до времени, пока жареный петух в одно место не клюнет. От даоса, как и от буддиста, требуются немалые усилия, чтобы достичь вожденной цели — нирваны или слияния с дао.

В движении творческой интеллигенции к новым художественным формам постмодернизм был очень даже востребован. У творцов нового искусства и литературы восточные философские школы стояли на видном месте. С их помощью вытравляли советские художественные штампы, избавлялись от идеологических предрассудков. Обращусь к словенцу Славою Жижеку, знаменитому философу, радикалу и провокатору. Прочитую кое-что из его откровений: «...несерьёзное отношение к окружающей действительности есть не что иное, как культурная логика современного капитализма»; «...поймите, тем, что вы постоянно иронизируете, вы не подрываете систему, а в точности исполняете то, чего хочет от вас правящая идеология»; «Наше время идеологизировано, как никогда ранее. Не верьте, если говорят об обратном... Идеология как раз заключается в

затемнении проблем, нас всё время пытаются ввести в заблуждение»<sup>17</sup>.

В философском аспекте постмодернизм рассматривается как «дальнейший шаг на пути апофатики, “от отсутствия Бога” к инкарнированному ничто»<sup>18</sup>. Апофатическое (*др. греч.* — отрицательное) богословие представляет собой веру в то, что при помощи человеческих позитивных категорий невозможно постичь Бога. Суждения в ней о Боге выражены в отрицательной форме. Апофатический метод — это метод теологического исследования в области богопознания, подразумевающий суждения о том, что не присуще Богу<sup>19</sup>.

В сочинениях Венедикта Ерофеева перемешались события мировой культуры и истории, советской повседневности и его собственной жизни. Всё это нагромождение в сознании одного человека столь разнохарактерного материала не выглядит в литературе XX века чем-то особенным и редким.

Писатели разных эпох пытались сказать что-то новое о наплевательском отношении их современников к чуду, которым является жизнь на Земле. Они опирались на свои жизненные впечатления, а те были настолько устрашающими, что их осмысление доводило до косноязычия. О том, как рушится привычный миропорядок и происходит крах идеалов, — основная тема великих романов последних двух веков, созданных как на Западе, так и на Востоке.

Никого уже не удивляет присутствие в современном рассказе, романе или пьесе жанровых черт детектива, церковной проповеди и философского трактата. Подобные новшества преобразили литературный текст. Теперь он в большей мере соответствовал духу и букве сумбурной, неожиданной в своих крутых поворотах действительности с её массовыми убийствами,

постоянными социальными, политическими, природными мутациями и катаклизмами.

Основной вопрос мировой литературы XX века касался жизни на Земле. С какой целью появилась она на нашей планете? Зачем этот «дар напрасный, дар случайный» дан человеку? Ведь он нисколько не дорожит им не только в других, но и в самом себе. А иначе к чему человеку на протяжении всей своей истории с тупой последовательностью и необыкновенной изощрённостью убивать себе подобных и «братьев меньших»?

В начале XX века, в Первую мировую войну, одна Россия потеряла в ней свыше семи миллионов жизней. Это побоище было воспринято европейскими писателями как редчайший по масштабам катаклизм в мировой истории. Во Вторую мировую войну потери для нас оказались намного большие. Погибли, включая мирное население, 41 миллион 979 тысяч человек. В войне с самими собой, начиная с Гражданской войны, мы также лишились не одного миллиона собственных граждан.

В такие трагические моменты истории добро в сопоставлении со злом проявляет себя энергичнее, деятельнее и заметнее. На этом ужасающем фоне массовых убийств благородные черты человеческой природы — милосердие, доброта и сострадание к ближним своим — выявляются контрастнее и отчётливее запоминаются людьми, чем в спокойные и мирные годы.

Уже в наше время человек с помощью научно-технического прогресса довёл процесс умерщвления себе подобных до грандиозных масштабов, превратил его в рутинную работу. Теперь появилась возможность за несколько минут отправить в небытие целый город. Для этого введены в действие новые средства массового уничтожения — термоядерное и

биологическое оружие и ещё незнамо что. Неужели Земля — вотчина Сатаны?

Чтобы привести в порядок сумятицу в собственной голове и художественно осознать, до какой ужасающей степени ожесточения дошёл человек, писатели XX века использовали приёмы жанрового и стилевого синкретизма, известные ещё по писаниям Нового Завета.

Среди них Венедикт Ерофеев не был исключением. Юрий Левин, автор наиболее известного комментария к поэме «Москва — Петушки», выявляя её основные подтексты, обнаруживает в ней два полюса:

«1) Библия (особенно, кроме Нового Завета, Песнь песней и Псалтирь);

2) пропагандистская радио и газетная публицистика с её навязшими в зубах агитационными клише, к чему можно присоединить не менее надоевшие хрестоматийные — изучаемые в школе — образцы литературы социалистического реализма плюс расхожие и также взятые на вооружение советской пропагандой цитаты из русской классики. <...>

Между этими полюсами такие источники, как:

3) русская поэзия, главным образом по тем временам эзотерическая, от Тютчева до Пастернака и Мандельштама;

4) литература сентиментализма, прежде всего “Сентиментальное путешествие” Л. Стерна и “Путешествие из Петербурга в Москву” А. Радищева;

5) русская проза XIX в. — Н. Гоголь, И. Тургенев и особенно Ф. Достоевский»<sup>20</sup>.

Юрий Левин, обозначив источники эрудиции писателя, в другой своей работе — «Семиотика Венички Ерофеева», помимо имён, входящих в школьную программу по литературе и истории, а также передач советского радио, обратил внимание на его «достаточно

бессистемное “внепрограммное” чтение, круг которого, однако же, имеет свой центр — Св. Писание, и особенно Евангелие»<sup>21</sup>.

Общность стилевых особенностей современной литературы, роднящая прозу Венедикта Ерофеева с сочинениями его коллег за рубежом, приблизила его к мастерам западного постмодернизма. Гнетущая проза жизни, к тому же отягощённая идеологическим контролем и тоталитарным произволом, «побуждала писателей в последние десятилетия XX века искать замену привычной формуле: “Литература как воссоздание или пересоздание жизни”»<sup>22</sup>.

Известно, что русские писатели народ сметливый. Не лыком шиты и за словом в карман не полезут. У них премудрость одна, а хитростей много. Вот что, например, пишут о мастерах «другой литературы» авторы школьного учебника «Литература» для 11-го класса: «Многие писатели стали обращаться не столько к реалиям и событиям окружающего их мира, сколько, прежде всего, к чужим текстам, образам, сюжетным ситуациям, которые переосмысляются в их произведениях, приобретая новые оттенки, преображаясь в ином художественном контексте. Это характерно для произведений постмодернизма, заявившего о себе в русской литературе конца XX века. Самый термин “постмодернизм” (т. е. после модернизма) опирается на понятие “модернизм”, который предстаёт здесь как бы в завершающей стадии»<sup>23</sup>.

Совершать добрые дела, быть чистым в помыслах и намерениях, укрощать ненасытность желаний, научиться отличать хорошее от плохого. Что на это скажет среднестатистический гражданин? Тут и думать нечего. «Детский сад какой-то! Как страдал, так и буду

страдать. Главное лопухом не быть!» — вот что он скажет и пойдёт дальше по своим делам.

В какой-то момент своего существования Венедикт Ерофеев остановился на привычном для миллионов советских людей пути к обещанному счастью и свернул на боковую дорогу искать нирвану и сливаться с дао. Не по наущению практикующих полулегально в СССР гуру, а как он сам этот путь понял с помощью Мартина Хайдеггера, Григория Померанца, отчима Владимира Муравьёва, и общаясь с московскими художниками, испытывавшими на себе влияние дзен-буддизма и даосизма. Это два восточных учения, которые объединили в себе религию и философию и в поддержке которых нуждался Венедикт Ерофеев.

Жизнь, которую он для себя избрал, укрощала его желания, ограничивала в еде, а вот по чувству свободы, случалось, его внутренний микрокосм вполне гармонировал с внешним макрокосмом. Главное, что, вступив на этот путь практически в одиночестве, через какое-то время он направил на него, чтобы совсем не заскучать и по-чёрному не спиться, своих героев из поэмы «Москва — Петушки».

Увы, не мог он уже быть «с теми, кто вышел строить и мечь в сплошной лихорадке буден». Не та ли самая лихорадка раньше срока вогнала в гроб автора этих строк — Владимира Маяковского? И не только его одного.

Татьяна Горичева в своих сочинениях постоянно, так или иначе возвращается к теме одиночества. Этот интерес вызван не столько особенностями её характера, сколько жизненной необходимостью укрепить слабеющие в противоборстве с порочной действительностью силы ума и души. В большинстве случаев в бытовом сознании одиночество воспринимается как эмоциональное состояние, негативное по самой своей сути. Оно, как правило,



приводит к ограничению и даже отсутствию связей человека с миром людей и постепенно превращает его в мизантропа. Вместе с тем существует и другая трактовка одиночества. Согласно ей, одиночество — прямой путь к Откровению, к истине, открывающей Божью волю.

Татьяна Горичева пишет: «Одиночество — бесконечная тема. У Кьеркегора к Ясперса — одиночество — это нечто положительное, связывающее с Истиной и Богом»<sup>24</sup>.

Но это у Кьеркегора и Ясперса, а Венедикт Ерофеев, как принято считать, большей частью имел дело с людьми низменных страстей. Об одном из них он написал в своём блокноте: «А в одиночестве он занят непотребством, вместо того чтоб откровенно беседовать с Богом»<sup>25</sup>. Вполне возможно, впрочем, эту запись истолковать как самокритику.

На протяжении многих лет Венедикт Ерофеев менял своё отношение к одиночеству. Всякий раз он на некоторое время спасался им от всякого рода жизненных передраг, вместе с тем понимая, что не будь их, ему не о чем было бы писать, а жить стало бы подавно в тягость.

Я точно не скажу, от кого Венедикт Ерофеев узнал о существовании Мартина Хайдеггера и его трудах. Более того, кто помог ему разобраться в хитросплетениях мысли немецкого философа. По крайней мере, он уже знал о нём до встречи с Татьяной Горичевой. В недавнем со мной телефонном разговоре она подтвердила, что даже не предполагала, что Венедикт Ерофеев был знаком с творчеством её учителя и кумира и что в пору своей молодости он написал по его трудам реферат. Находясь в Ленинграде у них в гостях и, не торопясь, попивая с ней и её мужем Виктором

Кривулиным коньячок, автор поэмы «Москва — Петушки» больше помалкивал, чем говорил.

Скорее всего, он впервые услышал о Мартине Хайдеггере на первом курсе филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Ведь Венедикт Ерофеев был студентом 4-й немецкой группы. Но познакомился с его книгами не тогда, а через несколько лет.

Вот что мы узнаем о Венедикте Ерофееве того времени из коллективного сочинения выпускников этой группы: «Самая яркая фигура нашего выпуска (хотя его пребывание на факультете было очень кратким) Веня Ерофеев, без которого уже нельзя представить русскую литературу второй половины XX века. Он был самым младшим в группе, а может быть, и на курсе: в начале первого курса ему ещё не исполнилось и семнадцати. Высокий, худой, узкоплечий, с яркими голубыми глазами, непокорными тёмными волосами, спускавшимися на лоб. (По этим волосам, но уже седым, да по глазам нельзя было не узнать его, уже ставшего известным, на позднейших фотографиях.) Вернёмся в 1955 год. Выглядел он очень юно, по-мальчишески. Видимо, чтобы казаться старше и солиднее, он непрерывно курил, старался говорить басом. (Впервые Венедикт Ерофеев закурил на выпускном вечере в Кировске. — А. С.). Но его юный вид был обманчив: выдающиеся способности и глубокая эрудиция выделяли его уже на первой сессии, которую он сдал с блеском. И после успешного начала “отличник” Веня вдруг перестал ходить на занятия. Видимо, ему было невыносимо скучно читать строго по программе, ходить на занудные семинары (особенно по общественным дисциплинам), не о чем было говорить с нами, членами группы. И он залёг в общежитии, обложился книгами, читал очень много по своей программе, может быть, и

писал, но нам об этом было неизвестно. Знать это могли лишь его друзья»<sup>26</sup>. На Венедикта Ерофеева труды Мартина Хайдеггера произвели сильное впечатление. Особенно те мысли немецкого философа, в которых утверждалось, что всё существующее и происходящее случайно, включая жизнь человека в хаотичном мире.

Инна Александровна Осиновская, выпускница философского факультета Российского гуманитарного университета, в книге «Ирония и Эрос», опираясь на эту малоприятную истину, сообщает, какой удручающий вывод из него сделали немец Мартин Хайдеггер и датчанин Сёрен Кьеркегор: «Осознавать хаотичность бытия — значит отчасти отрицать само бытие, видеть в нём небытие, не-сущее (по М. Хайдеггеру) или *ничто* (по Ж. П. Сартру или С. Кьеркегору). Следуя мифологическому или обыденному мышлению, можно сказать, что хаос, будучи антонимом космоса (упорядоченности мира), — это состояние до или после бытия, хаос вынесен “за скобки” бытия. В этом контексте понятны строки Некрасова: “Я не люблю иронии твоей. / Оставь её отжившим и нежившим”»<sup>27</sup>.

Напомню читателю последние строки первой строфы некрасовского стихотворения:

А нам с тобой, так горячо любившим,  
Ещё остаток чувства сохранившим, —  
Нам рано предаваться ей!<sup>28</sup>

В водовороте той жизни, которую Венедикт Ерофеев выбрал для себя, рядом с ним от случая к случаю оказывалась Юлия Рунова, пытающаяся спасти его от алкогольной зависимости. Единственная женщина, которую он по-настоящему полюбил с их первой встречи

в Орехово-Зуевском педагогическом институте. Удержать её рядом с собой было ему не по силам. Нежность к этой женщине побуждала его быть только на мгновения таким, каким она хотела его видеть, — *человеком среди людей*. Этот нравственный императив поведения личности принадлежит американскому писателю Генри Миллеру<sup>29</sup>.

Венедикт Ерофеев пытался быть *человеком среди людей*, но большей частью в мыслях, а не в действиях, что отчётливо проявлялось в его повседневной жизни и творчестве. Принимать участие в какой-то совместной деятельности по облагораживанию людей и общества казалось ему не то чтобы непосильным трудом, а абсолютно пустой затеей. Венедикт Ерофеев после вдумчивого прочтения Мартина Хайдеггера понял, насколько человек слаб и беспомощен. А думать, что ты хозяин своей судьбы, представлялось чем-то вроде временного помешательства. Это было бы тем же самым, что впасть в детство.

В записях Венедикта Ерофеева 1963 года в конспективной форме излагаются основные понятия философии этого немецкого мыслителя — те самые, с помощью которых производится анализ смысла человеческого существования. Мир совершенно новых идей оказал сильное воздействие на мышление 25-летнего писателя. С их помощью он понял, каким путём ему следует идти, чтобы очистить своё сознание от обезличивающих иллюзий повседневности.

Венедикт Ерофеев воспринял Мартина Хайдеггера как великого провокатора. Он раскрепостил его сознание и окончательно помог ему раскрыть глаза на самого себя. И что немаловажно — обрести ответственность за собственную жизнь. Благодаря идеям Мартина Хайдеггера и в полемике с ними граница между действительностью и вымыслом в поэме

«Москва — Петушки» и в трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» стала настолько прозрачной, что практически перестала существовать.

Венедикт Ерофеев не скрывал своего восторга перед новой понятийной системой немецкого философа: «Философия Хайдеггера и созданная им необычная терминология была сильнейшим толчком для современной мысли: каждый философ, каждый поэт и писатель, который может что-нибудь сказать миру, сознательно или бессознательно полемизирует Хайдеггером. Его философия — начало нового этапа в истории европейского мышления»<sup>30</sup>.

Мартин Хайдеггер научил его ценить собственную жизнь и помог противостоять основным постулатам советской идеологии. Венедикт Ерофеев нашёл им замену в наставлениях, изложенных своим ученикам Первоучителем нравственности Сидцхартхой Гаутамой Буддой в роще Исипатама, что находится неподалёку от священного города Варанаси (Бенарес), и в проповеди Иисуса Христа, произнесённой на склоне горы. Эта важнейшая часть Нового Завета известна как Нагорная проповедь.

Перейду к изложению основных положений реферата Венедикта Ерофеева. В нём излагаются философские взгляды Мартина Хайдеггера, как их понял герой моей книги. Работы немецкого философа явились исходной точкой его интеллектуального пробуждения. И не только его одного. Именно в них мудрость Востока обрела на Западе среди творческих людей постоянную прописку. По прочтении работ Мартина Хайдеггера феномен жизни стал трактоваться иначе, чем в западной религиозно-философской традиции. С помощью его философских рассуждений Венедикт Ерофеев соприкоснулся с идеями Упанишад, буддизма и даосизма. О воздействии на немецкого

философа этих идей писал известный петербургский индолог Евгений Алексеевич Торчинов в книге «Хайдеггер и восточная философия. Поиски взаимодополнительности культур» (СПб., 2001). Венедикт Ерофеев трактовал центральные идеи немецкого философа следующим образом: «Основным состоянием бытия является страх — страх перед возможностью небытия, страх, который освобождает человека от всех условностей действительности и таким образом позволяет ему достигнуть в некоторой степени свободы, основанной на ничто. (Страх — состояние, в котором человеческое существование благодаря собственному бытию оказывается перед самим бытием. Причина страха — само бытие в мире. Страх обособляет человеческое существование и раскрывает его таким образом как возможное бытие, свободное в понимании самого себя и в выборе самого себя.) Страх как состояние есть способ бытия-в-мире. Бытие-в-мире — это то, что боятся потерять. Взятое в его полноте явление страха характеризует поэтому существование (человека) как фактически существующее бытие-в-мире. По мнению Хайдеггера, человек в переживании “страха” испытывает “ничто”. *Ничто* обнаруживается лишь благодаря страху. В этом страхе заключён ужас перед всем тем, чем в действительности является *НИЧТО* — перед превращением в *НИЧТО*, перед отсутствием бытия, недействительностью всего сущего»<sup>31</sup>.

Приведу высказывание американского философа, натуралиста и писателя Генри Дэвида Торо<sup>[131]</sup>: «Для большинства людей слова “жизнь” и “отчаяние” значат одно и то же, только они об этом никому не рассказывают»<sup>32</sup>.

Продолжу выписки из реферата Венедикта Ерофеева: «В отношении к окружающему миру

существование выступает как *озабоченность*: как забота о другом и общая забота (в связи с другими, человеком). Немецкий философ выделяет в *озабоченности* три структурных момента существования: страх, заброшенность и забвение. Из озабоченности, забвения и общей заботы состоит повседневность существования. <...> Призыв заботы есть совесть. Она зовёт человека и возвращает его от затерянности, потерянности в *Мир* (персонифицированное общественное мнение) к свободе на основе ничто. Желание иметь совесть конституирует подлинную бытийную возможность существования. <...> Но к существованию принадлежит так и конец его самого — *смерть*. Бытие есть бытие, направленное к смерти, но не бытие во времени, а бытие как время. <...> Заброшенность смерти раскрывается в явлении страха — тем самым мы снова стоим у самого начала, то есть перед лицом ничто. Человек не имеет бытия-в-себе; в отличие от вещей, он не имеет сущности, в которой он мог бы выступить самостоятельным»<sup>33</sup>.

Нельзя упрекнуть Венедикта Ерофеева и в двоемыслии, которым отличается подавляющее большинство российской творческой интеллигенции. Не в общеупотребительном смысле этого слова, а в том, как понимал и изложил такой склад ума и стиль поведения Иосиф Бродский в эссе «Размышления об исчадии ада».

Иосифа Бродского, как свидетельствует Наталья Шмелькова, Ерофеев считал «лучшим из современных поэтов России... Полюбил и высоко оценил его поэзию сразу, как только прочёл его первые, самые ранние стихи»<sup>34</sup>. Автор поэмы «Москва — Петушки» не скрывал своего отношения к поэту. У него даже есть короткое эссе, ему посвящённое, — «Об Иосифе Бродском». В нём

он высказался спокойно, внятно, без панегирического пафоса, которого он не терпел: «Как бы то ни было, грамотному русскому человеку — это я знаю определённно — было б холоднее и пустынное на свете, если б поэзия Иосифа Бродского по какой-то причине не существовала»<sup>35</sup>.

Вот взгляд на щекотливую тему двойственности и лицемерия в их новейшем существовании, высказанный Иосифом Бродским в эссе «Размышления об исчадии ада» (1973). Поэт попытался разобраться, что такое для России и мира Сталин и «сталинизм».

Представлю читателю несколько конструктивных мысли извлечений из этого эссе Иосифа Бродского:

«Полагаю, что в мировой истории не было убийцы, смерть которого оплакивали бы столь многие и столь искренне»;

«Россия жила под Сталиным без малого 30 лет, почти в каждой комнате висел его портрет, он стал категорией сознания, частью быта, мы привыкли к его усам, к профилю, который считался “орлиным”, к полувоенному френчу (ни мир, ни война), к патриархальной трубке, — как привыкают к портрету предка или к электрической лампочке. Византийская идея, что вся власть — от Бога, в нашем антирелигиозном государстве трансформировалась в идею взаимосвязи власти и природы, в чувство её неизбежности, как четырёх времён года. Люди взрослели, женились, разводились, рожали, старились, умирали, — и всё время у них над головой висел портрет Сталина. Было от чего заплакать. Вставал вопрос, как жить без Сталина. Ответа на него никто не знал. От человека в Кремле ожидать его было бессмысленно. Полагаю, что человек в Кремле вообще его дать неспособен. Ибо в Кремле — такое уж это место — речь всегда идёт о полноте власти, и — до тех



пор, пока речь идёт именно об этом, — Сталин для человека в Кремле если и не плоть, то, во всяком случае, более, чем призрак. <...> Меня интересует моральный эффект сталинизма, точнее — тот погром, который он произвёл в умах моих соотечественников и вообще в сознании людей данного столетия. Ибо, с моей точки зрения, сталинизм — это прежде всего система мышления и только потом технология власти, методы правления. Ибо — боюсь — архаичных систем мышления не существует.

Он правил страной почти 30 лет и всё это время убивал. Он убивал своих соратников (что было не так уж несправедливо, ибо они сами были убийцами), и он убивал тех, кто убил этих соратников. Он убивал и жертв, и их палачей. Потом он начал убивать целые категории людей — выражаясь его же языком: классы. Потом он занялся геноцидом. Количество людей, погибших в его лагерях, не поддаётся учёту, как не поддаётся учёту количество самих лагерей, в той же пропорции превосходящее количество лагерей Третьего рейха, в которой СССР превосходит Германию территориально. В конце пятидесятых я сам работал на Дальнем Востоке и стрелял в обезумевших шатунов-медведей, привыкших питаться трупами из лагерных могил и теперь вымиравших оттого, что не могли вернуться к нормальной пище. И всё это время, пока он убивал, он строил. Лагеря, больницы, электростанции, металлургические гиганты, каналы, города и т. д., включая памятники самому себе. И постепенно всё смешалось в этой огромной стране. И стало непонятно, кто творит Зло, а кто — Добро. Оставалось прийти к заключению, что всё это одно. Жить было возможно, но жить стало бессмысленно. Вот тогда-то из нашей нравственной почвы, обильно унавоженной идеей амбивалентности всего и всех, и возникло Двоемыслие.

Говоря “Двоемыслие”, я имею в виду не знаменитый феномен “говорю-одно-думаю-другое-и-наоборот”. Я также не имею в виду оруэлловскую характеристику. Я имею в виду отказ от нравственной иерархии, совершенный не в пользу иной иерархии, но в пользу Ничто. Я имею в виду то состояние ума, которое характеризуется формулой “это-плохо-но-в-общем-то-это хорошо” (и — реже,— наоборот). То есть я имею в виду потерю не только абсолютного, но и относительного нравственного критерия. То есть я имею в виду не взаимное уничтожение двух основных человеческих категорий — Зла и Добра — вследствие их борьбы, но и взаимное разложение вследствие сосуществования. Говоря точнее, я имею в виду их конвергенцию. Сказать, впрочем, что процесс этот происходил совершенно осознанно, означало бы зайти слишком далеко. Когда речь идёт о человеческих существах, вообще лучше уклоняться, елико возможно, от всяких обобщений, и если я это себе позволяю, то потому, что судьбы в то время были предельно обобщены. Для большинства возникновение двойной ментальности происходило, конечно, не на абстрактном уровне, не на уровне осмысления, но на инстинктивном уровне, на уровне точечных ощущений, догадки, приходящей во сне. Для меньшинства же, конечно, всё было ясно, ибо поэт, выполнявший социальный заказ воспеть вождя, продумывал свою задачу и выбирал слова, — следовательно, выбирал. Чиновник, от отношения которого к вещам зависела его шкура, выбирал тоже. И так далее. Для того чтобы совершить этот правильный выбор и творить это конвергентное Зло (или Добро), нужен был, конечно, волевой импульс, и тут на помощь человеку приходила официальная пропаганда с её позитивным словарём и философией правоты большинства, а если он в неё не верил, — то просто страх. То, что происходило на уровне мысли,

закреплялось на уровне инстинкта, и наоборот. Я думаю, я понимаю, как всё это произошло. Когда за Добром стоит Бог, а за Злом — Дьявол, между этими понятиями существует хотя бы чисто терминологическая разница. В современном же мире за Добром и за Злом стоит примерно одно: материя. Материя, как мы знаем, собственных нравственных качеств не имеет. Иными словами, Добро столь же материально, сколь и Зло, и мы приучились рассматривать их как материальные величины. Строительство — это Добро, разрушение — это Зло. Иными словами, и Добро, и Зло суть состояния камня. Тенденция к воплощению идеала, к его материализации зашла слишком далеко, а именно к идеализации материала. Это история Пигмалиона и Галатеи, но, с моей точки зрения, есть нечто зловещее в одушевлённом камне»<sup>36</sup>.

Понятно, что подобный устрашающий мутант, рождённый безумием ленинско-сталинского мира, от которого не знаешь, чего ожидать, в подконтрольном здравомыслящим людям обществе появиться не может. Даже самое телесное воплощение *двоемыслия* — Иосиф Сталин, как оказалось, не знал, чего ожидать от себя и своего окружения. Соратников у него, в отличие от Владимира Ленина, не было. Существовали лишь исполнители его воли.

Оптимистичен у Иосифа Бродского взгляд на будущее сталинизма. Он иронически относится в своём эссе к людям, пытающимся гальванизировать труп вождя всех времён и народов: «Отставной агент госбезопасности или бывший военный, шофёр в такси или функционер-пенсиянер, конечно, скажут вам, что при Сталине “порядка было больше”. Но все они тоскуют не столько по “железному ордену” (от немецкого — порядок, дисциплина, система. — А. С.),

сколько по своей ушедшей молодости или зрелости. В принципе же ни основная масса народа, ни партия имя вождя все не поминают. Слишком много насущных проблем, чтоб заниматься ретроспекцией. Им ещё может воспользоваться как жупелом какая-нибудь правая группировка внутри партии, рвущаяся к кормушке, но, думаю, даже в случае удачного исхода жупел этот довольно быстро будет предан забвению. Будущего у сталинизма как у метода управления государством, по-моему, нет»<sup>37</sup>.

Назвав Джорджа Оруэлла<sup>[132]</sup>, Иосиф Бродский напомнил об интерпретации понятия *двоемыслие* в культовом антиутопическом романе британского писателя «1984». В этом произведении нравственные максимы обретают противоположный аморальный смысл.

Мне вспоминаются рассуждения критиков о терпимом и одновременно отстранённом отношении Венедикта Ерофеева к советской идеологии и её представителям. Эта особенность его психики не случайна. Она отражает его здравый взгляд на рассматриваемый объект и сравнима с восприятием миража, который являет собой временную игру воздуха со светом. *Ничто* оно и есть ничто. Фантом, иллюзия, фата-моргана. Сама его природа неустойчива. Проходит какое-то время, и мираж рассеивается. Впрочем, это касается людей, не утеревших способность к логическому мышлению, сохранивших умение видеть за фактами целое — связи и закономерности.

Здесь, впрочем, необходимо сделать одно уточнение. В рассуждениях о двоемыслии Иосиф Бродский как поэт огромного творческого масштаба перемещает себя в космос, где истечение одного часа равно тысячелетиям на Земле. А 74 года (если вести отсчёт времени с 1917 по 1991 год) при таких

пропорциях шкал времён вообще *ничто*. Но от этого объективного факта, прямо скажем, не становится легче. Ведь число людей с двоемыслием в голове, закреплённым на уровне инстинкта, надо полагать, определяется десятками, если не сотнями тысяч. Не хочется верить, что их намного больше и счёт уже пошёл на миллионы.

В своём отношении к существованию зла в мире и формам борьбы с ним Венедикт Ерофеев напоминал хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского, понявшего, что стотысячная армия злодеев, созданная нечистой силой, представляет не людей из крови и плоти, а является всего лишь дьявольским наваждением. А если так, то без особого труда уничтожается мечом всего лишь одного благородного рыцаря.

Как свидетельствует история, такие чудеса, пусть и редко, всё-таки случаются наперекор социальным законам и доводам рассудка.

Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский в биографии «Венедикт Ерофеев: Посторонний» обращают внимание на стихотворение Фёдора Тютчева «Silentium»: «В блокноте для записей 1959 года Ерофеев дважды обозначил тютчевским словом “silentium” нежелание говорить о тех или иных обстоятельствах своей жизни. Из этого же “silentium”, вероятно, выросла и его “антиколлективистская этика”, причём Ерофеев избегал вливаться не только во всяческие советские сообщества (как многие его современники), но и в антисоветские»<sup>38</sup>.

Всё это верно, но с одним утверждением я не соглашусь — с тем особым значением, которое авторы биографии Венедикта Ерофеева приписывают понятию «антиколлективистская этика». Они связывают его со

словом «silentium», призывающим, по их мнению, держать рот на замке, и при этом ссылаются на «Несказанную речь на вечере Венедикта Ерофеева» поэта Ольги Седаковой. Ольга Александровна, как мне представляется, говорила совершенно о другом, более важном, чем социальная позиция и выработанная жизненными обстоятельствами осторожность Венедикта Ерофеева в общении с окружающими его людьми.

Обращу внимание на отрывок из этой речи, а именно на то место, где появляется словосочетание «антиколлективистская этика». Итак, цитирую Ольгу Седакову: «Я не собираюсь создавать моралистической апологии Венички и тем более включать “Петушки” в ряд учительной литературы. Я говорю только об их принципиальной противоположности морально освободительной, цинически низовой линии нашей неподцензурной словесности. Всем нам, рассеянным по бескрайним просторам родины, Веничка хочет сказать что-то другое. Он не говорит-таки этого: он скорее хмыкает, рычит, матерится, бормочет нечто противоположное — так своеобразная совестливость простонародья заставляет в знак ласки выбрать покрепче. У героя рот на замке для всего, что полезно и приятно было бы услышать, — разве только ёрничая, чужим словом, передернутой цитатой он может намекнуть на это. Критик, которому положено не стыдиться “хороших слов” и “мыслей”, когда-нибудь вытянет из-под завалов простое, как мычание, требование, с которым автор поэмы обращается к соотечественникам: требование смирения (“чтоб не загордился человек”), требование принять своё страдание и что-нибудь понять (“чтоб он был задумчив и неуверен”), свободы и печали (“первая любовь” и “последняя жалость”), нелюбопытствования, несуетности, небойкости, небесстыдства... Наконец,

требование сознаться, что все наши слова рядом со словами “вечно живущих ангелов и умирающих детей” — более или менее ерунда и все наши звёзды меркнут перед звездой Вифлеема. А каким образом эта Веничкина звезда относится к звезде Паскаля и святого Франциска — это уже не мне разбирать. Я начала с того, что от первой фразы “Петушков” повеяло классической словесностью. Но это не точно. “Петушки” — не совсем литература, во всяком случае, в её позднем понимании, fiction. Называть ли их “больше, чем литературой” или “меньше, чем литературой” не важно. Их традиция — книги собственной жизни, книги, которые проживаются, а потом записываются. Поэтому всякий разговор о содержании “Петушков” граничит с бестактностью, а то и переходит эту границу. И всё-таки я скажу об одном моменте этого содержания, который в первом прочтении потряс меня больше, чем парадоксальный гуманизм “полюбите нас чёрненькими”, чем *антиколлективистская этика* (курсив мой. — А. С.), чем социальная критика неслыханной тогда раскованности. Меня поразило другое: катастрофическая разомкнутость сознания, состояние человека, увидевшего нечто такое — или узнавшего себя видимым чем-то таким, что после этого рушится всё и, собственно, нечего остаётся делать. Вещи после этого различаются так: всё никчёмно, но это особенно никчёмно. Никчёмно и не то, потому что есть нечто другое, и только это другое имеет право быть. И не имеет возможности быть»<sup>39</sup>.

Последнее рассуждение Ольги Седаковой ещё раз подтверждает приверженность Венедикта Ерофеева идеям апофатической (то есть негативной) теологии и созвучным им философским постулатам Мартина Хайдеггера, общим представлениям восточной мудрости, а также тому, что составляет основной посыл

стихотворения Фёдора Тютчева «Silentium» — «Мысль изречённая есть ложь».

Страх советских людей, возникающий от несоответствия взглядов личных, невысказанных вслух, с официальными, общепринятыми, не был присущ Фёдору Тютчеву. Не боялся Фёдор Иванович своих высокопоставленных коллег, хорошо образованных и сохраняющих этические нормы в общении между собой. Как-никак он сам стоял на верхних ступеньках чиновничьей лестницы — камергер, действительный статский советник, а затем тайный советник — гражданский чин 3-го класса в Табели о рангах, который соответствовал чинам «генерал-лейтенант» в армии и «вице-адмирал» во флоте. И дело он имел с просвещёнными людьми — царём Николаем I и Александром Христофоровичем Бенкендорфом, а не с какой-то набранной с бору по сосенке советской партийной номенклатурой. Никита Сергеевич Хрущев один только чего стоит с предложенной им орфографической реформой писать русские слова так, как они произносятся!

Главная мысль стихотворения Фёдора Тютчева «Silentium» содержалась, как я думаю, в строке: «Мысль изречённая есть ложь», то есть истина в её неискажённой полноте необратимо теряет своё содержание в словесном оформлении. Поэт жил в обществе, в котором чтение Библии не считалось поступком предосудительным. Иными словами, всё, что есть, видим и знаем, препятствует ощущению Бога. Истина о Нём может открыться через преодоление сознания, по ту его сторону, в той бездне, где растворены и погашены все проявления позитивного конкретного знания.

Отсюда родилось мироощущение Венедикта Ерофеева, а не от страха быть пойманным на инакомыслии. Живя моралью Нового Завета, а не



«Моральным кодексом строителя коммунизма», человек ощущал себя в достаточной степени духовно свободным, сберегающим своё право на интимность личных чувств и переживаний.

Советская реальность переставила акценты. Высокий смысл стихотворения Фёдора Тютчева превратила в низкий, плотно приблизившись к надписи на плакате «Не болтай», взывающей к народу со стен домов, когда шпиономания охватила Страну Советов.

Для большей ясности сказанного приведу отрывок из книги моего старого друга Леонида Борисовича Воронина «Ищу человека», арестованного за написание нескольких стихотворений полукрамольного содержания:

«1959-й... Мне 21 год, и я в Лефортовской тюрьме по политическим обвинениям. “Почему писал поэму о Гумилёве? Что говорил о свободе слова в СССР? Как воспринял события в Венгрии?”

Когда следователь говорит мне, что моя мать свидетельствует против меня (а это, конечно же, было неправдой), я заявляю, что не буду отвечать на его вопросы и объявляю голодовку.

И вот меня привозят из Лефортова на Лубянку, где в большом кабинете, кроме работников КГБ, сидят какие-то люди в штатском (один из них, как я потом узнал, был из прокуратуры СССР, а другой — врач-психиатр, который должен был провести экспертизу на предмет моей вменяемости). Врач-психиатр, о профессии которого я первоначально не догадывался, беседует со мной, убеждается в моей психической полноценности и неожиданно — в присутствии работников КГБ и прокурора — спрашивает меня: “Молодой человек, а вы читали ‘Silentium!’ Тютчева?” (Это — о тютчевском стихотворении, начало которого так многозначно, а в той ситуации прямо-таки крамольно: “Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои...”) Задавая такой вопрос,

он, мне кажется, и сам в какой-то степени рисковал: по сути, подсказывал, посылал своего рода сигнал заключённому, как ему себя вести. Да, это был явный (без оглядки на окружающих) знак сочувствия мятущемуся молодому человеку.

Если вспомнить классификацию Бердяева, это было узнавание “в моральном акте” сочувствия, сострадания к ближнему. Человек узнал человека, говоря словами Георгия Адамовича, “во мгле” случившегося, “перекликнулся” с ним.

Так литературный, философский мотив высветился в моей жизни, а жизнь — в свою очередь — заставила внимательнее вглядываться в тексты прочитанных книг»<sup>40</sup>.

Леонид Воронин до этого события не таил своих чувств и читал своим товарищам по педагогическому институту им написанные стихи:

Пожалуй, в нашей брэнной жизни  
есть лицемерная черта:  
ты говоришь о коммунизме,  
а сам не веришь ни черта.

Среди его слушателей были студенты, приобретшие чуть позднее литературную известность: Олег Григорьевич Чухонцев, Владимир Николаевич Войнович, Георгий Исидорович Полонский<sup>[133]</sup>, Игорь Ильич Дуэль.

История Леонида Воронина в те «вегетарианские времена» закончилась относительно благополучно. Лагерь ему заменили перевоспитанием на стройке. А его друг Владимир Войнович продолжил свой путь в литературу. Осенью 1960 года он написал стихи «Четырнадцать минут до старта», ставшие гимном

космонавтов, а в 1962 году вышла его повесть «Хочу быть честным» (именно эта книга чрезвычайно возмутила Венедикта Ерофеева) о стройке дома для комсомольцев-молодожёнов, который сдают досрочно. Один из персонажей повести — студент, посланный райкомом комсомола, — без фамилии. Спустя пять лет после публикации этой повести Владимир Войнович в своей пьесе на тот же сюжет одаривает его фамилией Воронин. Эта пьеса была поставлена во многих советских театрах. А через десяток лет после её первой постановки поэтесса Татьяна Александровна Бек<sup>[134]</sup> передала мне слова Владимира Войновича о моём друге: «Его биография делает ему честь».

Именно такой атеистический и «советский» взгляд на стихотворение Фёдора Тютчева честно и талантливо выразил в 1957 году в стихотворной и исповедальной форме Илья Эренбург. Это был его реквием по самому себе:

Ты помнишь — жаловался Тютчев:  
«Мысль изречённая есть ложь».  
Ты не пытался думать — лучше  
Чужая мысль, чужая ложь.  
Да и к чему осьмушки мысли?  
От соски ты отвык едва,  
Как сразу над тобой нависли  
Семипудовые слова.  
И было в жизни много шума,  
Пальбы, проклятий, фарсов, фраз.  
Ты так и не успел подумать,  
Что набежит короткий час,  
Когда не закричишь дискантом,  
Не убежишь, не проведёшь,  
Когда нельзя играть в молчанку,

А мысли нет, есть только ложь<sup>41</sup>.

Назови, читатель, кого-нибудь ещё из ангажированных и увенчанных наградами советских писателей, кто высказался бы так лапидарно и точно о своей жизни, потраченной невесть на что. Я искал подобные примеры и не нашёл.

## **Глава десятая** **«НАМ ЧЁРТ НЕ БРАТ** **И БОГ НАМ НЕ ВЛАДЫКА»**

В очерке Анатолия Иванова «Как стёклышко: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече» без всяких обиняков описано отношение автора поэмы «Москва — Петушки» к собратьям по перу. Прочитав его, может показаться, что известный писатель обладал характером капризной барышни и раздражённо фыркал, как только брал в руки любое сочинение своего современника. Автор очерка, писатель, библиофил и книголюб, достаточно долго общался с Венедиктом Васильевичем и, будучи проникновенным человеком, попытался объяснить, почему это происходило, но так и не нашёл убедительного ответа. А то, что он приводит в качестве своих предположений, затрагивает не содержательную, а внешнюю сторону прозаического творчества писателя.

Обращусь к тексту очерка Анатолия Иванова: «Похоже, что для него не существовало никаких авторитетов, столпов, мерил. Особенно когда речь заходила о современниках. О своих коллегах по перу — почти о всех поголовно — отзывался едко и унижающе. Что это ревность, соперничество? Не исключено. Но главное, сдаётся, не в этом. Это была своего рода форма освобождения от штампов чужого мнения, от диктата среды. Опуститься до нуля, начать с чистого листа, создать свою шкалу ценностей. Путь этот, по Ерофееву, лежал через алогизм, фарс, выкрутасы, хармсовщину или, иначе говоря, через противоиронию, выворачивающую всё и вся наизнанку и тем самым

восстанавливающую серьёзность — но уже без прямоты и однозначности. Казалось, нет ничего на свете, что он не смел бы извратить, изничтожить презрением. Сказанное относится, впрочем, к его творческому alter ego»<sup>1</sup>.

Шоры снять с глаз не так-то трудно. Куда сложнее при этом поступать, как предлагал Александр Блок в «Прологе» поэмы «Возмездие»:

Но ты, художник, твёрдо веруй  
В начала и концы. Ты знай,  
Где стерегут нас ад и рай.  
Тебе дано бесстрастной мерой  
Измерить всё, что видишь ты.  
Твой взгляд — да будет твёрд и ясен,  
Сотри случайные черты —  
И ты увидишь: мир прекрасен.  
Познай, где свет, — поймёшь, где тьма.  
Пускай же всё пройдёт неспешно,  
Что в мире свято, что в нём грешно,  
Сквозь жар души, сквозь хлад ума<sup>2</sup>.

Венедикт Ерофеев отчётливо понимал, как далеки от этих блоковских заповедей его многие собратья по перу. Да и собратьями их назвать у него язык не повернулся бы. Как это ни показалось бы маловероятным, реальная действительность не воздействовала на органы их чувств, а только по необходимости использовалась ими для создания в их произведениях некоторого правдоподобного колорита. Венедикт Ерофеев нуждался в самой жизни, в её красоте и непотребстве, а не в её имитации. Никаких чувств ревности и соперничества по отношению к

имитаторам в нём не существовало. Конструирование жизни с помощью теорий, объясняющих её с помощью исторического материализма или любого другого *-изма*, ему было малоинтересно и выглядело пошловато, как кривлянье и гримасы клоуна в передвижном балагане. Неудивительно поэтому, что его притягивали к себе самые обыденные ситуации и вещи, но с обязательным присутствием в них невероятных странностей. Ещё более неприятными, за редким исключением, представлялись ему советские исторические романы.

Как только умер И. В. Сталин, у читателей в СССР возник интерес к заметным фигурам мировой и отечественной истории. Из иностранцев предпочтение отдавалось вождям Великой французской революции 1789—1799 годов, а из соотечественников — участникам восстания декабристов 1825 года, народовольцам, а также, разумеется, героям-большевикам, многие из которых были репрессированы.

После XX съезда КПСС в нашей стране изменился подход к анализу исторических фактов. Нельзя сказать, что полностью была восстановлена научная объективность, но врать стали осмотнительнее. Особенно это касалось сочинений по новейшей отечественной истории. Обезличивающий эффект, присутствующий в прежних сочинениях, заметно в них ослаб. В исторических романах и повестях писателей молодого поколения уже при выборе героев преобладал личностный принцип.

В 1968 году в Политиздате — крупнейшем издательстве агитпропа ЦК КПСС был запущен проект многотомной серии «Пламенные революционеры». За 20 лет её существования было издано 160 художественно-документальных книг, в основе которых лежал опыт серии «Жизнь замечательных людей», выпускаемой издательством «Молодая гвардия». Соответствующим отделом ЦК КПСС и Институтом марксизма-ленинизма

при ЦК КПСС был рекомендован список революционеров, как отечественных, так и зарубежных, жизнь и деятельность которых могли бы вдохновить писателей на создание увлекательных и идеологически полезных биографий. Чтобы советская молодёжь знала, с кого брать пример. Предполагались авторские книги, то есть основательно беллетризованные. Допускалась свобода писательской фантазии. Издательство ограничивало только объём произведения. Редакторам рекомендовалось не сдерживать творческую фантазию авторов. Историческое и географическое поле всей книжной серии было огромным. Оно занимало несколько веков и множество стран. Да и сами коммунистические идеи, как известно, возникли не вчера.

К столь грандиозной работе были привлечены многие авторы, в том числе и писатели, известные своим свободолобием и популярные среди молодой читающей аудитории. Назову некоторых из них. Это Марк Александрович Поповский<sup>[135]</sup>, Булат Шалвович Окуджава, Юрий Валентинович Трифонов<sup>[136]</sup>, Натан Яковлевич Эйдельман<sup>[137]</sup>, Василий Павлович Аксёнов<sup>[138]</sup>, Анатолий Тихонович Гладилин<sup>[139]</sup>, Владимир Николаевич Войнович.

Тираж первого издания любой книги из этой серии был постоянным: 200 тысяч экземпляров. Соответственно тиражу авторам выплачивался и гонорар. Обычно эти книги выпускали двумя и даже тремя тиражами, настолько они быстро расходились.

Чем была вызвана такая популярность книг о главных деятелях французской революции, декабристах, народовольцах и видных большевиках? В то время интеллигенция верила в иллюзию, что «дядюшка Джо» извратил ленинские идеи<sup>[140]</sup>, а пришедшие после него ниспровергатели —



полуграмотные временщики и потому-то наломают немало дров. Появившиеся из небытия персонажи серии «Пламенные революционеры» словно грозили из своего прошлого новым вождям: «Не настоящие вы революционеры, а обманщики и самозванцы! Не то что ленинская гвардия. Недолог ваш век. Народ всё помнит, видит и понимает». Так думали взявшиеся за работу писатели-шестидесятники с репутацией любимцев молодого поколения. Они надеялись по возможности смухлевать, ведя игру с властью по своим правилам. Это было глубокое заблуждение. В действительности власть сама ненавязчиво втянула их в игру, зная, чем приманить этих амбициозных и самонадеянных людей, которые не чувствовали на себе её смешливого взгляда. Думая, что их мухлѐж незаметен, они радовались и ликовали, словно были не писателями земли Русской, а заурядными заезжими шулерами.

Вячеслав Курицын прав в определении основной причины недомыслия этих талантливых людей и их идеалов: «Общеизвестный тезис: недостатки шестидесятников есть недостатки XX съезда. Съезд, как известно, предложил весьма одностороннюю трактовку истории: идея была хороша, да дискредитирована врагами. Чего уж тут этого слова бояться: именно что врагами. Только чьи враги? Партии? Рода человеческого? Оставив в стороне этот скользкий вопрос, укажем на онтологическую сущность такой позиции: вновь была предложена чёрно-белая, романтическая трактовка мироздания — есть хорошее и плохое, наши и “ихние”. И основной ущерб шестидесятничества, на мой взгляд, именно в “чёрно-белости”: мир разодран на “высокое” и “низкое”. “Высокое” — это, скажем, устремления “физиков” из “Понедельника” Стругацких или “Железки” Аксёнова. Низкое — это “мещанство”, “бюргерство”, “частная жизнь”. Непременная принадлежность “чёрно-белого”

взгляда — нетерпимость. <...> Вот — вкратце — о том наследстве, которое следующее поколение никак не могло взять с собой. Да, конечно, лежит на этом наследстве печать времени. Да, шестидесятники — дети своего времени. А бывает ли иначе? Но скажу: семидесятники детьми своего времени не были»<sup>3</sup>.

Владимир Муравьёв решительно возражал, когда речь заходила о причислении Венедикта Ерофеева к писателям-шестидесятникам.

Он аргументированно изложил свою позицию в предисловии «Высоких зрелищ зритель» к двухтомнику сочинений Венедикта Ерофеева, выпущенному издательством «Вагриус» в 2007 году: «Контекстом “шестидесятничества” была советская литература, а если взять шире — то советская социалистическая культура мировосприятия, насквозь идеологизированного, причём никакие частные акценты, протестные или обновленческие, дела не меняли. Мировосприятие это намертво скреплялось образом жизни, в которой безраздельно властвовали определённые стандарты речи, внешности, поведения, одежды... Никакое “инакомыслие” в условиях морально-политического единства было даже непредставимо и уж во всяком случае с самого начала (оно же и конец) находилось в компетенции соответствующих органов. В принципе, надлежало стандартизировать всё, и не столько отрицательный, сколько заблудший персонаж тогдашнего советского популярного романа робко жалуется возлюбленной: что это — чуть шаг в сторону, сразу окрик; возлюбленная же удивлённо советует ему: а ты не суйся в сторону, иди в строю, как все. Самым страшным и убийственным было забытое сейчас громовое слово-обвинение “отщепенец”, действительное на всех уровнях жизни. Собственно говоря, это было то же самое, что прежде “враг

народа”, и недаром прозорливый администратор сообщает герою ерофеевских “Записок психопата”, что он — “врах” и что его надо без лишних слов расстрелять. Самым детективным сюжетом было тогда изобличение (“узнавание”) чужака, притворяющегося своим — и в чём-то, как выясняется, не такого, как все (“так положено”)»<sup>4</sup>.

Булат Окуджава честно сказал в 1992 году на страницах журнала «Столица»: «Мы дети своего времени, и судить нас надо по его законам и меркам. Большинство из нас не было революционерами, не собиралось коммунистический режим уничтожать. Я, например, даже подумать не мог, что это возможно. Задача была очеловечить его. <...> Мы же ведь всегда воспитывались этакими “удобными”, бездумными. Мы были разными, и уровень мышления был разный, и степень революционности. И всё было — и равнодушие, и страх, и слепая вера, и цинизм». Но не это определяло лицо поколения<sup>5</sup>.

Вот это «но» и отделяет Венедикта Ерофеева от Булата Окуджавы с его друзьями-шестидесятниками.

В 60-е годы прошлого века всё-таки произошли серьёзные сдвиги в отношении к мировой культуре — её восторженное восприятие большинством советской интеллигенции, поощряемое властью. Это было самое благоприятное время для филологов и историков культуры, которые восстанавливали в прежних правах шедевры литературы и искусства. Наступила эпоха талантливого культуртрегерства, в которой происходило толкование и обожествление созданного на протяжении веков, а не сотворение чего-то нового. Игорь Смирнов, философ и филолог, назвал её «эпохой всеобщего пафоса соавторства, а неавторства»<sup>6</sup>, обратив внимание, что даже роман Андрея Битова «Пушкинский дом» был написан в соавторстве с русской

литературой. Писатели-шестидесятники остерегались нести личную ответственность за свои тексты.

И это касалось не только писателей, но и филологов. Соавторство становилось в те годы распространённым явлением. Чувство страха загреметь куда подальше притупилось, зато осторожность оставалась прежней. Сторонились также и тех, кто позволял себе лишнего в высказываниях.

Не потому ли некоторые писатели-шестидесятники, как, например, Василий Аксёнов, кисло и достаточно ревниво восприняли поэму «Москва — Петушки» и трагедию «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»? Да и Венедикт Ерофеев особенно не жаловал Василия Аксёнова. Обращусь к книге Натальи Шмельковой «Последние дни Венедикта Ерофеева»: «Приступил было к “Ожогу” Васьки Аксёнова, но дошёл только до 25-й страницы, прочёл: “Мы шли по щиколотку в вонючей грязи посёлка Планерское, а мимо нас вздущиеся ручьи волокли к морю курортные миазмы”, — сплюнул и отложил в сторону. Сказал только “экое паскудство” и больше ничего не сказал»<sup>7</sup>.

Профессор Санкт-Петербургского университета Анатолий Александрович Собчак<sup>[141]</sup>, ставший политиком, оказался куда более подготовленным для восприятия «новой словесности». По своим взглядам на советскую жизнь он и писатель Венедикт Васильевич Ерофеев не были антагонистами и относились друг к другу с симпатией. Но это произошло намного позднее, уже в конце 1980-х годов.

Судите сами по книге Анатолия Собчака «Хождение во власть» (1991): «Скоро я познакомлюсь с Венедиктом Ерофеевым. Это будет тоже на театральной премьере, но уже на Малой Бронной. Его роман “Москва — Петушки”, вышедший в самиздате, потряс многих. Ерофеев дожил и до публикации романа, и до

театральной премьеры. Но он тяжело болен, и первая наша беседа с ним окажется последней. Точно волна смертей начала 80-х, уходов тех, кто не дожил до конца эпохи, сменилась другой волной, уходами тех, кто дожил и увидел начало новой. А нам ещё не время. Мы только начали это малоприятное и, видимо, малоблагодарное дело. Мы не Гераклы, но авгиевы конюшни тоталитаризма, построенного в одной, отдельно взятой стране, разгрести сегодня нам»<sup>8</sup>.

Не отрази Венедикт Ерофеев болевые точки не только нашего, но и так называемого цивилизованного мира, его прижизненная слава давным-давно развеялась бы как дым. С ходом времени понимаешь значимость его творчества и для новой русской литературы, и вообще для современной словесности.

Что касается родной страны, Ерофеев существовал, образно говоря, уже не в сумасшедшем доме, а большей частью в балагане. Сумасшедший дом как непрменный атрибут всеобщего психоза оставался в послевоенном сталинском детстве и после смерти вождя всех времён и народов иногда возникал в его сознании лишь неким наваждением. Из творчески одарённых людей жить и работать в балагане и в то же время не превратиться в клоуна или канатоходца, ходящего по проволоке под его куполом, мало кому удавалось. По крайней мере, из *канатоходцев*, чувствующих под собой твёрдую почву и выражавших открыто, понятно и художественно убедительно свои свободолюбивые мысли, я знаю только одного — Владимира Высоцкого.

Однако Венедикт Ерофеев преодолел и эти искушения. Оставался тем, кем был до приезда в столицу. Не относился он к комедиантам по своей натуре. Ведь пересмешник — не комедиант. Вот единственное объяснение, почему он избрал наихудший для здравомыслящего человека образ жизни — какое-то

время он убегал от власти, чтобы не оказаться в её капкане.

И всё же с помощью Венички из поэмы «Москва — Петушки» писатель не отказывает себе в удовольствии время от времени поюродствовать и показать своим сотоварищам по перу козу, что на Руси использовали как жест, изгоняющий нечистую силу. Ведь юродствовать и паясничать, согласитесь, — не одно и то же.

Итак, в моём повествовании о Венедикте Ерофееве без писателей-шестидесятников не обойтись. Не буду утверждать, что ко всем этим людям он относился с безразличием. Другое дело, что многие из них своей жизнью и творчеством не воплощали для него моральных стандартов и не считались провозвестниками того лучшего будущего, в котором он хотел бы оказаться. Ни у кого из них не было даже предчувствия, что жизнь Советского государства основательно изменится, а право частной собственности будет охраняться законом. Им казалось, что власть коммунистов навсегда, до скончания веков — настолько она прочно утвердилась в сознании советских людей, подобно вросшим в вечную мерзлоту домам на сваях из сверхпрочной стали или на арматурном каркасе, залитом бетоном. С большинством диссидентствующих писателей-семидесятников Венедикту Ерофееву было тоже не по пути. Их психологическую установку он быстро уяснил и тут же занёс в блокнот: «Нам чёрт не брат и Бог нам не владыка»<sup>9</sup>.

В исторической повести Натана Эйдельмана «Апостол Сергей» речь шла не о восстании на Сенатской площади 15 декабря 1825 года в Петербурге, а о более позднем по времени бунте целого полка в Чернигове и его вдохновителе Сергее Ивановиче

Муравьёве-Апостоле<sup>[142]</sup>, повешенном среди пяти декабристов на кронверке Петропавловской крепости. Сергей Муравьёв-Апостол относился к радикальным заговорщикам, участвовал в управлении Южным тайным обществом и, как было указано в приговоре Верховного суда, «имел умысел на цареубийство; изыскивал средства, избирал и назначал к тому других: соглашаясь на изгнание императорской фамилии, требовал в особенности убийства цесаревича и возбуждал к тому других...».

Что говорить, и по нынешним временам перед нами личность с криминальными наклонностями. В этом же приговоре среди многих обвинений приводится факт подкупа священника для чтения лжекатохизиса, составленного Сергеем Муравьёвым-Апостолом перед восставшим Черниговским полком. Именно это событие легло в основу концепции Натана Эйдельмана. Изложу её в самом общем виде.

Сергей Муравьёв-Апостол и его друг Михаил Бестужев-Рюмин воплощают собой истинных христиан и будут прощены Господом Иисусом Христом. По представлению писателя, в христианстве заложены отрицание рабства и провозглашение милосердия и свободы. Именно поэтому Сергей Муравьёв-Апостол предстаёт на страницах повести человеком редкого благородства, мужества и христианских добродетелей. Иными словами, он, по убеждению писателя, всецело соответствует своей фамилии.

Булат Окуджава повестью «Глоток свободы» вторит своему коллеге. Тема декабризма и образ Павла Ивановича Пестеля<sup>[143]</sup> поданы им через чувства и размышления Ивана Евдокимовича Авросимова, писаря в высочайше утверждённой комиссии по расследованию преступной деятельности участников восстания на Сенатской площади. Любовно-лирические линии в

сюжете повести оттеняют её основную политическую идею — неудавшееся восстание декабристов было для судьбы России трагическим событием. Сорвавшийся план побега Пестеля и различные обстоятельства, ему сопутствующие, усиливают трагизм повествования. Повесть Булата Окуджавы — реквием по несбывшимся надеждам.

Венедикту Ерофееву была куда ближе оценка декабристов Александром Солженицыным в статье «“Русский вопрос” к концу XX века»: «Теперь уже никого не тревожит, что некоторые черты декабристских программ обещали России революционную тиранию, иные декабристы на следствии настаивали, что свобода может быть основана только на трупах»<sup>10</sup>.

Писатели, кумиры молодёжи конца 1960—1970-х годов, не обращали внимания на отношение Николая I к арестованным участникам восстания на Сенатской площади.

Солженицын вносит коррективы в характеристику образа царя как тирана, необузданного в своей жестокости к восставшим: «Все нижние чины были прощены через четыре дня; при допросах 121 арестованного офицера не было никакого давления и искажения; из приговорённых судом к смерти тридцати шести Николай помиловал тридцать одного»<sup>11</sup>.

Как тут ни верти, а вывод напрашивается один, причём без всяких натяжек. При всей свежести языка и оригинальности повествования практически все прославленные авторы книжной серии «Пламенные революционеры» отличались, как и их герои, политическим радикализмом левой направленности. У некоторых из них этот радикализм слегка завуалирован лирическими отступлениями, а большей частью — ничем не прикрыт. И ещё одна, наиболее важная черта



в их отношениях с окружающим и враждебным им миром. Как это ни прискорбно, большинство героев этих повестей ни в грош не ставят индивидуальность человеческой личности. Внешние обстоятельства, а не сам человек, определяют выбор. Постараюсь подкрепить моё утверждение новыми примерами.

В чём-то конкретном упрекать этих писателей глупо. Они писали так, как требовали обстоятельства жизни в СССР после смерти Сталина и соответствующие умонастроения, господствовавшие в молодёжной среде того времени. Ведь и главная установка, принятая в 1961 году на XXII съезде КПСС, по которой предлагалось советскому народу выстраивать свою последующую жизнь, была мечтой-идеей, заведомо невыполнимой: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

На эту безответственную декларацию Венедикт Ерофеев в «Записных книжках 1980 года» приводит ироническое заявление Мао Цзэдуна<sup>[144]</sup>, сделанное им в 1958 году: «Подождём самое меньшее два-три года после вступления Советского Союза в коммунизм, а затем вступим сами, чтобы не поставить в неудобное положение партию Ленина и страну Октября»<sup>12</sup>.

Культ прекраснодушия набирал силу, но он не был пропитан кровью, как при Сталине, а скорее его прообразом был незлобивый, витающий в мечтах помещик Манилов из поэмы Николая Гоголя «Мёртвые души». На эту эфемерную булочку с изюмом советская молодёжь на очень короткое время клюнула, но вскоре спохватилась и взглянула на окружающую жизнь трезвыми глазами. Она поняла, что её бесстыже водят за нос и принимают за толпу легковерных идиотов. Надо было после снятия со всех постов Никиты Сергеевича Хрущева как-то снизить в молодёжной

среде градус недовольства напоминанием о борьбе с проклятым царизмом и возродить пафос освобождения от монархической власти до появления культа Сталина и последующих за этим массовых репрессий в СССР. Вот потому-то власть, состоявшая из тех, кто убрал Хрущева с политического поля, затеяла новую пропагандистскую кампанию, частью которой стала книжная серия «Пламенные революционеры». Тут и пригодилась партийная история по Владимиру Ильичу Ленину. Тут и пришлось ко двору писатели-правдолюбцы.

Самое простое объяснение сотрудничества художников слова с властью (на мой взгляд, мало что разъясняющее): писателям тоже *кушать хотца*.

Тут стоит вспомнить запись Ивана Алексеевича Бунина<sup>[145]</sup> от 25 апреля 1919 года в «Окаянных днях»: «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: “За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки”...»<sup>13</sup>

Понятно, что Валентин Петрович Катаев<sup>[146]</sup> перед Иваном Алексеевичем ёрничал, валял дурака. Шокируя своего учителя с христианскими представлениями в сознании, он ещё таким образом продумывал перспективу собственной будущей жизни. Сможет ли бывший прапорщик ужиться с чуждой ему большевистской властью первых двух лет после октябрьского переворота? Где-то в подсознании у него сохранялась, я думаю, надежда, что, может быть, этот кошмар всё-таки закончится и всё войдёт в прежнюю колею.

Через много-много лет после его откровений для него самого и многих других выживших талантливых советских писателей кошмар, о котором он неожиданно, но неспроста вспомнил в повести «Уже написан

Вертер», наконец-то закончился. Он опубликовал это своё «антисоветское» произведение в 1980 году в июньском номере «Нового мира». Это была первая такого рода публикация в подцензурной печати. Особого шума в СМИ, как ни странно, не последовало. Повесть в печать «продавил» главный идеолог Страны Советов Михаил Андреевич Суслов<sup>[147]</sup>. Для кампании всенародного осуждения не сработала даже записка председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова<sup>[148]</sup> в ЦК КПСС от 2 сентября того же года, всполошившегося от такого неожиданного плевка в историю советских спецслужб. В ней отмечалось, что повесть «в неверном свете представляет роль ВЧК как инструмента партии в борьбе против контрреволюции»<sup>14</sup>.

Отмечу, что главные душегубы-чекисты в повести были евреи. Как говорят в народе, с антисемитизмом и сахар слаще, и водка крепче.

Номер журнала с опубликованной повестью из библиотек, однако, не изъяли. Разве что через Главлит запретили её упоминание в печати. Как тогда говорили: «Всего и делов-то!» Ведь из числа советских классиков Катаева не исключили и не лишили звания Героя Социалистического Труда.

Честно говоря, Леонида Ильича Брежнева не очень волновала идеология его власти, в которой он по своему невежеству мало что понимал. Главным идеологом, смотрящим за чистотой марксизма-ленинизма, считался Суслов. Вот ему и даны были карты в руки. Пусть разбирается, где есть отклонения от генеральной линии партии, а где их нет, а только одни наговоры.

Я убеждён, что меркантильные интересы названных мною авторов повестей о пламенных революционерах оставались на втором плане. Они художественно выразили идеализацию декабристов, народовольцев,

Ленина и его ближайших сподвижников, а также восхищение их радикальной деятельностью в интересах трудового народа, опираясь на совершенно другие соображения и взгляды. Расправа над декабристами и народовольцами причислялась писателями-шестидесятниками к чудовищным преступлениям царизма. А уж появление в России Владимира Ленина (Ульянова) воспринималось как событие вселенского масштаба, как появление нового мессии, спасителя. Его уход из жизни представлялся мнимым. Как писал Владимир Маяковский: «Ленин и теперь живее всех живых — наше знание, сила и оружие». Андрей Вознесенский подхватил эту идею и в соответствии со своим атеистическим временем образно её снизил: «Уберите Ленина с денег, / Так цена его велика!»

Большинство людей уверовали, что смерть вождя — искупительная жертва, за которой неминуемо последует если не коммунизм, царство справедливости и добра, то по крайней мере что-то лучшее, чем было, — жизнь, полная достатка и самоуважения. Не случайно имя Ленин в народе замещалось более тёплым, интимным словом — Ильич, тогда как Сталин всегда оставался Сталиным с прилепленным к нему определением «великий». В сознании писателей-шестидесятников он, в отличие от Ленина-мессии, отождествлялся с дьяволом. В наши дни в сознании русских националистов Ленин и Сталин поменялись ролями. Сталин превратился в радетеля народных интересов, а Ленин — в воплощение адских сил, теоретика и практика заговора против России. Недаром известный разоблачитель «заговора сионских мудрецов» В. Ф. Иванов, белоэмигрант из Харбина, ещё в 1930-е годы называл Сталина «каторжаном русского народа и бичом Божьим».

Конец 1960-х годов, несмотря на введение в августе 1968 года в Чехословакию войск стран — участниц

Варшавского договора для предотвращения реставрации капитализма, вызвал у некоторых людей шок, но вера, что поезд вперёд летит и в коммуне его остановка, всё ещё оставалась у многих людей. Дееспособность большевистского плана строительства нового общества поддерживалась большинством населения СССР. Другое дело, что его бюрократизированная и сословная структура мало кому нравилась. Впрочем, это недовольство не означало сомнения в правильности избранного пути. Интеллигенции, в массе своей левых убеждений, нужны были настоящие, а не липовые революционеры.

Уже в наши дни Анатолий Гладилин подтвердил это моё предположение: «Если верить критикам, когда про меня ещё можно было писать в Советском Союзе, они считали лучшей моей книгой “Евангелие от Робеспьера”. В те времена было совершенно ошарашенное лицо читателя, который подходил с этой книгой, смотрел в глаза и говорил: “Как пропустили?” Всё там было про французскую революцию, но советский читатель прекрасно понимал, что это всё — про нас»<sup>15</sup>.

Если надежда греет, то аллюзии щекочут нервы и тешат писательское тщеславие. К тому же в сознании возникает мысль, что теперь уже и сам чёрт не страшен.

Книга Анатолия Гладилина вышла в Политиздате в 1973 году. Буквально на следующий год появилась его очередная книга «Сны Шлиссельбургской крепости». Она была уже о народовольце Ипполите Мышкине, которого Ленин назвал одним из корифеев русской революции. Он был расстрелян по приговору Временного военного суда 26 января 1885 года.

Ипполит Мышкин стал известен неудавшейся попыткой освободить из ссылки Николая Гавриловича

Чернышевского<sup>[149]</sup> и своей яростной обличительной речью на прогремевшем на всю Россию трёхмесячном судебном «процессе 193-х», начавшемся 18 октября 1877 года. Это был самый крупный процесс за всю историю царской России. Судили массовое хождение в народ, то есть в крестьянскую Россию, революционеров-народников. Например, в 1874 году в нём приняло участие десять тысяч человек.

Хождение в народ при всей своей массовости и лозунговой революционности было мирным и для власти в общем-то не опасным. В подавляющем большинстве крестьяне относились безразлично к революционным «просветителям», а в некоторых случаях даже выдавали некоторых из них властям. Для разумного правительства достаточно было бы поддержать просветительский энтузиазм народников. Самых необузданных из них следовало бы, исходя из общей обстановки, строго не наказывать. В России, однако, власть, как правило, руководствуется эмоциями и душевным порывом, а не доводами рассудка. И на этот раз она опять избрала для себя наихудшее — репрессивные меры. Россию захлестнула волна арестов.

После «процесса 193-х» революционеры-народники от мирного хождения в народ перешли к беспощадному террору против власти. По известному принципу: «Вы, значит, с нами вот так, а мы с вами вот эдак!»

В «Записных книжках 1973 года» Венедикт Ерофеев упоминает повести Булата Окуджавы «Глоток свободы» и Анатолия Гладилина «Евангелие от Робеспьера», сопровождаемое вовсе не риторическим вопросом: «Кто же они: бунтари или конформисты?»<sup>16</sup>

Этому периоду революционной борьбы с царизмом посвятили свои документальные повести, вышедшие в те же 1970-е годы, Юрий Трифонов, Владимир Войнович, Василий Аксёнов и Марк Поповский. Эти все

произведения также воспринимались читателями как книги «про нас», несмотря на временную удалённость происходящих в них событий.

Венедикт Ерофеев внимательно следил за творчеством этих писателей и всякий раз по прочтении их новых книг приходил в уныние. Так, например, он записал в одной из «Записных книжек 1978 года»: «Расширяю познания в нынешней русской литературе. В июле Б. Окуджава “Мерси, или Похождения Шилова”, в августе — Ю. Трифонов “Нетерпение” (Андрей Желябов)»<sup>17</sup>.

Повесть «Нетерпение» Юрия Трифонова вышла в серии «Пламенные революционеры». Её главные герои — члены Исполнительного комитета «Народной воли». Это сын крепостных крестьян Андрей Иванович Желябов<sup>[150]</sup> и его гражданская жена, дочь действительного статского советника Софья Львовна Перовская<sup>[151]</sup>. Они же известны как одни из основных организаторов покушения 1 марта 1881 года на Александра II.

Писателя интересует, почему изменились до неузнаваемости личности этих изначально нравственно чистых героев и других народовольцев. Из просветителей и миролюбивых народных заступников они за несколько лет превратились в бомбометателей и серийных убийц. Теперь эти романтики были готовы ради достижения намеченной цели убить, если понадобится, кого угодно. Ведь путь к светлому будущему, как они полагали, пролегал через беспощадный террор. В сознании нормального человека как-то не стыкуются нравственные цели и безнравственные методы их достижения. Пистолет в карман, бомбу за пазуху и вперёд на улицу...

Юрий Трифонов не Фёдор Достоевский. Он объясняет происшедшую в сознании своих героев

трансформацию по-советски: исключительно внешними условиями и причинами. Свёртыванием великих реформ, неудачами в Русско-турецкой войне и наращиванием репрессивных мер, направленных против революционеров. Вера в Бога и безбожие как психологические факторы в его атеистическом сознании напрочь отсутствуют. Трифоновские герои пошли на цареубийство не по здравому размышлению, не по зову свыше, а руководствуясь слепым фанатизмом. Они были убеждены, что вся мощь несправедливого государства персонифицирована и сосредоточена исключительно в русском царе. Он замковый камень русского самодержавия. Не будет его, и Кощеево царство в одночасье рухнет.

Ну, чем, скажите, эта логика народовольцев отличается от торжественного заявления партийного съезда 1961 года о строительстве коммунизма в отдельно взятой стране? Да ничем. Фанатизм он и в Африке фанатизм. Хотя, как показали недавние исторические события, не стало во власти Михаила Горбачёва — и практически тут же развалился СССР. Может быть, прав вовсе не я, а Юрий Трифонов. Не попусту же говорил Венедикт Ерофеев, «жизнь всё равно опрокинет все ваши телячьи построения...»<sup>18</sup>.

Подойду ещё ближе к нашему времени — к повести Владимира Войновича «Степень доверия» о жизни и борьбе Веры Николаевны Фигнер<sup>[152]</sup>, революционерки, террористки, члене Исполнительного комитета «Народной воли». С народовольцев началась эпоха организованного террора. Иными словами, революционеры решили пустить политические убийства на поток. Сам Владимир Войнович объясняет выбор героини для своей повести тем обстоятельством, что о добольшевистских временах можно было писать более



или менее правдиво. Аргумент, прямо скажу, смехотворный.

Мне представляется более убедительным другое объяснение писателя, что он «интересовался историей организованного террора». Я убеждён, что Владимир Войнович пытался восстановить детали того, как передавался наработанный народовольцами и эсерами опыт жаждущим его получить — «славным ребятам из железных ворот ГПУ». Не для внутреннего, разумеется, использования (тут своего опыта было предостаточно), а исключительно ради уничтожения врагов за пределами родной страны.

Повесть Василия Аксёнова «Любовь к электричеству» посвящена большевику Леониду Борисовичу Красину<sup>[153]</sup>, по первой своей профессии инженеру-электрику высокой квалификации. Он служил главным инженером-электриком на мануфактуре «короля русского ситца» Саввы Тимофеевича Морозова<sup>[154]</sup>. Эта профессия не помешала, а, наоборот, содействовала приобретению им второй специальности — химика по изготовлению взрывчатки. Он возглавлял боевую техническую группу при большевистском ЦК РСДРП и наладил производство ручных бомб и гранат. Эти боевые средствагодились боевикам Камо в Тбилиси для захвата перевозимых из банка 250 тысяч рублей. Тут надо отметить, что Леонид Красин эту операцию спланировал, но непосредственного участия в захвате денег и расстреле конвоя не принимал. Что говорить, личность, выбранная Василием Аксёновым для жизнеописания одного из пламенных революционеров, далека от нравственного идеала в общепринятом понимании этого мысленного образа человеческого совершенства.

Среди всех перечисленных писателей, авторов серии «Пламенные революционеры», больше всех меня

поразил своим выбором не Василий Аксёнов, а Марк Поповский — автор широко известной книги «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга». Он сделал своим героем одного из самых известных народовольцев — Николая Александровича Морозова [\[155\]](#), проведшего в заключении без перерыва 25 лет, а с перерывами около тридцати лет. Николай Морозов входил в руководство организации «Земля и воля», был одним из создателей «Народной воли», членом её исполкома. Он участвовал в подготовке покушений на Александра II. Вожди «Народной воли» в своей программе рассматривали террор как исключительный метод борьбы и со временем предполагали полностью от него отказаться.

Николай Морозов резко отличался от своих товарищей-народников какой-то каннибальской ненасытностью, словно был не высокообразованным человеком с глубокими познаниями в разных науках и со знанием одиннадцати иностранных языков, а обычным дикарём из людоедского племени короваи (колуфо), члены которого пожирают человеческую плоть. Это племя дожило до нынешних дней в Папуа — Новой Гвинее и, как говорят, от своих кошмарных привычек не отказалось.

Революционер Морозов, одичавший в долгих тюремных отсидках, предлагал новой власти, в случае победы, не прерывать террор. Для него человеческое общество было той же заросшей лесной чащей, нуждающейся в постоянном прореживании. Лучшего средства, чем массовые убийства, для регуляции политической жизни в России он не видел. Вот с таким своеобразным предложением вошёл этот революционер и масон (чего он и не скрывал) в новую советскую жизнь.

Сталин произвёл некоторую зачистку в круге его масонских сподвижников, а Николаю Морозову предоставил геофизическую обсерваторию для наблюдений за изменениями климата и загрязнением атмосферы отходами производства. Как известно, вождь сам интересовался метеорологией. Ему всегда нравилось наблюдать за изменчивыми и подвижными субстанциями и думать, как упорядочить их движение. Сумятица туч и облаков определённо напоминала ему земную круговерть.

Марк Поповский имел репутацию писателя порядочного и талантливоего. В 1970-е годы он был автором восемнадцати книг, часть которых состояла из исторических романов и художественных биографий известных учёных. Он входил в то же время в число диссидентов, собрал библиотеку самиздата и эмигрировал из СССР в 1977 году. Он больше всех, судя по его творению о Николае Морозове, соответствовал образу советского диссидента в трактовке Венедикта Ерофеева. К счастью, левый радикализм Марка Поповского после его эмиграции из СССР развеялся как утренний туман под солнечными лучами.

Повесть о Николае Морозове проходила тщательную цензуру. В этом я ничуть не сомневаюсь. То же самое можно сказать и об остальных книгах серии «Пламенные революционеры».

Постараюсь разобраться, почему названные мною авторы приняли предложение издательства «Политическая литература» при ЦК КПСС и написали в основе своей заказные повести. Это поможет лучше понять, чем от них отличался Венедикт Васильевич Ерофеев и почему его поэма «Москва — Петушки» приобрела сногшибательную известность, а многие их произведения останутся в лучшем случае в истории литературы.

Без всякого сомнения, было бы натяжкой приравнивать образ мышления авторов книг серии «Пламенные революционеры» к взглядам тех людей, которые не представляли себе свою жизнь без того, чтобы о них кто-то не заботился наверху, и для которых норма социального общения опиралась на конформизм и лицемерие.

Беда гуманистически настроенных писателей была в другом. Их альтернативы идеального будущего и образы «настоящих» людей оказались столь же утопичны, как построение коммунизма в отдельно взятой стране. Чего-то другого они не знали или не хотели знать. Тогда пришлось бы менять привычный образ жизни и научиться создавать между собой вместо деловых более душевные и искренние отношения.

Анатолий Иванов в интересной статье «Как стёклышко: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече» некоторыми своими суждениями создаёт портрет двойственного, резкого и своевольного человека. Этот портрет скорее относится к анархисту времён Гражданской войны, чем к человеку, нашедшему жизненную опору в Новом Завете. В пылу спора и не такое напишешь. Но здесь мнение человека, благожелательно настроенного к писателю, книгочею и, судя по всему, искателя истины.

Так представляете, насколько неадекватно толкуются личность и сочинения Венедикта Ерофеева в менее образованной среде. Анатолию Иванову в очерке «Как стёклышко: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече» удалось ухватить и описать казалось бы неподдающуюся описанию его противоречивую личность: «...в непосредственном общении Веня (замечу, что он предпочитал, чтоб величали его не по имени-отчеству, а именно так, фамильярно-приятельски) был совсем другим. Деликатным, глубоко порядочным и ровно-снисходительным со своими

посетителями. Не допускающим по отношению к ним какой-либо насмешки или хамства. И лишь оставшись наедине, заносил в записную книжечку что-нибудь вроде: “А всё моё вино долакали мастера резца и кисти” или “Живу один. Так, иногда заглядывают в гости разные нехристи и аспиды”. Более всего, всеми фибрами души ненавидел такие нравственные категории, как спесь, апломб, самодовольство, безошибочность, деятельная практичность, шустрая нахрапистость... Даже тени проявления этих качеств было порой достаточно, чтобы их носитель перестал для Ерофеева существовать. Как-то сразу каменел и замыкался в себя. При всём при том Веня, похоже, тяготился одиночеством. Круг общения: бесчисленные визитёры — будь то примитивные состаканники либо высоколобые конфиденты — все они, земные человеки, люди от мира сего, были ему чем-то любопытны и необходимы»<sup>19</sup>.

И всё же, думается, никто на свете не был допущен в святая святых, посвящён в тайное тайных. Может показаться, что и резкие выпады по адресу коллег при общении Венедикта Ерофеева с журналистами доставляли ему удовольствие. Думать так есть некоторые основания. Слишком велик оказался временной промежуток между первой публикацией поэмы «Москва — Петушки» и публичной востребованностью её автора. Столько лет замалчивания в родной стране кого угодно выведут из себя!

Эту версию я могу принять по отношению к любому писателю, но только не к нему. Поразительно, но та нескладная жизнь, которую он выбрал, не создала в нём ни зависти к чужим успехам, ни человеконенавистничества, ни фанатизма. Он оставался, как и прежде, верен себе — своему способу

мышления и своей *дхарме*. Когда журналисты пытались сбить его с толку и вытянуть из него что-то очень личное, он мог в ответ выдать нечто несусветное и предстать перед ними в самом что ни на есть непотребном виде. Моральным уродом. Такое, что только идиот из идиотов принял бы всё им сказанное за чистую монету. Эти порочащие его ответы, как он думал, остановят их потуги сделать из него идола. Ему был омерзителен восторженный вой стадионов, столь желанный поэтам-шестидесятникам. Свою внешнюю и внутреннюю значительность Венедикт Ерофеев умялял шокирующими (...). Жаль только, что на этих (...)звонках он попусту тратил последнее время своей жизни. К сожалению, невозможно сжато изложить, например, содержание диалога с Леонидом Прудовским, выдержанного в стилевой манере первого произведения Венедикта Ерофеева «Записки психопата».

Содержательный и спокойный разговор получился у Венедикта Ерофеева с писательницей Ириной Тосунян. Приведу небольшой отрывок из их беседы. Он объясняет тот водораздел, который пролёт между ним и писателями-шестидесятниками:

«— Что для вас Библия ?

— Это то, без чего невозможно жить. Я жалею людей, которые её плохо знают. Я её знаю наизусть. Этим могу похвалиться. Я из неё вытянул всё, что только может вытянуть человеческая душа, и не жалею об этом. Человека, который её не знает, считаю чрезвычайно обделённым и несчастным.

Мне не очень нравятся праведные речи Василия Белова по радио. Я сегодня ещё раз послушал его выступление. Знаю его как писателя — и не люблю. Он вдруг ударился в антисталинизм. А где он был раньше?

Я измеряю размах и значимость писателя тем, сколько бы я ему налил, если бы он вошёл в мой дом.

Отчего бы не мерить такой меркой?

Белову я бы не налил ни капли, Астафьеву — 15 граммов, Распутину — граммов сто. Василию Быкову — целый стакан с мениском. А тем более Алесю Адамовичу. А больше и некому. Фазиль Искандер пусть сам бегаёт за выпивкой в своих тренировочных штанах. Я его не люблю за его невлюбленность ни во что и любованье самим собой. О ком ещё говорить? Неужели об Айтматове, которого я удавил бы своими руками?

— Не находите, что это — максимализм ?

— До какой-то степени. Если живёшь в такое максималистское время, отчего бы не говорить максималистски? Надо во что бы то ни стало, когда бы ни жил, быть по мере сил честным человеком. Если и трудно.

— Каждый писатель может сказать, что живёт в максималистское время...

— Тому же Блоку казалось, что его время экстремальное, последнее. Все времена — максимальные и последние, и, однако, ничего не кончается. И потому главное — не надо дешевить!

Мне очень понравился его, Блока, финал, когда к нему подселили двух красноармейцев. Зинаида Гиппиус съязвила: “Почему — двух? Надо было двенадцать!” Молодец, Зинаида Гиппиус, я её люблю и как поэта, и как личность. Если бы я заполнял анкету “Кто из русских женщин вам по душе?”, я долго бы рыскал в своей неумной голове и сказал: “Зинаида Гиппиус”.

— А из мужчин ?

— Всё-таки Василий Розанов. Его наконец-то начинают понимать. Могу похвалиться, что я первый обратил на него внимание, когда о нём страшно было даже говорить. Прочёл несколько его “Опавших листьев”. Многие московские литераторы сейчас пишут на темы российской истории, морали, о российских

судьбах... Я им дал понять, что Розанов более чем за полвека до них сказал об этом крупнее, ярче»<sup>20</sup>.

Александр Генис в статье «Обживая хаос. Русская литература в конце XX века» обращается к одной литературной байке, получившей в то время известность среди писателей.

Она подытоживает человеческую драму талантливых писателей-шестидесятников, решивших поиграть с советской властью в кошки-мышки: «Фазиль Искандер, один из самых тонких и чутких не только романистов, но и эссеистов, остроумно и безжалостно описал новую литературную ситуацию. Представьте себе, говорит он, что вам нужно было всю жизнь делить комнату с буйным помешанным. Мало того, приходилось ещё с ним играть в шахматы. Причём так, чтобы, с одной стороны, не выиграть — и не взбесить его победой, а с другой — и поддаваться следует незаметно, чтобы опять-таки не разозлить сумасшедшего. В конце концов все стали гениями в этой узкой области. Но вот “буйный” исчез, и жизнь предстала перед нами во всей неприглядности наших невыполненных, наших полузабытых обязанностей. Да и относительно шахмат, оказывается, имели место немалые преувеличения. Но самое драгоценное в нас, на что ушло столько душевных сил, этот виртуозный опыт хитрости выживания рядом с безумным оказался никому не нужным хламом. Обидно»<sup>21</sup>.

Ещё больший интерес представляет интерпретация Александром Генисом рассказанной от имени Фазилы Искандера истории: «Искандер поставил классически точный диагноз того психологического ступора, в котором оказалась советская литература, привыкшая смешивать фронду с лояльностью в самых причудливых пропорциях»<sup>22</sup>.



Вовсе не случайно, что посмертно изданный роман Василия Аксёнова называется «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках». Он написан в жанре, промежуточном между мемуарами и беллетристикой. Всего ведь, оглядываясь назад, не упомнишь. Аберрация памяти неминуемо искажает давние события. Документально воссоздать сорокалетний пласт прошедшего времени просто невозможно. Как ни старайся, всё равно ненароком соврёшь. Вот почему литературные кумиры 1960-х годов в повествовании Аксёнова выступают под масками. Те, кого он очень любил, предстают в романтическом ореоле, а кого не очень — в слегка окарикатуренном виде. В главном герое Роберте Эре, к личности, творчеству и поступкам которого автор обращается на протяжении всего романа, нетрудно угадать Роберта Рождественского. В других персонажах проглядывают живые люди. Во Владе Вертикале — Владимир Высоцкий, в Яне Тушинском — Евгений Евтушенко, в Кукуше Октаве — Булат Окуджава, в Антоне Антоновиче Андреотисе — Андрей Вознесенский, в Фоске Теофиловой — Зоя Богуславская, в Ахо — Белла Ахмадулина. Василий Аксёнов мастерски воссоздал атмосферу жизни этих талантливых молодых людей. Их внутренняя свобода, как им тогда представлялось, была способна совершить невозможное — изменить несвободный окружающий мир. Им ошибочно показалось, что лёд тронулся. Однако встречи деятелей партии и правительства с творческой интеллигенцией в зале Манежа, в Доме приёмов на Ленинских горах в 1962 году и в Свердловском зале Кремля в 1963-м развеяли иллюзии Василия Аксёнова и его друзей.

Свидетельством того, что мы имеем дело не с политическим памфлетом, а с лирически окрашенной психологической прозой, является любовь (таинственная страсть) и всё, с ней связанное, что

придаёт смысл жизни героям романа Василия Аксёнова. Одни проживают эту жизнь талантливо и бесшабашно, другие — с прицелом на удачную карьеру, находя компромисс с властью. Для писателя не важно, как устраивается человек в жизни. Главное для него, сохраняется ли — при разных поворотах судьбы — совесть. Эталоном порядочного и нравственного человека предстаёт в романе близкий друг автора Роберт Эр, который подписывает, не раздумывая, письмо в защиту Синявского и Даниэля<sup>[156]</sup>, не политиканствует, как Ян Тушинский, и не подличает, как Юрий Верченко (выступающий в романе под фамилией Юрченко). Для таких, как Эр, незыблема великая истина, которую в «Крутом маршруте» не раз повторяла мать Аксёнова Евгения Соломоновна Гинзбург<sup>[157]</sup> — *об относительности любых идей и безотносительности человеческих страданий*.

Венедикт Ерофеев в своих литературных привязанностях был радикален. Его внимания заслуживали либо писатели, принадлежавшие к золотому веку русской литературы, либо к веку Серебряному. Шестидесятники, за редким исключением, в их число не входили. Вскоре среди писателей-современников он обнаружил людей, ему действительно близких: Виктора Платоновича Некрасова<sup>[158]</sup>, Александра Александровича Зиновьева, Георгия Николаевича Владимова<sup>[159]</sup>, Александра Леонидовича Величанского<sup>[160]</sup>, Бориса Борисовича Вахтина<sup>[161]</sup>, Виктора Борисовича Кривулина, Алеся Адамовича<sup>[162]</sup>, Генриха Вениаминовича Сапгира, Беллу Ахатовну Ахмадулину.

Литературовед Николай Алексеевич Богомолов в статье «“Москва — Петушки”: Историко-литературный и актуальный контекст» убеждён, что в главном произведении Венедикта Ерофеева — поэме «Москва —

Петушки» «за внешним пародированием общеизвестного (в том числе и сакрального) лежит система то мимолётных, то более развёрнутых согласий или полемик с несравненно более широким пластом культуры (и, конечно же, литературы), которые видны не с первого взгляда, и тем самым не попадают в поле зрения читателя, знающего лишь (условно говоря) школьную программу...»<sup>23</sup>.

Познания автора поэмы действительно несоизмеримо шире школьной программы по русской литературе. В частности, исследователь обращает внимание, что Венедикт Ерофеев «строит отдельные фрагменты своего повествования как полное подобие (и на словесном, и на композиционном, и на образном, и даже на смысловом уровнях) стихотворениям двух неофициальных для того времени классиков русской поэзии»<sup>24</sup>. Это Владислав Фелицианович Ходасевич<sup>[163]</sup> и Осип Эмильевич Мандельштам.

Николай Богомоллов расширяет круг поэтов, с текстами которых вольно экспериментировал Венедикт Ерофеев. Это не только обыгрывание цитат и мотивов из поэзии Александра Блока, Фёдора Сологуба, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского и даже Булата Окуджавы и Александра Галича<sup>[164]</sup>, но и «более сложная игра на явно симпатичных автору текстах, которые к тому же ставятся в прямое соседство с безусловно авторитетным в мире Ерофеева Пушкиным (не тем, который оболган и высмеян школьной программой, а подлинным) и Шекспиром»<sup>25</sup>.

Чтобы соединить вдохновение с мастерством, необходимы благословение небес и соответствующая экипировка, то есть хорошее знание текстов, о содержании которых массовый читатель тогда имел смутное представление.

И, наконец, обратимся к главному. Почему пророком оказался Венедикт Ерофеев, а шестидесятники в лучшем случае остались гадалками на кофейной гуще?

Для ответа на этот вопрос обращусь опять к размышлениям Николая Богомолова, увидевшего, в чём состояла овладевшая их душами гнильца «светлых» идей. Тем более он сам, по его признанию, был из инфицированных: «В тексте (поэмы «Москва — Петушки». — А. С.) можно обнаружить его (Венедикта Ерофеева. — А. С.) достаточно недвусмысленную реакцию на современную литературу, причём читатели — современники книги могли воспринимать это как едва ли не кощунство, поскольку он непосредственно затрагивал “священных” коров интеллигентского общественного сознания 60-х годов. Хочется сразу оговориться, что, несколько иронически отзываясь об этом типе сознания, мы вовсе не отрицаем и собственной к нему принадлежности или хотя бы сильнейшего влияния, которое оно оказывало как в те годы, так и позже. Нам представляется, что одним из постоянных объектов полемики на протяжении существенной части поэмы является проза и критическая позиция журнала “Новый мир” эпохи Твардовского и, прежде всего, ранняя проза В. Войновича, которая как раз в то время была в центре многочисленных критических споров. Так, откровенной пародией на нашумевшую повесть “Хочу быть честным” является весь долгий по масштабам поэмы эпизод с назначением Венички на должность бригадира со всеми сопутствующими обстоятельствами. Полная параллельность изображения обстановки на стройке и на кабельных работах и принципиальное различие в общих итогах (вынужденно полуоптимистическое у Войновича и гротескно-безнадёжное у Ерофеева) подчёркивает тот факт, что Ерофеев не принимал даже наиболее смелых попыток найти компромисс между

“соцреалистичностью” и правдивостью, заведомо для него обречённых на поражение»<sup>26</sup>.

Русскую поэзию начала XX века Венедикт Ерофеев любил и многое из неё знал наизусть. Перечислю имена поэтов, к которым он относился с восхищением: Андрей Белый, Владислав Ходасевич, Иннокентий Анненский, Фёдор Сологуб, Осип Мандельштам, Саша Чёрный, Марина Цветаева, Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Валерий Брюсов, Александр Блок, Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Николай Клюев, Зинаида Гиппиус, Мария Моравская, Николай Оцуп, Вячеслав Иванов, Мирра Лохвицкая, Иван Рукавишников.

В этом поэтическом списке, ограниченном временными рамками, присутствуют не все имена любимых Венедиктом Ерофеевым русских поэтов. Не стоит забывать о поэтической классике XIX века, начиная с Александра Пушкина.

Началось узнавание, казалось бы, навечно поруганного и проклятого советской властью настоящего, от души исходящего поэтического слова. Интерес к ещё вчера находящимся под запретом поэтам захватил в середине и конце 1950-х годов все гуманитарные факультеты советских университетов, и не только их. Чуть-чуть коснулся даже Института восточных языков при МГУ, который я окончил и куда документы для поступления принимались исключительно по рекомендации райкома комсомола или партии.

Что́ для Венедикта Ерофеева началось в Москве на филологическом факультете МГУ, продолжилось в Орехово-Зуеве, Владимире, Коломне.

Подытожу черты социально-политического портрета Венедикта Ерофеева. В одном из последних его интервью возник шаблонный вопрос. Как писатели в

своём творчестве реагируют на состояние современного общества? В качестве затравки интервьюер затронул болевую точку советского общества 1960—1970-х годов — состояние русской деревни. Тогда появилось большое количество произведений о её деградации и вымирании. Венедикт Ерофеев, отвечая на этот вопрос, сказал: «Ну, болевая точка остаётся та же. Духовное вырождение человека. Но вот сколько я ни исследую опубликованную литературу, пока не наблюдал, чтобы хоть кто-то мог к ней приблизиться. Все — от Дмитрия Пригова до Фазиля Искандера — впадают в какой-то эйфорический смехотворный стиль, в особенности молодые поэты, которые работают под обэриутов или под раннего Заболоцкого»<sup>27</sup>.

Сказав: «...мой антиязык от антижизни», — Венедикт Ерофеев одной этой фразой объяснил читателям, почему он использует в своих сочинениях нецензурные выражения. В употреблении этой лексики он выразил своё отношение к существующему миру страстей, горестей и удовольствий. Его позиция неприятия «антижизни» содержала и национальную специфику. Советская власть создала бюрократическую систему, способную до смерти измотать человека. Прибавлю к этой разрушительной силе ещё идеологическую составляющую. Напомню, что лозунг строительства коммунизма в отдельно взятой стране для большинства советских граждан потерял всякий смысл. Это была уже надоевшая всем и мозолящая глаза идеологическая обманка. Как известно, мат в России при любой власти, начиная с монгольского ига, был эмоциональной реакцией на заведомую ложь, постоянный обман и насилие, исходившие от власти предержащих. Он был рождён бюрократическим произволом и отражал неуважительное, хамское отношение людей друг к другу. Нет ничего

удивительного и особенного в том, что Венедикт Ерофеев использовал в своих произведениях ненормативную лексику. Не он первый, не он последний. Вспомним заветные (матерные) русские сказки, собранные Александром Николаевичем Афанасьевым<sup>[165]</sup>.

Впервые проблему мата в русской литературе и запреты официальной и общественной цензуры затронул Александр Сергеевич Пушкин в письме Петру Андреевичу Вяземскому<sup>[166]</sup> от 2 января 1831 года: «...одного жаль — в Борисе моём выпущены народные сцены, да матерщина французская и отечественная»<sup>28</sup>.

И ещё опять позволю себе обращение к Пушкину, к его статье «О поэтическом слоге», чтобы охладить пуританский пыл нынешних охранителей нравственности русского народа. Как-то не особенно тянет скатываться (да ещё по доброй воле) в дремучее Средневековье, к которому за шиворот нас тащат некоторые депутаты Государственной думы: «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презираемому»<sup>29</sup>. Николай I после беседы с поэтом в Чудовом монастыре 18 сентября 1826 года назвал его умнейшим человеком России, он смог оценить интеллект великого русского поэта. А ведь многие царедворцы считали Пушкина пустым человеком.

Неужели совсем перевелись в сегодняшней России умные поэты, драматурги и прозаики, а остались только мудрые чиновники?

Венедикт Ерофеев не был Иваном, не помнящим родства. В письме сестре Тамаре Гущиной он признавался: «Я никогда бы не уехал из своей страны

навсегда»<sup>30</sup>. Он согласился бы с проницательным предупреждением филолога и философа Сергея Сергеевича Аверинцева<sup>[167]</sup>, высказанным в адрес безвозвратно уезжающим из России: «Не нужно думать, что за пределами отечества ты автоматически становишься пророком»<sup>31</sup>.

У талантливых и умных людей много общего в их осознании мира и людей. Не вина Венедикта Ерофеева, что долгое время он оставался для своей страны пасынком. Такое к нему отношение, как говорят дипломаты, входит в зону ответственности всех нас, его современников.

На Госдеп Венедикт Ерофеев не работал и на КГБ тоже. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Вместе с тем он был убеждён, что народ и партия объединяются в чувстве взаимопомощи либо при природных катаклизмах и других бедствиях, либо при грозящей обоим внешней опасности. То есть — по необходимости. Таким образом, в повседневной жизни и в мирное время никакого душевного и естественного единства у них не получалось. Власть занималась через СМИ демагогией и, как всегда, тянула одеяло на себя. У советских граждан опять возникал извечный вопрос: «Кому на Руси жить хорошо?»

В своём творчестве Венедикту Ерофееву не надо было проходить эволюцию наоборот, то есть процесс деволуции, как многим писателям Страны Советов — от сложного к примитивному. Не пришлось ему менять и палитру — от многоцветья к однообразно серому.



## **Глава одиннадцатая** **МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ**

Венедикт Ерофеев неплохо знал две древнегреческие эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея», согласно традиции принадлежавшие жившему в VIII веке до н. э. древнегреческому поэту Гомеру. «Одиссея» повлияла на концепцию поэмы «Москва — Петушки», о чём пойдёт речь в дальнейших главах. В «Одиссее» существуют два страшных чудовища. Одно из них по имени Сцилла когда-то было красивой девушкой, которая полюбила рыбака Главка. Надо сказать, что он тоже не был к ней равнодушен. Всё шло к счастливой развязке, но вдруг волшебница Кирка, которая положила на Главка глаз, с помощью ядовитого зелья превратила Сциллу в нечто невообразимое — в существо с шестью длинными шеями. На каждой из них торчало по голове, а на челюстях сверкали расположенные в три ряда острые зубы. Местом своего проживания это страшилище выбрало пещеру на высокой скале, выглядывая из которой, выслеживало своих жертв. Эта скала была расположена на одной стороне тесного пролива, а по другую сторону на расстоянии полёта стрелы под более низкой скалой кипел морской водоворот — это чудовище по имени Харибда поглощало солёную воду и всё плывущее по ней. Представляете, каково было Одиссею преодолеть этот опасный пролив между скалами и выплыть на большую воду? Он избрал Сциллу, пожертвовав ей шестерых своих спутников.

Я подумал, что Сциллу можно соотнести с диссидентством, учитывая благородное прошлое и не совсем достойное настоящее некоторых

представителей этого направления, а Харибда больше соответствует олицетворению тоталитаризма, — в крутящуюся воронку новой жизни лучше было не попадать. Не угадаешь, где в конце концов окажешься: на вершине горы, на том свете или в ГУЛаге.

Стихотворение Константина Николаевича Батюшкова<sup>[168]</sup> «Судьба Одиссея» (1814) соответствует ситуации, в которой оказался автор поэмы «Москва — Петушки» после того, как ушёл из последнего высшего учебного заведения в городе Коломне.

Средь ужасов земли и ужасов морей  
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки  
Богобоязненный страдалец Одиссей;  
Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки;  
Харибды яростной, подводной Сциллы стон  
Не потрясли души высокой.  
Казалось, победил терпением рок жестокой  
И чашу горести до капли выпил он;  
Казалось, небеса карать его устали  
И тихо сонного домчали  
До милых родины давно желанных скал.  
Проснулся он: и что ж? Отчизны не познал<sup>1</sup>.

Вся жизнь Венедикта Ерофеева свидетельствует, что он по своему поведению был лёгким в общении человеком с серьёзными мыслями в голове. К тому же он обладал добрым нравом. В крутой оборот его взяла и приучила к одиночеству советская действительность. Не случайно ведь его интересовала статистика самоубийств среди русских писателей за последние три столетия. Он справедливо полагал, что она убедительно показывает, как изменилась к худшему духовная жизнь

русских правдолюбцев за этот небольшой исторический срок. Говоря по существу, с течением времени самоубийц в России становилось всё больше и больше. Полученные результаты наводили Венедикта Васильевича на грустные мысли, отчего ему самому хотелось напиться до чёртиков.

В XVIII веке счёты с жизнью свёл Иван Семёнович Барков<sup>[169]</sup>, автор эротических «срамных од», и с некоторой натяжкой можно к нему было приписать Александра Радищева, который ушёл из жизни в самом начале века девятнадцатого — в 1802 году. К тому же надо иметь в виду, что не все историки литературы согласны с фактом самоубийства этих двух писателей. В XIX веке наложили на себя руки Николай Васильевич Успенский<sup>[170]</sup> и Всеволод Михайлович Гаршин<sup>[171]</sup>. Обратимся к поэме «Москва — Петушки»: «Социал-демократ — не читает и пьёт, пьёт, не читая. Тогда Успенский встаёт — и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире — и подышает, а Гаршин встаёт — и с перепою бросается через перила»<sup>2</sup>.

В XX веке счёт самоубийц пошёл на десятки, а при власти большевиков их стало и того больше. А если заглянуть в художественную литературу, то картина предстанет совершенно иная.

От внимательного взгляда Венедикта Ерофеева этот контраст не ускользнул и был зафиксирован в его блокноте: «Сколько среди персонажей русской беллетристики XIX самоубийц — больше, чем было в действительности. Ср. в XX — повальные самоубийства, а не один почти персонаж не покончил с собой»<sup>3</sup>.

При избрании Леонида Брежнева генеральным секретарём ЦК КПСС тяга к здравому смыслу и ориентация на доктрину мирного сосуществования и соревнование двух общественно-политических систем в какой-то мере уравнивали чувство номенклатурной и

утробной ненависти к писателям, известным и безызвестным, которые воссоздавали образ СССР как мира далеко не лучшего из всех миров во Вселенной. Расстрелы таких писателей после смерти Сталина прекратились. Однако предложенные через какое-то время Юрием Андроповым высылки инакомыслящих творческих людей за границу ещё не практиковались. Время подобных уступок Западу ещё не наступило.

В середине 1970-х годов каждый здравомыслящий советский человек мог на телеэкране собственными глазами видеть, что у его вождей поехала крыша. Что они не совсем здоровые люди. Некоторые из них были близки к состоянию деменции, а по-простому — старческому слабоумию. При существующей залихватски задорной и дебильно оптимистической идеологии такой контраст не мог быть не замечен наблюдательным писательским оком. Естественно, за рубежом, в самиздате и в городском фольклоре появлялись соответствующие отклики, представленные разными литературными жанрами — от повести и до анекдота. Они были даже не об этих небожителях, а большей частью о тех, кто возносил их на облака, и о тех зрителях, кому не в радость было смотреть на эти мизансцены с участием престарелых и больных людей.

Вот ещё одна запись из блокнота на ту же самую тему, написанная в размере амфибрахия:

«— Куда ты ведёшь нас, безумный старик?

— А (ф)уй его знает, я сам заблудился»<sup>4</sup>.

В так называемую эпоху застоя издевательские словесные эскапады в адрес существующей власти относили уже не к террористической деятельности, а к идеологической диверсии, в которой иногда проявлялись, как полагали эксперты от психиатрии, признаки шизофрении. В лучшем случае писатели отделялись попаданием в чёрный список, или

ссылкой в места не столь отдалённые, или коротким тюремным заключением за злостное хулиганство. В худшем — их помещали в психушку или в колонию.

За публикацию в Израиле поэмы «Москва — Петушки» Венедикт Ерофеев мог быть привлечён по статье 190-1 УК РСФСР как за сочинение, полное «клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Эта формулировка была введена в Уголовный кодекс РСФСР 1960 года в сентябре 1966 года по инициативе председателя КЕБ Юрия Андропова и предполагала пребывание от одного года до трёх в лагере общего режима.

Альтернативой могло быть принудительное помещение в психиатрическую больницу, в так называемый *дурдом*, где с помощью интенсивных инъекций галоперидола человека делали недееспособным.

Приведу соответствующую статью из Уголовно-процессуального кодекса того времени: «Агитация и пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти, распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный строй, а также литературы того же содержания наказывались лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет или ссылкой на срок от двух до пяти лет».

Например, писателям Андрею Синявскому по этой статье дали семь лет, а участнику Великой Отечественной войны Юлию Даниэлю пять лет.

Событие это произошло осенью 1965 года, на следующий год после освобождения Хрущева от должности первого секретаря ЦК КПСС. Никита Сергеевич был человеком малообразованным, но смекалистым и напористым. От соратников по политбюро его отличали показное простодушие и

детская непосредственность в восприятии чего-то ему незнакомого, но для страны полезного, вроде кукурузы. Вообще его поведение на трибуне часто напоминало немного выпившего и не в меру разошедшегося паренька с Заречной улицы. Словно Хрущев не прошёл до того огонь, воду и медные трубы.

Его личный переводчик Виктор Михайлович Суходрев<sup>[172]</sup> уже в брежневские времена в доме легендарного кинооператора и замечательного человека Вилия Петровича Горемыкина<sup>[173]</sup> вспоминал о триумфальной поездке Хрущева по США в сентябре 1959 года. Особенно в его рассказе меня поразило и запомнилось один эпизод. Взглянув на Нью-Йорк с обзорной площадки в Эмпайр-стейт-билдинг, чья высота составляет 320 метров, Никита Сергеевич, повернувшись к Суходреву, выдохнул, задыхаясь от восторга: «Витя, завтра у них социалистическая революция — и коммунизм, погляди, уже построен!»

Так и вижу в этом эпизоде одного из уважаемых мною артистов. Физиономия исторического персонажа уже стёрлась из памяти, а вместо Никиты Сергеевича явственно возникает в сознании смотрящий с высоты на Нью-Йорк чем-то на него похожий своей импульсивностью Виктор Иванович Сухоруков.

Для советской интеллигенции принудительный уход Хрущева на пенсию был воспринят как знак возвращения к формам подавления инакомыслия при Сталине.

Вот как вспоминает писатель Игорь Волгин неожиданное устранение Хрущева от власти: «Мы были в литературной поездке в Куйбышеве, и вдруг поздним вечером Булат Окуджава в гостинице стучится ко мне в номер. До него каким-то образом дошли вести о том, что Хрущева сняли. Мы переживали и не расходились полночи, всё обсуждая: “Что будет со страной? Не

начнётся ли возрождение сталинизма?” На следующий день во время выступления Окуджава запел свою знаменитую “Молитву Франсуа Вийона”: “Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть...” И зал замер! Слава богу, сталинизм всё же не возродился»<sup>5</sup>.

Да, сталинизм не возродился, но сталинисты воспрянули духом. Гордо подняли поникшие было головы. Поэт Феликс Иванович Чуев<sup>[174]</sup> пафосно требовал: «Верните Сталина на пьедестал, / Нам, молодёжи, нужен идеал». Пришло время щедрых гонораров для одних и закручивания до упора идеологических гаек для других.

Но кто помнит сегодня Феликса Чуева? Мелькнул на мгновение, и не стало его. Словно вообще в русской поэзии не существовал. Остался в памяти коллег как мальчик для битья. И то благодаря одиозной книге «Сто сорок бесед с Молотовым», которую Алесь Адамович справедливо переназвал: «Сто сорок бесед с людоедом».

Не сошёлся свет клином на Феликсе Чуеве. Существовали тогда в СССР и другие русские писатели, для которых глас Божий не был пустым звуком. С детских лет помнили они строки Александра Сергеевича Пушкина:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,  
Исполнишь волею моею,  
И, обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей<sup>6</sup>.

К таким писателям относится Виктор Петрович Астафьев<sup>[175]</sup>. В повести «Последний поклон» (1968) он писал: «Нет на свете ничего подлее русского тупого

терпения, разгильдяйства и беспечности. Тогда, в начале тридцатых годов, сморкнись каждый русский крестьянин в сторону ретивых властей — и соплями смыло бы всю эту нечисть вместе с наседаящим на народ обезьяноподобным грузином и его приспешниками. Кинь по крошке кирпича — и Кремль наш древний со вшивотой, в нём засевшей, задавило бы, захоронило бы вместе со зверующей бандой по самые звёзды. Нет, сидели, украдкой крестились и негромко, с шипом воняли в валенки. И дождались! Окрепла кремлёвская клика, подкормилась пробной кровью красная шпана и начала расправу над безропотным народом размашисто, вольно, безнаказанно»<sup>7</sup>.

Среди студенческой молодёжи конца 1950-х и 1960-х годов изначально криминальный характер власти большевиков не осознавался. Ещё у очень многих из нас душа летела к свету ленинской мысли. Единицы, и то из числа старших товарищей, понимали, что планы партии и правительства по поводу счастливого будущего страны победившего социализма успехом не увенчаются.

Писатель Михаил Иосифович Веллер вспоминает: «...молодая убеждённость в торжество коммунизма рассеивалась в смутную неясность перспектив. Жизнь становилась сытнее, государство лживее, а цели всё неопределённее». И затем в скобках добавляет: «И Солженицын уже писал ГУЛаг»<sup>8</sup>.

Судебный процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем длился с осени 1965 года по февраль 1966-го и разделил советскую общественность, в том числе и писателей, на два лагеря. На тех, кто всецело одобрял действия партии и правительства и жаждал крови арестованных писателей, и кто призывал к



благоразумию, полагая, что возвращение к сталинским методам подавления инакомыслия приведёт страну к катастрофе. Первая за многие годы политическая демонстрация в СССР в защиту Синявского и Даниэля произошла в Москве на Пушкинской площади.

Владимир Войнович в книге «Автопортрет: Роман моей жизни» выразил отношение к судебному процессу над своими двумя коллегами как противоправный: «Арест двух писателей и его последствия стали для Советского Союза таким ударом, который, если сравнивать с боксом, можно назвать нокаутом»<sup>9</sup>.

В Политбюро ЦК КПСС так не думали. Для его членов цинизм был привычен, а презрение к общепринятым нормам человеческого и международного поведения повседневной практикой. Этим процессом, как полагали, была эффективно решена основная задача — восстановление у большей части творческой интеллигенции рефлекса страха.

Александр Ильич Гинзбург<sup>[176]</sup> составил из стенограмм судебных заседаний «Белую книгу», которая была выпущена в свет в 1967 году во Франкфурте-на-Майне издательством «Посев». В том же году Александр Гинзбург был арестован и осуждён по той же 70-й статье УК РСФСР.

Обращусь к поэту Алёне Басиловой<sup>[177]</sup>. Приведу её рассказ из моей брошюры «Показания свидетелей защиты», главы из которой впервые вышли в альманахе «Поэзия», издаваемом «Молодой гвардией». Она была свидетелем защиты Александра Гинзбурга вместе с выдающимся филологом и мыслителем Леонидом Пинским, историком искусства Игорем Наумовичем Голомштоком<sup>[178]</sup>, поэтом Аидой Хмелёвой-Сычевой (литературный псевдоним Любовь Молоденкова). Остальные свидетели в количестве 90 человек дали на него такие показания, какие им предложил

следователь. Во время описываемых событий Алёна Басилова была женой поэта Леонида Губанова и принадлежала к «смогистам»<sup>[179]</sup>.

Вот что она вспоминала: «Алик Гинзбург занимался литературной критикой и часто печатал рецензии в “Вопросах литературы”. Он присутствовал на суде над Синявским и Даниэлем. Я вспоминаю, как он рассказывал, что, прежде чем начать работу над этой книгой, он пришёл в Госбезопасность и поставил их в известность о своём намерении, попросил у них разрешения на издание материалов судебного процесса над Синявским и Даниэлем. Разумеется, никакого разрешения ему не дали, но сказали: “Вы пишете, мы не против, пишите”. На его взгляд, он действовал очень осторожно и, как ему представлялось, грамотно в правовом отношении. И всё-таки его в конце концов арестовали»<sup>10</sup>.

Несмотря на противоречивое отношение к диссидентам, Венедикт Ерофеев подписал в 1977 году коллективное письмо в защиту Александра Гинзбурга, который был приговорён уже на другом процессе к восьми годам лишения свободы в колонии особого режима за участие в Хельсинкском движении в СССР. Это письмо с подписью писателя хранится в архиве «Мемориала».

В его биографии такого рода документ был не единственным. Некоторое время провёл в психоневрологическом диспансере помещённый туда насильно литератор Анатолий Францевич Гланц.

Обращусь к книге Натальи Шмельковой «Последние дни Венедикта Ерофеева», к дневниковой записи от 26 марта 1988 года: «Несмотря на плохое самочувствие Ерофеева, прошу его подписать письмо талантливого поэта и переводчика Анатолия Гланца главному врачу 13-го психоневрологического диспансера. Подписали

его всего 10 человек, хотя Гланца в Москве очень многие знали. Наверное, испугались. Вот отдельные строчки письма: "...Как можно на четвёртом году гласности и демократии, когда все газеты переполнены статьями, за которые ещё пять лет назад давали минимум пять лет тюрьмы, — как можно в эти дни травить человека за его убеждения? Как могут врачи, представители самой гуманной профессии, подвергать травле поэта, т. е. человека, тонкого и ранимого во всех отношениях? К чему это ведёт? Как известно, общество, убивающее своих поэтов, обречено на гибель (Овидий, Пушкин, Лорка, Мандельштам и др.). Как можно, осуждая злоупотребления периода культа личности, повторять преступления 37-го года, в наглом циничном варианте 87-го?" И т. д. и т. д. Веничка, практически не прочитав письма, сразу внизу написал: Ерофеев (пенсионер). Но я попросила, чтобы он подписался как литератор. Забегая вперёд: 14 июля 88 года меня вызвали по поводу этого письма и моей подписи на нём на Петровку, 38. Веничку, слава тебе, Господи, вызовом не потревожили»".

Венедикт Ерофеев не был политически ангажированным писателем, хотя с некоторыми правозащитниками общался и даже дружил. Как отмечает Елена Игнатова, Венедикт Васильевич даже иногда посещал и с интересом наблюдал сходки «диссидентов», в различной степени недовольных советской властью. С некоторыми из них его познакомила известная правозащитница Надежда Яковлевна Шатуновская<sup>[180]</sup>. Она в то время работала во Всесоюзной библиотеке иностранной литературы и плотно общалась с Владимиром Муравьёвым, который участвовал в диссидентских кружках 1950—1960-х годов. Судя по всему, именно он и познакомил с ней Венедикта Ерофеева.

Елена Игнатова достаточно подробно описывает одно из таких собраний в середине 1970-х годов в книге «Обернувшись», в эссе «Венедикт». На нём оппозиционно настроенные молодые люди должны были составить открытое письмо о положении культуры в СССР. После чего они надеялись собрать под ним подписи видных, либерально настроенных писателей. Детали я в этом пересказе опускаю. Для меня важен разговор, происшедший на улице после окончания собрания, между Венедиктом Ерофеевым и Еленой Игнатовой.

Его начал Венедикт Ерофеев:

«— Представляешь, вот они придут к власти и будут распоряжаться всем, кстати, и твоей судьбой тоже. Как тебе такой вариант?

Представить себе это было совершенно немыслимо, власть казалась прочной, как надгробие.

— Нет, ну почему, вот такие новые большевики?

— Не очень, Венедикт, мне такой вариант, не очень...»<sup>12</sup>

В «Записных книжках 1974 года» Венедиктом Васильевичем сделана запись в несколько художественном и ёрническом стиле, проясняющая его отношение к некоторым диссидентам: «Вся его диссидентщина заключалась в том, что он под окном партийного учреждения пел:

Всю-то я вселенную проехал.

Нигде я пива не нашёл»<sup>13</sup>.

Или ещё одна запись в блокноте от 29 января 1980 года: «Какой-то мелкий диссидент-художник сказал: “Какая огромная страна Россия, и несчастий навалено

на неё по размеру. Видно, такой её жребий в мире — не жить самой и мешать другим”»<sup>14</sup>.

В одном из своих поздних интервью 1989 года о диссидентах Венедикт Ерофеев высказался довольно прохладно, упирая на причину с первого взгляда просто смехотворную: «Нет, с этими я дел не имел. Был в стороне. Меня отпугивала полная антимузыкальность их. Это важная примета, чтобы выделять не совсем хороших людей, не стоящих внимания. <...> Голоса их не создают гармонии»<sup>15</sup>. Ту же мысль он сформулировал короче и жёстче в блокноте: «Диссидентов терпеть не могу. Они все до единого — антимузыкальны. А стало быть, ни в чём не правы»<sup>16</sup>.

Впрочем, случались исключения. Наиболее уважаемым диссидентом для Венедикта Ерофеева, как уже говорилось, был Вадим Делоне, участник легендарной демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года в знак протеста введению в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора.

Среди окружения Венедикта Ерофеева также находились активисты советского «национал-патриотического» движения. О «скептическом отношении к советским диссидентам, которое с годами только усиливалось», также пишет литературовед и публицист Павел Матвеев в статье «Венедикт Ерофеев и КГБ»: «На протяжении лета — осени 1973 года Ерофеев обретался у своих знакомых и приятелей в разных деревнях и сёлах ближнего и дальнего Подмосковья: в Царицыне, в Пущине, быстро перемещаясь по округе и нигде подолгу не задерживаясь. Он явно опасался возможного ареста».

В то время он написал эссе о Василии Розанове.

Обращусь опять к статье Павла Матвеева: «Позднее Венедикт неоднократно утверждал, что написал это

эссе в качестве платы за предоставление ему крыши над головой — дачного домика в селе Царицыно. Домик принадлежал его знакомой Светлане Мельниковой, являвшейся одной из активисток зарождавшегося в те годы советского “национал-патриотического” (то есть антисемитского) движения. Под названием “Василий Розанов глазами эксцентрика” текст был включён в восьмой номер самиздатовского журнала “Вече”, издававшегося одним из самых известных в ту пору советских диссидентов-националистов — Владимиром Осиповым; название принадлежало издателю журнала»<sup>17</sup>.

Владимир Николаевич Осипов поступил в тот же год, что и Венедикт Ерофеев, в Московский государственный университет, только не на филологический, а на исторический факультет. Познакомились они в студенческом общежитии на Стромынке. Они были ровесниками.

Приведу некоторые факты из биографии Владимира Осипова. Впервые его арестовали в 1961 году за участие в организации встреч и дискуссий у памятника Маяковскому. 9 февраля 1962 года он был приговорён по 70-й статье к семи годам лишения свободы. Все семь лет отбыл в лагерях Мордовской АССР. После освобождения издавал машинописный журнал христианского, славянофильского направления «Вече». За 1971—1974 годы издано девять номеров. В предпоследнем было напечатано эссе Венедикта Ерофеева о Розанове. В марте 1974 года журнал закрылся по причине начавшегося следствия по делу об издании журнала «Вече». Владимир Осипов стал совместно с Р. Родионовым издавать машинописный журнал «Земля». При подготовке второго номера «Земли» 28 ноября 1974 года Владимир Осипов был вновь арестован и 26 сентября 1975 года приговорён

Владимирским областным судом к восьми годам лишения свободы по 70-й статье, часть вторая УК РСФСР. Осуждён за издание журналов «Вече» и «Земля» и за выступления в защиту гонимых и репрессированных лиц. В 1977 году вместе с группой других политзаключённых провёл стодневную забастовку и серию голодовок, требуя признания статуса политзаключённых. В ноябре 1982 года освобождён и поставлен под жёсткий административный надзор в городе Тарусе Калужской области. С приходом к власти Михаила Горбачева ситуация смягчилась, надзор с Владимира Осипова был снят. В 1991 году он полностью реабилитирован, с 1994 года — член Союза писателей России.

О столкновении между сторонниками Юлия Даниэля и Владимира Осипова рассказывает письмо Венедикта Ерофеева сестре Тамаре Гущиной от 5 ноября 1978 года, написанное вскоре после его дня рождения: «День рождения был так многолюден, что без эксцессов не обошлось. Схлестнулись крайне правые диссиденты и экстремисты — левые. Мордобой длился не больше двух минут, но всё равно за полночь, это всё несколько омрачило. Если вся эта шушера-диссидентщина будет и впрямь вести себя так суетно-злобно и невеликодушно, я, чего доброго, вступлю в Партию. По свидетельству всех, кто был, я, грешник, был самым уравновешенным и расторопным (да ещё самым трезвым — Галина в конце письма подтвердит — да ещё в парижском новом костюме)»<sup>18</sup>.

В одной из своих «Записных книжек» того времени Венедикт Ерофеев спародировал известную басню Крылова «Квартет». Скорее всего, побудительной причиной к этому экспромту стала потасовка на его дне рождения: «А вы, друзья, как ни садитесь, / Всё в диссиденты не годитесь»<sup>19</sup>.

Надежда Яковлевна Мандельштам, как отмечает в своих воспоминаниях Елена Мурина, также замечала *советскость* в приёмах диссидентов. «Посмотрим, кто кого переупрямит...»<sup>20</sup>

Одним из известных диссидентов был Андрей Амальрик, предвидевший распад СССР в книге-эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». По сделанному им краткому изложению поэмы «Москва — Петушки», которое приведено мною на предыдущих страницах, можно судить, что Андрей Алексеевич мало что в ней понял, как и бывший мой коллега по Институту мировой литературы профессор Дмитрий Михайлович Урнов. В своей книге «Записки диссидента» он разделил советских инакомыслящих людей на две группы. На тех, кого он отнёс к «субкультуре диссидентов», и на тех, кого причислил к «субкультуре референтов». Творчество Венедикта Ерофеева он причислил к «субкультуре диссидентов».

Обращусь непосредственно к тексту книги Андрея Амальрика: «Деление это условно, особенно в области искусства, но можно сказать, что “диссидент” как личность складывался в сопротивлении советской системе, а “референт” — в служении ей, хотя внутренне систему не принимал; если он был человек честный — он рассчитывал систему улучшить изнутри, если чистый карьерист — улучшить только своё положение. Как только “наверху” повернули к сталинизму, а “внизу” заупрямились, наиболее независимые по духу “референты” один за другим начали выпадать из системы, становясь “диссидентами поневоле”, да и новый был шанс — отъезд. На Западе разница между “диссидентами” и “референтами” прослеживается хорошо: диссиденты подчёркивают своё противостояние власти для того, чтобы Запад выслушивал их поучения, референты ссылаются на



близость к власти как на основании, чтобы Запад следовал их советам. В общем, профессионализм “референтов” выше, но их моральный напор слабее»<sup>21</sup>.

Сопоставление диссидентов с большевиками сделано Венедиктом Ерофеевым не ради красного словца. Для такого сближения у него были убедительные аргументы. Прежде всего к этому умозаключению привело его творчество писателей, считавшихся оппозиционными и предпринявших переоценку по существу устоявшихся представлений об исторических деятелях и их достижениях.

Не понят был диссидентами, уже находящимися за рубежом, и Александр Александрович Зиновьев, о чём вспоминает его вдова Ольга Мироновна: «Он сразу из небытия, минуя регулируемые “самиздат” и “тамиздат”, находившиеся в основном в руках эмигрантов, мощно, суверенно шагнул в мировую литературу, а не в локально-эмигрантскую». И самое важное: «Он появился неожиданно, вопреки всем канонам литературы, независимо от диссидентства и наперекор эмиграции, не задумываясь ни на секунду, каким торнадо он разметал их теплившиеся надежды на литературный Олимп. Ярчайшим своим появлением он сразу же занял и на Западе положение исключительного одиночки, абсолютно независимого в своём литературном творчестве ни от каких подачек, фондов, стипендий»<sup>22</sup>.

Всё, что сказала Ольга Зиновьева о своём муже, от первого и до последнего слова можно отнести к Венедикту Ерофееву. Их всего-то было несколько писателей, разных по судьбам и по политическим взглядам, но именно с них началась совершенно новая русская литература.

Взаимоотношения Венедикта Ерофеева с Александром Зиновьевым были уважительными, а

полемиические беседы друг для друга полезными. Александр Зиновьев, по словам жены, ценил талант Венедикта Ерофеева «как ярчайшее явление в российской словесности». Ольга Зиновьева вспоминает: «Пришёл к нам, прижимая к себе “Зияющие высоты”. Так и шёл по улице. Правда, он сразу напруг и обеспокоил нас фразой: “Давайте скорее разговаривать, пока я не напился”. Вскоре мы узнали, что Веничка регулярно уходит в запои. К сожалению, окружавшие его люди шли на поводу его желания так уходить от действительности, ещё и подначивали. А с Александром Александровичем они периодически встречались. Разговаривали взахлёб, с невероятной любовью друг к другу. Зиновьев относился к нему с безумной жадностью и нежностью. Думаю, что эта встреча была предписана судьбой»<sup>23</sup>.

Максим Кантор прозорливо заметил в статье «Общее дело»: «Историческая судьба у русских людей есть, а вот собственной судьбы нет». Прибавив к Венедикту Ерофееву и Александру Зиновьеву ещё Георгия Владимова с его романом «Три минуты молчания» и поэта Владимира Высоцкого, он продолжил свои рассуждения о том, как воссоздаётся история России в произведениях этих четырёх писателей, обладавших чувством собственного достоинства: «“Я не боюсь вас. Смотрите, я иду в полный рост”, — такую фразу, достойную Сирано, говорит герой зиновьевских “Зияющих высот”, персонаж по прозвищу Крикун. И такую же фразу мог бы сказать герой Владимова, матрос Сеня Шалай. И алкоголик Веничка, идущий с прямой спиной от Москвы к Петушкам, говорит то же самое. Так говорит любой из героев Высоцкого: “спины не гнул, прямой ходил”. Эти люди похожи прямою на статуи Джакометти (швейцарский скульптор, живописец и график; годы жизни: 1901—1966. — А. С.),

вот так и стоят, проглотив аршин; и не кланяются, потому что не умеют. Это все люди, живущие навыворот, живущие наотмашь; они идут в полный рост и не боятся быть вровень с историей. У них иначе не получается»<sup>24</sup>.

Подведу некоторую черту в рассуждениях о диссидентах вопросом: «Что значит быть антисоветски настроенным человеком?» На него ответил с подкупающей прямоотой Дмитрий Александрович Пригов<sup>[181]</sup>, поэт, художник, один из основоположников московского концептуализма.

Вот что он сказал: «Неприятие советской системы во всех её проявлениях — её языка, её институций, представителей её, даже самых, на нынешний взгляд, может, и невинных, официальных членов Союза художников. Очень странная была ситуация: большинство людей было институализировано, были членами Союза художников, но в принципе наличествовало две жизни. Одна как бы внешняя — для денег или, там, для мимикрии, а вторая — это разговоры. Но такой жизнью жил практически весь интеллигентский слой, и я думаю, мы мало отличались в этом отношении. Мы отличались только, может быть, тем, что в пределах нашего творчества легко использовали советский язык, не гнушаясь им. В отличие от жёсткого андеграунда, для которого он был собачьим, и потому они противопоставляли себя советской власти ещё и тем, что сознательно не использовали её язык. Поэтому они проваливались в язык устаревший: либо русской культуры XIX века, либо западной, дошедшей до нас культуры, скажем, абстракционизма, сюрреализма, к тому времени также устаревшей. А наш круг спокойно обращался к советской тематике с определённой, естественно, культурно-критической позиции. Но, конечно, все были антисоветчики. То есть был очень лёгкий критерий:

если чего-нибудь там в прессе говорится, что это плохо, то однозначно как бы хорошо»<sup>25</sup>.

Венедикт Ерофеев не принадлежал к подобному типу протестантов. Да и был ли он антисоветчиком в том смысле, который вкладывал в это понятие Дмитрий Пригов? Надо сказать, что его сознание вообще не было приспособлено к подобному схоластическому пониманию советского образа жизни.

Существует смысловой разрыв между понятиями — отторжение чего-то и ненависть к чему-то. Чувство ненависти вообще не могло появиться в Венедикте Ерофееве при его созерцательном и сдержанном характере. Он запоминал всё, что попадало в поле его зрения. Из увиденного его многое удручало. В течение долгого времени он не мог понять, почему исчезли из официальной советской морали важные понятия: жалость и милосердие.

К двадцати годам Венедикт Ерофеев был убеждён: «Безвозвратно ушли в прошлое те страшные времена, когда меня ещё не существовало»<sup>26</sup>.

Он имел в виду времена Большого террора — 1937—1938 годы, так называемую «ежовщину». (В его записях конца 1960-х годов: «Жалуются на исчезновение товаров и пр. “Сколько всего пропало!” Ср. прежде... 30 лет назад. “Сколько всех пропало”»<sup>27</sup>).

Прожив ещё 20 лет, он признался: «Надломлены мои мечты, как говорил Валера Брюсов»<sup>28</sup>. Чуть позднее, работая над «Моей маленькой ленинианой», сделал запись в блокноте: «Бертран Рассел, побывав в России в 20 г., обратил, во-первых, внимание на ненавистнический догматизм в большевистских взглядах: “это сулит миру века беспросветной тьмы и бесполезного насилия” (Рассел, “Практика и теория большевизма”. 1920 г.)»<sup>29</sup>.

Не буду лукавить, для Венедикта Ерофеева слово «большевик» было хуже некуда и вызывало в его памяти множество негативных ассоциаций. Он только и ждал, когда его соотечественники вырвутся из-под дьявольских чар большевизма. Парадокс состоял в том, что тех большевиков-фанатиков, которых он так ненавидел, во власти не существовало. Об этом позаботился И. В. Сталин. Их можно было разве что обнаружить в полуподпольном существовании.

Трудно объяснить, как удалось Венедикту Ерофееву после стольких перенесённых им жизненных передряг, мытарств и обид сохранить в самом себе смирение, добрый нрав и крепкий дух. Вот что сказал об утративших правду и живущих хитростью людях выдающийся русский философ, писатель и публицист профессор Иван Александрович Ильин<sup>[182]</sup>: «Подслеповатые, настороженные, опасливые, они вообще с трудом разбираются в чужих проявлениях, кое-как воспринимая ещё слова, мимику и жест, и почти совсем не разумея ни черт лица, ни тембра голоса, ни строения руки или почерка, ни походки, ни симптоматических и произвольных телодвижений. И так, блуждая, они не умеют рассмотреть, где горькая правда и где “прелестная” ложь, где обманывает полунечаянная интонация и где пробалтывается неискреннее слово. Привыкнув к неподлинности в обращении, примирившись с “неправдой” и с неправдой, предаваясь множеству разнообразных интересов, люди плетут, — то сознательно, то полусознательно, — жизненную сеть лжи и обмана...»<sup>30</sup>

У Венедикта Ерофеева как у писателя есть большое преимущество. Оно связано не с каким-то необыкновенным и необузданным воображением. Он ведь не автор приключенческих, фантастических или детективных сочинений. Читателя вводят в транс не

внезапные повороты сюжета, не экзотические земли, не звёздные бездны, не раскрытие дерзких преступлений, а игра язвительного и хваткого ума, цепкое и точное слово. Вот они-то и придают остроту его повести «Записки психопата», поэме «Москва — Петушки» и пьесе «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Он не направлял своё воображение, не тратил попусту силы на плетение «сети лжи и обмана».

О схожей жизненной ситуации писателей, которые, как и Венедикт Ерофеев, не бежали с родной земли сломя голову, подальше от своих ближних и их проблем, сказал Генри Миллер: «Возможно, во всём необъятном множестве обитаемых планет нет существ, которые отличались бы самомнением, гордостью, невежеством и бесчувственностью сыновей Земли. <...> Нет, пока мы такие, как мы сегодня, никто не обрадуется нам в звёздных жилищах. Если мы не сумели найти рай у себя, то не найдём его и у других. Но существует возможность (отчаянная, почти безнадежная мечта), что нас устыдят “тамошние” порядок, мир и гармония — и тогда мы, именующие себя людьми, уберёмся в свой земной ад, чтобы начать всё заново»<sup>31</sup>.

Венедикт Ерофеев поступил так же, как Генри Миллер. В его блокноте есть запись: «Мы обречены на честность»<sup>32</sup>.

Тему «писатель и власть» Венедикт Васильевич стороной не обходил. И не только в последние годы своей жизни. Его особенно интересовали декабристы, западники и славянофилы. Они сами, их судьбы и воззрения о будущем России связывались Ерофеевым с днём сегодняшним, с теми идеями, что вырабатывались в недрах официальной партийно-комсомольской интеллектуальной оппозиции и также неофициальной — диссидентами. Те и другие склонялись к одному, хотя

и находились в разных идеологических лагерях, практически не общаясь друг с другом: «пассионарии» (термин Льва Николаевича Гумилёва<sup>[183]</sup>), кто движет страну к духовному росту и материальному благополучию, наконец-то станут экономически законной социальной силой, то есть собственниками, и возглавят процесс создания среднего класса. О появлении класса олигархов в то время не думали. Он возник спонтанно после августа 1991 года. Ведь олигархический тип правления — это возвращение к модернизированному феодализму.

## **Глава двенадцатая**

# **СОВМЕЩЕНИЕ РАЗНЫХ ГОЛОСОВ**

Роман Юрия Тынянова<sup>[184]</sup> «Смерть Вазир-Мухтара» подходит как нельзя лучше к размышлениям о корнях большевизма как радикальной идеологии и альтернативном, небольшевистском пути к достойной человека жизни.

Друг Венедикта Ерофеева Владимир Муравьёв свой диплом на филфаке МГУ писал по Тынянову и формалистам. Добавлю к этому его интерес к творчеству Петра Яковлевича Чаадаева и Константина Николаевича Леонтьева<sup>[185]</sup>, двух русских философов и публицистов. Ему принадлежат энциклопедические статьи об этих русских мыслителях, а ещё о различных моделях и проектах идеального общества. Так что собеседником для Венедикта Ерофеева он был лучше не найти.

Для людей со школьными представлениями о русской литературе сам факт дружбы Александра Сергеевича Грибоедова<sup>[186]</sup> с писателями Николаем Ивановичем Гречем<sup>[187]</sup> и Фаддеем Вениаминовичем Булгариным<sup>[188]</sup>, отражённый в романе Юрия Тынянова, выглядел исторически неправдоподобным. Согласно официальной версии, друзья автора «Горе от ума» в русском обществе эпохи Пушкина были фигурами одиозными. Фаддей Булгарин вообще относился к людям нерукопожатным. Роман Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» нанёс ощутимый удар по советскому мифу, созданному ещё в 1920-е годы советскими борзописцами о Грибоедове и декабристах.



Как писал Ленин, декабристы разбудили Герцена. Тот со своим журналом «Колокол» и другими пропагандистскими средствами развернул революционную агитацию, которую подхватили и понесли дальше революционеры-разночинцы. Когда им не хватало слов, они использовали бомбы. Не гнушались в отдельных случаях и револьверами. Понятно, что вскоре грянула буря, и к власти пришли большевики. Затем, как писал уже не Ленин, а эмигрантский поэт и антропософ Николай Николаевич Белоцветов<sup>[189]</sup>, «помимо отмены свободы слова и собраний, были выработаны законы о борьбе с контрреволюцией и законы для защиты существующего строя, с применением самого крайнего террора»<sup>1</sup>. Всю свою ненависть к большевикам и их методам правления высказал Иван Алексеевич Бунин в «Окаянных днях» и в речи, произнесённой 16 февраля 1924 года на вечере в Париже, посвящённом миссии русской эмиграции.

Не за горами маячило время, когда ложь, воровство и подлость будут основным подспорьем для выживания в сложных ситуациях, возникающих при строительстве нового общества.

Вспоминается «Зона. Записки надзирателя» Сергея Довлатова: «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? (Эта цифра фигурировала в закрытых партийных документах). Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента. Разумеется, существует врождённое предрасположение к добру и злу. Более того, есть на свете ангелы и монстры. Святые и злодеи. Но это — редкость. Шекспировский

Яго, как воплощение зла, Мышкин, олицетворяющий добро, — уникальны. Иначе Шекспир не создал бы “Отелло”. В нормальных же случаях, как я убедился, добро и зло — произвольны. Так что, упаси нас Бог от пространственно-временной ситуации, располагающей ко злу... Одни и те же люди выказывают равную способность к злодеянию и добродетели. Какого-нибудь рецидивиста я легко мог представить себе героем войны, диссидентом, защитником угнетённых. И наоборот, герои войны с удивительной лёгкостью растворялись в лагерной массе. <...> Поэтому меня смешит любая категорическая нравственная установка. Человек добр!.. Человек подл!.. Человек человеку — друг, товарищ и брат... Человек человеку — волк... И так далее. Человек человеку... как бы это получше выразиться — *табула раса*. Иначе говоря — всё, что угодно. В зависимости от стечения обстоятельств. Человек способен на всё — дурное и хорошее. Мне грустно, что это так. Поэтому дай нам Бог стойкости и мужества. А ещё лучше — обстоятельств времени и места, располагающих к добру...»<sup>2</sup>

Бывший политзаключённый, писатель Борис Хазанов<sup>[190]</sup>, испытавший порядки ГУЛага на самом себе, высказался на радио «Свобода» более определённо: «...лагерь представляет аномалию, которая стала нормальным образом жизни в Советском Союзе»<sup>3</sup>.

При Сталине новейшая история оказалась откровенно сфальсифицированной. При Брежневе наблюдался некоторый прогресс — проницательные граждане обрели привычку находить истину между строк. Всё чаще и чаще люди проявляли доброту друг к другу. В советском обществе всё ещё оставались нравственные силы, способные противодействовать самоуничтожению великой страны и её народа. Правда

и справедливость ощущались где-то неподалёку. У многих писателей-шестидесятников возникало непреодолимое желание жить по-другому. Потихоньку СССР выходил на осторожный контакт с чуждым ему капиталистическим миром. Впрочем, гуманистическое воздействие христианства, ислама и буддизма на все стороны советской жизни представлялось опасной и несбыточной мечтой.

В то время крупные советские издательства обратились к переизданию романов и повестей отечественных писателей 1920—1930-х годов. Это были произведения как репрессированных писателей, расстрелянных или умерших в лагерях, так и оставшихся на свободе, но ошельмованных партийной критикой. Были и те, кого власть уважала, берегла, но не особенно пропагандировала, а временами прищучивала. Среди последних находился Юрий Тынянов.

Роман Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» непростой, заковыристый. Илья Эренбург относил его к философским сочинениям мировой классики и имел на то серьёзные основания. К тому же это произведение Юрия Тынянова было тематическим продолжением предыдущего романа писателя — «Кюхля». О декабристе Вильгельме Карловиче фон Кюхельбекере<sup>[191]</sup>, близком друге Пушкина. Эти два романа разрушали хрестоматийные образы Александра Грибоедова и Павла Пестеля. Один предстаёт тем, кем он был в официальной жизни — умным царским чиновником, а другой — неудавшимся диктатором, который в случае успеха Восстания декабристов вверх бы страну в неисчислимые беды. Последующим после «Смерти Вазир-Мухтара» стал незавершённый писателем роман «Пушкин». Он заканчивал трилогию.

Известная писательница, литературовед Лидия Яковлевна Гинзбург<sup>[192]</sup> записала в своём дневнике, что Юрий Тынянов в романе «Смерть Вазир-Мухтара» продемонстрировал «неумение видеть и понимать людей»<sup>4</sup>. Она назвала это произведение «удивительным образцом какой-то мелкой гениальности»<sup>5</sup>, посчитав его «скорее истерическим, чем историческим»<sup>6</sup>.

Борис Михайлович Парамонов, философ, эссеист и поэт, придерживается противоположного мнения, называя роман лучшим из книг, появившихся в советской — подсоветской — печати. Он убеждён, что «роман о Грибоедове задуман как притча о пореволюционной русской культурной элите, вынужденной служить большевикам»<sup>7</sup>. По его словам, Тынянов показал эпоху, в которой «не было места прежним лёгким людям».

Я согласен с такой оценкой. Действительно, люди пушкинского круга в жизни были лёгкими, но не гибкими, в отличие от людей нынешних. Лёгкими на подъём и лёгкими в общении с друзьями, которое проходило не только в весёлых и затяжных попойках, но и в беседах. Иногда беседы сопровождались спорами, а споры переходили в столкновения и порой заканчивались дуэлями со смертельным исходом. Умели эти люди быть лёгкими и в обращении с женщинами. Не важно, что они большей частью имели дело с романтическими натурами или особами легкомысленными. Время тогда было необычное — порывистое и хмельное. Оно могло занести куда угодно. Буржуазия тогда делала первые робкие шаги, и в обществе культовые фигуры представляли гусары, действующие быстро, напористо и смело не только на поле брани, но и в более интимной обстановке.

В полушутливой форме об этом старом времени в сопоставлении с нынешним в своём блокноте оставил

запись Венедикт Ерофеев: «Прежде у людей был оплот. Гусар на саблю опирался. Лютер — на Бога, испанка молодая — на балкон. А где теперь у людей опора?»<sup>8</sup>

Поколение этих непосредственных людей исчезало не сразу. Оно умирало долго и мучительно. Чудом уцелевшие его представители иногда неожиданно возникают среди нас, как привидения. Я отношу Венедикта Ерофеева, пусть это не покажется странным, к таким, почти исчезнувшим среди нас «лёгким людям». На их смену пришли азартные игроки, делающие большие ставки и по ходу дела меняющие правила игры в свою пользу.

Уже при жизни автора романа «Смерть Вазир-Мухтара», как утверждает Борис Парамонов в беседе с критиком Александром Генисом, был «вынесен, развеян по ветру прежний русский век, тот самый, который называли Серебряным, насильственно прерван процесс созидания новой русской культуры, уже познавшей свои триумфы»<sup>9</sup>. И приходит к выводу, что роман «Смерть Вазир-Мухтара» — «с ключом» и ключ этот — к нынешним событиям, к новому построссийскому времени. «“Смерть Вазир-Мухтара” — не только и не столько исторический роман о Грибоедове, но главным образом — аллегория советского времени, мёртвой хваткой задавившего русскую культуру»<sup>10</sup>.

Из этого вывода следует, что советская интеллигенция довела этот процесс разрушения до апогея и на корню извела самое себя — традиционный тип русского человека с устойчивыми нравственными убеждениями, а не с расплывчатыми понятиями.

Надежда Яковлевна Мандельштам эталоном понятия *русская интеллигенция* считала российских сельских учителей XIX века, которых больше не существует. Елена Мурина вспоминает: «Нельзя было с ней не согласиться. Действительно, эталон *сельского*

учителя с его жертвенным самоотречением ради служения демократическим идеалам и народу, определявшим его нравственный кодекс, стал достоянием истории, когда интеллигенции была навязана роль *прослойки*, обслуживающей идеологию»".

Филолог Ирина Степановна Скоропалова пишет о том, что означало в России слово «интеллигенция», вошедшее в русский язык в 20—30-е годы XIX века и существовавшее уже в словаре лиц пушкинского круга: «Оно встречается, например, в дневниковой записи В. А. Жуковского от 2 февраля 1936 года. В “Опыте философского словаря” профессора А. И. Галича, где объясняется как “разумный дух” (“высшее сознание”). В Россию слово “интеллигенция”, придуманное О. де Бальзаком, пришло из Франции; во французском же языке тогда не привилось и было заимствовано в дальнейшем из русского для обозначения “класса интеллектуалов”. В России понятие “интеллигенция” изначально ассоциировалось не только с принадлежностью к высшему свету и с европейской образованностью, но и с нравственным образом мыслей и поведением. Оно получает распространение в российском обществе в 60-е гг. XIX в. Благодаря П. Д. Боборыкину, характеризовавшему интеллигенцию как самый образованный, культурный и передовой слой общества»<sup>12</sup>.

У Венедикта Ерофеева в «Записных книжках» есть определение понятия «интеллигенция», которое дал Георгий Петрович Федотов<sup>[193]</sup>, историк, философ, литературовед, которое было ему по душе: «Русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединённые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей»<sup>13</sup>.

Приведу из романа «Смерть Вазир-Мухтара» небольшую часть диалога между декабристом Иваном Григорьевичем Бурцевым<sup>[194]</sup>, либералом из Северного общества декабристов, и Александром Сергеевичем Грибоедовым. Разговор старых товарищей происходит после восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Речь идёт о проекте преобразования Закавказья, разработанном Александром Грибоедовым:

«Бурцев захохотал гортанно, лая. Он ткнул маленьким пальцем почти в грудь Грибоедову.

— Вот, — сказал он хрипло. — Договорились. Вот. А вы крестьян российских сюда бы нагнали, как скот, как негров, как преступников. На нездоровые места, из которых жители бегут в горы от жаров. Где ваши растения колониальные произрастают. Кош-шенель ваша. В скот, в рабов, в преступников мужиков русских обратить хотите. Не позволю! Отвратительно! Стыдитесь! Тысячами — в яму! С детьми! С женщинами! И это вы “Горе от ума” создали!

Он кричал, бил воздух маленьким белым кулаком, брызгал слюною, вскочил с кресла.

Грибоедов тоже встал. Рот его растянулся, оскалился, как у легковесного борца, который ждёт тяжёлого товарища.

— А я не договорил, — сказал он почти спокойно. — Вы бы как мужика освободили? Вы бы хлопотали, а деньги бы плыли. Деньги бы плыли, — говорил он, любясь на ещё ходящие губы Бурцева, который не слушал его. — И сказали бы вы бедному мужику российскому: младшие братья...

Бурцев уже слушал, открыв толстые губы.

— ...временно, только временно не угодно ли вам на барщине поработать? И Кондратий Фёдорович (Рылеев. — А. С.) это назвал бы не крепостным уже состоянием,

но добровольною обязанностью крестьянского сословия. И, верно, гимн бы написал»<sup>14</sup>.

Борис Парамонов подметил одну распространённую особенность в сочинениях советских историков. Его наблюдение можно отнести и к талантливым советским писателям: «Советские историки отнюдь не невежды, это скорее авгуры, говорящие на условном языке, который нельзя понимать буквально. Очень часто они говорят правду — но зашифрованную неким кодом»<sup>15</sup>.

Трудно не согласиться и с другим предостережением критика: «Нельзя делать историю ареной и мотивировкой сегодняшней борьбы, какой бы мастер ни брался за эзопов язык... <...> на нём нельзя сказать простую правду»<sup>16</sup>.

Вернусь к Венедикту Ерофееву. Вот что он сказал на страницах газеты «Московские новости» от 10 декабря 1988 года, отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что советская интеллигенция должна унаследовать лучшие традиции интеллигенции русской: «Понимаю, понимаю, о чём речь. Но это чистейшая болтовня. Чего им наследовать? Советская интеллигенция истребила русскую интеллигенцию, и она ещё претендует на какое-то наследство...»<sup>17</sup>

23 апреля 1990 года, меньше чем за месяц до смерти Венедикта Ерофеева, его навестил главный редактор журнала «Континент» писатель Владимир Максимов. Он и в конце жизни не изменил своё мнение о творческой интеллигенции: «Как можно ругать народ, который погубила интеллигенция, прославляя в книгах и т. д. советскую действительность?»<sup>18</sup>

Венедикт Ерофеев был прав отчасти. Он почему-то пощадил радикальную русскую интеллигенцию начала XX века. Я его понимаю. Ведь тогда ему вообще не на кого было бы опереться. А ведь именно эта интеллигенция по своему недомыслию подготовила



общественное сознание к событиям 1917 года. Вспомним хотя бы дореволюционный журнал «Сатирикон» и его сотрудников, развенчивающих монархический строй в России. Среди них был Саша Чёрный<sup>[195]</sup>, к которому Венедикт Ерофеев относился по-приятельски: «Вместо влюблённости — закадычность». И далее: «С башни Вяч. Иванова не высморкаешься, на трюмо Мирры Лохвицкой не поблюешь. А в компании Саши Чёрного всё это можно: он несерьёзен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова»<sup>19</sup>.

Игорь Авдиев, ближайший друг Венедикта Ерофеева, вспоминает о тетрадях, в которых содержались выписки из различных поэтических сборников: «Одна тетрадь была переполнена “Сатириконом” — Евгений Венский, Иван Козьмич Прутков, Василий Князев, Сергей Горный, Саша Чёрный...»<sup>20</sup>

Коллективные выставки «сатириконцев» обладали такой художественной и политической притягательностью, что публика валила на них валом, а отзывы печати были восторженны до неприличия. Некоторые из этих выставок путешествовали по многим городам, переезжали из Петербурга в Москву, а затем в Харьков, Киев и Одессу. Популярность журнала дошла до того, что в Дворянском собрании устраивались балы «Сатирикона». Все словно сошли с ума. Власть напоминала унтер-офицерскую вдову, которая сама себя ежедневно секла. Умные люди всю силу своего таланта сосредоточили на развенчании авторитета российской монархии, не желая замечать того, что, осуждая проявления деспотизма, подвергают поруганию выработанные в российском обществе на протяжении веков духовные и религиозные ценности.

Лариса Борисовна Вульфина, автор монографии «Неизвестный Ре-Ми: Художник Николай Ремизов. Жизнь, творчество, судьба», пишет: «...дальнейшие трагические события повлияли на взгляды художника и в итоге в буквальном смысле вытолкнули его из России. Ремизов был человеком порядка — ему претил социальный хаос. Вдобавок послеоктябрьский “Сатирикон” кардинально изменил свой формат, став открыто антисоветским — уже летом 1918 года его запретили»<sup>21</sup>.

К дореволюционной русской интеллигенции, не столь политизированной, как «сатириконцы», у Надежды Яковлевны Мандельштам также были свои счёты и претензии: «Наследники идей безрелигиозного гуманизма, они, в сущности, каждый по-своему уходили от христианства — в шопенгауэровский буддизм, в языческие мистерии, в разные виды антропософии и теософии. Даже Соловьёв с его учением о Софии, если вдуматься, искал объединения религии природы с религией духа. Конец XIX века и особенности начала XX знаменуются отходом от христианства и онтологическими спекуляциями, исходной точкой которых является гипертрофированная вера в человека как в существо, одарённое высшим разумом и способное самостоятельно проникнуть в тайну тайн. А собственно, какую тайну может открыть человек, если к самому себе, к человеку, к его истории и обществу он не может подыскать даже ключей, а только с трудом подбирает жалкие, действующие на один раз отмычки? А отсюда неожиданности, которые нам подносит человек и история. Разве все мы не поражены тем, что мы увидели в первой половине XX века?»<sup>22</sup>

Подтвердилась русская пословица «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Дальнейшая судьба многих «сатириконцев» складывалась уже за

пределами их родины. Для художников, в отличие от писателей и актёров, не самым худшим образом.

Сколько талантов из России оказалось за кордоном, этих «серебряно-вековых ребятишек», как называл их Венедикт Ерофеев. Он шпарил наизусть стихи Саши Чёрного, Владислава Ходасевича, Константина Дмитриевича Бальмонта<sup>[196]</sup> и чтимых им Игоря Северянина и Зинаиды Гиппиус. Кто-то из этих талантливых людей уплыл с белыми из Крыма, кто-то ушёл самотёком, кого-то выслали одуревшие и уставшие от крови большевики из ленинской гвардии. Серебряный век продолжил своё существование вне России.

Я вспоминаю недоумённый вопрос ко мне члена-корреспондента АН СССР Георгия Петровича Бердникова<sup>[197]</sup>, с 1977 по 1987 год директора Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. Он спросил меня, зачем я занимаюсь русским литературным зарубежьем. По его представлению, это была смердящая помойка. Для меня его увещевания оставались не более чем сотрясением воздуха. Научным авторитетом наш директор не обладал. Многие в институте знали о его участии в травле крупнейших учёных-филологов Ленинградского государственного университета во время кампании борьбы с космополитизмом. В числе жертв этой кампании оказались Марк Константинович Азадовский<sup>[198]</sup>, Григорий Александрович Гуковский<sup>[199]</sup>, Виктор Максимович Жирмунский<sup>[200]</sup> — настоящие, а не липовые учёные, последние из могикан. Венедикт Ерофеев отметил в блокноте, какие обвинения выдвигались против одного из них: «Громят в 1949 г. Гуковского за идеализацию поэзии Жуковского, “царедворца, врага декабристов, ретрограда и певца

сумеречных, упадочных, христиански-антиреволюционных настроений”»<sup>23</sup>.

На мой нагловатый ответ Г. П. Бердникову, что я занимаюсь русской эмиграцией, потому что мне это интересно, оргвыводов не последовало. Время наступало другое — к власти только что пришёл Горбачёв.

Если дело с русской интеллигенцией обстояло именно так, в чём я, собственно, не сомневаюсь, появился повод порассуждать о декабристах, диссидентах и просто инакомыслящих писателях сталинского и брежневско-андроповского времени, чтобы глубже понять духовные ориентиры героя этой книги и его литературные пристрастия.

Венедикту Ерофееву сумасбродные планы декабристов представлялись проявлением младенческого большевизма. Обещается многое, а на деле часть этого обещанного достигается за счёт того же самого подневольного труда. Не обольщался он и по поводу широты их взглядов и предполагаемых реформ. Чего стоил, например, проект Павла Пестеля по избавлению России от ненужных наций. Этот руководитель Южного общества декабристов опередил на сто с лишним лет Адольфа Гитлера: «По пестелевскому проекту Конституции все два миллиона русских и польских евреев изгоняются из России и основывают своё иудейское царство на берегах Малой Азии»<sup>24</sup>.

К сторонникам монархии автор поэмы «Москва — Петушки» не принадлежал. Однако отношение к декабристам у него было то же самое, что и у некоторых белоэмигрантов, осознавших, что в начале XIX века именно с этих людей начались в России всякие безобразия. В то же время он не считал всех их негодяями. Например, об одном из них сделал запись в

«Записных книжках 1966 года»: «Грибоедов писал Чацкого с декабриста Якушкина, человека возвышенных взглядов и моральной чистоты. Грибоедов был его товарищем по МГУ»<sup>25</sup>.

Собственно говоря, с чего бы это у Венедикта Васильевича могла появиться приязнь к лидерам декабристов? Не после же прочтения известной ленинской статьи о том, кто кого разбудил, которую «проходили» в школе и институте?

В поэме «Москва — Петушки» один из её персонажей назван Венедиктом Ерофеевым Декабристом. Он же «Амур в коверкотовом пальто». Если внимательно проследить реплики этого героя и его рассказы в вагоне электрички во время распития спиртного, нетрудно заметить, что у автора к нему подозрительное отношение. Не *свой* он и для большинства компании. В сущности говоря, от него непонятно чего ждать. Этот человек, как по внешнему виду, так и по демагогическим «правильным» речам и репликам, им произносимым, нарушает душевную расположенность друг к другу выпивающих пассажиров электрички. Декабрист для Венедикта Ерофеева личность явно посторонняя и их компании ненужная. Возникает необходимость его раз и навсегда окоротить, унять его амбиции, а красноречие парализовать с помощью весомых контраргументов.

Полемика развернулась между Черноусым и Декабристом по поводу опасностей, которые возникают в связи с беспробудным пьянством:

«Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал, как бешеный, — всё выпитое подстёгивало его и ударяло в голову, всё ударяло и ударяло... Декабрист в коверкотовом пальто — и тот бросил своего Герцена, подсел к ним ближе и воздел к оратору мутные, сырые глаза...

— И вы смотрите, что получается! Мрак невежества всё сгущается, и обнищание растёт *абсолютно*! Вы Маркса читали? *Абсолютно*! Другими словами, пьют всё больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те ещё как-то добудились Герцена! А теперь — вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьёт не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону — никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..

И так — до наших времён! Вплоть до наших времён! Этот круг, порочный круг бытия — он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжку — я никак не могу разобраться, кто отчего пьёт: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом...

— Стоп! — прервал его декабрист. — А разве нельзя *не пить*? Взять себя в руки — и не пить. Вот тайный советник Гёте, например, совсем не пил.

— Не пил? Совсем? — Черноусый даже привстал и надел берет. — Не может этого быть!

— А вот может. Сумел человек взять себя в руки — и ни грамма не пил...

— Вы имеете в виду Иоганна фон Гёте?

— Да. Я имею в виду Иоганна фон Гёте, который ни грамма не пил.

— Странно... А если б Фридрих Шиллер поднёс бы ему... бокал шампанского?

— Всё равно бы не стал. Взял бы себя в руки — и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. “Помоги ему, Ерофеев, — шепнул я сам себе, — помоги человеку. Ляпни какую-нибудь аллегория или...”

— Так вы говорите: тайный советник Гёте не пил ни грамма? — Я повернулся к декабристу. — А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он — не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки, а почему-то везде остановки, кроме Есина. Почему бы им не остановиться и в Есине? Так вот нет же, пропёрли без остановки. А всё потому, что в Есине нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фрязеве. Да. Идут от самого Есина до самого Храпунова или до самого Фрязева — и там садятся. Потому что всё равно ведь поезд прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гёте, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть “Фауста”, Мефистофель только и делает, что пьёт и угощает буршей и поёт им “Блоху”. Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гёте? Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что — есть свидетельство — он сам был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но к а к бы покончил с собой. И был удовлетворён. Это даже хуже прямого самоубийства, в этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости...

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет — а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит — и он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал — тот тоже: сам не пьёт, боится, что чуть выпьет — и сорвётся, загудит на неделю, на месяц. А нас — так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крикает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый...

Вот так и ваш хвалёный Иоганн фон Гёте! Шиллер ему подносит, а он отказывается — ещё бы! Алкоголик

он был, алкаш он был, ваш тайный советник Иоганн фон Гёте! И руки у него как бы тряслись!..

— Вот это да-а-а... — восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист — широким жестом — вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил её у ног черноусого. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки — до странности возбуждённо...»<sup>26</sup>

Итак, *декабрист* предлагает участникам вагонного застолья брать пример с непьющего тайного советника Иоганна фон Гёте.

В одном из своих блокнотов в связи с вопросом о знаменателе авторской скромности и Льве Толстом Венедикт Ерофеев записывает: «В дневнике (возраст 37 лет) Л. Т. уже имел наглость причислить все свои произведения и даже те, которые он ещё только задумал, к прославленнейшим произведениям мировой литературы» и «то же у Гёте: “Только нищие духом всегда скромны”»<sup>27</sup>.

У Венедикта Ерофеева этот великий немецкий поэт, говоря на языке спецслужб, был в разработке с 1961 года. В одном из его блокнотов приводится невропатологический перечень гениев, начиная с Александра Македонского. Не обошёл Венедикт Васильевич вниманием и Гёте: «Ясно выраженный психопат с хорошей компенсацией. Лёгкая циклофрения. Лёгкие маниакально-депрессивные фазы эндогенного характера. Субманиакальные состояния. По Фрейду, сифилис. Ранк (Отто Ранк (1884—1939), австрийский психоаналитик, ученик и последователь Фрейда): “либидинозная фиксация на сестру, а также на мать”. По Якоби (Карл Виганд Максимилиан Якоби (1775—1858), немецкий психиатр): “все признаки тяжёлой психопатии и приступы депрессии”»<sup>28</sup>.



После такого диагноза трёх медицинских светил задумаешься, кем лучше быть: великим и больным или обычным и здоровым. Судя по приведённым в тетради автора поэмы «Москва — Петушки» диагнозам остальных гениев, они мало чем отличались от Иоганна фон Гёте.

Автор поэмы «Москва — Петушки» проштудировал большое количество медицинских книг и сделал из них сенсационные выписки. Оказалось, что огромное количество исторических лиц страдали различными психическими заболеваниями.

Чтобы понять, насколько неадекватны были эти люди с точки зрения известных психиатров, читателю моей книги для понимания поставленного врачом диагноза по симптомам заболевания необходимо заглянуть в «Медицинской энциклопедией».

Предупредив читателя, продолжу выписки из ерофеевских неизданных блокнотов. Ограничусь пересказом только о знаменитых писателях.

Байрон — психопатия вследствие задержки развития, истерия, депрессивен, невожатан, злоупотребление наркотиками;

Бальзак — мегаломан, психопатическое «беспокойство, гипоманиакальный психопат»;

Бодлер — психопатия, наркомания. По Дюпону, психастения. По Бирнбауму, тяжёлая психопатия. Умер от прогрессирующего паралича;

Уильям Блейк — парафрения, маниакально депрессивен;

Верлен — циркулярный психоз, вырождение, алкоголизм;

Вольтер — астеник. Определённая выраженная психопатия с гипохондрией. Гипохондрический неврастеник;

Гаршин — перечень психозов и неврозов;

Гейне — с 1832 года заболевание центральной нервной системы. К концу жизни — тяжёлая психопатия, морфинист и опиофаг. Расстройство сознания личности. Бульбарный паралич;

Гоголь — психопатия, по Кауссу. Шизофрения, по Геземанну;

Гюго — всего-навсего «чрезмерно повышенная потребность проявления своей личности»;

Данте — «по-видимому, в сильной степени шизондальный психопат» (Ломброзо);

Дидро — тяжёлая психопатия;

Достоевский — эпилепсия. «Истерическое страдание с псевдоэпилептическими припадками» (по Ранку);

Дюма — шизоидия. Шизофренические приступы;

Золя — психопатический невроз с навязчивыми состояниями;

Мольер — ослабленный организм, чувствителен, депрессивен. Подвержен гипохондри и меланхолии. Конвульсии. Психопатия с невротическими и истерическими припадками;

Мюссе — алкогольная психопатия с галлюцинациями. Злоупотребление наркотиками. Сексуальный цинизм;

Петрарка — «определённо выраженная типическая психопатия» (Ломброзо);

Свифт — резко выраженная психопатическая личность. Маниакально-депрессивный психоз. Но: «творчество его — в здоровом состоянии».

Стринберг — меланхолия. Паранойя. Атипическая шизофрения. Или парафрения, протекавшая в различных фазисах;

Толстой — дисгармоническая психопатия. Депрессивная шизоидия. Невроз страха, меланхолия, склонность к суицидальности и мазохизм.

Флобер — истерия, истероневрастения. Эпилептик или истероэпилептик, во всяком случае психоневротик.

Настоящая эпилепсия маловероятна, скорее отдельные припадки аффективной эпилепсии<sup>29</sup>.

Что потянуло Венедикта Ерофеева на подобные разыскания? Любопытство? Вряд ли. Я предполагаю, что его интересовал вопрос, далёкий от медицины. Вопрос сугубо деликатный и достаточно каверзный. Не будут ли эти люди, узнай об их странностях широкая публика, безоговорочно отнесены не к гениям человечества, а к обычным выродкам? То есть получалось, что каждый из гениев уязвим, как никто другой. О чём они сами догадываются и делают всё возможное, чтобы не стать жертвенными баранами. Вот отчего большинство из них приспособливаются к сильным мира сего и молча или вполголоса соглашаются с существующим социальным порядком.

То, что у Венедикта Ерофеева Иоганн Вольфганг Гёте венценосных особ принимает в домашнем халате и тапочках, вовсе не означает, что он таким образом демонстрирует пренебрежение сильным мира сего или возвеличивает себя. Не забудем о присутствии великого немецкого поэта на Эрфуртском конгрессе, который проходил с 25 сентября по 14 октября 1808 года в Тюрингии по желанию Наполеона Бонапарта и при участии Александра I, и его общении с двумя императорами. Там-то он предстал перед ними «при полном параде».

При всём скептическом отношении Венедикта Ерофеева к большинству декабристов он оценил предсмертное письмо одного из них — Кондратия Фёдоровича Рылеева<sup>[201]</sup>, адресованное жене. Это письмо, приведённое в книге Михаила Константиновича Лемке<sup>[202]</sup> «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов», цитировали почти наизусть многие из его ближайшего окружения. Как-никак при достаточно скептическом отношении Венедикта Ерофеева к

декабристам он вряд ли отнёсся безразлично к искреннему раскаянию человека перед казнью. Тем более что этот человек был поэтом. В «Записных книжках 1966 года», как убедился читатель, содержится немало рассуждений о декабристах. Есть в них и запись о предсмертном письме Кондратия Рылеева: «Предсмертное письмо Рылеева жене Наташе начинается так: “Я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить. О, милый друг, как спасительно быть христианином!”»<sup>30</sup>. Позволю себе сделать небольшую поправку: «Письмо Кондратия Рылеева начинается не с этих процитированных Венедиктом Ерофеевым строк».

Вернусь в первую четверть XIX века и обращусь к тексту этого письма. Может быть, оно поможет читателю лучше понять, почему Венедикт Ерофеев не стал диссидентом. Он знал, что любые революционные социально-политические пертурбации, сопровождаемые сломом всего и вся, попранием моральных принципов, ничего хорошего людям не приносили и не принесут.

Итак, письмо Кондратия Рылеева жене:

«Бог и Государь решили участь мою: я должен умереть и умереть смертью позорною. Да будет Его святая воля! Мой милый друг, предайся и ты воле Всемогущего, и Он утешит тебя. За душу мою молись Богу. Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на него, ни на Государя: это будет и безрассудно и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые суды Непостижимого? Я ни разу ни взроптал во время моего заключения, и за то Дух Святой дивно утешал меня. Подивись, мой друг, и в сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. О, милый друг, как спасительно быть христианином, благодарю моего Создателя, что Он меня просветил и что я умираю во

Христе. Это дивное спокойствие поручию, что Творец не оставит ни тебя, ни нашей малютки. Ради Бога не предавайся отчаянью: ищи утешения в религии. Я просил нашего священника посещать тебя. Слушай советов его и поручи ему молиться о душе моей... Ты не оставайся здесь долго, а старайся кончить скорее дела свои и отправиться к почтеннейшей матушке, проси её, чтобы она простила меня; равно всех своих родных проси о том же. Катерине Ивановне и детям её кланяйся и скажи, чтобы они не роптали на меня за М[ихаила] Щ[етровича]: не я его вовлёл в общую беду: он сам это засвидетельствует. Я хотел было просить свидания с тобою; но раздумал, что б не расстроить себя. Молю за тебя и Настиньку и за бедную сестру Бога, и буду всю ночь молиться. С рассветом будет у меня священник, мой друг и благодетель и опять причастит. Настиньку благословляю мысленно Нерукотворным образом Спасителя и поручаю тебе более всего заботиться о воспитании её. Я желал бы, чтобы она была воспитана при тебе. Старайся перелить в неё свои христианские чувства — и она будет щастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни, и когда будет иметь мужа, то ощастливит меня в продолжение восьми лет. Могу ль благодарить тебя словами: они не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за всё. Почтеннейшей Прасковье Васильевне моя душевная искренняя предсмертная благодарность. Прощай! Велят одеваться. Да будет Его святая воля. У меня осталось здесь 530 р. Может быть, отдадут тебе.

Твой истинный друг К. *Рылеев*»<sup>31</sup>.

После цитирования Венедиктом Ерофеевым фрагмента этого письма он делает следующую запись: «Члены Верховного Суда архиереи отказались подписать смертный приговор декабристам: “Поелику

мы духовного сана, то к подписанию оной приступить не можем”. Остальные члены В. Суда — подписали»<sup>32</sup>.

Не по прочтении ли таких исторических документов крепла в Венедикте Ерофееве убеждённость в простой истине, о которой говорил Иосиф Бродский в своей «Нобелевской лекции»: «Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека реальность этическую. Ибо эстетика — мать этики; понятия “хорошо и плохо” — понятия прежде всего эстетические, предваряющие понятия “добра и зла”»<sup>33</sup>.

Венедикт Ерофеев не был ни борцом, ни просветителем. Он представлял собой писателя-одиночку. А каким ещё может быть писатель? Я не знаю, в чём, кроме чтения книг и узнавания людей, он был по-настоящему заинтересован. При всей демократичности своего языка и стиля жизни он никогда не был на «вась-вась» со своими товарищами-работягами. Не ставил себя выше их, не заносился перед ними, но и не пытался опроститься в их компании даже во время совместных попок.

Само писательство для Венедикта Ерофеева возникло как следствие его желания знать о жизни как можно больше. Ему захотелось разобраться самому, что в ней хорошо, а что невообразимо плохо. Как в стихотворении Владимира Маяковского: «Кроха сын к отцу пришёл / и спросила кроха...»

Вопросы, надо отметить, у Венедикта Ерофеева были более чем каверзные, и прямые на них ответы попадали под статьи Уголовного кодекса. А отвечающий на них его мыслящий и честный отец, который к этому времени уже умер, вовлёк бы сына в преступный сговор и получил бы вместе с ним новый срок. Вот и всё различие между вопросами сына и нравоучениями отца из стихотворения Владимира Маяковского. Недаром пришлось ему обратиться к опыту многих классиков

мировой литературы, чтобы описать и понять общество, в котором он живёт и от которого по мере своих сил и возможностей духовно спасается. Именно в этом, а не в чём-либо ином было его отличие от многих русских писателей-правдолюбцев, его современников.

## **Глава тринадцатая ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОКОСНЕНИЮ И ЗАТМЕНИЮ ДУШИ**

Термин *постмодернизм*, или *поставангард*, вряд ли пришёлся бы по вкусу Венедикту Ерофееву. Не любил он современной литературоведческой схоластики. Другое дело, что его заинтересовал структуралистский анализ художественного текста, предложенный Юрием Михайловичем Лотманом<sup>[203]</sup>, известным филологом, культурологом, основоположником тартуско-семиотической школы. Сказалось, по-видимому, пристрастие Венедикта Ерофеева к систематизации. Однако в истинный восторг его приводили работы Юрия Лотмана по русской литературе и культуре. Да и кто тогда из любознательных людей не смотрел по телевизору его «Беседы о русской культуре».

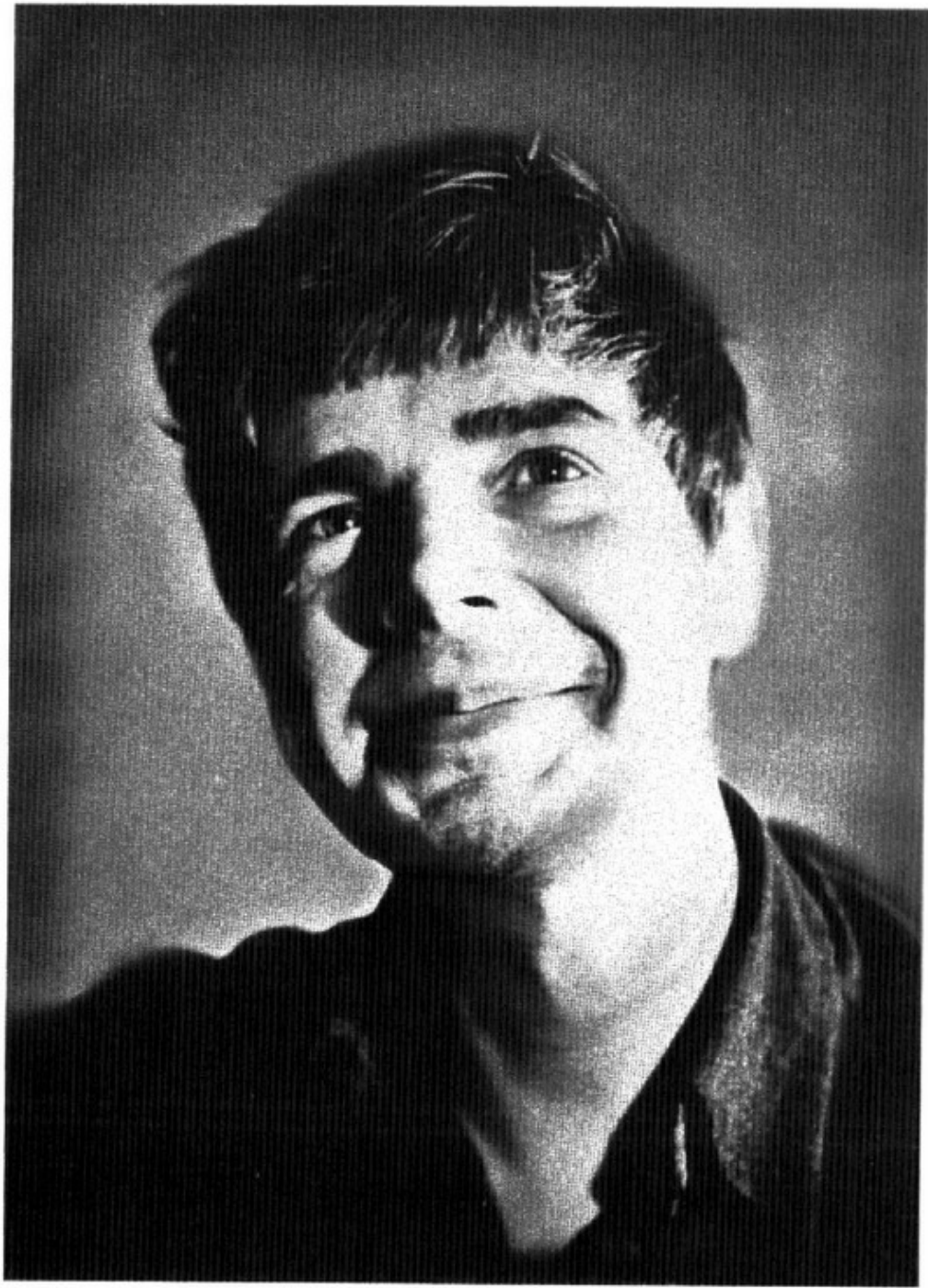
Известна реакция Венедикта Ерофеева на непочтительное высказывание одного из его приятелей о Лотмане: «Молчи! В одном его усе больше *ума и печали* (курсив мой. — Л. С.), чем во всём, что ты сказал и подумал за всю твою жизнь»<sup>1</sup>. Юрий Михайлович также не давал в обиду Венедикта Васильевича. На заявление выдающегося литературоведа, стиховеда, историка античной литературы Михаила Леоновича Гаспарова<sup>[204]</sup>, что неприлично восторгаться автором поэмы «Москва — Петушки», ведь тот жуткий антисемит, он мгновенно отреагировал: «Личная жизнь писателей меня не интересует»<sup>2</sup>.

С умными людьми всегда приятно общаться. Ну, кто мне на это возразит?



Известный искусствовед и историк культуры Виль Борисович Мириманов<sup>[205]</sup> в давнем со мной разговоре был убеждён, что новые направления в искусстве рождаются из искусства, а не из жизни: «Таким образом, то, что называется авангардом, рождается не из чего иного, как от соприкосновения с другим искусством, а не с тем, что в данное время заполняет всё официальное пространство культуры. Вот так и течёт небольшой ручеёк, который “вытекает” из искусства, а не только из свободы духа, которая, конечно, присутствует и воздействует, но всё-таки этот ручеёк своим истоком восходит к определённой поэтической традиции. Когда в отношении изобразительного искусства были чуть-чуть ослаблены идеологические путы, я пришёл в “Манеж” на очередную выставку и всё понял. Я увидел, что возродилась традиция, которая стыкуется с тем периодом, когда развитие нашего искусства было с помощью насилия остановлено, а именно с концом 20-х годов. Я думаю, что это справедливо и по отношению к поэзии. Для нас, живших в запертом мире конца 40-х и начала 50-х годов, всегда существовал необыкновенно прекрасный материк культуры, который находился за запретной чертой. Эту черту даже мысленно было запрещено пересекать. Но мир этот был по-настоящему прекрасен, и он-то был миром человеческой культуры. Насыщенным, заполненным, живым миром. Иными словами, появилось полное осознание того, что мы живём в мире эрзаца. Думаю, что это ощущение в той или иной мере было знакомо каждому советскому человеку. И тому, кто создавал эту эрзац-культуру, и тому, кто её потреблял, потому что человек не может даже по велению самой мощной тоталитарной власти превратиться в свою противоположность. Он всё равно остаётся человеком, хотя глубоко спрятавшимся в свою

раковину. Точкой опоры, которую я обрёл, была русская поэзия начала века»<sup>3</sup>.

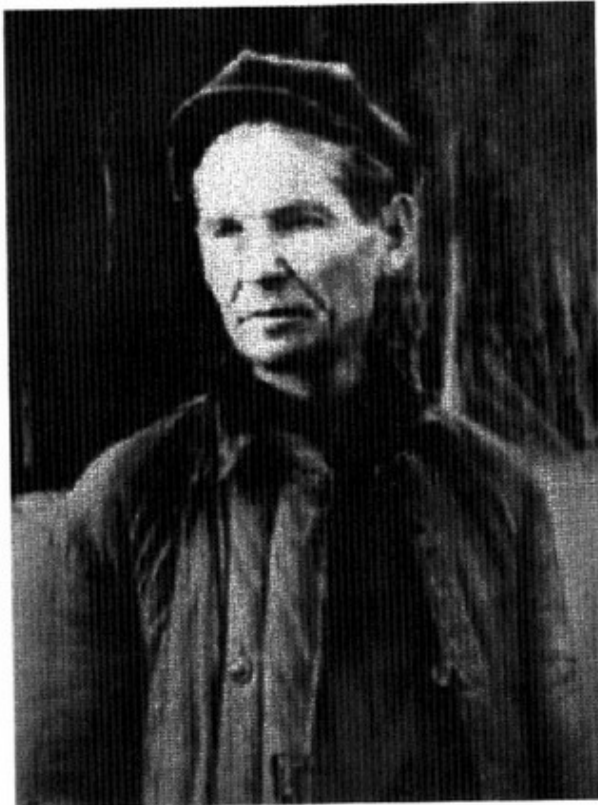


Ерогеев





Анна Андреевна  
и Василий Васильевич  
Ерофеевы, родители  
писателя







Станция Хибин  
Октябрьской железной  
дороги, место службы  
Василия Васильевича  
Ерофеева



Вена, Нина и Боря  
Ерофеевы.  
Остановка в Москве  
по пути в Елшанку.  
*Апрель 1941 г.*





Школьник Вена Ерофеев



Первокурсник  
филологического факультета  
МГУ Венедикт Ерофеев  
с братом Борисом.  
*Кировск. Мурманская область.  
1956 г.*







Неповторимая природа Кольского полуострова. Вид на озеро Имандра

Анна Андреевна Ерофеева (сидит слева) с дочерью Тamarой (стоит слева), невесткой Фаинной (в платке), женой старшего сына Юрия, внучкой Мариной (на руках у Фаины) и сыновьями Венедиктом (сидит справа) и Борисом (стоит справа). *Кировск. 1956 г.*







Владимир Муравьев,  
сокурсник Венедикта  
Ерофеева на филфаке  
МГУ, впоследствии  
писатель и переводчик.  
*1950-е гг.*



Литературовед Ирина  
Игнатьевна Муравьева,  
мать Владимира Сергеевича  
Муравьева,  
с мужем, философом  
Григорием Соломоновичем  
Померанцем





С друзьями-однокурсниками по МГУ — Владимиром Муравьевым (слева) и Львом Кобяковым. *Абрамцево. 1989 г.*



Лев Андреевич Кобяков с женой Риммой Владимировной Выговской, сделавшей первые машинописные экземпляры поэмы «Москва — Петушки»







«Он появился...  
в долгополом темном  
пальто»

Здание  
Орехово-Зуевского  
педагогического  
института, бывшая  
богательня  
им. Т. С. Морозова.  
*Современный вид*





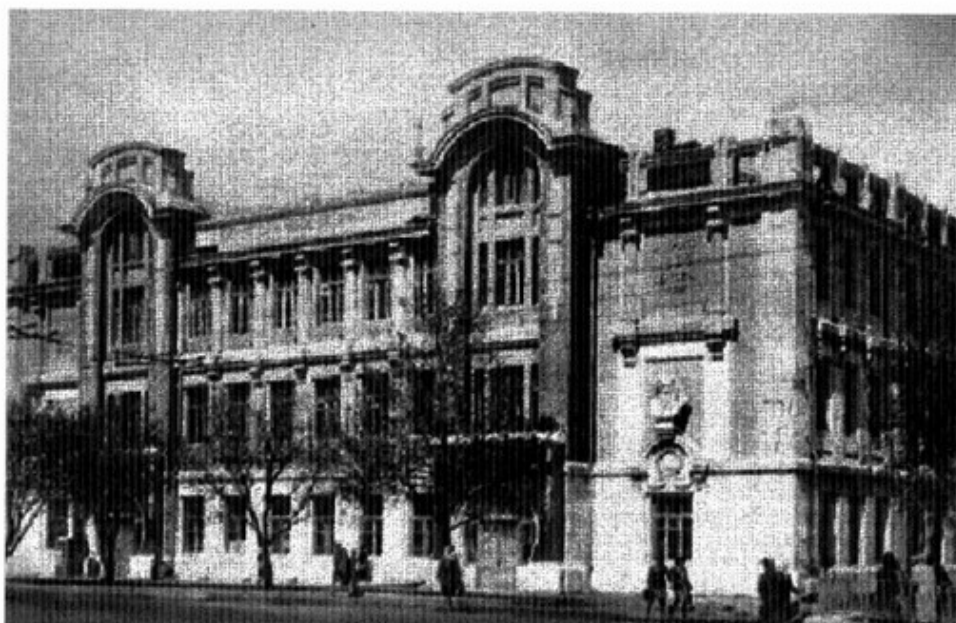
Юлия Рунова —  
студентка  
химико-биологического  
факультета ОЗПИ.  
1958—1963 гг.



Валентина Еселёва —  
студентка  
химико-биологического  
факультета ОЗПИ  
(с 1958 по 1963 год),  
подруга Юлии Руновой.  
2001 г.







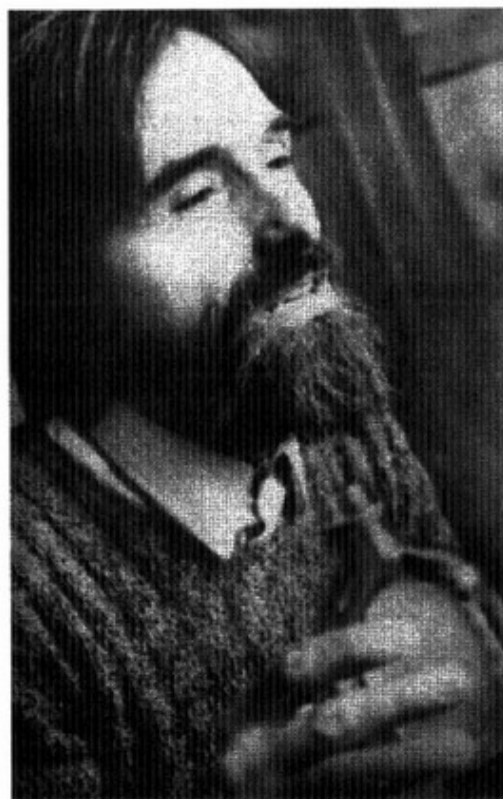
Здание Владимирского государственного педагогического института им. П. И. Лебедева-Полянского. *Современный вид*

Декан филологического факультета ВГПИ им. П. И. Лебедева-Полянского Раиса Лазаревна Засьма (слева) и Игорь Иванович Дудкин, преподаватель марксизма-ленинизма в том же вузе





Владимирцы: сверху —  
Вадим Тихонов (1950-е гг.),  
внизу — Борис Сорокин  
и Игорь Авдиев (1970-е гг.)









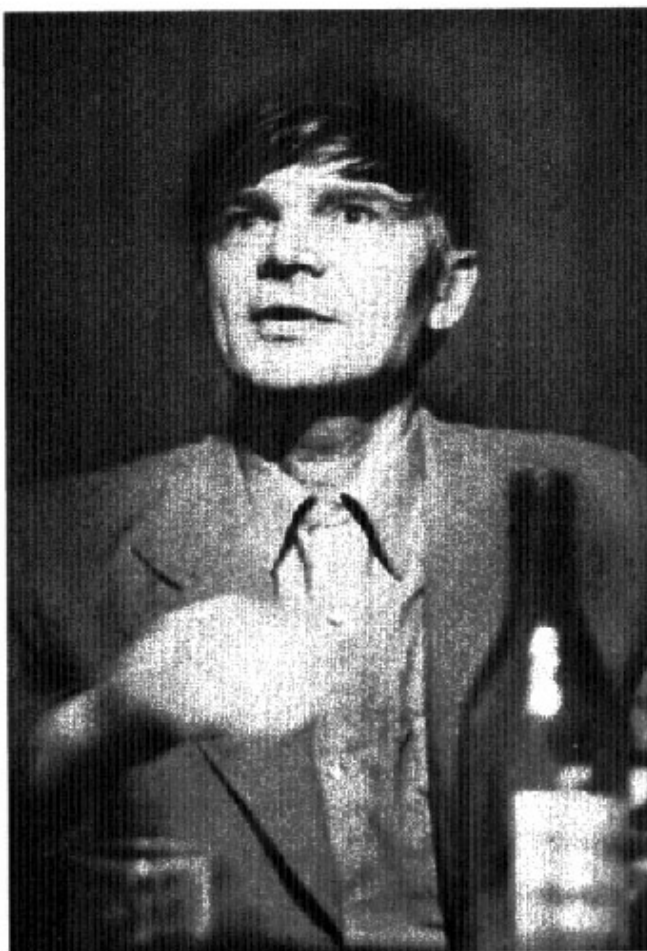
Валентина Ерофеева  
(Зимакова) с сыном  
Вендиктом. 1967 г.  
Мышино. Владимирская  
область, Петушинский  
район. Фото В. Ерофеева

Дом Зимаковых  
в Мышине





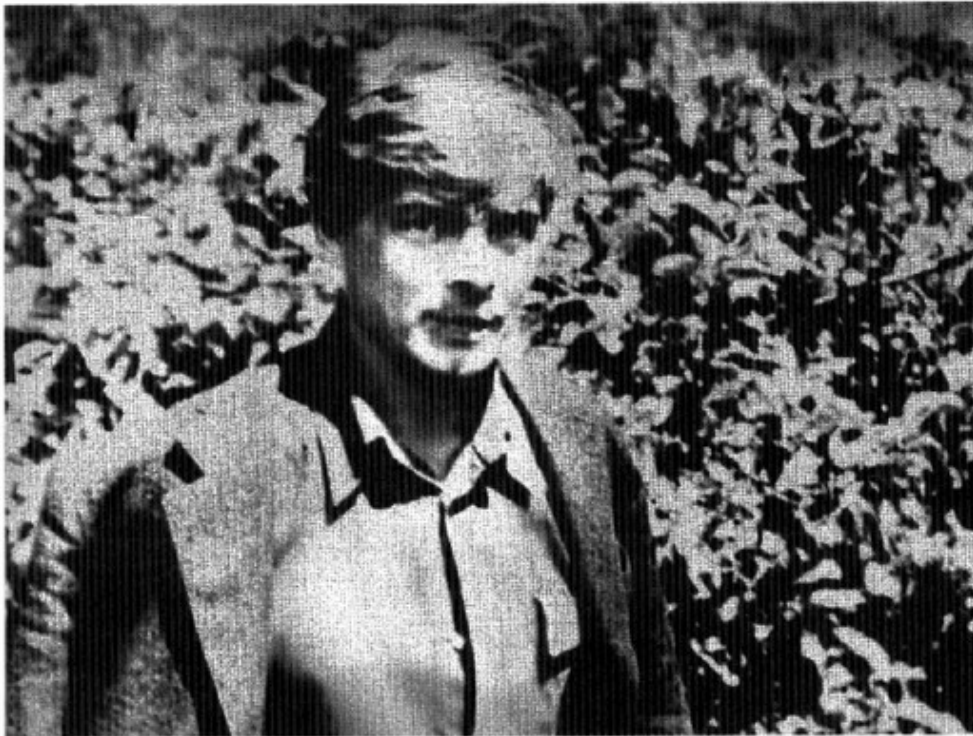
Муж и отец...



Валентина Васильевна  
Зимакова  
и Анна Андреевна  
Ерофеева  
с Веней-младшим.  
1967 г.  
*Фото В. Ерофеева*





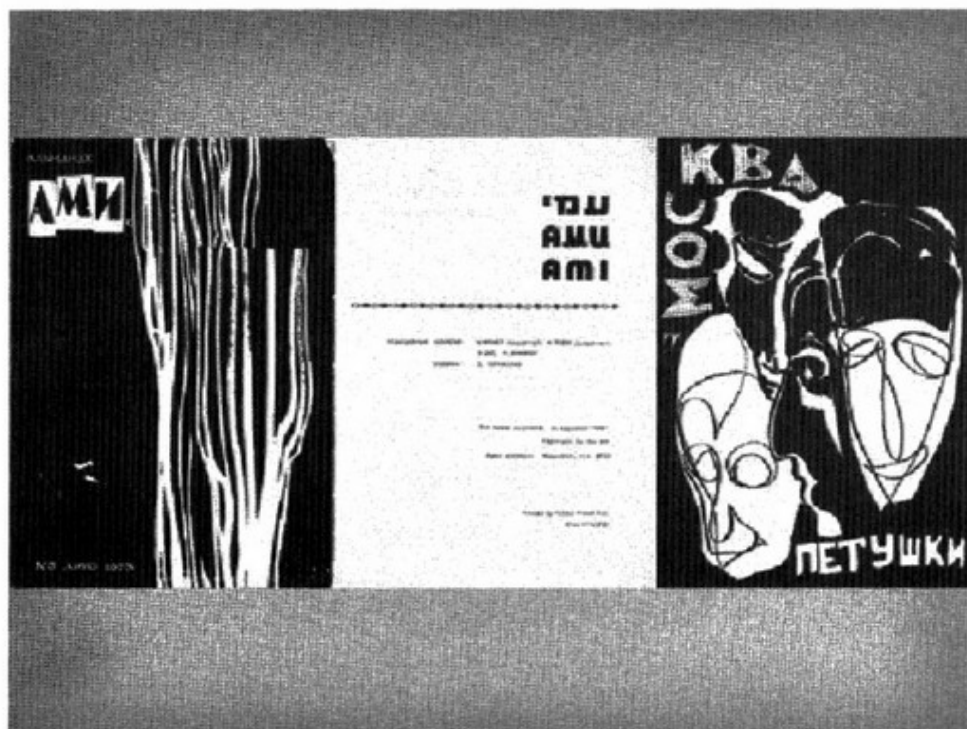


Венедикт Ерофеев в Царицыне. *Москва. 1973 г.*

Беседа с другом, культурологом Игорем Ярославовичем Авдеевым.  
*1980-е гг.*







Русскоязычный израильский журнал «Ами» № 3 за 1973 год с первой публикацией поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»

Памятник героям поэмы «Москва — Петушки» в Москве. Скульпторы Ю. Кузнецов и С. Манцелев. 2000 г. Современный вид









Венедикт Васильевич Ерофеев — вверху (1980-е гг.) и его единственный сын Венедикт Венедиктович Ерофеев — внизу (1990-е гг.)



В СССР появились «другая литература» и «другое искусство». Квартирные литературные посиделки сменились выступлениями поэтов у памятника Владимиру Маяковскому в Москве. Вот что вспоминала об этом поэт Алёна Басилова: «Я любила кормить голубей на площади Маяковского, ведь я жила неподалёку на Садово-Каретной улице. Я кормила голубей у памятника Маяковскому, и то ли толпа меня увлекла, то ли сама заинтересовалась, но я оказалась в самом центре происходящих событий. Вокруг памятника кишмя кишели люди, постоянно что-то читали. И я вдруг увидела Юрия Галанскова (1939—1972). Он читал “Человеческий манифест”, это было в духе Маяковского. У него была политическая поэзия, немножко наивная. Когда он прочитал “Человеческий манифест”, начались какие-то странные вещи. Его схватили люди в штатском и вытащили из толпы. Потом передали в руки милиционеров. А потом какие-то дружинники его куда-то повели. Если бы я не слышала стихов, я не обратила бы никакого внимания. Но поскольку я увидела, что руки выкручивают поэту, я, естественно, стала возмущаться. И тогда мне также стали выкручивать руки. Вот так вместе с Юрой Галансковым я попала в какой-то тайный штаб оперативного отряда. И тут на моих глазах его стали избивать, били головой о стену, ногами в живот, кричали: “Сволочь! Ты будешь писать стихи?” И он кричал им в ответ: “Буду!” На меня его избиение произвело страшное впечатление. Я долгое время не могла прийти в себя. На Маяковке я ещё познакомилась с Толей Щукиным (1940—2012), стихи которого мне очень понравились. Потом познакомилась с Володей Ковшиным, Мишей Капланом (1943—1988). Всех этих людей всегда сопровождал Коля Котрелёв, самый образованный из всех, кого я там встречала»<sup>4</sup>.

Несанкционированной была и так называемая Бульдозерная выставка, организованная 15 сентября 1974 года художниками-нонконформистами на московской окраине в Беляеве, на пересечении улиц Островитянова и Профсоюзной. Её организатором считается Оскар Яковлевич Рабин. Власть не придумала ничего глупее, как в то же самое время на пустыре, где художники предполагали разместить на подрамниках свои картины, устроить посадку саженцев деревьев, в связи с чем была подтянута тяжёлая техника. Кто-то из художников повис на ковше бульдозера, и его протащили почти через весь пустырь. Смех и слёзы! Событие это заняло несколько минут, но прогремело на весь мир. Это был впечатляющий вызов художников репрессивному режиму.

Через две недели, 29 сентября 1974 года, власть пошла на уступки и разрешила проведение четырёхчасовой выставки на открытом воздухе в Измайловском парке. Здравый смысл впервые победил идиотизм советской идеологии и взял под сомнение взгляд на советскую культуру как на идеологическое оружие. Ведь она должна была соответствовать идеалам партийности, то есть неукоснительно следовать загадочному методу социалистического реализма и от него ни на йоту не отступать.

Предлагаю считать 29 сентября 1974 года датой восстановления в законных правах советского авангардного искусства и отмечать этот день как общенациональный праздник, сделав все музеи современного искусства в России бесплатными для посещения.

Венедикт Ерофеев хорошо знал Оскара Яковлевича. Их познакомил поэт Генрих Сапгир. Он не раз встречался с этим выдающимся художником и замечательным человеком, одним из лидеров неофициального искусства в СССР, дома у Леонида

Ефимовича Пинского, а также неоднократно посещал его в Лианозове.

У Оскара Яковлевича Рабина и Венедикта Васильевича Ерофеева много общего в манере письма. Тут не важно, что один был живописец, а другой — писатель. Эта близость объясняется тем, что им обоим импонировал духовный опыт восточных мудрецов. Он был созвучен их восприятию жизни: научиться доверять собственным глазам, то есть увидеть суть изображаемого объекта (самое сложное есть самое простое) и именно её перевести на тот художественный язык, который каждый из них использовал.

Подкреплю своё утверждение углублёнными рассуждениями на эту тему Аркадия Неделя. Он изложил их в монографии «Оскар Рабин. Нарисованная жизнь»: «Рабин остаётся с повседневностью. Он рисует, что видит, как ребёнок. Дома, улицы, помойки, людей, кошек и т. п. Это его устраивает, но чем дальше, тем меньше. Он чувствует, что повторяется. Одинаковые мотивы, похожие ощущения, цвета и эмоции. Его глаз требует перемен, но какого рода? Он понимает, что начать надо с себя, с собственной техники письма. Объект не важен. Как и философия, искусство может взять мир в скобки, оставив для себя самое главное — *essential mundi*. (лат. сущность мира. — А. С.). Об этом размышляли все: и Леонардо да Винчи, и Ши-тао (настоящее имя Жу Жоцзи; 1642 — 1707 — китайский художник династии Цин, каллиграф, садовый мастер, теоретик живописи. Его псевдоним буквально значит «Окаменевшая волна». Глубоко воспринял принципы дзен-буддизма и даосизма. — А. С.), и многие другие. Так, в Китае танский поэт Ван Вэй своим трактатом «Тайна живописи» кладёт начало философской рефлексии о том, как рисовать очевидное — то, что находится у тебя перед глазами. В даосской теории живописи/каллиграфии (ти ба), идущей от самого «Дао

дэ цзина”, именно сие очевидное предстаёт самой большой загадкой. “Есть” (дао) — путь, охватывающий собой всё, включая видимое и видящего; “есть” (миао) — трудноуловимая сущность пути, без схватывания которой художник и картина не сбываются. Чтобы это произошло, взгляд должен стать непредвзятым, незаинтересованным или, проще, детским. Любопытно, что иероглиф (зи) означает и мудреца, и ребёнка. В “Дао дэ цзине” описывается такое состояние “ребячества”, детского отношения к миру как совершенная мудрость, как мастерство. <...> Художник живёт и не живёт в этом мире; он не отвлекается на мирские дразги, не растрчивает силы на проходящее, не мутит воду — художник учится у природы. Он даёт своему духу сойтись с ней, набраться от неё естественности. <...> Но искусство — это не слепое подражание (ещё цзиньские мастера соединили его с мистикой и мудростью, — с иероглифом, — дабы одно помогало другому постичь тайну вечного), а *содействие* природе. Художник ей не раб, а ученик; помимо прочего, он учится у неё точности»<sup>5</sup>.

Возвращаясь к предыстории гонений в СССР на так называемую авангардную культуру, восстановлю точную дату, когда эта инициатива отдельных критиков превратилась в партийную и, соответственно, общегосударственную доктрину, — 28 января 1936 года. Именно в этот день газета «Правда» опубликовала статью под впечатляющим заголовком «Сумбур вместо музыки» с подзаголовком «Об опере “Леди Макбет Мценского уезда”». Напомню, что это опера Дмитрия Шостаковича.

Процитирую небольшой отрывок из этой статьи: «Это музыка, умышленно сделанная “шиворот-навыорот”, — так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с

симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью. Это музыка, которая построена по тому же принципу отрицания оперы, по какому левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова. Это — перенесение в оперу, в музыку наиболее отрицательных черт “мейерхольдовщины” в умноженном виде. Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приёмами дешёвых оригинальничаний. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо»<sup>6</sup>.

В то время даже идиот из идиотов понимал, что означает это предупреждение с использованием наречия меры и степени *очень*. И действительно, кончалось *очень плохо* для тех, кто либо по недомыслию своему, либо по простоте душевной чего-то в этом предостережении недопонял.

Венедикт Ерофеев в одном из блокнотов 1975 года вспоминает *мантру* поэта Александра Ильича Безыменского [\[206\]](#) на ту же тему:

Лишь был бы зорким наш партийный взгляд,  
Лишь был бы ясным наш партийный разум<sup>7</sup>.

Было чего просить у высших сил. У первых лиц государства к этому времени взгляд был уже слегка мутноватым, а разум вообще превращался в куриный и склеротический. Я был знаком с Александром Безыменским. В РСДРП(б) он вступил до октябрьского переворота, был участником восстания в Петрограде.

Помню, как в дружеской компании он с гордостью рассказывал, что ему пришлось пережить на своём веку многое: от рукоплесканий делегатов XVI съезда ВКП(б), на котором он выступил с речью в стихах, и до исключения из партии. Так и жил — как на качелях. Человеком он был сообразительным, всё происходящее понимал и знал, как себя вести на крутых поворотах истории. Вот потому-то и делился накопленным опытом с молодым поколением поэтов и художников. Кого-то из них даже воспитал в своём духе, и эти люди, мои одногодки, были ему благодарны вплоть до коренных изменений в России после августа 1991 года.

Известная в кругах московских нонконформистов талантливая писательница Зана Николаевна Плавинская<sup>[207]</sup>, говоря о художниках-шестидесятниках Владимире Павловиче Пятницком<sup>[208]</sup>, Анатолии Тимофеевиче Звереве<sup>[209]</sup>, Александре Васильевиче Харитонове<sup>[210]</sup>, Дмитрие Петровиче Плавинском<sup>[211]</sup>, Вячеславе Васильевиче Калинине, приписывала их «к разновидности русских романтиков, парящих на крыльях зелёного змия»<sup>8</sup>.

Зана Николаевна с пониманием обрисовывала создавшуюся ситуацию несвободы: этих художников душил в своих объятиях, словно спрут, «социалистический реализм», — не существующий в жизни, но ловко управляющий всеми девятью музами громадной утопической страны». Свою веру в победу свободного искусства она вкладывала в почти священную мантру: «В искусстве достигает цели тот, кто идёт по канату через пропасть, а те, кто выбирает бульвар, — ломают себе шею»<sup>9</sup>. И ещё на одну важную особенность психологии нескольких своих друзей-художников обратила внимание Зана Плавинская: «Ни Зверев, ни Харитонов, ни Плавинский, ни Калинин не понесли свои холсты на “Бульдозерную выставку”. Их

можно было бы заподозрить в трусости, в лучшем случае в осторожности, но главная причина — проста: они были свободны от политики»<sup>10</sup>.

Все они были, как и Венедикт Ерофеев, одинокими волками, избегающими опять оказаться в волчьей стае. К счастью для себя, в такую стаю Венедикт Ерофеев не входил и даже не стремился плотно общаться, как увидим, со сплотившимися в группу политически настроенными художниками, вскоре уехавшими из СССР. Спорадические с ними контакты его вполне устраивали.

Он познакомился с помощью Натальи Шмельковой с теми из этих художников, кого он ещё не знал.

Наталья Шмелькова вспоминает одну из таких встреч с Венедиктом Ерофеевым в июне 1987 года в квартирном салоне Наташи Бабасян по случаю чтения «Вальпургиевой ночи» профессиональным артистом из Театра им. К. С. Станиславского: «Являемся. Квартира набита народом. Из знакомых мне — художники Таня Киселёва, Саша Москаленко и с букетом роз для Венички филолог Зана Плавинская. Она уже как-то встречалась с Ерофеевым на квартире Славы Льна (Вячеслав Константинович Епишин, поэт, друг и сотрапезник В. В. Ерофеева. — А. С.), где часто собирались литераторы и художники, читались по кругу стихи и проза. Зана рассказывала, что, когда очередь дошла до неё, она прочла оду “Бог” Державина. Сидевший особняком и тихо попивавший свой персональный коньяк Ерофеев вдруг произнёс: “Какие девушки в Москве бывают. Державина читают наизусть”, — и почтительно поцеловал ей руку. Больше она его не видела и в этот вечер так и не поняла, вспомнил ли он её».

Игорь Авдиев, близкий друг и единомышленник Венедикта Ерофеева, не считает это «почтительное



целование руки» соблюдением только правил этикета. Оно означало нечто большее — проявление глубокого уважения к Зане Плавинской: «О, как много говорит этот жест тем, кто хорошо знал Веничку! Такое искреннее проявление чувств — при всех! (Я думаю, что Веничка и в церковь-то ходил так редко, чтобы при всех священнику руку не целовать)»<sup>12</sup>.

Позднее Зана Плавинская написала и на собственные средства издала книгу-альбом «Венедикт Ерофеев. Владимир Пятницкий».

Венедикт Ерофеев предпочитал одиночество. Оно было ему не в тягость. В этом состоянии он отвечал только за одного себя. Одиночество Венедикта Ерофеева не было отчаянным или угнетающим, как, например, у Иосифа Сталина. Оно всегда приносило ему вдохновение. Поэтому для его одиночества вполне уместно определение «вдохновляющее». К несчастью, судьба редко отличается щедростью к писателям и не всегда одаривает их вдохновляющим одиночеством. Чаще всего она преподносит им одиночество унылое, сопровождаемое творческими муками, а также обильными возлияниями. Стоит вспомнить Сергея Довлатова, сказавшего о своей жизни: «Чего другого, а вот одиночества хватает. Деньги, скажем, у меня быстро кончаются, одиночество — никогда...»<sup>13</sup>

Одиночество и свобода для Венедикта Ерофеева были понятиями синонимичными. Унылое одиночество со свободой не сопрягается. Оно при всей своей удручающей тоске всегда алчет лучшего — вдохновляющих импульсов извне.

В те ещё недавние годы доверительные, «тёплые» отношения между умными и образованными людьми из преподавательской или академической среды устанавливались чрезвычайно редко. Неформально общались друг с другом преимущественно те, кто был

знаком чуть ли не с малых лет, живя в одной коммуналке, или те, кто вместе учился, или те, кто ходил в какой-то один кружок в Доме пионеров или сызмальства занимался спортом.

Особенно отличались церемониальной чопорностью, кастовой холодностью, дефицитом доброжелательства литературоведы и критики, занимавшиеся современной советской литературой. Недаром Осип Мандельштам ещё в 1930-е годы отозвался об этой академической интеллигенции с обезоруживающей откровенностью: «Все они продажные...»<sup>14</sup>

Большевики, как известно, были людьми дела и превратили мечту утопистов в быль. При воспоминании о том, какой ценой эта быль создавалась, некоторые впечатлительные люди умирали от инсультов и инфарктов.

Венедикт Ерофеев понимал, в какой стране родился и живёт. СССР был для него мессианской державой, подорвавшей силы в бесплодных попытках превратить весь мир в коммунистическое братство.

Автор поэмы «Москва — Петушки» вплоть до горбачёвской перестройки сторонился молодых литераторов, членов Союза писателей СССР. Знал, что от общения с ними пользы будет с гулькин нос, куда больше неприятностей. Имея дело с немногими из них, он неоднократно попадал впросак.

1950-е годы оглушали нас своей противоречивостью. С одной стороны, по стране прошла широкая волна политических реабилитаций, а с другой — новые политические аресты по доносам осведомителей.

Об этом времени у Венедикта Ерофеева есть запись в дневнике: «В промежуточных, в 50-х годах в ходу была песня: “Посмотришь на часы — как будто рассвело. Посмотришь за окно — ещё не рассветало”»<sup>15</sup>.

Известный журналист и писатель Александр Сергеевич Поливанов обращает внимание на одну особенность личности писателя: «Он ни разу в своей жизни не пытается опубликовать произведения в официальной печати. Для него как будто не существует ни “Нового мира”, ни “Октября”, ни других журналов, нет Союза писателей, нет официальных наград, нет самого статуса — советский писатель»<sup>16</sup>.

Печальнее всего другое. Уже написав поэму «Москва — Петушки» и получив некоторую всероссийскую известность в самиздате, Венедикт Ерофеев не вызвал к себе как писатель интереса со стороны большинства культовых фигур своего времени. Большая часть этих людей воспринимала поэму «Москва — Петушки», как радикальный политик и американист Сергей Станкевич, с чисто прагматической позиции — «больной предсмертный бред советской империи, помиравшей на наших глазах»<sup>17</sup>. Станкевич в своей оценке поэмы не был одинок.

Свидетельствует Александр Витальевич Гордон, свояк режиссёра Андрея Арсеньевича Тарковского<sup>[212]</sup>: «Я решил показать Андрею самиздатовскую повесть Венедикта Ерофеева “Москва — Петушки”. Дали мне её прочесть на сутки, и я сделал закладки на смешных страницах, в частности на рецептах приготовления коктейлей, таких как “Слеза комсомолки”, “Ханаанский бальзам”, “Сучий потрох”, и тому подобное. Хотел отвлечь или развлечь Андрея. Андрей полистал, бегло пробежался по некоторым строчкам и вернул мне книгу, без комментариев. Только слегка улыбнулся. Знаю, мол, есть такой автор Венечка Ерофеев — большой пьяница. Венечка был в это время в моде, а Андрей моды не любил»<sup>18</sup>.

Как написал Венедикт Ерофеев в своей тетрадке: «И чего из себя воображает? Прямо не человек, а букет

цветов из Ниццы»<sup>19</sup>.

К этому мне, собственно говоря, нечего добавить. Стеснителен и горд по натуре был Венедикт Васильевич, и не мог он позвонить кому-нибудь из известных и великих и сказать в трубку задушевым голосом, как поэт Леонид Губанов поэту Ольге Седаковой: «Лелька! Когда же мы поговорим запросто, как гений с гением? То есть тет-а-тет?»<sup>20</sup> Чего-чего, а вот развязности и наглости в Венедикте Ерофееве отродясь не было.

Но судьба всё-таки благоволила ему. Для общения оставались влюблённые в него женщины, а также круг друзей, сильно расширившийся после публикации поэмы «Москва — Петушки» на Западе. В этот круг входили несколько писателей, намного больше художников и учёных, а также просто хорошие люди.

Закончу эту главу небольшим отрывком из поэмы «Москва — Петушки»: «А я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжёлого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окоснение души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой — меньше. И на кого как действует: один смеётся в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только ещё начинает тошнить. А я — что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счёт и последовательность, — я трезвее в этом мире; на меня просто туго действует... “Почему же ты молчишь?” — спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну, что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...»<sup>21</sup>

## **Глава четырнадцатая** **НЕ ОШИБИТЬСЯ БЫ В РЕЦЕПТАХ**

Глядя в прошлое, понимаешь, какая деформация в мозгах произошла у советской творческой интеллигенции, сплюсненной прессом идеологической цензуры и репрессивной деятельностью ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ. Её определённая часть лишилась духовной самостоятельности. Однако оставались и другие. Они, как пел Владимир Высоцкий, шли, пока были живы, «по-над пропастью, по самому по краю».

В советской науке и культуре 1950-х годов уцелели те учёные, художники и писатели, у кого интеллект и нравственность составляли одно целое. Для них ум и талант не были средством выбиться в люди и сделать карьеру, а оставались могучей силой, способной защитить и от психологии толпы, и определиться с собственным убежищем в строго конформистском и сословном советском обществе. В этой борьбе за личную свободу, за «самостоянье» существовало, впрочем, искушение: впасть в гордыню, обособиться от людей и оказаться в самоизоляции. О такой опасности предупреждал философ Иван Александрович Ильин. Стоит прислушаться к его пониманию личной свободы: «...чувство собственного духовного достоинства — это не самомнение, не самоуверенность, не тщеславие и не гордость, а именно чувство собственного достоинства, в котором уважение к своему духу есть в то же самое время смирение перед лицом Божиим; это предметная уверенность, доведённая до очевидности, до убеждения, до основы личной жизни...»<sup>1</sup>

Ирма Викторовна Кудрова, выдающаяся исследовательница творчества Марины Цветаевой,

называет, исходя из собственного опыта, а также используя формулировки Джорджа Оруэлла в романе «1984», основные положения нового вероучения советского человека: «не чёрное — значит, белое», «не наше — значит, от акул империализма», «против нас — значит, в угоду и за мзду»<sup>2</sup>.

Анатолий Собчак в книге «Сталин. Личное дело» приводит шесть заповедей безопасности советских граждан, почерпнутых им из книги Абдурахмана Авторханова<sup>[213]</sup>, видного политолога русского зарубежья:

- «1. Не думай.
2. Если подумал, не говори.
3. Если сказал, не записывай.
4. Если записал, не печатай.
5. Если напечатал, не подписывай.
6. Если подписал, откажись»<sup>3</sup>.

Уже по одной этой тактике выживания можно судить о том, какой чудовищный разрыв со старой моралью произошёл в сознании строителей социализма в отдельно взятой стране.

Да что тут говорить, когда на восемнадцатом году существования советской власти 7 сентября 1935 года Центральным исполнительным комитетом (с 1922 по 1938 год высший орган государственной власти) и Советом народных комиссаров (с 1923 по 1946 год высший орган исполнительной и распорядительной власти) было принято постановление «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», введившее применение к несовершеннолетним, начиная с двенадцати лет, любых форм уголовного наказания, вплоть до смертной казни. Это постановление превратилось в статью 12 Уголовного кодекса РСФСР в следующей редакции: «Несовершеннолетние, достигшие двенадцатилетнего возраста, уличённые в

совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в попытке к убийству, привлекаются к уголовному суду с применением всех мер наказания».

Добавлю к этой информации немаловажное уточнение. Норма о возможности назначения смертной казни для лиц в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет действовала в СССР с 1935-го по 1947-й и с 1950 по 1959 год.

Как писал Анатолий Собчак в своей последней книге, у этого закона была сугубо утилитарная цель: «Он понадобился (Сталину. — А. С.) для давления на обвиняемых по политическим процессам, у которых были дети»<sup>4</sup>.

Чему тут удивляться? Напомню, что большевики свой путь в будущее, который закончился для них в августе 1991 года, начали с расстрела царской семьи. Младшим из детей, царевичу Алексею Романову, было тринадцать лет, а его сестре, царевне Марии, за месяц до смерти исполнилось девятнадцать.

Была ли какая-то необходимость в убийстве больного мальчика и юной девушки? Ведь монархия прекратила своё существование в феврале 1917 года. С кого теперь спросишь за это преступление?! Ожидалось, что судьбу России решит Учредительное собрание. Собрание это разогнали, кое-кого пересажали, а дальше пошло-поехало... С малых лет многое Венедикту Ерофееву пришлось пережить и передумать, чтобы написать: «Деревья гибнут без суда и следствия»<sup>5</sup>.

Уже в XIX веке декабрист Пестель предрекал: «Однако России далеко до грядущих блаженств»<sup>6</sup>, а «неистовый Виссарион (Виссарион Григорьевич Белинский<sup>[214]</sup>. — А. С.) тот и вовсе негодовал: “Мы

живём в стране, где нет гарантии личности, чести, собственности” (письмо к Гоголю)»<sup>7</sup>.

Люди, которых Венедикт Ерофеев видел по телевизору и слушал по радио, уверенно и жёстко обосновывали своё право на власть теорией исторического материализма, разработанной Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Вот что приводило его в ярость: «Слишком зловонное и ублюдочное толкование диалектичное™ во всех случаях крайних мерзостей и непоследовательностей. Они крадут из бескрайних, германских кладовых (Гаммельн) только то, что им съедобно и необходимо. Крысолова на них нет, и с хорошей дудочкой и хорошего пруда, чтоб их орлята не только летать учились, а и пускать пузыри. И т. д.»<sup>8</sup>.

Пришлось Венедикту Ерофееву немало прочесть страниц из многотомных сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, чтобы прийти к невероятному открытию, что эти высшие и почитаемые в его стране авторитеты, знатоки всего и вся, не считают славянские народы за людей и полагают необходимым их полное порабощение и даже уничтожение ради счастливого будущего человечества: «И вот ещё Маркс в “Новой Рейнской газете”: “Судьба западных славянских народов — дело уже конченное. Их завоевание совершилось в интересах цивилизации. Разве же это было “преступление” со стороны немцев и венгров, что они объединили в великие империи эти бессильные, расслабленные, мелкие народишки и позволили им участвовать в историческом развитии, которое иначе осталось бы им чуждым?!»<sup>9</sup>

Началась эта славянофобия, например, у Фридриха Энгельса со всяких баек, вроде следующих: «Русский солдат больше, чем какой-нибудь другой, в состоянии выдержать порку»; «Русские солдаты стреляют хуже,



чем какие-либо другие»<sup>10</sup>; «Новый пример московского бахвальства. Русские решили на время отсрочить захват вселенной»<sup>11</sup>. И затем нарастающее крещендо: «В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом (Ф. Энгельс, т. 6, с. 186)»<sup>12</sup>.

Венедикт Ерофеев лишний раз убедился, что национализм способен притупить, что угодно, даже то, что Маркс и Энгельс возвели в абсолют, — интернационализм. Ничего не поделаешь. Своя рубашка ближе к телу.

Фёдора Михайловича Достоевского Венедикт Ерофеев признавал пророком. Ведь ему, может быть первому из русских писателей, принадлежало предвидение будущего *обезвоженного* мира людей. Какой впечатляющей иллюстрацией к этому миру для Достоевского, переместись он во времени ближе к нашим дням, стал бы этот контраст между счастливым сталинским детством и расстрелом детей. Какой страшный роман он написал бы! Разумеется, если оказался бы среди тех, кого вынесла на берег турецкий первая волна русской эмиграции.

Убеждён, что Достоевский, оставшись на родном берегу, не приспособился бы к новой власти, как это сделал, например, советский классик граф Алексей Николаевич Толстой, и не только он один. Фёдор Достоевский, написав лишь первую главу о счастливом сталинском детстве и расстрелянном ребёнке, либо сошёл бы с ума, либо сгинул бы в неизвестности на необъятных просторах ГУЛага. Наши времена были куда подлее, чем при жизни великого писателя. В новом романе пришлось бы говорить уже не о слезинке замученного ребёнка, а о морях слёз и реках крови.

Иван Никитич Толстой, внук Алексея Николаевича, в документальном фильме «Алексей Толстой. Никто не знает правды», показанном 5 января 2019 года по телевизионному каналу ТВЦ, честно сказал о своём деде: «...он не сотворил зла в бытовом смысле. Да, в идеологическом он сотворил зло. Он один из создателей чудовищной, мертвящей идеологии. Вот этого я ему никогда не прощу»<sup>13</sup>.

Чтобы сегодняшней молодёжи лучше понять, из каких исходных постулатов состояла эта идеология, приведу выписки из блокнотов Венедикта Ерофеева: «А. Н. Толстой о своём однофамильце: он, мол, пишет блестяще, когда пишет о том, что он видит. “Но когда он пишет об отвлечённых вещах, он не видит, думает. И если б он думал так, как думает товарищ Сталин, то, наверное, он не затруднялся бы во фразах”»<sup>14</sup>; «А. Н. Толстой в 1937 г.: “Мы поднимаемся всё выше и выше к вершине человеческого счастья”»<sup>15</sup>; «А. Н. Толстой в 1938 г.: “Кто старое помянет — тому глаз вон. (Здесь слово «помянет» означает по-христиански помянуть добром. Стилистический приём, часто используемый В. В. Ерофеевым в каламбурах. — А. С.). Глаз вон вредителям, тайным врагам, срывающим нашу работу, — это уже сделано, глаз у них вон”»<sup>16</sup>; «А. Н. Толстой в апреле 1938 года: “Наш советский строй — единственная надежда в глухом мире отчаяния, в котором живут миллионы людей, не желающих в рабских цепях идти за окровавленной колесницей зверского капитала”»<sup>17</sup>; «А. Н. Толстой самыми сталинскими чертами в Сталине считает две: скромность и интеллигентность»<sup>18</sup>.

Роза Сан-Иковна Семькина в статье «“Записки из подполья” Ф. М. Достоевского и “Москва — Петушки” Вен. Ерофеева: диалог сознаний» находит нечто общее во взглядах Фёдора Достоевского и Венедикта

Ерофеева. Того и другого «объединяет концепция мира как хаоса и абсурда в силу утраты нравственных ориентиров, организующего центра — Бога». Автор статьи обращает внимание, что «тема “пьяненьких и метафизического пьянства” также сближает писателей: как известно, первоначальное название романа “Преступление и наказание” — “Пьяненькие”, а Ерофеев описал энергию пьяного-не-пьяного сознания “вечного Венички”, бросившего вызов мирозданию»<sup>19</sup>.

В «Записных книжках 1975 года» Венедикта Ерофеева: «А что у вас? А у нас светильник разума (у всех) угас. А у вас?»<sup>20</sup> И ещё оттуда же на схожую тему: «...тайна русской безродности и бездомности»<sup>21</sup>.

Фраза сугубо риторическая. Какая может быть тайна в том, что и дураку ясно, если он свои мозги окончательно не пропил или радио до глухоты не наслушался и телевизора до одури не насмотрелся?

Венедикт Ерофеев, освободившись от постулатов советского катехизиса, некоторое время вёл жизнь неустроенную, лишённую какого-либо быта, то есть практически жизнь бомжа. Он объяснил свой выбор в одном из своих неизданных блокнотов 1979—1980 годов цитатой из Книги Судей Израилевых, седьмой книги Ветхого Завета: «Я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится (17:10)».

Однако его жизнь не вписывалась в поговорку «Ни двора, ни кола, ни случайного угла». Угол всё же для него находился, чему способствовал круг близких друзей, в котором он выживал и по-своему благоденствовал. Ощущение собственной одарённости уже означало для него осознание превосходства над ненавистной ему благоустроенной и самодовольной средой. Это высокомерие нищего он, впрочем, особенно не выпячивал. Демонстрировал очень редко в разных, иногда неожиданных и не всегда политесных формах.

Особенно когда кто-то из его родственников или знакомых пытался учить его уму-разуму. Вероятно, по этой причине появилась следующая запись в его блокноте: «Мне ненавистен “простой человек”, т. е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости, и в досуге, в радости и в слезах, и все его вкусы, и манеры, и вся его “простота”, наконец... О как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую долю раздражения. Я поседел от того, что в милом старом веке называли попросту “мизантропия”»<sup>22</sup>. С этими людьми, как он говорил, ему было «не о чем пить»<sup>23</sup>.

У Венедикта Ерофеева был собственный взгляд на проживаемую им жизнь. Он его афористично уложил в одно предложение: «Жизнь даётся человеку один раз, и прожить её надо так, чтобы не ошибиться в рецептах»<sup>24</sup>.

Как и Владимир Высоцкий, Венедикт Ерофеев победил благодаря обстоятельствам, которые неожиданно для него самого начали складываться в его пользу. Не издававшийся долгое время на родине, он всё-таки обрёл широкую известность уже при жизни.

В 1970-е годы прошлого века его слава не только гремела, но и голосила на все голоса. В последнем случае не в переносном, а в буквальном смысле. Понятно, что голоса эти были исключительно вражьи. Поэма «Москва — Петушки» появилась сначала в самиздате, в котором была самым массовым произведением на протяжении более десяти лет, а затем в Израиле, куда в феврале 1971 года микроплёнку, переснятую с одной из копий поэмы, вывез уезжающий навсегда из СССР физик и правозащитник Борис Цукерман. Там же она была впервые издана в 1973 году в журнале «Ами»<sup>[215]</sup> тиражом 300 экземпляров. Вскоре все вещающие на

СССР радиостанции западных стран не обошли это событие вниманием. Через какое-то время число изданий поэмы «Москва — Петушки» в переводе на 30 языков приблизилось к сорока, а общий тираж этой книги составил впечатляющую цифру.

Нужно, конечно, при этом иметь в виду качество изданных переводов. Были ли они сделаны на скорую руку? Насколько они соответствовали русскому оригиналу? Только при таком сопоставлении возможно понять, стоила ли овчинка выделки. Авторитетным судьёй в этом вопросе, человеком, открывшим миру Венедикта Васильевича Ерофеева, был Владимир Сергеевич Муравьёв. Я уже представлял его в начале этой книги. Вот что он сказал в беседе с журналистом Еленой Калашниковой: «Я знаком с переводами поэмы “Москва — Петушки” моего друга Венедикта Ерофеева на другие языки. По-польски поэма получилась удачно, мне было смешно её читать, от английского перевода осталось тяжёлое недоумение; неплохи итальянский и французский переводы, видимо, поэма вписывается в традицию; по-немецки получилось плохо, хотя могло получиться намного лучше»<sup>25</sup>.

Публикация в 1977 году на русском языке поэмы «Москва — Петушки» парижским издательством «Имка-Пресс» означала приобщение её автора к выдающимся русским писателям и мыслителям, жившим в эмиграции. Ведь в нём издавались произведения Николая Бердяева, протоиерея Георгия Флоровского<sup>[216]</sup>, Николая Онуфриевича Лосского<sup>[217]</sup>, Семена Людвиговича Франка, Георгия Федотова, Ивана Бунина, Марка Алданова<sup>[218]</sup>, Ивана Сергеевича Шмелева<sup>[219]</sup>, Бориса Константиновича Зайцева<sup>[220]</sup>, Юргиса Казимировича Балтрушайтиса<sup>[221]</sup>, Александра Солженицына и др. На обложку этого издания была

помещена репродукция картины Вячеслава Васильевича Калинина «Жаждающий человек».

На новую публикацию поэмы Венедикта Ерофеева за рубежом откликнулся в нью-йоркском «Новом журнале» известный поэт, литературовед и критик, живший в США, Юрий Иваск<sup>[222]</sup>. Приведу его короткую рецензию полностью:

«На Руси есть веселие пити. Но в этой пьяной эпопее веселия нет. Есть горе-несчастье, прикрытое гротескной иронией хотя бы в перечислении фантастических напитков, включающих духи “Белая сирень”, средство от потения ног, спиртовой лак. Главного героя зовут так же, как и автора, но из этого не следует, что они идентичны. Венедикт-Веничка цитирует Канта и Сартра, Пушкина и Блока. Бродит по Москве, где он только в конце повести увидел Кремль. С вокзала он едет на станцию Петушки. Там будто бы райская жизнь: всегда поют птицы и никогда не отцветает жасмин. Там же живёт “любимейшая из потаскух”. Здесь, конечно, ирония. Он ведь не верит, что в Петушках “солятся в поцелуе мучитель и жертва” и зло исчезнет. Иногда он кощунствует, иногда молится, и об этом Ерофеев говорит иронически. Саможалости нет. Но есть жалость к другим, к пьяной и не очень старой бабоньке, которая на всё готова за “ррупь”. И здесь ирония почти отсутствует. Веничка живёт в пьяном аду, как и все его собеседники в Москве и поезде. Трезвых он не встречает. Глядят на него пустые выпуклые глаза “моего народа”... В эпилоге появляются четверо хулиганов-пошляков, не прощающих Веничке его отличие от других безмозглых пьяниц: он ведь образован, осмеливается мыслить. Они вонзили шило в самое горло Веничке: “И с тех пор я никогда не приходил в сознание и никогда не приду”. Всякие замысловатые гротески теперь в моде у

некоторых писателей и художников как “внутренней”, так и “внешней” эмиграции. Они претендуют на авангардность, но явно не замечают, что их модернизм — залежалый товар почти столетней давности. У Ерофеева таких претензий нет. За его гротесками: острая жалость, невымысленный ужас, жгучая боль и едкая ненависть к советскому лицемерию и советской обывательской пошлости. Ерофеев остроумен, меток, но всё же его можно упрекнуть в многоглаголии. Зоценко сократил бы повесть вдвое или втрое. Всё же нельзя сомневаться в том, что ему есть что сказать о пьяном горе-злосчастье в Сов. Союзе»<sup>26</sup>.

Впервые цензурированный вариант поэмы «Москва — Петушки» был напечатан в СССР на рубеже 1988—1989 годов в пяти номерах журнала «Трезвость и культура» (№ 12 за 1988 год и № 1—4 за 1989 год). Это событие позабавило поклонников писателя. Полный вариант поэмы вышел в 1989 году в альманахе «Весть».

Венедикт Ерофеев очень быстро обрёл общероссийскую и всемирную известность. Как всегда, и в этом случае тоже, Москва была впереди планеты всей. На его выступлении в Московском доме архитектора молодые люди держали в руках плакат «Мы все вышли из Петушков». В 1990 году студия «BBC Films» посвятила поэме и её автору документальный фильм «Из Москвы в Петушки с Венедиктом Ерофеевым», режиссёром и сценаристом которого был подданный Соединённого Королевства, поляк по происхождению Польш Павликовски (впоследствии — лауреат премии «Оскар»).

Несмотря на всеобщее признание, Венедикт Васильевич до самой своей кончины держался скромно, без всякого выпендрёжа и спеси. Многими его деликатное отношение к людям воспринималось как проявление доходящего до глупости простодушия. Не

потому ли его обманывали все кому не лень? Запредельные тиражи поэмы «Москва — Петушки» лично ему и его семье больших денег не принесли. Да он по этому поводу не особенно сокрушался, довольствовался малым — тем, что было [\[223\]](#).

Недоумение, что в Советском Союзе живёт писатель, не похожий на своих собратьев по перу ни образом жизни, ни характером творчества, вскоре сменилось желанием объяснить, как такая несообразность могла произойти при власти большевиков и не является ли это сочинение предчувствием её естественного конца.

«Тамиздат», публикация произведений инакомыслящих писателей на Западе, считался ими единственной возможностью объявить о своём существовании. Не потому только, что, засвеченные подобным образом, они становились известными во вражеском капиталистическом мире и надеялись на его защиту в случае всяких репрессивных действий по отношению к ним со стороны советских властей.

Действительно, с появлением их имён в западных СМИ появлялся небольшой шанс не сгинуть в безвестности и нищете в какой-нибудь Тмутаракани. Не задвигая это важное обстоятельство в дальний угол рассуждений о «тамиздате» и не забывая о его полезности для развития общественного самосознания, я убеждён, что более существенным для таких писателей был всё же психологический фактор — признание западными коллегами их профессионального уровня. Ведь власти родной страны относились к пишущим инакомыслящим людям как к графоманам. Они считались тунеядцами, непонятно что о себе возомнившими. Теперь, изданные за рубежом, они имели полное право, даже при единственной публикации, называться писателями. Недаром это



событие осознавалось ими и близким окружением как публичное провозглашение их духовной независимости — самое страшное преступление в тоталитарном государстве. При Сталине оно могло закончиться приговором — десять лет без права переписки, то есть расстрелом.

В моё вегетарианское время об этих террористических приёмах также не забывали. Впрочем, прибегали к ним в исключительных случаях. Вспомним попытки офицеров из КГБ в 1971 году умертвить Александра Солженицына уколом рицина, а зимой 1971/72 года подстроить ему автокатастрофу. Нечто подобное произошло и с Александром Зиновьевым.

Первое, что пришло в голову зарубежным советологам, объявить Венедикта Ерофеева борцом с *антихристовым социализмом* и зачислить в число антисоветских писателей. Своей прямолинейностью они солидаризировались с экспертами по литературе, обслуживающими Пятое управление КГБ с его начальником Филиппом Денисовичем Бобковым, зорко приглядывающее за творческой интеллигенцией. Уже в наше просвещённое время Бобков назвал Иосифа Бродского по старой привычке графоманом. Ведь в Смерше, где начиналась его чекистская карьера, не учили отличать истинное поэтическое слово от *шершавого языка плаката*. Так будем снисходительны к поэтической глухоте этого генерала. В литературе он не особенно разбирался, зато был докой в умении устроить собственную жизнь. С марта 1983 года он — заместитель председателя КГБ СССР, а с декабря 1985-го по 1991 год — уже первый заместитель. С 1992 по 2000 год Бобков — руководитель аналитического отдела группы «Мост», принадлежавшей олигарху В. А. Гусинскому. Правда, странный перескок с позиции борца с капитализмом на позицию его рьяного

защитника? Как ни относишься к человеку разумному (*homo sapiens*), но не блоха же он в самом деле? Остаётся сказать: «Чудны дела Твои, Господи!»

Вместе с тем доблестных чекистов, выступающих на ниве отечественной словесности в роли смотрящих, было бы несправедливо обвинять в преднамеренной лжи. Они понимали, по крайней мере, одну из видимых причин интереса читателей к поэме «Москва — Петушки». Как вспоминает сын писателя Венедикт Венедиктович Ерофеев, первые читатели искали в ней *тень запрещённости*.

Чекисты, я думаю, просто растерялись и не знали, как им поступить в отношении писателя. Столь экзотический типаж из творческой интеллигенции им ещё не попадался. Он не был ни советским, ни антисоветским. Скорее он напоминал кошку из сказки Джозефа Редьярда Киплинга<sup>[224]</sup>, которая свободно гуляет сама по себе. Кошку особенную — ясно представляющую, куда занесла её судьба.

Проницательная Белла Ахмадулина отметила в авторе поэмы «Москва — Петушки» чувство внутренней и внешней свободы, редко встречающееся у её коллег. О своём наблюдении она поведала 4 сентября 1988 года читателям газеты «Московские новости» после публикации поэмы «Москва — Петушки» в альманахе «Весть»: «“Свободный человек!” — вот первая мысль об авторе повести, смело сделавшем своего героя своим соименником. Герой, Веничка Ерофеев, мыкается, страдает, пьёт все мыслимые (и немыслимые) напитки, существует вне и выше предписанного порядка. Автор, Веничка Ерофеев, сопровождающий героя в пути, трезв, умён, многознающ, трагичен, великодушен. Зримый географический сюжет произведения, обозначенный названием, лишь пунктир, вдоль которого мчится поезд. Это скорбный путь мятежной и гибельной души. В

повести, где действуют пьянство, похмелье и другие проступки бедной человеческой плоти, главный герой — непорочная душа, с которой напрямую, как бы в шутку соотносятся превыспренность небеса и явно обитающие в них кроткие, заботливые, печальные ангелы. Их присутствие — несомненная смелость автора перед литературой и религией, безгрешность перед их заведомым этическим единством. Короче говоря, повесть своим глубоким целомудрием изнутри супротивна своей дерзкой внешности и тем возможным читателям-обвинителям, кому недостаёт главного — в суть проникающего взгляда»<sup>27</sup>.

Ему же она посвятила стихотворение, введя его этим поэтическим даром в круг своих друзей-единомышленников:

Кто знает — вечность или миг мне предстоит  
бродить по свету.  
За этот миг иль вечность эту равно благодарю я  
мир.

Что б ни случилось, не клянусь, а лишь  
благословляю лёгкость:  
твоей печали мимолётность, моей кончины  
тишину<sup>28</sup>.

Свобода как проявление человеческой сущности представляла для Венедикта Ерофеева смысл жизни и творчества. Судя по всему, идентично обрести самого себя в слове — вот чего добивался автор поэмы «Москва — Петушки».

Иосиф Бродский в разговоре о писателе с режиссёром Павлом Павликовски в его фильме о

Венедикте Ерофееве «Из Москвы в Петушки» углядел это его тайное желание: «Легко высмеивать. Легко говорить колко и остроумно о советской действительности, она и так абсурдна. Изобличать её ничего не стоит. Однако я понимаю, что это не было главной целью Ерофеева, когда он писал книгу. Он пытался найти, высвободить голос...»<sup>29</sup>

Шум народных шествий и демонстраций заглушает отдельные голоса. А народные гулянья, к тому же ещё с непереносимой выпивкой, туманят сознание.

О болезненной проблеме творческих и талантливых людей в СССР, пытающихся найти общий язык с властью и при этом раскрепостить собственный голос, более подробно написал Андрей Амальрик. Речь об этом болезненном процессе идёт в его книге «Записки диссидента». Объектом его рассуждений выступают выдающийся скульптор Эрнст Иосифович Неизвестный<sup>[225]</sup>, покинувший СССР 10 марта 1976 года, и не менее известный Венедикт Ерофеев. Они случайно встретились на дне рождения Гюзель Макудиновой, жены Андрея Амальрика.

Обращусь к книге Андрея Амальрика: «Но, по-моему, был Эрнст не уверен в себе и себя по-настоящему не нашёл, в нём, как и во многих советских художниках, был глубокий внутренний разрыв между данным от Бога талантом, между креативным “я” художника, которое так же глубоко запрято и так же трудно, но необходимо найти, как смерть Коцея Бессмертного на конце иглы в яйце, — и привитой “советской художественной культурой”. Это осложнялось тем, что, отбрасывая “коммунистические идеалы”, которые должны воплощаться в работах советского художника, хотел он какие-то “идеалы воплощать”, метафизическая сторона искусства из глубины выходила на передний план, обременяя пластический

образ. Неизвестный не мог найти и своё место в обществе — он разрывал с системой, в которую художественно, но был включён, уживаясь с которой разработал сложную систему компромиссов, когда одновременно приходилось играть роль и циничную, и героическую — а теперь надо было заново искать: кем быть. <...>

— Вам это интересно? Вам это интересно? — всегда неуверенно переспрашивал он, рассказывая о чём-то.

— Никогда не слышал ничего более неинтересного, — ответил ему Венедикт Ерофеев, с которым они встретились на дне рождения Гюзель. Бродяга, пьяница, “разночинец”, как его назвал раздражённый Неизвестный, привлёк внимание повестью “Москва — Петушки” — безумным путешествием человека, который многократно пытается посмотреть в Москве Кремль, но всегда попадает на Курский вокзал к отходящему в Петушки поезду. И вот он в поезде и рассказывает пассажирам, как якобы был в Париже и встретил Сартра; встретив впоследствии Сартра в Париже, Гюзель была удивлена, что такой человек существует, она думала, что это герой Ерофеева.

Желая всё-таки показать, что он не лыком шит, Неизвестный заметил, что, когда Сартр был в Москве, они проговорили свыше четырёх часов.

— Вот, должно быть, скуотища — четыре часа разговаривать с Сартром, — спокойно сказал Венедикт, и Эрнст был убит. Впрочем, от нас “допивать” они поехали вместе»<sup>30</sup>.

О чём и сколько времени эти два гения беседовали за столиком в забегаловке или в чьей-то мастерской, сие покрыто мраком. Об этом можно было бы узнать из отчёта *топтунов*, если в тот вечер за Андреем Амальриком, Венедиктом Ерофеевым и Эрнстом Неизвестным приглядывали и фиксировали их разговоры, что, я думаю, маловероятно. Скорее всего,

они протрындели о чём-то важном для них обоих и, по-видимому, нашли что-то такое, что их объединило. Как известно, общие взгляды людей сближают. Они подружились. Владимир Муравьёв вспоминает, что последнюю ночь перед отъездом из СССР 10 марта 1976 года в Швейцарию, а затем в США Эрнст Неизвестный ночевал у Венедикта Ерофеева: «Тот потом говорил: “Неизвестный — такой человек, каких вообще не бывает, и ты, Муравьёв, вообще говно по сравнению с ним”». На ответ Владимира Сергеевича, что он и не пытается с ним себя сравнивать («Я и не лезу»), Венедикт Васильевич изрёк: «Нет, ты говно. Потому что Неизвестный ушёл, когда я ещё спал, и на столе оставил десять десятирублёвых бумажек...»<sup>31</sup>

Среди сотрудников Пятого управления КГБ встречались, вероятно, не только знатоки, но и ценители самиздатовской литературы. Не случайно же при обыске у моего друга католического священника Владимира Никифорова они насвистывали песни Владимира Высоцкого. Не забудем к тому же, что их шеф Юрий Владимирович Андропов писал стихи. Но неизмеримо лучше были поэтические опыты академика Евгения Максимовича Примакова, бывшего некоторое время шефом Службы внешней разведки. Всё же его культурный кругозор и представления о будущем нашей страны оказались куда шире и реалистичнее, чем у Андропова. К тому же он, потерявший в ГУЛаге отца и проведший детство в городе Тбилиси, людей знал и понимал намного глубже. Вспомним, что Грузия приняла христианство ещё в IV веке и сохранила в себе силу христианского духа вплоть до сегодняшних дней.

Чекисты не единожды приезжали в деревню Мышлино, относящуюся к Петушинскому району Владимирской области, где жила жена Венедикта Васильевича — Валентина Васильевна Ерофеева (в

девичестве Зимакова) с сыном Венедиктом и матерью Натальей Кузьминичной. (У его тёщи была дежурная фраза, которую она любила повторять: «Сову видно по походке, а добра молодца по соплям»<sup>32</sup>). В этой деревне неоднократно появлялся и Венедикт Ерофеев. Первый раз оперативная группа нагрянула в дом его жены вскоре после публикации в Израиле поэмы «Москва — Петушки». Не застав там писателя, приехавшие сыскари перевернули всё в доме кверху дном и ни с чем уехали.

Был другой случай, когда они разминулись с писателем. В то время Венедикт Васильевич находился в Мышине и поехал в автобусе в Петушки за портвейном. Купив целую авоську бутылок, он возвращался домой, а чекисты, не застав его в избе, ехали на чёрной «Волге» обратно в Петушки и его, сидящего в автобусе, естественно, не заметили.

Тут я с удовольствием расскажу о прочности нравственных устоев деревенских жителей. Как ни трепала и ни перевоспитывала их советская власть, а всё равно убеждение, что негоже на своих стучать, у этих людей осталось. Сельчане на вопросы приехавших незваных гостей, видели ли они Венедикта Ерофеева в деревне, отвечали отрицательно. Короче говоря, не заложили его, что, впрочем, не помешало этим же людям после первого обыска в доме Валентины Васильевны и её матери сторониться ерофеевской семьи, избегать разговоров с ними на почте или в магазине. Загадочна и осторожна крестьянская душа. Но всё же, согласитесь, есть существенное различие между позициями «моя хата с краю» и «бдительным будешь — победу добудешь».

Когда писатель получил постоянное место жительства в Москве, оперативное наблюдение за ним, судя по всему, продолжилось.

Из неизданных блокнотов Венедикта Ерофеева 1979—1980-х годов: «А я уйду на балкон и притворюсь цветочком. Они придут, посмотрят — а это что за цветок на этом вот горшке? Носова со страху скажет что-нибудь не то, вроде “палтус”»<sup>33</sup>.

Ольга Седакова, общавшаяся с Венедиктом Ерофеевым с октября 1968 года и сразу обратившая внимание на его необычность, представила, пожалуй, его самый достоверный психологический портрет: «...Веничка прожил на краю жизни. И дело не в последней его болезни, не в обычных для пьющего человека опасностях, а в образе жизни, даже в образе внутренней жизни — “ввиду конца”. Остаются все ушедшие, но в Венином случае это особенно ясно: он слишком заметно изменил наше сознание, стал его частью, стал каким-то органом восприятия и оценки. <...> Позиция его, причудливая или просто чудная — как он говорил: “с моей потусторонней точки зрения”, — глубоко последовательна. То, что на одну тему он мог говорить противоположные вещи, тоже входит в эту последовательность. При всей эксцентричности и как будто крайней субъективности, его потусторонняя точка зрения близка к тому, что называют “голосом совести”. Не знаю, какие у него были отношения с самим собой, то есть ставил ли он себя перед тем судом, какому подвергал происходящее. Но его обыкновенно безапелляционные суждения почему-то принимались без сопротивления. Почему-то мы признавали за ним власть судить так решительно. Чем-то это было оплачено. Может быть, как раз этим его потусторонним, прощающим положением. Во всяком случае, право “последнего суждения” он приобрёл не литературными достижениями. Я познакомилась с ним до того, как были написаны всемирно известные “Петушки” — и уже тогда меня поразило, что все



присутствующие как бы внутренне стояли перед ним навтыжку, ждали его слова по любому поводу — и, не споря, принимали. Сначала мне показалось, что они какие-то заколдованные, но очень быстро такой же заколдованной стала и я. Он судил — мы чувствовали, как невовлечённый свидетель, как человек, отвлечённый от суеты собственных “интересов”»<sup>34</sup>.

Необычайные способности Венедикта Ерофеева, его познания в литературе и философии выделяли его среди студентов. В Орехово-Зуевском, Владимирском и Коломенском педагогических институтах они подняли его в их глазах чуть ли не на один уровень с преподавателями. Влияние, которым он пользовался в молодёжной среде, всё-таки объяснялось не только его эрудицией и умением войти в положение другого человека, а его сознательной духовностью. За неё он был готов отдать всё на свете. Благодаря именно ей он знал, что вечно и что преходяще. Оттого-то к нему тянулись люди. Не потому ли он слыл среди них мудрым человеком? Его эрудиция была тут ни при чём.

Однажды Александр Моисеевич Пятигорский, к рассуждениям которого я уже обращался и ещё обращусь в этой книге, огорошил меня заявлением по поводу моего коллеги с репутацией очень эрудированного востоковеда. Он спросил: «Не кажется ли вам, что такой-то идиот?» Это было так неожиданно, что я, ошарашенный, ответил вопросом на вопрос: «В каком смысле?» Ответ Пятигорского был суров и краток: «Во всех!»

Скажу честно: я был тогда обескуражен. Александр Моисеевич был несправедлив и пристрастен к моему знакомому. В нём меня самого смущало презрительное отношение к поэзии Иосифа Бродского — такое же, как и у генерала Бобкова. Но это ещё не было поводом объявлять его идиотом во всех смыслах. С его

литературным вкусом я давным-давно свыкся. И только недавно я, кажется, понял, что Александр Моисеевич имел в виду. Человек, знающий «мёртвые» языки и говорящий на нескольких «живых», голова которого набита разнообразной информацией, беззащитен перед искушением гордыней. Чрезмерная учёность мешает ему всмотреться в самого себя и осознать, в чём мудрость прочитанных им текстов.

Невероятные амбиции моего коллеги лишили его возможности увидеть за обыденностью жизни что-то совершенно иное, что в своей суете не замечает большинство людей. Это тот случай, когда человек не клинический идиот, а идиот по своему выбору. Потому-то у него ещё остаются шансы вернуться к себе самому, к тому наивному и любознательному школяру, каким он был в пору своего студенчества. Тогда-то он снова обретёт утраченную мудрость.

Это относится к идиотизму моего коллеги, но есть идиоты законченные, их ничем не прошибёшь. Они живут не разумом, а исключительно инстинктами, изначально убеждённые в том, что жизнь любого человека (в том числе их собственная) — выгребная яма и незачем в ней копать. Об отношении таких людей к жизни есть у Венедикта Ерофеева запись в блокноте: «Один мой знакомый говорил: жизнь человеческая, что детская рубашонка: коротенькая и вся в говне»<sup>35</sup>.

Карлос Кастанеда<sup>[226]</sup>, американский писатель и мистик, был пессимистичен до крайности, но предполагал, что у человека всё-таки есть возможность жить не по-идиотски, а разумно: «Нам требуются всё наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе. Это и есть то, что имеет значение. Остальное не имеет никакой важности».

Приведу на эту же тему запись Венедикта Ерофеева 1965 года: «Тётушка из “Давида Копперфилда” (роман

Чарлза Диккенса<sup>[227]</sup>. — А. С.) и её основной принцип: “Ненавижу дураков”»<sup>36</sup>. Сам Венедикт Ерофеев к дуракам и посредственностям был лоялен. В пору его широкой известности они облепляли его, как пчёлы цветущее гречишное поле, с непрерывно говорящими ртами и с непременными «подарками» — бутылками портвейна и коньяка. Но он задолго до встречи с ними перетерпел столько наглых и циничных говорунов, едва владеющих родной речью, что эти милые на вид и большей частью благовоспитанные словоблуды его только забавляли. А вот от совсем настырных и надоедливых он отплёвывался уничижительными остротами. Вроде такой: «В разврате каменейте смело»<sup>37</sup>.

# **ЧАСТЬ ВТОРАЯ РАЗРАБОТКА**

## **Глава первая** **«В ЭТОМ МИРЕ Я ТОЛЬКО** **ПОДКИДЫШ»**

Пусть кому-то мои слова покажутся банальностью, но трудно представить Венедикта Васильевича Ерофеева родившимся вне России, в какой-нибудь другой стране. Многих из современных писателей, пишущих на русском языке, возможно переместить куда угодно, хоть на Луну, а вот его — нет. Не получится, как ни старайся. Слишком уж он земной, слишком уж русский! Нина Васильевна Фролова, сестра Венедикта Васильевича, в разговоре со мной на тему «Ерофеев и заграница» вспомнила, как её брат отреагировал на предложение посетить Германию. Он сказал: «Чтобы я поехал туда, где каждое дерево пронумеровано? Боже сохрани!»

Самая суть натуры Венедикта Ерофеева — в привязанности к Кольскому полуострову, месту, где он родился, которое любил и где по жизненной необходимости оказались его родители. В Заполярье он провёл детство и отрочество. Кольский полуостров можно назвать «родиной его души», используя определение выдающегося советского драматурга, прозаика и поэта Евгения Львовича Шварца [\[228\]](#).

Четверо из детей Василия Васильевича и Анны Андреевны Ерофеевых родились в Заполярье. Это Юрий Васильевич (1928—1981), Нина Васильевна (род. 1931), Борис Васильевич (1937—2012), Венедикт Васильевич (1938—1990). Только старшая сестра Тамара Васильевна, их первенец, появилась на свет в Москве (1925—2017), так уж сложились обстоятельства.

Венедикту Ерофееву, как я убеждён, вполне созвучно признание русского философа Ивана Александровича Ильина: «Россия одарила нас бескрайними просторами, ширью уходящих равнин, вольно пронизываемых взором да ветром, зовущих в лёгкий, далёкий путь. И просторы эти раскрыли наши души и дали им ширину, вольность и лёгкость, каких нет у других народов. Русскому духу присущи духовная *свобода*, внутренняя ширь, осязание неизведанных, небывалых возможностей. Мы родимся в этой внутренней свободе, мы дышим ею, мы от природы несём её в себе — и все её дары, и все её опасности: и дары её — способность из глубины творить, всей душой любить и гореть в молитве; и опасности её — тягу к безвластью, беззаконию, произволу и замешательству. Нет духовности без свободы, — и вот, пути духа открыты для нас: и свои самобытные; и чужие, проложенные другими. Но нет духовной культуры без дисциплины — и вот дисциплина есть наше призвание и предназначение. Духовная свобода дана нам от природы; духовное оформление задано нам от Бога»<sup>1</sup>.

Пришло самое время пройти по дорогам, тропам и тропинкам жизни Венедикта Ерофеева.

Сам он говорил: «Биография — это гибрид биологии и географии». В этом суждении он исходил из собственного жизненного опыта. Этого опыта с его малолетства и до окончания средней школы накопилось в нём столько, что впору было самому вразумлять взрослых дядей и тётей. Однако обстоятельства сложились таким образом, что долгое время пришлось прикусить язык и держать рот на замке.

Перейду к родословию Венедикта Ерофеева, ибо оно проясняет многое в характере и линии поведения моего героя. Титаническую работу по восстановлению родословного древа Ерофеевых проделала Нина

Васильевна Фролова. Благодаря ей понимаешь, насколько разросся род Ерофеевых в его современном существовании.

Всё, что связано с родовыми корнями и предками, неизменно вызывает интерес у читателей. В прежние, ещё недавние времена этот интерес публики к родословиям известных людей был более заметен, чем к собственным корням. Помню, что в начале 1960-х годов в моей студенческой среде обсуждали, кто отец Иосифа Виссарионовича Сталина — то ли местный грузинский князь, то ли русский путешественник и натуралист Николай Михайлович Пржевальский<sup>[229]</sup>. Большинство из спорщиков сходилось во мнении, что отцом вождя всех времён и народов может быть кто угодно, но уж никак не сапожник из Гори.

Что же касается собственных предков, мало кто из нас тогда мог ответить, как звали по имени-отчеству собственных прадеда или прабабку и чем они занимались в жизни. Выжившие во всевозможных «чистках» и классовых «погромах» люди «голубых кровей», если они не относились к небольшой социальной группе дворянских приспособленцев, как «красный граф» Алексей Николаевич Толстой, не особенно распространялись о своём высокородном происхождении. Предпочитали не высываться, спрятать своё «высокородие» поглубже и поосновательнее, подальше от завистливых глаз.

Большие семьи с конца 1917 года и до отстранения Никиты Сергеевича Хрущева от власти находились в неустойчивом положении. То утеснение в гражданских правах определённых социальных слоёв, то Гражданская война, то раскулачивание, то Большой террор, то освоение целинных земель, то совнархозы... И мотались россияне по родной земле: то туда, то сюда, то обратно.

В наши дни ситуация изменилась. Да и семейная жизнь стала прогнозируемой, без особых сюрпризов. Нынешние распады семей происходят по другим, прежде всего, не политическим причинам и не в таких масштабах, не с такими последствиями, как прежде. Теперь выражение «Иван, не помнящий родства», обращённое к кому-либо, воспринимается оскорблением. Сейчас почти каждый тщится доказать, что происходит не от тех простолюдинов, кто когда-то щи лаптем хлебал. Желаящим восстановить свои родовые корни во многом помогает Интернет. А Интернет, как известно, вроде волшебной палочки. Чего не закажешь, сразу принесёт на тарелочке с голубой каёмочкой и в ожидаемом виде — с девизом на родовом гербе.

Венедикт Ерофеев по этому поводу съязвил в одной из своих записей в блокноте 1966 года: «Не смотрите, что я конопатый, у меня белая кость, голубая кровь»<sup>2</sup>.

Всякое жизнеописание начинается с отца и матери, если, конечно, герой не подкидыш. В моём случае я располагаю достаточно обширным материалом, с помощью которого возможно заглянуть даже поглубже, чем во вчерашний день. Если не в глубь веков, то по крайней мере на сто пятьдесят — двести лет назад от даты рождения Венедикта Ерофеева.

Начну с села Елшанка<sup>[230]</sup>, с истоков рода Венедикта Ерофеева. Село, где родились предки Венедикта Ерофеева со стороны и отца, и матери, стоит при речках Канадейка и Кудрявка. Родители Венедикта Васильевича ещё помнили, какой была Елшанка до революции. Большим селом, утопающим в садах. С красивым храмом и церковно-приходской школой.

Павел Васильевич Ерофеев, дядя писателя со стороны отца, в 1996 году в разговоре с журналистом «Ульяновской правды» Евгением Щеуловым вспоминал:



«Елшанка — в восьми километрах от райцентра. Вроде бы недалечко, а добираться, особенно зимой, трудно. От железной дороги в стороне, да и от шоссейки не близко. Раньше, когда я ещё пацаном бегал, это было большое село, насчитывавшее более 400 дворов. Хорошая плодородная земля привлекала сюда людей. Помню, что во времена моего детства село делилось как бы на две части. В одной были сады, а другая славилась своими огородами. Чего там только не родилось: и лук, и помидоры, и огурцы, и многие другие овощи. Словом, раздолье для крестьянина. Конечно, не всех земля могла прокормить. Немало было бедных людей, но мы с голоду не умирали, считались середняками. <...> Однако всё доставалось тяжким трудом. Отдыха почти не знали ни родители наши — отец Василий Константинович и мать Дарья Афанасьевна, ни мы, восьмеро детей. Работать начинали сызмала. Помню, я в школу ещё не ходил, а в поле уже трудился. Я был младшим среди сыновей, и в то время, как старшие работали бок о бок с отцом, я больше помогал матери. Вспоминаю, что в летнее время мы уже рано утром вставали, убирали за скотиной и выезжали всей семьёй в поле. Весь день работали, а ближе к вечеру мы с матерью возвращались домой, поскольку приходилось встречать корову, доить её, а также печь хлеб на завтрашний день. А отец и старшие дети продолжали работать в поле»<sup>3</sup>.

Основателем Елшанки и её первым владельцем был дворянин Фаддей Григорьевич Суровцев. На протяжении более пятидесяти лет после своего возникновения село именовалось по его фамилии — Суровчихой. Полагают, что оно одного года рождения с Симбирском. Впервые об этом селе упоминается в 1678 году. Нынешнее название оно обрело в 1722 году по

Елховому ключу. Елоха, елшина — так в этой местности называют ольху.

В Симбирской губернии до 1917 года были известны три поселения с названием Елшанка. В них жили до отмены в России крепостного права удельные казаки и владельческие крестьяне. Само слово «казак» в переводе с тюркского означает «удалец», «вольный человек». К удельным казакам относились казаки, обладавшие особыми правами на пользование казёнными землями и угодьями. Владельческими крестьянами в царской России называли крепостных крестьян.

Галина Анатольевна Ерофеева, невестка писателя, несколько лет назад совершила поездку в родовое гнездо отца и матери своего свёкра и частично подтвердила архивными документами, где и когда появились на свет отец, мать и другие близкие родственники Венедикта Васильевича Ерофеева. Она выяснила, что метрические книги по Елшанке, то есть реестры официальных записей актов гражданского состояния (рождений, браков и смертей) в самом селе ведутся только с 1889 года. Именно в том году появилась в Елшанке православная церковь. Прежде, до 1888 года, все подобные записи делались в метрической книге Богородской церкви села Кочкарлей.

Галина Анатольевна, родившая Венедикту Венедиктовичу двух близняшек — мальчика Евгения и девочку Веру, надо думать, предприняла поиски корней предков своего мужа с определённой целью: пусть дети знают, что такие люди, как их неординарный дед, не из воздуха возникают. Она провела много времени в тесной, тускло освещённой комнатёнке загса райцентра Николаевка Ульяновской области. Елшанка находится неподалёку от Николаевки. Галина Анатольевна рассказывала, что стеснённая с трёх сторон полками, нагруженными папками со старыми бумагами, ощущала

себя, словно погребённая заживо в каком-нибудь склепе. Ей казалось, что вот-вот материализуются полупрозрачные привидения вроде химер и начнут кружить над головой. Она была уже не рада, что взялась за эту неблагодарную работу, чувствуя, что не всем из многочисленного ерофеевского клана её инициатива придётся по сердцу. Но на что не пойдёшь ради детей — внуков Венедикта Васильевича.

Вообще-то ощущение гордости за свой род и, соответственно, за самого себя любимого — позитивное чувство, полезное для успеха в жизни и обладающее к тому же психотерапевтическим эффектом.

Род Ерофеевых очень велик, и затруднительно восстановить родственные связи его членов. В метрических книгах все Ерофеевы записаны как однодворцы, а Гущины как крестьяне.

Фамилия Ерофеев идёт от крестильного имени Ерофей — в переводе с греческого языка — *священный*. Его разговорные формы породили родственные фамилии: Ерогин, Еронин, Еропкин, Ерохин, Ерохов, Ерошев, Ерошкин. Однако надо помнить и о других возможностях рождения этой фамилии: *еропками* звали людей самодовольных, чванливых, а *ерохами* — сварливых, нудных. Еропкины — дворянские роды. Существует легенда или предположение, что Ерофеевы происходят от потомка Рюрика в семнадцатом колене, Ивана Астафьевича, по прозвищу Еропка. Михаил Степанович Еропкин в конце XV века ездил послом в Польшу и Литву. Афанасий Владимирович Еропкин в XVIII веке отличился в Крымском походе. Пётр Михайлович Еропкин считался одним из образованнейших людей послепетровского времени. Выяснить, какое отношение имеет Венедикт Васильевич к этим людям, вряд ли возможно. Да и герой моей книги особенно не заморачивался по поводу своего высокородного происхождения.

Так кто же такие «однодворцы», откуда они появились и как складывалась их судьба? Однодворцы — класс измельчавших служилых земледельцев, когда-то поселённых преимущественно по южным границам Московского государства для их защиты.

До петровских реформ к промежуточным сословным группам относились так называемые служилые люди по прибору, то есть завербованные или мобилизованные правительством в стрельцы, пушкари, в службу крепостной артиллерии и других видов вооружения, так называемые затынщики (*затын* — пространство за крепостной стеной). К этим служилым военным людям относились и рейтары — всадники в тяжёлых доспехах, вооружённые мощными пистолетами, длина стволов которых доходила до метра, копейщики и т. д., причём их дети также могли наследовать службу отцов, но эта служба не была привилегированной и не предоставляла возможностей иерархического возвышения. За эту службу полагалось денежное вознаграждение. Земли (при приграничной службе) давались в так называемые «вопчие дачи», то есть не в поместье, а как бы в общинное владение. В то же время, по крайней мере на практике, не исключалось их владение холопами и даже крестьянами. В результате Петровских реформ многочисленные мелкие промежуточные группы «старых служб людей» были одним решительным актом лишены привилегий и приписаны к государственным крестьянам.

При Петре I они были записаны в ревизские сказки, платили подушные подати, но сохраняли право личного землевладения и владения крестьянами. В число однодворцев попадали и обедневшие потомки старинных дворянских родов (при Петре I некоторые из них записывались в однодворцы, чтобы избежать обязательной службы), имевшие дворянские грамоты.

5 мая 1801 года им было предоставлено право отыскивать и доказывать потерянное их предками дворянское достоинство. Но уже через три года было «повелено», как тогда писали в официальных документах, рассматривать их доказательства «со всею строгостью», наблюдая при этом, чтобы в дворянство не были допущены люди, утратившие его «за вины и отбывательство от службы».

В 1816 году Государственный совет признал, что одного доказательства наличия дворянских предков для однодворцев недостаточно, необходимо ещё подтвердить своё дворянство через воинскую службу. Для этого однодворцам, представившим доказательства их происхождения от дворянского рода, предоставлялось право поступления на воинскую службу с освобождением от повинностей и производством в первый обер-офицерский чин через шесть лет.

После введения в 1874 году всеобщей воинской повинности однодворцам было предоставлено право восстанавливать утраченное предками дворянство (при наличии соответствующих доказательств, подтверждённых свидетельством Дворянского собрания их губернии) путём поступления на военную службу в качестве вольноопределяющихся и получения офицерского чина в общем порядке, предусмотренном для вольноопределяющихся.

Судя по многим могильным захоронениям в селе Елшанка, предки некоторых её жителей когда-то относились к старообрядцам. Они много работали, не пили и не курили. Были более зажиточными, чем их православные соседи. Естественно, их не любили и называли пренебрежительно кулугурами. Слово *кулугур* считается равнозначным по смыслу греческому *калогер*. Оно означает обращение в древних греческих монастырях младших к старшим, более почётным лицам

из монашествующих. Со временем оно сделалось нарицательным<sup>4</sup>. Более того, приобрело презрительный оттенок среди православных селян.

Рассказывает Галина Анатольевна Ерофеева: «По приезде в Елшанку летом 2008 года накануне юбилея Венедикта Васильевича большую помощь разобраться, кто есть кто из Ерофеевых, оказала мне Мария Николаевна Устимова, дочь младшей сестры Василия Васильевича — Марины Васильевны (1902—1987), двоюродная сестра Венедикта Васильевича. Она привела меня на кладбище и нашла захоронения своих предков с поминальными камнями на могилах. На этих камнях были изображены различные христианские символы. Все они свидетельствовали, что верования прапрадедушек и прапрабабушек села Елшанка относились к старообрядческой традиции. Другое дело, что их отцы и деды, матери и бабушки, а может быть, прадеды и прабабки перешли в православную веру. Сами камни известковой породы и по своему виду напоминают небольшие и коротенькие гробики. Какие-либо надписи на них отсутствуют. Я перерисовала эти изображения настолько точно, насколько смогла.

Кладбище села Елшанки располагается на пригорке и видно издалека. Сейчас на многих могилах стоят высокие деревянные кресты. За несколько веков существования села крестов на кладбище накопилось немного — пятьдесят-семьдесят. Долгое время сельчане кресты на могилах не ставили, а клали камни с христианскими символами.

С этими камнями с приходом в село советской власти произошла курьёзная история. Строили большую ферму с конюшнями для лошадей, стойлами для коров и помещениями для свиней. Было решено собрать как можно больше камней с могил для возведения фундамента этой самой фермы. Мария Николаевна и её

мать Марина Васильевна, заранее узнав о безбожном намерении местных властей, ночью пробрались на кладбище и закопали в условленном месте камни, лежавшие на могилах их близких. Со временем они их раскопали и вернули на прежнее место. Вот так сохранились эти вещественные знаки памяти о своих предках. Но история с камнями на этом не заканчивается.

Через некоторое время пригорок стал разрушаться. Большое количество камней прежде укрепляли почву. Проливные дожди её вскоре размывали. Оголились кости умерших людей, и деревенским жителям приходилось перезакапывать останки своих близких. Вскоре всё кладбище обложили по краям огромными каменными плитами».

Неоценимую помощь в восстановлении многих событий жизни своей семьи оказали мне сёстры Венедикта Васильевича — своими «Воспоминаниями» Тамара Васильевна Гущина и беседами со мной Нина Васильевна Фролова. Великолепная память Нины Васильевны сохранила многое из того, чему она была непосредственной свидетельницей. Особенно это касается времени раннего детства Венедикта Ерофеева, проходившем на Кольском полуострове. Её рассказы о младшем брате и их семье открыли мне глаза на то чудо творчества, которое он сотворил в поэме «Москва — Петушки». О таком соединении несоединимого кратко и просто сказала Анна Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...»

Когда-то земли пращуров Венедикта Ерофеева не раз топтали копыта коней завоевателей. То налетали татары с монголами, то ещё какие-то другие кочевники. В общем, места эти требовали постоянной защиты от всяких враждебно настроенных племён. Первые поселенцы были люди лихие и отчаянные. Из тех, кому

сам чёрт не брат. Вот и получали они от русских князей и царей за верную службу наделы плодородной земли.

Село Елшанка примерно до 1720 года являлось Насакинским выселком. В некоторых документах упоминается как Елшанский выселок при речке Маляевке (ныне название претерпело некоторое изменение и эта речка известна как Малявка). С 1800 по 1876 год им владел капитан Николай Александрович Насакин. Он когда-то сослал своих крепостных крестьян в эти места за беспорядки в его основных владениях. Второе название села — Николаевка. Оно связано с построенным в нём в 1858 году Николаевским храмом. В некоторых документах с того времени селу даётся двойное название: «Елшанка, Николаевка тож».

Можно предположить, что Ерофеевы вполне могли находиться среди однодворцев села Елшанка, обозначенных в ревизских сказках за 1780 год. Всего-то тогда насчитывалась 31 семья. Доподлинно известно, что в 1873 году в Елшанке родился Василий Константинович Ерофеев, дед Венедикта Васильевича. Ко времени его рождения село было большим, состояло из почти шестисот дворов, и эти дворы располагались в нём по сословно-имущественному и родственному принципам: дворяне, Садовка, Болдаковка, Кучи, Насаковка, или Насаковские Выселки, Обущино.

Вообще в селе Елшанка семей, носящих фамилию Гуцины, было немало. Ещё больше — Ерофеевых. Почти каждая семья состояла из кучи детей и родственников. Вот почему, чтобы вконец не запутаться, кто есть кто в этой массе однофамильцев, в ход пошли прозвища. Словно многоводная река вдруг растеклась на множество ручьёв. Теперь всякий из них существовал сам по себе и со своим названием. Такова уж крестьянская психология. Одна тенденция, впрочем, проглядывала яснее ясного. Гуцины и Ерофеевы отрещивались от своих однофамильцев как могли. Они



уверяли других жителей Елшанки, что никакого родства между ними не было и нет.

Недаром, как вспоминает Нина Васильевна Фролова, родню их отца, включая его братьев и сестёр, называли Костевами (с ударением на «е»), чтобы отличить от остальных сельчан с фамилией Ерофеев. По-видимому, прозвище это появилось по имени прадеда писателя — Константина или Кости, а может быть, по имени пращура, существовавшего в ещё более давние времена.

Село, где жили предки Венедикта Ерофеева, было богатым. В нём находились две школы и училище. При обучении большое внимание уделялось арифметике и чтению, преподавалось пение, рукоделие, садоводство. В библиотеке училища были книги по сельскому хозяйству, книга для начального обучения церковнославянскому языку, Псалтырь, часослов, из наглядных пособий глобус, три географические карты, картины, точнее репродукции, Василия Павловича Шрейбера<sup>[231]</sup> к Священной истории Ветхого Завета. Право пользоваться библиотекой имели ученики и окончившие училище. К 1894 году подавляющая часть населения была грамотна. Служить в елшанский храм во имя Святителя и Чудотворца Николая приезжают благочинный из села Качкарлей протоиерей Павел Михайловский с псаломщиком Остроумовским.

С появлением на свет Василия Константиновича семейное древо Ерофеевых получает чёткое очертание. Каждый новый листочек на нём оформляется соответствующей записью в метрической книге, а при советской власти — отделами записей гражданского состояния.

Нина Васильевна Фролова восстановила родословные двух семей — Ерофеевых и Гуциных. Василий Константинович Ерофеев (дед Венедикта

Васильевича Ерофеева) женился на крестьянской девице Дарье Афанасьевне Кузнецовой. Его дом находился рядом с домом дворянина тоже по фамилии Ерофеев. Дома были большие, добротные, с очень красивыми резными наличниками и глухими ставнями. У каждого дома находился колодец. Срубы колодцев были дубовые. По поводу осиновых срубов существовала поговорка: «Осина не лесина, коза не скотина, а баба не человек». Василий Константинович работал управляющим у дворянина Ерофеева.

Всего в его семье было восемь детей, из них пятеро сыновей — Василий Васильевич (1900—1956), Иван Васильевич (1891—1979), Николай Васильевич, Степан Васильевич, Павел Васильевич (1914—1998) и три дочери — Наталья Васильевна, Евдокия Васильевна и Марина Васильевна (1902—?).

Братья Ерофеевы, по воспоминаниям Нины Васильевны Фроловой, были рослые, светловолосые, голубоглазые, кроме кареглазого, низкорослого Ивана. По её же рассказам, Евдокия, тётя Дуня, по мужу Евсеева, обладала весёлым нравом и любила пошутить. Своего сына Александра, подводника, в письмах к нему называла «милая моя *полундрачка*».

Младшую дочь Василия Константиновича Марину в семье и селе называли ласково — Маришей.

Василий Васильевич Ерофеев, отец Венедикта Васильевича, родился 22 июля 1900 года. В связи с этим событием в метрической книге Симбирской духовной консистории сделана запись: «22 июля 1900 года родился, а 23 июля крестился младенец Василий, однодворца Ерофеева Василия Константиновича и законной жены его Дарьи Афанасьевны. Крёстные: однодворческая девица Ерофеева Федосья Константиновна и крестьянин Кузнецов Иван Афанасьевич. Таинство свершил священник Иоанн Архангельский и псаломщик Михаил Воецкий».

Рассматривая историю появления на свет Венедикта Васильевича Ерофеева, со слов Нины Васильевны Фроловой расскажу о роде их матери — Анны Андреевны, в девичестве Гущиной. Каждому браку сопутствует множество обстоятельств, в результате которых он в конце концов осуществляется. К слову сказать, любовь с первого взгляда далеко не всегда оказывается его основной причиной. Любовь любовью, но крестьянская жизнь вносит свои требования и поправки в сферу высоких чувств.

Крестьянский род Гущиных жил рядом с храмом. Когда звонил колокол, его громкие звуки разносились далеко. Дед Венедикта Васильевича по материнской линии, Андрей Прокопьевич Гущин, был красив, имел хороший голос и пел в церковном хоре.

Его жена крестьянка Дарья Матвеевна Гущина родила пятерых детей — все девочки. В феврале 1887 года родилась старшая дочь Евдокия Андреевна (ум. 1981). В августе 1891 года появилась на свет Васса Андреевна (ум. 1972). Таинство крещения сестёр совершил священник Алексей Топорнин с псаломщиком Алексеем Тресвятским по отчеству Венедиктович. Последний со временем станет священником Единоверческой церкви<sup>[232]</sup> села Головина. Брат Алексея Венедиктовича священник Александр Тресвятский<sup>[233]</sup> также приезжал в Елшанку. Возможно, приезжал и их отец Венедикт Тресвятский, первый священник в построенном в селе православном храме.

Затем на свет божий появилась Ольга Андреевна (1895— 1920). Через три года, 7 марта 1898 года, родилась Анна Андреевна (ум. 1972), мать Венедикта Ерофеева. 11 марта таинство её крещения совершил отец Иоанн Архангельский с псаломщиком Михаилом Воецким. Самой младшей сестрой была Наталья Андреевна (1903—1981). Отец девочек Андрей

Прокопьевич Гуцин, крестьянин села Елшанки, умер от чахотки молодым. В метрической книге Симбирской духовной консистории сделана запись за 1906 год: «умер 2-го января, похоронен 4-го января».

Тамара Васильевна Гуцина, старшая сестра Венедикта Ерофеева, вспоминала: «Осталось пятеро детей — все девочки. Опекун над сиротами взяла на себя семья священника Иоанна Хрисанфовича Архангельского, единственная интеллигентная в селе. Старший сын, Владимир Иванович Архангельский, был протодьяконом сызранского собора (в честь Казанской иконы Божией Матери. — А. С.), а в 1913 году, после победы на Всероссийском конкурсе басов, стал протодьяконом храма Христа Спасителя в Москве. По рассказам мамы, он был красавец, многие московские дамы ходили в храм не только ради молитв, а чтобы послушать его великолепный голос и полюбоваться на его стать. Дочь Архангельских, Мария, окончила университет и преподавала в елшанской школе. Наша мама была подругой младшей дочери Кати. В доме Архангельских была хорошая библиотека, выписывались популярные журналы. И мама, и её сестра Ольга очень любили читать: библиотека священника была в их распоряжении. Впоследствии Ольга сдала экстерном за гимназию экзамены и стала учительницей. Мама же всегда удивляла меня хорошим знанием русской истории и литературы, хотя ей удалось окончить только три класса церковно-приходской школы»<sup>5</sup>.

Сохранилась запись о крещении Екатерины, дочери Иоанна Хрисанфовича Архангельского, родившейся 4 ноября 1898 года.

Судьба Владимира Ивановича Архангельского сложилась трагически. Как рассказала мне Нина Васильевна Фролова, во время гонений на служителей

церкви его не расстреляли, а вынудили отказаться от сана и заставляли периодически работать ассенизатором. Делали это исключительно с воспитательной целью: чтобы знал своё место и не думал, что он Шаляпин. Такая полная унижений жизнь, понятно, здоровья не прибавляет. Вот Владимир Иванович вскоре и умер — в 1926 году.

Судьба красавицы Евдокии Андреевны, тёти Дуни, сложилась также не лучшим образом. В бытность её жительницей Елшанки она звалась Авдотьей. При переезде в Москву она сменила своё деревенское имя на городское — Евдокия. Как вспоминает Нина Васильевна, её, как самую старшую в семье, выдали замуж в 16 лет за односельчанина Карякина. Он был психически нездоровым человеком. По рассказам Нины Васильевны, ложась спать, клал под подушку на всякий случай топор. Можно представить, каково было находиться с ним в одной избе его жене и дочке Татьяне!

Евдокия Андреевна, долго не размышляя, взяла в охапку ребёнка и уехала в 1913 году в Москву к своему другу детства и юности — Владимиру Ивановичу Архангельскому. Её бегству от сумасшедшего мужа помог его отец Иоанн Хрисанфович. Она была при Владимире Ивановиче до самой его смерти. Как могла, облегчала ему жизнь. С Евдокией Андреевной Карякиной ещё будут встречи на страницах этой книги. Судьба крепко связала её с семьёй своей сестры.

Ольга Андреевна была в отца, красивая и талантливая, но судьба её оказалась трагической: в припадке ревности её застрелил муж.

Анна Андреевна Гущина дружила также с Натальей, старшей дочерью Василия Константиновича и Дарьи Афанасьевны Ерофеевых.

Церковь действовала в селе до 1920 года. В тот год храм закрыли и превратили в Народный дом.

Метрические книги с записями были переданы в сельсовет. Что стало с семьёй Архангельских, неизвестно.

Вернусь к воспоминаниям Тамары Васильевны Гущиной: «Дед по отцовской линии, Ерофеев Василий Константинович, был против женитьбы старшего сына Василия на нашей маме. Папа уехал искать счастья на Север, в Кандалакшу, и через несколько месяцев вызвал маму к себе. Так семья наша стала кочевать со станции на станцию: Кандалакша, Пояконда, Чупа, Хибины. Отец работал дежурным по станции»<sup>6</sup>.

Семья Василия Константиновича относилась, судя по всему, к небогатым, но «крепким» крестьянам. К моменту своего ареста во второй половине 1941 года в его собственности находились дом с надворными постройками, корова и три овцы. В 1920-е годы он владел участком земли в 12 десятин, лошадью, коровой и пятью овцами.

Конец 20-х годов XX столетия стал рубежом, отделившим старую крестьянскую Россию от России новой, советской. Это в полной мере ощутили на себе крестьяне всей страны, в том числе и жители Елшанки. Продразвёрстка и продналог выжимали из своих родовых мест самых зажиточных и самостоятельных крестьян. Во времена нэпа (1921—1928) для освоения центральной части Кольского полуострова использовался метод железнодорожной колонизации, широко применявшийся в Канаде при заселении новых земель [\[234\]](#).

В 1923 году создаётся колонизационный отдел Мурманской железной дороги. Волонтёрам-переселенцам обещали льготный проезд, большие подъёмные, беспроцентные ссуды, выдавался хлеб и фураж.

Строилось бесплатное жильё. Вновь приехавшие за полярный круг освобождались от всех налогов. Первой из Ерофеевых уехала на Север сестра Евдокия, по мужу Евсеева. Её муж Иван Антонович уже работал начальником железнодорожной станции Чупа. К ней и поехал Василий Васильевич Ерофеев. Летом он вернулся в отпуск в Елшанку, где и продолжился роман с Анной Андреевной. Весь род Ерофеевых был против их женитьбы. Ведь невеста была из бедной семьи, да и что это за жена для сына, если она по-барски воспитана, умна, играет на гитаре, поёт романсы и всё свободное время проводит за чтением книг. Но была ещё одна самая веская причина решительного противодействия со стороны Василия Константиновича этому браку. Стало известно, что невеста беременна. Этот неоспоримый факт, надо полагать, вызвал в селе пересуды вокруг одного вопроса: а кто же настоящий отец будущего ребёнка?

О том, насколько далеко зашло неприятие к невестке и рождённой ею внучке Тамаре, свидетельствует её сестра Нина Васильевна: «Тамара мне рассказывала, что мама её упрекала (!!!) — из-за неё она вынуждена была выйти замуж за отца». Взаимоотношения между Ерофеевыми и Гушциными (речь идёт о свёкре и свекрови Анны Андреевны. — А. С.) были не очень хорошие. Даже когда Тамара родилась, они не хотели примириться с женитьбой сына. Летом 2008 года Тамара удивила меня рассказом о том, как дед Василий Константинович хотел её утопить в реке, но елшанские мужики не дали ему это сделать».

В селе гуляли слухи, что мать нагуляла девочку от какого-то стороннего мужчины. Я думаю, что это неверное предположение. Скорее всего, она забеременела от будущего мужа до официального бракосочетания, что уже было нарушением

существующих в селе матримониальных обычаев. Этим объясняется, вероятно, её поспешный отъезд в Москву к сестре Евдокии Андреевне, где и появилась на свет 30 декабря 1925 года Тамара. Анна Андреевна родила в роддоме для матерей-одинок. Были тогда такие медицинские учреждения в Москве. Новорождённая девочка была записана Гущиной, по фамилии матери. Регистрация брака Анны Андреевны с Василием Васильевичем состоялась через шесть месяцев уже на Кольском полуострове — 24 июня 1926 года в загсе города Кандалакши.

Василий Константинович поспешил отправить сына на Север, в Кандалакшу, на курсы путейцев для «Мурманки». Так называли самую богатую организацию за полярным кругом. Кто же уезжает по зову сердца не в одиночку, а большими семьями с насиженных мест, с обжитой и благодатной земли за полярный круг, в край, где дни короткие, а ночи длинные и где природные богатства вскоре будут осваиваться в основном заключёнными, спецпереселенцами и ссыльными? Ехали Ерофеевы в дальний край, конечно, по своей воле, но причины их отъезда были вынужденными. Не забудем, что незадолго до их отъезда родные места затронула страшная трагедия — голод в Поволжье 1921 — 1922 годов.

Прибавлю ко всем этим фактам ещё один. Отношение к семье Василия Васильевича Ерофеева в Елшанке со стороны местных властей было настороженно-подозрительным. Тесные контакты его жены и её сестёр, а также его родителей с семьёй священника не сулили ничего хорошего. Я полагаю, что именно все эти обстоятельства привели его и двух его братьев, Степана и Ивана, а также Ивана Антоновича Евсеева, мужа сестры Евдокии, к здравой мысли уехать подальше от тех мест, где они родились, выросли, а их семьи какое-то время если и не благоденствовали, то по



крайней мере жили в достатке и радости. Другого выхода, вероятно, у них не было. К тому же работу на железной дороге расхвалил муж двоюродной сестры Лидии, железнодорожник, работающий в Казахстане. Его рассказы подтолкнули членов семьи Ерофеевых к окончательному принятию решения начать новую жизнь подальше от родных мест. В то время было обычным делом из землепашцев становиться железнодорожниками.

В Елшанке из семьи Ерофеевых остались Марина (Мариша), Николай и Павел. Николай, который был крёстным Тамары, старшей сестры Венедикта Ерофеева, был арестован в 1939 году за самогонование. Дальнейшая его участь неизвестна.

Как появляются устные истории, в которых была перемешана с вымыслом, объяснить, вероятно, возможно, но нужно ли? Убить легенду здравым и въедливым умом проще простого. Между тем сводить ритмичный ход жизни к математическим формулам, может быть, для кого-то полезно и необходимо, а вот для большинства людей — скучно и ненужно. Тем более известно, что научные прогнозы не всегда сбываются.

Исходя из афоризма «Хороша сказка, где есть взрослые мысли», перейду к истории о том, как откликнулись трагические события жизни Венедикта Ерофеева в сознании жителей села Елшанки. Эту историю поведала мне Талина Анатольевна Ерофеева, невестка Венедикта Ерофеева, женщина любознательная и неугомонная в исследовании всего, что касается обстоятельств жизни семьи дедушки её детей.

Как я уже писал о детях Василия Константиновича, самым старшим из них был Николай, арестованный в 1939 году и с тех пор сгинувший неизвестно где.

Среди жителей Елшанки получила распространение душещипательная и совсем уж не романтическая

история о любви, погубленной случаем.

В селе готовились к свадьбе. Женихом был сын Николая Ерофеева по имени Венедикт. Тут надо заметить, что в отличие от Николая Васильевича Ерофеева отчество у него было другое — Алексеевич. В «Книге памяти» можно обнаружить имя этого человека из Елшанки 1894 года рождения. Он был раскулачен и выслан вместе с семьёй. Но всё это случилось позднее.

В то время мыло было дефицитным товаром. Вместо него для стирки белья использовали разведённую в воде щёлочь. Эту мутную смесь держали в тех же бутылках, что и самогон. Венедикт зашёл в дом невесты, где полным ходом шла стряпня. Был он с похмелья и попросил у своей будущей жены налить ему что-нибудь покрепче. Та второпях вместо самогона налила ему в стакан разбавленную водой щёлочь. Больно уж были похожи бутылки с самогоном и щёлочью. Венедикт залпом осушил этот стакан и, естественно, обжёг гортань. Чем только не отпаивали его сбежавшиеся со всех сторон подружки невесты. И молоком, и подсолнечным маслом. Ничего не помогало. Понятно, что желание жениться на этой девушке у Венедикта вмиг пропало. Несчастливая девушка, рыдая, побежала к колодцу, развела в ведре с водой целую бутылку щелочи, выпила половину огненной смеси и замертво свалилась в колодезный сруб. С тех пор сельчане стороной обходят это место самоубийства несчастной невесты.

Через какое-то время всю семью Ерофеевых сослали туда, где Макар телят не гонял.

Такую вот фольклорную историю услышала от жителей села Елшанки Галина Анатольевна Ерофеева.

Однако история о погубленном счастье, как любая сказка, всё-таки со счастливым концом. Началась война с немецким фашизмом. Венедикт Ерофеев с сыном Венедиктом пошли защищать родину и вернулись героями. Отец отвёз сына в Молдавию, где умелый

хирург сделал ему искусственную гортань. С тех пор в Елшанке Венедикта звали не иначе как *Венедикт искусственное горло*.

В беседе с писательницей Ириной Тосунян Венедикт Ерофеев вспомнил эту историю в своей интерпретации: «Когда умирала моя матушка в 1972 году, она сказала Тамаре (старшей сестре. — А. С.): “Все остальные — Нина, Борис, — они найдут свои пути. Наблюдай за самым младшеньким, Венедиктом!”». На вопрос Ирины Тосунян, почему его называли Венедиктом, он ответил: «Это совершенно диковинное дело. Брата моего покойного отца звали Венедиктом. Он с похмелья вместо вина выпил что-то, от чего скончался. И меня в его честь назвали Венедиктом»<sup>7</sup>. Венедикт Ерофеев, как это случалось с ним при беседах с интервьюерами, часто некоторые факты брал с потолка. Редко: ради какого-то глумления над непонравившимся ему собеседником, а в основном: по тем или иным соображениям. Не было у его отца брата по имени Венедикт.

Эту историю в селе рассказывали и пересказывали тысячу раз. Дошла она и до ушей Венедикта Васильевича. Не случайно же его герою в поэме втыкают шило в горло, а в трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» пациенты психбольницы себе на погибель выпивают смертельное зелье.

## **Глава вторая** **КАК СЛАБЫЙ ДУШИТ СИЛЬНОГО**

Венедикт Васильевич Ерофеев родился 24 октября 1938 года в предместье Кандалакши. Это село с большой историей, идущей ещё со второй половины XVI века, в год рождения будущего писателя получило статус города.

Город Кандалакша разместился на побережье Кандалакшского залива Белого моря, в устье реки Нивы (ударение на первом слоге), по обе её стороны, в 200 километрах к югу от Мурманска. Все дети Василия Васильевича и Анны Андреевны, за исключением Тамары, появлялись на свет с небольшими перерывами именно здесь по одной только причине. На тех железнодорожных полустанках и в тех поселениях, где служил Василий Васильевич Ерофеев, больницы с родильными отделениями отсутствовали. В год рождения Венедикта его отец был в должности начальника железнодорожной станции Чупа. Железнодорожная станция Чупа находится в четырёх километрах от посёлка городского типа с тем же названием. Это место расположено на берегу Чупинской губы Кандалакшского залива. Жильё, которое им определило железнодорожное начальство, было скромным и удобным. Дом располагался чуть ли не вплоты со станцией, что для отца было немаловажным обстоятельством.

В одном из своих блокнотов Венедикт Ерофеев прокомментировал год своего рождения: «Моя Родина в 1938 году, когда вынашивала меня, была в интересном положении»<sup>1</sup>. Объясню, что он имел в виду, заглянув в историю родной страны.

В ходе массовых репрессий в СССР, по документально подтверждённым данным, в 1937—1938 годах по политическим мотивам было осуждено 1 344 923 человека, из них 681 692 приговорены к высшей мере наказания. В этот временной период по стране казнили от 1000 до 1200 человек в день. За пару недель 1937 года, например, расстреляли больше, чем все военно-окружные суды царской России за 100 лет.

Венедикт Ерофеев оказался в семье последним ребёнком. Анна Андреевна родила четверых мальчиков и двоих девочек. Перечислю всех детей, кто остался жив, по очерёдности их рождения. Самой первой была родившаяся в 1925 году Тамара Васильевна. Об обстоятельствах её рождения я писал в предыдущей главе. Дополню только написанное несколькими деталями повседневной жизни, характерными для той революционной эпохи, с которой началась новая история России.

Нина Васильевна Фролова вспоминает рассказы матери о времени после февраля 1917 года: «Маме тогда было лет семнадцать-восемнадцать. Она часто навещала к своей старшей сестре Ольге в Сызрань. Все словно тронулись умом. Ходили толпами по улицам, горланя революционные песни, с красными флагами и лозунгом “Долой стыд!”. Всё было запредельно дорого. К примеру, тётя Ольга говорила маме: “Анюта, вот тебе миллион. Пойди купи спичек”. А песни были примерно вот такого содержания:

Пускай умрёт за Родину,  
кто хочет воевать,  
а я куплю смородину  
и буду торговать!

И припев к ней:

Ах, Дума, Дума, Дума...

Ха-ха-ха...

Дума го-су-дар-ствен-ная...»

Вторым ребёнком в семье Ерофеевых стал Юрий, умерший восьмимесячным от двухстороннего воспаления лёгких в 1927 году. Третьего ребёнка также назвали Юрием в память об умершем. Он появился на свет в 1928 году. В 1931-м родилась Нина. В 1937 году детей в семье прибавилось. Родился Борис. И наконец, в 1938-м — Венедикт.

К моменту рождения Венедикта положение его отца на службе железнодорожника было прочным. Он прошёл за короткий срок путь от путевого рабочего на Кировской железной дороге в 1925 году до дежурного на станции Пояконда в 1931-м, а в 1936-м стал на ней начальником. Затем в 1938 году его переводят в той же должности начальника на станцию Чупа, а в 1941-м на станцию Хибины. Нельзя не отметить, что в 1930-м Василий Васильевич Ерофеев вступил в ВКП(б). Его партбилет № 208629.

Вспоминает Тамара Васильевна. В это время она училась в Кандалакше в школе-интернате для детей железнодорожников: «Хмурым октябрьским днём в интернат ко мне зашёл отец и сказал: “Одевайся, Тамара, идём в больницу забирать братишку”. Больница находилась неподалёку от интерната для детей железнодорожников.

Две женщины в белых халатах спускались к нам по лестнице. Одна из них держала закутанного малыша.

Мама осторожно спускалась, держась за перила. — Ну-ка, покажите нам, что у нас за папа!

Папа шагнул навстречу.

— Поздравляем вас! Младенец ваш первый богатырь в больнице: 13 фунтов.

Мне доверили немного подержать малыша. Я приоткрыла одеяльце, Веночка спал и усиленно сосал свою нижнюю губу. Проводив родителей к поезду, я вернулась в интернат»<sup>2</sup>.

Инициатива назвать новорождённого Венедиктом всецело принадлежала его матери. Тамара Васильевна предполагала, что имя было связано с воспоминаниями Анны Андреевны о своей молодости. То ли с жившим неподалёку от Елшанки сыном помещика по имени Венедикт, то ли с именем первого священника появившейся в Елшанке церкви — Венедикта Тресвятского. В 1918 году двух родившихся младенцев назвали Венедиктами. Это имя было не редким в селе.

В семье маленькому Венедикту дали домашнее имя Вена. Именно Вена, а не Веня. Мать объясняла детям, что Вена звучит ласково — производное от Вениамина. Вениамин имя слишком вычурное и к тому же тренькает в ушах, а в своём сокращённом виде вполне милое и душевное. С тех пор и пошло: Вена, Венушка.

Кандалакшский отдел актов гражданского состояния выдал свидетельство о рождении Венедикта Васильевича Ерофеева № 6080256. Поскольку семья проживала на станции Чупа Лоухского района Карельской АССР, местом рождения была записана «станция Чупа».

Тамара Васильевна описывает младшего брата как тихого, кроткого, худенького мальчика.

Обращусь к её воспоминаниям о том времени: «Мы жили в доме железнодорожников, в нескольких шагах от станции, две комнаты и кухня, половину которой

занимала большая русская печь. Книг в доме не было, не было и радио. Но помню, что перед войной мы получали газету “Известия” и журнал “Огонёк”. А однажды отец устроил нам праздник: купил патефон и стопку пластинок. Среди них были и популярные тогда “Брызги шампанского”, и “Колыбельная” Моцарта, и песенка из какой-то современной оперы “На рыбалке у реки тянут сети рыбаки”, и даже ария Лепорелло из “Дон Жуана” Моцарта в исполнении Шаляпина. Но малышам, Боре и Вене больше всего понравилась “Песня пьяных монахов”. Они брали у печки совок и кочергу, делали с ними круги по комнате и пели, безбожно искажая слова озорной песенки. <...> Была в нашем доме и гитара, на которой так никто и не научился играть. Изредка мама, когда бывала в хорошем настроении, аккомпанировала себе и пела романсы. Впервые от неё услышали: “Вечерний звон”, “Отцвели уж давно хризантемы в саду”, “Накинув плащ, с гитарой под полою, к её окну приник в тиши ночной”»<sup>3</sup>.

Известно, что на железной дороге дисциплина была военная. Большой террор 1937—1938 годов затронул железнодорожников. Лазарь Моисеевич Каганович, с февраля 1935 года нарком путей сообщения, развернул в вверенном ему хозяйстве в 1937—1938 годах такую охоту на «шпионов-вредителей», что головы летели одна за другой. Каждую ночь кого-то арестовывали. Прогоулы или опоздания за работу приравнивались к уголовным преступлениям. Их отцу повезло. За невыход на дежурство его только на время отстранили от работы. Может быть, избежать наказания помог его приятель — начальник лагеря заключённых Новицкий, часто бывавший в доме Ерофеевых и постоянно вовлекавший главу семейства в пьяные загулы. Лагерь находился в нескольких километрах от станции Чупа.



Семья у Новицкого жила в Ленинграде, и он чувствовал себя в Чупе холостяком. Тамара Васильевна вспоминала об одной из его гулаговских шуточек: «Ему (Новицкому. — А. С.) очень нравился Боря. Он сажал его к себе на колени и заводил страшно не нравившийся маме разговор:

— Василий Васильевич, отдайте мне Борю. У вас же ещё два сына есть.

Боря негодовал, вырывался, бил своими пухлыми ручонками по груди Новицкого и кричал: “Бяка! Бяка! Не хочу!”

Веночка встревоженно смотрел на эту сцену. Неужели Борю отдадут? Веночка рос тихим, не капризным, с нежным негромким голоском. Его было почти не слышно. Наша мама называла его Венушкой»<sup>4</sup>.

Нина Васильевна, несмотря на тяготы жизни тех лет, с восторгом вспоминает своё довоенное детство на Кольском полуострове: «Если едешь поездом — остановка на станции Полярный круг. Поздняя ночь, никто в поезде не спит. Торжественный момент — пересекаем Полярный круг. Мурманск — незамерзающий порт в Баренцевом море. В центре полуострова — озеро Имандра. Хибинские горы — невысокие, до 700 метров. Когда на них поднимаешься, прогуливайся по плоским вершинам сколько хочешь. Отступающие ледники их основательно стесали. Поэтому и называют эти горы плато. Белые ночи несколько месяцев в году. Северное сияние. Я помню, мама окна даже занавешивала, чтобы мы наконец-то угомонились и уснули. Множество рек и озёр. Все их названия с ходу не запомнить. Река Белая, например, вытекает из озера Вудъявр. Рыбная ловля, грибы, ягоды заготавливали впрок. Ягоды разнообразные. Клюква, голубика, брусника, черника, морошка. Голубика растёт на высоких кустах. Морошка удивительная ягода. О ней

сейчас мало кто знает. Собирать её — намучаешься, настолько она нежная. Форма у неё как у малины, а цвет жёлтый. По вкусу морошка приторно-сладкая. Мы когда ходили по ягоды, ею наедались досыта. Белых грибов и груздей в этих местах не было, зато полно подосиновиков и волнушек. Волнушки мы обычно в бочонках засаливали и мариновали. Семья у нас всё-таки большая, и дары природы нам очень помогали. А рыбы какие вкуснейшие — сиги, хариусы... Особенно красная кумжа! В июне соревнования по слалому на горе Айкуайвенчор, что по-русски — Спящая красавица. Город Кандалакша — это начало работы отца. Затем Пояконда. После неё переехали на станцию Чупа, где родились младшие братья Борис и Венедикт. На ней мы надолго задержались. В начале войны отца перевели начальником станции Хибины. Вот уж прекрасное место — не налюбуйшься. Наш дом стоял на берегу озера Имандра. Какие ещё у меня остались в памяти впечатления детства? Смотрели, как ловят рыбу, плавали в лодке на острова за ягодами, запасали летом корм (берёзовые и ивовые веники) для коз. Выращивали картошку, морковь, капусту. В лесу собирали впрок грибы и ягоды. Мы большей частью жили в помещениях, где с одной стороны — железнодорожная станция, а с другой — вход в наше жильё. В Чупе у нас был утеплённый сарай для коз. Там же и сено хранили, ивовые и берёзовые веники. А в зимний сезон козлята у нас всегда находились в доме. До сих пор такая картина перед глазами стоит: Боря с Веней по комнате бегают, а козлята за ними гоняются».

Семья жила дружно. Вместе с тем, что касается хозяйки дома, у неё были как любимчики, так и те, кого она держала в чёрном теле. К последним относились дочери Тамара и Нина. Как убеждена Нина Васильевна, из всех детей Анна Андреевна по-настоящему любила только Вену, а к другим сыновьям относилась без

особой экзальтации. Правда, в последние годы, когда жила со старшей дочкой Тamarой, её характер несколько смягчился.

Что касается Нины Васильевны, то в семье ждали ещё одного мальчика, но родилась девочка. Особенно расстроились шестилетняя Тамара и трёхлетний Юрий. Они от огорчения заплакали, словно им обещали что-то стоящее и долгожданное, а принесли невесть что.

Нельзя сказать, что дом Ерофеевых был полная чаша, но еды на всех хватало. Выручала рыба. Держали кур и коз. Очень близкие отношения у их семьи сложились с сестрой отца Евдокией Васильевной, в девичестве Ерофеевой, — тётей Дусей и её мужем Степаном Антоновичем Евсеевым. В отличие от Ерофеевых они относились к людям зажиточным. Держали, например, двух коров. (Не путайте Евдокию Васильевну с Евдокией Андреевной, в девичестве Гущиной — другой тётей Дуней.) Дядя Степа, как называли его дети, как и Василий Васильевич Ерофеев, работал железнодорожником на станции Пояконда. Расстояние от Чупы до Пояконды небольшое, около 60 километров. Степан Антонович и Евдокия Васильевна жили вдвоём. Дети у них были уже взрослыми, и жизнь разметала их по разным местам необъятной страны.

Нина Васильевна Фролова с удовольствием вспоминает совместные с дядей Стёпочкой, как она называет мужа тёти Дуси, прогулки к заливу Белого моря и на озёра. Проверяли сети, жгли на берегу костры. Приносили домой столько рыбы, сколько могли унести. Но это было много позже — в 1945 году.

Маленький Венедикт, Вена, с малолетства обнаруживал невиданные способности, отсутствующие у большинства детей. Они были связаны с редкостной для его возраста феноменальной памятью. Нина Васильевна вспоминает: «Веночка необычный был и маленький: когда он научился читать, мы даже и не

знали, никто его специально не учил, может быть, сам что-то спрашивал у старших. Он был сдержанный, углублённый в свои мысли, память у него была превосходная. Например, такой эпизод. Книг особых у нас не было, поэтому читали всё подряд, что под руку попадало; был у нас маленький отрывной календарь, который вешают на стену и каждый день отрывают по листочку. Веночка этот календарь — все 365 дней — полностью знал наизусть ещё до школы; например, скажешь ему: 31 июля — он отвечает: пятница, восход, заход солнца, долгота дня, праздники и всё, что на обороте написано»<sup>5</sup>.

Способность запоминать не только прочитанные тексты, но и каждый день прожитой жизни сохранилась у Венедикта Ерофеева и в зрелом возрасте. Свидетельствует его друг с середины 1950-х годов Лев Андреевич Кобяков: «У него была феноменальная память на тексты, как и у Володи Муравьёва. Они устраивали состязания между собой, кто больше прочитает стихов, — это могло длиться часами. Но помнил Веня не только тексты: в отличие от обычных людей, он держал в памяти подробности любого, наугад названного дня из прошлого. Его можно было спросить: Веня, а что было такого-то числа, такого-то года? И он отвечал, с кем именно он провёл этот день, какая стояла погода, что он пил, что читал, какую музыку слушал, о чём и с кем говорил. Мы пытались его проверять, и всегда оказывалось, что он не сочиняет, а действительно всё помнит»<sup>6</sup>.

Малышей Вену и Борю, если особенно не приглядываться, можно было принять за близнецов. Между собой они разговаривали на особом языке, который со временем научились понимать и взрослые. Венедикт, например, Борю называл Ботя, сестру Нину — Ниня, Тамару — Тимазя, Юрия — Зюзя, а самого себя —

Венить. Не уступал ему и Борис. Венедикта он называл Века, Юрия — Ука, Тамару — Мка, Нину — Ника.

Нина Васильевна вспомнила один случай из их детской жизни. При всей его анекдотичности он важен для понимания отношения взрослого Венедикта Васильевича к окружающему миру.

В том, что я сейчас расскажу, несомненно, есть что-то похожее на другое событие, происшедшее более чем за два тысячелетия до наших дней с юным Сиддхартхой Гаутамой, впоследствии ставшим Буддой — сыном правителя индийского племени шакьев. О его детстве мало что известно.

Выделяется лишь один жизнеподобный эпизод, когда ему было лет пять или шесть, от силы — семь. Напомню, что это было за событие. И даже вкратце его опишу.

Проходила религиозная церемония по случаю первой пахоты. Праздник первой борозды. Первый весенний сев имел магическое значение, и отец Сиддхартхи проводил золочёным плугом первую борозду. К нему затем присоединились крестьяне — и работа закипела. Радостный настрой создавали музыканты и певцы. Флаги и знамёна развевались по ветру. Брахманы монотонно, занудно и долго читали мантры. Сиддхартха смотрел пристально на религиозную церемонию, но затем его внимание перешло с людей на волов, которые отмахивались хвостами от кусающих их ненасытных слепней и мух. Пикирующие на волов птицы азартно склёвывали опившихся воловьею кровью насекомых. Сиддхартху поразило это зрелище — пожирание одними живыми существами других. В более зрелом возрасте он задумался, почему одни живые существа живут только ценой смерти других. Именно эта мысль заставила его возмутиться несправедливым ходом жизни и искать ему какую-то альтернативу.

Вернусь в детство Венедикта Ерофеева.

Вот что рассказала мне Нина Васильевна Фролова: «Незадолго перед войной, в конце апреля 1941 года, почти вся семья, за исключением Тамары и Юрия, гостила у дедушки Василия Константиновича и бабушки Дарьи Афанасьевны в деревне Елшанка. В их доме на высокой и просторной русской печи разлеглась кошка и кормила котёнка. Вене тогда было два с половиной года. Кошку, кормящую малюсенького котёнка, он увидел впервые. В нашем доме на Кольском полуострове кошек и собак мы не держали. Вена по лесенке из деревянных дощечек осторожно поднялся поближе к кошке и во весь голос испуганно закричал, обращаясь к стоявшему внизу Боре: “Ботя, мамотя, маинта тиза базузу е”, что означало: “Боря, посмотри, маленькая киса большую ест!”».

Эта история развеселила взрослых. А надо было бы им зарыдать в голос. Ведь наивный вскрик малыша означал, что, если говорить о принципе справедливости и законе иерархии, ничего в мире людей и других живых существ не меняется. Разве что привычные вещи оказываются переставленными с ног на голову. На этот раз слабые гнобили сильных, а не сильные слабых.

Спустя 40 лет после этого случая поэтесса Муза Константиновна Павлова<sup>[235]</sup>, известная переводчица стихотворений турецкого поэта Назыма Хикмета, в поэтической форме выразила то, что устало и испугало двух малышей — Сидцхартху и Венедикта. Её шесть строк были опубликованы в сборнике «День поэзии» за 1981 год:

И говорит осина:  
— Смотреть невыносимо,  
как сильный душит слабого.

Ей отвечают грабы:  
— А ты смотреть могла бы,  
как слабый душит сильного?<sup>7</sup>

Вспоминаю на ту же тему стихотворение Владимира Высоцкого «Охота на волков».

Художник Михаил Шемякин упорно настаивает, что оно написано в защиту диссидентов. Согласиться с этой трактовкой, сужающей смысл стихотворения до сиюминутной ситуации, не могу. Представляя масштаб личности Владимира Семёновича, убеждён, что в своём поэтическом шедевре он сказал более мощно то же самое, о чём написала Муза Павлова.

Поэт Валерий Яковлевич Брюсов<sup>[236]</sup> был наивен, когда в 1905 году в полемике с В. И. Лениным писал: «При господстве старого строя писатели, восставшие на его основы, ссылались, смотря по степени “радикализма” в их писаниях, в места отдалённые и не столь отдалённые. Новый строй грозит писателям-“радикалам” гораздо большим: изгнанием за пределы общества, ссылкой на Сахалин одиночества»<sup>8</sup>.

До чего же прекраснодушными идиотами были некоторые русские писатели дореволюционной поры в своих прогнозах о действиях архитекторов коммунистического будущего! Между «Сахалином одиночества» и Соловецким лагерем особого назначения (СЛОН) существовала «дистанция огромного размера».

Я думаю, что именно к этому эпизоду, запечатлённому в сознании четырёхлетнего малыша, восходит неприятие Венедиктом Ерофеевым системы, где слабый душит сильного и в которой забывают о доброте, милосердии и сострадании — душевных

свойствах, присущих, как правило, сильным, уверенным в себе людям.



## **Глава третья** **ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ,** **СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА**

Никто из старших Ерофеевых и Гуциных даже не мог предположить, что ожидает их семьи в ближайшем будущем. Казалось, всё худшее осталось позади.

Весной семья Ерофеевых почти в полном составе, за исключением Бориса и Тамары, в конце апреля 1941 года поехала к родным в Елшанку. Собирались, как обычно, провести там лето. По дороге на несколько дней задержались в Москве у тётки Дуни, доброй и улыбчивой Авдотьи Андреевны Карякиной. Там же, в Москве, детишек сфотографировали. Нина сидит, как барыня, на высоком стуле, а по бокам стоят с руками, вытянутыми по швам, и с испуганными лицами два карапуза — Вена и Боря. На их головах красуются бескозырки с лентами, модные тогда и купленные детям в Москве.

Через два месяца началась война, и в начале июля они спешно вернулись из Елшанки обратно на Кольский полуостров, на свою станцию Чупа. Навстречу им один за другим шли железнодорожные составы с первыми эвакуированными из городков и поселений, находившихся поблизости от советско-финляндской границы.

Обращусь в который раз к неизданным воспоминаниям Тамары Васильевны Гущиной: «Вопреки утверждениям, что война началась неожиданно, все в Чупе говорили о войне по крайней мере за месяц до её начала. Говорили, что на финской границе сосредоточено огромное количество войск. Но когда 14

июня в “Известиях” появилось опровержение ТАСС, где слухи о войне назывались провокацией, все немного успокоились. 22 июня Юра ходил на станцию и принёс новость: “Тамара, война началась. В 12 часов по радио выступит Молотов”. И он снова убежал. Начались тревожные дни и ночи. Наши окна выходили на железнодорожные пути. Потянулись мимо нас воинские составы. Везли укрытые берёзовыми ветками танки, пушки. В теплушках ехали солдаты с гармошками, с песнями. Юрик днём встречал все поезда. Солдаты выпрыгивали из вагонов весёлые, плясали около нас, просили продать молока или яиц. У нас было две козы и несколько кур. Юрий хватал молоко и несколько яиц и бежал к вагонам, а солдаты совали на ходу какие-то рубли (их у нас как раз не хватало) и, уезжая, махали нам, пока поезд не скрывался.

Неожиданно приехали наши. Оказывается, отцу дали телеграмму — срочно возвращаться. Приказом по Кандалакшской дистанции пути в июле 1941 года его перевели дежурным на станцию Хибины. Отец уехал. А между тем начали появляться немецкие самолёты. Как только в небе слышался тяжёлый гул, мама кричала нам, чтобы мы брали малышей и бежали в лес. Мы бежали как раз туда, куда летели самолёты, в сторону Керети. Железнодорожный мост через реку Кереть немцы упорно старались уничтожить, но зенитчики всякий раз отбивали атаки, и на наших глазах однажды начал падать подбитый горящий самолёт. Мужчины побежали в лес ловить лётчика. Мы были в восхищении.

Все тяготы войны ещё были впереди, а пока нам, подросткам, всё казалось интересным приключением. После одного из налётов мы отправились целой группой посмотреть на воронки от бомб. Одна из невзорвавшихся бомб лежала рядом с рельсами, из неё высыпалось что-то жёлтое. Этим жёлтым порошком мы набили себе карманы. Кто-то из смельчаков даже

посидел верхом на бомбе. По дороге мы радостно рассуждали: “Это немецкие рабочие нарочно делают такие бомбы, чтобы они не взрывались”. Наш сосед, дядя Вася Шатилов, побледнел, увидев содержимое наших карманов, которым мы не замедлили похвастаться. Он заставил нас всё вытрясти из карманов и куда-то унёс, сказав, что это взрывчатка и она очень опасна. Ночью наш дом начал сотрясаться от взрывов. Это взрывались невзорвавшиеся бомбы»<sup>1</sup>.

Станция Хибин, новое место назначения Василия Васильевича, его ошеломила. Такого умиротворяющего и величественного пейзажа он ещё не встречал. По сравнению с захолустной и болотистой Чупой с её лагерными вышками и лаем сторожевых собак Хибин предстали перед ним безупречным творением природы. Уже одно только похожее на море озеро Имандра, которое невозможно было объять взглядом, вызывало восторг. Настолько оно было беспредельно огромным. Завораживали горы, меняющие своё обличье под утренним, полуденным, вечерним и ночным небом. В самый разгар лета на их вершинах лежал снег. Хибин казались волшебным миражом среди развороченной войной действительности.

В девяти километрах от Хибин, в городе Апатиты, находилась Полярная опытная станция Всесоюзного института растениеводства (ПОСВИР). Её бескрайние поля невозможно было не заметить. Они казались результатом труда каких-то неведомых существ. В небе не гудели самолёты со свастикой, не разрывались на земле бомбы, не разыскивали по ночам фашистских диверсантов-парашютистов. Разве что проходящие военные составы своим тревожным перестуком колёс нарушали этот обманчивый покой и напоминали, что идёт война.

Василий Васильевич вернулся за семьёй в Чупу. Уже по одному его возбуждённому виду и восторженным рассказам можно было понять, что он везёт жену и детей в заповедное место, в земной рай. Через несколько дней они погрузили в товарный вагон свои собранные в узлы пожитки, а также всю имеющуюся в наличии нехитрую живность — коз и кур и поехали в Хибины. Однако их благодушное настроение продержалось совсем недолго. В августе в Хибинах все, у кого были дети, в один голос заговорили об эвакуации.

Василий Васильевич Ерофеев принял решение отправить семью в полном составе в Елшанку<sup>2</sup>.

Обращусь опять к воспоминаниям Тамары Васильевны: «Ещё в магазине можно было купить хлеб и кое-какие продукты без карточек. Мы потихоньку запасались на случай отъезда. 14 августа подали пассажирские вагоны. Нас погрузили со всеми узлами, постелями, корзинами и повезли в Кандалакшу. Целые сутки пришлось провести на пристани в ожидании парохода. Погода была солнечная. Все боялись появления самолётов. Ходили слухи, что в Белом море потоплен пароход с эвакуированными. Наконец, нас погрузили на большой грузовой пароход. На палубе всем места не хватало. Ехали в битком набитом трюме. Где-то высоко над головой светились тусклые электрические лампочки. Малыши наши не капризничали, были серьёзны, как будто понимая важность происходящего. Ночью я проснулась и увидела, что мама смотрит вверх и к чему-то напряжённо прислушивается. Наш пароход стоял, машины застопорились. Слышен был гул самолётов. Какая-то женщина сходила на палубу и сказала, вернувшись, что нас сопровождает военный корабль и над морем туман, так что, может быть, пронесёт.

Минуты ожидания были страшными. Но вот гул самолёта затих, и наш пароход тронулся.

В Архангельск приплыли днём. В устье Северной Двины стояли речные пароходы. По трапу с одной палубы мы сходили на другую. Страхи оказались позади. Мы любовались живописными берегами Северной Двины. Это было самым лучшим впечатлением в нашем длительном путешествии. И, кроме того, мы ещё были сыты. Ночью мы прибыли в Нижнюю Тойму. На подводах нас довели до посёлка и поселили в пустующей школе. А продукты катастрофически убывали. Мама поехала в Верхнюю Тойму, чтобы выхлопотать пропуск на родину. Так советовал папа. Вскоре мы снова плыли по Северной Двине — в Котлас. В Котласе остановились в пустующей школе, в огромном холодном зале. Веночка заболел. Лежал бледный и грустный. Ели холодную картошку с хлебом. От неё у всех разболелись животы»<sup>1</sup>.

Наконец они всё-таки благополучно доплыли до Котласа. И сразу поспешили на железнодорожный вокзал, чтобы успеть к отходу поезда, следующего в Киров. До Кирова худо-бедно доехали. Венедикт и Борис держались молодцами, не хныкали и ничего не просили. Испуганные и притихшие, они тихо лежали на полке среди многочисленных узлов. Киров на их пути к дому отцовских родителей был последним городом, где ещё что-то продавалось из еды. В нём им удалось купить немного хлеба. В этом городе семья Ерофеевых задержалась на одну ночь в ожидании утреннего поезда на Горький. Переночевали прямо на перроне, подложив под себя кое-какие тряпки. Другого места для ночлега не нашлось. А Борю и Вену взяли в детскую комнату при вокзале. Утром нянечка из этой комнаты рассказала Анне Андреевне о странном поведении двух её сыновей: «Ваши дети какие-то особенные. Все давно

спят, а они собрали обувь, выставили её в ряд и играют в поезда на железной дороге. — У нас папа, — говорят, — самый главный железнодорожник, — и он за нами приедет»<sup>4</sup>.

Горький встретил их огромными людскими толпами. Продолжу воспоминания Тамары Васильевны: «Никогда мы не видели такого столпотворения. Тысячи людей сидели на тротуарах, спали на траве по всему берегу Волги. Вокзалы были забиты. Плакали голодные дети. По громкоговорителю власти обращались к этим несметным толпам с призывом помочь им разгрузить город. “Хлеба и продуктов для вас в городе нет”, — говорили нам. Затем предлагалось садиться на пароходы, дескать, там вам хлеб выдадут. На пароходы было попасть невозможно, их брали штурмом. Нас посадили на баржу из-под соли. Баржу взял на буксир пароход, и мы двинулись вниз по Волге. Ехали в трюме почти в полной темноте. Утром на палубе поднялся шум. Люди требовали обещанного хлеба. Капитан парохода обратился к нам с призывом не паниковать: “Хлеба для вас у нас нет. Мы оставляем вас здесь. Вас развезут по колхозам”. Пароход уплыл дальше, оставив нас посреди реки. Волга в этом месте была очень широка. Никаких селений по берегам не было видно. Впервые мы испытывали муки голода. Третьи сутки мы не видели ни крошки хлеба. Боря плакал: “Хлебца хочу! Хлебца хочу!” Веночка молчал, но видно было, что он очень ослаб. Какая-то женщина не выдержала и дала два сухаря. Боря сразу замолк»<sup>5</sup>.

Те, кто был побойчее и без малолетних детей, успели быстро перебраться на пароход, когда начали ночью отцеплять баржу. Оставшиеся на барже люди плыли два дня, пока их не заметили с берега. Это была Чувашия. Их встретили радушно. Пока то да сё, дети улеглись на пристани на куче канатов и сразу уснули.

Проснулись они от запаха тёплого, только что испечённого хлеба. Это мама принесла им целый каравай, но дала только по кусочку. Боялась, чтобы им не стало плохо. Хлеб был совершенно несолёный, но детям он показался медовым.

Председатель колхоза принял беженцев с баржи как родных. А многодетной семье Ерофеевых выдал бесплатно хлеба и крупы, чтобы мать и дети восстановили силы и пришли в себя. Он же для жилья предоставил им отдельный дом и разрешил, пока ещё не выпал снег, запастись с колхозных полей неубранной картошкой.

Лето заканчивалось, время шло к осени. И люди оказались вокруг хорошие, и дом — не развалюха. Председатель колхоза предлагал остаться, но Анна Андреевна стремилась в Елшанку, в родные места. Впоследствии она сожалела о своём решении. Но кто знал, что её ожидает с детьми на родине?

Однажды утром Анну Андреевну с детьми посадили в повозку с дырявым верхом, в которую впрягли лошадь, и отвезли к ближайшей железнодорожной станции. Своим ходом они поехали дальше — Урмары, Канаш, где спали, как цыгане, прямо на перроне, затем Рузаевка. Последней станцией в их путешествии стала Сызрань. Оттуда два часа было до Елшанки.

В Елшанку они прибыли в конце сентября 1941 года. Ехали долго, почти целый месяц, изрядно изголодались. Сухариками подкармливали только малолетних детей. Венедикт в этом изнурительном путешествии держался мужественно, не хныкал. Нина Васильевна обращает внимание на одну черту характера Венедикта, которая проявилась в нём ещё в малолетстве и сохранялась до последних дней, — деликатность в манерах и общении с людьми: «...когда сажались есть, хотя во время войны было голодно, всего было по норме, по кусочку — он

всегда кушал медленно, интеллигентно, аккуратно и долго, безо всякой жадности»<sup>6</sup>.

Родители Василия Васильевича Ерофеева были предупреждены о приезде его семейства. Их невестка с внуками и внучками не свалилась неожиданно на голову пожилых людей. Но их пребывание в Елшанке оказалось не таким, как они себе его представляли, — в доме уже жила семья младшего сына Павла Васильевича, брата Василия Васильевича, и только что приехала семья другого брата, Ивана Васильевича, который работал в Карелии на железнодорожной станции Кереть. Проще говоря, им некуда было приткнуться. Пришлось поселиться в пустующем доме младшей маминой сестры Натальи. Этот дом должны были вот-вот снести, но с начавшейся войной снос отложили. Печь в нём дымила, тепло утекало через щели в стенах. Дети постоянно мёрзли. Но, как отмечает Нина Васильевна, «семья у нас была дружная, несмотря на тяжёлую жизнь, было и весело, и интересно»<sup>7</sup>. Дедушка Василий Константинович принёс мешок муки и ещё что-то из еды, но для такой оравы всего этого хватило ненадолго. Что им дали в колхозе, они съели по дороге, а для продажи из вещей у них не было ничего ценного.

Дети диктовали Тамаре письма отцу. Сообщали всё как есть, ничего не утаивали. Тамара письма старательно записывала, не изменяя ни слова. Одно из этих писем Нина Васильевна запомнила: «Папа, мы живём плохо. Печь дымит, лампа коптит, маму кусают клопы». Клопы кусали не только маму, но и всех живших в доме. Дети, однако, умолчали об этом — пощадили чувства отца.

Вечера заполнялись чтением. Старшая сестра при лампе читала вслух главы из «Войны и мира» — о гибели Пети Ростова, а младшая сестра Нина —



рассказы Шолом-Алейхема. Керосин экономили. Читали они недолго. Дети лежали кто на полатях, кто на русской печи. На ней они также вповалку спали. А затем Анна Андреевна впотьмах пересказывала полюбившиеся ей романы. Из советских произведений особым успехом у детей пользовалась в её пересказе серия агитационно-приключенческих повестей Мариэтты Шагинян «Мисс Менд, или Янки в Петрограде» — о тайном пролетарском союзе, члены которого собирались построить в Америке социализм, используя для достижения этой цели не марксизм, а некий «третий путь».

Тамара Васильевна вспоминала, как мать во время их двухлетнего проживания в этом доме талантливо приобщала детей к отечественной истории и русской литературной классике: «Она умела интересно рассказывать, что угодно. Даже рассказы Чехова. Чехова она перечитывала всю жизнь — он был одним из её любимых писателей. Рассказывала она Лажечникова “Ледяной дом”, что-то Боборыкина, кажется, Чарскую. Видимо, всё то, что прежде находила в библиотеке Архангельских. Особенно хорошо мама знала и интересно рассказывала русскую историю. В родословной Романовых уж она никогда не спутает, кто за кем и каким образом царствовал, сколько лет и кто был в это время фаворитом, — все подробности, которые в школе нам не рассказывали. Я больше русскую историю узнала от мамы, чем из учебников»<sup>8</sup>.

Самыми интересными, вспоминала Тамара Васильевна, были рассказы матери времён молодости. Рассказчицей она, по словам дочери, была замечательной. Лёжа на лежанке, хорошо прогретом месте печи, которое находится с обратной стороны дымоотвода, дети, не шелохнувшись, слушали о том, как «Сызрань переходила из рук в руки — то к белым,

то к красным», как «елшанские мужики, вооружившись вилами, шли на помощь то к одним, то к другим». Особенно она умела рассказывать смешные истории из сельского быта. Да ещё настолько артистично, что дети от хохота чуть не сваливались с печки.

Духовную атмосферу в семье создавала именно Анна Андреевна, с раннего детства приобщавшая своих детей к широкому кругу чтения. Да и характер у неё до пришедших в их семью несчастий был покладистый и добродушно-иронический. Без всякой натяжки можно сказать, что эти черты личности их матери достались в какой-то степени им всем, однако в полной мере выразились в самом младшем из них — Венедикте Васильевиче. И ещё на одну важнейшую особенность характера Анны Андреевны обращу внимание. Она резко реагировала на проявления безразличия и недоброжелательства к людям. Не от неё ли также передалась младшему сыну жалость ко всем живым существам, не только к себе подобным? А уже из этого состояния души позднее появился у Венедикта Васильевича Ерофеева интерес к Библии, святоотеческим текстам и классическим произведениям мировой литературы.

Через некоторое время Анна Андреевна лишилась помощницы — дочь Тамара была мобилизована, хотя ей ещё не исполнилось восемнадцати лет, на рытье окопов. Немцы стояли под Москвой, а от Елшанки до Москвы не то чтобы было рукой подать, но и не очень далеко — 894 километра, если ехать по железной дороге, а напрямик — и того ближе. Одета Тамара была кое-как, не по-зимнему, в результате чего отморозила ноги.

Пока Тамара была на оборонных работах, в Елшанке случилась беда.

В конце ноября 1941 года арестовали дедушку Василия Константиновича. Следствие закончилось 16

января 1942 года. Василий Константинович Ерофеев 27 июля 1942 года был приговорён Пензенским областным судом к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией имущества в фонд государства. Впрочем, этот приговор был заменён 25 сентября того же года десятью годами лишения свободы.

В сентябре 1942 года он умер в тюрьме<sup>[237]</sup>. Его внучка Тамара Васильевна Гущина в неизданных воспоминаниях пишет: «Причины были непонятны. Он работал конюхом и, говорят, с кем-то поссорился и что-то сказал не так. Когда его дочь Марина поехала в райцентр с передачей, ей сказали: “Ваш отец умер!” Мама считала, что, скорее всего, его расстреляли»<sup>[238]</sup><sup>9</sup>.

Младший сын Василия Константиновича Ерофеева Павел рассказал свою версию об аресте отца. Я убеждён, что она ближе других к истинной причине ареста Василия Константиновича. Ведь в России испокон веку личные отношения между людьми в большей степени определяют судьбу человека, чем другие причины, относящиеся к социальной и политической жизни. Это и понятно. Когда закон применяется избирательно, для представителей власти появляется возможность отыгаться на простых людях, невинных и беззащитных.

Вот что в феврале 1996 года об аресте отца рассказал Павел Васильевич Ерофеев корреспонденту газеты «Ульяновская правда» Евгению Щеулову: «Однажды к нему подошёл молодой офицер (потом выяснилось, что это был сын местного начальника райвоенкома) и потребовал, чтобы Ерофеев запряг лошадь в коляску (офицер спешил на вокзал). Василий Константинович отказал под тем предлогом, что он не конюх, и при этом сказал офицеру что-то резкое и насмешливое. На другой день Ерофеева-старшего арестовали по обвинению в саботаже, состоялся скорый

и несправедный суд “тройки”, и Василия Константиновича “не знамо за что” уперли в тюрьму, где он спустя три месяца после ареста умер»<sup>10</sup>.

Так или иначе, но после ареста в 1937 году Николая Васильевича, брата их отца, это был второй ощутимый удар по семье Ерофеевых. Теперь дети Василия Константиновича воспринимались окружающими сельчанами и местной властью детьми «врага народа». Как вспоминает Нина Васильевна Фролова, повод для ареста деда по сегодняшним меркам был смехотворный. Кто-то из сельчан донёс, что Василий Константинович, глядя на постамент с Лениным, изображённым в полный рост и держащим в слегка вытянутой руке кепку, съязвил: «До чего вождь страну довёл. Вот теперь и сам милостыню просит!»

С арестом Василия Константиновича положение Анны Андреевны с детьми ещё более осложнилось. Они не считались эвакуированными, ведь приехали к родственникам в Елшанку самостоятельно, не так, как в Чувашию, куда их распределили жить. Потому-то им и не полагались хлебные карточки. Может быть, причина отказа в оформлении этих карточек была другая — арест бабушки. Так или иначе, но местные власти отказались считать их эвакуированными.

Весной 1942 года, чтобы как-то выжить, дети перекапывали огороды, чтобы найти оставшиеся в земле мёрзлые картофелины. Колхоз дал им полмешка ржи. Ближайшая мельница была от дома, где они поселились, за несколько километров. Из последних сил пришлось до неё добираться, ведь из муки с добавленной в неё картошкой Анна Андреевна напекла большое количество драников или, как ещё их называют, дерунов. Поколение детей, родившихся незадолго до войны, хорошо их помнит. Иногда бабушка Дарья Матвеевна Гущина приносила им немного еды.

Анна Андреевна работала в колхозе, а Тамара устроилась на почту. Одиннадцатилетняя Нина и четырнадцатилетний Юра занимались огородами и заготовкой дров — корчевали пни. Это была самая тяжёлая работа, для которой использовались лопаты, топор, пила, лом и двухколёсная тачка. Вся тяжесть корчевания пней в основном легла на Юрия, Нина лишь помогала. Дрова, бережно уложенные в поленницу, хранились в сарае.

Нина Васильевна в разговоре со мной в связи с заготовкой дров вспомнила историю, рассказанную её матерью. В Елшанке овдовела Фрося, красивая и молодая женщина. К ней вскоре посватался тщедушный и невзрачный мужичонка. И Фрося, на удивление всего села, вышла за него замуж. И вышла не по любви, а, как она чистосердечно призналась подругам, из-за дров. В Елшанке проблема с дровами была из острейших. Ведь леса поблизости не было, кругом расстилалась степь.

Как-то в селе справляли свадьбу. Боря и Вена побежали смотреть на новобрачных. В избу детей не пустили, и они прильнули к окнам. Увидев заставленные едой столы, Боря, как старший брат, успокоил младшего Венедикта: «Не переживай, Венка, мы тоже будем жениться!» Вот такую незамысловатую и трогательную историю сохранила в своей памяти Нина Васильевна о военном детстве своих младших братьев.

Веночке, как самому маленькому, досталось больше всех. Взрослым было нестерпимо больно смотреть на его вытянувшуюся в вышину отощавшую фигурку и на бледное, обострившееся от голода лицо с запавшими глазами. Однако он держался как взрослый. Не канючил, не капризничал. Он рос, как вспоминала его сестра Тамара, «немного замкнутым, тихим».

В ноябре 1943 года наконец-то приехал отец. Причём совершенно неожиданно. Понимал, что ещё одну зиму его семья не переживёт. Пропуск на проезд

до станции Хибины, места его службы, он выхлопотал на жену и почти на всех своих чад, кроме младшего сына. Проездные документы выдавали только на четверых детей. Ехали поездом с обычной пересадкой в Москве. Венедикта, которому шёл уже шестой год, везли зайцем на самой верхней, третьей полке, заставленной чемоданами и мешками.

По приезде в Хибины их жизнь более или менее стала налаживаться. Анна Андреевна работала в станционном магазине приёмщицей рыбы. Её старшая дочь Тамара уехала в Кировск. Там она устроилась на узел связи. По выходным часто навещалась к родным. Венедикт уже не только читал, но и писал. К тому же неплохо рисовал. Рисунки его большей частью были на политические темы. Его любимая сестра Тамара вспоминала: «Он искренне удивлялся, когда я не узнавала, кто у него сидит за круглым столом, и объяснял мне, бестолковой: “Вот это Сталин, это — Молотов, это — Черчилль, это Иден” и т. д.»<sup>11</sup>.

Расскажу одну забавную историю того времени, обратившись снова к «Воспоминаниям» Тамары Васильевны: «Когда я спросила его однажды: “Что ты, Веночка, всё пишешь и пишешь?” — он поднял на меня глаза и совершенно серьёзно сказал: “Записки сумасшедшего”. Этот случай стал у нас в семье как анекдот. А в общем-то всё объяснялось просто: откуда-то появился в нашем доме объёмистый том сочинений Гоголя. Вена любил его перелистовать. Вот и подобрал название, которое ему понравилось»<sup>12</sup>.

## **Глава четвёртая**

# **КАК ПЕРЕГОРАЮТ СЕРДЦА**

Приближалось время учиться грамоте. В те годы в начальную школу принимали с восьми лет. Анна Андреевна уговорила учительницу, и Венедикт пошёл в школу вместе с братом Борисом, хотя ему ещё не исполнилось семи лет. В сущности говоря, в первых классах ему нечего было делать. Что и подтвердил разговор учительницы с Анной Андреевной.

Жизнь семьи Ерофеевых по условиям военного времени была не хуже и не лучше, чем у других железнодорожников. И вдруг неожиданно пошли неприятности. В октябре 1944 года главе семейства Василию Васильевичу объявили выговор за «ослабление контроля за транспортными агентами». Он был понижен в должности до дежурного по дистанции. Затем летом 1945 года «по доносу станционной уборщицы В. В. Ерофеев за злоупотребления с продажей пассажирских билетов на ст. Хибины временно переводится на работу в железнодорожный карьер (пост “1276 км”»<sup>1</sup>.

5 июля 1945 года во время дежурства Василия Ерофеева одна из платформ с песком в карьере сошла с рельсов.

Обошлось без жертв, но, учитывая психоз военного времени и в связи с этим существующую в стране шпиономанию, а также желание начальства найти крайнего, взвалив на него свой недосмотр, в преднамеренном вредительстве (статья 58 УК РСФСР 1926 года) обвинили Василия Васильевича Ерофеева. Его немедленно арестовали и увезли в Петрозаводск. Следствие шло семь месяцев<sup>2</sup>.

Тамара Васильевна вспоминала: «Когда я приехала в Хибинь, мама рассказала мне, что был у них обыск: всё перевернули в доме вверх дном, искали улики — переписку с заграницей»<sup>3</sup>.

Юрий съездил на суд и привёз новость: оказывается, отца приговорили за контрреволюционную пропаганду по статье 50-10, часть 2 УК РСФСР к пяти годам лишения свободы с последующим поражением в правах сроком на три года без конфискации имущества за отсутствием такового<sup>4</sup>. Припомнили Василию Васильевичу и его отца Василия Константиновича, и брата Николая, крёстного Тамары Васильевны, арестованного в 1937 году.

Евгений Шталь, скрупулёзный исследователь жизни и творчества Венедикта Ерофеева, в своей книге «Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение» приводит текст доноса на его отца: «Будучи начальником станции Хибинь, систематически занимался контрреволюционной агитацией среди подчинённых ему работников и других лиц, проживающих на станции Хибинь. Так, он восхвалял силу и мощь армии фашистской Германии, одновременно клеветал на силу и мощь Красной армии и её полководцев. Высказывал пораженческие настроения Советского Союза в войне с фашистской Германией. Восхвалял жизнь и быт трудящихся при царском строе, высказывал клеветнические измышления на жизнь и быт рабочих Советского Союза и клеветал на ведение колхозной системы хозяйства: “При царе крестьяне жили хорошо. Сейчас народ голодает. Нам нечего воевать без толку. У немцев первоклассная техника, у солдат хорошая выучка. За работу в колхозе [люди] ничего не получали”»<sup>5</sup>.

Судил Василия Васильевича Ерофеева военный трибунал, ибо в те годы железнодорожники считались



полувоенной организацией. Старшему сыну Юрию было уже 18 лет. Он окончил курсы дежурных по станции, и его направили работать в Зашеек.

После ареста отца семья переехала в 1946 году к старшему брату Юрию на станцию Зашеек, сейчас это Полярные зори. Жила семья Ерофеевых в одноэтажном бараке, стоящем на отшибе среди леса. В нём находилось четыре отдельных входа. У каждого из жильцов было своё помещение. Одно из них они и занимали. Жилище это находилось в четырёх-пяти километрах от станции. Продукты продавались по карточкам. Карточки на хлеб и жиры выдавались только работающим и иждивенцам. Жили все на одну рабочую карточку Юрия. Для их матери работы в Зашееке не нашлось, ведь на ней стояло клеймо: жена «врага народа». На младшую сестру Нину наравне с её матерью легла забота о новом доме. К тому же приходилось решать почти неразрешимую задачу: как всем не умереть с голоду.

В беседе со мной Нина Васильевна рассказала: «Папа меня очень любил. Он всегда обращался ко мне: “Красавица ты моя!” Мама, наоборот, считала меня уродиной. Когда она на меня что-то шила, то постоянно во время примерки ворчала: “Родятся же такие уроды, и в кого ты только пошла?” Никак не забуду один случай. Мы жили на окраине посёлка Зашеек. Каждую неделю ходили в баню в двух километрах от нашего дома. Мама отправляла со мной кого-то из малышей. Либо Борю, либо Вену. По возвращении нас домой она обнаружила, что не хватает одного полотенца, и накричала на меня: “Иди и найди полотенце и без него не возвращайся!” Я восприняла её заявление всерьёз. Полотенца не нашла и от отчаяния ночью направилась на железнодорожную станцию, а это от бани идти четыре километра лесом. Пошла туда, чтобы первым поездом уехать в Кировск к старшей сестре Тамаре. В ожидании поезда я уснула на

скамейке в привокзальном домике. Меня случайно обнаружил брат Юрий. С ним я вернулась домой. В то время мне было двенадцать лет».

Жили они в этой богом забытой дыре вплоть до июня 1947 года.

Узнав об аресте племянника, немедленно приехала тётя Дуня, Авдотья Андреевна Карякина, старшая сестра их матери. Она привезла с собой почти полный мешок сухарей, кое-какие крупы и кое-что из одежды. Обошла, по-видимому, своих московских знакомых и в конечном счёте набрала по крохам у разных людей довольно много. И всё равно привезённого ею хватило ненадолго. Для пятерых оставшихся на свободе Ерофеевых, из которых трое были детьми, началась другая, ещё более скудная и полуголодная жизнь. Впрочем, и до этих событий она не была особенно благополучной.

Как пишет в «Воспоминаниях» Тамара Васильевна, «в ту зиму (1947 года. — А. С.) Вена из-за отсутствия обуви в школу не ходил. Не только в школу, но даже на улице редко появлялся, поскольку валенки у них с Борей были на двоих. Придя из школы, Боря подробно рассказывал, что узнавал на уроках и что задавали на дом. Венедикт эти задания выполнял легко и быстро. Они не отнимали у него много времени. На другой день Боря относил тетрадки брата в школу»<sup>6</sup>.

Вот так во время зимы проходило у Венедикта заочное обучение. Единственное, что иногда напрягало Бориса, так это необходимость брать для брата в библиотеке всё новые и новые книги, которые тот проглатывал с невероятной быстротой. После уроков Борису хотелось побыстрее уйти из школы, а не тратить время на посещение библиотеки. Пожалуй, для двух братьев это была единственная причина их коротких размолок. В остальном они отлично друг с другом

ладили. По мере того как Венедикт рос, его память становилась более цепкой, для ребёнка неестественно объёмной. Уже с первого класса его пребывания в школе взрослые обратили внимание на его невероятную эрудицию.

Однажды, встретив Анну Андреевну в школе, учительница сказала ей, что Венедикту нечего делать в первом классе. Об этом разговоре не раз вспоминала его старшая сестра Тамара. Вскоре после этого случая Вена, надо сказать, не загордился. Он стал даже более скромным в общении со взрослыми и по любому случаю уже не фонтанировал своей учёностью. Та взрослость, которая в то время в некоторых своих проявлениях уже существовала в нём, сделала его более сильным и независимым в выборе собственных, а не навязанных кем-то со стороны решений. Эта, казалось бы, невозможная для ребёнка осознанная ответственность за собственные поступки проявилась, например, в его отказе вступать в октябрята, а затем и в пионеры. Вспоминает Нина Васильевна: «Например, на него жаловалась учительница в первом классе: когда детей принимали в октябрята, он ей сказал, что не хочет. Учительница была вне себя: “Как же так, всё же октябрята!” — “А я не хочу, как все”. Так и не стал октябрёнком. И ни пионером, ни комсомольцем он не был. А ведь это было в 40—50-е годы»<sup>7</sup>.

В апреле 1947 года в семью пришла новая беда — арестовали Юрия за кражу хлеба в продуктовой лавке при станции. Он был осуждён в июне 1947 года на пять лет по статье 74 часть 2 УК РСФСР. Оставшись без старшего брата, дети несколько дней голодали. С арестом Юрия исчез единственный источник их существования. Долгое время они жили впроголодь на его рабочую карточку и на непостоянную продовольственную помощь со стороны тёти Дуни и

сестры Тамары. У их матери отобрали единственных кормильцев — мужа и сына. И она сделала логичный вывод: пусть государство, это совершившее по отношению к её семье, возьмёт на себя заботу о её детях. Пожалуй, это был единственно разумный выход из создавшегося положения.

Вот что пишет об Анне Андреевне Евгений Шталь: «Помыкавшись какое-то время без работы, не желая объедать детей, посчитав, что государство не оставит их на произвол судьбы, мать уехала к сестре Евдокии (Авдотьи. — А. С.) в Москву. Там она жила без прописки, официально устроиться на работу не могла, была прислугой у разных людей. У Бориса и Венедикта началась цинга, и они попали в больницу»<sup>8</sup>.

Старшая сестра Тамара в то время работала на почте в Кировске. Нина Васильевна, которая провожала мать в Москву, объясняет её поступок одной причиной: своим бегством она спасала детей от голодной смерти.

В своих «Воспоминаниях» Тамара Гущина рассказала о некоторых подробностях московской жизни их матери Анны Андреевны: «Неожиданный приезд мамы в 47-м году поставил тётю Дуняшу в сложное положение. Без прописки жить в Москве было опасно, устроиться на работу без неё было невозможно. Единственный выход был — идти в домработницы. Спасли старые знакомства среди московской интеллигенции. Все усилия тётушки пристроить маму в какой-то семье кончались неудачей (мама не обладала покладистым характером). Только в одной семье она прижилась: её взяли в няни в семью Бориса Рюрикова<sup>[239]</sup>. С их маленьким сыном Митей она нашла общий язык, они подружились. Но семья, приютившая её, сама оказалась под ударом. В конце 40-х годов началась борьба с космополитизмом, и Рюриковы были

высланы в Горький. И через много лет мама вспоминала семью Рюриковых с благодарностью»<sup>9</sup>.

Венедикт Ерофеев по аналогии с теми трагическими для его семьи днями в своих «Записных книжках 1966 года» сделал выписку из книги «Опавшие листья» Василия Розанова: «Смотрите, злодеяния льются, как свободная песнь; а добродетельная жизнь тянется, как панихида. Посмотрите, как хорош Дантов “Ад” и как кисло его “Чистилище”. То же между “Потер[янным] Раем” Мильтона и его “Возвращённым Раем”. Отчего? Одно исключение, кажется, единственное: олимпийские оды Пиндара, которым не соответствовало ни одной басни, насмешки, сатиры. Т. е. греки V—IV века до Р. Х. — вот они и были счастливы и чисты»<sup>10</sup>.

Нина Васильевна, которой в то время было 16 лет, вспоминает, что произошло после отъезда в Москву их матери: «К нам действительно сразу пришли из милиции и стали спрашивать, куда она уехала. Я знала, что она поехала в Москву к сестре, сама её провожала, но она наказала никому об этом не говорить».

На следующий день после посещения их дома работниками милиции приехали врачи и увезли всех троих в больницу. Они были сильно истощены, а мальчики к тому же ещё больны цингой. Находясь в больнице, Нина эпизодически отлучалась в школу — сдавала экзамены за семилетку.

Тамара Васильевна в своих «Воспоминаниях» пишет: «Неожиданно я получила письмо от Нины. Она написала, что мама уехала в Москву, что они голодают, поэтому их всех троих положили в больницу. Наш профсоюз выделил мне 300 рублей на дорогу. Вену и Борю я привезла к себе в общежитие. Нина осталась в Зашейке сдавать экзамены. Кировский горком комсомола помог мне устроить детей в детский дом.

Нина осенью поступила в горно-химический техникум на геологоразведочное отделение»<sup>11</sup>.

Нина Васильевна в разговоре со мной призналась, что её желанием было поступить в медицинское училище. Но там оказалась очень маленькая стипендия. Прожить на неё без помощи семьи было просто невозможно. Так что пришлось выбирать горно-химический техникум. Перед отъездом из Зашеека она продала козу и купила себе платье. В нём и поехала в Кировск сдавать экзамены.

Как раз в это тяжёлое для их семьи время в Зашееке сгорело их жильё в бараке, а с ним весь нехитрый скарб. Обиднее всего, что сгорела большая фотография родителей. На ней они были молодыми, красивыми и смотрели на детей со стены, словно подбадривая их не впадать в отчаяние при любых обстоятельствах жизни и поворотах судьбы в худшую сторону. Ещё сгорели домашние раритеты: шкура белого медведя — самая дорогая в их доме вещь, и сундук, обклеенный изнутри ассигнациями, напечатанными Временным правительством, так называемыми «керенками».

Для Ерофеевых началась более трудная, чем прежде, жизнь. Больше всех из оставшихся на воле членов ерофеевской семьи досталось всеобщему любимцу Венедикту, Вене, Венушке. Он не ожидал таких несчастий в его семье и был психологически травмирован шестилетним пребыванием в детском доме. Если с ним рядом не оказалось бы брата Бориса, сразу вставшего на его защиту в казённом учреждении, неизвестно, что с ним произошло бы среди чужих, обзлётных и несчастных детей.

В детском доме № 3 города Кировска Мурманской области Борис и Венедикт оказались 5 июня 1947 года. Маленьким Ерофеевым повезло, что они попали именно в этот детский дом, существовавший всего лишь три

года. До его появления для размещения эвакуированных в 1942 году из Мурманска в Кировск пятисот детей был образован интернат, вскоре получивший среди горожан добрую славу. Директором интерната была Александра Петровна Смирнова<sup>[240]</sup>, женщина хозяйственная, с накопившимся педагогическим опытом и широкообразованная. В интернате она организовала ученическое самоуправление, кукольный театр, ученический и учительские хоры, оркестр народных инструментов<sup>12</sup>.

Вот что она рассказала о том военном времени в своих воспоминаниях: «Дети были всякие. Были случаи воровства. Иногда воспитанники лезли в огороды жителей города и вырывали там редис, репу. Но все случаи воровства разбирались сразу на совете интерната, и поэтому очень скоро воровство было ликвидировано. Мы завели огород и выращивали там свои овощи. У нас были даже парники. Потом завели свиней. Ухаживали за этим большим хозяйством сами дети. В интернате было много труда. Например, когда привозили в вагонах дрова, и дети, и учителя шли на разгрузку. Работали все без отговорок, дружно, быстро»<sup>13</sup>.

Война шла к концу, и в 1944 году интернат преобразовали в детский дом № 3. Его директором стала та же Александра Петровна Смирнова. Понятно, что все достижения интерната сохранялись и развивались под её руководством и в детском доме. Остались в новом учреждении и кукольный театр, и постоянные выставки детских работ, и кружок рукоделия для девочек.

Венедикта и Бориса зачислили под номерами 180 и 181 (как заключённых!) и поместили в палату на 26 человек.

Борис и Венедикт посещали вместе с другими детдомовцами школу-семилетку № 6 в Кировске.

Вообще-то Вена был ребёнком по виду щуплым, а по нраву спокойным и уравновешенным. В детском доме, по его словам, существовали «сплошное мордобитие и культ физической силы». В этой атмосфере постоянной детской агрессии он в отношениях со сверстниками избрал позицию наблюдателя. Незадолго перед смертью в беседе с журналистом Леонидом Прудовским Венедикт Васильевич признался, что в той давнишней ситуации ничего лучшего для него, чем тактика «моя хата с краю», выбрать было невозможно: «Может быть, эта позиция и не вполне высокая, но плевать на высоту»<sup>14</sup>. Что тут скажешь? Откровенно и убедительно. Обвинять в цинизме девятилетнего ребёнка (до десяти лет ему оставалось пять месяцев) было бы несправедливо и глупо.

Борис был физически более крепким. К тому же по характеру в отличие от младшего брата шустрым и задиристым. Он быстро освоился в новой обстановке. Кормили в детском доме скудно, но от голода никто не умирал. Не то что пришлось им испытать в Зашееке, когда еды вообще не было, а тут всё-таки худо-бедно, но детей ежедневно кормили. Это обстоятельство примирило Бориса с укладом и казарменным распорядком сиротской жизни. Раззявой, как его младший брат, он не был. Приходилось быть начеку, чтобы в случае чего дать обидчикам отпор. Борис об этих днях вспоминал: «Летом собирали ягоды. Норма — 1 литр черники, чтобы заработать на сладкий чай. Чёрного хлеба до 1949 года была норма 1 кусочек, позднее норму отменили. Но нельзя было зевать — украдут хлеб или колбасу»<sup>15</sup>.

Применение рукоприкладства для выяснения отношений между воспитанниками детского дома было



обычным делом, но Бориса такая форма решения конфликтов между старшими и младшими детьми не смущала. Он сам был паренёк заводной и драчливый. Такой же сорванец, как многие его новые товарищи. Ему в рот палец не клади — тут же откусит. Он мог постоять за себя, а в случае чего защитить младшего брата. Борис вспомнил одну из таких историй: «Однажды мы пошли в лес поесть ягод. Веня с книгой сел и ел ягоды. На него напали мальчишки, стали бить. Я заступился за брата. Меня побили, но Веньку оставили в покое»<sup>16</sup>.

Вене пришлось куда сложнее. И характер у него был другой, и душа ранимая. Неспроста они получили у детей разные клички. Бориса звали «Бегемотом», а Вену — «Курочкой», потому что он ходил всё время за старшим братом. Летом 1977 года в Абрамцеве он записал: «Достать, наконец, “Чёрная курица” Антона Погорельского. Больше всего слёз из всех детских слёз»<sup>17</sup>. Уже по одной этой записи понимаешь, что испытал любимец семьи Вена в чужеродной для него среде. В какой-то мере это насильственное перемещение ребёнка, по психологической встряске сравнимое с мытарствами взрослого человека, ни за что ни про что оказавшегося в ГУЛаге среди блатарей.

Как рассказывал Борис, детдомовцы обычно дрались с мальчишками с улицы Нагорной, а в школе стреляли из рогаток бумажными пулями, но вскоре перешли к пулям металлическим. Борис решительно пресёк подобные опасные стрельбища. Он приобрёл авторитет у подростков и впоследствии продвинулся в детдоме по карьерной лестнице: с седьмого класса уже был председателем школьного совета<sup>18</sup>.

Тамара Васильевна Гущина рассказала Наталье Шмельковой о жизни её младших братьев в детском доме: «Мать думала, что там сытнее, а им, детям,

выдавали подбелённую молоком воду, в которой плавали несколько картошинок и макаронин. А дети считали, сколько макаронин у каждого. У кого больше»<sup>19</sup>.

Я полагаю, что старший брат содействовал развитию у младшего чувства любви к природе. Во время летних каникул они «уходили на озеро Кувшинка, купались, жгли костры, иногда ночевали там. Это озеро находилось выше озера Малый Вудъявр, у горы Айкуайвенчорр»<sup>20</sup>.

Однако была у братьев одна общая черта — мальчишеская скованность и стеснительность перед девочками их возраста. О ней по-своему сказал Борис Ерофеев в своих коротких воспоминаниях: «Девчонок мы не любили, пренебрегали ими, даже за одну парту с ними не сажались»<sup>21</sup>. Замечу мимоходом, что этот мальчишеский показной шовинизм, скрывающий робость в отношениях со слабым полом, сохранился во взрослом Венедикте и помешал ему взять в жёны женщину по зову чувств, а не по выбору ветряного случая.

Нина Васильевна подтверждает моё предположение: «В отношениях с женщинами Венедикт скорее поддавался. Это моё личное наблюдение. Женщины сами проявляли инициативу. Чтобы он сам кого-то добивался — не помню такого»<sup>22</sup>. Однако эта черта его характера ни в коем случае не подавляла в нём глубокого чувства к одной женщине — Юлии Руновой. Именно она была любовью всей его жизни. Другое дело, что, как убеждена Нина Васильевна, «они с Венедиктом были совершенно несовместимые люди»<sup>23</sup>. К тому же, как порядочный человек, он всегда сохранял определённые обязательства перед женщинами, проявлявшими по отношению к нему инициативу.

Венедикт пробудил в старшем брате интерес к чтению. Так, после отбоя в детдоме (в 22.00) они с фонариком читали под одеялом роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Круг чтения в детдоме у них был разнообразный и по содержанию пёстрый. Создаётся впечатление, что они перечитали почти всё, что находилось в детдомовской библиотеке. Это были книги Горького, Тынянова, Шолохова, Мельникова-Печерского и даже роман Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды».

С 1951 года братья начали немного отдаляться друг от друга. С этого времени они уже отдыхали порознь. Борис — в Ростове-на-Дону, а Венедикт — в Рыбинске Ярославской области. И друзья у них появились разные. Первым ушёл из детдома Борис. Он, как и его сестра Нина, поступил в горно-химический техникум и стал получать стипендию. Это произошло в 1952 году, уже после возвращения из лагеря их отца.

Венедикт провёл в детском доме шесть лет. Он оставался в нём до окончания восьмого класса, то есть до 7 июня 1953 года. В своём первом сочинении «Записки психопата» Венедикт Ерофеев упоминает нескольких своих товарищей по детскому дому № 3. Это круглый сирота Владимир Балуков, чей отец погиб на фронте, а мать умерла от сыпного тифа и воспаления лёгких. А также Александр Варзин, Виктор Горбов и Николай Федотов.

Опасаясь, что по моим рассказам о пребывании братьев Ерофеевых в детском доме у читателя сложилось впечатление о Венедикте, как о подростке слабовольном и боязливым. Однако это будет неверное представление. Он ничуть не изменился и своим жизненным принципам оставался верен. И это вовсе не преувеличение с моей стороны. Казалось бы, слишком мал был герой этой книги, чтобы сопротивляться устоявшимся советским порядкам. А вот что-то в нём

накипело, и он всякий раз проявлял твёрдость, которой могли бы позавидовать взрослые люди. Историю с отказом вступить в октябрята можно было объяснить капризностью малыша, а вот неприятие Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, образованной аж в 1922 году (тогда она носила имя Спартака), это уже совсем другая история. У кого-то из детдомовского начальства возобладал здравый смысл над партийными эмоциями, и отказ Венедикта Ерофеева вступить в пионеры не получил общественной огласки.

Обращусь к «Воспоминаниям» Тамары Васильевны: «Однажды мне позвонили из детдома и попросили зайти к ним для беседы. Оказывается, Вена категорически отказался вступать в пионеры. Оба брата предстали передо мной. Вена стоял, опустив голову. Он знал, что сейчас его будут уговаривать. Боря помогал мне, как мог: “Ведь я же вступил. И все вступили”. Вена только один раз сказал: “А я не хочу”. И сбить его с этого было невозможно. Он просто молчал. Я потерпела полное фиаско. Меня тогда удивило такое упрямство, как я считала. А у него уже складывался свой нестандартный характер»<sup>24</sup>.

Я долго размышлял над этим поступком ученика младших классов Венедикта Ерофеева.. Вряд ли идеологические взгляды были подоплёкой его упрямого желания не вступать в пионеры. Я думаю, причина его отказа намного проще и по-детски наивна. Она непосредственно связана с пребыванием его отца в ВКП(б) — Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Именно принадлежность отца к коммунистам, с которых больше спрашивали, чем с беспартийных, как думал маленький Венедикт, навлекла на их семью многие беды. Другими словами, партийность отца и его с братом пребывание в детском доме рассматривались им как причина и следствие

одного и того же события. Вот почему Вена под воздействием инстинкта самосохранения держался крепко за своё решение никуда не вступать. Боялся этим поступком накликать на свою голову ещё большие неприятности. Может быть, мистицизм взрослого Венедикта Васильевича, его вера в предопределённость всего и вся, на что постоянно обращали внимание его близкие и друзья, произрастают из того, с каким трудом он пережил детдомовские годы детства и юности.

У меня есть и другое объяснение душевного состояния Венедикта Ерофеева того времени. Он сам его образно определил: «У вас вот лампочка перегорела. А у меня сердце перегорело, и то я ничего не говорю»<sup>25</sup>.

Годы, проведённые Венедиктом Ерофеевым и его братом Борисом в детском доме, серьёзно повлияли на всю их дальнейшую жизнь. Немало звуковых впечатлений от той жизни сохранилось в их памяти. Вот, например, одно из них. Подъём был в шесть часов утра — на всю мощь включалось радио и гремел государственный гимн. С тех пор Венедикт и Борис при звуках гимна вздрагивали и затыкали себе уши. Слушать гимн они не любили<sup>26</sup>.

Идеологически Венедикт Ерофеев определился значительно позднее — по ходу жизни его страны. В годы строительства нового общества «воинствующего атеизма», холодной войны, объявленной доктрины мирного сосуществования двух социально-политических систем и горбачёвской перестройки. Однако эта своеобразная (не советская и не антисоветская) идеология никак не соотносилась с его мировоззрением и мироощущением. То и другое существовало независимо друг от друга. Как говорят, «мухи отдельно, котлеты отдельно».

Педагогический коллектив детского дома во главе с Александрой Петровной Смирновой, а с 1950 года — с Марией Ивановной Каверзиной состоял из порядочных людей. Воспитательницы и воспитатели детей не обкрадывали и старались по мере возможности облегчить жизнь всем своим подопечным, относясь к ним с равной заботой. Преуспевающих в учёбе награждали поездками в пионерский лагерь, расположенный в населённом пункте Палкина Губа на побережье Белого моря. Палкина Губа издавна известна своими лечебными грязями, полезными для излечения многих заболеваний, но особенно для заживления ран. К сожалению, ран не душевных.

Вот, например, «Характеристика на воспитанника д/дома № 3 Ерофеева Венедикта», подписанная 6 июня 1949 года воспитателем Эфроном:

«Родился 24/X-1938 г. Учился в 4-м кл. первый год. Способный. Имел в четвертях в году только “4” и “5”. Уроки выполнял без труда. Имеет в детском доме брата. Любит читать. Участвовал в хоровом кружке. Любит игры. Дружен с братом, а также со всеми ребятами. От поручений не отказывается, выполняет без возражений. Переведён с хорошими оценками в 5-й класс.

Воспитатель *Эфрон*»<sup>21</sup>.

Этот документ был обнаружен Евгением Шталем в личном деле Венедикта Ерофеева, заведённом на него в Кировском детском доме. Там же находилась его «Табель ученика 4 класса». По ней видно, какие предметы ему давались легко и на каких занятиях он особо не усердствовал.

На экзаменах в каждой четверти и на экзаменах, завершающих учебный год, будущий классик получал четвёрки и пятёрки по гуманитарным предметам и арифметике, а вот по пению и военной и физической подготовке ему ставили одни тройки. Может быть,

поэтому и определили его в хоровой кружок, чтобы голос развивал.

Чем старше становился Венедикт, тем более заметными выглядели его успехи в учёбе. Приведу другую характеристику на воспитанника детского дома № 3: «Ерофеев Веня родился в 1938 году. В 1952 году окончил 7 классов. Мальчик очень способный: 7-й класс окончил только на “отлично”. Уроки выполняет всегда самостоятельно и без затруднений. Характер имеет очень застенчивый, спокойный. В подвижных играх участвует редко. Очень много читает. Речь имеет хорошо развитую. Все поручения выполняет всегда добросовестно. Веня младше своего брата на год, но гораздо серьёзней его. Любит уединяться, хотя среди товарищей пользуется авторитетом. Любит играть в шашки и шахматы. Мечтает окончить 10 классов»<sup>28</sup>.

Спустя много лет эту характеристику подтверждают его одноклассники. Например, учившийся с ним в одном классе в школах № 6 и № 1 Геннадий Иванович Фомин, избравший военную карьеру и ушедший в запас в звании полковника: «К Вене я всегда относился с большим почтением. Он был очень скромный человек, хорошо относился к одноклассникам. Он был самым умным учеником в школе. Не кичился своими знаниями, помогал одноклассникам, в учёбе отличался примерным поведением. Когда закончился срок заключения отца, семья Ерофеева поселилась на 23-м километре. Веня пригласил меня в гости, я видел его отца. Запомнилась встреча с Веней в кинотеатре “Большевик” во время его зимних каникул на 1-м курсе МГУ. Именно тогда я узнал о его учёбе в МГУ. Он хотел прочесть мне “Илиаду” Гомера на древнегреческом языке, но я в этом ничего не понимал. <...> О Вене у меня сохранились самые хорошие воспоминания»<sup>29</sup>.

Известно и противоположное, негативное мнение о Ерофееве. Оно принадлежит Юрию Павловичу Семёнову, также однокласснику Венедикта Васильевича. На его взгляд, Ерофеев был «парень головастый, но высокомерный, необщительный, держался на отшибе, сам по себе». К тому же «никому не давал списывать, поэтому одноклассники на него обижались»<sup>30</sup>.

Такой психологический портрет Ерофеева объясним. Юрий Семёнов был в классе его соперником в учёбе. В конечном итоге он оказался на втором месте. Школу они окончили в 1955 году — Венедикт Ерофеев с золотой медалью, а Юрий Семёнов — с серебряной. Все пункты в отрицательной характеристике опровергает Геннадий Иванович Фомин: «Ерофеев Веня очень вежливый и хороший товарищ, никакого высокомерия я за ним не замечал. В классе были нормальные и дружеские отношения, никаких драк и разборок я не помню. В отношении списывания я не в курсе, т. к. сам я списыванием не занимался, а как было у других — не знаю. Учитывая его память, он был действительно эрудирован и в других вопросах»<sup>31</sup>. К нему присоединяется их одноклассница Валентина Иосифовна Свищева. Она запомнила его как «незаметного, скромного мальчика, писавшего диктанты на “отлично”. Он помогал одноклассникам и давал списывать домашние задания»<sup>32</sup>.

Как я уже писал, неподалёку от Палкиной Губы, — в городе Кандалакше родились все дети Василия Васильевича и Анны Андреевны Ерофеевых, за исключением старшей дочери Тамары. И вот Борис и Венедикт оказались здесь снова. Это была премиальная поездка за их отличную учёбу. К тому же в 1950 году произошло печальное и одновременно радостное для двух братьев событие. Обращусь к воспоминаниям



Бориса Ерофеева: «В Палкиной Губе к нам приехал незадолго до освобождения на два часа отец, который был в это время в заключении. Сидели у залива, охранники стояли рядом, поэтому встреча была не очень интересной. При прощании отец поцеловал нас, а мы плакали»<sup>33</sup>.

Для семьи Ерофеевых появление отца из небытия в прямом смысле этого слова было неожиданным и радостным событием. Как вспоминает Тамара Васильевна, за год до встречи отца с двумя сыновьями на Палкиной Губе им сообщили, что пришло письмо из Архангельской области, где тот отбывал наказание, с сообщением о его смерти от воспаления лёгких.

Похоже, что основная закалка характера Венедикта Ерофеева произошла в детском доме города Кировска. И этот процесс проходил для него отнюдь не безболезненно. Недаром, в отличие от своего брата Бориса, он о своём пребывании вне семьи отзывался без всякого энтузиазма. Вообще предпочитал об этом времени не вспоминать.

Как отмечала Тамара Васильевна Гущина в неизданных «Воспоминаниях», «пребывание в детском доме и всё его трудное детство оставило печальный след в его душе»<sup>[241]</sup>.

Первой освободившегося отца увидела Нина. Это произошло накануне завершения её учёбы в горно-химическом техникуме. Был конец лета 1950 года. В то время Нина Васильевна работала пионервожатой в городе Кировске. Встреча с отцом произошла в Ботаническом саду. Перед ней стоял состарившийся пятидесятилетний человек, без единого зуба, с отёкшим лицом и совершенно растерянный. Нина Васильевна вспомнила, что в то время она была сильно простужена и, разговаривая с отцом, зашлась кашлем, а

тот вдруг подумал, что его любимая дочь смертельно больна, и неожиданно разрыдался.

Нина Васильевна была, вероятно, первым близким человеком, перед которым он до конца выговорился. И о том, как его по многу часов держали скрюченным в тесном каменном мешке, в котором невозможно было ни встать в полный рост, ни прилечь, ни присесть. И о том, как глубокой ночью резко открывали обитую железом дверь и он, измученный, вываливался из этого мешка, а его обливали ледяной водой, после чего вели на допрос. От него требовали одного: «Оговори кого-нибудь. Не важно кого, но оговори! Всё равно пойдёшь по 58-й статье — вредительство».

Во время следствия Василий Васильевич Ерофеев заболел туберкулёзом лёгких и приобрёл порок сердца. Потом его отправили в места не столь отдалённые и хорошо знакомые — в лагерь в Архангельской области. Работал он на лесоповале. Была ещё одна специфическая процедура — помывка зэков в бане. Одновременно решалось две задачи: химическая обработка рваньё, которое они на себе носили, и чистота их тел. Вот потому-то их вели в баню по снегу без одежды и босиком. Каждый из них укрывался тем тряпьем, на котором спал.

Понятно, что Василий Васильевич дал подписку о неразглашении, о которой он предупредил свою дочь. Спустя много лет Нина Васильевна Фролова получила в ФСБ постановление о реабилитации отца и «выжимки» из следственного дела. Выдававший эти документы офицер сказал ей, что её отец ни в чём не виновен, но после ареста и тех методов следствия, которым он подвергался, отпустить его на волю было невозможно — дискредитировались «органы».

Василию Васильевичу с помощью знакомых железнодорожников удалось устроиться на работу и даже получить комнату в двухэтажном бараке на 23-м

километре (разъезд Юкспориок, 3, комната 13) неподалёку от Кировска. Через полтора года приехала вызванная им из Москвы Анна Андреевна. От прежних их вещей, как я уже отмечал, ничего не осталось. Даже ни одной тряпицы. Толи они сгорели зоз при пожаре, то ли их растащили соседи. Вернулся сын Борис, поступивший в горно-химический техникум, а вслед за ним в июне 1953 года — Венедикт. С 8-го по 10-й класс он учился в средней школе № 1 Кировска. В его классе было 20 девочек и семь мальчиков.

Василий Васильевич был плох, едва держался на ногах. В нём уже было трудно узнать прежнего весёлого и энергичного человека. По возвращении домой он работал в карьере, ведь было невозможно прожить на пенсию по инвалидности. Анна Андреевна тоже не сидела сложа руки. Нянчила девочку у соседней. Это были какие-никакие, но всё-таки деньги!

Неприятности не оставляли Василия Васильевича. Как вспоминала Тамара Васильевна, на работе произошло какое-то ЧП, и ему опять пытались приписать 58-ю статью — вредительство<sup>[242]</sup>.

К счастью, судья это обвинение отверг. Василий Васильевич получил три года лагерей за опоздание на работу. Большую часть этого срока он провёл в больнице и «по настоянию врачей был освобождён из лагеря раньше истечения времени наказания»<sup>34</sup>. Состояние здоровья Василия Васильевича оказалось хуже, чем предполагали врачи. В самом начале января 1956 года его положили в Мурманскую областную больницу. В результате всестороннего медицинского обследования у него был обнаружен рак лёгкого в последней стадии. Жить ему оставалось пять с половиной месяцев.

От полосной операции Василий Васильевич отказался. Твёрдо сказал: «Умру нерезанным!» Из

мурманской клиники его возвратили в больницу в Кировске. Тогда же очень кстати приехала Нина с восьмимесячной дочерью Леночкой. Она вышла замуж и работала на Украине. Как вспоминает Тамара Васильевна Гущина: «Он очень любил маленьких детей. Когда-то даже сокрушался: “Зачем они растут?”»<sup>35</sup>.

Василий Васильевич Ерофеев умер в кировской больнице 15 июня 1956 года в возрасте пятидесяти шести лет. Убирая его постель, санитарка обнаружила под подушкой фотографию его внучки Леночки.

Венедикт Ерофеев успешно сдал экзамены на аттестат зрелости. Слово «успешно» даже не очень-то подходит к той сенсации, которую он создал в городе Кировске. Ему, единственному в городе, в 1955 году была присуждена золотая медаль. Его сестра Тамара Васильевна, работающая на почте, вспоминала: «Помню, пришла в наш почтовый зал какая-то женщина и громко сокрушалась: “Сегодня писали сочинения. Ужасно все переживали. Говорят, какой-то Ерофеев только написал на пять”. Каждый раз после экзаменов он заходил ко мне и докладывал: “Пять”»<sup>36</sup>.

Раиса Миронова, девушка, проучившаяся с Венедиктом Ерофеевым в двух школах города Кировска: № 6 (по 7-й класс) и № 1 (с 8-го по 10-й класс), вспоминает о нём как «о тихом, симпатичном мальчике, в которого были влюблены все девочки класса». И отмечает, что «Ерофеев был очень эрудированным человеком и мог ответить на любой вопрос»<sup>37</sup>.

Какую профессию для себя выбрать — этот вопрос перед ним не стоял. Ещё задолго до выпускных экзаменов преподавательница литературы Софья Захаровна Гордо рекомендовала ему получить филологическое образование. Вопрос стоял только один — где? Он решил его просто. Отправил заявления одновременно в три университета: в Ленинградский,

Московский и Горьковский. Первым откликнулся Государственный московский университет им. М. В. Ломоносова. Как вспоминает Тамара Васильевна, «Вена отправил документы и вскоре получил телеграмму: “Выезжайте на собеседование”»<sup>38</sup>.

Венедикту Ерофееву летом 1955 года ещё не исполнилось семнадцати лет. Надеюсь, что читатель помнит, что герой этой книги родился 24 октября 1938 года. Анна Андреевна решила сопровождать сына, ведь самостоятельно он ещё никуда не ездил. Последней его поездкой был отдых в городе Рыбинске Ярославской области вместе с детдомовцами-отличниками.

Остановились они у тётки Дуняши, старшей сестры Анны Андреевны. Его собеседование с лингвистом-русистом Николаем Максимовичем Шанским<sup>[243]</sup> прошло успешно и заняло не больше тридцати минут. Из этого следовало, что он, как абитуриент, окончивший среднюю школу с золотой медалью, от вступительных экзаменов освобождался.

Через несколько дней вывесили списки студентов первого курса филологического факультета МГУ. Среди них был и Венедикт Ерофеев, приехавший покорять столицу из-за полярного круга. Немедленно была послана телеграмма старшей сестре Тамаре с сообщением в одно слово: «Принят». Отмечу, что это слово не закачивалось восклицательным знаком. У юного студента был северный, сдержанный, нордический характер. Не умел он шумно ликовать по всяким победным случаям, даже его непосредственно касающимся. И вместе с тем терпеливо сносил бурные вспышки радости по разным поводам со стороны других людей.

Поступивших на филологический факультет МГУ в середине августа направили в совхоз под Можайском на помощь труженикам полей. Цель была двоякая и по-

своему благородная: пусть молодые люди физическим трудом снимут умственное напряжение вступительных экзаменов и заодно ближе познакомятся друг с другом на свежем воздухе.

Евгений Шталь делает верный вывод: «Ерофеев не пытался укрыться или спастись от советской действительности. Он был в гуще повседневности, стараясь оценить её, являясь и соучастником этой жизни, и её наблюдателем. Он не терпел обыденную жизнь»<sup>39</sup>.

Да и как мог он её терпеть, когда эта жизнь уже своей разболтанностью, суматошным видом и крикливым голосом мешала ему увидеть не иллюзорное, а реальное Бытие и тем самым оказаться причастным стихии мироздания.

Вот потому-то Венедикт Ерофеев время от времени, устав быть соучастником и наблюдателем унижительного повседневного существования, нырял вглубь себя, чтобы перевести дух, восстановить силы и начать всё заново. Единственное, что тогда ему было доступно, — это книги и перемещение по родной стране. Особенно ему нравились те места, где у природы по-прежнему оставались кое-какие права, где она ещё не была беспощадно истерзана и основательно изгажена человеком. До самой своей смерти он сохранял в памяти воспоминания о самом притягательном из таких заповедных уголков свободы — о Заполярье.

Написал и подумал: не много ли в моих словах пафоса, чего не выносил Венедикт Ерофеев. Скажу проще: несмотря на горестную жизнь, хорошо ему было в родных краях, душевно. И гадюк за полярным кругом ползало намного меньше, чем в других местах России. К тому же они там были менее агрессивны и не столь ядовиты.

## **Глава пятая**

# **МОЛОДЫМ ВСЕ ДОРОГИ ОТКРЫТЫ**

Как охарактеризовал Венедикта Ерофеева чуть-чуть позднее его товарищ Владислав Цидринский, «была в нём какая-то бережность по отношению к людям и снисходительность. Простая, русская, сильная натура»<sup>1</sup>. И к этому он добавляет главное, что отличало его от большинства его сокурсников и объясняет не только его скорый уход из МГУ, но также из других советских учебных заведений: «Он не был одиозной личностью. И начальство ничем не донимал — просто он был абсолютно свободен и поэтому непонятен. Его постоянно принимали за некую абсолютную угрозу и формулировали её для себя всякий раз по-разному. То это был агент иностранной державы, то это был агент чёрных демонических сил, то ещё кто-то»<sup>2</sup>.

Многие знавшие Венедикта Ерофеева студентом разных вузов в один голос утверждают, что он по своему независимому нраву с трудом укладывался в поведенческие мерки тогдашней советской действительности. Людская толчея не смогла его к себе полностью приспособить. Он сохранял с этой действительностью некоторую дистанцию, но не слишком большую, чтобы иметь возможность не терять её из виду, наблюдать за ней, а в случае опасности на какое-то время исчезать. Это всё так. Однако уже в наши дни те же мемуаристы, за редким исключением, умалчивают о том, почему его терпеливое существование в том обществе воспринималось им вовсе не жизнью, полной смысла и красоты, а изнуряющим и тяжёлым процессом выживания.

Венедикт Ерофеев появился в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова за пять с половиной месяцев до XX съезда КПСС, на котором были осуждены культ личности и косвенно идеологическое наследие И. В. Сталина. В приёмной комиссии филологического факультета МГУ шестнадцатилетний статный, жаждущий знаний юноша, приехавший из-за полярного круга, где он окончил среднюю школу с золотой медалью, был встречен доброжелательно и с любопытством. Он чем-то напоминал внешне и речью Михаила Васильевича Ломоносова. Его будущие учителя выглядели людьми вполне благожелательными и согласно времени настроенными миролюбиво. Но они даже и предположить не могли, что понравившегося им молодого человека ведёт по жизни абсолютно бредовая и крамольная идея. Он решил по приезде в стольный град Москву с помощью полученных в МГУ знаний отстаивать независимость своей личности, укрепить её в противоборстве со злом. А это, сами понимаете, была химера в чистом виде, заблуждение и самообман наивного провинциала. К счастью, университетские преподаватели тогда не поняли, в чём причина его равнодушия к их лекциям, появившегося через полгода обучения. Ведь на первых порах он грыз гранит науки с похвальным прилежанием.

И всё-таки желание Венедикта Ерофеева сбылось. Он стал студентом самого престижного в СССР высшего учебного заведения. 1955 год был особенным. Именно к этому году относится событие, смягчившее условия приёма в советские высшие учебные заведения, — переименование Министерства государственной безопасности (МГБ) в Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР (КГБ) и сопутствующее ему обновление кадрового состава старого ведомства, переподчинённого новому



руководству. На короткое время чекисты умили свой сыскной пыл и прижали хвосты, напряжённо думая, что последует за этим решением партии и правительства и как им придётся жить дальше.

Венедикт Ерофеев поселился в Москве в районе хрущёвских новостроек — Черёмушках. В то время это была московская окраина. Он оказался одним из пятерых жильцов в просторной комнате студенческого общежития, располагавшегося в новом пятиэтажном кирпичном доме по адресу: Новые Черёмушки, корпус 102. Его новыми товарищами стали земляк по Северу Лев Кобяков из Архангельска, Владимир Катаев из Челябинска, Валерий Савельев из Казахстана, Лёня Самосейко из Белоруссии. Вскоре он познакомился с живущим в другой комнате юношей, который станет его близким другом, — Владимиром Муравьёвым из Москвы. Его новому товарищу предоставили общежитие в порядке исключения. Мать Владимира, его отчим и он сам жили в комнате площадью шесть квадратных метров. Через несколько месяцев, переехав из района Новые Черёмушки на Стромынку, они окажутся в одной комнате общежития. О той жизни в общежитии на новом месте, о пробах пера Венедикта Ерофеева, об обстановке некоторого свободомыслия вспоминает Владимир Муравьёв: «Как раз там написана добрая половина “Записок психопата” — его первой прозы. Нам было весело и интересно вместе, но пиетета никакого не было. Он записывал что-то из того, что я говорил, я записывал то, что говорил он. Было общее взаимное понимание. Но у меня не было привычки постоянно вести записные книжки. А Веничка потом к ним возвращался многократно и писал по этим материалам. Жили весело. Ставили оперу “Апрельские тезисы” — придумывали её все вместе. Был у нас такой человек Лёня Михайлов, он говорил: “Я гожусь только на роль броневика”. И изображал броневик, у него была даже

арьетта (небольшая ария — обычно в двухчастной форме, отличающаяся простым изложением. — А. С.)<sup>3</sup>.

Из сокурсников, живущих в общежитии в Новых Черёмушках, у Венедикта кроме Владимира Муравьёва устанавливаются дружеские отношения с Пранасом Яцкявичусом из Литвы и Юрием Раманевым из Красноярского края. С Пранасом он входит в долгие полушутливые дебаты, чей язык древнее. Уж как ему не хотелось признавать правоту литовца о родстве его языка с санскритом! Однако факты демагогическим красноречием не опровергнешь. Это всё же научная дискуссия, а не партийное собрание!

Пранас Яцкявичус (Моркус) в книге воспоминаний о Ерофееве «Про Веничку» описывает московские виды, которые открывались из окон этого общежития: «Восточные окна показывали золотившиеся в московских далях башни и колокольни; с той стороны приезжали трамваи и возле барака при начатой стройке вываливали десант; отдохнув, заворачивали назад — в центр. Тут же располагался продуктовый, а за углом — пункт приёма стеклотары с непременною гроздью мужчин и авосек с бутылками. Ерофееву досталось окно на запад. Там пылали милые сердцу мечтателя закаты и простирались заброшенные колхозные поля, руины ферм и складов, густые заросли на холме. К ним вела романтическая тропинка. По ней, возбуждая всеобщую зависть, водил своих девушек неотразимый Витя Дерягин»<sup>4</sup>.

На филологическом факультете МГУ Пранас Яцкявичус проучился чуть дольше Венедикта Ерофеева. В 1957 году он уехал в Литву, поступив на историко-филологический факультет Вильнюсского государственного университета. Кстати, именно он окрестил Ерофеева Веничкой. Это ласковое имя тут же приняли с восторгом их сокурсницы.

Пранас Яцкявичус вспоминает: «Действительно, все попадавшие под руку имена мы с Лёней Михайловым, применяя нехитрую фонетическую матрицу, перелицовывали кто во что горазд. Но это — ласкательное, применимое к ребёнку. Он, впрочем, и был самым юным на курсе. А к тому же почти все из нашего круга выросли без отцов, сидевших или погибших в лагерях, ушедших»<sup>5</sup>.

Сам Венедикт Ерофеев отметил в одном из своих блокнотов: «Вот клички: в 1955—1957 гг. меня называли просто Веничка (Москва), в 1957—58 гг., по мере поселения и повзросления, — Венедикт, в 1959 г. — “Бэн”, в 1960 г. — “Бэн”, “граф”, “сам”; в 1961—62 гг. опять “Венедикт”, и с 1963 г. — снова поголовно “Веничка”»<sup>6</sup>.

Венедикт Ерофеев у своих сокурсников получил ещё другое прозвище — Тухастый. Как вспоминает Владимир Борисович Катаев, оно было связано со знаменитой фразой известного лингвиста, академика Льва Владимировича Щербы про глокую куздру и тухастого бокренка.

Приведу её полностью: «Елокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит тухастого бокрѐнка». На первых лекциях по языкознанию преподаватели приводят студентам эту искусственно сотворѐнную фразу в качестве примера того, что многие семантические (смысловые) признаки слова можно понять из его морфологии (его внутренней структуре). Эта фраза создана на основе русского языка, в которой все корневые морфемы заменены на бессмысленные сочетания звуков. А между тем у этой абракадабры есть общий смысл. Услышав её, можно представить, что нечто активное женского рода предприняла некое однократное и резкое действие по отношению к одушевлѐнному существу мужского рода, а затем

продолжала делать что-то с его детёнышем или более мелким представителем того же вида.

В этой бессмыслице было больше логики и смысла, чем в риторике словоблудов из существовавших на факультете идеологических пастырей.

Почему Венедикт Ерофеев получил у студентов прозвище Тухастый? Не потому ли, что он вызывал к себе особое отношение как самый младший из них по возрасту? Или потому, что девушки относились к нему с повышенным вниманием? А может быть потому, что он выглядел среди студентов существом с другой планеты? Чего его сокурсники до конца недопоняли, но кожей почувствовали, так это его невероятной силы дух, невысказанный для шестнадцатилетнего юноши, который уже тогда проявлялся в его мироощущении, выдающихся способностях и ещё не обширной, но глубокой эрудиции. В свою очередь, Ерофеев в одном из последних интервью сравнил своё ближайшее окружение «с лицейским братством пушкинских времён — в окружении косной и малоинтересной среды»<sup>7</sup>.

Владимир Катаев вспоминает: «Он, было видно, немало прочитал у себя в школе за полярным кругом. Университет же предложил уже в первом семестре античную литературу (Сергей Иванович Радциг<sup>[244]</sup> казался нам едва ли не современником Гомера), Библию, которые наши профессора (конечно же, Николай Каллиникович Гудзий<sup>[245]</sup>) ухитрились включить в курс древнерусской словесности; благодаря оттепели начали возвращаться тексты Серебряного века. И то, что автор “Москвы — Петушков” предстаёт не робким гостем на празднике мировой культуры, во многом закладывалось тогда, в его первом университетском семестре»<sup>8</sup>.

Владимир Катаев возвращает нас в те годы, к первым месяцам пребывания Венедикта Ерофеева на

филологическом факультете МГУ: «Добираться от общежития до университета надо было на трамвае и автобусе час с лишним, и, чтобы успеть к первой лекции, мы дружно вставали в семь утра — и Тухастый вместе со всеми. Вообще в первом семестре он выглядел как самый примерный студент. Не курил, ни капли спиртного не употреблял и даже давал по шее тем, у кого в разговоре срывалось непечатное слово. Однажды, получив месячную стипендию, чуть ли не всю потратил на компот из черешни, который завезли в общежитский буфет: ходил и покупал банку за банкой, что для северянина вполне извинительно»<sup>9</sup>.

Пранас Яцкявичус, говоря о первых публикациях Венедикта Ерофеева, припоминает, чем они его удивили. И тут словно в унисон Владимиру Катаеву, но с упоминанием больших деталей, у него также появляется трамвай: «Эти книжечки (имеются в виду «Записные книжки» Венедикта Ерофеева. — А. С.) припомнили, о чём тогда, резвясь, говорилось, но удивили обилием прямых и переваренных цитат из гула шаболовского трамвая. По не застроенным ещё пустырям, мимо больницы Кащенко, Донского монастыря, он отвозил студентов к кинотеатру “Авангард”, на Октябрьской площади, до этого бывшего церковью, а потом зодчими и вовсе сметённого с лица земли. В грохочущей, трижды переполненной пассажирами коробке мгновенно вспыхивали споры, по какую сторону Пиренеев больше уважают советского человека; после того как в целях экономии убрали кондукторов и предоставили люду самому брать сдачу с оплаты за проезд, озверение превратило каждую поездку в Армагеддон. Из обрывков новояза, сумеречных бормотаний оболваненных людей да сверкающих обломков высокой поэтической речи шелкопряд Ерофеев начинал свою тончайшую работу.

Те обломки были из только что появившегося Фета, из Мирры Лохвицкой, Игоря Северянина. Потом вдруг, наверное, с подсказки Володи Муравьёва (впоследствии наставника и главного читателя Ерофеева) возник Хлебников. Запомнились макферсоновские “Песни Оссиана”, из которых Ерофеев, любитель всяческих мистификаций, создал прелестную легенду о потерянной рукописи романа “Шостакович”. Он ничего не терял. Вот, казалось бы, сгнуть всем этим крохотным блокнотикам да листикам, ведь сколько пережито переездов и выселений! Ан нет, всё — на месте, и даже — сгнувшая вроде антология и та есть»<sup>10</sup>.

Через много лет вдруг объявилась эта вроде бы сгнувшая антология, чуть ли не первый студенческий самиздатовский рукописный журнал под названием «ФАЛЛ», существовавший в двух экземплярах. Действительно, во втором семестре у его сокурсников появилась идея создать рукописный журнал, который получил название «ФАЛЛ» — «Филологическая ассоциация любителей литературы». Через какое-то время последнее слово заменили на «людоедства». Участвовали в создании этого журнала Лев Кобяков, Леонид Михайлов и Венедикт Ерофеев". В нём появились стихотворения Венедикта Ерофеева, Леонида Михайлова, Льва Кобякова, Юрия Раманеева, Владимира Скороденко и поэма Владимира Муравьёва «Подошва пролетария». Один экземпляр был изъят компетентными органами у Льва Кобякова, а второй увёз с собой в Литву Пранас Яцкявичус — вот он-то, потрёпанный экземпляр с пожелтевшими страницами, и вернулся из забвения.

Об этом дружеском круге талантливых молодых людей рассказал авторам его первой биографии сын Владимира Сергеевича Муравьёва — Алексей

Владимирович: «И вот в МГУ собралась уникальная компания, в которой некоторым интеллектуальным лидером отчасти был отец, но туда входили Евгений Костюхин, который потом стал фольклористом, а также Борис Успенский, Лев Кобяков и ещё несколько разных людей. Ерофеев же, хотя он и был медалист и отличник, насколько я понимаю, тогда был не очень развит, и, собственно говоря, отец оказался тем, кто начал ему рассказывать про литературу в более глубоком смысле, и особенно про поэзию. В частности, из рук отца впервые он получил стихи Игоря Северянина, который стал его любовью на всю жизнь. Нужно сказать, что в компании отца не было никакого восторга по поводу шестидесятничества. Что касается Евтушенко, то он воспринимался как символ пошлятины. И Окуджаву тоже никто в серьёзные поэты не думал записывать... Отец вообще ранжировал литературу по родам — кто главный, кто неглавный. Скажем, Мандельштаму отводилась высшая ступень, кому-то — чуть пониже и так далее. Отец производил абсолютно магнетическое действие на многих окружающих, не в последнюю очередь потому, что он всегда говорил максимально жёстко и с очень большой уверенностью. Сергей Сергеевич Аверинцев как-то мне сказал: "Я человек сомнения", а отец, даже если в чём-то сомневался, внешне этого никак не выражал. Это было то, что Набоков назвал *strong opinion*. И плюс ко всему отец детство и раннюю юность провёл с книгой, он прочёл всю библиотеку Мелетинского тогда — в Петрозаводске и в других местах, потому он феноменально много знал для молодого человека его поколения»<sup>12</sup>.

Тут я, согласившись с благотворным интеллектуальным влиянием Владимира Муравьёва на провинциалов-сокурсников, однако, оспарю утверждение его сына, что Венедикт Ерофеев «был не

очень развит». Я убеждён, что в духовном смысле, в понимании сути христианства, он был развит даже более, чем его эрудированный друг, отец Алексея Владимировича Муравьёва. Несмотря на то, что прочитал книг меньше и к тому же не был тогда крещён. А всё потому, что, как говорил в подобных случаях поэт и критик Юрий Иваск, «от него Богом веяло». И это чувствовали некоторые его университетские преподаватели из «бывших». Другое дело, что сам Венедикт Ерофеев своё духовное верховенство над окружающими его студентами если тогда и осознавал, но ещё не использовал для утверждения самого себя в университетской, институтской или какой-нибудь иной молодёжной среде. К такого рода самозащите он обращался чуть позднее, начиная с 1961 года.

Сам Венедикт Ерофеев встрече и общению с Владимиром Муравьёвым придавал немаловажное значение. Но очевидно также и другое. Немаловажное не значит судьбоносное. Венедикт Ерофеев за год до смерти внёс серьёзные коррективы в легенду о доминирующем влиянии на него Мура, как его уже в студенческую пору называли близкие друзья. Тут, безусловно, существовала перекличка с небезызвестным персонажем Эрнста Теодора Амадея Гофмана из романа «Житейские воззрения кота Мурра».

Венедикт Ерофеев предвидел, что вскоре Владимира Муравьёва объявят его духовным наставником, что было бы искажением действительного характера их взаимоотношений. Не случайно ведь автор легендарной поэмы «Москва — Петушки» внятно обозначил, в какой сфере проявилось воздействие на него Владимира Муравьёва — «нелитературный» учитель. Что это означает? Что их взгляды на то, в чём и как творчески себя осуществить, разошлись. При этом даже временное воздействие на него Владимира



Муравьёва он ограничил совсем небольшим периодом. Судите сами по его интервью 1989 года в газете «Московские новости»: «В университете мне сказали: “Ерофеев, ты тут пишешь какие-то стишки, а вот у нас на первом курсе филфака человек есть, который тоже пишет стишки”. Я говорю: “О, вот это уже интересно, ну-ка покажите его мне, приведите мне этого человека”. И его, собаку, привели, и он оказался действительно настолько сверхэрудированным, что у меня вначале zakружился мой тогда ещё юный башечник. Потом я справился с головокружением и стал его слушать. И если говорить об учителе нелитературном, то — Владимир Муравьёв. Наставничество его длилось всего полтора года, но всё равно оно было более или менее неизгладимым. С этого всё, как говорится, началось»<sup>13</sup>.

В перечислении сокурсников Венедикта Ерофеева у меня до сих пор отсутствовали женщины. А они существовали на филологическом факультете МГУ, и в немалом количестве. Не только в одной 4-й немецкой группе, куда записался Венедикт Ерофеев для пополнения знаний, их было большинство. Они преобладали на всём филологическом факультете. Восемь из них вспомнили его на страницах книги «Время, оставшееся с нами. Филологический факультет в 1955—1960 годах. Воспоминания выпускников» как самую яркую фигуру курса, хотя среди них он пробыл недолго. Они описывают высокого, худого, узкоплечего юношу с «яркими голубыми глазами, непокорными густыми тёмными волосами, спускавшимися на лоб. Он непрерывно курил и старался говорить басом, чтобы казаться старше и солиднее»<sup>14</sup>.

Романтические отношения завязались у него с Антониной Музыкантовой. Знакомство с этой девушкой

произошло уже на первом практикуме по немецкому языку.

Уж как она и её подруги пытались уговорить Веню посещать занятия в университете, а не лежать неделями с книжкой в руках на короткой кровати. Чтобы не свисали ноги, он просовывал их сквозь железные прутья спинки. Венедикт Ерофеев читал много, но отбирал книги по собственному выбору, а не в соответствии с учебной программой. Все усилия девушек по его «спасению» ни к чему не привели. Об одном из таких эпизодов посещения Венедикта в общежитии профоргом Дудиной, комсоргом Жуковской и Музыкантовой рассказывается в книге «Время, оставшееся с нами...»: «В комнате было накурено, хоть топор вешай, сосед его начал поспешно убирать разбросанные по комнате вещи, подвинул нам стулья. Видимо, ему было неловко. Он сказал Вене: “Ты бы хоть встал, к тебе же пришли, неудобно”. На что Веня буркнул: “А я никого не приглашал”. И продолжал читать (или делал вид, что читает). Пока говорили не о его проблеме, а на какие-то нейтральные темы, он что-то даже отвечал. Но когда мы начали уговаривать, точнее, упрашивать его прийти на занятия, говоря, что деканат допустит его к сессии, если он всё-таки явится, он перестал отвечать и демонстративно углубился в книгу. Но, судя по коротким взглядам, которые он иногда бросал на нас, было видно, что он всё-таки слушал. Наконец все доводы иссякли, и мы могли лишь пойти по второму кругу. Ему это, видно, надоело. Он махнул рукой и изрёк что-то вроде: “Изыдьте!”, что “комиссия” и сделала. Сессию он не сдавал»<sup>15</sup>.

Последнее утверждение, что вторую сессию Венедикт Ерофеев не сдавал, опровергается воспоминаниями Владимира Муравьёва: «Первую сессию он сдал на пятёрки для себя без всякого

напряжения. И вторую сдал, уже с некоторым скрипом, но его тогдашняя пассия выгоняла его на экзамены (он ей этого не простил). На зимней сессии второго курса его вышибли»<sup>16</sup>.

## **Глава шестая**

# **УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НАСТАВНИКИ**

С кем учился Венедикт Ерофеев, я в основном назвал. Теперь пришёл черёд вспомнить некоторых его профессоров. Не правда ли, интересная тема узнать, что собой представляли эти люди? Те опытные наставники молодёжи, кто выжил в беспощадные сталинские годы и во время начавшейся оттепели сеял разумное, доброе, вечное в головах Венедикта Ерофеева и его сокурсников.

Начну с профессора Романа Михайловича Самарина<sup>[246]</sup>. С 1956 по 1961 год он был деканом филологического факультета МГУ, а с 1947-го заведовал кафедрой истории зарубежных литератур, имел неоднозначную репутацию. Одни его коллеги, как Леонид Матвеевич Аринштейн<sup>[247]</sup>, утверждали, что он не питал большой симпатии к официальной идеологии, скептически относился к литературам социалистических стран и союзных республик. (Учителем самого Леонида Матвеевича был выдающийся литературовед, исследователь взаимовлияния русской и западноевропейской литератур академик АН СССР Михаил Павлович Алексеев<sup>[248]</sup>).

Прислушаемся к словам Леонида Аринштейна: «Вопреки мнению Михаила Павловича я относился к Самарину вполне нормально. Думаю, не только потому что он взял меня на кафедру. Мне импонировали его самобытность, прямота, остроумие, весь его облик старого московского барина. А что касается хитрости и беспринципности, то я встречал таких людей, можно

сказать, жил среди них. Людей другого типа — высоко нравственных, таких как сам Михаил Павлович, как Стеблин-Каменский, — я, к сожалению, встречал гораздо реже»<sup>1</sup>.

Известная переводчица и филолог Лилианна Зиновьевна Лунгина<sup>[249]</sup>, учившаяся у Р. М. Самарина, представляет его в несколько другом свете в связи с участием в борьбе с космополитизмом среди учёных: «Человек, подобный Самарину, который в нормальном обществе не причинил бы зла, в атмосфере начала пятидесятых годов стал настоящим мерзавцем»<sup>2</sup>.

Лилианна Лунгина слов на ветер не бросала и о людях судила непредвзято, по их делам. Она на самой себе испытала шок от советской действительности, вернувшись в 1930-е годы вместе с родителями из Франции в СССР.

Лилианна Лунгина получила широкую известность при жизни благодаря переводу книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», а после смерти — фильму «Подстрочник», смонтированному на основе записанных на плёнку её воспоминаний о том, каким был XX век в России.

Приведу ещё отзывы других филологов. Вот как описывает Р. М. Самарина известный лингвист Александр Жолковский, поступивший на филологический факультет МГУ, в английскую группу романо-германского отделения в 1954 году, за год до Венедикта Ерофеева: «Деканом был Р. М. Самарин, стремившийся прикрыть свою печальную антисемитскую известность образца 1949 года нарочито свойскими манерами, как бы из Боккаччо (он читал нам литературу Возрождения). Проходя по коридору третьего этажа, толстый, плешивый, с трубкой в зубах, он мог собственными руками раскидать

дерущихся первокурсников, чтобы бросить через плечо патерналистское: “Школяры!”»<sup>3</sup>.

Более беспощадна к Р. М. Самарину литературовед Елена Марковна Евнина. Её отзыв о декане филологического факультета более содержателен, чем у Александра Жолковского: «Самарин был прекрасный ритор. Но никакая советская школа с её занудными уроками литературы не могла причинить большего вреда неокрепшим умам, чем лекции Романа Михайловича. Литература в его подаче была отражением беспощадной классовой борьбы, и только эти позиции того или иного автора и нужно было усвоить, только с этой точки зрения оценивать стили, течения, эстетику. А ведь сам-то Роман Михайлович был эстет, ценитель “проклятых поэтов”. Поистине страшная и, увы, характерная для той эпохи фигура»<sup>4</sup>.

Я думаю, что общения с Самариним, с другими его сотоварищами Венедикту Ерофееву хватило сполна, чтобы понять, что взыскующим правды студентам от такого преподавателя лучше было бы держаться подальше. По крайней мере избегать с ним откровенных разговоров.

Владимир Муравьёв вспоминал об уходе Венедикта Ерофеева с филологического факультета МГУ: «Его никто не исключал, с ним бились бог знает как, хотели его оставить, он первую сессию сдал с полным блеском, и вообще было понятно, что он прирождённый филолог. (И действительно, он филолог, но в другом смысле — не учёный.) Была даже такая история: его встретил Роман Михайлович Самарин (не тем будь помянут) — был такой профессор — на лестнице в МГУ: “Ну, Ерофеев, вы когда собираетесь сдавать сессию?” — на что Веничка, проходя, ткнул его в брюхо пальцем и сказал: “Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле?” — и

пошёл наверх. Надо сказать, что даже после этого его не исключили»<sup>5</sup>.

Вместе с тем среди профессоров филологического факультета в середине 1950-х годов находились и порядочные люди — крупные учёные: филологи-классики Сергей Иванович Соболевский<sup>[250]</sup>, Сергей Иванович Радциг и лингвист Александр Николаевич Попов<sup>[251]</sup>, пушкинист Сергей Михайлович Бонди<sup>[252]</sup>, автор трудов о Данте Алигьери<sup>[253]</sup> и литературе эпохи Ренессанса Илья Николаевич Голенищев-Кутузов<sup>[254]</sup>, специалист по древнерусской литературе Николай Каллиникович Гудзий<sup>6</sup>.

Все они родились задолго до 1917 года и принадлежали к практически уже несуществующей старой дореволюционной интеллигенции. Самыми «законсервированными» из них, не от мира сего были Сергей Иванович Соболевский и Сергей Иванович Радциг. Последний происходил от эмигрировавших в Россию австрийских немцев. Его отец умер, когда Сергею было четыре года. Об этих двух патриархах на факультете ходили анекдоты. Приведу несколько забавных историй из их жизни.

История первая: Сергей Иванович Соболевский никогда не говорил о политике. Но однажды в 1944 или 1945 году студенты услышали, как он в коридоре университета обсуждает с кем-то подробности военно-морской операции. Все очень удивились, но вскоре обнаружили, что речь идёт о какой-то греко-персидской наумахии.

Несведущим поясню, что наумахия — это потешное морское сражение в Древнем мире. Считалось особо роскошным зрелищем.

История вторая: Сергей Иванович, вы хорошо знаете древнюю литературу, а как вы к современной относитесь? — спрашивают у Соболевского уже после

войны, имея в виду, конечно, советскую. — Прочитал недавно «Анну Каренину», — ну, ничего, неплохо написано...

История третья: Когда уже получила повсеместное распространение мода летом ездить в Крым и лежать на пляже, Соболевский тоже отправился на море.

— Что же вы, Сергей Иванович, на юг ездили? — удивлённо спрашивали у него младшие коллеги.

— Ездил, ездил.

— И на пляже лежали?

— Лежал, читал.

— Роман читали?

— Нет, греческий словарь. Знаете, куда увлекательнее — куда больше неожиданностей.

Теперь расскажу две истории, связанные с Сергеем Ивановичем Радцигом. Он пока ещё оставался у меня в тени. А ведь именно ему в первом семестре Венедикт Ерофеев сдал экзамен по античной литературе на «отлично». Это событие на факультете было воспринято сенсацией и неимоверно повысило его авторитет среди сокурсников.

Итак, история первая из жизни Сергея Ивановича Радцига: Когда началась Первая мировая война, Радцига призвали в армию. И он, представьте себе, служил. Где он служил, как вы думаете? Он охранял Царь-пушку в Кремле!

История вторая: Некая женщина, имя которой забыто, защитила диссертацию по истории искусства о том, как фронтоны перестали украшать скульптурой. Из хвalebного выступления Радцига на её защите:

— И вот все смотрели на этот фронтон и ничего не видели, а Мария Васильевна посмотрела и увидела, что там ничего нет!

Я привёл здесь эти истории неспроста. Венедикт Ерофеев недолго пробыл на филологическом факультете МГУ. Однако этого времени ему вполне



хватило, чтобы понять, какими скупыми и неброскими стилистическими средствами возможно создать портрет человека. Для этого необходимо только чувство языка, на котором говоришь и пишешь, и вкуса, появляющегося в человеке либо с рождения, либо формирующегося в художественно-интеллектуальной среде. Как известно, Венедикт Ерофеев многое запомнил и осваивал с лёту.

Все эти люди из далёкого прошлого, конечно, задавали тон интеллектуальной жизни на факультете, но некоторую политическую осмотрительность всё-таки сохраняли. И, разумеется, избегали прямых и откровенных дискуссий со студентами. Я думаю, что это была одна из существенных причин, почему даже самые интересные лекции и семинары не увлекли Венедикта Ерофеева. Их содержание доходило до него через пересказ с комментариями его университетских друзей — Пранаса Яцкявичуса, Владимира Муравьёва, Бориса Успенского, Льва Кобякова. С ними-то он мог свободно рассуждать о чём угодно, не подбирая слов и не оглядываясь по сторонам.

И всё-таки скажу несколько слов в защиту подобных Роману Михайловичу Самарину наставников из времени конца 1950-х — начала 1960-х годов. Что касается Венедикта Ерофеева в бытность его студентом четырёх вузов (МГУ, Орехово-Зуевский, Владимирский и Коломенский институты), они делали со своей стороны всё возможное, чтобы он получил филологическое образование и оказался бы среди них. Понимали, насколько этот юноша превосходит своими интеллектуальными возможностями и талантом всех других студентов. Надеялись, что он станет их достойной сменой как по эрудиции, так и по умению держать нос по ветру. Этих людей вполне устраивала хрущевско-брежневская власть. Ведь бессмысленный террор, который когда-то связывал всех по рукам и

ногам, оставался в недавнем прошлом и вряд ли имел шансы на возвращение в державу, уже потерявшую миллионы своих граждан в процессе строительства нового общества и в войне с немецким нацизмом. Вместе с тем они знали, что равенство граждан, которое провозгласили в октябре 1917 года, не означало и, к сожалению, не означает до сих пор подчинённости законам, одинаковым для всех. В качестве самооправдания собственного конформизма им пригодились парадокс мудрого Вольтера<sup>[255]</sup>: «Равенство есть вещь самая естественная и в то же время химера».

К тому же оставшиеся на прежних постах номенклатурные кадры уяснили себе, что начавшаяся борьба с культом личности Сталина вовсе не означала упразднения высочайшего авторитета и снижения статуса личной власти (при коллективном руководстве) первого (генерального) секретаря ЦК КПСС.

Переиначив строку из пушкинской «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», Венедикт Ерофеев в одном из своих блокнотов деликатно обозначил главного из главных в нашей державе: «Стороны той государь, Генеральный секретарь»<sup>7</sup>.

Преподаватели Венедикта Ерофеева не догадывались, что с восторгом принятый ими на филологический факультет МГУ молодой человек даже в малолетстве своим упрямством в непонятно откуда взявшихся предубеждениях. Он, как я уже писал, наотрез отказался вступать в пионеры. Что ни говорите, мальчик был особенный, с дореволюционными представлениями о чести и достоинстве.

Венедикт Ерофеев не был психологически поработан официальной идеологией. Воля сопротивляться официозу у Венедикта Ерофеева оставалась достаточно сильной, чтобы не поддаваться всякого рода соблазнам и искушениям. Достоинство человека, умеющего думать своей головой, он не растерял и в дальнейшем — в своих скитаниях по СССР.

В стране, превратившейся в бюрократическое и сословное государство, начался процесс реабилитации несправедливо осуждённых по политическим статьям людей. Ведь в сталинские времена никто не был застрахован от ареста. Он мог состояться из-за случайного стечения обстоятельств, в результате конфликта с начальством или доноса.

На первом курсе филологического факультета МГУ больше чем половина поступивших в 1955 году студентов была из семей, в которых кого-то из близких либо расстреляли, либо надолго посадили. Владимир Катаев в своих воспоминаниях обращает на это обстоятельство особое внимание: «О репрессиях сталинской эпохи знал практически каждый из нас по собственному семейному опыту. У меня, скажем, дед, которого взяли в мае 1938-го, так и не вернулся домой. У Володи Муравьёва, часто приходившего в комнату напротив, нервно-ироническая манера разговора и почти трагическое выражение лица, должно быть, отражали пережитую в его семье лагерную историю. (Хотя на эти темы мы тогда предпочитали не разговаривать.) Но Венедикт, должно быть, имел свой особый личный счёт и к прошлому, и к настоящему»<sup>8</sup>.

Начиная с сентября 1953 года, согласно указу Верховного Совета СССР, Верховный суд пересматривал дела репрессированных советских граждан. В первые годы после смерти Сталина вину с невинно осуждённых сняли примерно с полутора миллионов человек,

арестованных с начала 1930-х годов. Для ускорения процесса реабилитации были созданы многочисленные комиссии, которые непосредственно в лагерной зоне изучали дела политических заключённых и без всякого промедления их освобождали. Надо признать, что к середине 1960-х годов, после удаления с политического поля Хрущева, дальнейшая реабилитация невинных людей была свёрнута. Слишком страшной и неправдоподобной предстала статистика человеческих потерь, которые понесла страна в ходе построения социализма.

А тогда, особенно после XX съезда КПСС с разоблачением культа личности Сталина, люди словно стряхнули с себя непомерную тяжесть и почувствовали надежду, что теперь всё пойдёт как нельзя лучше. Съезд проходил с 14 по 25 февраля 1956 года в Москве. На нём присутствовали делегации коммунистических и рабочих партий из пятидесяти пяти стран.

Лев Андреевич Кобяков, сокурсник и друг Венедикта Ерофеева, в разговоре со мной вспоминал о том времени: «То, о чём говорилось в закрытом докладе Хрущева на съезде, среди народа получило широкое распространение<sup>[256]</sup>. У меня такое ощущение, что официальные лица этому способствовали. Мы принялись разоблачать стукачей на нашем факультете. Те как-то внешне скукожились, старались не попадаться нам на глаза. И ещё вспоминаю одну зримую примету тех взбаламученных дней. В наших факультетских сортирах вместо туалетной бумаги лежали экземпляры книги Сталина “Вопросы ленинизма”».

Такая ситуация существовала не больше года, а затем потихоньку стали восстанавливаться прежние порядки.

Надо признать, что некоторое время жизнь на филологическом факультете проходила как на качелях: то влево, то вправо.

Сокурсник Ерофеева Юрий Романеев вспоминает: «Это было время, когда парторг факультета, специалист по Белинскому и натуральной школе, Василий Иванович Кулешов, с одной стороны, призывал студентов своего семинара бросить всё, бежать в читалку и читать “Не хлебом единым” Дудинцева в “Новом мире”, а с другой, каялся в либерализме по отношению к курсовой газете “Во весь голос”. <...> В аудиторном корпусе университета состоялась встреча студентов и преподавателей с В. Д. Дудинцевым. Писатель привёл с собой инженера-изобретателя. Речь шла о том, как трудно изобретателю в наших условиях. Ведущий мероприятие преподаватель не смог направить выступления студентов в должное русло, хотя и обращался к высшему авторитету — цитатам из В. И. Ленина. Зубастые студенты побивали Ленина Лениным же»<sup>9</sup>.

Наш современник, выдающийся мыслитель Александр Пятигорский, рассуждая в диалоге с философом Игорем Смирновым о 1950-х годах в СССР, пришёл к умозаключениям, облегчающим глубже понять ситуацию, в которой оказались Венедикт Ерофеев и его сокурсники: «Для меня и для людей, меня окружающих, главным было то, что пропала проблема смерти. Пропал почти онтологический страх. Эпоха оттепели — она ведь чем на самом деле замечательна? Теперь нам никаких частей тела не режут и наконец-то мы можем искренне поговорить. Но ведь это безумно мало! Здесь не было никакой перспективы. Пятидесятые были годами “выдоха”, но все оставались патриотами, может быть, более чем когда бы то ни было. Поэтому новая эпоха оставалась прежней, правда

без ужасов прежнего. В этом отношении характерно, что эти годы не дали ничего талантливое. Идеалом была искренность. Искренность — не талант. Пафос: ну вот хоть сейчас можно не лгать. То, что я назвал псевдореализмом пятидесятых (Паустовский, Дудинцев — всего, я думаю, фигур двенадцать-пятнадцать). Крайне ограниченная реакция на то, что было, — при этом то, что было, целиком принималось. Принимался не только режим, принимался тот строй культуры, который внутри этого режима реализовывался. То есть никакой рефлексивной критики. Критика была по типу: «Ну слушайте, давайте по правде! И посмотрите, как хорошо это или как плохо то». Но главное в том, что хорошо — это, а не в том, что плохо — то. И это не о государстве и режиме, а об отношении к ним. Полная минус-рефлексия. Отношение к человеку в текстах тех лет практически редуцируется к его отношению с режимом»<sup>10</sup>.

Отрезвлением от антисталинской эйфории стали для студентов филологического факультета МГУ события в Венгрии, начавшиеся 23 октября 1956 года. В ночь на 24 октября, день рождения Венедикта Ерофеева, в Будапешт были введены около шести тысяч военнослужащих Советской армии, 200 танков, 120 БТР, 150 орудий. Что произошло в этот день в самом центре Москвы, напротив Кремля, рассказано в летописи жизни и творчества Венедикта Ерофеева, опубликованной в первом номере историко-краеведческого альманаха «Живая Арктика» за 2005 год: «Первый бунт в соцлагере. Такой подарок ко дню рождения. И на это событие нельзя было не отреагировать. Первокурсники филфака решили организовать свой протест. Они встали группой около входа в столовую и никого не пускали. И все как бы согласились — сегодня бойкот столовой. Но где это? Это в Москве, в МГУ! Но тут на

обед начали приходить китайские студенты. Они шли плотной стеной. Забастовщики начали молотить китайцев по головам сумками, книжками. Но китайцы, по-китайски настойчиво, шли, шли, и шли... и в конце концов дошли до раздачи. А в настенной газете "Вестник МГУ" выступила Наталья Горбаневская, очень активный тогда комсомольский лидер. И Горбаневская написала, что это ужасно, это отвратительно, что был организован бойкот столовой, что это, мол, гадость какая-то. Ей вторил и Никита Хрущев, который о событиях в МГУ сказал на одном из совещаний с работниками просвещения, что "некоторые тут, когда мы решаем проблемы социалистического лагеря, вместо того, чтобы хорошо учиться, устраивают вот такие вот, понимаете, непонятно что... выкрутасы, а сало, понимаете, русское едят..." и т. д. Возможно, эта эм-гэ-ушная забастовка была одним из самых первых политических переживаний у Венедикта и навсегда отучила его от активных политических действий. <...> И снова хочется вспомнить Наталью Горбаневскую, но уже через 12 лет — в 1968 году, когда бывшая убеждённая комсомолка вышла на Красную площадь защищать свободу чехов. А прививочку-то ей сделали филфаковцы 55 года»<sup>11</sup>.

В середине 1950-х годов учёные возвращались из мест заключения и ссылки к прерванной на много лет научной деятельности, иногда в те же самые институты. Парадокс заключался в том, что из одной кассы, случалось, получали зарплату люди, писавшие на своих коллег доносы, и жертвы этих доносов. Так было, например, в Институте мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР (НМЛ И), где состоял на службе Яков Эльсберг, известный стукач, «историческое лицо с мрачной репутацией». Так его назвал работающий с ним в конце 1950-х годов над трёхтомником «Теория

литературы» Дмитрий Урнов, литературовед и критик. Это был впечатляющий пример советской академической учтивости. И от мерзавца чуть-чуть отодвинуться, и в грязь его мордой не окунуть. Да и не стоит грубо обходиться с таким человеком — всё-таки историческая фигура!

Ох, как любят говорить умно и витиевато многие мои коллеги-литературоведы! Как тут опять не вспомнить Оскара Уайльда: «Люди, говорящие умно, подобны бьющим камни на дороге: они засыпают вас осколками и пылью»<sup>12</sup>.

Знать не хотел того маститый критик и литературовед, что тигру и трепетной лани трудно ужиться друг с другом. Особенно когда они помещены в одну клетку. По представлению Дмитрия Урнова, как я понял в результате многолетнего с ним общения в ИМЛИ, чувство свободы хранится у человека на доньшке души, то есть в некотором заточении и подальше от посторонних глаз.

Так думали тогда многие свободомыслящие и осторожные люди, читая стихотворение Фёдора Тютчева «Silentium». Они не принимали во внимание, что в таком герметичном состоянии свобода обязательно задохнётся. А ведь затхлой и заплесневелой свободы в природе не существует. Недаром происходят революции, во время которых мир людей на короткое время распаивается настезь. За этот свежий воздух, как свидетельствует история, приходится дорого платить.

Для объяснения подобной трактовки моими современниками смысла стихотворения поясню ситуацию в родном отечестве цитатой из неизданных «Записных книжек» Венедикта Ерофеева 1979—1980 годов: «Любопытные сведения из последней русской истории: в 1932 г. была объявлена “безбожная



пятилетка”, планировалось к 1936 г. закрыть последнюю церковь, а к 1937 г. — добиться того, чтобы имя Бога в нашей стране не произносилось»<sup>13</sup>.

Со своей стороны добавлю, что в январе 1959 года с трибуны внеочередного XXI съезда КПСС Н. С. Хрущев обещал показать в 1975 году по телевизору, за пять лет до наступления обещанного им коммунизма, последнего советского попа. С этого года по всей стране началось массовое закрытие церковных приходов и монастырей. Главная установка того времени: двух богов быть не может. Либо вы верите в Бога, либо в Партию. Место Бога для миллионов советских людей занял Генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза.

Надо признать, что при Леониде Ильиче Брежневе вакханалия закрытия церквей и приходов значительно сократила свои масштабы.

## **Глава седьмая** **ЧУЖАЯ ДУША – ПОТЁМКИ**

Прошло совсем немного времени, и вдруг во втором семестре Венедикт Ерофеев резко, до неузнаваемости изменился. Владимир Катаев описывает явную депрессию и ухудшение характера ещё совсем недавно ироничного, доброжелательного и примерного в учёбе первокурсника: «Съездив в зимние каникулы к себе домой, Тухастый вдруг превратился в мрачного затворника и целыми днями валялся на постели. Что-то писал, пряча тетрадь под подушку. К весне он уже выкуривал по пачке папирос в день и мог выпить зараз бутылку красного вина. На занятиях теперь почти не бывал. Читал много, но с программой не сверялся. Неизбежная в таких случаях развязка наступила, хотя отчислен из университета он был только через год, с середины второго курса. Шутки его становились всё мрачнее. Он объявил, что встретит Новый, 1957 год, сидя на унитазе»<sup>1</sup>. Что же произошло с Венедиктом Ерофеевым в его зимние каникулы, когда он приехал к родным в Кировск? Ведь что-то заставило его полностью изменить прежние планы, связанные с традиционным путём получения филологического образования. Но какую он вместо этого наметил себе альтернативу и ради чего пошёл на конфликт с преподавателями, относящимися к нему с нескрываемой симпатией?

Отчасти убедительным представляется мне объяснение Владимира Катаева: «Ерофеев, должно быть, имел свой личный счёт и к прошлому, и к настоящему. Тех перемен, о которых было заявлено сверху, ему было явно недостаточно. А на глубинном

уровне, там, где подлинная суть происходящего проходит проверку в Слове, он чуял и живучесть старой лжи, и зарождение новой фальши»<sup>2</sup>.

Сказанное Владимиром Катаевым соответствует действительному положению в стране в то время, но всё-таки такое толкование событий присуще человеку в уже зрелом возрасте, а не амбициозному юноше из провинции, пусть даже независимому в выборе духовных авторитетов и более или менее начитанному. Хотя всякое в жизни бывает.

Есть ещё другое объяснение. Оно принадлежит авторам первой биографии Венедикта Ерофеева Олегу Лекманову, Михаилу Свердлову и Илье Симановскому: «В семье Ерофеевых ответственность за резкую перемену в поведении сына и брата, естественно, возлагали на шумную столицу в целом и на разгульную студенческую жизнь в частности. “Мне кажется, что Москва на него как-то повлияла, — предполагает Тамара Гущина. — Окружение... Там и Маша Марецкая училась, он мне про неё рассказывал... Муравьёв — из профессорской семьи... и затянуло человека”. “Проблемы с алкоголем начались в Москве. Раньше Вена был пай-мальчик, — вторит сестре Нина Фролова. — Он не курил, не выпивал, пока не стал студентом МГУ. Там училось много детей известных людей”. Недостаточность этого простого объяснения бросается в глаза хотя бы потому, что реакция отторжения от университета у Ерофеева началась не в Москве, а в Кировске или, по крайней мере, сразу же после возвращения в Москву из Кировска. Объяснение поведения Ерофеева, которое хотим предложить мы, ещё проще, чем у Тамары Гущиной и Нины Фроловой, но, как кажется, и правдоподобнее: именно на зимних каникулах в Кировске Венедикт узнал, что его отец

смертельно болен и жить ему осталось совсем недолго»<sup>3</sup>.

С этим выводом учёных трудно не согласиться, но уязвимые места в их суждениях всё-таки существуют. Они правы, называя место, в котором Венедикт Ерофеев испытал неприязнь к Московскому университету, — Кировск. Однако к его отторжению от этого официального храма науки привела не столько неизлечимая болезнь Василия Васильевича Ерофеева, сколько осознание его сыном обстоятельств, приведших отца к преждевременному уходу из жизни 15 июня 1956 года, и причин их появления. Существовали и сугубо эмоциональные причины начала его к депрессии.

Венедикт Ерофеев испытал чувство вины перед отцом. Он отсутствовал на его похоронах — сдавал в первые две недели экзаменационную сессию за второй семестр. После завершения летней сессии их курс отправили в деревню Кибирёво в семи километрах к северу от Петушков на сельскохозяйственные работы. Была в те времена традиция посылать студентов и научных работников на городские овощные базы для разгрузки и сортировки даров природы и в деревни для посильной помощи колхозникам. Особенно это касалось использования горожан в уборке урожая. Венедикт Васильевич впервые проехал пригородным поездом с паровозом впереди до Петушков (электрички по этому маршруту ещё не ходили). И наконец настало время отъезда в Москву.

Юрий Романев вспоминает: «Какой-то паровозишко тянет вагоны, набитые студентами, на запад, к Москве. Веня занял место за столиком у окна и стал следить за километровыми столбами и громко объявлять, сколько километров осталось до Москвы. Очень хорошо помню его радостный, торжествующий крик: “До Москвы осталось восемь километров!..”<sup>4</sup>

Ну, не знак ли это был неотвратимой судьбы?! Случаются же в жизни странные и удивительные вещи, разгадать которые практически невозможно! Труднее всего понять психологию человека, его поступки. Ведь часто они ничем не мотивированы, импульсивны, эмоциональны и даже приносят ущерб тому, кто их совершает. Что же касается Венедикта Ерофеева, к таким людям при всей его эмоциональности он не относился. Судя по всему, мы имеем дело с психологически мотивированным шоком, приведшим его к отчуждению как от большинства своих сокурсников, так и к нежеланию продолжать грызть гранит науки. Рассмотрю несколько причин, ввергших Венедикта Ерофеева в такое состояние.

Я могу представить, что по возвращении в своё родное Заполярье Венедикт Ерофеев понял, что у него не будет того будущего, которого он себе желал бы. В сопоставлении с природой его родного края Москва с её светливой жизнью ощущалась как что-то искусственное и нелепое. И в то же время она была насыщена энергией, в ней творилась история. У него же на родине люди проживали отпущенные им годы большей частью по инерции. Так жили в маленьких городках и посёлках многие.

Я думаю, что именно тогда в 1957 году на зимних каникулах в Кировске Венедикт Ерофеев осознал, что в стране неограниченных человеческих и природных возможностей создаётся несправедная и постыдная жизнь. Что только один культ личности Сталина не объясняет бессмысленных массовых репрессий. Он уже твёрдо знал, что причина происшедшей с советским народом трагедии более глубокая и не случайная. Она исторически, социально и психологически обусловлена, и сводить её к преступной воле одного человека просто глупо.

Венедикт Ерофеев понял, что его “Альма-матер” не та любящая своё дитя мать-кормилица, которая отогреет его душу теплом любви, а разум наполнит знаниями, содействующими умножению в обществе всяческих богатств и добродетелей. Он, вернувшись в Москву, осознал, что в его случае эта мать-кормилица благосклонна лишь к тем людям, которые получают знания ради самих знаний или же руководствуются желанием занять “тёплое местечко” в том обществе, в котором выживают люди, не зная куда оно движется.

Для того чтобы разобраться во всех историко-социальных парадоксах, ему необходимо было пройтись по родной стране с котомкой за плечами, как поступали в старые времена калики перехожие или обычные богомольцы. Но то, что было возможно при цареватюшке и даже вызывало у людей уважение, называлось при развитии социализме злостным тунеядством и попадало под соответствующие статьи Уголовного кодекса. И никто тебя не смог бы защитить, никто не смог бы спрятать подальше от бдительного ока компетентных органов. Будь ты хоть трижды Максимом Горьким, всё равно не спасся бы! Приходилось думать своей головой и самому устраиваться в такой жизни.

Недаром в “Вальпургиевой ночи, или Шагах Командора” главный персонаж говорит: “Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится — так это запрет на скитальчество. И... неуважение к Слову. А во всём остальном...”»<sup>5</sup>.

Вот эти соображения, как я думаю, отчасти предопределили уход Венедикта Ерофеева из самого престижного вуза страны. К тому же в его жизни произошло ещё одно событие, которое повлияло на его решение. О нём я расскажу через несколько страниц.

Дорога, которую он для себя выберет, будет каменистой и с рытвинами, но для него останется маняще-привлекательной. Как он в душе предполагал, конец его писательской одиссеи окажется счастливым.

Известно: победителей не судят, зато пророков побивают камнями. Но разве поэма «Москва — Петушки», а также трагедия «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» относятся к пророческим произведениям? Нет, конечно же! Они принадлежат по содержанию к произведениям, предупреждающим о грядущей катастрофе, которую тогда ещё возможно было предотвратить. В советском кинематографе, например, к ним относится документально-публицистический фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя», вышедший на экраны в 1990 году. Есть, впрочем, одно различие. У Венедикта Ерофеева его поэма и трагедия не публицистические произведения, а религиозно-философские. По своему пафосу поэма «Москва — Петушки» ближе «Философическим письмам» Петра Яковлевича Чаадаева.

В поэме «Москва — Петушки» содержится великое множество здравых и полезных советов. Вот один из них: «Надо чтить, повторяю, потёмки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна — всё равно: смотри и чти, смотри и не плюй»<sup>6</sup>.

Существует ещё другое объяснение — что к уходу Венедикта Ерофеева из университета привёл его конфликт с факультетской военной кафедрой.

В одном из своих интервью Венедикт Васильевич рассказал свою версию этого события: «А первое, что я услышал, когда вошёл в этот храм науки имени Ломоносова, было: делай раз, делай два, напра... нале... и так далее. <...> Майор, который вёл наши военные занятия, сказал однажды: “Ерофеев! Почему вы так

стоите? Неужели нельзя стоять стройно, парам-пам-пам! Главное в человеке, — и он прохаживается перед строем наших филфаковцев, — главное в человеке выправка!» Ну, я ему и сказал, это, мол, вовсе не ваша фраза, это точная цитата из Геринга, конец которого, между прочим, известен...» Реакцию майора на эту реплику Венедикт Ерофеев описал художественно убедительно: «Товарищ майор ничего не ответил, но дал мне глазом понять, что мне недолго быть в МГУ имени Ломоносова. Но ничего не возразил — что на это возразишь»<sup>7</sup>.

Вот здесь я усомнюсь в правдивости предложенной Венедиктом Ерофеевым причины его отчисления из МГУ. Обращусь опять к воспоминаниям Юрия Романеева: «На первом курсе вёл нас полковник (подполковник) Клещинов, человек добрый, не лишённый чувства юмора. Топографией и баллистикой он даже увлёк нас»<sup>8</sup>.

Я думаю, что прообразом персонажа устного рассказа Венедикта Ерофеева мог стать другой полковник, по фамилии Левицкий, под жёсткое руководство которого студенты попали на втором курсе.

Владимир Муравьёв опровергает эту версию об отчислении своего друга из МГУ: «Что касается вылета Ерофеева из университета, то здесь мне приходится разрушить легенду о гонениях — его вышибли за постоянный отказ сдавать что-нибудь, посещать что-нибудь и так далее. Веничка самым насмешливым образом говорил, что, мол, его исключили. Время от времени ему импонировала роль страдальца. Его никто не исключал, с ним бились, бог знает как, хотели его оставить...»<sup>9</sup>

Вспоминает Пранас Яцкявичус (Моркус): «Новый, 1957 год встречали на Стромынке, но за пару минут до



курантов Спасской башни Ерофеев встал и заявил, что лучше зайдёт в уборную. Взял бутылочку и ушёл»<sup>10</sup>.

Невмоготу ему было слушать бой курантов и гимн Союза Советских Социалистических Республик. Вспоминались ранние побудки в детском доме, когда его, совсем невыспавшегося, грубо вытряхивал из сна гимн, громыхавший из включённой на полную мощность радиотарелки.

И ещё из тех же воспоминаний: «Летом 56-го, когда студенты разъехались и Черёмушки опустели, Ерофеев оставался один на всю комнату. Откуда-то притащил ультрамаринового цвета заводимый вручную проигрыватель. Имелась у него одна-единственная пластинка, и он без конца её ставил. Это было “Болеро” Равеля, нескончаемое кружение по спирали. Много лет спустя, в 80-м, в альманахе “Часть речи”, вышедшем в Нью-Йорке, я нашёл эссе Петра Вайля и Александра Гениса “Литературные мечтания. Очерк русской прозы с картинками”. В “Петушках” они усмотрели движение по кругу с возвращением на то же место или почти то же. Вот так отозвалось то летнее “Болеро”».

Венедикт Ерофеев приезжал в Кировск 7 июля 1956 года, через 22 дня после смерти отца. Остановливался у Анны Андреевны, своей матери, в ветхом бараке, где у них вместе с сыном Борисом были две малюсенькие комнатки. Барак находился между Стройдвором и Кукисвумчоррским рудником. Жили Анна Андреевна и её старшая дочь в разных местах. Тамара жила в Кировске. У неё была комната в коммуналке в доме на Хибиногорской улице неподалёку от реки Белой.

Тамара Васильевна Гущина пишет об этом времени в своих «Воспоминаниях»: «Если я приезжала в выходной день на “Стройдвор”, там иногда у нас случались импровизированные литературные вечера. И Вена, и Боря вели антологию русской поэзии и многие

стихи знали наизусть. Вена любил читать Маяковского и декламировал очень хорошо, особенно его знаменитое, — “Мне и рубля не накопили строчки”. Читал и Надсона “Христос скорбел” и многие другие неизвестные мне стихи»<sup>12</sup>.

После его отъезда в Москву письма от младшего брата приходиться перестали. Родные, естественно, забеспокоились. Он словно пропал и даже не заходил в гости, чтобы подкормиться, к своей хлебосольной тете Авдотье (Евдокии) Андреевне Карякиной. Она написала своей сестре, что уже несколько месяцев Вена к ней не заглядывал<sup>13</sup>.

Чтобы подкрепить мои рассуждения о причинах охлаждения Венедикта Ерофеева к учёбе конкретными фактами, обращусь к его письму, посланному после смерти отца в июле—августе 1956 года сокурснице Антонине Музыкантовой. Судя по всему, к этой девушке он был равнодушен и надеялся на ответное чувство:

«Здравствуй, Тоня.

Вчера ты обрадовала (!) меня своим крохотным письмом. Приятно-таки получать письма от просвещённых людей, а то, понимаешь ли, здесь дикость, варварство, невежество, зверские холода, апатитовая пыль, повальное пьянство и прочие неинтересные вещи. Приехал совсем недавно. Встретили вызывающе хорошо. Богомольной мамаше сразу же прочёл “Иуду” Надсона, а сестру, скромно наделённую умственными способностями, обозвал гением. И обе, довольные, успокоились. Да и ругать меня бесполезно. Вчера посетил кладбище и созерцал свежую могилу отца. Вчера же ходил через горы к брату Юрику в лагерь... Юрик по-прежнему весёлый, длинный, жизнерадостный. Кстати, читал конвоирам Надсона наизусть, и все были безобразно восхищены. Ещё раз убедился, что самый тупой конвоир

чувствительней, чем десять Музыкантовых. (Только, пожалуйста, не злись!) Немецким заниматься не хочется. Я даже не понимаю, зачем забивал чемодан твоими глупыми тетрадами. Каждый день ухожу в горы, жгу костры: завернувшись в плащ, читаю Эдгара По. Просвещаю трёхлетнего племянника, убеждаю его следовать по стопам своего остроумного папаши. А в университет мне совсем не хочется, тем более не хочется видеть надоевших членов нашей группы. Вот, кажется, и всё. Желаю успеха, процветания и благополучия, а твоей маме скорейшего выздоровления. Да, кстати! У нас в горах ожидается третье, на этот раз шестибалльное землетрясение. Все боятся, а я жду с нетерпением нового горного обвала на дома кировских мещан. Может быть, если тебе не лень, ты меня ещё “поистязашь”? Или заставишь хоть кого-нибудь из нашей группы написать мне?»<sup>14</sup>

В стиле этого письма чувствуется некоторая бравада молодого человека перед девушкой, которая ему нравится. Он детально и реалистично описывает ей своё короткое пребывание в родных местах. Авторы первой биографии Венедикта Ерофеева Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский думают иначе: «В этом пронизанном байроновской романтикой письме фантазии тоже едва ли не больше, чем правды. Например, вторичное пребывание брата Юрия в лагерном заключении Ерофеев придумал, видимо, чтобы сильнее поразить адресата»<sup>15</sup>.

В действительности, как установил Евгений Шталь, такое печальное событие всё-таки произошло в действительности, а не явилось плодом фантазии Венедикта Ерофеева. Его брат Юрий был арестован вторично, в связи с чем 29 марта 1956 года был уволен по статье 47д КЗоТ из отдела технического снабжения железнодорожной станции, где работал маляром. Эта

статья формулирует причину увольнения следующим образом: «...вследствие совершения нанявшимся уголовно наказуемого деяния, непосредственно связанного с его работой и установленного вступившим в силу приговором суда, а также в случае пребывания под стражей более двух месяцев». Под арестом Юрий Васильевич Ерофеев находился недолго, потому что уже 8 февраля 1957 года он был принят на Юкспорский рудник маляром-художником 5-го разряда<sup>16</sup>.

Роман Венедикта Ерофеева со своей однокурсницей Антониной Музыкантовой не сложился. А по каким причинам — гадать не стоит. И так всё ясно. По-видимому, звёзды не сошлись.

Со временем Антонина Григорьевна Музыкантова, по мужу Казьмина, ушла в журналистику. Работала главным редактором журнала «Театральная Москва», а затем в журнале «Досуг в Москве».

Вернусь к Лидии Ворошниной. С ней Венедикт Ерофеев учился в одном классе, но в разных школах Кировска начиная с 1948 и по 1950 год. В старших классах они сидели за одной партой. Времяпрепровождение подростка, описанное в книге «Записки психопата», не более чем вымысел молодого автора. Изданное недавно в полном виде, это первое произведение Венедикта Ерофеева уже не воспринимается пробой пера юноши, который от приятельских отношений с хорошо знакомой девушкой пытается перейти с ней на более серьёзные, но терпит фиаско. Сталкивается с явным сопротивлением с её стороны. Он теряет голову от уязвлённого самолюбия и в отместку создаёт гротескный образ разнузданной блудницы, которой Лидия Ворошнина в действительности не была. Разве что её можно упрекнуть в том, что 26 августа 1956 года в кировской школе № 1 на встрече десятиклассников, окончивших

школу за год до этого, уединившись ото всех с Венедиктом Ерофеевым в углу, она распивала с ним из горлышка водку «Московская». Это событие вызвало пересуды и быстро дошло до ушей его матери Анны Андреевны.

То же самое перевоплощение в «Записках психопата» выпало на долю другой добропорядочной девушки, к которой Венедикт Ерофеев был равнодушен, — Музыкантовой.

Этот приём Венедикт Ерофеев использует также в отношении других персонажей «Записок психопата», вводя родственников в состояние шока. Не пожалел он многих своих друзей и знакомых по Кировску и Москве. В них только одних имён жителей Кировска, как подсчитал Евгений Шталь, свыше семидесяти<sup>17</sup>. Теперь понятно, почему Владимир Муравьёв после смерти автора при подготовке этого произведения к печати безжалостно вымарывал из него пассажи, касающиеся прежде всего его самого. Можно представить, как Венедикт Васильевич трансформировал в духе снижения, оттачивая своё злоязычие, хрестоматийный образ близкого друга.

Тут нечему удивляться. Такие приёмы не новы в мировой классике даже давних времён, не то что нынешних. Наивно оправдывать Венедикта Ерофеева аргументами вроде следующих: он написал свою первую прозаическую вещь исключительно для самого себя и своих друзей, не собираясь её издавать. То же самое можно сказать и о поэме «Москва — Петушки». В своём полном виде «Записки психопата», которые по объёму текста превышают поэму, вовсе не производят впечатление любительского сочинения. Это не вымороченное, пустое по содержанию и скучное творение. Оно не сводится только к наваждению главного героя овладеть двумя молодыми и распутными

женщинами. Каждая из них распалает его и одновременно им пренебрегает, ускользая от назойливых объятий. От того, что эти потаскушки постоянно его «динамят», он приходит в ярость и обрушивает на читателя шквал оскорблений в их адрес. А чего ещё ждать от юноши в возрасте Венедикта Ерофеева, когда уровень тестостерона в крови превышает обычную норму?

Вспомним впечатление Виссариона Белинского в письме Боткину о встрече с Михаилом Лермонтовым во время его пребывания на гауптвахте после дуэли с Эрнестом де Барантом, сыном французского посланника: «Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит Онегина. Женщин ругает: одних за то, что дают; других за то, что не дают, пока для него женщина и давать — одно и то же. Мужчин он также презирает, но любит одних женщин и в жизни только их одних и видит. Взгляд чисто онегинский...»<sup>18</sup>

Ситуация житейская и часто повторяющаяся со стародавних времён. Что испытывал Михаил Лермонтов, не избежал через сто с лишним лет и Венедикт Ерофеев. И всё-таки женщины при всей их притягательности не были основным содержанием его тогдашней жизни. На первом месте тогда у него были пробудившиеся гражданские чувства. Казалось, что на какое-то время они чуть-чуть притупили основной инстинкт. Однако не до такой степени, чтобы из юного студента сделать монаха. Напротив, психологически он ещё сильнее нуждался в женщине, своей любовью к нему способной разделить с ним многочисленные беды его семьи, находившейся далеко от Москвы. Желание «звон свой спрятать в мягкое, женское» становилось нестерпимее с каждым месяцем. Также, вероятно, мучился Владимир Маяковский, возрастом чуть старше

Венедикта Ерофеева, — его строки из поэмы «Облако в штанах» я только что процитировал.

Волей сложившихся обстоятельств такая женщина в конце концов явилась перед Венедиктом Ерофеевым во плоти. Она была образованна, талантлива и красива. Ещё совсем молоденькой прошла через ссылку. Долгие отношения с ней представлялись невозможными. Во-первых, она была замужем, а во-вторых, старше его. Впрочем, на свой возраст она не выглядела из-за исходящей от неё тёплой и нежной ауры сохранившегося девичества.

Венедикт Ерофеев без памяти увлёкся ею. Ему было 17 лет. Незадолго перед своей смертью в беседе с писательницей Ириной Тосунян он не сдержался и признался, что сделало его «зрячим» среди «слепых»: «...не так рано я стал, как ты говоришь, “зрячим”. Только в десятом классе. Мне было уже 16 лет. А почему — понятия не имею. И ещё более “зрячим” стал после поступления в Московский университет. *Тут опрокидывающее действие оказала первая любовь* (курсив мой. — А. С.). Авторы всех статей обо мне упускают самое главное — то, о чём я сейчас говорю, я говорил уже на первом курсе. И это вовсе не пустяк»<sup>19</sup>. И ещё другое воспоминание об этой женщине прозвучало в беседе с Владимиром Ломазовым: «XX съезд и моя первая женщина совпали по времени, а время было незабываемое»<sup>20</sup>.

Эта женщина поддержала его первые опыты в литературе. Увидела и сказала ему, в чём его настоящее призвание. Пространство, в котором происходило общение с ней, стало его кельей. Его интуитивные и временами появляющиеся религиозные прозрения — постоянным чувством. Пусть в моём повествовании эта женщина останется безымянной. Слишком завистлив, лицемерен и злоязычен этот мир,

чтобы правильно понять и оценить, какое значительное событие произошло в жизни моего героя.

Пазл сложился. Оставалось только его растолковать. Контуры новой, будущей жизни Венедикта Ерофеева проступали нечётко. Но одно решение напрашивалось само собой: ради того, чтобы жизнь состоялась в соответствии с его дхармой, следовало сделать первый шаг — без всякого сожаления покинуть филологический факультет МГУ. Он ушёл бы намного раньше. Одно обстоятельство, однако, задерживало — отсутствие крыши над головой. А возвращаться обратно на Кольский полуостров не хотелось. Знал, что его мама Анна Андреевна расстроится: как же так, её сын — золотой медалист и вдруг оказался двоечником!

Ему следовало сжечь за собой все мосты. За неимением мостов он сжёг одну, самую тиражную в СССР книгу.

Юрий Романев, сокурсник Венедикта Ерофеева, вспоминает, как весной 1957 года Венедикт Ерофеев вместе с немцем Лёней из ГДР прямо в комнате их общежития, уже находящегося не в Черёмушках, а на Стромынке, устроили костёр из нескольких экземпляров одной книги. Жгли известную краткую биографию Сталина, издававшуюся на русском языке при жизни вождя миллионными тиражами. В данном случае аутодафе подвергалось то же самое сочинение на итальянском языке. Их товарищ из Монголии выражал громкое недовольство по поводу неодобрительных отзывов об этой книге своих товарищей — Венедикта и Лёни, что нисколько не помешало им завершить процедуру, пришедшую из Средних веков, по уничтожению богопротивных сочинений<sup>21</sup>.

Однако не подобные дерзкие поступки привели к отчислению Венедикта Ерофеева из МГУ. Уход из



лучшего высшего учебного заведения в СССР, повторяю, был прежде всего его выбором, которым он преодолел неустойчивость своего тогдашнего положения на факультете и неопределённость своего филологического будущего. Он тянул с уходом по одной причине — ещё не представлял, как сложатся его дальнейшие отношения с женщиной, о которой он постоянно думал. Он определённо знал, что ему делать дальше.

С этого поворотного «момента истины» начал резко меняться его характер, а вместе с ним у всей его жизни появился другой ритм. Подошло время осмыслить прожитое. Да настолько основательно и художественно убедительно, чтобы его чувства и мысли нашли отклик у других людей. Создавшийся кризис им был окончательно преодолен. Да и многотерпению факультетского начальства пришёл конец.

2 января 1957 года приказом проректора МГУ Ильи Саввича Галкина <sup>[257]</sup> Венедикт Ерофеев был отчислен из университета за академическую неуспеваемость и пропуски занятий без уважительных причин. Ему удаётся, однако, чуть больше месяца продержаться в общежитии на Стромынке. В конце концов его со скандалом оттуда выселили.

## **Глава восьмая** **ИДЁШЬ ВПЕРЁД — СТРАХ НЕ БЕРЁТ**

Я думаю, что в день изгнания в душе Венедикта Ерофеева звучали слова русского революционного гимна: «Отречёмся от старого мира, / Отряхнём его прах с наших ног!» Слова были старыми, а вот их смысл совершенно другой. Ведь тот новый мир, о котором пели революционеры и в котором Венедикт Ерофеев родился, был старше старого и уже оставался за его спиной. Разве что его прах он будет отряхивать со своих ног до самой смерти, а мы, ещё живущие, продолжаем делать то же самое по сегодняшней день.

Школярский энтузиазм Венедикта Ерофеева исчез, словно его никогда и не было. Теперь перед ним вместо вопроса «Что делать?» возникли два других, более сложных: «Куда податься?» и «На что жить?».

Александр Генис объясняет, почему именно Венедикту Ерофееву, а не кому-то другому, после 1991 года критики и читатели оказывают особые знаки внимания: «В советской литературе, увлечённо плутавшей в плоских реалистических схемах, Ерофеев был фигурой одинокой. Пренебрегая злобой дня, Веничка смотрит в корень: человек как место встречи всех планов бытия. Текст Ерофеева — всегда опыт напряжённого религиозного переживания. Всё его мироощущение наполнено апокалиптическим пафосом. На этих древних путях и обнаруживается новаторство Ерофеева. Оно в том, что он бесконечно архаичен: высокое и низкое у него как бы ещё не разделено, а нормы, среднего стиля нет вовсе. Поэтому все его герои безумцы. Их социальная убогость — отправная точка: отречение от мира как условие проникновения в суть

вещей. <...> Во вселенной Ерофеева не существует здравого смысла, логики, тут нет закона, порядка. Если смотреть на него снаружи, он остаётся непонятным. Только включившись в поэтику Ерофеева, только перейдя на его сюрреалистический язык, только став одним из персонажей, в конце концов — соавтором, читатель может ощутить идейную напряжённость философско-религиозного диалога, который ведут его герои. Вести его им всегда помогает водка»<sup>1</sup>.

Почему помогает именно водка, объясню русской пословицей: «Пьяному море по колёно», то есть водка — это средство, временно парализующее в человеке страх.

К выдающемуся индологу, философу и писателю Александру Пятигорскому я уже обращался и ещё не раз в этой книге обращусь. Страх как состояние сознания стал одной из тем его философского рассуждения. Рассуждения учёного имеют непосредственное отношение к образу мыслей Венедикта Ерофеева.

Это я отчётливо понял, прочитав в четвёртом томе собрания сочинений Александра Пятигорского его эссе «Страх из 2009 года». Вот что он писал, в частности, о социопсихологии страха: «1930-е годы моего детства знали четыре главные страха, на всю жизнь отпечатавшиеся в моей памяти: страх голода, страх ареста, следствия и лагерей (или в лучшем случае ссылки), страх чахотки и страх войны»<sup>2</sup>.

Все эти страхи также существовали в сознании Венедикта Ерофеева и, естественно, не появились из ничего, а были рождены монументальными и грандиозными социально-экономическими преобразованиями и политическими изменениями в СССР. Они затронули большие массы людей, относящиеся к разным слоям населения.

Коллективизация, раскулачивание, передвижение крестьян из деревни в крупные города, нарастающий накал борьбы с явными и мнимыми врагами внутри страны и опасность, исходящая от капиталистического окружения, — всё это требовало особых, совершенно новых подходов и решений. Наступало время, губительное для простых и заземлённых людей. В большинстве из них отсутствовало героическое начало. Представляете, сколько надо было проявить государству рабочих и крестьян упорства и насилия, чтобы принудить обывателя к героизму, необходимому для построения в СССР социализма! Людей непонятливых или пытающихся ускользнуть от осуществления этой великой задачи ломали через колено. Затем началась война с нацистской Германией, закончившаяся нашей победой. Немало сил и времени ушло на восстановление народного хозяйства. Эта беспокойная пора, казалось бы, закончилась в середине 1950-х годов.

«В 1950—1960-х годах страх войны был не только страхом “не той войны”, но и совсем уже “не тем страхом”»<sup>3</sup>, — пишет Александр Пятигорский. Появился новый страх перед атомно-термоядерной войной. Александр Пятигорский подчёркивал, что этот «страх в значительной степени перестаёт быть только индивидуальным состоянием сознания». Это произошло потому, что в годы холодной войны использовалось властями противоборствующих сторон большое взаимозадуривание (самозапугивание)<sup>4</sup>. Для того чтобы термоядерная бомба перестала восприниматься средним жителем планеты фантомом сознания, её необходимо было дефантомизировать и «убедить человека с улицы в том, что термоядерная бомба не просто уничтожит весь мир да и его, этого человека, в придачу, но что она уничтожит прежде всего его, а потом уже остальной мир»<sup>5</sup>. Александр Пятигорский не

отказал себе в удовольствии сделать ироническую ремарку к своему аналитическому разбору пропагандистских действий сверхдержав: «Нелёгкая задача для опытного лгуна со средневекового корабля дураков»<sup>6</sup>.

Венедикт Ерофеев записал в начале 1980 года в одном из своих блокнотов: «Я третий день шёл в пятый класс школы, когда русские испытали атомную бомбу. 3 сентября 1949 г.»<sup>7</sup>. На самом деле это испытание произошло 29 августа 1949 года. 3 сентября 1949 года была, вероятно, озвучена по радио и опубликована в прессе информация об этом событии.

Постепенно Венедикту Ерофееву удалось нейтрализовать в своём сознании многие страхи. Как мне представляется, атомная истерия на него не повлияла вовсе, а вот другие страхи исчезали не сами по себе, а при обращении писателя к собственному самосознанию. Именно так ему удалось почти полностью избавиться от влияния на него многолетней, с конца 1970-х годов, иступленной пропаганды страха «как темы и сюжета в литературе, кино и СМИ»<sup>8</sup>. В связи с этой активной пропагандой страха объяснимы, но с моральной точки зрения недопустимы его иронические высказывания о Зое Космодемьянской.

Освобождению от страха в какой-то мере способствовал успех его поэмы «Москва — Петушки» и трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». В этих произведениях, созданных в 1969 и 1985 годах, ему удалось «раскультурить» страх (термин Александра Пятигорского), как это сделано Томасом Манном в «Волшебной горе».

Александр Пятигорский цитирует русского философа Дмитрия Горина: «В нашей сегодняшней, лишённой идеологии, культуре остаются только два смысловых ресурса [не будем придирааться к

постмодернистским излишествами] — страх и освобождённое желание»<sup>9</sup>.

Одну только профессию при всех превратностях судьбы Венедикт Ерофеев себе не пожелал бы. Был предупреждён о грозящей ему опасности не кем-нибудь, а самим Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Великий писатель знал, что смертельно опасно для творца, и это знание вложил в размышления персонажа романа «Герой нашего времени» — Григория Александровича Печорина: «...гений, прикованный к чиновничьему столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением при сидячей жизни и скромном поведении умирает от апоплексического удара»<sup>10</sup>.

Вот почему Венедикт Ерофеев решил податьсь в разнорабочие и освоить профессию каменщика. Эта профессия по тем временам была востребованной и гарантировала иногородним койку в общежитии.

Через несколько месяцев после выселения Венедикта Ерофеева из общежития на Стромынке 24 октября 1957 года с ним встретился Юрий Романеев. Он решил поздравить его с днём рождения и, захватив бутылку водки, появился в новом обиталище бывшего сокурсника — рабочем общежитии в районе Красной Пресни, принадлежавшем Второму строительному управлению Ремстройтреста Краснопресненского района, где его друг работал с начала марта 1957 года: «Именинник оказался дома. В комнате было несколько кроватей с тумбочками при них. На Вениной тумбочке возвышалась стопка книг. Это было дореволюционное издание Фета. Кажется, в комнате были другие жильцы, но в общение с нами они не вступали. И сам я долго не засиделся, поздравил Веню посредством бутылки и вскоре ретировался на Стромынку»<sup>11</sup>.

Одним из первых заданий Венедикта Ерофеева было «очистить от земли подвал старинного московского дома на улице Лесной. Напарником к нему был направлен принятый на летнее время в Ремстройтрест студент Юрий Гудков. Они подружились. Юрий Гудков впоследствии не раз выручал Венедикта Ерофеева, когда он оказывался в почти безвыходных ситуациях. В Москве шла подготовка к VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Этот фестиваль возникает несколькими абзацами в повести «Записки психопата», написанной в форме дневника. Запись от 22 мая 1957 года, за два месяца до его начала. Пьяная старая женщина лежит почти бездыханная на тротуаре. Диалог происходит между молодым человеком и женщинами средних лет:

«— Да что ты её, сынок, поднимаешь-то как?! За голову... да сапогом! Руками бы уж, что ли?

— Возьмё-о-ошь такую руками! Поды-ымешь! Заблёванная вся.

— Как ведь скотина какая-нибудь... Да скотина-то чище... Люди-то хуже скотов стали!

— И не говори...

— Ляжет такая в сестиваль, так всё дело и испортит... Позор да и только!

— Ну уж в фестиваль — так долго чикаться не будут... Этого-то ещё ничего, — видишь, как он её удобно, — сапожком за живот и перевёртывает...

— И чего пьют, спрашивается?.. Чего пьют?

— Какой ччёрт там — “переживает”! Какого это ей хрена “переживать”? А если переживаешь, так переживай, как все культурные люди...

— Чем это она недовольна, интересно?! Надрызгалась — вот и всё»<sup>12</sup>.

С общежитий, студенческого и рабочего, началась писательская жизнь Венедикта Ерофеева. Пранас

Яцкявичус (Моркус) рассказывает, где и как проходило житьё-бытьё его товарища: «Все эти годы я припоминал его не иначе как в комнате общежитий, сначала в Черёмушках, потом — на Стромынке, куда салаг-первокурсников перевели, наконец, — в том самом, увековеченном антологией поэтов, Ремстройтресте, и всегда это была та же самая комната: четыре железные кровати вдоль стен с наивными цветочками на обоях, больничные тумбочки при каждой из них, стол посередине под свисшей с потолка лампочкой; да ещё обязательная для тех лет радиоточка; словом, явленный прообраз юношеской бездомности и транзитности, нечто вроде отсека в плацкартном вагоне. Ерофеева это устраивало. Его заставляли сидящим или полулежащим на кровати, всегда читающим либо записывающим в небольшие блокноты, никогда — за едой или чаем при инвентарном алюминиевом чайнике»<sup>13</sup>.

Посетивший также общежитие Ремстройтреста в переулке, неподалёку от Красной Пресни, Владимир Муравьёв подтверждает воспоминания Пранаса Яцкявичуса (Моркуса) об интенсивной внутренней работе своего друга. Важно то, что его не понесло непонятно куда течением жизни, как это обычно случается с другими людьми в сходной ситуации. Венедикту Ерофееву удалось использовать своё бедственное положение себе на пользу. Он ухитрился сделать более продуктивным свободное время для расширения своих знаний о человеке. Владимир Муравьёв обратил внимание на его особый интерес к людям из числа новоявленных моральных авторитетов. Тех, на кого идеологи большевизма опирались, от кого вели свою родословную борцов за народное дело: «Веня, например, собирался написать про шестидесятников (имеется в виду XIX век. — А. С.). Он



усмотрел, что дневники Чернышевского и дневники Добролюбова — ещё не оценённые источники. Вот уж в ком была душевная грязь, так в этой публике. Когда я приходил к Веничке в общежитие на Красной Пресне, у него валялся четырёхтомник Писарева, почему-то без третьего тома. Но Писарева он любил, потому что в нём был элемент юмора и игры, а не пропаганды. Что же касается Чернышевского с Добролюбовым, то это характерная для Ерофеева неожиданность в манере подхода к литературе — он заходил к ним с тыла. Ему очень нравился набоковский эксперимент: Чернышевский с тыла (имеется в виду роман Владимира Владимировича Набокова<sup>[258]</sup> «Дар». — А. С.). <...> Он хотел так же и к Добролюбову зайти. У него есть выписки из дневника Добролюбова — это такая картина, что ой-ой-ой-ой, по принципу “Моей маленькой ленинианы”. Но “Лениниана” — игра и не может претендовать на биографию. Для Добролюбова он тоже намечал общую тему: у Добролюбова были страшно сложные отношения с женщинами, причём сразу с несколькими, и все они были абсолютнейшими шлюхами. Я не понимаю, как всё это публиковалось, и, кстати, никто этого не замечал»<sup>14</sup>.

Эти воспоминания Владимира Муравьёва говорят о том, что Венедикт Ерофеев хотел бы вести жизнь не по-особенному, а по-людски — в любви и душевном согласии с женщиной, близкой ему по восприятию и пониманию жизни. Это обычное человеческое желание не противоречило библейской идее, которой он следовал в своём творчестве: «познайте истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:33). Вольница, бушевавшая в его душе, была вызвана нескончаемым одиночеством, а не чем-то иным. Известное изречение: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не

спасёшься» к Венедикту Ерофееву имеет очень отдалённое отношение.

Александру Зиновьеву повезло куда больше. Он встретил свою Ольгу Мироновну на много-много лет раньше своего ухода из этого мира. Он тоже родился и провёл детство вдалеке от шумных городов. Да и до встречи со своей суженой за воротник закладывал не меньше, чем Венедикт Васильевич. Встреча с ней поменяла всё в его жизни. Её результат — огромное, многотомное творческое наследие учёного, прозаика и поэта. Эту творческую личность России ещё только предстоит узнать и оценить, как это уже произошло во многих других странах.

Кармический код жизни, как объявил людям Сиддхартха Гаутама Будда, возможно, но не так-то просто изменить. У каждого человека своя судьба. Как у нас в России говорят, что написано на роду...

Владимир Муравьёв, вспоминая пребывание Венедикта Ерофеева в общежитии Ремстройтреста, свидетельствует: «...все простые рабочие на задних лапках перед ним танцевали, а главное — все они принялись писать стихи, читать, разговаривать о том, что им несвойственно. (Веничка эти стихи обрабатывал, а потом сделал совершенно потрясающую “Антологию стихов рабочего общежития”. Кое-что, конечно, сам написал). Я спрашивал у Венички, как удалось так на них повлиять, но в этом не было ничего намеренного. Он просто заразил совершенно неподдельным, настоящим и внутренним интересом к литературе. Он действительно был человеком литературы, слова. Рождённым словом, существующим со словесностью. При этом словесность рассматривалась как некая ипостась музыки. У него было обострённое ощущение мелодически-смысловой стороны слова, интерес к внутренней форме слова»<sup>15</sup>.

С оценкой «Антологии» Владимир Муравьёв сильно преувеличил. Повзрослев, сам автор, когда о ней заговорил Пранас Яцкявичус (Моркус), отреагировал на её появление одним словом: «Стыдно».

Разумеется, он понимал, что за столь недолгий период его пребывания в общежитии невозможно наскоком преодолеть духовно-интеллектуальный разрыв между ним и рабочими. Я думаю, что вскоре он осознал, что его просветительская деятельность не более чем постыдная манипуляция чувствами и надеждами неискущённых в литературе людей. Оправданием Венедикта Ерофеева служит, я полагаю, одно его наивное заблуждение. Он, вероятно, надеялся, что поэтическое творчество, пусть и целиком создаваемое с его помощью, приведёт к созданию в его товарищах духовного иммунитета по отношению ко лжи во всех её формах и проявлениях.

Игорь Авдеев, ставший через несколько лет ближайшим товарищем Венедикта Ерофеева, отмечает аккуратность и последовательность в его поступках. Идея составления поэтических антологий его не оставляла: «Веничка мог трудиться не менее педантично, чем Томас Манн (столь Венедиктом любимый и ему противопоставленный литературоведами как тип “серьёзного” писателя, “обложенного книгами на четырёх языках”), пусть коленки и служили ему письменным столом. По его записной книжке 1969— 1970 годов... <...> можно, кстати, видеть, как скитаясь, голодая, копая траншеи для телефонных кабелей, Венедикт ведёт образ жизни кабинетного учёного: скрупулёзно составляет антологию поэтов “серебряного века”. Он перетряхивает немыслимые сборники даже самых забытых поэтов, зарываясь в библиографические глубины Исторички. Работа над поэтической антологией не могла не просиять сквозь строки поэмы “Москва —

Петушки”, поделиться с ней вдохновением, каким Венедикт надышался от “серебряновековых” поэтов»<sup>16</sup>.

Вернусь к первой «Антологии» Венедикта Ерофеева. К её названию прилагался текст: «Составленная Венедиктом Ерофеевым с послесловием составителя на изящной белой бумаге.

1. От романтизма к реализму.

2. “Декадентство” (футуризм, имажинизм, символизм, “венедиктовщина”».

Пранас Яцкявичус (Моркус) вспоминает: «...через много лет спросил Венедикта Ерофеева, не он ли написал всю “Антологию” поэтов общежития Ремстройтреста, и получил утвердительный ответ»<sup>17</sup>.

Одно стихотворение из «Антологии» (подборка Виктора Никитича Глотова<sup>[259]</sup>) процитирую полностью. Оно даёт представление, каким тогда видел себя и хотел видеть Венедикт Ерофеев:

Я на площади — Прохожий,  
В парикмахерской — Клиент,  
Я вчера был Допризывник,  
Завтра — Абитуриент.

На работе я — Завскладом,  
В электричке — Пассажир,  
В отделенье — Нарушитель,  
У ребят — Кумир.

Я в газете — Главредактор,  
А в анкете — Братый в плен,  
в Магазине — Покупатель,  
В профсоюзе — Член!

Так и будет век от века,

И ночи, и дни!  
Где ж я стану — Человеком,  
Ты хоть объясни!<sup>18</sup>

В этом стихотворении явно видна стилизация под сочинение человека, не особенно грамотного, старающегося смешаться с толпой, но знающего себе цену, в своей среде авторитетного, однако относящегося к людям «второго сорта». Мало кто сейчас помнит, что в анкете для поступления в институт вроде Института международных отношений при МИДе СССР и подобных ему или на более или менее серьёзную работу была графа: «Были ли вы и ваши ближайшие родственники в плену или на временно оккупированной территории?», а тут автор признается, что «Братый в плен».

Другие стихотворения в сборнике, за исключением любовного содержания, как сказали бы в тогдашних компетентных органах, также с подковыркой и с чуждым душком. А иногда прямо-таки откровенно ретроградные, особенно про Боженьку!

Наиболее заметны в «Антологии поэтов общежития Ремстройтреста» два стихотворения за подписью Венедикта Ерофеева: «Гавр» из цикла «Путешествие вокруг Европы на пароходе “Победа” и «Подвиг Асхата Зиганшина». Первое стихотворение по ритмике напоминает поэты Игоря Северянина, творчеством которого в те годы был увлечён молодой писатель <sup>[260]</sup>. Он восторгался лексикой поэта, включающей в себя новообразованные слова, мелодично звучащие и понятные русскому человеку.

Источником вдохновения Игоря Северянина были Русский Север и его природа. Состояние духовной полноты и естественная свобода в обращении со словом

— вот что привело в восторг Венедикта Ерофеева и сделало тогда Игоря Северянина его кумиром.

Наверное, подобные ощущения испытал приехавший в Россию индийский профессор, общаясь с деревенскими жителями Вологодской области и слыша их своеобразный говор. Оказалось, что переводчик ему не нужен. Он объяснил, что понимает этих людей, поскольку они используют «искажённый санскрит».

Существует «арктическая гипотеза», согласно которой прародиной древних индоевропейцев считается северная часть России: Кольский полуостров, окрестности озера Таймыр, территория нынешней Карелии<sup>[261]</sup>.

Второе стихотворение Венедикта Ерофеева «Подвиг Асхата Зиганшина» написано в ёрническом духе в конце сентября 1960 года, когда он учился в Орехово-Зуевском педагогическом институте. Это была его дань повседневности. Сейчас мало кто помнит о команде четверых солдат-срочников, которых унесло на барже Т-36 от курильского острова Итуруп в открытый океан, в эпицентр мощного циклона. Это были Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов. 49 суток они без горячего, с небольшим запасом воды и почти без еды преодолели в дрейфе около полутора тысяч миль и были подобраны американским авианосцем. Это случилось в январе-феврале 1960 года. Четверо советских парней, как герои, были с триумфом встречены в Сан-Франциско. О них говорили и писали тогда по всему миру<sup>19</sup>.

11 ноября 1957 года Венедикта Ерофеева «увольняют из Ремстройтреста за систематическое отсутствие на рабочем месте»<sup>20</sup>. Напоследок начальство Ремстройтреста всё-таки сделало ему пакость: «настрочило на Ерофеева несколько доносов в местную милицию с требованием принять меры». Ему

было запрещено, это уже со стороны милицейского начальства, покидать общежитие и велено дожидаться рассмотрения его дела в местном райсуде. Пришлось Венедикту Ерофееву спасать честь начинающего автора, которого перевели в сословие хуже некуда — «в бомжи», и переходить на нелегальное положение.

С этого дня его, как утлую лодчонку без руля и ветрил, болтало во все стороны в волнах моря житейского. Что вскоре закончилось удачно для мужественной четвёрки, для Венедикта Ерофеева продолжалось значительно дольше. К тому же без малейшей надежды на хеппи-энд.

К счастью, в бегах он находился недолго. Ему удалось устроиться в пункт приёма стеклотары. Туда его взяли подсобным рабочим. Теперь у него было постоянное место для ночлега — дощатый вагончик.

С кем переживать неприятности, как говорит Михаил Михайлович Жванецкий, по мере их поступления? У кого находить защиту от всяких жизненных неурядиц? У своих близких, естественно! В случае с Венедиктом Ерофеевым — у сестёр. Со старшей сестрой Тamarой он виделся в июле—августе 1956 года. Тогда он часто забегал к ней на почту, где она работала, забирать адресованные ему письма «до востребования» от своих московских приятельниц-обожательниц.

Наконец-то он послал родным весточку, что с ним всё в порядке. Объявил, что перешёл с дневного на заочное обучение, оставшись на том же филологическом факультете МГУ. Новый его статус устроил всех. Венедикт не хотел расстраивать мать и, как тогда говорили, «мёл пургу», то есть врал во спасение своей репутации золотого медалиста. Лето 1958 года он провёл в Кировске среди родных, Анна Андреевна в это время гостила вместе с сестрой Евдокией (Авдотьей) в украинском городе Славянске у

дочери Нины, но не поладила с зятем и вскоре уехала. Осенью того же года Венедикт Ерофеев собрался в дорогу. Решил проведать сестру, познакомиться с её мужем и пожить в тепле. Ведь Славянск относительно Москвы находится на юге.



## **Глава девятая**

# **РОДНАЯ КРОВЬ — НЕ ВОДИЦА**

В одном из блокнотов Венедикта Ерофеева 1979—1980 годов присутствует достаточно самокритичная запись: «Если б меня спросили: как ты вообще относишься к жизни, я примерно ответил бы: нерадиво»<sup>1</sup>.

Ко всему сказанному добавлю мудрую мысль Блеза Паскаля<sup>[262]</sup>, уважаемого Венедиктом Васильевичем мыслителя: «Человек не ангел и не животное, и беда в том, что, стремясь походить на ангела, он уподобляется животному».

Статичной повседневности, в которой царила незыблемость чего бы то ни было, Венедикт Ерофеев сторонился. Его вынужденная любовь к перемене мест объясняется присущим ему утопическим желанием жить среди людей умных и лично ему симпатичных. И по мере возможности только с ними общаться. То и другое появилось как следствие его жизненных передряг. Пройдя сквозь многочисленные внутренние потрясения, он понял, что собой реально представляет жизнь среднестатистического советского гражданина. Сделанные им выводы были неутешительными. Его инакомыслию к тому же сопутствовал исчезающий годами страх оказаться призванным в армию или оказаться за решёткой.

Позднее побочным эффектом этого страха стала затяжная холостяцкая жизнь. Это при том, что формально он считался женатым человеком. В одной из неизданных «Записных книжек» он, объясняя своё супружеское непостоянство, скаламбурил: «Я

переменён, как ток, а она, как ток, постоянна»<sup>2</sup>. Это была, разумеется, шутка, камуфлирующая настоящую причину его двух неудачных браков.

Владимир Муравьёв вспоминал: «У самого Венички всегда был очень сильный религиозный потенциал. Вообще, религиозный потенциал заложен в душе каждого человека, он может найти применение и созидательное, и разрушительное. А чаще — и то и другое. У Венички было ощущение, что благополучная, обыденная жизнь — это подмена настоящей жизни, он разрушил её, и его разрушительство отчасти действительно имело религиозный оттенок. Как, кстати, и у декадентов, которые были ему близки. Но, несмотря на свой религиозный потенциал, Веничка совершенно не стремился жить по христианским законам. Его религиозность — в постоянном ощущении присутствия высшей силы, попытка ей соответствовать и отвержение законнического способа соответствия путём выполнения инструкций. В нём было ощущение совершения греха, было и раскаяние. Но и это становилось элементом действия. Например, “Москва — Петушки” — глубоко религиозная книга, но там он едет, во-первых, к любовнице, а во-вторых, к жене с ребёнком. И что, он раскаивается? Да ему это в голову не приходит»<sup>3</sup>.

В психологической характеристике близкого друга Владимир Муравьёв в общих чертах уловил главное. За исключением некоторых деталей он точно обрисовал особенности личности Ерофеева того времени, когда он был формально женат, но продолжал вести прежнюю холостяцкую жизнь, с каждым новым проходящим годом окончательно превращаясь в виртуального мужа.

Венедикта Ерофеева изматывало существование скучное и однообразное. Не хотел он тянуть лямку жизни женатика. Понимал, что ежедневная

матримониальная зависимость не для него. К тому же он входил в постоянный конфликт с теми людьми, кто судил, насколько удачно или впустую прошла жизнь человека по количеству оставленного им скарба (оно же добро). Для него же её смысл находился за пределами имущественных интересов. Его грусть-тоску взбадривала мысль француза Альбера Камю: «Если смысл жизни подавлен, то остаётся ещё жизнь».

Вот и решил он посмотреть, как живёт-поживает его замужняя сестрица Нина Васильевна с двумя его племянницами, одной из которых по имени Елена было пять лет, а другой, Марине, чуть больше года.

Славянск, куда ранним октябрьским утром 1958 года прибыл поездом Венедикт Ерофеев, город особенный. На том месте, где он возник, люди жили давнее давнего — ещё в IV тысячелетии до н. э., то есть в каменном веке. Город и его окрестности полюбился археологам. Чего только не обнаружили они в его древней земле. Курганные, сарматские и кочевнические погребения, катакомбный могильник салтово-маяцкой культуры, относящейся уже к железному веку. Но не эти останки далёкого прошлого были его главной достопримечательностью. Не они кормили город с его жителями. Солёные озёра — вот что дало ему жизнь и процветание. В середине XVII века на берегах реки Тор появилась крепость с тем же названием — для защиты от набегов татар на Русь. Тогда и поселение вокруг неё, со временем ставшее городом, стало называться так же — Тор. Этот город получил известность как центр добычи соли и торговли ею.

Край обживался с II века до н. э. по I век н. э. и особенно активно с X по XIII век. С XVI века его начали заселять беглые крестьяне. Вот и Венедикт Ерофеев был тоже беглым, иначе его не назовёшь. В Москве ни постоянного, ни временного жилья для него не нашлось. Да и в Кировске ему было делать нечего. Вот

он и решил перебраться какое-то время в Славянске у сестры, посмотреть, насколько хороша семейная жизнь, надеясь, что ему заодно подыщут какую-нибудь временную работу. Не в его правилах было сидеть на шее близких людей.

Венедикт Ерофеев попал в дружную и счастливую семью. Юрий Петрович Фролов, муж Нины Васильевны, как и она, окончил тот же Кировский горно-химический техникум по специальности «разведочное бурение». Был распределён в город Славянск, где недолго проработал буровым мастером. Вскоре был призван на воинскую службу. Нину Васильевну после получения диплома по специальности «геология и разведка полезных ископаемых» направили от треста «Союзгеохимразведка» в Дрогобычскую область, в село Роздол, что в двух часах езды на машине от города Львова. В этом селе группа из четырнадцати молодых геологов подсчитывала запасы самородной серы недавно открытого месторождения. Им предоставили жильё в домах местных жителей.

Время было тревожное. Нина Васильевна в беседе со мной не упустила из виду приезд местного руководства из Львова в сопровождении автоматчиков. Обстановка всё ещё оставалась в тех местах напряжённой. Но, как говорят, всякая молодость резвости полна. Было страшно и весело. Во время геологической съёмки они находили схроны, подземные ходы и сделанные для поступления воздуха отдушины.

Нина Васильевна вспоминает, как после окончания их работы на месторождении они, находясь уже во Львове и после небольшого застолья в ресторанчике проводив на поезд в Москву главного геолога, их начальника, шагали радостной гурьбой по центральным львовским улицам и распевали во всё горло старую студенческую песню «От зари до зари», которая начиналась со следующих слов:

От зари до зари,  
Лишь зажгут фонари,  
Все студенты толпой собираются.  
Они горькую пьют,  
Они песню поют  
И ещё кое-чем занимаются.

Не знаю, удалось ли мне несколькими штрихами описать самостоятельную жизнь Нины Васильевны вдали от родных мест?

Расскажу столь же коротко, как судьба младшей сестры Венедикта Ерофеева складывалась в дальнейшем. Нина Васильевна через несколько месяцев была направлена на новую работу в город Артёмовск Сталинской (ныне Донецкой) области. К этому времени у Юрия Петровича Фролова закончилась воинская служба по призыву, и он был направлен в Водинскую геологоразведочную экспедицию в Новосемейкино Куйбышевской (ныне Самарской) области. 23 сентября 1953 года в этом посёлке состоялось бракосочетание Юрия Петровича Фролова и Нины Васильевны Ерофеевой. Молодожёны не сразу переехали в город Славянск, где Юрий Петрович до службы в армии работал буровым мастером. Какое-то время они оставались в Артёмовске, где родилась их дочка Леночка. В 1958 году, уже в Славянске, родилась Марина, как её называют в семье — Мариша. Юрий Петрович в 1953 году поступил во Всесоюзный заочный политехнический институт. Тогда же он получил работу на самом крупном предприятии города — содовом комбинате. По окончании института в 1960 году Юрий Петрович Фролов уже его главный экономист. Нине

Васильевне работы по специальности в Славянске не нашлось. Ей пришлось устроиться библиотекарем в библиотеку того же комбината<sup>4</sup>.

По приезду в Славянск Венедикт Ерофеев огляделся окрест и понял, что это не Лазурный Берег, но место вполне симпатичное, чтобы прийти в себя и отогреться на солнышке.

Вот что писал об этом городе Антон Павлович Чехов в письме родным от 11 мая 1887 года: «Город — нечто вроде гоголевского Миргорода; есть парикмахерская и часовой мастер, стало быть, можно рассчитывать, что через 1000 [лет] будет и телефон. На стенах и заборах развешаны афиши зверинца, под заборами экскременты и репейник, на пыльных и зелёных улицах гуляют свинки, коровки и прочая домашняя тварь. Дома выглядывают приветливо и ласково, на манер благодушных бабушек; мостовые мягки, улицы широки, в воздухе пахнет сиренью и акацией; издали доносится пение соловья, кваканье лягушек, лай, гармоника, визг какой-то бабы...»<sup>5</sup>

Разумеется, за прошедшие годы город изменился. Через 11 лет после написания Чеховым письма был построен содовый завод Южно-Русского общества с привлечением немецкого и французского капитала. Город становился промышленным центром. В конце XIX и в XX веке в нём производили продукцию два чугунолитейных, один механический, 23 солеваренных, четыре кирпичных завода, три паровые мельницы, фарфоровое и макаронное производства, содовый и химический заводы, фабрика терракотовых плиток. В это же время были построены железная дорога Краматорская<sup>[263]</sup> — Лиман и грязелечебница.

К приезду Венедикта Ерофеева в Славянск численность его населения составляла 99 тысяч человек. Несмотря на то что город вовсе не напоминал

большую деревню, как весной 1887 года, когда его увидел Чехов, жизнь в нём беженца из Москвы по благоустройству и отношению к нему окружающих людей не шла ни в какое сравнение с его проживанием в дощатом вагончике, к окошку которого, как только чуть-чуть розовело небо, прилипала длинная очередь беспокойных и страдающих с похмелья людей. Ещё не совсем проснувшись, он слышал позвякивание пустых бутылок, междометия с обрывочной бранью, интеллигентные покашливания, громкую, как волчий вой, зевоту и кожей своей чувствовал, как в этих людях с каждой проходящей минутой вскипает ярость, в которой не было ни капли благородства.

В гостях у сестры Нины он почувствовал умиротворение. Кое-что от прежнего чеховского Славянска всё-таки осталось. Широкие улицы, благодушные бабушки, сирень и акации, соловьиные трели... Город был курортный. Его минеральная вода и грязелечебница были широко известны. Существовали, впрочем, кое-какие проблемы. Вследствие того, что соляное месторождение долго эксплуатировалось, в городе стала проседать почва. То там, то тут, особенно на окраинах, появились воронки.

Семья Фроловых жила в курортной зоне, где снимала небольшой домике двумя комнатами и верандой. Венедикт спал на веранде. В холодное время домик отапливали каменным углём, а оставшимся шлаком засыпали воронки.

Вокруг дома на девяти сотках росли фруктовые деревья, а между ними зеленели грядки с огурцами, помидорами, укропом и петрушкой. Тут же зрели дыни и арбузы. Яблоки сорта Ренет Симиренко давали обильный урожай — больше центнера. Часть собранных яблок почтой в посылках отправляли родным в Заполярье. Особенно много собирали абрикосов и слив. Вся небольшая территория была окружена изгородью

из винограда. Его было столько, что из него делали домашнее вино. Этого вина хватало надолго. Погода в мае стояла тёплая. Чувствовался юг.

Существовала, впрочем, одна проблема. Вода, которую они брали из колонки, была технической. Пить её, не вскипятив, не рекомендовалось. А во всём остальном жизнь в Славянске напоминала райскую.

Местные жители были людьми приветливыми, добродушными. Нина Васильевна вспоминает один случай. Из центра, от вокзала, в курортную зону проложили железнодорожную ветку. Однажды, возвращаясь с работы домой, Нине Васильевне не хватило полутора минут, чтобы успеть сесть в вагон поезда. По инерции она продолжала бежать в метрах пятидесяти от отходящего состава. Увидев её, машинист остановил поезд и, как только она села в вагон, продолжил его движение.

Как вспоминает Нина Васильевна, её брат курил одну папиросу за другой, как старый дед. Позднее она получила нагоняй от мамы, что её любимого сына устроили не лучшим образом — не внутри дома, а на веранде! Сам же Венедикт отдыхал душой и телом. Пятилетнюю племянницу Леночку обучал пению романсов и народных песен. Особенно он любил романс Александра Егоровича Варламова<sup>[264]</sup> «На заре ты меня не буди» и романс Петра Петровича Булахова<sup>[265]</sup> на слова Алексея Константиновича Толстого<sup>[266]</sup> «Колокольчики мои». Из народных песен чаще всего пел «Хуторок»: «За рекой, на горе лес зелёный стоит...»

Нина Васильевна вспоминает отношение брата к другой её доченьке, Марише: «Вообще поначалу Веня был типичным бродягой: отрицал родственные чувства. Даже когда жил у нас, говорил, что это оттого, что больше негде. <...> Когда Веня у нас жил, моя дочь Марина, ещё совсем маленькая, очень была привязана к



нему, и он к ней, мне казалось. Он тогда презирал всякие поцелуи, и меня поразило, что, когда Венька уезжал от нас, на вокзале он её поцеловал. Она заплакала, и он был очень растроган»<sup>6</sup>.

В Славянске Венедикт Ерофеев много читал. Благо библиотека, где работала сестра, была в его полном распоряжении. Не расставался он со своей привычкой делать выписки из прочитанных книг. Количество блокнотов и записных книжек, находившихся при нём, постоянно увеличивалось. У него появилась мысль составить антологию русской поэзии, отдавая предпочтение в выборе стихотворений не какой-либо литературной традиции, а исключительно полагаясь на свой вкус.

Венедикт Ерофеев по приезде в Славянск около двух месяцев приходил в себя. На первую работу в отдел снабжения Славянского ремзавода он поступил 18 декабря 1958 года. Проработав 30 дней, 17 января 1959 года он ушёл оттуда по собственному желанию. Почти на три месяца Венедикт Ерофеев погрузился в чтение книг. Юрий Петрович устроил своего шурина-книгочея 3 апреля 1959 года рабочим 3-го разряда глинистой станции в Славянский отряд, откуда он уволился 27 июля того же года в связи с уходом на учёбу.

Работа на глинистой станции была лучше не представить. Объясню вкратце, в чём она заключалась и кто его окружал. При бурении скважины обязательно требуются промывочные растворы. Бурение было направлено на соль, и для промывки скважин был необходим глинистый раствор. Вот этот раствор он и готовил. Единственный мужчина среди красивых и кокетливых молодых женщин. Как предполагает Нина Васильевна, он не столько работал, сколько балагурил и проказничал с этими местными красотками. Без

сомнения, проказы были невинными. Можно сказать, детскими шалостями.

Обследуя библиотеку, где работала его сестра, Венедикт Ерофеев однажды обнаружил на шкафу задвинутые под самый потолок тома сочинений Ленина. Оказалось, что это одно из первых изданий собрания сочинений Владимира Ильича Ленина под редакцией Л. Б. Каменева, Н. И. Бухарина, И. И. Скворцова-Степанова, В. В. Адоратского и М. А. Савельева. Предисловие к нему было написано Львом Борисовичем Каменевым. Благодаря этой находке Венедикт Ерофеев на протяжении многих лет разбирался, что по существу представляют собой большевизм и его вождь со своим семейным и партийным окружением. Именно в Славянске у него возник замысел «Ленинианы». К сожалению, она не переросла в «Большую лениниану», оставшись в творчестве писателя «Моей маленькой ленинианой».

Начинается это небольшое исследование лучше не придумать. Не с самого Владимира Ильича, а с тех двух женщин, которые были ему не безразличны: с его жены Надежды Крупской и «дорогого друга» Инессы Арманд. Две цитаты выбраны автором в качестве эпиграфа и подтверждают народную мудрость: «Женскому уму тесно в терему». Итак, «Надежда Крупская — Марии Ильиничне Ульяновой: “Всё же мне жалко, что я не мужчина, а то бы я в десять раз больше шлялась” (1899); Инесса Арманд (адресат не указан, зато год написания присутствует — 1907-й): “Меня хотели послать ещё на сто вёрст к северу в деревню Койду. Но, во-первых, там совсем нет политиков, а во-вторых, там, говорят, вся деревня заражена сифилисом, а мне это не очень улыбается”»<sup>7</sup>.

К «Моей маленькой лениниане» Венедикт Ерофеев предпослал ещё другой эпиграф, представленный

также цитатами. Один из них — это отрывок из романа Галины Серебряковой о Марксе, вышедшего в серии «ЖЗЛ», а другой — отрывок из письма Инессы Арманд Кларе Цеткин. В этих «перлах» нет ничего скабрёзного и эротического. В первом случае уже по цитируемой фразе видно, что роман Галины Серебряковой в мировую классику вряд ли войдёт: «Окружив его заботой, Женни терпеливо писала под диктовку Карла. А Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли»<sup>8</sup>. Жизнь Карла Маркса, по моему разумению, для писателя прозорливого и с воображением — лучше не представить. Понять не мыслью, а талантом, как такой замечательный и сверхинтеллектуальный человек своими идеями об обновлении мира принёс человечеству столько несчастий — вот тогда это будет сочинение, достойное уровня главного персонажа!

Что касается второго эпитафия, то здесь Венедикт Ерофеев снизил образ Инессы Арманд в письме Кларе Цеткин от января 1915 года до портрета свободной и знающей себе цену женщины, не доверяющей прачкам. Именно эти неумехи портили своей стиркой её жабо и кружевные воротнички, которые она теперь не только сама стирает, но и гладит. Чего совсем не умеет делать, как она предполагает, Клара Цеткин<sup>9</sup>.

Укрепив своё сочинение эпитафиями авторитетных женщин, близких Владимиру Ильичу, Венедикт Ерофеев непосредственно переходит к цитатам из писем и записок вождя мирового пролетариата дооктябрьского и послеоктябрьского периодов. Тематически они разделяются на четыре группы: связанные с бытовыми проблемами; с личными отношениями между Лениным и Крупской, а также с близкими друзьями, такими как Горький; с выискиванием врагов и развёртыванием репрессий вплоть до массового террора; с заботой о

здоровье сподвижников и объявлением тех из них, кто имеет отличную от него точку зрения, сумасшедшими.

Остаются неизданными около шести тысяч ленинских рукописей, писем, телеграмм. Вскоре после смерти Ленина они были закрыты для широкого ознакомления и издания решением Политбюро ЦК ВКП(б). Вот что говорит в документальном фильме «Неизвестный Ленин» Тамара Попова, племянница Юлия Осиповича Мартова<sup>[267]</sup>: «Когда я смотрела в архиве документы, касающиеся моей семьи, я всё время видела одно и то же. Все резолюции Ленина: “расстрелять”, “посадить”, “отправить в ссылку”. Ни разу я не видела: “отпустить”. Ничего этого не было. Сталин достойно продолжал только то, что начал Ленин»<sup>10</sup>.

Я приведу ещё одну цитату из фильма «Неизвестный Ленин». Она имеет прямое отношение к религиозному ренессансу, который происходит в России на наших глазах: «Впервые в мировой истории человека забальзамировали и выставили на всеобщее обозрение масс как божество для поклонения»<sup>11</sup>.

Венедикт Ерофеев пользовался легализированным источником.

Непосредственно от себя он добавил, сыронизировав. В текст его «Ленинианы» это не вошло, но в одной из его «Записных книжек» осталось: «О необходимости вина, т. е. от многого было б избавление, если бы, допустим, в апреле 17-го Ильич был бы таков, что не смог бы влезть на броневик»<sup>12</sup>.

Закончу разбор «Моей маленькой ленинианы» цитатой из статьи Германа Пятова, опубликованной 17 февраля 2020 года в «Московском комсомольце»: «Ложь и насилие были двумя главными инструментами коммунистов для подавления и закабаления народных масс. Лгать коммунисты-большевики начали ещё до

захвата власти в ходе октябрьского вооружённого переворота в 1917 году: лживая пропаганда как раз и помогла захватить им власть»<sup>13</sup>.

Незадолго перед отъездом из Славянска Венедикт Ерофеев составил для сестры Нины список писателей из разных стран, книги которых он посоветовал ей обязательно прочесть. Евгений Шталь пишет: «Список озаглавил “Непременно прочтите, Нинон”. Список большой: свыше сотни произведений, но в основном классика»<sup>[268]</sup>. Сделал он это не потому, что хотел щегольнуть своей эрудицией, а по другой причине. Вдруг появилось в нём желание учительствовать, сеять разумное, доброе, вечное. Выбор педагогического института в Орехово-Зуеве был случайным. Любил он, как вспоминал Владимир Муравьёв, двойные имена<sup>14</sup>.

Спустя несколько лет, вспоминает дочь Нины Васильевны Фроловой, в замужестве Елена Юрьевна Даутова, её дядя составил специально для неё другой список: «В мои школьные годы всегда трудно было с книгами, и русскую литературу преподавали не очень интересно, а уж о западной или другой литературе и речи быть не могло. Мне повезло гораздо больше моих сверстников, потому что Вена составил для меня огромный список знаменитых произведений русских, англичан, французов. Это была своего рода энциклопедия шедевров, которые нужно было прочитать, на его взгляд, обязательно. У него была блестящая память и отличный вкус. Список был составлен подробно, с указанием, в каком веке написано произведение»<sup>15</sup>.

## **Глава десятая**

# **ЛЮБОВЬ**

В Славянске, где Венедикт Ерофеев вёл очень деятельную интеллектуальную жизнь, он, как и матери, так и сестре сообщил, что перевёлся с очного филологического факультета МГУ на заочный. Ни у неё, ни у её мужа не возникло никаких подозрений — в свободное от работы время он усердно занимался немецким языком, отечественной историей и историей русской литературы.

Единственной альтернативой для Венедикта Ерофеева, по призванию гуманитария, после филологического факультета МГУ мог стать любой педагогический институт. И всё-таки его выбор такого института в провинциальном городке выглядит странным.

Мне сдаётся, что поступать на филологический факультет Орехово-Зуевского педагогического института (ОЗПИ) его надоумил кто-то из новых московских знакомых, у кого сын или дочь уже учились в этом учебном заведении. Я предполагаю, что этим человеком мог быть Николай Хрисанфович Еселёв<sup>[269]</sup>, журналист и литературовед, позднее написавший для серии «ЖЗЛ» книгу о Вячеславе Яковлевиче Шишкове<sup>[270]</sup>. К моменту поступления Ерофеева в новый вуз дочь Еселёва Валентина уже год как училась в ОЗПИ. Николай Хрисанфович в то время работал в издательстве «Московский рабочий» и, вероятно, знал Ирину Игнатьевну Муравьёву, мать Владимира Муравьёва. Она опекала друга своего сына, находя в нём задатки будущего писателя.

Город Орехово-Зуево возник в 1917 году в результате объединения трёх сёл: Зуево, Орехово и Никольское. Во всех этих сёлах шла деятельная жизнь. В Зуеве уже с XIX века существовали шёлкоткацкие фабрики. В Орехове находились бумагопрядильная и ткацкая фабрики. В Никольском — фабрика Товарищества мануфактур. Все они принадлежали купеческой семье Морозовых. Орехово-Зуево, находящееся в 95 километрах от центра Москвы, долгое время оставалось крупнейшим центром текстильной промышленности. Близость города к столице очень устраивала Венедикта Ерофеева. Не терялась прежде всего связь с друзьями по университету. Все вступительные экзамены он сдал на «отлично» и 25 августа 1959 года приказом № 366 был зачислен студентом первого курса очной формы обучения на филологический факультет Орехово-Зуевского педагогического института. С июля 1959-го по октябрь 1969 года он жил в общежитии ОЗПИ на улице Застройной в комнате десять<sup>1</sup>.

В комнате общежития их было пятеро. Все, кроме Венедикта Ерофеева, — с разных курсов химико-биологического факультета. Это Олег Красовский, Лев Сапачев, Владислав Оболенский, Сергей Тищенко. В его дневниковых записях появляются также другие фамилии и имена: Валерий Бармичев, Иван Глухов, Константин Осокин, Тимофеев, Александр Гуревич, Алик Моралин, а также фамилии (некоторые без имён) девушек: Буякина, Н. Давыдова, Дина Денисенко, Т. Денисова, Валентина Еселёва, А. Захарова, Лидия Жарова, В. Ломакина, Маралина, Галина Пантелеева, Майя Синиченкова.

Олег Красовский по прозвищу Московский Комсомолец [\[271\]](#) считался у сокурсниц неотразимым мужчиной, но с появлением Венедикта Ерофеева его

слава первого парня на деревне померкла, и он ушёл в тень. Однако это обстоятельство не помешало ему сдружиться с новым товарищем. Об этом периоде жизни Венедикта Ерофеева остались воспоминания его современников. Минуло чуть более шестидесяти лет, как он покинул здание общежития. Разыскать свидетелей его проживания в нём довольно сложно. Многих обитателей уже нет на этом свете. Некоторые ушли раньше моего героя, некоторые позже. У одних жизнь сложилась благополучно, у других не так, как им хотелось бы. Капризной судьбой управлять сложно, если вообще возможно. Те немногие свидетельства, которые чудом сохранились, дают надежду восстановить жизнь Венедикта Ерофеева того периода хотя бы в общих чертах.

По воспоминаниям Валентины Николаевны Еселёвой<sup>[272]</sup>, многолетнего заботливого друга Венедикта Ерофеева, «П-образный дом общежития, ещё дореволюционной постройки, служил когда-то пристанищем для орехово-зуевских ткачей». Она точно описала архитектурные формы этого дореволюционной застройки здания: «Построенный в виде каре дом имел два этажа и два отдельных входа, справа — для преподавательского состава и слева для студентов. Комнаты прекрасной половины располагались на втором этаже здания. По лестнице, идущей на второй этаж, вы сразу попадали в небольшой угловой вестибюль, где у стены располагались два кожаных дивана и висела тусклая лампочка. Рядом по коридору был холл — нечто вроде “красного уголка”, здесь стояли радиола, телевизор и стол для пинг-понга. Здесь всегда было людно»<sup>2</sup>.

Появление в провинциальном педагогическом институте статного, обладающего светскими манерами, ироничного и эрудированного молодого человека не



прошло для девушек незамеченным. Они окружили его своей заботой и восхищались его талантами.

Чтобы понять, насколько восторженным было восприятие Венедикта Ерофеева студентами педагогического института, проживающими в общежитии, обращусь снова к впечатлениям Валентины Еселёвой: «С первых же дней появления Ерофеева в общежитии его окружала целая свита институтских девушек “всех курсов и возрастов”. Мимо кожаного дивана, на котором по вечерам восседал Венедикт, прогуливается и обменивается с ним короткими репликами почти вся женская половина общежития. Здесь и грациозная как пантера и вся из себя Галя Пантелеева, и хорошенькая математичка Дина Денисенко, и добрые биофаковские тётки: Ломакина, Коргина и Буянкина, ни разу не отказавшие Венедикту в ссуде денег даже на самые сомнительные цели. Некоторые девушки просто брали над Беном шефство. Соловьёва и Давыдова, например, подряжались по очереди стирать и гладить Венедикту рубашки, и делали это так естественно и незаметно, что никому и в голову не приходило заподозрить их в какой-то особенной корысти. А Дина Денисенко, после очередного крутого мальчишника, просто подносила Ерофееву рюмку-другую в открытое окно его комнаты. Венедикт любил про себя говорить: “Я тот камень, под который сама течёт вода”. Но притяжение этой воды создавал сам Ерофеев. Вот он достаёт где-то Ницше, и все просят у него “Заратустру”, хотя бы на часочек. То он пускает по комнатам “Мистерии” Гамсуна. На его диване разгораются жаркие споры о “путях Заратустры” и о судьбе “белокурой бестии”, о православии и католицизме. В период особенно ожесточённой борьбы Никиты Сергеевича с церковниками будущих филологов учили критиковать Библию, не читая её. А тут был живой обмен мнениями.

Тем более что в “проповедях” Ерофеева все эти темы не казались такими уж запрещёнными, и круг его друзей постоянно расширялся»<sup>3</sup>.

Лидия Жарова добавляет детали к портрету Венедикта Ерофеева периода его очередного студенчества в Орехово-Зуеве: «Мне довелось общаться с Веничкой недолго, но, пожалуй, это одно из ярких впечатлений памяти и души, хотя некоторые даты чуть стёрлись за давностью лет. Он появился в нижних комнатах нашего старенького общежития на Застройной в долгополом тёмном пальто, белых носках и, за неимением приличествующих ботинок, в галошах. Зачислен был в нашу группу на наш родной филфак. Его появление произвело некий фурор, о нём говорили все. Во внешности его было что-то от мятущегося Блока (в его запойный период), от бунтующего Маяковского, от немногословного иронического нигилиста Базарова и бог весть ещё от кого. Весь он был какой-то нездешний — высок ростом, прекрасен ликом, изящен и даже, чёрт возьми, по-свойски респектабелен в своей более чем поношенной одежде, этакий “люмпен-интеллигент”. Как-то в Петербургском драматическом театре он очень и очень напомнил мне Олега Басилашвили в роли Барона (“На дне”). В Веничке были шарм, ум, благородство, очевидное внутреннее наполнение, обаяние молчания, в нём была порода, наконец. Это виделось невооружённым глазом. Никто из наших ребят не мог таким неподражаемым жестом поднести сигарету к лицу — удлинённая кисть руки, длинные пальцы придавали особое очарование его скупой жестикуляции. Никто не был так смел во взаимоотношениях с окружающей нас действительностью»<sup>4</sup>.

С большим удовольствием Венедикт Ерофеев взял на себя роль капельмейстера девичьего хоровода,

образовавшегося вокруг него. Не потому, что он был тщеславен, самонадеян и неумерен в своих чувствах, а по причине до банальности обыкновенной. Он не собирался соблазнять очарованных им девушек. Его вечерние прогулки с ними при луне по аллеям парка и беседы с поцелуйчиками на диване в небольшом угловом вестибюле были невинны. Он не внушал им, что секс — это дорога к любви и духовности. Это сделал другой человек, старше его на восемь лет — индийский религиозный и духовный лидер Чандра Мохан Джайн<sup>[273]</sup>, он же Бхагван Шри Раджниш («тот благословенный, который бог»). Позднее он называл себя Ошо (Растворенный в океане). К тому же надо иметь в виду, что нравы в СССР были тогда пуританскими. До сексуальной революции в его родной стране было ещё очень далеко. В то время она только начиналась в США, набирая силу и размах в американских студенческих городках — кампусах. Тогда у нас мало кто из молодых мужчин и женщин обогащал свою личную жизнь разнообразием любовниц и любовников.

Причина изображать из себя мачо была проста. Венедикт Ерофеев собирался вызвать в понравившейся ему девушке острую ревность, полагая, что это сильное чувство пробудит к нему интерес. Единственной девушкой, которая с первого взгляда запала ему в душу, была Юлия Рунова, на два года моложе его. Она училась на химико-биологическом факультете. Её образ оставался с ним вплоть до его смерти. Это был редкий случай, когда умереть было легче, чем разлюбить.

В «Записных книжках» Венедикта Ерофеева отмечены день 1959 года и место их встречи: «4 дек. — первое столк[новение]. В 20-й [аудитории]»<sup>5</sup>. В тот день он впервые обратил внимание на неё, а она на него. Флиртом с другими студентками он постоянно её

поддразнивал и по своей наивности считал такое поведение посылаемым ей знаком на серьёзные отношения. Может быть, на какую-то другую девушку эта тактика и произвела бы впечатление, но только не на Юлию Рунову с её крепким характером и с трезвым взглядом на жизнь.

Юлия Рунова вспоминает, что первая встреча, когда они только взглянули друг на друга, произошла на полтора месяца раньше: «Та осень 1959 года была необычайно тёплой для октября. Я училась на третьем курсе ОЗПИ. Здание института находилось на другом конце города, и студенты, живущие в общежитии, каждый день преодолевали 40-минутный путь до учебного корпуса и обратно. Рядом с шоссейной дорогой, идущей к мосту через речку Клязьму, пробегает, закутанная в кустарник, узенькая тропинка. По ней обычно никто и не ходит — ну разве что такие придурки, как мы с Ерофеевым. В тот вечер я шла вприпрыжку, по дороге собирая то ли засохшие цветы, то ли опавшие листья. Неожиданно свет померк, и передо мной выросла необъятная фигура человека. Как вкопанная останавливаюсь, и первое, что я вижу, — серые спортивные тапочки, надетые на босу ногу. Медленно поднимаю голову в поисках лица... и никак не могу его увидеть. Не знаю, почему я засмеялась. А он сделал шаг в сторону и пропустил меня дальше...»<sup>6</sup>

Как я только что отметил, 4 декабря 1959 года состоялось их непосредственное знакомство и продолжилось вечером в комнате № 22, где проживала Юлия Рунова. Он был приглашён к ней кем-то из общих знакомых. Их первая встреча продлилась за полночь и сопровождалась долгим разговором. Впоследствии они отмечали этот день как важное событие их жизни.

Венедикт Ерофеев после знакомства с Юлией Руновой шёл по её следу, как охотничья собака. А

точнее сказать, фиксировал как тайный соглядатай каждое её передвижение в пространстве. Как говорят в спецслужбах, взял её в «разработку», установив наружное наблюдение. Ему было важно знать, с кем она встречается и чем занимается:

«5 дек. — толки. Вижу. Потупила глаза. Прохожу мимо с подсвистом;

7 дек. — вижу: у комендантши меняет бельё. Исподтишка смотрит. (Засекла, значит, его непритворную к ней симпатию. — А. С.);

8 дек. — в какой-то белой штучке с хохлацким вышитым воротником. С Сапачёвым. (Надо полагать, Венедикт Ерофеев решил, что Юлия Рунова наконец-то поняла, что она ему не безразлична, и тут же принарядилась. — А. С.);

9 дек. — вижу. Промелькнула в 10-ю комн[ату];

10 дек. — сталкивались по пути из буфета. В той же малороссийской кофте;

11 дек. — Р[унова] в составе студкомиссий;

12 дек. — у нас с Аболенским сидит два часа. С какими-то глупыми салфетками;

13 дек. — вижу, прогуливаясь с пьяной А. Захаровой;

14 дек. — обзираю с подоконника, в составе комиссии;

15 дек. — в глупом спортивном костюме. Вероятно, на каток. Вечером с Красовским проявляем её портрет;

16 дек. — не вижу;

17 дек. — вижу, прогуливаясь с Коргиным по 2-му этажу;

18 дек. — не вижу;

19 дек. — Р[унова] с Тимофеевой у нас в комнате. Пьяно с ней дебатирую;

20 дек. — с дивана 2-го этажа созерцаю её хождения;

21 дек. — вижу её с А. Захаровой, студобход. Подклеила Евангелие;

22 дек. — вызывает Л. Сапачёва;

23 дек. — вижу дважды. В пальто, с Красовским. И столк[новение] на лестнице;

24 дек. — не вижу;

25 дек. — с Красовским на лыжах едут за ёлкой, я отказываюсь. Встречаю их по возвращении. В 22-ю. Неужели забыли? Вечером обзираю её внизу, сидя с Окуневой;

26 дек. — Серж и Лев у них в комнате. Встречи. Послание к Синичен[ко]. Р[унова]: “А мне записок нет?”;

27 дек. — обзираю Р[унову] и К<sup>о</sup>, сидя в вестибюле 2-го этажа. Подходит Р[унова] и просит убрать от них постылого Коргина. Отказываюсь. Встаю и иду к Ок[уневой];

28 дек. — встретившись на лестнице, не здороваемся;

29 дек. — с Тимофеевой вторгаемся в нашу комнату в поисках Сапачёва;

30 дек. — по сообщению Аболен[ского]. Была у нас в комнате около часу, куда я слушал музыку у Захаровой;

31 дек. — Новый год. Маралина, Окунева etc.»<sup>7</sup>.

Лидия Дмитриевна Любчикова<sup>[274]</sup>, жена Вадима Тихонова, которому Венедикт Ерофеев посвятил поэму «Москва — Петушки» с трогательным признанием — «моему любимому первенцу», рассказала о том времени его несбывшихся надежд: «В пединституте он был “первый парень на селе”, в него там влюблялись все поголовно, мне потом перечисляли девиц, которые прямо-таки драму переживали. И Бен этот свой статус ценил. В юности он был очень добродушен и деликатен, никогда он никого резко не отталкивал. И у него, по моему, были романы, но не знаю, насколько они его

глубоко трогали. По рассказам, он любил Юлию, и чуть ли это не осталось болезнью на всю жизнь. Юлия у них была “комсомольская богиня”. Она была, кажется, секретарь комсомольской организации, девица с волевым характером, ездила на мотоцикле, стреляла и так далее»<sup>8</sup>.

В январе 1960 года ситуация в сфере интимных чувств обострилась. Флирт Венедикта Ерофеева с девицами привёл к естественному результату. Одна из них, В. Окунева, «доходит до плотских безумств»<sup>9</sup>. Это он отмечает в записи от 8 января. А 25 января того же года другая запись на ту же тему: «Душераздир[ающие] сцены с В. Ок[унево]й]. Ночью на диване — справа Р[унова] и Буянкина»<sup>10</sup>.

Вспоминает Валентина Еселёва: «За некоторыми из опекавших Ерофеева девушек, такими как Окунева или Моралина, ходила по институту весёлая и нелюбезная слава. Отличницы на факультете, они были ещё и завсегдатаями местного ресторана “Заря”, и Венедикт не раз участвовал в их кутежах. Однажды на вопрос Юлии Руновой: “Что его может связывать с такими вот девицами?” — Венедикт, несколько не смутившись, ответил, что “он просто попустительствует их распущенности”. А мне он как-то сказал: «“Я просто наблюдатель. Я разрешаю всему проходить через меня, и плохому и хорошему, и стараюсь не применять в жизни никаких нравственных принципов. Я просто наблюдатель”»<sup>11</sup>.

Вот вам, скажет кто-то из читателей, наконец-то раскрылся в своём цинизме Венедикт Ерофеев! Не припрятал куда подальше своё возжелание. Оправдывал своим безразличием всякие гнусности. А ведь этот читатель окажется не прав. Студентка и комсомолка Валентина Еселёва не поняла, о чём ей говорил Венедикт Ерофеев, и спустя много лет искадила

содержание услышанного от него. Он ничего неожиданного и нового ей не сказал, а всего лишь ответил на её поругание Окуновой и Моралиной изречением Иисуса Христа из Его Нагорной проповеди: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте и прощены будете» (Лк. 6:37). В обществе, в котором постоянно поддерживался высокий градус нетерпимости к христианским идеалам и торжествовал научный атеизм, могла ли комсомолка Валентина Еселёва думать по-другому? Вряд ли. Венедикт Ерофеев не был безразличен к людям. Наблюдая за ними, он их изучал, а не осуждал, зная, что сам не без греха. Валентина Еселёва относилась к людям добросердечным и отзывчивым. Думаю, в жизни Венедикта Ерофеева было всего лишь три таких женщины, кроме матери и сестёр, кто на протяжении тридцати лет прощали ему многое, — его первая жена Валентина Зимакова, Валентина Еселёва и Юлия Рунова.

Итак, Венедикт Ерофеев «запал» на девятнадцатилетнюю студентку, комсомолку, спортсменку и просто красавицу Юлию Рунову. Отношения между ними с самого начала развивались непросто, о чём свидетельствует его дневник. К тому же одно событие местного значения их сильно усложнило. Юлию Рунову избрали председателем студсовета общежития. Как отмечает Валерий Берлин в «Летописи жизни и творчества Венедикта Ерофеева», «в её обязанности входило наблюдение за поддержанием порядка в студенческих комнатах»<sup>12</sup>. Приведу ещё два события из жизни Венедикта Ерофеева и Юлии Руновой, отмеченные Валерием Берлиным, после которых отношения между ними оказались почти на грани разрыва. Случай первый: «1959, 19 декабря — Рунова, Захарова и Тимофеева



делают плановый обход общежития. В комнате Ерофеева Рунова передаёт ему ветхое Евангелие, которое она немного подклеила. На вопрос Руновой, зачем он давал Евангелие её подруге Майе Синиченковой, Венедикт отвечает: “Для укрепления её целомудрия”. Случай второй: Рунова и Тимофеева в комнате у Ерофеева. Венедикт слегка пьян. Он пытается объяснить девушкам значение для людей Нового Завета. Рунова со всей комсомольской одержимостью на стороне атеистов. Тимофеева колеблется, она спрашивает у Венедикта; верует ли он сам в Бога? Ерофеев отвечает довольно витиевато. Он говорит, что принял три обета: обет невежества, обет безбрачия и обет нищеты». «Но, слава Богу, — добавляет он с улыбкой, — все обеты тем и хороши, что всегда нарушаются»<sup>13</sup>.

Эти две встречи с Юлией Руновой его разозлили. Её записку, полученную на следующий день (зайти к ней в комнату), он оставил без внимания. Некоторое время они не общались. На его предложение, посланное также запиской, съездить на зимние каникулы к нему на родину, в Хибин, она также не ответила<sup>14</sup>.

Только после его возвращения из Хибин 24 февраля 1960 года их отношения восстановились, но не сразу. Запись из его дневника от 2 марта 1960 года: «Весь вечер соседство. “Кто кого пересидит”. Она на левом диване, я на правом. Иногда взглядываю, иногда взглядывает. В час ночи ухожу первым». 9 марта того же года другая запись: «Красовский сообщает. Р[унова] украла мою фотокарточку»<sup>15</sup>. Временное примирение произошло 25 марта 1960 года на дне рождения Юлии Руновой. Ей исполнилось 20 лет. Венедикт Ерофеев отметил тот день в своём дневнике: «В третий раз посещаю 22-ю комнату. День рождения. Смотрит на меня ежеминутно и полуиспуганно»<sup>16</sup>. Он продолжал

своё наблюдение за Юлией Руновой. Как и она за ним, иногда используя женскую хитрость. Вдруг исчезает неизвестно куда. Тревожная майская запись в дневнике Ерофеева : «13—18 [мая] — Р. не вижу 6 дней». И следом обеспокоенность её поведением в записях от 26 и 27 мая: «Странное письмо от Р[уновой] и “Зачёт” по старосл[авянскому]. Вижу Р[унову] — она срывается с места и удирает»<sup>17</sup>.

Местом постоянного наблюдения Венедикт Ерофеев выбрал находящийся за углом своей комнаты глухой тупик с горой сломанной мебели. Его привлекло в этом тупике окно, через которое обозревался двор перед входом в здание общежития. Иногда он наблюдал часами за тем, что происходит на улице. На подоконнике у него лежали тетрадь и авторучка, а ещё пепельница и пачка папирос. Чтобы сидеть, он приспособил вытащенный из мебельного хлама колченогий стул. Венедикт Ерофеев фиксировал на бумаге проходящую перед ним жизнь, в чём уже убедился читатель, ознакомившись с приведёнными выше записями. Студенты знали об этой его привычке и, подходя к общежитию, поворачивали головы в сторону окна, чтобы убедиться, на месте он или нет. Но ещё существовала, помимо необходимого ему уединения, более серьёзная польза от такого непритязательного «писательского кабинета». Долгое наблюдение одной и той же «картинкой» подстрекало его к неожиданным размышлениям, как сейчас сказали бы, к медитации. Иногда его взгляд соскальзывал с фигурок людей, с запомненного до мелочей двора перед домом общежития и стремительно устремлялся вверх. Так появился из-под его пера 18 апреля 1960 года философский этюд под названием «У моего окна», а по версии Юлии Руновой «У моего стекла». Вот его начало: «Я очень редко гляжу на небо, я не люблю небо. Если

уж я на него взглянул ненароком, так это верный признак того, что меня обдала очередная волна ипохондрии. Ну, вот как сегодня, например: в моём славном тупике погашен свет, и, обозревая из темноты все небесные сферы поочерёдно, я предаюсь “метафизическим размышлениям”. Если хотите — я прослеживаю эволюцию звука “у” в древневерхненемецком наречии. И, так как нравственность моя до скотства безупречна, я избегаю глядеть в сторону затемнённого палисадника; с наступлением весны я рискую быть свидетелем икрометания и хамства»<sup>18</sup>.

Приведу ещё один отрывок, его пробу пера. По стилю эссе напоминает повесть. И на этот раз Венедикт Ерофеев выбрал тему до крайности заземлённую и взял ту же манеру письма, как в своём первом произведении «Записки психопата». Для изображения лица из мира порока он использовал куртуазно-эротическую стилистику:

«Массаж лица, видимо, не пошёл ей на пользу. Сплошное олицетворение распятой красоты, она рассеянно брела в направлении моего тупика — и, так как учтивое лунное сияние позволило мне рассмотреть её сверху донизу, я опознал в ней ту, которая, судя по слухам, пользуется в этом городе популярностью рискованной и скандальной.

Российский лексикон изобилует терминами, обозначающими особ подобного рода, но я не решаюсь употребить ни один из них. Во всяком случае мне известно, что под пурпурным балдахинном её опочивальни выпалось, без ущерба для здоровья, всё прогрессивное человечество, что в отношениях к каждому из них она придерживалась принципа “От каждого по его способности, каждому по его потребности”, что вследствие этого — у неё

размоченная и восприимчивая душа, легко поддающаяся деформации сколько-нибудь настойчивой, и что вследствие того же самого она выходит в весенние ночи извлекать квинтэссенцию.  
<...>

Отверзлись парадные врата — и общежитие ОЗПИ изрыгнуло из себя отрока, которому суждено было стать новой — и центрфигурой моего лирического повествования. Вот тут-то и начинается трагедия»<sup>19</sup>.

Вот откуда, оказывается, берёт начало поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»! За девять лет до её написания в его жизни произойдут многие и многие события. Почти все молодые люди, с кем он общался в ОЗПИ, станут прообразами её персонажей, как и Гуревич — главный герой его трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». У Венедикта Ерофеева вошло в привычку при создании художественного образа брать за основу конкретного человека, начиная с самого себя, и с помощью своей фантазии трансформировать его до неузнаваемости. Как правило, из нормальных и законопослушных граждан получались их антиподы — персонажи, прямо скажу, малопривлекательные. Это было бы ещё ничего, если бы он не оставлял за ними настоящих имён и фамилий живых людей. Венедикт Ерофеев поступал таким образом не из-за сведения каких-то личных счетов, а исключительно повинувшись своему настроению или какой-то завладевшей им идее. Ему было так легче писать. Как говорят, искусство требует жертв. Эта «методология» впервые была опробована им в его повести «Записки психопата».

Ещё до первой сессии руководство ОЗПИ, поражённое знаниями и способностями Венедикта Ерофеева, назначило ему стипендию. Но очень быстро из-за непосещения занятий она была снята. Исключение

он делал только для лекций по зарубежной литературе. Их читал Аркадий Андреевич Савицкий. Как вспоминает Лидия Жарова, «считалось признаком дурного тона не ходить на Савицкого»<sup>20</sup>. Она ещё вспоминала, как по приглашению Венедикта Ерофеева небольшой группой (трое юношей и две девушки) они отправились на ночную службу в храм, а затем на кладбище: «Это был поступок — посещение церковных служб тогда не поощрялось. Венька рассказывал о сути христианства, о его исторических корнях, и то, о чём он говорил, поражало нас своей новизной и неадекватностью господствующих тогда взглядов»<sup>21</sup>.

Тогда же он начал писать, как свидетельствует Лидия Жарова, то ли пьесу, то ли повесть «Тушинский вор, или Второе воскресенье». Венедикт Ерофеев любил «литературные посиделки» с долгими разговорами о прочитанных книгах, чтением стихов и распеванием романсов под гитару. Благодаря ему студенты узнали поэзию запрещённого тогда Осипа Мандельштама. Ну и как тут не обойтись без выпивки! Что-что, а вот это в общежитии делать строго запрещалось. Для желающих немного взбодрить себя алкоголем, как известно, преград не существует. Вскоре была снята для этих встреч, как вспоминает Лидия Жарова, комната у бабушки, жившей неподалёку от института<sup>22</sup>. Венедикт Ерофеев привлекал однокашников своей учёностью. Тогда ещё не великой, но уже достаточно обширной.

Немало нервов потрепал Венедикт Ерофеев со товарищами институтскому начальству. Наглядно продемонстрировал ему, на что способен со своими друзьями в творческом порыве. Даже по тем слегка либеральным временам редакторская деятельность Венедикта Ерофеева и Валерия Бармичева по выпуску стенгазеты в институте наделала немало шума. После подготовленного ими второго выпуска они были от

редакторства отстранены. Вот что написал по этому поводу Андрей Архипов: «Когда приблизились октябрьские праздники, декан призвал Ерофеева и Бармичева и попросил сделать что-нибудь праздничное, разнообразное. И они сделали. В газете было помещено два стихотворения, одно: “Врывайся, октябрьский ветер, / В посадки хлопка-сырца...” и другое: “Врывайся, октябрьский ветер, / В посадки льна-долгунца”...»<sup>23</sup>

Выживал Ерофеев с трудом. Разгружал на товарной станции вагоны вместе с другими студентами. Хлеб в столовых в те годы был бесплатным. Ешь его до отвала, никто не остановит. Особенно голодных студентов. А заплатить за стакан чаю деньги всегда находились. Вспоминаю до сих пор свои путешествия в начале 1960-х с друзьями по старинным русским городам. Как тогда мои соотечественники были воодушевлены и расположены друг к другу!

Серьёзные неприятности, которые закончились для Венедикта Ерофеева его отчислением из ОЗПИ, произошли в октябре 1960 года. Он сознательно, собственными усилиями создал ситуацию, когда для институтского руководства не оставалось другого выхода, как только издать приказ № 415: «...за академическую задолженность и систематическое нарушение трудовой дисциплины» Ерофеев исключается из состава студентов ОЗПИ.

Расскажу, что произошло около 11 часов вечера в 10-й комнате общежития, где проживал Ерофеев. Юлия Рунова заранее предупредила его о том, что по жалобе коменданта общежития Демидова к ним с проверкой придёт комиссия, состоящая из парторга института Камкова, проректора по учебной части Назарьева и её, как председателя студсовета общежития. Она просила Ерофеева не устраивать перед ними концерта. Но впечатливший «проверяльщиков» спектакль с

мизансценами всё-таки состоялся. Ребята подготовились заранее, но по ходу дела, разумеется, импровизировали. Перейду к достаточно полному и красочному описанию устроенного действия, которое принадлежит Валерию Берлину. Представляю, какую огромную работу ему пришлось проделать, чтобы восстановить в мельчайших деталях по рассказам очевидцев всё происшедшее в 10-й комнате:

«Необычная картина представилась вошедшим. Из глубины синего папиросного дыма доносились приглушённые звуки полузапрещенного тогда джаза. Державший ручку приёмника Алик Моралин, увидев “начальников”, тотчас же прибавляет звук. Взгляды комиссии обратились к правой стене комнаты: поверх плакатов о светлом будущем здесь висело несколько обрамленных полотенцами икон. А перед ними, стоя на коленях, несколько человек осеняли себя крестным знаменем. Мелькнула вспышка фотоаппарата — кто-то из присутствующих запечатлел эту картину на плёнку. А рядом, на постели, в каких-то неестественных позах лежали ещё двое. Это были Костя Осокин и Ваня Глухов. Расплываясь в улыбке, один спрашивал другого: “А дети у нас будут, как ты думаешь?” — “На всё воля Божья”, — следовал незамедлительный ответ... Тем временем звуки джаза сменились последними известиями с “Голоса Америки” о событиях на Ближнем Востоке, и сидящие за столом дружно чокнулись стаканами.

Первой не выдерживает Рунова:

— Ребята, немедленно прекратите это безобразие.

Тему продолжил и комендант:

— Я ведь вам говорил, товарищ Назарьев, пока вот этого, вона, Ерофеева отсюда не уберёте с его пропагандами и церковными взглядами, всё это будет и дальше. Они скоро и общежитие подожгут, вона дымища какая.

Парторг, потупившись, вдруг смотрит на свои часы:  
— Простите, товарищи, а какой теперь час?

И тут Оболенский, всегда сгорбленный и вечно всего опасавшийся Оболенский, который вечно бубнил Ерофееву: “Нет, Бен, с тобой пропадёшь, Бен. С тобой одни неприятности, Бен”, — и от которого не то чтобы бранного, — грубого слова никто никогда не слышал, вдруг распрямляется и бросает прямо в лицо парторгу:

— Так вот же часы перед твоим е...лом!

Комиссия спешно ретируется. А через некоторое время в 10-й снова появляется Рунова:

— Ребята, пожалуйста, я прошу вас, оставьте нас с Ерофеевым наедине.

Все в недоумении: “Вот ещё, будет она теперь их учить, что делать”. Но Венедикт повелительным жестом просит всех удалиться.

Юлия рыдает на груди Ерофеева. Она ведь предупредила Венедикта о готовящейся проверке, просила хотя бы один вечер вести себя прилично, и как же он подготовился? А теперь его дружков вместе с ним уже точно выселят из общежития.

Ерофеев явно смущён, он не ожидал такого бурного проявления чувств. “Но что случилось, то уже случилось”, — утешает он Юлию»<sup>24</sup>.

Венедикт Ерофеев навсегда запомнил, с каким невыносимым и страдающим взглядом его любимая смотрела на него. И этот взгляд для него значил больше, чем все её бессмысленные хлопоты за него у ректора ОЗПИ А. А. Фарина. Ему порядком надоели и сам этот институт, и его обслуга вроде коменданта общежития Демидова.

Новый, 1961 год Венедикт Ерофеев и Юлия Рунова встречали вместе в подмосковной Кубинке, в доме родителей её подруги Валентины Курахтановой. Именно в тот год он сделал выписку из «Новой Элоизы»



Жан Жака Руссо<sup>[275]</sup>: «И в сладостном единстве наших душ только их восторг привёл бы нас к самозабвению»<sup>25</sup>.

Известно, что браки заключаются на небесах. По многим причинам, о которых я подробно расскажу позднее, взбалмошные Мойры, богини судьбы у древних греков, решили не соединять двух влюблённых. Но почему Венедикт Ерофеев в течение тридцати лет всеми силами пытался связать себя узами Гименея именно с Юлией Руновой? То, что я понял, выше здравого смысла и, несмотря на это, — единственное объяснение случившегося. Юлия Рунова внешне и характером походила на ту женщину, которую он впервые полюбил и которая вдруг умерла, как только он оказался в Орехово-Зуевском педагогическом институте. И вдруг Венедикт Ерофеев неожиданно увидел её воскресшей и молодой в Юлии Руновой. Это было до неправдоподобия непостижимо. С этим можно было бы смириться. Хуже было другое: как любое наваждение, оно крепко держало его, не отпуская из своих объятий, пока он не умер.

Лидия Жарова даёт точный и объективный, как мне представляется, психологический портрет Венедикта Ерофеева. Прочитав её короткие воспоминания, я подумал, «Есть женщины в русских селеньях!»: «Бесспорно, Ерофеев был циничен. Иногда очень даже неучтив. Но парадоксально чист и благороден душой. От ребят я знала (без деталей) историю его жизни, и меня поражало, как он среди всякого сброда на горьковском (горьком?) дне сохранил золотую оплётку души своей, не допустив её оскудения. Я сказала “сброда”. Это слово, пожалуй, оскорбило бы его, ибо жил он другими ценностями: социальный статус, одежда, манеры, образование для него значили мало. Человек был интересен ему своим наполнением.

Заболоцкий называл красоту души человеческой “огнём”, мерцающим в сосуде...<...> В Веничке огонь не мерцал — он полыхал, гудел, вырывался наружу в самых неожиданных всплесках, пугая обывателя, повергая его в ошеломление, в шок. “Я — другой”, — кричало всё его существо. Непонимание — эта стена глухая, непреодолимая, наводящая безысходную тоску, стояла на его пути. А он не умел её обойти, он напивался для иллюзий. И жизнь, эта практическая расчётливая кумушка, исторгала его как чужеродный элемент. И вся его показная “стервозность”, цинизм его были ему защитой для того, чтобы прикрыть наготу души своей, ибо был он горд. С какой-то обречённой бесприютностью он называл себя в шутку вечно странствующим монахом “венедиктинцем”»<sup>26</sup>.

Венедикт Ерофеев после ухода из ОЗПИ последовал совету Платона: «Человек — игрушка Бога. Надо жить, играя». Вот что имел в виду древнегреческий философ: без игры жизнь безотраднa и скучна, но, играя, надо знать, что Бога не переиграешь. Чего уж тут без толку суетиться! В одном из блокнотов 1966 года Венедикта Ерофеева, на что обратили внимание авторы книги «Венедикт Ерофеев: Посторонний», о том же самом сказано другими словами: «Великолепное “всё равно”. Оно у людей моего пошиба почти постоянно (и поэтому смешна озабоченность всяким вздором). А у них это — только в самые высокие минуты, т. е. в минуты крайней скорби, под влиянием крупного потрясения, особенной утраты. Это можно было бы развить»<sup>27</sup>.

## **Глава одиннадцатая** **ОЧЕРЕДНАЯ ПЕРЕБЕЖКА** **ИЗ ОДНОГО УГЛА В ДРУГОЙ**

Можно пересчитать по пальцам те значительные события, которые произошли в личной жизни Венедикта Ерофеева до 10 ноября 1974 года, когда он наконец-то обрёл постоянную крышу над головой в центре Москвы, в проезде Художественного театра, в доме 5, в квартире 36. Это учёба в четырёх высших учебных заведениях, женитьба, рождение сына, написание и издание в Израиле поэмы «Москва — Петушки». Кажется, всё. А вот людей, с которыми он близко сталкивался в течение того же времени, было столько, что не каждый запомнит. Невозможно пересчитать, сколько он их встретил и в этих учебных заведениях, и в своих постоянных перемещениях по Советскому Союзу.

Какая неведомая сила вышвыривала Венедикта Ерофеева из одного места учёбы и перемещала в другое? По убеждению Владимира Муравьёва, его друг менял институты из-за отсутствия жилья и непреодолимого желания набраться побольше знаний: «Он вообще мечтал весь век учиться, быть школьником или сидеть с книжечкой в библиотеке. Потом ему часто снилось, что он опаздывает на экзамен. Веничка говорил: “Я придумал ещё раз поступать. Как ты думаешь, мне немецкий нужно подгонять?” Я отвечал: “Ну, давай проверим. — Нет, вполне пристойный уровень”. И он поступал куда-то ещё с полным блеском»<sup>1</sup>.

На то, что сказал Владимир Муравьёв, не возразишь. Но это одна и не самая существенная из причин

искусной маневренности охочего до знаний школяра. Да и с какой стати было ему набираться ума-разума в нескольких учебных заведениях, а не остановиться на одном-единственном пединституте и в конечном счёте успешно его окончить? Тем не менее он постоянно думал о том, какой бы новой и неожиданной вольностью, не обязательно идеологической, спровоцировать руководство последующего учебного заведения на своё отчисление. Создаётся впечатление, что изгнания из трёх педагогических институтов доставляли ему истинную радость и укрепляли веру в своё предназначение свыше — описать современную жизнь, но так, чтобы небеса содрогнулись!

Тот же Владимир Муравьёв докопался до основных причин подобного непостоянства своего друга в выборе формы и места для получения образования и, соответственно, проживания. Он изложил их, пусть и в пространной форме, в предисловии к собранию сочинений Венедикта Ерофеева в двух томах:

«...До самого недавнего времени в советской России обозначились примерно три жизненные позиции — можно было либо целиком вписаться в социалистический образ жизни, либо обустроиться в нём на особых правах — то ли начальником, то ли блатным, то ли отечественным иностранцем: словом, отыскать, что называется, “экологическую нишу”, либо же стать “третьим лишним”, вроде известного тунеядца Иосифа Бродского. Правда, Бродский, как и его лирический герой, рано возымел социальный статус поэта и таким образом явочным порядком перешёл во вторую из означенных категорий. <...> Задним числом и особенно из “прекрасного далёка” иной раз казалось, как тому же Бродскому из Америки, будто в СССР так-таки можно было пребывать в стороне от советской действительности. На самом деле этого было никак нельзя; но притворяться, будто живёшь в “некотором

царстве”, и вести себя так, словно “ничего этого нет”, — пробовали, и порой небезуспешно.

Такая страусиная игра в прятки с реальностью делала человека нравственно неменяемым, а вдобавок означала ещё и подмену жизни, утрату её исторического смысла и места собеседника на пиру у “всеблагих”, как выражался в молодости Фёдор Тютчев. Он утверждал, что “счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые”, потому что “счастливец” приглашён и призван, он — “высоких зрелищ зритель”. Стихотворение, как известно, о Цицероне, который был отнюдь не просто “зрителем зрелищ”, а их активным участником и даже организатором.

Вот и для Ерофеева дело было не в том, чтобы укрыться или спастись от советской действительности; он снова и снова разыгрывал своё пришествие в неё — перефразируя Маяковского, “бросался в коммунизм с небес поэзии”, нырял в повседневность, стараясь как можно полнее оценить её обыденно-ритуализованное безобразия и распознать в нём мистериальное действо, сделавшись его соучастником и в то же время наблюдателем»<sup>2</sup>.

Художник-концептуалист Илья Иосифович Кабаков в документальном фильме «Кабаковы: в будущее возьмут не всех» (2015) о своём ощущении советской жизни высказался беспощаднее, чем Владимир Муравьёв: «Ощущение непромытого мира, который бесполезно промывать и чистить, присутствовало и в моей мастерской. Мусор — это субстанция советской жизни»; «Образ мусора — знак советской жизни, как и коммунальной квартиры». С той же неприязнью он высказался о людях, которые настолько свыклись с этой жизнью, что ничего иного, кроме неё, для себя не хотели: «Я их ненавижу. Это для меня была чужая порода зверей. Другой антропологический тип»<sup>3</sup>.

Представление о том, что такое «жизнь как у всех», Венедикт Ерофеев изложил в повести «Записки психопата» в диалоге персонажа, прототипом которого был сам автор, и Ани Бабенко. По основной профессии она — каменщица, а для приработка в свободное время — потаскушка:

«[Аня]. Послушай, ну вот что тебе нужно — ну тебе сейчас девятнадцатый год, предположим. Будет тебе девятнадцать — будешь увиваться за девками. В 26 лет женишься, отработаешь век свой на пользу государства, воспитаешь детей... Ну, и умрёшь тихонько без копейки в кармане.

[Ерофеев]. И неужели ты считаешь это образцовой жизнью?

[Аня]. Нну-у... образцовой — не образцовой, по крайней мере, все так живут. И ты проживёшь точно так же.

[Ерофеев]. Извиняюсь, сударыня, если бы я знал, что у меня в перспективах — обычная человеческая жизнь, я бы давно отравился или повесился.

[Аня]. Давно надо бы.

[Ерофеев]. Да, конечно. Однако же я всё-таки живу. Ну, вот ты, Анечка, тебе девятнадцать лет — мне всё-таки интересно знать, что у тебя сейчас в голове.

[Аня]. Как это так? Нну-у... вот сейчас, например, думаю, скоро ли пять часов, хочу вот себе платье купить, на танцы сегодня пойти.

[Ерофеев]. И всё?

[Аня]. Нет, почему... а вообще-то, для какого чёрта это тебе надо знать? Что это ты экзаменуешь меня, как английский шпион?»

[Ерофеев]. О боже мой! Если бы я был английским шпионом, милая, меня бы совсем не интересовал образ мыслей рядовой пролетарской девки.

[Аня]. Так, а для чего же тебе это всё надо?

[Ерофеев]. Ттак просто... противно мне что-то смотреть на вас, господа пролетарии... Пошло вы все живёте...

[Аня]. Э-э-эх... “противно ему смотреть”, да ты бы сначала на себя посмотрел, как ты живёшь, ты же как первобытный человек живёшь — одеваешься чёрт знает как, на танцах никогда не бываешь, в кино не ходишь... я бы давно подохла с тоски.

[Ерофеев]. Да, я тебе слишком сочувствую... Остаться тебе одной — значит действительно “подыхать с тоски”. По крайней мере, известно, что человек мало-мальски умный, оставшись вне общества, бывает всё-таки наедине со своими мыслями. Вам же, госпожа пролетарка, поневоле приходится тяготиться полным одиночеством.

[Аня]. Я ничего не понимаю, что ты за чепуху порешь...»<sup>4</sup>

Государство, презирающее внутреннюю, духовную жизнь человека, её суверенность, создаёт на земле ад. По убеждению Венедикта Ерофеева, оно плодит людские массы, которым не страшен ни чёрт, ни Бог. Скотское существование не приводит людей к земному раю, если даже обещанные «золотые горы и реки, полные вина» становятся для них явью.

В этой ситуации начинает действовать закон безразличия, приводящий людей к духовной изоляции друг от друга и возобладанию в них низменных инстинктов. От этого закона некуда деться, кроме как уйти в монастырь или приспособиться к существующим жизненным обстоятельствам. Ту сложившуюся ситуацию воплощает русская пословица: из полымя да в омут. Никаким попыткам советской пропаганды было не по силам этот объективный закон нейтрализовать или перенаправить на что-то другое, менее опасное. Оставался единственный выход — основательно

изменить всю систему ценностных приоритетов. Произвести переоценку, что для тебя в жизни является важным и престижным, ради чего ты готов прыгнуть выше головы. Вот такую первую и почти бесплодную попытку предпринял Ерофеев в беседе с Аней Бабенко, пытаясь объяснить ей, что её мечты о той жизни, которая ей представляется в радость, — беспочвенны.

Продолжу с некоторыми купюрами беседу Ерофеева и Ани Бабенко «за жизнь»:

«[Ерофеев]. ...А разве вы имеете что-нибудь против Советской власти? Вы ведь только сейчас осуждали мою антисоветскость, и потому вы совершенно лояльны. Ттта-ак. Но, может быть, вы только внешне боитесь высказываться против Советской власти, а внутренне вы готовы её низвергнуть — в таком случае вы, товарищ Бабенко, выражаете идеологию буржуазного класса, ибо, как явствует из статьи Владимира Ильича Ленина “Партийная организация и партийная литература”, — “тот, кто идёт не с нами, тот против нас”! Вы доверяете Ленину, товарищ Бабенко?

[Аня]. Слишком.

<...>

[Ерофеев]. ...Далее — вы, вероятно, полагаете, что государство внемлет вашим стенаниям и осыплет вас благодеяниями за ваш непосильный труд... Следует помнить — руководство нашего треста обращалось с петицией к строительному министерству — однако министерство отказалось повысить расценки! Вам остаётся только одно — вдохновляться тем, что ваши потомки будут полностью удовлетворять свои потребности. Они возблагодарят вас, товарищ Бабенко!

[Аня]. А мне — срать на потомство.

[Ерофеев]. Гм... Наконец-то слышу “глас пролетариата”! Чюдненько!.. Чюдненько!.. Так — чоррт побори!! — Аничка, — неужели же блекнуть вашим дивным формам?! Плюньте на... Плюньте на слёзы и



христианское смирение! К вашим услугам — Белорусский вокзал! Взбунтуйтесь против человеческой морали! Ведь убивают же, грабят, валяются в канавах люди! И умные люди! Ведь и у вас нет другого выхода! Ложитесь в прохладу вокзального сквера, обнажайте свои пышные перси, зазывайте клиентов, ччоррт побери!

[Аня]. Перестань... Венька!

[Ерофеев]. О, кто бы ты ни был, прохожий, пади на грудь мою! Отумань разум мой! Исцелуй меня всю! “О, сжимай меня в страстных объятьях”! (Ведь не жрать же мне соевые бобы, в конце концов!) Раствори меня в себе, о прохожий! Я утопаю в... целуй меня. Ещё! Ещё! Один рубль! Два рубля! Три. Пачка маргарина! Полкило колбасы! Ах!

[Аня]. Ха-ха-ха-ха! Нет, Венька, ты просто гений! Только я не понимаю, почему тебе всё — смешно!

[Ерофеев]. То есть как это — смешно? В материальной необеспеченности я просто не вижу никакой трагедии... Ну, если для тебя это трагедия, так...

[Аня]. Не понимаю, что ты за человек!»<sup>5</sup>

Речи Ерофеева (персонажа повести) не встряхивают людей, погруженных во тьму, а окончательно их обескураживают и даже озлобляют. Разговор Ерофеева с Аней Бабенко для неё бесполезный. Ибо она никак не возьмёт в толк, о чём он вообще с ней говорит. Да и сам ироничный учитель, осознавая себя в общении с этой женщиной психопатом, понимает, что попусту тратит на неё своё время.

Венедикт Ерофеев, оказавшись на улице после отчисления из Орехово-Зуевского пединститута, устроился сторожем в медвытрезвитель Орехово-Зуевского УВД. Занял, так сказать, межеумочную позицию между народом и властью. Денег ему едва

хватало, чтобы прокормиться. Жил он, как отмечает Валерий Берлин, на частной квартире. Не у той ли старушки наш отщепенец нашёл временный приют, где собирались его друзья и поклонницы? Иногда он по вечерам навещал Юлию Рунову. Она подрабатывала в библиотеке ОЗПИ. Вахтёрша, как выяснил Валерий Берлин, улыбаясь при виде Венедикта Ерофеева, говорила: «Руновато ты пришёл, Юля ещё не закрылась»<sup>6</sup>. Наконец, Венедикт Ерофеев устроился на работу более или менее постоянную. Он был принят грузчиком в Строительное управление № 867 Дорожно-строительного треста № 94, находящегося во Владимире, — строилась дорожная трасса. Приказ Министерства транспортного строительства СССР о его зачислении под номером 47 был подписан 26 апреля 1961 года. На этом месте он проработал до 23 августа того же года.

С 1 по 10 июня того же года он сдавал экзамены на заочное отделение филологического факультета Владимирского государственного педагогического института им. П. И. Лебедева-Полянского. Первый экзамен был письменным. Для сочинения обычно предлагалось две темы. Венедикт Ерофеев выбрал тему «Личное и общественное в октябрьской поэме Маяковского “Хорошо!”». Это сочинение опубликовано. Прочитав его, можно опрометчиво подумать, что написавший его абитуриент выбрал первую из трёх жизненных позиций, обозначенных Владимиром Муравьёвым, — «целиком вписаться в социалистический образ жизни». Большая часть текста сочинения перенасыщена идеологическими штампами. Однако Венедикт Ерофеев был бы не самим собой, если остановился бы только на коммунистической риторике. Он закончил свой экзаменационный опус таким перебором заезженных фраз и банальных мыслей, что

любой читатель, в голове которого было больше одной извилины, непременно почувствовал бы в написанном тексте саркастический дух и ёрническую интонацию. Особенно когда взгляд Маяковского на «личное» и «общественное» противопоставлен в сочинении Венедикта Ерофеева взглядам Пушкина и Некрасова: «Следует отметить, что Маяковский, поэт советской эпохи, вносит новое в поэтическое понимание личного и общественного. Для Некрасова и Пушкина, например, единство их интересов с интересами народа необходимо предполагало ненависть к существующему режиму и к ложной “официальной идеологии”. Маяковский, напротив, уже не отделяет “общественное” от “государственного”, “государственное” от “личного”. Интересы и воля его народа находят лучшее выражение в политике его власти, его партии, той партии, которая “направляла, строила в ряды” движение народных масс и чьё мудрое руководство революцией на всех её фронтах даёт поэту право быть уверенным в могуществе того отечества, “которое будет”. Этого-то органического слияния личного и общественного не могут постичь многие апологеты буржуазного искусства, толкующие о “безликости” и “фальши” нашей поэзии, о духовном “нивелировании”, о “подавлении творческой инициативы”. Поэма Маяковского “Хорошо!” — лучшее опровержение этих злостных и истасканных измышлений»<sup>7</sup>.

Блеск, да и только! С позиции сегодняшнего дня сочинение Венедикта Ерофеева воспринимается как пародия на статью В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература».

О втором экзамене по русской литературе написал сам Венедикт Ерофеев. Вот как это произошло. В 1988 году в Москве собирались издать книгу о 1960-х —

плодотворном для авангардного искусства десятилетия, когда честные одарённые художники создавали то, что душа велит. Для этой книги требовался какой-нибудь текст прославленного автора поэмы «Москва — Петушки». Наталья Шмелькова рассказала в книге «Последние дни Венедикта Ерофеева», как ей удалось уговорить своего возлюбленного друга написать хотя бы несколько страничек о своём поступлении во Владимирский педагогический институт. В то бурное перестроечное время он был прилежным читателем и практически ничего не писавшим писателем. Наталья Шмелькова вспоминает, как он долго отнекивался от её просьбы, обложенный номерами «Огонька», главным редактором которого был Виталий Коротич<sup>[276]</sup>.

В конце концов Наталья Шмелькова обратилась за помощью к своей подруге Майе Луговской<sup>[277]</sup>, пославшей Ерофееву бутылку шампанского, чудесную розу и записку следующего содержания:

«Дорогой Веничка!

Время ждёт Вашего слова. Нету Свифта, но Ерофеев существует, и его долг писать. Посылаю мой бутылочный привет, как поощрение.

*Обнимаю. Майя Луговская*»<sup>8</sup>.

Понятно, что лёд тронулся, и просьба двух женщин Венедиктом Ерофеевым была выполнена. Обращусь к его воспоминаниям о том июльском дне 1961 года, когда он не ёрничал, никого не пародировал, говорил, что думал, и своими ответами честно уведомил экзаменаторов (своих будущих преподавателей), с кем они имеют дело:

«Июль 61 года. Город Владимир. Приёмные испытания во Владимирский педагогический институт имени Лебедева-Полянского. Подхожу к столу и вытягиваю билет:

1. Синтаксические конструкции в прямой речи и связанная с ней пунктуация.

2. Критика 1860-х гг. о романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”.

Трое за экзаменационным столом смотрят на меня с повышенным аппетитом. Декан филологического факультета Раиса Лазаревна [Засьма], с хронической улыбкой: “Вам, судя по вашему сочинению о Маяковском, которое все мы расценили по самому высшему баллу, — вам, наверное, и не надо готовиться к ответу. Присаживайтесь”.

Само собой, ни о каких синтаксических конструкциях речь не идёт.

— Кем вы сейчас работаете? Тяжело ли вам?

— Не слишком, — говорю, — хоть работа из самых беспрестижных и препаскуднейших: грузчик на главном цементном складе.

— Вы каждый день в цементе?

— Да, — говорю, — каждый день в цементе.

— А почему вы поступаете на заочное отделение? Вот мы все, и сидящие здесь, и некоторые отсутствующие, решили единогласно: вам место в стационаре, мы все убеждены, что экзамены у вас пройдут без единого “хор”, об этом не беспокойтесь, да вы вроде не беспокоитесь. Честное слово, плюйте на ваш цемент, идите к нам на стационар. Мы обещаем вам самую почётную стипендию института, стипендию имени Лебедева-Полянского. Вы прирождённый филолог. Мы обеспечим вас научной работой. Вы сможете публиковаться в наших “Учёных записках” с тем, чтоб подкрепить себя материально. Всё-таки вам двадцать два, у вас есть определённая сумма определённых потребностей.

— Да, да, да, вот эта сумма у меня, пожалуй, есть.

В кольце ободряющих улыбок: “Так будет ко мне хоть какой-нибудь пустяшный вопрос, ну, хоть о

литературных критиках 60-х гг.?”

— Будет. Так. Кто, по вашему разумению, оценил роман Николая Гавриловича самым точным образом?

— По-моему, Аскоченский и чуть-чуть Скабичевский. Все остальные валяли дурака, более или менее, от Афанасия Фета до Боткина.

— Позвольте, но как вам может нравиться мнение Аскоченского, злостного ретрограда тех времён?

Раиса Лазаревна: “О, на сегодня достаточно. Я, с согласия сидящего перед нами уникального абитуриента, считаю его зачисленным на дневное отделение под номером один, поскольку экзамены на дневное отделение ещё не начались. У вас осталась история и — Sprechen Sie Deutsch? Ну, это для вас безделки. Уже с 1 сентября мы должны становиться друзьями”»<sup>9</sup>.

Выбор Венедиктом Ерофеевым двух литературных критиков с различной репутацией и противоположных взглядов не случаен. Тот и другой были отнюдь не единомышленниками, а напротив того — оппонентами. Несмотря на свои разногласия, они подвергли Николая Гавриловича Чернышевского, философа-материалиста, революционера-демократа, публичной словесной порке. Один из них, Виктор Ипатьевич Аскоченский<sup>[278]</sup>, относился к числу наиболее одиозных противников вольномыслия. Советскими литературоведами он был заклеимён злейшим врагом всего прогрессивного, реакционером и обскурантом. На протяжении многих лет Виктор Аскоченский еженедельно яростно и ехидно бичевал нигилистов и отступников от православия. К ним, естественно, относились поклонники Чернышевского, последователи его крамольных идей. Он был основателем, редактором-издателем и автором большинства материалов «Домашнего журнала». Этот еженедельник издавался в Санкт-Петербурге с 1858 по

1865 год под названием «Домашняя беседа для народного чтения», а затем был переименован в «Домашний журнал». Последний его номер вышел 5 ноября 1877 года. В номере еженедельника от 22 февраля 1864 года в полемическом разделе «Блестки и изгарь» появилась статья Виктора Аскоченского, где он разнёс в пух и прах роман Чернышевского «Что делать?», справедливо полагая, что в этом сочинении разврат получает не только восторженное одобрение, но и предлагается автором в качестве нормы повседневной жизни. Сделаю выписку из этой статьи, а именно из той её части, где затрагиваются основные темы дискуссии с нигилистами: «Мы того убеждения, что всё враньё цивилизаторов, вся философская дребедень доморощенных Бюхнеров и Молешотов, всё банальное кощунство российских Ренанов и Миронов — ничто в сравнении с тем злом, которое фактически распространяется чрез учение, подрывающее главнейшую основу общественного благоустройства. Старая, но тем не менее непререкаемая истина, что семья есть зерно, из которого вырастает широколиственное древо целого государства; если зерно это будет гнило, то и дерево будет дуплисто и прежде времени сломится и сокрушится. Юшенты разврата избрали каналом для проведения своих гнусных идей так называемую беллетристику; ясно, значит, на кого они метят, — на тех, которые не стали бы их читать в учёных трактатах, — на тех, которые берутся за книгу только для развлечения и которые, стало быть, не любят затруднять головы своей думою и серьёзным размышлением, преимущественно на нашу молодёжь, на наших жён, сестёр и дочерей. Скажем более; мы знаем, что теперь в ходу идея о возможном сближении полов, и в одном из заседаний некоего

образовательного общества был поднят об этом серьёзный вопрос... Что ж тут делать?»<sup>10</sup>

Александр Михайлович Скабичевский<sup>[279]</sup>, названный Венедиктом Ерофеевым во время устного экзамена по литературе, был критиком и публицистом. Время его смерти точно не установлено: то ли 29 декабря 1910 года, то ли 11 января 1911 года. Александр Скабичевский относился к либерально-народническому направлению в публицистике. Евгений Шталь объясняет, почему этот популярный в то время критик ополчился на роман Николая Чернышевского «Что делать?»: «Александр Михайлович Скабичевский отметил, что роман Чернышевского вызвал к жизни фиктивные браки, так как генеральские и купеческие дочери пытались подражать Вере Павловне, фиктивно вышедшей замуж за Лопухова»<sup>11</sup>. Далее для большей убедительности он цитирует отрывок из статьи критика: «...всюду начали заводиться производительные и потребительские ассоциации, мастерские швейные, сапожные, переплётные, прачечные, коммуны для общежития, семейные квартиры с нейтральными комнатами и пр. Фиктивные браки с целью освобождения генеральских и купеческих дочек из-под семейного деспотизма и подражания Лопухову и Вере Павловне сделались нередким явлением жизни, причём редкая освободившаяся таким образом не заводила швейной мастерской и не разгадывала вещих снов, чтобы вполне уподобиться героине романа»<sup>12</sup>.

Объявив экзаменаторам, что лучше всех критиков роман «Что делать?» оценил Виктор Ипатьевич Аскоченский, Венедикт Ерофеев дал им понять, что ему дороги христианские идеалы. Он знал, что его будущие учителя ждали совершенно другого ответа. Они были убеждены, что он назовёт В. И. Ленина. По словам



вождя, роман «Что делать?» «его глубоко перепахал» и более того — «дал заряд на всю жизнь».

Демарша со стороны Венедикта Ерофеева экзаменаторы словно не заметили. Предпочли сделать вид, что абитуриент по молодости своей и простодушию всего лишь попытался поразить их обширной филологической эрудицией.

Напомню читателю, что педагогический институт, куда поступил Венедикт Ерофеев, носит имя Павла Ивановича Лебедева-Полянского<sup>[280]</sup>. В 1939 году под его редакцией начало выходить Полное собрание сочинений Чернышевского в девятнадцати томах<sup>13</sup>.

Раисе Лазаревне Засьме было легче думать, что у Венедикта Ерофеева от излишней информации возникла полная сумятица в голове, чем предположить, что он следует какому-то злему умыслу по идеологическому разложению законопослушного студенчества. Декан филологического факультета вместе с тем не относилась к простодушным дурам, чтобы не понять, что советскую власть этот красивый и талантливый молодой человек не особенно жалует. Она и сама её не очень любила, но чувств своих не выказывала, зная, что против лома нет приёма.

Судьба её родителей сложилась относительно благополучно. Это вовсе не значит, что они не шли по самому краю пропасти. Евгений Шталь пишет: «Отец Лазарь Иезекелевич — преподаватель идиша в еврейской школе, после закрытия еврейской школы преподавал немецкий язык. Мать Мира Израилевна — учитель в школе, заслуженный учитель РСФСР, награждена орденом Ленина. Была классным руководителем эвакуированных детей членов партии и правительства в Куйбышеве в 1941 —1942 гг. Среди её учеников была Светлана Аллилуева»<sup>14</sup>.

Человеком она слыла порядочным и добрым, о чём свидетельствует книга воспоминаний выпускников Владимирского педагогического института сорока трёх выпусков и трёх поколений «Путешествие в обратном направлении. Книга про филфак», вышедшая во Владимире в 2018 году. Кого-то клеймить по собственной воле тогда мало кому хотелось. Ещё какое-то время действовала прививка XX съезда КПСС. Лариса Лазаревна Засьма всё-таки бдительность не теряла и совершить идеологическую диверсию в стенах пригревшего её института (как представительница еврейского меньшинства) никому не позволила бы. Ведь она знала по биографии своего мужа талантливого актёра Давида Семёновича Лосика<sup>[281]</sup>, что собой представляет обратная сторона советской власти. 22-летний Давид Лосик, актёр Театра юного зрителя в Минске, был арестован 28 апреля 1936 года и приговорён 22 сентября 1936 года к пяти годам Исправительно-трудовой колонии спецколлективом Верховного Совета Белорусской ССР по статье 72-а УБ ССР (соответствует статье 58 пункт 10 УК РСФСР, антисоветская агитация). Свой срок Давид Семёнович отбывал в Ухтпечлаге, работал актёром в лагерном театре. Освободился 28 апреля 1941 года и до 1946 года оставался вольнонаёмным актёром при Центральном доме культуры в Ухте. Полагаю, что этот ЦДК существовал в системе ГУЛага, как и ЦДК Ухтокомбината МВД СССР, куда его перевели также как вольнонаёмного актёра и режиссёра. Там он проработал с 1948 по 1950 год. Только с 1950 года он перестал быть крепостным ГУЛага и был зачислен актёром в Златоустовский театр, а затем в театры Куйбышевский и Стерлитамакский. Наконец, в 1957 году Давид Лосик оказывается во Владимирском театре юного зрителя. В этом городе он знакомится с Раисой Лазаревной Засьмой, которая

становится его женой. Он был свободен, но государством не прощён. У них родился сын Лев. Давида Семёновича Лосика реабилитировали только 22 декабря 1989 года. Они подали документы на отъезд на постоянное жительство в Израиль. За два дня до отъезда Давида Семёновича не стало. В ноябре 1991 года Раиса Лазаревна вместе с сыном навсегда уехала в Израиль, где и скончалась 10 февраля 2006 года в городе Йокнеаме, расположенном в полутора часах езды от Тель-Авива.

Не надо долго думать, чтобы понять: Раиса Лазаревна Засьма не смогла бы при всём желании помочь Венедикту Ерофееву осуществить его невероятный прожект по возвращению в сознание будущих советских учителей того, что ненавидели Владимир Ильич Ленин и Никита Сергеевич Хрущев со всею страстью и злобой, на какую вообще способен человек, — саму мысль о существовании Бога.

В июле 1961 года, работая в Дорожно-строительном управлении города Владимира, Венедикт Ерофеев сделал выписки из писем Ф. М. Достоевского 1860—1870-х годов. Вот одна из них: «Социализм сознательно и в самом нелепо-бессознательном виде и мундирно, в виде подлости — проел почти всё поколение. Факты явные и грозные»; «Надо бороться, ибо всё заражено. Моя идея о том, что Социализм и Христианство — антитезы (М. П. Погдину, февраль 73 г.)»<sup>15</sup>.

В книге Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского «Венедикт Ерофеев: Посторонний» приводится характеристика Раисы Засьмы, данная Олегом Федотовым, одним из её коллег по Владимирскому пединституту: «Она причудливо совмещала в себе черты Екатерины II, Фурцевой и Малюты Скуратова. Наукой практически не занималась. Как декан радела за факультет, позиционируя себя его

любящей матерью, и держала в патриотическом тоне всех преподавателей. Была виртуозным мастером административных интриг. Не верила в коммунистическую идею, но демагогически её отстаивала»<sup>16</sup>.

Какого содействия и понимания было ждать Венедикту Ерофееву от своих новых наставников, этих запуганных до беспомощности людей? Семьи почти каждого из них испытали такие драмы и горести, что опиши без пробелов, ничего не утаивая, все пережитые ими беды и несчастья, — привычный мир зашатался бы и рухнул.

## **Глава двенадцатая**

# **НЕ ПОТЕРЯТЬ БЫ САМОГО СЕБЯ**

С первых дней пребывания во Владимирском педагогическом институте Венедикт Ерофеев взялся за учёбу с большим рвением. В то время некоторые молодые люди верили, что не так страшен чёрт, как его малюют. И, охваченные энтузиазмом правдоискательства, обращались к здравому смыслу, немарксистской философии и священным книгам, чтобы, взглянув трезвыми глазами на выставленных перед ними идолов, оглянуться окрест и выйти за пределы догм марксистско-ленинского вероучения. Мало кому нравится, когда ограничивают свободу мысли.

Венедикт Ерофеев вряд ли знал философские работы академика Владимира Ивановича Вернадского<sup>[282]</sup>. Они тогда ещё не были изданы и бережно хранились Валентиной Сергеевной Неаполитанской<sup>[283]</sup> в библиотеке Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского. Вот что думал о научном мировоззрении, не забывая о религиозном интуитивном мышлении, великий русский учёный: «Это, прежде всего, отношение к окружающему миру, не противоречащее основным принципам научного поиска, опирающимся на многократно проверенные и подтверждённые истины. Научное мировоззрение есть создание и выражение человеческого духа; наравне с интуитивным религиозным мышлением, искусством, общественной и личной работой, философской мыслью или созерцанием. Научное мировоззрение не является синонимом истины точно так же, как не являются ею и

интуитивное мировоззрение, религиозные и философские системы. Все они представляют лишь подходы к ней, различные проявления человеческого духа»<sup>1</sup>.

Венедикт Ерофеев в мае, июне, июле, августе 1961 года прочитал и сделал выписки со своими комментариями из большого количества книг философско-религиозного содержания. Были авторы, любовь и преданность которым он сохранял до самого последнего часа. В те четыре месяца до начала занятий в институте у него оказалось много свободного времени. Ничто его тогда не отвлекало от доверительных бесед с великими людьми из прошлого. В сущности, в отличие от обыденного трёпа с современниками это виртуальное общение, несмотря на случавшиеся размолвки, было для него постоянной моральной поддержкой и спасало от повседневного лицемерия старших товарищей. Оно не давало ему расслабляться и поступать не по совести. Иногда у него бывали срывы. Они затрагивали прежде всего его личную жизнь. Но это случалось значительно позднее, после 1960-х годов.

В 1961 году перед началом занятий во Владимирском педагогическом институте Венедикт Ерофеев не давал себе передышки и читал с утра до позднего вечера. «Надо же столько книг зараз прочитать! С чего бы это?» — могут спросить те, кто родился после 1991 года и пристрастился к Интернету. Тут не надо особенно долго думать, чтобы ответить — исключительно ради преодоления собственного скудоумия. Почти в каждой из выписок в его блокнотах и тетрадках тех дней содержатся разнообразные ответы на два взаимосвязанных вопроса: «Что есть человек и как достойно прожить жизнь, находясь с ней в полном согласии?» Вот какой крепкий орешек пытался

разгрызть молодой писатель, уже создавший повесть «Записки психопата». Тут ему пришли на помощь ветхозаветные пророки, Иисус Христос, святители, преподобные, выдающиеся священники, богословы, философы и, конечно же, великие писатели. Эти два вопроса, как магниты, притянули к себе множество новых, более головоломных и не менее каверзных. Главной целью было осознать не только умом, но и всей кожей, что при утрате человеком идеи бессмертия обесмысливается сама жизнь.

Венедикта Ерофеева интересовали личности со скособоченной психикой, тяжёлыми заболеваниями и непростой судьбой: «Иисус — эпилептик, Флобер — эпилептик.

Мопассан — сифилитик. Достоевский — эпилептик. Ницше — прогрессивный паралитик. Гофман. Гюго и Тассо. Иудейские пророки в эпилептических припадках»<sup>2</sup>.

Из литературных персонажей больше всех остальных его привлекали герои произведений Достоевского и хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский Мигеля де Сервантеса Сааведры<sup>[284]</sup>, а также типажи и острые психологические ситуации в драмах его любимых скандинавских писателей — норвежцев Генрика Юхана Ибсена и лауреата Нобелевской премии по литературе 1903 года Бьёрнстjerne Мартинуса Бьёрнсона. К тому же, судя по выпискам Венедикта Ерофеева, ему особенно хотелось знать во всех подробностях, как и Фёдору Михайловичу Достоевскому, что испытывает человек, находясь между жизнью и смертью или балансируя между ясным сознанием и умопомрачением.

Признаюсь, читая «Записные книжки 1961 года» Венедикта Ерофеева, я был ошеломлён. За короткий срок (четыре месяца!) столько прочитать, осознать и

проанализировать — далеко не всякому опытному книжечю будет по силам! С мая по август в его блокнотах преобладают выписки из сочинений Достоевского. К ним добавляются сочинения Петра Чаадаева, Ивана Сергеевича Тургенева<sup>[285]</sup>, Льва Толстого, а из зарубежных писателей — Сервантеса, Шарля Луи де Монтескье<sup>[286]</sup>, Жан Жака Руссо, Сэмюэла Тейлора Кольриджа<sup>[287]</sup>, Анри Мари Бейля Стендаля<sup>[288]</sup>, Джорджа Ноэла Гордона Байрона<sup>[289]</sup>, Генриха Гейне<sup>[290]</sup>, Чарлза Диккенса, Гюстава Флобера<sup>[291]</sup>, Эмиля Золя<sup>[292]</sup>. Он делал короткие или обширные выписки из их сочинений, часто с комментариями.

Август Венедикт Ерофеев почти целиком посвятил чтению трудов великих естествоиспытателей и путешественников: француза Жоржа Луи Леклерка Бюффона (1707—1788), англичанина Чарлза Роберта Дарвина (1809—1882) и русского биолога Ильи Ильича Мечникова (1845—1916), а также философов: основоположников позитивизма и социологии — француза Югюста Конта (1798—1857), англичанина Герберта Спенсера (1820—1903) и шотландца Гютчесона из XVIII века, представителя интуитивизма и философии жизни француза Анри Луи Бергсона (1859—1941).

Особый интерес у него вызвали книги трёх современных мальтузианцев: Уильяма Фогга «Путь к спасению», «Абсолютное перенаселение», Э. Пенделла «Безудержный рост населения» и другое его сочинение в содружестве с Бэргом — «Перенаселение — путь к миру или войне?».

В часы отдыха от этих тяжких, но приятных трудов Венедикт Ерофеев перечитывал Вольтера, Блеза Паскаля, эссеистику Томаса Манна, «Разбойников» Шиллера<sup>[293]</sup>, книгу англо-американского писателя,



философа и теолога Томаса Пейна<sup>[294]</sup> «Век разума», письма и дневники Александра Герцена.

Блокноты и записные книжки Венедикта Ерофеева, на которых я остановлюсь, охватывают четыре месяца 1961 года. Майские выписки начинаются с цитаты из романа «Подросток» Достоевского. Думаю, это эпиграф ко всему последующему материалу. К тому же обозначающий его тогдашнее душевное состояние. Достаточно унылое. Самому Венедикту Ерофееву его описывать, по-видимому, не захотелось. Привлѣк к этому классика: «Пахло пригорелым маслом, трактирными салфетками и табаком. Гадко было. Над головой моей тюкал носом о дно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый»<sup>3</sup>.

Вторые две выписки взяты из короткой повести того же Достоевского «Кроткая», имеющей подзаголовок: «Фантастический рассказ». Не стану её пересказывать. Напомню лишь основную мысль, ради которой Достоевский написал одно из своих последних произведений: для порядочного, нравственного человека не существует любви наполовину или на четверть.

Может быть, в мае 1961 года Венедикт Ерофеев впервые осознал силой всего своего существа, что любить во всей полноте этого чувства означает для него отказ от того образа жизни, который он начал вести и который при всех его издержках был ему по нраву. В XIX веке он ушёл бы на войну и пал бы на ней смертью храбрых или постригся бы в монахи. Но, во-первых, никакая война тогда, слава богу, не шла. Во-вторых, он был военнообязанным, и перед уходом в монастырь требовалось исполнить свой воинский долг. А в-третьих, принять в его возрасте монашеский постриг в СССР вряд ли представлялось возможным. Оставалось поступать во Владимирский педагогический

институт, из которого его вскорости, как он уже знал, обязательно и с треском выгонят. Он уже тогда не верил, что ему удастся создать семью, где муж и жена любят друг друга и своих детей, а дети родителей.

После всех моих рассуждений о душевном состоянии Венедикта Ерофеева того времени процитирую его выписки из повести «Кроткая»: «Косность! О, природа! Люди на земле одни — вот беда! “Есть ли в поле жив человек?” — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную, взойдёт солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Всё мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание, — вот земля!»; «Тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще!.. Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!»<sup>4</sup>.

То, на что я обратил внимание, непосредственно затрагивало личную жизнь Венедикта Ерофеева. В ней он, надо сказать, после создания повести «Записки психопата» практически не копался. Разве что в своих блокнотиках фиксировал те или иные происшедшие с ним события и давал короткие и нередко язвительные характеристики своим приятелям, знакомым, а иногда и самому себе. Большею частью он был захвачен глобальными вопросами, с чего я и начал эту главу.

Итак, вернусь к теме жизни и смерти человека. Ведь смертного удела, как тут ни верти, никому не удаётся избежать. Он касается всех живых существ. Венедикт Ерофеев сталкивает в своих выписках разные точки зрения великих людей на этот исходный и самоочевидный постулат земного бытия. Например, эмоционального и бескомпромиссного Достоевского и сдержанного в своих чувствах немецкого философа Артура Шопенгауэра<sup>[295]</sup>.

Приведу радикальные высказывания русского писателя: «Самоубийство при потере идеи о бессмертии становится совершенною и неизбежною даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своём развитии над скотами»; «Я не могу быть счастлив даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества. Знаю, что завтра же всё это будет уничтожено: и я, и всё счастье это, и вся любовь, всё человечество — обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья... просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это — чувство, это непосредственное чувство, я не могу побороть его (“Приговор” из “Дневника писателя” — письмо самоубийцы.)»<sup>5</sup>.

Артур Шопенгауэр в вопросе о смерти оказался в меру наблюдательным, по-немецки прагматичным и вполне здравомыслящим мыслителем. Судя по всему, его рассуждения понравились Венедикту Ерофееву. Вот как он подошёл к этой не особенно оптимистической теме: «Никто не имеет действительного, живого убеждения в неизбежности своей смерти, ибо иначе не было бы большего различия между его настроением и настроением человека, приговорённого к смертной казни. Напротив, каждый, хотя познает такую необходимость абстрактно и теоретически, но отлагает её в сторону, как другие теоретические истины, которые, однако, на практике неприложимы, — нисколько не воспринимая их в своё живое сознание»<sup>6</sup>.

Когда ищешь в таких вечных вопросах, как жизнь и смерть, какой-то особенный и высший смысл, без веры в Бога не обойтись. Возможно, конечно, вывернуться наизнанку с помощью риторических фигур, как поступил, например, писатель Викентий Васильевич

Вересаев<sup>[296]</sup>, и не особенно сосредоточиваться на этом труднообъяснимом чувстве. Венедикт Ерофеев сделал выписку из книги Вересаева «Живая жизнь», предпослав цитате свою ремарку: «Вересаев. По тому же поводу и, как всегда, со своим неприятным, врачебным гуманизмом».

Перейду к рассуждениям Вересаева о жизни и смерти, уведомив читателя, что они относятся ко времени до 1917 года: «Однако люди живут, творят жизнь. И проповедникам тлена стоит больших усилий заставить их очнуться на миг и вспомнить, что существует смерть, всё делающая ничтожным, ненужным. В этой странной слепоте всего живущего по отношению к смерти заключается величайшее чудо жизни. Прометей у Эсхила говорит: “Я смертным дал забвение смерти”. И хор бессмертных в изумлении спрашивает: “Но как могли про смерть они забыть?” Это бессмертным не понять. Не понять, что великая сила жизни делает живое существо неспособным внутренне чутать смерть. Только теоретически оно способно представить себе неизбежность смерти, чует же её душою разве только в редкие отдельные мгновения. Бессмертным этого не понять. Не понять этого и слишком смертным, — тем, кто посеял в духе своём смерть и разложение. Не понимают этого и герои Достоевского»<sup>7</sup>.

Путь самого Венедикта Ерофеева к источнику веры был не так-то прост, о чём свидетельствуют его выписка из набросков к роману Достоевского «Бесы» и речь Ставрогина: «“Прежде всего нужно предрешить, чтобы успокоиться, вопрос о том: возможно ли серьёзно и вправду веровать? Если же невозможно, то вовсе не так извинительно, если кто потребует, что лучше всего всех сжечь. Оба требования совершенно одинаково человеколюбивы. (Медленное страдание и смерть и

скорое страдание и смерть)» — записные книжки Достоевского»<sup>8</sup>.

Достоевский был для Венедикта Ерофеева вроде палочки-выручалочки. Особенно ему помогали найти ответы на многие мировоззренческие вопросы письма Фёдора Михайловича различным адресатам. Венедикт Ерофеев всегда находил высказывания писателя на основную, глубоко интересующую его тему: что даёт человеку вера в Бога и бессмертие души: «Теперь представьте себе, что нет Бога и бессмертия души (бессмертие души и Бог — это всё одно, одна и та же идея). Скажите, для чего мне тогда жить хорошо, делать добро, если я умру на земле совсем? Без бессмертия-то ведь всё дело в том, чтоб только достигнуть мой срок, а так всё гори. А если так, то почему мне (если я только надеюсь на мою ловкость и ум, чтоб не попасться закону) и не зарезать другую, не ограбить, не обворовать. Или почему мне если уж не резать, так прямо не жить за счёт других, в одну свою утробу? Ведь я умру и всё умрёт, ничего не будет!» Это письмо Николаю Лукичу Озмидову, почитателю Достоевского. Из того же письма: «Всякий организм существует на земле, чтоб жить, а не истреблять себя. Наука определила так и уже подвела довольно точно законы для утверждения этой аксиомы. Человечество в его целом есть. Конечно, только организм. Этот организм бесспорно имеет свои законы бытия. Разум же человеческий их отыскивает»; «Прибавьте тут, сверх всего этого, моё я, которое всё создало. Если оно это всё создало, т. е. всю землю и её аксиому, то, стало быть, это моё, я выше всего этого, по крайней мере, не укладывается в одно это, а становится как бы в сторону, над всем этим, судит и сознает его. Но в таком случае это “я” не только не подчиняется земной аксиоме, земному закону, но и выходит из них, выше их имеет

закон. Где же этот закон? Не на земле, где всё закончено и умирает бесследно и без воскресения. Нет ли намёка на бессмертие души? Если б его не было, то стали бы Вы сами, Николай Лукич, о нём беспокоиться. <...> Значит, вы с Вашим “я” не можете справиться: в земной порядок оно не укладывается, а ищет ещё чего-то другого, кроме земли, чему тоже принадлежит оно»<sup>9</sup>.

Достоевский своим корреспондентам и корреспонденткам давал дельные советы. Вот отчего Венедикт Ерофеев прислушивался к ним и доверял им, как та неизвестная нам мать, которая получила в 1878 году письмо писателя: «Ваш ребёнок 3-х лет: знакомьте его с Евангелием, учите его веровать в Бога... <...> иначе не будет хорошего человека, а выйдет в самом лучшем случае страдалец, а в другом, так и равнодушный жирный человек, да и ещё того хуже. Лучше Христа ничего не выдумаете, поверьте этому»<sup>10</sup>.

Могу представить, как остро реагировал Венедикт Васильевич на пророческие высказывания Достоевского о будущих бедствиях обезбоженного человечества. В этом убеждает его замечание в одной из июльских записей за 1961 год по поводу нацизма и конкретно Генриха Гимmlера: «Кстати, в расовой плоскости решается то, что коммунистами решается в плоскости социальной. Второе менее эффективно, но более благоразумно. Ср. у Гимmlера: “Это как раз то, что я хотел бы внушить СС и, как я полагаю, внушил в качестве одного из самых священных законов будущего: предметом нашей заботы и наших обязанностей являются наш народ и наша раса, о них мы должны заботиться и думать, во имя них мы должны работать и бороться и ни для чего другого. Всё остальное нам безразлично” (из выступления рейхсфюрера перед группой руководителей СС,

Познань, 4/Х — 43 г.). Параллельные линии от Дарвина и Маркса»<sup>11</sup>.

Венедикт Ерофеев, прочитавший вышедшую в Москве в 1955 году книгу «Нюрнбергский процесс», обращался к конкретным фактам: «В одном только Дахау было заключено 2000—2500 священников со всех сторон Европы. Один из заключённых, католический священник, вспоминает между прочим: “Со священниками в лагере Дахау иногда обращались хуже, чем с евреями”. “Для производства медицинских экспериментов особенно охотно отбирали священников... Многие при этом умирали, многие превращались в калек, некоторые выздоравливали”. “Или, повернув пожарный рукав к водопроводу, направляли в течение 38 минут струю на область сердца. Дольше не выдерживал никто”». В ряду различных материалов о нацистских зверствах Венедикт Ерофеев приводит показания Густава Зорге, надзирателя в концлагере Саксенхаузен: «“Он (один из членов секты “Исследователи Библии”) был закопан по самое горло. Была выкопана яма, и его поставили в неё, так что виднелась только шея. А затем яму засыпали... Остальные заключённые должны были оправляться на его голову... По моему указанию...” Прокурор: “Много ли было случаев, когда закапывали в землю служителей культов?” Зорге: “Судя по разъяснению, которое дал мне штандартенфюрер Лихтенбергер, это средство часто практиковалось в лагере... Это была общая акция против церкви”»<sup>12</sup>.

Говорить, не лукавя, правду — это Венедикт Ерофеев для себя решил твёрдо, раз и навсегда. От этого правила не отступал. Его розыгрыши и эпатаж журналистов в счёт не идут. И называл он эти свои импровизационные придумки соответственно грубо — использовал obscene лексикку, а проще говоря, мат.

Пришло время для Венедикта Ерофеева окончательно определиться в своём мировоззрении. Он задал себе такую насыщенную программу чтения, что трудно представить, как ему удалось её выполнить. За три месяца, начиная с июня и по август, он «прошерстил» сочинения многих христианских святых, святителей, выдающихся богословов и философов. Особое место в его желании духовно себя укрепить было отведено Библии. Помимо этой священной книги в его круг чтения вошли труды Климента Александрийского<sup>[297]</sup>, христианского философа, Отца Греческой православной церкви, автора таких работ, как «Увещания язычникам», «Педагог», «Строматы». В последнем упомянутом мною труде содержится апология философии как «дела Божественного промысления»<sup>13</sup>.

С каждым прошедшим днём круг чтения Венедикта Ерофеева расширялся. В июне в этот круг вошли сочинения Григория Богослова<sup>[298]</sup> и Иоанна Златоуста<sup>[299]</sup>, двух из трёх вселенских святителей и учителей, греческого теолога и раннехристианского писателя Оригена<sup>[300]</sup> — его апологетический трактат «Против Цельса» и труд «О началах», объясняют христианские догматы.

Ориген, этот радатель христианского вероучения, претерпел за свою жизнь немало страданий. Ему принадлежит мысль, что в Библии заключены три смысла, соответствующие трём составным частям человека: телу, душе и разуму. Фернан Комт объясняет, какое содержание вкладывал Ориген в каждый из этих смыслов: *«Буквальный смысл связан с телом. Нравственный смысл соотносится с поиском в перипетиях библейского сказания аллегии, способной послужить созданию нравственного мира. Духовный смысл ведёт к “мудрости, покрытой тайной”»*<sup>14</sup>.



Венедикт Ерофеев выписал из сочинения Оригена «Против Цельса» два положения, которые в какой-то степени оправдывали тот образ жизни, который он выбрал для себя: «Христиане должны страдать и скорбеть в этом мире, ибо им принадлежит вечная жизнь»; «Христианин возвышается над всем миром, поставленный святым воодушевлением вне мира»<sup>15</sup>.

Высказывания христианского писателя Тертуллиана<sup>[301]</sup>, одного из первых, кто написал свои книги «К народам», «Апологетика» и трактаты «Против Гермогена», «Против Марциона» и другие на латинском языке, также пришлись по душе Венедикту Ерофееву: «Раньше всех вещей Бог был един, он сам был для себя и миром, и местом, и всем. Но он был един потому, что вне его ничего не было»; «Верю, потому что абсурдно»; «Похоть Господь приравнял к распутству»<sup>16</sup>.

К Блаженному Августину<sup>[302]</sup>, теологу и одному из величайших Отцов Церкви, Венедикт Ерофеев относился с особым пиететом. Само происхождение и жизненный путь этого человека вызывали у него уважение. Обращусь опять к Фернану Комту: «Августин родился в чиновничьей семье от отца-язычника Патрикия и матери-христианки Моники. Родители хотели, чтобы сын изучал в Тагесте право, и несколько месяцев собирали деньги на учёбу, так что шестнадцатый год своей жизни он провёл в безделье и предавался удовольствиям со всей пылкостью юной натуры. С семнадцати лет до тридцати одного года Августин прожил с карфагеняжкой, которая в 372 году родила ему сына Адеодата. <...> в 19 лет Августин прочитал “Гортензию” Цицерона, ныне утраченную, и сменил риторику на философию. Сначала его увлекло манихейство<sup>[303]</sup>. Молодого человека покорило эзотерический характер учения, доступного лишь посвящённым. Но главное заключалось в том, что это

учение, видевшее в человеке замкнутое поле борьбы между добром и злом, полностью отвечало его внутреннему опыту: разрывавшийся между стремлением к добру и греховными наклонностями, Августин как бы почувствовал себя освобождённым от всякой моральной ответственности»<sup>17</sup>.

Прозрение пришло к Августину Блаженному позже, после приезда в 386 году в Медиолан (Милан): «...вечером в своём миланском саду он слышит голос: “Возьми и прочти”. Он открывает Библию и попадает на следующие слова: “Как днём, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пиروваниям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти” (Рим. 13, 13 — 14)»<sup>18</sup>.

Теперь перейду к тому, какие мысли о Боге и всего того, что с Ним связано, выписал Венедикт Ерофеев из трудов Блаженного Августина. Эти цитаты помогут читателю адекватно понять многое из того в поведении Венедикта Ерофеева, что с первого взгляда представляется нелогичным и странным.

*О Боге:* «Бог ближе и понятнее нам, чем чувственные, телесные предметы, и потому мы легче познаем Его»; «Святой Боже! Ты создал небо и землю не из себя, иначе они были бы подобны Тебе. Однако и вне Тебя не было ничего, из чего Ты мог бы их создать. Следовательно, Ты создал их из ничего»<sup>19</sup>.

*О познании Бога:* «Несчастен тот, кто всё знает. Но Тебя не знает, и счастлив тот, кто познал Тебя, хотя бы и не знал он ничего другого (“Исповедь”, кн. 5, с. 4)»<sup>20</sup>.

*О самоуничижении:* «Братья, посмотрите, как унизился Бог ради людей. Поэтому человек не должен презирать себя, ибо сам Бог принял на себя его позор»; «О, человек, ты должен высоко ценить себя!»<sup>21</sup>.

*О пришествии Христа:* «Бог сделался человеком, чтобы человек стал Богом».

*О непорочном зачатии:* «У отца не было лона воспринимающей, а у матери объятий производящего».

*О духовном блаженстве:* «Ничто в тебе не будет противиться тебе и ничто в тебе не будет возмущаться против тебя».

*О загробной жизни:* «Там не будет ничего противного, враждебного, нечистого, безобразного, ничего оскорбляющего взор»; «Ibi nostra spes erit res» — «Там наша надежда станет фактом»; «Ipsium corpus erit et non ipsum erit» — «Тело будет то же и вместе с тем иное».

*Об отношении к видимому миру:* «Писание запрещает нам (2 Кор. 4, 18) обращать свои помыслы на видимое. Поэтому должно любить Бога и презирать весь этот мир, то есть всё чувственное, хотя... и можно пользоваться для потребностей этой жизни. (De Moribus Eccl[esi]ae)»; «Вещи не должны сковывать души ("Исповедь")».

*О Святой Троице:* «Если бы я сказал три бога, то я бы противоречил бы Писанию, которое говорит: ...Израиль: твой Бог есть единый Бог. Поэтому мы предпочитаем говорить три лица, а не три Бога, ибо это не противоречит Священному Писанию»<sup>22</sup>; «Мы имеем образ Божественной Троицы в нас самих; мы существуем и знаем, что существуем, и любим не бытие, а знание; отсюда и разделение науки философами на естествознание, логику и этику, <нрзб. >. Святой дух есть доброта, любовь или источник её, второе лицо есть слово или источник мудрости; первое лицо, Бог-отец, есть бытие или творец бытия»<sup>23</sup>. (Этой цитате предпослана оценка Венедикта Ерофеева: «Очень хорошо и образно о Св. Троице».)

*О душе:* «Очень наивно. (Оценка, пересказ и комментарий В. Ерофеева. — А. С.): “Бог есть одно, а душа нечто другое... Неязвим, непорочен, непроницаем и незапятнан... <...> душа грешит и т. д. Поэтому, если душа есть субстанция Бога, то эта субстанция Бога может заблуждаться, может быть непорочной и т. д., что невозможно”».

*О науке:* «Превосходно (оценка В. Ерофеева. — А. С.): “Мы не должны быть любознательны и любопытны. Многие считают чем-то ужасным не познание Бога, а старательное исследование общей физической массы, называемой миром. <нрзб.> должна подавлять эту суетную массу знания, которая в большинстве случаев приводит человека к мысли, что существует только телесное” (De Moribus Eccl. Lib. I, c. 21)»<sup>24</sup>.

Венедикт Ерофеев обращается ко многим авторитетным в христианском мире богословским сочинениям. Например, к сочинению «Октавий», автором которого был римский адвокат и апологет христиан Марк Минуций Феликс<sup>[304]</sup>: «Не ведать Всевышнего Отца и Господа столь же преступно, как и оскорблять Его»<sup>25</sup>, а также к трудам Лактанция<sup>[305]</sup>, священномученика Киприана Карфагенского<sup>[306]</sup>, святителя Афанасия Александрийского<sup>[307]</sup>, Анниция Манлия Торквата Северина Боэция<sup>[308]</sup>.

Представлю каждого из этих столпов христианского вероучения, судьба и труды которых расширяли представление Венедикта Ерофеева о вере своих предков и укрепляли его в ней. Полагаю, что именно в христианстве и у литературных классиков он находил исчерпывающие и убедительные ответы на вызовы своей кочевой и неприкаянной жизни.

Лактанций, ритор из Африки и автор многочисленных произведений, написанных изящным слогом, со всей присущей ему страстью защищал

величие христианства перед римскими интеллектуалами, воспитанными на античной философии. Недаром в эпоху Ренессанса его называли христианским Цицероном. Венедикт Ерофеев не обошёл вниманием этого златоуста, занеся в заветный блокнот его размышления о науке и природе: «Итак, я спрашиваю: в чём предмет науки? Причины естественных вещей. Какого блаженства могу я ожидать от того, что узнаю об источнике Нила или о бреднях физиков относительно неба?» Там же: «Вне божественного промысла и всемогущества природа есть ничто»<sup>26</sup>.

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский, выдающийся христианский деятель, казнённый при императоре Валериане во время гонений на христиан, напомнил Венедикту Ерофееву, что, во-первых: «Ничто так не полезно христианину, как близкая смерть», а во-вторых: «Кто отрекается от Христа, того отвергает Христос»<sup>27</sup>.

Небольшую выписку он делает из трудов святителя Афанасия, архиепископа Александрийского, отца православия и выдающегося церковного писателя: «Отец есть начало сына и родитель; и отец есть отец, а не чей-либо брат. К вопросу о св. Троице»<sup>28</sup>. Иными словами, православная вера заключается в почитании единого Бога в Троице, а Троица — в единстве, не смешивая личности и не разделяя естества, ибо оный есть Отец, оный — Сын, ещё оный — Дух Святой, и из Отца, Сына и Святого Духа вытекает единое божество, равная слава, единовечное совершенство<sup>29</sup>.

Аниций Манлий Торкват Северин Боэций, христианский теолог, философ-неоплатоник, находясь в заточении и приговорённый к смертной казни, написал знаменитый трактат «Об утешении философии». Вот как представляет эту книгу Фернан Комт: «В ней

чередуются проза и поэзия, размышления над собственной судьбой, и вся она наполнена духом античной мудрости. Боэций выводит на сцену философию в образе дамы, ведущей с ним задушевную беседу. Это своего рода трактат о Провидении, движимом исключительно разумом и отражающем всё богатство христианской этики»<sup>30</sup>. Выписка Венедикта Ерофеева из сочинения Боэция оглушительна, как пушечный выстрел: «Разве ты сам не являешься для себя лучшим сокровищем?»<sup>31</sup>

Кажется, что Венедикт Ерофеев не обходит вниманием ни одного известного христианского богослова древности. У блаженного Феодорита, епископа Кирского [\[309\]](#) он обнаруживает понравившееся ему рассуждение о душе и записывает его со ссылкой на латинский перевод (оригинальный текст был на греческом языке): «Беспредельность, неограниченность в истинном и собственном смысле слова приличествует только Богу, но подобием этой неограниченности является человеческий дух». Не менее пронцательными представляются ему мысли блаженного Феодорита о политике: «Определение, которое Платон даёт истинному философу, а именно, что ему нет никакого дела до политики и политической деятельности, не подходит к языческим философам, а только к христианам, ибо величайший философ Сократ толкался по гимназиям и мастерским и служил даже в качестве солдата. Но те, кто усвоил себе христианскую, или евангельскую философию, удалились от политической суеты»<sup>32</sup>.

Венедикт Ерофеев не ограничивался только этими выдающимися проповедниками и защитниками христианского вероучения. Он обращается, например, к философско-этическим письмам Луция Аннея Сенеки [\[310\]](#), римского политического деятеля, философа

и писателя. В этих письмах воспитатель и советник Нерона, обвинённый в заговоре и по приказу императора покончивший жизнь самоубийством, предстаёт мужественным человеком, презирающим смерть, стойким, не идущим на поводу у страстей: «Никогда душевное настроение смертного не бывает божественнее, чем когда он думает о своей смертности и знает, что человек для того и живёт, чтобы когда-нибудь умереть»; «Некоторые озёра для нас священны, потому что они тёмные и неизмеримо глубокие». Венедикт Ерофеев проясняет эту мысль Сенеки: «То есть: вообще священно то, что темно и глубоко неизмеримо»<sup>33</sup>. Не забывает он в устроенной им для самого себя теологической дискуссии вовлечь в неё древнегреческого писателя и историка Плутарха<sup>[311]</sup>: «Плутарх. Устами своего Антипатра даёт чисто лютеранское определение Бога: “Под Богом понимаем мы блаженное бессмертное и к людям благодетельное существо”»<sup>34</sup>.

Подхожу к личности и деятельности Мартина Лютера<sup>[312]</sup>, немецкого теолога и видного деятеля Реформации. Выпискам из трудов Лютера и его последователей, а также своим комментариям к ним Венедикт Ерофеев уделяет достаточно много места в июньских и июльских блокнотах. Духовный опыт Мартина Лютера и тех, кто поддержал и развил его взгляды, привёл к созданию одного из христианских учений — лютеранству. Суть его в том, что постановления церковной иерархии противопоставлен долг личной совести каждого верующего. Венедикт Ерофеев, практически не вступая в полемику, выделил в этом учении те положения, которые ему понравились. Он приводит цитаты из Мартина Лютера со своими оценками. Например, «очень хорошо о последовательности в вере: “Одно из двух: или верить

во всё начисто и без всякого исключения, или же ни во что не верить... Святой Дух нельзя делить на части так, чтобы одну часть считать истинной, а другую ложной... Колокол, давший трещину, уже не звучит и весь никуда не годится"»<sup>35</sup>. Или приведу ещё одну его выписку из Мартина Лютера о Боге, сопровождаемую репликой Венедикта Ерофеева: «Очень хорошо»: «Бог относится к тебе так, как ты относишься к Нему. Если ты думаешь, что Он гневается на тебя, значит Он гневается. Если ты думаешь, что Он не желает тебя и хочет ввергнуть тебя в ад, значит, это действительно так: Бог таков, каким ты его себе представляешь»; «Во что ты веришь, тем ты и владеешь; то, чему ты не веришь, того и нет у тебя»<sup>36</sup>.

Проявил Венедикт Ерофеев свою осведомлённость в знании трудов таких современных богословов и религиоведов, как Остин Фаррер, Марсель Реддинг, Эрих Франк, Чарлз Генри, Джордж Сартон, Антонио Алиотта, Антонио Романья, Карл Барт, Ричард Брейтвейт, Рудольф Бультмон, Артур Прайер, Д. Хедли, Иоганнес Хессен, Вальтер Хигг. Много у него выписок из работ и выступлений христианских священнослужителей, начиная с папы Пия XII. Это итальянский католический епископ Франческо Ольджиатти, англиканин епископ Хунтер, протестант Рудольф Бултман. Из православных иерархов Венедикт Ерофеев обращается к митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю (Ярушевичу).

Венедикт Ерофеев не был бы самим собой, если не записал бы в своих блокнотах в мае — августе 1961 года что-то из широко известного в литературе и популярного среди его соотечественников, к чему он испытывал не то чтобы неприязнь, а физическое отвращение. Таким «объектом для поругания» стал для него французский писатель Эмиль Золя, а конкретно его роман «Доктор Паскаль» — финал и резюме двадцатитомного цикла «Ругон-Маккары», —



представленный его автором как «Биологическая и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи». Венедикт Ерофеев элегантно представил в июльской записи выраженные в этом романе взгляды Эмиля Золя: «А вот, с позволения, аргументы противника Христова», а чуть позднее подытожил: «Некоторые сентенции доктора Паскаля — явная злобная реакция против христианства»<sup>37</sup>.

Ему было не привыкать. Ведь он вырос не где-нибудь, а в стране, где атеизм стал государственной доктриной.

Май и три летних месяца не пошли псу под хвост. Венедикт Ерофеев не профукал их с девушками и с тёплой компанией. Теперь он был духовно подготовлен и основательно экипирован, чтобы достойно и аргументированно отстаивать свои убеждения и вносить в сознание своих новых товарищей по Владимирскому педагогическому институту, как написал в 1877 году Николай Алексеевич Некрасов в стихотворении «Сеятелям», «разумное, доброе, вечное». Что касается «разумного» и «доброе», тут при определённой сноровке, напоре и нахальстве что-то могло получиться, а вот с «вечным» у Венедикта Ерофеева очень скоро возникли проблемы, да ещё какие!

## **Глава тринадцатая В РОЛИ ПРОСВЕТИТЕЛЯ И МИССИОНЕРА**

Богодухновенные книги христианства и сочинения его апологетов делали жизнь Венедикта Ерофеева осмысленной и учили его одной полезной вещи — возлюбить ближнего своего, как самого себя. Судя по его первым шагам в самостоятельной жизни, большая любовь к самому себе в нём отсутствовала. И к посторонним людям тоже. С Юлией Руновой отношения как будто бы складывались, но перспективы были неопределёнными. Теперь они жили в разных городах и каждый своей жизнью. В начале лета 1961 года между ними произошла даже серьёзная размолвка. Душевная боль была и, как он выразился, ощущалась «шрамом по шраму». Однако раздражение или хандра в нём отсутствовали. В компании сверстников он был разве что излишне саркастичен. Острый язык, ни на кого персонально не направленный, только выделяет человека и развлекает окружающих.

В те летние месяцы 1961 года Венедикт Ерофеев находился на духовном подъёме и, несмотря на то что предвидел, чем закончится его пребывание в очередном высшем учебном заведении, в тоску не впадал. Он был интеллектуально возбуждён и благодаря феноменальной памяти вспоминал до мельчайших подробностей своё пребывание в краю солёных озёр. Особенно библиотеку, книгами которой он свободно распоряжался. Всякие передраги, казалось, были позади. По крайней мере так ему представлялось. Самоуверенность оставалась при нём, как и желание,

переступив границу обыденного мира, оказаться снова в кругу гениев.

Он часто бывал в Москве, часами читал в Исторической библиотеке, а когда позволяло время, заезжал к своей тётушке, доброй и хлебосольной Евдокии Андреевне Карякиной. Вот что вспоминала о ней Тамара Васильевна Бушина: «Тётя Дуняша была человеком необычайной доброты, из тех редких людей, которые отдают последнее. Всю жизнь она кого-нибудь спасала — или от голода, или ещё от какой-нибудь беды»<sup>1</sup>.

Венедикт Ерофеев навещал тётю Дуню не только потому, что она его подкармливала. Его притягивал к ней её дар любви к людям, тот всплеск согревающей сердечности, в котором он нуждался и который почти не встречался у тех, с кем он общался в Москве и во Владимире. Таких людей, как Евдокия Андреевна, называют добрыми душами. Тамара Васильевна Гущина отмечает её особую роль в появлении у брата интереса к христианству: «Тётушка была очень верующей, и, возможно, не без её влияния Вена стал интересоваться вопросами религии»<sup>2</sup>.

Общаясь с ней, близким человеком, он узнавал многое о судьбах известных людей сталинской эпохи, в семьях которых, не имея никакого образования, была прислугой его добросердечная тётя Дуняша. Сейчас этот интерес к недавнему прошлому среди молодёжи пошёл на спад. Может, оно и к лучшему.

Напомню читателю, что Евдокия Андреевна вместе с маленькой дочкой Таней в 1913 году сбежала от сумасшедшего мужа в Москву к другу детства и юности Владимиру Ивановичу Архангельскому, победившему на Всероссийском конкурсе басов и назначенному протодьяконом храма Христа Спасителя. Неподалёку от храма находился дом причта, где ей нашлось

пристанище. Владимир Иванович занимал весь второй этаж, а третий этаж с 1918 года принадлежал регенту Александру Васильевичу Александрову<sup>[313]</sup>. Евдокия Андреевна какое-то время работала у него прислугой. Многие об этом удивительном верующем человеке (и не только о нём одном) узнал Венедикт Ерофеев от тётки Дуни. А. В. Александров сочинил музыку к гимну СССР и создал Ансамбль красноармейской песни Центрального дома Красной армии им. М. В. Фрунзе (ныне Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова).

Роскошная жизнь для постояльцев дома существовала недолго. Вскоре их уплотнили. Комнаты перегородили стенами из фанеры и ширмами. Вот таким примитивным способом отделили одну семью от другой<sup>3</sup>.

Мастерицей Евдокия Андреевна была на все руки, особенно искусной в кондитерском деле. У неё с течением времени появились в Москве полезные знакомства среди тех людей, кто в полной мере оценил её профессиональные навыки по ведению домашнего хозяйства и добрый нрав. В 1930-е годы она была прислугой у сестёр Гнесиных. А ближе к пенсии работала кондитером в ресторане «Прага».

Незадолго до взрыва храма Христа Спасителя (5 декабря 1931 года), величайшего памятника воинской славы русского народа, постояльцев дома, где когда-то обитал причт, разбросали по разным московским районам. Евдокии Андреевне повезло. Она с дочерью оказалась на 2-й Извозной улице, ныне Студенческой. Окно их комнаты выходило на Кутузовский проспект<sup>4</sup>.

Тётушка Венедикта Ерофеева была вроде домоправительницы в семье Артура Христиановича Артузова<sup>[314]</sup>, начальника Иностранного отдела ОГПУ. Жил он тогда с первой супругой Лидией Дмитриевной,

двумя дочерьми Лидией и Норой и сыном Камиллом в огромной квартире в Милютинском переулке. Евдокия Андреевна неоднократно лицезрела появлявшегося в этой семье ужасного Генриха Григорьевича Ягоду<sup>[315]</sup>, заместителя председателя ОГПУ (председателем тогда был Вячеслав Рудольфович Менжинский<sup>[316]</sup>) и одного из главных подручных Сталина по массовым репрессиям. Ягода иногда приходил в гости к Артузову. Как рассказывала тётя Дуня, они ей показались людьми обыкновенными, хотя по характеру и воспитанию разными. Артур Христианович был человеком деликатным и добродушным, а Генрих Григорьевич грубым и в поведении своём хамоватым. Но тот и другой не напоминали изуверов и садистов. Артур Христианович, хотя и родился в деревне Устиново Каширского уезда Тверской губернии, получил хорошее образование. В 1917 году он окончил металлургический факультет Петроградского политехнического института. В домашнем быту барина из себя не изображал. С Евдокией Андреевной был предельно вежлив.

Она рассказывала племяннику, как она пекла пироги с разной начинкой по случаю прихода Ягоды в гости к Артузову<sup>5</sup>. Настоящая фамилия Артузова — Фраучи. Его отец был сыроваром, родом из Швейцарии.

Ягоду расстреляли в 1938 году, а Артузова на год раньше — в 1937-м. Об аресте и казни Артузова нигде и никак не упоминали. Его фамилия отсутствовала среди «заговорщиков», названных Ягодой. Зато самого Ягоду поминали на каждом углу, проклинали и клеймили позором. Одного только никак не могла взять в толк тётюшка Венедикта Ерофеева: почему вместе с ними пострадала их родня? Мать Артура Христиановича, не вынеся этого удара, скончалась, его брата Артура, носящего их настоящую фамилию Фраучи, простого

рабочего артели «Древтара», арестовали и расстреляли как немецкого шпиона на полигоне НКВД в Бутове, второй брат, Виктор, чудом уцелел, перебравшись в Казань. Сына Камилла, талантливого музыканта, арестовали позднее, в 1941 году, когда он достиг совершеннолетия<sup>6</sup>. Куда больше людей погибло среди родственников Ягоды — 15 человек. Расстреляли его жену, племянницу Якова Свердлова, стариков-родителей, пятерых сестёр с мужьями. Пощадили только тещу, родную сестру Якова Свердлова. Но долго она не прожила, умерла за колючей проволокой. Чудом уцелел лишь один его сын Гарик, который пережил Сталина<sup>7</sup>.

Могу представить, что почувствовал Венедикт Ерофеев после прочтения пьесы Генрика Ибсена «Дикая утка». Предположу, что он задал самому себе вопрос: не сойдут ли с ума его сограждане, если на их головы обрушится вся правда о кошмарах ленинско-сталинской эпохи?

Теперь можно понять, почему он «запал» в конце 1950-х и в начале 1960-х годов на пьесы норвежских драматургов. Они были созвучны его тогдашним умонастроениям.

Действие пьесы Генрика Ибсена «Дикая утка» происходит в 80-х годах XIX века. В ней отсутствуют политические мотивы. На первый взгляд одна сплошная бытовуха. Её главные герои — правдолюбец и «целитель душ» Греггерс, сын богатого норвежского коммерсанта Верлс и его антипод, прагматик доктор Реллинг, гуляка и пьяница. Кроме них в пьесе присутствуют другие персонажи: Ялмар Экдал, давний школьный товарищ Греггерса, его жена Гина, её дочь Хедвиг и его отец старик Экдал.

Не буду пересказывать подробно весь сюжет. Упомяну лишь важное событие, предваряющее

развязку. Когда-то во время охоты Верлс подранил дикуую утку и отдал её старику Экдалу. Дикая утка прижилась в доме, стала ручной. Её полюбили старый Экдал и Хедвиг, но не Ялмар. Хедвиг оказалась дочерью Верлса, но с младенчества была воспитана Экдалом. Греггерс даёт ей совет, как вернуть любовь того, кого она считала своим отцом, — уговорить старого Экдала убить дикуую утку, к которой старик и девушка приязались и которую не терпит младший Экдал. Этот совет ни к чему хорошему не приводит. Ялмар Экдал всё равно выгоняет Хедвиг из дома, и она кончает жизнь самоубийством.

Основная идея пьесы: возможно ли рассчитаться с прошлым, разрушив его до основания, и тут же на руинах возвести прочное здание новой жизни? «Одержимость горячкой честности» главного героя Греггерса приводит к ещё большим трагедиям, чем те, что уже произошли. И всё же...

Обращусь к комментариям Венедикта Ерофеева. Вот что он записал по поводу пьесы «Дикая утка» в июле 1961 года: «Надо ли — с моральной точки зрения — открывать человеку глаза на истинное положение вещей? Ведь было же доверие и благоденствие, пусть даже и основанное на “недоговорённости” (по Греггерсу, “на лжи”). Что же из того? Честность Греггерса патологична. “У тебя с детских лет чахлая совесть. Это ты унаследовал от матери, Греггерс... Другого наследства она тебе не оставила”, — говорит сыну расвирепевший Верлс. Греггерс добивается своего. Ялмар Экдал наверняка сопьётся. Хедвиг кончает жизнь самоубийством. Простодушная грешница Гина — что с ней будет? Греггерс и в этом видит добрый знак. “Хедвиг умерла не напрасно. Видели вы, какое душевное величие проявил он (Ялмар. — А. С.) в горе?” — говорит он Реллингу. Просветление — процесс необратимый. И не приносит ничего, кроме страданий. Реллинг в

финале резонно замечает: “О, жизнь могла бы ещё быть довольно сносной, если бы только оставили нас в покое эти благословенные кредиторы, которые обивают у нас, бедных смертных, пороги, предъявляя к нам идеальные требования”. Грегерс: “В таком случае я рад своему назначению”. Реллинг: “Позвольте спросить, что это за назначение?” Грегерс: “Тринадцатого за столом”. Великолепно. Символ — дикая утка на чердаке дома Экдала. С 1884 года, с “Дикой утки” — вереница символических драм»<sup>8</sup>.

В контексте сказанного «тринадцатым» за столом мог быть только Иисус Христос.

В июльских блокнотах 1961 года Венедикт Ерофеев комментирует ещё одно произведение Генрика Ибсена: «Прочитал “Привидения”. То, что затронуто в “Кукольном доме” циничными репликами доктора Реллинга — здесь становится темой. “Грехи отцов падают на детей”. В финале последнего, третьего действия Освальд кричит матери, фру Алвинг: “Я не просил тебя о жизни. И что за жизнь ты мне дала? Не нужно мне её! Возьми назад!” Освальд лишается рассудка: глупо, беззвучно шепчет, лицо бессмысленно, взор тупо уставлен в пространство. И — вечная ибсеновская тема. Пастор Мандерс — сторонник “идеалов”, фру Алвинг — “истины”. Символика — горит приют памяти камергера Алвинга. “Это суд над домом смуты и разлада” (пастор Мандерс)»<sup>9</sup>.

Общение с тётёй Дуняшей для Венедикта Ерофеева было праздником души. Рассказывая о страшных судьбах хорошо знакомых ей людей, горя по ним и жалея их детей, она не преисполнялась злобой и ненавистью к тем, кто творил эти несправедливые дела по приказу главного злодея и пытался унижить её веру в Христа. Единственным крошечным утешением были для неё Его увещания: «А Я говорю вам: любите врагов



ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5: 44).

Вот подобной крепкой веры, как у его тётушки, Венедикт Ерофеев не обрёл ни тогда, ни позднее. Не мог он оправдать зло какими-то извиняющими и объективными причинами. Простить и навсегда забыть. Будто ничего такого не было вовсе. Ведь это зло творилось в достаточно удалённом от него времени. Венедикт Ерофеев знал, что закрыл он на эти зверства глаза, и сам неминуемо станет соучастником давних преступлений. Он был всецело солидарен с Генриком Ибсеном: «Грехи отцов падают на детей».

Наступило 1 сентября 1961 года. Первый день занятий на филологическом факультете Владимирского государственного педагогического института им. П. И. Лебедева-Полянского. Настроение Венедикта Ерофеева было приподнятым. Появившись среди студентов, он боковым зрением видел, какие восторженные взгляды бросают на него девушки. Вот что об этом девичьем переполохе написала Лидия Любчикова, жена Вадима Тихонова, которому Венедикт Ерофеев посвятил поэму «Москва — Петушки». Сама она этой картины не наблюдала (познакомилась с Венедиктом Васильевичем только в 1964-м), а восстановила с чужих слов, по рассказам знавших его студенток: «В пединституте он был “первым парнем на селе”, — в него там влюблялись все поголовно, мне потом перечисляли девиц, которые прямо-таки драму переживали. И Бен этот свой статус ценил. В юности он был очень добродушен и деликатен, никогда он никого резко не отталкивал. И у него, по моему, были романы, но не знаю, насколько они его глубоко трогали»<sup>10</sup>.

Думаю, что слухи о романах Венедикта Ерофеева того времени преувеличены и не стоит к ним прислушиваться. Он хранил верность своей Юлии Руновой и на сомнительные любовные интрижки не разменивался. Некоторые мемуаристы даже утверждают, что в то время он поражал всех своим женоненавистничеством<sup>11</sup>. Большой интерес, чем девушки, в течение почти шести месяцев начиная с сентября 1961 года вызывали у него беседы за кружкой пива с Игорем Ивановичем Дудкиным<sup>[317]</sup>, преподавателем марксистско-ленинской философии. Человек он был бывалый и заслуженный. Воевал в танковых войсках на 2-м Украинском фронте, получил ранение в бедро под Кировоградом. Его репутация у студентов была лучше не пожелать — преподавателя милосердного и человеколюбивого. Игоря Ивановича даже называли «наш друг студентов» по аналогии с Жаном Полем Маратом (1743—1793), у которого, как известно, было прозвище «Друг Народа». Приведу воспоминания о нём его бывшей студентки Ольги Евдокимычевой (Новицкой), опубликованные во Владимире в 2018 году в сборнике «Путешествие в обратном». Книга про филфак»: «На лице всегда приветливая улыбка. Глаза лучатся добротой. Речь пересыпана шутками и остротами, и нам так нравилось с ним поговорить...»<sup>12</sup>

Сколько в то время было людей, подобных Игорю Ивановичу Дудкину. Милых, сердечных, интеллигентных, которые в годы войны совершали подвиги, а в послевоенное время, если не были фанатиками, трезво оценивали режим, держали нос по ветру и устраивались куда полегче — например, преподавателями истории КПСС и марксистско-ленинской философии. Типаж хорошо известный и

воссозданный не только русскими писателями, но и писателями из бывших республик СССР.

Венедикт Ерофеев на первых порах был преисполнен энтузиазма. Он написал две статьи для «Учёных записок Владимирского пединститута». Выполнил довольно-таки быстро то, что предложила ему Раиса Лазаревна Засьма. Эти были статьи о творчестве норвежского писателя Генрика Ибсена. Они были отвергнуты и пропали. Однако в блокнотах и тетрадках Венедикта Ерофеева с мая по август 1961 года сохранились его размышления о драмах Бьёрнстjerne Бьёрсона «Банкротство», «Редактор», «Перчатка»<sup>13</sup> и Генрика Ибсена «Борьба за престол» и «Бранд»<sup>14</sup>, «Император Юлиан»<sup>15</sup>, «Кукольный дом»<sup>16</sup>, «Дикая утка»<sup>17</sup>, «Привидения»<sup>18</sup>, «Столп общества»<sup>19</sup>, «Враг народа»<sup>20</sup>, «Росмерсхольм»<sup>21</sup>. Не надо долго гадать, чтобы понять, что это были черновые наброски будущей статьи о пьесах Генрика Ибсена.

Ерофеевские обзоры пьес Ибсена между тем не содержали ничего крамольного. Ведь не об «Окаянных днях» Ивана Бунина или «Несвоевременных мыслях» Максима Горького писал молодой литературовед! Однако они напугали и насторожили Ларису Лазаревну Засьму намного больше, чем эти два названных мною произведения, ибо своими аллюзиями драмы Генрика Ибсена непосредственно затрагивали самое актуальное в тогдашнем советском обществе, о чём говорили вполголоса, а иногда и громко — судьбу фантазмагорического мира, ещё вчера находившегося под властью Сталина.

Обсуждение двух статей Венедикта Ерофеева о Генрике Ибсене совпало с появлением 21 октября 1961 года в газете «Правда» стихотворения Евгения Евтушенко «Наследники Сталина». Сам факт публикации этого стихотворения на страницах главной

партийной газеты стал мировой сенсацией, как и незадолго до этого вынос тела вождя всех времён и народов из мавзолея. Далеко не всем понравилось ничем не прикрытое поругание памяти великого вождя: одни радовались, а другие угрожающе хмурили брови. Прошло всего восемь лет после его смерти<sup>[318]</sup>.

Пьесы Генрика Ибсена, выбранные Венедиктом Ерофеевым для двух его статей, особенно такие как «Кукольный дом», «Столп общества» «Враг народа», были не просто пьесами, а социальными манифестами<sup>22</sup>.

Вот почему Раиса Лазаревна Засьма восприняла эти статьи Венедикта Ерофеева как *штудии* с явным антисоветским душком. И была в этом, по существу, права. Статьи были признаны «методологически негодными» и отправлены в корзину. Раису Лазаревну можно было понять, зная недавние мытарства её мужа и тот многолетний страх, который в ней существовал. У неё уже не хватало сил его перебороть. Она искренне надеялась, что Венедикт Ерофеев, филолог от Бога, поймёт, что к чему, начнёт прилежно учиться и больше не будет создавать проблем своим благожелательным наставникам, обращаясь к чуждым марксистскому духу манифестам. Но не так-то было просто унять строптивого школяра. Он решил по-серьёзному взбаламутить воду в тихом омуте. Но, увы, тогда ещё имя Венедикта Ерофеева не гремело по стране, как имя Евгения Евтушенко! Сам он не относился к поклонникам таланта поэта. Единственное, что их сближало, — это оглушительный успех у женщин.

Евгений Шталь пишет в статье «Венедикт Ерофеев во Владимире»: «Потом начались пропуски занятий (несмотря на пропуски, учился Ерофеев только на “отлично”), выпивки и — страшный криминал по тому

времени — в общежитии у Ерофеева обнаружили Библию»<sup>23</sup>.

Вернусь к последовательности событий, происходивших в период обучения Венедикта Ерофеева во Владимирском пединституте. В сентябре, чуть ли не с первых дней своего студенчества, он не пропустил ни одного заседания философского кружка, который вёл Игорь Иванович Дудкин. Потом ему порядком поднадоели эти встречи, его утомило одно и то же бесконечное разоблачение чуждых философских идей, существовавших в немарксизме или в так называемом ложном марксизме. Как образно выразился философ Андрей Александрович Береславский, «на брезентовом поле советской философии не возшло ни одного алюминиевого цветка». И ещё на одно принципиальное различие между схоластикой и марксизмом он обратил внимание: «Схоластика была жёсткой системой. Занимающийся богословием всегда ходил по краю, с риском быть в любой момент обвинённым в ереси. Тем не менее система была ориентирована позитивно: предполагалось, что схоласт ищет истину, уточняет и развивает её, а опровержение лжи является подчинённым моментом. <...> К собственному своему содержанию советский марксизм старался без надобности не обращаться, чтобы не провоцировать возникновение новых ересей. Всё сколько-нибудь интересное сразу записывалось в идеологически невыдержанное — просто потому, что оно интересно. В этом, наверное, можно усмотреть некое подобие “народно-православного” представления о грехе: всё приятное грешно и недозволительно уже в силу того, что оно приятно»<sup>24</sup>. Венедикт Ерофеев «пошёл в народ». С помощью богословия он попытался просветить умы своих «тёмных» обожательниц. Кстати, ещё в Орехово-Зуевском пединституте Венедикт

Ерофеев удивлял своих товарищей своим благопристойным поведением, начитанностью и знанием Библии, о чём вспоминает Виктор Евсеев: «Больше всего меня поразило полное отсутствие в его лексиконе не только матерщины, но и всяческих слов-паразитов, которыми грешили мы. Вскоре стало ясно, что Венька очень начитан и знает гораздо больше нас. Особенно нас поразили его познания Библии, которыми он пользовался иногда в споре с кем-нибудь из товарищей. Его аргументами в споре, как правило, были цитаты из Евангелия, о котором мы, полностью погруженные в коммунистическую атмосферу, тогда и не слыхивали. Мы просто были атеистами и с ходу отрицали всё религиозное. Для нас его углубления в религию и чуждую нам философию были более чем странными»<sup>25</sup>. Проповедническое усердие Венедикта Ерофеева среди студенческой молодёжи Владимирского пединститута только усилилось и было столь велико, что о нём по институту пошёл слух как о «засланном казачке» из семинарии. Среди его паствы преобладали девушки, к которым он был некоторое время безразличен. Переживал конфликт с Юлией Руновой.

У девушек же на Венедикта Ерофеева был другой взгляд. Они смотрели на него, красивого и талантливого, как на перспективного жениха. Он сам, из плоти и крови, заинтересовал их намного больше, чем та неосязаемая мудрость, которую он безуспешно пытался бережно внести в их легкомысленные головы. Венедикту было забавно называть своих поклонниц не по имени, а «чаще всего по цветовой гамме одеяний, в которых они появлялись в его комнате»<sup>26</sup>.

Валерий Берлин пишет: «Зелёной феей с чёрными глазами была вечно несчастная Нина Ивашкина. Хрупкую и чахоточную девушку Свету Венедикт

называл “серой”. Неизменным участником ерофеевских “объединений” была “белая падшая женщина” кандидат наук — Наина Николаева, “Оранжевая студенточка” Садкова постоянно делилась с Ерофеевым своей неразделённой любовью к доценту с кафедры языкознания. В спектре его свиты была и “синяя” Миронова, которая любила “за глаза” развенчивать своих подруг и уверяла Ерофеева, что вообще сторонится людей и любит “только природу”. Приблизил к себе Ерофеев и безнадёжно влюблённую в него “фиолетовую умницу” Тяпаеву, не было у Венедикта только чёрной девушки. И Валентина Зимакова поспорила с подругами из своей комнаты, что она тоже будет одним из цветов ерофеевского спектра. В чёрном, облегаящем её пышную фигуру платье она могла часами задумчиво сидеть в комнате Ерофеева, не вступая ни в один из ведущихся там жарких диспутов. И скоро она была оценена и полюблена Венедиктом...»<sup>27</sup>

Игорь Авдиев изобразил участников ерофеевского семинара с присущей ему экспрессивностью стиля и откровенностью мысли:

«Слушателями семинара были будущие персонажи поэмы “Москва — Петушки” Борис Сорокин, Владик Цидринский... Девушки. Им дали имена как “звукам” поэта Артюра Рембо: Фиолетовая — очень симпатичная, сырая русская деваха. Как все сырые русские девахи, готова была на всё: приходила, сидела у Вени в ногах, млела и ничего не понимала. Нежная платоническая Белая. Оранжевая — скучная до интеллигентности. Слушала-слушала, изнемогала и бегала в постель к преподавателю фольклора. Её уличали, убеждали: нельзя спать с дураком! Она былинно себе изумлялась. Зелёная — у неё “было столько бровей, что хоть часть из них” (см. “Василий Розанов”) она поднимала — влип и

обаяние на смерть. Серая была влюблена в Венедикта безумно. Все цветастые были нравственные экстремистки, но готовые на всё со всех сторон — физической, духовной и мистической. У русских девок это уживается. А Веня любил эти контрастности и умел любить всех девок, не отталкивая ни одной. Вспоминая любимого Венедиктом Игоря Северянина, то принцесса Юния де Виатро, то Вероника, то Инстасса въезжали к Веничке на вороном:

Лишь ты, мечтанный мой, мой светозарный,  
Впусти не в очередь к себе меня!

...Чёрной было к лицу всё чёрное. Чёрной была Валентина Зимакова. Рыжие волосы в тяжёлой косе до попы. Глаза зелёные в крапинку — непросохшая акварель, издевательски смешливая, с заманиванием. Каждое движение её красивого тела начиналось как бы лёгким испугом и пластично угасало, затаивалось в ленивой величавости. Она была комсомолка, отличница и — ведьма. Она стала женой Венедикта и матерью сына — тоже Венедикта. Но Веничка всегда оставался женоненавистником. Он почитал Августа Стриндберга и Фридриха Ницше, хотя неразумное сердце звало то лютеровскую девку-умницу, то Эдварду (“Не будет человека более счастливее меня в тот день... И когда меня тянет уехать, сама даже не знаю куда”). Илаяли... — Илаяли! Принцесса Илаяли! И она откликалась. Припечаленная с пристаныванием, безысходно затуманенная, со смертною нуждою любить — не на живот, а на смерть. Как же было не любить их, как не губить! “Знать судьба-а-а моя такая”, — взвивался голос Надежды Обуховой.



Дайте мне девушку синюю-синюю,  
Я проведу на ней жёлтую линию, —

распевал Вадя Тихонов. Женоненавистничество — это была юношеская личина. Но и всякий нежный человек робеет, как Веничка, перед Такой девкой. Павлово-Посад, Орехово-Зуево, Петушки. Почва — песок зыбучий, глина склизкая и болота, болота — из-под ног уходят. Вот где родятся эти девки! Вот к ней-то и ехал Веничка в поэме “Москва — Петушки”. Она была “девкой”, — женой Валентиной, она была орехово-зуевской комсомолкой Юлией Руновой (помните, младенец знал только букву “ю”...), она была Машкой из винного отдела в Железнодорожном... “Я... раздвоен, я... расстроен, расчленен, распят...”»<sup>28</sup>.

По записям в блокнотах конца 1961 года и первых трёх месяцев 1962 года помимо Юлии Руновой появилось ещё шесть влюблённых в него девушек. Среди них Нина Солдатова и Валентина Зимакова. Выяснение с ними отношений продолжалось почти четыре месяца.

18 января 1962 года Венедикт Ерофеев делает в своём дневнике запись: «Беседа с деканом. “Вы не имеете права учиться здесь, Ерофеев. Если даже постоянно будете отличником. Надеюсь, вы меня понимаете. Послезавтра, в субботу, вы должны прийти ко мне и сказать своё слово. Вы самый заметный человек в институте, вы это знаете” и т. д.

Решаем с Ивашкиной, если меня в субб[оту] выгонят, перепиваемся в стельку»<sup>29</sup>.

Итак, произошло ещё одно удивительное событие из множества других в жизни Венедикта Ерофеева. Он

привлѣк к себе внимание огромного количества людей. Как преподавателей, так и студентов. Не только привлѣк, но и держал их в течение нескольких месяцев в постоянном напряжении и недоумении: «А что, собственно говоря, происходит на их глазах?» Такого нарушения привычного хода учебного процесса не случилось во Владимирском педагогическом институте никогда.

## **Глава четырнадцатая** **ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДВОЕМЫСЛИЮ**

Не сосчитать, сколько якобы добрых самаритян толпилось вокруг Венедикта Ерофеева, как только он появился в Москве. Затем поменял Москву на Орехово-Зуево, а Орехово-Зуево на Владимир. С новым переездом из города в город число его доброхотов росло. Каждый из них, включая преподавателей МГУ, пытался направить его, как они думали, на праведный путь. Путь этот разве что издали казался ровным, а вступивший на него уже с первых шагов всякий раз натыкался на рытвины и колдобины. Разумеется, я употребил эти слова в иносказательном смысле. Они означают, что жить в тоталитарном обществе благостно и комфортно, как ни старайся, просто невозможно, если хотя бы изредка не идти на компромиссы и не кривить душой. Венедикту Ерофееву было проще вести жизнь скромного работяги. Но при этом выбрать такой вид деятельности, который позволял бы ему не находиться долго на одном месте. Такую работу он в конце концов нашёл. Но произошло это только в 1965 году.

Чем беднее живёшь, тем лучше, думал он. Чувствуешь себя свободнее и независимее. Поступать во Владимирский пединститут он пришёл в галошах, другой обуви просто не было, а по Владимиру ходил в спортивных тапочках на босу ногу. Все вокруг думали, что он форсит. Ведь на нём были модные тогда брюки-дудочки. Купив их, он остался без ботинок. Постоянное хождение в спортивных тапочках закончилось для него медицинским диагнозом: «инфицированная поверхность левой стопы».

В перерывах между переходами из одного высшего учебного заведения в другое он наблюдал жизнь низов советского общества, проходившую при отсутствии самого элементарного комфорта. Что-то, конечно, неизменно изменилось со времени Николая I. Именно в годы обучения Венедикта Ерофеева на филологическом факультете МГУ он прочитал краткий пересказ с обширными цитатами из книги маркиза Астольфа Луи Леонора де Кюстина<sup>[319]</sup> о николаевской России под названием «Записки о России французского путешественника маркиза де Кюстина, изложенные и прокомментированные В. Нечаевым». Они были изданы впервые у нас в 1910 году и переизданы в 1931 и 1990 годах. Венедикт Ерофеев прочитал одно из этих изданий в Государственной исторической библиотеке, учась на первом курсе филфака МГУ, но потом ещё не раз к этой книге возвращался, о чём свидетельствуют его «Записные книжки». В полном виде два тома труда маркиза де Кюстина были выпущены в свет только в 1996 году издательством Сабашниковых. Представляю, какие безрадостные и неоднозначные чувства вызывали в нём наблюдения французского путешественника. Например, вот это: «Русские до сих пор верят в силу лжи, и меня удивляет эта иллюзия у людей, которые так часто прибегали к ней. Не то, чтобы их ум был лишён остроты и понятливости; но в стране, где *правители* (курсив К.) ещё не поняли преимуществ свободы, даже для самих себя, управляемые должны отступать перед непосредственными неудобствами искренности. Приходится повторять каждую минуту: здесь все, народ и вельможи, напоминают нам византийских греков»<sup>1</sup>.

Его друзья-«русофилы» это сочинение (как будто оно появилось в печати только вчера) воспринимали как злостную и подлую клевету на русское общество в совокупности всех входивших в него слоёв населения.

Конечно, кого угодно из патриотически настроенных русских могли возмутить такие рассуждения маркиза, как, например, вот это: «И я говорю себе: вот люди, вышедшие из дикого состояния и потерянные для цивилизации, и вспоминается мне страшное слово Вольтера или Дидро, забытое во Франции: “русские сгнили, не дозрев”»<sup>2</sup>.

В утешение себе Венедикт Ерофеев не раз вспоминал реакцию Фёдора Тютчева и Фёдора Достоевского на путевые заметки француза маркиза де Кюстина. А именно то, что не увидел этот француз выстраданную несправедливым и измученным русским народом особую близость к Христу. То, о чём говорит князь Мышкин в романе Достоевского «Идиот»: «Надо, чтобы воссиял Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали! Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать перед ними, и пусть не говорят у нас, что проповедь их изящна...»<sup>3</sup>

Венедикт Ерофеев понял, что одной образованностью умнее и счастливее не станешь. Противоречия жизни одной наукой не объяснишь, а только в них окончательно увязнешь. Накапливаемые им с каждым проходящим годом книжные знания только увеличивали его внутренний протест против ежедневного вранья. Та же начитанность останавливала его в радикальных действиях. Не хотел он походить на фанатиков вроде Ленина и его ближайших соратников. Знал, чем это всё кончается. Сталина, кстати говоря, он таким фанатиком не считал<sup>4</sup>. Думаю, что Венедикт Ерофеев прислушался к совету чтимого им Фёдора Тютчева. Поэт писал своей дочери Анне Аксаковой: «Только правда, чистая правда и беззаветное следование своему незапятнанному

инстинкту пробивается до здоровой сердцевины, которую книжный разум и общение с неправдой как бы спрятали в грязные лохмотья. Следует определить, какой час дня мы переживаем в христианстве. Но если ещё не наступила ночь, то мы узрим прекрасные и великие вещи»<sup>5</sup>.

Правда у Венедикта Ерофеева была одна-единственная — вот что вселяло в него силы и, несмотря на присущую ему осторожность, делало бесстрашным.

Он наконец-то почувствовал, что «девичник», в который постепенно превращался его полуподпольный философский кружок, где он рассказывал о христианстве, о Николае Бердяеве и Василии Розанове, это совсем не то, о чём он мечтал. Ерофеев не обольщался показным интересом симпатичных студенток к его импровизированным лекциям, зная, «где хиханьки да хаханьки, там мозги набекрень». Некоторые юноши, забредшие на его разговоры и диспуты, не изменяли атмосферу кокетства и перемигиваний, а напротив — её усиливали. К тому же в общежитии пединститута поселились два раскованных в общении и на вид симпатичных парня. Одного называли Миша Француз, а другого, по национальности осетина, почему-то Греком. Такое вот было у него прозвище. Один играл на саксофоне в институтском оркестре, а другой — на гитаре. К тому же они пели чувственные романсы. Понятно, что от этих двух типов поклонницы Венедикта Ерофеева, как говорят в Одессе, окончательно «поехали мозгами».

Спасти создавшуюся ситуацию было по силам только молодым людям с идеями в голове. Таковые в конце концов обнаружались, но не сразу. Привёл их к нему не скопом, а по отдельности Борис Сорокин, ныне священнослужитель, дьякон храма преподобного

Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве. В то время он учился в том же, что и Венедикт, институте и на том же факультете и курсе. Встреча и последующая дружба с Венедиктом Ерофеевым изменили его жизнь. А благодаря новому «кружковцу» у писателя, задолго до его всемирной известности, появилась «свита», состоящая из друзей Бориса Сорокина. Всё-таки, несмотря на неприятие Венедиктом Ерофеевым романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», от воздействия этого произведения он не уберёгся. Напомню читателю: свиту Воланда составляют Кот Бегемот, Коровьев-Фагот, Азazelло и девушка-вампир Гелла. Об inferнальных ролях каждого из этих трёх персонажей я говорить не буду. Кем-кем, а уголовниками Венедикт Ерофеев и его трое друзей не были. Тем более голову никому не отрывали. В общем, параллели с небесами и магией тут не уместны.

Со временем и многолюдная владимирская свита (или эскорт) Венедикта Ерофеева сначала сократилась до шести человек, а затем до трёх мужчин и одной женщины. В окончательном виде она состояла из Бориса Сорокина, Игоря Авдиева и Вадима Тихонова с его женой Лидией Любчиковой. Ничего предосудительного Венедикт Ерофеев и его свита не совершали, если не считать ночного орошения ступенек лестницы, ведущей к двери горкома комсомола во Владимире. Может, были и другие проказы, но мне они не известны. Обращусь к рассказу Бориса Сорокина о том, как он познакомился с Венедиктом Ерофеевым и какой у него с ним состоялся разговор.

Это событие произошло в комнате общежития в середине октября 1961 года: «Я робко постучался. За столом сидел молодой человек. С модным набриолиненным коком на голове, в клетчатом пиджаке и белой рубашке. Венедикт показался мне довольно импозантной фигурой. На нём были узенькие, модные

тогда, брюки-дудочки. А на ногах, как ни странно, спортивные тапочки. Около него дымился эмалированный чайник. В газете угадывалась завёрнутая буханка чёрного хлеба, а в маленьком кульке — сахарный песок. И во всём облике сидевшего чувствовались одновременно и бедность, и интеллигентность. Оторвав глаза от “Философских этюдов” Мечникова, Венедикт вопрошающе посмотрел на меня своими маленькими, медвежьими и очень пронизательными глазами. Мы познакомились. Я к тому времени считал себя умненьким мальчиком и захлёб стал делиться с Ерофеевым своими ощущениями от недавно прочитанной “Диалектики природы” (незаконченный труд Ф. Энгельса. — А. С.). Но Венедикт меня раздражённо прерывает: “Да что же ты, Сорокин, всё мне энгельсовщину да чернышевщину порешь”. — “Ну, а что вы можете мне возразить, — не унимался я, — что прекрасное есть некий образ абсолютной полноты жизни”. — “Что могу тебе возразить?” — Венедикт интересно пошевелил губами. (В первые минуты знакомства он ещё не осмелился меня вслух обматерить). — “А вот что, — непринуждённо продолжал он. — Иконы византийские с их многочисленными сценами Страшного суда видел, надеюсь? А ведь это скорее образцы человеческого уродства, где же здесь красота и полнота жизни? Но любой искусствовед скажет, что они прекрасны!”<sup>6</sup> Никаких византийских икон я не видел, но принял это к сведению<sup>[320]</sup>. Потом мне пришлось принять к сведению почти всё, что говорил мне Веня. Многие вещи, о которых я даже не подозревал... философия, литература, религия — всё это я взял у Вени. Почти всё. И до сих пор этим пользуюсь. Можно сказать, что своим образованием я обязан ему. Во Владимире совсем недавно (в 1960) вышел сборник Андрея Вознесенского



“Мозаика”, и я начал было читать понравившиеся мне стихи, но снова попал под охлаждающий душ ерофеевского негодования. — “Не там ты ищешь, Сорокин, ты же совсем не знаешь предшественников его”. Потом, когда я стал часто заходить к Ерофееву, он знакомил меня с поэзией Серебряного века, каждый раз чем-то ошарашивая. Помню, например, из Брюсова: “Тень несозданных созданий / Колыхается во сне, / Словно лопасти латаний / На эмалевой стене”. Тогда же, (а может быть, и в одну из последующих встреч) Венедикт вынул из тумбочки Библию и сказал: “Вот, Сорокин, единственная книга, которую ещё стоит читать”. Я ужаснулся и подумал: “Как же так, он читает Мечникова и так говорит про Библию?” Уходил я от него сильно озадаченный, одновременно с симпатией и страхом».

В это же время во Владимирском пединституте учился Игорь Авдиев, приятель Бориса Сорокина. Его биографию достаточно полно восстановил Евгений Шталь в своей книге «Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение». Игорь Авдиев был на девять лет моложе Ерофеева. Высокие и широкоплечие (широкоплечим Ерофеев не был), внешне они выделялись среди других. При их росте (Игорь метр девяносто семь, а Венедикт метр восемьдесят семь) это было сделать нетрудно. К тому же в биографиях того и другого обнаружилось много общего. Отца Игоря, Ярослава Юрьевича, арестовали и осудили в 1947 году, за несколько месяцев до рождения сына. Во время войны он воевал в танковых войсках, занимался разработкой оружия. После победы работал в конструкторском бюро. Мать Зинаиду Алексеевну из Москвы вскоре выслали. Так они очутились во Владимире. Как только Сталин умер, отец вернулся из заключения. Семья какое-то время жила в Москве. Три класса Игорь Авдиев проучился в московской школе. В

1958 году семья снова переехала во Владимир. Игорь был способный и разносторонне развитый мальчик. Соединял в себе любовь к чтению и спорту, что у юношей встречается не часто. У него был 1-й юношеский разряд по баскетболу и 3-й разряд по стрельбе. После смерти отца в середине 1960-х годов мать Игоря вышла замуж за генерала Колокольцева. Евгений Шталь сообщает удивительный факт из жизни Венедикта Ерофеева. Как он спас Игоря Авдиева от смерти, когда тот решил покончить жизнь самоубийством — броситься под колёса поезда. К сожалению, исследователь не сообщает, какие жизненные обстоятельства и причины сопутствовали этому безумному решению. Зато важен его вывод, что именно Венедикт Ерофеев обратил Игоря Авдиева к религии и приобщил к чтению Нового Завета.

Позднее черты внешности Игоря его друг использовал для своих искромётных каламбуров. Вроде следующих: «Игорь Авдиев, длинный, как жизнь акына Джамбаева [\[321\]](#), бородатый, как анекдот»<sup>7</sup>; «Мы с Авдиевым оба длинные.

Но он длинен, как декабрьская ночь, а я — как июньский день»<sup>8</sup>; «Он самый строгий и длинный из нас, как литургия Василия Великого — самая длинная и строгая из всех литургий»<sup>9</sup>.

Вадим Тихонов появился в окружении Венедикта Ерофеева в середине ноября 1961 года как человек, предоставивший ему «политическое убежище». Вот как вспоминал этот эпизод Венедикт Ерофеев в разговоре с журналистом Леонидом Прудовским: «Во Владимире, когда мне сказали: “Ерофеев, ты больше не жилец в общежитии”. И приходит абсолютно незнакомый человек и говорит: “Ерофейчик. Ты Ерофейчик?” Я говорю: “Как то есть Ерофейчик?” — “Нет, я спрашиваю: ты Ерофейчик?” Я говорю: “Ну, в конце концов,

Ерофейчик”. — “Прошу покорно в мою квартиру. Она без вас пустует. Я представляю вам политическое убежище”»<sup>10</sup>.

Серьёзные для Венедикта Ерофеева проблемы начались с обнаружения Библии в его тумбочке в комнате общежития. О том, что за этим обыском последовало, он позднее рассказал Ирине Тосунян, журналистке «Литературной газеты»: «Учился и во Владимирском пединституте, на том же факультете, так же отлично и недолго. Тихонечко держал у себя в тумбочке Библию. Для меня эта книга есть то, без чего невозможно жить. Я из неё вытянул всё, что можно вытянуть человеческой душе, и не жалею об этом. А тех, кто с ней не знаком, считаю чрезвычайно несчастным и обделённым. Библию я знаю наизусть и могу этим похвалиться. Спустя какое-то время книгу в моей тумбочке обнаружили, и началось такое!.. Я помню громадное всеобщее собрание института»<sup>11</sup>.

Дальнейшие события развивались не быстро и не медленно. Со средней скоростью. Новый год Венедикт Ерофеев провёл в постели. У него обнаружилась ангина. Лежал на диване Вадима Тихонова, подперев голову рукой и окружённый галдящим народом. К нему пришла почти вся его женская гвардия.

От Юлии Руновой была получена поздравительная телеграмма по случаю Нового, 1962 года. Уже 4 января он успешно сдал первый зачёт зимней, сессии. 15 января сдал экзамен на «отлично» по «Введению в языкознание» Анатолию Михайловичу Иорданскому<sup>[322]</sup>. Это был настоящий триумф Венедикта Ерофеева. Полсотни ребят и сотня девушек встретили его овацией во дворе института. Как пишет Валерий Берлин, пятикурсники утверждали, что «за всю историю института не было ещё такого случая, чтобы такая масса людей ждала с экзамена одного человека»<sup>12</sup>.

Получить у Иорданского «отлично» было делом нелёгким<sup>13</sup>.

Об экзаменаторе Анатолии Михайловиче Иорданском существует биографическая справка в книге Евгения Шталя «Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение». Это был преподаватель по своим знаниям и научным интересам не чета декану Ларисе Лазаревне Засьме, которая читала курсы «Введение в литературоведение», «Русская литература XIX века (вторая половина)», «Русская литература XX века», «Советская литература». Она вела спецсеминары по творчеству Максима Горького, Алексея Николаевича Толстого, Владимира Маяковского и Леонида Максимовича Леонова<sup>[323]</sup>, истории советского романа<sup>14</sup>.

Назову темы лекций, которые читал студентам Анатолий Михайлович Иорданский: «История русского языка», «Диалектология», «Историческая грамматика русского языка», «Лексикология». Да и биография его была не совсем идеальной для отдела кадров. Сын сельского священника, исключённый в 1929 году из-за социального происхождения из Ярославского педагогического института, где учился на четвёртом курсе. Был направлен каменщиком на строительство железнодорожного моста через Волгу в Костроме (март 1930-го — апрель 1931 года). Затем работал учителем начальных классов, в текстильном техникуме, в средней школе. Заочно окончил в 1936 году Ярославский педагогический институт, из которого ранее был изгнан. Потом, в 1937 году, поступил в аспирантуру на кафедру славяно-русского языкознания Московского института философии, литературы и истории<sup>15</sup>. Там он учился у знаменитых лингвистов Дмитрия Николаевича Ушакова<sup>[324]</sup> и Афанасия Матвеевича Селищева<sup>[325]</sup>.

С триумфом сданный экзамен не спас Венедикта Ерофеева от исключения. Как утверждал позже ректор

института Борис Фёдорович Киктёв, он был вынужден его отчислить под давлением силовых органов. А каких именно, КГБ или МВД, он не уточнил.

Сваливать все собственные карательные действия на органы проще простого. Какие-либо документы о давлении с их стороны отсутствуют. А вот в наличии имеются некоторые «бумаги» местного производства: докладная декана филфака Засьмы, справка Дудкина, приказ Киктёва, заявление Зимаковой, решение комсомольского собрания института. Все эти «бумаги», хранящиеся по сей день в архиве Владимирского педагогического института, были обнаружены Евгением Шталем.

Начну по порядку с докладной записки Раисы Лазаревны Засьмы. Зная биографию её семьи, необходимо проявить к ней снисходительность. Воспроизвожу этот документ, адресованный ректору института Б. Ф. Киктёву, в некотором сокращении из книги Евгения Шталя «Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение»:

«Настоящим довожу до Вашего сведения, что студент филологического факультета, гр. Я-11 Ерофеев В. И. [именно так! — Шталь] за время своего пятимесячного пребывания в институте зарекомендовал себя человеком, душевный, моральный облик которого не соответствует требованиям, которые предъявляются ВУЗом к будущему воспитателю молодого поколения. Об этом говорят следующие факты:

1. В октябре месяце Ерофеев был выселен из общежития решением общего собр[ания] и профкома ин-та за систематические нарушения правил внутреннего распорядка: выпивки, отказы от работы по самообслуживанию, неуважение к товарищам, чтение и распространение среди студентов Библии, привезённой им в общежитие, якобы “для изучения источников

средневековой литературы”, грубость по отношению к студентам и преподавателям.

2. Ерофеев неоднократно пропускал занятия по неуважительным причинам. Всего им пропущено по наст[оящее] вр[емя] 32 часа. И, хотя после выговора, полученного в деканате, и неоднократных предупреждений, он последующее время [не] пропускал лекции, но занятия по уч[ебному] кино и физвоспитанию не посещал до конца.

3. Ерофеев оказывает самое отрицательное влияние на ряд студентов 1-го и старших курсов (на Модина, Сорокина, отчасти Люзикова, Авдошина, Зцмакову, Ивашкину и т. д.), благодаря систематическим разговорам на “религиозно-философские” (так он их называет) темы. Скептическое, отрицательное отношение Ерофеева к проблемам воспитания детей, к ряду моральных проблем, связанных со взаимоотношениями людей, извращённые, методологически неправильные несостоятельные взгляды Ерофеева на литературу (его будущую специальность), искусство, анархические, индивидуалистические взгляды на смысл и цель собственной жизни, некрасивое поведение в быту, бесконечная ложь в объяснениях того или иного поступка, всё это делает невозможным дальнейшее пребывание Ерофеева в ин-те»<sup>16</sup>.

«Друга студентов» Игоря Ивановича Дудкина, как он признавался в наше, более просвещённое время, сильно прижали. Кто это сделал, он не уточнил. Убеждён, что атаку немецких фашистов он отбил бы, а вот перечить начальству оказалась кишка тонка. Он написал то, что от него ожидали, забыв о пивных возлияниях с Венедиктом Ерофеевым. Приведу основные тезисы его объяснительной записки: «Мне пришлось случайно беседовать со студентом 1 -го курса т. Ерофеевым

(обратите внимание на “т.,” то есть с товарищем, а не как у Засьмы — “гр,“ то есть гражданином, как обращаются обычно к подсудимым). Разговор шёл на философские темы. Формальным поводом для беседы был вопрос о возможности его участия в философском кружке»<sup>17</sup>. Начав объяснительную записку со случайной беседы, он словно забывает о том, что некоторое время Венедикт Ерофеев посещал его философский кружок. Далее И. И. Дудкин пишет о политической и идеологической незрелости приговорённого к изгнанию студента, о том, что тот «что-то слышал о Ф. Аквинском и Беркли, о Канте и Юме, но отнюдь не разобрался в их учениях по существу»<sup>18</sup>.

Убеждён, что, если Венедикт Ерофеев в то время принимал бы у Дудкина экзамен по религиозно-философским воззрениям названных мыслителей, тот кроме общих слов не нашёл бы что сказать. Однако Игорь Иванович свой вердикт вынес:

«Я, как преподаватель философии, считаю, что Ерофеев не может быть в числе наших студентов по следующим причинам:

1. Он самым вреднейшим образом воздействует на окружающих, пытаясь посеять неверие в правоту нашего мировоззрения.

2. Мне представляется, что он не просто заблуждается, а действует как вполне убеждённый человек, чего, впрочем, он и сам не скрывает.

29.01. 1962 г. *И. Дудкин*»<sup>19</sup>.

В послевоенные сталинские годы Венедикт Ерофеев точно схлопотал бы лет пять. Впрочем, Засьма получила бы намного больше, особенно во время борьбы с космополитами. Ведь тогда дело представили бы таким образом: она с какой-то тайной сионистской целью

«пропихнула» Венедикта Ерофеева в институт на очное отделение, когда он подавал документы на заочное.

30 января 1962 года появился приказ ректора института Бориса Фёдоровича Киктёва:

«Студента 1-го курса Ерофеева Венедикта Васильевича, как не сдавшего зачётную сессию по неуважительным причинам и не явившегося по неуважительной причине на экзамен по “устному народному творчеству”, а также как человека, моральный облик которого не соответствует требованиям, предъявленным уставом ВУЗа к будущему учителю и воспитателю молодого поколения, исключить из состава студентов филологического института. Основание: докладная записка»<sup>20</sup>.

Каково было смотреть ещё жившим преподавателям Владимирского педагогического института, когда на его здании устанавливалась в честь Венедикта Васильевича Ерофеева мемориальная доска. Александр Пушкин, имея в виду сходную ситуацию, посоветовал: «оставь любопытство толпе и будь заодно с гением».

Леонид Леонов обратил внимание на толпу: «В России отношение к национальному гению составляет так. 70 процентов — недоброе удивление пополам с любопытством, 15 — недоверие, не причинил бы чего-нибудь такого, 10 — прямой ненависти за столь неделикатное доказательство их собственного ничтожества, 4 — аплодисменты для сокрытия чувств, и 1 — радость, что закопали наконец»<sup>21</sup>. Было сказано по-писательски смело и прозорливо.

Знать бы только, к кому Леонид Леонов относил Иосифа Сталина. К гениям или ничтожествам? Скорее всего, к гениям, когда однажды выступил со следующей инициативой: начать новое летоисчисление с года рождения И. В. Сталина. Заявил, что лучшего подарка, чем этот, для великого вождя не найти<sup>22</sup>. Месяц и год



были известны — декабрь 1878-й, а вот с числом вышла загвоздка. Не знали только, по какому стилю выбрать день: по старому или по новому? Боялись ошибиться. Сделаешь по старому стилю — вождь подумает, что намекают на старый царский режим. А по новому — тут вообще невозможно предугадать, что он подумает. Так и «замотали» в инстанциях незаметно и по-хитрому инициативу советского классика.

Вот таким классиком, как Леонид Леонов, Венедикт Васильевич Ерофеев не хотел быть ни во сне, ни наяву.

Характер Венедикта Ерофеева был крутого замеса. Во всяком случае, бучу, им затеянную, долго вспоминали во Владимирском педагогическом институте им. П. И. Лебедева-Полянского. Игорь Авдиев с присущей ему фантазией ввёл происшедшие события в контекст мировой истории и литературы: «Все мучаются, предавая “выдающегося студента” на расправу, все недоумевают, “почему он враг сам себе” и “гробит свой талант филолога”. Все пассионарки пединститута выходят на борьбу с местными органами власти, происходит девичья революция, равной которой не было в истории человечества. Еде-то во французском захолустье, в полутьме веков плачет и не может примкнуть к этому движению девка Жанка д’Арк. Провалят профессора Ерофеева или он докажет, что “она вертится”, и не сработает идеальный способ вышвыривания отщепенца из здорового коллектива. Но, увы, Венедикт приговорён, как Эдип — Одиссей — Эней вместе взятые, своей виной перед Матерью-Родиной, что с юных ногтей не сохранил чистоту своих документов. Ему остаётся только жениться на самой орлеанской из владимирских дев, Валентине Зимаковой, зачать с ней маленького Венедикта и, прерывая скитания хоть на недельку, навещать их с орехами и конфетами “Василёк” в деревне, куда от

Петушков плывёт по незамерзающей и непросыхающей грязи каботажный автобус»<sup>23</sup>.

В следующей главе я расскажу об объяснительной записке студентки Валентины Зимаковой и обстоятельствах, заставивших будущую жену Венедикта Ерофеева её написать.

## **Глава пятнадцатая**

### **ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА**

В рассказе о противоборстве Венедикта Ерофеева с ещё недавно симпатизирующей ему Раисой Лазаревной Засьмой я не то чтобы забыл о его отношениях с Юлией Руновой, а на некоторое время сосредоточился, как мне казалось, на более важном. По старой советской привычке предпочёл общественное личному. Однако вскоре одумался, понимая, что то и другое в описываемой мною ситуации слиты воедино.

Между влюблёнными обнаружилось непонимание мировоззренческого характера. Юля Рунова искренне не понимала, чего он хочет добиться в жизни. Сама постановка вопроса удручала Венедикта Ерофеева, но удивительно: его чувства к Юлии Руновой не ослабевали.

22 ноября 1961 года Нина Садкова, второкурсница филфака ВГГТИ, вручила Венедикту Ерофееву письмо от любимой девушки Юлии из Орехово-Зуева. Сама Нина так же, как многие девушки института, была увлечена Венедиктом Ерофеевым и ради встреч с ним в ноябре прогуляла несколько занятий, за что ей в следующем месяце, 8 декабря 1961 года, был объявлен приказом ректора Б. Ф. Киктёва выговор<sup>1</sup>. Венедикт Ерофеев в своей дневниковой записи оценил это письмо как «злое и глупое»<sup>2</sup>. В ответ он написал ей «самое длинное и самое туманное» письмо, в котором, пародируя её стилистику, признавал, что в его голове «много мусора, но мусора, как сказали бы археологи, драгоценного». И заключил свою любовную эпистола фразой, которой

позавидовали бы многие литературные мэтры: «Хотя, если хорошо разобраться, я бесполезное ископаемое»<sup>3</sup>.

2 декабря 1961 года «Юлия Рунова послала Ерофееву краткую записку:

“Венедикт!

Очень прошу выполнить одну мою просьбу — писать о себе всё”»<sup>4</sup>.

Эта записка, могу представить, сильно удивила Венедикта, но через восемь дней он пришёл в себя и должным образом ответил: «Всё о себе пишет только прогрессивное человечество»<sup>5</sup>.

Продолжу описывать последующие произошедшие события частной жизни Венедикта Ерофеева. Юлия Рунова, естественно, поняла его иронию и своё раздражение от неопределённости их отношений запрятала в себя поглубже. 16 декабря 1961 года она смиренно предложила Венедикту Ерофееву приехать в Орехово-Зуево: «Давай в 20.00, встретимся на автобусной остановке около общежития. Я буду готова выслушать любой твой “приговор”. Напиши, если ты согласен приехать»<sup>6</sup>. Разумеется, Венедикт Ерофеев едет и находится в Орехово-Зуеве до 31 декабря.

Жил он на частной квартире, куда иногда заходила Юлия Рунова. По большому счёту она начала его чуть-чуть раздражать. Венедикт её также раздражал, и намного сильнее. Можно сказать — бесил. Ей казалось, что он только морочит ей голову, несёт всякую чушь, а о серьёзных отношениях — ни слова. И всё-таки она согласилась встретиться с ним Новый, 1962 год во Владимире.

Во время посадки на владимирский поезд произошло непредвиденное. Венедикт случайно защемил Юлин палец в вагонной двери. Валерий Берлин пишет: «Юлия взрывается, но её ярость больше от душевной боли — посиневший ноготь стал последней

капель в переполненной чаше неопределённости и недомолвок. Они уже два года знакомы, но Юлии до сих пор не понятно, чем живёт Ерофеев, куда он стремится. И какие ещё неожиданности ждут её во Владимире. Рунова не может разобраться и в своих чувствах. Кто для неё Венедикт и какое у них может быть будущее? Но Ерофеев не хочет объясняться. Идёт борьба амбиций — кто кого перемолчит, передумает, перепредвосхитит. Объявляют посадку. Ерофеев снова подаёт Руновой руку, чтобы подняться на подножку вагона. Но Юлия отказывается. Сухо простившись, они расстаются. Рунова возвращается в Орехово-Зуево, а Венедикт спешит во Владимир»<sup>7</sup>.

Фактическую сторону размолвки Венедикта Ерофеева с Юлией Руновой я рассказал, а что было действительно в душе каждого из них — тайна сия велика есть.

Напомню читателю третий закон Ньютона: «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны». Этот закон применим и к социальной психологии.

С точки зрения руководства Владимирского пединститута, Венедикт Ерофеев деморализовал своей проповеднической и просветительской деятельностью, а также необычным внешним видом какую-то небольшую часть студентов, в основном девушек. Создавшаяся ситуация требовала принятия незамедлительных мер. Тем более что его к жёстким решениям подталкивала «Докладная» декана филологического факультета Раисы Лазаревны Засьмы. Она решила серьёзно прищучить главного возмутителя спокойствия — Венедикта Ерофеева. Как уже знает

читатель, её душеспасительные разговоры отскакивали от него как об стенку горох. Тогда Раиса Лазаревна пошла другим путём. Взяла в оборот попавших под его влияние и в него влюблённых студенток. Это были хорошо воспитанные и старательные в учёбе девушки из бедных семей. На удивление ей, четверо из них проявили неуместную в их положении строптивость. Тогда ей пришлось действовать более решительно и напористо, угрожая отчислением. Существовало, впрочем, одно обстоятельство, которое было ей на руку. Мало того что эти студентки слишком много себе позволяли, они, общаясь с Венедиктом Ерофеевым, постоянно находились в лёгком опьянении. Как от лицезрения своего кумира, так и в результате совместного посещения по вечерам местного ресторанчика «Клязьма». Раиса Лазаревна Засьма поняла, что находиться в бездействии она больше не может, и пошла в атаку.

В скандале с Венедиктом Ерофеевым, как это уже однажды произошло в Орехово-Зуевском пединституте, помимо него самого пострадали несколько студентов. Впрочем, если ото всех орехово-зуевских бунтарей раз и навсегда избавились без особой огласки, то во Владимире по этому пути не пошли. Демократию хрущёвского типа использовали себе на пользу, а не во вред.

Ситуация для декана сложилась самая благоприятная. Эффективный принцип «разделяй и властвуй» действовал безотказно. Особенно среди влюблённых в Венедикта Ерофеева девушек. То, что последнее время происходило между ними, напоминало известное полотно «Вихрь» кисти художника Филиппа Малявина<sup>[326]</sup>. Страсти кипели в самом деле нешуточные. Приведу январские записи Венедикта Ерофеева за 1962 год, чтобы читатель понял их накал,

увеличивавшийся с каждым прошедшим днём. Итак, вот эта хроника событий и происшествий в жизни независимого человека на протяжении одного месяца:

«1 [января] — Нов[ый] год в общ[ежитии]. Первое знакомство с Солдатовой. (“Хоть один-то раз выпить со знаменитым Ерофеевым”). Влюблённая “умница Тяпаева”. Ивашкина. Вконец смущённая Миронова.

2 [января] — Телеграмма из Орехова: “Поздравляю новым годом желаю успехов Юля”. Впервые — многочасовая беседа с Мироновой. Миронова развенчивает свою подругу Зимакову. Говорит, что вообще сторонится людей и любит “только природу”. Обещает быть у меня, но боится Зимак[овой].

3 [января] — Рыдания Нины Ивашкиной.

4 [января] — Первый зачёт. Рыцарский подвиг в истории с Мироновой. С кем идти спрыскивать зачёт в рест[оран] “Клязьму”? “Иди домой, Зимакова”. Весь вечер — с Н. Ивашкиной.

5—6 [января] — Новые перипетии: Зимакова — Миронова. Зим[акова] о Мироновой: “Ну, нельзя же до такой степени влюбляться, это же глупо, она ходит как шальная и т. д.” Весь вечер с Зимак[овой] в рестор[ане] “Клязьма”. Всю ночь — скамейка, холод и милые глупости. Ночь перед Рождеством.

7 [января] — Рождество с Солдатовой. “О тебе у нас на курсе много говорят, и больше по ассоциации с бедной, маленькой Садковой”. Ночь в комнате Ивашкиной. Ивашкина: “Ты не представляешь, что начнётся завтра!” Всего-навсего милые шалости. Утром всё женское <нрзб> общежитие следит, как я выхожу от неё, коварно улыбаясь.

8 [января] — Все факультеты, проходя по вестибюлю, в упор смотрят на нас с Зимаковой, щебечущих на диване, хотя в вестибюле сидит больше сотни и есть на кого смотреть.

9—10 [января] — Смущ[ённая] Миронова. Ищу Зимакову. Товарищеский суд над Ниной Ивашкиной.

11—12 [января] — Влюблённая Тюрина. Эпидемия захватила и мой курс.

13—14 [января] — Ссора с Зимак[овой] и примирение с Ивашк[иной].

15 [января] — Первый экзамен в ВГПИ. Триумф. Гитары и ресторан. Гости из ОЗПИ. <...>

19 [января] — Ивашкина умоляет декана не изгонять Ерофеева. Тюрина подымает на ноги 1-й курс филфака. Тяпаева — 2-й курс филфака. Зимакова — 3-й курс филфака. Юзёнова — 5-й курс филфака и т. д. Ресторан “Клязьма”.

20 [января] — Единственный на курсе сдаю на отлично экзамен грозному Иорданскому. Бедная Миронова — Зимакова коварно не даёт ей поговорить со мною и 7 минут. До 2-х часов ночи с Ивашкиной.

21 [января] — Ивашкина устанавливает диктатуру. Ректор ВГПИ передаёт через декана: “Я хочу поговорить с Ерофеевым”. Зимакова оттесняет Ивашкину. Взбешённая Ивашкина швыряет телеф[онную] трубку наул[ице] Нариманова.

22 [января] — с Иваш[киной] дурно. Однокурсницы выносят её из аудитории. Беседа с ректором. Зимакова и К°, Тюрина и К°, Тяпаева и К° ожидают. Ресторан “Клязьма”.

23—25 [января] — Пятикурсники говорят: “За всю историю ВГПИ не было, чтобы такая масса людей ждала одного человека с экзамена”. Полсотни ребят и сотня девчонок со всех факультетов. Выхожу: отлично. Пьём с Зимаковой на чердаке института.

26 [января] — Галина Герасимова. Ресторан “Клязьма”. Тюрина в ужасе.

27 [января] — Плюю на всё. Еду в Орехово-Зуево.



28—29 [января] — В Ор[ехово]-Зуеве никакого желания заглянуть в общежитие ОЗПИ.

30 [января] — Н. Ивашкина: “Не буду больше, не буду больше тебе помогать за все твои подлости!” Иисус-Мария! За какие же подлости? Зим[акова] исчезла.

31 [января] — Н. Ивашкина. Приказ об отчислении. “За идейное, дисциплинарное и нравственное разложение студенчества института”»<sup>8</sup>.

Опишу, как тогда были организованы дискредитация и травля неугодного студента Венедикта Ерофеева. Раиса Лазаревна Засьма особо не заморачивалась, обратившись к неоднократно опробованным задолго до неё методам. Для девушек, влюблённых в Венедикта, использовала эмоциональное раскаяние в содеянном перед мирским сходом. В данном случае перед общим комсомольским собранием. Появление перед народом обязательно сопровождалось, как это обычно бывало, обилием слёз, а также истеричными вскриками: «не виноватая я, это он, такой-сякой, меня не туда завёл...» и т. д.

В дневниках Венедикта Ерофеева в записи от 7 марта 1962 года зафиксировано имя женщины, которая вскоре станет его женой. Выбор им был сделан: «Канун женских торжеств. Неожиданность — после почти месячного антракта — появляется Зимакова в сопровождении Мироновой. Бездна вина и куча вздора. В полночь удаляется сумеречная Миронова. Зимакова остаётся. Грехопадение»<sup>9</sup>.

Первыми, за кого крепко взялась Раиса Лазаревна, были Нина Ивашкина, Галина Юзёнкова, Валентина Зимакова.

Отец Нины Ивашкиной, отмеченной в «Докладной» Р. Л. Засьмы, погиб во время Великой Отечественной войны. Мать Нины была рабочей на заводе. Жили они в

посёлке Курлово Ивановской промышленной области (ныне Владимирская область). Поступила она во Владимирский государственный педагогический институт в 1958 году. Училась Нина Ивашкина на третьем курсе филологического факультета, когда разрастался скандал с Венедиктом Ерофеевым. Евгений Шталь пишет: «8 декабря 1961 года ей был объявлен строгий выговор, видимо, за пропуски занятий (неофициально “за встречи с Ерофеевым”). 29 марта 1962 года Ивашкина написала заявление: “Прошу предоставить мне академический отпуск по семейным обстоятельствам с 29/III по 15/IV”. В 1963 году закончила институт»<sup>10</sup>.

Галина Юзёноква приехала во Владимир из посёлка Андреево Судогодского района Владимирского округа Ивановской промышленной области. Её отец был инвалидом труда 2-й группы, получал пенсию по инвалидности, а мать трудилась рабочей на Судогодском леспромкомбинате. Училась Галина Юзёноква на втором курсе филологического факультета ВГПИ. В 1961 году познакомилась с Ерофеевым. «4 января 1963 года приказом ректора Б. Ф. Киктёва Юзёноква была отчислена из института за “неблаговидные действия”. 30 октября 1963 года восстановлена в институте и переведена на заочное отделение»<sup>11</sup>.

Валентина Зимакова, также отмеченная в «Докладной» Р. Л. Засьмы, родом из деревни Мышлино Петушинского района Ивановской промышленной области. Её отец умер в 1951 году. Мать, Наталья Кузьминична, была рабочей в колхозе «Вперёд!». В 1959 году Валентина поступила на филологический факультет ВГПИ. В 1991 году Валентина Васильевна вспоминала в «Учительской газете» о тех далёких днях, когда её Веничку пытались по-большевистски осудить

как чуждое марксизму-ленинизму явление и навсегда искоренить о нём память: «Прошёл слух о будто бы намечающемся нашем венчании в церкви... Кончилось тем, что меня взяли “под стражу” члены комитета комсомола, и я три дня жила у декана факультета, где меня всячески уговаривали порвать с Ерофеевым... И я вынуждена была дать обещание — не встречаться с Веней. Но, конечно, мы всё равно встречались»<sup>12</sup>.

Евгений Шталь достаточно подробно описал все детали беззастенчивого вторжения посторонних людей в личную жизнь человека. Пусть об этом ещё раз вспомнят те, кто льёт крокодиловы слёзы по ушедшим временам:

«Встречи Ерофеева с Зимаковой проходили тайно. Она уже перешла на четвёртый курс, когда это открылось. Был поднят вопрос о её исключении. Чтобы остаться в институте, Зимаковой пришлось писать оправдательное заявление:

“Весной 1962 года был сделан выговор за связь с таким человеком, как Ерофеев, и в настоящее время мне грозит опасность исключения из института. Да, я искренне давала слово не встречаться с Ерофеевым, и я старалась бороться с собой более 2-х месяцев. Но Ерофеев в духовном отношении гораздо сильнее меня. Его вечные преследования, преследования его друзей вывели меня из нормальной колеи. Его влияние на меня, конечно, велико. Но ведь есть ещё коллектив, который поможет (ведь летом я была совсем одна), да притом Ерофеев идёт в армию. И если меня исключат из института, жизнь не представляет для меня ценности, идти мне некуда, слёзы матери меня сводят с ума. Я готова на любые ваши условия, только бы остаться в институте. Связь с Ерофеевым — это большая жизненная ошибка. Я понимаю, что изжить её необходимо, хотя и не сразу это получится. Я уверена,

что пропущенные занятия восстановлю в самый кратчайший срок. Очень прошу оставить меня в институте, наложив любое взыскание.

*Зимакова. 1 /X — 62 г.»<sup>13</sup>.*

К тому времени комсомольская организация ходатайствовала об исключении Зимаковой из института «за порочащую связь» с Ерофеевым. Её персональное дело дошло до бюро горкома ВЛКСМ, где за неё заступился член бюро В. Её Колесников, студент ВГПИ. После этого комсомольское собрание группы Я-41, в которой училась Зимакова, приняло 4 октября 1962 года компромиссное решение:

«Заслушав и обсудив поведение комсомолки Зимаковой В., собрание постановило:

1. Оставить студентку Зимакову в институте, но с тем условием, что она никогда не будет встречаться с Ерофеевым.

2. При первой же попытке встретиться с ним студентка Зимакова будет исключена из института без особого предупреждения.

3. За аморальное поведение объявить комсомолке Зимаковой строгий выговор с занесением в личное дело. *Комсорг Сидорова*».

Таким образом, Зимакова осталась в институте и благополучно закончила его в 1964 году<sup>14</sup>.

Читатель! Надеюсь, теперь ты понимаешь, откуда берутся хунвейбины.

Ещё раз подчеркну, что все репрессивные действия институтского руководства оказались возможны при одобрении студенческим большинством. Были проведены индивидуальные беседы с друзьями Венедикта Ерофеева, уклонившимися от единомыслия — нормы общественного поведения, повсеместно принятой в стране победившего социализма. Особенно строго разговаривала Раиса Лазаревна Засьма с теми из

них, кто по собственной глупости или из-за непомерно высокого о себе мнения покушался на самое святое. То есть пытался заменить свет марксистско-ленинских идей беспросветным мраком богословских сочинений. Того, кто не внял увещаниям, отчислили по собственному желанию. Так, Борис Сорокин написал 4 апреля 1962 года на имя ректора Б. Ф. Киктёва заявление: «Прошу отчислить меня вследствие неспособности моей быть педагогом»<sup>15</sup>.

Казалось, что ректор Борис Фёдорович Киктёв не жаждал крови этих ребяташек, мыслящих иначе, чем он. Не хотел «волчьим билетом» портить им жизнь. Поступал в силу своих возможностей по-человечески. Однако не ко всем, кто был знаком с Венедиктом Ерофеевым, он относился снисходительно. Вот что вспоминал Владислав Цедринский<sup>[327]</sup>, который познакомился с Венедиктом Ерофеевым в 1962 году. Поступил он на факультет иностранных языков ВГПИ в 1963 году: «Ерофеев тогда был яркой фигурой — 24-летний красавец, похож отчасти на Дина Рида, но в сто раз лучше, потому что у него не было никакой конфетности. Отличался он добротой. Была в нём какая-то бережность по отношению к людям и снисходительность. Простая, русская, сильная натура. И такая огромная копна волос, в которой можно было сломать расчёску. Волосы русые, темнее пшеницы. Обут он был в каких-то тапочках со шнурками, и штаны-то у него были в общем коротковаты. А пиджачок был чуть ли не на майку надет. Но на таком теле, роскошном, гибком и сильном, что это смотрелось как царские одежды, а не как какие-то обноски. Во Владимире он жил в деревянной двухэтажной развалюхе, улица Фрунзе. Там, недалеко от лесной линии, стоят мрачные старые постройки, сто лет им. Это была коммуналка, зловещая и вонючая. Клоповник такой. Вот в этом доме

Вадя Тихонов предоставил Ерофееву политическое убежище. <...> Но я был совершенно никем. Я только что вышел из деревни... А потом поступил во Владимирский пединститут, из которого меня выгнали за Ерофеева. Он пришёл ко мне в общежитие, и об этом тут же донесли. А на следующий день меня вызвали в деканат и спросили: “А оказывается, вы знакомы с Ерофеевым?!” — “Да я знаком не только с Ерофеевым”, — ответил я. Но одной этой фамилии было достаточно, дальше меня слушать не стали»<sup>16</sup>.

Владислав Цедринский был инвалидом детства (костный туберкулёз). Его отец погиб во время Великой Отечественной войны. Воспитывала его мать, которая работала в торговле и отсидела полтора года в колонии. Отчим Владислава не работал. У него был старший брат Евгений, на нём-то и держалась семья. Институт был для Владислава надеждой. Евгений Шталь пишет: «Поступил в Орехово-Зуевский педагогический институт. Учился на “отлично”, но после приезда к нему Ерофеева с друзьями был исключён. Ерофеев упоминает его в поэме “Москва — Петушки”: “...Владик Ц-ский уже бежал на ларионовский почтамт, с пачкой открыток и писем” (глава “Орехово-Зуево — Крутое”). <...> Цедринский знал французский язык, занимался переводами»<sup>17</sup>.

Владислав Викторович Цедринский прожил на земле 70 лет. Он не был баловнем судьбы. Весьма вероятно, что он, будь как все, ужился бы в любом педагогическом коллективе и даже занял бы в нём видное место. Да и Венедикт Ерофеев не особенно приближал его к себе, но относился к нему с нежностью. В одном из своих блокнотов 1973 года записал: «Мир, как Вадик Цедринский — мал, плохо склеен, скорбен, и только иногда натужно говорлив и бодр»<sup>18</sup>.

Евгений Викулов вспоминал об этом светлом и мужественном человеке: «Поступить в педагогический институт ему не составило труда: Владик был хорошо подготовлен. Основательно знал русскую классику, много читал зарубежной литературы. Умный читатель, он критически относился к прочитанному. Было интересно слушать его суждения. Я и сейчас вижу его бледное худое лицо, внимательные глаза за стёклами очков и часто появлявшуюся на тонких губах едва заметную ироническую полуулыбку. Жил он в небольшом посёлке недалеко от Владимира с матерью на скромную социальную пенсию. В его уединённой комнате было много книг — его любимых собеседников. Владик был мужественным человеком. Свою телесную немощь он преодолевал терпеливо и с достоинством. В домашнем деревенском быту умел многое делать самостоятельно: колоть дрова, топить печку, заниматься огородом, ходить в магазин, ездить во Владимир к друзьям. В те годы он был в кругу друзей Венедикта Ерофеева»<sup>19</sup>.

Что ж, знал ректор Борис Фёдорович Киктёв, с кем расправляться — с самыми беззащитными. Преподавал он философию, помимо педагогического института, окончил Областную партийную школу при Крымском обкоме ВКП(б) в Симферополе. В 1965 году был зачислен в состав работников Министерства просвещения РСФСР, направлен в резерв ООН и ЮНЕСКО в качестве эксперта. Неоднократно бывал за границей — в Китае, Болгарии, Греции, Чехословакии, Индии, Пакистане<sup>20</sup>. Самое страшное, что человек он был неплохой и не настолько запуганный, как Лариса Лазаревна Засьма. Вместе с тем при всём знании жизни и философской эрудиции оставался Борис Фёдорович практически слепым, пребывая в своём марксистско-ленинском догматизме. Для подобных людей

незамысловатую метафору нашёл классик польской литературы Генрик Сенкевич в романе «Без догмата»: «Когда слепой, споткнувшись о камень, падает на дороге, он всегда клянёт камень, хотя, в сущности, в его падении виновата только его слепота»<sup>21</sup>.

Я не смею осуждать Б. Ф. Киктёва. Таковым было восприятие окружающего мира подавляющим большинством жителей нашей страны. Венедикт Ерофеев относился к мизерному меньшинству. Он уже тогда был отмечен величиим духа и ума. Вот что понял Цедринский. И не только он один. Однако мало кто посмел продемонстрировать солидарность с Венедиктом Ерофеевым.

Во Владимирском педагогическом государственном институте, кроме Анатолия Михайловича Иорданского, преподавал ещё другой «прекрасный учёный, либерал и любимец студентов» Александр Борисович Пеньковский<sup>[328]</sup>. Закавыченные мною слова принадлежат авторам книги «Венедикт Ерофеев: Посторонний»<sup>22</sup>. Несомненно, это был всесторонне образованный человек. Он читал курсы старославянского языка, русской диалектологии, исторической грамматики русского языка. Владел польским, чешским, словацким, украинским, белорусским, английским и немецким языками<sup>23</sup>. Один из авторов биографии Венедикта Ерофеева, находясь в 1995 году в гостях у профессора Александра Борисовича Пеньковского, учёного с безупречной научной репутацией, спросил его (далее цитирую): «“А какие воспоминания у вас остались о студенте Ерофееве?” — тот в ужасе схватился за голову»<sup>24</sup>.

Пеньковский, безусловно, выделялся не только глубокими знаниями, но и своей неформальной манерой чтения лекций, о чём свидетельствуют воспоминания его бывших студентов: «Никогда никаких записей в



руках у него не было. Он выходил на сцену 14-й аудитории (актовый зал), где размещался весь поток курса, садился на стул, иногда прохаживался, закуривал, смотрел через очки скучающим, казалось, взглядом на нас, как будто сомневался в наших способностях что-либо понять, и начинал вслух медленно размышлять. Он почти диктовал, даже ленивый студент мог записать лекцию от начала и до конца. Записанная лекция была логически точной»<sup>25</sup>. Так вспоминает Евгений Иванович Викулов, доцент кафедры журналистики, рекламы и связи с общественностью Гуманитарного института (Владимирский государственный университет). Его коллега кандидат филологических наук Владимир Пискарёв, также благодарный слушатель Александра Пеньковского, добавляет новые детали: «Говорил он всегда значительно и веско: каждое слово — на вес золота. При этом он умел так посмотреть из-под своих тяжёлых очков, что сказанное впечатывалось в память надолго. В сочетании с гигантской эрудицией, потрясающей памятью и громадным личным обаянием это создавало эффект просто невероятный. На лекциях его... всегда был аншлаг. Мы, первокурсники, сидели с открытыми ртами — мы никогда не видели и не слышали ничего подобного. И, в свете всего этого, он мог позволить себе многое: рассказать какой-нибудь не совсем приличный анекдот (впрочем, всегда уместный), почитать “матного” Пушкина или Маяковского. Или сказать что-нибудь вроде: “Все бабы — дуры” (и это на филфаке, где девяносто процентов учащихся — девушки!), а потом галантно раскланяться и добавить: “К присутствующим это не относится”»<sup>26</sup>.

Александр Борисович Пеньковский всё-таки умел применяться к обстоятельствам, не ссориться с коллегами и не заноситься перед начальством. В

общении на лекциях со студентами знал, когда вовремя остановиться, что свидетельствовало о его сильном характере. Не перебарщивал, как Венедикт Ерофеев. Видел вокруг себя зазубренную до оскомины, до отвращения политическую ложь и нравственное убожество, с пышностью выставляющее себя примером для подражания. Однако сам лицемерить не мог и не хотел. Потому-то и был любим как студентами, так и педагогическим коллективом. Мог бы откровенно поговорить по душам с Венедиктом Ерофеевым, но делать этого не стал. Понимал, что такой разговор будет в ущерб себе и ему. Тем более что в 1962 году он даже не был кандидатом филологических наук. Защитился Александр Борисович через пять лет по теме «Фонетика героев Западной Брянщины». Он уже достаточно претерпел со своим еврейским родословием. После окончания Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина в 1949 году по каким только педагогическим высшим учебным заведениям его не мотало: Сураж, Тобольск и, наконец, Владимир. Как только появилась возможность, уехал как можно дальше из Владимира — в Комсомольск-на-Амуре, а через шесть лет вернулся на старое место, а оттуда вскоре перевёлся в Москву. Александр Борисович Пеньковский, старше студента Венедикта Ерофеева на 12 лет и воспитанный в строгих правилах, в то время был женат и имел на попечении двоих сыновей.

Приведу ещё один факт в его защиту. Только в 1992 году этот выдающийся учёный стал профессором. А то, что он в ужасе схватился за голову, так это больше касалось бытового поведения Венедикта Ерофеева. Что в то время для студента-хиппи в США было в порядке вещей, в СССР воспринималось хождением без штанов в публичном месте. Да что тут иноземные примеры, вспомним хотя бы поведение Сергея Александровича

Есенина<sup>[329]</sup> приблизительно в том же возрасте в первые годы после октябрьского переворота. Обращусь к автобиографическому роману его друга Анатолия Мариенгофа:

«Одна поэтесса просила Есенина помочь устроиться ей на службу. У неё были розовые щёки, круглые бёдра и пышные плечи.

Есенин предложил поэтессе жалованье советской машинистки, с тем чтобы она приходила к нам в час ночи, раздевалась, ложилась под одеяло и, согрев постель (“пятнадцатиминутная работа!”), вылезала из неё, облекалась в свои одежды и уходила домой.

Дал слово, что во время всей церемонии будем сидеть к ней спинами и носами, уткнувшись в рукописи.

Три дня, в точности соблюдая условия, мы ложились в тёплую постель.

На четвёртый день поэтесса ушла от нас, заявив, что не намерена дальше продолжать своей службы. Когда она говорила, голос её прерывался, захлёбывался от возмущения, а гнев расширил зрачки до такой степени, что глаза из небесно-голубых стали чёрными, как пуговицы на лаковых ботинках.

Мы недоумевали:

— В чём дело? Наши спины и наши носы свято блюли условия...

— Именно!.. Но я не нанималась греть простыни у святых...

— А!..

Но было уже поздно: перед моим лбом так громыхнула дверь, что все шесть винтов английского замка вылезли из своих нор»<sup>27</sup>.

Я, естественно, не держал свечку в тех комнатах женского общежития, где оставался на ночь Венедикт Ерофеев. Уверяю читателя, что был за ним грех «дурачить людей по методу Станиславского»<sup>28</sup>, однако

он никогда не изображал из себя мачо или Казанову. Обвинять его в безнравственности, трусости, предательстве могли только те, кто был преисполнен к нему ненавистью. Лучшее доказательство его порядочности — женщина, с которой у него произошло грехопадение. Через некоторое время она стала его женой.

Неутешительная мысль пришла мне в голову. Теоретики искусства и его творцы редко понимают друг друга. Исключение составляют только те, кто работает на стыке того и другого. Приведу в качестве примера один случай. Много лет я дружу с выдающимся художником Олегом Михайловичем Савостюком. В конце 1970-х годов, находясь у него в мастерской, я показал ему подаренную мне автором Юрием Борисовичем Боровым [\[330\]](#) в который раз переизданную книгу «О комическом». Олег Михайлович уединился за мольбертом и какое-то время её просматривал и вдруг с несвойственной ему бранью разорвал на две половины. Это всего лишь один из многих примеров, что может произойти с импульсивным практиком, творящим прекрасное, и описывающим этот процесс теоретиком. А ведь книги Юрия Борева об эстетике переведены на многие иностранные языки.

Может быть, у Венедикта Ерофеева на протяжении всей его жизни не было никого, за исключением Ирины Игнатьевны Муравьёвой, чьим мнением он по-настоящему дорожил и совету которой последовал. Ведь писательство было его призванием. Его владимирские товарищи, его свита в общем-то выполняла роль транквилизаторов. Иногда была для него вроде Армии спасения. Не более того.

## **Глава шестнадцатая**

### **ЭТЮД О ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЁРКЕ**

В разгар страстей во Владимирском государственном педагогическом институте им. П. И. Лебедева-Полянского в СССР вышел на экраны с русским дубляжом американский художественный фильм «Великолепная семёрка», режиссёр Джон Стёрджес. В 1962 году этот фильм занял первое место среди лидеров советского проката. Его посмотрели 67 миллионов человек. За ним с небольшим отрывом в полтора миллиона шёл фильм режиссёров Геннадия Казанского и Владимира Чеботарёва «Человек-амфибия». А на третьем месте оказался фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Его посмотрели 48 миллионов 600 тысяч человек. Среди молодёжи «Великолепную семёрку» не смотрели разве что слепые.

Свита Венедикта Ерофеева, состоящая на тот момент из Вадима Тихонова, Игоря Авдиева, Бориса Сорокина, Вадима Цедринского, также не отказала себе в удовольствии посмотреть этот американский фильм. Он вдохновлял их и подтверждал русскую пословицу «Смелость города берёт».

Ничуть не хуже американской великолепной семёрки ощущали себя молодые парни во главе с Венедиктом Ерофеевым, когда позже и немного в другом составе появлялись в Москве или Подмосковье. При их приземлении у кого-то из хорошо знакомых приятелей или приятельниц тут же начинался перезвон с сообщением радостной новости — «владимирские» приехали! Они воспринимались вроде закваски,

вызывающей брожение в умах. Потому-то были нарасхват.

Наталья Четверикова вспоминает: «“Владимирские” приехали! — этот клич собирал нас не только на подмосковной даче, но и на какой-нибудь московской кухне, созывал на тусовку всевозможных талантов, состоявшихся или не востребованных — неважно. Поэты, художники, философствующие снобы — все эти звери бежали на ловца. Каждый из нас был и швец, и жнец, и на дуде игрец, и каждый пел своим голосом в общем хоре. По большому счёту, это было царство изгоев, где прежде всего пестовался дух. О чём вопрошала наша ненасытная молодость, полная проблем и тупиков, бушующих страстей и ощущения волшебства? О чём она спорила? Обо всём. О жизни и смерти, о свободе и рабстве, о Греческой церкви и латинской ереси, о творчестве, о Фаворском свете... На даче у молодой романтической художницы при свете настольной лампы мы читали блаженного Августина. Или шли в лес по грибы, напрочь о них забывая в пылу богословской полемики. Для меня и других новичков открывалась иная жизнь, новое самоощущение. Я восхищалась “бездомными ‘владимирскими’” и знала: они уникальны. Мне были милы их человеческие слабости, их бесприютность и недостатки как продолжение достоинств»<sup>1</sup>.

Одни, как Наталья Четверикова, восхищались «великолепной семёркой», но были и те, кто, принимая участие в их феерических театральных постановках вроде доморощенной оперы «Ленин и Дзержинский», с трудом выдерживали чрезмерно затянувшиеся представления. К тому же нередко сопровождаемые обильными возлияниями: «Действо, где участвовали и Надюша Крупская, и меньшевики, и матросики, заканчивалось опереточным канканом со вскидыванием

ног: “К эсеркам, к эсеркам поедем мы сейчас!” И вся большевистская элита дружно направлялась в воображаемый бордель. “Между лафитом и клико” мы пили дешёвый портвейн под кодовым названием коньяк “Камю-на-Руси-хорошо”»<sup>2</sup>.

В каком бы новом составе ни появилась «великолепная семёрка», четыре человека в ней непременно присутствовали: Венедикт Ерофеев, Игорь Авдиев, Борис Сорокин и Вадим Тихонов. С последним, надо сказать, были проблемы. Я полагаюсь на беспристрастный отзыв Марка Фрейдкина, который, по собственному признанию, с трудом переносил пустую болтовню и хамство Вадима Тихонова: «Любимым его занятием в компаниях было, как он сам выражался, “эпатнуть” кого-нибудь из известных и уважаемых людей, и авторитетов здесь для него не существовало. Невысокий, жилистый, в очечках-стеклышках, он запросто мог подойти к кому угодно и без различия пола, возраста и положения в обществе во всеуслышание произнести что-нибудь вроде: “Да будет тебе NN (непременно на ты и непременно по фамилии) (...) городить! Лучше сиди тихо и сопи в две дырочки, пока в морду не дали”. О. Седакова рассказала, как однажды на какой-то литературной тусовке её чем-то обидел В. Цыбин. Поставить его на место был отряжён Вадя. Он подошёл к маститому советскому писателю, похлопал его по плечу и сказал: “Ты не переживай, Цыбин. Ты не самое большое говно среди русских поэтов — вон Грибачев воняет посильней тебя!”»<sup>3</sup>.

Марк Фрейдкин не единственный, кого Вадим Тихонов раздражал, но всё-таки воспринимал его в своей основе человеком глубоким и простодушным<sup>4</sup>.

Венедикт Ерофеев на счёт Вадима Тихонова тоже особо не обольщался. «Любимый первенец» в больших дозах казался несносен, а его шутки часто

воспринимались ни к месту и ни ко времени. Однако со всеми огрехами его характера и воспитания, а также с его невежеством Венедикт Ерофеев смирился. Как он записал в одной из своих тетрадок: «Мы с Вадей, как кофе с цикорием. Я без него могу, а он без меня — нет»<sup>5</sup>. Или ещё более решительно: «Тихонова из дома, как слово из песни, не выкинешь»<sup>6</sup>. Елодвергает насмешкам его всезнайство: «Он уже постиг все науки и всю премудрость земную (он, т. е. Тихонов). Ему осталось заняться чёрною магиею, вызвать к себе на Пятницкую, 10, 5, демона воздуха и продать ему по дешёвке свою бессмертную душу»<sup>7</sup>.

Теперь займусь Борисом Сорокиным. В отличие от Вадима Тихонова это совершенно другой человек, щепетильный и культурный. Венедикт Ерофеев даёт ему убийственные характеристики: «Боря Сорокин, фронт, жуир, хлыщ»<sup>8</sup>. Или: «Боря Сорокин, горлопан, голодранец и забулдыга»<sup>9</sup>. «Сорокин, как Дант. Когда великий Дант проходил по улицам Равенны, девушки шептали: “Смотрите, как лицо его опалено адским пламенем”»<sup>10</sup>.

Нашёл я о Борисе Сорокине запись пусть и ироническую, но с добрым к нему чувством: «Сорокинской грудью, грудью владимирского стихотворца, будем прокладывать себе “широкую”, “ясную”»<sup>11</sup>.

Не важно, как относился Венедикт Ерофеев к каждому из этой троицы и что говорил им в глаза и о них же за глаза. По содержанию это было, кстати, одно и то же. Важно, что он провёл с ними вместе немало дней и в течение нескольких лет по разным поводам упоминал их в своих блокнотах. Как тут ни рассуждай, прикипел он к «владимирским» всей душой до последнего своего часа, как и они к нему. Когда у Венедикта Ерофеева было «настроение серое, с



жёлтыми пятнышками»<sup>12</sup>, они меняли эту унылую цветовую гамму на более радужную, импровизируя балаган с непременными шуточками-прибауточками. Ни об одном из них не мог он сказать: «Для чего только этот человек топчет мироздание?»<sup>13</sup>

Помнил Венедикт Ерофеев, как они плечом к плечу твёрдо стояли рядом с ним в дни его гонений. Недаром он называл их «оруженосцами». Они же с гордостью именовали себя «венедиктианцами». Так их дружную компашку обозначили во Владимирском управлении КГБ, запротоколировав как религиозную секту. Вот что по этому поводу думал Игорь Авдиев:

«И если идеологом был Венедикт, то “организатором” — Борис Сорокин. Сектанты? Ну, что ж, есть мнение, что западноевропейское Возрождение начиналось как сектантское движение. Много званных, да мало призванных. Союз или орден, фратрия или гетерия? Многие опьянялись радостью свободы, но злосчастность изгнанника убивала порывы. Венедикт сначала часто, потом всё реже и реже объезжал свою павлово-посадскую, орехово-зуевскую, владимирскую паствы. Ему было больно с каждым разом находить всё больше безжизненных душ: поникших, трезвых, “фрикативных, заднеязычных, задненёбных, смычнопроходных”. “Одни мы — сонорные, взрывные, переднеязычные”, — подбадривал он верных венедиктианцев. И себя.

“...ведьмы, хоть голы и босы,  
Но по крайности есть у них косы”.

“Благовествование” — это манифест секты. Студенты-ваганты становились путниками в Иерусалим,

“рыцарями бедными”. Таким же личным дневником, размышлением о собственной судьбе, сетованием о горькой истине: трудно жить, не растворяясь в толпе, не теряя себя, с бережливостью к святыням. Трудно жить с лицом, как у идущего в Иерусалим. Убивают Веничку четверо из общежития: “Брось считать, что ты Каин и Манфред!..” Четверо из толпы, которая говорит: “Кремль, Кремль...” “Они своими угрюмыми взглядами пронзили мне душу...” “Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами” (гл. “Чухлинка — Кусково”). Но оправдывать Веничку не хотели. “Если душа не сдаётся — душу вон!” “Они вонзили мне шило в самое горло...”

И от предчувствия этой кончины Веничка слышал “одновременно два полярных упрёка: и в скучности, и в легкомыслии”. Скучна смерть, легкомысленна жизнь. “Жить было скучно только Соломону и Николаю Гоголю”. “Я не утверждаю, что теперь — она — истина уже известна или что я вплотную к ней подошёл. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошёл, с которого её удобнее всего рассмотреть” (гл. “Никольское — Салтыковская”). Никто истину на этом свете не находил, но искать её в этой жизни нужно неустанно. А главное: “Духа не угашайте”, тебя будут преследовать эринии, задавать подлые загадки Сфинкс, Митридат обмажет тебя соплями в полнолуние, камердинер Пётр отречётся, рабочий ударит молотом по голове, крестьянка — серпом по яйцам, ангелы бесовски расхохочутся в лицо, но пока “разбойничьи рожи” не убьют тебя... Нужно хранить в душе не огонь... “Петушки Он стороной не обходил. Он, усталый, ночевал там при свете костра, и я во многих душах замечал там пепел и дым его ночлега. Пламени не надо, был бы пепел и дым...” (гл. “Петушки. Кремль”).

Мне лет с шестнадцати начал надоедать, потом угнетать, насилловать один помысел. Сначала несчастый,

как прилив-отлив, он всё чаще стал топить меня, отнимая все остальные чувства и мысли, как возможность последнего глотка воздуха. В один из таких приступов я и познакомился с Веничкой. Я пришёл к нему в деревню Мышлино под Петушками с Борей Сорокиным и Вадей Тихоновым (которому посвящены “трагические листы” поэмы “Москва — Петушки” как любимому первенцу)»<sup>14</sup>.

У каждого из «венедиктианцев» была своя биография. Не только один перечень жизненных вех: родился, пошёл в школу, чего-то окончил, работал, женился, воспитывал детей. Они не плыли на своих утлых лодчонках вместе со многими другими по широкой реке, толком не зная, в какое она впадает море. Все трое, как казалось им, стояли на высоком холме, словно преторианцы, вокруг смотрящего вдаль Венедикта Ерофеева. И гордились своим предназначением. Напомню читателю, чтобы моя мысль стала более понятной, хрестоматийное, стихотворение Фёдора Тютчева «Цицерон»:

Оратор римский говорил  
Средь бурь гражданских и тревоги:  
«Я поздно встал — и на дороге  
Застигнут ночью Рима был!»  
Так!., но, прощаясь с римской славой,  
С Капитолийской высоты  
Во всём величье видел ты  
Закат звезды её кровавый!..

Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир.

Он их высоких зрелищ зритель,  
Он в их совет допущен был —  
И, заживо, как небожитель,  
Из чаши их бессмертье пил!<sup>15</sup>

Вот ещё один мой довод в пользу утверждения, что «владимирские» гордились дружбой с Венедиктом Ерофеевым. Каждому из них он в той или иной степени выстроил жизнь. Для них он был Цицероном, Учителем.

Начну с Вадима Тихонова. Когда они встретились, это был нагловатый юноша с четырёхклассным образованием. Вот что он позднее, в 1994 году, рассказал с присущим ему хвастовством в интервью Ольге Кучкиной, приписав себе некоторые достижения его учителя в пополнении своего образования: «Мы с ним (Венедиктом Ерофеевым. — А. С.) пропадали лет пять или шесть в Историчке или Ленинке. То есть, когда только оттепель началась, мы сразу прошарили все эти библиотеки, пятое-десятое. Что вы, мы знали поэзию великолепно, философию, мы очень образованными были. Для того времени, слава Богу, да и для этого наверняка. Мы просто-напросто знали, что читать. Читали Леонтьева, Соловьёва, Бердяева, Фрейда. Знали поэтов всех буквально. Мы устраивали состязания: кто больше стихов прочтает, тот остаётся, кто меньше — бежит за водкой. Мы с Ерофейчиком ни разу не бегали»<sup>16</sup>.

Как бы Вадим Тихонов ни фантазировал и ни привирал, но очевидно, что для него не прошло бесследно посещение двух крупнейших отечественных библиотек. Кстати говоря, его другое интервью Ольге Кучкиной, данное практически через год, по тону более естественное: «Когда появился в моей жизни Ерофеев, действительно настрой перевернулся. Сервантес,

Достоевский... Всё началось с Достоевского. А потом пошли и Бердяев, и Лосский, и тому подобное. Куча философов, запрещённых тогда... Ну, правда, Ерофеев приехал во Владимир уже сложившимся... Человек не успевал оглянуться, как становился почитателем его мыслей, его обаяния, интеллекта»<sup>17</sup>.

Евгений Шталь в книге «Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение» приводит фрагмент из незавершённых мемуаров Вадима Тихонова. К большому сожалению, взявшись за их написание, начинающий автор долго себя не мучил. Но то, что получилось, достойно внимания читателя:

«И вот приходят ко мне Боря (Сорокин. — А. С.) с Веней и спрашивают:

— Ну, как дела?

— Да как у картошки, — говорю, — если не съедят, то посадят, следовательно, ин [вино] веритас эрго бибамус<sup>[331]</sup>.

— Дурак ты, Тихонов, — говорит Ерофейчик. — Дуй свой эрго бибамус, а я пойду учиться в местный педвуз. Там Засьма-декан мне предложила вместе с ней работу написать и повышенную стипендию дать.

— Ты сам дурак, — отвечаю, — там всех цветов девок напихано, хочешь чёрную, а хочешь зелёную, можно флёр де оранж<sup>[332]</sup> подобрать. Давай я отведу тебя к Ивашкиной под кличкой Зелёная, возьмём пару четвертинок, и можно с ней выпить и обвенчаться в Дмитриевском соборе. Правда, могут комсомольцы поколотить и повышенную стипендию отобрать.

— Может, ты и прав, Вадя, — говорит мне Ерофейчик, — а вот Боря...

— Ну, Боре Сорокину мы Седакову отдадим, всё равно она стихи пишет, а на хрен нам стихи, когда у нас идеи есть.

— Да знаю, — говорит Ерофейчик. — У меня Библию по листочкам студенты растащили, теперь их КГБ ищет, а мне дали 36 ч[асов] на выезд.

— А ты не грусти, Ерофейчик. Это за чужие идеи сажают, а за свои нас никто не тронет, потому что их никто не знает. Меня в КГБ таскали, спрашивали про Борю Сорокина, ну я им и сказал, что он скрывается у Владика Цедринского на чердаке на Сахалине, они и отстали. Правда, Владик потом возмущался, что у него и дома-то нет, и о Сахалине он ничего не слышал. Ну, а идея-то хоть у тебя есть?

— Да вот 1 р. 50 коп. найдётся.

— Ну вот и не грусти. Это[го] тебе хватит на все политические убежища в мире»<sup>18</sup>.

Встреча с Венедиктом Ерофеевым сделала жизнь Вадима Тихонова осмысленной, но не продлила её. Денно и ночью его преследовала навязчивая мысль: где бы выпить, но не одному, а в дружеской компании.

Совсем иначе сложилась судьба Бориса Сорокина. Я уже кое-что о нём рассказал. Написал о том, почему он был вынужден уйти из Владимирского педагогического института. Некоторое время Борис Сорокин работал сторожем во владимирском ресторане «Всполье». В городе его считали тунеядцем. От милиции его спасало то, что он был инвалидом детства (костный туберкулёз). Как свидетельствовала Людмила Чернышёва, невестка Бориса Сорокина, он организовал во Владимире группу по изучению христианского вероучения. Туда вошли все члены «великолепной семёрки». На следующий год поступил в Орехово-Зуевский педагогический институт, но проучился там не больше года. Приезд к нему в гости Венедикта Ерофеева стал поводом для отчисления уже из нового вуза. Однако он не пал духом и в 1967 году поступил в МГУ. Оттуда вскоре также был отчислен. Как пишет Евгений Шталь, Борис

Александрович Сорокин «служил с 1983 года в церкви Пророка Ильи (чтец, пел на клиросе), потом — в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках (с 1998-го дьякон). С 2000-го — дьякон церкви Фёдора Студита»<sup>19</sup>.

Приведу признание Бориса Сорокина о роли Венедикта Ерофеева в его жизни: «Знакомство с Веней было полным переворотом в моей судьбе. Как будто я не жил, не сознавал себя, и вдруг всё изменилось. Нужно признаться, это было страшно болезненно»<sup>20</sup>.

Игорь Ярославович Авдиев выделяется из свиты Венедикта Ерофеева. До встречи с ним он уже как личность кое-что собой представлял. Евгений Шталь основательно восстановил его биографию. К началу 1960-х годов это был хорошо образованный и начитанный юноша из интеллигентной семьи, по которой прошёлся каток сталинщины. Его отец Ярослав Юрьевич Авдиев<sup>[333]</sup> воевал в танковых войсках. В мирное время занимался разработкой оружия. В 1947 году отца Игоря арестовали, мать выслали из Москвы как жену «врага народа». После смерти Сталина отец вернулся, но жил после ГУЛага немного — пять лет. Умер, не дожив четыре месяца до пятидесяти пяти лет. Мать Игоря на следующий год вышла замуж за генерала. Для юноши это событие было воспринято очень болезненно. Его, так же как Венедикта Ерофеева, мотало по различным высшим учебным заведениям: Владимирский государственный педагогический институт, исторический факультет МГУ, вечернее отделение Московского полиграфического института (специальность «журналистика»), который он окончил в 1980 году.

Обращусь к биографической справке Евгения Шталя об Игоре Ярославовиче: «25 мая 1984 года на квартире Авдиева произведён обыск. Были изъяты иконы, фотокопии, фотографии, книги (Евангелие, Д. Хармс

“Елизавета Бам”, машинописный текст с произведениями О. Э. Мандельштама, А. Введенский “Конец века”), фотоаппарат, фотоплёнки, 24 конверта с негативами и т. д. — всего 53 наименования, отключили телефон»<sup>21</sup>.

Дальше обыска в квартире Игоря Авдиева дело не пошло. 15 марта 1984 года к власти в СССР пришёл Михаил Сергеевич Горбачёв.

Игорь Авдиев, прообраз Черноусого в поэме «Москва — Петушки», поддерживал отношения с Венедиктом Ерофеевым до конца его дней.

Наталья Шмелькова записывает 4 мая 1990 года: «Вечером звонит Игорь Авдиев. “Ерофееву очень плохо, — говорю. — Выдернул из вены иглу от капельницы... Причащаться отказался”. Игорь чуть не плачет: “Ты — крёстная мать. Муравьёв — крёстный отец. Возьми всё на себя. Позвони Асмусу. Я не переживу, если он так уйдёт”. Рассказывает, как два месяца тяжело умирала от рака его жена. Обещаю ему поговорить с Веней»<sup>22</sup>.

«Неоднократно Игорь Авдиев писал о своём друге, готовил к публикации его записные книжки»<sup>23</sup>.

Валерий Маслов, ещё один из поздних «венедиктианцев», был моложе Венедикта Ерофеева на семь лет. Он некоторое время входил в ерофеевский круг. Евгений Викулов в книге «Путешествие в обратном» вспоминает о нём: «Это Валера Маслов, ироничный, глубокомысленный и многозначительный в суждениях»<sup>24</sup>.

Вспоминаются пушкинские строки из его романа в стихах «Евгений Онегин»: «Иных уж нет, а те далече...»

Не стоит искать утешения в прошлом. Тем более что книга о Венедикте Ерофееве не закончена и читателю ещё предстоят встречи с ним самим и его свитой.



## **Глава семнадцатая**

### **В ТЕНЁТАХ СТРАСТИ И ЛЮБВИ**

Венедикт Ерофеев устроил большой переполох среди студентов и студенток Владимирского педагогического института и навёл на тех из них, кто находился в его ближайшем окружении, несообразные с их виной кары.

Валентина Зимакова при встречах с Венедиктом Ерофеевым соблюдала строжайшие условия конспирации, словно находилась на нелегальном положении во вражеском тылу. Однако от бдительных глаз советских граждан не укрыться и на их роток платок не так-то просто накинуть. Как того и следовало ожидать, Валентина Зимакова была разоблачена. Пришлось руководству института прибегнуть, как знает читатель, к её публичному шельмованию на комсомольском собрании, чтобы у всех на нём присутствующих исчезло желание общаться с религиозным фанатиком, распутником и пьяницей. Этот спектакль на какое-то время сработал. Вместе с тем Валентина не прервала отношений с Венедиктом, а только затаилась в отдалении от него. Возможность видеться чаще ей вскоре представилась.

Недрузи ждали, что вот-вот «вечного студента» заберут в армию. Казалось, его наглость достигла предела. У него была, казалось бы, навсегда испорченная репутация, и исправить её могла только воинская служба. У ректора и декана оставалась надежда, что армия его перевоспитает. Но, как уже было в таких случаях, Венедикту Ерофееву удалось отвертеться и на этот раз от воинской повинности. Он

действовал по опробованной схеме. Людей, которые её использовали, тогда называли «летунами».

16 февраля 1962 года Венедикт Ерофеев был принят кочегаром 5-го разряда в жилищно-коммунальную контору Строительного треста № 94, из которой уволился 17 апреля того же года. Более двух месяцев он находился в «свободном плавании», пока 25 июня не пошёл рабочим на кирпичный Павлово-Посадский завод и проработал там чуть больше месяца — до 1 августа. В сентябре Венедикт Ерофеев подал документы в Коломенский государственный педагогический институт (КГПИ) на историко-филологический факультет, куда и был зачислен без экзаменов, по переводу, на второй курс.

В этом институте он старался не выделяться, вёл аскетический образ жизни. Запомнился одноклассникам внешним видом. Пока не наступили холода, ходил в белых тапочках на босу ногу, в вылинявшей сиреневой майке с длинными рукавами. Зимой на нём было «драповое пальтишко тёмно-синего цвета, а на ногах — тёплые носки и калоши»<sup>1</sup>.

Странное дело, но Венедикт Ерофеев вовсе не думал о своём будущем. Больше всего он был озабочен тем, как отвертеться от армии и каким образом окончательно очаровать Юлию Рунову. Как убедился читатель, девушкой она была серьёзной и затяжных развлечений с выпивкой не приветствовала. Могла, разумеется, однажды встряхнуться — и на этом остановиться.

Вернусь на несколько месяцев назад. К тому времени, когда Венедикт Ерофеев только начал думать о своём переводе в Коломенский педагогический институт.

Совсем не мудрой с его стороны оказалась мальчишеская затея столкнуть лбами Юлию Рунову и

Валентину Зимакову во время своего приезда 10 февраля 1962 года в Орехово-Зуево. Он появился там по просьбе Юлии — помочь ей оформить дипломную работу. Конечно, это был повод, шаг ему навстречу, они ведь долго не встречались после их размолвки на перроне вокзала в Петушках в декабре 1961 года. Венедикт Ерофеев предложил Борису Сорокину, Вадиму Тихонову и Валентине Зимаковой составить ему компанию. Они были не прочь, но Зимакова и Тихонов отправились в Орехово-Зуево не утренним поездом, как Венедикт Ерофеев и Борис Сорокин, а попозже.

Юлия Рунова уже не жила в общежитии, а снимала неподалёку от него со своей подругой Валентиной Еселёвой квартиру в районе с дурной славой. Да и сама хозяйка была с криминальной репутацией. Продавала из-под полы мясо и рыбу — добычу её мужа-браконьера. Соперничество двух женщин представлено Борисом Сорокиным в водевильном и мелодраматическом жанре: «Дверь нам открыла Юля, которая очень обрадовалась нашему приезду. И я никогда не видел такого Ерофеева. Он весь светился и порхал, когда пытался в чём-то помочь Руновой, склонившейся над дипломными ватманами. В середине дня завалились Зимакова и Вадя. Тихонов весело представил девушкам Валентину. Еселёва поздоровалась, а Рунова стояла сбоку и исподлобья смотрела на соперницу. Через какое-то время Зимакова попросила Венедикта прогуляться с ней. Вернулись они не менее чем через час. В руках у Зимаковой была целая охапка нераспустившейся вербы. Вдруг из дверей кухни появляется Рунова. В руках она держит охотничье ружьё. “Вон отсюда”, — шипит она и поднимает двустволку на Ерофеева. Венедикт остолбенел. Он со страхом и удивлением смотрит на Юлию. Подбежавший Тихонов пытается вырвать у Руновой ружьё. Гремит выстрел. В клубах дыма парят бумажные остатки пыжа. Зимакова тихонько плачет у

порога. А Венедикт медленно поворачивается и, не проронив ни слова, уходит из дома. Как выяснилось позже, весь следующий день Ерофеев пропьянствовал у друзей в общежитии ОЗПИ»<sup>2</sup>.

Было это или не было, сказать трудно. Скорее всего — не было. По крайней мере, Борис Сорокин точно передал напряжённую атмосферу, создавшуюся в результате появления у Юлии Руновой соперницы. Ко всему прочему, ситуация в существовавшем любовном треугольнике радикально изменилась не в её пользу после 8 марта 1962 года, дня, отмеченного в дневнике Венедикта Ерофеева словом «грехопадение».

Это событие, конечно, дошло до ушей Юлии Руновой. Иначе не объяснить, почему после защиты в начале июня 1962 года дипломной работы в ОЗПИ она чуть ли не наследующий день, не дождавшись выпускного вечера, стремительно уехала на всё лето на Кавказ. Известно, что Венедикту Ерофееву о своём отъезде она не сообщила. Это был удар по его самолюбию, да ещё какой! Он, скажу прямо, был в смятении. После той злополучной встречи на съёмной квартире он долго боялся не то, что встретиться с Юлией Руновой, но даже поговорить с ней по телефону.

Как пишет почитаемая Венедиктом Ерофеевым Зинаида Гиппиус, Владимир Сергеевич Соловьёв<sup>[334]</sup>, религиозный мыслитель, поэт и литературный критик, различал пять путей любви. Я сделаю некоторые выписки из её эссе «О любви»:

«Первый он (Соловьёв. — А. С.) называет “глубинами сатанинскими” и предлагает обойти его молчанием. Впрочем, в одной из своих статей он немного касается этого “адского пути”, говоря о так называемых “аномалиях”, к которым причисляет и “естественный разврат”. Покупку тела он сравнивал с некрофильством, не делая различия между этими “любителями

мертвечины”. Второй путь — “менее ужасный”, хотя тоже недостойный человека, обычный путь животных, то есть покорность первому физическому влечению. Третий — добрый человеческий путь — брак. Четвёртый путь — старание заменить человеческий путь брака путём “как бы” высшим — чистой духовностью. Духовную любовь (“платоническую”) Соловьёв не может признать “истинной”, так как не допускает противоположения духа телу: человек, в целостности, *духовнотелесен*. Любовь духовная не имеет и не может иметь за собою никакого реального дела; она вне воли и движения. Что касается полного отречения от Эроса, аскетизма, то Соловьёв рассматривает этот путь христианского монашества как “ангельский”, подчёркивая, что и он не соответствует человеческому достоинству в полноте, ибо “человек” — выше ангела (потенциально). Все эти пути — и сатанинский, и животный, и человеческий, и ангельский — ведут к смерти. К смерти любви, во всяком случае, а иногда к смерти личности... На всех этих путях человек пассивно переживает состояние любви, не берёт любовь в сознательную волю, не исполняет “дела” любви, и любовь, предоставленная самой себе, исчезает, как мираж. Эрос отлетает. Крылатый бог, всегда несущий “веяние нездешней радости”, одинаково отлетает и от счастливого отца семейства, и от страстного чувственника, и от падающего прямо из его божественных объятий в объятия смерти безвольного юноши. Но если так, где же, в чём же, чем определяется путь любви истинной? Пятый, последний, волевой путь любви — уже не человеческий только, но Богочеловеческий, то есть путь *восхождения*. Соловьёв подчёркивает, что с ясностью можно указать лишь основные условия, определяющие *начало и цель* этого высшего пути. Цель, конечно, та же для любви, как и для личности, и для человечества, — победа над

смертью. И дело любви — опять триединое дело волевого, свободного участия в борьбе за бытие против небытия. Что же касается условий начала высшего пути любви, то они лежат в понимании и принятии как реальных трёх основ; *андрогинизма, духовнотелесности и богочеловечности*»<sup>3</sup>.

Так какой же путь избрал для себя (или хотел избрать) Венедикт Ерофеев? Первый отмечаем с самого начала. На второй путь он как будто бы вступил, о чём свидетельствует появление у него сына. Это пример того, что Венедикт Ерофеев оказался, пусть и на короткое время, под властью любви именно Валентины Зимаковой, а не какой-то другой девушки. Он даже перешёл с этого пути на третий, заключив с ней брачный союз. Однако стоило ему через какое-то время увидеть Юлию Рунову, он в мгновение забыл о своей ответственности перед женой и неудержимо захотел вернуться к ней на любых условиях. К чести Венедикта Ерофеева, это желание в нём существовало до рождения сына. Четвёртый путь он даже не рассматривал. Единственный путь, по которому он двигался медленно и упорно, постоянно с него соскальзывая, был путь пятый. Ещё была одна загвоздка, которая ему мешала выбрать в мире людей единственный путь любви и ни на какой другой не сворачивать. Я уже косвенно говорил об этом на страницах моей книги — Венедикт Ерофеев принадлежал только себе и никакого равноправного дружеского союза с кем-то не признавал. От этого внутреннего чувства он страдал, убивал себя алкоголем, как мог, ему противился, но оно всё равно оставалось в нём. Это понимали, я думаю, только две любящие его женщины — Юлия Рунова и Наталья Шмелькова.

Живя в Коломне, Венедикт Ерофеев ежедневно думал о Юлии Руновой, пытался через общих знакомых найти адрес её нового местожительства. Никто ничего определённого сказать не мог. Словно она оборвала все нити, ведущие к ней. Наконец, ему удалось достать адрес Юлиной матери.

Рассказывает Юлия Рунова: «Своим внезапным вторжением он очень напугал маму. Ерофеев ей показался очень подозрительной личностью, и мама даже хотела бежать за помощью в милицию. Но потом, успокоившись, всё же сообщила ему, что её дочь “мечется где-то на ветке между Ореховом и Москвой”. И Венедикт стал меня выслеживать на петушковской линии. Однажды в заиндевевшее окно поезда, отправлявшегося на Москву, я вдруг увидела силуэт Ерофеева, бегущего вдоль вагонов. До самой Москвы Венедикт стоит в тамбуре и курит. По прибытии, уже на перроне Курского вокзала, он подошёл ко мне. Я очень спешила по делам, и мы договорились продолжить разговор в пирожковой, недалеко от МГУ. “Вся кровь во мне остановилась, когда я тебя увидел из тамбура”, — первое что сказал мне Ерофеев при встрече. Мы зашли в пирожковую. “Только ты будешь есть, что я закажу”, — уговаривает меня Венедикт... Он что-то взял, мы о чём-то говорили. Помню только, что он был почему-то недоволен своей учёбой в Коломне. Но мне нужно было уже уезжать, и мы договорились встретиться перед самым Новым годом. В конце декабря мы снова встретились в Москве и тоже около МГУ. Венедикт предложил поехать с ним в Хибины. Я отказалась. И он уехал в Хибины один»<sup>4</sup>.

Действительно, он приезжал в Кировск один и встретил там Новый год вместе со всей своей семьёй.

После зимней сессии Венедикт Ерофеев затосковал. Сведений о его пребывании в Коломенском

педагогическом институте немного. Никакими скандалами он там не отметился. В краткой автобиографии упомянул, что во время учёбы подрабатывал грузчиком продовольственного магазина<sup>5</sup>. Кое-что удалось собрать о нём авторам первой биографии о писателе «Венедикт Ерофеев: Посторонний».

Вот что вспоминает его однокурсник Михаил Комаров: «В нашей среде он был неожиданным студентом. Нашито все были попроще. По начитанности и эрудиции он был выше нас всех, и другие взгляды на мир... Он не был высокомерным, и все к нему как-то льнули, прислушивались к нему. Он был нацелен на западную литературу и богословов. Ницше, Фихте, Кант... Кто-то ещё, я уже сейчас не помню, мне они вообще не были известны, но он их хорошо знал. Мы далеки от этого были, и он в этом деле нас пытался просвещать. Он был проповедником этой западноевропейской религиозной мысли, если так можно выразиться»<sup>6</sup>.

6 апреля 1963 года приказом № 42 ректора Коломенского педагогического института Д. Е. Аксёнова Венедикт Ерофеев был отчислен со второго курса историко-филологического факультета «за пропуск занятий без уважительных причин, академическую задолженность и нарушение правил порядка и гигиены в общежитии студентов».

Наступил следующий раунд его противостояния с налаженной системой советского гуманитарного образования. Оставался единственный путь, который когда-то избрал для себя не шибко им любимый Алексей Максимович Горький — хождение в народ и самообразование.

Вадим Тихонов составил ему компанию. Всю весну 1963 года они вместе мотались между Коломной,



Владимиром, Павловским Посадам и Орехово-Зуевом в поисках случайных заработков. Не расстались они и позднее. Вадим Тихонов вспоминал: «Когда его выгнали из очередного пединститута, я его устроил к себе на кабельные работы. Мы объездили полстраны, тянули кабель в течение десяти лет примерно. Читали, пили, больше мы ничего не делали»<sup>7</sup>.

Игорь Авдиев в своих воспоминаниях привносит кое-какие уточнения и убедительные доказательства того, что лучшей работы Венедикту Ерофееву в его положении было не найти: «Десять лет работы в СУСе — Специализированном управлении связи № 5, контора которого находилась в Люберцах, а вагончики с рабочими были разбросаны по всему СэСэСээРу, — это не скитание, а скрывание себя. Коллеги по работе — почти все с тюремно-лагерным стажем. На этой работе не требовали документы, не нужна была строгая постоянная прописка. Тула... Брянск... Белоруссия... года три вокруг Москвы... Однажды выдвинули кандидатуру Венедикта, как опытного уже, дипломированного специалиста, спайщика-симметрировщика на работу в Афганистан. Предложили вступить в Коммунистическую партию. Венедикт Ерофеев размечтался в тот вечер всерьёз: “может, поехать” — вот до чего человек может забыться, но выпил и всё вспомнил. Какая тебе партия, если у тебя прописка последняя у тёти Нюры — временная, ещё павловопосадская, “на срок учёбы”, а приписное свидетельство...»<sup>8</sup>

Прошёл один год. Обращусь к неизданным воспоминаниям Тамары Васильевны Гущиной: «И вот однажды, теперь уже не помню когда, маме пришло письмо из Орехово-Зуева. Вена спрашивал разрешения, можно ли ему приехать с Юлей Руновой. Дальше следовали уверения, что Юля ей обязательно

понравится: “Она в твоём вкусе”. Вена приехал и представил маме стройную, темноволосую, довольно симпатичную девушку: “Мама, познакомься, это Валя Зимакова”. Так он познакомил нас со своей будущей женой. О Юле речи не было, и мама спросить не осмелилась. Валентина всем понравилась. Она познакомилась со всей роднёй, у всех побывала, и своим корректным поведением понравилась даже маме. Мужем и женой они стали после рождения сына»<sup>9</sup>.

Венедикт Ерофеев любил четверостишия, так называемые «гарики», поэта Игоря Мироновича Губермана. Ими исписаны многие страницы его памятных блокнотов. Приведу одно из них, объясняющее, что происходит с людьми, когда они влюбляются. Не избежал этой участи и герой моей книги:

Мы от любви теряем в весе  
за счёт потери головы  
и воспаряем в поднебесье,  
откуда падаем, увы.

### ***Эпилог. Рассказ Галины Анатольевны Ерофеевой***

#### ***о своей свекрови***

— Познакомилась я с Валентиной Васильевной Зимаковой, первой женой Венедикта Васильевича, при обстоятельствах, прямо скажем, прозаических. У меня

неподалёку от деревни Караваево была ферма, и я расклеила в людных местах объявление, что мне нужен работник. Откликнулся симпатичный молодой человек, за которого я со временем второй раз вышла замуж. Это был Венедикт Венедиктович Ерофеев. Он потом шутил, что женился по объявлению. Тогда у меня и мысли такой не было. Я только что развелась и не собиралась надевать на себя новый хомут.

Того, что среагировавший на моё объявление молодой человек — сын известного писателя, я не знала. Прежде чем брать его на работу, я решила без приглашения зайти к нему в гости и посмотреть, в каких условиях он существует и с кем живёт. Я ещё не знала, что живёт он вдвоём с матерью. Старый деревянный дом я нашла довольно быстро, помогли деревенские.

На мой голос: «Есть ли здесь кто-нибудь?» — вышла моложавая стройная женщина в элегантных чёрных брюках в обтяжку, цветной кофточке и с сигаретой, изящно зажатой между двух удлинённых тонких пальцев. С виду уж точно она не была деревенской бабой. «Как странно, — подумала я, — что делает здесь эта дама из высшего общества, о котором я только слышана?» А видела я таких дам разве что в заграничных фильмах. Моё первое впечатление от будущей свекрови было ошеломляющим. «Если кто-то сказал бы мне, что она пьянчужка, я не поверила бы».

Потом уже, когда я стала её невесткой, бывало всякое. Происходили даже скандалы. Выпивала она всё больше и больше. Никак не могла остановиться. Иногда напивалась до потери сознания. Но бывали дни, когда Валентина Васильевна находилась «в завязке». Трезвой она была настроена на разговоры. Вот тогда-то я многое услышала о её прошлой жизни в деревне Мышлино и посёлке Караваево. Школа, где она преподавала, находилась в Караваево, в трёх с лишним

километрах от дома в Мышине. Ей приходилось почти ежедневно на протяжении более десяти лет при любой погоде пешком шагать по просёлочной дороге до места своей работы. Иногда она забирала с собой своего малыша, маленького Веню. В неё влюбился директор школы, где она работала. Валентина Васильевна рассказала мне трогательную историю, с ним связанную. Была зима, Венедикт Васильевич приехал тогда на месяц-другой пожить в семье. Вдруг раздался у крыльца храп коня. Это на санях приехал к ним в гости директор школы. Валентина Васильевна грелась на печке, прикрывшись стёганым одеялом, и услышала разговор между вошедшим в дом директором и мужем. «Здравствуйте, Венедикт Васильевич, — сказал директор, — у меня к вам серьёзный разговор». — «Ну, заходи, — ответил мой свёкор. — Говори, не стесняйся». И тут директор прямо с порога выпалил: «Отдай мне в жёны твою жену. Я её очень люблю!» Валентина Васильевна, рассказывая мне эту историю, всплеснула руками: «Я когда услышала, чуть с печки не свалилась!» Венедикт Васильевич хмыкнул и сказал: «Говоришь ты, как Тургенев, а поступаешь, как подлец!» И указал ему на дверь.

К Венедикту Васильевичу, как только он появился в Мышине, все деревенские относились хорошо. И в гости приглашали, и друг другу говорили, какой у Вальки муж «личманистый», то есть видный, красивый.

Венедикт Васильевич приезжал наездами, как-то помогал ей с ребёнком, а потом вовсе перестал их навещать. Были годы, когда он исчез, — ни письма, ни телеграммы, ничего... В общем, сгинул. Она не знала, жив ли он или умер. Однако неожиданно проявился и сразу с просьбой о разводе. Дескать, ему надо как следует от властей спрятаться. За года два до его появления из небытия в чёрных «Волгах» несколько раз приезжали люди и весь дом переворачивали кверху

дном. Вот тогда-то вся деревня узнала, что её Веничка — писатель, но писатель — «не наш». Говорили, что написал он что-то до ужаса крамольное. Что именно, никто из приехавших не уточнял, но внятно было сказано, что это неприкрытая антисоветчина.

После этих обысков начала 1970-х годов Венедикт Васильевич наезжал к ним всё реже и реже. Это было связано, как считала Валентина Васильевна, ещё и с тем обстоятельством, что он начал встречаться с 1972 года с Юлией Руновой. Она к этому времени развелась с мужем. Эти свидания происходили в квартире у Валентины Еселёвой, её однокурсницы и близкой подруги. Они вместе окончили химико-биологический факультет Орехово-Зуевского педагогического института и затем вместе учились в аспирантуре. Однако жениться на Юлии Руновой он не мог. Паспорт у него был просрочен, прописка также отсутствовала. Жил он, как бомж. Перебивался кое-какими непонятными заработками. То на разгрузке товарных вагонов две копейки получит, то грузчиком в магазине что-то перехватит. Всё выходило по случаю, по везению. В общем, его трудовая книжка не заполнялась новыми местами работы. Получалось, что он злостный тунеядец, а это уже подводило его под статью Уголовного кодекса.

Валентина Васильевна искренне горевала, что не везёт по жизни её талантливому Веничке и ничем она ему помочь не может.

Любил ходить Венедикт Васильевич пешком по просёлочной дороге. На остановку раньше конечной, а то и на две выходил из автобуса. Автобус доезжал до Мышлина, а когда они переехали в Караваево — и до этого посёлка. Эти пешие прогулки, как вспоминала Валентина Васильевна, очень хорошо на нём сказывались. Он душой светлел и в разговорах становился благожелателен. Когда приезжал, всегда с

собой привозил гостинцы, и не какой-нибудь кулёчек, а полные сумки.

Курить Валентина Васильевна в подражание Венедикту Васильевичу начала с третьего курса педагогического института. Как только с ним познакомилась. Уже родив сына и оставив его на попечении своей матери, она куда только с мужем своим не ездила. И в Брянск, и куда-то ещё, и к его родне на Кольский полуостров.

После развода 15 октября 1975 года Венедикт Ерофеев исчез надолго. Появился, как вспоминала Валентина Васильевна, однажды в 1976 году. И только через несколько лет связь с ним восстановилась. Её мама Наталья Кузьминична своего зятя с самого появления его в их доме невзлюбила. После исчезновения Венедикта Васильевича его записные книжки и другие рукописи использовала для растопки печки. Так и сгорели они в огне. При этом Наталья Кузьминична приговаривала: «У вшивого Тришки — одни паршивые книжки». Что могла сделать бедная Валентина Васильевна? Ничего. Когда мать состарилась, её увезли к старшей сестре на зиму в город. Когда вернулась обратно, то тут же умерла. Незадолго перед смертью матери Валентина Васильевна вышла замуж. Её муж, Евгений Аниканов, работал на скотном дворе в Караваево. Им предоставили полдома для жилья. Маленький Веня до того, как они не выехали из Мышлина, жил в интернате при школе в Петушках. Надо было платить за проживание там ребёнка и еду. Денег на жизнь и интернат не хватало. У Валентины Васильевны скопился колоссальный долг, который она погасила, переехав с новым мужем в Караваево и продав дом в Мышине.

Беда с Валентиной Васильевной произошла позднее. В стране началась антиалкогольная кампания. 8 марта в школе был праздник, посвящённый Женскому дню. В то

время Валентина Васильевна исполняла обязанности заместителя директора школы. Как делали прежде, в учительской накрыли праздничный стол. Естественно, на нём стояли разные бутылки с вином и водкой. А тут нагрянула комиссия из Районного отдела народного образования. Валентину Васильевну берут под белые ручки, изымают из сейфа документы, печать, отбирают ключи и увольняют из школы по соответствующей статье. Ей тогда было 52 года, до пенсии не хватало трёх лет. Она пошла на ферму работать телятницей. Вот эта нехватка учительского стажа обернулась для неё нищетой. Пенсию ей оформили настолько мизерную, что по тем ценам её хватало три раза сходить в магазин. Это было самое дно, на котором она оказалась. Когда попала в их дом, я ужаснулась. Посуды было по тарелке, ложке и кружке на каждого человека. Постельное бельё отсутствовало вовсе, его заменяли какие-то тряпки. Словом, жуткая нищета.

Расскажу ещё одну историю, которую я услышала от Ершова, старосты посёлка Караваево. Однажды, году в 1997-м, к Валентине Васильевне приехал из Германии режиссёр или сценарист с переводчицей. Ещё кто-то при них был. Кажется, фотограф. Их машину сопровождала чёрная «Волга». В доме кроме Валентины Васильевны и её мужа Евгения Аниканова никого не было. Приехал немец с бутылкой, поставил её на стол, а закусить нечем. Разлили водку по стаканам. Валентина Васильевна сразу выпила полстакана. Переводчица объяснила, с какой целью они приехали: немец хочет снять фильм о Венедикте Ерофееве и просит Валентину Васильевну рассказать о её прежнем муже. Валентина Васильевна сидела, слушала переводчицу и вдруг сказала: «Слушай, девочка, иди-ка погуляй, я сама разберусь». И вдруг заговорила с немцем совершенно свободно на его языке. Но тут стали возмущаться люди,

сопровождавшие немцев на чёрной «Волге». Ведь они ничего не понимают! «Ну, и не понимайте», — сказала Валентина Васильевна и продолжила беседу с немцем. Ребята эти наши ещё по стаканчику выпили, немножко расслабились и вышли на свежий воздух. Хотят говорить наедине, пусть говорят! Через какое-то время вышел из дома немец, а у него на глазах слёзы. Переводчица взялась его успокаивать. Ершов удивился и спрашивает у неё: «Чего это он?» Она ответила: «Герр, положим, Краузе не понимает, что эта женщина здесь делает, живя в такой нищете и в этом сарае». Тут вышла к ним Валентина Васильевна. Немец начал искать какие-то деньги, чтобы ей как-то помочь. У него были только доллары, а она их не взяла. Наскребли кое-какие рубли. Она поблагодарила его, сказав: «Этих денег мне хватит, чтобы купить хлеба». Я тогда ещё не была знакома с Валентиной Васильевной. Эту историю я услышала от Ершова, старосты посёлка Караваево, уже будучи её невесткой.



## **Глава восемнадцатая** **ЖЕНА ПРИ МУЖЕ ХОРОША,** **А БЕЗ МУЖА НЕ ЖЕНА**

Венедикт Ерофеев какое-то время делал безуспешные попытки сохранить верность устоям большой крестьянской семьи, из которой вышли его отец Василий Васильевич и мать Анна Андреевна. По крайней мере, как уверяла Наталья Шмелькова, «христианские принципы для него были священными уже с семнадцатилетнего возраста, что проповедовал он их “по мере сил” и среди студенчества...»<sup>1</sup>.

Его миссионерство затрагивало, разумеется, небольшую группу молодых людей. Понимал, как он отметил в блокноте 1979 года по поводу одного из своих знакомых, что «и набожность должна быть одарённой — а у него она и не глубока, и упряма»<sup>2</sup>.

Говоря проще: Венедикт Ерофеев не был святым, но и за черту старался не переходить. Удалось ли ему ускользнуть из крепких объятий общества? На какое-то время и в незначительной степени — да! Ведь в 26 лет у него были жена и сын. Не забудем, что в нём существовало чувство благодарности за то добро, которое он изредка получал от людей. Он был сыном не только своей семьи и века, но и своей родины — Кольского полуострова с его жителями, историей и природой. Всё это так, но негоже делать из него человека не от мира сего. Страсти (да ещё какие!), которые я только что описал, овладевали им постоянно, не давая ни на минуту расслабиться. Платить добром за добро намного проще, чем постоянно сохранять чувство ответственности за судьбы своих близких и друзей.

Вот здесь-то у Венедикта Ерофеева случались постоянные срывы. Чего тут скрывать, они его не украшали. Например, достаточно эгоистично он поступил с Валентиной, в девичестве Зимаковой, его первой женой и матерью их единственного ребёнка — Венедикта-младшего. В первой биографии писателя «Венедикт Ерофеев: Посторонний», написанной Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым и Ильёй Симановским, с протокольной точностью отмечено: «...Ерофеев, пусть и невольно, сыграл в жизни Валентины Зимаковой трагическую и отчасти разрушительную роль»<sup>3</sup>.

Сказано точно. Разве что слово «невольно», извиняющее недостойное поведение Венедикта Ерофеева, сильно фальшивит. Он не соблюдал многое из того, что здравый смысл и мораль вменяют каждому человеку в обязанности. Наряду с этим поведением он не подстрекал свой ум амбициями. Понимал, что силой логики человеческую глупость не вразумишь.

Венедикт Ерофеев расширял и углублял свои знания ради удовольствия, а не чего-то другого. Уже одно это отличало его от учёного. Он был художником и поступал по наитию, доверяясь интуиции. Никогда не сомневался в правильности принятого им решения. Ведь в большинстве случаев приоритетом был он сам — Венедикт Васильевич Ерофеев. Однако причиной такого эгоистического поведения были вовсе не нарциссизм или себялюбие, а существующее в нём, как инстинкт, жёсткое требование оберегать своё призвание. Не стоит при этом забывать, что бывали в жизни Венедикта Ерофеева периоды, когда он в себе сомневался: «Беру со всех взносы, а, в сущности, никому не нужен как профсоюз»<sup>4</sup>. Ему хотелось бы к себе другого отношения: «Не хочу быть полезным, говорю я, хочу быть насущным»<sup>5</sup>.

Рождение сына изменило весь привычный уклад небольшой семьи Венедикта Ерофеева. Некоторое время он чувствовал долг мужа и отца. К сожалению, его попечительство длилось недолго. Вскоре основная ответственность за судьбу сына легла на плечи Валентины.

Мои встречи с Венедиктом Венедиктовичем прояснили многое в жизни его матери. Она была последним ребёнком в большой многодетной крестьянской семье Зимаковых. Детей у родителей было шестеро: три мальчика и три девочки. Мать родила Валентину в 1940 году в 47-летнем возрасте. Её отец был председателем небольшого совхоза со скотоводческой фермой и конехозяйством. Во время войны он получил бронь, чем не упустил случая воспользоваться при отсутствии в деревне мужиков. Наталья Кузьминична, бабушка Венедикта-младшего, чуть ли не ежедневно при внуке напоминала мужу его прежние прегрешения, стыдила и позорила. Ведь когда многие мужики из их деревни погибали на фронте, он «огуливал» их жён.

Дом, в котором выросла Валентина Васильевна, был добротный, так называемый «пятистенок» — прямоугольная постройка, разделённая на просторную избу и сени, где находилась скотина. Всё-таки отец у Валентины Васильевны был председателем совхоза! Беда случилась в конце 1950-х годов. С неё-то у Валентины Васильевны всё пошло сикось-накось, наперекосяк, не как у большинства людей. Поздно ночью она возвращалась из Караваева с танцев. Полезла на сеновал с керосиновой лампой в руке, чтобы там заночевать, и, уже туда забравшись, споткнулась, уронила лампу, и она разбилась. Мгновенно вспыхнуло сено.

Слава богу, все домочадцы спаслись, а вот их дом сгорел подчистую вместе со скотиной. Кое-какие, самые

необходимые вещи, впрочем, удалось вынести. Пришлось покупать себе новое жилище. На этот раз дом им достался большой, но ветхий и какой-то скособоченный, но также поделённый на две половины. Отапливалась из них только одна. В этот дом Венедикта Венедиктовича привезли из родильного отделения больницы, где он родился.

Обращусь к записи моей беседы с единственным сыном Венедикта Васильевича Ерофеева:

«Вспоминаю строки из отцовской поэма “Москва — Петушки”: “А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звёзды... распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев”. Действительно, наши хоромы были дымными постоянно. В дополнение к русской печке на зиму буржуйка. Труба от неё через весь дом врезалась в трубу русской печки. Таким вот макаром можно было пережить зиму. Помещение было большим, и одной печки оказалось мало, чтобы его обогреть, когда из всех щелей постоянно дуло. Надо ещё признать, что педикулёз в 1960—1970-е годы был жесточайший. Всё моё детство сопровождалось постоянным мытьём головы с использованием какой-нибудь гадости — вплоть до керосина. А уж если матушка привозила из райцентра серно-ртутную мазь, то наступал полный кошмар. Вши вообще не выводились, как волосы ни стригли. Точно отец написал: “...в дымных и вшивых хоромах, где распускается мой младенец”. У него есть в записной книжке запись, что матушка от боли, когда у неё начались схватки и её повезли в санях в больницу, вцепилась настолько сильно в его руку, что на ней остались следы её ногтей. Вообще-то ждали девочку, хотели назвать её Анной, а вот появился я наперекор родительским надеждам. Я родился 3 января 1966 года, а матушку доставили в больницу на день раньше. Была в тот день жутчайшая метель и мороз стоял трескучий.

Мне рассказывала моя бабушка, что она обежала полдеревни, пока не достучалась до деревенских, у кого есть лошадь. Лошадей держали исключительно для вспашки огородов. В каждой деревне была конюшня с двумя-тремя лошадьми.

Наконец-то нашлась тётя Нюра Осипова. Она согласилась отвезти матушку в Воспушку, где была участковая больница, километров в восьми от Мышлина. До Петушков не доехали бы, дорога была основательно заметена. Мой отец, естественно, сопровождал матушку».

Венедикт Ерофеев 18 января 1966 года писал из Караваева в канун Крещения старшей сестре Тамаре Васильевне Гущиной: «Ни приветствий, ни извинений за долгое молчание. Мы-то хоть напоминали о себе 2-3 раза в год поздравительными телеграммами, а вы и этого не делали. Поздравьте меня, Тамара Васильевна, ровно 15 дней тому назад у вас стало больше племянников, чем их было 16 дней тому назад. Его называли Венедикт (Ерофеев), называли впопыхах (и многие считают, что неудачно, — история, впрочем, рассудит), экспромтом, поскольку ждали Анну, Венедикта не ждали. Все остальные новости — совершенно телеграфично (не “все остальные”, а несколько самых устойчивых, exense): я постоянно в разъездах по долгу службы, в Караваево бываю еженедельно, в зависимости от обстоятельств или от чего-нибудь ещё, Валентина преподаёт немецкий в старших классах здешней школы и находит в этом вкус; наш семейный бюджет, с точки зрения постороннего, велик, и всё это расходуется наилучшим образом (т. е. бездарно, с точки зрения постороннего); от скопленной нами фонотеки (первоклассной, конечно, — заезжай) прогибаются полки; сейчас посмотрю на сына, дочитаю Сарояна, допишу о Малере, дослушаю

Стравинского и чуть свет уезжаю в Брянск. Всё остальное — потом»<sup>6</sup>.

Тамара Васильевна вспоминала, как складывались первые годы семейной жизни брата после рождения Венедикта-младшего: «В 67 году мама поехала навестить любимого сына и внука. Вернулась она через полтора месяца, поездкой была довольна и часто рассказывала, как её хорошо принимали в МышLINE: “Утром проснусь, а на столе для меня уже тарелка клубники стоит”. Маленький Веня стал её любимчиком, а о Валентине она говорила, что это самая лучшая её невестка»<sup>7</sup>.

Это была первая и последняя встреча Анны Андреевны с внуком. Осенью 1971 года она тяжело заболела. Тамара Васильевна вспоминала: «Врачи выписали её из больницы и сказали мне, что дни её сочтены: у неё 28% гемоглобина. После этого приговора она прожила ещё восемь месяцев. В ту же зиму у нас началась переписка с Юлей Руновой. Она писала, что если нужно помочь, то они с Веней могут приехать (Юля имела отношение к медицине), но поездка так и не состоялась. Маму мы похоронили 11 августа 1972 года. Ей было 73 года. От Венедикта снова не было писем. Иногда я получала некоторые сведения о нём из Юлиных праздничных поздравлений»<sup>8</sup>.

Писать Венедикту Ерофееву любимой сестре было не о чем. Не о том же, как он исхитряется избежать призыва в армию и как балансирует между отцовским долгом, супружеской верностью жене и необъяснимой тягой к другой женщине. В блокноте 1969 года появляется запись: «Есть такая юридич[еская] формула: “В здоровом уме и твёрдой памяти”. Т. е. как раз то, чего у меня нет в дни выездов в Мышлино»<sup>9</sup>.

Выживать на том пути, который Венедикт Ерофеев выбрал для себя, становилось всё труднее. В феврале

1968 года он уволился по собственному желанию из Специализированного управления связи № 5 треста «Союзгазсвязьстрой» города Люберцы. Его ребята из «владимирских» не дали ему пропасть. До конца мая они дружной ватагой, как цыгане, кочевали по Подмосковию, иногда заглядывали в Москву. Останавливались у друзей и знакомых. От голода и холода его спасли. В июне он устроился кабельщиком-спайщиком в СМУ Приокского производственно-технического управления связи (ПТУС) Московской области. Вскоре его назначают бригадиром. Он тогда представить не мог, что вскоре напишет поэму «Москва — Петушки». Заставила сама жизнь.

Обращусь к воспоминаниям Юрия Гудкова, товарища Венедикта Ерофеева, который вместе с женой предоставил ему возможность немного пожить в их квартире. Почти ежедневно на служебном грузовике Венедикт ездил на свои кабельные работы в Шереметьево. Вот что рассказал Юрий Гудков: «Однажды мы засиделись, и Ерофеев просыпает и опаздывает на работу. Трудно описать потрясение Венедикта, когда он узнает, что машина с его товарищами по бригаде перевернулась на пути к Шереметьеву и почти все люди погибли. Венедикт сильно запил и целый месяц “паркет казался ему морем”. А жена моя часто вспоминала, что Венедикту после потрясения долгое время снился один и тот же сон. Будто бы он идёт по покато́й крыше, поскользывается, падает и повисает на руках на карнизе, потом срывается и... повисает в воздухе. Гибель бригады, в которой Венедикт был бригадиром, и послужила толчком для создания поэмы “Москва — Петушки”. Члены его бригады в “Петушках” — это вполне реальные люди, о которых он не раз рассказывал мне и моей жене Валентине в застольных беседах. Но в первом варианте текста, который

отпечатала на машинке жена Льва Кобякова — Римма, текст был несколько короче нынешнего, а поэма не имела ни “Уведомления автора”, ни “посвящения В. Тихонову”»<sup>10</sup>.

В октябре Юлия Рунова выходит замуж за сослуживца в академгородке города Пущино — Михаила Виленчика.

Судя по сентябрьским записям в блокноте, она поставила Венедикта Ерофеева в известность. Приведу одну из них: «“Никогда так легко”, п[отому] что абс[олютная] свобода от всякой эротики, светлой и тёмной. Веч[ером] — вхолостую пролетаю по моск[овским] знакомым в разм[ышлении] чего б[о] покусать. Никого»<sup>11</sup>.

Венедикту Ерофееву захотелось совершить что-то осязаемое и конкретное. Его запись в блокноте 1970 года: «Покуда Лютер приколачивал к Витт[енбургскому] собору свои тезисы, полутаджик, полуузбек Бабур, потомок Чингис-хана, основывает в Индии свою новую династию — Великих Моголов: 1526—1761»<sup>12</sup>.

Как известно, замуж выйти или жениться легко, а вот жить долго душа в душу и мысль в мысль редко кому удаётся. Родив дочку, Юлия Рунова вскоре с мужем развелась. Зимой 1971 года она дала знать Венедикту, что свободна. Но он-то свободен не был. К тому же рождение у Юлии дочери Веры у него восторга не вызвало. Потом он установит с ней самые тёплые, почти отеческие отношения. У неё сохранилась обёртка от шоколадки «Спорт», где его рукой написано: «Самой круглой из всех отличниц всех времён и народов Вере Михалне Р. от затаив-дыхание-следящего за её беспримерными успехами Старого Дуралея дяди Вени»<sup>13</sup>.



Бывший Юлин муж Михаил Виленчик, через несколько лет после развода оказавшись на научном конгрессе в Лондоне, попросит политического убежища<sup>14</sup>.

Венедикт Ерофеев продолжал жить по инерции, всё больше отдаляясь от жены.

Началу нового этапа в его жизни предшествовало путешествие в Среднюю Азию. По совету и рекомендации одной из опекающих его девушек Нины Козловой он подписал договор со Всесоюзным научно-исследовательским институтом дезинфекции и стерилизации. Вот что об этой работе он сообщил в краткой автобиографии: «А единственной работой, которая пришлась по сердцу, была в 1974 году в Голодной степи (Узбекистан, Янгиер), работа в качестве “лаборанта паразитологической экспедиции”, и в Таджикистане в должности “лаборанта ВНИИДиС по борьбе с окрылённым кровососущим гнусом”»<sup>15</sup>. То, во что он практически не верил, осуществилось. Впереди его ждала Голодная степь, огромная глинисто-солончаковая пустыня, захватившая Узбекистан, Южный Казахстан, Зафарабадский район Таджикистана. Его материальное положение перед отъездом было хуже некуда. Эта работа хотя бы на короткое время решала его финансовую проблему. Отпала необходимость занимать деньги у Владимира Муравьёва. По дороге в Среднюю Азию, пользуясь десятиминутной остановкой в Куйбышеве, он начеркал короткую записку Игорю Авдиеву, в которой оповестил своего товарища, как в ночь с 11 на 12 мая 1974 года его трогательно провожали в дальние края, зацеловав почти до смерти и снабдив на дорогу яйцами, вином и сигаретами, четыре девушки: Нина Козлова, Ирина Исаева, Анета Никонова и Анна Тухманова.

Более подробное, достаточно длинное письмо он написал Юлии Руновой, уже начав работу в экспедиции. Я приведу его с некоторыми сокращениями:

«Моё почтение, Рунова!

10-го числа последний раз позвонил Ладыгиной и нигде тебя не обнаружил. Четырежды сплунул и поехал. Отъезд и приготовления к нему обстояли таким вот образом. В канун победы над фашистскими извергами Ирина Усачева позвонила в квартиру Натальи Моисеенко, где я в то время бражничал с сёстрами Костюхинами, и сообщила, что вызов получен и что Средняя Азия больше без меня не может. Три дня прожил в изысканиях средств и в перекрёстных звонках моих полунищих приятелей друг другу. Итог вот какой. Муравьёв одолжил — рубль, Исаева — 3, Яковлева — 3, Лазаревич — 4, Тихонова — 5, Козлова — 26. Преклоняюсь перед отвагой и энтузиазмом Нины Козловой. <...> Дорожные впечатления отсутствовали, у меня никогда не бывает дорожных впечатлений. От Актюбинска и до Туркестана — знойные и обморочные небеса. Усталая и плоская полугадость, полупустыня. И весь Казахстан снизу доверху плоская шутка усталого Господа Бога. В Ташкент прибыли — 15-го, сделали нам прививки и дезинфекцию и доставили на место. Каждый вечер с обнажённой потной рукой подсчитываем садящихся на неё паразитов. Природа одарила меня умением выразительно замирать. И возвратившись на верховой машине, докладываем: Усачев — 1, Коля — 2, Наталья — 4, Ерофеев — 6, Случин — 12. Этим исчерпываются наши обязанности»<sup>16</sup>.

Более эмоциональное по стилю и откровенное по содержанию письмо он отправил Юлии Руновой 13 июня 1974 года из Зафаробада. Я привожу его не полностью, а фрагментарно:

«Здравствуй, глупая...

И что это у тебя в письме за “право вмешиваться” в какую-то там твою личную жизнь. Я ничего не понял, когда мне говорит с апломбом королева обеих Сицилий, да ещё в оловянной манере изъясняясь, тут я не берусь что-нибудь понимать, да и не интересно. Вообще говоря, того, что называют любовью, у нас с тобой никогда и не было. И, дай Бог, никогда не будет. Лишь причудливая форма полувраждебности-полуфлирта, декларативные шашни, единоборство ублюточных амбиций и противостояние двух придурков. С 1 по 11 июня я сверх основных своих дел был ещё занят тем, что тебя терпеть не мог: 11-го, часов в 6 вечера по местному времени, я тебя полюбил, но к полдесятому ты мне обрыдла и надоела. И вчера утром ты совсем уже подохла, но вот сегодня вечером опять зашевелилась. <...>

Мои планы на работу — совершенно слабоумные планы. С моими здешними ребятами и с каждым порознь — отношения ровные и приятные. Женщины — образцы твоей искренности или твоей воспитанности, мужчины — титаны рассудительности, корифеи немногословия, исполины такта. По вечерам кидаются в мою комнатёнку и на мой балкон, потому что у меня идеи, у меня в голове больше абсурда и неожиданных инициатив. Между прочим, местные женщины пробовали взять надо мной опеку, все пятеро. Помышляли выдать мне в конце этого месяца жалованье натуральным образом, т. е. в виде пальто, костюма или ещё чего-нибудь. Но я им сказал глупым, что лучше я сделаю так: 20-го числа каждого месяца я буду посылать по сотне моей столичной подруге Еселихе (Еселёвой. — А. С.), моей особой московской подруге. Но ничего из этого так и не вышло...»<sup>17</sup>

В это же самое время Валентина Зимакова пишет ему в Узбекистан письмо. Она надеется, что её Веничка

наконец-то образумится и обратит на неё, брошенную с ребёнком жену, благосклонный взгляд. Как часто бывает в подобных случаях, такие письма не приносят ожидаемого результата. Валентина ещё рассчитывает на его порядочность, на присущую ему сердечность. Но, упоминая о своём пристрастии к спиртному, она не возвращает его к себе, а вызывает, как я предполагаю, у него сильное раздражение. Валентина понимает, что он уже давно уклоняется от общения с ней и ребёнком. Выплеснув свою любовь к сыну на страницы поэмы «Москва — Петушки», её Веничка убил эту любовь в самом себе. Как только он поставил последнюю точку в этом своём детище, его отцовская любовь превратилась в гражданский долг, столь ему ненавистный. Теперь он должен сделать надлежащие выводы, с кем ему жить и как ему жить. Пусть даже в ущерб своему здоровью и своей совести. Ему представляется, что всё с ним происходящее теперь имеет прямое отношение к его будущим сочинениям. Если даже государству он отказал в праве считать его своей собственностью, то тем более никому из женщин он не позволит посягать на его свободу. Даже Юлии Руновой, которая понимает, с кем её свела судьба, но по бабьему своему упорству не один уже год пытается впрячь его в семейную жизнь. Забыла пушкинское мудрое слово: «В одну телегу впрячь не можно / Коня и трепетную лань».

Зная подоплёку кочевой жизни Венедикта Ерофеева, было понятно, что письмо его жены Валентины желаемого результата не возымеет. Однако не поэтому она это письмо написала. Просто не смогла подавить в себе свою к нему любовь:

«Веничка, здравствуй.

Очень долго идут от тебя письма, целых десять дней. Вчера приехала из двухдневной поездки из Москвы, постоянно вспоминала тебя хотя бы потому, что два часа разыскивали с ребяташками улицу Горького и

выпить было не с кем. Я потеряла Нинин телефон, а Наташки Муравьёвой с Тихоновым в доме не оказалось, пришлось ехать в ненавистную “Правду”. Да, Авдиева Татьяна сказала по телефону, что Игорь на неопределённые месяцы или даже годы сбежал от неё и московской пустоты (потому что тебя нет) на Байкал. Видишь, как тебя здесь не хватает. Да, Веничка, ехать к тебе, пожалуй, не рискну. Выезжали Шрамковы проездом из Ташкента, жара невыносимая в ваших краях, а я больше 25° не вынесу с моими сердцебиениями, да и дорога такая длительная. Быть может, в августе будет прохладнее? Тогда напиши. Мои планы самые примитивные: 20-го июля с сыном едем в Ленинград (благо там Шрамкова не будет 10 дней), за эти 10 дней осмотрим всё, что интересно, кстати, и Царскосельский лицей открылся в дату рождения. Твоих знакомых ленинградских не знаю, иначе завезла бы от тебя поклоны и обещания новых шедевров осенних. Ас 1-го июля рискну поехать в какой-нибудь лагерь пионерский, во-первых, потому, что денег заработаю, во-вторых — буду август свободна, а в-третьих, и это главное — буду свободна от разговоров с Галиной Зимаковой, которая приезжает на весь июль со всем семейством. Попробую забрать с собой в лагерь сына, его тоже давно пора убирать из Мышлина. Более некуда мне податься. Очень хотелось к тебе приехать, но ты даже не пригласил. Письмо твоё переполнено холодом (от жары, наверное). Да, а как ты, северный по душе и телу, переносишь эдакие градусы? Наверное, и вина невозможно выпить, спирт испарится, пока ко рту поднесёшь. По телевизору каждый день слушаем сводки по Узбекистану. Сын окончил с похвальным листом за отличные успехи и примерное поведение. (Последнее — самое смешное.) Спрашиваю, что передать тебе, говорит: передай, чего ему (т. е. тебе) хочется. Правда, в парке Горького с ним рискнула

выпить бутылку красного, поставив его на шухере. Почему не заехал до 8-го в Мышлино и меня не пригласил? Я через день звонила Авдиеву, и лишь один раз он оказался дома. 16-го получу деньги, пришлю тебе десятку в письме, не вытащат? Пожалуй, pošлю телеграфом, выпей за то, что я всё-таки часто вспоминаю тебя, или за то, что ты ни разу не вспомнишь меня. Всё равно. Я привыкла к твоим долгим отсутствиям, но эти слишком длительны. Если мои письма тебе чуточку нужны — напиши об этом, я буду писать через день, два, три. По твоему письму это было незаметно. Ну, да ладно. Пиши иногда, я почему-то твои письма вскрываю с каким-то страхом. Словом ты владеешь и слогом великолепно. Что за шедевр создаёшь — не спрашиваю, всё равно не скажешь мне. А может быть? Пиши много обо всём.

Целуем тебя с сыном. И помним. Да, перечитываю по ночам и восхищаюсь Гоголем»<sup>18</sup>.

Валентина Ерофеева уже прочитала поэму «Москва — Петушки». Тамара Васильевна Гущина вспоминала, как в 1970 или 1971 году она остановилась в Москве у сестры Нины Васильевны Фроловой и вдруг неожиданно нагрянули в гости Венедикт с Валентиной. Пришли они навеселе и вручили им кипу листов с напечатанным на пишущей машинке текстом. Это была знаменитая поэма «Москва — Петушки». Сёстры, прочитав её, поняли, что их брат сочинил что-то необыкновенно талантливое. Обрадовались и тут же расстроились, дружно решив, что у этого сочинения нет никаких шансов быть опубликованным в СССР.

Ещё в начале 1970-х годов Венедикт и Валентина ходили вместе по гостям, навещали родственников. Не часто, но всё-таки он появлялся в Мышлине и оставался там на несколько дней и даже на несколько недель. Ситуация резко изменилась после его поездки в

Узбекистан в мае 1974 года. С этого времени Венедикт Ерофеев виделся с Валентиной редко. Он понимал, что поступает не совсем порядочно в своих взаимоотношениях с женой.

Психотерапией служили записи в блокнотах вроде следующей, сделанной в июле 1972 года: «Видеть сны необходимо вот для чего: для упражнения и удостоверения в моральных принципах, и чтобы понять: одинаково ли оставляют след страхи и горести сна и яви. В конце концов, горе — внутренняя категория, и оно не обязано иметь под собой основание. Граф Толстой или Фёдор Достоевский выдуманные потрясения и утраты переживали острее и глубже, чем иной свои основательные и т. д.»<sup>19</sup>.

Народную мудрость не оспоришь. Чем возразишь на русскую пословицу, записанную Владимиром Далем: «Жена при муже хороша, а без мужа не жена»? Скаламбурить возможно, а вот контраргумент вряд ли найдёшь.

## **Глава девятнадцатая**

### **ТРУДНЫЕ ГОДЫ**

Венедикт Ерофеев, живший в годы безвременья, пребывал в страшном одиночестве до издания в Израиле в 1973 году поэмы «Москва — Петушки». Православная церковь, надо сказать, так и не стала для него обретенной семьёй, как хотела бы того Татьяна Горичева, ценившая его писательский дар. Она справедливо считала, что с приходом к власти большевиков православная церковь для русского человека стала единственным прибежищем, где ещё было возможно сохранить душу живой. Церковь для неё была: «...и не только семьёй, она взяла на себя многое другое, что было утеряно, разрушено и загублено советской историей. Церковь — воскрешённая страдальница-земля, красота, добро и искренность. Возможность простить и просить прощения, возратить прошлое и переселить его покаянием и надеждой. В Церкви — победа, и Бог, при всём таинственном и страшном одиночестве Отца, уже не одинок»<sup>1</sup>.

Выход из своего одиночества Венедикт Ерофеев всё-таки нашёл. Это произошло, как только он стал зрелым мастером.

Задам самому себе два вопроса и постараюсь вразумительно на них ответить. Вопрос первый. На каких дрожжах взошёл литературный дар Венедикта Ерофеева? Вопрос второй. Из чего возникла экспрессия его письма, берущая читателя за сердце с такой силой, что из глаз брызжут слёзы?

Что касается первого вопроса, я то и дело к нему обращался. Но как заметил внимательный и вдумчивый читатель, прямого ответа не находил, а всё ходил



вокруг да около. Окончательный ответ на него подсказала мне автобиографическая проза Гюстава Флобера «Мемуары безумца». Великий французский писатель определил новый жанр с его стилистическими особенностями, которому с первой своей повести «Записки психопата» следовал Венедикт Ерофеев:

«И вот я снова спрашиваю: для чего нужна книга, если она ни назидательная, ни забавная, ни химическая, ни философская, ни сельскохозяйственная, ни элегическая? Нет в ней советов насчёт баранов или блох, ни слова нет о железных дорогах, о бирже, о тайных изгибах человеческой души, о средневековых костюмах, о Боге, о Дьяволе. В ней говорится о мире — об этом гигантском безумце, что столько веков кружился в пространстве, не сходя с места, и воет, и брызжит слюною, и сам себя терзает. Я не больше вас знаю, как назвать то, что вы сейчас прочтёте. Ведь это не роман, не драма с чётким планом или стройный замысел, ограниченный вехами, чтобы идея вилась змеёй по размеченным бечевой дорожкам. Я просто собираюсь излить на бумагу всё, что придёт мне в голову, мысли, воспоминания, впечатления, мечты, капризы, всё, что творится в сознании и душе, смех и слёзы, белое и чёрное, рыдания, выплеснувшиеся из сердца и жидким текстом расплывшиеся в пышных фразах, и слёзы, пропитавшие романтические метафоры»<sup>2</sup>.

Литературный дар Венедикта Ерофеева взращивала его бесшабашная жизнь в строго регламентированном советском обществе. Он исхитрился нарушить все шесть её запретов и не понести за это наказания: во-первых, периодически был тунеядцем; во-вторых, жил без разрешения властей, где ему заблагорассудится; в-третьих, слушал иностранные радиостанции (вражьи голоса), читал самиздат и «тамиздат»; в-четвёртых, за

публикации за рубежом поэмы «Москва — Петушки» получал валюту, конвертированную в художественные альбомы, пластинки и всякое иностранное шмотье типа дублёнок. То, что можно было легко продать и на эти деньги жить; в-пятых, своими художественными произведениями публично выражал несогласие с устройством советской жизни, которую власти преподносили всему миру перлом творения; в-шестых, сам за границей не бывал, но без разрешения властей отсылал туда всё, что выходило из-под его пера<sup>35</sup>.

Причина его неуязвимости была проста. Он создал два не сиюминутных, а долговечных произведения — поэму «Москва — Петушки» и трагедию «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Их отличие от других шедевров русской литературы послеоктябрьского периода было поразительным. В этих художественных текстах неправдоподобно наложились друг на друга жизненные неурядицы какого-то бездомного и спивающегося бродяги и обширные познания интеллектуала, разносторонне осведомлённого в истории мировой культуры. Этого непонятно откуда взявшегося прощелыгу учила и вразумляла огромная толпа гениев — от ветхозаветных пророков до его современников Генри Миллера и Александра Исаевича Солженицына.

Поднимать вокруг него шумиху означало опять вляпаться в мировой скандал, как это произошло с Никитой Хрущевым, затеявшим травлю Бориса Пастернака. К тому же в сочинениях Венедикта Ерофеева было трудно найти какие-то внятные доказательства того, что они относятся к антисоветским. Единственным криминалом могли быть его «Записные книжки» и появление его сочинений в печати за пределами СССР. Посадить могли и за меньшие прегрешения. Однако пронизательные люди

на Старой площади и на площади Дзержинского почувствовали нутром и отчётливо поняли, что хотел сказать автор поэмой «Москва — Петушки» — предупредить соотечественников и их самих о надвигающейся катастрофе.

Пока до «верхов» доходил текст поэмы «Москва — Петушки», Венедикту Ерофееву необходимо было на какое-то время залечь на дно, исчезнуть из поля зрения мелких шавок из Пятого управления КГБ, что он незамедлительно и сделал. Стал каликой перехожим. Чтобы читателю было понятно, что я имею в виду, обращаюсь к книге «Размышления недовоплотившегося человека» Сергея Львовича Голлербаха, выдающегося художника и писателя. В этой книге он пишет о себе в третьем лице, чтобы создать некую дистанцию между автором и «ним» — недовоплотившимся человеком: «Были ведь на Руси калики перехожие, шедшие неизвестно куда. И, казалось бы, ни за чем. Им ничего не было нужно, они просто впитывали в себя всё, что встречалось по пути. В них была заложена какая-то открытость и приемлемость; они не делали анализа, не подводили итогов, и в этом всеобщем приятии было что-то глубоко художественное. Свобода в квадрате. Так настоящему художнику дорого всё мимолётное, всё случайное, необъяснимое. И он представил себя босым, с посохом и сумою через плечо, бредущим без цели и плана, но широкой грудью вдыхающего воздух, шумы, запахи и игру света и тени. Чего ещё большего может желать человек?»<sup>4</sup>

Теперь отвечу на второй вопрос. Из записных книжек Венедикта Ерофеева явствует, что большая часть прочитанных им художественных произведений относится к западной, в основном западноевропейской литературе. Из этого самоочевидного факта, на мой взгляд, отнюдь не следует, что он пренебрегал

отечественной словесностью. Тут надо иметь в виду два обстоятельства. Первое из них, на что обращает внимание Татьяна Горичева, «мир стал как никогда единым» благодаря «планетарному господству техники (Хайдеггер), путешественникам-номадам (Ж. Аттали<sup>[335]</sup>) и чудовищным скоростям, уничтожившим пространство (П. Вирильо<sup>[336]</sup>)»<sup>5</sup>.

Второе обстоятельство непосредственно вызвано первым. Если мир как никогда един, то тогда, делает вывод из этого факта Татьяна Горичева, мы, зная обо всём и обо всех, невольно участвуем в анонимном зле мира. Она находит ответ на «вопрошание времени» в православии<sup>6</sup>.

Венедикт Ерофеев настойчиво ищет ответы на нравственно-этические вопросы в нескольких религиозных традициях. И не только в священных книгах и богословских сочинениях, но преимущественно в произведениях западноевропейской литературы, где нравственно-этические антиномии этих традиций отражаются в той или иной полноте. Прежде всего в христианстве, в совокупности всех его конфессий, исламе и буддизме, о чём свидетельствует круг чтения Венедикта Ерофеева, фиксируемый им на протяжении многих лет в его «Записных книжках».

Второе обстоятельство — исключительно отечественного происхождения. При той суровой идеологической цензуре, которая существовала в СССР, многие литературно одарённые люди обратились к переводам произведений зарубежных писателей. Стилистический уровень того, что выходило из-под их пера, достиг такого совершенства, которое у их дореволюционных предшественников отсутствовало. Исключение составляют разве что писатели-классики, отдавшие дань переводу, — Иван Бунин, Дмитрий

Мережковский, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Борис Зайцев, Марина Цветаева и др.

Представляете, скольких крупных, масштабно мыслящих русских писателей мы потеряли?! По двум только книгам прозы «Omnibus» (1997) и «Изгнание бесов» (2000) известного переводчика Андрея Яковлевича Сергеева<sup>[337]</sup> понятен его неизрасходованный творческий потенциал.

Венедикт Ерофеев думал совершенно иначе. В одном из своих интервью на вопрос, мог бы он при благоприятных обстоятельствах сделать гораздо больше, ответил: «А здесь ничто ни от чего не зависит. У меня случалась очень сносная жизнь. И что же: я молчал, как изорванная стерва. Никто — ни цензор, ни деньги, ни голод — не способны продиктовать ни одной угодной им строчки. Если, конечно, ты согласен писать прозу, а не диктант»<sup>7</sup>.

Обращусь к размышлениям Ольги Седаковой об особой «русскости» Венедикта Ерофеева: «У него вообще была очень сильная русская идентификация. Для него оставались реальными такие категории, как “мы” и “они” (“они” — это Европа). Он всерьёз говорил: “Мы научили их писать романы (Достоевский), музыку (Мусоргский) и т. п.”. Но тянуло его, кажется, как многих очень русских людей, — к “ним”. Он не любил “древнего благочестия” и не потрудился даже узнать его поближе. Христианская цивилизация для него воплощалась в Данте, в Паскале, в Аквинате, в Честертоне, а не здесь. Сколько раз он говорил: “Никогда не пойму, что находят в ‘Троице Рублёва’ ”. (Впрочем, так же он говорил: “Никогда не пойму, почему носятся с Бахом?” — но когда я играла баховские прелюдии, он слушал совсем не как тот, кому до Баха нет дела.) В его русскости не было ничего

почвенного, домостроевского, того, что в ходу сейчас. Он не испытывал умиления перед “народом”, и “русское” не значило для него “крестьянское”. <...> Русское значило для него, скорее всего — достоевское: в кругу героев Достоевского нетрудно представить и главного героя “Петушков”. В самом Вене мерещилось иногда что-то версиловское, иногда — ставрогинское. Он очень сочувствовал Дмитрию Писареву — при том, что Чернышевского и Добролюбова ненавидел... Это парадоксальное разделение разночинской когорты — не пустой каприз. И я думаю, что Венино Горе с большим основанием можно было бы назвать Русским Горем и точнее: Новейшим Русским Горем. Кошмар коммунистической эпохи был тем Горем, которое он переживал ежедневно. Он как будто не сводил глаз со всей лавины зверства, тупости, надругательства, совершенного его народом. От такого зрелища можно свихнуться серьёзнее, чем Гамлет, и оставшееся время “симулировать вменяемость”, как Веничка назвал собственное поведение. И страшнее всего, что это не собиралось кончаться»<sup>8</sup>.

Для Венедикта Ерофеева переводы были образцами безупречного русского языка с его огромными стилистическими возможностями. Именно благодаря им он выработал свой собственный экспрессивный по ритму и саркастически-горестный по интонации стиль. Не потому ли он воспринимал переводную литературу не как нечто чужеродное, а как своё, усыновлённое или удочерённое. То есть близкое и родное.

Вот этим своим отношением Венедикт Ерофеев отличался от шестидесятников. Он мир людей представлял без границ. Евгения Смирнова подметила, в чём проявлялась ущербность произведений писателей, чуть-чуть по возрасту его старше: «Контекстом “шестидесятничества” была советская

литература, а если взять шире — то советская социалистическая культура мировосприятия, насквозь идеологизированного, причём никакие частные акценты, протестные или обновленческие, дела не меняли. Мировосприятие это намертво скреплялось образом жизни, в котором безраздельно властвовали определённые стандарты речи, внешности, поведения, одежды»<sup>9</sup>.

Интересны также суждения Ирины Скоропановой о языке Венедикта Ерофеева в его поэме «Москва — Петушки»: «Дело в том, что в поэме автор использует только один из языков культуры — язык литературы, но радикальным образом его преобразует. Писатель обращается к гибридно-цитатному языку-полиглоту в форме пастиша [\[338\]](#)»<sup>10</sup>.

А как ему было основательно преобразовать язык без обращения к русским переводам произведений писателей, ещё вчера бывших для него самого чужеземцами?

Возвращусь к началу 1973 года. Ситуация для Венедикта Ерофеева сложилась не самая благоприятная. Более того, аховая. В компаниях, в которых он появлялся, его называли «человеком без адреса». Об этом времени бездомного существования своего друга вспоминал Игорь Авдиев:

«Вскоре Венедикта выгнали из СУС-5, с кабельных работ телефонной связи за “систематические прогулы без уважительной причины”. Не было ни жилья, ни денег. В это время Венедикт сказал фразу, которая поразила меня: “Устал. Я никогда не думал, что бездомность будет отнимать столько сил”. И в этом сознался старый, закалённый бродяга! Утрата веры в “Петушки”? Где ждёт его “пухлый младенец”? Жасминовым веником вымели вокзальный сортир? Венедикт даже ищет “зимнюю квартиру” в Москве,

выписывает адреса. На улице сталкивается с Виктором Сукачем, старинным знакомым и почитаемым знатоком Василия Розанова, и тот предлагает даром пожить в Болшеве. Хозяйка маленького домика Лидия Делиева потеряла мужа и потерялась сама: домик, где читал “Мастера и Маргариту” Булгаков и находила приют Анна Ахматова, осунулся, и сад за домом заглох. В “Последнем дневнике” Венедикт, смертельно больной, вдруг вспоминает ту пору: “В 73 году, Болшево. Не просто попросить Тихонова выключить свет, а пропеть ему из Иоланты:

Чтоб постичь красу Вселенной,  
Рыцарь, мне не нужен свет.  
Я могу и так услышать  
Щебет птички вдалеке.

(Хо-хо)”.

Вариации на тему: “Лучше нету того свету...”

Домик ожил благодаря Венедикту. Здесь тоже было множество гостей, самых неожиданных. Прошла зима. Летом он поменял Болшево на Царицыно. Гостеприимной хозяйкой была Светлана Мельникова. Под её кровом собирались так называемые “вечисты”, кружок неославянофилов во главе с приземистым, башкатым, патологически неулыбающимся мужичком — Владимиром Осиповым, который только что отсидел лет восемь и вскоре получил чуть ли не столько же, если не больше, за свои “национал-политические убеждения”. Журнал “Вече”, издаваемый этим кружком, можно было считать солидным для самиздата: по объёму страниц 250-300, машинописных, тираж экземпляров 50 и больше. Издатели старались избегать прямых



политических вопросов, а больше скорбели об “утраченных культурных ценностях русского народа”. В уплату за гостеприимство Венедикт и написал для журнала “Вече” “развязное эссе Василий Розанов”, заготовки к которому были готовы, если судить по “Дневнику 1969—70 годов”, ещё во время созревания “Москвы — Петушков”»<sup>11</sup>.

На кой ляд Венедикту Ерофееву было братья за эссе о Василии Розанове? Как ни верти, а в те времена за этим писателем прочно закрепилась репутация антисемита. Понятно, что пригласившие Венедикта Ерофеева в Царицыно тамошние люди ждали сокрушительного памфлета в адрес «мировой закулисы». Он понимал, чего от него хотят, но взялся за написание эссе совсем не потому, что его приютили, кормили и изредка давали выпить. У него к Василию Розанову, как и к Фридриху Ницше, было особое отношение. Он считал их своими учителями, чьи идеи безгранично раздвинули его взгляд на человека и мировую историю. Ирина Скоропанова пишет: «В эссе “Василий Розанов глазами эксцентрика” Венедикт Ерофеев сам сумел избавиться от парализующего сознания, делающего невменяемым идеологического дурмана: «...всё влитое в меня с отроческих лет плескалось внутри меня, как помои, переполняло чрево и душу и просилось вон — осталось прибечь к самому проверенному из средств: изbleвать всё это посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим — российская поэзия...” Довершил же начатое, как видно из эссе, запрещённый при советской власти Розанов, показавший, что может быть в корне противоположный взгляд на общепринятое, выше всех авторитетов ставивший независимую человеческую мысль»<sup>12</sup>.

Василий Розанов, скажу проще, окончательно помог Венедикту Ерофееву избавиться от идеологического дурмана и опереться на мудрость веков: «Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворённый из нервов, без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, — и раздавал панегирики всем, над кем мы глумимся, — и всё это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системности в изложении, с озлобленной сердечностью, с нежностью, настоянной на чёрной желчи, и с “метафизическим цинизмом”»<sup>13</sup>.

Если Фридрих Ницше возвёл сверхчеловека на недостижимую высоту, то Василий Розанов с любовью во взгляде ловко подставил этому монстру подножку, ткнул мордой в грязь, облил помоями и превратил в рубище его пышные одежды. К тому же во всеуслышание объявил, что быть юродивым дано не каждому, а слабость лучше силы.

Василий Розанов у этого бывшего супермена, воспетого Ницше, выбил зубы, голодовкой превратил мощные бицепсы в тряпочки, надел на него вериги и вытолкал пинками на паперть просить денежку и возвещать народу, что совесть велит. В придачу ко всему тот же Василий Розанов посоветовал людям не наклеивать раз и навсегда на что-либо или на кого-либо ярлыки, а если уж становится совсем неспособен, то ярлыки эти менять как можно чаще согласно ходу жизни, движение которой с каждым прошедшим днём убыстряется.

Венедикт Ерофеев не шёл против совести и ни к кому не приспособлялся, когда решил примирить своих любимцев Ницше и Розанова.

Ирина Скоропанова объясняет, чем вызвано это его намерение: «Ницше дал герою “Благовествования”

крылья, Розанов оправдал слабость, посох-опору на жизненных дорогах: Христа — “слёзы человеческие”. Воздействие Розанова в “Москве — Петушках” уравнивает воздействие Ницше как защитника жизни, критика моноцентризма (рациоцентризма), теологоцентризма, но ниспровергателя христианства. Венедикт Ерофеев на плюралистически-релятивистской основе примиряет Ницше и Розанова, трансформирует определённые положения их философии в духе постмодернизма. От Ницше идёт переоценка ценностей, враждебных жизни, отрицание исторического фатализма, восприятие мира как дионисийского хаоса. Мысль Розанова: “...нежная идея переживает железные идеи. <...> Истинное железо — слёзы и тоска”, — оказалось потому столь важной для писателя, что наложилась на опыт XX столетия с его господством “железных идей”, опасных, как показало время, для самого существования человечества, и выразила потребность опереться на непреходящие ценности, обеспечивающие продолжение жизни»<sup>14</sup>.

Почти одновременно с предполагаемым изданием эссе о Розанове в журнале «Вече» Венедикт Ерофеев подарил своё новое произведение редакторам другого машинописного самиздатовского журнала «Евреи в СССР», который выпускали Александр и Нина Воронель. Напечатать им его не пришлось, потому что вскоре после проведённого в их доме обыска ерофеевская рукопись вместе с другими материалами была конфискована сотрудниками КГБ. Венедикт Ерофеев появился в квартире Воронелей впервые. Не один, а с Борисом Сорокиным и поэтом Вячеславом Лёном. За день до их прихода единственный сын Александра Владимировича и Нины Абрамовны Воронелей Владимир улетел в Израиль. В день отъезда из СССР ему

исполнился 21 год. После его дня рождения и проводов на родину предков осталось много выпивки.

После выезда из СССР Нина Воронель написала немало книг [\[339\]](#). В одной из них «Без прикрас. Воспоминания» есть глава «Веня Ерофеев и Василий Розанов». В ней она описывает Венедикта Ерофеева, как она его восприняла за два дня общения с ним и что ему предрекла в будущем.

Эссе о Розанове, прочитанное Венедиктом Ерофеевым, по словам хозяйки дома, бархато-переливчатым баритоном с ласкающими слух басовыми полутонами, совпало с её удручённым психологическим состоянием: «Веня прочёл: “Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило”. И я поняла, что это обо мне»<sup>15</sup>. Перед Ниной Воронель предстал Иван-царевич из сказок её детства. И она сказала Ивану-царевичу: «Почему никто не предупредил меня, что вы — такой красивый?»<sup>16</sup>

Среди литературоведов широко распространён взгляд на эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» как на комментарий к поэме «Москва — Петушки». Поэтому вполне уместно, что изящное повествование «Веня Ерофеев и Василий Розанов» Нины Воронель композиционно было выстроено как пародия на самое знаменитое произведение Венедикта Ерофеева. Из всего многообразия мыслей, которыми изобилует поэма, хозяйка гостеприимного дома сосредоточилась на самой поверхностной. А именно на той, что алкоголизм неминуемо приводит к неразборчивому сексу. Что на это возразишь? Бывает, что подобное с людьми случается, а бывает, что они уходят в себя, как в монастырь.

Нина Воронель выделила основные предпосылки и этапы сползания Венедикта Ерофеева, как ей

представляется, на скользкую дорожку порока и разврата, осторожно уподобив его ненавистному ей Василию Розанову: «Крошечное Венино эссе гораздо больше рассказывает о его авторе, чем о Розанове, а ведь Розанов стоит рассказа, — он был, мягко говоря, не ординарный»<sup>17</sup>; «Эксцентрик-Розанов посвятил любви много строк и сил: ведь он был не алкоголик, а сластолюбец. Наверное, тем и восхитил он Веню — полной несхожестью, полярно противоположным зарядом»<sup>18</sup>; «И далёким знанием знает Глазница мира обо мне и бережёт меня. И даёт мне молоко и в нём мудрости огонь. Вот этой-то мудростью, почерпнутой из молока, прельстил Розанов Веню. Тот почуял за неровными, несобранными строками розановских сочинений другую, ничем не похожую на свою, жизненную стихию. Венина тусклая в трезвости душа, всё чаще страдающая от краткости алкогольных просветлений, потянулась к полной жизненных сил эротической ауре сластолюбца»<sup>19</sup>.

Нина Воронель нагадала Венедикту Ерофееву неминуемую деградацию его души. К счастью, отечественные Сивиллы своими пророчествами никогда не попадают в яблочко. С какой стороны ни посмотришь, а СССР и даже нынешняя Россия это всё-таки не Древняя Греция! Один только Андрей Амальрик однажды предвозвестил распад СССР, находясь за границей. Накликал на нашу бедную голову. И то надо признать, что с хронологией он всё-таки малость напортачил.

О ерофеевской душе в отличие от его тела не стоило беспокоиться. С ней у него всегда было всё в порядке. Она, как, например, у Василия Розанова, никакими особыми вывертами о себе не напоминала.

Но хватит об этом. Как говорят, мы предполагаем, а Бог располагает. Лучше вернусь к описанию того, как в

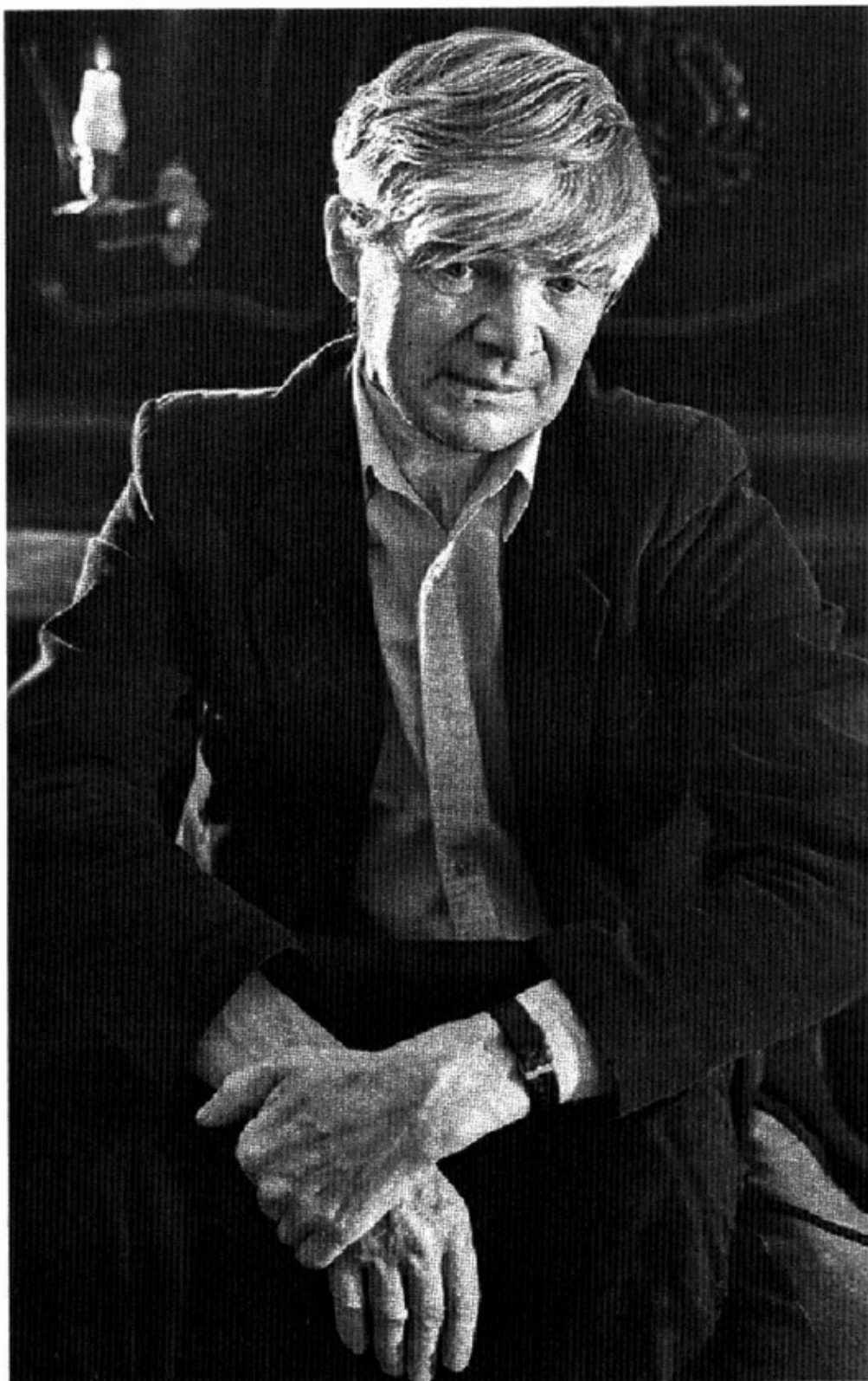
течение двух дней Нина Воронель и её муж общались с Венедиктом Ерофеевым и Василием Розановым.

Начался питейный марафон. Гости «перестали тесниться в дверном проёме и сразу оказались в нашей малометражной кухне, где стол был уставлен батареей спиртного из сертификатного магазина, и выпили по первой и тут же, не останавливаясь, по второй»<sup>20</sup>.

Темп выпиваемого набирал обороты и не каждому участнику застолья становился по силам. Кто-то с дистанции сходил: «Созвездия всегда были благосклонны к Вене после второй рюмки. И после третьей. К третьей рюмке поэт-авангардист Лён незаметно слинял, огорчённый явным недостатком внимания к его персоне. За столом остались мы с Сашей и ещё трое — умный и светский мыслитель Веня Ерофеев, черноглазый орёл Боря Сорокин, который состоял при Вене нянькой, и писатель Василий Розанов, “мракобес от мозга до костей”, вызванный к жизни Вениным чтением»<sup>21</sup>.

Обозрев стол, уставленный бутылками, Венедикт Ерофеев не стал особенно церемониться и опрокидывал в себя одну рюмку за другой с такой скоростью, что хозяева дома сбились со счёту. Нина Воронель не преминула отметить: «Все остальные, включая орла Борю и мракобеса Розанова, пили сдержанно, однако сертификатные бутылки быстро пустели — Вене эти спиртные реки были по колёно. К закуске он при этом не прикоснулся. А закуска была неплохая — она тоже осталась от проводов, но не так обильно, как выпивка, потому что сионистские гости, “джины-водки” чуть пригубляя, в еде себе не отказывали. Выпив многократно и ни разу не закусив, Веня много ещё говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнимался из-за стола и всё чаще и чаще ходил в туалет. И голос у него стал

надтреснутый тенор с отдельными несинхронными баритональными вкраплениями, и темы пошли какие-то невесёлые»<sup>22</sup>.



Поэма «Москва — Петушки» уже написана...







Член-корреспондент АН СССР Борис Николаевич Делоне на природе.  
*Начало 1970-х гг.*

Поэт и правозащитник Вадим Борисович Делоне с женой Ириной,  
по принуждению выехавшие из СССР во Францию. *1970-е гг.*







На даче Бориса Николаевича  
Делоне в Абрамцево:  
Венедикт Ерофеев  
(второй слева),  
Галина Носова  
(на переднем плане),  
филолог, участник  
правозащитного движения  
Габриэль Суперфин  
(справа) с невестой  
Ольгой Черныш.  
*10 мая 1980 г.*



На пороге абрамцевской  
дачи. *1980-е гг.*





Венедикт Ерофеев с поэтом Славой Лёном  
(Вячеславом Константиновичем Епишиным)

Филолог Андрей Анатольевич  
Архинов

Поэт Александр Леонидович  
Величанский







Писатель и поэт Генрих Вениаминович Сапгир

С писателем Дмитрием Александровичем Приговым









Писатели Слава Лён,  
Венедикт Ерофеев,  
Александр Зиновьев и  
Георгий Владимов  
в квартире-салоне  
Аиды Хмелевой-  
Сычевой  
(литературный  
псевдоним Любовь  
Молоденкова)  
на Рождественском  
бульваре.  
*Москва. 1978 г.*

Застолье:  
Белла Ахмадулина,  
Борис Мессерер,  
Валерий Котов,  
Ольга Седакова,  
Михаил Шварцман







Татьяна Горичева  
и поэт Виктор Кривулин.  
*Фото О. Корсуновой*



Православный философ  
Татьяна Михайловна  
Горичева





Наталья Шмелькова  
и Венедикт Ерофеев.  
Первое знакомство.  
17 февраля 1985 г.

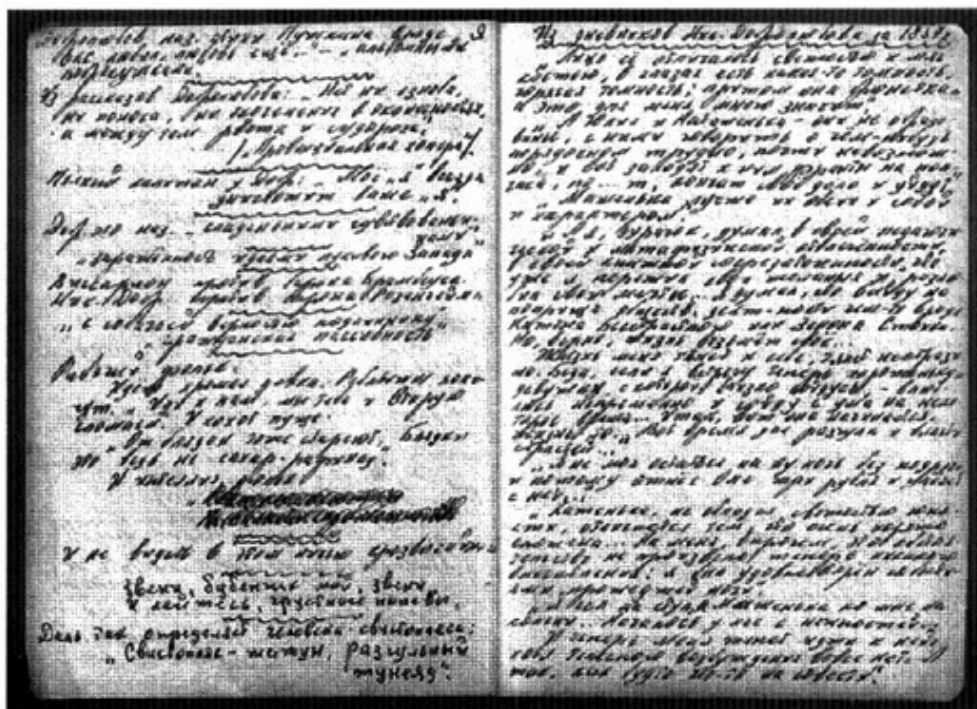


Парижский журнал  
«Континент» № 45 за 1985 год  
с первым изданием трагедии  
«Вальпургиева ночь,  
или Шаги Командора»





Венедикт Ерофеев с шестнадцати лет вел записные книжки, осмысляя и комментируя литературу, политику и многое другое. Его размышления не обрывались ни дома, ни в гостях









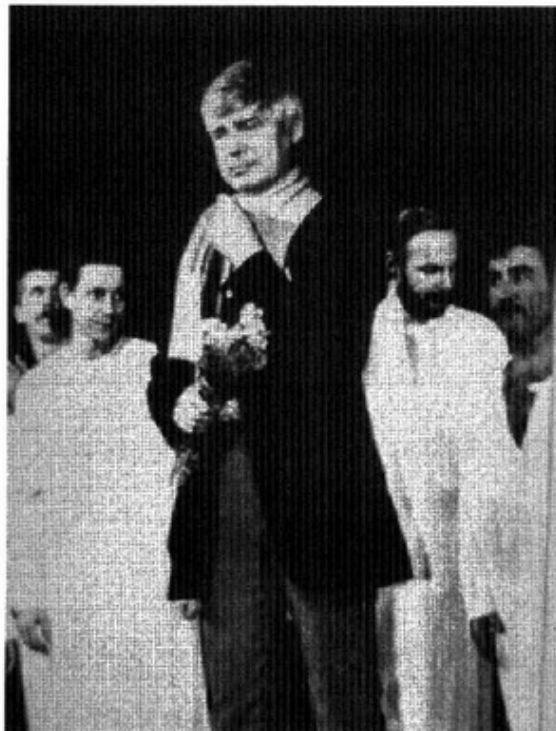
Вечер двух Ерофеевых в театре-студии «На Красной Пресне». Венедикта Ерофеева приглашают на сцену. *Москва. 30 апреля 1988 г.*

Творческий вечер в Доме архитектора. С Борисом Мессерером в антракте после просмотра первого акта трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». *1988 г.*





Венедикт Ерофеев в день премьеры спектакля «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» в Театре на Малой Бронной. 1989 г.



Генеральный директор — Николай Михайлович Шерин

**ТЕАТР**  
НА МАЛОЙ БРОННОЙ

ПРЕМЬЕРА

13, 20, 28 МАЯ, 27 ИЮНЯ 1989

режиссер КРЕДИТКИ

**ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ**  
ИЛИ  
**ШАГИ КОМАНДОРА**

АВТОРЫ ПЬЕСЫ

Евгений Шварц	— А. Яковлев
Михаил Митин	— А. Шустер
Михаил Глик	— В. Шендерович
Михаил Цукман	— С. Довлатов
Михаил Дарвиш со словесами Михаила	— А. Киселев
Гурьян	— А. Гурьян
Кристина Голубицкая, Л. Иванова	— А. Гурьян
Людмила Кислицына, Дмитрий Владимирович	— А. Шендерович
Моло, Александрович, Александр Александрович	— С. Довлатов
Светлана Васильевна, Павел Павлович	— А. Шендерович
Олег Евгеньевич, Ольга	— А. Шендерович
Светлана, Александр Павлович	— А. Шендерович
Елена, Александрович и Наталья	— С. Довлатов
Елена Павловна, Владимир Владимирович	— А. Шендерович
Ирина Александровна	— А. Шендерович
Юрий Александрович, Наталья Владимировна	— А. Шендерович

Весь репертуар в театре можно увидеть только в театре

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
**Владимир ПОРТНОВ**

Коллекция  
выпущена в 1988

Воспроизведено  
Тираж 500-5000

Издательство  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА **Владимир ПОРТНОВ**

Программа спектакля





Венедикт Ерофеев всегда был притягателен для женщин

Яна Щедрина (слева) и артистка Жанна Герасимова,  
близкие подруги Ерофеева







Поэт, переводчик и музыкант Марк Фрейдкин,  
друг семьи Ерофеевых

Галина Павловна Ерофеева (Носова), жена









Писатель и его муза.  
С Натальей Шмельковой.  
*1987 г.*



Последняя зима  
Венедикта Ерофеева  
в Абрамцево.  
*17 февраля 1990 г.*



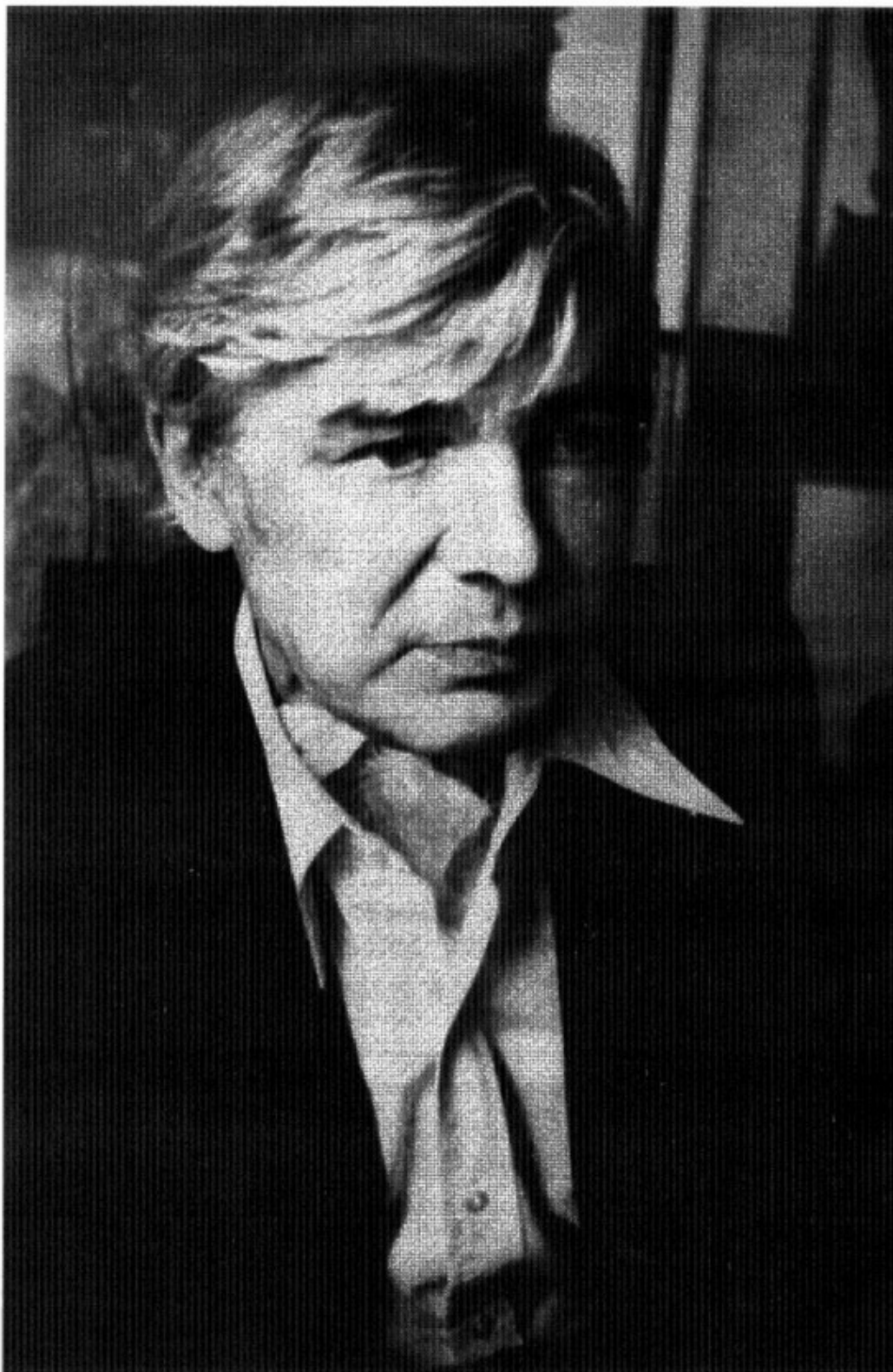


Евгений Николаевич Шталь — организатор литературного музея Венедикта Ерофеева в Центральной библиотеке им. М. Горького города Кировска. *Мурманская область*

Евгений и Вера — внуки Венедикта Васильевича Ерофеева на последней прижизненной выставке картин Натальи Шмельковой, приуроченной к ее 77-летию. 14 марта 2019 г. Москва. Зверевский центр современного искусства. Фото Е. Погожева







Венедикт Ерофеев — писатель, чьи личность и творчество неизменно будоражат умы журналистов, критиков, литературоведов...

Закончилось застолье для Венедикта Ерофеева печально. Поближе к полуночи он рухнул по дороге из туалета к столу на пол малометражной кухни, «чудом не раскроив себе голову об угол дубового буфета». Здесь Нина Воронель для полноты представшей перед её глазами картины добавляет: «Черносотенец Розанов не выдержал вида золотых Вениных кудрей, разметавшихся по затоптанному множеством сионистских ботинок линолеуму — он вскрикнул по-петушиному и исчез бесследно, будто там весь вечер не сидел»<sup>23</sup>.

Борис Сорокин к подобным мизансценам привык и попросил хозяев оставить Венедикта Ерофеева на ночлег, «деловито помог перенести с пола на диван длинное Венино тело». Сам Борис Сорокин, боясь опоздать на метро, спешно отбыл, чтобы приехать поутру за своим другом. На следующий день застолье продолжилось. Приехал Борис Сорокин, снова появился из неоткуда Василий Розанов и занял своё прежнее место за столом. Теперь он обрёл голос, «подхватывая речь Венедикта Ерофеева о нём на полуслове».

Вернусь к повествованию Нины Воронель: «Василий Розанов опять сидел с нами за столом. Только теперь я обратила внимание на его исключительное безобразие. Перехватив мой взгляд, он выкрикнул вызывающе: “С выпученными глазами и облизывающийся — вот я! Некрасиво? Что делать”; “Делать и впрямь было нечего — Вене общество Розанова было явно приятно, так что мне как хозяйке пришлось приветствовать его любезной улыбкой. Впрочем, он застольной беседы не нарушал — был дерзок и неглуп, хоть чрезмерно парадоксален. Но что ему, бедняге, при такой внешности ещё оставалось?»<sup>24</sup>

Нина Воронель не захотела понять Василия Розанова. Он был ей отвратителен во всех отношениях,

и я могу её понять. Жаль только, что при всей своей пронизательности и таланте она представила Венедикта Ерофеева златоустом-алкоголиком, который очаровывает собутыльников всякой чушью.

Я закончу эту тему искренним признанием Нины Воронель. Хотя бы за это ей спасибо: «В том далёком семьдесят третьем всё сказанное Венедиктом Ерофеевым о Василии Розанове казалось мне откровением. Как убивалась я тогда после обыска, думая, что эссе утрачено навеки! Когда же я перечитала его по новой, я озадачилась — что в нём так поразило меня? Может, исключительный магнетизм личности Ерофеева, которая, как бриллиант, множеством граней отражая каждое мелкое движение его мысли, создавала иллюзию мощного светового пучка? Или необычная для меня тогда раскованность его стиля — ведь недаром он назвал себя эксцентриком? Теперь вся эта эксцентричная расхристанность стиля разобрана по кусочкам и уже не поражает»<sup>25</sup>.

Предоставлю читателю фрагмент ерофеевского эссе о Василии Васильевиче Розанове. Полагаю, что пребывание в Болшеве и Царицыне было не самым худшим из того, что пришлось ему претерпеть в начале года. Силы он накопил немалые и своим притеснителям и гонителям выдал по полной и с хулиганским хохотком:

«Хо-хо, пускай мы всего-навсего говно собачье, а они — брильянты, начхать! Я знаю, какие они брильянты. И каких они ещё навывторяют дел, паскуднейших, чем натворили, — это я тоже знаю! Опали им гортань и душу, Творец, они не заметят даже, что Ты опалил им гортань и душу, всё равно — опали!

Вот, вот! Вот что для них годится, я вспомнил: старинная формула отречения и проклятия. “Да будьте



вы прокляты в вашем доме и в вашей постели, во сне и в дороге, в разговоре и в молчании. Да будут прокляты все ваши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и всё тело ваше, от темени головы до подошвы ног!”

(Прелестная формула).

Да будьте вы прокляты на пути в свой дом и на пути из дома, в лесах и на горах, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью, в панталонах и без панталон! Горе вам, если вам, что ни день, омерзительно! Если вам, что ни день, хорошо — горе вам! (Если хорошо — четырежды горе!) В вашей грамоте и в вашей безграмотности, во всех науках ваших и во всех словесностях — будьте прокляты! На ложе любви и в залах заседаний, на толчках и за пюпитрами, после смерти и до зачатия — будьте прокляты! Да будет так. Аминь»<sup>26</sup>.

### ***Заключение специалиста-литературоведа***

Год назад я обратился к эксперту, чтобы выяснить, наконец, какую ценность представляет для литературоведческой науки работа Венедикта Ерофеева о Василии Розанове. Меня любезно принял доктор филологических наук Александр Николаевич Николюкин, ведущий специалист по Василию Розанову, редактор его тридцатитомного собрания сочинений. Вот что я услышал от А. Н. Николюкина о возрождённом им из небытия крупном русском писателе и об эссе о нём Венедикта Ерофеева:

«Разумеется, эта работа не имеет никакого отношения к научному осмыслению трудов Василия Васильевича Розанова. Да и Венедикт Васильевич Ерофеев не исследователь чужих текстов, он писатель.

И неудивительно, что он выбирает для размышления исключительно лично его задевшие фразы из двух наиболее известных розановских книг: “Уединённое” и “Опавшие листья”. К слову сказать, когда-то, давным-давно в пятидесятые годы, я сам начал узнавать Василия Васильевича Розанова именно с этих произведений. Первое впечатление было: читать интересно, а вот если что-то о нём написать и предложить напечатать, сочтут сумасшедшим. Венедикт Ерофеев ставит себя в центре повествования и обрамляет свой психологический портрет венком, сплетённым из розановских цитат. То же самое сделал Георгий Гачев<sup>[340]</sup>, перевоплотившись в своём эссе в Розанова. Описал свою жизнь, включая сексуальную, а приправой к этому повествованию использовал броские высказывания Василия Васильевича».

В июле 1973 года эссе Венедикта Ерофеева было опубликовано в машинописном журнале «Вече». В этом же месяце он попадает в 31-е отделение Психиатрической клинической больницы им. П. П. Кащенко. Застолья вроде того, что описала Нина Воронель, и ещё более затяжные в московских квартирах и подмосковных дачах не прошли для него даром. Он заплатил за свою бесшабашную и весёлую жизнь первым приступом белой горячки. Николай Болдырев, сын Светланы Мельниковой, навестивший Венедикта Ерофеева в больнице, застал его не в подавленном, а в достаточно энергичном состоянии:

«Только я очнулся, как приходит главврач больницы и радостно так сообщает мне:

— Знаете, Ерофеев, как вам повезло?

— Нет, говорю, не знаю.

— А ведь на вашем месте, буквально неделю назад, умер... отец Юрия Гагарина.

— А от чего он умер? — спрашиваю я.

— Да от того же самого, — с некоторой даже гордостью заявляет мне доктор»<sup>27</sup>.

По выходе из психушки его ждала хорошая новость — первая публикация в Израиле поэмы «Москва — Петушки». Венедикт Ерофеев воспрянул духом и, долго не размышляя, отправился в Пущино, где в академгородке обитала Юлия Рунова. Лидия Любчикова, в то время жена Вадима Тихонова, вспоминала:

«Ребёнок в “Петушках” — это Валин сын, а женщина — не она. И даже буква “Ю”, я думаю, идёт от имени Юлия. Бен потом снова сошёлся с Юлией, и на какое-то время семью от него как отрезало, он о них даже не вспоминал, не говорил. У Юлии была трёхкомнатная квартира в Пущине, она постаралась его обиходить, потому что он в переездах среди своих пьяных мужиков, житья на квартирах и в гостиницах оборвался весь, даже, наверное, и мыться там было негде. И она взялась его одевать, обувать, отмывать, всячески холить и нежить. Приезжает он как-то раз к нам и портфель несёт, и оттуда он вынимает замечательные тапочки — мягкие, коричневые. Он нам тапочки показывает, усмехаясь над собой, и говорит:

— Что тапочки! У меня теперь холодильник даже есть, представляете! Первый раз в жизни у меня есть холодильник, и чего там только в этом холодильнике нет!

И весь сияет и рад по-детски.

Тихонов говорит:

— Как же так, ведь Юлия...

— А я не пью, — отвечает, — совершенно.

— Быть этого не может, — говорит Тихонов.

— Как же я могу пить, если она меня по методу Макаренко воспитывает? Она мне деньги даёт и

посылает в магазин. Ну как же я могу истратить их?

Он пожил у Юли, а потом страшно чем-то отравился. Кажется, у неё где-то спирт стоял, как у биолога. И, по моему, она стала ультиматумы ставить, чтобы он не пил. И Бенедикт снова появляется, вынимает эти тапочки и говорит: “Я в Мышлино еду”. Обмолвился о том, что в Пущине у него стала коса на камень находить. Не в силах с тапочками расстаться, он их с собой взял. Потом через некоторое время появляется и снова тапочки достаёт: “Я, — говорит, — в Пущино еду”»<sup>28</sup>.

С приездом в Мышлино у него появлялось искушение напиться до чёртиков, а попадая в Пущино, его приводил в удручённое состояние советский конформизм Юлии Руновой, о чём свидетельствует запись в блокноте: «С Р[уновой]. Она говорит: нельзя выносить сор из избы, иностранец не поймёт. Говорю: в доме повешенных не говорят о верёвке, в других говорят. Вот и я»<sup>29</sup>. Так он и кувыркался, попадая из огня да в полымя, а из полымя да в огонь.

Жить подобным образом Венедикту Ерофееву было действительно нелегко. Даже невыносимо. Как заметила Лидия Любчикова, он с «горестной нежностью» смотрел на жизнь<sup>30</sup>.

Не лучше обстояло дело с его интеллектуальным окружением.

Посудите сами, хорошо вам было бы среди тех, с кем общался Венедикт Ерофеев: «В кругу: русофилов, смогов, мистиков, сатанистов и строгих католиков»<sup>31</sup>. Не компания, а комбинированная окрошка: одновременно на мацони, квасе и пепси-коле.

## **Глава двадцатая**

# **ХРЯПНЕМ, ТЯПНЕМ, ПОДДАДИМ!**

Поэма «Москва — Петушки» относится к произведениям мировой классики, в которых приоритетной ценностью объявляется не величие государства, а человек с его чаяниями и потребностями. Какие эти чаяния и потребности у героя поэмы — в данном случае не столь уж важно. Главное, что он вырывается из мертвящих догм и подтверждает своё право на свободу выбора. Пусть даже во зло себе самому и своим близким. Но это же, в конце концов, его собственный выбор!

Что-то запредельное, не от мира сего присутствует в литературных персонажах Венедикта Ерофеева и в нём самом: сочетание русского бытового раздолбайства с молитвенно-созерцательной отрешённостью от всего временного и преходящего. Недаром трагическая смерть героев его произведений и его самого обретает смысл религиозной притчи о новомучениках XX века, ставших жертвами обезумевшего общества.

Михаил Яковлевич Геллер<sup>[341]</sup>, историк и писатель, в послесловии к французскому переводу поэмы «Москва — Петушки», изданному в Париже в 1976 году, немногословно и содержательно представил её французскому читателю как книгу «остросатирическую и глубоко трагическую, реалистическую и фантастическую». Не сосредотачиваясь особо на религиозных мотивах поэмы, он коротко и точно определил её сюжет: «Описание поездки из Москвы в Петушки — и обратно. Описание поездки вглубь России и вглубь себя — в неизвестность»<sup>1</sup>.

Венедикт Ерофеев не был первым, кто возродил алкогольную тему в советской литературе. Она перешла в неё из произведений писателей-классиков XIX века. Но было серьёзное расхождение между тем, как пили герои русской художественной литературы раньше и как пьют сейчас. Михаил Геллер не преминул заметить кардинальные изменения в том, что издавна называется «веселие на Руси есть пити»: «Героям классической русской литературы случалось выпивать. Некоторые из них пили в тяжкую. Но это всегда было пьянство — индивидуальное, персональное. Это было пьянство — в мире трезвых. В последние десятилетия пьянство становится распространённой темой советской литературы, в том числе и официальной. Достаточно вспомнить рассказы Василия Шукшина, повесть Виля Липатова “Серая мышь”. Советская литература последних десятилетий — и в этом её принципиальное отличие — пишет об алкоголиках в мире алкоголиков. Становится очевидным это в книге Ерофеева»<sup>2</sup>.

Конечно, постоянное враньё со стороны государства сказывается на языке, с помощью которого оно общается со своими гражданами. Это настолько самоочевидно, что не требует особых доказательств. Михаил Геллер протокольно описывает новое состояние языка советской идеологии, как врач симптомы смертельно больного человека: «Бунт против идеологии начинается с бунта против языка, важнейшего инструмента закабаления души и мысли. Ещё в 1925 году Михаил Зощенко назвал советский язык — “обезьяньим языком”. Он складывается из готовых блоков: лозунгов, цитат, утверждённых формул, проверенных поговорок, из ограниченного количества слов, состав которых постоянно просматривается. Отношение к “советскому языку” — его принятие или

отказ от него — может служить сегодня вернейшим критерием подлинности писателя. Александр Солженицын борется с этим языком — творя неологизмы, возвращая к жизни старинные, забытые или официально отвергнутые слова. Андрей Синявский, Владимир Максимов, Владимир Войнович взрывают “обезьяний язык” изнутри, разрывают ставшие привычными связи, обнажают ложь навязанных ассоциаций. В. Ерофеев идёт тем же путём»<sup>3</sup>. Это послесловие спустя год было опубликовано в Париже на русском языке на страницах 121-го номера «Вестника русского христианского движения».

После выхода в свет поэмы «Москва — Петушки» в переводе на французский язык ежедневная вечерняя газета леволиберальных взглядов «Le Monde» писала: «Венедикт Ерофеев — автор одной книги, но она без сомнения относится к шедеврам, созданным во второй половине XX века».

Теперь спустимся с небес на грешную землю. К чему может привести головокружительное пьянство, когда человек упорно и последовательно уничтожает себя духовно и физически? Отвечу прямо: к деградации и преждевременному уходу из жизни. В большинстве случаев так оно и происходит. Вспомним древнегреческого философа и математика Пифагора<sup>[342]</sup>: «Пьянство есть упражнение в безумстве». Менее образно, но более конкретно предупреждение французского писателя Оноре де Бальзака: «Люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее».

Парадокс состоит в том, что, по уверению Доналда У. Гудвина, заведующего кафедрой психиатрии Канзасского университета, автора нашумевшей книги «Алкоголизм», у литературного дара и алкоголизма одни и те же корни. Неспроста ведь этим недугом

страдало и страдает немало писателей, а также людей других творческих профессий. Про политические фигуры мирового масштаба и говорить нечего. Некоторые государственные деятели глубокой древности и нашего времени с упоением предавались этому пороку, прямо скажем — не худшему среди многих других. И даже, такое случалось, они доживали до преклонных лет.

Обращусь к одной из неизданных «Записных книжек» 1979—1980 годов, в которой Венедикт Ерофеев с большим удовольствием, как могу предположить, цитирует Михаила Погодина, литератора, историка, журналиста, автора воспоминаний о А. С. Пушкине: «Явилось шампанское, и Пушкин одушевился»<sup>4</sup>.

Не только своими походами, но и обильными возлияниями прославился, например, Александр Македонский. От него не отставал наш царь Пётр I. Он часто напивался со своими соратниками до положения риз. В отличие от Петра I, Иосиф Сталин знал, когда ему притормозить. Однако получал ни с чем не сравнимое удовольствие от совместных полуночных трапез, непрерывно подливая прекрасное грузинское вино в бокалы своих товарищей по политбюро. Можно представить, как им хотелось наконец-то оказаться в собственных постелях, а не где-нибудь ещё.

Не стоит, однако, отождествлять писателя с его персонажами даже в том случае, когда его автобиографические сочинения приближаются по откровенности и искренности текста к исповеди. К тому же пьющий Венедикт Ерофеев не выглядит белой вороной среди многих известных выпивох, принадлежавших истории мировой культуры. Заглянем наугад:

Эдгар Аллан По (1809—1849) умер от воспаления мозга из-за сильной алкогольной интоксикации. Модест



Петрович Мусоргский (1839—1881) скончался в результате белой горячки. Допивались до чёртиков Шарль Бодлер (1821 — 1867), Винсент Ван Гог (1853—1890), Джек Лондон (1876— 1916), О. Генри (Уильям Сидни Портер; 1862—1910), Эрнест Хемингуэй, Амедео Модильяни (1884—1920), Джеймс Джойс (1882—1941), Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896— 1940), Уильям Фолкнер (1897—1962), Джон Стейнбек (1902—1968), Чарлз Буковски (1920—1994), Джек Керуак (1922—1969), Сергей Есенин, Михаил Александрович Шолохов (1905—1984), Александр Фадеев (1901 —1956), Сергей Довлатов, Эрих Мария Ремарк (1898—1970).

Этот список, если его продолжить, займёт много страниц, что и сделал Венедикт Ерофеев в своих «Записных книжках» последнего десятилетия своей жизни. Но уже по этому перечню известных имён видно, что американцы, французы, немцы и другие западные люди не уступают русским и даже превосходят их по численности именитых пьяниц, однако, замечу с некоторой гордостью за отечество, — только не по количеству выпитого.

Жизнь названных мною писателей, художников и композиторов состояла из сменяющихся периодов напряжённого творческого труда и необходимой для дальнейшей работы расслабухи, ради достижения которой они использовали алкоголь, приносящий вдохновение и отдохновение от трудов тяжких.

Ремесло писателя не из лёгких. Заново восстанавливать, по ходу дела мифологизируя, свою прожитую жизнь и жизнь других людей — всё равно что строить замки из песка. Одно неловкое движение — и выстроенное тобой вмиг рассыпается. Тогда приходится начинать всё сначала. К тому же над писателем как дамоклов меч нависает вопрос к самому себе: «А нужна ли людям, дурачок, твоя писанина?» Понятно, отчего его рука произвольно тянется не к перу и бумаге, а к

бутылке. У художников и композиторов, а также выдающихся учёных причины их пьянства могут быть другие, но по форме и конечным результатам оно мало чем отличается от писательских запоев.

В Древнем Китае, в котором как нигде в мире зрели в корень и смотрели на тысячу лет вперёд, быть пьяным означало обрести свободу творчества. Для китайского поэта понятия пить вино и писать стихи сопричастны друг другу. Бессмертный пьяница Ли Бо почти всегда находился под воздействием винных паров. В одной из песен того времени говорилось, что Ли Бо может написать сто песен при одном условии: если он выпьет, не торопясь, шесть литров вина.

Писателей, а не подрукавных писак, от заурядных пьяниц отличает страсть к созиданию. Благодаря этой природной или благоприобретенной особенности самые спившиеся и пропащие из них хотя бы изредка ощущают себя счастливыми. К тому же прозорливые люди, особенно поэты, при этом понимают, что их участь пребывать на земле чужеземцами. Потому-то их тянет с насиженных мест непонятно куда. Наиболее рассудительные из них могли бы вслед за французским поэтом Шарлем Бодлером сказать: «Жизнь — это больница, где каждый пациент хочет перебраться на другую кровать».

Какой трудной ни была бы работа писателя, но она, по убеждению Гюстава Флобера, является наилучшим способом ускользнуть от постоянно кусающейся жизни. Со своей стороны добавлю: «Она намного безопаснее для здоровья, чем пьянство». К тому же, как ни прискорбно признать, у большинства простых смертных, у кого ослабевает сила души, тут же появляется искушение пуститься в разгул. Пьянство и эротика начинают вытеснять из жизни многие добродетели.

Цель у автора поэмы «Москва — Петушки» и его персонажа Венички была абсолютно другая, возвышенная и благородная. Она не связывалась с желанием окончательно спить жителей родной страны и была чётко сформулирована писателем: «Больше пейте и закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма»<sup>5</sup>.

Предлагаемые автором поэмы коктейли, как определил их один из её комментаторов, «крепко замешаны на неприкаянной жизни, безысходности и советских одеколوناх». Не ради же баловства и насмешки Венедикт Ерофеев предлагал: «Все подвиды водяры должны бы называться слёзно... Девичья Горючая, Мужская Скупая, Беспризорная Мутная, Вдовья Безутешная, Сиротская Горькая»<sup>6</sup>.

Реально существовавшие названия, вроде «Слёзы комсомолки», «Сучьего потроха» и «Поцелуя тёти Клавы», очень специфичны и, к сожалению, малопонятны для иностранцев. Упоминаемые в поэме «Москва — Петушки», они резко отличаются от тех, которые вкушали сильные мира сего. И, разумеется, непредставимо далеки от тех наполненных вином бутылок, что стояли на столе у Иосифа Сталина, как от нас туманность Андромеды. Называть напитками то, что пил герой Венедикта Ерофеева Веничка, будет кощунством по отношению к виноделам. Это то же самое, как делать из комара певчую птаху. Во всех словарях русского языка эта сотворённая наспех *амброзия* обозначена широким и расплывчатым по смыслу понятием — *бухало* или *бухло*. Оно, это *бухало-бухло* (оно же — *пойло, султыга, телогрейка, хлёбово, выпиванто, керосин, горючее*), появилось на божий свет, на радость загульным алкашам, как плод их изошрённого ума, едва функционирующего при почти пустых карманах.

Подобное снадобье настолько специфично, что вряд ли имеется что-то подобное в других странах. Изысканной и невиданной роскошью предстаёт на его фоне коктейль «Мохито», собственноручно составленный Эрнестом Хемингуэем из унции убойной крепости белого рома, шести листиков мяты, сока одного лайма, двух чайных ложек коричневого сахара и трёх унций шампанского. Как говорят: комментарии излишни. Остаётся только позавидовать!

В Советском Союзе народ в своей массе покупал в магазинах питьё позабористее и подешевле. По этому поводу высказался другой видный представитель самиздатовской литературы — прозаик, драматург, поэт и философ Юрий Витальевич Мамлеев, писатель-метафизик, сумевший, по его словам, «перепонять» реальность. Он стал со временем общепризнанным, с мировой известностью писателем, как и его товарищ по литературным сходкам в московских квартирах Венедикт Ерофеев.

Вот о чём вспомнил Юрий Мамлеев незадолго перед смертью: «Рабочие, “простые люди” не устраивали революции против советской власти, они просто пили. Это было их ответом на господствующую идеологию марксизма-ленинизма и на то, что из этой идеологии получилось»<sup>7</sup>. Что касается творческой интеллигенции, вино делало её общение более раскованным, содействовало раскрытию душ.

Юрий Мамлеев как писатель-метафизик обращается к романтическим штампам, переводя факт бытового пьянства в поэтический ряд: «Алкоголь связывал тогда всех нас. Головин (Евгений Всеволодович Головин<sup>[343]</sup>, поэт, переводчик Рембо и русский алхимик. — А. С.) говорил, что сразу после первой рюмки вина (пусть “вино” будет обобщающим словом) что-то расцветает в его сознании, пылает нетленный огонь, и в памяти

восходят все самые потаённые, значительные мысли, напевы, стихи, озарения. Именно озарения. И этот вдруг созданный цветок можно было дарить каждому, способному внимать. А главное — ещё рождался подтекст, намёк на нечто невыразимое. Естественно, такое воздействие вина придавало общению новый, благодатный уровень. Но, разумеется, такого рода общение никогда не переходило в бессмысленное пьянство»<sup>8</sup>.

Здесь Юрий Витальевич явно лукавит. Или путает давние внешние события со своими тогдашними впечатлениями и переживаниями. Подобная аберрация памяти часто встречается у людей с развитым художественным воображением.

В молодости Юрий Мамлеев трезвенником не был. Сухой закон неукоснительно соблюдал уже в достаточно зрелом возрасте. А тогда, в конце 1960-х годов, Юрий Витальевич с Венедиктом Васильевичем однажды устроили даже не затяжную попойку с долгими разговорами, а настоящий водочный марафон с желанием узнать, кто кого перепьёт. Не будь рядом с ними Марии Александровны, жены Мамлеева, это *питьё в запуски* закончилось бы плачевным исходом — не останови она истошным криком в начале забега вошедших в раж молодых людей<sup>9</sup>.

Тут я останавлиюсь. Пропаганда алкоголя и его апологетов не входит в мою задачу. Перейду непосредственно к автору поэмы «Москва — Петушки». От фамиама, который воскуряли ему экзальтированные поклонницы, у Венедикта Ерофеева першило в горле и слезились глаза. Он пытался в этих случаях отшутиться. А что ему ещё оставалось делать, когда девушки буквально немели и впадали в транс, глядя на него?

Вообще-то по характеру Венедикт Васильевич был не деятель, а наблюдатель. Его невозможно

представить во главе какого-нибудь протестного движения или что-то выкрикивающим в шеренге демонстрантов с транспарантом в руках. Совсем сюрреалистической показалась бы ему картина, изображающая его на коне с шашкой наголо, или в виде памятника, или возвышающимся над толпой на Красной площади, до которой герой его поэмы, надо заметить, почти добрался себе на погибель. Он был убит в подъезде дома, судя по всему, где-то неподалёку от ГУМа.

Стоящим на трибуне мавзолея видел себя его коллега и антипод Эдуард Вениаминович Лимонов<sup>[344]</sup>, который, торопясь и глотая слова, пафосно рассказывал об этой выстраданной в своих снах юношеской мечте приятелям в Нью-Йорке во время жарких политических дискуссий на Брайтон-Бич. И очень сердился, когда приятели смеялись, думая по своей наивности, что он так нелепо и пошло шутит. Ведь Лимонов уверовал в свою миссию вождя великой страны, что помогало ему смириться со всякими жизненными неурядицами и вообще с человечеством, которое он всеми силами пытался приспособить к самому себе. Тут ничего не поделаешь. У писателей и художников свои закидоны и приветы. Для читателей и зрителей их чудачества, как правило, в радость и удовольствие.

В чём в чём, а в иронии и чувстве сногшибательного сарказма в прямом смысле этого слова Эдуарду Лимонову равных не было. При нём даже Жванецкий тушевался и отходил в сторону.

Я вспоминаю открытие выставки художника Вильяма Петровича Бруя, ныне жителя Нормандии и нашего общего с Лимоновым товарища. Это событие произошло несколько лет назад в московском Музее современного искусства. Людей на открытие собралось немало. Среди них Эдуард Лимонов узнал приехавшую

из Франции Киру Сапгир и нашего соотечественника Славу Лёна [\[345\]](#), приятеля Венедикта Ерофеева, который незадолго перед этим вернисажем сломал ногу и был на костылях. Увидев старых знакомых, он широко улыбнулся и громким голосом, разделяя слоги, прокричал, как командующий военным парадом на Красной площади: «Здравствуйте, призраки!»

Как свидетельствует история, простые смертные могут спать спокойно до тех пор, пока власть художников и писателей ограничивается пространством искусства и литературы. Не забудем, что Иосиф Сталин начинал как стихотворец и был уже в юном возрасте замечен, грузинской литературной общественностью. А про акварелиста, не принятого в Венскую академию художеств, я вообще говорить не буду.

Для Венедикта Ерофеева Эдуард Лимонов был отвратителен во всех своих проявлениях. Он олицетворял всё худшее, что существовало в перестроечной политике и в новой русской литературе. Свидетельствует Владимир Муравьёв: «Было у Венички однажды столкновение. Есть такая тёмная личность — писатель Лимонов, который, как это ни забавно, пришёл к социалистической идеологии. Прямая противоположность Веничке. Так вот, Лимонов вызвал Веничку на лестницу морду бить. Тот про Лимонова слышать потом не мог — руки тряслись. “Я писатель Лимонов! Ерофеев, пойдём на лестницу, я тебе всю морду побью!” Да нет, это были не принципиальные разногласия, а по пьянке, но на самом деле, когда Ерофеев прочёл кусок лимоновской прозы, он сказал: “Это нельзя читать; мне блевать нельзя”. Но и это тоже была не ненависть, а скорее смесь презрения и омерзения. Редкий случай. Другого такого не могу припомнить. Впрочем, людей, о ком бы он всегда говорил особенно тепло, из друзей и знакомых — тоже

не было, только далёкие. Он говорил: “У меня грибоедовский комплекс: мне требуются Булгарины в неограниченном количестве”»<sup>10</sup>.

Венедикт Ерофеев был абсолютно лишён политических и каких-либо иных амбиций. Писательство было для него таким же естественным биологическим процессом, как способность набирать воздух в лёгкие и тут же выдыхать его. Он относился к тем русским людям, для которых честь и достоинство составляли стержень их личности. Как сказали бы верующие люди, он ходил перед Богом, а не прятался от Него.

При том ханжестве и фарисействе, которое у нас сохраняется в крови с момента появления на свет, а с годами переходит в устойчивый рефлекс, жизнь и судьба Венедикта Ерофеева, заново пережитые и заново переосмысленные им в его произведениях, могут, ужаснув, вызвать шок и даже оттолкнуть от себя. К тому же могу представить, как некоторая часть читающей публики отнесётся к моей книге. Вот до чего, скажут, дошла нынешняя критика, в которой алкашей возводят на пьедестал!

Так что же такое произошло с Венедиктом Ерофеевым, в результате чего он понял не интуитивно, а путём размышлений и страданий, какие препятствия мешают человеку обрести самого себя? Какие качества и достоинства воплощает аномальный персонаж его поэмы «Москва — Петушки»? Чем же он дорог автору, который сделал его до слёз трогательным и беззащитным дитём, противопоставляя взрослым тётям и дядям?

Его герои, как ни странно, выглядят более живыми и привлекательными в своём незамысловатом поведении и *пофигизме*, чем продуманные, расчётливые люди с их житейской смёткой, умением решать проблемы и приспособливаться к постоянно меняющимся



жизненным обстоятельствам. И ещё одна их симпатичная особенность: они не боятся выглядеть нелепыми и смешными. К тому же эти герои ни на что не претендуют. Они не завистливы, как и создавший их писатель.

Вообще, зависть буквально снедала и до сих пор гнетёт большинство коллег Венедикта Ерофеева по перу. Она по-разному влияла и влияет на обменные процессы в их телах. Одни от зависти буквально тают на глазах, а некоторых от неё же разносит во все стороны. Многим из этих людей чужд принцип Вольтера: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». Смотря по телевизионным каналам на сегодняшние полемические ристалища, начинаешь понимать, насколько далеки мы до сих пор от понимания великим французом значения принципа свободомыслия для благоденствия людей.

В компаниях, в которых Венедикт Ерофеев оказывался в 1970-е годы и во второй половине 1980-х, за редким исключением преобладали чужие, что-то пописывающие люди. Они ему не нравились ни по уму, ни по виду, ни по путаным речам. Однако наблюдать этих самонадеянных говорунов и всматриваться в их лица было ему не в тягость. Чаще всего — любопытно. При всём их агрессивном поведении из воспалённых глаз с опухшими веками выглядывало что-то жалкое и растерянное. Они явно нуждались в чьём-то дружеском попечительстве, напряжённо выискивая влиятельного и приветливо к ним настроенного человека. Особенно того, кто содействовал бы их продвижению в жизни.

Мысль, что они будут призваны в круг избранных, волновала этих людей до сердцебиения. Выпивка стимулировала развязный тон их речей, однако в таких компаниях Венедикт Ерофеев чувствовал себя неуверенно, словно попал по ошибке в гости к неандертальцам. Он не знал, как с ними себя вести, о

чём говорить, и был им тоже малопонятен. Находясь среди незнакомых людей, он, не веря глазам своим, наблюдал, как смотрящие на него тупые лица преображались в изумлённые. Возникающее внутреннее напряжение в таких случаях всегда снижала смешливость — врождённое свойство его натуры. Вот почему его скепсис почти никогда не переходил в отчаяние. Театровед Ирина Нагишкина вспоминает слова Венедикта Ерофеева: «Жить опасно, страшно, больно и очень смешно...»<sup>11</sup>

Веничка из поэмы «Москва — Петушки» не абы какой и, как говорят, не лыком шит. Он не ищет приключений на свою голову. Они сами его находят. В его действиях присутствует благородная цель — доехать с подарками до Петушков, своей земли обетованной, до своего горнего Иерусалима, где его ждёт молодая женщина с косой от затылка до пят с трёхлетним заболевшим малышом, знающим букву «ю». Может быть, там-то он наконец-то бросит якорь. На этом пути лишь одно серьёзное препятствие — его алкогольная зависимость. Маршрут поезда из Москвы в Петушки не случаен, полон особого, метафизического смысла. Это продуманное бегство из города, олицетворяющего апогей власти государства, его мощь — третий Рим, существующий при всеобщей вере, что четвёртому — не бывать. Он устремляется в новое пространство — туда, где, согласно его надежде, тленное существование необратимо преобразуется в духовное.

Как заметил один из читателей поэмы «Москва — Петушки», в этом шедевре Венедикта Ерофеева «отсутствует пещерный, эдакий патологический антикоммунизм/антисоветизм. Отношение к власти у Венички стрёмно-снисходительное, власть для него вещь в себе, он даже Кремль в Москве найти не может».

Я думаю, что в данном случае этот внимательно прочитавший поэму читатель, восхитившийся ею и эмоционально очарованный, не оценил в должной мере интеллектуальные возможности Венедикта Васильевича. Советская власть не была для него вещью в себе. Он понял, что она собой представляет даже не из книг, а благодаря собственному опыту. По её бесчеловечному отношению к его семье и к нему самому, а также к судьбам миллионов других людей.

Вспоминается по этому случаю метафорическое высказывание о природе этой власти известного экономиста и писателя Николая Шмелева в пересказе его друга и коллеги Владимира Попова: «В чём состоит самая глубокая тайна советской системы? Я не сразу понял, мне понадобились годы, чтобы понять. Я думал, что на Лубянке есть подвал, там клетка, в клетке — три мудреца. Когда “припекает”, возникают серьёзные проблемы, члены политбюро идут в подвал к клетке за советом. Мудрецы им и говорят — “вводите войска в Чехословакию”, или “стройте ‘Атоммаш’ ”, или “поднимайте цены на мясо-молочные продукты”. Так вот, самая главная тайна советской системы состоит в том, что не только мудрецов, но и клетки и даже подвала на Лубянке нет»<sup>12</sup>.

Стоит признать, что люди власти в СССР в лучшее из лучших время его существования — в период брежневского «застоя», были такие же раздолбай, как герои Венедикта Ерофеева.

При всём своём экономическом планировании эта система жила на авось и полностью зависела от причуд судьбы и даров природы, которые могут когда-то неожиданно иссякнуть, то есть от незапланированных случайностей. Выживала она каким-то чудом, постоянно балансируя на краю пропасти, куда в конечном итоге внезапно для всего мира рухнула. Когда сползает с

просевшего фундамента такая громада, откликнется всей планете.

Обман и враньё — средства, действующие на людей до какого-то времени. Они в своей эфемерности сродни миражу. А мираж имеет свойство рассеиваться.

Представьте себе, каково было оказаться в такой ситуации думающему и легкоранимому человеку. К тому же по-детски незащищённому. Естественно, герой поэмы «Москва — Петушки», как пафосно писал в своё время и при других обстоятельствах Оскар Уайльд, облачается в «покровы меланхолии и печали, как монарх в королевские одеяния». Поэтому-то у Венички из поэмы помимо цели добраться до жены с заболевшим сыном и духовно преобразиться есть ещё другое желание — пить до бесконечности и впасть в возвышающее его душу забытие.

При таком повороте событий город Петушки становится недостижимым мифическим местом, из христианского горнего Иерусалима превращается в буддийскую Шамбалу, где обитают, как уверяли Елена Блаватская и Елена Рерих, «великие души» — *махатмы*. При этом бремя грехов государства по отношению к людям не отсекается, а непомерно возрастает. Поэму «Москва — Петушки» было бы слишком просто назвать мифом об отчуждении и одиночестве. Она не столь однозначна, как представляют её некоторые читатели, последовательные борцы с пьянством и с людской распущенностью.

Читая поэму «Москва — Петушки», понимаешь, как хорошо и комфортно напивающемуся главному герою Веничке существовать в эфемерности. Ему не скучно беседовать с самим собой и с заботливыми ангелами, что, сострадая, кружат над ним.

Существует смелое предположение, что «Москва — Петушки» не про алкоголь вовсе и тем более не имеет никакого отношения к поставангарду. Она про ангела,

но не павшего, а только слегка оступившегося и сломавшего крыло. Вот и вынужден он скитаться среди людей, а его бывшие собраты, печальсь, что не в силах ему помочь, всё-таки не покидают его. А алкоголь для этого ангела — средство забвения, создающее иллюзию его временного возвращения в заоблачные выси, которые больше ему не принадлежат.

Некоторые читатели поэмы подтверждают в Интернете эту гипотезу об ангельском происхождении её героя. Вот что пишет один из них: «Весь парадокс поэмы “Москва — Петушки” заключается в том, что она не о водке и розовом вермуте за один рубль сорок семь копеек, а о человеческой доброте и любви к людям и Богу, потому как этот самый герой (Веня) свалился на грешную Землю в силу каких-то непонятных причин и теперь должен жить с людьми. От прочитанного создаётся впечатление, что герой поэмы является или был когда-то ангелочком. Герберт Уэллс написал в своё время очень хороший роман “Подстреленный ангел” (другое название «Чудесное превращение». — А. С.). Этот роман заключал в себе идею тяжести земного бремени для такого упавшего с небес на землю ангела. Подобные люди-ангелы долго не живут. Они созданы совсем для другого, а если говорить точно, они противоположны земному злу, которое по своей привычке многие люди считают добром, поскольку с ним давно свыклись и смирились»<sup>13</sup>.

Выдерну из разноголосицы мнений об авторе поэмы «Москва — Петушки» пару-другую более или менее внятных голосов. В статье «Венедикт Ерофеев» в журнале «Дилетант» ( № 11, ноябрь 2015 года) известный писатель Дмитрий Быков предлагает слушателям оригинальную трактовку этого произведения Венедикта Ерофеева: «Всякий этнос начинается с поэм о войне и странствии, что заметил

ещё Борхес. Русская цивилизация началась со “Слова о полку Игореве”, сочетающего и войну, и побег. Золотой век русской культуры начался “Мёртвыми душами” — русской одиссеей — и “Войной и миром”, про которую — которое? — сам Толстой говорил: “Без ложной скромности, это, как ‘Илиада’ ”. Без скромности — потому что это не комплимент, а жанровое обозначение. “Илиада” рассказывает о том, за счёт чего нация живёт и побеждает, каков её, так сказать, *modus operandi*. Одиссея задаёт картографию, координаты, розу ветров того мира, в котором нация живёт. “Мёртвые души” писались как высокая пародия на “Одиссею”, которую одновременно переводил Жуковский. Русская сатирическая одиссея дублирует греческий образец даже в мелочах. Манилов соответствует Сиренам, Собакевич — Полифему, Ноздрёв — “дыхание в ноздрю” их — шаловливому Эолу. Коробочка с постоянно сопровождающей её темой свиней и свинства — Цирцее, а сам Чичиков, как Одиссеей в седьмой главе, даже воскрешает мёртвых, читая их список и воображая себе, скажем, Степана Пробку. Поэма Ерофеева потому и поэма, что выдержана в том же самом жанре высокой и даже трагической пародии: это Странствия Хитреца, вечный сюжет мировой литературы, обеспечивающий любому автору шедевр, вырастание на три головы. Одиссею нельзя написать плохо. Фельетонист Гашек, пародист Сервантес, хороший, но не более, новеллист Джойс — все прыгнули в гении, осваивая этот жанр»<sup>14</sup>.

Наталья Фаридовна Брыкина, автор ряда работ о художественной картине мира в прозе Венедикта Ерофеева, мужественно заглянула в сферу, куда мало кто решается войти, — в сферу бессознательного. Она убеждена, что тексты писателя порождены изменённым состоянием его сознания. А если так, то главные герои

его произведений — это *alter ego* его самого. Авторское «я», измождённое бесконечными возлияниями, сами понимаете, не совсем здоровое. Оно депрессивное, с постоянно меняющейся самооценкой. Того гляди — и автор, и его герои окончательно свихнутся. Из всего сказанного понятно, что эти герои опускаются с автором ниже некуда. Того и гляди свернут себе шеи. Но они держатся до последнего, надеясь на самом дне жизни обнаружить «портал с выходом в “иную реальность”»<sup>15</sup>. Эстетические вкусы по причине изменения состояния сознания, разумеется, тоже меняются и соответственно влияют «на специфику речевого воплощения повествования». Ведь и автор, и его герои существуют и действуют, по мысли Натальи Брыкиной, в пространстве, расположенном «на стыке реального и ирреального, возможного и невозможного». Сновидения, от пугающе кошмарных до успокоительно радужных, воссоздают бредово-сновиденческую реальность. К тому же «они тесно переплетены с мифологическими основами мироустройства, что проявляется и на смысловом, и на речевом уровнях». Потому-то Наталья Брыкина приходит к заключению: «Тексты Ерофеева содержат мифологическую память и тем самым расширяют границы созданной им художественной картины мира»<sup>16</sup>.

Без мифологии, по-видимому, человечество жить не может. На конкретных образах и держится начиная со дня своего возникновения. Ну какая советская власть без образов вождей! А предыдущая — без образа Создателя!

Вот что по этому поводу думает Наталья Брыкина: «Произведения писателя представляют собой столкновение двух антиномичных полюсов — христианства и советской действительности. Библейские мотивы трактуются и воспроизводятся

автором неоднозначно, однако его герои, подобно юродивым, обретают спасение именно в христианском понимании этого слова. Развенчивание мифов тоталитаризма и протест против существующей системы проявляются в текстах Ерофеева в пародировании штампов и догм, характерных для 1960—1990-х гг.»<sup>17</sup>.

Общение с выдающимся русским писателем, метафизиком Юрием Витальевичем Мамлеевым и его последователями не прошло для Венедикта Ерофеева бесследно. Сфера бессознательного присутствует в его прозе. Наталья Фаридовна Брыкина сделала наблюдение, которое заставило меня вздрогнуть. На протяжении многих лет я дружил, что называется, домами с Юрием Витальевичем и его женой Марией Александровной. Некоторые его метафизические прогнозы и мистическая упорядоченность исторических событий вызывали у меня улыбку. А тут Наталья Фаридовна сразила меня наповал фактами, имеющими мистическую подоплёку: «Герой путешествует в пятницу. С этим днём недели связаны страшные факты из жизни самого писателя. Три покушения на самоубийство приходились на пятницу, в пятницу скончались его отец, брат и мать. Дата смерти Ерофеева 11 мая 1990 г. — тоже пятница, на что раньше не обращали внимание исследователи его биографии и творчества»<sup>18</sup>.

О том, как использовался Венедиктом Ерофеевым и Сергеем Довлатовым принцип «псевдодокументализма», пишет Александр Сергеевич Поливанов. Исследователь попытался прочесть поэму «Москва — Петушки» глазами «владимирцев», или «венедиктианцев». То есть глазами его ближайших друзей: «На основе этой реконструкции был сделан вывод о том, что ближайшие друзья Вен. В. Ерофеева



воспринимали образ Венички не так, как читатели, далёкие от автора. “Владимирцам” поэма была дополнительно интересна тем, что в ней содержались намёки на реальные обстоятельства жизни писателя. Однако есть в произведении Вен. В. Ерофеева и отрывки, в которых писатель хочет показать “владимирцам”, что его поэму следует читать как плод фантазии автора, как художественное произведение с вымышленными персонажами. Одним из таких персонажей, по всей видимости, является возлюбленная Венички, хотя ряд её черт позволяет “владимирцам” думать, что за этим образом кроется прототип — Юлия Рунова»<sup>19</sup>. А может быть, ситуация с двумя Веничками более проста, чем её описывают учёные мужья и дамы? Как сказал поэт, «случайности закономерны, / и вот судьбу свою ведя, / мы очищаемся от скверны / на диком поле бытия».

Борис Гаспаров и Ирина Паперно сосредоточиваются на связи поэмы «Москва — Петушки» с произведениями Лоренса Стерна, Александра Радищева, Николая Гоголя. Не обходят они вниманием Библию, романы Фёдора Достоевского, роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», русскую поэзию, произведения Иоганна Вольфганга Гёте и многие другие классические тексты мировой литературы<sup>20</sup>. Но является ли писатель, подчинивший свою жизнь стихийному пьянству, прототипом своего героя? Только одного этого общего порока явно недостаточно. Более важные черты юродства и избранничества, присущие герою поэмы «Москва — Петушки», отсутствуют у её автора.

А может быть, ситуация с двумя Веничками более простая. Представим, что писатель и его герой по своей духовной сущности путешествующие монахи? Слово *монах* производное от греческого *монос* —

единственный, одиночный. Любой монах, будь он христианином или буддистом, проводит в молитвах и созерцании отрешённую от мира жизнь, подчиняя её обетам нестяжания, целомудрия и послушания.

Из этих трёх монашеских обетов Венедикт Ерофеев неукоснительно исполнял вплоть до своей кончины только один — самый первый. Он действительно на протяжении почти всей своей жизни был беден, как церковная крыса. Что же касается послушания и целомудрия, к этим отречениям он ещё не был готов. Ведь его связь с Богом не заходила настолько далеко, чтобы свои естественные желания он предпочёл бы сублимировать в мистическом с Ним союзе и тем самым полностью нейтрализовать воздействие на собственную психику того или иного своего эмоционального порыва или влечения.

При всём пренебрежении Венедиктом Ерофеевым материальным благополучием аскетизм в его крайностях был ему чужд. Хотя я могу предположить, что его неприхотливость в еде, может быть, объясняется инстинктивным тяготением к аскезе. Совсем простое объяснение для него не подходит, как-то не вяжется с его аристократическим обликом. Ведь для того, кто много и постоянно пьёт, для закуски и двух килек из консервной банки вполне достаточно.

У меня язык не поворачивается назвать Венедикта Васильевича горьким пьяницей. Пьяница, как мне представляется, ни живёт, ни умирает. Как говорят, влачит жалкое существование. Подобный тип жизни был не присущ Венедикту Васильевичу. Он жил на полную катушку и умер задолго до отмеренного ему природой срока.

Для многих людей до сих пор остаётся загадкой, как при том образе жизни, который избрал себе Венедикт Ерофеев, появился, казалось бы, из ниоткуда писатель, по таланту ничуть не уступающий классикам XX века.

Чтобы его сочинения оценить в полной мере, придётся понять, о чём, собственно говоря, они повествуют. Что творится в голове у персонажей писателя? Хочешь не хочешь, но придётся заставить себя влезть в их шкуру, преодолеть по отношению к ним брезгливость и высокомерие. Несчастливыми, общипанными жизнью пропойцами могли бы стать многие из нас. Вспомним жертвы лихих девяностых... Поэма «Москва — Петушки» абсолютно русский роман. До Венедикта Ерофеева ещё никто не описал с такой художественной убедительностью жизнь и ощущения пропащего человека, нашего современника. Такое не придумаешь, через это надо пройти самому.

Уже не раз цитированный мною Владимир Муравьев писал о поэме «Москва — Петушки» в предисловии к двухтомнику Венедикта Ерофеева, выпущенному издательством «Вагриус» в 2001 году: «Поэма несёт утоление тем, кто изголодался по слову не подсобному и не затасканному, а “самовитому”, как выражались футуристы, в данном случае освобождающему от ощущения иллюзорности и неполноценности обыденного существования. От ощущения, скажем прямо, иллюзорного, навязываемого нам безличным обыденным сознанием, которое представляется адекватным действительности, её “отражением”, чуть ли не зеркальным. Наивный реализм закрепощает человека, и надо лишь понять и почувствовать, что это — наваждение, чтобы освободиться. Повседневность оказывается гораздо объёмнее и многомернее, чем её узкое, “зашоренное” восприятие»<sup>21</sup>.

В Интернете я нашёл сопоставление поэмы «Москва — Петушки» с произведениями современной американской литературы. Неизвестный мне автор пишет: «С чем иностранным всё это можно сравнить? Чарлз Буковски и его сценарий фильма “Пьянь”? Роман

Хантера С. Томсона “Страх и отвращение в Лас-Вегасе”? Нет! Там везде есть свет в конце тоннеля, все эти люди наслаждаются жизнью, а Веня Ерофеев стоически страдает и никакого света у него нет, да и тоннеля тоже. Он никак не доедет до своих Петушков, потому что у него нет никаких Петушков. И правильно кричал в вагоне черноусый о том, как не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасти его, как от отчаяния не запить! “Социал-демократ — пишет и пьёт, и пьёт, как пишет. А мужик — не читает и пьёт, пьёт, не читая. Тогда Успенский встаёт — и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире и подышает, а Гаршин — встаёт — и с перепоя бросается через перила...” Вот она боль! Разве может эта вселенская печаль сравниться с какими-то там страданиями старых хиппи, не умеющих жить в новом мире?»<sup>22</sup> Владимир Муравьёв, первым оценивший поэму «Москва — Петушки» как христианское сочинение и хранивший у себя её рукопись, понимал, что поэма «Москва — Петушки» уникальна. Канонам и пафосу советской литературы она не соответствовала. Её стилистическая и смысловая непохожесть завораживала и шокировала. В качестве эпиграфа к ней была бы уместна (не используй её нацисты в лагерях смерти) заключительная фраза текста над воротами ада в третьей части «Божественной комедии» Данте Алигьери, изложенная на латыни, а в переводе на русский язык звучащая: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Вообще-то ощущение при чтении этого произведения Венедикта Ерофеева такое, словно наблюдаешь жизнь людей и слушаешь их разговоры накануне апокалипсиса.

Поэма «Москва — Петушки» заметно выделяется среди сочинений, ранее появившихся в русской словесности. Её автор долгое время был неизвестен родной стране. Он, полагаю, относил самого себя к

маргинальному «поколению дворников и сторожей», размножившемуся за последние два десятилетия существования советской власти. Это при том, что уже со студенческой скамьи Владимир Муравьёв признавал в своём друге необыкновенные литературные способности: «Данные его были великолепны: великолепная память, великолепная, незамутнённая восприимчивость. И он совершенно был не обгажен социалистической идеологией»<sup>23</sup>.

Владимир Муравьёв был человеком талантливым и авторитетным в той среде, где редко ошибаются в определении того, «кто есть кто» на самом деле. Ему принадлежит сочинение по объёму приблизительно такое же, как поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». В начале книги я его назвал: «Путешествие с Гулливером (1699—1970)». Изданы эти сочинения двух друзей, ещё раз напомним читателю, приблизительно в одно и то же время. Исследование о знаменитой книге Джонатана Свифта в 1972 году, а поэма о путешествии Венички из Москвы в Петушки и обратно в 1973 году.

История первого шедевра заканчивается «странно и зловеще». Владимир Муравьёв воспроизвёл финал всех предыдущих путешествий Гулливера: «Решив скоротать остаток дней подальше от “любезной родины”, капитан Гулливер жил на заселённом лошадьми островке в Индийском океане. Облачённый в кроличьи шкурки и башмаки из человеческой кожи, он безмятежно кушал пресную овсянку на молоке и “наслаждался прекрасным телесным здоровьем и полным душевным спокойствием”. Его особенно умиляло здесь полное безлюдье, т. е. отсутствие врачей, юристов, доносчиков, остряков, сплетников, жуликов, бандитов, взломщиков, крючкотворов, сводников, кривляк, игроков, политиков, умников, ипохондриков, пустомель, насильников, убийц, мошенников и сеятелей крамолы, заключённых,

приговорённых и пригвождённых к позорным столбам, торговцев, умельцев, хлыщей, хамов, пьяниц, шлюх, сифилитиков, мегер, мотовок, модниц, учёных, закадычных друзей, начальников, скрипачей, судей, а также прочих представителей европейской цивилизации»<sup>24</sup>.

Основная мысль книги Владимира Муравьёва по тем временам была не менее крамольна, чем рассуждения Венички в поэме «Москва — Петушки»: «Новооткрытые им (Лемюэлем Гулливером. — А. С.) страны для нас реальнее, чем для него, потому что он открывал в них ростки того будущего, которое мы можем засвидетельствовать»<sup>25</sup>. Действительно, трезвость мизантропических рассуждений Джонатана Свифта и сила убеждения в своей правоте поразительны. Владимир Муравьёв заглядывает вглубь сознания декана собора Святого Патрика в Дублине: «Декан Свифт выдавал человечеству индульгенцию на все времена вперёд; он объявлял людей свободными от обязательств перед разумом и нравственностью за полной неспособностью к тому и другой. Он, разумеется, шутил, но нужно было желание разбираться в его шутках, чтобы эта не звучала как надругательство»<sup>26</sup>. Читая талантливую книгу Владимира Муравьёва, веришь, что её автор сам сомневается в благоразумии человечества. Что уж тут говорить о Гулливере, герое Джонатана Свифта, который в финале своих путешествий «стал униженно гнушаться своей принадлежностью к человеческому роду»<sup>27</sup>.

В блокноте Венедикта Ерофеева есть его высказывание о Свифте и очень содержательная из его сочинений цитата: «“Тузить человечество”, как говорил Свифт»<sup>28</sup>; «Свифт: “Вообще говоря, если бы человеку

был предоставлен выбор, когда ему жить, он не выбрал бы эпохи с богатой историей»<sup>29</sup>.

Сам Венедикт Ерофеев о своём главном произведении сказал коротко и просто: «“Москва — Петушки”, по существу, это жалобная книга». Вот только он не уточнил, кто эту книгу будет читать, а если и будет, то какие меры примет. Не о Нём ли писал Михаил Лермонтов: «Есть грозный судия...»

## **Глава двадцать первая** **БРАК ПО НЕОБХОДИМОСТИ**

У худшего нет пределов. Этим оно отличается от лучшего, которое всегда чем-то ограничено. В конце 1960-х — начале 1970-х годов Венедикт Ерофеев не раз оказывался в тяжёлом положении из-за отсутствия документов и нехватки денег. Он часто не знал, как и чем помочь самому себе и своим близким. Однако духом не падал. Надеялся на своего ангела-хранителя. Может быть, поэтому со стороны и не казался подавленным и несчастным. Об источнике такого бесстрашия у него есть запись в заветных блокнотах: «А я спрашиваю: “Ангелы небесные, вы ещё не покинули меня?” И ангелы отвечают: “Нет, но скоро”»<sup>1</sup>. Те, кто считал его раздолбаем, к нему не липли. Держались от него в сторонке. Представляю себе, как бы они воодушевились, доживи он до наших дней. Об этих людях Венедикт Ерофеев сказал — как припечатал: «Ну зачем им, сволочам, пить? Они без того постоянно качаются, ходят боком, движутся не так, как надо, говорят вздор и не стыдятся ничего. Самоуверенны и безошибочны»<sup>2</sup>.

Как уже понял читатель, Венедикт Ерофеев постоянно думал о жизни, проходящей вне его или мимо него, и о том, в чём состоит её смысл. А вот собственное бытие не оберегал. Жил, как получится. Четыре сезона года сменялись с небывалой скоростью. В один из таких неожиданно появившихся и тут же мгновенно исчезающих дней он сделал соответствующую запись: «Это напоминает ночное сидение на вокзале. То есть ты очнулся — тебе 33 года,



задремал, снова очнулся — тебе 48, опять задремал — и уже не проснулся»<sup>3</sup>.

Такая фантазия приходит в голову людям пропащим. К тем, кто по своей воле делает бомжевание образом жизни. Возвращение в прежний мир при этом маловероятно.

Сначала я не мог понять, на что жил Венедикт Ерофеев, будучи безработным в течение шестнадцати месяцев. Уже одно это обстоятельство должно было бы подтвердить его переход в вечные бомжи с вытекающими отсюда последствиями. Но затем представил себя на его месте и воспрянул духом. Люди не бросают на произвол судьбы тех, кто их понимает и входит в их положение.

Заглянув в декабрьские записи 1973 года Венедикта Ерофеева, я ничуть не удивился. Почти каждый день у него были либо возлияния, либо опохмелки. Сначала я подсчитал, сколько дней у него было в декабре, когда он не выпивал, — всего шесть из тридцати одного. Затем прибавил тех, с кем он встречался, беседовал и выпивал. Общее число названных лиц в записях составляет 29 человек. С таким количеством друзей и приятелей из интеллигентной среды вряд ли пропадёшь. Обращу внимание читателя, что поэма «Москва — Петушки» в конце 1973 года вышла в Израиле и эта новость до СССР ещё не дошла. Как только о поэме заговорили «вражьи голоса», круг его почитателей среди соотечественников невообразимо расширился. Тут Венедикту Ерофееву надо было бы насторожиться и изменить свою жизнь. Что он вскоре и сделал, но поторопившись, впопыхах. Всего трудно и даже невозможно предусмотреть.

Не напоминает ли Венедикт Ерофеев своей судьбой бурсака Хому Брута из гоголевского «Вия», очертившего в церкви мелом магический круг, чтобы уберечься от

нечистой силы? Круг-то он очертил, а вот, взглянув на Вия, себя не спас. Умер от ужаса того положения, в котором оказался.

Венедикту Ерофееву не хватало движения, свежего воздуха и солнца. Поездка в Среднюю Азию привела его в чувство. На какое-то время, разумеется.

Оптимизм в Венедикте Ерофееве присутствовал и не давал впасть в уныние. Оглядевшись вокруг, он сделал для себя вывод: «Мир совсем не плох, если на него глядит человек, умеющий очищать свои структуры»<sup>4</sup>. Загадочное слово «структуры» для несведущих несколько зашифровывало программу его действий. Думаю, что под ним он подразумевал тело и сознание в их совокупном единстве. Для большей убедительности обращусь к пояснениям самого Венедикта Ерофеева: «Лектор, старикашка лет 25-35. Единственное средство добродушного расположения духа — щелочно-кислотное равновесие организма (то есть тогда тебе будут по (...) все потрясения личного, национального и общественного порядка). Только кислотно-щелочной баланс заслуживает того, чтобы о нём и думать, его поддерживать и за ним следить. Избыток солнечной, или умственной, или какой угодно энергии повышает кислотность. Необходимо (в случае избытка) нейтрализовать клетки и ткани щелочными элементами (чай и кофе, ни в коем случае не водка). Так происходит очищение структур. Итак, отрицательные эмоции следует устранять щелочными продуктами, а также молитвой и самовнушением. (На одной из московских квартир лекция: “Отличное расположение духа должно быть ежеминутным”.)»<sup>5</sup>.

В его хмельной жизни ненадолго появился перерыв.

Для самого себя Венедикт Ерофеев давно понял, что жить в деревне с Валентиной он не сможет. По приезде туда он начинал пить, как говорят, не просыхая. О чём

сам себе неоднократно признавался и даже отметил в записях: «Есть такая юридич[еская] формула: “В здоровом уме и твёрдой памяти”. Т. е. как раз то, чего у меня нет в дни выездов в Мышлино»<sup>6</sup>. Не выходило ничего путного и с Юлией Руновой, которую он любил. Слишком уж был он неуправляем и своеволен. О себе сделал самокритичную запись: «Как говорил Фома, “я впал в несовершенство”»<sup>7</sup>.

Его сын Венедикт-младший в разговоре со мной сказал: «Я помню его приезды с приятелями. Им-то весело, им-то хорошо, а мне, ребёнку, какво? Мамка пьяная, и такая жуть на меня находила. Летом я уходил к соседям, а зимой куда уйдёшь? Приходилось это всё терпеть».

Наконец, произошёл официальный развод Венедикта и Валентины Ерофеевых. В письме сестре Тамаре Васильевне от 11 февраля 1976 года он написал: «Развод сложился “практически безболезненно” (цитирую проф. Боткина), т. е. “без бурь, без громов и без молний”. (Михаила Лермонтова цитирую), т. е. если яснее, вот как: 15 октября номинально я разведён Петушинским нарсудом, не совсем понятно, почему этот развод для Валентины Зимаковой оказался совершенно бесплатным, а мне обошёлся в 50 рублей (почему 50? Цифра называется произвольно или есть во всём этом какая-нибудь поросычья логика?). Надо отдать должное соломенной вдове: на вопрос “как с алиментами?” она ответила мило и скептически: “Никаких алиментов. Что я, сумасшедшая, что ли?” С точки зрения словесника, можно было бы сказать и лучше, но ничего лучшего сказать было нельзя с точки зрения разводящегося. Во всяком случае я её пригласил на 21 февр[аля]. А если её и не будет, то виною будет её уездная инертность и

ничего другого. Это славная девка, и я рад, что расстался с ней»<sup>8</sup>.

Убеждён, что многих неприятно удивит этот отрывок из письма Ерофеева старшей сестре. Я не случайно привёл его здесь как иллюстрацию того, что сказал на радио «Свобода» Илья Симановский, один из авторов книги «Венедикт Ерофеев: Посторонний»: «Ерофеев умел в себе сочетать очень многое, он был и старался быть неоднозначным. Как у Мандельштама: “Мало в нём было линейного, нрава он был не лилейного”. Мандельштама Ерофеев любил, и эти слова можно отнести к нему самому»<sup>9</sup>.

Литературные дела Венедикта Ерофеева налаживались. По крайней мере, как он уверял в этом сестру Тamarу: «С Запада обнадеживающие новости. В начале октября мы провожали в Вену отъезжающих в Тель-Авив супругов Белгородских. Они застряли в Вене по случаю беременности и два раза в месяц названивают. Так вот: мои издания на Западе вовсе уж не так химеричны, как мне прежде казалось. Вот только те издания, которые они знают: Тель-Авив (на рус[ском] языке), перепечатка на русском же языке в альманахе “Мосты” (Мюнхен), на французском языке в обезображенном и урезанном виде. Звонил по этому поводу и жаловался Иоффе из Франкфурта-на-Майне, и Делоне из Вены, и Белгородская из Вены, и Виктор Некрасов из Лондона. Последнего ты знаешь, это автор “В окопах Сталинграда” и пр., (два с половиной года как эмигрант), и ещё одна публикация — по главам, растянуто, на итальянском языке в журнале “Экспрессо”. Виктор Некрасов, кстати, умолял целых две минуты перестать пить и заняться литературным делом. Смешнее всего, что два дня спустя позвонил участковый 108-го отделения милиции Фрунзен[ского] р[айо]на и требовал того же самого, с той только

разницей, что он, как Тамара Гущина, избегал разговоров на темы литературных дел. Как только будешь в Москве, заглядывай. Вот ещё тебе ориентир. У входа в наш подъезд висит доска “Здесь с 1945 по 1953 год жил С. С. Прокофьев” (он жил этажом ниже). [Я, во всяком случае, рад, что на склоне лет стал прозорливее и вовремя сменил кандидатку биологических наук на кандидата экономических наук. Если кто-нибудь усмотрит в этом цинизм, то он дурак непрох[одимый] [\[346\]](#). Всем Ерофеевым по привету»<sup>10</sup>.

В одной из своих записей Венедикт Ерофеев процитировал Галилея: «Число дураков неисчислимо»<sup>11</sup>.

Желание человека обустроить собственную жизнь вполне объяснимо. Ведь невозможно постоянно мыкаться по чужим углам. Другое дело, как Венедикт Ерофеев решил эту задачу. Не подтвердилась ли в его случае мудрая русская пословица: «И на старуху бывает проруха»? Разве что в его защиту скажешь: «Венедикт Ерофеев стал жертвой обстоятельств».

Однако в контексте творчества и жизни Венедикта Ерофеева его второй брак возможно истолковать иначе. Ведь «жить как все» было для него хуже смерти. Не соответствует ли его решение присущей ему навязчивой мании физического саморазрушения?

Именно об этом впервые сказал Михаил Эпштейн: «Но Ерофеев никак не мог и не хотел воплощаться. Он себя разрушал, скорее всего, сознательно. Он разрушал себя как автора — и это отзывалось в погибающем персонаже (имеется в виду Веничка из поэмы «Москва — Петушки». — А. С.). Он разрушал себя как персонажа — и это отзывалось в погибающем авторе. Он закончил поэму о себе: “Они вонзили мне шило в самое горло... С тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду”. Если бы не лёгкость Вениного саморазрушения, как

посмел бы он так пророчить о себе? “...Никогда не приду”. И ведь в самом деле, прожив после такого конца двадцать лет, Веня так больше и не приходил в полноту творческого сознания. Вспышками в нём что-то мелькало и угасало — агония дара. Последней строкой “Петушков” он убил и героя, и себя. Писатель, желающий своё творчество продолжать, никогда так не закончит из суеверного ужаса»<sup>12</sup>.

Мания саморазрушения у Венедикта Ерофеева оформилась в жизненную философию, основным постулатам которой следовал его ближайший круг — так называемые «венедиктианцы». Вот почему во Владимире о его окружении разнёсся слух как о секте самоубийц с ним во главе.

Ольга Седакова называет этот образ жизни по-другому — «делом общего пропадания». Вот что вспоминает она в одном из своих интервью, отвечая на вопрос, как случилось, что она, девушка из интеллигентной семьи и студентка филологического факультета МГУ, оказалась в ерофеевской компании: «Да, это было приключение. Со мной на одном курсе учился один из его верных последователей и почитателей. Он был старше нас. Нам было по 17 лет, когда мы поступили, а ему 29. Он был из владимирских знакомых Венички. Он довольно заметный герой в “Петушках” — Боря С., “Премьер” в революционном правительстве Петушков, который умер в сюжете от того, что Веничка объявил себя “выше Закона и пророков”. Так вот, Боря С. мне всё время рассказывал на первом курсе, какой у него есть гениальный знакомый и как надо с ним повидаться. Он меня к нему и привёл. Конечно, мне и во сне не снилось то, что я там увидела. Мне не встречалось людей, настолько свободных от всего “советского” — от идеологии, от общего страха и конформизма, от принятых тогда

“приличий”. При этом каждому новичку нужно было пройти экзамен. В моём случае это было требование прочитать Горация на латыни и узнать дирижёра, который на пластинке дирижировал симфонией Малера. Не то что я так уж разбиралась в дирижёрах и знала всего Малера — просто точно такая пластинка была у меня. Так что я узнала, и меня приняли. Я благодарна судьбе, что не слишком вовлеклась в этот круг, в это дело общего пропадания. Другие учителя меня, можно сказать, перетянули на свою сторону: С. С. Аверенцев, Н. И. Толстой, тартуский круг. Мне хотелось “в просвещении стать с веком наравне”, а среди возлияний и застолий это не получится. Но знакомство с Веничкой — одно из самых значительных событий моей жизни. Я даже назвала как-то его моим учителем. Этому удивились: чему ж он мог меня научить? Тому, что свобода возможна в большей мере, чем мы это себе представляем, подчиняясь обстоятельствам. А что, дескать, делать и всё так... И обстоятельства не фатальны, и политический строй, и общепринятые мнения — всё это не фатально для твоей свободы»<sup>13</sup>.

21 февраля 1976 года состоялась регистрация брака Венедикта Ерофеева и Галины Носовой.

Жить безбытной жизнью он уже не мог. Силы были на исходе. Всякий раз не зная, где будешь ночевать следующую ночь, — не всякий выдержит. Крыша над головой наконец-то нашлась. Отсутствовало только сродство душ и много чего другого. Незадолго перед регистрацией брака он отметил: «Я, умываюсь если, то только слезами. Все, кто умывается водой — бессердечны»<sup>14</sup>. И ещё одна запись, связанная с его второй женитьбой: «И обречённость на окончательный покой: “Мне теперь не нужно гладить брюки”»<sup>15</sup>.

Не у всех так бывает, но у некоторых случается: жениться или выйти замуж — то же самое, что

похоронить себя заживо. Но семьи из двух воркующих голубков ему тем более не хотелось. За три года без малого до своей второй женитьбы записал в блокноте: «Я вас буду пестовать, а вы меня лелеять»<sup>16</sup>. Это он у кого-то услышал и тут же запомнил, как пример сюсюкающей пошлости в отношениях между супругами. Так обычно говорят, когда грешат на стороне. Что он совершил по здравому размышлению, был даже не брак по расчёту, а обычная заурядная сделка. Венедикт Ерофеев ввязался в авантюру, за которую заплатил своей жизнью. Судьба, которую он постоянно искушал, ему отомстила — сократила жизнь.

В его втором браке была одна особенность. По договорённости с новой женой за ним (но не за ней) оставалось право на вольную сексуальную жизнь. Казалось бы, предвидение Нины Воронель сбылось, и в соответствии с ним Венедикт Ерофеев ступил на стезю порока и умалил в себе добродетель, а по-русски говоря — стал бабником. Более крепкое слово употреблять не стану из-за его ненормативности.

Откуда в жизни Венедикта Васильевича Ерофеева появилась Галина Павловна Носова? Незадолго до его поездки в Среднюю Азию в 1974 году он получил записку от Нины Козловой, одной из своих почитательниц. Именно она устроила его в экспедицию: «Веничка, Веничка!.. (Как о многом говорят знаки препинания! — А. С.) Жду тебя сегодня в одном замечательном доме, вместе с его замечательной хозяйкой. Позвони нам: 292-24-43 (спросить Галю Носову), мы тебя встретим. Это проезд Художественного театра; дом напротив букинистического магазина; подъезд, в котором некогда жил композитор Прокофьев (о чём свидетельствует доска на доме подъезда)»<sup>17</sup>. Тогда приехать к Галине Носовой по разным обстоятельствам



Венедикту Ерофееву не удалось. Их знакомство состоялось после его возвращения в Москву.

Вот как об этой встрече вспоминала Галина Носова: «Я Ерофеева буквально на помойке нашла. Жила у меня тогда в Камергерском подруга, Нина Козлова. <...> Нинка тогда ждала Ерофеева из экспедиции в Среднюю Азию, оставила ему мой адрес и расписала: “Прекрасная хозяйка прекрасного дома”. Она сама пихнула его в эту экспедицию, продала свои туфли, чтобы купить туда билет на поезд. Он был тогда без документов, скитался — нигде не жил, вернее, жил повсюду. Когда-то в 16 лет он получил паспорт, но что такое паспорт для Ерофеева — так, бумажка. Он теперь оказался в очень трудной ситуации, и все пытались ему помочь, отправляли в экспедиции, надеясь, что, может быть, в какой-то из них удастся выписать паспорт. В этот раз он был в паразитологической экспедиции лаборантом по борьбе “с окрылённым кровососущим гнусом”, то есть с комарами. <...> Короче говоря, он приехал ко мне с Игорем Авдиевым и со Свиридовым<sup>[347]</sup> (имеется в виду однофамилец композитора Георгия Свиридова. — А. С.). И Нинка сказала: “Пусть поживёт”. Я тогда знала, кто такой Ерофеев, хотя “Петушки” ещё не читала. Но я дружила с Айхенвальдом, и однажды на мой вопрос “что нового в литературе?” он сказал (учтите, что это московский интеллигент, не пил, не курил, матом не ругался): “Есть такое гениальное произведение ‘Москва — Петушки’, но ты этого не поймёшь”. Я стала, как дура, спрашивать, в чём там дело, а моя знакомая отвечает: “Да просто пьяница едет в электричке”. Я потом то же отвечала, когда пришлось Вене оформлять военный билет. Врачиха в психоневрологическом диспансере, как узнала, что он автор “Петушков”, всё выпрашивала: ну что там? Ну, хоть в одной главе? — Да ничего особенного: едет пьяница в электричке. <...>

Как я ему добыла паспорт — это отдельная история. Я тогда способна была пробивать всякие стены. А со стороны, наверное, выглядело, что Ерофеев женился на мне из-за прописки. Но я знала, что то, что сделаю я, — не сделает никто. Пустить в дом Ерофеева — всё равно что пустить ветер, это не мужик, а стихия. И в житейском отношении я ничем не отличаюсь от большинства русских баб: и у меня муж был пьяница, и у меня он всё пропивал»<sup>18</sup>.

Игорь Авдиев дополнил в эссе «Эринии и документы» пропущенный в рассказе Галины Носовой эпизод о том, как ей удалось добыть для Венедикта Ерофеева новый паспорт: «В 1976 году новоиспечённая невеста, Галина Носова, взяла на себя обязательство перед обществом приютить беспризорного “гениального” писателя у себя в Камергерском переулке и официально прописать его “на жилплощади жены”. Она взяла обрывки Вениного паспорта, в котором оставалось не более трёх страниц, и поехала в Павлово-Посад. В паспортном столе изумились, но, получив два батона сверхдефицитной в ту пору копчёной колбасы, обещали всё устроить, если в военкомате будет гладко. В военкомате бедный майор чуть на лафет не слёг. В 1958 году призывник Венедикт Васильевич Ерофеев числился за его ведомством, но обязанности не справил по причине непризванности. А на дворе-то аж восемнадцатая осень с той поры. Выходило, что ведомство само виновато, потому как прокозыряло, и во всесоюзный розыск не заявило, и с собаками к присяге не привело рядового Ерофеева. Выбивая “право на жительство” писателя Ерофеева, предприимчивая Галина пообещала майору, что майорша получит легендарно дефицитный в ту пору зонтик и три батона колбасы. (Был подарен только голубой цветастый японский зонтик и уплачено 10

рублей штрафа, остальное — фантазия автора. — А. С.) Майор понял взаимовыгоду и обоюдосовершенство своего положения: “надо быть сговорчивым”. Через неделю Венедикт шёл с Галиной в загс Ленинградского района столицы с новым паспортом и был уже негодящим даже к “военной службе в военное время”»<sup>19</sup>.

Игорь Авдиев из истории получения ерофеевского паспорта попытался сделать памфлет. Потому-то сознательно не упомянул о важной детали. В руках Галины Носовой кроме колбасы (?) и зонтика был ещё один важный документ — «Объяснение от Ерофеева Венедикта Васильевича, проживающего: г. Павлово-Посад, ул. Фрунзе, дом 51». Приведу его с некоторыми сокращениями:

«В 1957 году, призванный на военную службу, я медицинской комиссией Краснопресненского райвоенкомата г. Москвы был признан негодным в мирное время, годным к нестроевой службе в военное время. В июле 1964 года я стал на военный учёт в Ваш райвоенкомат, откуда с учёта не снимался, хотя и был выписан без моего ведома из г. Павлово-Посада в октябре 1969 года. По роду своей работы (прокладка кабельных линий связи, СУС-5 и СМУ-ПТУС), не становился на время работы на учёт в местные райвоенкоматы, да и никакой райвоенкомат меня на такой короткий срок на учёт бы не поставил. Я полагал, что моя учётная карточка хранится у Вас в райвоенкомате в г. Павлово-Посаде, где я стал на воинский учёт и куда собирался вернуться по окончании своей разъездной работы. В 1974 году при переезде из Ленинабада по месту командировки в Зафарабад по вине лиц, ведавших транспортировкой багажа и документов, были утеряны мой паспорт и военный билет. В связи с этим я обратился в РОВД Павлово-Посадского р-на Московской обл. с просьбой выдать мне

новый паспорт и разрешить прописку в г. Павлово-Посаде. 15 июля 1975 года Павлово-Посадским РОВД мне был выдан новый паспорт взамен утраченного. В октябре 1975 года мною получено разрешение на прописку по адресу: г. Павлово-Посад, ул. Фрунзе, дом 51 по ходатайству треста "Мособлстрой" № 17. Объясняя Вам настоящие обстоятельства, прошу в связи с изложенным выдать мне военный билет взамен утраченного и поставить на воинский учёт по месту прописки»<sup>20</sup>.

Существует ещё другая версия восстановления паспорта Венедикта Васильевича, рассказанная Ириной Делоне, вдовой Вадима Делоне, ныне живущей во Франции. Сказать по совести, я больше доверяю ей, чем вдове Венедикта Ерофеева и Игорю Авдиеву. Этот рассказ включён Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым и Ильёй Симановским в книгу «Венедикт Ерофеев: Посторонний»: «Паспорта у Венички не было, и получить он его не мог, поскольку давно потерял, так же, как и военный билет. А ещё он говорил, что во времена Робеспьера паспорт мог заменяться просто свидетельством о гражданской благонадёжности, а у него и её нет. И всё же отрадно жить в стране, где имущественный ценз не имеет ни политического, ни психологического значения. Но вот какое чудо, в которое трудно сегодня поверить, однажды произошло в августе 75-го (в июле. — А. С.). Я достала в "Берёзке" огромную бутылку сверхдефицитного заграничного джина или коньяка и, главное, невиданный тогда складной японский зонтик, и по наводке Вениных друзей мы с ним поехали в Павлово-Посадское отделение милиции. Мои подарки буквально сразили начальника паспортного стола, и он в течение одного (!) дня (фотокарточки мы предусмотрительно захватили с собой) выписал Ерофееву настоящий паспорт

гражданина Советского Союза! Мы не верили своим глазам, но факт был налицо. И этот факт был чудом!»<sup>21</sup>

Русский характер всё-таки «вещь в себе». Когда он раскрывается, не знаешь, что из него вылетит: голубь мира или Змей Горыныч. Иногда случается, что то и другое. Евгений Шталь в короткой биографической справке о Галине Носовой вместил многое. И то, что она росла без отца (отец погиб на Великой Отечественной), и то, что окончила институт и защитила диссертацию, и то, что мечтала стать женой великого человека<sup>22</sup>.

Расскажу, что услышал от Галины Анатольевны Ерофеевой. Она много общалась с Клавдией Андреевной Г разовой, матерью Галины Павловны Носовой. Галина появилась на свет 21 мая 1941 года. После сына, родившегося за два года до неё, она была вторым ребёнком в семье. Через месяц плюс один день началась война. Москвичей массово эвакуировали из города в конце сентября. Галя ещё была «грудничком», когда Клавдия Андреевна оказалась на борту парохода, увозящего её с двумя детьми и с младшей сестрой в эвакуацию. Перегруженный людьми пароход плыл пять дней по Оке в старинный русский город Муром. Еда закончилась. Клавдия Андреевна не знала, чем кормить детей. Малюсенькая девочка сосала материнскую грудь, а вместо молока из неё сочилась кровь. Мать не знала, что делать. Подошла к корме парохода, взяв в охапку детей, и подумала, что лучше всем им сразу утопиться. Плавать она не умела. Небо было в тучах. Клавдия Андреевна поцеловала спящую дочку, а та, проснувшись, улыбнулась. И тут же брызнуло солнце. А с ним появилась и надежда. Больше её не искушала мысль о самоубийстве. Из Мурома на подводах эвакуированных развезли по деревням. Им досталась деревня Спасетчино, в 20 километрах от города. Поселили их у тёти Дуси. Она оказалась вдовой и жила

с двумя дочерьми в бревенчатой избе, где была просторная горница с русской печкой. Разумеется, их появление большой радости у тёти Дуси не вызвало. Но горе их сдружило. У Клавдии Андреевны не было никаких известий от мужа. Ведь ей самой было чуть больше двадцати лет. Она постоянно плакала. В углу горницы висела икона. Тётя Дуся посоветовала ей встать перед иконой и молиться. Но ни одной молитвы Клавдия Андреевна не знала. Тогда она стала своими словами горячо просить Бога, чтобы хотя бы на часок приехал муж и посмотрел бы, как они устроились на новом месте. Молилась она до двенадцати часов ночи, а в шесть утра увидела мужа. Его отпустили на несколько часов из воинской части. Часы эти прошли быстро. Подъехала к дому подвода. Он расцеловал детей и её и, как сказала Клавдия Андреевна Галине Анатольевне, уехал от них на веки вечные. Начиналась зима. С большими трудностями она вернулась с детьми в Москву. Ведь там их ждала мама Клавдии Андреевны.

То, что Галина Павловна в раннем младенчестве голодала, сказалось намного позднее.

Галина Носова по существу своему была добрым человеком, хотя и не без странностей. Надо признать, именно на ней держалась их условная семья: «В доме я была добытчицей, но с переменным успехом. Как он тогда сострил (я это только сейчас в записной книжке прочла): “Она нищая, я нищий — судьба свела нас, как концы с концами”. Мы начинали с нуля. У меня была московская прописка: две комнаты, кровать и письменный стол»<sup>23</sup>.

Без сомнения, брак с Галиной Носовой представлял собой сделку. Заключение её, каждый из участников обрекал себя на беспокойную и напряжённую жизнь. Как прежде говорили, он женился без искры даже животного влечения к невесте.

Двоим посторонним друг другу людям пришлось долгое время жить в одном пространстве. Сначала (недолго) в двух комнатах в огромной коммуналке в проезде Художественного театра (ныне Камергерский переулок), где кроме Галины и Венедикта был ещё прописан её брат, а затем с 1977 года — на Флотской улице в благоустроенной и хорошо обставленной квартире на тринадцатом этаже элитного семнадцатипятиэтажного дома-башни. Квартиру в Камергерском переулке забрали под представительство Финляндии. Квартира на Флотской улице действительно была роскошной. Ведь дом 17, корпус 1, куда их переселили, был ведомственным и принадлежал МВД. Тамара Васильевна Гущина описала новое жилище младшего брата: «Две большие светлые комнаты, огромный балкон и просторная прихожая, в которой можно было танцевать. На балконе Вена стал разводить цветы»<sup>24</sup>.

Они прожили вместе 15 лет, если брать 1975 год заточку отсчёта появления Венедикта Ерофеева в квартире, где жила Галина Носова.

Венедикт Ерофеев, как человек слова, главное условие сделки между ним и Галиной Носовой выполнил. Как, впрочем, и она, предоставив ему полную свободу в отношениях с другими женщинами. За год и пять месяцев до своей смерти Венедикт Ерофеев написал следующий текст:

***«Завещание. (На всякий случай).»***

Все мои гонорары от всех издательств, от всех театров СССР и других государств, возможных инсценировок и экранизаций и пр. прошу, после моей смерти, перечислять на имя Ерофеевой Галины Павловны, рожд. 21/V 1941 г.

*Венедикт Ерофеев. 17/XII — 88»<sup>25</sup>.*

Теперь только ей одной, а не его сыну или кому-нибудь ещё, принадлежало право на получение гонораров и на издание всех его произведений.

Это завещание было нотариально заверено 10 апреля 1990 года в квартире на Флотской улице за месяц перед его смертью. Из дневника Натальи Шмельковой: «Какие-то секунды он как будто ещё в раздумье. Потом быстро поставил подпись и отшвырнул бумагу... Ерофеев последний раз выходит из своего дома... Говоря, что “на этот раз я уже не выкарабкаюсь”, берёт в больницу книга, последние дневниковые записи...»<sup>26</sup>

Игорь Авдиев вспоминал: «На хлынувшие после кончины Венедикта гонорары Галина накупила хрусталя и мягкой мебели. Письменный стол писателя, его кресло, книжные шкафы, предназначенные на помойку, достались автору этих строк. Скромная комната писателя была разорена, уничтожена его библиотека. Справедливости ради надо сказать: прожить рядом с Венедиктом полтора десятка лет было трудно — до безумия. <...> Галина Носова, добрая до бессребреничества, но практичная до скаредности, жертвенная до всепрощения, но страстная до мстительности — простая “девка” с крохотным чувством самосохранения прожила с Венедиктом, рядом, самые страшные годы, когда “разрушительные силы” — Сфинкс со свинскими загадками и полчища Эриний, всё кромешное из последних глав поэмы, от станции Усад до самых Петушков — обнаглели и обрели плоть и торжествовали. Галина была свидетелем всему и вынесла всё, что смогла. Безумие миллионов наших современников в их “нормальности”, в душевном хладнокровии. Душа Галины была глубже безумия. В конце августа 1993 года, оставив коробку с дневниками



случайной соседке, Галина Носова выбросилась из окна тринадцатого этажа»<sup>27</sup>.

Галина Павловна Носова пережила своего мужа Венедикта Васильевича Ерофеева на три года.

## **Глава двадцать вторая ВНУТРЕННЯЯ ТИШИНА, ИЛИ «ОЧИЩЕНИЕ СТРУКТУР»**

Ещё до официального заключения брака с Галиной Носовой Венедикт Ерофеев проводит с ней часть лета 1975 года в Абрамцево, живописном месте на берегу речки Вори, находящемся в 60 километрах к северо-востоку от Москвы. Абрамцево известно своим историко-художественным и литературным музеем-заповедником, а также дачным посёлком академиков. Этот посёлок был построен на противоположном берегу речки, в полутора километрах от помещичьей усадьбы XIX века. С помощью её владельцев и их гостей усадьба постепенно преобразовалась из материальной ценности в духовную. А с появлением в середине XX века посёлка академиков Абрамцево приобрело даже ценность интеллектуальную. Таким образом, как нынче модно говорить, Абрамцево стало «местом силы», то есть землёй, которая заряжает человека позитивной энергией. Неудивительно, что туда устремляются многие туристы. Набираются ума-разума и отвлекаются от повседневной суеты. После городского шума, находясь на природе среди деревьев и трав, ощущаешь в себе внутреннюю тишину и обретаешь душевное равновесие.

Началось преобразование помещичьей усадьбы с покупки её писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым<sup>[348]</sup>. Как только дом обустроился и обжился, гости не переводились до самой смерти Сергея Тимофеевича. Кого только здесь не было! Назову самых именитых. Из писателей это Иван Сергеевич Тургенев,

Николай Васильевич Гоголь, Фёдор Иванович Тютчев, Михаил Николаевич Загоскин<sup>[349]</sup>. Из историков — Тимофей Николаевич Грановский<sup>[350]</sup> и Михаил Петрович Погодин<sup>[351]</sup>. Посещали гостеприимный дом на берегу речки Вори известные славянофилы, религиозные философы и критики: Степан Петрович Шевырев, Алексей Степанович Хомяков<sup>[352]</sup>, братья Киреевские<sup>[353]</sup>. Любимый Венедиктом Ерофеевым Николай Гоголь вообще к этому месту прикипел душой и подолгу гостил у Сергея Аксакова в специально предоставленной ему комнате.

Новая, более насыщенная культурная жизнь усадьбы началась с приобретением её в 1870 году промышленником и меценатом Саввой Ивановичем Мамонтовым<sup>[354]</sup>. При нём писатели отошли в сторону, а их место заняли знаменитые художники, музыканты, а из певцов Фёдор Иванович Шаляпин<sup>[355]</sup>. Художники не только пользовались гостеприимством радушного хозяина, но и самозабвенно творили. Среди них были живописцы Илья Ефимович Репин (1844—1930), Виктор Михайлович Васнецов (1848—1926), Василий Дмитриевич Поленов (1844—1927), Михаил Александрович Врубель (1856—1910), Исаак Ильич Левитан (1860—1900), Михаил Васильевич Нестеров (1862—1942), Константин Алексеевич Коровин (1861—1939), Илья Семёнович Остроухое (1858—1929), скульпторы Павел Петрович (Паоло) Трубецкой (1866—1938) и Александр Терентьевич Матвеев (1878—1960).

Дачный посёлок академиков появился как благодарность учёным за научно-техническую помощь армии и промышленности в годы Великой Отечественной войны: «Кроме того, острая необходимость в разработке ядерного оружия, освоении космического пространства и других научно-технических направлений, имеющих стратегическое

значение для СССР как сверхдержавы, заставляла государство всячески поощрять деятельность учёных. В связи с этим, наряду с вручением действительным членам академии правительственных наград и премий, им были безвозмездно переданы в личную собственность дачи, построенные за государственный счёт. По сути, эти дачи были личным подарком учёным от главы государства — Сталина. Дачами, согласно постановлению, награждались все академики. Среди них были и маститые учёные, чьи фундаментальные работы уже поспособствовали развитию мировой науки, и молодые, только что избранные академики, стоявшие у истоков космических и ядерных программ СССР»<sup>1</sup>.

Место для посёлка в самом деле подобрали удивительное. Академик Сергей Иванович Вавилов [\[356\]](#) записал в своём дневнике от 7 октября 1945 года: «Тихая, уютная родная природа, от которой так далеко»<sup>2</sup>.

Борис Николаевич Делоне не был действительным членом Академии наук СССР, а её членом-корреспондентом. Дачу № 41 он не стал выкупать, а только её арендовал.

Венедикт Ерофеев оказался в хорошо охраняемом академическом посёлке Абрамцево в нужном месте и в нужное время. До знакомства с Борисом Николаевичем ему самому приходилось находить выходы из, казалось бы, безнадёжных ситуаций. Теперь, с восстановлением паспорта и военного билета, с изданием за рубежом его поэмы «Москва — Петушки», он легализовался как гражданин и русский писатель. Но главное всё-таки было не в этом изменении его социального статуса. Пребывание, пусть и временное, среди академиков, работающих на «военку», значительно укрепило его защиту от враждебных действий представителей

власти, постоянно пытающихся его на чём-то подловить и примерно наказать.

Не все из академиков, прочитавшие его поэму, восприняли её с восторгом, но были такие, кто вполне оценил его талант, а некоторые относились к автору поэмы «Москва — Петушки» с глубоким почтением. А раз так, то, как говорил академик Владимир Иванович Вернадский, «таланты редки и их надо беречь и хранить, в них настоящая сила наций». Помимо академиков в Абрамцеве жили их дети и внуки, а также жёны этих детей и внуков. Бóльшая их часть высоко оценила личность Ерофеева и его поэму. Как, например, Александр Леонтович, старший сын академика Михаила Александровича Леонтовича<sup>[357]</sup>, и Наталья Павлова, правнучка академика Михаила Александровича Павлова<sup>[358]</sup>. Придёт время, и в абрамцевском посёлке академиков таких людей станет ещё больше.

Теперь расскажу, какой счастливый случай привёл Венедикта Ерофеева в посёлок академиков, а точнее — на дачу Бориса Николаевича Делоне.

Венедикт Ерофеев благодаря Владимиру Муравьёву и его отчиму Григорию Померанцу знал многих правозащитников, или, как их называли, диссидентов. Среди этих людей была уже упомянутая Надежда Яковлевна Шатуновская. Напомню, что Надежда Яковлевна работала во Всесоюзной библиотеке иностранной литературы.

В пору бездомного существования Венедикта Ерофеева у него находился на особом учёте каждый знакомый, у кого было отдельное, не коммунальное жильё. К таковым относились Надежда Яковлевна Шатуновская, живущая на Соколиной Горе, и Николай Всеволодович Котрелёв, имевший квартиру в доме в Сивцевом Вражке. Ведь часто ночевать у престарелой тёти Дуни Венедикту Васильевичу не позволяла

совесть. В один из вечеров он заехал к Надежде Яковлевне Шатуновской и обнаружил временно живших у неё Вадима и Ирину Делоне (Бело городе кую). Как говорят, где двое на шее, там и третий не в тягость.

Эта случайная встреча и последующее за ней знакомство дали толчок к их тесному сближению. Отношения между ними вскоре стали очень дружескими. Как вспоминает Ирина Делоне, Венедикт часто навещал их у Надежды Яковлевны, «а иногда и жил по нескольку дней». И далее: «А летом все мы обитали на просторной даче у Деда (академик Б. Н. Делоне). Венедикт очень любил Абрамцево, особенно прогулки с Дедом в лесу по 20 километров и походы за грибами. С величайшего позволения Бориса Николаевича, который запрещал любые огородно-цветочные мероприятия на дачной территории леса, для Ерофеева было сделано исключение, и он сажал там укроп, петрушку и какие-то загадочные цветы»<sup>3</sup>.

Об обстоятельствах их знакомства пишет Юрий Юрьевич Крохин в книге «Души высокая свобода: Вадим Делоне. Роман в протоколах, письмах и цитатах»: «...между ним, Вадимом и Ириной промелькнула некая искра — и более они не расставались до отъезда»<sup>4</sup>.

Сергей Георгиевич Толстов уточняет сказанное Ириной Делоне и Юрием Крохиным: «Вадим привёл Ерофеева на дачу летом 1975 года, и дед Делоне его оставил жить. Той же осенью Вадим эмигрировал. А Ерофеев жил у них на даче до смерти Бориса Николаевича Делоне в июле 1980 года. Ему здесь очень нравилось. Он отсюда уезжать не хотел. В это место был просто влюблён, чувствовал здесь себя совершенно по-другому, чем в Москве. Сам Делоне очень хорошо к нему относился. Он и его жена Галя жили вместе в большом доме. Борис Николаевич и к Галине очень хорошо относился. У них в доме была здоровая

обстановка. Приходили гости. На даче у Б. Н. Делоне тогда было очень приятно. Я часто заходил, меня всегда тепло принимали. Зимой Ерофеев на даче Делоне не жил — только летом. Большой дом не топился, его на зиму консервировали. И в домике у них никто не жил, он уже был совсем не годен для жилья. Был совсем разрушен»<sup>5</sup>.

К сказанному добавлю, что территория леса, на которой находилась дача, занимала два гектара. За деревьями было не разглядеть соседних дач. Создавалось ощущение, что живёшь в полной изоляции от мира людей на дальнем лесном кордоне. Чего-чего, а вот одиночество на даче отсутствовало. Сергей Александрович Шаров-Делоне<sup>[359]</sup>, внук Бориса Николаевича и двоюродный брат Вадима Николаевича Делоне, вспоминал: «У нас постоянно на даче появлялось много разного народа. Я был сразу принят в эту команду. И в какой-то момент появились Веня с Галей. Появились раз, появились два, а потом как-то закрепились. Нужно было, чтобы кто-то помогал — не дед же будет, например, готовить. Галя взяла на себя простейшие вещи, и заодно они с Веней там жили»<sup>6</sup>.

Сергей Александрович был архитектором, художником-реставратором и правозащитником. За год до смерти он дал интервью специально для книги Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского «Венедикт Ерофеев: Посторонний». В полном виде оно было опубликовано на сайте о книгах и чтении «Горький».

В этом относительно небольшом по объёму интервью Сергей Шаров-Делоне составил точный психологический и интеллектуальный портрет Венедикта Ерофеева, восстановил круг его общения во время проживания на академической даче, вспомнил его оценку творчества других писателей. Разумеется,

он передал своё личное к нему отношение, не умолчав при этом, какое благотворное влияние возымел на него автор поэмы «Москва — Петушки». Плотное общение между ними пришлось на молодые годы Сергея, начиная с семнадцати-восемнадцати лет и до его двадцатичетырёхлетнего возраста.

Вернусь вместе с Сергеем Шаровым-Делоне в прошлое — в 70-е и 80-е годы прошлого века, к тогдашним обитателям посёлка академиков в Абрамцеве. Одно можно определённо утверждать: в эти годы это «место силы» было оазисом свободомыслия. Парадокс состоял в том, что в посёлке академиков естественное желание говорить, что думаешь, и читать, что хочешь, сотрудниками КГБ не возбранялось. Все эти говоруны и книгочеи должны были соблюдать одно неписаное правило: трепать языком в тесном кругу и литературу за пределами посёлка не распространять! Как всегда, сработала и победила марксистская диалектика. Впервые такую толерантность проявил по отношению к учёным, работающим над созданием атомной бомбы, Лаврентий Павлович Берия<sup>[360]</sup>. И все волки оказались сыты, и некоторые овцы уцелели.

Венедикт Ерофеев, каким его запомнил Сергей Шаров-Делоне, был «очень открытый, очень тёплый, очень деликатный и очень внимательный к окружающим». Возможно, именно по этой причине он притягивал к себе людей: «Причём внимательный по самому большому гамбургскому счёту. Когда человек прекрасно видит болевые точки — у каждого человека они есть — и если их касается, то, чтобы чуть-чуть помочь человеку, раскачать их. Чтобы человек сам отрефлексовал, почувствовал. Но очень деликатно. Если видит, что человек не пускает туда, ни в коем случае не залезет. Это высшая степень деликатности:



не в том, чтобы тихо закрыть дверь и тихо выйти, а в отношениях между людьми»<sup>7</sup>.

Интересно сопоставление Сергеем Шаровым-Делоне столь разных по возрасту и образованию людей, как его дед и Венедикт Ерофеев. Он между тем находит в том и другом много общего. Это и «открытость новым вещам, новым идеям, нестандартным взглядам», и интенсивность внутренней жизни, когда не реагируешь на внешнюю среду, и порядочность в отношениях с людьми. Внук Бориса Николаевича рассказал одну историю, которая объясняет многое в его взаимоотношениях его деда с академиком Петром Леонидовичем Капицей<sup>[361]</sup>. Речь идёт об увольнении Петра Леонидовича с физико-технического факультета МГУ в 1950 году, где также работал Борис Николаевич Делоне: «Время от времени мы ходили побродить-погулять и по дороге заходили в “Капичник”, где жил Капица. Дед заходил к нему просто попить чаю, и я с ним вместе. Они были знакомы с дедом бог знает сколько лет и общались очень дружески. Потом я уже выяснил, что их связывало. Дед поддержал Капицу, когда его выгоняли с физтеха. Там же работал и Борис Делоне. Когда Капицу выгнали, то дед написал заявление об уходе в знак протеста. И ему это сошло с рук. Но Капица оценил. Солидарность в те годы... Это ещё сталинские времена. Это была редкость. Вот в таком ярком окружении Веня был одной из очень ярких фигур»<sup>8</sup>.

Венедикт Ерофеев, как и многие его старшие по возрасту собеседники из посёлка академиков, не воздавал должного тем эрудитам, кто прибегал к различным ухищрениям ума, чтобы оправдать зло. Он направлял свою эрудицию на благие дела. Просвещал достойных. К нему не применима пушкинская строка «как царь Кашей над златом чахнет».

Обширные познания своего жильца высоко оценил Борис Николаевич Делоне: «Чёрт-те что, я сам профессор, дореволюционный причём! Сын профессора. Мама окончила Смольный... И рядом с Ерофеевым, который учился в посёлке Чупа и закончил школу в Кировске, я то и дело себя чувствую дикарём с острова Пасхи, настолько он образован!»<sup>9</sup>

Сергей Шаров-Делоне неоднократно был свидетелем того, что окружающие его семью люди относились к автору поэмы «Москва — Петушки» как к писателю выдающемуся. По его словам, прозаик Юрий Павлович Казаков<sup>[362]</sup>, мэтр и почти классик, смотрел на Венедикта Ерофеева снизу вверх, прекрасно понимая, с кем имеет дело.

Из своих современников, кроме Юрия Казакова, «он был совершенно восхищен Борисом Вахтиным, его повестью “Одна абсолютно счастливая деревня”». Перейду непосредственно к тексту интервью: «Эта повесть Веню поразила, я помню. Она как раз тогда вышла в Париже, в журнале “Эхо”. У нас эти журналы лежали стопками. Только обыск устраивай — на десять лет хватало всем. Но в академический посёлок соваться боялись. <...> “Деревенщиков” он не жаловал. Особенно не жаловал, и я потом понял почему. Дело в том, что я со многими из них был лично знаком в силу своих профессиональных занятий. Я был хорошо знаком с Распутиным, с Беловым. Охрана памятников, а я же реставратор. Иркутском много занимался, Вологдой много занимался. А там Белов и Распутин. Они боролись за память, и мы, соответственно, общались. А потом я понял: они выдумали себе эту деревню! Такой деревни никогда не было. Я это понял, когда после падения советского строя они стали все за коммунистов. Казалось бы: только что боролись... А я понял, что эта выдуманная деревня, вся эта архаика

коммунистическая им роднее, чем всё остальное. Веня это чувствовал гораздо острее, чем я тогда. Надо понимать, Ерофеев родился всё-таки... это была практически деревня в смысле отношения, уклада. И он прекрасно видел, что всё это не так, как у “деревенщиков”»<sup>10</sup>.

С кем только из диссидентов не познакомился и не пообщался Венедикт на даче Бориса Николаевича Делоне! Например, с Гариком (Габриэлем Гавриловичем) Суперфином, который, выйдя из тюрьмы, тут же появился в Абрамцеве, и с Александром Пинхосовичем Подрабинеком и его материалами о карательной медицине.

Это я назвал людей дельных, обладающих сильными характерами и имеющих перед собой конкретные цели для разоблачения преступных методов борьбы с инакомыслием. Они принадлежали к одержимым, изматывая себя в противоборстве с властью. Большая часть протестующей молодёжи хотела жить иначе, не быть как все. Экономика и деньги их мало интересовали. Но одно дело хотеть свободы самовыражения, выражать несогласие с существующим порядком вещей, ходить на тусовки и чувствовать себя богемой, а другое — понять, что ты умеешь делать и на что согласишься в этой жизни. Никто из них и подумать не мог, как заметил Андрей Охоцимский, сын академика Дмитрия Евгеньевича Охоцимского [\[363\]](#), что недалеко то время, «когда огромные заводы и фабрики перейдут в частные руки»<sup>11</sup>.

В книге Юрия Крохина на его вопрос Сергею Шарову-Делоне, был ли Венедикт Ерофеев человеком богемы, как его двоюродный брат, приводится ответ: «А Ерофеев не был богемным. Народу, правда, приезжало немало. Дед смотрел на это сквозь пальцы — Вадик его приучил. Приходил живший по соседству Лев Копелев.

Приползал (увы, чаще всего именно так) Юрий Казаков. Бывали Белла Ахмадулина, замечательный специалист по английской литературе Владимир Муравьёв. Литераторы наезжали разные — от вполне приличных до вполне неприличных»<sup>12</sup>.

Большая часть этой протестующей молодёжи, составлявшая окружение Вадима Делоне, была, к сожалению, такой, какой её описал Андрей Охоцимский: «Меня, в то время старшеклассника, интересовало окружение Вадима, которое я представлял себе как профессиональных революционеров, людей мысли и действия, напряжённо размышляющих о будущем страны, пишущих политические платформы и распространяющих политическую литературу. Однако кружок молодых людей, которых я однажды застал у Вадима, был скорее тусовкой “хиппующих” нигилистов. В комнате было накурено, все пили водку и рассказывали вперемешку политические и прочие анекдоты. Густота табачного дыма соперничала с густотой анекдотного мата. Девушки в этой компании были в джинсах и с длинными распущенными волосами — так тогда полагалось — и выражались, пили и курили совершенно так же, как парни. Вся эта публика, само собой, была вполне интеллигентная. Вадим говорил что-то о Ленине в издевательском тоне. Он, очевидно, был в этом “театре” солистом, остальные — подпевающим хором. Для Вадима все вопросы были решены, все мосты сожжены, Рубикон давно перейдён. Дискуссии или сомнения в его присутствии были неуместны. Вспоминая этот вечер, я поражаюсь, насколько пророчески эта молодёжь выразила некоторые черты будущей эпохи: как глумление над поверженными мирами прошлого, так и открытое употребление мата в присутствии другого пола»<sup>13</sup>.

Принято считать, что неперенный участник этих посиделок в Абрамцеве Венедикт Ерофеев вылепил своего Веничку из самого себя. Я уже писал, что, мягко говоря, это большая натяжка. Пример тому хотя бы то, что, прибегая в своих произведениях к ненормативной лексике, автор поэмы «Москва — Петушки» редко использовал её в общении. Уже одним этим соответствовал нормам благопристойности. Оказавшись в новой для него среде друзей Вадима Делоне, Венедикт Ерофеев оставался самим собой.

Вот какое впечатление от общения с ним осталось у Андрея Охоцимского: «Он запомнился мне как эффектный, довольно красивый молодой человек с копной чёрных с сильной проседью волос. В 1973 году ему было 35 лет. На своего персонажа из поэмы “Москва — Петушки”, которая к тому времени уже была написана, он был похож очень мало. В отличие от большинства дачной публики, он выглядел как человек, следящий за своей внешностью. У него был умный и ясный, слегка высокомерный взгляд, в котором было нетрудно прочесть осознание своей особенности и какого-то связанного с этим груза. Говорил он совершенно нормально и правильно, никакого мата и вообще языка, который употребляют его персонажи, я от него не слышал. Однако склонность к сюрреализму, парадоксам и эпатажу чувствовалась в его анекдотах и историях, которые в целом принадлежали к обычной диссидентской тематике того времени. Он как бы присутствовал и отсутствовал одновременно и говорил отчасти для собеседника, а отчасти продолжая какой-то бесконечный внутренний диалог с самим собой. В нём как будто всё время варился и проговаривался материал его прозы, из которого выходила на бумагу только небольшая часть. Я думаю, что он написал так мало не от лени или пьянства, а от высокой требовательности к себе. Я знал его слишком мало,

чтобы спорить с авторами статей о нём, ставя пьянство в центр его образа жизни, но он в то время совершенно не выглядел алкоголиком, и пьяным я его тоже не видел ни разу. Он скорее казался представителем иного, более высокого мира. Он запомнился мне сидящим на пне перед домом в несколько напряжённой позе, в красивом белом джинсовом костюме. Сидел неподвижно, с совершенно прямой спиной и смотрел в одну точку. Когда я прошёл мимо, он посмотрел на меня очень серьёзным и несколько недовольным взглядом, как на нарушителя своих размышлений»<sup>14</sup>.

На даче Бориса Николаевича Делоне Венедикт Ерофеев находилась некоторое время в растерянности. В нём вдруг обнаружилось спокойствие. Сначала оно показалось ему непривычно чужим и опасным. Обольстительной приманкой, на которую он с непривычки повёлся и потерял бдительность. Но каждый новый день, казалось, убеждал его, что он входит в ту полосу своей жизни, когда ему не придётся больше скрываться ото всех. Его спокойствие, к которому он не хотел привыкать, никак не соотносилось с богемностью и пьянкой друзей Вадима Делоне.

Наконец-то он примирился с этим спокойствием в себе. Но однажды, прислушавшись к тишине вокруг, пронизанной и одушевляемой лёгкими порывами ветра, запахом цветов и щебетанием птиц, почувствовал, что дышит ею, как чистейшим лесным воздухом. Она была одновременно вне его и в нём. Ему показалось, что от избытка в себе спокойствия и тишины он впадёт в совершенство и вскоре умрёт. Чтобы окончательно не сойти с ума от этой мысли, Венедикт Ерофеев вошёл в запой, но не алкогольный, а книжный. Литературы в посёлке академиков было навалом. Как вспоминал Сергей Шаров-Делоне, «то, что к нам приходило,

первым брал Ерофеев. Все отдавали ему право первой ночи, а дальше уже все остальные читали»<sup>15</sup>. Госбезопасность, можно предположить, Венедикт Ерофеев сильно не беспокоил. Никакой ведущей роли в компании Вадима Делоне он не играл. Ходил по грибы, читал книги, беседовал с дедом. Всегда на виду. Сергей Шаров-Делоне в нескольких предложениях раскрыл тему «Венедикт Ерофеев в Абрамцеве и советские спецслужбы»: «Я думаю, что КГБ им интересовался — тем более что он интересовался всеми людьми, которые были у нас в Абрамцеве. Но, понимаете, я думаю, что КГБ вполне устраивала эта ситуация. Они же не идиоты. Они действуют так: сопоставляют убытки и прибыли от давления на кого-то. Уж на всемирно известного писателя Ерофеева давить... Это скандал. А тут он сидит, как говорится, под присмотром. Ну и слава тебе господи! Это как свинью стричь — шерсти-то мало... У меня был очень смешной случай. Меня достали гэбэшники в какой-то момент — это был год 1982-й, 1983-й. Деда не было в живых. Вадик Делоне был в Париже. Мы с ним сконтактовались по телефону — а всё это слушается, — и меня достали. И вот гэбэшник мне говорит: “Вы общаетесь с Ерофеевым, что это за человек?” Я говорю: “Это замечательный человек”. — “Можете написать на него характеристику?” Я говорю: “Она вас не устроит”. — “Ну, напишите, трудно, что ли?” Потом прочитали, говорят: “Да... хоть в партию принимай!”»<sup>16</sup>.

После отъезда Вадима Делоне из СССР Венедикт и его жена Галина стали для Бориса Николаевича почти что родственниками. За всё время своего пребывания на даче они ни разу не дали ему повода усомниться в их порядочности. Теперь у них вошло в привычку совершать длительные совместные пешие прогулки. Разношёрстное окружение Вадима Делоне с его

отъездом переместилось на другие дачи. Шумные и затяжные сборища с непомерными возлияниями прекратились. А с ними исчезла привычка Венедикта Васильевича ежедневно находиться в лёгком подпитии. Больше удовольствие доставляло ему теперь чтение книг, беседы с дедом и его друзьями.

Как известно, добро оплачивается добром. Случилось то, что обычно случается со старыми людьми. Но в наши дни всё чаще и чаще это происходит и с молодыми. В сентябре 1978 года во время прогулки с Венедиктом и Галиной в абрамцевском лесу у Бориса Николаевича произошёл инфаркт. Сергей Шаров-Делоне вспоминал: «Они пошли гулять, и там это случилось. Во-первых, они сделали массаж сердца в лесу. Потом Галя осталась с дедом, а Веня кинулся в Москву, дозвонился до меня, и мы вызвали тут же скорую из академической больницы. С дедом первое время было непонятно как. И всё, что нужно, делалось. И Веня делал не потому, что просили. Если надо съездить, то: “Всё! Я поехал!” И мы знали, что Веня не запьёт, если он поехал за лекарствами. Что он вернётся. Это даже вопросов не вызывало»<sup>17</sup>. Жизнь Бориса Николаевича Делоне продлилась ещё на два года.

Академик Георгий Александрович Заварзин<sup>[364]</sup> назвал Абрамцево «местом тишины, строго соблюдаемой»<sup>18</sup>. В 1973 году Венедикт Ерофеев, исходя из собственного опыта, отметил: «“Тишина лечит душу”, сказал Розанов»<sup>19</sup>.

Верно говорят: «Признак человека, обретшего мудрость, — исходящая из него тишина и покой».

Наезды Венедикта Ерофеева в Абрамцево в гости к Борису Николаевичу Делоне не ограничивались только совместным хождением в лес по грибы. Были ещё и пешие прогулки к Петру Леонидовичу Капице, а также



общение с другими академиками и их домочадцами. Помимо «вечеров анекдотов» и разговоров о литературных новинках в более тесном кругу обсуждали книги иноземного происхождения. Кроме тогда не издаваемых у нас романов Владимира Набокова и Марка Апданова, поводом для дискуссий были философские, исторические и литературно-критические работы Николая Бердяева, Ивана Ильина и Георгия Федотова. Я назвал имена тех авторов, след от чтения книг которых остался в «Записных книжках» Венедикта Ерофеева. Абрамцево, как я уже отмечал, было своего рода «спецхраном», по количеству запрещённой литературы соперничающим со «спецхраном» Всесоюзной государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Различие, впрочем, было существенное. Допуск к нему в Абрамцево осуществлялся самими читателями — обитателями академических дач.

Все разговоры, судя по записям Венедикта Ерофеева, в той или иной степени крутились вокруг одной, впрямую неназываемой темы. Как в безбожном обществе сохранить порядочность и честь? Естественно, обращались к опыту прежних времён. Отзвуком этих поисков истины явилась, например, следующая запись: «Главное — не лгать в кодексе уланской и гусарской чести. Жечь, насиловать и убивать можно, лгать нельзя. Сравните нынешние перемены: сколько угодно лги, но не убивай. Да и у Моисея нет этой заповеди: осла соседа не пожелай, а дги и т. д.»<sup>20</sup>.

Венедикт Ерофеев понимал, что для подобного рода разговоров необходима точка отсчёта. А именно этический кодекс, направляющий жизнь многих поколений людей.

Таким сводом правил и установлений стало для него Евангелие. С его помощью он избавлялся от неведения. Ему были по сердцу выписанные из «Угрюм-реки» строки Вячеслава Шишкова: «Мне на морду его безбожную смотреть тошно, да я лучше месяц без сахара чай буду пить»<sup>21</sup>.

О пользе и вреде религии тоже говорили. Тому, как свобода мысли сменила в истории свободных веков свободу веры, посвящены эссе сборника Георгия Федотова «Новый град», изданного в Нью-Йорке в 1952 году. В те годы эти эссе воспринимались как откровение. Не потеряли они своей актуальности и сегодня. Подкупает в них к тому же ясность в изложении мысли. Как заметил поэт, критик и переводчик Георгий Адамович: «Писатель или мыслитель, действительно, находящийся на значительной духовной высоте, не может писать иначе, как с крайней простотой»<sup>22</sup>.

В отличие от ныне популярных модных эссеистов Георгий Федотов излагает факты и свои суждения просто и доходчиво, не крутит словесное сальто-мортале. Я думаю, судя по саркастической реплике Венедикта Ерофеева о Малюте Скуратове («Отметим 400 лет со дня смерти Малюты Скуратова»<sup>23</sup>), он не обошёл вниманием следующий пассаж автора «Нового града» из его эссе «Россия и свобода»: «Князь Курбский, этот Герцен XVI столетия, с горстью русских людей, бежавших из московской тюрьмы, спасали в Литве своим пером, своей культурной работой честь русского имени. Народ был не с ними. Народ не поддержал боярства и возлюбил Грозного. Причины ясны. Они всегда одни и те же, когда народ поддерживает деспотизм против свободы — при Августе и в наши дни: социальная рознь и национальная гордость. Народ имел, конечно, основания тяготиться зависимостью от

старых господ, — и не думал, что власть новых опричных дворян несёт ему крепостное право. И уж, наверное, он был заморожен зрелищем татарских царств, падающих одно за другим перед царём московским. Русь, вчерашняя данница татар, перерождалась в великую восточную державу»<sup>24</sup>.

Даже в лихие для России времена Венедикт Ерофеев пытался найти что-то позитивное: «С токаем русских познакомил тестяга Гришки Отрепьева Мнишек, 1606 г., привёзший в Москву на свадьбу дочери 30 бочек токайского»<sup>25</sup>.

Лето 1975 года прошло для Венедикта Ерофеева под знаком «Философических писем к даме» Петра Чаадаева и «Архипелага ГУЛага» Александра Солженицына. Понять, что есть мнимое и истинное, — вот что по-настоящему его захватывало. Единственное, чего бы он не хотел в процессе такого узнавания, — «укокошить душу, ухайдакать»<sup>26</sup>. А сказать проще: стать бесстыжим «пофигистом».

Его друзья Вадим и Ирина Делоне не собирались уезжать из родной страны. Их насильно из неё вытолкнули. Они покинули родину в ноябре 1975 года. Отзвук этих тревог и переживаний в доме Бориса Николаевича Делоне прозвучал в записи Венедикта Ерофеева: «Горек чужой хлеб, — сказал Данте, — и тяжелы ступени чужого крыльца»<sup>27</sup>.

В напряжённой и суетной атмосфере приготовлений к отъезду из СССР Вадима и Ирины Делоне, близких друзей Венедикта Ерофеева, он ещё раз перечитал первое «Философическое письмо к даме» Петра Чаадаева. Имя этого гениального человека широко известно в связи с Александром Пушкиным и Александром Грибоедовым, а также со скандалом, вызванным публикацией первого из его «Философических писем к даме» в сентябре 1836 года в

15-й книге журнала «Телескоп», в отделе «Науки и искусства». Именно после этого события, как говорили тогда, он вышел из своей неизвестности. В октябре того же года журнал правительством был закрыт, а в ноябре по высочайшему повелению его издателя сослали на житьё в Усть-Сысольск. Цензор был отставлен от должности, а Пётр Чаадаев объявлен сумасшедшим. Александр Герцен эту публикацию сравнил с выстрелом, раздавшимся в тёмную ночь, от которого надобно было бы проснуться. Он же увидел в этом «Письме» одновременно «обвинительный акт против России» и «отходную» ей.

Обращусь к книге Михаила Михайловича Дунаева «Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в XVII—XX веках»: «Чаадаев философствует не о религии, но о цивилизации — это его право. Только подменить одно понятие другим, что совершает философист, — для философии неприемлемо. Подменять же народный идеал собственным идолом, делая из него меру всех вещей, — и вовсе преступно. На такой подмене строится чаадаевское отрицание вклада России в общечеловеческую историю. Отрицание русской истории вообще»<sup>28</sup>.

Пётр Чаадаев, как сейчас сказали бы, был вундеркиндом. С тринадцати лет слушал лекции в Московском университете. Особенно увлекался словесностью и философией. Входил в число школяров, обучающихся у легендарного профессора естественного права и теории искусств Иоганна Феофила Буле<sup>[365]</sup>, личного врага Наполеона. Часть своих лекций он читал не только в университетской аудитории, но и на дому.

Новому вниманию к личности мятежного мыслителя способствовало издание в серии «ЖЗЛ» в 1965 году

книги Александра Александровича Лебедева<sup>[366]</sup>  
«Чаадаев».

Известна реакция Пушкина на публикацию в журнале «Телескоп», 15-ю книгу которого поэт получил от Петра Чаадаева. Фрагмент этого послания, написанного на французском языке, процитирую в переводе на русский язык: «Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечёл её, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нём сохранена энергия и непринуждённость подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всём согласен с вами. Нет сомнения, что схизма (разделение церквей. — А. С.) отъединила нас от основной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые её потрясли, но у нас было своё особое предназначение. Это Россия, это её необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. <...> Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человека с предрассудками — я оскорблён, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал»<sup>29</sup>.

К основным душевным качествам Петра Чаадаева относят его эгоизм, тщеславие, непомерное честолюбие, высокомерие, склонность к сибаритству, привередливость и капризность к бытовым мелочам<sup>30</sup>.

У меня создалось впечатление, что первые три качества в Венедикте Ерофееве в той или иной мере присутствовали. Особенно после написания поэмы «Москва — Петушки». Однако их перекрывают существовавшие в нём чувство стыда и деликатное отношение к людям. Неудивительно, что другие чаадаевские качества в нём отсутствуют. Ведь они росли в разное время и в разных по социальному положению семьях.

Через записи Венедикта Ерофеева в блокнотах многих лет проходит стыд за всё, что было содеяно властью над его соотечественниками. В одном из блокнотов 1978 года: «Стыд — совесть — честь. У меня, например, так много стыда, что совести уже поменьше, а чести так уж и совсем нет»<sup>31</sup>.

Интересно узнать, что прежде всего заинтересовало Венедикта Ерофеева в суждениях Петра Чаадаева. Это позволяют сделать его летние выписки 1975 года из первого «Философического письма даме». В комментариях они не нуждаются. Проще, чем сказал Пётр Чаадаев, не скажешь: «И — не проклятие и гибель России, а покаяние и спасение... Пока из наших уст помимо нашей воли не вырвется признание во всех ошибках нашего прошлого, пока из наших недр не исторгнется крик боли и раскаяния, отзвук которого наполнит мир, — мы не увидим спасения»; «Чаадаев: Прекрасная вещь — любовь к родине, но есть ещё нечто более прекрасное — любовь к истине. Не через родину, а через истину ведёт путь на небо»<sup>32</sup>.

## **Глава двадцать третья БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ**

Трудно всё-таки объяснить, обращаясь к обычной логике, некоторые факты из жизни Венедикта Ерофеева. Настолько они сюрреалистичны и мало правдоподобны. Почему ему всякий раз удавалось выкручиваться из самых щекотливых ситуаций? Создавалось впечатление, будто он заговорённый. По этому случаю мне вспомнились строки поэмы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца»: «Колдуй, баба, колдуй, дед, / Трое сбоку — ваших нет. / Туз бубновый, гроб сосновый, / Про стрельца мне дай ответ!»<sup>1</sup>

Ну чем Венедикт Васильевич, подумал я, не стрелец? И фигурой вышел, и умом, и душой чувствовал, что лжи много, а правда одна. И я в поиске ответа ступил на скользкую тропу, бормоча филатовскую строфу как священную мантру. Эту тропу уже давно протоптал Павел Матвеев, исследуя взаимоотношения писателя с «органами». Тема действительно нешуточная и деликатная: «Венедикт Ерофеев и КГБ». В качестве основного аргумента, что это были «двусторонние отношения», а не односторонние, он привёл отрывок из интервью Венедикта Ерофеева Леониду Прудовскому. В нём писатель высказался о советской власти следующим образом: «Она решительно не обращала на меня никакого внимания. Я люблю мою власть. <...> Я всё в ней люблю. Это вам вольно рассуждать о моей власти, е(...) мать! Это вам вольно валять дурака! А я дурака не валяю! Я очень люблю свою власть, и никто так не

любит свою власть, ни один гадёныш так не любит мою власть!»<sup>2</sup>

В те годы, когда это было сказано, только ретрограды из «сталинистов» и фанатики-партократы ненавидели Михаила Сергеевича Горбачева, воплощавшего советскую власть. Год спустя, на это высказывание Ерофеева обратил внимание Павел Матвеев, Венедикт Ерофеев в своей записной книжке заглянул в будущее без розовых очков: «Россия ничему не радуется, да и печали, в сущности, нет ни в ком. Она скорее в ожидании какой-то, пока ещё неотчётливо какой, но грандиозной скверны; скорее всего, возвращения к прежним паскудствам. Россия — самая беззащитная из всех держав мира, беззащитнее Мальты и Сан-Марино»<sup>3</sup>.

Основной посыл статьи Павла Матвеева в том, что кроме интереса к «текстологическим вопросам» сочинений Венедикта Ерофеева и «ужасающего своими масштабами его алкоголизма» «ерофееведов» (редакторов, составителей его книг и комментаторов входящих в их состав произведений) ничто не привлекает. Таким ограниченным охватом личности и творчества писателя Павел Матвеев обескуражен и считает справедливым, как он заявляет, «внести и свои... пять копеек в общую копилку российского “ерофееведения”»<sup>4</sup>.

Это заявление по поводу «ерофееведов» ошибочное. И статей о его творчестве написано немало, а диссертаций ещё больше.

Автор статьи справедливо полагает, что для того, чтобы вникнуть в суть «взаимоотношений» Венедикта Ерофеева с так называемыми органами, необходимо понять, когда именно писатель впервые попал в поле зрения советской «тайной полиции». Павел Матвеев отмечает 1955 год (поступление Ерофеева в МГУ),



январь 1957 года (исключение из МГУ), ноябрь 1957 года (увольнение из Ремстройтреста Советского района Москвы за прогулы, пьянство и «антиобщественный образ жизни») как маловероятные для того, чтобы на Ерофеева было заведено ДОР — дело оперативной разработки. На его взгляд, это дело появилось во Владимирском управлении КГБ в 1962 году<sup>5</sup>. Здесь он прав, а далее — не очень. Безусловно, скандал во Владимирском педагогическом институте не мог не привлечь внимания компетентных органов. А вот дальнейшие рассуждения Павла Матвеева на тему «Венедикт Ерофеев и КГБ» не убеждают. Единственное объяснение можно принять во внимание. По-видимому, оправдала себя простейшая тактика писателя — долго на одном месте не засиживаться. Он иронично заметил в записи 1973 года: «Меня, прежде чем посадить, надо выкопать»<sup>6</sup>. Когда же были восстановлены документы Венедикта Ерофеева (паспорт и военный билет) и он превратился в обычного советского обывателя с постоянным местом проживания, что подтверждал штамп в его паспорте, загадка терпимого отношения к автору поэмы «Москва — Петушки» со стороны сотрудников КГБ превратилась в загадку Сфинкса. Я не царь Эдип и предлагаю читателю не разгадку, а только свою версию, почему Венедикт Ерофеев стал человеком, который находился в оперативной разработке, но которого лучше было бы не трогать.

Я был немало удивлён отношением Павла Матвеева к книге Натальи Шмельковой «Последние дни Венедикта Ерофеева». Даже более, чем удивлён, — обескуражен. Без веских оснований относя эту книгу, проясняющую очень многое в личности и социальном поведении Венедикта Ерофеева, к «женским дневникам», автор статьи «Венедикт Ерофеев и КГБ» опускает очень существенный момент — пробуждение в

писателе гражданского чувства (при всём его скептицизме по поводу будущего), вызванного горбачёвской перестройкой. Политизация сознания Венедикта Ерофеева иллюстрируется Натальей Шмельковой убедительными примерами и проходит на фоне их непростых отношений. Особенно нелеп и поханжески отвратителен упрёк Павла Матвеева в адрес Натальи Шмельковой: «Это очень женские дневники. Причём не просто женские, а такие, в которых всё вертится вокруг отношений с любимым мужчиной. У которого, между прочим, имеется вполне живая, хотя и далеко не вполне здоровая жена»<sup>7</sup>. В свою очередь, я задам Павлу Матвееву вопрос: «А что вы, между прочим, не в курсе, что брак Ерофеева с Галиной Носовой был изначально оговорён как сделка и никах супружеских обязанностей на него не возлагал?»

Наталья Шмелькова очертила круг общения Венедикта Ерофеева в последние три года его жизни. Назову некоторых из его основного окружения. Это Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, Ольга Седакова, Андрей Битов, Игорь Дудинский, Евгений Рейн, Владимир Максимов, Александр Леонтович, Еенрих Сапгир, Алексей Зайцев, Зана Плавинская, Юрий Мамлеев, Марк Фрейдкин, а также режиссёры Валерий Романович Белякович<sup>[367]</sup> и Евгений Иосифович Славутин, поэт Татьяна Георгиевна Щербина, художник Кирилл Николаевич Прозоровский-Ременников, композитор и художник Валерий Анатольевич Котов, актриса Жанна Еерасимова, литератор Александр Бондырев, писатель Александр Давыдов<sup>[368]</sup>, поэты Владимир Яковлевич Друк и Виктор Платонович Коркия.

Из статьи Павла Матвеева нового для себя я узнал немного. Елавное, что я так и не понял, почему он считает Венедикта Ерофеева антисоветчиком, а одностороннее отношение к писателю со стороны КГБ

называет взаимоотношениями. Ведь это голословные, ни на чём не основанные обвинения. Причина подобной аберрации в том, что Павел Матвеев ставит автора поэмы «Москва — Петушки» в один ряд с так называемыми «венедиктианцами» из Владимира. Действительно, коллективное орошение ступенек перед зданием Владимирского горкома комсомола с большим трудом, но если сильно постараться, можно отнести к проявлениям нелюбви советской власти. И всё-таки подобные действия на статью 190-1 УК РСФСР (клеветнические измышления, порочащие советский строй) не тянут. Не тот состав преступления. У Павла Матвеева появляется недоверие к ерофеевским рассказам, которые он называет апокрифами. Он пишет: «Представить этакое, чтобы для отлова одного деревенского алкоголика Владимирскому областному ГБ нужно было отправить к нему в деревеньку Мышлино “Волгу” аж с пятью (!) своими сотрудниками, — разумеется, можно, вот только поверить в это невозможно никак»<sup>8</sup>.

Предвзятость — плохой советчик. Тем более ещё живы в Мышлине свидетели, которые этот приезд могут подтвердить. Объяснялся он, как думаю, не столько появлением поэмы в израильском журнале, сколько её рекламой «вражьими голосами». Павел Матвеев постоянно противоречит себе. В этой же статье он сообщает о содержании номера израильского журнала «Ами», в котором появилась поэма Венедикта Ерофеева. Это «антитоталитарные афоризмы Ежи Леца, стихи советских политзаключённых (бывшего — Анатолия Радыгина и сидевшего — Владимира Гершуни) и много ещё чего любопытного, в том числе и для ГБ». По его разумению, из всех материалов «Ами» именно поэма «Москва — Петушки» являла собой красноречивый

образчик злостных «клеветнических измышлений». Её автор мог быть привлечён «по статье 190-прим»<sup>9</sup>.

Поэма «Москва — Петушки», объявляет Павел Матвеев, якобы порочила советский государственный строй. Вот только чем порочила? Что русские кого угодно перепьют? Так об этом весь мир знал. Мы этим даже гордились. Русскому человеку любое пошло по силам. Желудок у нас лужёный и мозги крепкие. Прямых доказательств того, что сочинение Венедикта Ерофеева антисоветское, в его тексте не найти по причине их отсутствия. Более того, заграница в образах её представителей культуры и литературы в поэме «Москва — Петушки» представлена не лучшим образом. К тому же в ней непонятные бандиты с колющими предметами шляются по ночам по Красной площади. Вполне можно трактовать эту концовку поэмы как сатиру на вышедших к Лобному месту семерых диссидентов.

Во времена, о которых идёт речь в статье Павла Матвеева, пили крепко и с удовольствием не только низы, но и верхи. Следовали призыву Леонида Ильича Брежнева жить по-человечески. Вот и жили на полную катушку, не зная удержу. Из родившихся до войны моих друзей-приятелей, работающих в журналистике и на телевидении, кроме одного, никто не остался в живых. Да и тот, единственно уцелевший, перешёл в МИД СССР и, выйдя на пенсию, много лет живёт в Нью-Йорке.

В начале 1970-х годов участились визиты Брежнева и Косыгина в зарубежные страны. Пьющие журналисты и другие сопровождающие лица старались группироваться вокруг генерального секретаря ЦК КПСС, а трезвенники вокруг председателя Совета министров СССР. Пили, надо сказать, безмерно и на ногах не твёрдо, но стояли. А трезвенники чем занимались, не знаю. И тогда же многие из моих

друзей, по годам лет на десять меня старше, обзаводились избами в подмосковных деревнях и чуть дальше. мода была такая. Помню, как сейчас. Среди них были и офицеры с Лубянки, их знакомые по поездкам первых лиц государства. Вот такой тогда был стиль жизни. Книгу Венедикта Ерофеева журналисты из приближённых к первым лицам государства читали и то с подачи трезвенников, которые убеждали своих товарищей не быть дурным примером для народа. Убеждали негромко, остерегались Леонида Ильича — тот любил «пошуметь». Что же касается мата-перемата, то это был распространённый стиль общения в партийных и государственных структурах. Например, в Иностранной комиссии при Союзе писателей СССР, занимающейся приёмом зарубежных писателей. Особенно изысканно материлась одна сотрудница Иностранной комиссии, самая талантливая. В любой сфере производства мат был языком общения руководства с нижестоящими. Его использовали повсеместно за исключением партийных и профсоюзных собраний, а также в коллективах, где преобладали женщины.

Короче говоря, найти криминал в поэме «Москва — Петушки» чекисты брежневского призыва просто не смогли бы. Тем более что он там действительно отсутствовал. Что они могли сказать? Только одно: скучный детектив из жизни пьяниц. И эссе о Василии Розанове в запрещённую литературу также не попадало. Объект исследования — дореволюционный писатель и умер в 1919 году своей смертью. В отличие от других материалов в «Вече» эссе Венедикта Ерофеева события протестного движения в СССР не затрагивало. В конце концов, он не печатался в бюллетене «Хроника текущих событий» с уточнением над заголовком: «Борьба за права человека в Советском Союзе продолжается». Слабым местом для писателя

оставалось отсутствие постоянной работы. Но тут с помощью Галины Носовой и её друзей он куда-нибудь временно да устраивался.

Охранную грамоту Венедикт Ерофеев получил после разговора о нём Петра Леонидовича Капицы с Юрием Владимировичем Андроповым. На Лубянке его признали писателем для власти абсолютно не опасным. Незадолго до этого академик Капица обратился с просьбой к председателю КГБ по более сложному делу. Новый лагерный срок ожидал внука его друга Вадима Делоне. Встреча тогда прошла вполне успешно. Новые сроки Вадиму Делоне и его жене заменили высылкой во Францию.

Венедикт Ерофеев об Андропове отзывался с нескрываемой симпатией. Об этом свидетельствует его разговор с Леонидом Прудовским, впервые опубликованный в 1990 году в журнале «Континент» (№ 65). Приведу из него небольшой отрывок, чтобы не впасть в односторонность. Думаю, читателю будет интереснее увидеть отзыв Венедикта Ерофеева об Андропове в контексте отзывов о других людях:

«— Ладно, Веничка. Последний вопрос. Кто из советских литераторов или политических деятелей оказал на тебя наибольшее влияние?

— Если говорить о влиянии, то культуртрегерское — Аверинцев.

— А Лотман ?

— Лотман пониже, как говорят дирижёры. И Муравьёв. Я знаю, о чём говорю, (...) мать!

— А из политических деятелей ?

— Аракчеев и Столыпин. Если хорошо присмотреться, не такие уж они разные.

— В таком случае, сюда бы Троцкого.

— Упаси бог. Этого жидяру, эту блядь, я бы его убил канделябром. Я даже поискал бы чего потяжелее, чтобы его по голове (...)якнуть.

— А кого из членов большевистского правительства ты бы не удавил ?

— Пожалуй, Андропова.

— Душителя диссидентов?

— Нет, он всё-таки был приличный человек.

— Не кажется ли тебе странным, что за 70 лет единственный приличный человек — и тот начальник охранного отделения ?

— Ничего странного. Наоборот. Хороший человек. Я ему даже поверил. Потом, он снизил цены на водяру — четыре семьдесят. Подумаешь там, танки в Афганщине...

— Ну, танки Брежнев ввёл.

— Плевать, кто вводил и куда. Этого народ уже не помнит. Но то, что водка стала дешевле!...»<sup>10</sup>

О том, что с Петром Леонидовичем Капицей Венедикт Ерофеев был хорошо знаком, а тот отдавал должное его творчеству, свидетельствует его письмо Светлане Гайсер-Шнитман, начавшей исследовательскую работу над поэмой «Москва — Петушки». Эта работа по её завершении была представлена для получения степени доктора наук и опубликована под названием «Венедикт Ерофеев. “Москва — Петушки”, или “The Rest is Silence”». Вот что писал Венедикт Васильевич, отвечая на восторги диссертантки по поводу его произведения: «Завышенная цена моих “Москвы — Петушков” меня порадовала. Я от многих русских слышал подобное же (хоть и написано было для десятка приятелей), из Новосибирска, Еревана, Вильнюса и etc. В том числе от очень не поверхностных и очень разных: Льва Гумилёва, сына двух незадачливых родителей, вождя нашей семиотики Ю. Лотмана, крупных англоведов и пр. Но самое обескураживающее. Ваш комплимент из восьми слов в адрес “Москвы — Петушков” совершенно

дословно повторяет сказанное стариком академиком Капицей (он не чурается литературы и сколько позволяет бремя лет и всё такое — пристально следит)». Светлана Гайсер-Шнитман поясняет: «Совпавший со словами академика Капицы мой отзыв о книге — самая блестящая по форме, самая трагическая по содержанию»<sup>11</sup>.

О встречах Венедикта Ерофеева с Петром Леонидовичем Капицей свидетельствует Борис Шевелев, приятель писателя: «Он ведь часто бывал в гостях у Петра Капицы, который его обожал»<sup>12</sup>.

Итак, разговор Петра Леонидовича с Юрием Владимировичем о талантливом писателе-самородке действительно состоялся и прошёл в духе полного взаимопонимания. Это никакой ни «фейк», как сейчас говорят, а многим людям известное событие.

С этого момента нервы Венедикту Ерофееву чекисты не мотали. Я думаю, что ложкой дёгтя в бочке мёда с их стороны была принадлежащая им же идея при расселении дома в Камергерском переулке переместить автора поэмы «Москва — Петушки» в ведомственный дом МВД на Флотской улице. Сбросить со своих плеч ответственность на товарищей милиционеров. К тому же он со своими запоями и собутыльниками больше подходил именно их ведомству.

Долгое время я не знал, почему Венедикт Ерофеев испытывал неприязнь к большинству диссидентов. До тех пор оставался в неведении, пока на свою голову не сдружился с одним из них. Он живёт сегодня во Франции. Выдающийся и широко известный. Любимый и публикой, и нынешними властями. Однажды по пустяку он на меня так наехал, что мало не покажется. Тогда-то я понял, почему Венедикт Ерофеев называл



диссидентов «новыми большевиками». Прежде чем защищать права человека, самому надо не только внешне на него походить, а им быть.

Теперь я предложу свою версию, кто ещё мог из окружения Андропова сказать что-то благожелательное председателю КГБ в защиту Венедикта Ерофеева и его поэмы «Москва — Петушки». Таким человеком мог быть только Виктор Луи, он же Виталий Евгеньевич Луи. Об этой таинственной персоне написано в западной прессе больше, чем о Никите Сергеевиче Хрущеве и Леониде Ильиче Брежневем, вместе взятых. Из последних книг, ему посвящённых, я прочитал изданное у нас в серии «Политический бестселлер» документальное исследование Антона Хрекова «Король шпионских войн. Виктор Луи — специальный агент Кремля» (М., 2010). К этому человеку председатель КГБ, и не только он один, прислушивался.

О Викторе Луи я вспомнил не случайно в связи с автором поэмы «Москва — Петушки». Я уже мельком говорил в этой книге о дружбе Венедикта Ерофеева и Генриха Сапгира. Сапгир познакомил его с Оскаром Рабиным. По тематике и колориту картины Оскара Рабина и поэма «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева, как говорят искусствоведы, корреспондируют друг другу.

Картины Оскара Рабина ценил и покупал Виктор Луи. Как Венедикт Ерофеев, так и Виктор Луи часто посещали его мастерскую. Я убеждён, что они там познакомились. Алек Эпштейн в монографии «Художник Оскар Рабин: запечатлённая судьба» пишет: «Виктор Луи... по всей видимости, искренне ценил творчество О. Я. Рабина: из своих частных заграничных поездок он привозил О. Я. Рабину фломастеры, которые нельзя было купить в СССР в начале 1960-х годов, — это изменило технику художника (начиная с 1963 года

многие из рисунков О. Я. Рабина выполнены фломастером на бумаге)»<sup>13</sup>.

В этой же книге Алека Эпштейна приводятся воспоминания Давида Маркиша, сына расстрелянного еврейского поэта, сочинявшего на идише, Переца Давидовича Маркиша<sup>[369]</sup>, о Викторе Луи: «Знакомство с ним, от греха подальше, творческие интеллигенты не афишировали — но бывать у него на даче бывали, и охотно. А Виктор Евгеньевич принимал хлебосольно, показывал картины, коллекционную бронзу, скульптуры Эрнста Неизвестного в саду, шесть или семь роскошных автомобилей в гараже... Но не для того робкие интеллигенты, знаменитые, наезжали в Баковку [где находилась дача Виктора Луи], чтобы любоваться картинами и машинами. А наезжали они затем, чтобы просить о помощи: помогите, Виктор, опять выезд за границу закрыли, держат, не пускают никуда. И Луи помогал: оформляли паспорт, выдавали командировочные. Кто у него только не перебивал в этой Баковке!.. “Приезжали в темноте, просили шёпотом, — мягко усмехаясь, рассказывал Виктор. — Чтобы коллеги не узнали”»<sup>14</sup>. Тут не надо особо гадать, как поступил Виктор Луи, чтобы помочь гению не быть загрызенным мелкими шавками.

Виктор Луи был человеком многослойным. Антон Хреков в своей книге о нём предпослал эпиграф, слова своего героя: «Я сделал, что мог. Пусть, кто может, сделает лучше». Я долго думал, что хотел сказать Виктор Луи этой фразой, настолько она уж очень общая и неопределённая по смыслу. И однажды, как кажется, понял, что имел в виду этот человек, обладавший многими талантами, добрым нравом и отзывчивой душой. В моём понимании этот эпиграф звучал так: «Я делал, что мог, живя среди людоедов. Пусть, кто может, сделает лучше, чтобы не быть ими съеденным». Речь

идёт не о какой-то отдельной стране, а о всей нашей ойкумене. Не в сходной ли ситуации находится всякий выбивающийся из общей массы человек? Будь то Венедикт Ерофеев или Оскар Рабин, или Виктор Луи.

## **Глава двадцать четвёртая ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ**

«Всё возвращается на круги своя» (Екк. 1:6). Эта крылатая фраза из ветхозаветной Книги Екклесиаста, или Проповедника, на протяжении многих веков оказывается востребованной. Люди в отличие от создаваемых ими цивилизаций внешне и психологически меняются не настолько неузнаваемо, чтобы всякий раз их популяция при переходе с одного цивилизационного уровня на другой принималась за пришельцев с удалённых от Земли планет.

Так и во времена растущей известности Венедикта Ерофеева в творческой среде советского общества актуализировалась в огрублённой и агрессивной форме, казалось бы, навсегда забытая тематика старого спора из XIX века между представителями двух идейных движений, оппозиционных политике Николая I, — славянофилами и западниками. Понятно, что за этой словесной перепалкой неусыпно наблюдало государево око, воплощённое в представителях Цензурного комитета, находящегося в ведении царя, и в высокопоставленных чиновниках Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. В недавние дни эту защитную задачу выполнял Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР.

Как писал выдающийся русский историк Сергей Фёдорович Платонов<sup>[370]</sup>, в русском обществе в XIX веке «образовались два умственных течения»: политическое, приведшее к Восстанию декабристов, и философское,

разделившееся на два направления — славянофильское и западническое<sup>1</sup>. Старшими представителями движения славянофилов были Алексей Хомяков, Иван и Пётр Киреевские, младшими — Юрий Фёдорович Самарин<sup>[371]</sup> и братья Аксаковы<sup>[372]</sup>. Лидерами западнического направления были Виссарион Белинский, профессор Тимофей Грановский и Александр Герцен.

Идеи славянофильства и западничества были неизбежными и для образованной и либерально настроенной публики долгожданнами. В основе воззрений славянофилов лежало представление, что каждый народ живёт своей самобытной жизнью, все стороны которой веками поддерживаются «народным духом». Понять, в чём заключается, из чего состоит, чего жаждет и на что направлен этот «народный дух», — задача русской интеллигенции. Сергей Платонов утверждал: «В отличие от европейского Запада, вся жизнь которого построена на рассудочности и начале личной свободы, Древняя Русь жила началами веры и общинности. На Западе государства и общества строились насилием и завоеванием; на Руси государство создавалось мирным признанием княжеской династии, а общество не знало внутренней вражды и борьбы классов. В этом и заключалось превосходство Руси перед Западом»<sup>2</sup>. Короче говоря, славянофилы объявили о необходимости самостоятельного пути развития России, учитывая духовное своеобразие русского народа. Те черты характера русского человека, которые сформировались в нём благодаря воздействию на него православной веры, «близкой истинному христианскому “любомудрию” древней восточной церкви»<sup>3</sup>. Сильная духом и «преимуществами общинного, “мирского” устройства Русь могла бы служить высоким примером для всего Запада и явить

ему сокровища своего “народного” духа. Но этому помешала реформа Петра Великого. Она повела Русское государство на путь ненужных заимствований, воспитала образованные классы в чуждом западноевропейском духе и потрясла устои древнего русского быта»<sup>4</sup>.

Некоторые статьи Константина Аксакова — это обвинительный акт, направленный против деятельности Петра I и его преемников. Для него этот царь, который России дал тело (душу, как считалось, в неё вложила Екатерина II), взошёл на престол незаконно, в результате «военного переворота», с помощью стрельцов, а не был избран. Полезность его новшеств для Константина Аксакова сомнительна. В результате — к старым болезням прибавились новые. Писатель не может простить царю пролитой крови. Для него жестокость, даже освещённая высшими государственными целями, — путь в тупик. Подобные мысли приводили, могу представить, цензоров в ужас, о чём можно судить по сохранившимся документам. Можно увидеть на оттиске одной из статей Константина Аксакова, как цензор двумя параллельными чертами и горизонтальной подстрочной отметил предложение: «подвиг Петра совершался во лжи». Этот документ находится в Центральном государственном историческом архиве (Ф. 31.0. 1. Д. 281). Желающие могут убедиться.

На отсутствие благоговения перед личностью Петра I ещё можно было посмотреть сквозь пальцы. Но использование моральных критериев при оценке самодержавной власти, да ещё власти царя, которого Николай I считал идеалом государственного мужа, несомненно, воспринималось как опасное вольнодумство, как чуть ли не бунтарская идея.

Славянофилы видели в Церкви хранительницу народной жизни. В Церкви, сохранившей духовные ценности Киевско-Новгородской Руси.

Спрашивается: на что реально, сотрясая своими заявлениями воздух, могли рассчитывать славянофилы при существующем в России крепостном праве и полицейском характере самодержавной власти? Другое дело западничество. Ведь они всё-таки надеялись, что дух западной культуры укрепит их творческие силы в противоборстве с российским невежеством. Западники верили, как отмечает Сергей Платонов, «в единство человеческой цивилизации и полагали, что Россия стала цивилизованным государством лишь со времён Петра Великого, благодаря именно реформам Петра»<sup>5</sup>. Западники иронизировали над прекраснодушием славянофилов. «Самобытность», о которой те трубили на всех углах, представлялась им обыкновенной дикостью.

Венедикт Ерофеев ценил творчество тех и других. Вместе с тем благоволил больше Александру Герцену, особенно его величайшему автобиографическому сочинению «Былое и думы». Да и Пётр Чаадаев был, как умный и честный человек, ему близок и дорог. Он даже за него, как, надеюсь, помнит читатель, заступился перед литературоведом Дмитрием Урновым. Без XIX века не было бы русского писателя Венедикта Васильевича Ерофеева. Не оформился бы он умственно. Серебряный век оформил его разве что внешне (от него досталась Венедикту Васильевичу манера созерцать, возлежа на диване и подперев голову локтем), и ещё в виде бонуса от полузабытого литературного прошлого этот же век внёс шокирующий словесный кураж в манеру его письма.

Славянофилы и западники «сходились друг с другом в критике современных им русских порядков»<sup>6</sup>. У

самодержавного правительства был свой взгляд на русский народ и основы его жизни. Он был закреплён в формуле Сергея Семёновича Уварова<sup>[373]</sup>, венчающей его теорию официальной народности: «Православие, самодержавие, народность». Уваров был при Николае I вроде Михаила Андреевича Сулова при Брежневе.

Символ Константина Аксакова — не православие и самодержавие, а православие и народность. Сам ход его рассуждений далёк от острого национализма, который всегда оборачивается ненавистью к людям других национальностей.

Иван Киреевский и Константин Аксаков в известном отношении представляли собой распространённый тип русских либералов, которые протестовали против зависимости личности от самодержавия, но решительно отказывались от каких-либо насильственных действий. Либералы, как отмечал Юрий Тынянов в романе «Смерть Вазир-Мухтара», «умеренность сделали своей религией и проповедовали её с бешенством»<sup>7</sup>.

Взаимоотношения славянофилов с западниками были не так просты, как это кажется на первый взгляд. Так, позиция Еерцена относительно славянофилов с течением времени менялась. Герцен признавал, что «московский панславизм» первым открыл силы, дремлющие в груди русского мужика в тот момент, когда он сделал поворот к идеям русского социализма, истоки которого он обнаружил у славянофилов<sup>8</sup>. Эти тенденции к переоценке своих оппонентов возникли у Герцена в 1853 году, а в 1859 году в статье «Русские немцы и немецкие русские» его симпатии к славянофилам обозначились в полную силу. Его признания весьма красноречивы: «Мы не понимали... что у них, как у староверов, под археологическими обрядами бился живой зародыш, что они, по-видимому, защищая взор, в сущности отстаивали в уродливо



церковной форме веру в народную жизнь». Или: «Чем больше западная партия удалялась от реальной почвы и переносила шатры свои в абстрактную науку, тем твёрже становились славяне на практический грунт. Вопрос об общинном земледелии, по счастью, вывел их из церкви и летописей — на пашню»<sup>9</sup>.

В рассуждениях об умственных движениях того времени нельзя забывать об одной особенности российской жизни при Николае I: «Каждый должен был, если хотел хоть какой-нибудь защиты закона и властей, числиться на известной службе, состоять при известном департаменте. Интеллигентных профессий не существовало»<sup>10</sup>.

Но самые смелые, самые отчаянные пытались уйти со службы. В этом случае они попадали под негласный надзор полиции [\[374\]](#).

После публикации в первом (и последнем) номере журнала «Европеец» в январе 1832 года, в котором была опубликована статья Ивана Киреевского «Девятнадцатый век» — первый манифест ранних славянофилов, молодой литератор немедленно обратил на себя внимание Николая I, который начертал следующую резолюцию: «Его Величество изволит найти, что вся статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное, что под словом *просвещение* он понимает свободу, что действительность *разума* означает у него революцию, а искусно отысканная середина не что иное, как конституция»<sup>11</sup>.

Может быть, когда-нибудь дождёмся бумаг из архивов Пятого управления КГБ о реакции его

чиновников на поэму Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» и на то, что объединяло и разделяло его окружение. Хотя и без этих доносов многое к сегодняшнему дню прояснилось.

Вернусь к николаевскому времени. Нет необходимости говорить, что подавляющее большинство людей, обративших на себя внимание полиции, относилось к цвету русского общества того времени. Их настоящая духовная деятельность вовсе не заинтересовала полицию, собиравшую на них сведения. Или полиция мало смыслила в этих вопросах, либо высшее начальство не ставило перед ней такой задачи. Арест лиц, принадлежавших к славянофильскому кружку, не состоялся. Единомыслия среди славянофилов не было. Но что-то их объединяло. Теперь известно, что их заинтересовала немецкая философия, а точнее, их интерес к Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю<sup>[375]</sup> и Фридриху Вильгельму Йозефу Шеллингу<sup>[376]</sup>.

Сопоставляя то не столь уж отдалённое, время и последние три десятилетия существования СССР, понимаешь, что в отношениях власти и творческой интеллигенции мало что изменилось. Как во времена правления Николая I, так и во времена Леонида Брежнева и Юрия Андропова среди охранителей режима существовали умные и образованные люди. Кто именно из них берёт Венедикта Ерофеева, точно не скажу, но некоторые свои предположения вскоре изложу на страницах этой книги.

Что касается времени царствования Николая I, вспомню цензора Александра Васильевича Никитенко<sup>[377]</sup>, профессора Санкт-Петербургского университета, действительного члена Академии наук. Это был мыслящий и талантливый человек, сын крепостного, к концу своей жизни достигший в

Российской империи «больших чинов». Его судьба во многом типична для людей с развитым общественным самосознанием, кто не был вычеркнут из жизни общества после разгрома Восстания декабристов.

Александр Никитенко, как и Венедикт Ерофеев, многие годы вёл дневник, и по этому документу можно судить о его культурных, идеологических и политических пристрастиях, об эволюции его мировоззрения. Дневник представляет собой трагическую исповедь человека, который сумел остаться на поверхности жизни, приняв твёрдый порядок николаевской России. Он справедливо полагал, что в России, для того чтобы рассчитывать на что-нибудь лучшее и справедливое, необходимо занять высокое общественное положение. Вся его деятельность цензора сводилась к тому, чтобы пропустить в печать что возможно. Александр Васильевич исходил в своей цензорской деятельности из третьего закона классической механики, сформулированного Исааком Ньютоном: «Сила действия равна силе противодействия». А также из того самоочевидного факта, что «литературе необходимо дать более простора», что «если этого не делать, то пойдёт в ход писаная литература, следить за которой нет никакой возможности»<sup>12</sup>. Никитенко полагал, что «знакомить людей со всеми мерзостями, прежде чем дать им орудие бороться с ними, — значит решительно делать их безоружными и покровительствовать злу»<sup>13</sup>.

Он смотрел вперёд на много десятилетий. Понимал, что собой представляют народ и выдвинутые им вожди. Сделаю ещё несколько выписок из его «Дневника»: «Мы испытали деспотизм личный, но Боже сохрани нас испытать ещё деспотизм толпы, массы — деспотизм полудикой, варварской демократии»<sup>14</sup>. Или: «Я вышел из рядов народа, я плебей с головы до ног, но и я не

допускаю мысли, что хорошо дать народу власть. На земле не может быть ни всеобщего довольства, ни всеобщего образования, ни всеобщей добродетели. <...> Народ должен быть управляем, а не управлять»<sup>15</sup>.

Александр Никитенко по своему социально-психологическому типу мало чем отличался от самого государя Николая I, который был менее рефлектирующей личностью, чем его цензор. Но и царя заботили проблемы идеала и сущего, личной порядочности и государственной необходимости. Правда, на нём лежала большая ответственность: он был одновременно частным человеком и самодержцем. В общении со своими близкими и друзьями государь руководствовался теми же понятиями, что и Никитенко.

Венедикт Васильевич в беседе с малосимпатичными людьми любил поёрничать и огорошить собеседника мнимой откровенностью. Это желание присочинить что-нибудь такое, отчего у вопрошающего отвиснет челюсть, было у него в порядке вещей. По-видимому, этой особенностью общения с интервьюерами объясняются всякие небылицы, которые он наговорил им о себе и своих родителях в надежде, что эти настырные и охочие до сенсаций люди наконец-то уgomонятся и от него отстанут.

Венедикт Ерофеев понимал, что после его смерти они наплетут о нём ещё больше гадостей и присочинят уже от себя немало новых глупостей. Я предполагаю, что в своих отношениях с представителями средств массовой информации, работающими ещё на потребу публики и требующих от него побольше «жареных» фактов, он исходил из известного суждения Александра Пушкина о низменном любопытстве толпы, для которой нет ничего более постоянного, чем выискивать уязвимые в моральном отношении факты из личной жизни гениальных людей. Речь идёт о письме Петру

Вяземскому в связи с сожжением великим ирландским поэтом Томасом Муром<sup>[378]</sup> мемуаров другого гения — Джорджа Гордона Байрона.

Венедикт Ерофеев не стал дожидаться направленных против него после смерти инсинуаций и проявил инициативу. Он опередил злопыхателей в придумках против него и его семьи всяких нелепостей, выплеснув ещё при своей жизни на себя самого полное ведро помоев. Вот такой он предпринял неожиданный и оригинальный ход, обескуражив близких ему людей и переиграв своих врагов. До него ещё никто из писателей, как мне известно, от клеветников и хулителей подобным образом не отбивался.

Вот небольшой отрывок из известного и часто цитируемого дружеского послания Пушкина Вяземскому: «Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы — иначе!»<sup>16</sup>

К тому же Венедикт Ерофеев своими шокирующими высказываниями об отце и матери подчеркнул, что сейчас не пушкинское время аристократов и простолюдинов. В современном обществе не стоит возводить стену между гениями и простыми смертными. Те и другие сидят по уши в дерьме. Да и как не оказаться в этом малоприятном положении мыслящим и думающим не только о себе людям после двух мировых войн, сталинских репрессий по уничтожению собственного народа, геноцида евреев немецкими фашистами и китайцев японцами. Не говоря уже об

умирающих от голода во второй половине XX века и гибнущих в гражданских междоусобицах в начале XXI века народов африканских и ближневосточных стран.

Одновременно ему было присуще устойчивое представление о сущности бытия, о его трагичности. Оно было постоянным, устойчивым, не менялось на протяжении всей его жизни. Он жил независимо и приспособляться к чему-то сиюминутному не хотел. К тому же на него влияло что угодно, но только не отвлечённая мудрость доморощенных философов. Все эти далёкие от реальности рассуждения дилетантов его невероятно раздражали. Слишком мало было отпущено ему времени на жизнь в творчестве, чтобы наслаждаться переливанием из пустого в порожнее. К тому же некоторые ораторы конца 1980-х годов, прорабы горбачёвской перестройки, выглядели не лучшим образом. Они напоминали вытащенные из морозилки овощи, которые торопливо размораживают горячей водой, чтобы тут же подать к столу. Роль горячей воды в данном случае отводилась кричащим и аплодирующим толпам слушателей на перестроечных митингах.

Венедикт Ерофеев при всей своей симпатии к подобным событиям иногда вздрагивал от глухого ропота толпы. Понимал, к чему приводит народный «бунт — бессмысленный и беспощадный».

## **Глава двадцать пятая** **ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ЩЕКOTЛИВУЮ** **ТЕМУ**

В СССР последнее интервью с Венедиктом Ерофеевым было снято съёмочной группой киносценариста Олега Евгеньевича Осетинского в самом начале мая 1990 года, незадолго до смерти писателя. Оно легло в основу сделанного, по-видимому, на скорую руку, отчасти документального, отчасти игрового фильма, показанного в 1993 году по нескольким российским телевизионным каналам. Само интервью контрастирует с незатейливыми сценами. Некий вдребезги пьяный мужчина, шатаясь и периодически падая на пол, мотается по вагонам идущей куда-то электрички. Что говорить, типичная халтура того времени. Посмотреть и забыть, если бы не интервью с умирающим Венедиктом Ерофеевым — его последние слова, произносимые с трудом и с помощью электронного звукового аппарата.

Это интервью Венедикта Ерофеева очень важно для понимания его взглядов. Оно проясняет отношение писателя к конспирологической теории о заговоре евреев с целью извести русский и другие народы, а затем установить власть над миром. К тому же писателем в нём даётся позитивная оценка горбачёвской перестройки.

Тут, впрочем, надо отметить некую особенность реакции Венедикта Ерофеева на одни и те же лица и связанные с ними события. Она часто колебалась от восторженной до издевательски уничижительной. Такие резкие перепады в оценках одних и тех же людей

и их действий часто зависели от его настроения и были сравнимы разве что с непостоянством московской погоды.

В начале беседы с Венедиктом Ерофеевым Олег Осетинский недолго раздумывая спросил о главном, что, его, по-видимому, больше всего заботило: «Почему автор поэмы “Москва — Петушки” всё ещё не в Сибири?»<sup>1</sup> Вспомнив, какое время на дворе и тут же спохватившись, он скорректировал вопрос: «Почему Венедикт Ерофеев там так и не побывал?»<sup>2</sup> Ответ, что КГБ не трогал писателя по причине его запойной жизни, Олега Осетинского не впечатлил, и он немедленно пошёл ва-банк.

На этот раз его интересовала более глобальная проблема: удалось ли *им* алкоголизировать Россию до конца или всё ещё остаётся какая-то надежда? После употребления личного местоимения *им* он немедленно поменял его на неопределённое местоимение *кому-то*<sup>3</sup>. Интервью после этого вопроса, по мысли интервьюера, должно было приобрести остроту.

Ещё в 70-е годы прошлого века в СССР воскресла из небытия полузабытая доктрина «жидомасонского» заговора, утверждавшая существование тайного сговора еврейства и масонства с целью установления всемирного господства. Она имела прямое отношение к скандальной литературной фальсификации конца XIX — начала XX века — «Протоколам сионских мудрецов».

Российский публицист Леонид Млечин пишет: «В позднесоветские годы в комсомольском аппарате появилась и окрепла группа, которую в служебных документах КГБ именовали “русской партией” или “русистами”. <...> В эту группу входили люди, считавшие, что в Советском Союзе в угоду другим национальностям сознательно ущемляются права русских. Тон задавали комсомольские функционеры,



занимавшие ключевые должности в идеологической сфере. “Русисты” считали, что революцию в 1917 году устроило мировое еврейство, дабы уничтожить Россию и русскую культуру. Активисты этого движения выросли на “Протоколах сионских мудрецов”, признанных фальшивкой повсюду, кроме нацистской Германии. И наконец, самое главное: “Советский Союз разрушался отнюдь не усилиями либерально настроенных диссидентов. Многонациональное государство подрывали крайние националисты, занимавшие высокие посты, в том числе и в комсомольском аппарате”»<sup>4</sup>.

Вопрос Олега Осетинского, заданный Венедикту Ерофееву, был не случайным. Он знал о его привычке часто употреблять в своей речи слово *жидяра*, а также о его приятельстве с Владимиром Николаевичем Осиповым, публицистом, общественным деятелем, убеждённым православным монархистом и русским националистом, прошедшим в мордовских лагерях в общей сложности 13 лет.

Венедикт Ерофеев с ходу ухватил мысль Олега Осетинского о происках евреев. У него даже появилась жалость к этому настырному и охочему до сенсаций интервьюеру. Между тем играть с ним в бирюльки он не собирался. Ответ Венедикта Ерофеева был однозначным: «Да нет, никто её не алкоголизует. С этим она справляется сама и весьма успешно. Так что дело не в том, что её кто-то алкоголизует. Это даже смешно. Это во вкусе наших русопятов, русофилов. И не только»<sup>5</sup>. Более чётко и однозначно Венедикт Ерофеев выразил ту же мысль в другой беседе с журналисткой Светланой Суховой: «Сейчас много пишут, что пьянство — это масонско-жидовское вторжение в русское язычество. Что русский человек никогда не пил, что после нашествия масонов и жидов русский человек

почему-то запил под их гипнотическим внушением... Я прекращаю, но не люблю эту игру в антисемитизм»<sup>6</sup>.

Наталья Шмелькова свидетельствует: «Чуждый зоологического национализма, Ерофеев реагировал на его проявления в людях с отвращением. Иногда мог и пошутить: “Если начнутся еврейские погромы, то в знак протеста переименую себя в Венедикта Моисеевича”...»<sup>7</sup>

Венедикт Ерофеев из своих странствий и общения со многими людьми из разных социальных слоёв вынес твёрдое убеждение: беды отечества приходят не только извне, а чаще всего зарождаются на родной земле. Причины их появления разнообразны и обусловлены многими факторами и обстоятельствами. Такова истинная подоплёка происходящих исторических событий. С момента возникновения Российской империи и вплоть до появления СССР, его развала и сегодняшних дней.

В начале беседы писательницы Ирины Тосунян с Венедиктом Ерофеевым речь зашла о подготовке режиссёром и актёром Владимиром Михайловичем Портновым к постановке на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Премьера спектакля состоялась 23, 25-го (с участием автора) и 28 марта 1989 года и автору «чудовищно не понравилась»<sup>8</sup>. Уже на первом этапе начавшихся репетиций пьесы возникли проблемы. Владимир Портнов произвёл «чистку» ерофеевского текста, не сообразуясь с волей автора. Неудовольствие Венедикта Ерофеева вызвало ослабление «еврейской темы» в готовящемся к показу спектакле. Автор пояснил Ирине Тосунян, насколько безвкусно была упрощена пьеса: «Правда, оставили несколько фраз типа: “Евреи очень любят выпить за спиной у арабских народов”»<sup>9</sup>.

Идея пьесы возникла неожиданно, и времени на её написание ушло совсем немного. Венедикт Ерофеев рассказал Ирине Тосунян, как возник замысел пьесы, что стало толчком к её написанию: «Ко мне же опять приехали знакомые с бутылкой спирта. Главное, для того чтобы опознать, что это за спирт. “Давай-ка, Ерофеев, разберись”. Я выпил рюмку. Чутьём, очень задним, почувствовал, что это хороший спирт. Они смотрят, как я буду окочуливаться. Говорю: “Налейте-ка вторую!” И я её опрокинул. Все внимательно всматриваются в меня. Спустя минут десять говорю: “Ну-ка, налейте третью!” Трясущиеся с похмелья — и ведь выдержали, не выпили — ждут. Дурацкий русский рационализм в такой форме. С той поры он стал мне ненавистен. Это и было толчком. Ночью, когда моя бессонница меня томила, я подумал-подумал об этом метиловом спирте, и возникла идея. Я её реализовал в один месяц. Мне, правда, сказали, что я зря брякнул о Британских островах, о Сакко и Ванцетти, но ладно»<sup>10</sup>.

31 декабря 1984 года Венедикт Ерофеев записывает в своём дневнике: «В канун 85 года сел, за 3 часа до звона шампанского, начинаю работать над пьесой “Вальпургиева ночь” — “Чистая” страница наполовину была сделана в непросыхающем январе»<sup>11</sup>.

Пьесу «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» Венедикт Ерофеев закончил ранней весной 1985 года. Она была написана меньше, чем за два месяца. В том же дневнике есть подробная запись о том, когда возник замысел этого драматургического произведения («до 19 февраля — обдумывание и копание в старых бумагах и блокнотах») и как оно поэтапно создавалось: во второй половине февраля, в марте и в полдень 16 апреля «была поставлена последняя точка»<sup>12</sup>. На всю работу ушло 35 дней, из которых 12 дней, со 2 по 16 апреля, он лежал под капельницей в Психиатрической клинической

больнице № 1 им. П. П. Кащенко<sup>[379]</sup>. (В скобках замечу, что в настоящее время этой больнице возвращено имя известного предпринимателя, благотворителя и московского градоначальника Николая Александровича Алексеева<sup>[380]</sup>).

1985-й стал для Венедикта Ерофеева особенным годом, пиком всемирной известности и началом смертельной болезни, приведшей его через пять лет к смерти. Именно тогда написанием пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» он доказал своим недругам, что ещё на многое способен, а своих друзей обрадовал новым произведением, неординарным и будирующим, как и всё, что выходило из-под его пера. Ведь после поэмы «Москва — Петушки» он практически не написал ничего нового и значительного. Небольшие по объёму эссе «Василий Розанов» и «Саша Чёрный глазами эксцентрика» в счёт не идут.

Его окружение изрядно истомилось в ожидании повторения чего-то сопоставимого с его первым и пока что единственным шедевром. И как только известие о пьесе достигло их ушей, со всех сторон начались приглашения с единственной просьбой: чтобы он своим неподражаемым баритоном озвучил только что им созданное. У него был действительно удивительный голос с тёплым задушевым тембром и в нужный момент меняющимися модуляциями. Динамику развития событий, связанных с восприятием пьесы окружением Венедикта Ерофеева, возможно проследить по его дневниковым записям. Начались эти публичные чтения ещё до окончательного завершения его работы над пьесой и сопровождались основательными возлияниями. В дневнике Венедикт Ерофеев отмечает первое публичное платное чтение первых актов 23 марта у Иодковских. Эдмунд Феликсович Иодковский<sup>[381]</sup>, поэт, прозаик, журналист,

был заметной фигурой в писательской тусовке того времени. В широких кругах получил известность песней: «Едем мы друзья / В дальние края. / Станем новосёлами / И ты, и я!» Как записывает автор пьесы, был «большой успех»<sup>13</sup>. Следующий день 24 марта отражён следующей записью: «День, в котором, по моему, под аккомпанемент холодного и горячего спиртного заканчиваю 4-й акт»<sup>14</sup>. 29 марта: «Пьяненький вечер публичного чтения у Марии Фоминой». Присутствуют Виктор Ерофеев и Дмитрий Пригов. Наконец, произошло важное событие: в квартире у Венедикта Ерофеева появился Владимир Муравьёв: «Мур. в гостях. Читает 4-й акт. Нехотя даю ему 3-й, и он прочитывает со снисходительностью, “интермеццо”»<sup>15</sup>.

Как понимать присутствие в этой записи итальянского слова «интермеццо», происходящего от латинского *intermendis* и означающего «находящийся посреди», «промежуточный»? В современном языке интермеццо — это пьеса промежуточного, связующего значения. Обращу внимание читателя, как Венедикт Ерофеев изящно сформулировал отношение близкого друга к его последнему произведению, которое по прочтении двух актов Владимир Сергеевич должным образом не оценил.

Судя по всему, у Венедикта Ерофеева произошёл серьёзный перебор с алкоголем, безмерно поглощаемым им всякий раз при этих творческих посиделках. Всё закончилось тем, чем должно было закончиться: «2 апреля — Вторник. Корвалол. Полчекушки. Санитары. Спокоен. “Только на 5 дней”. Отделение реанимации. Весь вечер под капельницей. Позволяют курить. Любезное обращение»<sup>16</sup>. Во второй раз он оказывается в психиатрической больнице.

3 апреля он всё ещё находился в реанимационном отделении. Отношение к нему медицинского персонала — лучше не представить. Опять капельница, после которой ему удалось каким-то образом раздобыть полстакана чего-то из спиртного. Надеюсь, что не водки. В его дневнике это событие обозначено чудом. Ему дозволена одежда. Аппетит у него по-прежнему не появился.

На следующий день, 4 апреля, состоялось переселение Венедикта Ерофеева из реанимационного отделения в обычную палату. К нему снова вернулось бодрое состояние духа. Он долго рассматривал за окном «кочки оттаявшей травы». Вечером его навестила Галина Носова. Принесла что-то из одежды, авторучку, очки и написанные им страницы пьесы. На следующее утро он рассортировал по порядку эту кипу бумаг и взялся за написание пятого акта. Кто-то из больных подошёл к нему и сказал: «У вас интеллигентное лицо»<sup>17</sup>. Эту фразу он занёс в свой дневник. Из неприятных моментов того дня он зафиксировал «массу уколов», что, однако, несколько не повлияло на его деловой настрой продолжить работу над пьесой.

Теперь я перейду непосредственно к цитированию последующих дневниковых записей Венедикта Ерофеева. Они не столь отрывочны и сумбурны, как предыдущие, мною пересказанные:

*«6 апреля — вербная [Лазарева] суббота. Впервые съедаю всё меню. В ожидании гостей. Яны (Щедриной. — А. С.) нет. Нос[ова], Лён (Слава Лён, настоящее имя Вячеслав Епишин. — А. С.), его приятель. Куча приношений. Весело. Чудно. Но отбор для пьесы притормаживаю. Бессонница до 3-х ночи.*

*7 апреля — Вербное воскресенье. После бессонницы. Неутомим. Весь день — отбор для 5-го акта*

заканчиваю. Теперь можно переписать набело. Бодро и непоседливо. Аппетит — уже требую добавок. И снова бессонница до половины третьего.

*8 апреля* — переселение в спокойную палату. Стойкая благосклонность врачей. Позволено позвонить домой: требую от Нос(овой) прежних актов для ориентировки и “Москва — Петушки” для персонала. Вечером — Нос(ова). О приезде Бориса Ер(офеева). Как быть? За окошком валом валит снег.

*9 апреля* — весь день в отличном и победном настроении. Рыженькая Вал[ентина] под влиянием «М[осква] — П[етушки]»: “Я потрясена, Вен[едикт], книгой. Это обалденно, ваш юмор выше булгаковского” и пр. И даже не делает мне никаких уколов. И — разрешение на прогулки. 1-я прогулка. Тот самый садик и беседка. Всё-таки: четыре страницы пишу набело и вечером отдаю пришедшей Нос[овой]. Начало 5-го акта есть. Бессонница до 4-х.

*10 апреля* — снижение во всех отношениях. Раздражительность крайняя, и закончились чернила, и остервенение, и не на чем выместить. Прогулки в 4 ч. — в назначенное время появляется Нос[ова]. С ней по скамейкам: мне нужны стержни для работы, и таблетки для успок[оения]. Нос[ова] бежит в аптеку и возвращается с корвалолом. Засыпаю. Пропащий день.

*11 апреля* — ну вот и снова возрождён. Чистый четверг. Мне передают стержни. И — набело следующие 4 страницы 5-го акта. Холода и никаких прогулок. Вечером — весёлая встреча с Г[алиной] Нос[овой]. Отдаю ей написанное. Появляется Лён, дивится нашему мажору и утраивает его. Превосходно.

*12 апреля* — Страстная пятница. Ещё холоднее и снег за окном. Снова никаких прогулок. Короткий приход Нос[овой] — отдаю ей четыре страницы (9—12) 5-го акта. Нос[ова] в восторге. А у меня временная апатия, но продолжаю 5-й акт.

*13 апреля* — уже и солнце, но около нуля градусов. К приходу гостей готовлю очередные (13—15) страницы 5-го акта. Носова. Потом — Ирина Л. (отдалённо). Потом Тим. Потом — Л. Майкова. Все с приношениями и довольно оживлённо. Вечер — даю себе отдых от трагедии: “Контин.”, телевизор, грустно относительно Ир. Л.

*14 апреля* — Пасха. Прекращение ночных морозов. И деловое расположение духа. Прогулки запрещены, но при вытаскивании мусора, под солнцем всё-таки звоню Ю[лии] Р[уновой] (не видел с 14 февраля, не звонил с 28 марта). “Когда к тебе можно заехать?” — Р[унова] о занятости, перегруженности, о гостях, как всегда. Я — о своём житье вне Москвы и о писанине. “Ну, до свидания”. Она: “...Почему так спешно?” — “Да уж так. До свидания”. Кладу трубку. Весь день, отложив финал 5-го, сижу над 3-м актом. В один день весь его реконструирую, набело переписываю, все 14 страниц. Отлично.

*15 апреля* — снова процедуры, работы в реанимации. В 2 часа — Нос[ова]. Отдаю ей весь вчера написанный нахрапом 3-й акт. Нос[ова] в восторге: итак, остаётся только самый конец 5-го акта. Предисловие — посвящение. Вечером гости — Нос[ова] со своей Ольгой, Ольга с шоколадом, Нос[ова] к Мур[авьёву] с материалами. Чуть позже — ещё гость, через окошко — Мельник[ов] (Николай Болдырев, сын С. А. Мельниковой. Ерофеев называл его Мельниковым по фамилии матери. — А. С.).

*16 апреля* — и заканчиваю трагедию. В полдень довершаю последние две страницы (22—23). Свобода. Добавляю “Крохотное послесловие”. За окном — дожди, я удовлетворён и спокоен. Ванная, прогулка под дождями. Проходящий незнакомый врач просит “Петушки”. “Вашу книгу так рекламируют, что...»” Обещаю. Вечером гости. Нос[ова] и Некрасова.



Чрезвычайно весело, если б не затюканная Некрасова (Алёна Некрасова, приятельница Галины Носовой. — А. С.). Вручаю Нос[овой] последние 5 страниц последнего 5-го акта. Нос[ова] окончательно в восторге и опять от меня едет к Муру (Владимиру Муравьёву. — А. С.). Ещё запоздалые гости: Коля Мельник[ов], Черных (Валерия Черных, жена Николая Болдырева-Мельникова. — А. С.), Саша с рыжей бородой и в коляске почти 2-х месячный Кирилл. Чертовски весело у входа в отделение: о предстоящих крестинах, об о. Варсонофии, о законченной сегодня драме и пр.»<sup>18</sup>.

Пьеса была закончена. Думать о её постановке в Москве или в каком-нибудь другом городе Советского Союза в 1985 году представлялось бредом сумасшедшего.

Разве Венедикт Ерофеев мог бы тогда представить, что в СССР появился облачённый властью человек, понявший простую истину: невозможно насилием улучшить жизнь людей. 11 марта 1985 года генеральным секретарём ЦК КПСС стал Михаил Сергеевич Горбачёв.

## ***Глава двадцать шестая ИСТОРИЯ ДОН ЖУАНА И КОМАНДОРА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ***

За год перед смертью Венедикта Ерофеева в апрельском номере журнала «Театр» появилось коротенькое с ним интервью за подписью Владимира Ломазова. Беседа с писателем проходила на кухне квартиры на тринадцатом этаже в доме-башне на улице Флотской. Помимо интервьюера присутствовали поэт Генрих Сапгир, Галина Носова, жена Ерофеева, и ещё одна, не названная в публикации женщина. Владимир Ломазов так описал своего собеседника: «Он сед — густые седые волосы, косой пробор мальчишки. Веня с марлечкой на кадыке, дрожащей от ветерка-дыхания. Весёлый и мужественный человек редкого достоинства»<sup>1</sup>.

Венедикт Ерофеев в который раз повторил полуправдивые истории о его семье, в которых изложение событий её жизни происходило в явно ёрнической манере. Нельзя сказать, что он всегда напропалую врал. Большею частью немного привирал, говоря: «Я так просто не могу — мне ведь надо с в...бонами». Якобы его отец и мать познакомились на строительстве железной дороги из Питера в Мурманск, «после сдачи дороги в эксплуатацию его отец остался на ней и дослужился до должности начальника станций Полярный Круг и Кандалакшская Губа. В должности начальника станции Василий Ерофеев очутился на временно оккупированной территории (сперва немцами, а после финнами), а по окончании войны скоренько

угодил в лагерь, где провёл восемь лет и был выпущен в 1954 году с полной реабилитацией и прожил после этого ещё два года»<sup>2</sup>.

Читатель этой книги уже знает, что произошло на самом деле с каждым из членов семьи писателя. Так зачем он, избегающий в жизни вранья, воспользовался им во время своего писательского триумфа? По-видимому, Венедикту Ерофееву было трудно логически объяснить те удары судьбы, которые неожиданно обрушились на его близких и на него самого. Настолько они оставались для него невероятными, бредовыми. Он в данном случае принимал во внимание опыт чтимого им Иоганна Вольфганга Гёте, сказавшего: «Ошибка лежит на поверхности, и её замечаешь сразу, а истина скрыта в глубине, и не всякий может её отыскать».

Объясняя, что сделала власть большевиков с его семьёй, Венедикт Ерофеев пошёл по накатанной схеме: арест по наговору, скорый суд, приговор, заключение в исправительно-трудовой лагерь, восстановление справедливости через акт реабилитации. Так выглядело куда короче и убедительнее, чем долгие и путаные речи. Тем более что реабилитация отца Венедикта Ерофеева ещё не произошла, а состоялась через год, за несколько дней до его смерти.

Во всём остальном, рассказывая Владимиру Ломазову о своей жизни, он старался держаться истины. Помнил, что говорил Зигмунд Фрейд: «Истица сделает вас свободными».

Среди многих тем беседы Венедикт Ерофеев вспомнил обстоятельства, предшествующие его работе над написанием пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Вот что он рассказал: «...в канун 1985 года сестра (Тамара Васильевна Гущина. — А. С.) подарила мне Корнеля и Расина. Прочёл и был взбудоражен принципами классицизма и удивлялся, что у Корнеля и

Расина не над чем смеяться. Решил: отчего бы не написать классическую пьесу, только сделать очень смешно и в финале героев ухайдохать, а подонков оставить — это понятно нашему человеку. И написал. А стихи, вошедшие в пьесу, у меня были. Я писал их давно, как пародии на Некрасова»<sup>3</sup>.

Как известно, французы Пьер Корнель<sup>[382]</sup> и Жан Расин<sup>[383]</sup> были выдающимися драматургами, представителями классицизма (от *лат.* *classicus* — образцовый), ставшего к середине XVII века господствующим направлением в искусстве. Нормы его художественного метода и стиля восходят к античным образцам. Общие эстетические принципы античной драматургии были изложены Аристотелем<sup>[384]</sup> и Горацием<sup>[385]</sup>. Согласно Аристотелю, в каждой должно быть шесть частей: фабула, речь, мысль, зрелище и музыкальная часть.

Обращусь к книге «Теория драмы от Аристотеля до Лессинга», автор которой известный литературовед и историк искусств Александр Абрамович Аникст<sup>[386]</sup>. Сделаю из неё несколько выписок, касающихся основных принципов построения идеального драматургического произведения, каким его видели эти гении античного мира: «Согласно Горацию характеры в пьесах должны быть психологически достоверны, поведение и поступки героев призваны содействовать темпераменту и возрасту персонажей»; «Следуя Аристотелю, Гораций требует, чтобы действие развивалось по внутренним причинам и чтобы развязка естественно вытекала из хода событий, а не происходила под влиянием внешних сил, хотя бы и божественных»; «Гораций настаивает на том, чтобы в драме было пять действий — не больше и не меньше»<sup>4</sup>.

Французский поэт, критик и теоретик классицизма Никола Буало-Депрео<sup>[387]</sup> подвёл итоги эстетики

классицизма в знаменитом сочинении — поэме-трактате в четырёх песнях «Поэтическое искусство».

В драматургии классицизма соблюдаются три Аристотелевых единства: единство действия, единство места и единство времени. То есть пьеса должна иметь главный сюжет, в её пространстве действие соответствует одному и тому же месту и не занимает более двадцати четырёх часов.

Венедикт Ерофеев соблюдает все эти три правила в пьесе «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Композиция пьесы также состоит из пяти актов, предписанных Горацием.

Венедикт Ерофеев часто сокрушался, что большей частью писавшие о пьесе критики мало что в ней поняли. Об этом свидетельствует хотя бы один из рекламирующих её анонсов: «Это пьеса об одном дне из жизни обитателей сумасшедшего дома. По форме — это трагедия, по содержанию отчасти тоже. Формулировки точные, острые, что ни монолог — новая пища для размышлений. Пьеса заставляет грустить, украдкой вздыхать и по временам сокрушаться над бесславной участью подпольной советской интеллигенции, прообразом которой выступает главный герой “Вальпургиевой ночи” — Гуревич, поэт-алкоголик».

Должен сразу сказать, что никакой подпольной интеллигенции в пьесе Венедикта Ерофеева и в помине нет. Не только что она во плоти не появляется, но даже дух её не присутствует. Если автор этой рекламы имел в виду диссидентов, то Венедикт Ерофеев по ним не сокрушался, а жалел. Некоторых из них назвав «новыми большевиками», приравнял к ленинской гвардии. Вот этих людей, как вспоминала его сестра Тамара Гущина, он предлагал «душить в колыбели»<sup>5</sup>.

Но сперва вернусь в более глубокую старину, чем время французского классицизма, — к языческим

поверьям о ведьминых ночах.

Ночь с 30 апреля на 1 мая — это время, в котором происходит действие пьесы. У многих народов оно соотносится с праздником ведьм и всей нечистой силы. Обычно эта нечисть прилетает к месту своего сбора на метле, захватив с собой для любовных игр чертей и воздав почести Сатане — хозяину праздника, сообщает князю тьмы о всяческих сотворённых ею пакостях и злодеяниях, а уж затем объедается разными яствами, избегая хлеба и соли, которых нечистая сила, согласно поверьям, не любит. Понятное дело, что, насытившись, ведьмы и черти веселятся на всю катушку и занимаются неистовым развратом.

В славянской традиции эта ночь называется Живи на ночь, или Велесова. У европейцев это небезызвестная Вальпургиева ночь. По сей день живы дохристианские представления, что этой ночью можно увидеть своё будущее и осуществить связь с загробным миром посредством проведения определённых ритуалов.

Вместе с тем в христианском мире почитают жившую в VIII веке монахиню — святую Вальбургу (Вальпургу) Хайденхаймскую<sup>[388]</sup>. Она известна как покровительница моряков, крестьян, больных и рожениц. Святая Вальбурга сотворила много чудес, включая умиротворение взбесившихся собак. Встречаются её изображения с псом — символом проводника в мир мёртвых и с треугольным зеркалом, помогающим заглянуть и в будущее, и за черту смерти. В последнее воскресенье апреля празднуется перенесение мощей святой Вальбурги.

Ночь с 30 апреля на 1 мая также привлекает внимание астрологов. Они полагают, что сочетание Меркурия и Венеры в Овне устанавливает связь с прошлым. Эта связь активизируется с помощью

Платона, покровителя мёртвых. В эту ночь настезь открываются двери в иной мир и нет никаких препятствий для установления контактов с душами мёртвых.

В нынешние дни Вальпургиева ночь во многих странах Европы воспринимается как развлекательный праздник, посвящённый пришедшей весне. Как и в старые времена, люди жгут костры, проводят карнавалы и принимают участие в разнообразных игрищах.

И наконец, вспомню трагедию Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст».

Максим Кантор в своей выдающейся книге «Учебник рисования» для эпохи Просвещения не случайно нашёл убедительный и точный образ Вальпургиевой ночи: «То было время, когда телесные прихоти возвели в ранг духовных дерзаний, а либеральные умы это поощряли — в пику христианской догматике эпоха Возрождения оправдала язычество ХХ века. То было время нескончаемой Вальпургиевой ночи, воспетой лучшими умами, время “Исповеди” природолюбивого Руссо, “Орлеанской девственницы”, “Войны богов”, розовых будуаров Буше, сентиментальной похоти Ватто. Эпоха Просвещения не вызвала к жизни третье сословие, как обыкновенно говорят, нет, она поступила проще: всех произвела в третье сословие. Журден потому и может притвориться дворянином, что дворяне давно стали Журденами — а этикету обучиться несложно»<sup>6</sup>.

С Вальпургиевой ночью я в меру своих сил, кажется, разобрался. Впрочем, чуть было не забыл ещё об одном празднике, которого с нетерпением ждёт как персонал психиатрической лечебницы, так и её пациенты. Это 1 мая — День солидарности трудящихся всех стран. Он в наше время отмечается как День весны и труда. В 1985 году в этот день также не работали, шумно отмечали за

праздничным столом эту международную дату. Об этом празднике, как и о подобных ему, Венедикт Ерофеев выразился прямо и без всякого стеснения словами пророка Исая: «Праздники ваши ненавидит душа моя»<sup>7</sup>.

Второе название пьесы Венедикта Ерофеева «Шаги Командора». Смысловая связь Вальпургиевой ночи и истории Дон Жуана и Командора понятна. Одно впаяно в другое inferнальными страстями и напрямую соприкасается с потусторонним миром. Венедикт Ерофеев обратился к одному из самых распространённых сюжетов в мировой литературе.

Теперь перейду к «Шагам Командора». История о советских Дон Жуане и Командоре не стала бы такой уж головоломкой, как Вальпургиева ночь, если бы не одна загвоздка: сразу не поймёшь, кто в пьесе Венедикта Ерофеева Командор, а кто Дон Жуан. Выбирать приходится между двумя персонажами трагедии: пациентом психбольницы Еуревичем и медбратом Боренькой по кличке Мордоворот. А может быть, существовал ещё кто-то третий? Автор подаёт ситуацию, однозначно описанную в трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Каменный гость», немного зашифрованной. В ходе рассмотрения трагедии предложу свой ответ на этот непростой вопрос. Вот что писал в комментариях к этой «маленькой трагедии» известный пушкинист Сергей Михайлович Бонди: «“Каменный гость” посвящён анализу страсти; здесь это — страсть, судьба человека, сделавшего удовлетворение любовной страсти утверждением своей жизни. Образ Дон Гуана у Пушкина не похож на его предшественников в мировой литературе»<sup>8</sup>.

Образ Дон Гуана у русского поэта очень далёк от полумифического рыцаря Хуана Тенорио, фаворита кастильского короля Педро Жестокого [\[389\]](#).



Этот человек, дуэлянт, распутник и насильник, долго оставался безнаказанным. Причиной тому было то обстоятельство, что в свои любовные и дуэльные похождения он вовлёк кастильского короля. Потому-то он наводил ужас на всю Севилью, в то время как правосудие бездействовало. Однажды Дон Хуан похитил дочь командора ордена Калатавры Дона Гонсало де Ульоа и надругался над ней. В Испании это был первый рыцарский и католический орден, основанный в Кастилии монахами-цистерцианцами в 1157 году. Командор пытался защитить честь дочери, но был убит Хуаном Тенорио то ли во время словесной перепалки, то ли на дуэли. Как водится, в дальнейшем это событие обросло мистическими деталями. С годами его отзвуки перейдут из диминуэндо в крещендо. И возникнет сюжет, в духе сочинений нынешних «готов», тех, кто принадлежит к готической субкультуре, возникшей среди молодёжи 70-х годов прошлого века и до сих пор существующей в Германии.

Вернусь к сюжету фольклорной истории о Дон Хуане. Командора дона Гонсало де Ульоа похоронили в церкви. Проходя после службы мимо его надгробия, Хуан Тенория в насмешку над мёртвым пригласил на ужин его череп. Через некоторое время к нему в дом зашёл некто. Это было очень странное по виду существо, похожее на посланника загробного мира. Хуану Тенорио было объявлено, что череп командора Дона де Гонсало де Ульоа, в свою очередь, приглашает его на трапезу у могилы. Как достоверно известно, фаворит короля не дрогнул и отправился вслед за странным гостем. Ужин с черепом мертвеца для него закончился тем, чего следовало ожидать, — преисподней. Надругательство над миром мёртвых и неверие не проходят безнаказанно для святотатцев и обольстителей — вот основная мораль этой истории. Хочу подчеркнуть: с разворачиванием сюжета о

безбожнике и нечестивце судьба обещанной девушки уходит куда-то в сторону.

В жизни суд над этим «отморозком» из XIV века свершился не без Божьей помощи, а точнее, не без Божьих служек. Приблизительно в это время король Педро Жестокий был зарезан единокровным братом. Монахи (а скорее всего, рыцари ордена) от имени молодой и красивой девушки назначили Хуану Тенорио свидание в церкви, где был погребён командор Дон Гонсало де Ульоа, и там его убили. Со временем в старую легенду была внесена поправка. Обретший плоть череп заменили статуей. Такое нововведение создавало большую достоверность рассказываемой истории и усиливало зрительное впечатление от состоявшегося возмездия.

Пунктирно проследжу, как развивался миф о вечном обольстителе Дон Жуане, превратившемся под пером великих писателей в литературного героя. Венедикт Ерофеев с его обширной эрудицией опирался при написании своей трагедии не только на одного «Каменного гостя» А. С. Пушкина.

Первая литературная обработка мифа о Хуане Тенорио принадлежит монаху Габриэлю Тельесу<sup>[390]</sup>, известному под именем Тирсо де Молина. Он был последователем великого испанского драматурга Лопе де Веги<sup>[391]</sup>. Тирсо де Молина скрупулёзно придерживается сюжета легенды. Ведь его драма «Севильский озорник, или Каменный гость» возникла на основе субстрата хроник и народных преданий. В России она известна в переводе Константина Бальмонта. Хуан в трактовке Тирсо де Молины — воплощение порока. Он, не задумываясь, предаёт и с той же лёгкостью обманывает соблазнённых им простодушных женщин, нисколько не заботясь об их чувствах и будущем. Даже мысль об искуплении в нём

отсутствует. Под видом своего друга, маркиза, этот негодяй обманным путём оказывается в покоях его невесты, Доны Анны, дочери Командора. На крик Анны о помощи прибегает её отец, которого Дон Хуан убивает и спасается бегством. Вслед за этим преступлением он соблазняет крестьянку Анну. Вернувшись в Севилью, Дон Хуан случайно оказывается на кладбище у могилы убитого им Командора. Взяв за бороду Статую, он приглашает Командора на ужин. Статуя Командора является на этот ужин и в качестве ответного шага приглашает Дон Хуана к себе на могилу. После адской трапезы оба проваливаются в преисподнюю. Заключительная сцена происходит во дворце в присутствии короля, который, услышав о преступлениях своего фаворита, велит его казнить. Слуга Дон Хуана сообщает, что Божий суд над его господином уже свершился.

Пренебрежение к миру земному и загробному — следствие той безнаказанности, которая вошла у Дон Хуана в привычку, стала его второй натурой. В то средневековое время, да ещё при власти инквизиции, следовало думать о жизни вечной, а не о преходящих плотских утехах.

Комедию «Дон Жуан, или Каменный пир» Жан Батист Мольер написал в 1655 году. В ней образ главного героя совсем не похож на законченного мерзавца. Перед зрителями появлялся скорее распутный и беспринципный повеса, разбивающий женские сердца, неблагодарный сын, уставший слушать отцовские советы и наставления. Он с нетерпением ждёт, когда его занудный и беспокойный папаша Дон Луис отправится в лучший мир. Но Мольер создавал не трагедию, а нечто ей противоположное. Его Дон Жуан вызывает не отторжение, а интерес и даже уважение. Он логичен, насмешлив и остроумен. История Дон Жуана у Мольера дышит озорством, а не страстью

совершить очередное непотребство. Перед нами молодой повеса, который женится чуть ли не раз в месяц. Он покидает молодую жену, Донью Эльвиру, ещё недавно бывшую монашенкой, но ради него нарушившую данные ей Богу обеты, и устремляется вослед пленившей его новой красавицы.

Дон Жуан ничуть не обеспокоен, оказавшись в городе, где им был убит в честном поединке командор, Он оправдан судьёй, а до мести родственников убитого ему вообще нет дела. Это больше тревожит его слугу Сганареля, чем его. А на предупреждение слуги, что с небом шутики опасны, он находит большое число убедительных силлогизмов, из которых следует, что красота многообразна и негоже застревать на чём-то одном. Ведь шмели собирают пыльцу и нектар с разных цветов. Донья Эльвира пускается на поиски мужа и находит его. Она требует объяснений. Дон Жуан не собирается с ней что-то выяснять, а только советует вернуться в монастырь. На прощание Донья Эльвира предрекает ему неминуемую кару свыше.

На этом я остановлюсь. Всю комедию Мольера коротко не перескажешь. Её финал при всех новых поворотах сюжета нисколько не отходит от традиционной линии. Запас небесного милосердия истощается. Как убеждает своего мужа Эльвира, только раскаяние Дон Жуана может отвратить от него ужасную кару. Но всё бесполезно. И дальше — по накатанному сюжету: Статуя убитого Командора. Приглашение Дон Жуана на ужин. Ответное приглашение от Командора. Роковая встреча. Затем разверстая земля и поглощение ею грешника.

У другого великого драматурга, венецианца Карло Гольдони <sup>[392]</sup> в комедии «Дон Джованни Тенорио, или Распутник» (перевод А. В. Амфитеатрова) главный персонаж — воплощение порока. Его жизнь показана в

проявлении всего худшего, что в ней существует. Можно назвать ещё многих других талантливых писателей, кто взялся за тему Дон Жуана и воплотил её в своих пьесах. Из известных в России назову итальянцев Марио Антонио Серсале, графа Казамарчано<sup>[393]</sup>, автора комедии «Каменный гость» (перевод Н. К. Георгиевской) и Лоренцо да Понте<sup>[394]</sup>, написавшего либретто «Дон Жуан, или Наказанный развратник» (перевод И. Ф. Тюменева). Из немцев получили популярность Кристиан Дитрих Граббе<sup>[395]</sup> своей трагедией «Дон Жуан и Фауст» (перевод Н. А. Холодовского) и Николаус Ленау<sup>[396]</sup>, автор драматической поэмы «Дон Жуан» (перевод М. Л. Карпа).

У Александра Сергеевича Пушкина, как отмечает Сергей Бонди, Дон Гуан «не похож на его предшественников в мировой литературе». Известный пушкиновед утверждает: «Дон Гуан в “Каменном госте” показан как искренний, беззаветно увлекающийся, решительный и к тому же поэтически одарённый человек (он автор слов песни, которую поёт Лаура). Его отношение к женщинам — не отношение холодного развратника, профессионального обольстителя, а всегда искреннее, горячее увлечение. Он выступает “импровизатором любовной песни”, хотя большой опыт выработал у него сознательные приёмы обольщения женщин. Мы узнаем в пьесе об отношении его к трём женщинам — Инезе, Лауре и Доне Анне, и везде это отношение человеческое, далёкое от холодного цинизма мольеровского Дон Жуана»<sup>9</sup>.

Напомню читателю фабулу пушкинского шедевра. Пушкин называет имя своего героя «не на французский лад — Дон Жуан, а ближе к испанскому произношению — Дон Гуан (с придыхательным “г”), точнее было бы — Хуан»<sup>10</sup>.

Самовольно явившийся из ссылки Дон Гуан в сопровождении слуги Лепорелло ждёт у ворот Мадрида наступления ночи, чтобы под её покровом войти в город. Он, фаворит короля, был удалён из Мадрида как убийца Командора дона Альвара де Сольва. Дон Гуан не боится гнева короля, зная, что тот отправил его в изгнание, чтобы спасти от мести родных убитого. В ссылке ему скучно:

...я едва, едва  
Не умер там со скуки. Что за люди,  
Что за земля! А небо?., точный дым.  
А женщины? Да я не променяю,  
Вот видишь ли, мой глупый Лепорелло,  
Последней в Андалузии крестьянки  
На первых тамошних красавиц — право<sup>11</sup>.

Для него эти провинциальные дамы — «куклы восковые». Лаура заполняет его сердце. Ради неё он появился в Мадриде. Он узнаёт место, где находится, — это Антоньев монастырь, здесь гробница убитого им Командора, о чём он узнает от монаха, поджидающего вдову убитого — Дону Анну. Вскоре появляется сама Дона Анна «под вдовьим чёрным покрывалом». Дон Гуану не удаётся её рассмотреть, настолько её быстро уводит за собой монах. Оставшись одни, Дон Гуан и Лепорелло покидают монастырь и входят в Мадрид.

Действие маленькой трагедии Пушкина развивается стремительно. Во второй сцене в доме Лауры ужинают её друзья, среди которых её новый любовник Дон Карлос, брата которого убил Дон Гуан. Он чем-то напоминает Лауре её прежнего возлюбленного. Происходит короткая ссора между Лаурой и ним,

которая заканчивается примирением. Гости уходят, но вдруг появляется Дон Гуан. При виде его Дон Карлос называет себя и требует немедленного поединка. Несмотря на протесты Лауры, гранды сражаются, и Дон Гуан убивает Дона Карлоса. Лаура в смятении, но, узнав, что ради неё Дон Гуан появился в Мадриде, смягчается и бросается в его объятия.

В третьей сцене Дон Гуан после убийства Дона Карлоса находит убежище на кладбище Антоньева монастыря. В Испании почти во всех монастырях были кладбища. К тому же, находясь там, у него появляется возможность видеть «каждый день прелестную вдову»<sup>12</sup> — Дону Анну. Исполинская мраморная Статуя на могиле мало похожа на тщедушного человека, которым был при жизни Командор де Сольва. Появляется Дона Анна, и между ней и Дон Гуаном происходит беседа. Дон Гуан признается ей, что он не монах, а «жертва страсти безнадёжной», и получает приглашение посетить её дом. Благородное происхождение Дон Гуана и его простонародное поведение себя показать всем на удивление не соотносятся друг с другом. Его заносит окончательно, когда он обращается к Статуе Командора с самоубийственной просьбой прийти к его вдове «и стать на стороже в дверях». Этой кульминацией в развитии фабулы Пушкин заканчивает третью сцену трагедии.

В четвёртой сцене развязкой становится появление ожившей Статуи Командора. Дон Гуан уже признался Доне Анне, что он убийца её мужа:

Я убил  
Супруга твоего; и не жалею  
О том — и нет раскаянья во мне<sup>13</sup>.

Его признание, сначала приводящее Дону Анну в ужас, не может погасить в ней возбуждённую Дон Гуаном страсть. После поцелуя, которым она, прощаясь, одаривает Дон Гуана, входит Статуя Командора. Короткий диалог главного героя с его антагонистом завершает трагедию:

*Статуя*

Я на зов явился.

*Дон Гуан*

О боже! Дона Анна!

*Статуя*

Брось её,

Всё кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.

*Дон Гуан*

Я? нет. Я звал тебя и рад, что вижу.

*Статуя*

Дай руку.

*Дон Гуан*

Вот она... о, тяжело

Пожатье каменной его десницы!

Оставь меня, пусти — пусти мне руку...

Я гибну — кончено — о Дона Анна!

Проваливаются<sup>14</sup>.

Трактовка этой трагедии Александра Сергеевича Пушкина отличается разнообразием. Чего только о ней не писали советские критики и литературоведы. Вот,



например, среди многих суждений выделяется высказывание о ней пушкиниста Дмитрия Дмитриевича Благого<sup>[397]</sup>, поддержанное русским писателем, переводчиком, литературоведом Викентием Васильевичем Вересаевым, о «Каменном госте» как о «кладбищенском произведении», а в Дон Гуане обнаружившего черты некрофила. Приведу его аргументацию: «Все романтические встречи Дон Гуана происходят или на кладбище, или в присутствии покойника. В третьей сцене этот кладбищенский роман, роман “при гробе” развёртывается с полной силой... Приглашение (на ужин. — А. С.) вытекает не из чего иного, как из особо извращённого характера сладострастия Гуана, ведущего свои романы на кладбище, нашедшего “дикую приятность” в “посинелых губах” своей возлюбленной. Это специфическое сладострастие является той основой, на которой вырастает жуткое приглашение им Командора»<sup>15</sup>.

Не пришло ли время вынырнуть из текстов великих предшественников Венедикта Ерофеева и непредвзято взглянуть, какие идеи и ситуации он приберёт для себя, работая над трагедией «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»? Вполне естественно, что в результате всего, что он прочёл о Дон Жуане, проводя часы в Государственной исторической библиотеке, многое отложилось в его феноменальной памяти. Ситуации и типы того далёкого времени, разумеется, изменились, но не настолько, чтобы не быть узнаваемыми сегодня. К тому же сам Венедикт Ерофеев был также человеком страстей и в своей жизни следовал установке Бориса Пастернака: «Мы будем гибнуть откровенно». В этом он походил на Дон Хуана. Тем не менее свободу не ставил выше морали. Отношения с женщинами входили в важную сферу его жизни. Однако

сначала и прежде всего Венедикт Ерофеев в своих поступках сообразовывался с совестью. Короче, не мог он вслед за Сальери из трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» повторять, как попугай, его безбожное кредо: «Все говорят: нет правды на земле. / Но правды нет — и выше. Для меня / Так это ясно, как простая гамма»<sup>16</sup>. Венедикт Ерофеев скорректировал вторую часть его ригористического заявления: «Гуманности нет на земле, она где-то далеко, туманность в созвездии Андромеды»<sup>17</sup>.

Приведу ещё две выписки из «Записных книжек» автора трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Он вспомнил выдающегося испанского философа и писателя, баска по национальности, Мигеля де Унамуну<sup>[398]</sup>: «Унамуну различает две основные возможности существования: повседневная или тривиальная жизнь и жизнь трагическая, подлинная». И другая, созвучная первой, мысль из того же источника: «Личность — это человек, который страдает»<sup>18</sup>.

Венедикту Ерофееву, надо думать, было по душе находить у известных философов и писателей подобные максимы. Они не столько оправдывали тот образ жизни, который он для себя избрал, сколько укрепляли его волю. Он знал, как вести себя с людьми, о которых сказал: «У них харкотина вместо души, а вместо мозгов — блевота»<sup>19</sup>.

Ведь по вине подобных людей произошло с нашей родиной то, чему лучше бы не происходить. Так появилась в его блокноте страшная от безысходности запись: «Лишить нашу Родину-мать её материнских прав»<sup>20</sup>.

## **Глава двадцать седьмая ОЖИВШИЕ ХОДЯЧИЕ ИДЕИ И ЛОЗУНГИ**

Закончив трагедию «Вальпургиевая ночь, или Шаги Командора», Венедикт Ерофеев тут же оповестил Владимира Муравьёва о своих творческих планах. Ему было важно напомнить другу, что у него остался порох в пороховницах и что он ещё на многое способен:

«Достопочтимый Мур!

Отдаю на твой суд, с посвящением тебе, первый свой драматический опыт: “Вальпургиева ночь” (или, если угодно, “Шаги Командора”). Трагедия в пяти актах. Она должна составить вторую часть триптиха “Драй Нэхте”. Первая ночь, “Ночь на Ивана Купалу” (или, проще, “Диссиденты”) сделана пока только на одну четверть и обещает быть самой весёлой и самой губительной для её персонажей. Тоже трагедия и тоже в пяти актах. Третью — “Ночь перед Рождеством” — намерен кончить к началу зимы. Все Буаловские каноны во всех трёх “Ночах” будут неукоснительно соблюдены: Эрсте Нахт — приёмный пункт винной посуды; Цвайте Нахт — 31-е отделение психбольницы; Дритте Нахт — православный храм, от паперти до трапезной. И время: вечер — ночь — рассвет. Если “Вальпургиева ночь” придётся тебе не по вкусу, — я отбрасываю к свиньям собачьим все остальные ночи и сажусь переводить кого-нибудь из нынешних немцев. А ты подскажешь мне, кто из них этого заслуживает»<sup>1</sup>.

Известен комментарий Владимира Муравьёва о трагедии Венедикта Ерофеева, изданный после смерти автора как предисловие к его собранию сочинений в

двух томах: «Персонажи “Вальпургиевой ночи” — застывшие маски, как нельзя более уместные в трагедии (или трагикомедии) античного толка. Это чистая трагедия рока: в ней тоже, собственно, ничего не происходит, кроме дружного отравления палаты психиатрической лечебницы метиловым спиртом, — но превращается оно в пляску смерти и гибельное действие, достойно завершающее игры воображения персонажей. Каждый из них выполняет своё речевое задание — и умирает либо пропадает за сценой. Два ерофеевских затейника организуют, направляют и комментируют действие... И как в “купе” электрички, следующей в Петушки и подвозящей Веничку к гибели, в палате становится празднично. Празднуется встреча со смертью. Метиловый спирт вкушается, как причастие, и действительность (не больничная, а историческая, “современная”, советская) претворяется в мистерию»<sup>2</sup>. В этом отклике на пьесу Владимир Муравьёв удивил меня её абсолютным непониманием.

Трагедия Венедикта Ерофеева написана в канун горбачёвской перестройки. В ней обозначено состояние советского общества за шесть лет до катастрофы. Впервые она была напечатана в Париже в журнале «Континент» (№ 45) за 1985 год его основателем и главным редактором Владимиром Максимовым. Этот журнал был ведущим изданием «третьей волны» эмиграции.

Представляю, как при появлении трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» взволновались обожатели Венедикта Ерофеева из так называемой «русской партии». Самое разумное, что они тогда сделали, — это объявили ерофеевскую пьесу слабым подражанием роману американского писателя Кена Кизи<sup>[399]</sup> «Пролетая над гнездом кукушки» и на том успокоились. Действие романа кумира поколения

битников и хиппи происходит в психиатрической больнице. Безусловно, между романом и пьесой существует некоторое сходство, но не по существу, а чисто внешнее.

Венедикт Ерофеев сделал по этому случаю запись: «Поступают охлаждающие суждения о драме («Вальпургиева ночь». — А. С.): плагиат “Кукушкиного гнезда”; “этот человек внимательно смотрит программу ‘Время’ ”»<sup>3</sup>.

Поэт Виктор Кривулин полагал, что в «Вальпургиевой ночи, или в Шагах Командора» содержится полемика Венедикта Ерофеева с чуждым ему американским взглядом на свободу личности. С таким предположением трудно согласиться. Убеждён, что трагедия абсолютно о других материях, о которых сказал Владимир Муравьёв. Однако для полноты картины ознакомлю читателя с точкой зрения Виктора Кривулина: «Ерофеев работал над своей пьесой как раз в те дни, когда в Москве на видеокассетах начал демонстрироваться фильм Милоша Формана “Пролетая над гнездом кукушки”, вызвавший дискуссии на интеллигентских кухнях. Элементы полемики с американской концепцией индивидуальной свободы достаточно чётко прослеживаются и в сюжетной канве, и, главное, в принципах организации пьесы, где главный предмет изображения — бунт личности, переходящий в восстание коллективного бессознательного, — воплощается с помощью подчёркнуто архаической стилистики, отсылающей современного зрителя к забытой эстетике классицизма»<sup>4</sup>.

Вместе с тем Виктор Кривулин точно указал на литературные и музыкальные источники трагедии. Он определил их как «высокие образцы» мировой культуры: «Это “Фауст” Еёте и “Маленькие трагедии”

Пушкина, поэзия Блока и симфонические сочинения поздних романтиков (Е. Берлиоз, Г. Малер, Брукнер). Мотивы этих произведений в пьесе Ерофеева проецируются в хаос бытового советского сознания, трагестируются, приобретают фарсовое звучание и полуматерную-полугазетную, агитационно-шалманную языковую аранжировку»<sup>5</sup>.

Проблема психически нездоровых людей в СССР была исключительно острой. Из «Записки А. Н. Косыгину от 18 мая 1979 года»: «За последние годы число психических больных увеличивается. В 1978 году их состояло на учёте 4 млн 486 тысяч, из которых 75 тысяч человек, по оценке специалистов, считаются социально опасными»<sup>6</sup>. Венедикту Ерофееву незачем было оглядываться на иноземные образцы. Он уже сам побывал в «психушке» и догадывался, что оберегающий его «Ю. В. Андропов был основным проводником идеи госпитализации сотен тысяч “инакомыслящих”... в “психиатрический ГУЛаг”»<sup>7</sup>. В Москве для них существовала специальная больница № 7. Анатолий Прокопенко приводит показания одного из санитаров этой больницы, художника Геннадия Доброва: «В приёмной Президиума Верховного Совета СССР людей, которые приезжали с проектами “переустройства общества”, “направляли в седьмое окошко. А там уже ждал психиатр. “Переустройщиков” отвозили в психушку. Продержав с месяц, этапировали по месту жительства»<sup>8</sup>.

Венедикт Ерофеев не собирался создавать психологическую драму. Пьеса, которую он обозначил трагедией, не что иное, как сатира. В ней обличались и высмеивались основные установки советской идеологии, не соотнесённые с жизнью, а также существующая в массовом сознании советских граждан ксенофобия. Одной из её разновидностей выступал из

тьмы веков антисемитизм, выживший в государстве рабочих и крестьян, где приоритетной ценностью декларировался интернационализм.

Задача, поставленная писателем перед собой, была сложной и неблагодарной. Это Венедикт Ерофеев понимал и нашёл слова, какая драматургия ему будет по душе и какими художественными средствами он собирается взволновать зрителя: «Не смех со слезами, но утробное ржание с тихим всхлипыванием в подушку, трагедию с фарсом. Музыку со сверхпрозаизмом, и так, чтоб это было исподтишка и неприметно. Все жанры слить в один, от рондо до пародии, на меньшее я не иду»<sup>9</sup>.

То, что в трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» лежит на поверхности, никто в упор не замечает. Ни правые, ни левые, ни центристы. Сказать об этом громко считается верхом неприличия. А точнее — нарушением политкорректности. И даже хуже того: может быть истолковано как разжигание национальной розни. Тема, заявленная автором уже в начале первого акта, в самом деле деликатная — отношение к евреям в нашей стране. С ней был знаком каждый советский еврей, хоть раз в жизни заполнявший анкету, пятым пунктом которой был вопрос о национальности.

Двое из персонажей трагедии — евреи. Это старший врач Игорь Львович Ранинсон и главный герой Лев Исаакович Гуревич. Пациент больницы Серёжа Клейнмихель, обозначенный автором как тихоня и прожектёр, носит фамилию, относящуюся к известному в России немецкому графскому роду. Знаменитым его представителем был министр путей сообщения Пётр Андреевич Клейнмихель<sup>[400]</sup>, фаворит небезызвестного Алексея Андреевича Аракчеева<sup>[401]</sup>, возведённый за безупречную службу в графы. Тихий Серёжа, обладающий скопческим характером, не случайно носит

фамилию Петра Андреевича Клейнмихеля. У Петра Андреевича был физический недостаток — эректильная дисфункция, в связи с чем он не мог исполнять свой супружеский долг. Он требовал от своей жены благосклонного отношения к своему благодетелю — графу Аракчееву.

Все фамилии, упомянутые в трагедии, символичны и расширяют её смысловое пространство. За именами действительно существовавших или литературных персонажей стоят их биографии, их репутация в обществе, а также их жизненное кредо. Таких персонажей в трагедии Венедикта Ерофеева немного.

Например, в предваряющих первый акт ремарках автора возникает фамилия композитора Георгия Свиридова. Приведу контекст, в котором она появляется: «Слева от зрителя — жюри: старший врач приёмного покоя, смахивающий на композитора Георгия Свиридова, с почти квадратной физией и в совершенно квадратных очках»<sup>10</sup>.

Упоминание Венедиктом Ерофеевым имени этого великого русского композитора, лауреата самых престижных советских премий, не случайно. В то время в кругах творческой интеллигенции ходили по рукам отрывки из дневника Георгия Свиридова, изданного через 17 лет под названием «Музыка как судьба»<sup>[402]</sup>. В этом дневнике у Георгия Свиридова содержалось немало высказываний, которые можно назвать антисемитскими. Как уже говорилось, Венедикт Ерофеев любил музыку Свиридова, но в отношении к композитору порой проявлялась ирония. В «Записных книжках 1960-х годов» читаем: «Предложить комп. Г. Свиридову написать вокальный цикл на тексты лучших сальных анекдотов»<sup>11</sup>.

Один из пользователей Интернета пишет: «Вновь начал читать дневники Георгия Свиридова. Благодаря



им передо мной открывается совершенно другой человек. Раньше это был для меня просто гениальный композитор, а стал озлобленный антисемит, антисоветчик и антилиберал. Даже не антисоветчик, а совок до мозга костей, обернувшийся антисоветчиком. Этаким совок с фигой в кармане»<sup>12</sup>.

Не могу полностью согласиться с этим прямолинейным заявлением. Георгий Васильевич Свиридов был человеком эмоциональным и многослойным, как всякий гений. В своих «летучих» записях, составивших книгу «Музыка как судьба», он дал одним и тем же людям и важнейшим историческим событиям противоположные оценки. Мог, например, Марину Цветаеву ошельмовать и как поэта, и как женщину. Да и к Владимиру Маяковскому, Анне Ахматовой и Осипу Мандельштаму относился с какой-то утробной ненавистью. По складу своего характера Венедикт Ерофеев был его антиподом. Цветаевскую поэзию он действительно любил и вряд ли нашёл бы общий язык с композитором.

Венедикт Ерофеев решил двоякую задачу, наделив старшего врача Игоря Львовича Ранинсона жёсткими чертами внешности Георгия Свиридова, получившего из-за своих высказываний в дневнике репутацию ксенофоба. Он отмежевался от антисемитских взглядов композитора и одновременно дал понять зрителю, что перед ним на сцене распространённый в СССР тип «еврея-приспособленца», как в то время говорили — «государственного еврея». Разумеется, «старший врач» — не государственный деятель, как Лазарь Моисеевич Каганович, но всё же в стенах психиатрической больницы для пациентов он царь и бог. И Ранинсон свою власть тут же демонстрирует, направив Льва Гуревича после его ответов на задаваемые им вопросы в 3-ю палату больницы. Если проводить параллель 3-й палаты

с пенитенциарным учреждением, это будет исправительно-трудовой лагерь со строгим режимом.

Вместе с тем Игорь Львович Ранинсон осознает, как и Георгий Васильевич Свиридов, преступления вождей большевизма перед многонациональным советским народом.

Сделаю небольшое отступление и обращусь к статье Владимира Бондаренко «Подлинный Веничка. Разрушение мифа», опубликованной в 1997 году в седьмом номере журнала «Наш современник». Критик пытается превратить писателя в антисемита, выдёргивая цитаты из высказываний персонажей трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»: «Он признает “жестоковость народа-избранника”, смеётся над парой еврейских любовников — Сакко и Ванцетти и даже издевательски бросает: “пукать надо чуть картаво, с еврейским акцентом”. Слово “жид” никогда не исчезает из его лексикона. При этом Ерофеев, увы, легко повторяет все еврейские шуточки, связанные со словом “Родина”. Этакая люмпенская широта восприятия»<sup>13</sup>.

Не один Владимир Бондаренко придерживается мнения об антисемитизме писателя. Например, Михаил Хлебников, автор полемической статьи «Венедикт Ерофеев, или Хризантема на тахте» в «Сибирских огнях» (№ 10, 2019), полагает, что у него «внешнее показное почтение перед евреями сочетается с откровенным антисемитизмом»<sup>14</sup>. Критик делает такое умозаключение на основе выписки из ерофеевских блокнотов по поводу революции в Германии и Венгрии: «90 процентов всех ответственных и руководящих постов — евреи. “Красный террор”. Вожди четырёхчленный ЦК: все четверо — евреи. Ниссен — Левине — Эйслер — Толлер — Ландауэр. В том же 19 г. — венгерская большевистская республика,

возглавляемая евреем Бэла Куном. Бэла Кун и сотрудники его бегут в Россию, см. кровавую ликвидацию ими в Крыму остатков врангелевской армии и беженцев»<sup>15</sup>. Как представляется Михаилу Хлебникову, он наносит сокрушительный удар по репутации Венедикта Ерофеева, когда комментирует эту выписку: «За проявление такой неправильной эрудиции можно и лишиться расположения прогрессивно мыслящей интеллигенции. Это вам не пуговицы Талейрана пересчитывать. Поэтому только в записях. Для себя»<sup>16</sup>.

Вот уж не думал не гадал, что в 2019 году найдутся среди критиков в России эпигоны Андрея Александровича Жданова.

Прочитав статью Михаила Хлебникова, мистическим образом, по ассоциации вспомнил Берлиоза из «Мастера и Маргариты», зная доподлинно, что к этому роману Михаила Булгакова Венедикт Ерофеев относился скептически: «Турникет ищите, гражданин?» И далее по тексту.

И ещё вспоминается из тех же «Записных книжек» простодушный вскрик Венедикта Ерофеева в сторону злопыхателей: «Это за что же меня шельмовать? Я ведь попросту, без всяких экивоков»<sup>17</sup>.

Не меняется мир людей. Вспомним Уильяма Шекспира. Высказывание Лаэрта в третьей сцене первого акта «Гамлета»: «И сама добродетель не избегает царапин клеветы».

К чести Владимира Бондаренко, он вовремя спохватывается, понимая, что материала для доказательств принадлежности Венедикта Ерофеева к антисемитам у него явно не хватает, и берёт себе в помощь повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Но кончилась она тем, чем и должна кончиться. Превращением в некоего Шарика-Прохорова,

восхищённо исполняющего команды Швондера-Гуревича и восторженно гибнущего со всей своей командой восторженных идиотов. Сейчас критики пробуют убедить читателей Ерофеева, что в пьесе «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» автор именно себя трактует как Гуревича»<sup>18</sup>. Поскольку концы с концами у Владимира Бондаренко не сходятся, он завершает свой разбор трагедии суровым вердиктом: ««Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» — это художественная неудача автора»<sup>19</sup>.

Не о таких ли критиках, как Владимир Бондаренко, Венедикт Ерофеев сказал как отрезал: «С этими людьми мне НЕ О ЧЕМ ПИТЬ»<sup>20</sup>.

Я же попытаюсь убедить читателя в том, что трагедия «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» ничуть не умаляет таланта её автора. Как драматург он создал выдающееся произведение, достойное его репутации порядочного человека. В отношении с людьми Венедикт Ерофеев руководствовался моральными критериями, а не этническими или классовыми. Как он записал в одной из своих тетрадок: «Стыд — лучшее из числа “благородных чувств”»; «Можно завидовать мертвецам во многом, но только не в том, что они срама не имеют»<sup>21</sup>. К этому добавлю ещё одно его признание: «Я с каждым днём всё больше нахожу аргументов и всё больше верю в Христа. Это всеильнее остальных эволюций»<sup>22</sup>.

Вновь вернусь к тексту трагедии. Какие же вопросы задаёт старший врач и какие ответы Льва Гуревича заставляют его принять жёсткое решение направить словоохотливого пациента в 3-ю палату?

Все первые вопросы носят анкетный характер, и ответы пациента должны подтвердить, что Гуревич на самом деле Гуревич, а не Шнеерсон, например. Ранинсон хочет знать, кто его родители и какой они

национальности, кого из них он больше любит, на какие средства живёт. Затем идут вопросы, имеющие отношение к психиатрии: случаются ли у Гуревича «какие-нибудь наваждения, иллюзии, химеры, потусторонние голоса...?»<sup>23</sup>.

Родители у Гуревича живы. Отца зовут Исааком Гуревичем, а мать Розалией Павловной. Его отец еврей, а мать русская. На вопрос врача, кого он больше любит, Гуревич отвечает, что отца. Этот ответ убеждает Ранинсона, что перед ним действительно психически нездоровый человек, а не симулянт-алкоголик. Он обращается к медсестре, записывающей ответы Гуревича: «Отметьте у себя. Больше любит папу-еврея, чем русскую маму...»<sup>24</sup> Почему он приходит к такому заключению? Причина проста, как «Пионерская правда», — говорили во времена Венедикта Ерофеева. Только ненормальный или не от мира сего человек (что, по существу, одно и то же) собственноручно лишает себя многого, что было бы ему доступно, если в графе «национальность» стояло бы «русский».

Коварством отдаёт каверзный вопрос старшего врача о том, как поступит Гуревич, если на родину нападёт враг. Этот вопрос не случайный. Он возникает после его рассказов, что ему компанию в выпивке составляют князь Голицын, виконты и внук графа Льва Толстого. Приведу часть этой беседы:

«Доктор. А как вам Жозеф де Местр? Виконт де Бражелон? Вы бы их пригласили под забор, шлёпнуть из горла... этой... как вы её называете... бормотухи?..

Гуревич. Охотно. Но чтобы под этим забором были заросли бересклета... И — неплохо бы — анемоны... Но ведь, ходят слухи, они уже все эмигрировали...

*Доктор.* Анемоны?

*Гуревич.* Добро бы только анемоны. А то ведь и бражелоны, и жозефы, и крокусы. Все-все бегут. А

зачем бегут? А куда бегут? Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится — так это запрет на скитальчество. И... неуважение к Слову. А во всём остальном...

*Доктор (полномочный тон его переходит в чрезвычайный).* Ну, а если с нашей Родиной стрясётся беда? Ведь ни для кого не секрет, что наши недруги живут только одной мыслью: дестабилизировать нас, а уж потом окончательно... Вы меня понимаете? Мы с вами говорим не о пустяках»<sup>25</sup>.

Гуревич, как опытный и словоохотливый демагог, легко забалтывает заданный ему старшим врачом Ранинсоном вопрос. Однако делает ряд промахов. Так он позволяет себе допустить недопустимую даже в мыслях ситуацию: «Когда Родина окажется на грани катастрофы, когда она скажет: “Лева! Брось пить, вставай и выходи из небытия”, — тогда... И тут же слышит указание врача медсестре: “Запишите и это”»<sup>26</sup>.

Прибавлю ещё одну крамольную фразу Гуревича во время его опроса Ранинсоном. На этот раз при ответе на вопрос о своём общем состоянии Гуревич затрагивает болезненную тему ограниченного суверенитета стран народной демократии: «...Мне странно сказать... Такое странное чувство... Ни-во-что-не-погруженность... ни-в-чём-не-взволнованность... И как будто ты с кем-то помолвлен... а вот с кем, когда и зачем — уму непостижимо... Как будто ты оккупирован-то по делу, в соответствии с договором о взаимопомощи и тесной дружбе, но всё равно оккупирован... и такая... ничем-вроде-бы-не-потревоженность, но и ни-на-чём-не-распятость... ни-из-чего-неизблеванность. Короче, ощущаешь себя внутри благодати — и всё-таки совсем не там... ну... как во чреве мачехи...»<sup>27</sup>

Ранинсона на мякине не проведёшь. Он прекрасно понял, на что намекает Гуревич: «Вам кажется,

больной, что вы выражаетесь неясно. Ошибаетесь. А это гаерство в вас посшибут. Я надеюсь, что вы, при всей вашей склонности к цинизму и фанфаронству, — уважаете нашу медицину и в палатах не станете буйствовать»<sup>28</sup>.

Венедикт Ерофеев в трагедии затрагивает тему принудительного помещения инакомыслящих в психиатрические больницы. Вот каким образом пытается унять красноречие Гуревича старший врач Ранинсон, объявив, что пролежать ему в психушке придётся с полгодика: «А почему вы удивляетесь, больной? У вас прекрасный наличный синдром. Сказать вам по секрету, мы с недавнего времени приступили к госпитализации даже тех, у кого — на поверхностный взгляд — нет в наличии ни единого симптома психического расстройства. Но ведь мы не должны забывать о способностях этих больных к произвольной или хорошо обдуманной диссимуляции. Эти люди, как правило, до конца своей жизни не совершают ни одного антисоциального поступка, ни одного преступного деяния, ни даже малейшего намёка на нервную неуравновешенность. Но вот именно этим-то они и опасны и должны подлежать лечению. Хотя бы по причине их внутренней несклонности к социальной адаптации...»<sup>29</sup>

В приведённых мною отрывках наряду с персонажем Александра Дюма из заключительной, третьей части романа о мушкетёрах и Д'Артаньяне «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» упоминается историческая фигура Жозефа де Местра<sup>[403]</sup>, католического философа-провиденциалиста, писателя, дипломата и политического деятеля. Он пробыл в России 14 лет в качестве посланника сардинского короля, лишившегося своих владений, но поддерживающего отношения с

некоторыми европейскими монархами. Ему принадлежат трактаты «Рассмотрение философии Бэкона», «Размышления о Французской революции», «Четыре неизданные главы о России». В предисловии к русскому изданию сочинений Жозефа де Местра В. Котельников пишет: «В своей книге “Размышления о Французской революции”, принёсшей автору европейскую известность, он называет революцию “сатаническим” явлением и считает её карой за грехи, но карой, очищающей от накопившегося во Франции зла и освобождающей ум и волю для возрождения богоустановленного порядка. Подобное значение он впоследствии признает и за деспотической властью Наполеона, подготовившего почву для реставрации монархии, что бессильны были сделать Бурбоны»<sup>30</sup>.

Николай Бердяев назвал Жозефа де Местра «пламенным реакционером». Вот что он писал о нём: «Ж. де Местр, романтическое движение начала XIX века было реакцией против французской революции и просвещения XVIII века, но это было творческим движением вперёд, оплодотворившим всю мысль последующего века»<sup>31</sup>.

Что может быть общего между Жозефом де Местром и виконтом де Бражелоном? На первый взгляд конечно же — ничего! А присмотримся повнимательнее и увидим, что связь между ними, какая-никакая, а всё-таки есть! Все мы, читатели Венедикта Ерофеева, должны раз и навсегда уяснить себе, что он в своих произведениях слова впустую не разбрасывал. Каждое его слово в создаваемом им тексте, как зерно, произрастает и даёт всходы.

Так и здесь. Роман Александра Дюма предопределяет финал трагедии Венедикта Ерофеева, а Жозеф де Местр её содержание.



Начну с книги Александра Дюма. Трое из его главных героев погибают. Это Портос, Рауль де Бражелон, внебрачный сын Атоса, и Д'Артаньян. Атос умирает не на поле брани, а в постели. В живых остаётся один Арамис. У Венедикта Ерофеева умирают все пациенты 3-й палаты, кроме отравившего их Гуревича. Впрочем, последнего добивает медбрат Боренька по кличке Мордovorot.

Жозеф де Местр умер в собственной постели. Появление столь известной фигуры в начале трагедии связано не столько с развитием сюжета трагедии, сколько с его теорией революции. Всякая революция, по мысли Жозефа де Местра, выявляет тех, кто покушается на верховную власть якобы во имя народа. Божественный замысел состоит в том, чтобы очистить государство от этих социальных элементов. Венедикт Ерофеев, скажу прямо, взял за основу своей трагедии эту идею Жозефа де Местра<sup>[404]</sup>, которую он трансформировал, восприняв в общем виде. Ко всем интересам и увлечениям Жозефа де Местра, апологета гражданской (и не только) войны как фактора прогресса, способной очистить народы от бесполезных элементов, прибавлю ещё его принадлежность к масонской ложе мартинистов. Во Франции он считал такими элементами выродившееся либеральное дворянство и часть духовенства. Здравый смысл представителей этих двух сословий, как он был убеждён, свели на нет своими идеями Вольтер, Монтескьё, Жан Жак Руссо, Дени Дидро и другие философы эпохи Просвещения<sup>32</sup>.

Венедикт Ерофеев взял у Жозефа де Местра его главную мысль и сделал пациентов 3-й палаты «бесполезными элементами», носителями основных большевистских идей, идеологических штампов и внушаемых фобий. В палате, куда попадает Гуревич,

помимо цветного телевизора находятся кенар с канарейкой, которые «помалкивают — поскольку завтра Первомай», и попугай, который «родом, говорят, из Хиндустана».

Прохоров, староста 3-й палаты и диктатор 2-й, имитирует внесудебные органы, которые жесточайшим образом расправлялись с враждебными элементами. Это ВЧ К, ГПУ, ОГПУ, УНКВД, НКВД, МГБ, особые совещания, «двойки», «тройки» и т. п. Настоящую власть представляет, помимо старшего врача Ранинсона, медбрат Боренька по кличке Мордоворот. Прохоров вовсе не Шариков, как полагает критик Владимир Бондаренко, как и Гуревич — не Швондер. Он представляет тип человека, работающего в хозяйственной службе Исправительно-трудового учреждения (ИТУ) и в криминальной среде известного как «придурак». Ему единственному в палате позволено носить часы. Прохорову необходимо сохранять хорошие отношения как с начальством, так и с пациентами психушки.

Гуревич оказывается в 3-й палате, когда в ней идёт суд и расправа над «“контр-адмиралом” КГБ Михалычем (он же боцман КГБ и мичман того же учреждения)». Прохоров обвиняет его в многочисленных преступлениях. А именно: «в продаже на Преображенском рынке наших Курил», «в намерении запродать ЦРУ карту питейных торговых точек Советского Союза» и «попутно — нашу синеглазую сестру Белоруссию — расчленив и отдать на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову»<sup>33</sup>. Он беспощаден в своей революционной правоте и лепит на него следующие ярлыки: «антипартийный руководитель», «антинародный герой», «антигосударственный деятель», «ветеран трёх контрреволюций», «антикремлёвский мечтатель», «изменник Родине и

помыслом, и намерением»<sup>34</sup>. Из обвинительной речи Прохорова: «...мы живём в такие суровые времена, когда слова типа “снисхождение” разумнее употреблять пореже. Это только в военное время можно шутить со смертью, а в мирное время со смертью не шутят. Трибунал. Именем народа боцман Михалыч, ядерный маньяк в будёновке и сторожевой пёс Пентагона, приговаривается к пожизненному повешению. И к условному заточению во все крепости России разом!»<sup>35</sup>

Боцман Михалыч не уступает ему в знании советского «молитвослова»: «Москва — всем столицам голова, в Кремле побывать — ума набрать, от ленинской науки крепнут разум и руки, СССР — всему миру пример, Москва — Родины украшение, врагам устрашение, кто в Москве не бывал — красоты не видал, за коммунистами пойдёшь — дорогу в жизни найдёшь, советскому патриоту любой подвиг в охоту, идейная закалка бойцов рождает в бою молодцов»<sup>36</sup>

Сколько тогда накопилось в сознании моих соотечественников подобного словесного мусора! Выше Эльбруса! Кое у кого он остаётся в головах до сих пор. Что тут скажешь? Проблема любого мусора малоприятная и плюс ко всему одна из самых трудноразрешимых в современном мире.

А теперь пройдемся по списку пациентов психиатрической больницы, персонажей трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора».

Прежде всего, это толстый оруженосец Прохорова Алёха с глазами-фурункулами по кличке Диссидент. Именно он скрутил полотенцем руки за спиной «контр-адмиралу» КГБ Михалычу (он же боцман и мичман) и поверг его на колени. Он вместе со своим шефом вершит над ним суд. Диссидентство Алёхи заключается в том, что он выстреливает на тех, кто ему не нравится,

соплёй. Прохоров пытается всякий раз его образумить: «А ты не находишь, Алёха, что твоя метода борьбы с мировым злом... ну, несколько неаппетитна, что ли... Мы всё понимаем, дело в белых перчатках не делают... Но с чего ты решил, что коль уж перчатки не кровавые, так они непременно должны быть в говне, соплях или блевотине? Ты пореже читай левых... итальяшек всяких...»<sup>37</sup>

Кроткий Вова с «пунцовым кончиком носа», названный Венедиктом Ерофеевым «старичком из деревни», а медсестрой Тamarой «засратым сморчком». Он постоянно находится в горизонтальном положении. Вова — жертва коллективизации, судя по некоторым деталям — узник ГУЛага, фронтовик, тоскующий по своей давно покинутой деревне: «Только я домой очень хочу... там сейчас медуницы цветут... конец апреля... Там у меня, как сойдёшь с порога, целая поляна медуниц, от края до края, и пчёлки уже над ними...»<sup>38</sup> Дедушка Вова с тонкой поэтической и доброй душой: «Сидишь на голом полу, а сверху кап-кап, кап-кап, а мышки так и бегают по полу: шур-мур, шур-мур, бывает, кого-нибудь из них пожалеешь, ухватишь и спрячешь под мышку, чтоб обсохли-обогрелись. А напротив — висят два портрета, я их обоих люблю, только вот не знаю, у кого из них глаза грустнее: Лермонтов-гусар и товарищ Пельше... Лермонтов — он ведь такой молодой, ничего не понимает, он мне говорит: "Иди, Вова, в город Череповец, там тебе дадут бесплатные ботинки". А я ему говорю: "А зачем мне ботинки? Череповец — он у-у-у как далеко... Получу я ботинки в Череповце — а куда я дальше пойду в ботанках? Нет, я уж лучше без ботинок..." А товарищ Пельше тихо мне говорит, под капель: "Может, это мы виноваты в твоей печали, Вова?" А я говорю: "Нет, никто не виновен в моей печали"»<sup>39</sup>.

Арвид Янович Пельше<sup>[405]</sup> и Михаил Юрьевич Лермонтов появляются в трагедии с определённым авторским умыслом. Венедикт Ерофеев соединяет по контрасту добрый и совершенно непрактичный совет поэта и провокационный вопрос члена Политбюро ЦК КПСС и председателя Партийного контроля при ЦК КПСС. Признать вину высшего руководства КПСС за свою печальную судьбу означает для дедушки Вовы вновь загреметь туда, где он уже однажды побывал. Присутствие в тексте пьесы имени Михаила Лермонтова подчёркивает поэтичность натуры старичка Вовы. Стоящая рядом с его ложем койка принадлежит Коле, которого определили в эстонцы и уже несколько лет держат в психушке. Судя по всему, он относится к Международному обществу сознания Кришны. С его языка не сходят такие понятия, как дхарма, истина и самоограничение.

Коля и кроткий старичок Вова, как отмечает автор, лёжа на соседних койках, держат друг друга за руки. Неподаляку от них находится Серёжа Клейнмихель, вполне юный молодой человек, которого я уже однажды называл. Он повредился рассудком после того, как его однопалатник комсорг Пашка Ерёмин, который откликается на имя Гриша, «поозоровав с его матерью», её убил и расчленил. Сам комсорг Паша-Гриша этот факт отрицает.

Из молодёжи в 3-й палате я ещё не назвал Витю и Стасика. Витя съедает всё что ни попадя. От шашек, шахматных фигур и до домино. Стасика волнуют глобальные проблемы. К тому же он вспоминает об оранжерее, в которой находятся, по его уверению, несколько собственноручно им выведенных цветочных сортов. Это «пузанчик-самовздутыш-дармод» с «вогнутыми листьями», «стервоза неизгладимая» — названная так потому, что с начала цветения «ходит во

всём исподнем», и «лахудра пригожая вдумчивая». Лучшие их махровые сорта: «Мама, я больше не могу», «Сихотэ-Алинь» и «Фу-ты ну-ты»<sup>40</sup>. Вот основные темы речей Стасика, взятые из различных информационных программ радио и телевидения: «Да! Ничего на свете нету важнее спасения дерев! Придёт оккупант — а где наша интимная защита? Интимная защита учёного партизана? А в чём она заключается? — а вот в чём: учёный партизан посиживает и похаживает, покуривает и посвистывает. И наводит ужас на прекрасную Клару»; «Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему Божество медлит с воздаянием?»; «У нас есть о чём побеседовать: массированное давление на Исламабад, подводные лодки в степях Украины! И — вдобавок ко всему — насильник дядя Вася в зарослях укропа. И марионетка Чон Ду Хван, он всё мечтает стереть Советскую Россию с лица земли. Но разве можно стереть то, у кого так много-много земли — и никакого-никакого лица? Вот до чего доводит узкоглазость этих чондухванов...»<sup>41</sup>.

У Стасика есть одна особенность: он постоянно «деревенеет у окна палаты с выкинутым вверх кулаком “рот-фронт”»<sup>42</sup>.

Следующий своеобразный персонаж — Хохуля, сексуальный мистик и сатанист, постоянно впадающий в протрацию. Он присутствует в трагедии как статист, не произнёсший ни единого слова на протяжении всего действия пьесы. Его присутствие напоминает отсутствие и непричастность ко всему, что вокруг него. Лишь единожды «палата оглушается криком, никем в палате ещё не слыханным»<sup>43</sup>. Это вопль бедолаги Хохули во время высоковольтного электрошока, осуществляемого доктором Ранинсоном. И умирает Хохуля первым из всех пациентов палаты, «выпив-то всего-навсего грамм 115»<sup>44</sup>.

Из многих критиков и литературоведов Лиля Панн<sup>[406]</sup> чуть ли не единственная заявила: «У Венедикта Ерофеева трагедию “Вальпургиева ночь, или Шаги Командора” я люблю больше “Москвы — Петушков”. Вернее, “Петушки” с Веничкой люблю, а “Вальпургиеву” с Гуревичем обожаю»<sup>45</sup>.

Прочитав эссе Лили Панн «Трагедия в двух жанрах — Венедикта Ерофеева и Иосифа Бродского. К 80-летию Венедикта Ерофеева», я воспрянул духом — не один я оказался таким проникательным!

Эту главу я завершу обширной выпиской из эссе Лили Панн:

«Гуревич, полурусский-полуеврей, чего вполне достаточно, чтобы медперсонал и пациенты психушки числили его в жиденках, попадает в дурдом “по подозрению в суперменстве”. “Вы правы до таких-то степеней: / Да, да. Сверхчеловек я, и ничто / Сверхчеловеческое мне не чуждо”. Говорит ли он прозой или переходит на ямбы (жанр-то трагедия!), Гуревич смертельно несерьёзен, но в иные сумеречные моменты и он раскрывает свою душу:

Я, громкий отрок, не подозревал,  
Что есть людское, жидовское горе.  
И горе титаническое...

“Горе титаническое”, противопоставленное “людскому” (через запятую с “жидовским”: “ибо для каждого, кто не гад, / Еврейский погром — / Жизнь”; Цветаева была любимым поэтом Ерофеева, как и Бродского), ведёт к титану Прометею, принёсшему человечеству огонь.

Выходит, Гуревич, укравший у властей дурдома “огненную воду”, играет роль Прометея в высокой пародии, одном из планов “Вальпургиевой ночи...”. Смертельно серьёзный Гуревич открывает свой замысел: “...внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней”. Не получилось, рок в белых халатах сыграл свою роль. Получилось у Ерофеева. Получился нетипичный образ “еврея”, этакий гусар духа и души, широкая еврейская натура. До этого русского (Ерофеева то есть) подлинного еврея в литературе не было (из впечатлений некоторых читателей в “Континенте”). Подозреваю, что образ пришёлся по душе Бродскому, тоже не узкой натуре, расширившей собственное еврейство до общечеловеческого начала в самосознании: на вопрос в интервью, чувствует ли он себя “евреем”, поэт отвечал, что чувствует себя человеком. Аналогично человек Венедикт Ерофеев чувствовал себя “евреем”. Судьба еврейского народа занимала Ерофеева с юношеских лет, как о том свидетельствуют его записные книжки<sup>[407]</sup>.

Оплакивая ужасную смерть своего героя, слов он не находит и не желает находить, а утешает себя и нас лишь “самой безотрадной” музыкой (авторская ремарка), из духа которой родилась ерофеевская трагедия в пяти актах»<sup>46</sup>.



## **Глава двадцать восьмая КТО ЖЕ ВСЁ-ТАКИ КОМАНДОР?**

Лирическая тема заявлена Венедиктом Ерофеевым во втором названии трагедии: «или Шаги Командора». Уже в первой сцене появляется медсестра Наталья Алексеевна, она же Натали, единственная женщина среди бездушного медперсонала, кому Лев Гуревич не безразличен. Они познакомились друг с другом при первом его пребывании в психиатрической больнице. Хотя событие это произошло не вчера, но воспоминания о нём не стёрлись из их памяти. Когда-то существовавшая между ними телесная близость обернулась ещё и близостью душевной. Она-то и возвышает Гуревича и Наталью над обыденностью сумасшедшего дома.

В разноголосице идеологических штампов и самострашилок-пугалок, существующих в сознании пациентов психиатрической больницы, в трагедии едва слышны слова о любви и приязни людей друг к другу. Исключение составляет её третий акт, в котором в основном задействованы двое — Лев Исаакович Гуревич и медсестра Наталья Алексеевна.

По ремарке автора узнаем, что во время допроса старшим врачом Гуревич при появлении Натали воодушевляется:

«Мы говорили об Отчизне и катастрофе. Итак, я люблю Россию, она занимает шестую часть моей души. Теперь, наверно, уже немножко побольше... *(Смех в зале.)* Каждый нормальный гражданин должен быть отважным воином, точно так же, как всякая нормальная моча должна быть светло-янтарного цвета. *(Вдохновенно цитирует из Хераскова).*

Готовы защищать отечество любезно,  
Мы рады с целою Вселенной воевать.

Но только вот какое соображение сдерживает меня: за такую Родину, за такую Родину, я нравственно плюгавый хмырь, просто недостойн сражаться»<sup>1</sup>.

В конце первого акта Натали, сопровождая Гуревича в палату, успокаивает его:

«У тебя не кружится голова, Лев? Иди тихонько, тихонько. *(Натали ведёт его под левую руку, Боренька под правую)*. Всё сейчас пройдёт, тебя уложат в постель»<sup>2</sup>.

С этого момента происходит завязка драмы, заканчивающаяся смертью от отравления этиловым спиртом пациентов 3-й палаты и убийством Боренькой виновника этой трагедии Гуревича.

При появлении Натали Гуревич, отвечая на вопросы старшего врача, несёт всякую околесицу, чтобы её позабавить и рассмешить. Например: «...когда на город обрушилась стихия, при мне был чёлн и на нём двенадцать удалых гребцов-aborигенов. Кроме нас, никого и ничего не было над поверхностью волн... И вот — не помню, на какой день плавания и за сколько ночей до солнцеворота, — вода начала спадать, и показался из воды шпиль горкома комсомола... Мы причалили... Но потом — какое зрелище предстало нам: опустошение сердец, вопли изнутри сокрушённых зданий... Я решил покончить с собой, бросившись на горкомовский шпиль...»<sup>3</sup>

Три персонажа трагедии Венедикта Ерофеева (Гуревич, Натали и Боренька по кличке Мордоворот) представляют собой символы жизни, страсти и смерти.

В третьем акте трагедии, который обозначен её автором как лирическое интермеццо, для зрителя окончательно проясняются прежние отношения между Натали и Гуревичем. Цифра «3» вплоть до 3-й симфонии Малера ненавязчиво задействована в трагедии. По крайней мере в той степени, насколько это представлялось для её автора необходимым.

Многое в нас и вокруг разделено на триады. В Библии сакральная цифра «3» встречается не единожды. Помимо важнейшего догмата о Святой Троице, в христианстве ей придаётся исключительное значение. То же самое происходит и в индуистском пантеоне, в котором существует триада основополагающих божеств — Тримурти. Это Брахма — Создатель, Вишну — Хранитель, Шива — Разрушитель. В даосизме почитаются три основные добродетели (сокровища), которыми дорожит человек. Это человеколюбие (сострадание, любовь); умеренность (бережливость); непритязательность (стремление не быть первым под небом, оставаться скромным, незаметным). Что касается нас, православных христиан, мы троекратно крестимся тремя пальцами и троекратно целуемся при встрече с друзьями. (Чтобы не случилось беды, плюём три раза через левое плечо, стараемся не спать до третьих петухов и не потеряться в трёх соснах).

Цифра «3» сопровождает нас повсюду. Например, трёхмерно пространство, в котором мы существуем и ощущаем время как троичную систему (прошлое, настоящее, будущее). У земного мира есть три составляющие (начало, середина и конец); вещество, из которого он состоит, также представлено в трёх видах — твёрдом, жидком и газообразном. Сами мы да и наша жизнь тройственны. Тело, душа и дух проходят через три цикла: юность, зрелость, старость, а выводят нас из инертного состояния три силы: двигательная,

мыслительная и эмоциональная. Многие из нас к тому же верят в существование трёх миров: подлунного, небесного и загробного. Вспоминаются в связи с цифрой «3» три грации и трёхголовый пёс Цербер, страж у входа в загробный мир. Но это уже Древняя Греция.

Третий акт трагедии состоит из диалога между Гуревичем и Натали в процедурном кабинете. С самого начала он ведётся в стихотворной форме, которая переходит затем в прозаическую речь, перебиваемую иногда новыми вставками пятистопным ямбом. Этот диалог завершается двумя репликами Прохорова. Им, однако, не стоит придавать большого значения, как и возникающей изредка матерной брани другой медсестры — Тamarочки. Она отделена ширмой от беседующих Гуревича и Натали. Тamarочка делает уколы в ягодницу большому количеству больных, что выстроились в очередь перед процедурным кабинетом. Её сквернословие резко контрастирует с нежным воркованием Натали.

Нырну в стихию реминисценций, парабол, метонимий и прочих художественных иносказательных приёмов, которые Венедикт Ерофеев использовал в своём сочинительстве с необыкновенной виртуозностью. Начну с диалога Гуревича и Натали:

*«Гуревич (устало). Натали?..*

*Натали. Я так и знала, ты придёшь, Гуревич. Но что с тобой?..*

*Гуревич.*

Немножечко побит.

Но — снова Тасс у ног Элеоноры!..

*Натали.*

А почему хромает этот Тасс?

*Гуревич.*

Неужто непонятно?.. Твой болван  
Мордоворот совсем и не забыл...  
Как только ты вошла в покой приёмный,  
Я сразу ведь заметил, что он сразу  
Заметил, что...

*Натали.*

Какой болван? Какой Мордоворот?  
При чём тут Борька? Что тебе сказали?  
Как много можно наплести придурку  
Всего за два часа!.. Гуревич, милый,  
Иди сюда, дурашка...

(И наконец объятие. С оглядкой на входную дверь).

*Натали.*

Ты сколько лет здесь не был, охломон?

*Гуревич.*

Ты знаешь ведь, как измеряют время  
И я, и мне чумоподобные... (*нежно*) Наталья...

*Натали.*

Ну что, глупыш?.. Тебя и не узнать,  
Сознайся, ты ведь пил по страшной силе...

*Гуревич.*

Да нет же... так... слегка... по временам...

*Натали.*

А ручки, Лева, отчего дрожат?

*Гуревич.*

О, милая, как ты не понимаешь?!  
Рука дрожит — и пусть её дрожит.

При чём же здесь водяра? Дрожь в руках  
Бывает от бездомности души,

(тычет себя в грудь)

От вдохновенности, недоедания, гнева,  
От утомленья сердца, от предчувствий,  
От губительных страстей, алканной встречи

(Натали чуть улыбается)

И от любви к отчизне, наконец.  
Да нет, не “наконец”! Всего важнее —  
Присутствие такого божества,  
Где ямочка, и бюст, и...

*Натали (закрывает ему рот ладошкой).* Ну, понёс, балаболка, понёс... Дай-ка я тебе немножко глюкозы волью... Ты же весь иссох, почернел...

*Гуревич.* Не по тебе ли, Натали?

*Натали.* Ха-ха! Так я тебе и поверила. (Встаёт, из правого кармана халатика достаёт связку ключей, открывает шкаф. Долго возится с ампулами, пробирками, шприцами. Гуревич, кусая ногти, по обыкновению, не отрывает взгляда ни от ключей, ни от колдовских телодвижений Натали.)»<sup>4</sup>.

Ключом к пониманию происходящих в трагедии событий служит цитата из стихотворения Валерия Брюсова «Баллада ночи», написанного в 1913 году: «Вновь Тасс у ног Элеоноры». Эта баллада, в свою очередь, отправляет нас к элегии Константина Батюшкова «Умиравший Тасс».

«Баллада ночи» тесно связана у Валерия Брюсова со следующей вослед за ней «Балладой о любви и смерти». В первом стихотворении перед нами предстаёт мир, все уголки и части которого находятся в близком родстве и гармонируют друг с другом. Нина Разумова и Анастасия Коноваленко, анализируя цикл стихотворений Валерия Брюсова «В старинном замке» из сборника «Семь цветов радуги», пишут: «Первые два стихотворения “Баллада ночи” и “Баллада о любви и смерти” — находятся между собой в особенно тесной связи, образуя подобие диптиха, который рисует картину мира в зеркальном взаимоотражении, скрепляемом образом заката. В первом стихотворении этот образ разворачивается в панораму тотальной и неизменной любовной гармонии. Сюжетным событием является выход из замкнутого интимного мирка и приобщение к её универсальным и благотворным законам; он реализуется через образ раздвигаемых штор как иллюзорной границы, которая скрывает от глаз человека подлинный облик мира. Образ заката здесь выступает как адекватный тревожный фон (“...с неба льётся кровь...”) для провозглашения трагического “земного закона”, неразрывно связывающего любовь со смертью»<sup>5</sup>:

Ах, где-то лотос нежно спит,  
Ах, где-то с небом слиты горы  
И ярко небосвод горит, —  
Предвечной мудрости узоры!  
Там негой объяты просторы,  
Там страстью дышит темнота,  
А люди клонят, словно воры,  
К устам возлюбленным уста!  
Быть может, в эту ночь, — Харит  
Вновь ожили бывшие хоры,

Вновь Арес уронил свой щит,  
Вновь Тасс у ног Элеоноры,  
И мудрый Соломон, который  
Изрёк: «всё в мире суета».  
Вновь клонит, позабыв укоры,  
К устам возлюбленным уста!  
Дитя! Уснуть нам было б стыд,  
Пойдём к окну, откроем сторы:  
Стекло, железо и гранит,  
Тишь улиц, спящие соборы...  
Пусть вспыхнут в небе метеоры!  
Пусть склонятся, безумно-скоры,  
К устам возлюбленным уста!  
Бегут, бегут поспешно Оры...  
В моей душе — одна мечта:  
Склонить к любимым взорам взоры,  
Кустам возлюбленным уста!<sup>6</sup>

«Баллада ночи» — апофеоз земной любви. Естественно и произвольно она перевоплощается в любовь небесную вопреки законам земного тяготения. Рефреном через всё первое стихотворение проходит строка «К устам возлюбленным уста!».

Во втором стихотворении Валерия Брюсова, «Баллада о любви и смерти», рефрен «Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!» тождествен боевому кличу воинов Древней Греции «алала!». Они имитировали крик совы. Словно ничего страшнее этой птицы они в жизни не встречали. Финал трагедии Венедикта Ерофеева тот же, что и во втором стихотворении:

Когда торжественный Закат  
Царит на дальнем небосклоне



И духи племени хранят  
Воссевшего на алом троне, —  
Вещает он, воздев ладони,  
Смотря, как с неба льётся кровь,  
Что сказано в земном законе:  
Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!

.....  
Ты слышишь, друг, в вечернем звоне:  
«Своей судьбе не прекословь!»  
Нам свищет соловей на клёне:  
«Любовь и Смерть, Смерть и Любовь»<sup>7</sup>.

До завершения пьесы остаётся ещё один, четвёртый, акт, в котором смерть уже наступает на пятки пациентам 3-й палаты.

Теперь объясню, кто есть кто из названных в «Балладе ночи» собственных имён. Арес — сын Зевса и Геры, покровитель войны и агрессии, легендарный любовник и поборник распри. Он антипод девы-воительницы Афины Паллады, богини знаний, искусств и ремёсел, военной стратегии и тактики. К этим персонажам мифов Древней Греции относятся Оры — богини времён года, которые ведали порядком в природе и Хариты, дочери Зевса, три богини красоты, прелести и светлой радости — Аглая (сияющая), Евфросина (благомыслящая) и Талия (цветущая). Они соответствуют трём римским грациям. Итак, среди пяти мифологических фигур только один Арес представляет зло. Как говорят, капля дёгтя в бочке мёда. Но именно одной капельки зла (через убийство восстановить справедливость) хватает Гуревичу, чтобы из доброго самаритянина превратиться в злодея. Шестая заповедь Господа Бога «Не убий» — далеко не последняя тема раздумий Венедикта Ерофеева.

Писатель крохотной цитатой выводит образованного читателя ко множеству образов и мыслей. Уже одним этим приёмом расширить смысловое пространство текста за счёт обращения к авторитетным для него источникам (это что-то вроде списка использованной литературы) он предоставляет как обычному читателю, так и любому режиссёру трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» невообразимо широкое поле для её художественной трактовки с использованием неожиданных мизансцен.

Тасс — итальянский поэт Торкватто Тассо<sup>[408]</sup>, автор сонетов, канцон и мадригалов. В пасторальной драме «Анита» он воспел торжество земной любви. Его героическая поэма «Освобождённый Иерусалим» была полностью опубликована в 1580 году. В 1593 году во второй редакции, сделанной в богословском духе, она вышла под названием «Завоёванный Иерусалим». Элеонора д'Эсте — сестра герцога Альфонса II, в которую был влюблён поэт и из-за которой пострадал. Во времена Батюшкова имя итальянского поэта писалось как «Тасс». Валерий Брюсов взял именно это написание для своей баллады с явным умыслом. Ведь современник Жуковского и Пушкина повторил судьбу этого гения эпохи Возрождения. Он не знал, что его ждёт, когда писал в примечании к элегии «Умиравший Тасс»: «Тасс приписал свой “Иерусалим” Альфонсу, герцогу Феррарскому (“*magnanimo Alfonso!*”), и великодушный покровитель без вины, без суда заключил его в больницу св. Анны, т. е. в дом сумасшедших. Там его видел Монтань (Мишель де Монтень<sup>[409]</sup>, французский писатель и философ. — А. С.), путешествующий по Италии в 1580 году. Странное свидание в таком месте первого мудреца времён новейших с величайшим стихотворцем!.. Но вот что Монтань пишет в “Опытах”: “но почти в глазах его

напечатаны. Я смотрел на Тасса ещё с большею досадою, нежели с сожалением; он пережил себя: не узнавал ни себя, ни творений своих. Они без его ведома, но при нём, но почти в глазах его напечатаны неисправно, безобразно”. Тасс, к дополнению несчастья, не был совершенно сумасшедший и, в ясные минуты рассудка, чувствовал всю горечь своего положения. Воображение, главная пружина его таланта и злополучий, нигде ему не изменяло. И в узах он сочинял беспрестанно»<sup>8</sup>.

И всё-таки при чём тут великий русский поэт Константин Батюшков, обратившийся в своей элегии к несчастной судьбе Торкватто Тассо? Какое он имеет отношение к Венедикту Ерофееву и его трагедии? — спросит дотошный читатель. Отвечу: самое непосредственное. Появление в трагедии намёка на элегию Батюшкова не случайно. Оно, во-первых, возвращает нас в эпоху Возрождения и в XIX век, без которых невозможно объяснить феномен Венедикта Ерофеева как писателя, а во-вторых, помогает понять, что он в конце концов хотел сказать своим современникам трагедией «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Цитата из баллады Валерия Брюсова с отсылкой к элегии Константина Батюшкова углубляет и расширяет её содержание. Я ещё раз повторю: Венедикт Ерофеев впустую чужие фамилии по страницам своих произведений не разбрасывал.

Е. В. Чубукова и Н. В. Мокина в статье «Судьба поэта. Анализ элегии “Умиравший Тасс”» обращают внимание на новое понимание русским поэтом сущности поэтического дара и чем этот дар может быть полезен людям: «В батюшковские времена поэт именовался “любимцем” богов или муз — это стало своего рода литературным клише. Но вот Батюшков создал новое сочетание: настоящий поэт — баловень “природы”. И

этот “баловень” в большей степени, чем “любимец” и “наперсник”, характеризует образ поэта, кому хариты “плетут бессмертия венцы”»<sup>9</sup>. Тут возникает новый вопрос: «А с какой стати харитам плести поэтам венки и водружать эти венки на их, как правило, беспутные головы?»

Во Франции в 1802 году вышла компилятивная книга Бен де Сен-Виктора «Великие поэты-несчастливцы» с биографиями поэтов с тяжёлой судьбой, многие из которых умерли в бедности. Это были жизнеописания Тассо, Камозэнса, Мильтона, Руссо и многих других.

«Цель автора, — как отмечают Е. В. Чубукова и Н. В. Мокина, — была в том, чтобы показать, как все великие поэты — от Гомера до Руссо, эти двигатели человеческой мысли, испытывали постоянные гонения со стороны “сильных мира сего” и своих современников, в особенности тогда, когда поэты стремились учить их, а не развлекать. Ещё печальнее судьба поэта, если он беден или низкого происхождения. Эти рассуждения как бы подводили к составлению символической биографии: 1) поэт и власть; 2) губительная любовь; 3) зависть; 4) странничество. Именно с этих аспектов трактовали жизнь поэтов (от Гомера до Руссо) и русские лирики XIX века — Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер»<sup>10</sup>.

Надеюсь, что теперь читатель понял, что профессия поэта, а не стихотворца во все времена относится к особо опасным для жизни.

Несколько глав книги Бен де Сен-Виктора вскоре перевели на русский язык. Они вышли в России в 1807 году в журнале «Минерва». Книга произвела сильное впечатление на членов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, появившегося в Петербурге в 1801 году и просуществовавшего до 1826 года. В нём принимали участие Константин Батюшков,

Фёдор Глинка, Антон Дельвиг, Кондратий Рылеев, Вильгельм Кюхельбекер, Николай Гнедич, Евгений Баратынский, Александр Пушкин.

Венедикт Ерофеев именно от этих людей принял миссию наставлять сильных мира сего. Не он ли предупреждал их в поэме «Москва — Петушки» о приближающейся катастрофе за 20 лет до распада великого государства? Просвистело мимо ушей. Большинство из них восприняло поэму как очередную развлекуху. Так же они отнеслись и к творчеству Владимира Высоцкого.

На этот раз в трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» Венедикт Ерофеев предупреждал своих приятелей диссидентов. Недаром же назвал их в разговоре с Еленой Игнатовой «новыми большевиками». Писатель собирался продолжить эту тему и сделал наброски новой трагедии «Диссиденты, или Фанни Каплан». Диссиденты были опьянены совершенно сумасшедшей мыслью выстроить новый, справедливый, демократический мир на руинах старого, тоталитарного, не сообразуясь с сознанием большинства народа, сформированного, как я подробно описал, под воздействием многолетней коммунистической пропаганды. Хотя эта пропаганда и состояла большей частью из беззастенчивой демагогии, но её фундаментом были реальные успехи советского общества. Прежде всего бесплатное образование (неплохое по качеству) и медицина.

Что касается Венедикта Ерофеева, он всё видел наперёд, без розовых очков и, как это ни парадоксально, трезвыми глазами. Об этом свидетельствуют его рассуждения в поэме «Москва — Петушки»: «И если я когда-нибудь умру — а я очень скоро умру, я знаю, — умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, — умру, и Он меня спросит:

“Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?” — я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжёлого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеётся в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого ещё начинает тошнить. А я — что я? я много вкусил, и никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счёт и последовательность, — я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует... “Почему же ты молчишь?” — спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...»<sup>11</sup>

Венедикт Ерофеев нарочито обнажает в трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» различие между внутренним чувством Гуревича к Натали и его внешним проявлением. Все восторги его героя по отношению к бывшей возлюбленной как будто бы направлены к одной, сугубо прагматической цели: с помощью избыточных комплиментов притупить бдительность Натали и незаметно выкрасть из карманчика её халата связку ключей, один из которых от замка двери в помещение, где хранится бутылка, как он ошибочно думает, с винным этиловым спиртом. С помощью этого зелья он собирается опить до беспомысленности пациентов 3-й палаты. В действительности же в бутылке хранится смертельный для людей метанол.

Я предполагаю, что Гуревич в своём желании опить до беспомысленности своих сопалатников ставил перед собой единственную цель — избавиться от свидетелей.

Он решил для себя примерно наказать своего соперника Бореньку Мордоворота. Может быть, даже убить его. Ведь пылкое чувство к Натали возникло в нём естественным образом, а не по принуждению обстоятельств. Он готов бороться за свою любовь любыми средствами.

Венедикт Ерофеев непреднамеренным убийством больных, основных действующих лиц трагедии, как я убеждён, решает иную, не лирическую задачу. Он доводит до сознания зрителей мысль, не имеющую никакого отношения к чувствам Гуревича и Натали. Сознание большинства его сопалатников узурпировано агитационными установками советской пропаганды. С ходу очиститься от того мусора, что захламлял головы советских граждан на протяжении семидесяти пяти лет, невозможно. Вот что хотел сказать своей трагедией автор. Преступление, которое Гуревич замыслил совершить по отношению Бореньки Мордоворота, основательно им продумано. Он иносказательно предупреждает о нём Натали, когда она называет его «экстренным баламутом»:

*«Гуревич.*

Не экстренный. Я просто — интенсивный.

И я сегодня... да почти сейчас.

Не опускаться — падать начинаю.

Я нынче ночью разорву в клочки

Трагедию, где под запретом ямбы.

Короче, я взрываю этот дом!

Тем более — я ведь совсем и забыл — сегодня же ночь с 30 апреля на 1 мая. Ночь Вальпургии, сестры святого Венедикта. А эта ночь, с конца восьмого века начиная, всегда знаменовалась чем-нибудь устрашающим и чудодейственным. И с участием

Сатаны. Не знаю, состоится ли сегодня шабаш, но что-нибудь да состоится!..

*Натали.*

Ты уж, Лёвушка, меня не пугай — мне сегодня дежурить всю ночь.

*Гуревич.*

С любезным другом Боренькой на пару?  
С Мордоворотом?

*Натали.*

Да, представь себе.  
С любезным другом. И с чистейшим спиртом.  
И с тортами — я делаю сама, —  
И с песнями Иосифа Кобзона.  
Вот так-то вот, экс-миленький экс-мой!

*Гуревич.*

Не помню точно, в какой державе, Натали, за такие шуточки даму бьют по заду букетом голубых левкоев... Но я, если хочешь, лучше тебя воспою — в манере Николая Некрасова, конечно»<sup>12</sup>.

Чтобы подтвердить мою мысль о преступном замысле Гуревича, обращусь опять к тексту пьесы. Её главный герой обладает несколькими, бросающимися в глаза странностями. Он, как и его создатель, как будто бы напоминает человека с «нездешней стороны». У него свой взгляд на окружающую жизнь, который идёт вразрез со взглядами большинства. Эту его особенность врачи диагностируют как манию величия. Потому-то он и попадает в сумасшедший дом. Прежде всего он сомневается в идее прогресса, шокируя собеседников своими рассуждениями о том, «как всё-таки стремглав мельчает человечество»<sup>13</sup>. Тем более что Гуревич в



своих утверждениях о вырождении человечества не голословен. Он опирается на живые или ещё недавно жившие примеры: «От блистательной царицы Тамары — до этой вот Тamarочки. От Франсиско Гойи — до его соплеменника и тезки генерала Франко. От Гая Юлия Цезаря — к Цезарю Кюи, а от него уже совсем близко — к Цезарю Солодарю. От гуманиста Короленко — до прокурора Крыленко. Да и что Короленко? — если от Иммануила Канта — до “Слепого музыканта”. А от Витуса Беринга — к Герману Герингу. А от псалмопевца Давида — к Давиду Тухманову. А от...»<sup>14</sup>

Чему тут удивляться?! Живёт человечество не первое тысячелетие в эпохе «Кали-юга» — четвёртой, наихудшей из четырёх «юг», или эпох, в индуистском временном цикле. Оскудение и омертвление души — вот что происходит в эту эпоху с людьми. По этому поводу Венедикт Ерофеев высказался на страницах своей записной книжки ещё в 1972 году: «Мы с каждым днём всё хуже. И каждый, и всё человечество с каждым днём всё хуже. И потому, если говорить о качестве людей, то лучше всего тот, кто это чувствует, то есть тот, кому с каждым днём всё хуже и хуже»<sup>15</sup>.

Отсюда идут корни основной странности Гуревича. Венедикт Ерофеев сделал его ходячим мертвецом. Он и в самом деле мёртв для того общества, в котором существует. Гуревич косвенно признает эту странность, из-за которой, как он рассказывает Натали, оказался в психиатрической больнице:

«Гуревич. <...> Со мной была история — вот какая: мы, ну чуть-чуть подвыпивши, стояли на морозе и ожидали — бог весть, чего мы ожидали, да и не в этом дело. Главное: у всех троих моих случайных друзей струился пар изо рта — да ещё бы, при таком-то морозе! А у меня вот — нет. И они это заметили. Они спросили: “Почему такой мороз, а у тебя пар не идёт ниоткуда?”

Ну-ка, ещё раз выдохни!” Я выдохнул — опять никакого пару. Все трое сказали: “Тут что-то не то, надо сообщить куда следует”.

*Натали (прыскает).* И сообщили?

*Гуревич.* Ещё как сообщили. Меня тут же вызвали в какой-то здравпункт или диспансер. И задали только один вопрос: “По какой причине у вас пар?” Я им говорю: “Да ведь как раз пара-то у меня и нет”. А они: “Нет-нет. Отвечайте на вопрос: на каком основании у вас пар?..” Если б такой вопрос задали, допустим, Рене Декарту, он просто бы обрушился в русские сугробы и ничего не сказал бы. А я — сказал: “Отвезите меня в 126-е отделение милиции. У меня есть кое-что сообщить им о Корнелии Сулле”. И меня повезли...

*Натали.* Ты прямо так и брякнул про Суллу? И они чего-нибудь поняли?..

*Гуревич.* Ничего не поняли, но привезли в 126-е. Спросили: “Вы Гуревич?” — “Да, — говорю, — Гуревич”.

Я здесь по подозрению в суперменстве.

Вы правы до каких-то степеней:

Да, да. Сверхчеловек я, и ничто  
Сверхчеловеческое мне не чуждо.

Как Бонапарт, я не умею плавать,  
Я не расчёсываюсь, как Бетховен,  
И языков не знаю, как Чапай.

.....

По несколько недель — да нет же — лет

Рубашек не меняю, как вот эта  
Эрцгерцогиня Изабелла, мать ети,  
Жена Альбрехта Австрийского. Но  
Она то совершала по обету:  
До полного Ост-Индского триумфа.

И я не стану переодеваться,  
И тоже по обету: не напялю

Ни рубашонки до тех пор, пока  
Последний антибольшевик на Запад  
Не умыльнет и не очистит воздух!  
Итак, сродни я всем великим. Но,  
В отличие от Филиппа номер два  
Гишпанского, — чесоткой не владею.  
Да, это правда. *(Со вздохом)*. Но имею вшей,  
Которыми в достатке оделён был  
Корнелий Сулла, повелитель Рима.  
Могу я быть свободен?..

“Можете, — мне сказали, — конечно можете. Сейчас мы вас отвезём домой на собственной машине...” И привезли сюда.

*Натали.* А как же шпиль горкома комсомола?

*Гуревич.* Ну... это я для отвода глаз... и чтобы тебе там, в приёмной, не было так грустно»<sup>16</sup>.

Выходит, что Гуревич не такой уж сумасшедший, каким хочет выглядеть перед медперсоналом во главе с Ранинсоном. Судя по всему, он оказался в психиатрической больнице по той же причине, как создавший его Венедикт Ерофеев. Это приступ белой горячки. Самое убедительное подтверждение «нормальности» Гуревича — его вполне рассудительные разговоры в четвёртом акте с пациентами 3-й палаты.

Да к тому же имена и фамилии, которые он вываливает на головы слушателей, как я уже отмечал, не столь бессмысленны и случайны, как может показаться с первого взгляда. Например, в последнем, приведённом выше фрагменте трагедии Гуревич поражает знанием деталей повседневной жизни исторических персонажей. В данном случае он ничуть не уступает известному эрудиту Анатолию Вассерману.

Гуревич искренне ревнует Натали к медбрату Бореньке Мордвороту. Уже выкрыв связку ключей, он признается, что у него нет никого, кроме неё. Натали ревнует к некоей Люси, которую Гуревич называет шлюшкой. Последний их разговор полностью избавлен от словесного мусора. Жизнь оказалась неблагоприятной к этим двум влюблённым — отзвук отношений Венедикта Ерофеева и Юлии Руновой.

Гуревич уже принял решение и от него не отступится:

*«Гуревич.*

.....

Брось о Люси... Так, говоришь, — скучала?  
А речь об этой шлюшке завела,  
Чтоб легализовать Мордворота?

*Натали.*

Опять! Ну как тебе не стыдно, Лев?

*Гуревич.*

Нет, я, начитанный, ты в этом убедилась.  
Так вот, сегодня, первомайской ночью  
Я к вам зайду... грамм двести пропустить.  
Не дуриком. И не без приглашения:  
Твой Боренька меня позвал, и я  
Сказал, что буду. Головой кивнул.

*Натали.*

Но ты ведь — представляешь?!

*Гуревич.*

Представляю.  
Нашёл с кем донхуанствовать, стервец!  
Мордворот и ты — невыносимо.  
О, этот боров нынче же, к рассвету,

Услышит Командоровы шаги!..

*Натали.*

Гуревич, милый, ты с ума сошёл...

*Гуревич.*

Пока — нисколько. Впрочем, как ты хочешь:

Как небосклон, я буду меркнуть, меркнуть,

Коль ты попросишь —

Я буду пламенеть как небосклон!

Пока что я с ума ещё не сбрендил, —

А в пятом акте — будем посмотреть...

Наталья, милая...»<sup>17</sup>

«Я буду пламенеть как небосклон» — парафраз то ли из «Баллады ночи»: «И ярко небосвод горит», то ли из «Баллады о любви и смерти»<sup>18</sup>, то ли из «Баллады ночи»<sup>19</sup> Валерия Брюсова: «Когда торжественный Закат / Царит на дальнем небосклоне»; «Смотря, как с неба льётся кровь».

Неожиданный сюрприз поджидает читателя и зрителя в пятом акте. Венедикт Ерофеев опять задаёт загадку. Гуревич на обвинение Прохорова, что его умыслом было умерщвление пациентов 3-й палаты, отвечает: «Да, умысел был: разобщённых — сблизить. Злобствующих — умиротворить... приобщить их к маленькой радости... внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней... Другого умысла — не было...»<sup>20</sup> И вместе с тем он меланхолично наблюдает, как один за одним умирают его товарищи по несчастью. Ему их не жалко. Оставшиеся силы Гуревич сосредоточивает на исполнении возмездия, ощущая себя Командором. Полуослепший, он пытается «ощупью, потихоньку» дойти, доползти до Бореньки Мордоворота, дотянуться до его горла. Происходит в

действительности совершенно противоположное. Озверевший антисемит Боренька Мордворот с остервенением забивает до смерти ослепшего Гуревича.

Так кто же, по мысли Венедикта Ерофеева, в его трагедии Командор? Тот, Кто не виден, но чьи приближающиеся шаги слышны и Кому есть что предъявить людям. Тот, о Ком говорил автор трагедии: «Когда Господь прибирает нас к рукам, против Него нечего возразить»<sup>21</sup>.

**Глава двадцать девятая**  
**ВЕНЕДИКТ ВЕНЕДИКТОВИЧ**  
**ЕРОФЕЕВ:**  
**МОНОЛОГ**

Напомню читателю, что герой поэмы «Москва — Петушки», не имеющий, как и её автор, ни средств, ни положения, едет с подарками к сыну. Его радость от предстоящей встречи с ним преобразует этот обыкновенный городок в райское место. На самом деле, Венедикт Ерофеев, обожавший природу, не испытывал никакого желания общаться с ненавидящей его тёщей и уже оставленной им женой, живущими в этих местах. Он и представить себе не мог, что у него в общении с Валентиной через несколько лет после рождения сына возникнут затруднения и сложности. В одном из его блокнотов 1970 года существует запись: «Есть такая юридич[еская] формула: “В здравом уме и твёрдой памяти”. Т. е. как раз то, чего у меня нет в дни выездов в Мышлино»<sup>1</sup>.

В деревню Мышлино, где жил с матерью и бабушкой Венедикт-младший, шёл автобус из Петушков. Венедикт Васильевич обычно отправлялся из Москвы в Петушки последним поездом и опаздывал на автобус, довозивший его до этой деревни. Ночь он проводил, как правило, в пустом вагоне или на вокзале. Петушки он также особенно не привечал. Впервые Венедикт Ерофеев появился здесь в 1959 году и проработал некоторое время на цементном складе. В поэме «Москва — Петушки» об этом городе сказано: «В Петушках жасмин не отцветает и птичье пенье не молкнет»<sup>2</sup>.

В «Записных книжках» Венедикт Ерофеев говорит о Петушках на другом языке. Речь идёт уже не о Царствии Небесном, а об административном центре Петушинского района Владимирской области: «Петушки: там ещё два дома, потом райсобес, а за ним — ничего, чёрная тьма и гнездилище душ умерших»<sup>3</sup>.

И всё же... И всё же в Венедикте Васильевиче была любовь к своему сыну. Несмотря на неблагоприятствующие обстоятельства его жизни, она в нём существовала, как и мучительные сожаления об их многолетней разлуке. Тому много признаков и свидетельств. Впрочем, Венедикту-старшему было трудно и стыдно объясниться в этой любви к сыну. Ведь проявил он себя никудашным, «блудным» отцом. Должны были пройти многие годы, чтобы два Венедикта поняли, что роднее их двоих нет никого на белом свете. Сколько же надо было перестрадать Венедикту Ерофееву-старшему, чтобы из его души вырвались слова любви к живущему в деревне Мышлино Венедикту-младшему с надеждой, что эти слова услышат Бог и его ангелы. Пусть даже они исходили опосредованно — от Венички, героя поэмы.

Веничку задели за живое слова ангелов, назвавших его дитя «бедным мальчиком»: «Только почему это “бедный мальчик”? Он нисколько не бедный! Младенец, знающий букву “ю”, как свои пять пальцев, младенец, любящий отца, как самого себя, — разве нуждается в жалости? Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу, и все там были за него в тревоге... Но ведь он тут же пошёл на поправку — как только меня увидел!.. Да, да... Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и никогда ничего не случилось!.., сделай так, Господь, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза —



пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господь. Если мать его затопит печку — оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжётся... А если он заболит — пусть, как только меня увидит, пусть сразу идёт на поправку...»<sup>4</sup>

Венедикт Венедиктович в откровенном разговоре со Светланой Можяевой, корреспондентом «Вечерней Москвы», сказал об отце, что тому нравилась в нём «деревенская провинциальная неуверенность, застенчивость. К этим качествам человека он благоговел». На вопрос, какие отцовские слова считает наставлением, ответил: «Он всегда говорил: “Не пей, дурачок”. Какие могут быть наставления? У него спрашивали: “Как вы относитесь к женщинам?” Он полторы-две секунды задумывался, потом говорил: “противоречиво”»<sup>5</sup>.

В том же 2012 году Венедикт Ерофеев-младший высказался о своих родителях достаточно нелюбезно, но честно: «Тогда во всём мире — от Москвы до самых Петушков — царило два Венички Ерофеева. Один у нас в деревне, другой на Курском вокзале. И оба еле волочили ноги. Я — потому как из яслей не выходил, ещё не научился, а отец — потому как выпил и ходить разучился. Это ко мне рвались его душа и тело всю книжку, к нам с матерью в гости мчалась та электричка. А что в жизни? Несколько раз Венедикт Васильевич до пункта всё-таки добирался... О, как не любил я его набег! Хотя пустым отец никогда не являлся: то кулёк орехов мне вручит, то часы с кукушкой сопрёт где-то, а то среди зимы вдруг родит дыню. Вышел Веничка, ею беременный, из Средней Азии и до нашей деревни напрямик допёр, — а от Петушков это ещё четыре километра по сугробам. Матушке всегда подарки на стол выставит. И вот это, я считаю, уже свинство: сам он пил и не пьянел, пил, “чтобы привести

голову в ясность”. Для него чекушка — высший комплимент даме. А женщина от такого глубочайшего реверанса борзела и зазнавалась (как все они). Пьяная мать рушила гармонию в доме. Нахулиганится в зюзу, а я уже не знаю, добужусь ли её утром. Когда постарше стал — с вечера отолью у них водку в стакан и под кровать задвину. Утром по углам избы шарят — изящно, как слепые котята: “Кажется, со вчера ещё оставалось малец, граммулек сто, на два стопарика”. — Венедикт Васильевич всему любил счёт, даже в таком взлохмаченном состоянии. И выдают жалость из сынишки — торжественно подношу стакан, им на радость. Похмелю маму и три километра веду её за руку в школу — литературу преподавать (что же ещё?). На меня отец особого внимания не обращал — от каменного гостя больше бы тепла к сыну исходило. “Привет, дурачок. Пока, дурачок”, — иначе Веничка меня и не называл. А я его за это — по имени-отчеству. Планку Венедикт Васильевич высоко задрал — я за всю жизнь так и не допрыгнул. Он же у меня гений. Ухватите за шкирбан любого гения и спросите: “Ты любишь чадо своё, сучий пёс?” Он от вас морду поворотит и перстом указующим ткнёт в томик трудов своих: “Читай, дурачок”. Там все ответы... И последуйте, непременно последуйте за его жестом, как бы неприличен он ни был»<sup>6</sup>.

После прочтения нескольких интервью с сыном Венедикта Васильевича Ерофеева я крепко задумался: а не встретиться ли мне с ним? Живёт он в деревне около приснопамятных Петушков. Мне повезло. Ехать далеко не пришлось. Мы познакомились в Москве, в квартире его детей — сына Евгения и дочери Веры. Состоялись две такие встречи. В сокращённом виде привожу его монолог:

— Моя матушка Валентина Васильевна была в семье последним, шестым ребёнком. Воспитывала меня с малолетства бабушка Зимакова Наталья Кузьминична, в девичестве Дёгтева. Жили мы бедно. Очень нуждались. Матушка с утра до вечера пропадала в школе. Загрузка у неё была непомерная. Тут и дополнительные занятия, и классное руководство, и много чего другого. Помимо дневных занятий, она вела в вечерние часы уроки в школе рабочей молодёжи. Я помню её жёлтенький портфель, весь набитый тетрадками. До глубокой ночи моя несчастная матушка проверяла эти тетрадки с сочинениями и диктантами. Свет отключали в 10 часов вечера. Тогда она зажигала керосиновую лампу и при ней сидела до глубокой ночи. Она преподавала русский и немецкий языки, а также литературу. Благодаря такой изнурительной работе ей удавалось едва сводить концы с концами. Однако нам, как я помню, постоянно чего-то не хватало.

Бабушка называла меня Винька, имя Венька ей не нравилось. Она говорила: «Будут тебя всю жизнь дразнить веником». Вообще-то «веником» меня никто ни разу не назвал. Длинным называли, Комиссаром, Помпилиусом, а вот «веником» — никогда. Помпилиусом меня окликают иногда в деревне, да и то с того времени, как только я подрос. Приедете в нашу деревню, спросите, где Помпилиус живёт, любой покажет. Скажу вам, русский народ такие прозвища иногда даёт, что по ним хоть диссертацию защищай. Эту последнюю, прилипшую ко мне кликуху я получил из-за того, что долгое время был фанатом известной рок-группы «Наутилус Помпилиус».

Галина Носова подарила мне двухкассетник. Тогда у нас рок только входил в моду. Я часто слушал этих ребят вместе с моими друзьями. Лет тридцать прошло, как ко мне прилепился этот «Помпилиус». Хорошо, что не сократили «Помпилиус» до «Помпы». А ещё говорят,

что народная память короткая. Ну, это смотря на что — короткая. Что хотелось бы забыть, почему-то долго помнится.

С Ниной Васильевной, моей тётёй, я виделся, когда в Москву приезжал. К Тамаре Васильевне я был ближе, больше с ней общался письменно. Ведь она жила на Кольском полуострове. Часто получал от неё подарки. Сколько она мне хороших книг прислала! Тамара Васильевна знала мой день рождения — 3 января. В этот день я ждал бандероль или посылку. И всякий раз её получал. Вот такая у меня была добрая и умная тётя. Уже став постарше, я сам выбирал, что мне хотелось бы прочитать. Скажу честно: мой выбор книг ей не нравился.

К сожалению, письма Тамары Васильевны не сохранились. Я учился в Петушках. Матушка с новым мужем часто переезжали из дома в дом. Разумеется, они были при этих переездах не совсем трезвые, как и грузчики. Когда я приехал, новые хозяева что-то сожгли, что-то выбросили. Ни фотографий, ни бумаг — ничего не осталось.

Ерофеев, когда к нам навевывался в Мышлино, любил гулять по окрестностям один. Даже матушку с собой не брал. Он за вином предпочитал ходить в деревню Марково. Дорога туда шла через поле. Ерофеев домой не торопился, не хотел слушать сварливые речи моей бабушки. Часто, возвращаясь с целой сумкой вина, он на этом же поле оставался ночевать среди густых трав. Эти детские воспоминания до сих пор не позабылись. Как мы с матушкой его по полю, неподалёку от дороги ищем.

Бабушка Наталья Кузьминична ушла из жизни 7 апреля 1981 года, в праздник Благовещения. Мне тогда исполнилось 15 лет. За два года до этого прощания с моей бабушкой матушка вышла замуж за Евгения Фёдоровича Аниконова. До брака с моей матушкой он

был дважды осуждён, один раз за воровство, другой — за поножовщину.

Я с ним ладил. Сначала, конечно, было немного не по себе. Ерофеев называл его Эжен. Бабушка к этому Эжену относилась плохо. Потому что пьянки пошли одна за другой. Но всё-таки он работал в совхозе, получал хорошую зарплату. Потом пригонял трактор для вспашки огорода. Для моей бабушки наше подсобное хозяйство было на первом месте. Всю жизнь она прожила в деревне. И голод знала, и сумела выжить с шестерыми детишками на руках. Потому-то запасам картошки, овощей, всяким соленьям придавала большое значение. Она была практичной и ответственной женщиной. Троих дочерей и троих сыновей подняла на ноги. Одна дочь звала её в Астрахань, другая в Ленинград, но она твёрдо решила: «Останусь в родной деревне с Вадькой». Так она называла мою маму. К бабушке на юбилей, помню, приехала масса народа. Опять же звали к ним переехать и сыновья её, и дочери. И всем она отвечала: «Здесь я с Вадькой живу, здесь помру, здесь меня и схороните!»

Учился я до седьмого класса хорошо. А вот восьмой едва закончил. Заела лень-матушка. Ко всем наукам вдруг охладел. Началось с пропажи интереса к шахматам. Ещё в пятом классе. Восьмилетку худо-бедно дотянул. А в 1982-м и 1983-м я доучивался в Петушках, жил в общежитии. Ерофеев меня там изредка навещал. Помню, однажды привёз мне меховую шапку. Я постоянно шапки терял. До сих пор зимой без шапки хожу. Матушка говорила: «Ты, как отец. Он тоже всегда ходит зимой с открытой головой и простужается». После окончания школы я год до армии проработал в совхозе. С сентября 1983 года по май 1984-го. Вот тогда-то я узнал, что такое физический труд до изнеможения. Что значит — вкалывать до седьмого

пота. Я попал в бригаду, которая развозила корма на фермы. До перерыва на обед на работу выходили все члены бригады. После обеда с 12 до 13 часов — только я и ещё один работяга. Все остальные лежали в лёжку, пьяные в стельку. За них работали семидесятилетние матери и жены. Помню до сих пор одну старую женщину, которая с трудом держала в руках вилы и чью-то жену, доярку. Тот, кто со мной работал, хотя и был поддатый, но всё-таки сено на телегу перекидывал. Я был единственный тогда, кто не пил. В моё горло водка не лилась. Тут же начиналась рвота. Потом, уже в армии, эту ущербность моего организма с помощью сослуживцев успешно преодолел.

Проработал я на этой ферме месяцев десять, до получения в мае повестки из военкомата. Медицинская комиссия обнаружила у меня гипертонию. Воздушно-десантные войска заменили стройбатом. Так я получил профессию каменщика.

Ерофеев появился на моих проводах в армию. Это был чуть ли не последний его приезд в нашу деревню. Матушка загодя запаслась двумя ящиками с водкой и двумя — с вином. Тем, что подешевле. Ерофеев приехал сразу после Дня Победы, а на пункт сбора я должен был прибыть 15 мая. Ну как тут не выпить по случаю его приезда! Обычно молодого бойца напутствуют. Стол накрывают. Жарят, парят, варят. Не напиваться же на голодный желудок пришли гости! Да и я, честно говоря, хотел, чтобы всё было чин чинном. Вот эту официальщину Ерофеев не любил, презирал всю эту показуху. Его появление внесло в мои провода свободу. То есть анархию. Началась беспробудная пьянка, и я в неё, стыдно сказать, был втянут. Вот тогда-то в сильном подпитии я впервые назвал Ерофеева отцом. Но обращался к нему, как всегда, на «вы». Матушка ему устроила кабинет на застеклённой террасе. Стульев там не было, стояла одна кровать, и на ней он возлежал в

своей излюбленной позе, опираясь на локоть. Матушка ему на террасу принесла проигрыватель. Терраса выходила на южную, солнечную сторону. Он занавесил веранду какими-то тряпками. Сарафанное радио сообщило, что Васильевна, моя матушка, торгует по ночам водочкой. Из ночи стали возникать страждущие, чтобы купить бутылку. В то время пошли всякие ограничения по продаже ликёро-водочных изделий. Ерофеев всю водку и красное спрятал под кровать, на которой возлежал и спал. Стал вроде виночерпия. Оденял выпивкой достойных. Деревенские из знакомых, услышав про его приезд, на следующий день потянулись гуськом к нашему дому. Он каждому наливал, сам помаленьку отхлёбывал из стакана и наслаждался Малером и Сибелиусом. Понятно, что двумя ящиками не обошлось. Сколько было выпито, не знаю, потому что дня три находился в полусознательном состоянии. В общем, произошла полная разруха в доме. Я к 14 мая всё-таки пришёл в себя. И тётушки мои со стороны матушки приехали. Было решено сделать общие проводы в доме парня, с которым меня призвали на воинскую службу. Ерофеев нашёл в себе силы прийти на мои проводы. Его посадили рядом с кем-то из местных женщин. Я вспоминаю его запись в блокноте: «В обществе блестящих женщин села Караваева». Хотя Ерофеев всё-таки пришёл к застолью, но смотрел на всё происходящее вокруг него с нескрываемым отвращением.

Я немного выпил и кивнул Ерофееву, не выйти ли нам на улицу. Мы вышли, и он закурил. И тут появился перед нами отец парня, с которым я уходил в армию. Он начал пенять Ерофееву, что ребёнок рос и мать его растила, а где, интересно знать, был его отец? В ответ Ерофеев с невозмутимым видом ему ответил: «Мужик, да ты, как я погляжу, поэт».

В половине шестого утра приехал автобус и забрал меня с парнем в город Покров, а оттуда — во Владимир. А уже из Владимира повезли в Омск, где я проходил службу. Никаких писем от Ерофеева на протяжении двух лет я не получал. Мне многие писали, но только не он. От матушки однажды получил известие, что Ерофеев серьёзно заболел. Откуда она об этом узнала, точно не скажу. Скорее всего, от его сестёр, с которыми изредка переписывалась. И всё-таки он меня ждал, о чём свидетельствуют его записные книжки. 26 мая 1984 года я ехал в Москву. По приезде позвонил ему с Ярославского вокзала на Флотскую. Трубку взяла Яночка, Яна Щедрина, его тогдашняя возлюбленная. Я её раньше видел. Он приезжал с ней в 1982 году в Караваево. Я встречал их у остановки автобуса. Помню, как Ерофеев её отчитывал за то, что она открыто читала в автобусе Евангелие. Так вот трубку она взяла и ответила, что Ерофеева нет. То ли он был на процедурах, то ли в больнице. Он её потом сильно отчитал.

Я поехал тогда к сестре моей матушки Нине Васильевне на станцию Правда. У моей матушки двух её сестёр звали Нина и Тамара, а двух братьев — Борис и Юрий. Так же, как братьев и сестёр Ерофеева. Она устроила мне праздничный обед. Я немного выпил, получил в дорогу дефицитную по тем временам бутылку водки и опять вернулся в Москву. С Ярославского вокзала на метро добрался до Курского — и прямой дорогой в Петушки. Приехал в Петушки уже ночью. Соловьи поют, деревья между собой перешёптываются, цветы аромат источают. Благодать! Всю ночь не спал. Бродил по Петушкам. Сделал несколько кругов вокруг школы и общежития, где учился и жил. В пять утра, на самом первом автобусе поехал в Караваево, где меня уже ждали матушка и мои друзья. За неделю до моего



появления поставили два бидона браги. На работу в совхозе вышел через три месяца.

Когда я приезжал в Москву, обязательно заходил к Ерофееву. У него всегда кто-то был. Встречал он меня достаточно тепло, а вот Носова очень по-разному. Особенно ревновала, что у меня такое же имя, как у Ерофеева. А однажды за два года до его смерти она усомнилась в необходимости моего рождения и что-то скверное сказала о матушке. Тут уже я не стерпел.

Она приезжала к нам в Караваево уже после смерти Ерофеева, в 1992 году, за год до своего самоубийства. С моей матушкой они о чём-то мило беседовали и даже выпили немного самогона. При жизни Ерофеева я постоянно видел её с наполовину заполненным бокалом красного вина или с почти пустой рюмкой коньяка в руке.

Галина Павловна тогда уже была немного не в себе. Пошла с двумя огромными сумками дорогой, по которой не ходили автобусы. Тащила сначала одну сумку, затем возвращалась за другой и так шла целую ночь, пока не дошла до Караваева. В этих сумках находились издания «Москвы — Петушков» на разных языках, его блокноты с записями, письма и черновики уже написанного. Она добралась до деревни довольно поздно и попала по ошибке не в наш дом, а в дом Нины Трофимовны Романовой, тогдашней директрисы нашей школы. Наутро появилась у нас. Без сумок. Оставила их у Нины Трофимовны. Я с Эженом и двумя товарищами опохмелялся самогоном самого скверного качества. Она, как к нам вбежала, увидела наполовину налитый стакан и, не говоря ни слова, залпом его выпила. А потом уж спросила: «Где твоя мать?» Я ей жестом показал, что матушка спит в соседней комнате. О чём они довольно долго говорили, не знаю. Уехала Носова через два дня и больше не появлялась. Сумки она с собой забрала.

За две недели до её смерти, в августе 1993 года, я приехал в Москву и позвонил с Курского вокзала. Она торопилась на стадион «Динамо» на концерт своей любимой Софии Ротару. Но мне она сказала, что беспокоиться нечего. Дверь в квартиру она оставит незапертой. И тут же повесила трубку. Я приехал на Флотскую, поднялся на лифте на 13-й этаж. Дверь была нараспашку, все ерофеевские книги скинуты с полок и валялись на полу, а на них гадил чёрный кот.

Мы, люди, чем-то отдалены друг от друга. И местом нашего проживания, и воспитанием, и родом занятий, и жизненными интересами, и образованием, и ещё многими-многими бесчисленными и глубокими различиями, о которых даже не подозреваем. Сплачивают нас любовь, общая цель и грозящая нам опасность извне. Тогда мы — одна дружная стая. По малолетству я думал, что мать, отец, ребёнок — это одно целое. Слово одно существо. Я знаю такие семьи, но у меня этого не было.

Я вспоминаю позднюю осень 1988 года. Кажется, начало ноября. Снег ещё не выпал. Я приехал к Ерофееву на Флотскую и уже с порога почувствовал к себе резкую неприязнь. Такого прежде не было. Я ему не докучал, появлялся в Москве редко. Раз в два или три месяца. Относился он ко мне с какой-то снисходительностью, но в общем-то благожелательно. Никогда не гнал прочь. А тут от него пахнуло холодом. Может, я был слегка выпивши. Может, болезнь на него так повлияла. Не знаю. У него тогда собралась тёплая компания. В основном какие-то отвязные девки. И тут Ерофеев и вторящая ему Носова начали меня честить почём зря. Это при чужих-то людях! Ладно было бы, что они считают меня дурачком, а тут уж пошло совершенно невообразимое. Вспоминать не хочется. Я сидел перед ними за столом, как оплётанный. Какая тут тёплая сопричастность друг другу! Конечно, я

притушил свои чувства вином. Говоря проще, напился вдребадан. Ерофеев рано лёг спать. Девки разбежались. Носова застелила мне, как всегда, кушетку на кухне. Утром, быстро попрощавшись, я уехал.

Уже из деревни я послал Ерофееву письмо. Высказал всё, что накипело на душе... Письмо циничное, оскорбительное, с обидами и упрёками в его адрес. Его болезнь я, естественно, не затрагивал. Зато свои детские годы вниманием не обошёл. Написал всякую глупость, отнёс на почту. Вернулся в избу, и вдруг мне стало очень стыдно. Подумал, как только Ерофеев письмо прочтёт — вообще в доме мне откажет. Но получилось совсем наоборот. Он меня встретил радушно, с улыбкой, с таким снисхождением, с такой жалостью, что у меня сердце защемило. И всё вроде бы забылось. Что-то хорошее тоже вспоминается. Например, им специально для меня написанные, вроде учебников, размышления о русской литературе и истории. Кстати, это Ерофеев привил мне интерес к западным радиоголосам. Я о его поэме «Москва — Петушки» впервые услышал по «Голосу Америки», а потом уже по «Свободе».

Ещё запомнил его неожиданный приезд в конце 1970-х первым автобусом в Караваево. Вероятно, он где-то в Петушках переночевал. Обычно он устраивался с ночлегом в пустом вагоне, когда состав загоняли в тупик. Он появился без всякого предупреждения. Матушка собиралась на работу в школу, подкрашивала помадой губы. И тут появился он с веером зажатых в кулаке книг. Я помню, как мать разбежалась и прыгнула к нему в объятия. Он привёз издания «Москвы — Петушков» на немецком, французском, норвежском.

Прошло ещё два тяжелейших года. Отец умер. Через несколько месяцев меня письмом вызывает к себе Носова. Она получала гонорары за зарубежные издания

Ерофеева и кое-что мне на жизнь отстёгивала. Я приехал к ней на Флотскую, получил дойчмарки и заметил на столе среди книг то моё злополучное письмо. Я у неё переночевал, а утром, уходя, его выкрал. Может, к стыду своему, а может, и к счастью. Как только вышел на лестничную площадку, разорвал его на мелкие кусочки.

Моя бабушка Наталья Кузьминична, деревенская жительница, относилась к Ерофееву плохо, без всякого уважения. У неё о том, каким должен быть её зять, существовали свои понятия. Прежде всего, зять должен колоть дрова, необходимые для повседневной жизни и для обогрева жилища зимой. Про остальные его обязанности умолчу. Но какой из Ерофеева колышек дров? Ему бы любимую музыку послушать, чтобы под рукой проигрыватель был и закуток, где можно уединиться. И чтобы стояла перед ним бутылочка красного вина. Вино продавалось в двух магазинах — в деревне Паломы и Маркове. Тётя Шура в Паломах отпускала вино в любое время суток. Это знали все окрестные мужики и уважали её как сердобольного человека.

Расскажу один случай. Была ранняя весна. Снег уже подтаял. Мальчишки позвали меня играть в снежки. Один из них, Вовка Козлов, вlepил мне снежком прямо в глаз. Глаз ничего не видит и к тому же болит. Я побежал домой и пожаловался бабушке. Она спросила: «Кто это сделал?» Я ответил: «Вовка Козлов!» Ерофеев до боли сжал мне локоть и прошипел: «Не смей!» И дальше по матушке... Я на всю жизнь его урок запомнил.

Наталью Шмелькову я очень уважал. Мне она многое прощала. Всё в моей жизни понимала и поддерживала в меру своих сил. Познакомился я с ней в конце 1987 года, когда в очередной раз приехал на Флотскую. Водку тогда Ерофееву уже нельзя было пить.

Позволялось чуть-чуть пригубить коньячку и рюмочку красного сухого вина. Девки у него после операции менялись одна за другой. Последней помню Яну Щедрину. Наташа Шмелькова из всего этого девичника выделялась красотой, умом и своей наивностью. Точнее будет: не наивностью, а простодушием. Ерофеев её обижал. Иногда без особой на то причины.

В последние годы жизни в нём появилась немотивированная жестокость. Он мог её, как он говорил, в любой момент отлучить от дома. То есть на порог не пускать. Она в последние годы его сильно поддерживала. Потом она всегда умела кого угодно рассмешить.

Не так-то просто ей было общаться с Ерофеевым. Знаю по себе. Отцом я его впервые назвал в 18 лет. Всегда с ним был на «вы» и обращался к нему до конца его дней — Венедикт Васильевич.

## **Глава тридцатая**

### **ЦЕНА СЛАВЫ**

Американский писатель Джон Апдайк<sup>[410]</sup> как-то вскользь заметил по поводу одной из пагубных страстей человека: «Слава — это маска, которая разъедает лицо». Ценимый Венедиктом Ерофеевым Игорь Губерман слегка уточнил и расширил смысл его высказывания: «Очевидное общее есть / в шумной славе и громком позоре: / воспалённые гонор и честь / и смущённая наглость во взоре». Уильям Шекспир мыслил масштабно и обозначил преходящую сущность этого нестерпимого человеческого желания прославиться и быть разглядываемым со всех сторон: «Слава подобна кругу на воде, который не перестаёт расширяться, пока это самое расширение не обратит его в ничто».

Михаил Геллер в послесловии к французскому изданию поэмы «Москва — Петушки» вспомнил римлян, которые говорили: «У книг есть своя судьба». И от себя добавил: «Они, конечно, и представить себе не могли, какой удивительной может быть эта судьба»<sup>1</sup>.

Слава, судьба книги «Москва — Петушки», жизнь Венедикта Ерофеева слиплись в одно нераздельное целое. Чтобы их отделить друг от друга, требуются особые дефиниции. Михаил Геллер нашёл два простых определения — «настоящее» и «подменное». И всё встало у него на свои места: «Начало поэмы Ерофеева — почти дословная цитата из “Подпоручика Кижё” Тынянова, действие которого происходит в царствование безумного Павла I. Молодой солдат, присутствовавший при экзекуции несуществующего Кижё, ночью раздумывает вслух — говорят: император, император, а кто такой — неизвестно... Может, только

говорят. — Старый солдат отвечает молодому, неопытному тихо, на ухо: он есть, только он подменный. Есть в Москве, в которой живёт Веничка Ерофеев, Кремль. Только он подменный. И Москва — подменная. Слова — подменные. Мир — подменный. И только — алкоголь позволяет обнаружить подмену, увидеть фантастический, безумный, но — подлинный мир»<sup>2</sup>.

Татьяна Горячева находит для Кремля в поэме Венедикта Ерофеева определение — «символ надутый трезвенности». Для неё Кремль воплощает «тяжёлое, серьёзное и антирайское начало (власть, центр, внешняя сила)». Ему противопоставлены Петушки, «локализованный» рай: «Петушки — это место, где не умолкают птицы, ни днём ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех, может, он и был — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен»<sup>3</sup>.

Манера держать себя в обществе, присущая гусару из XIX века, о чём я уже однажды сказал на страницах этой книги, выделяла Венедикта Ерофеева среди многих его товарищей. Повторяю: он не собирался кому-то подражать. Это поведение явилось следствием его внутренней свободы. Не случайна его запись 1965 года: «По-гусарски дерзко»<sup>4</sup>.

Проницательная Татьяна Горичева рассказала о русских писателях прошлого, сопоставив их свободу с несвободой советских писателей: «Русская литература XIX века могла бежать от пустоты и лживости общественной жизни в природу, к “казакам и цыганам”, в свои родовые поместья, — советскому же писателю бежать некуда — государство повсюду. Исчез не только прежний безмятежный уклад помещичьей жизни, но и сама возможность жить обособленно, частным образом<sup>[411]</sup>. За “лентяйство” и “неучастие” в “общем деле” сажают в тюрьму»<sup>5</sup>. Это было написано в 1985

году. Татьяна Горичева несколько сгустила краски. Членов Союза писателей СССР по статье за тунеядство не сажали.

Если уж зашёл разговор о пушкинском времени, добавлю к мыслям Татьяны Горячевой размышления философа и религиозного мыслителя Георгия Петровича Федотова: «В лицейские и ранние петербургские годы свобода впервые открылась Пушкину в своеволии разгула, за стаканом вина, в ветреном волокитстве, овеванном музой XVIII века. Парни и Богданович стоят, увы, восприемниками свободы Пушкина, как Державин — его империи. Но уже восходит звезда Шенье, и поэт Вакха и Киприды становится поэтом “Вольности”. Юношеский протест против всякой тирании получает свою первую “сублимацию” в политической музе. В сознании юного Пушкина его политические стихи — серьёзное служение. В них дышит подлинная страсть, и торжественные классические одежды столь же идут к ним, как к революционным композициям Давида»<sup>6</sup>.

За сто с лишним прошедших лет торжественные одежды, доставшиеся Венедикту Ерофееву по наследству, изрядно истрепались и больше походили на лохмотья. Вот почему они сгодились ему в поэме «Москва — Петушки». А всё же несмотря на неприглядный внешний вид, в них сохранились дух и кровь Великой французской революции.

В блокнотах 1965 года у Венедикта Ерофеева много записей о Максимилиане Робеспьере<sup>[412]</sup>, Луи Антуане Сен-Жюсте<sup>[413]</sup>, Камилле Демулене, Жорже Жаке Дантоне<sup>[414]</sup>. Вот некоторые из них: «Путь из тюрьмы Консьержер до гильотины. Демулен рыдает. Он кричит толпящемуся народу: “ Народ! Тебя обманывают! Убивают твоих лучших защитников!” Жорж Дантон пытается его образумить: “А! Оставь эту подлую



сволочь!"; Демулен вырывается из рук помощников Сансона, которые принимаются стричь его великолепные волосы перед казнью, — и страшно орёт, вся рубаха изорвана в клочья: "Злодеи!"»; «Люсиль Демулен была казнена по приговору трибунала 8 дней спустя после своего мужа (Дантон — учредитель трибунала в апреле 93 г.)»; «Дантон по пути на казнь декламирует Шекспира. Когда телеги с осуждёнными проезжают мимо дома столяра Дюпле, где квартирует Неподкупный, Жорж Дантон поднимает голову: "Ишь ты! Все окна закрыты ставнями!.." И дальше, во всю мощь голоса, так что шарахается толпа и жандармы: "Робеспьер! Я жду тебя! Ты последуешь за мной!"»; «Последние слова Дантона, уже на эшафоте, приказывает Сансону: "Ты покажешь мою голову народу, она стоит этого"»<sup>7</sup>.

Венедикту Ерофееву было с чем сравнивать события Великой французской революции. Ужас состоял в том, что на его родине нечто подобное заняло времени несравненно больше и по масштабу злодеяний намного превзошло французов конца XVIII века. Во всяком случае, Венедикт Ерофеев не терял надежды и с большим удовольствием сделал выписку из сочинения не названного им мыслителя: «Маленькая точка света блестит во мне, может быть, блестит из России. <...> Христианская вера снова появляется в интеллигенции. Для меня это знамение. В этом ошалелом мире, где всё в конце концов смешивается, мне кажется, что сам Бог сопротивляется и говорит нам: "Я здесь. Не страшитесь"»<sup>8</sup>.

Похоже, что неотвязная мечта об обособленной жизни постоянно звала Венедикта Ерофеева подальше от людских толп. За полярный круг или, в крайнем случае, на академическую дачу Бориса Николаевича

Делоне в Абрамцеве. Незадолго до изгнания из Коломенского педагогического института он встретил Новый, 1963 год в Кировске. Новогодние праздники быстро прошли. Он вернулся к своим венецианцам. Какое-то время вместе с говорливым Вадимом Тихоновым перебивался случайными заработками.

С мая 1963 года Венедикт Ерофеев уже не жил на границе между нищетой и гостеванием. Был принят рабочим 1 -го разряда в Специализированное управление связи треста № 8 Главгаза СССР. Через два месяца ему повысили разряд до 2-го. Теперь он стал квалифицированным кабельщиком-симметристом. А ещё через месяц ему присвоили 3-й разряд кабельщика-спайщика. Появились кое-какие деньги, и он повёз Валентину Зимакову в Кировск. Пришло время представить её своей матери и остальным родственникам как жену. Новый, 1965 год он встречал в Мышине с шумной владимирской компанией. Разъездная работа по прокладке телефонных линий связи позволяла видеть Россию шире и объёмнее. Тула, Тамбов, Орёл, Мичуринск, Брянск, Ковров, Елец, Мценск... Города и городишки. Особенно привязаться к какому-то новому месту не получалось. Времени не хватало. А вот от панорамы российской провинциальной жизни, что ненавязчиво выстроилась в его голове, в восторг не пришёл. Занёс в свой блокнот: «Ощущение своей социальной второсортное™»<sup>9</sup>.

После долгого отсутствия по делам службы он обычно возвращался в Мышино, в дом Валентины Зимаковой. Однако, бывая в Москве, не забывал и о Юлии Руновой. Она окончила аспирантуру и работала в Институте биологической физики АН СССР, располагавшемся в Пущине. Задерживаясь в Москве, она ночевала в общежитии своей подруги Валентины Еселёвой. Там же Юлия встречалась с Венедиктом

Ерофеевым, когда он оказывался в городе и не очень спешил в Мышлино к вечно недовольной теще и беременной Валентине.

Ему казалось, что его жизнь чуть приостановилась и он всё ещё находится в Орехово-Зуеве, в студенческом общежитии. Венедикту хотелось вернуться в тот мир, из которого его увела Валентина Зимакова и который при встрече с Руновой всякий раз возникал перед ним как светлый призрак несостоявшегося будущего. Ему некуда было увезти Юлию, а она мучила его душеспасительными разговорами о вреде пьянства и осуждала его непредусмотрительную откровенность о пустоте и лживости советской идеологии. Горячность Юлии и его саркастические ответы-выпады обычно заканчивались очередной ссорой. И они разъезжались в разные стороны. Она — в свой Академгородок в городе Пущине, он — в свою деревню Мышлино, поближе к крестьянскому быту. Венедикт Ерофеев знал, что Юлия рассмеётся, услышав от него что-то в духе Татьяны Горичевой: «Пьяный человек смешон и неопасен, поэтому его и оберегает судьба, как оберегает она Иванушку-дурака в русской сказке: кто, как не Провидение, позаботится о нём?»<sup>10</sup> Он избегал устраивать с Юлией Руновой дебаты. А вот ему слушать её увещательные речи было совсем не вмоготу. Не то чтобы с него, как у героя Достоевского, «содрали кожу» и «было больно уже от одного взгляда», но по причине самой что ни на есть обыкновенной. Нет таких мужей, кто бы прыгал от восторга от ежедневных жениных поучений и наставлений. Венедикт Ерофеев хотел невозможного. Возвращение той атмосферы любви и согласия, которая существовала в его семье давным-давно, до всех бед и несчастий. Где он, Вена, был в центре внимания и удивлял родных и соседей своей памятью, простодушием и сообразительностью. Такую

Божью благодать, он понимал, не вернёт ему ни одна женщина в мире.

В ноябре 1965 года Венедикту Ерофееву присвоили 4-й разряд кабельщика-спайщика. Мне кажется, что к карьере высококвалифицированного рабочего, ведущей его напрямик в технический вуз, он был равнодушен. Всё-таки Венедикт Ерофеев ощущал себя гуманитарием. Для него писательство, как он считал, было делом всей его жизни. При том, что он вовсе не собирался следовать, как говорил философ и богослов Владимир Николаевич Ильин<sup>[415]</sup>, «предрассудкам отживших эпох». Тем более не изображал из себя проповедника «элиты снизу». Он всё ещё оставался никому не известным амбициозным пареньком из русской глубинки. Венедикту Ерофееву только предстояло написать поэму «Москва — Петушки» и трагедию «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Это он сделал без особой натуги, вдохновенно и с душевным подъёмом. Куда более изматывающей и тягомотной оказалась его жизнь после триумфа. Это была жизнь в «славе», которая обычно сопровождается всяческими коловращениями и манифестациями вокруг объекта почитания. Всё это он испытает в полной мере в недалёком будущем.

1966 год стал для Венедикта Ерофеева событийным. У него родился сын. Об этом радостном событии он написал 18 января сестре Тамаре: «Поздравьте меня, Тамара Васильевна, ровно 15 дней тому назад у вас стало более племянников, чем их было 16 дней назад. Его назвали Венедикт (Ерофеев), назвали впопыхах...»<sup>11</sup> В феврале того же года он оформил свои отношения с Валентиной Васильевной Зимаковой. О себе в 1965 году он сделал самокритичную и самоувещающую запись: «Скверный сын, скверный брат, скверный племянник, я

захотел быть хорошим отцом»<sup>12</sup>. Как показало будущее, это своё обещание он не сдержал.

В течение нескольких месяцев Венедикт Ерофеев словно пропал для Юлии Руновой. Могу представить, как она была озадачена его исчезновением. Ведь он ещё в ноябре 1965 года сообщил ей о беременности Валентины Зимаковой. О рождении Венедикта-младшего она узнала из письма Тамары Гущиной.

С рождением сына Венедикт Ерофеев, в ноябре 1965 года получивший 4-й разряд кабельщика-спайщика, наконец-то осознал, что он отец семейства. От его письма старшей сестре веет несвойственным ему трудовым энтузиазмом и чувством ответственности за сына и жену: «Служба моя такова, что я бываю здесь (в посёлке Караваево. — А. С.) ежемесячно, то есть, например, так: три июньские недели — в Тамбове, четвёртая — в Караваево, три августовские недели — в Орле, четвёртая — в Караваево; три недели и так далее. Вплоть до февраля месяца повальных отпусков. Это не коммивояжёрство, это “служба в специализированном управлении связи по измерению и приёму международных кабельных линий связи” (Управление в Москве), и это уже давно и надолго»<sup>13</sup>.

Другое дело, что подобного энтузиазма ему хватило ненадолго. В своих рабочих поездках Венедикт Ерофеев с книгами не расставался. Круг его чтения особенно расширился в 1960—1970-е годы, что подтверждают «Записные книжки». Пройдусь по четырём годам: 1963, 1964, 1965, 1966-й.

1964 год проходит под знаком европейской философии, европейской музыки и Корана. В 1964 году Венедикт Ерофеев углубился в труды немецкого философа Фридриха Вильгельма Шеллинга. Ему импонировали его идеи о живой природе и интеллектуальной интуиции. Особенно утверждение:

«Быть в одно и то же время опьянённым и трезвым — в этом заключается тайна истинной поэзии»<sup>14</sup>. Натурфилософия Шеллинга, диалектическая теология Мартина Бубера<sup>[416]</sup>, рациовитализм Хосе Ортеги-и-Гассета<sup>[417]</sup>, экзистенциализм Мартина Хайдеггера, христианский неоплатонизм и суры из Корана... К кому и чему только не обращался Венедикт Ерофеев, чтобы скрыться от скуки советской повседневности с её безбожием, от оглуляющей пропаганды с её стереотипами.

1964 год заполнен выписками из Корана, из романов «Бесы» и «Игрок» Фёдора Достоевского. Из книг особое внимание Венедикт Ерофеев обращает на труд выдающегося немецкого учёного XIX века Фридриха Августа Мюллера<sup>[418]</sup> «История ислама» (СПб., 1895). В его блокнотах присутствует обильная информация о композиторах и исполнителях, приводятся различные сведения из истории музыкальных инструментов, а также о французских писателях.

В записях 1964 года встречаются суждения великих, его особо заинтересовавшие. Например, Жозефа де Местра: «Де Местр: простолюдин глуп, груб, безнравствен и подл»<sup>15</sup>. Он даёт опись встречающихся на каждом шагу табличек с высказываниями типа «Соблюдайте чистоту», «Уходя, гасите свет», «Храните деньги в сберегательной кассе» и т. п. С помощью подобного собранного словесного мусора Венедикт Ерофеев создаст стиль поэмы «Москва — Петушки». Почти в каждом блокноте приводится список его долгов, кому и сколько он должен. Ведь неспроста же он записал в 1965 году: «В ночь на 20-е ноября снится сон: я занимаю у Александра] Блока 15 рублей и удивляюсь: как это раньше я не обратился к нему?»<sup>16</sup>

1965 год расширил познания Венедикта Ерофеева в фольклоре народов мира: Южной и Юго-Восточной

Азии, Ближнего Востока и Африки, а также республик СССР. Много узнал о деятелях Великой французской революции. Читал кое-кого из соотечественников. Подробно рассмотрел роман Томаса Манна «Доктор Фаустус» и менее подробно творчество Генриха Теодора Бёлля<sup>[419]</sup>. Относительно последнего обратился с некоторым сарказмом к своим соотечественникам: «Читайте Генриха Бёлля! И вы убедитесь по прочтении, что он съел с вами полпуда соли, а остальные полпуда высыпал на ваши раны. А если их нет у вас и вам поэтому не больно — собирайте по крупице всё просыпанное и жрите ещё, это вас вразумит»<sup>17</sup>. Судя по всему, произведения Бёлля произвели на него сильное впечатление. Венедикт Ерофеев привёл обширный, на нескольких страницах, список музыкальных терминов из словаря князя Одоевского. Именно тогда он неизмеримо расширил свою музыкальную коллекцию. Ерофеевско-зимаковская фонотека к 13 ноября 1965 года состояла из 135 пластинок классической музыки. С 1965 года у Венедикта Ерофеева возник интерес к католицизму и к деятельности папы Павла VI<sup>[420]</sup>. Про собственную страну он тоже не забывал. Приведу несколько интересных выписок: «Пятилетка строится на костях ударников. Целуются Челюскин и Папанин. Тютчева за руки и за ноги тянут к зырянам»<sup>18</sup>; «Всё-таки: отрадно жить в стране, где имущественный ценз не имеет ни политического, ни психологического значения»<sup>19</sup>.

1966 год — по интенсивности умственной работы для Венедикта Ерофеева самый результативный из всех предыдущих. Он основательно познакомился с обэриутами, прочитал роман Томаса Манна «Лота в Веймаре». Воздал должное Болеславу Прусу<sup>[421]</sup>: «...не гений, но очень порядочное сердце»<sup>20</sup>. На него произвёл впечатление своими рассказами Василий

Макарович Шукшин<sup>[422]</sup>. Особо выделю его интерес к декабристам. По его записям видно, что он прочитал почти всё, что с ними связано. Обнаружил поучительные о них суждения. Не забыл о Фёдоре Достоевском, Александре Герцене, Антоне Чехове и Вячеславе Шишкове. С марта Венедикт Ерофеев приступил к чтению Василия Розанова. Тогда же создаются «Заметки к истории музыки».

В 1965 году он критически посмотрел на самого себя: «Венедикт Ерофеев — самое целомудренное существо на свете. По его же собственным подсчётам (15—20 июня), он “тает всего лишь от каждой 175-й юбки по среднему исчислению”»<sup>21</sup>.

Когда к Венедикту Ерофееву нежданно-негаданно пришла известность, к середине 1980-х годов ставшая мировой, он с непривычки опешил. Такое состояние, как известно, длится недолго, и вскоре он воспринимал свой новый статус знаменитого писателя как заслуженный и должный. Это отметили многие не менее известные, чем он, люди, общавшиеся с ним незадолго перед его смертью и назвавшие поэму «Москва — Петушки» шедевром мировой классики. Слава, к сожалению, не могла возместить Венедикту Ерофееву те страдания, которые он испытывал как онкологический больной на протяжении нескольких лет. Признаюсь, я сам был удивлён, почему на гребне успеха, стимулирующего художника к созданию новых произведений, он вдруг замолчал. Наверное, не стоило бы затрагивать этого вопроса. Но он, видевший людей насквозь и назвавший Горького «фуфлом и ханыгой»<sup>22</sup>, знал причину своей «немоты». Этой причиной было его «щепетильное сердце». Что же такое он совершил, чего его сердце не смогло стерпеть и лишило его писательского дара?



Назову событие, которое, казалось бы, улучшило жизнь Венедикта Васильевича, а в действительности нанесло ему смертельный удар. 21 декабря 1975 года Венедикт Васильевич Ерофеев и Галина Павловна Носова, сотрудница Центрального статистического управления, кандидат экономических наук, подали заявление на регистрацию брака в загсе Фрунзенского р-на Москвы. 21 февраля 1976 года их брак был зарегистрирован. Это была сделка. Как говорят в народе: «Брак по расчёту — это развод до развода». Втайне желаемое им благосостояние<sup>23</sup> обретало материальные формы.

Его решение было опрометчивым. Свою свободу он заложил в ломбард. Думал, что вскоре выкупит, однако сделать этого не смог. Поступить, как он поступил, было всё равно что «справить нужду на собственный памятник»<sup>24</sup>. Закавыченные слова принадлежат Венедикту Ерофееву. У любого другого писателя всё сошло бы с рук. Но только не у него. Внешне он изменился. Напоминал голливудского актёра. Таким вспоминает его Виктор Иоэльс: «На пришедшем был великолепно сшитый, тогда очень модный, синий клубный пиджак с золотыми пуговицами, явно не московского пошива рубашка, светлые, хорошо отглаженные брюки — мои гости так не одевались»<sup>25</sup>.

Венедикт Ерофеев чуть-чуть привязался к «здешней» жизни. Прежде он был только её наблюдателем, а тут она вовлекла его в свой круг как участника её игрищ. На этот раз он не скрылся (да и не хотел) в своё очередное «укрывалище». Для человека «нездешнего» его показной конформизм воспринимался не очередной шалостью, а нечто большим — адаптацией к существующему порядку вещей. Не тогда ли началось медленное сползание Вены, Венедикта, Бэна, Венички к «подменному» Ерофееву? Излишне

говорить, что эту зависимость от внешних жизненных благ он притормаживал, как мог. История с шикарным костюмом имеет своё продолжение.

Рассказывает Борис Шевелев, товарищ Венедикта Ерофеева: «В 1980 году мой сын Серёжа окончил школу, и выяснилось, что идти на выпускной вечер ему не в чём. Позвонили Ерофеевым — Серёжа с Венедиктом Васильевичем был одной стати. Вот так и так, говорим, нет ли чего? А Венедикт Васильевич тогда не только деньги из Парижа получил, но и костюм ему, как оказалось, шикарный привезли. Вот он тут же и говорит: “Срочно присылайте ко мне Серёжу, я его, как ёлку, наряжать буду”. Я говорю: “А вдруг он там, на празднике, такой прекрасный костюм чем-нибудь обольёт?” — “Так он же костюм обольёт, а не меня”. Широкий был человек»<sup>26</sup>.

Произошло нечто парадоксальное. Одно из замечательных человеческих качеств оказало ему дурную услугу. Именно оно заставило его принять тот образ жизни, который предложила ему и всячески поддерживала Галина Павловна Носова. Сообразуя с этим качеством свои важные решения, он легкомысленно распорядился своим творческим наследием. Это ещё не названное мною качество принадлежит высококонравственным людям и известно как «благородство». Вся закавыка состояла в том, что Венедикт Ерофеев был благороден не по-взрослому, а по-детски.

# **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**

## **КОДА**

## **Глава первая**

# **МУЖАЙСЯ И УПОВАЙ!**

В конце 1980-х время для интеллигенции наступило вольное, весёлое и суматошное. Зарплату худо-бедно платили, было на что жить. В Москве уже с раннего утра у ещё закрытых киосков Союзпечати стояли очереди за свежими номерами газеты «Московские новости» и журнала «Огонёк». Народу собиралось не меньше, чем у магазинов, продающих спиртное. Впрочем, давки и драк у газетных киосков не наблюдалось.

Запоем читали толстые журналы «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов». Не отрываясь от телевизионных экранов, смотрели заседания съезда народных депутатов и радовались как дети, когда кто-то из этих депутатов сцеплялся друг с другом. Вдобавок ко всему этому после полуночи по Первому каналу крутили американские боевики, а также английские детективы о подвигах Джеймса Бонда и эротические фильмы. Впечатление создавалось такое, что многие люди от прочитанного, услышанного и увиденного словно находились в лёгком подпитии. Но странное было в другом. Мало кто при пустых прилавках в продовольственных магазинах думал о завтрашнем дне. Среди московской читающей и думающей публики больше судили-рядили о Михаиле Сергеевиче Горбачеве и его жене, о его столкновениях с Борисом Николаевичем Ельциным, а также обсуждали талантливый и резкий ответ в «Московских новостях» Людмилы Ивановны Сараскиной на истеричную статью Нины Андреевой в «Советской России» «Не могу поступаться принципами».

В то время не все из нас прислушивались к совету Льва Николаевича Толстого: «Для того чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить её самому себе».

К сожалению, дурные времена чаще всего переходят в абсурдные, а уже из них, спустя многие годы, вылупляется что-то путное и полезное для народа.

Стихийное пробуждение гражданских чувств произошло на исходе существования советской власти. Достаточно было лозунгов перестройки и некоторого послабления в ежедневной обработке массового сознания в духе партийной демагогии, как лёд тронулся и началось половодье публикаций, ещё за три года до того считавшихся антисоветскими. Смысл происходящих событий был точно выражен слоганом, сочинённым сатириком Михаилом Жванецким: «Не хочу смотреть на мир глазами Юрия Сенкевича!» Самому Юрию Александровичу этот слоган, как я знаю, был по душе.

Сестра Венедикта Ерофеева Тамара Гущина вспоминала: «Перестройка заставила всех заинтересоваться политикой. Вена с удовольствием смотрел по телевидению трансляцию 1-го съезда народных депутатов. Ему нравился Николай Рыжков. Он фамильярно называл его Колей. “Вот уж не думал, что мне понравится большевик! — сказал он как-то. — Какая у него благородная осанка!” Я сказала, что у нас многие женщины ему симпатизируют. “Я их понимаю”, — ответил он. Дебаты в парламенте, журнал “Огонёк”, газета “Комсомольская правда” занимали его тогда больше всего. К сожалению, это интересное время совпало с началом его болезни»<sup>1</sup>.

За очень короткий срок открылся мир, неведомый большинству советских людей. Нечто подобное в России

произошло в XVIII веке, когда, по выражению историка Василия Ключевского: «...чуть ли не в один век перешли от Домостроя по па Сильвестра к Энциклопедии Дидро и Даламбера».

Большую политическую активность из всех сословий и классов проявляли служащие, относящиеся к ИТР. Согласно Единому классификатору профессий того времени, они подразделялись на три категории. Первая была представлена руководителями, вторая — специалистами, надолго третьих приходились все остальные, именуемые техническими исполнителями. Самая беззаботная жизнь была у последних. Как говорили в те приснопамятные годы: «На работу пришёл. В носу поковырял, жопу почесал, языком потрындел, чайку попил и домой пошёл. Плохо что ли?»

Эти так называемые «технические исполнители» оказались в то время основными читателями Венедикта Ерофеева. Для многих из них чтение его поэмы «Москва — Петушки» было очередной полулегальной забавой и никак уж не приобщением к серьёзным раздумьям о собственном будущем. Тем более оно не приводило их к христианству. Эти люди представляли тот же основной низовой слой читающей публики, что и петербургские чиновники 30-х годов XIX века, зачитывавшиеся самиздатом, то есть ходившим в списках «Горем от ума» Александра Грибоедова. Вместе с тем они в пушкинское время относились к достаточно большой социальной группе, выражавшей наиболее полно николаевскую государственность и идеальный тип обывателя<sup>2</sup>.

Как видим, за 150 лет в России в социальной психологии людей мало что изменилось.

Сделаю ещё один зигзаг в своём повествовании.

Не будет преувеличением сказать, что в литературной среде Венедикт Ерофеев существовал

практически в одиночестве. Несколько человек из писателей, его оценивших и принявших как равного до выхода поэмы «Москва — Петушки», в счёт не идут. До настоящего времени им написанное нередко рассматривают как явление любопытное, но изначально маргинальное, находящееся на обочине художественной литературы и эссеистики. Спустя годы поубавили свой восторг даже те люди, кто близко его знали и отдавали дань его писательскому таланту.

Напомню читателю, что у социологов *маргинал* означает человека, находящегося вне социальной группы, — изгоя, аутсайдера, бомжа. Термин происходит от латинского *margo, marginis* — край, граница. На французском языке от этого латинского слова произошло *marge*, а на английском *margin*. Они обозначают поле книжной или рукописной страницы<sup>3</sup>.

Я не сомневаюсь в искренности прежней поклонницы и защитницы Венедикта Ерофеева Нины Воронель, известного поэта и выдающегося переводчика, жены знаменитого физика и диссидента Александра Воронеля, автора нашумевшей книги «Трепет забот иудейских». Её суждение об эссе Венедикта Ерофеева о Василии Розанове, судя по контексту сказанного, относится не только к этому сочинению, но и ко всему творчеству писателя<sup>4</sup>.

Иногда даже выдающиеся личности сталкиваются с временной потерей ориентации в художественном пространстве. Это связано с абберрацией не столько зрения, сколько с потерей вкуса, а также с ослабевшей памятью.

Фактор мании величия я опускаю из-за уважения к Нине Абрамовне. Кому как не ей не знать, что (цитирую писателя Владимира Новикова) «люди центра часто не оставляют в жизни никакого следа, а со страничного поля можно перейти в вечность»<sup>5</sup>. Сам критик, надо

сказать, к обожателям Венедикта Ерофеева не относится.

В Интернете существует немало негативных, но намного больше — позитивных отзывов о поэме «Москва — Петушки». Вот один из позитивных, наиболее мне понравившийся. Несмотря на эмоциональность высказывания, достаточно убедительный и точный: «Ирония, доходящая до сарказма, — и тут же драматический надрыв, который вновь сменяется откровенным ёрничеством. Текст мерцает и переливается гранями. Другое дело, что попытки воспринимать его, этот текст, буквально, вздыхая о детях алкоголиков, равносильны попыткам приготовить коктейль “Слеза комсомолки”, помешивая его веточкой повилики — и немедленно выпить. <...> В нём (тексте. — А. С.) гораздо больше и от притчи, и от басни, и от анекдота, и от страшноватой сказки (всех этих жанров изначально народного творчества), нежели в других произведениях, где в подзаголовке курсивом написано: *Притча или анекдот*»<sup>6</sup>.

Формула «один в поле не воин» была неприемлема для Венедикта Ерофеева. Она выглядела категоричной и безвариантной жизненной установкой. Ему претил коллективизм во всех его формах и проявлениях, в частности — призывом навалиться гуртом, скопом на кого-то или на что-то. Смять кого-то или что-то, втоптать в грязь и уничтожить. Уже в этом словосочетании заключалось для него возведение насилия в повседневную практику по отношению к тем, кто в общем строю шагает не в ногу или вовсе не желает в нём находиться.

Больше всего он остерегался, как и Осип Мандельштам, смерти в тюрьме, в лагере. Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова поэта, вспоминает: «“Осип, я тебе завидую, — говорил Гумилёв, — ты



умрёшь на чердаке”. Пророческие стихи к этому времени были уже написаны, но оба не хотели верить собственным предсказаниям и тешили себя французским вариантом злосчастной судьбы поэта. А ведь поэт — это и есть человек, просто человек, и с ним должно случиться самое обычное, самое заурядное, самое характерное для страны и эпохи, что подстерегает всех и каждого. Не блеск и ужас индивидуальной судьбы, а простой путь “с гурьбой и гуртом”. Смерть на чердаке не для нашего времени»<sup>7</sup>.

Такой судьбы Венедикт Ерофеев боялся и, оставаясь человеком порядочным и умным, принял все меры, чтобы её избежать.

Думаю, что он был солидарен с основными философскими установками Сиддхартхи Гаутамы Будды. Особенно по ощущению нескончаемого и мучительного страдания: «Каждый день — накопление чудовищных горечей без всяких видимых причин. Каждая минута моя отравлена, неизвестно чем, каждый час мой горек». Или ещё трагичнее: «Утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубовой».

Вряд ли Венедикт Ерофеев разделял взгляд Фёдора Достоевского на особенное отношение русских людей к страданию, из которого следовало, что русские с момента своего появления среди других народов чуть ли не все поголовно мазохисты. Вот что писал великий писатель: «Я думаю, самая главная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неумолимого, везде и во всём. Этой жаждою страдания он, кажется, заряжен испокон веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьёт ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно»<sup>8</sup>.

Страдальческая жизнь Венедикту Ерофееву была в тягость. Она постоянно держала его в напряжении. Избавление от этого гнетущего состояния, хотя бы временное, означало сохранение самого себя — бесхитростного, незлобивого и прямодушного человека. Чтобы окончательно не упасть духом, в России, и не только в ней одной, прибегают к испытанному средству — *пьём да посуду бьём, а кому немило — того в рыло*. Действительно, а как ещё непринуждённо развеять меланхолические настроения и окончательно не утратить вкуса к жизни? Не случайно к пьяницам в христианских странах относятся, мало сказать, с легкомысленным снисхождением, а подчас — с нескрываемой симпатией, забывая Евангелие, где сказано: «Ни веры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:10).

Понятно, что такой путь к преодолению страдания и избавлению от сансары через искусственное расслабление противоречит и буддийским установкам: не курить, не пить, не принимать наркотики, не сквернословить. Как-то не вяжется с моралью благочестивого индуса такая фраза: «...только питьё держит в равновесии тело и душу»<sup>9</sup>. Это цитата из Генриха Бёлля, занесённая Венедиктом Ерофеевым в блокнот. Выпивка даже облегчает телесные муки, связанные с тяготением сансары: «Выпьешь — и это тебя сократит». К чести Венедикта Ерофеева, он не претендует на роль гуру: «Ухожу, ухожу я из мира скорби и печали, которого не знаю, в мир вечного блаженства, в котором не буду»<sup>10</sup>.

Как и Сиддхартха Гаутама Будда, Венедикт Ерофеев объявил о разрыве с прежним духовным миром, в котором ложь опиралась на несоотносимую с ходом жизни идеологию. В этом мире не находилось места

инакомыслию. В нём отсутствовало право выбора, а свобода воли исключалась объявлением государства доминирующей ценностью среди всех прочих. Понятия морали и нравственности переосмыслились в угоду сиюминутным интересам правящей верхушки. Только уже по одной этой причине представляющее такой мир государство является преступным по отношению к своим гражданам.

Подобные рассуждения уже стали расхожими в современной русской литературе. Например, Тимур Кибиров в романе «Лада, или Радость: Хроника верной и счастливой любви» пишет об одной из своих героинь: «Чёрт догадал Александру Егоровну родиться в стране, “что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета” под властью могущественной ОПГ, известной в криминальной истории под кличкой РСДРП(б), она же ВКП(б), она же КПСС»<sup>11</sup>.

Вернёмся к буддизму. Совсем уж буддийская максима присутствует в рассуждениях Венедикта Ерофеева о вреде *эго*: «Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян»<sup>12</sup>. Его жизнь своей трагичностью и контрастами напоминает жизнь буддийского монаха, ступившего на путь освобождения от иллюзий *сансары* и её притяжения. Да и относительная бытовая стабильность в жизни Венедикта Васильевича складывалась не так, как это обычно происходит со многими людьми. По сравнению с жизнью Варлама Тихоновича Шаламова<sup>[423]</sup>, перетерпевшего мытарства и муки сталинских лагерей, жизнь эта всё-таки, несмотря на сопутствующие ей передряги, проходила относительно спокойно и даже большей частью в окружении симпатичных и свободомыслящих людей.

Венедикт Ерофеев не пошёл по пути полной самоизоляции. Этот путь предложил Варлам Шаламов, исходящий из собственного жизненного опыта.

Как добиться в атеистическом государстве того, чтобы творческое начало в каждом человеке, данное Богом, раскрылось? Автор «Колымских рассказов», на много лет старше Ерофеева, был убеждён, что «одиночество — оптимальное состояние человека», ведущее его к самоосуществлению самого себя.

Ступать на путь, предложенный Варламом Шаламовым, не было необходимости. Время было уже другим, почти что вегетарианским. Время коллективных усилий, направленных к освобождению от большевистских мифов и идеологического насилия. Ложь и цинизм в советском обществе достигли апогея. Поток информации, исходящий от СМИ, был настолько разнообразным, что у людей, неискущённых в политике, всё в голове перемешивалось и несколько новостей слипались в одну сногшибательную новость. Так в то время рождалось множество слухов, совершенно неправдоподобных. Венедикт Ерофеев записал по этому поводу 28 февраля 1980 года один, названный им прелестным, анекдот: «Две старушки после жэковской политинформации: “Что делается-то! В Афганистане поймали иранского шаха, ампутировали ему ногу и сослали в Горький”»<sup>13</sup>.

Известный предприниматель Александр Степанович Паникин<sup>[424]</sup> в книге «Шестое доказательство: Признания русского фабриканта» писал: «Ведь самый впечатляющий урок из нашего прошлого в том, что достигнутое большевиками во многом определялось их искусным умением вызвать в людях стремление к высшим целям. Стремление к идеальному универсально, именно оно правит миром. <...> Теперь, понимая силу этого идеализма, мы должны направить

его на возрождение и во спасение. Россия, сделавшая попытку к освобождению в начале века, но закабалённая большевиками, после стольких фатальных ошибок должна начинать вновь»<sup>14</sup>.

Венедикт Ерофеев, как и Варлам Шаламов, понимал, что государство, в котором он родился и существовал, в ходе холодной войны достигло максимальной изоляции от окружающего мира, в результате чего, по словам Михаила Горбачева, были изуродованы «экономика, общественное сознание и мораль».

Варлам Шаламов и Венедикт Ерофеев своим творчеством и жизнью подтвердили формулу Генриха Гейне: «Нравственность — это разум сердца». Не потому ли каждому из них, несмотря на неблагоприятные жизненные обстоятельства, удалось проявить себя и сказать своё слово в русской литературе?

Однако Ерофееву по духу и внутренней энергии ближе Варлама Шаламова был Иван Шухов, герой повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Как отметил Корней Иванович Чуковский<sup>[425]</sup>, человек «жизнестойкий, “злоупорный”, выносливый, мастер на все руки, лукавый и добрый»<sup>15</sup>.

Я думаю, что Венедикт Ерофеев согласился бы с Анной Ахматовой, сказавшей: «Эту повесть обязан прочитать и выучить каждый гражданин из двухсот миллионов граждан Советского Союза»<sup>16</sup>.

Общество, в котором все мы существовали, как писала Лидия Корнеевна Чуковская<sup>[426]</sup>, «было несчастным, глухо-слепо-немым, не знающим, что творит»<sup>17</sup>.

Для людей, родившихся после 1991 года и даже раньше, эти слова Лидии Чуковской стёрлись и от частого повторения опошлились. Ведь жили же в том времени их матери и отцы и на судьбу не жаловались.

Действительно, ко всему привыкаешь. Даже Александр Солженицын, как полагала та же Анна Ахматова, был человеком советским, когда речь заходит о его художественных вкусах и оценках. Однако же, как пишет о Солженицыне французский социолог Алён Безансон, «в мире, где господствовало не только убийство, но право на убийство, не только беззаконие, но обязанность творить беззаконие, не только ложь, но и долг лгать, — он восстановил всеобщие моральные принципы»<sup>18</sup>.

При стремлении Венедикта Ерофеева оставаться независимым человеком ему постоянно приходилось увёртываться от насильственных действий властей. Его сын вспоминает: «К Ерофееву регулярно приходил участковый, и, если Венедикт Васильевич не работал, его забирали в “Кащенко”. Ему грозили даже, что поместят на шесть месяцев в ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий. — А. С.), а потом выпишут из Москвы и отправят на 101-й километр. Это могли быть Петушки. Когда Венедикту Васильевичу сделали первую операцию на горле — у него был рак — и он лежал, не разговаривал, к нему пришёл участковый и орал: “Ты, сука немая, молчишь?” И отправил его в “Кащенко”. Врачи были в ужасе от того, что к ним привезли онкологического больного»<sup>19</sup>.

Он сторонился однообразной и мерной жизни большого города. Его мечтой было заполучить какую-нибудь хибару в деревне и поселиться в ней надолго — до самого последнего часа. В деревенской глуши он был готов жить, чем бог послал. Питаться грибами, ягодами, кореньями. Хоть небесной манной. Не получилось.

Жизнь бросила Венедикта Ерофеева в вероломный мир страстей. Вряд ли он согласился бы с Дени Дидро, заявившим, что «верх безумия — ставить себе целью разрушение страстей».

Венедикт Ерофеев уже с детства с ужасом вглядывался в мир сансары, чуждый его взглядам. Для него сансара олицетворяла обыденную, сибаритскую и благополучную жизнь. В ней существовало столько ханжества, лицемерия и повседневного вранья, что влезать в неё по собственной воле ему не хотелось. У индусов и буддистов сансара одно из центральных мировоззренческих понятий и сочетается с законом моральной причинности — *кармой*.

Карма воплощает личную ответственность человека по отношению к своему прошлому, настоящему и будущему. Известный индолог Виктория Лысенко уточняет в энциклопедии «Индийская философия» употребление слова «сансара» в широком смысле: «Сансара используется индийцами как синоним феноменального существования вообще — изменчивого, но в то же время бесконечно повторяющего одни и те же сюжеты, в более узком смысле — как обозначение окружающего мира, а точнее, индивидуального мира отдельного человека, сферы его субъективного опыта»<sup>20</sup>.

Тошно ему было смотреть на мир сансары, в котором одни люди выглядели самодовольными, расфуфыренными и высокомерными, а другие — опустошёнными, одинокими и унылыми. Однако оказавшись в этом мире, Венедикт Ерофеев не сводил ни с кем счёты и не заходил так далеко, чтобы считать кого-то недостойным своего присутствия.

Бесы мщениа и гордыни им не владели. Своих сил на бессмысленную борьбу и полемику он не растрчивал. На амбразуру не лез. Был убеждён, что Россия страна в большей степени западная, чем восточная, как бы её ни обряжали в кокошники, сарафаны и кафтаны. Понимал, что с дураками спорить будет себе дороже. Да и полемизировать с некоторыми

умниками, которые от слов оппонента впадали в состояние невменяемости, было ему не с руки. И уж определённо он не относился к тем людям, кого заёмные идеи съедали настолько, что ничего *своего* в человеке не оставалось. Его внутренняя тишина не сообразовалась с полемическим задором.

У Венедикта Ерофеева долгое время не было собственного жилья, даже захудалой комнатёнки в коммуналке. Соответственно, отсутствовало постоянное место для ночлега. Случалось, что он не знал, куда ему приткнуться на ночь. Однако на улице не оставался. У кого-то из его друзей и знакомых временное пристанище для него всё-таки находилось. Может быть, поэтому его познания о стране, в которой он родился, были обширны и больше соответствовали реальному положению дел в ней, чем представления о СССР председателя Комитета государственной безопасности Ю. В. Андропова, который лет через восемь после написания поэмы «Москва — Петушки» горестно и с удивлением в тесном кругу соратников воскликнул: «Мы не знаем, в какой стране живём!» А Венедикт Васильевич знал её как свои пять пальцев и даже лучше. В поэме «Москва — Петушки» он поделился этим знанием с председателем КЕБ, даже не рассчитывая, что тот ему поверит. К самому Андропову, несмотря на постоянное внимание к себе возглавляемой им организации, он относился, надо сказать, с некоторым снисхождением и даже по-христиански сочувственно.

Атмосфера ограждений, обуздания и запретов не способствует раскрытию возможностей каждого человека. Самодурство, угодничество перед вышестоящими, двурушничество и, как отмечал Фёдор Достоевский, «беспокойство за себя и непрерывное самоумаление» неминуемо формируют позицию, необходимую человеку для выживания в таком обществе, — быть как все. Ведь чувство «стадности»



предполагает перекалывание личной ответственности на кого-то другого или других. Если оно не преодолевается в самом себе и в человеке сохраняется прежняя рабская психология, тогда появляется возможность для новой бюрократки утвердить власть на иной экономической основе без обязательств перед народом.

Последние годы жизни Венедикта Ерофеева совпали с основательными изменениями в политической и идеологической системе тогда ещё Советского государства.

Горбачёвская перестройка на своей завершающей стадии вернула в советское общество некоторую «свободу слова». Широко печатались материалы о репрессиях сталинской эпохи. Распространение информации происходило уже не по профессионально-сословному, а демократическому принципу. Ведь до тех пор, пока мировоззрение людей зиждется на принципах «не пущать» и «чего изволите», разговоры о гласности и демократии я сравнил бы с уже ставшим для нас привычным сотрясением воздуха или со светокинопроекционными и шумовыми эффектами в современном театре. Любые серьёзные изменения в обществе (к лучшему или худшему — не суть дела) начинаются с театрализованных представлений. С демонстраций, эффектных шествий с транспарантами и знамёнами. Людей ведь необходимо взбодрить на определённые с их стороны действия. Согнать с них страх или, наоборот, нагнать его на них.

Разносторонне информированный и широкообразованный человек способен не только разобраться в сложных ситуациях и проблемах современной жизни, но и всякий раз, если потребуются, сохранить своё личное достоинство, а также неординарность мышления и свободу выбора. «Сколько людей, столько мнений» — эта старая истина легла в

основу новой идеологической политики, которая стала более последовательной при Борисе Ельцине.

Михаил Горбачёв не был безразличен Венедикту Ерофееву. Он понимал шаткость его положения. Наталья Шмелькова 3 февраля 1990 года записывает в дневнике: «Веничка... считает, что Горбачёв на пленуме слетит и от этого худо будет всей стране»<sup>21</sup>. Из того же дневника, но запись более ранняя, сделанная 24 декабря 1989 года: «К Горбачеву, не считая отдельных моментов, относится одобрительно»<sup>22</sup>.

Наталья Шмелькова сообщает в своей книге «Последние дни Венедикта Ерофеева», что Ерофеев не смог скрыть радость, услышав утром 15 марта 1990 года по радио, что Горбачёв стал президентом<sup>23</sup>!

Ещё одну важную новость, несомненно связанную с деятельностью Горбачева и его команды, узнал писатель в больничной палате за шесть дней до смерти. Он получил письмо из Мурманского областного суда:

«Дело по обвинению Ерофеева Василия Васильевича, 1900 г. рождения, уроженца дер. Елшанка Николаевского района Ульяновской области, до ареста работавшего дежурным на станции Хибины, осуждённого по ст. 58-10 ч. УК РСФСР (редакция 1926 г.) к пяти годам лишения свободы с последующим поражением в правах сроком на три года, пересмотрено президиумом Мурманского областного суда 22 февраля 1990 г. Приговор Военного Трибунала Кировской железной дороги от 25 сентября 1945 г. в отношении Ерофеева Василия Васильевича отменён, и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Ерофеев В. В. полностью реабилитирован.

Председатель областного суда — Л. С. *Мирошникова*»<sup>14</sup>.

Приведу запись из дневника Натальи Шмельковой о его реакции на это известие: «Ерофеев слушает с закрытыми глазами, не шелохнувшись. Лицо сурово-непроницаемое и, как мне кажется, — даже торжественное»<sup>25</sup>.

Вместе с тем он не страдал прекраснодушием по поводу наступления лучезарных дней, о чём свидетельствует его запись конца 1980-х годов: «Россия ничему не радуется, да и печали, в сущности, нет ни в ком. Она скорее в ожидании какой-то, пока ещё неотчётливо какой, но грандиозной скверны, скорее всего, возвращения к прежним паскудствам. Россия — самая беззащитная из всех держав мира, беззащитнее Мальты и Сан-Марино. Можно позавидовать великому герцогу Люксембургскому Жану, но завидовать Мишелю Горбачеву никому не придёт в голову»<sup>26</sup>.

## **Глава вторая**

# **ХУЛИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ**

По поводу инертности сограждан, в большинстве своём не желающих что-либо менять в обществе, Венедикт Ерофеев высказался саркастически: «А почему Василиса должна уходить к Иванушке, если ей и с Кашеем хорошо?»<sup>1</sup>

Время действительно менялось, а вместе с ним и люди. Но не всем из них некоторые нововведения в идеологии и культуре пришлись по душе.

Приведу отрывок из письма одной из читательниц «другой» литературы в «Литературную газету». Оно было в ней опубликовано 8 февраля 1989 года. В нём идёт речь даже не о Венедикте Ерофееве непосредственно, а о женской прозе:

«Прочитала в августовском номере “Юности” повесть Валерии Нарбиковой, вспомнила “Свой круг” Людмилы Петрушевской в “Новом мире”, многие рассказы Татьяны Толстой и до сих пор не могу взять себя в руки. Писательницы явно талантливые, читать их, в общем-то, интересно. Но такое впечатление, что они то ли обрушивают на тебя ведро с помоями, то ли заталкивают в палату для буйнопомешанных. Ни глубоких мыслей, ни красивых чувств, ни привлекательных героев, ни малейшего просвета надежды. Только мрак, только грязь, только ничтожные, жалкие людишки — и ничего больше! Я не ханжа, поверьте, но меня мутит, когда я слышу, что теперь сквернословят не только на улице, но и с киноэкрана, и со сцены, и на журнальных страницах. Мне кажется, что гласностью кое-кто из писателей (и особенно писательниц — вот что удивительно!)

воспользовался для того, чтобы всю грязь, всю нечисть выставить на всеобщее обозрение — вот, мол, нате!.. Неужели писатели забыли, что литература должна просветлять человека, а не пригибать его к земле!»<sup>2</sup>

Так и было написано в письме: не «просвещать», а «просветлять». И это не случайная описка. Глагол «просветлять» в контексте написанного антоним глагола «очернять». Этот антоним как нельзя лучше подходил ко времени горбачёвской перестройки и камуфлировал ретроградство автора.

Защитником и хулителем новой литературы на этой же странице «Литературной газеты» выступили два человека. Это Сергей Иванович Чупринин со статьёй «Другая проза», в то время обозреватель «Литературной газеты», и его оппонент Дмитрий Михайлович Урнов со статьёй «Плохая проза». Дмитрий Урнов в то время был сотрудником Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР и главным редактором журнала «Вопросы литературы».

Сергей Чупринин как адвокат новой литературы появился не случайно. С его предисловием в журнале «Трезвость и культура» в 1988 и 1989 годах была опубликована поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Правда, не в полном виде, а с купюрами.

Основной посыл статьи Сергея Чупринина, благожелательной и тактичной по отношению к авторам другой прозы, состоял в том, что обсуждение таких неожиданных для советской литературы произведений, как «поэма в прозе Венедикта Ерофеева “Москва — Петушки” и трагифарсовая повесть Юза Алешковского “Николай Николаевич”, происходит с большим запозданием». Ведь «в дни принудительной благонамеренности и благопристойности» эти произведения в машинописном виде переходили из рук в руки. О том, что эти книги не издавались в СССР и

отбирались советской таможней при пересечении границы, Сергей Чупринин благоразумно умалчивает. И правильно в той ситуации поступает. Зачем гусей дразнить? Обозначив ситуацию с положением свободы слова в СССР, он переходит к произведениям Людмилы Стефановны Петрушевской, Евгения Анатольевича Попова, Вячеслава Алексеевича Пьецуха<sup>[427]</sup>, Татьяны Никитичны Толстой. Произведениям, уже опубликованным в СССР и «мало кем как следует читаемым, но сумевшим... запомниться»<sup>3</sup>.

Прочитую небольшой отрывок из статьи Сергея Чупринина. Он типичен для критиков, представлявших во время горбачёвской перестройки либеральную позицию:

«Иноземные слависты, приезжая к нам, уже тогда с наивным ехидством осведомлялись о том, будут ли когда-нибудь на родине опубликованы Леонид Бородин, Владимир Казаков, Владимир Сорокин — эти имена, хорошо знакомые итальянцам, французам, западным немцам, по-прежнему практически неизвестны русскому читателю. Уже тогда прошумел скандал с альманахом “Метрополь” — своего рода визитной карточкой нашей альтернативной, *другой* поэзии, публицистики и прозы. <...> Что, в самом деле, общего между “Москвой — Петушками” и “Факультетом ненужных вещей” (роман Юрия Осиповича Домбровского<sup>[428]</sup> о судьбе русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий. — А. С.)? Что роднит В. Ерофеева и А. Рыбакова, Л. Петрушевскую и В. Дудинцева? Увы, ничего. Кроме того, что и те и другие годами, иногда десятилетиями не могли пробиться к читателю. И (не позабыть бы!) кроме того, что написанное этими ни в чём между собою не схожими авторами бесспорно (для меня по крайней мере бесспорно) является фактом русской литературы,

правдивым и честным свидетельством о времени, до сих пор нами не изжитом. Впрочем, свидетельство свидетельству рознь, и я не удивлюсь, если даже те, кто всем сердцем приветствует публикацию на родине “Жизни и судьбы”, “Факультета ненужных вещей” или пропущенных глав “Сандро из Чегема”, кто видит в них доказательство духовного творческого здоровья и нравственного достоинства отечественной литературы, совсем иначе отнесутся к *другой* прозе, увидят в самом факте её рождения и успеха как раз, наоборот, симптом тяжкого духовного и творческого недуга, падения нравов и вкусов, “декадентского” загнивания... Нельзя сказать, что такого рода суждения совсем уж безосновательны. *Другая* проза действительно часто шокирует — многих и многим. Например, скандальной, порою оскорбительной для нашего с вами целомудрия беззапретностью в выборе слов, выражений, сюжетов, моральных оценок, так что подрастающим детям поостережётся давать в руки не только повесть Ю. Алешковского “Николай Николаевич”, где едва ли не каждая вторая-третья фраза увлечённо исповедующегося перед собутыльником героя-рассказчика подпадает под статью указа о сквернословии. Случай Ю. Алешковского, виртуоза и поэта российской матерщины, конечно, из самых крайних. Как и случай, допустим, Э. Лимонова, чем бесстыдно горький “тамиздатовский” роман Э. Лимонова “Это я, Эдичка!” некогда рецензировался на “международных” страницах “ЛГ”. Как и случай В. Сорокина, выведшего в центр романа “Тридцатая любовь Марины” патентованную лесбиянку и нимфоманку. Дело, конечно, не в матерщине, не в демонстративном эротизме и вообще не в крайних случаях, тем более что черёд до них у наших издателей дойдёт явно не скоро, а и дойдёт ли?.. Дело в том, что, будем откровенны, гриф “Только для читателей старше

16 лет” уже сейчас кажется уместным при публикации многих произведений писателей этой волны»<sup>4</sup>.

На той же полосе «Литературной газеты» рядом со статьёй Сергея Чуприна резкое неприятие другой литературы высказал Дмитрий Урнов. В своей полемике с ним он исходил из убеждения, что популярность авторов альтернативной литературы возникла как следствие запретительства, иногда доходившего до нелепостей. Этим не преминули, как он заявил, воспользоваться авторы другой литературы, начавшие прежде всего и главным образом писать так, «как нельзя писать, вообще нельзя». Особое внимание он обратил на поэму Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки».

Он назвал её «неумелой бессмыслицей»: «Уверен, что горячечно-поэтический монолог Венедикта Ерофеева мы и не вспомнили бы теперь, если бы поэма в прозе “Москва — Петушки” была бы сразу, во время оно, опубликована. Почему? Если уже имеется гарантия, что правовому положению текста и автора моё суждение никак не повредит, скажу. Неумело сделан бред — вот и всё. С момента своего появления за двадцать лет этот текст совершенно истлел бы под воздействием времени, и лишь только запретность как бальзам его для нас сохранила»<sup>5</sup>.

К Дмитрию Урнову у Венедикта Ерофеева были серьёзные претензии. Домыслы этого эрудированного «миротворца» из ИМЛИ часто представлялись абсурдными и оттого особенно нелепыми. Так, Венедикта Васильевича задело заявление Урнова, что в конце 1950-х — начале 1960-х годов ажиотаж в среде образованных людей по поводу русских писателей XVIII — XIX веков вызван затянувшейся на многие годы неиздаваемостью их произведений, а не их



содержанием, оказавшимся актуальным для моих современников.

В интервью с Леонидом Прудовским, опубликованном в журнале «Континент» (№ 65, 1990), автор поэмы «Москва — Петушки» не смог смолчать по поводу такого необоснованного предположения: «Что говорить о Петре Чаадаеве, когда его только-только издали. А этот мудак Урнов говорит, что есть произведения, которые набальзамированы долгостоянием, неиздаваемостью. Он, мудак, хотя бы взял в образец Радищева или Александра Грибоедова, Петра Чаадаева — неужели они настолько живучи, что набальзамированы?»<sup>6</sup>

О таких людях, как Дмитрий Урнов, Венедикт Ерофеев кратко и точно сказал: «Человек, лишённый игровых начал и дара мистификаций»<sup>7</sup>

Руководители ИМЛИ им. А. М. Горького больше всего опасались появления в научных трудах аллюзий на современную советскую жизнь. Как человек, проработавший в этом академическом учреждении 32 года, выдвину в защиту моего коллеги Дмитрия Урнова свою версию. Я убеждён, что раздражившим Венедикта Ерофеева заявлением мой коллега перенаправлял внимание, как тогда говорили, «инстанций» в другую, более безопасную плоскость. Он словно пожимал плечами, вспоминая мумии фараонов с лицами отечественных классиков, и вопрошал самого себя: «Что ли, с ума все посходили? Жизнь у нас в СССР — лучше не бывает. Перестраиваемся ведь, прямо скажу, по ходу дела, быстро и по сторонам не оглядываемся. Как бы в дерьмо не вляпаться. Не стоит торопиться с этой перестройкой. Пусть она идёт помедленнее. Живите и наслаждайтесь. К чему вам эти давно забытые мертвецы — Радищев и Чаадаев. Читайте лучше книги современных писателей-деревенщиков».

К тому же литературный вкус Дмитрия Урнова был особенным — с трудом определяемым. Так, задолго до его филиппик по адресу Венедикта Ерофеева он с такой же безапелляционной уверенностью «зарубил» своей «внутренней рецензией» в издательстве «Молодая гвардия» предполагаемое издание замечательного романа Салмана Рушди «Стыд», назвав его «слабенькой, провинциальной прозой». После мирового скандала с романом «Сатанинские стихи» он, к его чести, признал в разговоре со мною свою некомпетентность в оценке творчества литераторов из Индии и Пакистана, пишущих на английском языке. И то в связи с тем обстоятельством, что моё отношение, высказанное во внутренней рецензии на «Стыд», резко отличалось от его.

А ведь это был не единственный афронт по адресу талантливых писателей со стороны маститого литературоведа и критика. Дмитрий Урнов был на 100 процентов уверен, что «демократическая вакханалия» скоро кончится, и спасал будущее сотрудников ИМЛИ, большая часть которых с энтузиазмом восприняла новые веяния. Приём достаточно наивный и малоэффективный. В идеологическом отделе ЦК КПСС при Горбачеве сидели люди не семи пядей во лбу, но всё-таки не круглые идиоты. Как говорил Мольер<sup>[429]</sup>, «учённость в дураке несноснее всего». Это я отношу, упаси боже, не только к моему коллеге по научной деятельности, а ко всем нам из того времени — младшим и старшим научным сотрудникам.

Когда же события обернулись не по его предсказаниям, Дмитрий Урнов надолго залёг в одном из американских университетов, как медведь в берлоге, где, должно быть, пребывает по сегодняшний день, если уже не на пенсии.

Многие из нас тогда не слышали даже Людвига Андреаса Фейербаха<sup>[430]</sup>, которого изучили вдоль и поперёк.

Этот корифей материализма, у которого Карл Маркс ходил в студентах и набирался ума-разума, вполне серьёзно проповедовал будущим гигантам мысли: «Любовь к науке — это любовь к правде, потому честность является основной добродетелью учёного».

А вот с честностью в наших гуманитарных науках было не то чтобы совсем худо, а как-то неопределённо. Что касается интеллектуалов, людей, обладающих догадливостью и сметливостью, то в этой сфере деятельности их число росло год от года. Они-то знали, как обвести вокруг пальца малообразованных соглядатаев, своих товарищей по партии. Тем более что некоторые из этих интеллектуалов находились в аппарате ЦК КПСС, как, например, Анатолий Сергеевич Черняев<sup>[431]</sup>, Георгий Хосроевич Шахназаров<sup>[432]</sup>, Вадим Валентинович Загладин<sup>[433]</sup>, Александр Евгеньевич Бовин<sup>[434]</sup>, Александр Николаевич Яковлев<sup>[435]</sup> и др. Это была сложившаяся при Брежневе негласная оппозиция, состоящая из «аппаратных диссидентов». Об этой ситуации внутри партийной верхушки пишет Андрей Серафимович Грачёв, помощник и пресс-секретарь Михаила Сергеевича Горбачева, в книге «Кремлёвская хроника» (М., 1994). Ведь время тогда было, как я уже писал, всестороннего приобщения к мировой культуре во всём разнообразии её тенденций и направлений, к художественному и литературному наследию собственных гениев, уничтоженных в своём отечестве или оказавшихся в эмиграции. Это была последняя попытка придать социализму человеческое лицо.

Венедикт Ерофеев в связи с этой ситуацией съязвил в адрес одного из своих кумиров: «Роковое

заблуждение Ницше, будто наступило засилье интеллекта и надо спасать инстинкты»<sup>8</sup>.

Та жизнь, которую вёл Венедикт Ерофеев, не требовала особых затрат. Более того, он обходился самым малым и часто из-за постоянного безденежья голодал. Существует много свидетельств, что в критические моменты своих бездомных скитаний он никогда ни к кому не навязывался. Чувство врождённой интеллигентности не позволяло ему в общении с окружающими людьми вести себя напористо, бесцеремонно и нагло. Он не опускался и до навязчивого попрошайничества. Венедикт Васильевич сторонился людей, любящих халяву. Тех, кто норовит ухватить кусок пожирнее и запихнуть в рот побольше из того, что стоит на столе. Клянчить займы деньги, набиваться на обед было не в его правилах. Подношения Венедикт Васильевич принимал с удовольствием, но не милостыню. В его блокнотах и тетрадках встречаются записи, кому он был должен по мелочам. Есть в них имя тёти Дуни, Авдотьи Андреевны, которая любила, чтобы её называли не по-деревенски, а по-городскому — Евдокией. Где-то записано два рубля, где-то полтора, а самая большая сумма — трёшка. Но хватит об этом. Скажу главное — свои долги Венедикт Васильевич возвращал.

## **Глава третья**

# **НЕ ГОЛОВА, А ДОМ ТЕРПИМОСТИ**

По первому впечатлению тексты Венедикта Ерофеева воспринимались как словесный эпатаж на тему: «жизнь такая, что спиться не грех». В русской повседневности и, соответственно, в литературе всегда появлялись герои, интересные сами по себе, а не в связи с ситуациями, в которых они оказываются. Они говорят и думают по-своему, чего-то ищут, а что конкретно — в толк не возьмут. Какой-то бес их постоянно толкает то на одно, то на другое. Определённо можно сказать, что у каждого из них есть один принцип: пускаться в размышления по любому поводу. В то же время назвать их философами было бы опрометчиво. Думаю, что они сами от этого определения не пришли бы в восторг. Скорее всего, подумали бы, что над ними насмеются.

Что касается внешней стороны текстов Венедикта Ерофеева, красота их необычная и откровенно бесстыдная. Критерии традиционного художественного вкуса к ней не применимы. Словно произошло парадоксальное совмещение житийной литературы с прозой Михаила Михайловича Зощенко<sup>[436]</sup>, а может, и того круче — с русским бурлеском в духе Козьмы Пруткова или с озорными частушками. В ерофеевской драматургии к тому же появляются образы похлеще, чем у Франца Кафки<sup>[437]</sup>.

Список названных мною писательских имён, естественно, не полный. Он может быть дополнен многими другими авторами. Из отечественных это Александр Радищев, Пётр Чаадаев, Николай Гоголь, Александр Герцен, Фёдор Достоевский, Михаил

Салтыков-Щедрин, Василий Розанов, Николай Бердяев, Владимир Набоков, Василий Семёнович Гроссман<sup>[438]</sup> с его романом-эпопеей «Жизнь и судьба», Андрей Платонов<sup>[439]</sup> с его повестью «Котлован».

Сам о себе Венедикт Ерофеев сказал устами своего героя Венички: «Я если захочу понять, то всё вмещу. У меня не голова, а дом терпимости»<sup>1</sup>.

Назвав своё произведение «Москва — Петушки» поэмой, Венедикт Ерофеев, как пишет критик и литературовед Лев Оборин, «отсылает к “Мёртвым душам” Гоголя — тексту, где лирика сочетается с эпосом, смеховой тон с элегическим, и на этом фоне происходит движение от места к месту...»<sup>2</sup>. «К тому же он резко выделяет своё произведение, назвав его поэмой, среди других прозаических текстов. Без особых затруднений вспоминаются в русской литературе всего две поэмы в прозе: “Мёртвые души” Николая Гоголя и “Москва — Петушки” Венедикта Ерофеева»<sup>3</sup>.

Вадим Тихонов, «любимый первенец» Венедикта Ерофеева, говоря о Николае Гоголе и Венедикте Ерофееве в беседе с журналисткой и писательницей Ольгой Андреевной Кучкиной, находит между ними серьёзное различие. Он переиначивает известное определение Виссариона Белинского, данное творчеству Николая Гоголя: «У Гоголя смех сквозь слёзы, а у Ерофеева слёзы сквозь смех»<sup>4</sup>.

При разговоре о далёких чужеземных предшественниках Венедикта Ерофеева где-то неподалёку оказываются иностранцы: француз Франсуа Рабле<sup>[440]</sup>, испанец Мигель де Сервантес Сааведра и англичане Джонатан Свифт и Лоренс Стерн<sup>[441]</sup>.

Владимир Муравьёв в своих воспоминаниях о литературных пристрастиях Венедикта Ерофеева не удержался от некоторых уточнений. Они помогают глубже понять личность автора поэмы «Москва —

Петушки»: «Платонова он почти не читал, но “Котлован” ему нравился. <...> Булгакова на дух не принимал. “Мастера и Маргариту” ненавидел так, что его трясло. Многие писали, что у него есть связи с этой книгой, а сам он говорил: “Дурак Гаспаров. Да, я не читал ‘Мастера’, я дальше 15-й страницы не мог прочесть!” “Театральный роман” ему больше нравился. Ещё год назад я его уговаривал, что “Театральный роман” ничего. Я-то тоже не большой поклонник “Мастера”, считаю, что это роман для гимназистов, но добротная литература. Евангелие пародировать, может быть, и не надо было, нехорошо. Кстати, мало кто подозревает, что Веничка очень любил Салтыкова-Щедрина, который, с одной стороны, был совершеннейший дурак, клевет прогрессивных сил и дрался оглоблей, а с другой — гениальный писатель. Рабле он всегда читывал и даже у меня как-то замотал пересказ Заболоцкого Рабле. Очень любил Козьму Прутков...»<sup>5</sup>

Наталья Шмелькова в своей дневниковой записи в апреле (число отсутствует) 1985 года подтверждает информацию Владимира Муравьёва и кое-что к ней добавляет: «Разговорились о литературе. “Всем признателен, всех люблю, — сказал Ерофеев, — которым хоть чем-то обязан”. Своими литературными учителями он считал Салтыкова-Щедрина, раннего Достоевского, Гоголя и многих других. Про Гоголя, например, сказал: “Если бы не было Николая Васильевича, и меня бы как писателя тоже не было, и в этом не стыдно признаться”. Современную отечественную прозу обсуждать не любил. Мало кого в ней признавал и из тех немногих особенно выделял Василя Быкова и Алеся Адамовича. Преклонялся перед Василием Гроссманом. Даже попросил меня привезти перечитать “Жизнь и судьбу”. Сказал: “Перед Гроссманом я встал бы на колени и поцеловал бы ему

руку”. Из западных писателей Ерофеев любил Стерна, Рабле, Кафку, которому, как он считал, многим обязан, Гамсуна, Ибсена, Фолкнера, преклонялся перед Набоковым: “Никогда зависти не знал, но тут завидую”. В литературе, как и вообще в людях, Ерофеев не переносил бездушия. Как-то сказал: “Я хоть и сам люблю позубоскалить, но писать нужно с дрожью в губах, а у них этого нет”. Во многих писателях его коробила “победоносная самоуверенность” — “писатели должны ходить с опущенной головой”. Не признавал напыщенности — “писать надо, как говоришь”»<sup>6</sup>.

Особое предпочтение Венедикт Ерофеев отдавал скандинавским писателям. Не потому только, что они жили относительно неподалёку от Кольского полуострова и были в какой-то степени его земляками по климату и северной природе, а в основном из-за их приверженности христианским моральным устоям и неприятия суесловия. Его умонастроениям и жизненному опыту соответствовали откровения норвежского драматурга Генрика Ибсена: «Сильнее всех тот человек, который наиболее одинок»; «Чистая совесть — самая лучшая подушка»; «Меньшинство может быть право, большинство всегда ошибается».

Кнут Гамсун пользовался его особой симпатией. Недаром говорят, мудрому человеку вся земля открыта. Трудно было не согласиться с великим норвежцем, сказавшим: «Это такое блаженство верить в несбыточное». Или невозможно не восхититься его, как сейчас сказали бы, медитацией на тему вождей с радикальными доктринами в голове и полезности их деятельности для человечества.

Представляю, какое удовольствие получал Венедикт Ерофеев от чтения гамсуновских «Мистерий»: «Переберите всех вождей социализма, кто они? Оборванцы, тощие мечтатели, которые сидят в своих



мансардах на деревянных табуретах и строчат трактаты об усовершенствовании мира! Конечно, они могут быть вполне порядочными людьми, разве может кто сказать что-либо дурное о Карле Марксе? Но даже этот Маркс только и знал, что сидеть и строчить, уничтожая бедность на земле — чисто теоретически, так сказать, росчерком пера. Он мысленно охватил все виды бедности, все степени нищеты, его мозг вместил в себя все страдания человечества. С пылающей душой макает он перо в чернила и исписывает страницу за страницей, заполняет большие листы цифрами, отнимает деньги у богатых, перераспределяет огромные суммы, переворачивает всю мировую экономику, швыряет миллиарды изумлённым беднякам — всё это строго научно, всё это чисто теоретически! Но в конце концов выясняется, что в наивной своей увлечённости он исходил из совершенно ложного принципа: из равенства людей! Тьфу! Да это абсолютно ложный принцип! И всё это вместо того, чтобы заняться какой-то полезной деятельностью и поддержать либералов в их борьбе за реформы и укрепление подлинной демократии...»<sup>7</sup>

Много общего в судьбе было у Венедикта Ерофеева с Кнутом Гамсуном. И родился он, как и норвежский писатель, в нищей многодетной семье, и жил, как тот, — тяжело и в бедности, и по стране бродил не меньше его.

И всё-таки скандинавы находились вне России, как и другие иностранцы со своими иноземными обычаями и нравами.

От кого Венедикт Ерофеев получал безмерное удовольствие, так это от своих соотечественников — писателей, входивших в Объединение реального искусства (ОБЭРИУ): Николая Алексеевича Заболоцкого<sup>[442]</sup>, Даниила Хармса<sup>[443]</sup>, Николая

Макаровича Олейникова<sup>[444]</sup>, Александра Ивановича Введенского<sup>[445]</sup> и Константина Константиновича Вагинова<sup>[446]</sup>.

Эта группа писателей и деятелей культуры просуществовала в Ленинграде с 1927-го до начала 1930 года. Их сочинения зияли, как прыщи, на припудренном лице советской литературы. Как уверяет Владимир Муравьев, из обэриутов Венедикту Ерофееву больше всех по душе были Николай Макарович Олейников, расстрелянный по приговору «двойки» (комиссии НКВД и Прокуратуры СССР), и Николай Заболоцкий<sup>8</sup>.

У меня сложилось другое впечатление, что Венедикт Васильевич Николаю Олейникову, разумеется, отдавал должное, но в восторге он был всё-таки от Александра Введенского. Этого человека Венедикт Ерофеев ценил выше высокого. Выше всех других обэриутов и их современников.

По крайней мере к такому утверждению меня склоняют многие факты. Вот один из них. Вспоминает Наталья Шмелькова: «Просил прочесть ему вслух опубликованную в “Огоньке” “Элегию” Введенского. Поражена. Ведь только вчера в кои-то веки я разбирала свой книжный шкаф и из одной папки случайно выпало перепечатанное на машинке и кем-то подаренное мне именно это стихотворение! Веничка тоже очень удивился такому совпадению»<sup>9</sup>.

Венедикт Васильевич часто общался с поэтом Генрихом Сапгиром. Представляю, какое он испытал волнение, когда кто-то из их общих знакомых сообщил ему, что художница Алиса Ивановна Порет<sup>[447]</sup>, ученица двух гениев, Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина<sup>[448]</sup> и Павла Николаевича Филонова<sup>[449]</sup>, и к тому же возлюбленная обэриута Даниила Хармса, одарила

Сапгира рукописью стихотворной пьесы Александра Введенского «Куприянов и Наташа».

По тем пуританским временам эта стихотворная пьеса, сочинённая в сентябре 1931 года, воспринималась московской писательской богемой с большим восторгом, чем, например, интеллектуально-эротические и гомосексуальные откровения американского битника Ирвина Аллена Гинзберга<sup>[450]</sup>, автора знаменитых поэм «Вопль» и «Кадиш», посетившего в 1965 году Москву. Из пьесы Александра Введенского «Куприянов и Наташа» вышел метафизик Юрий Мамлеев (и, думаю, не только он один), как «из “Шинели” Н. В. Гоголя вышла почти вся русская литература 40—60-х годов XIX века». Последние заковыченные мною слова произнёс Фёдор Достоевский в беседе с секретарём французского посольства в Петербурге, писателем, критиком графом Эженом Мельхиором де Vogüé<sup>[451]</sup>. Не буду голословным и приведу один монолог Наташи из этой стихотворной пьесы Александра Введенского:

«Наташа (*снимая рубашку*)

Смотри-ка, вот я обнажилась до конца  
и вот что получилось  
сплошное продолжение лица,  
я вся как будто в бане.  
Вот по бокам видны как свечи  
мои коричневые плечи,  
пониже сытных две груди,  
соски на них сияют впереди,  
под ними живот пустынный,  
и вход в меня пушистый и недлинный,  
и две значительных ноги,  
меж них не видно нам ни зги.

Быть может, тёмный от длины  
ты хочешь посмотреть пейзаж спины.  
Тут две приятные лопатки  
как бы солдаты и палатки,  
а дальше дивное сиденье,  
его небесное виденье  
должно бы тебя поразить...»<sup>10</sup>

Надо ли говорить, что Венедикт Ерофеев впал в тревожное состояние. Желание увидеть рукопись Александра Введенского, подержать её в руках и даже по-наглomu выпросить её у Генриха Сапгира было настолько неотвязным и мучительным, что он вышел на улицу, сел в метро и доехал до «Проспекта Мира». На улице неподалёку жил поэт вместе со своей тогдашней женой Кирой.

Далее привожу рассказ Киры Сапгир:

«Раздаётся телефонный звонок. Генрих в запарке, что-то пишет у себя в комнате. Я беру телефонную трубку. Слышу голос Ерофеева: “Не позовёшь ли Генриха? Позарез нужен” Я передаю трубку Генриху и стою рядом. Держу ситуацию под контролем. По реакции мужа понимаю, что Венедикт говорит ему какие-то приятные вещи. Вроде того, что идёт по проспекту Мира и у него в голове звучат сапгировские стихи, а одновременно с ними возникает какая-то непреодолимая тяга увидеть и пообщаться за бутылкой с Генрихом. Я, естественно, напрягаюсь и шепчу: “Завалишь, что обещал написать!” Генрих меня услышал и, вздохнув, вежливо отказался Ерофеева принимать. Проходит минут десять, и снова звонок. Опять Ерофеев. Трубку берёт уже Генрих. Судя по тому, что он минут десять слушает и раза два даже хохочет, понимаю, что приход Венички неотвратим. Ерофеев

добился, чего хотел, своим красноречием, которое у него всегда содержало убеждающую интонацию. Я тут же накрыла стол на троих. Разумеется, с приходом гостя Генрих свою работу отложил. Первое, с чего начал разговор Ерофеев, была пьеса Введенского. Как уж её автором он начал восхищаться, невозможно передать словами. На этом Веничка не остановился и перешёл к настойчивой просьбе хотя бы на день передать ему рукопись пьесы “Куприянов и Наташа”. Тут я увидела, как Генрих нахмурился и даже набычился, словно Ерофеев саркастически проходится по его стихам. И вдруг, неожиданно для меня, он взревел такой матерщиной в его адрес, что я даже перепугалась. Переведу, что он сказал, на нормальный язык: “Ты что же, мил-человек, со мной хотел пообщаться и поговорить или за рукописью Введенского пришёл? Да пошёл ты отсюда...” На этом я остановлюсь. Ерофеев после этого потока осмысленного мата минуту помолчал и с невозмутимым спокойствием, тихо так, но внятно и вежливо сказал моему мужу, перейдя почему-то на “вы”: “Вы ещё об этом пожалеете”. И ушёл, не сказав больше ни слова. Генрих, конечно, расстроился. Проходит часа два. Раздаётся телефонный звонок. Я беру трубку. Говорит женщина: “Это квартира Генриха Сапгира?” Отвечаю: “Да”. И снова вопрос: “А вы кто?” Отвечаю: “Его жена”. В ответ слышу: “А я Надежда Яковлевна! Как нестыдно набрасываться на Венедикта. Обуздайте своего мужа!” Я, конечно, растерялась и, выпав из времени, выпалила сгоряча вдове Осипа Мандельштама, что обычно говорят женщины в подобных случаях: “Обуздывали бы лучше своего!” И тут же, опомнившись, что сказала глупость, бросила трубку.

Вот так я единственный раз в жизни поговорила с Надеждой Яковлевной Мандельштам.

Венедикт Ерофеев был как малый ребёнок. Его Генрих сильно обидел, и он пожаловался человеку, который мог его понять и по-своему защитить».

И вправду, как вспоминает Наталья Шмелькова, «у спящего Венедикта Ерофеева дыхание было, как у младенца. Еле слышное»<sup>11</sup>.

Со временем я решил продолжить тему «Надежда Мандельштам и Венедикт Ерофеев». Приложил к этому немалые усилия и вот что я, к своему удивлению, обнаружил. Звонила возмущённая поведением Генриха Сапгира не Надежда Яковлевна Мандельштам, а Надежда Яковлевна Шатуновская, после ареста дочери Ольги примкнувшая к правозащитному движению. А весь сыр-бор разгорелся из-за рукописи Александра Введенского. Причём не из-за её высокой аукционной стоимости, а из-за пустяшного для многих людей желания: рассматривать эти листы, как любил выражаться Венедикт Ерофеев, в минуты скорби и печали.

Не безразличен Венедикту Ерофееву был, я предполагаю, и обэриут Константин Вагинов, хотя он в своих «Записных книжках» ни разу о нём не вспомнил. Но посудите сами, сколько было общего у Венедикта Ерофеева с этим замечательным человеком. Как в сходном стиле жизни, так и в творчестве.

Работать Константин Вагинов предпочитал один, вне литературных группировок, хотя и прилепил непонятно зачем своё имя к Объединению реального искусства. Он с детских лет отличался всякими странностями. Поступал не как все, а как самому хотелось. Друзей и знакомых делал прототипами своих произведений, что далеко не всем, естественно, нравилось.

Венедикт Ерофеев, так же как и Константин Вагинов, смешивал в одном произведении разные

жанры. Он, как уже говорилось, дал персонажам своего первого, начатого в семнадцатилетнем возрасте сочинения «Записки психопата» имена и фамилии реально существующих и хорошо ему знакомых людей. Это восстановленное в двух частях прозаическое произведение было наконец-то напечатано полностью только недавно — в 2019 году. По объёму текста оно более чем в два раза превосходит поэму «Москва — Петушки» и ничуть не уступает ей по силе эмоционального воздействия.

Не только общие черты поэтики сближают Венедикта Ерофеева с Константином Вагиновым. Их духовное родство сказывается в трактовке бражничества и во взглядах на важнейшие события российской истории. Как отмечал Николай Корнеевич Чуковский<sup>[452]</sup>, Константин Вагинов был убеждён, что «опьянение не наслаждение, а метод познания»<sup>12</sup>. Февральскую революцию вместе с октябрьским переворотом считал бичом Божьим, сравнивая эти события с крушением Римской империи.

Был Константин Вагинов убеждён, что послал Господь России тяжёлые испытания в наказание за её имперские прегрешения. Место доброго самаритянина занял «хам» Дмитрия Мережковского, физически сильный, а умом никудышный. В статье «Грядущий хам», напечатанной в 1905 году, писатель обращается к «милым русским юношам»: «Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможна и первая. Одного бойтесь — рабства и худшего из всех рабств — мещанства и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть чёрт — уже не старый, фантастический, а новый, реальный чёрт, действительно страшный, страшнее,

чем его малюют, — грядущий князь мира сего, грядущий хам»<sup>13</sup>.

В одном Венедикт Ерофеев расходился с Константином Вагиным. Тот возрождение России связывал с античными ценностями, а Венедикт Ерофеев — с христианскими. На том и стоял до самой смерти. Это расхождение, однако, не мешало ему использовать вслед за обэриутами материал повседневности, преобразуя его в карнавальные образы, смещая плоскости пространства и времени и насыщая его религиозно-философскими размышлениями.

Сделаю небольшое отступление для понимания читателем, насколько уязвимой и опасной была бы на заре цивилизации выбранная Венедиктом Ерофеевым позиция стороннего наблюдателя. В античной Греции у него также появились бы проблемы. Известно, что древние греки лишали гражданства того из своих соотечественников, кто в противоборстве двух мнений уклонялся от высказывания, на чьей он стороне. Если сказать откровенно, без всяких экивоков и аллегии — при голосовании (при предоставленном широком выборе) Венедикт Ерофеев прятался на всякий случай в кусты. Делал он это не из-за трусости, а потому что не мог принять ничью сторону. Та и другая по нравственным критериям мало чем отличались друг от друга. А предлагать своё понимание жизни ему представлялось бессмысленным занятием. Венедикт Ерофеев знал по своему опыту, что это ни к чему хорошему не приведёт, а только осложнит жизнь не только ему одному, но и тем, с кем он общался.

Константин Вагинов в «Орфее для сумасшедших» воссоздал типаж пьяницы. Веничка из поэмы «Москва — Петушки» чем-то похож на этого героя своим антиобщественным поведением, но всё-таки он более независим и волен в мыслях и поступках.



При содержательной и ритмической непохожести «Орфея для сумасшедших» и поэмы «Москва — Петушки» у Венедикта Ерофеева в поэме явственно проступает имитация того же стиля, но уже в сниженном виде, и усиливается ироническая интонация. Попросту говоря, писатель словно валяет дурака, откровенно ёрничает. А как ещё вести себя с людьми, которых система на протяжении многих десятилетий сжимала настолько основательно, что они буквально ополоумели. Иначе трудно объяснить, почему до сих пор крепка их вера в каждое печатное или произносимое в эфире слово. От кого бы оно ни исходило. Будь то прежняя телевизионная программа «Время», или нынешнее «Эхо Москвы», или радиостанции «Голос Америки» и «Свобода», вещавшие тогда ежедневно на СССР.

Приведу наугад небольшие фрагменты из этих двух произведений, чтобы не быть голословным в своих суждениях.

У Константина Вагинова: «Тщетно напивался бывший поэт. И в опьянении он чувствовал своё ничтожество, никакая великая идея не осеняла его, никакие бледные розовые лепестки не складывались в венок, никакой пьедестал не появлялся под его ногами. Уже не часто он подходил к вину, не с самоуважением, не с сознанием того, что он делает великое дело, не с предчувствием того, что он раскроет нечто такое прекрасное, что поразится мир, и вино теперь раскрывало ему его собственное творческое бессилие, собственную его душевную мерзость и духовное запустение, и в нём было дико и страшно, и хотя он ненавидел вино, его тянуло к вину...»<sup>14</sup>

У Венедикта Ерофеева: «Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твёрдую память или, наоборот, — теряет разом и то и другое. А в случае со

“Слезой комсомолки” просто смешно: выпьешь её сто грамм, этой слезы, — память твёрдая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь ещё сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? И куда девалась вся твёрдая память? Даже сам рецепт “Слезы” благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, лишался»<sup>15</sup>.

## **Глава четвёртая**

### **НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА**

Сказать, что Венедикт Ерофеев, женившись вторично, обрёл семью, было бы преувеличением. Готов с радостью объявить читателю, что завершилась его скитальческая жизнь. Вот это будет совсем другое дело. Никакой любви к новобрачной у Венедикта Ерофеева не было и не предвиделось. Тут требовалось незнамо что для того, чтобы предполагаемая любовь неожиданно вспыхнула и запылала. Ну, в крайнем случае хотя бы чуть-чуть затеплилась.

Галина Павловна Носова появилась в жизни Венедикта Ерофеева случайно. Он собирался найти в Москве недорогое жильё. Небольшую комнату в коммуналке. Кое-какие деньги после экспедиции в Среднюю Азию по изучению кровососущего гнуса у него всё ещё оставались. На оплату одной комнаты их вполне хватило бы. У Галины Павловны Носовой его первое появление вызвало экзальтацию. Подтверждением служит запись в её дневнике. Эту запись приводит в своих неизданных воспоминаниях её мать Клавдия Андреевна Грабова, будущая тёща Венедикта Ерофеева:

*«10 октября 1974 года. На лестничной площадке стоял высокий, с сединой Ерофеев, и весь его облик говорил, что он живёт! В полумраке лестницы я не видела его глаз, но всё его тело излучало свет. Он был в нём. И даже соседи сказали мне: “Какой красивый мужчина пришёл к тебе”»<sup>1</sup>.*

Клавдия Андреевна Грабова вместе с дочерью, как смогли, приодели Венедикта Ерофеева. Позднее свою новую тёщу он «припечатает» одной убийственной

фразой: «Ударенная пыльным мешком инкассатора». Клавдия Андреевна работала в универмаге на Калининском проспекте<sup>[453]</sup>. Прошло много лет, а она всё ещё помнила, какой новой одеждой с её помощью обзавёлся Венедикт Ерофеев с приходом в дом её дочери: «Мы с Галиной его одели, купили ему хороший костюм, хорошее пальто, обувь, сорочки, бельё»<sup>2</sup>.

Марк Фрейдкин, поэт и переводчик, к суждениям которого о Венедикте Ерофееве я уже обращался, познакомился с писателем накануне его женитьбы на Галине Носовой. До знакомства с ним он, по его словам, «давно был в друзьях с Ольгой Седаковой и со всей её компанией», а также «по совершенно другой линии был знаком и с Галей Носовой»<sup>3</sup>. (Его воспоминания «О Венедикте Ерофееве» вошли в книгу «Каша из топора».)

К Марку Фрейдкину, не считающему себя другом Венедикта Ерофеева, обратилась Галина Носова, когда у мужа начался приступ белой горячки. Её звонок раздался у него в квартире в 10 часов утра 1 января 1980 года. Он «взяв ноги на плечи» отправился на Флотскую улицу. Это было сравнительно недалеко, он жил около станции метро «Аэропорт». У Ерофеевых Марк Фрейдкин провёл около полутора суток, просидев на стуле перед дверью на балкон, куда прорывался Венедикт Ерофеев<sup>4</sup>. Как он пишет, «героически борясь со сном», держал оборону. Вот что записал в своём дневнике виновник новогоднего переполоха:

*«1 января 1980 года. Самый поражающий из дней. Начало треклятого пения в стене. Срочно водки. Не помогает. Мышки и лягушата. Срочно вызван Марк Фрейдкин для дежурства. Всю ночь приёмник, чтобы заглушить застенное пение. Из-за метели — физия в окне. Люди в шкафу, крот на люстре. Паноптикум...»<sup>5</sup>*

Во второй раз Марк Фрейдкин спас Венедикта Ерофеева от смерти в мае 1981 года, когда помрачение

рассудка произошло уже у Галины Носовой. Перейду непосредственно к тексту мемуаров: «Я приехал. Вени дома не было — он ещё с майских праздников оставался в Абрамцеве. Мы сидели на кухне, и Галя по своему обыкновению меня кормила. Разговор шёл о каких-то пустяках, а когда я закончил, как всегда, обильную трапезу, она сказала: “А теперь смотри, что я тебе покажу”. Она сходила в комнату и вернулась с огромной кипой разных бумаг, чертежей и перфокарт. Разложив всё это на кухонном столе, а кое-что даже развесив по стенам, она с места в карьер понесла какой-то абсолютно шизофренический бред про приближающуюся комету Галлея и непосредственно связанное с этим крушение советской власти. А в заключение сказала, что вчера закончила все вычисления и теперь совершенно точно знает: 21 мая (в день её рождения) в 13.45 небо станет цвета “бормотухи”, на нём появится огромный телевизионный экран и диктор программы “Время” объявит, что начинается конец света. “И тут, — торжественно объявила Галя, — мне нужно будет делать самое главное. Вот этим ножом, — она взяла в руки большой зубчатый нож для разрезания хлеба, — я должна зарезать спящего Ерофеева, а потом выброситься с балкона”»<sup>6</sup>.

Конец этой истории о конце света и Галине Носовой всё равно оказался трагическим: «Как всегда бывает у шизофреников, периоды обострения чередовались с весьма длительными порой периодами просветления, но в конце концов болезнь взяла верх: в августе 1993 года, через три года после смерти Вени, Галя всё-таки выполнила часть своего плана и выбросилась с балкона квартиры на Флотской. Того самого, откуда я в своё время не дал выброситься ему»<sup>7</sup>.

Должен сразу признать, что мемуары Марка Фрейдкина воссоздали образ писателя, значительно более близкий к Венедикту Ерофееву из плоти и крови. В сравнении с этим образом парадный портрет, возникающий из рассказов владимирцев, блекнет и уже не впечатляет. Романтические преувеличения не всегда срабатывают, если они оказываются ни к месту, ни ко времени и к тому же присутствуют в избытке.

Угол зрения, который выбрал Марк Фрейдкин, вспоминая Венедикта Ерофеева, тот же самый, что у Александра Васильевича Бахраха<sup>[454]</sup>, написавшего книгу «Бунин в халате». Он и сам не скрывает, почему ему, «возвышенно настроенному юноше», знавшему на память «почти всего Мандельштама», а в любимых писателях «числившего Бунина и Томаса Вульфа», не могло понравиться то, что безоговорочно «хвалят все»: «...я, как это вообще свойственно пишущим людям (и не только, надо указать, в молодости), к творчеству современников относился пристрастно, ревниво и по большей части неадекватно. Был тут и ещё один момент: очевидно, благодаря моему стойкому агностицизму, многочисленные и навязчивые евангельские аллюзии в “Петушках” казались мне несколько ходульными и притянутыми за уши. Честно говоря, мне и сейчас так кажется, хотя с годами я сумел в полной мере оценить литературные достоинства этой, безусловно, гениальной и единственной в своём роде книги»<sup>8</sup>.

Не так-то трудно опровергнуть домыслы по поводу известного человека. Куда сложнее отделить почитаемую личность от сросшегося с ней предания. Марк Фрейдкин, как он сам признавался, не входил в число близких друзей Венедикта Ерофеева. Да и его приятелем, а тем более собутыльником он себя не считал. Так уж вышло, что на протяжении десяти лет он

был, как говорят, вхож в новую семью Венедикта Васильевича.

Относясь к поэтам вменяемым и наблюдательным, он обозревал жизнь Венедикта Ерофеева не с высоты птичьего полёта, а с достаточно близкого расстояния. Воссозданные Марком Фрейдкиным образы автора поэмы «Москва — Петушки», его жены и некоторых лиц из их ближайшего окружения чем-то сходны с портретами «без глянца», выполненными в сугубо реалистической манере. Благодаря этим мемуарам я почти вплотную, насколько это вообще возможно, приблизился к адекватному пониманию характера Венедикта Ерофеева, его бытового поведения, но не его творчества.

На что же обратил внимание мемуарист, изначально объявивший, что не намерен выступать в роли демифологизатора? Начну с особенностей характера Венедикта Ерофеева, увиденных и обозначенных Марком Фрейдкиным. Основная его черта была в том, что он, «будучи буквально и фигурально на “ты” со всем миром, фамильярности и амикошонства не терпел»<sup>9</sup>. Эта его церемониальность в общении с людьми дополнялась ещё одной чертой: «Надо сказать, что Веня в быту был человеком преимущественно молчаливым — я, признаться, не припомню, чтобы когда-нибудь в разговоре слышал от него больше десяти-пятнадцати слов подряд. Он явно предпочитал слушать других, а не говорить сам, хотя пустую болтовню, к которой я по малолетству имел склонность, переносил с трудом. Как мне кажется, для него слишком очень многое в нашей обиходной речи и в жизни вообще представлялось очевидностью и трюизмом, тем, что англичане называют “it goes without saying” (в переводе с английского языка «вне всякого сомнения». — А. С.), а произнести что-то банальное и общепринятое он просто

не мог себе позволить. С годами я начал это очень хорошо понимать и тоже стал чаще помалкивать»<sup>111</sup>.

Марк Фрейдкин не обходит в своих мемуарах, говоря о взглядах Венедикта Ерофеева, и «еврейский вопрос»: «Кстати уж, о “жидках”. Не могу согласиться с глубоко мною чтимым М. Л. Гаспаровым, в своих блестящих “записках и выписках” однозначно назвавшим Веню антисемитом. Хотя, конечно, его отношение к евреям во многом обуславливалось вдумчивым чтением Розанова и, соответственно, было по меньшей мере амбивалентным. Кроме того, сюда примешивался и фрондёрский протест против традиционной юдофилии российской либеральной интеллигенции, тогда как о первой и о второй Веня отзывался с неприкрытой неприязнью. Но в бытовом и чисто человеческом плане ни о чём подобном не могло идти даже речи, и здесь никого не должны вводить в заблуждение некоторые Венины бонмо из посмертно опубликованных записных книжек или то, что словечко “жидяра” было одним из самых употребительных в его лексиконе. Это, на мой взгляд, носило во многом игровой характер, да и вообще Веня, как мне кажется, был более “театральным” человеком и гораздо чаще “работал на публику”, чем о нём сейчас принято говорить»<sup>11</sup>.

Галина Павловна Носова описана Марком Фрейдкиным как женщина добродушная, хлебосольная и всецело преданная Венедикту Ерофееву. Куда менее привлекательным представлен им Вадим Тихонов, «любимый первенец» Венедикта Ерофеева, к которому автор мемуаров «не испытывал ни малейшей симпатии»<sup>12</sup>.

Приводимый Марком Фрейдкиным эпизод в троллейбусе, где он случайно столкнулся с Вадимом Тихоновым, достаточно характеризует этот колоритный



персонаж из «великолепной семёрки» Венедикта Ерофеева: «... и вдруг увидел, что на передней подножке висит Вадя. Он тоже увидел меня, ужасно обрадовался и, выкрикивая малоцензурные приветствия, сейчас же начал неизвестно зачем пропихиваться ко мне через битком набитый вагон. Прямо надо мной возвышалась очень солидная, полная и прекрасно одетая дама лет пятидесяти. Помню, я стоял на нижней ступеньке, буквально уткнувшись носом в её роскошный и благоухающий бюст. Дотолкавшись до неё, Вадя своим нарочито пронзительным тенорком внятно произнёс на весь троллейбус: “Гражданочка, сраку-то прими — не видишь что ли, мне к композитору пройти надо!”»<sup>13</sup>. Композитором Марка Фрейдкина называли в ерофеевской компании из-за его умения «бацать» по клавишам и в связи с тем, что известного композитора Фрадкина [\[455\]](#) также звали Марком.

Я крайне сожалею, что Марк Фрейдкин при существовавших у него аналитических способностях и литературном даре не увидел главного в личности и творчестве Венедикта Ерофеева. Не признал за ним ставшую редкой способность различить в окружающем мире проявления застенчивого Добра и мимикрирующего Зла.

Чего не заметил в Венедикте Ерофееве его коллега по перу, разглядела и талантливо описала Наталья Шмелькова в своей книге «Последние дни Венедикта Ерофеева».

Перед встречей с Натальей Шмельковой Венедикт Ерофеев ни монахом, ни верным мужем, увы, не был. Вот, например, как он, женатый на Галине Носовой, с присущей ему иронией в письме сестре Тамаре Васильевне от 13 ноября 1982 года рассказывает о

некоторых сложностях, вызванных его любовными отношениями с несколькими женщинами:

«...Яна по телефону сказала мне, что не желает видеть меня и мою Ирину. Ирина заявила, что не терпит ни меня, ни Яну. Юля, предварительно излаяв Галину и Ольгу с Яной, ультимативно потребовала, чтобы не было моей ноги в её доме. Вмешавшись в это, Лера и Алла (обе предмет давней ненависти Галины) спасовали и на время удалились. Но все были в сборе 24 октября (в день рождения Венедикта Ерофеева. — А. С.) (кроме Юли, потому что ожидалось нашествие Валентины). Валентина с сыном так и не появилась. И слава Богу. Они грозились разбросать всех Ольг, Ирин и Юль с балкона 13-го этажа»<sup>14</sup>. «Короче, день рождения обстоял вполне благочинно, и я намеренно почти ничего не пил, и (вот что удивительно) Галина меня перехвалила: все последовали моему образцу, и всё обошлось “без бурь, без громов и без молний” (Висс[арион Белинский]). Я заведомо спровадил всех потенциальных экстремистов, налив им по рюмке водки и мысленно дав поджопника, а всех максималисток, поочерёдно с каждой кулуарно беседуя, заверил в своей любви и в их единственности»<sup>15</sup>.

Играть в подобную любовную чехарду не всякий выдержит, и ничем хорошим это обычно не заканчивается.

Не к самому ли себе Венедикт Ерофеев отнёс слова русского писателя и драматурга Алексея Феофилактовича Писемского<sup>[456]</sup>, процитированные им 20 июля 1981 года в одном из своих многочисленных блокнотов: «...будучи большим шалуном по женской части»<sup>16</sup>?

Не буду отвлекаться на описание распространённых несовершенств человеческой природы. Часть из них, безусловно, была присуща моему герою, как и многим

из нас. Сконцентрирую внимание на несложных установках его жизни. На том, что он считал для нравственных людей неприемлемым. Не возвышался Венедикт Ерофеев на «совете нечестивых» и не сидел «в собрании развратителей». С юношеских лет пришло к нему понимание хода жизни: «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет» (Пс. 1:6).

Венедикт Ерофеев действительно не заморачивался тем, во что он одет и какие вещи его окружают. При этом в рублище не ходил. Когда же во время горбачёвской перестройки зарубежные издания поэмы «Москва — Петушки», её театральные инсценировки, а также многочисленные постановки пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» стали солидным источником денежных поступлений, случалось, что он появлялся на публике в модной одежде. Ему нравилось скромно, но элегантно выглядеть и, как любому поэту, своим видом сводить с ума женщин.

Наталья Шмелькова верила в предопределённость свыше её отношений с Венедиктом Ерофеевым. На эту мысль её навела похожесть номеров их телефонов. У Натальи: 434-777-9. У Венедикта: 454-777-0. Как она отметила в книге «Последние дни Венедикта Ерофеева», её возлюбленный «долго цифры сопоставлял, что-то вычислял и даже расшифровывал их...»<sup>17</sup>.

Что касается значения трёх семёрок в нумерологии, то разгадать их мистическое значение легко. Оно всем известно. В традициях разных народов семёрка сама по себе счастливое число. Оно предрекает невероятную удачу и немыслимый успех. Повторяясь друг за другом, три семёрки превращаются в мощный оберег для человека или события.

Первые три цифры номера телефона и три последние затрагивали личную судьбу Натальи Шмельковой и Венедикта Ерофеева. В первых трёх цифрах средняя цифра обозначила разрыв в два года от первой случайной встречи на квартире журналиста Игоря Дудинского 17 февраля 1985 года до серьёзных отношений в 1987 году. Следующие за тремя семёрками девятка и ноль обозначили годы смерти Натальи Шмельковой — 2019-й и Венедикта Ерофеева — 1990-й.

Встреча с Натальей Шмельковой принесла Венедикту Ерофееву радость и воодушевление. Он, несомненно, воспринял её любовь как чудо, как последнюю надежду на исцеление от смертельной хвори. В нём непонятно откуда и вопреки всему на короткое время появилась вера, что он превозможет свою страшную болезнь. Незадолго перед этим осознанием счастья, пришедшего к нему свыше, он принял крещение в католицизм. Его крёстными стали Владимир Муравьёв и Наталья Шмелькова. Теперь уже даже временное отсутствие рядом с ним его Наташи приводило его в состояние депрессии.

Венедикту Ерофееву стоило огромных усилий не впасть в отчаяние и не сорваться в запой. Он готов был пожертвовать всем на свете, только бы ежедневно видеть её с собой рядом.

Чувства, его охватившие, при всей присущей ему эмоциональной сдержанности вырвались наружу в письме от 15 июня 1987 года. В то время Наталья Александровна находилась в командировке в Тольятти:

«Со времени твоего отъезда началась полоса полуоцепенелой полуразбитости, вернее, полоса сиротства и умственного распада. И безрадостности. Потому и пишу коротко, безвкусно и уныло. С 10-го числа в столицу не выползаю. Я там совсем околею от скорби. Здесь, в маленьком домике, я от той же скорби тоже немного околеваю, но каждый раз утром

обнаруживаю себя в живых. Охоты шастать по лесам почти нет, да и какой смысл без тебя? Всё-таки по принуждению шастую и вменяю себе в обязанность умиляться постылым лютикам. Если не считать вчерашнего позднего вечера, своей писанины не касался. Вчера перед сном чуть-чуть покрापал. Вчера же привезли твой польский крест с распятием, я тут же повесил его над головою: вдруг Господь освежит мою душу. Так вот лежу и думаю: “Освежит или не освежит? Освежит, наконец, как не освежит!” А сам в ожиданиях всё-таки что-нибудь отваживаюсь делать: посадил шесть грядок укропа, два салата и две петрушки. Когда сажал и поливал, размышлял про себя (что я мыслитель, ты ведь знаешь), так вот, я размышлял: “А на (...) тебе, неумный, петрушка?” И тут же сам себе бойко отвечал (ты ведь знаешь, что я отвечал), так вот, я отвечал: а когда придет Перельманиха, она будет жрать салат, укроп и петрушку без зазрения совести. И будет после этого ещё бокастее. <...> Для ради утреннего променажу сейчас отправляюсь в Птичное за молоком (!). Попутно опущу и эту вот короткую писульку к тебе. Напиши мне, Шмелькова, хоть что-нибудь и хоть такого же объёму. <...> Неизменно о тебе помню, Наталья Перельман. Чаще, чем это полезно...

Остаюсь: *Венед. Ероф. Утро 15 июня 87 г.*»<sup>18</sup>.

Подаренный Натальей Шмельковой польский крест с распятием вскоре сняла со стены Галина Носова, сославшись на соседа по подъезду Эдичку, алкаша и клептомана<sup>19</sup>.

Венедикт Васильевич при своём бравом виде и росте один метр восемьдесят семь сантиметров при посторонних людях не то чтобы робел, а слегка тушевался. Бывали ситуации, когда он заливался краской и впрямь походил на застенчивую девицу.

Его сын вспоминал: «В 88-м Венедикту Васильевичу привезли из-за границы аппарат, который усиливал голос, он подставлял аппарат к горлу и говорил. Каково ему это было при его стеснительности, если ещё здоровым он застёгивал рубашку на все пуговицы? И его характерный жест — прикрывать горло, словно проверяя, застегнут ворот или нет. Его смущал этот аппарат, который привлекал внимание к его болезни. И от потери голоса Венедикт Васильевич страдал, у него же был замечательный баритон. Пять лет болезни, несколько операций, боли постоянные, запрет на спиртное к тому же...»<sup>20</sup>

Венедикт Ерофеев до конца своих дней оставался ребёнком. Как вспоминала Наталья Шмелькова, зимой в Абрамцеве он попросил покатать его на санках, но чтобы никто не видел<sup>21</sup>.

С появлением в его жизни Натальи Шмельковой расширился его круг общения за счёт её образованных и талантливых друзей.

Смерть Венедикта Ерофеева стала для Натальи Шмельковой тяжёлым и мучительным испытанием. От этого удара она так и не оправилась. Многие пришлось ей пережить и перечувствовать, доверясь памяти, сохранившей воспоминания о том счастливом времени. У неё появилась непреодолимая потребность перенести три года их непростых и невероятных отношений на бумагу. Так появилась книга «Последние дни Венедикта Ерофеева».

## **Глава пятая**

# **ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ**

У чтимого Венедиктом Ерофеевым Иоганна Вольфганга Гёте есть здравое по мысли высказывание. Стоит к нему прислушаться: «Я уважаю людей, которые точно знают, чего хотят. Большая часть бед во всём мире происходит от того, что люди недостаточно точно понимают свои цели. Начиная возводить здание, они тратят на фундамент слишком мало усилий, чтобы могла выстоять башня»<sup>1</sup>.

Венедикт Ерофеев приложил много труда, чтобы фундамент, эта несущая конструкция того немногого, что вышло из-под его пера, был безукоризненным во всех отношениях. Как говорят, «прочен, как сталь, и блестел, как хрусталь». Такой результат стал возможен благодаря его наблюдательности, невероятной памяти и оригинальному стилю повествования — свидетельство его писательского мастерства. Основу фундамента поэмы «Москва — Петушки» и трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» составили его записи в многочисленных блокнотах — так называемые «Записные книжки».

Большая их часть пошла на растопку печи в доме его первой жены Валентины в Мышине. Эту инициативу проявила тёща Наталья Кузьминична Зимакова, относившаяся к писательству зятя без всякого почтения, а лично к нему с нескрываемым пренебрежением, переходящим в ненависть. Однако не всё, к счастью, было ею предано огню. Кое-что сохранилось.

По «Записным книжкам» восстанавливаются реальные отношения Венедикта Ерофеева с разными

людьми и его постоянно расширяющиеся литературно-художественные интересы. Это единственные источники информации, которым можно доверять. С их помощью приоткрывается истинная подоплёка поступков и привязанностей писателя. Кем только в них он себя не называл, с кем только не сравнивал — «Я был никто, теперь я — некто»<sup>2</sup>; «Я противоударный и флагонепроницаемый»<sup>3</sup>; «Я бы хотел быть проливом Лаперуза, то есть тихонько отделять Сахалин от Хоккайдо»<sup>4</sup>. Он понимал, что живёт на разрыв аорты. Для самооправдания находил нужные слова и знал, на кого сослаться: «Мой путь саморастрачивания ничуть не хуже и не лучше других. “Что есть польза?” — спросил бы Понтий Пилат»<sup>5</sup>.

Последние годы жизни Венедикта Ерофеева подтверждают ригористическую мысль Альберта Эйнштейна: «К величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдание».

На последнее десятилетие земного существования Венедикта Ерофеева падает отсвет евангельских событий. Годы эти особенные, с явным мистическим смыслом. Так мученический конец героя поэмы «Москва — Петушки» с необыкновенной точностью повторился в реальности. Произошёл практически в схожих обстоятельствах. На этот раз жертвой стал создатель поэмы, умерший от рака горла. Я предполагаю, что ничего неожиданного для Венедикта Ерофеева в этом совпадении не было. Ведь вся его духовная жизнь проходила в прямой обусловленности с событиями, описанными в Евангелии и апокрифах. Только осознав эту важнейшую особенность мышления и психики писателя, возможно объяснить многие его поступки, разглядеть христианскую подоплёку его творчества. Приведу один из многочисленных примеров ориентации Венедикта Ерофеева на Евангелие в поэме «Москва —



Петушки». Это символика буквы «ю» и её расшифровка. Содержание этого символа намного шире предположения, что «Ю» — инициал Юлии Руновой.

Лев Оборин приводит гипотезу одного из читателей поэмы, объясняющую эзотерический смысл буквы «ю» в поэме. Незвестный автор начинает с цитаты из ерофеевского текста: «“Он знает букву ‘ю’ и за это ждёт от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома буква ‘ю’? Никому; вы и теперь-то её толком не знаете. А вот он — знает, и никакой за это награды не ждёт, кроме стакана орехов” — аллюзия на Евангелие детства от Фомы, апокриф, рассказывающий о детстве Христа. В нём учитель Закхей обучает ребёнка Иисуса грамоте и показывает ему “ясно все буквы от альфы до омеги”, но Иисус отвечает: “Как ты, который не знаешь, что такое альфа, можешь учить других, что такое бета. Лицемер! Сначала, если ты не знаешь, научи, что такое альфа, и тогда мы поверим тебе о бете”. После этого Иисус отвечает на те вопросы об альфе, на которые не смог ответить поражённый учитель. Евангельский и апокрифический контексты для Ерофеева в “Москве — Петушках” чрезвычайно важны. Можно продолжить эти рассуждения, вспомнив слова Бога из Откровения Иоанна Богослова: “Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний”<sup>[457]</sup>. В апокалиптическом финале “Москвы — Петушков” снова возникает буква “ю” — не последняя осмысленная “я”, но предпоследняя, неосмысленная: может быть, это значит, что для героя ещё не наступил конец»<sup>6</sup>.

Обращает на себя внимание ещё одна особенность в записях Венедикта Ерофеева того периода. В них содержатся уничижительные характеристики людей из его ближайшего окружения. Отсутствие в этих коротких заметках каких-либо смягчающих оговорок. Вот, например, его суждение о Владимире Муравьёве. Оно

присутствует в его блокноте 1979 года: «И о Муравьёве]. Он груб и, стало быть, глуп, я-то был влюблён в него в ту юную пору, когда ум дороже сердечности»<sup>7</sup>. И приблизительно тогда же появляются другие записи, предположительно относящиеся к тому же Муравьёву: «Умён от вечной темноты»<sup>8</sup> и «Я любил тебя не менее, чем Исаака Авраам»<sup>9</sup>. Венедикт Ерофеев словно предвидел действия своего друга после своей смерти. Те рукописи, которые писатель ему доверил, были тут же переданы Талине Носовой, женщине, психически нездоровой и импульсивной. Существовала большая вероятность их уничтожения. К тому же сам Владимир Муравьёв, осуществляя редактирование повести «Записки психопата», уничтожил те страницы в ней, которые касались его лично. Поступок для филолога такого высокого уровня недопустимый.

Вместе с тем близкий круг Венедикта Ерофеева значительно расширился именно в 1980-е годы. К людям из прежней неопределённой жизни, к которым он прикипел душой и кто по мере своих сил спасал его от бездомья и одиночества, как Валентина Еселёва, близкая подруга Юлии Руновой, Лев Кобяков, Вадим Тихонов, Генрих Сапгир, Светлана Мельникова, Слава Лён, Николай Котрелёв, присоединились Борис Мессерер, Белла Ахмадулина, Зана Плавинская и многие другие талантливые люди. С появлением в его жизни Натальи Шмельковой таких людей стало ещё больше.

В последние годы у Венедикта Ерофеева был не узкоконфессиональный взгляд на религию, а более широкий, с привлечением восточного опыта: «Да и брамины говорят: “ Религия должна состоять не в соблюдении внешнего культа, а в том, чтобы служить ей каждым своим дыханием”»<sup>10</sup>. В противоборстве с чудовищным святотатством, которое всячески не только

поощрялось, но и являлось официальной доктриной атеистического государства, приходили на помощь не только заповеди авраамических религий, но опорой также становились морально-нравственные установки индуизма и буддизма.

Венедикт Ерофеев свыкся со своей женой Галиной Носовой. Она не ограничивала его отношений с другими женщинами, но в то же время на сторону, как он, не ходила и быть соломенной вдовой не собиралась. Как-то само собой получилось, что она обращалась к нему «мой мальчик», а он — «моя девочка». Короче говоря, ему не удалось выпутаться из двусмысленной ситуации, в которой он оказался. Галина Павловна и слышать не хотела о каком-то с ним уговоре. Жена есть жена. И нечего тут разводить демагогию.

Зиму 1980 года Венедикт Ерофеев провёл в Абрамцеве, на даче наследников выдающегося художника Игоря Эммануиловича Грабаря. Ведь отопление, как, надеюсь, помнит читатель, на даче Бориса Николаевича Делоне отсутствовало.

В течение пяти лет периодически живя в посёлке академиков, Венедикт Ерофеев буквально прикипел душой к этому райскому местечку и его обитателям. Эмигрировать отсюда куда-нибудь ещё ему не хотелось. Прямо скажу, что и сам автор поэмы «Москва — Петушки» стал достопримечательностью этого оазиса науки и свободомыслия. Одни обитатели этих райских кущ к нему просто привыкли, а для других он стал незаменимым собеседником.

Приведу воспоминания о Венедикте Ерофееве Елены Дмитриевны Энгельгардт, обитательницы академического посёлка Абрамцево, внучки академика Леонида Ивановича Прасолова<sup>[458]</sup>. Она создала, на мой взгляд, достоверный и убедительный его портрет — результат многолетнего с ним общения в Абрамцеве:

«К нам на дачу Ерофеева привёл Саша Епифанов, внук И. Э. Грабаря. Они были хорошо знакомы. Какое-то короткое время после Делоне Ерофеев жил на даче у Грабарей. В это время я с маленьким сыном Толей жила здесь и зимой. Веня стал к нам заходить, что называется, по-соседски, по-дачному. В ту зиму мы с Толей остались в посёлке практически одни, никакого другого народа не было, и это общение превратилось очень быстро в близкую, плотную дружбу. <...> Помню, он мне читал абзацы из полного собрания В. И. Ленина, где тот говорит, что вся интеллигенция говно и необходимо “всех, всех расстрелять”. Так и стоит перед глазами картина: дача, зима, он сидит и что-то пишет. У него был мелкий, очень чёткий, красивый убористый почерк, прямо бисерный. Писал он в записных книжках удлинённого формата. Никаких тетрадей. Но никогда, если я приходила к ним, не было такого: “Веня работает, не заходи”. <...> Веня вообще хорошо знал и лес, и природу, умел всё делать, совершенно не был белоручкой. Колол, пилил дрова, воду носил. Я помню начало весны. Снег сошёл, вылезли первые нарциссы. Мы вокруг пляски устроили: Толечка маленький, я и Веня. Та зима была очень тяжёлая, холодная. После неё мы очень ждали весны, смотрели, как первая травиночка вылезет, когда первые листочки появятся. На всё это он обращал внимание. Он даже грядки разбил. Какие-то они у него были смешные, неуклюжие, но он сажал. Он уже у Исаевых посадил что-то, когда они потребовали, чтобы он съехал, сказав, что будут жить сами. И тогда сняли на “55 км”, на улице Чайковского. Но всё равно он ходил к нам, и мы туда без конца мотались. <...> Зимой он всегда был в ватнике. Кроличью шапку не снимал, по-моему, даже дома. Никаких дублёнок он не носил. Галка ругалась, потому что если его нарядить, он был просто “супер”. Я как-то видела Веню, когда она его нарядила. Они ехали на

один день в Москву. Голубая рубашка, пиджак, пальто. Действительно супер! Но он всего этого терпеть не мог. Зимой он любил ходить в ватнике. Весной и осенью носил короткое пальтецо, типа бушлата. У него была просто ангельская внешность. Он был очень деликатным человеком и очень умным, но в душе он был ребёнок, просто “дитё”. <...> У него лицо было необыкновенное. Тогда ещё не была написана “Вальпургиева ночь”. Через несколько лет я её прочла и вспомнила, как он это всё проговаривал на даче. Ну, эти фразочки, эти лютики»".

После дачи Грабарей они переехали в дом управляющего посёлком В. А. Исаева. Дом отапливался, и в нём можно было жить и зимой, и ранней весной. Однако вскоре в этом доме, названном Венедиктом Ерофеевым «хутором», ему было отказано.

В письмах сестре Тамаре Гущиной он всегда старался выглядеть примерным пай-мальчиком. Так и на этот раз. Письмо было написано 1 декабря 1980 года, когда они с Галиной Носовой жили в доме Грабарей:

«Тамара Васильевна, добрый тебе день.

(На этот раз пишу покрупнее и с интервалами, помня о твоих сетованиях на бисерность почерка и скаредность интервалов.) От тебя получил письмо позавчера, будучи на хуторе. Я оттуда не выползаю, по существу, у меня там всё, что мне нужно — книги, пишущая машинка, отрадная возня с дровами и с печкой, лыжи, умиротворение и весёлая трезвость. И почти ни души, если не считать субботне-воскресных наездов из Москвы наследников Игоря Грабаря. Об эту пору в прошлом году, в Москве я купался в гостях, недугах, вине и чёрной меланхолии. Мы уже решили бесповоротно — хуторок загородный нам совершенно необходим. Тем более их цену взвинчивают уже не из

года в год, как в милые старые времена, а с часу на час»<sup>12</sup>.

Переговоры с В. А. Исаевым о продаже его владения ничем существенным не кончились.

Со смертью Бориса Николаевича Делоне 17 июля 1980 года Венедикт Ерофеев словно сорвался с тормозов и поехал без удержу. Однако его связь с академическим посёлком Абрамцево не прервалась. Последний свой Новый, 1990 год он встретил на одной из дач этого полюбившегося ему места.

Начальные 1980-е годы прошли для Венедикта Ерофеева не так, как хотелось бы его родственникам и друзьям. Один запой сменялся другим. Я уже писал о встрече Нового, 1980 года. О том, какими видениями этот праздник сопровождался и чем для него закончился. Венедикт Ерофеев не раз и не два оказывался в Психиатрической клинической больнице им. П. П. Кащенко с тяжёлой алкогольной интоксикацией. Невозможно представить, как удавалось Венедикту Ерофееву выпить столько вина и водки за один вечер. Так, во время чтения на магнитофон своей поэмы на квартире Александра Кривомазова он выпил более семи бутылок вина. Хозяин квартиры вспоминает: «В конце того вечера была сделана последняя фотография: между слушателем и слушательницей с белыми лицами стоит с синим лицом наш замечательный автор»<sup>13</sup>. Уходя после этого вечера, он захватил с собой ещё две бутылки вина, которые опорожнил ночью. В его оправдание скажу, что сколько бы он ни выпил, язык у него не заплетался и глупости он не говорил. Другое дело, что он вдруг неожиданно падал на пол и мгновенно засыпал, как это произошло дома у Воронелей.

Не в лучшем состоянии находилась и Галина Павловна Носова. Она не входила, как он, в постоянные

запой. Зато окружающие её люди замечали, что её речи и поступки всё чаще и чаще не укладывались в рамки здравого смысла. Апофеозом обнаруженного в ней безумия стала навязчивая идея соединиться с кометой Галлея. К тому же куда-то исчез её уравновешенный характер. Уже все, кто близко с ней общался, поняли, что «его девочка» малость не в себе. Я предполагаю, что Галина Павловна была не совсем здорова и при первой встрече с Венедиктом Ерофеевым. Само её замужество явилось воплощением болезненного желания быть женой известного человека. Удовлетворив свою маниакальную идею, она неосознанно стала отождествлять себя со своим мужем-писателем.

Сын Венедикта Васильевича вспоминает о Галине Носовой на страницах журнала «Караван историй» (февраль, 2012): «В бабах Веничка вообще был разборчив: все, кто его окружал по жизни, — красивые, умные и в разной степени с прибабачом. Нормальная женщина разве станет такого терпеть? Если отдельно взять Галину Носову, то в последние годы со дня на день она ждала Нобелевскую премию. “Потерпи, ещё годок поживи — и дадут”, — просила она мужа. Он терпел и смеялся. Веничка прозвал её “надсада”, и когда она, бывало, разбушует, сам звонил санитарам — сдавал супругу в “Кашенко”. Кроме психозов у Носовой явно была мания величия. “Я хоть жена известного русского писателя, а ты, е.. твою мать, кто?” — кидала она Ерофееву. Носова отказалась хоронить мужа на Ваганьковском кладбище, объяснив это тем, что там лежат конкуренты Венички: “Это кладбище Высоцкого, пусть Кунцевское будет за Ерофеевым!” В общем, женщина была с размахом»<sup>14</sup>.

В 1981 году Венедикт Ерофеев провёл почти всё лето в Абрамцеве. Настроение у него было никакое. Как

он пожаловался в одном из писем сестре Тамаре Васильевне, «плохо клеится с писанием». Отсюда появилось безразличие даже к грибам. Пришлось выходить из стресса неоднократно проверенным путём — налечь на спиртное. Август, сентябрь и далее проходят под знаком имбирной водки. 1 сентября Венедикт Ерофеев поставил рекорд: четыре бутылки «Имбирной» за ночь. На следующий день сделал запись в блокноте: «Совершенно плохо, посылаю девку (Г. А. Носову. — А. С.) на последнюю мелочь и посуду купить последнюю “Имбирную”. Весь день не поднимаюсь с постели. Гадливость ко всему вечером переходит в безбрежную рвоту и длится всю ночь». Запись 3 сентября — вопль о помощи: «Ещё плоше вчерашнего. Каждую минуту свою считаю последней. В 11 часов девка ускакивает в Москву за медикаментами. В 12 прерывается рвота. Наконец, вечером является Г. Носова, перепуганная, в сопровождении:

Марголина и психиатра Мишеля. После всех процедур засыпаю»<sup>15</sup>.

Через три с половиной месяца пришла из Кировска срочная телеграмма, что их старший брат Юрий при смерти. 17 августа он уже был вместе с Галиной Носовой на Кольском полуострове у родных и отвёз тяжелобольного брата в Мурманскую областную больницу. Диагноз был неутешительный — рак горла. Теперь наступала развязка. Как утверждает Валерий Берлин, Венедикт Ерофеев позвонил перед отъездом Юлии Руновой и узнал, что она проревела всю ночь — ей снился Венедикт, находящийся в состоянии хуже некуда. Венедикт, Галина и его сестра Нина выехали в Кировск 16 декабря и застали Юрия ещё живым. 22 декабря он умер.

За девять месяцев до смерти брата Венедикта Ерофеева не стало многострадальной Натальи



Кузьминичны Зимаковой, матери его первой жены и бабушки его единственного сына. Она умерла 7 апреля 1981 года.

Жизнь во всей её полноте ускользала от него. Ненависти в нём не было, но и прежней любви тоже. Стал бессмыслен ещё недавно тревожащий его вопрос: кто же он есть на самом деле? Венедикт Ерофеев представил себя рыбаком, сидящим с удочкой у реки забвения. И наконец-то узнавшим, как лучше спрятать свой улов подальше от завистливых и вороватых глаз. На удивление самому себе, в январе 1982 года он сочинил крохотное эссе «Саша Чёрный и другие». Такой опус было по силам написать только ему, обессиленному многомесячным запоем. Но именно в этом состоянии наконец-то обретшему несерьёзность «в самом желчном и наилучшем значении этого слова». Редко бывает у писателей, когда каждое предложение в их сочинениях не риторическая фигура, а осмысленная речь. У Венедикта Ерофеева другого и не было. Посудите сами: «Хочется во что-нибудь впасть, но непонятно во что — в детство, в грех, в лучезарность или в идиотизм. Желание, наконец, чтоб тебя убили резным голубым наличником и бросили твой труп в заросли бересклета. И всё такое. А с Сашей Чёрным “хорошо сидеть под чёрной смородиной” (“объедаюсь ледяной простоквашею”) или под кипарисом (“и есть индюшку с рисом”). И без боязни изжоги, которую, я замечал, С. Ч. вызывает у многих эзотерических простофиль»<sup>16</sup>.

В начале 1980-х годов Венедикт Ерофеев жил, условно говоря, на две семьи. Большую часть времени он проводил в квартире дома на улице Флотской, а иногда перебирался на несколько дней к Юлии Руновой. Ему не удавалось раз и навсегда «завязать» со

спиртным. В одном из предновогодних писем 1980 года сестре Тамаре он признался: «С Юлией плавно чередуются лады и нелады. Бываю у неё не чаще двух раз в месяц и всякий раз наутро, возвращаясь домой, утруждаю свою голову творческой работой в изобретении благовидных предлогов, самоадвокатуры и всего такого пр. Дело нелёгкое, но слава Богу, воображение у меня пока иссякло не вполне»<sup>17</sup>.

Из значительных событий 1982 года в жизни Венедикта Ерофеева назову водный поход (июль) по Северной Двине по маршруту Великий Устюг — Архангельск — Соловки. Буквально за несколько дней до начала этого путешествия он выписался из клиники, где в очередной раз лечился от алкоголизма. Этот поход задумал осуществить Николай Болдырев, сын Светланы Мельниковой. В путешествие по реке Николай собирался взять сестру, сокурсника из Московского физико-технического института, где учился, и собаку. О том, как среди участников этого похода оказался Венедикт Ерофеев и чем он для него закончился, пишет Евгений Шталь:

«Взять Ерофеева в этот поход попросила Г. П. Носова:

— Веня с вами хочет, возьмёте?

— А что он сам не озвучил?

— Стесняется. Он только что после больницы, пить не будет. Я вам 200 рублей дам.

Ерофеева взяли. Неделю перед плаванием жили в Великом Устюге, ремонтировали судно. Ерофеев жил в гостинице, остальные путешественники в катере. У Ерофеева было травмировано ребро. Он писал Ю. Н. Руновой (17.07.1982): «Одна беда — мне немного повредили ребро, гости, в канун отъезда. Но это уже по женской части и почти незаслуженно. Болит очень и в особенности при резких движениях, глубоких вдохах-

выдохах”. Болдырев послал Ерофеева за опилками на лесокомбинат. Он набрал ведро опилок, стал поднимать и схватился за рёбра. Мужик рядом удивился: “Что, ведро такое тяжёлое?” Ерофеев ответил: “Нет, это тяжёлая рука артистов Рижского драматического театра”. Эти артисты избили его из-за девушки за день до отъезда в Великий Устюг. Плавание проходило на катере “Авось” (бывшей спасательной шлюпке с дизельным двигателем мощностью 12 л. с.). Ерофеев плыл на катере с 21 по 26 июля.

Сошёл после ночного шторма, немного не доплыв до Архангельска»<sup>18</sup>. После рентгена у травматолога был поставлен диагноз: трещина третьего ребра.

Должен сказать, что это плавание отчасти повторило путь в эвакуацию Анны Андреевны Ерофеевой с детьми в августе 1941 года в Архангельскую область в село Нижняя Пойма. Его попытка на железнодорожном вокзале в Москве перед отправкой поезда уговорить Николая Болдырева взять в команду пятым человеком Яну Щедрина успеха не имела.

Из Великого Устюга он послал 17 июля 1982 года в семь часов утра письмо Юлии Руновой. Объяснил, почему не созвонился с ней в Москве: «Посуди сама. С моей тонкой организацией позвонить тебе было немыслимо. <...> Слева Щедрина, справа Ерофеева, а напротив сидит Тамара Васильевна». И самое в этом письме интересное: «Завтра, в воскресенье утром отплываем к Северу. Трепещу перед Белым морем. Наше свехутлое и крохотное судно не выдержит и лёгкого, пиратским языком выражаясь, бриза, т. е. умеренного шторма. Согревает сердце, что в числе спасательных средств надувной Еселихин (Валентины Еселёвой. — А. С.) матрац»<sup>19</sup>. Предстояло проплыть 685 километров.

Отплыли от Великого Устюга 21 июля за час до заката. Плавание проходило успешно. Венедикт Ерофеев стоял у штурвала. Николай Болдырев «учил его пересекать волны от встречных кораблей». Несмотря на боль в груди, он находился в приподнятом настроении, что подтверждает запись в блокноте: «Весь день 23-го прошёл под знаком баркароты Шуберта. Утром по транзистору. После ночлега — по фиолетовому штилю, а 24-го больше под знаком Северянинского:

Иногда — но это редко! —  
В соблазнительном вуале  
Карменситная брюнетка  
Посетит мой уголок.  
И качнёт — но это редко! —  
Вы при качке не бывали! —  
И качнёт мечты каюту,  
Пол вздымает в потолок.

И его же: “И перевозчик беззаботный его за гривенник охотно чрез волны страшные везёт”.

И Баратынский: “Шуми, шуми...”

И Лермонтов: “Дуй, ветер, дуй...”»<sup>20</sup>.

Такая благодать продолжалась до 26 июля: «Около часа ночи начинаются прыжки утлого судёнышка по волнам, а с полвторого ночи до 2-х — налетает настоящий шторм. Всё вверх дном в воде. Крики: “Идём ко дну?” (Венедикт). “Жаль, нет спасательных жилетов” (Николай). Дождь льёт как из ведра. В 3-ем часу стихия стихает. С трудом путешественники причаливают к маленькой пристани “Липники” и часа 4 мокрые спят в каюте»<sup>21</sup>.

Венедикт Ерофеев после ночного шторма на лодку не вернулся и своё дальнейшее путешествие до Архангельска продолжил на борту теплохода «Олехта». В Архангельске, как пишет Валерий Берлин, он получил на почтамте три письма: от Юлии Руновой, Яны Щедриной и Галины Носовой. Их стоит процитировать, чтобы понять, что собой представляла эта любовная «фигура квадрата». Обращусь опять к Валерию Берлину: «Из письма Руновой он узнает, что она, оказывается, целую неделю жила ожиданием его письма, “не обещанного, но ожидаемого”: “Большое тебе спасибо, милый Венька! — пишет Юлия. — На душе стало радостнее и теплее! Мысленно всегда с тобой... В Москве без тебя пусто, и меняю её на Среднюю Азию без малейшего сожаления... всегда твоя Ю. Р.” Щедринское — тревожное: “...Очень жду. Наверное, всё-таки люблю, потому что невыносимо скучаю и думаю”. И совсем короткое — от Носовой: “Дорогой мой Ерофеев! Считаю тебя своим, несмотря ни на какие превратности судьбы”»<sup>22</sup>.

Венедикт Ерофеев, дождавшись своих сопутешественников в Архангельске, вернулся в Москву, а они продолжили свой, уже сухопутный поход дальше.

К 1982 году относится ещё одно важное событие. Начало занятий Венедикта Ерофеева на заочных курсах немецкого языка, которые он окончил с отличием.

События его жизни 1980-х годов перемежаются застольями, психбольницами, поездками к родным на Кольский полуостров, безуспешными попытками уйти от Галины Носовой и оформить свои отношения с Юлией Руновой, спорадическими творческими всплесками. В «сухом остатке» только одно достижение — его шедевр, трагедия «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора».

Первый тревожный звонок для Венедикта Ерофеева прозвучал 23 августа 1985 года. Именно тогда он сдал анализы на онкологию и по результатам биопсии началось его лечение во Всесоюзном онкологическом научном центре.

Диагноз был неутешительный — плоскоклеточный ороговевающий рак гортани с метастазами в лимфатические узлы. 25 сентября ему была сделана первая операция.

Венедикт Ерофеев увядал, медленно умирая, в компании восторженных поклонниц и поклонников. Вспоминает Ольга Седакова: «Конечно, я видела много непонятного и неприятного мне в Вениной жизни. С годами я реже и реже заходила к нему, чтобы не встретить каких-нибудь гостей. Эти вальпургиевы гости, их застолья, напоминающие сон Татьяны, отвадили и от самого Венички, который с невыразимым страданием на лице, корчась, как на сковородке, иногда — после особо вредных для окружающей среды реплик, — издавая тихие стоны, слушал всё, что несут его сомнительные поклонники — и не обрывал. Быть может, эти застолья были частным случаем общего принципа: “ Всё на свете должно происходить медленно и неправильно...” Среди лимериков, которые я когда-то сочиняла, Веня указал: вот этот про меня:

Однажды в гостях у Бодлера  
Наклюкались три офицера.  
Друг другу в затылки  
Кидали бутылки,  
Но все попадали в Бодлера.

И в самом деле, все глупости и пошлости, которыми обменивались посетители, попадали в Венечку; обыкновенно лёжа, из своего непрекрасного далёка он обозревал собравшихся взглядом, описание которого я нашла у Хлебникова:

Безумно русских глаз игла  
Вонзилась в нас, проста, светла.  
В нём взор разверзнут  
Каких-то страшных деревень.  
И липа других после него — ревень.

Бывало, впрочем, что и его потусторонней терпимости приходил конец. Он рычал: “Молчи, дура!” И дважды при мне выдворил новых знакомцев: одного за скабрёзный анекдот, другого за кощунство, оба старались этим угодить хозяину: ведь, по расхожему представлению о Веничке, и то и другое должно было быть ему приятно. Они не учли одного: человеку перед концом это нравиться не может. А Веня, как я говорила, жил перед концом. Смертельная болезнь не изменила агонического характера его жизни, только прибавила мучений. Так что, узнав о его смерти, все, наверное, первым словом сказали: “Отмучился”»<sup>23</sup>.

Самочувствие Венедикта Ерофеева резко ухудшилось. За год до его смерти советская власть попыталась сделать ему последнюю пакость — урезать пенсию по инвалидности до 28 рублей 04 копеек. Подумать только — это-то онкологическому больному! Таких малых денег не хватило бы даже на его карманные расходы. А на лекарства тем более. Читатель знает, что Венедикт Ерофеев был безразличен к шикарной жизни. К тому же неведомым чиновником

или чиновницей ему был рекомендован «бессрочный лёгкий труд». Что имелось в виду под «лёгким трудом», сказать трудно. Скорее всего — ничего. Такое демонстративное пренебрежение к Венедикту Ерофееву вызвало у его друзей возмущение. Как говорят, дело было даже не в деньгах, а в принципе. Первой подала голос Светлана Мельникова. Она пришла к главному редактору еженедельника «Литературная Россия» Эрнсту Ивановичу Сафонову и сказала, что необходимо принять ответные меры. Ведь сознательно убивают русского писателя! Ею было также написано соответствующее письмо в адрес редакции. Публиковать письмо в «Литературной России» не пришлось. Журналист Евгений Некрасов воззвал к совести коллег-литераторов, и Венедикт Ерофеев сделался членом Литфонда Союза писателей СССР с полагающейся ему при этом статусе пенсией в 100 рублей. Справедливость всё-таки восторжествовала. Но приключившаяся с ним смертельная хворь никуда не ушла. Жить Венедикту Васильевичу оставалось совсем немного — чуть больше года.



## ЭПИЛОГ

События, начавшиеся в СССР в конце 1980-х и продолжившиеся в России в 1990-е годы, «оттепелью» не назовёшь. Казалось, наступила весна, перешедшая в знойное лето. Говоря фигурально, не обошлось без солнечных ударов, а если буквально — без летальных исходов. Никто тогда не предполагал, что малоизвестный Венедикт Ерофеев двумя своими сочинениями — поэмой «Москва — Петушки» и трагедией «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» — создаст настоящий медиабум и ажиотаж среди журналистов, критиков и литературоведов. Было такое ощущение, что в нашей стране на протяжении десятков лет существовал «сухой закон», а тут вдруг на каждом углу стали бесплатно раздавать спиртное в любом количестве и ассортименте. И народ, что называется, вздрогнул и всколыхнулся.

Удивительное начиналось время. Во многих педагогических институтах прошли научные конференции, посвящённые творчеству писателя. Так, в 1995 году в издательстве Саратовского государственного педагогического института был выпущен сборник «Художественный мир Венедикта Ерофеева», куда вошли статьи, написанные по текстам докладов на одной из таких конференций. Это был не единичный случай. На наших глазах происходило чудо. Учёные мужи и дамы начали зреть в корень и не оглядываться по сторонам. То есть если слегка привирали, то по недомыслию, а не из-за страха, что смотрящее за мировоззренческой чистотой начальство поймает их на каких-то аллюзиях. Появились очень интересные, по-настоящему творческие работы на

стыке социологии, философии и психиатрии. Например, доклад И. В. Вольфсон на материале двух известных произведений разного времени: «Исповедь англичанина, употребляющего опиум» Томаса де Квинси<sup>[459]</sup> и «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева. В прежние времена такие сопоставления неизбежно вызвали бы оторопь в научной среде. Как можно сравнивать персонажей, представляющих различные эпохи и общественно-политические формации?! Почему вдруг многих людей привлекли Венедикт Ерофеев и его сочинения?

Главным образом потому, что Венедикт Ерофеев поэмой «Москва — Петушки» и позднее трагедией «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» откровенно сказал об очевидном. О чём все знали, но говорить об этом было не принято. Как сейчас говорят, не политкорректно. Это были преимущественно эрудированные люди. Наивно предполагать, что они недопоняли, о чём писал неожиданно появившийся в русской литературе писатель. Он словно приглашал их идти его дорогой, не обращая внимания на многочисленные толпы тех, кто ещё продолжал следовать советским «табу» и находился под влиянием непонятно на что опирающихся иллюзий и упований. Надо учитывать к тому же, что Венедикт Ерофеев не зубоскалил по поводу бед и несчастий своих соотечественников, а говорил о случившемся разладе мечты и реальности с детской наивностью в глазах и с дрожью в голосе. В нём, по словам Алексея Павлова, «существовала какая-то христианская, самоотверженная жалость ко всему человечеству — миру хищническому, грубому, которого он сторонился»<sup>1</sup>.

Журналист Михаил Юрьевич Язынин приводит размышления о Венедикте Ерофееве поэта и прозаика

Вячеслава Михайловича Улитина, давнишнего его знакомого ещё с учёбы во Владимирском государственном педагогическом институте им. П. И. Лебедева-Полянского: «Он, как я понял, просто ощущал себя человеком мировой скорби. Скорбеть он считал самым главным делом, потому что мир во зле лежит, удел человеческий — скорбеть. Как бы ни верил в Воскресение, вот в Распятие, в страдание верил. Трагедия была близка его душе...»<sup>2</sup>

Сколько ни думай о Венедикте Ерофееве, как к нему ни приглядывайся, а его, словно ларец из сказки, без волшебного слова не откроешь. А где найти такое слово? Только у него самого, где же ещё! Например, в записи 1972 года он с явным удивлением установил следующий факт: «В конце прошлого века Ф. Достоевского на Западе ещё так мало понимали, что, например, во Франции в переводах исключалась, как балласт, “Легенда о Великом инквизиторе”»<sup>3</sup>. Это-то при очевидном благочестии проживающих там христиан! Венедикт Ерофеев, чтобы впустую не тратить время на споры, с гордостью напомнил предполагаемым оппонентам, какую лепту внёс Фёдор Михайлович в развитие западной философской мысли: «От Достоевского у экзистенциалистов концепция абсурдности бытия и трагизма человеческого существования». Но и Запад также кое-чем с нами поделился. А именно «идеей ответственности каждого взамен идеи безличной безответственности всех»<sup>4</sup>.

Если роман Фёдора Достоевского по дурости французских издателей изуродовали, то чего было ожидать Венедикту Ерофееву от соплеменников. Первая журнальная публикация в СССР поэмы «Москва — Петушки» вышла с сокращениями. Он также не ждал ничего хорошего от продолжающегося разобщения людей, живущих как на Западе, так и на Востоке. Да и

современную цивилизацию особенно не привечал: «Мы все опаскудились мозгами и опаршивили душой, что нам тринадцатилетняя привязанность кажется феноменом. Мы, правда, живём в мире техники и скоростей, ну, что ж, пропусти технику, иначе действительность собьёт, протиснись сквозь все эти такси и иди, куда тебе надо»<sup>5</sup>. Умение выжить в таком мире требовало от человека бесстрашия, сноровки и наглости.

Особенно тяжело было ему смотреть на родную страну. Его патриотизм был особенный, не от мира сего, противоположный квасному. Искал он в прошлом и настоящем великих людей, подвижников и мыслителей. Все его сохранившиеся блокноты пестрят их именами. Долгое время Венедикт Ерофеев не принадлежал ни к какой определённой конфессии. Однако Библию знал наизусть, а религию считал основой жизни духа. Не по нраву были ему советские пословицы: «Иконы да лампадки — темноты остатки»; «Вера в бога к земле гнёт, вера в себя силы даёт»<sup>6</sup>. В защите религии он ссылался не только на Отцов Церкви: «Даже завзятый атеист З. Фрейд считал религию важнейшей сферой человеческого духа, исчезновение которой грозит опасностями для культуры»<sup>7</sup>.

Обладал Венедикт Ерофеев развитым чувством истории и способностью логически мыслить. При беспорядочном образовании его эрудиция не уступала знаниям его остепенённых знакомых. В остроумии, доходящем до сарказма, ему не было равных. Записал фразу Феликса Дзержинского сразу после Нового, 1976 года, находясь у родственников в городе Кировске: «Не стоило бы жить, если бы человечество не озарялось звездой социализма»<sup>8</sup>. Так и хочется сказать: «И не жил бы!» Истину Венедикт Ерофеев не приносил в жертву постоянно меняющимся жизненным обстоятельствам. В

то время многие соотносили свои шаги с поступью советской истории. Это было понятно и в порядке вещей. Для страны было бы хуже, если они шагали бы не в ногу. Кардинальные и успешные преобразования осуществляются сверху, а не снизу по науськиванию народа авантюристами и демагогами.

Венедикт Ерофеев проявлял твёрдость в отстаивании всего, что приходилось ему по душе и соответствовало его убеждениям. Провести его на мякине было невозможно. По словам его приятеля Бориса Шевелёва, «Юрий Казаков любил говорить, что в России три писателя больших в XX веке есть: Иван Алексеевич Бунин, он, Казаков, и вот ещё Веня Ерофеев»<sup>9</sup>.

Я вспомнил лирико-биографическую книгу Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Особенно рассуждения в ней о русском празднике. И подумал, не такое ли двойственное отношение к «воле без удержу» было у автора поэмы «Москва — Петушки»: «Ах, эта извечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, не просто наслаждения, а именно упоения жизнью, — как тянет нас к непрестанному хмелю, запою, как скучны нам будни и планомерный труд!.. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешённый от действительности и её презирающий, не в малейшей мере не желающий подчиниться рассудку, деятельности невидимой, неспешной, серой! Как! Служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту! Да ни за что — “Карету мне, карету!”»<sup>10</sup>. Кареты эти в недалёком будущем приняли

специфический вид. По-западному сказать — вид «чёрной Марии», а по-русски — «воронка».

Филолог Владислав Александрович Пронин в статье «Иоганн Вольфганг Гёте и Венедикт Ерофеев» уловил во всём написанном Венедиктом Ерофеевым одну постоянно пульсирующую мысль: «Венедикт Ерофеев в своих сочинениях на примере Гёте заставил задуматься над тем, какие превращения происходят с гениальными творениями в сознании грядущих поколений. Об этом не надо напоминать, но необходимо думать»<sup>11</sup>.

Безответственно говорить что-то определённое о восприятии творчества Венедикта Ерофеева будущими поколениями. Чего не скажешь, всё равно окажется, что это гадание на кофейной гуще. Куда достовернее будет понять, под воздействием каких идей находилось сознание самого писателя. Тут мне на помощь пришли высказывания Венедикта Ерофеева и философа Мераба Константиновича Мамардашвили<sup>[460]</sup>. Их мысли созвучны друг другу и помогают понять, в какой стране мы сравнительно недавно жили. Приведу два примера.

*Венедикт Ерофеев:* «Христа (как следует) знали 12 человек при трёх с половиной миллионах жителей Земли, сейчас Его знают 12 тысяч при трёх с половиной миллиардах. То же самое»<sup>12</sup>;

*Мераб Мамардашвили:* «Одним из моих переживаний, из-за которых я, может быть, и стал заниматься философией, было... <...> переживание совершенно непонятной, приводящей меня в растерянность слепоты людей перед тем, что есть»<sup>13</sup>;

*Венедикт Ерофеев:* «Люди, не убивайте друг друга, ибо это доставляет мне огорчение»<sup>14</sup>;

*Мераб Мамардашвили:* «Достаточно присмотреться к некоторым эпизодам российской истории, чтобы увидеть, что это ситуация, когда мы не извлекаем опыта. Когда с нами что-то происходит, а опыта мы не

извлекаем, и это повторяется бесконечно. <...> Мы употребляем слово “ад” как обыденное или из религии заимствованное слово, но забываем его первоначальный символизм. Ад — это слово, которое символизирует нечто, что мы в жизни знаем и что является самым страшным — вечную смерть. Смерть, которая всё время происходит. Представьте себе, что мы бесконечно прожёвываем кусок и прожёвывание его не кончается. А это не имеющая конца смерть»<sup>15</sup>.

Взглянуть трезвыми глазами на жизнь вокруг, в которой ты, по словам Венедикта Ерофеева, однообразно «журчишь, как вода в унитазе», хотелось не каждому. Разумеется, в сильном «подпитии» он остроту зрения и голову на время терял. Тогда реальность замещалась образами, присущими белой горячке. Ни Юлии Руновой, ни кому-либо ещё не удалось отучить его от пристрастия к алкоголю. Случись ему исцелиться, Венедикт Ерофеев совершил бы не одно литературное чудо. Кто бы из его современников мог бы так просто и бесхитростно сказать: «И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что душа твоя вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, если у тебя есть совесть и сверх того ещё и вкус? Совесть и вкус — это уж так много, что мозги становятся излишними»<sup>16</sup>.

Вспомнят, и не раз, Венедикта Ерофеева в будущих временах! Надеюсь, что у наших потомков совести будет поболее, чем у нас грешных.

Наконец-то моя книга подходит к долгожданному концу. В народе говорят: «Сколько верёвку не вить, а концу быть». И ещё вспоминается более содержательное на ту же тему пожелание, имеющее ко мне самое непосредственное отношение: «Не дорого начало, а похвален конец». Размышляя, чем бы

завершить моё повествование о Венедикте Ерофееве, я вдруг обнаружил на своём письменном столе среди кипы материалов о нём непонятно как там оказавшуюся фотокопию статьи Николая Константиновича Рериха «Мир в маске», напечатанной 6 июня 1939 года в русскоязычной газете «Рассвет». Эта газета издавалась в Чикаго.

До начала Второй мировой войны оставалось меньше трёх месяцев. Из-под пера Николая Константиновича всегда выходило что-то неожиданное и пророческое. Так и на этот раз. Такое впечатление, словно эта статья была написана сегодня:

«Повсюду выдаются маски — волею судеб они почему-то похожи на свиные рыла. Может быть, подобно маркизе Ганзага, приславшей цезарю Борджиа сто масок в подарок, скоро будут изобретены рождественские подарки в виде масок. Не подумайте, что говорим против предохранительных мер. Конечно, мир пришёл в такое ужасное состояние, что каждый человек чувствует себя более охранённым, если при нём в особом кармане будет находиться маска.

Да, обстоятельства таковы, что человечность и человеколюбие куда-то скрылись, а на место их выдвинулись охранённые какими-то законами всевозможные человекоубийственные изобретения. <...> Изобретена особая тоталитарная война. Война против всего живого, против всего сущего. <...>

Страшен символ наших дней — мир должен надеть маску.

Мир — в маске, — чего же больше?!»

Венедикт Ерофеев не стал троглодитом и сохранил хотя бы в общих чертах собственное лицо. По крайней мере оно не превратилось в свиное рыло. Автор поэмы «Москва — Петушки» и трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» не прятал себя от ближних своих, не отстранялся от них с помощью маски. Венедикт



Ерофеев был из тех, кому притворство не было присуще. Ведь для незадачливых людей, у которых «сердце перегорело», как он отметил в записной книжке, остаётся «почаще и поглупее говорить о беспомощности разумных тварей и о всемогуществе случая»<sup>17</sup>. Большинство писателей, его современников, таким прозорливым взглядом, как он, окружающий мир и людей не обзревали. Отто го-то и канули в Лету, а он остался с нами. Думаю, что надолго. Уже самим своим именем Венедикт, которое на латыни означает *благословенный*, он был призван Господом на благие дела в той сфере деятельности, которую для себя избрал, — в литературе.

# ПРИМЕЧАНИЯ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЭКСПОЗИЦИЯ

### Глава первая. Рама для портрета

<sup>1</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 424.

<sup>2</sup>Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. / Сост. и подг. текста А. А. Николаева. М., 1980. Т. 1. С. 51.

<sup>3</sup> Там же. С. 153.

<sup>4</sup>Генис А. Частный случай: Филологическая проза. М., 2009. С. 249.

<sup>5</sup>Павлов А. Венедикт Ерофеев: «Можешь не писать, не пиши...». <https://www.peremenu.ru/blog/8609>.

<sup>6</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. С. 34.

<sup>7</sup>Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 341.

<sup>8</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. С. 458.

<sup>9</sup>Вернуться в Россию — стихами: 200 поэтов эмиграции: Антология / Сост., авт. предисл., коммент. и биограф. сведений о поэтах В. Крейд. М., 1995. С. 377—378.

<sup>10</sup>Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 353.

<sup>11</sup> Там же. С. 374.

<sup>12</sup>Минзарь И. Евангелие от Ерофеева // Хибинский вестник. 1999. № 48 (542). 3 декабря. С. 15.

Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020 [3-е изд.] (Литературные биографии). С. 437.

<sup>14</sup>*Немзер А.* Займёмся икотой: Шестьдесят лет назад родился Венедикт Ерофеев // *Время новостей*. 2003. 24 октября. С. 15.

<sup>15</sup>*Седакова О.* Венедикт Ерофеев (1938—1990) // *Театр*. М., 1991. №9. С. 98.

<sup>16</sup>*Ефимов И.* Нобелевский туняец (о Иосифе Бродском). М., 2005. С. 152.

<sup>17</sup>*Ковалев Н.* Дорогой подарок российскому народу // *Хибинский вестник*. 1999. 26 ноября.

<sup>18</sup>*Миллер Г. В.* Книги в моей жизни. Эссе / Пер. с англ.; сост. и коммент. А. Зверева. М., 2001. С. 10.

<sup>19</sup>*Вайль П., Генис А.* Страсти по Ерофееву // *Ерофеев глазами эксцентрика* / Предисл. и послесл. П. Вайля, А. Гениса. New York, 1982. С. 52.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Там же.

<sup>22</sup>*Ерофеев В. В.* Оставьте мою душу в покое: Почти всё / Предисл. М. Эпштейна; Послесл. Черноусого (И. Авдиева). М., 1995.

<sup>23</sup>*Гущина Г. В.* Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>24</sup>*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799—1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л., 1950—1951. Т. 3. С. 179.

<sup>25</sup>*Гущина Т. В.* Указ. соч.

<sup>26</sup>*Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 103.

<sup>27</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 2. С. 345.

<sup>28</sup>*Шмелькова Н. А.* Указ. соч. С. 264—265.

<sup>29</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 165.

<sup>34</sup>*Шмелькова Н. А.* Указ. соч. С. 48—49.

<sup>31</sup>*Кантор М. К.* Учебник рисования. М., 2013. С. 789.

<sup>32</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 442.

<sup>33</sup>*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019.

С. 390.

<sup>34</sup> Великие мысли великих людей: Антология афоризмов: В 3 т. / Сост. И. И. Комарова, А. П. Кондрашёв. М., 1998. Т. 3: XIX—XX века С. 161.

<sup>35</sup>*Ахмадулина Б. А.* Полное собрание сочинений в одном томе. М., 2012. С. 809.

## **Глава вторая. Человек — это звучит горько**

<sup>1</sup>*Вайль П., Генис А.* Страсти по Ерофееву // Ерофеев глазами эксцентрика / Предисл. и послесл. П. Вайля, А. Гениса. New York, 1982. С. 51.

<sup>2</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 323.

<sup>3</sup> Там же. С. 302.

<sup>4</sup>*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799—1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского, М.; Л., 1950—1951. Т. 3. С. 61.

<sup>5</sup> Личный архив семьи В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>6</sup>*Шохин В. К.* Дхарма // Индийская философия: Энциклопедия / Отв. ред. М. Т. Степанянц. М., 2009. С. 373—378.

<sup>7</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 341.

<sup>8</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 56.

<sup>9</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 341.

<sup>10</sup>*Миллер Г. В.* Книги моей жизни: Эссе / Пер. с англ.; сост. и коммент. А. Зверева. М., 2001.

<sup>11</sup> Венедикт Ерофеев. Печать минувшего // Театр. 1991. № 9. С. 122.

<sup>12</sup> «Так думаю я, и со мной всё прогрессивное человечество». Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 470.

<sup>13</sup>*Сопровский А.* Конец прекрасной эпохи // Континент. Париж, 1982. №32. С. 336.

<sup>14</sup>*Померанц Г. С.* Записки гадкого утенка. М.; СПб., 2015. С. 287.

<sup>15</sup> Цит. по: *Курицын В.* Четверо из поколения дворников и сторожей // Урал. 1990. № 5. С. 170.

<sup>16</sup>*Турков А. М.* Александр Твардовский. М., 2010. (Жизнь замечательных людей: Малая серия). С. 300.

<sup>17</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 430.

<sup>18</sup>*Турков А. М.* Указ. соч. С. 301.

<sup>19</sup>*Игнатова Е.* Обернувшись. СПб., 2009. С. 69.

<sup>20</sup> Там же. С. 124.

<sup>21</sup> Там же. С. 152—153.

<sup>22</sup>*Сопровский А.* Указ. соч. С. 336—337.

<sup>23</sup> Там же. С. 337—338.

<sup>24</sup>*Курицын В.* Четверо из поколения дворников и сторожей // Урал. 1990. №5. С. 171.

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> Там же. С. 171—172.

<sup>27</sup> Там же. С. 172.

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 12.

<sup>30</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 143—144.

<sup>31</sup> *Игнатова Е.* Указ. соч. С. 154.

<sup>32</sup> *Курицын В.* Указ. соч. С. 173.

<sup>33</sup> Там же. С. 172.

<sup>34</sup> *Манн Т.* Доктор Фаустус: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом / Пер. с нем. С. Апта, Н. Манн. М., 1959. С. 399.

<sup>35</sup> Большая иллюстрированная энциклопедия: В 32 т. М., 2010. Т. 10. С. 73.

### **Глава третья. Венедикт Ерофеев**

#### **и семья Владимира Муравьёва**

<sup>1</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьёв // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 572.

<sup>2</sup> Там же. С. 573.

<sup>3</sup> *Суркова Л.* Григорий Соломонович Померанц (1918—2013). Воспоминания и переписка // <http://7iskusstv.com/nomer.php?srce=49>.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 177.

<sup>9</sup> Мемория. Елеазар Мелетинский // <https://polit.ru/news/2017/10/22/meletinsky/>.

<sup>10</sup> Суркова Л. Указ. соч.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> См.: «Посмотрим, кто кого переупрямит...»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах / Сост. П. М. Нерлер. М., 2015.

<sup>14</sup> Ходорович С. Не участвовать в несправедливости... // <https://memorial.krsk.ru/memuar/H/Hodorovich.htm>.

<sup>15</sup> Цит. по: Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков / Сост. и пер. Н. П. Макаров. М., 1998. С. 114.

#### **Глава четвёртая. Не всякая сказка — людям указка**

<sup>1</sup> «Я живу в эпоху всеобщей неменяемости». «Москва — Петушки» // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 157.

<sup>2</sup> Баженов В. Фотоувеличение. Венедикт Ерофеев и Алексей Зайцев // Знамя. 2016. № 10.

<sup>3</sup> «Всё, что делается в России, — безвозвратно». Интервью. «Умру, но никогда не пойму...». С писателем беседовал И. Болычев // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. С. 518.

<sup>4</sup> Беседа с Ольгой Мироновной Зиновьевой. Беседовал Олег Назаров // Солидарность. 2007. № 16 (25). 25 апреля. С. 14.

<sup>5</sup> Баженов В. Фотоувеличение. Венедикт Ерофеев и Алексей Зайцев // Знамя. 2016. № 10.

<sup>6</sup> Генис А. Частный случай: Филологическая проза. М., 2009. С. 247.

<sup>7</sup>Шевелев И. Петрович сегодня — это Леонардо вчера: [Интервью с Андреем Бильжо] // Время МН. 2000. 10 июня. С. 6.

<sup>8</sup>Шмелькова Н. А. Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 125.

<sup>9</sup> Цит. по: Шталь Е. Н. Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 27.

<sup>10</sup>Гранин Д. А. Всё было не совсем так. М., 2013. С. 399.

<sup>11</sup>Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. / Сост. и подг. текста А. А. Николаева. М., 1980. Т. 1. С. 199.

<sup>12</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 131.

<sup>13</sup> Куняев Сергей: Беседа с Венедиктом Ерофеевым // <http://vysotsky.ws//index.php?snowtopic=409>.

<sup>14</sup>Тавров А. Формальные призраки вечности в стихе // <http://litteratura.org/criticism/556-andrey-tavrov-formalnye-priznaki-vechnosti-v-stihe.html>.

<sup>15</sup>Васькин А. А. Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брикдо Галины Брежневой. М., 2019. С. 315.

## **Глава пятая. Соломинка для утопающего**

<sup>1</sup>Эккерман И.-В. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / Пер. с нем. Н. Манн; вступ. ст. Н. Вильмонта; коммент. и указатель А. Аникста. М., 1981. С. 397.

<sup>2</sup> Цит. по: Петрушанская Е. М. Музыкальный мир Иосифа Бродского. СПб., 2004. С. 206.

<sup>3</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир



Муравьёв // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь.* М., 2008. С. 578.

<sup>4</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Наталья Шмелькова // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь.* С. 613.

<sup>5</sup> Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и дополн. Л. О. Акопяна. М., 2001. С. 143—144.

<sup>6</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Александр Леонтович // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь.* С. 586—587.

<sup>7</sup> Посёлок академиков Абрамцево: Сборник воспоминаний жителей посёлка/Авт.-сост. Н. Ю. Абрикосова. М., 2004. С. 233.

<sup>8</sup> *Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста].* М., 2005. С. 452.

<sup>9</sup> *Ерофеев В. Письма к сестре / Публ. и коммент. Т. Гущиной; подг. текста Д. Годер // Театр. 1991. № 9. С. 125.*

<sup>10</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Александр Леонтович // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь.* С. 587.

<sup>11</sup> *Вайль П. Пророк в отечестве // Независимая газета. 1992. 14 мая. С. 7.*

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> *Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 69.*

<sup>14</sup> Цит. по: *Боффи Г. Большая энциклопедия музыки.* М., 2008. С. 9.

<sup>15</sup> От издательства//*Дао: Гармония мира.* М., 2000. С. 5.

<sup>16</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 539—540.

<sup>17</sup> Там же. С. 248.

<sup>18</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 29.

<sup>19</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 281.

<sup>20</sup>*Гоголь Н. В.* Собрание сочинений: В 6 т. М., 1949—1950. Т. 6. С. 21.

<sup>21</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Галина Ерофеева // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 605.

<sup>22</sup>*Адамович Г. В.* Литературные беседы: Кн. 1 («Звено»: 1923—1926) / Вступ. ст., сост. и прим. О. А. Коростылева. СПб., 1998. С. 272.

<sup>23</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 61.

<sup>24</sup>*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799—1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л., 1950-1951. Т. 5. С. 11.

<sup>25</sup>*Касаткина Т.* Философские камни в печени // Новый мир. 1996. №7. С. 228.

<sup>26</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 439.

<sup>27</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 133.

<sup>28</sup>*Генис А.* Обживая хаос. Русская литература в конце XX века // Континент. 1997. № 94. С. 277.

<sup>29</sup>*Смирнова Е. А.* Венедикт Ерофеев глазами гоголеведа // Русская литература. 1990. № 3. С. 58.

<sup>30</sup> Великие поэты. Т. 13: Николай Некрасов: В дороге. М., 2011. С. 83.

<sup>31</sup>*Смирнова Е. А.* Венедикт Ерофеев глазами гоголеведа // Русская литература. 1990. № 3. С. 58.

<sup>32</sup> Там же. С. 63.

<sup>33</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 342.

<sup>34</sup>*Генис А.* Благая весть. Венедикт Ерофеев // Звезда. 1997. № 6. С. 227.

<sup>35</sup>*Солженицын А. И.* Архипелаг ГУЛag: 1918—1956: Опыт художественного исследования. Т. 2. М., 1990 (Библиотека журнала «Новый мир»). С. 204.

<sup>36</sup>*Авдиев И.* Все мы вышли из электрички Москва — Петушки // Новая газета. 1997. № 28 (448). С. 8.

<sup>37</sup>*Зорин А.* Опознавательный знак // Театр. 1991. № 9. С. 119.

<sup>38</sup> Там же.

<sup>39</sup> Там же.

<sup>40</sup> Там же. С. 122.

<sup>41</sup> Там же.

<sup>42</sup>*Липовецкий М.* Апофеоз частиц, или Диалоги с хаосом. Заметки о классике, Венедикте Ерофееве, поэме «Москва — Петушки» и русском постмодернизме // Знамя. 1992. № 8. С. 214.

## **Глава шестая. Венедикт Ерофеев как Терра инкогнита**

<sup>1</sup>*Иванов А.* «Как стёклышко»: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече // Знамя. 1998. № 9. С. 170.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup>*Алейников В.Д.* Пир. М., 2006. С. 141—142.

<sup>4</sup> Там же. С. 142.

<sup>5</sup>Зорин А. Оознавательный знак//Театр. 1992. № 9. С. 119.

<sup>6</sup>Гофман Э. Т. А. Рассуждения кота Мура (с отрывками биографии капельмейстера Иоганна Крейсера в случайных макулатурных листах). М., 1929. С. 116.

<sup>7</sup>Быков Д. Один. Сто ночей с читателем // <https://www.litmir.me/br/?b=573433&p=1>.

<sup>8</sup>Быков Д. Шестидесятники: Литературные портреты. М., 2019. С. 350.

<sup>9</sup>Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 296.

<sup>10</sup> «Так думаю я, и со мной всё прогрессивное человечество». Из записных книжек // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 456.

<sup>11</sup>Быков Д. Один. Сто ночей с читателем.

<sup>12</sup> Антология афоризмов / Авт.-сост. И. Л. Векшин. М., 1999. С. 105.

<sup>13</sup>Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 318.

<sup>14</sup> Там же. Т. 2. С. 349—350.

<sup>15</sup>Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799—1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л., 1950—1951. Т. 2. С. 158.

<sup>16</sup> «Я живу в эпоху всеобщей неменяемости». Москва — Петушки // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 133.

<sup>17</sup>Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 336.

<sup>18</sup> Там же. С. 367.

<sup>19</sup> Там же. Т. 1. С. 306.

<sup>20</sup> Там же. Т. 2. С. 368.

<sup>21</sup> Там же. С. 295.

<sup>22</sup> Там же. Т. 1. С. 340.

<sup>23</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>24</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 344.

<sup>25</sup>*Бердяев Н.* Истина и откровение // <https://predanie.ru/berdyaev-nikolay-aleksandrovich/istina-i-otkrovenie/chitat/>.

<sup>26</sup>*Франк С. Л.* Смысл жизни. Париж, 1926. С. 5.

<sup>27</sup>*Зорин А.* Пригородный поезд дальнего следования // *Новый мир.* 1989. № 5.

<sup>28</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 365.

<sup>29</sup>*Чубайс И.* Великая ложь революции. Что же произошло в 1917-м между февралём и октябрём? // *Московский комсомолец.* 2019. 7 ноября. С. 3.

<sup>30</sup>*Вайль П., Генис А.* Современная русская проза // [https://vtorayaliteratura.com/pdf/vajl\\_genis\\_sovremennaya\\_russkaya\\_proza\\_1982\\_text.pdf](https://vtorayaliteratura.com/pdf/vajl_genis_sovremennaya_russkaya_proza_1982_text.pdf).

<sup>31</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>32</sup>*Генис А.* Пророк в отечестве. Веничка между легендой и мифом // *Независимая газета.* 1992. 14 мая. С. 7.

<sup>33</sup> Там же.

<sup>34</sup>*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799—1949. [Юбилейное издание]. Т. 5. С. 7.

<sup>35</sup>*Померанц Г., Хазанов Б.* Под сенью Венички Ерофеева: Диалог // *Литературная газета.* 1995. 9 августа. С. 5.

<sup>36</sup> Венедикт Ерофеев в Орехово-Зуеве: воспоминания современников. Клим Булавкин // *Орехово-Зуевский литературный альманах: Ежегодное литературное приложение к газете «Ореховские вести»:* Вып. 2. Владимир, 2007. С. 463.

<sup>37</sup> Там же. С. 463—464.

<sup>38</sup> *Альтшуллвр М.* «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева и традиции классической поэмы // Новый журнал. Нью-Йорк, 1992. № 146. С. 77.

<sup>39</sup> *Солженицын А. И.* В круге первом. Т. 2. М., 1990 (Библиотека журнала «Новый мир»). С. 317.

<sup>40</sup> *Генис А.* Пророк в отечестве. Веничка Ерофеев между легендой и мифом // Независимая газета. 1992. 14 мая. С. 7.

<sup>41</sup> *Эккерман И.-В.* Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / Пер. с нем. Н. Манн; вступ. ст. Н. Вильмонта; коммент. и указатель А. Аникста. М., 1981. С. 397.

<sup>42</sup> *Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. ЕС. 333.

<sup>43</sup> *Солженицын А. И.* Архипелаг ГУЛаг: 1918—1956: Опыт художественного исследования: Т. 2. М., 1990 (Библиотека журнала «Новый мир»). С. 123.

<sup>44</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой.)

<sup>45</sup> *Лысенко В. Г.* Нирвана // Индийская философия: Энциклопедия / Отв. ред. М. Т. Степанянц. М., 2009. С. 570.

<sup>46</sup> *Ерофеев В. В., Кравченко И.* Возвращение блудного отца // Story. 2011. № 4. Апрель // <https://story.ru/znamenitostej/lichnoe-delo/vozvrashchenie-bludnogo-ottsa/>.

<sup>47</sup> «Алфавит инакомыслия». Венедикт Ерофеев // <https://www.svoboda//org/a/28434575.html>.

<sup>48</sup> Ерофеев В. В., Кравченко И. *Указ. соч.*

<sup>49</sup> *Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 49.

<sup>50</sup> Ерофеев В. В., Кравченко И. *Указ. соч.*

## **Глава седьмая. Отсутствие плохого ввиду наличия ещё худшего**

<sup>1</sup>Есаулов И. А. Постсоветские мифологии: Структуры повседневности. М., 2015. С. 40.

<sup>2</sup> Там же. С. 39.

<sup>3</sup>Высоцкий В. С. Кони привередливые. СПб., 2013. С. 64—65.

<sup>4</sup>Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 2. С. 343.

<sup>5</sup>Берлин В. «Ликвидация заговоров... даже несуществовавших!» Портрет Дзержинского в записных книжках Венедикта Ерофеева // Новая газета. 2008. № 80. 27 октября. С. 15.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup>Кантор М. К. Каждый пишет, что он слышит // <https://www.litmir.me/br/?b=175915&p=3>.

<sup>8</sup>Чубайс И. Великая ложь революции. Что произошло в 1917-м между Февралём и Октябрём // Московский комсомолец. 2019. 9 октября. С. 3.

<sup>9</sup>Шталь Е. Н. Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 13.

<sup>10</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой.)

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup>Уайльд О. Я всего лишь гений... Роман, повести, пьесы / Пер., прим., предисл. В. Чухно. М., 2000. С. 15.

<sup>13</sup> «Я живу в эпоху всеобщей неменяемости». Москва — Петушки // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 211.

<sup>14</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 29.

- <sup>15</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 5.
- <sup>16</sup> *Игнатова Е.* Обернувшись. СПб., 2009. С. 10.
- <sup>17</sup> Костры: Стихи. М., 1966. С. 219.
- <sup>18</sup> Там же.
- <sup>19</sup> *Игнатова Е.* Указ. соч. С. 7.
- <sup>20</sup> Там же. С. 7—8.
- <sup>21</sup> *Фаликов И.* Почему-то история выбрала меня // НГ Exlibris. 2018. 1 ноября. С. 12.
- <sup>22</sup> *Зелинский К.* Одна встреча у М. Горького (Запись из дневника) / Публикация А. Зелинского // Вопросы литературы. 1991. Май. С. 166.
- <sup>23</sup> Там же. С. 170.
- <sup>24</sup> Венедикт Ерофеев и вопросы ленинизма // Новая газета. М., 2010. № 117. 20 октября. С. 20.
- <sup>25</sup> Там же.
- <sup>26</sup> *Мальцев Ю. В.* Вольная русская литература: 1955—1975. Франкфурт-на-Майне, 1976. С. 106.
- <sup>27</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 400.
- <sup>28</sup> Там же. С. 400.
- <sup>29</sup> *Фрейдкин М. И.* Каша из топора. М., 2009. С. 313.
- <sup>30</sup> *Чирва А. Н.* Энциклопедия книгочехя: Книга. Читатель. Чтение. М., 2008. С. 64.

## **Глава восьмая. О некоторых советских классиках**

- <sup>1</sup> *Гарбузняк А.* Большевик от природы // <https://s-t-o-l.com/kultura/bolshevik-ot-prirody/>.
- <sup>2</sup> Там же.
- <sup>3</sup> Там же.



<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 505.

<sup>7</sup> *Сергеев А. Я.* Omnibus: Роман, рассказы, воспоминания, стихи. М., 2013. С. 463.

<sup>8</sup> *Нагибин Ю.* Исповедь // *Ступаков В. В.* Покидая литературу: От всего остаётся метафора. СПб., 2009. С. 430.

<sup>9</sup> *Северянин И.* Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы / Изд. подг. В. Н. Терёхина, Н. И. Шубникова-Гусева. М., 2004 (Литературные памятники). С. 548.

<sup>10</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М, 2007. Т. 2. С. 365.

<sup>11</sup> Там же. С. 345.

<sup>12</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 128.

<sup>13</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой.)

<sup>14</sup> *Горичева Т.* Христианство и современный мир. СПб., 1996. С. 104-105.

<sup>15</sup> *Горичева Т, Орлов Д., Секацкий А.* От Эдипа к Нарциссу: Беседы. СПб., 2001. С. 15.

<sup>16</sup> См.: *Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 105.

<sup>17</sup> *Седакова О., Виноградов Л.* Венедикт Ерофеев — человек страстей // <https://www.pravmir.ru/venedikt-erofeev-chelovek-strastej2/>.

<sup>18</sup> *Семенникова Л. И.* Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 1995. С. 188—189.

<sup>19</sup> Там же. С. 189.

<sup>20</sup> Там же. С. 190.

<sup>21</sup>*Манн Т.* Доктор Фаустус: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом/Пер. с нем. С. Апта, Н. Манн. М., 1959. С. 300.

<sup>22</sup> Там же. С. 301.

<sup>23</sup>*Ерофеев В. В., Кравченко И.* Возвращение блудного отца // *Story*. 2011. № 4. Апрель // <https://story.ru/znamenitostej/lichnoedelo/vozvrashchenie-bludnogo-ottsa/>.

<sup>24</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Игорь Авдиев // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 554—555.

<sup>25</sup> Там же. С. 555.

<sup>26</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938-1990)]. М., 2008. С. 102.

<sup>27</sup> См.: *Крохин Ю. Ю.* Души высокая свобода: Вадим Делоне. Роман в протоколах, письмах и цитатах. М., 2001.

<sup>28</sup>*Ерофеев В. В., Кравченко И.* Возвращение блудного отца // *Story*. 2011. № 4. Апрель.

<sup>29</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 124.

## **Глава девятая. *Silentium***

<sup>1</sup>*Пятигорский А.* О времени в себе: Шестидесятые годы — от Афин до ахинеи: [Беседу вёл Игорь Смирнов] // *Независимая газета*. 1995. 10 ноября. С. 5.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 175.

<sup>5</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 109.

<sup>6</sup>*Гранин Д. А.* СТрах//<https://www.litmir.me/br/?b=200170&p=2>.

<sup>7</sup>*Солженицын А. И.* Раковый корпус. М., 1991 (Библиотека журнала «Новый мир»). С. 295—296.

<sup>8</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьев // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 574.

<sup>9</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 149.

<sup>10</sup>*Игнатова Е.* Обернувшись. СПб., 2009. С. 164—165.

<sup>11</sup> Там же. С. 165.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же. С. 170.

<sup>15</sup>*Горичева Т., Орлов Д., Секацкий А.* От Эдипа к Нарциссу: Беседы. СПб., 2001. С. 64.

<sup>16</sup>*Лысенко В. Г.* Нирвана // Индийская философия: Энциклопедия / Отв. ред. М. Т. Степанянц. М., 2009. С. 570.

<sup>17</sup> Славой Жижек о постмодернизме и иронии // <https://www.liveinternet.ru/users/consuetudo/post244225194/>.

<sup>18</sup> Апофатизм (апофатика) // Проективный философский словарь: Новые термины и понятия / Под ред. Г. Л. Тульчинского, М. Н. Эпштейна. СПб., 2003 // <http://hpsy.ru/public/x3010.htm>.

<sup>19</sup> Цит. по: *Скоропанова И. С.* Русская постмодернистская литература: Учебное пособие для

студентов филологических факультетов вузов. М., 2001. С. 157.

<sup>20</sup> *Левин Ю.* Семиотика Венички Ерофеева // Сборник статей к 70-летию профессора Ю. М. Лотмана / Отв. ред. А. Мальте. Тарту, 1992. С. 487-488.

<sup>21</sup> Там же.

<sup>22</sup> *Беленький Г. И., Воронин Л. Б., Лысый Ю. И.* Литература: 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень): В 2 ч. М., 2010. Ч. 1. С. 348—349.

<sup>23</sup> Там же. С. 349.

<sup>24</sup> *Боричева Т.* Христианство и современный мир. СПб., 1996. С. 60.

<sup>25</sup> *Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 319.

<sup>26</sup> *Музыкантова А. Г.* и др. Кое-что о 4-й немецкой группе // *Время, оставшееся с нами: [Вып. 3]. Филологический факультет в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников / Отв. ред. М. Л. Ремнёва.* М., 2006. С. 227.

<sup>27</sup> *Осиновская И. А.* Ирония и Эрос: Поэтика образного поля. М., 2007 (Памятники исторической мысли). С. 55.

<sup>28</sup> *Некрасов Н. А.* Я не люблю иронии твоей // *Современник.* 1955. Т. LIV. Отд. 1. С. 80.

<sup>29</sup> *Миллер Г. В.* Книги в моей жизни / Пер. с англ.; сост. и коммент. А. Зверева. М., 2001. С. 78.

<sup>30</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 171.

<sup>31</sup> Там же. С. 172.

<sup>32</sup> Цит. по: *Воннегут К.* Времетраяние / Пер. с англ. В. А. Обручева, М. В. Свердлова. М., 2000. С. 14.

<sup>33</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 172—175.

<sup>34</sup>Шмелькова Н. А. Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 85.

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup>Бродский И. Размышления об исчадии ада // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 148—152.

<sup>37</sup> Там же. С. 152.

<sup>38</sup>Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2018. С. 16.

<sup>39</sup> Ольга Седакова: Несказанная речь на вечере Венедикта Ерофеева // <http://penrussia.org/new/2015/5735>.

<sup>40</sup>Воронин Л. Б. Ищу человека. М., 2009. С. 34—35.

<sup>41</sup> День поэзии: [Сборник] / Сост. В. Куприянов, В. Лазарев. М., 1981. С. 245.

**Глава десятая. «Нам чёрт не брат и Бог нам не владыка»**

<sup>1</sup>Иванов А. Как стёклышко: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече // Знамя. 1998. № 9. С. 174.

<sup>1</sup>Блок А. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1971. Т. 3. С. 191.

<sup>3</sup>Курицын В. Четверо из поколения дворников и сторожей // Урал. 1990. №5. С. 171.

<sup>4</sup>Муравьёв В. «Высоких зрелищ зритель» // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 6—7.

<sup>5</sup>Окуджава Б. Мы больны, мы мечемся в бреду // Столица. 1992. № 24 (82). С. 11.

<sup>6</sup>Пятигорский А. О времени в себе: Шестидесятые годы — от Афин до ахинеи: [Беседу вёл Игорь Смирнов] // Независимая газета. 1995. 10 ноября. С. 5.

<sup>7</sup>*Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 59.

<sup>8</sup>*Собчак А. А.* Хождение во власть: Рассказ о рождении парламента. М., 1991. С. 260.

<sup>9</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 404.

<sup>10</sup>*Солженицын А. И.* «Русский вопрос» к концу XX века // <https://document.wikireading.ru/54417>.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой.)

<sup>13</sup>*Бунин И. А.* Окаянные дни: К двадцатилетию со дня смерти И. А. Бунина (8 ноября 1953) / Вступ. ст. и примеч. С. П. Крыжицкого. Лондон (Канада), 1973. С. 101.

<sup>14</sup>*Огрызко В.* «И воздух пахнет смертью» // Литературная Россия. 2015. № 2015/30. 2 сентября.

<sup>15</sup>*Веллер М.* Из когорты великой эпохи. 9 дней назад не стало Анатолия Гладилина // Новая газета. 2018. № 122. 2 ноября. С. 22.

<sup>16</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 53.

<sup>17</sup> Там же. С. 447.

<sup>18</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 156.

<sup>19</sup>*Иванов А.* Как стёклышко: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече // Знамя. 1998. № 9.

<sup>20</sup> «Всё, что делается в России, — безвозвратно». Интервью. «Если меня приговорят к повешению...» С писателем беседовала И. Тосунян // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 512—513.

<sup>21</sup>*Генис А.* Обживая хаос. Русская литература в конце XX века // Континент. 1997. № 94.

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> *Богомоллов Н. А.* «Москва — Петушки»: Историко-литературный и актуальный контекст // Новое литературное обозрение. 1999. №4.

<sup>24</sup> Там же.

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> Там же.

<sup>27</sup> «Всё, что делается в России, — безвозвратно». Интервью. «Мой антиязык от антижизни...» С писателем беседовала С. Сухова // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 525.

<sup>28</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799—1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л., 1950—1951. Т. 10. С. 329.

<sup>29</sup> Там же. Т. 7. С. 80—81.

<sup>30</sup> *Ерофеев В.* Письма к сестре / Публ. и коммент. Т. Гущиной; подг. текста Д. Годер // Театр. 1991. № 9.

<sup>31</sup> 11 афоризмов Аверинцева // <https://arzamas.academy/materials/208>.

## **Глава одиннадцатая. Между Сциллой и Харибдой**

<sup>1</sup> *Батюшков К. Н.* Судьба Одиссея // Странник: Антология русской поэзии. СПб., 2011 (Золотая коллекция для юношества). С. 5.

<sup>2</sup> «Я живу в эпоху всеобщей неменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 168.

<sup>3</sup> *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 2. С. 316.

<sup>4</sup> Там же. С. 336.

<sup>5</sup> Цит. по: *Юрков А.* Родина и государство — это разные вещи // Независимая газета EXLIBRIS. 2018. 20 сентября. С. 11.

<sup>6</sup>*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799—1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л., 1950-1951. Т. 10. Т. 2. С. 341.

<sup>7</sup>*Астафьев В. П.* Собрание сочинений: В 15 т. Красноярск, 1997—1998. Т. 5. С. 436.

<sup>8</sup>*Веллер М.* Из когорты великой эпохи. 9 дней назад не стало Анатолия Гладилина // Новая газета. 2018. 2 ноября. С. 22.

<sup>9</sup>*Войнович В. Н.* Автопортрет: Роман моей жизни. М., 2010. С. 443.

<sup>10</sup>*Сенкевич А. Н.* Показания свидетелей защиты (Из истории русского поэтического подполья 60-х годов). М., 1992. С. 15.

<sup>11</sup>*Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 128—129.

<sup>12</sup>*Игнатова Е.* Обернувшись. СПб., 2009. С. 23.

<sup>13</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 99.

<sup>14</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 368.

<sup>15</sup>*Шевелев И.* «Полузаочное интервью» с Венедиктом Ерофеевым // Человек и природа. 1989. № 10.

<sup>16</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 343.

<sup>17</sup>*Матвеев П.* Венедикт Ерофеев и КГБ // <https://www.colta.m/articles/literature/3459-venedikt-erofeev-i-kgb>.

<sup>18</sup>*Ерофеев В.* Письма к сестре / Публ. и коммент. Т. Гущиной; подг. текста Д. Годер // Театр. 1991. № 9. С. 129.



<sup>19</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 352.

<sup>20</sup> «Посмотрим, кто кого переупрямит...»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах. М., 2015. С. 381.

<sup>21</sup>*Амальрик А.* Записки диссидента. Ann Arbor, 1982. С. 327.

<sup>22</sup>*Зиновьева О. М.* Александр Зиновьев: творческий экстаз // <https://texts.news/raznyih-stran-filosofiya/zinoveva-aleksandr-zinovev-tvorcheskiy-18089.html>.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup>*Кантор М. К.* Каждый пишет, что он слышит // <https://www.litmir.me/br/?b=175915&p=3>.

<sup>25</sup>*Балабанова И.* Говорит Дмитрий Александрович Пригов. М., 2001. С. 50.

<sup>26</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 2. С. 366.

<sup>27</sup> Там же. С. 340.

<sup>26</sup> Там же. С. 363.

<sup>29</sup> Там же. С. 358—359.

<sup>30</sup>*Ильин И. А.* Аксиомы религиозного опыта: Исследование: В 2 т. / Сост. и авт. вступ. ст. И. Н. Смирнов. М., 1993. Т. 2. С. 318.

<sup>31</sup>*Миллер Г. В.* Книги в моей жизни: Эссе / Пер. с англ.; сост. и коммент. А. Зверева. М., 2001. С. 218—219.

<sup>32</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 349.

## **Глава двенадцатая. Совмещение разных голосов**

<sup>1</sup> Сборник газеты «Слово»: Сборник статей Н. Белоцветова, В. Владимировского, И. Зорина и кн. А. Ливена (1926—1927). Рига, [1927]. С. 7.

<sup>2</sup> *Довлатов С. Д.* Собрание сочинений: В 4 т. СПб., 2016. Т. 2. С. 85-86.

<sup>3</sup> Писатель Борис Хазанов: Лубянка, Бутырки, Лагерь: Ч. 2 // [http://boris-chasanow.imwerden.de/swoboda\\_2011\\_2.html](http://boris-chasanow.imwerden.de/swoboda_2011_2.html).

<sup>4</sup> *Гинзбург Л.* Записи 20-х и 30-х годов: Из неопубликованного // *Гинзбург Л. Я.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе / Вступ. ст. А. С. Кушнера. СПб., 2011. С. 169.

<sup>5</sup> Там же. С. 157.

<sup>6</sup> Там же. С. 158.

<sup>7</sup> *Парамонов Б.* След: Философия. История. Современность. М., 2001. С. 360.

<sup>8</sup> *Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 298.

<sup>9</sup> *Парамонов Б. М.* Реквием Тынянова: [Беседа с А. Генисом] // <https://zotych7.livejournal.com/633082.html>.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> «Посмотрим, кто кого переупрямит...»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах. М., 2015. С. 381.

<sup>12</sup> См.: *Скоропалова И. С.* Русская постмодернистская литература: Учебное пособие для студентов филологических факультетов вузов. М., 2001.

<sup>13</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 77.

<sup>14</sup> *Тынянов Ю. Н.* Смерть Вазир-Мухтара // *Тынянов Ю. Н.* Собрание сочинений: В 3 т. М.; Ульяновск, 2006. Т. 2. С. 296—297.

<sup>15</sup> *Парамонов Б.* След: Философия. История. Современность. С. 337.

<sup>16</sup> Там же. С. 359.

<sup>17</sup> *Большее И.* «Умру, но никогда не пойму...» // Московские новости. 1989. № 50. 10 декабря. С. 13.

<sup>18</sup> *Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 333.

<sup>19</sup> «Не исследование, а мечтательное умствование». Саша Чёрный и другие // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 322.

<sup>20</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Игорь Авдиев // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 566—567.

<sup>21</sup> *Вульфина Л. Б.* Неизвестный Ре-Ми: Художник Николай Ремизов. Жизнь, творчество, судьба. М., 2017. С. 73.

<sup>22</sup> *Мандельштам Н. Я.* Третья книга: [Воспоминания] / Сост. Ю. Л. Фрейдин. М., 2006. С. 122-123.

<sup>23</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 446.

<sup>24</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 379.

<sup>25</sup> Там же. С. 348.

<sup>26</sup> «Я живу в эпоху всеобщей неменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 168—169.

<sup>21</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 144.

<sup>28</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>29</sup> Там же.

<sup>30</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 385.

<sup>31</sup> Предсмертное письмо декабриста К. Ф. Рылеева, написанное жене перед казнью // <https://cont.ws/@nlo8/1508682>.

<sup>32</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 385.

<sup>33</sup>*Бродский И.* Нобелевская лекция // <https://www.litmir.me/br/?b=48077&p=1>.

### **Глава тринадцатая. Противостояние окоснению и затмению души**

<sup>1</sup> Дар и крест: Памяти Натальи Трауберг. СПб., 2000. С. 90.

<sup>2</sup>*Гаспаров М. Л.* Записи и выписки. М., 2000. С. 136.

<sup>3</sup>*Сенкевич А. Н.* Показания свидетелей защиты. Ч. 2: Видь Мириманов [Рукопись].

<sup>4</sup>*Сенкевич А. Н.* Показания свидетелей защиты (Из истории русского поэтического подполья 60-х годов). М., 1992. С. 11—12.

<sup>5</sup>*Недель А.* Оскар Рабин: Нарисованная жизнь. М., 2012. С. 83-84.

<sup>6</sup> Правда. 1936. 28 января.

<sup>7</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 131.

<sup>8</sup>*Плавинская З.* Вулкан-Парнас Вячеслава Васильевича Калинина. М., 2004. С. 9.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же. С. 13.

<sup>11</sup>*Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 50.

<sup>12</sup>*Авдиев И.* Все мы вышли из электрички Москва — Петушки // Новая газета. 1997. № 28 (448). С. 8.

<sup>13</sup>*Довлатов С.Д.* Собрание сочинений: В 4 т. СПб., 2016. Т. 3. С. 166.

<sup>14</sup>*Мандельштам Н. Я.* Воспоминания / Вступ. ст. Д. Быкова. М., 2006. С. 270.

<sup>15</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>16</sup>*Поливанов А. С.* «Псевдодокументализм» в русской неподцензурной прозе 1970—1980-х годов: Вен. В. Ерофеев, С. Д. Довлатов, Э. В. Лимонов: Автореф. дисс. на соискание степени канд. филол. наук. М., 2010.

<sup>17</sup> Цит. по: *Лекманов О., Свердлов М., Симановский И.* Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2018 (Литературные биографии). С. 435.

<sup>18</sup>*Гордон А. В.* Не утоливший жажды: Об Андрее Тарковском. М., 2007. С. 271.

<sup>19</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 345.

<sup>20</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой.)

<sup>21</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 212—213.

## **Глава четырнадцатая. Не ошибиться бы в рецептах**

<sup>1</sup>*Ильин И. А.* Аксиомы религиозного опыта: Исследование: В 2 т. / Сост. и авт. вступ. ст. И. Н. Смирнов. М., 1993. Т. 2. С. 191.

<sup>2</sup>*Кудрова И. В.* Еибель Марины Цветаевой. М., 1999. С. 99—100.

<sup>3</sup>*Собчак А. А.* Сталин: Личное дело. М., 2014. С. 224.

<sup>4</sup> Там же. С. 127.

<sup>5</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 79.

<sup>6</sup> Там же. С. 455.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же. С. 417.

<sup>9</sup> Там же. С. 342.

<sup>10</sup> Там же. С. 340.

<sup>11</sup> Там же. С. 336.

<sup>12</sup> Там же. С. 363.

<sup>13</sup> Алексей Толстой. Никто не знает правды.

Документальный фильм // [https://www.tvc.ru/channel/brand/id/3190/show/episodes/episode\\_id/58347](https://www.tvc.ru/channel/brand/id/3190/show/episodes/episode_id/58347).

<sup>14</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 167.

<sup>15</sup> Там же. С. 175.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Там же. С. 180.

<sup>18</sup> «Так думаю я, и со мной всё прогрессивное человечество». Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 463.

<sup>19</sup> *Семыкина Р. С.-И.* «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского и «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева: Диалог сознаний // Известия Уральского государственного университета. Екатеринбург, 2004. № 33. С. 75.

<sup>20</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 166.

<sup>21</sup> Там же. С. 130.

<sup>22</sup> «Так думаю я, и со мной всё прогрессивное человечество». Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 355.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». «Москва — Петушки» // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 158.

<sup>25</sup> Владимир Муравьев: «Нет хороших и плохих переводов, есть удачные и неудачные переводы» //

Русский журнал. 2001. 4 июня.

<sup>26</sup>*Иваск Ю.* Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки». Париж. 1977 // Новый журнал. Нью-Йорк, 1977. № 129. С. 290—291.

<sup>27</sup>*Ахмадулина Б. А.* Париж — Петушки — Москва // Московские новости. 1988. № 34. 4 сентября. С. 15.

<sup>28</sup>*Ахмадулина Б. А.* Полное собрание сочинений в одном томе. М., 2012. С. 40.

<sup>29</sup> Москва — Петушки. Фильм Павла Павликовского (1 из 5) // <https://www.youtube.com/watch?v=f-WlmkprRso>.

<sup>30</sup>*Амальрик А.* Записки диссидента. Ann Arbor, 1982. С. 326—327.

<sup>31</sup> Театр. 1991. №9. С. 89.

<sup>32</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 432.

<sup>33</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>34</sup> Монологи о Венедикте Ерофееве (Ольга Седакова) // <https://omiliya.org/anicle/monologi-o-venedikte-erofeeve-olga-scdakova.html>.

<sup>35</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 299.

<sup>36</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 287.

<sup>37</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 324.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РАЗРАБОТКА**

### **Глава первая. «В этом мире я только подкидыш»**

<sup>1</sup>Ильин И. А. О России // Перезвоны. Рига, 1926. № 20. С. 599.

<sup>2</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 351.

<sup>3</sup>Щеулов Е. Путешествие в Елшанку // Ульяновская правда. 1996. 10 февраля. С. 10.

<sup>4</sup>Леухин Н. Кулугуры // <https://www.proza.ru/2015/03/28/> 154.

<sup>5</sup>Театр. 1991. №9. С. 11.

<sup>6</sup>Там же.

<sup>7</sup>«Всё, что делается в России, — безвозвратно». «Если меня приговорят к повешению...» Интервью. С писателем беседовала И. Тосунян // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 517.

## **Глава вторая. Как слабый душит сильного**

<sup>1</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 412.

<sup>2</sup>Гущина Т. В. Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>3</sup>Там же.

<sup>4</sup>Там же.

<sup>5</sup>Фролова Н. Несколько монологов о Венедикте Ерофееве // Театр. 1991. № 9. С. 74.

<sup>6</sup>Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 40.

<sup>7</sup>День поэзии: [Сборник] / Сост. В. Куприянов, В. Лазарев. М., 1981. С. 226.



<sup>8</sup>*Брюсов В. Я.* В эту минуту истории: Политические комментарии: 1902—1924 / Сост., вступ. ст., подг. текста и прим. В. Э. Молодякова. М., 2013. С. 134.

**Глава третья. Идёт война народная, священная война**

<sup>1</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>2</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 10.

<sup>3</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись].

<sup>4</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 10.

<sup>5</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись].

<sup>6</sup>*Фролова Н.* Несколько монологов о Венедикте Ерофееве // Театр. 1991. №9. С. 74.

<sup>7</sup> Там же. С. 76.

<sup>8</sup> Театр. 1991. №9. С. 12.

<sup>9</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись].

<sup>10</sup>*Щеулов Е.* Путешествие в Елшанку // Ульяновская правда. 1996. 10 февраля.

<sup>11</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись].

<sup>12</sup> Там же.

## **Глава четвёртая. Как перегорают сердца**

<sup>1</sup>*Шталь Е.* Венедикт Ерофеев // Газета «30 октября». 2005. № 50. С. 13.

<sup>2</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 15.

<sup>3</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>4</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 62.

<sup>5</sup> Там же. С. 61—62.

<sup>6</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись].

<sup>7</sup>*Фролова Н.* Несколько монологов о Венедикте Ерофееве // Театр. 1991. №9. С. 75.

<sup>8</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение.

С. 65.

<sup>9</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись].

<sup>10</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 426.

<sup>11</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись].

<sup>12</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 135. <sup>13</sup>Цит. по: *Дранишников В. В., Манухин В. П., Дудакова Е. Ф.* Очерки истории народного образования Кольского края. Мурманск, 2001. С. 191.

<sup>14</sup> «Всё, что делается в России, — безвозвратно». Интервью. «Сумасшедшим можно быть в любое время». С писателем беседовал Л. Прудовский // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 491.

<sup>15</sup>*Ерофеев Б.* Воспоминания // Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 24.

<sup>16</sup> Там же. С. 25.

<sup>17</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 313.

<sup>18</sup>*Ерофеев Б.* Указ. соч. С. 24—25.

<sup>19</sup>*Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 154.

<sup>20</sup>*Ерофеев Б.* Указ. соч. С. 25.

<sup>21</sup> Там же. С. 26.

<sup>22</sup> Коктейль Ерофеева. Сестра культового писателя Нина Фролова: «От него всего можно было ожидать!» // Московский комсомолец. 2013. 23 октября.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись].

<sup>25</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 2. С. 312.

<sup>26</sup>*Ерофеев Б.* Указ. соч. С. 24.

<sup>27</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 221.

<sup>28</sup> Там же. С. 222.

<sup>29</sup> Там же. С. 151.

<sup>30</sup> Там же. С. 133.

<sup>31</sup> Там же. С. 151.

<sup>32</sup> Там же. С. 127.

<sup>33</sup>*Ерофеев Б.* Указ. соч. С. 25.

<sup>34</sup>*Лекманов О., Свердлов М., Симановский И.* Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2018 (Литературные биографии). С. 76.

<sup>35</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись].

<sup>36</sup> Там же.

<sup>37</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 98.

<sup>38</sup>Гущина Т. В. Воспоминания [Рукопись].

<sup>39</sup>Шталь Е. Н. Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 163.

## **Глава пятая. Молодым все дороги открыты**

<sup>1</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 152.

<sup>2</sup> Там же. С. 154.

<sup>3</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьёв // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь*. М., 2008. С. 574.

<sup>4</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. С. 60—61.

<sup>5</sup> Там же. С. 71.

<sup>6</sup>*Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 293.*

<sup>7</sup>*Ерофеев В. Жить в России с умом и талантом... // Апрель. 1991. №4. С. 241.*

<sup>8</sup>*Катаев В. Б. Как доехать до Петушков // Время, оставшееся с нами: [Вып. 3]. Филологический факультет в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников / Отв. ред. М. Л. Ремнева. М., 2006. С. 167.*

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. С. 62—63.

<sup>11</sup> Там же. С. 210—211.

<sup>12</sup> Цит. по: *Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2018 (Литературные биографии). С. 71—72.*

<sup>13</sup>Ерофеев В. «Умру, но никогда не пойму этих скотов»: [Интервью брал Игорь Большев] // Московские новости. 1989. 10 декабря. С. 13.

<sup>14</sup>Жуковская Е. Е., Музыкантова А. Г. и др. Кое-что о 4-й немецкой группе // Время, оставшееся с нами: [Вып. 3.]. Филологический факультет в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников. М., 2006. С. 227.

<sup>15</sup> Там же. С. 227—228.

<sup>16</sup> Венедикт Ерофеев. Печать минувшего // Театр. 1992. № 9. С. 90—91.

## **Глава шестая. Университетские наставники**

<sup>1</sup> См.: Аринштейн Л. М. Петух в аквариуме-2, или Как я провёл XX век: Новеллы и воспоминания. М., 2013.

<sup>2</sup>Дорман О. Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. М., 2010. С. 194.

<sup>3</sup> См.: Жолковский А. К. Звёзды, и немного нервно: Мемуарные виньетки. М., 2008.

<sup>4</sup>Бенина Е. Из книги воспоминаний «Во время послевоенной идеологической бойни» // Вопросы литературы. 1995. № 4.

<sup>5</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьёв // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 575.

<sup>6</sup>Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2018 (Литературные биографии). С. 63—65.

<sup>7</sup>Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 342.

<sup>8</sup>*Катаев В. Б.* Как доехать до Петушков // *Время, оставшееся с нами: [Вып. 3]*. Филологический факультет в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников / Отв. ред. М. Л. Ремнёва. М., 2006. С. 188.

<sup>9</sup>*Романев Ю. А.* Мой Радциг. Мой Дератани // *Время, оставшееся с нами: [Вып. 3]*. Филологический факультет в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников. М., 2006. С. 213.

<sup>10</sup>*Пятигорский А.* О времени в себе: Шестидесятые годы — от Афин до ахинеи: [Беседу вёл Игорь Смирнов] // *Независимая газета*. 1995. 10 октября. С. 5.

<sup>11</sup> *Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990)* / Сост. В. Берлин // *Живая Арктика*. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 29.

<sup>12</sup>*Уайльд О.* Афоризмы / Сост. Е. А. Альхабаш. Харьков, 2012. С. 174.

<sup>13</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* *Собрание сочинений: В 2 т.* М., 2007. Т. 1. С. 342.

## ***Глава седьмая. Чужая душа — потёмки***

<sup>1</sup>*Катаев В. Б.* Как доехать до Петушков // *Время, оставшееся с нами: [Вып. 3]*. Филологический факультет в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников / Отв. ред. М. Л. Ремнёва. М., 2006. С. 168.

<sup>2</sup> Там же. С. 168—169.

<sup>3</sup>*Лекманов О., Свердлов М., Симановский И.* Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2018 (Литературные биографии). С. 75—76.

<sup>4</sup>*Романев Ю. А.* Мой Радциг. Мой Дератани // *Время, оставшееся с нами: [Вып. 3]*. Филологический факультет

в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников. М., 2006. С. 212.

<sup>5</sup> «Довольно, пациент. В дурдоме не умничают». «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 226.

<sup>6</sup> «Я живу в эпоху невменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 175.

<sup>7</sup>*Ерофеев В.* «Умру, но никогда не пойму этих скотов»: [Интервью брал Игорь Большев] // Московские новости. 1989. 10 декабря. С. 13.

<sup>8</sup>*Романев Ю. А.* Указ. соч. С. 213.

<sup>9</sup> «Встреча с ним составляет событий жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьев // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 574—575.

<sup>10</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 59.

<sup>11</sup> Там же. С. 63—64.

<sup>12</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup>*Жуковская Е. Е., Музыкантов а А. Г. и др.* Кое-что о 4-й немецкой группе // Время, оставшееся с нами: [Вып. 3]. Филологический факультет в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников. М., 2006. С. 213.

<sup>15</sup>*Лекманов О., Свердлов М., Симановский И.* Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2018 (Литературные биографии). С. 82—83.

<sup>16</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 64.

<sup>17</sup> Там же. С. 13.

<sup>18</sup>Белинский В. В. Собрание писем: В 3 т. / Ред. и прим. Е. А. Ляцкого. СПб., 1914. Т. 2. С. 108.

<sup>19</sup> «Всё, что делается в России, — безвозвратно». «Если меня приговорят к повешению...» С писателем беседовала И. Тосунян // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 509.

<sup>20</sup>Ломазов В. Нечто вроде беседы с Венедиктом Ерофеевым // Театр. 1989. № 4. С. 34.

<sup>21</sup>Романеев Ю. А. Указ. соч. С. 212—213.

## **Глава восьмая. Идёшь вперёд — страх не берёт**

<sup>1</sup>Генис А. Обживая хаос. Русская литература в конце XX века // Континент. 1997. № 94. С. 285.

<sup>2</sup>Пятигорский А. М. Философская проза: В 4 т. / Сост. и ред. Л. Пятигорская. М., 2016. Т. 4. С. 143.

<sup>3</sup>Там же. С. 145.

<sup>4</sup>Там же.

<sup>5</sup>Там же.

<sup>6</sup>Там же. С. 146.

<sup>7</sup>Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 344.

<sup>8</sup>Пятигорский А. М. Философская проза: В 4 т. Т. 4. С. 148.

<sup>9</sup>Там же. С. 155.

<sup>10</sup>Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 2 т. / Сост. и коммент. И. С. Чистовой. М., 1988—1990. Т. 2. С. 540.

<sup>11</sup>Романеев Ю. А. Мой Радциг. Мой Дератани // Время, оставшееся с нами: [Вып. 3]. Филологический



факультет в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников. М., 2006. С. 215.

<sup>12</sup>*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 167—168.

<sup>13</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 59.

<sup>14</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьёв // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 578.

<sup>15</sup> Там же. С. 578.

<sup>16</sup>*Авдиев И.* Все мы вышли из электрички Москва — Петушки // Новая газета. 1997. № 28 (448). С. 8.

<sup>17</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. С. 68.

<sup>18</sup>*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 221—222.

<sup>19</sup>*Нордвик В.* «Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, Зиганшин съел второй сапог» // Родина. 2015. № 4 (415).

<sup>20</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 32.

## **Глава девятая. Родная кровь — не водица**

<sup>1</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 336.

<sup>2</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой.)

<sup>3</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир

Муравьёв // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь.* М., 2008. С. 573—574.

<sup>4</sup>Шталь Е. Н. Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 153—154.

<sup>5</sup>Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. / Ед. ред. Н. Ф. Бельчиков. М., 1974—1983. Т. 2. С. 81.

<sup>6</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Нина Фролова // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь.* М., 2008. С. 531—532.

<sup>7</sup>*Ерофеев В. В. Малая проза.* М., 2005. С. 62.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же. С. 62—63.

<sup>10</sup> Неизвестный Ленин / HistoryTVru [канал Дискавери] // <https://www.youtube.com/watch?v=CaIrFYjsA7g>.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup>*Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 316.*

<sup>13</sup>*Пятов Г. Советский Союз был империей лжи // Московский комсомолец. 2020. 17 февраля. С. 3.*

<sup>14</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Владимир Муравьёв // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь.* С. 575.

<sup>15</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 32.

## **Глава десятая. Любовь**

<sup>1</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин //

Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 32.

<sup>2</sup> Там же. С. 33.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> *Жарова Л.* Веничка, или Речь в защиту... // Орехово-Зуевский литературный альманах: Ежегодное литературное приложение к газете «Ореховские вести»: Вып. 2. Владимир, 2007. С. 468.

<sup>5</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 11.

<sup>6</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 32.

<sup>7</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 11—12.

<sup>8</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Лидия Любчикова // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 536.

<sup>9</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 12.

<sup>10</sup> Там же. С. 12.

<sup>11</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 33.

<sup>12</sup> Там же. С. 35.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 13.

<sup>16</sup> Там же. С. 14.

<sup>17</sup> Там же. С. 16.

<sup>18</sup>Ерофеев В. В. Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 232.

<sup>19</sup> Там же. С. 233—234.

<sup>20</sup>Жарова Л. Указ. соч. С. 468.

<sup>21</sup> Там же. С. 470.

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> Цит. по: *Лекманов О., Свердлов М., Симановский И.* Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2018 (Литературные биографии). С. 118.

<sup>24</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 37.

<sup>25</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 58.

<sup>26</sup>Жарова Л. Указ. соч. С. 471.

<sup>27</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 471.

## **Глава одиннадцатая. Очередная перебежка из одного угла в другой**

<sup>1</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьёв // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 575.

<sup>2</sup>Муравьёв В. «Высоких зрелищ зритель» // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2001. Т. 1. С. 10.

<sup>3</sup> Илья Кабаков: «В будущее возьмут не всех» // <https://www.youtube.com/watch?v=fQ8tjCnylkl>.

<sup>4</sup>*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 131—132.

<sup>5</sup> Там же. С. 134.

<sup>6</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 38.

<sup>7</sup>*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. С. 238.

<sup>8</sup>*Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 172.

<sup>9</sup> Там же. С. 172—174.

<sup>10</sup> Домашняя беседа. 1864. № 8 (22 февраля). С. 212—213.

<sup>11</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 167.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же. С. 165.

<sup>14</sup> Там же. С. 68.

<sup>15</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 64.

<sup>16</sup>*Лекманов О., Свердлов М., Симановский И.* Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020 13-е изд. / (Литературные биографии). С. 158.

## **Глава двенадцатая. Не потерять бы самого себя**

<sup>1</sup> Цит. по: *Гордина Л. С., Кибкало А. В., Бичев Г. Н.* Доктрина ноосферной цивилизации. М., 2013. С. 17.

<sup>2</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 19.

<sup>3</sup> Там же. С. 17.

- <sup>4</sup> Там же.
- <sup>5</sup> Там же. С. 17—18.
- <sup>6</sup> Там же. С. 18.
- <sup>7</sup> Там же. С. 18—19.
- <sup>8</sup> Там же. С. 19.
- <sup>9</sup> Там же. С. 54—55.
- <sup>10</sup> Там же. С. 55—56.
- <sup>11</sup> Там же. С. 91.
- <sup>12</sup> Там же. С. 91—92.
- <sup>13</sup> Там же. С. 37.
- <sup>14</sup> *Комт Ф.* Христианская цивилизация: Энциклопедический словарь. М., 2006. С. 648.
- <sup>15</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 37.
- <sup>16</sup> Там же.
- <sup>17</sup> *Комт Ф.* Указ. соч. С. 149—150.
- <sup>18</sup> Там же. С. 150.
- <sup>19</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 38—42.
- <sup>20</sup> Там же. С. 38—39.
- <sup>21</sup> Там же. С. 38.
- <sup>22</sup> Там же.
- <sup>23</sup> Там же.
- <sup>24</sup> Там же. С. 39.
- <sup>25</sup> Там же. С. 38.
- <sup>26</sup> Там же.
- <sup>27</sup> Там же.
- <sup>28</sup> Там же.
- <sup>29</sup> *Комт Ф.* Указ. соч. С. 231.
- <sup>30</sup> Там же. С. 271.
- <sup>31</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 45.
- <sup>32</sup> Там же. С. 47.

<sup>33</sup> Там же. С. 72.

<sup>34</sup> Там же.

<sup>35</sup> Там же. С. 50.

<sup>36</sup> Там же. С. 51.

<sup>37</sup> Там же. С. 79.

### **Глава тринадцатая. В роли просветителя и миссионера**

<sup>1</sup> *Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Судьба родных и сослуживцев Артузова // <http://www.famhist.ru/famhist/artuzov/00102e0d.htm>.

<sup>7</sup> *Торчинов А. М., Леонтьев А. М.* Вокруг Сталина: Историкобиографический справочник. СПб., 2000. С. 563—564.

<sup>8</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 104.

<sup>9</sup> Там же. С. 113—114.

<sup>10</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Лидия Любчикова // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 536.

<sup>11</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин //

Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 41.

<sup>12</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 57.

<sup>13</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 49.

<sup>14</sup> Там же. С. 73—74.

<sup>15</sup> Там же. С. 86—88.

<sup>16</sup> Там же. С. 95—96.

<sup>17</sup> Там же. С. 104.

<sup>18</sup> Там же. С. 113—114.

<sup>19</sup> Там же. С. 117—118.

<sup>20</sup> Там же. С. 141—142.

<sup>21</sup> Там же. С. 142—143.

<sup>22</sup>*Марек Дж.* Рихард Штраус: Последний романтик. М., 2002. С. 99.

<sup>23</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 168.

<sup>24</sup>*Береславский А.* Про марксизм и схоластику // <http://times.com.ua/Blog/26761/pro-marksizm-i-sholastiku>.

<sup>25</sup> Венедикт Ерофеев в Орехово-Зуеве: воспоминания современников // Орехово-Зуевский литературный альманах: Ежегодное литературное приложение к газете «Ореховские вести»: Вып. 2. Владимир, 2007. С. 466.

<sup>26</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 47.

<sup>27</sup> Там же. С. 41.

<sup>28</sup>*Авдиев И.* Эринии и документы: К шестидесятилетию со дня рождения русского писателя Венедикта Ерофеева (24 октября 1938 — 11 мая 1990) // <http://index.org.ru/memoirs/avdiev.html>.



<sup>29</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 165.

**Глава четырнадцатая. Противостояние  
двоемыслию**

<sup>1</sup>*Кюстин А. де.* Записки о России французского путешественника маркиза де Кюстина, изложенные и прокомментированные В. Нечаевым. М., 1990. С. 64.

<sup>2</sup>*Кюстин А. де.* Записки о России французского путешественника маркиза де Кюстина, изложенные и прокомментированные В. Нечаевым. М., 1990. С. 44.

<sup>3</sup>*Достоевский Ф. М.* Собрание сочинений: В 10 т. / Под общ. ред. Л. П. Гроссмана [и др.]; вступ. ст. В. В. Ермилова. М., 1956—1958. Т. 6. С. 616.

<sup>4</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>5</sup>*Тютчев Ф. И. Т. 3:* Публицистические произведения. С. 101 // <https://www.litmir.me/br/?b=110968&p=101>.

<sup>6</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 40.

<sup>7</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 412.

<sup>8</sup> Там же. С. 465.

<sup>9</sup> Там же. С. 94.

<sup>10</sup> «Всё, что делается в России, — безвозвратно». Интервью // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 505.

<sup>11</sup>*Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 2. С. 269—270.

<sup>12</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 45.

<sup>13</sup> Путешествие в обратном: Книга про литфак / Авт.-сост. А. С. Цуккерман. Владимир, 2018. С. 21.

<sup>14</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 68.

<sup>15</sup> Там же. С. 75-76.

<sup>16</sup> Там же. С. 168-169.

<sup>17</sup> Там же. С. 170.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> Там же. С. 171.

<sup>21</sup>*Леонов Л. М.* Из записных книжек // Наше наследие. 2001. №58. С. 101—102.

<sup>22</sup>*Бродский И.* Размышления об исчадии ада // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 152.

<sup>23</sup>*Авдиев И.* Эринии и документы: К шестидесятилетию со дня рождения русского писателя Венедикта Ерофеева (24 октября 1938 — 11 мая 1990) // <http://index.org.ru/memoirs/avdiev.html>.

## **Глава пятнадцатая. Третий закон Ньютона**

<sup>1</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 125.

<sup>2</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 161.

<sup>3</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № I: Хибины — Москва — Петушки. С. 44.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же. С. 45.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 164—166.

<sup>9</sup> Там же. С. 167.

<sup>10</sup> *Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 73—74.

<sup>11</sup> Там же. С. 162.

<sup>12</sup> *Фурсов А.* Владимирские страницы Венедикта Ерофеева // Учительская газета. 1991. 14—21 июля. С. 20.

<sup>13</sup> *Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 71.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Там же. С. 136.

<sup>16</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 152—153.

<sup>17</sup> *Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 156.

<sup>18</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 62.

<sup>19</sup> Путешествие в обратно: Книга про литфак / Авт.-сост. А. С. Цуккерман. Владимир, 2018. С. 68—69.

<sup>20</sup> *Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 79—80.

<sup>21</sup> *Сенкевич Г.* Собрание сочинений: В 9 т. М., 1985. Т. 6. С. 98.

<sup>22</sup>Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020 [3-е изд.] (Литературные биографии). С. 121—122.

<sup>23</sup>Шталь Е. Н. Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 112—114.

<sup>24</sup>Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020 [3-е изд.]. С. 122.

<sup>25</sup> Путешествие в обратном: Книга про литфак / Авт.-сост. А. С. Цуккерман. Владимир, 2018. С. 74.

<sup>26</sup> Там же. С. 142.

<sup>21</sup>Мариенгоф А. Роман без вранья. Л., 1927. С. 61.

<sup>28</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 187.

## **Глава шестнадцатая. Эюд о великолепной семёрке**

<sup>1</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. С. 145—146.

<sup>2</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. С. 146—147.

<sup>3</sup>Фрейдкин М. Каша из топора. М., 2009. С. 303.

<sup>4</sup> Там же. С. 305.

<sup>5</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 414.

<sup>6</sup> Там же. С. 406.

<sup>7</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 400.

<sup>8</sup> Там же. С. 350.

<sup>9</sup> Там же. С. 286.

<sup>10</sup> Там же. С. 576.

<sup>11</sup> Там же. С. 351.

<sup>12</sup> Там же. С. 353.

<sup>13</sup> Там же. С. 188.

<sup>14</sup> *Авдиев И.* Эринии и документы: К шестидесятилетию со дня рождения русского писателя Венедикта Ерофеева (24 октября 1938 — 11 мая 1990) // <http://index.org.ru/memoirs/avdiev.html>.

<sup>15</sup> Великие поэты. Т. 18: Фёдор Тютчев: Проблеск. М.; СПб., 2012. С. 26.

<sup>16</sup> *Кучкина О.* Жёлтый поникий лютик // Комсомольская правда. 1994. 20 мая. С. 25.

<sup>17</sup> *Кучкина О.* У Гоголя — смех сквозь слёзы. А у Ерофеева — слёзы сквозь смех // Комсомольская правда. 1995. 18 апреля.

<sup>18</sup> *Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 145.

<sup>19</sup> Там же. С. 136.

<sup>20</sup> Венедикт Ерофеев. Зеркало воспоминаний // Местное время. Владимир, 1996. № 44. С. 4.

<sup>21</sup> *Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 21—22.

<sup>22</sup> *Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 339.

<sup>23</sup> *Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. С. 22.

<sup>24</sup> Путешествие в обратном: Книга про литфак / Авт.-сост. А. С. Цуккерман. Владимир, 2018. С. 69.

**Глава семнадцатая. В тенетах страсти и любви**

<sup>1</sup>Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020 [3-е изд.] (Литературные биографии). С. 160—161.

<sup>2</sup>Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 46.

<sup>3</sup>Гиппиус З. Н. О любви // Русский Эрос, или Философия любви в России / Сост. и вступ. ст. В. П. Шестакова; коммент. А. Н. Богословского. М., 1991. С. 190—191.

<sup>4</sup>Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 48.

<sup>5</sup>Краткая автобиография // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 7.

<sup>6</sup>Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020. С. 161.

<sup>7</sup>Там же. С. 162.

<sup>8</sup>Авдиев И. Эринии и документы: К шестидесятилетию со дня рождения русского писателя Венедикта Ерофеева (24 октября 1938 — 11 мая 1990) // <http://index.org.ru/memoirs/avdiev.html>.

<sup>9</sup>Гущина Т. В. Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

**Глава восемнадцатая. Жена при муже хороша,**

**а без мужа не жена**

<sup>1</sup>Шмелькова Н. А. Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 27.

<sup>2</sup>Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 342.

<sup>3</sup>Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020 [3-е изд.] (Литературные биографии). С. 175.

<sup>4</sup>Ерофеев В. В. Из записных книжек // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 346.

<sup>5</sup> Там же. Т. 1. С. 357.

<sup>6</sup>Ерофеев В. Письма к сестре / Публ. и коммент. Т. Гущиной; подг. текста Д. Годер // Театр. 1991. № 9. С. 124.

<sup>7</sup>Гущина Т. В. Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 597.

<sup>10</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № I: Хибины — Москва — Петушки. С. 55.

<sup>11</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 620.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 60.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup>Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 7.

<sup>16</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 66.

<sup>17</sup> Венедикт Ерофеев — Юлии Руновой // Новая газета. 2006. № 74. С. 20.

<sup>18</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>19</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 9.

## **Глава девятнадцатая. Трудные годы**

<sup>1</sup> *Горичева Т.* Христианство и современный мир. СПб., 1996. С. 155.

<sup>2</sup> *Флобер Г.* Мемуары безумца / Пер. с фр., предисл. и прим. Г. Модиной. М., 2009. С. 63—64.

<sup>3</sup> Что в СССР было строго под запретом? // <https://divno.info/life/chto-v-sssr-byilo-strogo-pod-zapretom/>.

<sup>4</sup> *Голлербах С.* Размышления недоволившегося человека. New York, 2020. С. 23.

<sup>5</sup> *Горичева Т.* Христианство и современный мир. С. 95.

<sup>6</sup> Там же. С. 97.

<sup>7</sup> Цит. по: *Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 237.

<sup>8</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Ольга Седакова // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 598—599.

<sup>9</sup> *Смирнова Е. Е.* Записные книжки Вен. Ерофеева 1960-х годов в составе авторского свертка:



Автореф. дисс. // <https://www.dissercat.com/content/zapisnye-knizhki-ven-erofeeva-1960-khgodov-v-sostave-avtorskogo-sverkhsteksta>.

<sup>10</sup>*Скоропанова И. С.* Русская постмодернистская литература. М., 2001 // <http://yanko.lib.ru/books/cultur/skoropanova-russ-postmodern-lit.htm>.

<sup>11</sup>*Авдиев И.* Одна страничка из «Книги судьбы» // Новое литературное обозрение. 1998. № 1.

<sup>12</sup>*Скоропанова И. С.* Русская постмодернистская литература: Учебное пособие для студентов филологических факультетов вузов. М., 2001. С. 169—170.

<sup>13</sup>*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 380—381.

<sup>14</sup>*Скоропанова И. С.* «Благовествование» и «Василий Розанов глазами эксцентрика» как комментарий к поэме «Москва — Петушки» // Венедикт Ерофеев: Материалы Третьей международной конференции «Литературный текст: проблемы и методы исследования». Тверь, 2000. С. 82.

<sup>15</sup>*Воронель Н. А.* Без прикрас: Воспоминания. М., 2003. С. 354.

<sup>16</sup> Там же. С. 355.

<sup>17</sup> Там же. С. 362.

<sup>18</sup> Там же. С. 363.

<sup>19</sup> Там же. С. 364.

<sup>20</sup> Там же. С. 355.

<sup>21</sup> Там же.

<sup>22</sup> Там же. С. 356.

<sup>23</sup> Там же. С. 357.

<sup>24</sup> Там же. С. 359.

<sup>25</sup> Там же. С. 362.

<sup>26</sup>Ерофеев В. В. Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 388.

<sup>27</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 61.

<sup>28</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Лидия Любчикова // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. С. 537.

<sup>29</sup>Ерофеев В. В. Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 13.

<sup>30</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Лидия Любчикова // Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. С. 540.

<sup>31</sup> Там же.

## **Глава двадцатая. Хряпнем, тяпнем, поддадим!**

<sup>1</sup>Геллер М. Путешествие «к счастью, о котором пишут в газетах» // Вестник русского христианского движения. Париж, 1977. № 121. С. 307.

<sup>2</sup> Там же. С. 308.

<sup>3</sup> Там же. С. 310—311.

<sup>4</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup>Ерофеев В. В. Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 462.

<sup>7</sup>Мамлеев Ю. В. Воспоминания. М., 2017. С. 52.

<sup>8</sup> Там же. С. 70—71.

<sup>9</sup> Там же. С. 101.

<sup>10</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьёв // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь*. М., 2008. С. 584.

<sup>11</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. М., 2008. С. 95.

<sup>12</sup> *Попов В.* Памяти Николая Петровича Шмелева // *Знамя*. 2014. №3.

<sup>13</sup> Отзывы о книге «Москва — Петушки» В. В. Ерофеева: [Рецензии читателей] // <https://www.livelib.ru/book/1000517106/reviews-moskvapetushki-venedikt-erofeev>.

<sup>14</sup> *Быков Д.* Венедикт Ерофеев. // *Дилетант*. 2015. № 11. Ноябрь.

<sup>15</sup> *Брыкина Н. Ф.* Художественная картина мира в прозе Венедикта Ерофеева: Автореф. дисс. на соискание учёной степени канд. филол. наук. Волгоград. 2009. С. 6.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Там же. С. 10.

<sup>19</sup> См.: *Поливанов А. С.* «Псевдодокументализм» в русской неподцензурной прозе 1970—1980-х годов. Автореф. дисс. на соискание учёной степени канд. филол. наук. М., 2010.

<sup>20</sup> *Гаспаров Б., Паперно И.* «Встань и иди» // *Slavica Hierosolymitana. Slavic Studies of the Hebrew University*. 1981. Vol. 5-6. P. 387—400.

<sup>21</sup> *Муравьёв В.* «Высоких зрелищ зритель» // *Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2001. Т. 1. С. 12.*

<sup>22</sup> Отзывы читателей поэмы «Москва — Петушки» // <https://fantlab.ru/work281970>.

<sup>23</sup> Монологи о Венедикте Ерофееве: Владимир Муравьёв (часть 2): «До “Петушков” я знал:

замечательный друг, умный, прелестный, но не писатель. А как прочёл “Петушки”, тут понял — писатель» // <https://stengazeta.net/?p=10006528>.

<sup>24</sup> *Муравьёв В. С.* Путешествие с Гулливером (1699—1970). М., 1972. С. 4—5.

<sup>25</sup> Там же. С. 5.

<sup>26</sup> Там же. С. 16.

<sup>27</sup> Там же. С. 5.

<sup>28</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 169.

<sup>29</sup> Там же. С. 171.

## **Глава двадцать первая. Брак по необходимости**

<sup>1</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 452.

<sup>2</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 11.

<sup>3</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 582.

<sup>4</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 94.

<sup>5</sup> Там же. С. 93.

<sup>6</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 597.

<sup>7</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 12.

<sup>8</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>9</sup> «Веничка — сокровенная часть души автора»: Разговор с биографом Венедикта Ерофеева // <https://www.svoboda.org/a/29202849.html>.

<sup>10</sup>*Ерофеев В.* Письма к сестре / Публ. и коммент. Т. Гущиной; подг. текста Д. Годер // *Театр.* 1991. № 9. С. 126.

<sup>11</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки. Кн. 2.

<sup>12</sup>*Эпштейн М.* После карнавала, или Вечный Веничка // *Ерофеев В. В.* Оставьте мою душу в покое (Почти всё) / Предисл. М. Эпштейна; послесл. Черноусого (И. Авдиева). М., 1995. С. 5.

<sup>13</sup>*Седакова О., Виноградов Л.* Венедикт Ерофеев — человек страстей // <https://www.pravmir.ru/venedikt-erofeev-chelovek-strastej2/>.

<sup>14</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 156.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Там же. С. 7.

<sup>17</sup> Там же. С. 99—100.

<sup>18</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Галина Носова // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 602—603.

<sup>19</sup>*Авдиев И.* Эринии и документы: К шестидесятилетию со дня рождения русского писателя Венедикта Ерофеева (24 октября 1938 — 11 мая 1990) // <http://index.org.ru/rmemoirs/avdiev.html>.

<sup>20</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // *Живая Арктика.* 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 68—69.

<sup>21</sup>*Лекманов О., Свердлов М., Симановский И.* Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020 [3-е изд.] (Литературные биографии). С. 285.

<sup>22</sup>*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 106—107.

<sup>23</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Еалина Носова//

*Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 604.

<sup>24</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>25</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>26</sup>*Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 327.

<sup>27</sup>*Авдиев И.* Предисловие // Новое литературное обозрение. 1996. № 18. С. 167.

## ***Глава двадцать вторая. Внутренняя тишина,***

### ***или «Очищение структур»***

<sup>1</sup> Посёлок академиков Абрамцево: Сборник воспоминаний жителей посёлка / Авт.-сост. Н. Ю. Абрикосова. М., 2014. С. 11—12.

<sup>2</sup> Посёлок академиков Абрамцево: Сборник воспоминаний жителей посёлка. С. 12.

<sup>3</sup> Цит. по: *Лекманов О., Свердлов М., Симановский И.* Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020 [3-е изд.] (Литературные биографии). С. 284.

<sup>4</sup> См.: *Крохин Ю. Ю.* Души высокая свобода: Вадим Делоне. Роман в протоколах, письмах и цитатах. М., 2001.

<sup>5</sup> Посёлок академиков Абрамцево: Сборник воспоминаний жителей посёлка. С. 231—232.

<sup>6</sup> «Ерофеев всегда подчёркивал, что он отдельно от всего»: Интервью с Сергеем Шаровым-Делоне о Венедикте Ерофееве //

<https://gorky.media/context/erofeev-vsegda-podcherkival-cto-on-otdelno-ot-vsego/>.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Посёлок академиков Абрамцево: Сборник воспоминаний жителей посёлка. С. 327.

<sup>12</sup> См.: Крохин Ю. Ю. Указ. соч.

<sup>13</sup> Посёлок академиков Абрамцево: Сборник воспоминаний жителей посёлка. С. 325—326.

<sup>14</sup> Там же. С. 326—327.

<sup>15</sup> «Ерофеев всегда подчёркивал, что он отдельно от всего»: Интервью с Сергеем Шаровым-Делоне о Венедикте Ерофееве // <https://gorky.media/context/erofeev-vsegda-podcherkival-cto-on-otdelno-ot-vsego/>.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Посёлок академиков Абрамцево: Сборник воспоминаний жителей посёлка. С. 59.

<sup>19</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 56.

<sup>20</sup> Там же. С. 105.

<sup>21</sup> Там же. С. 107.

<sup>22</sup> *Адамович Г. В.* Литературные беседы: Кн. 1 («Звено»: 1923—1926) / Вступ. статья, сост. и прим. О. А. Коростылёва. СПб., 1998. С. 148.

<sup>23</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 400.

<sup>24</sup> *Федотов Г. П.* Новый град: Сборник статей. Нью-Йорк, 1952. С. 147.

<sup>25</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 113.

<sup>26</sup> Там же. С. 108.

<sup>27</sup> Там же.

<sup>28</sup> См.: *Дунаев М. М.* Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVIII—XX веках. М., 2003.

<sup>29</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799—1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л., 1950-1951. Т. 10. С. 866-867.

<sup>30</sup> См.: *Дунаев М. М.* Указ. соч.

<sup>31</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. С. 449.

<sup>32</sup> Там же. С. 134.

### **Глава двадцать третья. Бережёного Бог бережёт**

<sup>1</sup> *Филатов Л.* Про Федота-стрельца, удалого молодца: Стихи, сказки, пародии. М., 2004 (Золотая серия поэзии). С. 35.

<sup>2</sup> «Всё, что делается в России, — безвозвратно». Интервью // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 505.

<sup>3</sup> *Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 2. С. 380.

<sup>4</sup> *Матвеев П.* Венедикт Ерофеев и КГБ // <https://www.colta.ru/articles/literature/3459-venedikt-erofeev-i-kgb>.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 65.

<sup>7</sup> *Матвеев П.* Венедикт Ерофеев и КГБ.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> «Всё, что делается в России, — безвозвратно». Интервью. «Сумасшедшим можно быть в любое время».



С писателем беседовал Л. Прудовский / *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 506-507.

<sup>11</sup>*Гайсер-Шнитман С.* Венедикт Ерофеев: «Москва — Петушки», или «The Rest is Silence». Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris, 1989. С. 22—23.

<sup>12</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 122.

<sup>13</sup>*Эпштейн А. Д.* Художник Оскар Рабин: запечатлённая судьба. М., 2015. С. 70.

<sup>14</sup>*Маркиш Д.* Виктор Луи — вопросы без ответов // *Лехаим*. 2002. № 9 (125). Сентябрь. С. 40.

**Глава двадцать четвёртая. Всё возвращается на  
круги своя**

<sup>1</sup> См.: *Платонов С. Ф.* Учебник русской истории. М., 2001.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup>*Тынянов Ю. Н.* Смерть Вазир-Мухтара. Л., 1929. С. 326.

<sup>8</sup> См.: *Герцен А. И.* Собрание сочинений: В 30 т. / Гл. Ред. В. П. Волгин. М., 1954—1966. Т. 12.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup>*Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов. СПб., 1909. С. 29—30.

<sup>11</sup> Цит. по: *Гершензон М. О.* Исторические записки. М., 1910. С. 3.

<sup>12</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. / Под общ. ред. Н. Л. Бродского. М., 1955. Т. 2. С. 9.

<sup>13</sup> Там же. С. 417.

<sup>14</sup> Там же. С. 269.

<sup>15</sup> Там же. С. 119.

<sup>16</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799—1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л., 1950—1951. Т. 10. С. 190—191.

## **Глава двадцать пятая. Импровизация на щекотливую тему**

<sup>1</sup> «Веня. Последнее интервью». 1990 г. Автор и режиссёр Олег Осетинский // <https://samcult.ru/heritage/16209>.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> *Кон Н.* Благословение на геноцид: Миф о современном заговоре евреев в протоколах сионских мудрецов / Пер. с англ. С. С. Бычкова; общ. ред. и послесл. Т. А. Карасовой, Д. А. Черняховского. М., 1990.

<sup>4</sup> *Млечин Л.* Карьеристы и неудачники. Почему комсомольские чиновники обиделись на председателя КГБ // Московский комсомолец. 2018. № 207 (27791). 24 сентября.

<sup>5</sup> «Веня. Последнее интервью». 1990. Автор и режиссёр Олег Осетинский.

<sup>6</sup> «Всё, что делается в России, — безвозвратно». Интервью. «Мой язык от антижизни...» С писателем беседовала С. Сухова // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 524.

<sup>7</sup> *Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 112.

<sup>8</sup> «Всё, что делается в России, — безвозвратно». Интервью. «Умру, но никогда не пойму...» С писателем беседовал И. Болдычев // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 522.

<sup>9</sup> «Всё, что делается в России, — безвозвратно». Интервью. «Если меня приговорят к повешению...». С писателем беседовала И. Тосунян // Там же. С. 516.

<sup>10</sup> Там же. С. 515—516.

<sup>11</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // *Живая Арктика*. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 88.

<sup>12</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Там же.

## ***Глава двадцать шестая. История Дон Жуана и Командора***

### ***в исторической перспективе***

<sup>1</sup> *Ломазов В.* Нечто вроде беседы с Венедиктом Ерофеевым // *Театр*. 1989. № 4. С. 33.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же. С. 34.

<sup>4</sup>*Аникст А. А.* Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967. С. 70—71.

<sup>5</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>6</sup>*Кантор М.* Учебник рисования: Роман. М., 2013. С. 791.

<sup>7</sup>*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 514.

<sup>8</sup>*Бонди С. М.* Комментарии // *Пушкин А. С.* Собрание сочинений: В 10 т. Т. 4. С. 503.

<sup>10</sup> Там же. С. 503.

<sup>11</sup>*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799—1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л., 1950—1951. Т. 5. С. 372.

<sup>12</sup> Там же. С. 390.

<sup>13</sup> Там же. С. 406.

<sup>14</sup> Там же. С. 409.

<sup>15</sup>*Благой Д. Д.* Социология творчества Пушкина: Этюды. М., 1929. С. 214—215.

<sup>16</sup>*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799—1949. [Юбилейное издание]. Т. 5. С. 357.

<sup>17</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 2. С. 319.

<sup>18</sup> Там же. С. 321.

<sup>19</sup> Там же. С. 313.

<sup>20</sup> «Так думаю я, и со мной всё прогрессивное человечество». Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 368.

**Глава двадцать седьмая. Ожившие ходячие идеи и лозунги**

<sup>1</sup>*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 393.

<sup>2</sup>*Муравьёв В.* «Высоких зрелищ зритель» // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 14.

<sup>3</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 359.

<sup>4</sup>*Кривулин В.* Ерофеев-драматург // <http://litpromzona.narod.ru/reflections/krivulin7.html>.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup>*Прокопенко А. С.* Безумная психиатрия. М., 1997. С. 145—146.

<sup>7</sup> Там же. С. 130.

<sup>8</sup> <https://akostyuhin.livejournal.com/146396.html>.

<sup>9</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 316.

<sup>10</sup>*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. С. 394.

<sup>11</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 343.

<sup>12</sup> Георгий Свиридов о России в XX веке // <https://burckina-faso.livejournal.com/556975.html>.

<sup>13</sup>*Бондаренко В.* Подлинный Веничка. Разрушение мифа // Наш современник. 1997. № 7. С. 179.

<sup>14</sup>*Хлебников М.* Венедикт Ерофеев, или Хризантема на тахте // Сибирские огни. 2019. № 10. // <http://сибирскиеогни.рф/content/venedikt-erofeev-ili-hrizantema-na-tahte>.

<sup>15</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 65.

<sup>16</sup>*Хлебников М.* Указ. соч.

<sup>17</sup>*Трофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 236.

<sup>18</sup>*Бондаренко В.* Указ. соч. С. 178—179.

<sup>19</sup> Там же. С. 180.

<sup>20</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 303.

<sup>21</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 459.

<sup>22</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 296.

<sup>23</sup>*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. С. 397.

<sup>24</sup> Там же. С. 395.

<sup>25</sup> Там же. С. 398.

<sup>26</sup> Там же. С. 399.

<sup>27</sup> Там же. С. 400—401.

<sup>28</sup> Там же. С. 401.

<sup>29</sup> Там же. С. 403.

<sup>30</sup>*Котельников В.* Пламенный реакционер // *Де Местр Ж.* Сочинения. СПб., 2007. С. 8.

<sup>31</sup>*Бердяев Н. А.* Новое средневековье // *Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. / Вступ. ст., сост., прим. Р. А. Гальцевой.* М., 1994. Т. 1. С. 450.

<sup>32</sup>*Котельников В.* Указ. соч. С. 5—22.

<sup>33</sup>*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. С. 409—410.

<sup>34</sup> Там же. С. 411.

<sup>35</sup> Там же. С. 411—412.

<sup>36</sup> Там же. С. 411.

<sup>37</sup> Там же. С. 423.

<sup>38</sup> Там же. С. 420.

<sup>39</sup> Там же. С. 444.

<sup>40</sup> Там же. С. 442—443.

<sup>41</sup> Там же. С. 442, 454.

<sup>42</sup> Там же. С. 443.

<sup>43</sup> Там же. С. 425.

<sup>44</sup> Там же. С. 459.

<sup>45</sup> Цит. по: *Лекманов О., Свердлов М., Симановский И.* Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020 [3-е изд.] (Литературные биографии). С. 381.

<sup>46</sup> *Панн Л.* Трагедия в двух жанрах — Венедикта Ерофеева и Иосифа Бродского: К 80-летию Венедикта Ерофеева // *Звезда*. 2018. № 10. С. 239—240.

### **Глава двадцать восьмая. Кто же всё-таки Командор?**

<sup>1</sup> *Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 399—400.

<sup>2</sup> Там же. С. 407.

<sup>3</sup> Там же. С. 406.

<sup>4</sup> Там же. С. 428—430.

<sup>5</sup> *Разумова И. Е., Коноваленко А. Г.* Валерий Брюсов переводчик баллад Эдгара По (Статья первая) // <https://docplayer.ru/51138484-N-e-razumova-a-g-konovalenko-valeriy-bryusov-perevodchik-ballad-edgara-po-statya-pervaya.html>.

<sup>6</sup> Великие поэты. Т. 48: Валерий Брюсов: Мучительный дар. М., 2012. С. 220—221.

<sup>7</sup> *Брюсов В. Я.* Избранные сочинения: В 2 т. / Вступ. статья А. С. Мясникова; [Ред. текста и примеч. И. М. Брюсовой]. М., 1955. Т. 1. С. 356.

<sup>8</sup> Великие поэты. Т. 53: Константин Батюшков: Мечта. М., 2012. С. 143.

<sup>9</sup> *Чубукова Е. В., Мокина Н. В.* Судьба поэта. Анализ элегии «Умиравший Тасс» // *Русская поэзия XIX века: Сборник статей / Под ред. и с предисл. Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова.* Л., 1929. — [https://licey.net/free/14-razbor\\_poeticheskikh\\_proizvedenii\\_russkie\\_i\\_zarubezhnye\\_po](https://licey.net/free/14-razbor_poeticheskikh_proizvedenii_russkie_i_zarubezhnye_po)

ety/71-russkaya\_poeziya\_xix\_veka/stages/4258-sudba\_poeta\_analiz\_elegii\_umirayuschii\_tass\_.html.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> *Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 363—364.

<sup>12</sup> Там же. С. 436.

<sup>13</sup> Там же. С. 430.

<sup>14</sup> Там же. С. 430—431.

<sup>15</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 33.

<sup>16</sup> *Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. С. 431—432.

<sup>17</sup> Там же. С. 438-439.

<sup>18</sup> Великие поэты. Т. 48: Валерий Брюсов: Мучительный дар. С. 220—221.

<sup>19</sup> *Брюсов В. Я.* Избранные сочинения: В 2 т. Т. 1. С. 356.

<sup>20</sup> *Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. С. 472.

<sup>21</sup> *Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. I. С. 323.

**Глава двадцать девятая. Венедикт Венедиктович  
Ерофеев:**

**МОНОЛОГ**

<sup>1</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 597.

<sup>2</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». «Москва — Петушки» // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 148.



<sup>3</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 608.

<sup>4</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. С. 146.

<sup>5</sup>*Можаева С.* Венедикт, сын Венички Ерофеева // Вечерняя Москва. 2012. 25 октября.

<sup>6</sup> Ерофеев-младший: «Та электричка мчалась ко мне»: [Записала Мария Черницына] // Караван историй. 2012. Февраль ( № 2) // <https://7days.ru/caravan/2012/2/erofeevmladshiy-ta-elektrichka-mchalaskomne/8.htm#>.

## **Глава тридцатая. Цена славы**

<sup>1</sup>*Геллер М.* Путешествие к «счастью, о котором пишут в газетах» // Вестник русского христианского движения. Париж, 1977. № 121. С. 307.

<sup>2</sup> Там же. С. 312.

<sup>3</sup>*Горичева Т.* В поисках рая // Беседа: Религиозно-философский журнал. Л.; Париж, 1985. С. 73.

<sup>4</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960 годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005. С. 269.

<sup>5</sup>*Горичева Т.* В поисках рая. С. 72.

<sup>6</sup>*Федотов Г. П.* Новый град: Сборник статей / Под ред. Ю. П. Иваска. Нью-Йорк, 1952. С. 254.

<sup>7</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 327.

<sup>8</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 57.

<sup>9</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 269.

<sup>10</sup>*Горичева Т.* В поисках рая // Беседа: Религиозно-философский журнал. Л.; Париж, 1985. С. 73.

<sup>11</sup>*Ерофеев В.* Письма к сестре / Публ. и коммент. Т. Гущиной; подгот. текста Д. Годер // Театр. 1991. № 9. С. 124.

<sup>12</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960 годов: [Первая публикация полного текста]. С. 287.

<sup>13</sup> Там же. С. 125.

<sup>14</sup> Там же. С. 168.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Там же. С. 312.

<sup>17</sup> Там же. С. 284.

<sup>18</sup> Там же. С. 281.

<sup>19</sup> Там же. С. 322.

<sup>20</sup> Там же. С. 454.

<sup>21</sup> Там же. С. 282.

<sup>22</sup> Там же. С. 291.

<sup>23</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 67.

<sup>24</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. С. 294.

<sup>25</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. С. 176.

<sup>26</sup> Там же. С. 123—124.

## **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КОДА**

### **Глава первая. Мужайся и уповай!**

<sup>1</sup>*Гущина Т. В.* Воспоминания: [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А.

Ерофеевой).

<sup>2</sup> См.: *Гинзбург Л.* Пушкин и Бенедиктов // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии: В 5 т. / Ред. Ю. Г. Оксман. М.; Л., 1936—1941. Т. 2.

<sup>3</sup> *Новиков Вл.* Словарь модных слов. М., 2012 (Словари для интеллектуальных гурманов). С. 113.

<sup>4</sup> *Воронель Н.* Без прикрас: Воспоминания. М., 2003. С. 362.

<sup>5</sup> *Новиков Вл.* Указ. соч. С. 114.

<sup>6</sup> Отзывы читателей о поэме «Москва — Петушки» // <https://fantlab.ru/work281970?sort=date>.

<sup>7</sup> *Мандельштам Н. Я.* Воспоминания. С. 26.

<sup>8</sup> *Достоевский Ф. М.* Собрание сочинений: В 15 т. Л., 1988—1996. Т. 12. С. 41.

<sup>9</sup> *Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 329.

<sup>10</sup> *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 305.

<sup>11</sup> *Кибиров Т. Ю.* Лада, или Радость: Хроника верной и счастливой любви. М., 2010. С. 57.

<sup>12</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 124.

<sup>13</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>14</sup> *Паникин А. С.* Шестое доказательство: Признание русского фабриканта. М., 1998. С. 170—171.

<sup>15</sup> *Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 2007. Т. 2. С. 832.

<sup>16</sup> Там же. С. 539.

<sup>17</sup> Там же. С. 603.

<sup>18</sup> *Безансон А.* Русское прошлое и советское настоящее. Лондон, 1984. С. 208.

<sup>19</sup>*Ерофеев В. В., Кравченко И.* Возвращение блудного отца // Story. 2011. № 4. Апрель // <https://story.ru/istorii-znamenitostej/semeynye-tayny/vozvrashchenie-bludnogo-ottsa/>.

<sup>20</sup>*Лысенко В. Г.* Сансара // Индийская философия: Энциклопедия / Отв. ред. М. Т. Степанянц. М., 2009. С. 713.

<sup>21</sup>*Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 313.

<sup>22</sup> Там же. С. 300.

<sup>23</sup> Там же. С. 320.

<sup>24</sup> Там же. С. 340—341.

<sup>25</sup> Там же. С. 341.

<sup>26</sup>*Ерофеев В. В.* Из записных книжек // *Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 380.

## **Глава вторая. Хулители и защитники**

<sup>1</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 45.

<sup>2</sup> Два мнения об одной проблеме // Литературная газета. 1989. № 6. 8 февраля. С. 4.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> «Сумасшедшим можно быть в любое время»: Интервью с Венедиктом Ерофеевым ведёт Леонид Прудовский // Континент. Париж, 1990. № 65. С. 415.

<sup>7</sup>*Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 108.

<sup>8</sup>Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 429.

### **Глава третья. Не голова, а дом терпимости**

<sup>1</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь*. М., 2008. С. 124.

<sup>2</sup> Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки». 1970: Комментарии: Лев Оборин // <https://polka.academy/articles/54>.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Вадим Тихонов: «Я — отблеск Венедикта Ерофеева». Фильм Ольги Кучкиной // [https://www.youtube.com/watch?v=\\_Ef13hjNTUY](https://www.youtube.com/watch?v=_Ef13hjNTUY).

<sup>5</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьёв // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь*. С. 581.

<sup>6</sup>Шмелькова Н. А. Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018 С 31 32

<sup>7</sup>Гамсун К. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1991—2000. Т. 1. С. 338—339.

<sup>8</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Владимир Муравьёв // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь*. С. 581.

<sup>9</sup>Шмелькова Н. А. Указ. соч. С. 141.

<sup>10</sup>Введенский А. И. Полное собрание произведений: В 2 т. / Вступ. ст., прим. М. Мейлаха; сост., подг. текста М. Мейлаха, В. Эрля. М., 1993. Т. I. С. 154—155.

<sup>11</sup>Шмелькова Н. А. Указ. соч. С. 262.

<sup>12</sup> *Чуковский Н. Константин Ватинов // Чуковский Н. К. Литературные воспоминания / Вступ. ст. Л. И. Левина. М., 1989. С. 183.*

<sup>13</sup> *Мережковский Д. С. Собрание сочинений: [Т. 6]: Грядущий Хам / Сост. и коммент. А. Н. Николюкина. М., 2004. С. 25.*

<sup>14</sup> *Вагинов К. Орфей для сумасшедших // Ступаков В. В. Покидая литературу: От всего остаётся метафора. СПб., 2009. С. 123.*

<sup>15</sup> «Я живу в эпоху всеобщей невменяемости». Москва — Петушки // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. С. 159.*

#### **Глава четвёртая. Неслучайная встреча**

<sup>1</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> *Фрейдкин М. И. Каша из топора. М., 2009. С. 295—296.*

<sup>4</sup> Там же. С. 307.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же. С. 308-309.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же. С. 297.

<sup>9</sup> *Фрейдкин М. И. Каша из топора. М., 2009. С. 295.*

<sup>10</sup> Там же. С. 300.

<sup>11</sup> Там же. С. 301—302.

<sup>12</sup> Там же. С. 302.

<sup>13</sup> Там же. С. 303—304.

<sup>14</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>15</sup> *Ерофеев В.* Письма к сестре / Публ. и коммент. Т. Гущиной; подг. текста Д. Годер // *Театр.* 1992. № 9.

<sup>16</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>17</sup> *Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 9.

<sup>18</sup> Там же. С. 51—53.

<sup>19</sup> Там же. С. 31.

<sup>20</sup> *Ерофеев В. В., Кравченко И.* Возвращение блудного отца // *Story.* 2011. № 4. Апрель // <https://story.ru/istorii-znamenitostej/semeynye-tauny/vozvrashchenie-bludnogo-ottsa/>.

<sup>21</sup> *Шмелькова Н. А.* Указ. соч. С. 48.

## **Глава пятая. Последнее десятилетие**

<sup>1</sup> Великие мысли великих людей: Антология афоризма: В 3 т. / Сост. И. И. Комарова, А. П. Кондрашов. М., 1998. Т. 3. С. 160.

<sup>2</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 6.

<sup>3</sup> Там же. С. 317.

<sup>4</sup> Там же. С. 224.

<sup>5</sup> Там же. С. 45.

<sup>6</sup> Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки». 1970: Комментарии: Лев Оборин // <https://polka.academy/articles/54>.

<sup>7</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Посёлок академиков Абрамцево: Сборник воспоминаний жителей посёлка / Авт.-сост. Н. Ю. Абрикосова. М., 2014. С. 224—227.

<sup>12</sup> *Ерофеев В.* Письма к сестре / Публ. и коммент. Т. Тушиной; подгот. текста Д. Годер // Театр. 1992. № 9. С. 131.

<sup>13</sup> Цит. по: *Лекманов О., Свердлов М., Симановский И.* Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020 [3-е изд.] (Литературные биографии). С. 336—337.

<sup>14</sup> Ерофеев-младший: «Та электричка мчалась ко мне»: [Записала Мария Черницына] // Караван историй. 2012. Февраль ( № 2) // <https://7days.ru/caravan/2012/2/erofeevmladshiy-ta-elektrichka-mchalas-ko-mne/8.htm#>.

<sup>15</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 78.

<sup>16</sup> *Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 391.

<sup>17</sup> Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

<sup>18</sup> *Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 32.

<sup>19</sup> Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 78.

<sup>20</sup> Там же. С. 80.

<sup>21</sup> Там же. С. 81.

<sup>22</sup> Там же.



<sup>23</sup> «Встреча с ним составляет событие жизни». Современники о Венедикте Ерофееве. Ольга Седакова // *Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь*. М., 2008. С. 593—594.

## **Эпилог**

<sup>1</sup> *Павлов А.* Венедикт Ерофеев: «Можешь не писать — не пиши» // <https://www.peremenu.ru/blog/8608>.

<sup>2</sup> Цит. по: *Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 150.

<sup>3</sup> *Ерофеев В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 35.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же. С. 33.

<sup>6</sup> Там же. С. 163.

<sup>7</sup> Там же. С. 165.

<sup>8</sup> Там же. С. 164.

<sup>9</sup> Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 124—125.

<sup>10</sup> *Бунин И. А.* Собрание сочинений: В 6 т. / Вступ. ст. А. Т. Твардовского; сост., подг. текста и коммент. А. К. Бабореко. М., 1987—1988. Т. 5. С. 72.

<sup>11</sup> *Пронин В. А.* Иоганн Вольфганг Гёте и Венедикт Ерофеев // *Знание. Понимание. Умение*. 2013. № 2. С. 176.

<sup>12</sup> Венедикт Ерофеев — из Записных книжек. Цитаты // <https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post130452934>.

<sup>13</sup> Несоветская философия в СССР: 10 высказываний Мамардашвили // <https://arzamas.academy/materials/228>.

<sup>14</sup> Венедикт Ерофеев — из Записных книжек. Цитаты  
//  
<https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post130452934>.

<sup>15</sup> Несоветская философия в СССР: 10 высказываний Мамардашвили // <https://arzamas.academy/materials/228>.

<sup>16</sup> *Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019. С. 280—281.

<sup>17</sup> *Ерофеев В. В.* Записные книжки: Кн. 2. М., 2007. С. 125.

# ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. В. ЕРОФЕЕВА

*1938, 24 октября* — в посёлке гидростроителей Нива-3, находившемся на окраине города Кандалакши (Кольский полуостров, Мурманская область), в семье Василия Васильевича Ерофеева, начальника железнодорожной станции Чупа, и домохозяйки Анны Андреевны (урождённой Гущиной) родился пятый ребёнок — сын Венедикт.

*10 ноября* — государственная регистрация Кандалакшским отделом актов гражданского состояния факта рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (свидетельство о рождении № 6080256).

*1941, конец апреля* — на время отпуска Василия Васильевича поездка семьи (за исключением старших детей — Тамары и Юрия) на родину родителей — село Елшанка Ульяновской области.

*22 июня* — начало Великой Отечественной войны.

*Июль* — возвращение семьи Ерофеевых на Кольский полуостров, на станцию Чупа. Назначение Василия Васильевича Ерофеева начальником железнодорожной станции Хибины.

*Конец июля* — переезд семьи Ерофеевых в товарном вагоне со всем скарбом и живностью со станции Чупа на станцию Хибины.

*14 августа* — эвакуация Анны Андреевны и детей в Архангельскую область, в село Нижняя Пойма. Посадка с детьми и багажом в поезд от станции Хибины в Кандалакшу.

*16 августа* — погрузка на грузовой пароход, курсирующий по Белому морю от Кандалакшского залива до Двинской губы.

*Конец августа* — прибытие в Архангельск и пересадка на речной пароход в устье Северной Двины. Прибытие в село Нижняя Пойма. В селе Верхняя Пойма, административном центре Верхнетомского района, Анна Андреевна Ерофеева получает пропуск для дальнейшего проезда в Елшанку. Продолжение плавания на пароходе по Северной Двине. Прибытие в Котлас. Болезнь Венедикта.

*Начало сентября* — в Котласе пересадка на поезд, следующий в Киров. Прибытие в Киров и пересадка на поезд до Горького, оттуда по Волге на барже из-под соли, буксируемой пароходом. Дрейф вниз по течению на отцепленной от парохода барже. Спасение пассажиров баржи в Чувашии местными жителями. Размещение семьи Ерофеевых в отдельном доме и её обеспечение председателем местного колхоза бесплатным хлебом и крупами.

*Конец сентября* — дальнейшее передвижение по железной дороге до Сызрани, от которой было два часа езды до Елшанки. Прибытие в Елшанку.

*Конец ноября* — арест деда Василия Константиновича Ерофеева.

*1942, 27 июля* — вынесение Василию Константиновичу Ерофееву расстрельного приговора с конфискацией имущества в пользу государства, заменённого затем на десять лет лишения свободы.

*Сентябрь* — смерть Василия Константиновича в тюрьме.

*Ноябрь* — приезд Василия Васильевича Ерофеева за семьёй. Короткая остановка в Москве. Возвращение на железнодорожную станцию Хибины.

*1945, июль* — арест отца, Василия Васильевича Ерофеева, и предъявление ему обвинения по статье 58

УК РСФСР 1926 года.

*1 сентября* — поступление Венедикта Ерофеева в первый класс начальной школы на железнодорожной станции Хибины.

*25 сентября* — вынесение приговора Василию Васильевичу Ерофееву военным трибуналом Кировской железной дороги: осуждён на пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях с последующим поражением в правах сроком на три года без конфискации имущества за отсутствием такового.

*1946, август* — переезд Анны Андреевны Ерофеевой с детьми к старшему сыну Юрию в посёлок Зашеек, куда после окончания курсов дежурных он был направлен на железнодорожную станцию того же названия (ныне Полярные Зори).

*1947, март* — арест старшего брата Юрия Ерофеева по обвинению в краже хлеба.

*Апрель* — бегство Анны Андреевны Ерофеевой из посёлка Зашеек в Москву к старшей сестре Авдотье Андреевне Карякиной.

*Конец апреля — начало июня* — пребывание Венедикта, его сестры Нины и брата Бориса в больнице (диагноз — цинга).

*Июнь* — вынесение приговора Юрию Ерофееву: согласно статье 74 ч. 2 УК РСФСР: пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях.

*5 июня* — Венедикт вместе с братом Борисом направлен в детский дом № 3 города Кировска.

*1950, лето* — встреча Венедикта и Бориса с ещё не освобождённым из ГУЛага отцом в населённом пункте Палкина Губа на побережье Белого моря. Здесь детдомовцы, отличившиеся в учёбе, проводили летние месяцы в пионерском лагере.

*Конец лета* — освобождение из ГУЛага Василия Васильевича Ерофеева. Работа на железнодорожной ветке «23-го километра», обслуживающей апатитовый рудник. Здесь, неподалёку от Кировска, он получает небольшую комнату в двухэтажном бараке.

*1951, лето* — Венедикт награждается за отличную учёбу направлением в пионерский лагерь, располагавшийся достаточно далеко от Кольского полуострова — в Рыбинске Ярославской области.

*1952, начало года* — возвращение из Москвы в Кировск Анны Андреевны Ерофеевой.

*1 сентября* — после окончания школы-семилетки № 6 Венедикт Ерофеев переходит в восьмой класс кировской школы-десятилетки № 1.

*1953, 7 июня* — возвращение из детского дома в семью.

*Конец года* — Василий Васильевич Ерофеев вторично осуждён на три года лишения свободы за опоздание на работу. Срок отбывает неподалёку от дома, в Оленегорске. Бóльшую часть этого срока находится в больнице.

*1955, 24 июня* — выпускной вечер в школе № 1 города Кировска, которую Венедикт оканчивает с золотой медалью, что предоставляет право поступать в высшие учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов. Торжественное вручение аттестата зрелости.

*1 июля* — отъезд в сопровождении матери Анны Андреевны из Кировска в Москву. Останавливаются у Авдотьи Андреевны Карякиной.

*18 июля* — медицинское освидетельствование врачебной комиссией. Признан годным для учёбы на филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.

*Вторая половина июля* — собеседование с лингвистом-русистом профессором Николаем

Максимовичем Шанским. Зачисление на филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

*Вторая половина июля — первая половина августа* — работа, как вновь поступившего студента, в совхозе под Можайском. Знакомство с сокурсниками. Некоторые из них, как Лев Кобяков и Владимир Муравьев, станут его друзьями.

*Вторая половина августа* — возвращение на летние каникулы на Кольский полуостров, в Кировск.

*Последние числа августа* — возвращение в Москву, заселение в университетское общежитие на улице Новые Черёмушки, корпус 102.

*1956, январь* — первая сессия. Все экзамены сданы на «отлично» (античная литература, введение в языковедение, устное народное творчество, логика, немецкий язык).

*Вторая половина января — начало февраля* — возвращение во время зимних каникул в Кировск. Начало работы над повестью «Записки психопата».

*Вторая половина февраля* — первая любовь. (Венедикт Ерофеев: «XX съезд и моя первая женщина совпали по времени, а время было незабываемое»).

*29 марта* — увольнение брата Юрия из депо локомотивов в Кировске по статье 47 КЗоТ РСФСР в связи с арестом.

*Июнь* — летняя сессия.

*15 июня* — смерть отца Василия Васильевича Ерофеева в Кировске.

*На сельскохозяйственных работах в деревне Кибирёво, в семи километрах от Петушков.*

*7 июля* — приезд к матери, старшей сестре Тамаре и брату Борису в Кировск.

*26 августа* — возвращение в Москву.

*1 сентября* — начало занятий на филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Переезд из общежития в Черёмушках в общежитие на Стромынке.

*Октябрь* — продолжение работы над повестью «Записки психопата».

*1957, 2 января* — отчисление из МГУ им. М. В. Ломоносова за академическую неуспеваемость и пропуск занятий без уважительных причин.

*8 февраля* — насильственное выселение из студенческого общежития на Стромынке. Ночёвки у московских друзей и знакомых.

*Начало марта* — разнорабочий 2-го строительного управления Ремстройтреста Краснопресненского района Москвы.

*Конец мая* — составление антологии рабочих-поэтов общежития Ремстройтреста. Получение места в общежитии треста в Новопресненском переулке.

*28 июля — 11 августа* — VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Продолжение работы над повестью «Записки психопата». Знакомство и дружба с Юрием Гудковым.

*11 ноября* — увольнение из Ремстройтреста за систематические прогулы. Запрет начальника местного отделения милиции покидать ведомственное общежитие. Переход на «нелегальное положение».

*Вторая половина ноября* — подсобный рабочий в пункте приёма стеклотары (до лета 1958 года). Ночёвки у московских друзей и знакомых.

*1958, лето* — летнее время проводит в Кировске у родных и близких.

*Осень* — приезд к сестре Нине в город Славянск. Начало работы над «Моей маленькой ленинианой» и составлением «Антологии русской поэзии».

*18 декабря* — принят на работу грузчиком в отдел снабжения Славянского ремонтного завода.

*1959, 17 января* — уволен со Славянского ремонтного завода по собственному желанию.

*3 апреля* — зачислен рабочим глинистой станции 3-го разряда в Славянский отряд Артёмовской



комплексной геологоразведочной партии.

*14 июля* — подача документов в приёмную комиссию Орехово-Зуевского педагогического института.

*27 июля* — увольнение из Славянского геологоразведочного отряда в связи с предстоящей учёбой.

*25 августа* — зачислен студентом на филологический факультет Орехово-Зуевского педагогического института (ОЗПИ).

*Конец августа* — проживание в общежитии ОЗПИ по октябрь 1960 года.

*Начало ноября* — узнает о смерти Ирины Игнатьевны Муравьёвой, матери Владимира Муравьёва.

*4 декабря* — знакомство с Юлией Руновой и продолжительный с ней разговор. Этот день неоднократно отмечался ею и Венедиктом Ерофеевым как значительное событие их жизни.

*Декабрь* — первые мировоззренческие конфликты с Юлией Руновой.

*1960, конец января* — сдача на «отлично» зимней сессии.

*Первая половина февраля* — на зимние студенческие каникулы едет в Кировск.

*Конец февраля* — возвращение в ОЗПИ, продолжение учёбы.

*Март* — выяснение отношений с Юлией Руновой.

*25 марта* — день рождения Юлии Руновой.

*Конец марта — начало апреля* — начало работы над первым выпуском институтского литературного альманаха.

*Апрель (?)* — окончание работы над повестью «Записки психопата».

*18 апреля* — написание философского этюда «У моего окна» («У моего стекла»).

*Начало октября* — выпуск институтской стенгазеты, посвящённой предстоящим празднествам «Великого

Октября» с двумя стихотворениями, пародирующими это событие.

*19 октября* — исключение из состава студентов ОЗПИ за академическую задолженность и систематическое нарушение трудовой дисциплины.

*Конец октября* — работа сторожем в медвытрезвителе Орехово-Зуевского отделения милиции.

*31 декабря* — встреча Нового, 1961 года вместе с Юлией Руновой в доме её подруги в подмосковной Кубинке.

*1961, 26 апреля* — принят грузчиком в Строительное управление № 867 Дорожно-строительного треста № 94 Министерства транспортного строительства СССР.

*1—10 июня* — сдача приёмных экзаменов на заочное отделение филологического факультета Владимирского государственного педагогического института (ВГПИ) им. П. И. Лебедева-Полянского.

*Май — август* — чтение трудов многих христианских Святых Отцов и выдающихся богословов и философов.

*Август* — зачислен студентом на очное отделение филологического факультета ВГПИ с редкой для первокурсника повышенной стипендией имени П. И. Лебедева-Полянского.

*23 августа* — уволен по собственному желанию из Строительного управления № 867.

*Сентябрь* — недолгое участие в работе философского кружка И. И. Дудина, преподавателя марксистско-ленинской философии.

*Октябрь* — создание Венедиктом Ерофеевым альтернативного философского кружка идеалистической и богословской направленности.

*Середина октября* — появление Бориса Сорокина, а вскоре и его школьных друзей в комнате общежития, где проживает Венедикт Ерофеев. Именно они в будущем составят его свиту.

*Вторая половина октября* — конфликт с комендантом общежития в связи с нарушением Венедиктом Ерофеевым правил проживания студентов.

*Начало ноября* — выселение из общежития ВГПИ.

*Середина ноября* — переезд в жилище Вадима Тихонова.

*Декабрь* — выяснение отношений с Юлией Руновой.

*Конец декабря* — приезд в Орехово-Зуево. Временный мир с Юлией Руновой. Борьба амбиций.

*31 декабря* — ссора с Юлией Руновой на перроне вокзала в Орехово-Зуево. Раздельная встреча Нового, 1962 года в жилище Вадима Тихонова в окружении поклонниц и студентов со старших курсов.

*1962, 1 января* — ангина. Поздравительная телеграмма от Юлии Руновой.

*4 января* — успешная сдача первого экзамена зимней сессии.

*15 января* — сдача на «отлично» экзамена по «введению в языкознание».

*27 января* — докладная записка декана филологического факультета Р. Л. Засьмы на имя ректора ВГПИ им. П. И. Лебедева-Полянского Б. Ф. Киктёва о Венедикте Ерофееве, душевный и моральный облик которого не соответствует требованиям, предъявляемым к будущему воспитателю молодого поколения.

*29 января* — справка И. И. Дудкина, написанная по просьбе Р. Л. Засьмы, о необходимости исключения Венедикта Ерофеева из состава студентов ВГПИ им. П.И. Лебедева-Полянского.

*30 января* — приказ ректора Б. Ф. Киктёва об исключении Венедикта Ерофеева из состава студентов филологического факультета ВГПИ им. П. И. Лебедева-Полянского.

*16 февраля* — принят в жилищно-коммунальную контору кочегаром 5-го разряда.

*Март — октябрь* — многомесячная травля Валентины Зимаковой, будущей жены Венедикта Ерофеева. Требование комсомольской организации института о её исключении из состава студентов ВГПИ им. П. И. Лебедева-Полянского. Разбор её персонального дела в райкоме ВЛКСМ.

*Март* — окончание работы над повестью «Благая весть» («Благовестование»), большая часть текста которой утеряна.

*17 апреля* — уволен из жилищно-коммунальной конторы по статье 44 пункт «А» КЗоТ (по соглашению сторон).

*5 мая* — забирает свои документы из канцелярии ВГПИ и покидает Владимир.

*25 июня* — принят рабочим поточной линии на Павлово-Посадский завод стройматериалов.

*1 августа* — уволен по собственному желанию.

*Сентябрь* — подработка грузчиком в коломенском продовольственном магазине «Три поросёнка» (по январь 1963 года).

*24 сентября* — зачислен на второй курс историко-филологического факультета Коломенского педагогического института в порядке перевода.

*1963, 6 апреля* — по приказу № 42 ректора Д. Е. Аксёнова исключён из состава студентов Коломенского педагогического института «за пропуск занятий без уважительных причин, академическую задолженность и нарушение правил порядка и гигиены в общежитии студентов».

*Весна* — подработка вместе с Вадимом Тихоновым случайными заработками и проживание у друзей и знакомых в Коломне, Владимире, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве. Монтажник кабельных линий связи в различных городах СССР (по 1973 год).

*1964, май* — окончание Валентиной Зимаковой ВГПИ, возвращение к матери в деревню Мышлино и

работа преподавателем немецкого языка в местной школе. В промежутках между работой в различных городах в её доме на правах мужа живёт Венедикт Ерофеев.

*Июль* — поездка с Валентиной Зимаковой в Кировск. Представляет её матери как свою жену.

*1965* — на протяжении всего года разъездная работа по прокладке телефонной линии связи: Тамбов, Орёл, Мичуринск, Брянск, Ковров, Елец, Мценск, Тула и другие российские города.

*1966, 3 января* — рождение у Венедикта и Валентины сына Венедикта.

*Февраль* — заключение брака между Венедиктом Васильевичем Ерофеевым и Валентиной Васильевной Зимаковой.

*1967, май* — попытка Юлии Руновой узнать через Тамару Гущину местонахождение Венедикта Ерофеева. От неё ей становится известно о его женитьбе и рождении сына Венедикта.

*Июнь* — приезд Анны Андреевны Ерофеевой к внуку Венедикту и невестке Валентине в Мышлино.

*Август* — знакомство с Ольгой Седаковой, сокурсницей Бориса Сорокина на филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.

*1968, июнь* — устроился кабельщиком-спайщиком в СМУ Приокского производственно-технического управления связи (ПТУС) Московской области.

*Октябрь* — Юлия Рунова выходит замуж за сослуживца Михаила Виленчика.

*Осень* — написание начальных глав поэмы «Москва — Петушки». Проживание в Москве у своих друзей Юрия и Валентины Гудковых.

*1969, июль* — постоянное посещение Государственной исторической библиотеки в Москве. Работа над составлением списка поэтов Серебряного

века и их произведений для «Антологии русской поэзии начала XX века».

*29 ноября* — рождение у Юлии Руновой дочери Веры.

*Осень — зима* — завершение работы над поэмой «Москва — Петушки».

*1970, зима — весна* — пьяные вояжи по Подмосковию «венедиктианцев», изредка со своим лидером.

*1971, зима* — возвращение в жизнь Венедикта Ерофеева Юлии Руновой. Метания между ней и женой Валентиной.

*Февраль* — вывоз Борисом Цукерманом в Израиль микроплёнки с переснятым машинописным текстом поэмы «Москва — Петушки».

*1972, 11 августа* — смерть матери Анны Андреевны Ерофеевой.

*1973, 12 января* — увольнение за прогулы из СМУ ПТУС Московской области.

*Весна* — садовый домик Светланы Мельниковой в селе Царицыно (в черте Москвы) — одно из постоянных прибежищ Венедикта Ерофеева. Его эссе о Василии Розанове — «оплата за её гостеприимство» (Игорь Авдиев).

*Начало лета* — публикация в Иерусалиме поэмы «Москва — Петушки» в русскоязычном журнале «Ами» (№ 3).

*19 июля* — выход восьмого номера машинописного журнала «Вече» с эссе Венедикта Ерофеева «Василий Розанов глазами эксцентрика».

*Июль* — пациент 31-го отделения Московской психиатрической больницы им. П. П. Кащенко.

*Август* — живёт у Юлии Руновой в Пущине.

*24 октября* — отмечает день рождения в квартире Валентины Еселёвой. Присутствуют Ольга Седакова,

Валерий Котов, Владимир Муравьёв и Александр Величанский с жёнами, Вячеслав Лён.

*20 декабря* — поселяется в дачном домике в подмосковном посёлке Болшево, где проживает бесплатно (по апрель 1974 года).

*1974, 7 марта* — приезд Валентины Зимаковой в Болшево на несколько дней.

*27 марта* — встреча с Юлией Руновой на квартире Валентины Еселёвой.

*4—8 апреля* — пребывание в лоне семьи в Мышине перед экспедицией в Среднюю Азию.

*Апрель* — знакомство с Вадимом Делоне и его женой Ириной (до замужества Белогородской) в доме известной московской правозащитницы Надежды Яковлевны Шатуновской.

*11 мая (ночь на 12-е)* — отъезд Венедикта Ерофеева в Узбекскую ССР на сезонную работу в качестве лаборанта паразитологической экспедиции Всесоюзного научно-исследовательского института дезинфекции и стерилизации по борьбе с кровососущим гнусом на трассе Южно-Голодностепского канала.

*Конец августа* — возвращение в Москву.

*10 ноября* — аренда жилья в коммунальной квартире в проезде Художественного театра, 5 (квартира 36), у Галины Павловны Носовой, кандидата экономических наук, сотрудницы Центрального статистического управления при Совете министров СССР.

*1975, начало года* — редактор и старший корректор студенческих рефератов в МГУ им. М. В. Ломоносова.

*15 июля* — восстановление утерянного паспорта с помощью Ирины Делоне.

*Конец июля—август* — гостит с Галиной Носовой по приглашению Вадима Делоне на даче его деда Бориса Николаевича в академическом посёлке Абрамцево.

*15 октября* — расторжение брака с Валентиной Зимаковой.

*Октябрь* — отъезд по принуждению из СССР во Францию Вадима и Ирины Делоне.

*Конец ноября — декабрь* — посещение Ленинграда, знакомство с ленинградскими поэтами и прозаиками.

*1976* — издание поэмы «Москва — Петушки» в Великобритании (на польском языке) и во Франции на французском языке.

*21 февраля* — бракосочетание с Галиной Носовой.

*24 мая — 25 сентября* — сезонный рабочий 2-го разряда Комплексной аэрогеологической экспедиции № 14 В/О «Агрогеология».

*20 сентября* — по завершении экспедиции возвращение на вертолёт в Мурманск, а оттуда в Москву.

*1977* — выход поэмы «Москва — Петушки» в парижском издательстве «Имка-Пресс» и в Стокгольме. Переезд в новую квартиру в ведомственном доме МВД по адресу: улица Флотская, 17, корпус 1.

*Февраль — июль* — стрелок 101-го отряда ВОХР № 1. Охрана важного государственного объекта под названием ГЭС № 2.

*Лето* — гостит на даче Бориса Николаевича Делоне в Абрамцеве.

*1978, весна—лето* — почти безвыездно живёт на даче Делоне. Общение с Юрием Казаковым. Продолжение работы над «Моей маленькой ленинианой».

*Октябрь* — по случаю сорокалетия поздравление из Парижа от Виктора Некрасова.

Появление статей о творчестве Венедикта Ерофеева в прессе русского зарубежья.

*1979, начало августа* — приезд Юлии Руновой с дочерью Верой по приглашению Венедикта Ерофеева в Кировск.



*31 декабря, ночь* — приступ «белой горячки». Госпитализация в психиатрическую клинику № 1 им. П. П. Кащенко (наркологическое отделение).

*1980, 9 марта* — авторское чтение на магнитофон поэмы «Москва — Петушки» на квартирном вечере у Александра Карамазова.

*17 июля* — смерть Бориса Николаевича Делоне.

*Декабрь* — начиная с этого месяца, зимой и весной 1981-го (и в последующие годы), проживает в Абрамцеве на различных дачах.

*1981, конец мая — июнь* — первый приступ шизофрении у Галины Носовой. Госпитализация в психиатрическую клинику.

*Лето* — поездка в Ленинград на машине со Славой Лёном по маршруту Александра Радищева. Встречи с ленинградскими поэтами и художниками.

*Сентябрь* — госпитализация в психиатрическую клинику.

*17 декабря* — выезд вместе с сестрой Ниной в Кировск после срочной телеграммы сестры Тамары Гущиной с известием о тяжёлом состоянии здоровья старшего брата Юрия.

*22 декабря* — смерть брата Юрия Васильевича Ерофеева.

*1982, весна* — неоднократные госпитализации в Психиатрическую клинику № 1 им. П. П. Кащенко (наркологическое отделение).

*Вторая половина июля* — путешествие к Белому морю на катере «Авось» с Николаем Болдыревым, сыном Светланы Мельниковой, его сестрой и приятелем. Из Архангельска возвращается на поезде в Москву, не доведя своё путешествие до конца.

*Август* — поступление на двухгодичные государственные курсы иностранного языка «ИН-ЯЗ»,

программа которых утверждена Министерством просвещения РСФСР.

*1983, лето* — принудительное лечение в 31-м отделении Психиатрической клинической больницы имени П. П. Кащенко.

*Осень* — домашние неурядицы, ухудшение отношений с Галиной Носовой. Разговоры о разводе и размене квартиры на Флотской улице.

*31 декабря* — встреча Нового, 1984 года в квартире на Флотской улице в одиночестве.

*1984, 7 февраля* — госпитализация Галины Носовой в психиатрическую клинику.

*6 апреля* — возвращение Галины Носовой из больницы домой.

*Май* — работа консьержем в многоэтажном доме неподалёку от его дома на Флотской.

*Июль* — окончание курсов «ИН-ЯЗ», письменные экзамены сданы на «отлично».

*Август* — последняя совместная поездка с Юлией Руновой и её дочерью на Кольский полуостров.

*Осень* — приезд в посёлок Караваево на проводы сына в армию.

*31 декабря* — начало работы над трагедией «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора».

*1985, 17 февраля* — случайная встреча в московской квартире журналиста и издателя Игоря Дудинского с Натальей Шмельковой.

*Начало марта* — завершение работы над трагедией «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора».

*2—16 апреля* — пребывание в психиатрической клинической больнице им. П. П. Кащенко.

*Август* — проявление первых симптомов онкологического заболевания.

*12 сентября* — госпитализация во Всесоюзный онкологический центр на Каширском шоссе.

*19 сентября* — выход в Париже журнала «Континент» № 45 с публикацией трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора».

*25 сентября* — первая операция на гортани.

*Октябрь — ноябрь* — 25 сеансов лучевой терапии.

*1986, 27 января* — госпитализация Галины Носовой в психиатрическую клинику.

*Весна* — получение вызова для лечения в онкологическом центре Парижа.

*Июль* — встреча с Беллой Ахмадулиной.

*9 августа* — отказ государственного нотариуса удостоверить копию трудовой книжки Венедикта Ерофеева по причине сделанных в ней не по форме записей. Отказ ОВИРа в выезде во Францию.

*1987, январь* — в СССР на пленуме ЦК КПСС объявлен курс на перестройку.

*4 февраля* — литературный вечер в Центральном доме архитектора. Встреча и общение с Натальей Шмельковой.

*27 февраля* — подписывает Наталье Шмельковой самиздатовский экземпляр поэмы «Москва — Петушки»: «Милой Наташе Шм. подписываю этот паскудный экземпляр с почтением и нежностью. Помнящий неизменно В. Ерофеев. 27/11-87».

*19 апреля* — принял крещение в римско-католическом храме Святого Людовика Французского в Москве.

*1988, октябрь* — публикация «Моей маленькой ленинианы» в парижском журнале «Континент», № 55.

*21 октября* — творческий вечер Венедикта Ерофеева в Центральном доме архитектора, посвящённый пятидесятилетию писателя.

*Декабрь* — начало первой публикации в СССР поэмы «Москва — Петушки» в сокращённом виде в журнале «Трезвость и культура» (продолжение в номерах с января по март 1989 года).

*1989, 2 марта* — вечер в Студенческом театре МГУ, посвящённый Венедикту Ерофееву. Был показан первый акт пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» в постановке Евгения Славутина.

*1 апреля* — публикация в вильнюсской газете «Согласие» отрывка из «Моей маленькой ленинианы».

*Конец апреля* — съёмки Венедикта Ерофеева польским телевидением.

*Август* — выход альманаха «Весть» с поэмой «Москва — Петушки».

*Осень* — почти безвыездно живёт в посёлке академиков Абрамцево.

*26—27 сентября* — съёмки для фильма о Венедикте Ерофееве телекомпании «Би-би-си» (режиссёр Павел Павликовски).

*24 октября* — празднование пятьдесят первого дня рождения Венедикта Ерофеева при большом количестве гостей, включая членов съёмочных групп «Би-би-си» и «Ленфильма», а также близких друзей именинника.

*11 ноября* — приём в Центральном доме литераторов по случаю выхода альманаха «Весть». Знакомство с Булатом Окуджавой и Давидом Самойловым. После приёма в Студенческом театре МГУ смотрит трагедию «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» в постановке Евгения Славутина.

*10 декабря* — публикация газетой «Московский комсомолец» основательно сокращённого интервью Игоря Болдычева с Венедиктом Ерофеевым, впоследствии вышедшее под удалённой редакцией с фразой писателя: «Умру, но никогда не пойму этих скотов» на заголовке.

*1990*— издательство «Интербук» (Москва) выпускает поэму «Москва — Петушки» тиражом 450 тысяч экземпляров.

*20 января* — премьера в Театре на Малой Бронной спектакля «Москва — Петушки» (режиссёр Владимир Портнов). Автор присутствует в зале.

*10 апреля* — на машине «скорой помощи» Венедикта Ерофеева отвозят во Всесоюзный онкологический центр на Каширском шоссе.

*10 мая* — в палате у Ерофеева, в которой дежурят Наталья Шмелькова и Галина Носова, появляются его сёстры — Тамара и Нина, а также сын Венедикт. Сын остаётся рядом с отцом на ночь.

*11 мая, 7 часов 45 минут* — Венедикт Васильевич Ерофеев умер. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

# ЛИТЕРАТУРА

## *Сочинения и интервью В. В. Ерофеева*

Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

*Ерофеев В. В.* Записные книжки 1960-х годов: [Первая публикация полного текста]. М., 2005.

*Ерофеев В. В.* Малая проза. М., 2005.

*Ерофеев В. В.* Малое собрание сочинений. СПб., 2019.

*Ерофеев В. В.* Мой очень жизненный путь. М., 2008.

*Ерофеев В. В.* Оставьте мою душу в покое: Почти всё / Предисл. М. Эпштейна; послесл. Черноусого (И. Авдиева). М., 1995.

*Ерофеев В. В.* Собрание сочинений: В 2 т. М., 2007.

*Ерофеев В.* Жить в России с умом и талантом... // Апрель. 1991. №4.

*Ерофеев В.* Письма к сестре / Публ. и коммент. Т. Гущиной; подг. текста Д. Годер//Театр. 1992. № 9.

*Ерофеев В.* «Умру, но никогда не пойму этих скотов»: [Интервью брал Игорь Большев] // Московские новости. 1989. 10 декабря.

«Сумасшедшим можно быть в любое время»: Интервью с Венедиктом Ерофеевым ведёт Леонид Прудовский // Континент. Париж, 1990. № 65.

*Авдиев И.* Все мы вышли из электрички Москва — Петушки // Новая газета. 1997. № 28 (448).

*Авдиев И.* Одна страничка из «Книги судьбы» // Новое литературное обозрение. 1998. № 1.

*Авдиев И.* Предисловие // Новое литературное обозрение. 1996. № 18. С. 167.

*Адамович Г. В.* Литературные беседы: Кн. 1 («Звено»: 1923— 1926) / Вступ. ст., сост. и прим. О. А. Коростылева. СПб., 1998.

*Алейников В. Д.* Пир. М., 2006.

*Алыпшуллер М.* «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева и традиции классической поэмы // Новый журнал. Нью-Йорк, 1992. № 146.

*Амальрик А.* Записки диссидента. Ann Arbor, 1982.

*Аникст А. А.* Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.

*Аринштейн Л. М.* Петух в аквариуме-2, или Как я провёл XX век: Новеллы и воспоминания. М., 2013.

*Ахмадулина Б. А.* Полное собрание сочинений в одном томе. М., 2012.

*Ахмадулина Б.* Париж — Петушки — Москва // Московские новости. 1988. № 34. 4 сентября.

*Баженов В.* Фотоувеличение. Венедикт Ерофеев и Алексей Зайцев // Знамя. 2016. № 10.

*Балабанова И.* Говорит Дмитрий Александрович Пригов. М., 2001.

*Безансон А.* Русское прошлое и советское настоящее. Лондон, 1984.

*Беленький Г. И., Воронин Л. Б., Лысый Ю. И.* Литература: 11-й класс: Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень): В 2 ч. М., 2010. Ч. 1.

*Бердяев Н. А.* Новое средневековье // Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. / Вступ. ст., сост., прим. Р. А. Гальцевой. М., 1994. Т. 1.

*Берлин В.* «Ликвидация заговоров... даже несуществовавших!» Портрет Дзержинского в записных книжках Венедикта Ерофеева // Новая газета. 2008. № 80. 27 октября.

Беседа с Ольгой Мироновной Зиновьевой. Беседовал Олег Назаров // Солидарность. 2007. № 16 (25). 25 апреля.

*Благой Д. Д.* Социология творчества Пушкина: Этюды. М., 1929.

*Болычев И.* «Умру, но никогда не пойму...» // Московские новости. 1989. № 50. 10 декабря.

*Бондаренко В.* Подлинный Венечка. Разрушение мифа // Наш современник. 1997. № 7.

*Бродский И.* Размышления об исчадии ада // Новое литературное обозрение. 2000. № 45.

*Брыкина Н. Ф.* Художественная картина мира в прозе Венедикта Ерофеева: Автореф. дисс. на соискание учёной степени канд. филол. наук. Волгоград, 2009.

*Брюсов В. Я.* В эту минуту истории: Политические комментарии: 1902—1924 / Сост., вступ. ст., подг. текста и прим. В. Э. Молодякова. М., 2013.

*Брюсов В. Я.* Избранные сочинения: В 2 т. / Вступ. статья А. С. Мясникова; [Ред. текста и прим. И. М. Брюсовой]. М., 1955. Т. 1.

*Быков Д.* Венедикт Ерофеев//Дилетант. 2015. № 11. Ноябрь.

*Вайль П.* Пророк в отечестве // Независимая газета. 1992. 14 мая.

*Вайль П., Генис А.* Страсти по Ерофееву // Ерофеев глазами эксцентрика/ Предисл. и послесл. П. Вайля, А. Гениса. New York, 1982.

*Васькин А. А.* Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брик до Галины Брежневой. М., 2019.

*Веллер М.* Из когорты великой эпохи. 9 дней назад не стало Анатолия Гладилина // Новая газета. 2018. №



122. 2 ноября. С. 22.

Венедикт Ерофеев — Юлии Руновой // Новая газета. 2006. № 74.

Венедикт Ерофеев в Орехово-Зуеве: воспоминания современников // Орехово-Зуевский литературный альманах: Ежегодное литературное приложение к газете «Ореховские вести»: Вып. 2. Владимир, 2007.

Венедикт Ерофеев. Зеркало воспоминаний // Местное время. Владимир, 1996. № 44.

Вернуться в Россию — стихами: 200 поэтов эмиграции: Антология / Сост., авт. предисл., коммент. и биограф. сведений о поэтах В. Крейд. М., 1995.

*Войнович В. Н.* Автопортрет: Роман моей жизни. М., 2010.

*Воронель Н. А.* Без прикрас: Воспоминания. М., 2003.

*Воронин Л. Б.* Ищу человека. М., 2009.

Время, оставшееся с нами: [Вып. 3.]. Филологический факультет в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников / Отв. ред. М. Л. Ремнёва. М., 2006.

*Вульфина Л. Б.* Неизвестный Ре-Ми: Художник Николай Ремизов. Жизнь, творчество, судьба. М., 2017. С. 73.

*Гайсер-Шнитман С.* Венедикт Ерофеев: «Москва — Петушки», или «The Rest is Silence». Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris, 1989.

*Гаспаров М. Л.* Записи и выписки. М., 2000.

*Геллер М.* Путешествие «к счастью, о котором пишут в газетах» // Вестник русского христианского движения. Париж, 1977. № 121. С. 307.

*Генис А.* Благая весть. Венедикт Ерофеев// Звезда. 1997. № 6.

*Генис А.* Обживая хаос. Русская литература в конце XX века // Континент. 1997. № 94.

*Генис А.* Пророк в отечестве. Веничка между легендой и мифом // Независимая газета. 1992. 14 мая.

*Генис А.* Частный случай: Филологическая проза. М., 2009.

*Гершензон М. О.* Исторические записки. М., 1910.

*Гинзбург Л.* Записи 20-х и 30-х годов: Из неопубликованного // *Гинзбург Л. Я.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе / Вступ. ст. А. С. Кушнера. СПб., 2011.

*Гинзбург Л.* Пушкин и Бенедиктов // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии: В 5 т. / Ред. Ю. Г. Оксман. М.; Л., 1936—1941. Т. 2.

*Гиппиус З. Н.* О любви // Русский Эрос, или Философия любви в России / Сост. и вступ. ст. В. П. Шестакова; коммент. А. Н. Богословского. М., 1991.

*Гордина Л. С., Кибкало А. В., Бичев Г. Н.* Доктрина ноосферной цивилизации. М., 2013.

*Гордон А. В.* Не утоливший жажды: Об Андрее Тарковском. М., 2007.

*Горичева Г.* В поисках рая // Беседа: Религиозно-философский журнал. Л.; Париж, 1985.

*Горичева Т., Орлов Д., Секацкий А.* От Эдипа к Нарциссу: Беседы. СПб., 2001.

*Горичева Т.* Христианство и современный мир. СПб., 1996.

*Гущина Т. В.* Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).

Дар и крест: Памяти Натальи Трауберг. СПб., 2000.

Два мнения об одной проблеме // Литературная газета. 1989. № 6. 8 февраля.

*Дорман О.* Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. М., 2010.

*Дранишников В. В., Манухин В. П., Дудакова Е. Ф.* Очерки истории народного образования Кольского края. Мурманск, 2001.

*Бенина Е.* Из книги воспоминаний «Во время послевоенной идеологической бойни» // Вопросы

литературы. 1995. № 4.

*Ерофеев В. В., Кравченко. И.* Возвращение блудного отца // *Story*. 2011. № 4. Апрель.

Ерофеев-младший: «Та электричка мчалась ко мне»: [Записала Мария Черницына] // *Караван историй*. 2012. Февраль (№ 2).

*Есаулов И. А.* Постсоветские мифологии: Структуры повседневности. М., 2015.

*Жолковский А. К.* Звёзды, и немного нервно: Мемуарные виньетки. М., 2008.

*Зорин А.* Опознавательный знак // *Театр*. 1991. № 9.

*Зорин А.* Пригородный поезд дальнего следования // *Новый мир*. 1989. № 5.

*Иванов А.* «Как стёклышко». Венедикт Ерофеев вблизи и издалече // *Знамя*. 1998. № 9.

*Иваск Ю.* Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки». Париж. 1977 // *Новый журнал*. Нью-Йорк, 1977. № 129.

*Игнатова Е.* Обернувшись. СПб., 2009.

*Ильин И. А.* Аксиомы религиозного опыта: Исследование: В 2 т. / Сост. и авт. вступ. ст. И. Н. Смирнов. М., 1993. Т. 2.

*Ильин И. А.* О России // *Перезвоны*. Рига, 1926. № 20.

*Индийская философия: Энциклопедия / Отв. ред. М. Т. Степанянц.* М., 2009.

*Кантор М. К.* Учебник рисования. М., 2013.

*Касаткина Т.* Философские камни в печени // *Новый мир*. 1996. № 7.

*Ковалев Н.* Дорогой подарок российскому народу // *Хибинский вестник*. 1999. 26 ноября.

Коктейль Ерофеева. Сестра культового писателя Нина Фролова: «От него всего можно было ожидать!» // *Московский комсомолец*. 2013. 23 октября. № 26366.

*Комт Ф.* Христианская цивилизация: Энциклопедический словарь. М., 2006.

*Кон И.* Благословение на геноцид: Миф о современном заговоре евреев в протоколах сионских

мудрецов / Пер. с англ. С. С. Бычкова; общ. ред. и послесл. Т. А. Карасовой, Д. А. Черняховского. М., 1990.

*Котельников В.* Пламенный реакционер // *Де Местр Ж.* Сочинения. СПб., 2007.

*Крохин И. К.* Души высокая свобода: Вадим Делоне. Роман в протоколах, письмах и цитатах. М., 2001.

*Кудрова И. В.* Гибель Марины Цветаевой. М., 1999.

*Курицын В.* Четверо из поколения дворников и сторожей // *Урал.* 1990. № 5.

*Кучкина О.* Жёлтый поникий лютик // *Комсомольская правда.* 1994. 20 мая.

*Кучкина О.* У Гоголя — смех сквозь слёзы. А у Ерофеева — слёзы сквозь смех // *Комсомольская правда.* 1995. 18 апреля.

*Кюстин А. де.* Записки о России французского путешественника маркиза де Кюстина, изложенные и прокомментированные В. Нечаевым. М., 1990.

*Левин Ю.* Семиотика Венички Ерофеева // Сборник статей к 70-летию профессора Ю. М. Лотмана/ Отв. ред. А. Мальте. Тарту, 1992.

*Лекманов О., Свердлов М., Симановский И.* Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2018; 2020 [3-е изд.] (Литературные биографии).

*Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов. СПб., 1909.

*Леонов Л. М.* Из записных книжек // *Наше наследие.* 2001. №58.

Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // *Живая Арктика.* 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки.

*Липовецкии М.* Апофеоз частиц, или Диалоги с хаосом. Заметки о классике, Венедикте Ерофееве, поэме «Москва — Петушки» и русском постмодернизме // *Знамя.* 1992. № 8.

*Ломазов В.* Нечто вроде беседы с Венедиктом Ерофеевым // Театр. 1989. № 4.

*Мальцев Ю. В.* Вольная русская литература: 1955—1975. Франкфурт-на-Майне, 1976.

*Мамлеев Ю. В.* Воспоминания. М., 2017. С. 52.

*Мандельштам Н. Я.* Воспоминания / Вступ. ст. Д. Быкова. М., 2006.

*Мандельштам Н. Я.* Третья книга: [Воспоминания] / Сост. Ю. Л. Фрейдин. М., 2006.

*Маркиш Д.* Виктор Луи — вопросы без ответов // Лехаим. 2002. № 9 (125). Сентябрь.

*Миллер Г. В.* Книги в моей жизни. Эссе / Пер. с англ.; сост. и коммент. А. Зверева. М., 2001.

*Минзарь И.* Евангелие от Ерофеева // Хибинский вестник. 1999. № 48 (542). 3 декабря.

*Млечин Л.* Карьеристы и неудачники. Почему комсомольские чиновники обиделись на председателя КГБ // Московский комсомолец. 2018. № 207 (27791). 24 сентября.

*Можаева С.* Венедикт, сын Венички Ерофеева // Вечерняя Москва. 2012. 25 октября.

*Муравьёв В.* «Высоких зрелищ зритель» // Ерофеев В. В. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2001. Т. 1.

*Муравьёв В.* Печать минувшего // Театр. 1992. № 9.

*Нагибин Ю.* Исповедь // *Ступаков В. В.* Покидая литературу: От всего остаётся метафора. СПб., 2009.

*Недель А.* Оскар Рабин: Нарисованная жизнь. М., 2012.

*Немзер А.* Займёмся икотой: Шестьдесят лет назад родился Венедикт Ерофеев // Время новостей. 2003. 24 октября. С. 15.

*Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. / Под общ. ред. Н. Л. Бродского. М., 1955. Т. 2.

*Нордвик В.* «Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, Зиганшин съел второй сапог» // Родина. 2015. № 4 (415).

*Огрызко В.* «И воздух пахнет смертью» // Литературная Россия. 2015. № 2015/30. 2 сентября.

*Окуджава Б.* Мы больны, мы мечемся в бреду // Столица. 1992. № 24 (82).

*Панн Л.* Трагедия в двух жанрах — Венедикта Ерофеева и Иосифа Бродского: К 80-летию Венедикта Ерофеева // Звезда. 2018. № 10.

*Парамонов Б.* След: Философия. История. Современность. М., 2001.

*Петрушанская Е. М.* Музыкальный мир Иосифа Бродского. СПб., 2004.

*Плавинская З.* Вулкан-Парнас Вячеслава Васильевича Калинина. М., 2004.

*Платонов С. Ф.* Учебник русской истории. М., 2001.

*Поливанов А. С.* «Псевдодокументализм» в русской неподцензурной прозе 1970—1980-х годов: Вен. В. Ерофеев, С. Д. Довлатов, Э. В. Лимонов: Автореф. дисс. на соискание степени канд. филол. наук. М., 2010.

*Померанц Г., Хазанов Б.* Под сенью Венички Ерофеева: Диалог // Литературная газета. 1995. 9 августа.

Посёлок академиков Абрамцево: Сборник воспоминаний жителей посёлка/Авт.-сост. Н. Ю. Абрикосова. М., 2014.

«Посмотрим, кто кого переупрямит...»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах / Сост. П. М. Нерлер. М., 2015.

Про Веничку: [Книга воспоминаний о Венедикте Ерофееве (1938—1990)]. М., 2008. С. 102.

*Прокопенко А. С.* Безумная психиатрия. М., 1997.

Путешествие в обратном: Книга про литфак / Авт.-сост. А. С. Цуккерман. Владимир, 2018.

*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В Ют. 1799—1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л., 1950—1951.

*Пятигорский А. М.* Философская проза: В 4 т. / Сост. и ред. Л. Пятигорская. М., 2016. Т. 4.

*Пятигорский А.* О времени в себе: Шестидесятые годы — от Афин до ахинеи: [Беседу вёл Игорь Смирнов] // Независимая газета. 1995. 10 октября.

*Пятов Г.* Советский Союз был империей лжи // Московский комсомолец. 2020. 17 февраля.

*Романев Ю. А.* Мой Радциг. Мой Дератани // Время, оставшееся с нами: [Вып. 3]. Филологический факультет в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников. М., 2006.

Сборник газеты «Слово»: Сборник статей Н. Белоцветова, В. Владимировского, И. Зорина и кн. А. Ливена (1926—1927). Рига, [1927].

*Северянин И.* Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы / Изд. подг. В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева. М., 2004 (Литературные памятники).

*Седакова О.* Венедикт Ерофеев (1938—1990) // Театр. М., 1991. №9.

*Семенникова А. И.* Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 1995.

*Семыкина Р. С.-И.* «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского и «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева: Диалог сознаний // Известия Уральского государственного университета. Екатеринбург, 2004. № 33.

*Сенкевич А. Н.* Показания свидетелей защиты (Из истории русского поэтического подполья 60-х годов). М., 1992.

*Сенкевич А. Н.* Показания свидетелей защиты. Ч. 2: Виль Мириманов [Рукопись].

*Сергеев А. Я.* Omnibus: Роман, рассказы, воспоминания, стихи. М., 2013.

*Скоропалова И. С.* Русская постмодернистская литература: Учебное пособие для студентов

филологических факультетов вузов. М., 2001.

*Скоропанова И. С.* «Благовествование» и «Василий Розанов глазами эксцентрика» как комментарий к поэме «Москва — Петушки» // Венедикт Ерофеев: Материалы Третьей международной конференции «Литературный текст: проблемы и методы исследования». Тверь, 2000.

*Скоропанова И. С.* Русская постмодернистская литература: Учебное пособие для студентов филологических факультетов вузов. М., 2001.

*Смирнова Е. А.* Венедикт Ерофеев глазами гоголеведа // Русская литература. 1990. № 3.

*Собчак А. А.* Сталин: Личное дело. М., 2014.

*Собчак А. А.* Хождение во власть: Рассказ о рождении парламента. М., 1991.

*Сопровский А.* Конец прекрасной эпохи // Континент. Париж, 1982. № 32.

*Ступаков В. В.* Покидая литературу: От всего остаётся метафора. СПб., 2009.

*Торчинов А. М., Леонтьев А. М.* Вокруг Сталина: Историко-биографический справочник. СПб., 2000.

*Тынянов Ю.* // Смерть Вазир-Мухтара // *Тынянов Ю. Н.* Собрание сочинений: В 3 т. М.; Ульяновск, 2006. Т. 2.

*Уайльд О.* Я всего лишь гений... Роман, повести, пьесы / Пер., прим., предисл. В. Чухно. М., 2000.

*Фаликов И.* Почему-то история выбрала меня // НГ Ex libris. 2018. 1 ноября.

*Федотов Г. П.* Новый град: Сборник статей / Под ред. Ю. П. Иваска. Нью-Йорк, 1952.

*Франк С. Л.* Смысл жизни. Париж, 1926.

*Фрейдкин М.* Каша из топора. М., 2009.

*Фролова Н.* Несколько монологов о Венедикте Ерофееве // Театр. 1991. № 9.

*Фурсов А.* Владимирские страницы Венедикта Ерофеева // Учительская газета. 1991. 14—21 июля.

*Хлебников М.* Венедикт Ерофеев, или Хризантема на тахте // Сибирские огни. 2019. № 10.



*Чубайс И.* Великая ложь революции. Что же произошло в 1917-м между Февралём и Октябрём? // Московский комсомолец. 2019. 7 ноября.

*Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 2007.

Т. 2.

*Чуковский Н. К.* Литературные воспоминания / Вступ. ст. Л. И. Левина. М., 1989.

*Шевелев И.* «Полузаочное интервью» с Венедиктом Ерофеевым // Человек и природа. 1989. № 10.

*Шевелев И.* Петрович сегодня — это Леонардо вчера: [Интервью с Андреем Бильжо] // Время МН. 2000. 10 июня.

*Шлегель. Ф.* Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983.

*Шмелькова Н. А.* Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018.

*Шталь Е.* Венедикт Ерофеев // Газета «30 октября». 2005. №50.

*Шталь Е. Н.* Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019.

*Щеулов Е.* Путешествие в Елшанку // Ульяновская правда. 1996. 10 февраля.

*Эккерман И.-В.* Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / Пер. с нем. Н. Манн; вступ. ст. Н. Вильмонта; коммент. и указатель А. Аникста. М., 1981. С. 397.

*Эпштейн А. Д.* Художник Оскар Рабин: запечатлённая судьба. М., 2015.

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Игорь Васильевич Лотарев; 1887—1941.

**2**

1874—1948.

**3**

1895—1973.

**4**

1882—1964.

**5**

4 до н. э. — 65 н. э.

**6**

1942—2019.



**7**

1925—2017.

**8**

1791—1872.

**9**

1766—1826.

**10**

1940—1996.

**11**

1821—1881.

**12**

1935—2010.

*Генри Валантайн Миллер* (1891 — 1980) — американский писатель и эссеист. Автор романов «Тропик Рака», «Чёрная весна», «Тропик Козерога», «Сексус», «Нексус», «Плексус», запрещённых вплоть до 1961 года в США за безнравственность. В конце концов писатель получил всемирное признание как одна из крупных фигур, ведших борьбу за литературную и личную свободу, как духовный наставник поколения битников. Испытал на себе влияние буддийской мысли.

1949—2009.



**15**

1916—1998.

1913—1960.

1713—1784.

*Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа* (1864—1901) — французский живописец и рисовальщик, один из самых ярких художников XIX века.

*Кес ван Донген* (1877—1968) — нидерландский художник, один из основоположников фовизма.

*Анри Эмиль Бенуа Матисс* (1869—1954) — французский живописец, скульптор, график и дизайнер, один из выдающихся художников своего времени.

1749—1832.

1937—2010.



1935—1985.

*Николай Николаевич Страхов* (1826—1896) и *Николай Яковлевич Данилевский* (1822—1885) — социологи, культурологи и публицисты, относились к поздним славянофилам. Оба занимались естествознанием. Борис Парамонов, философ и эссеист, находит объединяющую их методологию. Она состояла в том, что эти два крупнейших в то время литературных критика «исходили из того, что существуют некие генотипы национального бытия, только разворачивающиеся в истории». Цитирую далее: «Это было чем-то вроде нынешнего структурализма: не происходит ничего, что не было бы предзаложено в том или ином бытийном образовании. Поэтому столь уместным казались биологические аналогии, к которым прибегали биологи Данилевский и Страхов (а за ним одно время Розанов): история народа аналогична жизни органического существа, вроде дерева, которое в своём существовании — подчас многовековом — всего-навсего развивает и демонстрирует изначально заложенные в неё структуры. То есть, сказать по-другому и яснее: в истории не происходит ничего нового, не образуется нового. Ещё яснее: в истории, в человеческом бытии нет свободы — а есть predeterminedная Творцом программа того или иного развития, лучше сказать, разворачивания, развёртывания, осуществления изначального проекта» (*Парамонов Б. О сладострастнике Достоевском и невинных девушках (К юбилею Н. Н. Стрхова)* // Радио Свобода. — <https://www.svoboda.org/a/24202871.html>).

**25**

1941—1993.

1942—2000.

1891—1967.

1918—2013.

1939—2001.

1910—1971.



1924—2016.

1941—1990.

1953—1990.

1944—2001.

1900—1971.

1924—1997.

1932 (по паспорту — 1933) — 2017.

1933—2010.



1942—2014.

Давид Самуилович Кауфман; 1920—1990.

1930—2019.

1937—1974.

**43**

1889—1966.

1891—1938.

1948—1997.

**46**

1899—1961.



1890—1960.

1875—1955.

1920—1959.

1805—1875.

1918—2005.

1915—1965.

1899—1980.

1667—1745.



1783—1859.

1892—1973.

1936—1987.

1918—2008.

Ренэ Герра (род. 1946), известный французский славист, хранитель художественного и литературного наследия крупнейших представителей двух волн русской эмиграции, пишет об этих людях в книге «О русских — по-русски»: «Третью волну составляли люди уже с советским менталитетом, хотя среди них встречались и достойные: Виктор Некрасов, Владимир Максимов, Василий Аксёнов, Юрий Мамлеев, Владимир Войнович, Борис Хазанов, Владимир Марамзин, Александр Исаевич Солженицын, конечно. Я обычно адресую третьей эмиграции одну довольно жёсткую, но справедливую, я так думаю, фразу: первая эмиграция покидала родину с любовью к России, а представители второй и особенно третьей волн уезжали с ненавистью к этой стране. Я не сужу — только констатирую факт: такая ненависть существовала! А ведь многие были членами КПСС, ВЛКСМ, литературными функционерами со всеми причитающимися благами. Их печатали в престижных журналах, выпускали их книги, но тем не менее они, как только смогли, уехали. То же самое могу сказать и о художниках, хотя с художниками всё по-другому: они не очень-то вмешивались в политику, меньше были на слуху, они не печатались в «Вопросах литературы», «Литературной газете», в «Новом мире», «Знамени», «Звезде» ...Никого не осуждая, замечу, что, возможно, именно ненависть позволила их детям так быстро ассимилироваться. То есть для исчезновения первой волны эмиграции потребовалось около пятидесяти лет, а здесь — всего лет десять. Что вполне соответствовало цели французской политики — ассимиляции». (Герра Р. О русских — по-русски. СПб., 2015. С. 439).

1922—2006.

**61**

1929—1999.

1937—2018.



1939—2018.

1911—1983.

1919—2017.

1913—1993.

1915—1994.

1911—1990.

1931—2015.

Игорь Авдиев вспоминает о литературных тусовках в присутствии Юрия Мамлеева: «На Колхозной площади была примечательная квартира, где собирались писатели-сатанисты во главе с Мамлеевым. Они поили, кормили и заставляли слушать свои произведения. Помню, Венедикт угощался и упрямо, безжалостно после каждого прочитанного опуса твердил подпольным мэтрам: “Говно!”» (Авдиев И. Одна страничка из «Книги судьбы» // Новое литературное обозрение. 1998. № 1).



**71**

1906—1981.

1940—1990.

1938—2005.

1865—1957.

**75**

1824—1896.

1860—1911.

1928—2016.

1890—1980.



1947—1983.

1871—1960.

**81**

1907—1976.

Около 460 до н. э. — 370 до н. э.

1772—1829.

1903—1982.

1919—2010.

1809—1852.



*Георгий Викторович Адамович* (1892—1972) — поэт, литературный критик и переводчик.

1821—1877.

1826—1889.

Андрей Донатович Синявский; 1925—1997.  
Литературный псевдоним Абрам Терц.

Владимир Емельянович Максимов, настоящее имя Лев Алексеевич Самсонов; 1930—1995.

«Мухой» называли крошечную рюмку, которую в стародавние времена подавали бесплатно посетителям во многих трактирах.

1776—1822.

Французское слово «конвенанс», означающее «условность», «приличия», в современном русском языке практически не употребляется.



1856—1919.

Объединение семи католических кантонов Швейцарии, возникшее осенью 1843 года. Причиной возникновения недовольства клерикалов стали проводимые в Швейцарии либеральные реформы: подчинение церкви государству, введение свободы преподавания, конфискация монастырского имущества для благотворительных целей.

*Андрей Алексеевич Амальрик* (1938—1980) — советский диссидент, публицист, писатель.

1877—1950.

1749—1802.

**100**

1703—1769.

**101**

1894—1971.

**102**

1828—1910.



**103**

1799—1850.

**104**

1877—1905.

**105**

1938—1980.

**106**

1899—1986.

1932—2018.

1946—1983.

**109**

1919—1986.

**110**

1939—1971.



**111**

1883—1958.

1921—2012.

**113**

1803—1870.

**114**

1806—1864.

**115**

1896—1970.

1953—2014.

По моей просьбе о Марке Фрейдкине написал учёный и переводчик Владислав Зайцев: «С Марком Фрейдкиным я познакомился не через общих приятелей или коллег, как это обычно бывает, а по сугубо литературным делам. В 1996 году в связи с приближавшимся 75-летием гениального французского поэта, композитора и певца Жоржа Брассенса (1921 — 1980), стихи и прозу которого я уже давно переводил, в небольшом московском частном издательстве под вызывающим французским названием “Carte Blanche” готовился к публикации миниатюрный сборник избранных песен поэта, который стал первым отдельным изданием его стихов на русском языке. Составителем и редактором этого сборника был учредитель издательства поэт-переводчик и прозаик Марк Фрейдкин. Прочитав в рукописи мои переводы и решив включить полтора десятка из них в будущую книжку, он связался со мной по телефону, представился и предложил поработать вместе с ним над подготовкой текстов к изданию. Работа эта происходила у него дома на Дмитровском шоссе. Исходя из количества и размера этих текстов, я поначалу предположил, что всё дело займёт у нас один-два вечера. Марк тогда уже вполне владел компьютерной грамотой, у него был приличный по тем временам компьютер, между тем как я всё ещё обходился пишущей машинкой. Вопреки моим предположениям, наши литературные посиделки продолжались по пять-шесть часов кряду и растянулись на несколько месяцев, вплоть до отправки рукописи в типографию. Всё это время мы были заняты не столько правкой моих и его переводов, сколько бесконечным

обсуждением самых разных литературных и житейских ассоциаций, поводом к которым становились сюжеты, мотивы, слова и обороты речи в стихах Brassens и наших версиях их русских переложений. Во время долгих и увлекательных для нас обоих разговоров обо всем на свете я имел возможность оценить незаурядность натуры этого человека. Он был скромен, вежлив и доброжелателен, несуетлив, тих в разговоре, но при этом замечания его были всегда остроумны, часто неожиданны и парадоксальны, суждения в высшей степени оригинальны. Он был интересен не только большой начитанностью, но и своей необычной биографией, о любопытных перипетиях которой можно узнать из его прозаических произведений, написанных хорошим, ясным слогом — таким по-русски, увы, давно уже не пишут. После публикации сборника мы с ним встречались лишь изредка, и всегда, как и в первый раз, предлогом к этим встречам было что-нибудь связанное с Жоржем Brassensом. Он приглашал меня на свои концерты, где исполнял его песни в своих переводах и свои собственные поэтические сочинения. Но почему-то мне особенно памятен тот день, когда Марк сообщил, что у него обнаружили ту “злую хворь, из чьих жестоких лап не вырвет никакой искусный эскулап” (опять Brassens, которого та же участь не обошла). Сказал он это как бы мимоходом и, упреждая всякие знаки сожаления и сочувствия, поспешил меня успокоить: дескать, ничего страшного, всё обойдётся. Мне редко приходилось видеть подобное самообладание в человеке, узнавшем такой диагноз».

**117**

1873—1954.



**118**

1933—1998.

**119**

1920—1994.

**120**

1906—1982.

**121**

IV в. до н. э. — 65 г. н. э.

**122**

1889—1976.

**123**

1812—1870.

**124**

1794—1856.

**125**

1859—1952.



**126**

1828—1906.

**127**

1832—1910.

**128**

1841—1911.

1929—2009.

**130**

1813—1855.

**131**

1817—1862.

**132**

1903—1950.

**133**

1939—2001.



1949—2005.

**135**

1922—2004.

**136**

1925—1981.

1930—1989.

**138**

1932—2009.

**139**

1935—2018.

На рецидив этой идеи в современном либеральном медиапространстве обратил внимание философ и политолог А. С. Ципко. Речь шла о писателе и журналисте В. А. Шендеровиче, который «пытается соединить в своей душе несоединимое: любовь к коммунистам, к “ленинской гвардии”, к деятелям III Интернационала с ненавистью к Сталину»: «Недавно на “Эхе Москвы” Шендерович осуждал коммуниста Геннадия Зюганова за то, что он ходит с цветами к могиле Сталина, к могиле человека, который уничтожил, по словам Виктора Шендеровича, “цвет ленинской гвардии”, опошил “идеалы Октября”. Я понимаю, что Виктор Шендерович — литератор и он не очень хорошо знает историю и идеологию большевизма. Но всем тем, кто, несмотря ни на что, продолжает верить в величие, как говорит патриарх Кирилл, “грандиозность идеалов коммунизма”, надо знать, что не Сталин, а именно “ленинская гвардия” оправдывала убийство тех, кому, по словам соратника Ленина Григория Зиновьева, “большевики не имеют что сказать”» (Ципко А. Трагедия Катыни оправданию не подлежит// Московский комсомолец. 2020. 31 января. С. 3).

**141**

1937—2000.



**142**

1796—1826.

**143**

1793—1826.

**144**

1893—1976.

**145**

1870—1953.

**146**

1897—1986.

1902—1982.

1914—1984.

**149**

1828—1889.



**150**

1851—1881.

**151**

1853—1881.

**152**

1852—1942.

**153**

1870—1926.

**154**

1862—1905.

**155**

1854—1946.

Юлий Маркович Даниэль, 1925—1988. Литературный псевдоним Николай Аржак.

1904—1977.



**158**

1911—1987.

**159**

1931—2003.

**160**

1940—1990.

**161**

1930—1981.

Александр Михайлович Адамович; 1927—1994.

**163**

1886—1939.

Александр Аркадьевич Гинзбург; 1918—1977.

**165**

1826—1871.



**166**

1792—1878.

**167**

1937—2004.

**168**

1787—1855.

**169**

1732—1768.

**170**

1837—1889.

**171**

1855—1888.

**172**

1932—2014.

**173**

1931—1989.



**174**

1941—1999.

**175**

1924—2001.

**176**

1936—2002.

Елена Николаевна Басилова; 1943—2018.

**178**

1929—2017.

СМОГ — «Самое молодое общество гениев», или «Смелость, мысль, образ, глубина» — одно из первых в СССР творческих объединений, объявившее о своём существовании в январе 1965 года и отказавшееся подчиниться контролю государственных и партийных инстанций. В него вошли несколько десятков молодых писателей. Среди них Леонид Губанов, Алёна Басилова, Юрий Кублановский, Владимир Алейников, Аркадий Пахомов, Владимир Батшев, Саша Соколов, Александр Величанский, Татьяна Реброва, Вадим Делоне и многие другие.

**180**

1921—1982.

**181**

1940—2007.



**182**

1883—1954.

**183**

1912—1992.

Юрий Николаевич (Насонович) Тынянов; 1894—1943.

**185**

1831—1891.

**186**

1795—1829.

**187**

1787—1867.

**188**

1789—1859.

**189**

1892—1950.



**190**

Геннадий Моисеевич Файбусович; род. 1928.

**191**

1797—1846.

**192**

1902—1990.

**193**

1886—1951.

1794—1829.

Александр Михайлович Гликберг; 1880—1932.

**196**

1867—1942.

**197**

1915—1996.



**198**

1888—1954.

**199**

1902—1950.

**200**

1891—1974.

**201**

1795—1826.

**202**

1872—1923.

**203**

1922—1993.

**204**

1935—2005.

**205**

1929—2004.



**206**

1898—1973.

**207**

1940—2010.

**208**

1938—1978.

**209**

1931—1986.

**210**

1932—1993.

**211**

1937—2012.

**212**

1932—1986.

**213**

1908—1997.



**214**

1811—1848.

Название «Ами» на иврите — «народ мой», на французском — «друг».

Георгий Васильевич Флоровский; 1893—1979.

**217**

1870—1965.

Марк Александрович Ландау; 1886—1957.

**219**

1873—1950.

**220**

1881—1972.

**221**

1873—1944.



**222**

1907 (по другим сведениям, 1910) — 1986.

Приведу текст юридически заверенного документа под названием «Мои показания», подписанного Владимиром Фромером, одним из двух издателей первой публикации поэмы «Москва — Петушки» в Иерусалиме, и объясняющего причину недоплаты гонораров В. В. Ерофееву. Это письмо сын писателя получил через 13 лет после смерти отца. Вот этот текст: «Книга Венедикта Ерофеева “Москва — Петушки”, поэма в прозе, как определил этот жанр сам автор, впервые была опубликована летом 1973 года в третьем и последнем номере студенческого журнала “Ами”, который редактировали и делали от начала до конца два человека — я и Михаил Левин, проживающий сегодня в США. Журнал не преследовал никаких коммерческих целей и продержался три номера на нашем с Левиным энтузиазме. Тираж [часть] “Веничкиного” номера — 150 экземпляров — в продажу не поступил. Мы его раздарили, а часть экземпляров послали в разные библиотеки и в русскоязычные издания за рубежом. Мы даже не знали, существует ли Венедикт Ерофеев в реальной своей ипостаси, или же это чья-то ловкая мистификация. Период застоя в СССР был тогда в самом разгаре, и Запад наводнила продукция самиздата, причём многие авторы по вполне понятным причинам укрывались за псевдонимами. О том, что Венедикт Ерофеев не мифическая, а реально существующая личность, мы узнали гораздо позже. Экземпляр поэмы Ерофеева мы получили в том же 1973 году, летом, в Иерусалиме, перед самым выходом в свет третьего номера журнала, от известного эксперта — Бориса Исааковича Цукермана, ныне покойного. Мы искали хорошую прозу для журнала, и Б. И. Цукерман

дал нам то, что превзошло все наши ожидания. Глянцевые листы, на которых “Венин” шедевр был сфотографирован. Вывезли его из СССР на фотоплёнке. Правозащитник и математик Владимир Гершович сказал мне потом, что это был, вероятно, последний самиздатовский экземпляр “Вениного” шедевра. Остальные — сгорели. За самиздат тогда уже сажали, и правозащитники сжигали весь криминал. Во всяком случае, последующие публикации “Москва — Петушки” — и на Западе, и в России — базировались на нашем тексте. Там даже опечатки были наши. Мы были счастливы, что содействовали появлению в свет гениальной прозы. Само собой разумеется, на этом наша роль закончилась, а к Ерофееву пришла мировая слава. Его стали печатать и грабить все, кто только могли, и особенно преуспело в этом французское издательство Альбен Мишель. В 1976 году я получил из Парижа письмо от г-жи Ирены Делоне. Она сообщила, что получила от Венедикта Ерофеева доверенность, что издательство, выпустившее в свет французский перевод “Москва — Петушки”, отказалось платить Ерофееву, поскольку, мол, права на издание принадлежат журналу “Ами”. По просьбе г-жи Делоне я послал заверенный документ о том, что все права принадлежат Венедикту Ерофееву и его семье, что журнал “Ами” не является коммерческим изданием и абсолютно ни на что не претендует. Я получил от г-жи Делоне благодарственное письмо. К сожалению, с тех пор прошло около тридцати лет, и её письмо у меня не сохранилось. Я надеюсь, что эти мои показания будут способствовать восстановлению справедливости и издательство Альбен Мишель выплатит, хоть и с большим опозданием, наследникам замечательного писателя всё, что им причитается. Владимир Фромер». (Личный архив В. Ерофеева).

**224**

1865—1936.

**225**

1925—2016.

**226**

1925—1998.

**227**

1812—1870.

**228**

1896—1958.



**229**

1839—1888.

**230**

Ныне относится к Николаевскому району  
Ульяновской области.

**231**

1850—1905.

Не стоит думать, что Единоверческая церковь, к которой принадлежал священник Алексей Тресвятский и во время крещения Вассы Гущиной был псаломщиком, представляла собой старообрядчество, бунтующее против нововведений и плодящее всё новых и новых «мучеников». Члены общины Единоверческой церкви не скрывались в глухой тайге, не отгораживались от мира. Они просто чуть иначе проводили богослужения. В остальном они были и оставались законопослушными членами Русской православной церкви. Ими признавалось и до сих пор признается верховенство Московского патриархата, то есть его иерархическая юрисдикция. Единоверческие храмы имелись и имеются во многих исторически значимых городах России. В советские годы гонений на религиозные верования единоверческая община пережила то же самое разорение и те же мучения, что и вся Русская православная церковь.

Судьба Александра Венедиктовича сложилась трагически, как и у многих других священников. В начале 1930-х годов он служил в храме в честь Казанской иконы Божией Матери города Ульяновска на бывшей Дворцовой улице. Это был его последний приход. В 1937 году он перенёс сложную операцию на ноге и лежал на вытяжке. 11 декабря того же года его, больного человека с привязанным на ноге камнем, арестовали по так называемому «Ульяновскому делу». Он оказался среди шести архиереев, 128 священников, тридцати монашествующих (в основном престарелых монахинь) и шестидесяти мирян, расстрелянных 17 и 18 февраля в подвале Ульяновского юротдела НКВД. Все они якобы входили в «единую общеобластную церковно-монархическую, фашистско-повстанческую контрреволюционную организацию», созданную на бумаге «умниками» из энкавэдэшников. Это была очередная акция по борьбе со старообрядцами и сектантами. «Ульяновское дело» было сфабриковано органами НКВД как одно из нескольких подобных дел в городе на Волге с целью перестать «кокетничать с боженькой». Управлением НКВД был «спущен» в областное отделение план по борьбе с религией. Согласно ему требовалось расстрелять тысячу человек, а осудить на длительные сроки четыре тысячи. Как всегда в таких случаях, план перевыполнили. Расстреляли более полутора тысяч, а репрессировали более восьми тысяч человек, из которых никто на волю не вышел. См.: *Косых И. Н., Ястребов В. В.* Бог есть любовь: из истории архиерейского служения в Симбирской (Ульяновской) епархии (1832—2016). Ульяновск, 2016.

Районы с суровой природой и малозаселённые, но богатые полезными ископаемыми осваивались постепенно. Первым сигналом для этого шага по освоению природных богатств было постановление Совета народных комиссаров РСФСР «Об использовании труда заключённых в местах лишения свободы и отбывающих принудительные работы без лишения свободы» от 28 ноября 1921 года. Через восемь лет, 13 мая 1929 года, вышло под грифом «строго секретно» постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об использовании труда уголовных арестантов» за подписью И. В. Сталина. А через два месяца после него постановление также под грифом «секретно» Совета народных комиссаров СССР «Об использовании уголовнозаключённых». Его цель была сугубо хозяйственная, связанная «с колонизацией удалённых районов и эксплуатацией их природных богатств путём применения труда “лишённых свобод”».

**235**

1917—2006.

**236**

1873—1924.



Реабилитация Василия Константиновича Ерофеева состоялась через 50 лет — 30 июля 1992 года. Приведу отрывок из «Справки о реабилитации»: «Изучением уголовного дела установлено, что оно возбуждено необоснованно. Поскольку действия Ерофеева Василия Константиновича общественной опасности не содержали, признаков состава преступления в них не имелось, в связи с чем он был арестован и репрессирован незаконно» (Личный архив семьи Ерофеевых).

Из выписки из Следственного дела Василия Константиновича Ерофеева от 3 декабря 1941 года, с которой я ознакомился благодаря Нине Васильевне Фроловой, можно узнать, почему он был арестован. Завхоз колхоза «Путь Ленина», в котором работал шорником Василий Константинович, передал следующие его слова, сказанные якобы в разговоре с ним: «Брось трепать языком, по всему Советскому Союзу одно блядство — довели народ до нищеты». В выписке из дела было отмечено, что арестованный похабно выражался по адресу руководителей ВКП(б) и советского правительства. В частности, он сказал: «Вот, ребята, какое правительство нам навязали. Везде хлеб гниёт, а крестьяне околевают с голоду. Разве это правители?»; «20 лет нас дураков морят»; «Всех коммунистов надо расстрелять, тогда будем есть хлеб».

Несколько слов о Рюрикове (1909—1969). Он был внебрачным сыном Сергея Терентьевича Семенова ((868—1922), писателя-самоучки, автора воспоминаний о Л. Н. Толстом. Его биография была типичной для комсомольского, а затем партийного функционера. Проучившись в педагогическом институте Нижнего Новгорода менее года, он стал заведующим, а затем секретарём редакции комсомольской газеты «Труд и быт». Это вторая половина 1920-х годов. В 1930-е годы он был мобилизован на Сталинградский тракторный завод, где совмещал работу прессовщика и электросварщика с выборной должностью секретаря комсомольской организации. В 1931—1932 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной армии, а после вступления в 1932 году в ВКП(б) Б. С. Рюриков работал в печати, занимая различные редакторские должности. С первых дней Великой Отечественной войны он находился в качестве военного корреспондента на фронте. Когда Анна Андреевна Ерофеева появилась в его семье, Б. С. Рюриков работал в аппарате ЦК ВКП(б), заместителем заведующего Управлением агитации и пропаганды. В 1949 году был снят с этой должности «за покровительство антипатриотической группе театральных критиков».

**240**

1914—1993.

Филолог Андрей Анатольевич Архипов, знакомый Венедикта Ерофеева с 1969 года, на вопрос Евгения Шталя о Венедикте Ерофееве написал то же самое, что и его сестра. Однако он попытался ещё объяснить, почему представление в читающем обществе о Ерофееве как о пьянице неправильно по существу: «Я понимаю дело так (вкратце, конечно). Веничка всегда был погружен в глубокую грусть (об этом все говорят). Когда он смеялся, он как бы выныривал из своей печали. А потом возвращался в неё. Я думаю, что когда-то в ранней юности или в детстве он пережил какое-то ужасное событие или приступ страха, который дал ему увидеть ничтожество, пошлость и гнусность мира и людей. Он давал В[еничке] определённую мудрость пессимизма, определённое превосходство над мелкостью жизни. Алкоголь отгораживал его от этого ничтожества людей и жизни вообще. Но у алкоголя была ещё одна “функция”. В[еничка] был по природе сангвиником. Этот сангвинический темперамент то и дело прорывался через его грусть. И я думаю, что В[еничка] не хотел потерять эту грусть, не хотел утратить связанное с ней презрение к миру. И, конечно, алкоголь помогал ему погружаться обратно в страдание. Я видел Ерофеева в разных степенях опьянения или похмелья, но никогда не видел, чтобы его покинул разум: разум оставался трезв. Ну и так далее. Я мог бы продолжить это рассуждение. Важно одно, важно, что он не был алкоголиком. Это примитивное упрощение» (Шталь Е. Н. Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 27).

Эхо этого события прозвучало в первом произведении Венедикта Ерофеева «Записки психопата». В нем упоминаются имя и фамилия Лидии Ворошниной, бывшей его соученицы по кировской средней школе. Он сидел с ней за одной партой: «И я не радовался в октябре её “аресту за преднамеренное устройство взрыва” на 3-м горном участке... И ведь это — её вторая судимость!..» (*Ерофеев В. В. Мой очень жизненный путь. М., 2008. С. 20*).

**243**

1922—2005.

**244**

1882—1968.



**245**

1887—1965.

**246**

1911—1974.

**247**

1925—2019.

**248**

1896—1981.

**249**

1920—1998.

**250**

1884—1963.

**251**

1881—1972.

**252**

1891—1983.



**253**

1265—1321.

**254**

1904—1969.

**255**

Франсуа Мари Аруэ; 1694—1778.

Юрий Романев, сокурсник Льва Кобякова и Венедикта Ерофеева, подтверждает его мысль: «На второй семестр пришлось всеобщее потрясение: комсорг нашего курса Игорь Милославский прочитал нам доклад Н. С. Хрущёва о культе личности Сталина...» (*Романев Ю. Л. Мой Радциг. Мой Дератани // Время, оставшееся с нами: [Вып. 3]. Филологический факультет в 1955—1960 годах: Воспоминания выпускников / Отв. ред. М. Л. Ремнёва. М., 2006. С. 210).*

**257**

1898—1990.

**258**

1899—1977.

**259**

1936—1957.

Через много лет Пранас Яцкявичус (Моркус), находясь в гостях у Венедикта Ерофеева, похвастался, что «нашёл листочек с записанным с его слов “Путешествием вокруг Европы на теплоходе ‘Победа’”, северянинским откликом на мировые актуалии» (*Моркус Л. Комната, лестница, дом // Про Веничку. М., 2008. С. 67*).



Индийский борец за независимость Индии Бал Гангадхар Тилак (1856—1920) в своей книге «Арктическая родина в Ведах» обосновал «Арктическую теорию». Он попытался доказать, что тексты священных книг индусов «Веды» и «Упанишады» описывают астрономические реалии северных широт. Его доводы опирались на аргументы профессора сравнительного богословия и философии Бостонского университета Уильяма Ф. Уоррена, изложенные в книге «Найденный рай на Северном полюсе». По его мнению, происхождение человека связано не с Африкой, а с Арктикой. Большинство современных учёных не поддерживают эту гипотезу.

**262**

1623—1662.

**263**

Ныне станция Шпичкино.

**264**

1801—1848.

**265**

1822—1885.

**266**

1817—1875.

**267**

1873—1923.

Вот этот перечень авторов, сочинения которых Венедикт Ерофеев считал необходимым знать всякому здравомыслящему человеку. Книги Ерофеев сгруппировал по литературам. Из английской литературы он рекомендовал Уильяма Теккерея, Чарлза Диккенса, Шарлотту и Эмили Бронте, Джорджа Элиота, Лоренса Стерна, Артура Конан Дойла, Оскара Уайльда, Джеффри Чосера, Уильяма Шекспира, Даниеля Дефо, Тобайаса Смоллетта, Сэмюэла Ричардсона, Генри Филдинга, Уильяма Годвина, Ричарда Шеридана, Джона Милтона, Джеймса Олдриджа, Олдоса Хаксли, а также стихи разных поэтов. Самый большой объём заняла французская литература. Это Эмиль Золя, Гюстав Флобер, Гиде Мопассан, Оноре де Бальзак, Фредерик Стендаль, Мольер, Вольтер, Марсель Пруст, Ромен Роллан, Альфонс Доде, Виктор Гюго, Анатоль Франс, Альфред Мюссе и многие другие. Не забыл даже Шатобриана с Гюисмансом. У Руссо Ерофеев выделил два произведения «Юлия, или Новая Элоиза» и «Исповедь». Составил также списки итальянской (Апулей, Данте Алигьери, Боккаччо, Саккетти, Мазуччо, Банделло, Мандзони, а также поэтов), немецкой (Генрих и Томас Манны, Арнольд и Стефан Цвейги, Фейхтвангер, Гейне, Гёте, Келлерман) и польской (Сенкевич, Прус, Пшибышевский) литературы. Из русских писателей особо рекомендует двух: Достоевского («Записки из подполья», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы», «Преступление и наказание»), Салтыкова-Щедрина («История одного города») (Шталь Е. Н. Венедикт Ерофеев: Писатель и его окружение. М., 2019. С. 11).



**269**

1907—1990.

**270**

1873—1945.

Причиной этого прозвища были вырезанные Олегом Красовским из газеты «Московский комсомолец» некоторые статьи. Он их вывешивал в изголовье своей койки (Летопись жизни и творчества Венедикта Васильевича Ерофеева (1938—1990) / Сост. В. Берлин // Живая Арктика. 2005. № 1: Хибины — Москва — Петушки. С. 32).

**272**

1940—2010.

**273**

1931—1990.

**274**

1934—2004.

**275**

1712—1778.

В то время, когда проходили вступительные экзамены Венедикта Ерофеева во Владимирский педагогический институт, поэт Григорий Михайлович Поженян (1922—2005), меня опекавший, прочитал мне по памяти стихотворение на украинском языке о смерти Великого инквизитора. Вот его содержание: среди ликующего и хохочущего от радости народа выделялась плачущая старая женщина. Кто-то из толпы спросил её: «Мать, что ты рыдаешь? Ведь Великий инквизитор умер». Женщина ответила: «Великий инквизитор умер, а тюрьма осталась!» Так я впервые услышал о поэте Виталии Алексеевиче Коротиче. Как мне сказал Григорий Поженян, весь тираж поэтического сборника Коротича, в котором было это стихотворение, пошёл под нож.



Литературный псевдоним Елены Леонидовны Быковой (1914— 1993). Была гражданской женой поэта Владимира Александровича Луговского (1901—1957).

**278**

1813—1879.

**279**

1838—1910/1911.

**280**

1881/1882—1948.

**281**

1914—1991.

**282**

1863—1945.

**283**

1907—1999.

**284**

1547—1616.



**285**

1818—1883.

**286**

1689—1755.

**287**

1772—1834.

**288**

1783—1842.

**289**

1788—1824.

**290**

1797—1856.

**291**

1821—1880.

**292**

1840—1902.



Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер, 1759—1805.

**294**

1737—1809.

**295**

1788—1861.

**296**

1893—1984.

**297**

Около 150 — около 215.

**298**

Около 325—389.

**299**

Около 347—407.

**300**

Около 185 — около 254.



**301**

Около 155 — около 222.

**302**

354—430.

Манихейство — от греческого собственного имени Манихаиос, образованного от имени персидского философа Мани, основателя умозрительной теории, покоящейся главным образом на сосуществовании двух извечно противостоящих начал — добра и зла. Манихейство, исключительно дуалистическое учение, обрело своего пророка в лице персидского проповедника Мани (216—277), который использовал эту доктрину для создания универсальной религии и потому включил в неё элементы маздеизма (парсизма), христианства и буддизма. Мани объявил себя носителем высшего откровения (*Комт Ф. Христианская цивилизация: Энциклопедический словарь. М., 2006. С. 586*).

**304**

УМ. 210.

**305**

Луций Целий Фирмиан, около 250 — после 325.

**306**

Ум. 258.

**307**

Около 295—373.

**308**

Около 480 — около 524.



**309**

386/93—457.

**310**

Около 4 до н. э. — 65 н. э.

**311**

Около 45 — около 127.

**312**

1483—1546.

**313**

1883—1946.

**314**

1891—1937.

**315**

1891—1938.

**316**

1874—1934.



**317**

1924—2009.

Приведу воспоминания Иосифа Бродского об этом событии: «Полагаю, что в мировой истории не было убийцы, смерть которого оплакивали бы столь многие и столь искренне. Если количество плакавших ещё легко объяснить величиной популяции и средствами информации (и когда Мао, если он, конечно, умрёт, займёт первое место), то качество этих слёз объяснить гораздо труднее. 20 лет назад мне было 13, я учился в школе, и нас всех согнали в актовЫй зал, велели встать на колени, и секретарь парторганизации — мужеподобная тётка с колодкой орденов на груди — заломив руки, крикнула нам со сцены: “Плачьте, дети, плачьте! Сталин умер!” — и сама первая запричитала в голос. Мы, делать нечего, зашмыгали носами, а потом мало-помалу и по-настоящему заревели. Зал плакал, родители плакали, соседи плакали, из радио неслось “Траурный марш” Шопена и что-то из Бетховена. Вообще, кажется, в течение пяти дней по радио ничего, кроме траурной музыки, не передавали. Что до меня, то (тогда — к стыду, сейчас — к гордости) я не плакал, хотя стоял на коленях и шмыгал носом, как все. Скорее всего потому, что незадолго до этого я обнаружил в учебнике немецкого языка, взятом у приятеля, что “вождь” по-немецки — фюрер. Текст так и назывался: “Unser Fuhrer Stalin”. Фюрера я оплакивать не мог» (*Бродский И. Размышления об исчадии ада // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 148*).

**319**

1790—1857.

С этого предложения и далее я цитирую Б. А. Сорокина по: *Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: Посторонний. М., 2020 [3-е изд.] (Литературные биографии). С. 126.* Именно в этой части воспоминаний Сорокина содержатся существенные поправки и дополнения, сделанные им во время беседы с авторами книги.

*Джамбул Джамбаев* (1846—1945) — казахский советский поэт-акын, лауреат Сталинской премии второй степени. Автор песен «Гимн Октябрю», «Моя Родина», «В Мавзолее Ленина», «Ленин и Сталин», «Аксакалу Калинину», «Песня о батыре Ежове», «Клим-батыр», «Наш Киров», «Я избираю Сталина» и др.

**322**

1907—1974.

**323**

1899—1994.

**324**

1873—1942.



**325**

1886—1942.

**326**

1869—1940.

**327**

1940—2010.

**328**

1927—2010.

**329**

1895—1925.

**330**

1925—2019.

**331**

In vino veritas, ergo bibamus! (*лат.*) — Истина в вине,  
следовательно — выпьем!

**332**

Fleur d'orange (*фр.*) — цвeтoк апельсина.



**333**

1904—1959.

**334**

1853—1900.

*Жак Аттали* (род. 1943) — французский экономист, философ, архитектурный критик.

*Поль Вирильо* (1932—2018) — французский философ, архитектурный критик.

**337**

1933—1998.

Пастиш (*ит.*) — букв, «паштет», в переносном значении «смесь».

Всё, что выходит из-под пера Нины Воронель, талантливо. Например, перевод «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда — чудо, ею сотворённое. Я впервые прочитал её в новом переводе в книге «Оскар Уайльд. Полное собрание стихотворений и поэм», изданной в 2000 году петербургским издательством «Евразия». Прежний перевод этой баллады, сделанный Валерием Брюсовым, блекнет. Прискорбно только, что в «Полном издании стихотворений и поэм» имя Нины Воронель как переводчицы отсутствует. История этого перевода изложена в её книге «Без прикрас. Воспоминания» (М., 2003).

*Георгий Дмитриевич Гачев* (1929—2008) — философ, культуролог, эстетик.



**341**

1922—1997.

**342**

Около 570—500 до н. э.

**343**

1938—2010.

**344**

1943—2020.

**345**

Владислав Константинович Богатищев-Епишин; род.  
1938.

**346**

Этот фрагмент текста письма в публикации отсутствует и восстановлен по оригиналу.

О любви Венедиктом Ерофеевым музыки Георгия Васильевича Свиридова (1915—1998) свидетельствует Наталья Шмелькова: «Веничка почти весь вечер заводил пластинки, и особенно Свиридова, которого он очень любил, — зарисовки к пушкинской “Метели”» (*Шмелькова Н. А. Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 165*).

**348**

1791—1859.



**349**

1789—1852.

**350**

1813—1855.

**351**

1800—1875.

**352**

1804—1860.

**353**

Иван Васильевич, 1806—1856; Пётр Васильевич,  
1808—1856.

**354**

1841—1918.

**355**

1873—1938.

**356**

1891—1951.



**357**

1903—1981.

**358**

1863—1958.

**359**

1956—2019.

**360**

1899—1953.

**361**

1894—1984.

**362**

1927—1982.

**363**

1921—2005.

**364**

1933—2011.



**365**

1763—1821.

**366**

1928—2002.

**367**

1950—2016.

**368**

Александр Давидович Кауфман; род. 1953.

**369**

1895—1952.

**370**

1860—1933.

**371**

1819—1876.

**372**

Константин Сергеевич, 1817—1860; Иван Сергеевич,  
1823—1886.



**373**

1786—1855.

В Центральном государственном историческом архиве Москвы хранится первый список выявленных полицией людей, составляющих основной славянофильский круг. Он состоит из пятнадцати человек. Назову самых известных из них: Константин Сергеевич Аксаков, магистр российской словесности; Иван Сергеевич Аксаков, отставной советник; Иван Степанович Хомяков, отставной ротмистр; Иван Васильевич Киреевский, надворный советник; Александр Иванович Кошелев, отставной надворный советник; Сергей Михайлович Соловьёв, надворный советник; Сергей Михайлович Бестужев, отставной штабс-ротмистр; князь Владимир Владимирович Львов, цензор. В этом списке числится и Пётр Яковлевич Чаадаев, отставной надворный советник (ЦГИАМ. Ф. 16. О. 39. Д. 339. Л. 1-2).

**375**

1770—1831.

**376**

1775—1854.

**377**

1804—1877.

**378**

1779—1852.

**379**

Название существовало с 1922 по 1994 год.

**380**

1852—1893.



**381**

1932—1994.

**382**

1606—1664.

**383**

1639—1699.

**384**

384 до н. э. — 322 до н. э.

**385**

65 до н. э. — 8 до н. э.

**386**

1910—1988.

**387**

1636—1711.

Почитается святой в Римско-католической церкви и с 2006 года — как местночтимая святая в Берлинской и Германской епархиях Русской православной церкви. В Римско-католической церкви также прославлены её отец — святой Ричард Уэссекский, братья — святые Виллибальд и Вунибальд и мать — блаженная Вуна Уэссекская.



**389**

1334—1369.

**390**

1579—1648.

**391**

Феликс Лопе де Вега и Карпио, 1562—1635.

**392**

1707—1793.

**393**

1696—1781.

**394**

Эммануэле Конельяно; 1749—1838.

**395**

1801—1836.

**396**

Николаус Франц Нимбш, Эдлер фон Штреленау;  
1802—1850.



**397**

1867—1945.

**398**

1864—1936.

**399**

Кеннет Элтон Кизи; 1935—2001.

**400**

1793—1869.

**401**

1769—1834.

С большой долей вероятности могу предположить, что отрывки из дневника Г. В. Свиридова Ерофееву передал Игорь Ростиславович Шафаревич (1923—2017), он был учеником Бориса Николаевича Делоне и относился к математикам милостью Божией. В 19 лет он защитил кандидатскую диссертацию, а в 24 года — докторскую. В последние 25 лет своей жизни этот выдающийся человек был увлечён закулисоведческой теорией, в основе которой находилась идея французского историка Огюстена Кошена (1876—1916) о «малом народе», настроенной против коренного народа, навязывающей ему пагубные для его существования идеи и концепции. Именно «малый народ», согласно Кошену, был причиной и движущей силой французской революции. У Игоря Шафаревича понятие «малый народ» означает не одну определённую нацию, но может представлять нечто суммарное, включающее в себя представителей различных наций. Что касается революции в России, по Игорю Шафаревичу влиятельное ядро «малой нации» в её подготовке и осуществлении составляли евреи. После публикации эссе «Русофобия» он стал персоной нон грата среди большей части демократически настроенной интеллигенции. Вместе с тем учёный резко осуждал методы, которые применялись в 1970—1980-е годы для отсева абитуриентов еврейского происхождения при поступлении в престижные московские вузы.

**403**

1753—1821.

Жозеф де Местр «Рассуждения о Франции»: «С полным основанием было отмечено, что Французская революция управляет людьми более, чем люди управляют ею. Это наблюдение очень справедливо, и хотя его можно было бы отнести в большей или меньшей степени ко всем великим революциям, однако оно никогда ещё не было более разительным, нежели теперь. И даже злодеи, которые кажутся вожаками революции, участвуют в ней лишь в качестве простых орудий, и как только они проявляют намерение возобладать над ней, они подло низвергаются. Установившие Республику люди сделали это, не желая того и не зная, что они совершили...»



**405**

1899—1983.

**406**

Лидия Романовна Перельман; род. 1945.

Сделаю несколько выписок из «Записных книжек» 1960-х годов Венедикта Ерофеева:

«Герман Геринг: “Я хотел бы, чтобы в Германии не было ни одного еврея” (из выступления на имперском совещании министров, 12/XI — 38 г.). Рейхсмаршал Великой германской империи, председатель Совета министров по обороне империи Г. Геринг в июле [19]41 г. в письме Гейдриху требует немедленного проведения мероприятий по “окончательному решению еврейского вопроса”. Фраза, ставшая классической; Генрих Гиммлер. SS — “Schutzstaffeln” — “охранные отряды” национал-социалистической партии, особый корпус СА, основ. 1925 г. Кстати, некоторые сведения об истреблении евреев на оккупированных территориях и в Германии:

<b>Страна</b>	<b>Численность евреев</b>	<b>Ликвидировано В %</b>	
Польша	3 300 000	2 800 000	85
Россия	2 100 000	1 500 000	71,4
Румыния	850 000	425 000	50
Венгрия	404 000	200 000	49,5
Чехословакия	315 000	260 000	82,5
Франция	300 000	90 000	30
Германия	210 000	170 000	81
Литва	150 000	135 000	90

И так далее. Всего уничтожено 72 % евреев, населяющих Европу, то есть 5 978 000 евреев». (Ерофеев В. В. Записные книжки 1960-х годов. Первая публикация полного текста. М., 2005. С. 90—91).

**408**

1544—1595.

**409**

1533—1592.

**410**

1932—2009.

Нынешняя российская жизнь основательно изменила ситуацию. Предоставила возможность известным российским литераторам, чьи книги значительными тиражами издаются на родине и в других странах, покупать, что им вздумается: от скромных квартирок в Лондоне и Париже до вилл в Испании и на Лазурном Берегу.

**412**

1758—1794.



**413**

1767—1794.

**414**

1759—1794.

**415**

1890—1974.

**416**

1878—1965.

**417**

1883—1955.

**418**

1848—1892.

**419**

1917—1985.

До интронизации — Джованни Баттиста Энрико  
Антонио Мария Монтини; 1897—1978.



**421**

1847—1912.

**422**

1929—1974.

**423**

1907—1982.

**424**

1950—2002.

**425**

Николай Иванович Корнейчуков; 1882—1969.

**426**

1907—1996.

**427**

1946—2019.

**428**

1909—1978.



**429**

Жан Батист Поклен; 1622—1673.

**430**

1804—1872.

**431**

1921—2017.

**432**

1924—2001.

**433**

1927—2006.

**434**

1930—2004.

**435**

1923—2005.

**436**

1894—1958.



**437**

1883—1924.

**438**

1905—1964.

**439**

Андрей Платонович Климентов; 1899—1951.

**440**

1494—1553.

**441**

1713—1768.

**442**

1903—1958.

**443**

Даниил Иванович Ювачёв; 1905—1942.

**444**

1898—1937.



**445**

*1904—1941.*

**446**

1899—1934.

**447**

1902—1984.

**448**

1878—1939.

**449**

1883—1941.

**450**

1926—1997.

**451**

1848—1910.

**452**

1904—1965.



**453**

Название до 1994 года. Магистраль включала современные улицы Воздвиженку и Новый Арбат.

**454**

1902—1985.

**455**

Марк Григорьевич Фрадкин; 1914—1990.

**456**

1821—1881.

**457**

Дословно в синодальном переводе: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть, и был, и грядёт, Вседержитель» (Откр. 1:8).

**458**

1875—1954.

**459**

1785—1859.

**460**

1930—1990.